

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/

P Slav 176.25

Bound
AUG 23 1900

Harvard College Library

FROM THE BEQUEST OF

MRS. ANNE E. P. SEVER,

OF BOSTON,

Widow of Col. James Warren Sever,

(Class of 1817)

28 May – 25 June 1900

ВѢСТНИКЪ

ЕВРОПЫ

ТРИДЦАТЬ-ПЯТЫЙ ГОДЪ. — ТОМЪ III.

ГОДЪ LXIV. — ТОМЪ CCCLXXVII. — 1/14 МАЯ 1900.

ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ

ЖУРНАЛЪ

ИСТОРІИ — ПОЛИТИКИ — ЛИТЕРАТУРЫ

ДВѢСТИ-ТРЕТІЙ ТОМЪ

ТРИДЦАТЬ-ПЯТЫЙ ГОДЪ

ТОМЪ III

РЕДАКЦІЯ „ВѢСТНИКА ЕВРОПЫ": ГАЛЕРНАЯ, 20.

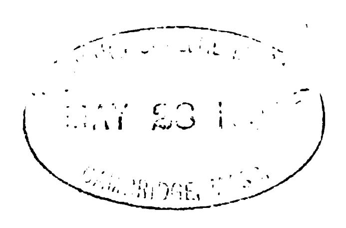
Главная Контора журнала: на Васильевскомъ Острову, 5-я линія, № 28.

Экспедиція журнала: на Вас. Остр., Академич. переулокъ № 7.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ

1900

~~Slav 30.2~~
PSlav 176.25
89?/41
Sever fund
2919



ЧЕРВОНЫЙ ХУТОРЪ

РОМАНЪ.

XXVIII *).

— „Что̀ я дѣлаю? Зачѣмъ я туда хожу, и чего мнѣ надо отъ этой благонамѣренной и благовоспитанной барышни?“ — думалъ Степанъ, пробираясь по заглохшей тропинкѣ мимо коноплянниковъ къ рѣкѣ.— „Развѣ мы когда-нибудь поймемъ другъ друга? Никогда!.. Мой міръ ей чуждъ и теменъ, а ея буржуазное благодушіе мнѣ ненавистно. Я хочу грозы, бури, катастрофы, а она мечтаетъ о „мѣщанскомъ“ счастьицѣ, о грошевой филантропіи, и кропотливо, но добросовѣстно, рѣшаетъ себѣ какія-то микроскопическія житейскія задачки, надѣвъ чистенькій фартучекъ и боясь испачкать свои хорошенькія ручки“...

Онъ вспомнилъ вдругъ бѣлую, съ синими жилками и длинными розовыми ногтями, руку Наташи, которую только-что держалъ въ своихъ рукахъ, и вся кровь бросилась ему въ голову. Еслибы кто нибудь зналъ, какъ хотѣлось Степану поцѣловать тогда эту ручку и этотъ маленькій распухшій пальчикъ!

Какихъ усилій стоило ему оттолкнуть ее и уйти!.. Это было бо, нелѣпо... но тѣмъ лучше...

„Тѣмъ лучше!“—со злостью и стыдомъ повторилъ Степанъ. адо это кончить... иначе Богъ знаетъ, до какой пошлости чно дойти... Влюбленъ я что-ли? Этого только недоставало“...

---

*) См. выше: апрѣль, 486 стр.

Онъ сбѣжалъ къ рѣчкѣ, ожесточенно ломая по дорогѣ сочные, толстые стебли конопли, и ничкомъ бросился на траву. Рѣка дремала, окутанная густыми камышами; изрѣдка у берега всплескивалась рыба; чибисъ со стономъ носился низко надъ землею и спрашивалъ: „чьи вы? чьи вы?“ Въ воздухѣ стоялъ тяжелый, одуряющій запахъ конопли и сладкою отравой вливался въ жилы Степана, кружа ему голову и навѣвая странныя грезы, непохожія на тошныя и постылыя будни жизни, которыя съ самаго дѣтства возбуждали ненависть и отвращеніе въ его безпокойной и впечатлительной душѣ. Еще ребенкомъ онъ началъ подмѣчать въ жизни только однѣ темныя и пошлыя стороны, не прикрашенныя никакими дѣтскими иллюзіями, къ которымъ онъ былъ неспособенъ, и эта пошлость по временамъ доводила его до такого отчаянія, что онъ по цѣлымъ днямъ ни съ кѣмъ не разговаривалъ, прятался по угламъ или лежалъ на кровати, неподвижно уставившись глазами въ стѣну. Тогда эти приступы назывались „капризами“, и Степана наказывали за нихъ,— оставляли безъ обѣда, ставили въ уголъ, лишали прогулки; потомъ, когда Степанъ учился уже въ гимназіи, это стало называться „вреднымъ направленіемъ“, за которое его опять-таки наказывали и неоднократно сажали въ карцеръ. Но угрюмый мальчикъ не исправлялся, а становился все угрюмѣе и нелюдимѣе, и никто не подозрѣвалъ, что, сидя въ карцерѣ, онъ рѣшилъ объявить всему свѣту войну и придумывалъ самые ужасные планы мести за всѣ свои обиды и притѣсненія. Съ такимъ враждебнымъ настроеніемъ онъ вышелъ въ жизнь... Но жизнь встрѣтила его еще суровѣе, чѣмъ школа, и то, что въ дѣтствѣ только смутно волновало Степана, возбуждая въ немъ неопредѣленную тоску, теперь безъ всякой церемоніи обнажило передъ нимъ свою истинную сущность. Онъ видѣлъ вездѣ однѣ раны и язвы жизни, самодовольное торжество сытыхъ желудковъ, рабскую покорность и трусливое невѣжество другихъ, жалкій трепетъ за жалкое существованіе—

„Безсилье правъ, тирановъ притѣсненье,
„Обиды гордаго, забытую любовь,
„Презрѣнныхъ душъ презрѣніе къ заслугамъ...“

—и его дѣтская ненависть росла, мужала и выливалась въ опредѣленныя формы. Чужая боль заставляла его забывать о собственныхъ ничтожныхъ обидахъ, и планы возмущенія противъ всего свѣта, во вкусѣ Шиллеровскихъ „Разбойниковъ“, показались ему самому смѣшными и нелѣпыми.

Покончивъ съ своими романтическими мечтами, Степанъ принялся за „трезвое изученіе дѣйствительности“. Онъ много перечиталъ, стараясь пополнить пробѣлы въ своемъ образованіи, поступилъ въ медико-хирургическую академію и въ первыя же каникулы отправился въ деревню, чтобы заранѣе испробовать свои силы для будущей борьбы „за обойденнаго, за угнетеннаго“... Но первые же шаги его на этомъ тѣсномъ пути, на который звалъ молодежь ея любимый поэтъ, окончились полной неудачей. Всякіе опыты опасны и требуютъ жертвъ, а опыты надъ жизнью— самые опасные изъ всѣхъ. Степанъ вернулся въ Петербургъ озлобленный, съ мрачною тѣнью отчужденія и вражды на лицѣ, и старая ненависть, зародившаяся въ его душѣ въ тишинѣ и одиночествѣ гимназическаго карцера, снова проснулась въ немъ. Онъ хотѣлъ быть другомъ, а его приняли за врага; онъ хотѣлъ „учить и лечить“, а его заподозрили въ подрываніи основъ,—и Степанъ изъ миссіонера превратился въ революціонера — и на этотъ разъ уже безъ всякихъ колебаній примкнулъ къ тому знамени, подъ которымъ, какъ ему казалось, долженъ былъ погибнуть весь старый міръ. Новое дѣло захватило его, и онъ отдался ему со всею страстностью и прямолинейностью своей натуры, неспособной ни на какіе компромиссы и уступки. Въ кружкѣ товарищей онъ былъ самымъ непримиримымъ, и его нетерпимость и ожесточеніе многихъ отталкивали отъ него, такъ что кто-то даже далъ ему кличку „Марата“. Онъ презиралъ всѣ человѣческія слабости, не признавалъ никакихъ нѣжныхъ чувствъ и на женщину смотрѣлъ только или какъ на товарища, если она была за-одно съ нимъ, или какъ на помѣху, если она не раздѣляла его убѣжденій. Товарищи его не были такими ригористами; многіе изъ нихъ ухаживали, влюблялись, даже женились и имѣли дѣтей; но Степанъ относился къ этому неодобрительно. Онъ былъ увѣренъ, что любовь, женитьба, семья, дѣти являются пушечнымъ ядромъ, привязаннымъ къ ногѣ каторжника, и часто любилъ цитировать слова Ауэрбаха: „художникъ, ученый и священникъ не должны имѣть семьи (Степанъ прибавлялъ: „и революціонеръ“...). Впрочемъ, и въ его жизни однажды разыгралось нѣчто вродѣ романа... но какой краткій и печальный былъ этотъ романъ! — Въ ихъ кружкѣ появилась одна дѣвушка-еврейка съ блѣднымъ личикомъ и большими грустными глазами, во взглядѣ которыхъ, казалось, сосредоточилась вся тоска и весь ужасъ гнета и презрѣнія, доставшихся въ удѣлъ ея гонимому племени. Эта дѣвушка была всегда молчалива и печальна; всегда она садилась куда-нибудь въ даль-

ній уголокъ, въ разговорахъ никогда не принимала никакого участія, и никто даже не зналъ хорошенько, что̀ она думаетъ и зачѣмъ сюда попала... Степанъ долго думалъ о ней, но сблизиться, сойтись съ дѣвушкой ему и въ голову не приходило; онъ даже, кажется, ни разу съ нею не разговаривалъ. Думая о ней, онъ никогда не представлялъ ее своей невѣстой или возлюбленной, никогда въ немъ не возбуждалось ни малѣйшаго желанія ея ласкъ, поцѣлуевъ, объятій,—думать такъ объ этой дѣвушкѣ казалось преступленіемъ,—а между тѣмъ ея образъ неотступно стоялъ передъ Степаномъ и цѣлый годъ не давалъ ему спокойно спать по ночамъ. Но скоро она сошла со сцены; ее арестовали по очень серьезному дѣлу, и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ она умерла въ тюрьмѣ отъ скоротечной чахотки. Извѣстіе о ея смерти страшно поразило Степана; онъ заперся въ своей квартирѣ и нѣсколько дней никуда не выходилъ, ничего не ѣлъ, ничего не дѣлалъ и только лежалъ на кровати, какъ медвѣдь въ берлогѣ, и глядѣлъ на стѣну. Когда припадокъ кончился, онъ вышелъ и принялся за свои обычныя дѣла, ни словомъ, ни однимъ намекомъ не вспоминая никогда о ней и о томъ, что̀ произошло. Никто даже и не узналъ о маленькой, безмолвной драмѣ, разыгравшейся въ душѣ Степана, но образъ умершей, такой же печальный и загадочный, какъ и при жизни, еще долго жилъ въ памяти молодого человѣка, какъ жалобный отзвукъ недоконченнаго аккорда.

Наташа съ первой встрѣчи произвела на Степана совсѣмъ другое впечатлѣніе, непохожее на то чувство, которое онъ питалъ когда-то къ черноокой еврейкѣ. Онъ никакъ не могъ понять, что̀ тянуло его къ этой чужой для него дѣвушкѣ, съ которой у него не было ничего общаго, и которая явилась изъ какого-то особеннаго и враждебнаго ему міра. Все въ ней возмущало и раздражало его,—и немножко чопорныя манеры хорошо воспитанной барышни, и благонамѣренно-буржуазные взгляды, и привычки, и наивное незнаніе жизни, и даже ея доброта, которая казалась ему какою-то безформенною и безразличной. Но въ то же время онъ постоянно думалъ о ней, разбиралъ ея слова и поступки и часто съ мучительнымъ чувствомъ стыда ловилъ себя на желаніи проникнуть поглубже въ ея внутренній міръ и узнать, что̀ она думаетъ о немъ самомъ. Это его злило и пугало; онъ старался подавить въ себѣ эти чувства и желанія, старался гнать отъ себя мысли о Наташѣ... въ послѣднее время даже боялся оставаться наединѣ съ самимъ собою и искалъ общества людей, которыхъ не любилъ и презиралъ. Но чѣмъ

болѣе онъ боролся съ собою, тѣмъ сильнѣе разгоралась въ немъ страсть, и по временамъ Степанъ чувствовалъ, что теряетъ всякую власть надъ своими поступками и мыслями. Когда онъ видѣлъ склоненную голову Наташи, съ волнистыми прядями волосъ, раздѣленными тоненькимъ бѣлымъ проборомъ, когда онъ глядѣлъ въ ея свѣтлые, серьезные глаза, — у него кружилась голова, внутренняя дрожь пронизывала его тѣло, и дикія желанія возникали въ отуманенной головѣ. Ему хотѣлось цѣловать эти мягкіе локоны, хотѣлось схватить Наташу на руки и унести ее куда-нибудь далеко, чтобы никто не видѣлъ его паденія и позора. Долго дремавшіе въ немъ инстинкты теперь грубо и неудержимо рвались наружу и нестерпимою болью терзали его сердце. Онъ убѣгалъ къ себѣ во флигель, мучился, проклиналъ и ее, и себя... даже плакалъ однажды... а тамъ, въ глубинѣ души, поднималось что-то нѣжное, сильное, таинственное, и шептало ему: „Это я... ты гналъ меня, но я пришла и не уйду“... И такъ велико было обаяніе этой прекрасной мечты, что онъ на мгновеніе забывалъ обо всемъ, его вѣчная душевная боль затихала, и Степанъ весь отдавался во власть могучихъ чаръ любви, которую онъ отрицалъ и которая все-таки побѣдила его.

Жалобный вопль чибиса надъ самой головой заставилъ Степана очнуться отъ своихъ грезъ. Онъ поднялся и мутными глазами посмотрѣлъ на залитую солнечнымъ блескомъ сонную рѣку. Ему казалось, что прошло уже много времени съ тѣхъ поръ, какъ онъ пришелъ сюда, и вспомнились разсказы, читанные имъ въ дѣтствѣ, о людяхъ, которые засыпали подъ пѣніе птички и пробуждались сѣдыми стариками. Теперь эта сказка получила для него особый смыслъ... Не то же ли самое случилось и съ нимъ? Еще не много времени прошло съ тѣхъ поръ, какъ онъ чувствовалъ себя сильнымъ, твердымъ и безупречнымъ, но вотъ прилетѣла откуда-то невѣдомая птичка, пропѣла ему свою коротенькую пѣсенку,—и онъ ослабѣлъ, и все прошлое его оторвалось и исчезло куда-то, и передъ нимъ открывается новая страница жизни, въ которой онъ чувствуетъ себя потеряннымъ, чужимъ, и не знаетъ, что̀ ему дѣлать и куда идти... — „Что̀ же, — подумалъ онъ съ покорностью: — значитъ, и я такой же, какъ и всѣ... и во мнѣ мое личное „я“ преобладаетъ надъ всѣмъ и тянетъ меня на проторенную дорожку. Значитъ, нечего и толковать: иди, люби, плодись, размножай себѣ подобныхъ, — убогихъ, жалкихъ, безсильныхъ рабовъ своего собственнаго тѣла и своихъ собственныхъ желудковъ. Ничего измѣнить нельзя... и никакая буря, никакой потопъ, не уничтожатъ этой вѣковой без-

смыслицы. Вотъ я раздавлю этого червяка... но вѣдь зародыша его я не могу убить, вѣдь онъ останется, и изъ него опять выйдетъ такой же червякъ, отвратительный, жадный, жалкій, и такъ же онъ будетъ ползать по землѣ, такъ же будетъ дрожать за свое существованіе, отнимать пищу у другихъ и плодить такихъ же отвратительныхъ червей"...

Степанъ съ ненавистью раздавилъ несчастнаго червя, который ползъ у его ногъ, и этотъ безсмысленный поступокъ отрезвилъ его. „Какъ это глупо!"—прошепталъ онъ.—„Мелкая злость—признакъ безсилія; всѣ побѣжденные мстятъ за свои обиды булавочными уколами. Неужели и я побѣжденъ?"—Прежняя энергія вернулась къ нему, и онъ съ усмѣшкой тряхнулъ головой.—„Нѣтъ, не хочу! Я уничтожу въ себѣ эту подлую гадину, которая копошится тамъ, внутри, и проситъ вкуснаго и сладкаго. Любовь, какъ и смерть, неизбѣжна... Кто это сказалъ? Прилукинъ, кажется... Ну и пусть себѣ всѣ эти Прилукины, Максимы Григорьевичи и благонамѣренныя барышни въ чистенькихъ фартучкахъ,—пусть они живутъ своими крошечными муравьиными ощущеніями, пусть ихъ копошатся, пьютъ, ѣдятъ, цѣлуются,—я не хочу! Я въ дребезги разнесу все ихъ жалкое „мѣщанское" счастье,—я ненавижу ихъ... и не надо мнѣ ничьей любви".

Онъ спустился къ рѣчкѣ, намочилъ водой свою пылающую голову и, выбравшись изъ вязкой тины, хмокавшей подъ его ногами, пошелъ по дорожкѣ въ поле.

XXIX.

Узенькая межа, заросшая колючимъ татарникомъ и кошачьей травой, вывела его на большую дорогу. Направо виднѣлась сажалка; налѣво въ горячей дымкѣ синѣлъ Настасьинъ-курганъ. Степанъ остановился въ раздумьѣ,—куда ему идти? Одну минуту онъ было-совсѣмъ рѣшилъ свернуть на пчельникъ, къ Егору, но мысль о томъ, что опять надо будетъ разговаривать, остановила его. Ему никого не хотѣлось видѣть теперь, и даже общество мрачнаго Егора, озлобленный характеръ котораго былъ такъ похожъ на его собственный, не привлекало его. Онъ взглянулъ на Настасьинъ-курганъ, и ему живо вспомнился тотъ сырой вечеръ въ саду, на ступенькахъ балкона, когда Максимъ Григорьевичъ разсказывалъ свою легенду. Эта сказка произвела тогда на Степана сильное впечатлѣніе, и въ лихорадочномъ бреду ему все мерещилась бѣлая женщина въ покрывалѣ... Разъ

она даже какъ будто склонилась надъ нимъ и открыла лицо, въ которомъ онъ смутно угадалъ знакомыя черты.—„Почему это такъ поразило меня въ тотъ вечеръ?“—подумалъ онъ, пристально вглядываясь въ голубоватыя очертанія кургана и стараясь припомнить тѣ странныя ощущенія бреда, которыя онъ переживалъ въ жару лихорадки. „Помнится, мнѣ хотѣлось снять съ нея покрывало, и въ то же время я страшно боялся это сдѣлать... Но былъ, былъ моментъ, когда она открыла лицо и такъ близко-близко наклонилась ко мнѣ, что я могъ ее узнать. Это была она, Наташа“... Степанъ вздрогнулъ, поймавъ себя на этой мысли, и засмѣялся...—„Опять она? Неужели отъ нея никуда не уйдешь? Червякъ, червякъ... Не даромъ мнѣ припомнилась эта сказка: это — предостереженіе для меня. Любовь для меня— вотъ эта самая женщина съ закрытымъ лицомъ. Если я взгляну ей въ лицо,—я погибъ...“

Мѣрные такты лошадинаго галопа прервали его мысли. По дорогѣ на встрѣчу ему скакала верховая лошадь,—въ облакѣ пыли виденъ былъ развѣвающійся шлейфъ амазонки, и Степанъ догадался, что это—Чекманаева. Онъ хотѣлъ-было скорѣе свернуть въ сторону и скрыться на межѣ, между высокими стѣнами пшеницы, но не успѣлъ, и Антонида Васильевна наскакала прямо на него. Она вся раскраснѣлась отъ быстрой ѣзды, локоны ея всѣ перепутались, и густой слой пыли покрывалъ ея суконное платье; лошадь была въ мылѣ, и неизбѣжная Ромашка съ высунутымъ языкомъ едва поспѣвала за своей госпожей.

Узнавъ Степана, Антонида Васильевна круто осадила запыхавшуюся лошадь и остановилась. На мгновеніе ея лицо покрылось мертвенною блѣдностью,—глаза приняли испуганное выраженіе, и она схватилась за грудь, точно ей трудно было дышать... Но она быстро справилась съ собою; румянецъ снова прихлынулъ къ ея щекамъ, и напряженная улыбка появилась на губахъ.

— Вы... получили мое письмо? — какимъ-то пересохшимъ голосомъ спросила она и откашлянулась.

— Получилъ...—хмуро отвѣчалъ Степанъ, не глядя на нее и комкая въ рукахъ колосъ пшеницы.

Этотъ холодный и сухой отвѣтъ заставилъ Антониду Васильевну снова поблѣднѣть. Легкая судорога пробѣжала по ея лицу, и она крѣпко стиснула зубами рукоятку своего хлыста, точно желая заглушить нестерпимую внутреннюю боль.

Степанъ искоса взглянулъ на нее и сдѣлалъ движеніе уйти. Но Антонида Васильевна встрепенулась и протянула къ нему руки.

— Постойте... Помогите мнѣ сойти, — проговорила она тѣмъ же сдавленнымъ голосомъ.

— Зачѣмъ?

— Мнѣ нужно... ну... да дайте же мнѣ руку!

Степанъ неловко протянулъ ей руку, и она торопливо спрыгнула съ сѣдла. Шлейфъ ея зацѣпился за стремя, — она нетерпѣливо стала его отцѣплять, но руки у нея дрожали, и она съ досадой оторвала его.

— Возьмите лошадь подъ уздцы и свернемте сюда...—отрывисто сказала она.—Мнѣ нужно съ вами... поговорить.

— Намъ не о чемъ съ вами говорить,—рѣзко проговорилъ Степанъ, и лицо его приняло жесткое, непріятное выраженіе.

— Возьмите лошадь!—повторила Антонида Васильевна, сворачивая на межу.

Степанъ, послѣ нѣкотораго колебанія, взялъ лошадь и неохотно послѣдовалъ за Чекманаевой. Ромашка злобно покосилась на него своими желтыми человѣческими глазами и, опустивъ хвостъ, пустилась догонять Антониду Васильевну, которая уже далеко ушла впередъ. Она бѣжала почти бѣгомъ, спотыкаясь на кочкахъ; шлейфъ ея небрежно тащился за нею, цѣпляясь за колючія иглы татарника, но она не обращала на него вниманія, и скоро онъ былъ весь въ клочьяхъ и въ репьяхъ. Кругомъ стояла все та же сонная, полуденная тишина; только стремена едва позвякивали, да усталая лошадь тяжело вздыхала и отфыркивалась отъ пыли, набившейся ей въ ноздри.

Вдругъ Антонида Васильевна остановилась и круто повернулась къ Степану. Все лицо ея было залито слезами; онѣ текли быстро и беззвучно, спадая на черный лифъ ея платья и нисколько не мѣняя ея лица. Она какъ будто ихъ и не замѣчала.

— Степанъ Павловичъ!—глухо проговорила она, протягивая къ нему руки.—Степанъ Павловичъ...

Степанъ отшатнулся отъ нея и молчалъ, глядя въ землю.

— Степанъ Павловичъ!—повторила Чекманаева.—Неужели вы ничего не скажете, ни одного слова? Неужели вамъ нечего мнѣ сказать?

— Нечего.

— Нечего?!—упавшимъ голосомъ произнесла Антонида Васильевна и снова откашлянулась.—Постойте... но вѣдь вы прочли мое письмо, да? Вы теперь знаете, чтò я такое и какова моя жизнь? Я ничего отъ васъ не скрыла, ничего, ни одной крошечки... вы видите, какъ я мучаюсь, какъ рвусь на волю, какъ

хочу жить, любить... и послѣ всего этого вы ничего не можете мнѣ сказать?..

— Я, право, не знаю, чего вы отъ меня хотите,—съ нетерпѣніемъ перебилъ ее Степанъ.

— Неужели не знаете?.. Это неправда... Вѣдь я же все вамъ сказала, все написала. Вы — единственный, который можетъ меня вытащить изъ этого омута... Безъ васъ я пропаду, сойду съ ума, убью себя, какъ бѣшеную собаку... Степанъ Павловичъ... вы одинъ, только одинъ вы, на котораго вся надежда. Возьмите меня,—я пойду за вами, куда хотите... Я васъ люблю; вы—мой богъ, вы—моя жизнь,—я буду дѣлать, что̀ вы велите, побѣгу за вами на край свѣта...

— Изъ однѣхъ цѣпей въ другія...—вымолвилъ Степанъ.

— Да, да, да!..—страстно повторила Антонида Васильевна, не замѣчая его ироническаго тона.—Я буду вашей рабой, вашей собакой,—всѣмъ, чѣмъ хотите... Вы смѣетесь? Вы не вѣрите? Я вамъ докажу... Вы думаете, что я тряпка, что я пьяница и боюсь своего мужа? Вы меня не знаете, на что̀ я способна... Скажите мнѣ слово,—только одно маленькое словечко,—и я сегодня же убью мужа, все сожгу, все пущу на вѣтеръ... Пусть будетъ каторга, висѣлица, тюрьма,—я ничего не боюсь, на все готова, только бы съ вами вмѣстѣ, только бы вы протянули мнѣ свою руку и сказали, что вы меня любите... Степанъ Павловичъ, милый, какъ я васъ люблю, какъ люблю, еслибы вы знали!..

Она, ломая руки, рухнулась передъ нимъ на колѣни... Степанъ вздрогнулъ и болѣзненно поморщился.

— Послушайте... — грубо сказалъ онъ. — Что̀ вы дѣлаете? Довольно играть комедію... это противно. Встаньте, пожалуйста!

— Возьмите меня... возьмите меня... — твердила Антонида Васильевна, и вдругъ, поймавъ его руку, прильнула къ ней губами.

— Это возмутительно!.. — воскликнулъ Степанъ, съ негодованіемъ вырывая у нея свою руку и стараясь ее поднять.—Я не могу видѣть этого униженія. Вы до того пали нравственно, что даже не понимаете слова: „свобода“. Вы говорите: „я хочу на волю“, а сами ищете новаго рабства и новаго господина. Вамъ непремѣнно нужно, чтобы явился какой-нибудь герой, взялъ васъ за ручку и вывелъ изъ вашей тюрьмы. Ахъ, еслибы вы хотѣли свободы, вы бы давно добились ея! Свободу не выпрашиваютъ на колѣняхъ, а берутъ силой, и подаренная свобода—не свобода... Если вы сами не можете ее взять—значитъ, она вамъ и не нужна.

Антонида Васильевна рыдала, припавъ головою къ крупу лошади, а Ромашка, глядя на нее, легонько подвывалъ, усиленно махалъ хвостомъ и толкалъ ее мордой подъ локоть, напоминая о себѣ.

— Ну, не плачьте, чтò за дѣтство!—продолжалъ Степанъ мягче.—И чтò это вамъ пришло въ голову разыгрывать романы? Ей Богу, это смѣшно и пошло... Вамъ самой будетъ потомъ стыдно, когда вспомните, чего вы здѣсь наговорили. И слова-то какія все рабскія—„возьмите“, „уведите“, „прикажите“... И на чтò мнѣ нужна смерть вашего мужа, всѣ эти пожары, убійства, которыя вы мнѣ предлагаете? Ничего этого я вовсе не желаю... и вотъ вамъ еще доказательство, что вы меня совсѣмъ не понимаете. Вы живете чувствомъ, а не разумомъ; вы—ребенокъ, и понятія у васъ ребячьи. Вамъ надоѣлъ вашъ мужъ, и вы увлеклись первымъ встрѣчнымъ; это даже не любовь, это—капризъ, и вы такъ же скоро забудете обо мнѣ, какъ и вонъ объ этомъ облачкѣ, которое плыветъ надъ вами. Я уѣду, порывъ пройдетъ, и вы опять будете пить, плясать, пѣсни пѣть, съ мужемъ ругаться, пока не явится новый герой, котораго вы, такъ же, какъ и меня, будете просить увести васъ куда-то...

— Вы думаете? — сказала Антонида Васильевна, все еще плача, но уже прислушиваясь къ словамъ Степана.

— Я думаю.

— Какъ же гадко вы обо мнѣ думаете!..

— Вы не дали мнѣ основаній думать иначе. Вспомните наше первое знакомство... (Антонида Васильевна вздрогнула). Я тогда же понялъ всю вашу натуру. Вмѣсто характера, у васъ распущенность; вмѣсто убѣжденій—одни чувственные порывы,—вы вся во власти своихъ страстей и отрицаете всякую нравственную дисциплину. Для васъ не существуетъ никакого другого закона, кромѣ какъ: „я хочу!“ Хочется пить—пьете; захотѣлось героя—подавай вамъ героя; сегодня вы не знаете, чего вамъ захочется завтра,—скажите сами, чтò можно сдѣлать для такого человѣка?

Антонида Васильевна перестала плакать и широко открытыми глазами смотрѣла на Степана, судорожно вертя въ рукахъ свой хлыстикъ.

— Я знаю, вамъ непріятно то, чтò я говорю,—продолжалъ Степанъ.—Люди не любятъ правды,—имъ пріятнѣе сладкая ложь, но я лгать и притворяться не умѣю. Мнѣ васъ очень жаль, но ничѣмъ помочь я вамъ не могу. Вы требуете отъ меня любви,—я васъ не люблю, а товарищемъ моимъ вы быть не

можете. Давайте же, мирно разойдемся въ разныя стороны, и постарайтесь какъ можно скорѣе позабыть объ этомъ непріятномъ эпизодѣ.

Слезы высохли на глазахъ Антониды Васильевны,—она вся дрожала мелкой дрожью, такъ что зубы ея стучали.

— Спасибо за совѣтъ...—прошептала она хрипло.—Но мнѣ совѣтовъ вашихъ не нужно... Я не совѣтовъ у васъ прошу, а любви...

— Я уже сказалъ, что я васъ не люблю. Я никого не люблю, и женщина, какъ жена и любовница, для меня не существуетъ...

Антонида Васильевна захохотала.

— О, какъ вы лжете!—задыхаясь, воскликнула она.—Какъ вы лжете, благородный проповѣдникъ правды и свободы! „Никого не люблю"!.. Неправда, я знаю, кого вы любите! Я знаю, чье бѣленькое личико снится вамъ по ночамъ... Я все знаю...

Степанъ поблѣднѣлъ и нахмурился.

— Какое вамъ до этого дѣло?—сказалъ онъ рѣзко, чувствуя, что начинаетъ злиться на нее и именно за то, что она сказала правду.

— Ага! Какое мнѣ дѣло? Нѣтъ, постойте, теперь и я вамъ скажу свою правду, которую вы такъ любите. Ахъ, вы, герои! Какіе вы герои... такіе же грѣшные люди, какъ и мы... Вы только разными идеями прикрываетесь, а поамурничать тоже не прочь, только бы все было шито-крыто... Іезуиты вы, фарисеи! Ха-ха-ха!.. Все это—ложь одна и кривлянье! Проповѣди читать вы умѣете, а когда къ вамъ приходитъ человѣкъ весь истерзанный, измученный, и проситъ хоть немножко пожалѣть его,—вы его отталкиваете...

— Я сказалъ, что мнѣ васъ жаль...

— На кой чортъ мнѣ ваша фарисейская жалость?—въ изступленіи кричала Антонида Васильевна.—Плюю я на нее и на ваше дѣло плюю,—ничего изъ этого не выйдетъ, потому что у васъ настоящаго сердца нѣтъ, любви ни къ кому нѣтъ... Подлецы вы, а не герои! Ничего вы не сдѣлаете,—всѣхъ васъ перевѣшаютъ, только и всего! И я рада буду, я хохотать буду, когда васъ повѣсятъ, я плясать буду на вашей могилѣ! Вотъ вамъ!

Она переломила хлыстъ и бросила его въ лицо Степану; увидѣвъ это, и Ромашка съ злобнымъ рычаніемъ бросился на Степана. Степанъ, весь блѣдный, выхватилъ изъ кармана револьверъ и взвелъ курокъ.

— Уберите вашу собаку...—сказалъ онъ угрожающе.— Иначе я застрѣлю ее. Вы—сумасшедшая... вамъ мало того, что вы гостей своихъ травите собаками,—и меня хотите затравить...

— А! вамъ уже нажаловались?—продолжала кричать Антонида Васильевна, схватывая Ромашку за ошейникъ и удерживая его около себя.—А вы, небось, расчувствовались, ручки лизали, благо удобный случай нашелся?.. Ахъ, вы, герой!...

Ее всю корчило и ломало, хорошенькое личико ея исказилось до неузнаваемости, истерическій хохотъ потрясалъ все ея худенькое тѣло. Степанъ повернулся и, молча, пошелъ отъ нея прочь.

— Трусъ! Іезуитъ!—крикнула она ему въ догонку.

Степанъ удалялся, не оборачиваясь. Антонида Васильевна безсмысленно посмотрѣла ему вслѣдъ и вдругъ, оттолкнувъ ногой Ромашку, которая жалобно завизжала, бросилась догонять Степана.

— Постойте, постойте...—задыхаясь, говорила она, цѣпляясь за его платье и ловя его руки.—Не уходите... простите меня... Ну, ударьте меня... Убейте меня,—я подлая, гадкая, я васъ оскорбила... простите...

Степанъ оторвалъ отъ себя ея судорожно сжатыя руки, посадилъ ее на землю и пошелъ дальше. Антонида Васильевна упала лицомъ въ колючую траву и застыла. Шляпа ея скатилась на землю, солнце пекло голову; лошадь, позвякивая уздечкой, бродила по пшеницѣ и жевала колосья; Ромашка, повизгивая, подползла къ Антонидѣ Васильевнѣ и осторожно лизала ее въ ухо... Антонида Васильевна ничего не видѣла, не слышала и не чувствовала.

XXX.

На хуторѣ уже пообѣдали; Максимъ Григорьевичъ, по обыкновенію, легъ соснуть, а подруги сидѣли подъ липами. Наташа лежала, положивъ голову на колѣни Ксанѣ, которая перелистывала какую-то тоненькую тетрадку съ пожелтѣвшими страницами, исписанными мелкимъ почеркомъ. Это былъ дневникъ ея матери, который Ксаня давно собиралась показать Наташѣ.

— Бѣдная мама!—вздохнувъ, сказала Ксаня.—Въ ея дневникѣ нѣтъ ни одной страницы, гдѣ бы она написала: „сегодня мнѣ было весело“... „сегодня я была счастлива“... Зато вотъ что̀ пишетъ она, напримѣръ, 7 ноября 187... года: „Какъ печальна эта сѣрая земля, какъ печальна жизнь на ней!.. Я смотрю

на людей, и меня удивляетъ, какъ они могутъ быть постоянно веселы, довольны, смѣшливы, если только они сыты. Вотъ я слышу въ кабинетѣ мужа веселые голоса и хохотъ. Они смѣются —отчего же мнѣ такъ грустно? Они сыты, но вѣдь и я сыта, а все-таки мнѣ чего-то недостаетъ... Чего же?"

— Или вотъ еще,—продолжала Ксаня.—„Я не могу безъ грусти смотрѣть на дѣтей (это она объ насъ пишетъ!—вставила Ксаня)... Они такъ беззаботно играютъ—и не думаютъ о томъ, какія, можетъ быть, страданія и несчастія ждутъ ихъ впереди. Особенно жаль мнѣ Степу,—онъ такой чувствительный, боязливый и дикій мальчикъ, — онъ будетъ несчастливъ, потому что неспособенъ вызывать въ людяхъ сочувствіе и любовь. Онъ похожъ, мнѣ кажется, на меня; я вѣдь тоже не могу нравиться людямъ, потому что я постоянно болѣю и грущу. Люди любятъ счастливыхъ, а несчастные ихъ пугаютъ. Вотъ Ксаня—совсѣмъ другой ребенокъ,—она будетъ легче смотрѣть на жизнь, и оттого будетъ счастливѣе"...

— А вѣдь правда!—сказала Наташа.—Ну, читай дальше... это очень интересно. Я какъ будто знакомлюсь съ твоей матерью, и мнѣ она очень нравится...

— Да, она хорошая была...—задумчиво проговорила Ксаня. —Папа былъ добрый и тоже хорошій... но куда ему до мамы! Онъ тоже легко смотрѣлъ на жизнь, какъ и я,—и я теперь думаю, что они съ мамой были не пара. Вотъ, постой, я тебѣ сейчасъ прочту...

„Я ль виновата, что розы увядшія —
Плодъ опостылѣвшихъ узъ?..
Жизнью съ тобой наслаждаются падшія,
Я же грущу и томлюсь...
Все тебѣ радость и все наслажденіе,
Жизнь твоя блещетъ, кипитъ...
Я же влачу свои дни въ отчужденіи,
Скорбь мою душу томитъ..."

— Это не кончено,—продолжала Ксаня.—Впрочемъ, у нея совсѣмъ нѣтъ конченныхъ стихотвореній,—все наброски, кусочки... Вотъ еще одинъ такой кусочекъ...

„Оставь—и не буди души моей больной,
Недуга тяжкаго не требуй исцѣленья:
Тебѣ не разрѣшить безумнаго сомнѣнья,
И ты не въ силахъ дать мнѣ счастье и покой...
Видалъ ли ты, какъ осенью туманной
Завядшій листъ ложится подъ стопой?
Ему не жить; весны благоуханной
Онъ не дождется вновь.. Оставь меня, другъ мой!"

Голосъ Ксани задрожалъ и оборвался. Подруги задумались. Печальная тѣнь умершей, казалось, витала надъ ними; имъ непонятна была тоска, которою томилась она всю жизнь, но ея горькія жалобы нашли отголосокъ въ ихъ сердцахъ и возбуждали въ нихъ смутныя предчувствія грядущихъ страданій. Странныя чувства переживаешь всегда, перечитывая письма и дневники людей, давно исчезнувшихъ, но оставившихъ въ этихъ пожелтѣлыхъ листочкахъ часть своей души... Точно какая-то таинственная дверь раскрывается предъ тобою, и тамъ звучатъ давно умолкнувшіе голоса, рѣютъ блѣдные, безформенные призраки, и съ невольнымъ страхомъ думаешь о томъ, когда и самъ ты, со всѣми своими маленькими радостями, надеждами, страданіями, уйдешь навсегда въ эту дверь, не оставивъ послѣ себя ничего...

На дворѣ послышался стукъ колесъ, въ домѣ захлопали дверями; по дорожкѣ прослѣдовалъ Мидасъ, увлекаемый куда-то своими чудодѣйственными сапогами. Ксаня торопливо свернула тетрадку.

— Это къ намъ, должно быть, пріѣхали,—сказала она.— Какая досада,—я совсѣмъ сегодня не въ такомъ настроеніи, чтобы принимать гостей!.. Я бы хотѣла...

Она не договорила, и вся вспыхнула, потомъ поблѣднѣла. Съ балкона спускался Прилукинъ; за нимъ шла, волоча свой изодранный шлейфъ, Антонида Васильевна. Она была страшно блѣдна; подъ глазами ея вырѣзались синіе круги, точно послѣ трудной болѣзни; губы потемнѣли и пересохли.

— Что это съ вами, Антонида Васильевна?—съ участіемъ спросила Наташа, подходя къ ней.

Антонида Васильевна взглянула на нее своими потускнѣвшими глазами, и слабая улыбка раздвинула ея сухія губы.

— Что?—переспросила она.—Ничего... Я сейчасъ заѣхала въ оврагъ, упала съ лошади и, кажется, немного ушиблась... впрочемъ, не знаю... Дайте мнѣ, пожалуйста, воды...

Наташа принесла ей воды. Антонида Васильевна жадно выпила весь стаканъ, облизала губы, и на щекахъ ея выступила легкая краска.

— Ну, вотъ... хорошо... — сказала она и прояснившимся взглядомъ посмотрѣла на Наташу.—Спасибо... вы добрая... Но, Боже мой, въ какомъ я ужасномъ видѣ! Нѣтъ ли у васъ иголки?

— Пойдемте ко мнѣ въ комнату, тамъ все найдется.

— Ахъ, какъ у васъ хорошо, какъ хорошо!—проговорила Антонида Васильевна, входя въ комнату Наташи.—Чисто, тихо... точно въ кельѣ, въ монастырѣ... Ахъ!..

Она громко вздохнула и, свѣсивъ голову на грудь, опустивъ безсильно руки, сѣла на стулъ. Тишина и свѣжесть Наташиной комнатки, въ силу контраста, вызвали въ ней воспоминаніе о бурной сценѣ, только-что разыгравшейся тамъ, въ полѣ, и ощущеніе грязи и нечистоты собственной жизни, ѣдкая горечь всѣхъ обидъ и надругательствъ, боль оскорбленной и отвергнутой любви наполнили ея душу стыдомъ и отчаяніемъ...

Къ ней подошла Наташа съ иголкой въ рукахъ.

— Ну, давайте, я зашью, гдѣ у васъ изорвано,—ласково сказала она, наклоняясь къ Чекманаевой.

— Что? Ахъ, да, платье... Но зачѣмъ же вы сами,—дайте мнѣ иглу...

— Постойте, — перебила ее Наташа. — Знаете что̀,—ваше платье надо отдать Олимпіадѣ,—его слѣдуетъ хорошенько вычистить. А вы пока надѣньте что-нибудь мое...

— Ваше? Это забавно... Ну, хорошо, давайте... Только вы какъ?.. Вамъ не противно будетъ послѣ меня?.. Я такая грязная, гадкая... Неужели не противно? Ахъ, вы,—добрая, добрая!.. Можно мнѣ васъ поцѣловать? Нѣтъ, не въ губы, я не стою... дайте мнѣ вашу руку, вонъ ту, которую Ромашка укусилъ...

Она порывисто схватила руку Наташи, поцѣловала ее и, оттолкнувъ, вдругъ отвернулась и заплакала. Наташа растерянно смотрѣла на нее.

— Антонида Васильевна, голубушка, да что̀ же это вы?— сказала она, осторожно снимая съ нея шляпу и разглаживая ея спутанные волосы. Но Чекманаева отстранила отъ себя Наташину ласку и, подавивъ рыданія, заговорила грубо и рѣзко:

— Что̀, что̀? Зачѣмъ вы спрашиваете? И какое вамъ до меня дѣло? Ну, пла̀чу и пла̀чу, и никому до этого дѣла нѣтъ, и нечего спрашивать. Ха! Сама виновата, а еще туда же съ нѣжностями! Укусила, да зализываетъ!..

— Я виновата?—съ удивленіемъ спросила Наташа.

— Ну да... точно вы не знаете! Ахъ, лицемѣрка!.. Ангельчикъ... Знаю я васъ, ангельчиковъ-то этихъ: святошами прикидываются, а сами рады, если мужчина за ихъ подоломъ бѣгаетъ! Всѣ вы хороши...

Она выговорила грубое, отвратительное слово... Наступило тяжелое молчаніе. Въ отворенныя окна изъ сада доносились голоса, звонъ чайной посуды, чириканье птицъ, но эти звуки казались Наташѣ далекими и странными, точно она слышала ихъ во снѣ. Вдругъ Антонида Васильевна быстрыми шагами подошла къ ней, взяла ее за руки и заглянула ей въ лицо.

— Ну... что̀ же вы?—прошептала она.—Ну... ударьте меня,— вотъ вамъ моя щека... Что̀ же вы молчите? Не хотите говорить? Сердитесь?

— Нѣтъ, я не сержусь на васъ, — вымолвила Наташа съ трудомъ.

— Неправда... почему же вы не смотрите на меня? Вамъ противно, да? Но еслибы вы знали, какой ныньче для меня ужасный день... У меня только одно было, только одно... и сегодня все пропало, ничего нѣтъ, и вся моя жизнь пошла къ чорту... Ахъ, да что̀... я вамъ разскажу... Теперь мнѣ все равно!

Она крѣпко стиснула руки Наташи въ своихъ, посадила ее рядомъ съ собой на кровать и начала страстнымъ шопотомъ:

— Я полюбила... Знаете, кого?

— Степана Павловича...—глухо вымолвила Наташа.

— Какъ вы это угадали?.. Впрочемъ, да, да... именно *вы* и должны были это угадать... Степана Павловича! Помните, я разсказывала вамъ свою жизнь? Вѣдь гадость, мерзость, помойная яма? И вдругъ въ эту яму, скверную, вонючую, солнышко заглянуло... Вотъ какъ это было. Пріѣхала я какъ-то разъ сюда одна, безъ Данилки, гостей много собралось, обѣдали, пили водку... Я тоже пила и очень охмелѣла. Пѣсни начала пѣть, плясала, говорила гадости. Ну, а вы знаете, какіе у насъ мужчины,—имъ это нравится... Начали они меня всячески подзадоривать, водки подливаютъ, въ ладоши хлопаютъ... даже Максимъ Григорьевичъ. Онъ хорошій человѣкъ, и добрый, и лучше всѣхъ здѣсь, пожалуй; но вѣдь вы, я думаю, сами видите, что онъ очень недалекій, и, конечно, тоже вмѣстѣ съ другими хохочетъ, поощряетъ всѣ мои глупости, а я еще пуще дурю... Только вдругъ, смотрю, — сидитъ въ углу какой-то незнакомый господинъ и глядитъ на меня такъ печально, такъ жалостливо, что у меня сразу все веселье пропало. Точно пронзилъ онъ меня своимъ взглядомъ. Спрашиваю: кто такой? Говорятъ, —студентъ, изъ Петербурга его сюда привезли... То-то, думаю, на нашихъ бугаевъ не похожъ... а сама все на него посматриваю. Присмирѣла, дурачиться бросила и къ нему подсѣла:— „Что̀, спрашиваю, не нравится вамъ наше веселье?“ А онъ говоритъ: —„Да развѣ это веселье? Это какой-то пиръ дикарей,—смотрѣть противно... И зачѣмъ вы пьете водку? Мнѣ васъ жаль,—вѣдь надъ вами потѣшаются и нарочно васъ поятъ. Какъ это можно позволять, чтобы всякій скотъ надъ вами издѣвался?“ Ахъ, и что̀ только со мной послѣ этихъ словъ сдѣлалось!.. Никто со мной этакъ никогда не разговаривалъ. Не стала я больше пить,

уѣхала домой и всю ночь напролетъ проплакала. И показалось мнѣ, что все кругомъ меня перемѣнилось, и сама я—не прежняя Чекманаевская Антошка, а какая-то совсѣмъ другая, и захотѣлось мнѣ жить не такъ, какъ жила, а по новому, по другому...

Она перевела духъ,—на щекахъ ея выступилъ блѣдный румянецъ. Наташа молчала, но сердце ея торопливо билось, и она, сама не зная почему, жадно ждала продолженія разсказа.

— Ну, вотъ...—начала снова Антонида Васильевна.—Стала я сюда часто ѣздить. Какъ только супругъ въ степь, я на лошадь—и маршъ на хуторъ. Сяду куда-нибудь въ уголокъ и все смотрю на Степана Павловича, да слушаю, какъ онъ съ Максимомъ Григорьевичемъ споритъ. Сама разговаривать съ нимъ боялась,—мнѣ казалось, что онъ меня презираетъ,—но ни одного словечка его я ни разу не проронила, и всѣ они у меня вотъ здѣсь спрятаны (она постучала своимъ худенькимъ кулачкомъ себя въ грудь). Понравились мнѣ его рѣчи, и сразу я поняла, что̀ онъ за человѣкъ и какія у него мысли. Больше всего меня то̀ къ нему тянуло, что онъ такой же озлобленный, какъ и я, и что онъ всѣхъ мучителей ненавидитъ... Бывало, сидишь, слушаешь, а душа-то такъ и играетъ, такъ и хочется закричать ему: „Голубчикъ мой, да вѣдь мы съ тобой за-одно,—пойдемъ вмѣстѣ; куда ты, туда и я, хоть въ омутъ головой,—жизнь готова отдать за тебя...“ И до того дошло, что еслибы онъ хоть слово мнѣ сказалъ,—я бы не знаю, что̀ сдѣлала... весь міръ бы кверху ногами перевернула, и сама въ таръ-тарары!.. А онъ... онъ на меня и не смотрѣлъ, точно передъ нимъ не человѣкъ, а дерево какое-то. Ахъ, какъ мнѣ это было больно!..—со стономъ воскликнула она, схватившись за голову.—Въ самомъ дѣлѣ-то,—что̀ такое для него я? Онъ—сильный, смѣлый, строгій, а я—истасканная, скверная тряпка, пьяница, потерянная тварь, объ которую всякіе подлецы ноги вытираютъ... Развѣ можно такую полюбить? А я-то, глупая, вообразила себя какой-то героиней,—взяла, да и написала ему любовное письмо, какъ Татьяна у Пушкина... Ха-ха-ха! Это я-то—Татьяна! Можете вы себѣ это представить?

— Что̀ же онъ вамъ отвѣчалъ? — невольно вырвалось у Наташи.

— Ага, вамъ это интересно?—съ горькимъ смѣхомъ сказала Антонида Васильевна, пристально вглядываясь въ покраснѣвшее лицо Наташи.—А какъ вы думаете, что̀ онъ мнѣ отвѣтилъ? За любовь—любовью, за сердце — сердце; вмѣстѣ жить, вмѣстѣ и погибнуть... Что̀, испугались? Не бойтесь... ничего онъ мнѣ не отвѣтилъ... Цѣлый мѣсяцъ я ждала, — и не дождалась... Ахъ,

какая это мука — ждать неизвѣстнаго!.. Какую адскую злость я пережила въ это время! Опять водку начала пить, опять все по старому пошло. Блеснулъ огонекъ—и погасъ, и нѣтъ ничего... Пей, Антошка, гуляй, пока не издохнешь!

— Но зачѣмъ же...—начала Наташа.

— Зачѣмъ-зачѣмъ!.. А зачѣмъ вы сюда пріѣхали, я васъ спрошу? Вѣдь это вы у меня все отняли, послѣднюю мою надежду, послѣднюю радость—вы взяли, обѣими руками! Вѣдь онъ васъ любитъ, васъ,—неужели вы не видите? Ну, что̀ вы смотрите на меня, точно грудной младенецъ? Себя обманывайте, а меня не обманете: кто сильно любитъ, тотъ тонко чувствуетъ; а ужъ такъ любить Степана Павловича, какъ я люблю, никому не удастся...

Она выкрикнула послѣднія слова и сильно раскашлялась, держась за грудь. На глазахъ ея выступили слезы, жилки на вискахъ напряглись и посинѣли. Когда приступъ кончился, она взглянула на Наташу и странно улыбнулась.

— Чахотка...—прошептала она едва слышно.

Въ комнату вошла Ксаня.

— Вотъ вы гдѣ засѣли!—воскликнула она съ удивленіемъ.— А вѣдь я васъ по всему саду ищу... Тамъ Данило Кузьмичъ пріѣхалъ,—васъ спрашиваетъ, Антонида Васильевна...

Чекманаева вздрогнула и встала. Глаза ея заблестѣли.

— Ага, пріѣхалъ! Великолѣпно...—сказала она съ загадочной улыбкой.—Вотъ я сейчасъ переодѣнусь и явлюсь къ своему повелителю... Держись теперь, Данило Кузьмичъ!

— Что̀ это вы нынче въ воинственномъ настроеніи?—спросила Ксаня, съ нѣкоторымъ безпокойствомъ поглядывая на Антониду Васильевну.

— О, страсть! Я нынче гулять хочу. И пить буду, и гулять буду, а смерть придетъ—помирать буду!..

Она захохотала и снова раскашлялась. Ксаня переглянулась съ Наташей и покачала головой.

XXXI.

Въ саду за столомъ засѣдало цѣлое общество—Чекманаевъ, Прилукинъ, Воропаевъ и еще какой-то необычайно толстый господинъ съ огромной лысой головой, похожей на тыкву, хитрыми, но не лишенными нѣкотораго добродушія, голубыми глазками и длинными желтыми усами, безпрестанно попадавшими ему въ

ротъ. Это былъ нѣкто Иванъ Охримовичъ Холодецъ, мѣстный землевладѣлецъ, какъ говорятъ, имѣвшій небольшія деньжонки, которыми онъ охотно ссужалъ своихъ знакомыхъ подъ пріятельскіе проценты, и такимъ образомъ среди всеобщаго разоренія поддерживалъ хозяйство въ относительномъ порядкѣ. При видѣ дамъ, онъ весь расплылся въ сладчайшую улыбку и съ галантностью, совершенно не соотвѣтствующею его грузной фигурѣ, перецѣловалъ имъ руки, къ величайшему изумленію Наташи. Исполнивъ этотъ обрядъ съ необыкновенной торжественностью, онъ снова усѣлся и продолжалъ разсказывать о своей поѣздкѣ въ Ростовъ, откуда только недавно вернулся.

— И что же это, я вамъ скажу, за проклятый городъ!— съ сильнымъ малороссійскимъ акцентомъ говорилъ онъ, расправляя и разглаживая лѣзшіе ему въ ротъ усы.—Гомонъ, грохотъ, пыляка, ажъ я насилу отчихался, а въ ушахъ и теперь еще гудетъ, неначе въ великдень на колокольнѣ. Бѣгутъ, ѣдутъ, везутъ, тремтятъ, буркотятъ, — Господи Боже мой, голова какъ сундукъ стала. Спрашиваю одного хлопца,—чи вы сказились, что такъ крутитесь?—Дѣла, говоритъ.—Да вѣдь у насъ въ степу тоже дѣла, говорю, а сидимъ же мы себѣ тихесенько, не крутимся, якъ Марко по преклѣ! — Это оттого, говоритъ,—а самъ зіркъ мнѣ вотъ сюда (онъ указалъ на боковой карманъ),—что у у васъ карбованцы серьезные и не любятъ изъ кишени вылѣзать, вотъ вы и сидите себѣ спокойно. А у насъ, говоритъ, карбованецъ легкій, сидѣть на одномъ мѣстѣ не любитъ, а все по улицамъ бѣгаетъ,—такъ поди-ка, поймай его,—языкъ на плечо положишь!—Ну, знаете, я уже и спрашивать больше не сталъ, а скорѣе себѣ бокомъ-бокомъ отъ того хлопца, да въ переулокъ, да къ себѣ въ номеръ, а то, думаю, кабы и мои карбованцы не повылазили изъ кишени, да не разбѣжались по улицамъ, какъ зайцы...

— А какъ тамъ насчетъ наемки рабочихъ?—спросилъ Максимъ Григорьевичъ.—Говорятъ, цѣны сильно упали?

— Такъ оно и есть. Я таки-ходилъ на выгонъ посмотрѣть, и, скажу вамъ прямо, даже испугался,—никогда столько народу не видалъ. А я-таки, признаться, не люблю, когда его много... такъ оно какъ-то неловко дѣлается, особенно какъ подумаешь, что у тебя въ карманѣ и часы золотые есть, и одѣтъ ты себѣ, слава Богу, хорошо, и пообѣдалъ въ лучшемъ ресторанѣ за полтора цѣлковыхъ, а тутъ на тебя во всѣ глаза глядятъ голодные, какъ волки, люди, да не одинъ и не два, а сотни и, можетъ, тысячи... Фа! непріятно...

— Какой вы, однако, нѣжный!—замѣтилъ Чекманаевъ насмѣшливо.

— А что же мнѣ дѣлать? Такой отъ природы. Крови боюсь и людей боюсь.

— А денегъ не боитесь?

— Денегъ чего бояться? Деньги, онѣ смирныя, лежатъ себѣ въ карманѣ и не плачутъ. Деньги—вещь чистая.

— Ну, иной разъ и отъ нихъ кровью попахиваетъ.

— А это ужъ я не знаю, не нюхалъ; можетъ, и пахнутъ, такъ вѣдь онѣ въ этомъ не виноваты. Это онѣ ужъ около людей запаховъ-то разныхъ наберутся, а люди нехорошо пахнутъ, ой, какъ нехорошо! Тамъ, на ростовскомъ выгонѣ [1]), я-таки нанюхался, ажъ въ головѣ засмутнѣло. Какъ они меня обступили,— Боже мой,—обшарпаны, обдрипаны, лица у всѣхъ—якъ изъ могилы повылазили, глаза свѣтятся, какъ у бѣшеныхъ волковъ,— гудутъ, гомонятъ, другъ на друга лѣзутъ... „Меня, хозяинъ, найми... меня!..“ Затискали меня,—ни туда, ни сюда не могу податься, ажъ по закожѣ морозомъ осыпать начало, гляжу по сторонамъ, и хоть бы тебѣ на смѣхъ гдѣ-нибудь городовой стоялъ...

— У насъ, въ Лазоревой, ныньче тоже было,—сказалъ Чекманаевъ съ презрительной усмѣшкой.—Понаперло этого рванья,— до драки дѣло дошло. Тамъ одну партію подрядили, а другіе начали цѣну сбивать. Ну, одинъ другому въ рыло,—всѣ голодные, злые,—и пошла чесать!.. Насилу казаки розняли!

— И откуда ихъ столько идетъ? —вопросилъ Холодецъ огорченнымъ голосомъ.— Этакъ скоро у насъ въ степу житья не будетъ,—весь москаль на нашу землю пересядетъ. Какой народъ жадный, своего имъ мало,—мусятъ отъ чужого кныша шматокъ позычить.

— Чего это вы такъ на москаля осерчали?—усмѣхнулся Чекманаевъ.

— Какъ чего? Я давно на нихъ сердитъ. Мало они съ насъ тягали, еще при царицѣ Екатеринѣ,—цѣлыми возами наше добро къ себѣ на Москву возили. Польшу взяли, Украйну взяли, и все имъ мало. Нѣмцы да москали—самый жадный народъ: имъ скоро вездѣ тѣсно будетъ—весь свѣтъ подѣлятъ.

— На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!

— О, москаль—дуже зубастая щука! И зіркнуть не успѣешь,

---

[1]) Выгономъ въ Ростовѣ называется обширное поле за городомъ, гдѣ, главнымъ образомъ, происходитъ наемка рабочихъ.

какъ онъ тебѣ голову откуситъ. Хитрый, какъ бѣсъ; правду у насъ говорится, что москаль — чорту родной братъ, а лысая вѣдьма—ему бабушка...

— Э, будетъ вамъ считаться, кто кого обидѣлъ!—вмѣшался Максимъ Григорьевичъ, видя, что споръ грозитъ перейти въ ссору.—Земли еще богато,—кому работать не лѣнь, сытъ будетъ. А бѣдный народъ жалко,—не самъ онъ сюда идетъ, нужда его гонитъ. Я вотъ разбалакался какъ-то съ однимъ,—такое мнѣ поразсказалъ небога, что я и самъ чуть съ нимъ не разревѣлся,—ей Богу, какъ баба!.. Жалко бѣдный народъ,—онъ не виноватъ, что ему ѣсть хочется такъ же, какъ и всякому.

— Дуже его много! — со вздохомъ сказалъ Холодецъ.— Такъ много идетъ, ажъ страшно — и что̀ такое будетъ?.. Мы вотъ тутъ сидимъ, мовы размовляемъ, да чай пьемъ, а тамъ, можетъ, у меня или у васъ онъ уже клуню запаливаетъ... А вы что̀ думаете? Голодный человѣкъ страшнѣе волка,—посмотрѣлъ я тамъ на нихъ въ Ростовѣ. И хоть бы тебѣ одинъ городовой!..

— Э, Иванъ Охримовичъ!—воскликнулъ Чекманаевъ, вставая.—И чего вы безпокоитесь,—на вашъ вѣкъ хватитъ! У васъ тутъ, небось (онъ вдругъ обнялъ Холодца за талію и фамильярно похлопалъ его по боковому карману),—у васъ, чай, припрятано на черный день-то, а? Векселечки, купончики, небось, есть?

Холодецъ съ неудовольствіемъ отстранился отъ Чекманаевскихъ объятій и заботливо̀ ощупалъ карманъ.

— Не чипайтесь ко мнѣ, пожалуйста! — сказалъ онъ сердито.—Вашего у меня ничего нѣтъ.

— Это точно-что нѣту, Богъ миловалъ! А вотъ ваше, небось, есть?..—обратился вдругъ Чекманаевъ къ Прилукину и засмѣялся.

Прилукинъ покраснѣлъ, но не отвѣчалъ ничего,—дѣйствительно, онъ какъ разъ сегодня занялъ у Холодца кругленькую сумму за „пріятельскіе“ проценты, и его вексель уже покоился въ обширномъ карманѣ, такъ ревниво оберегаемомъ своимъ владѣльцемъ.

Между тѣмъ Чекманаевъ подошелъ къ женѣ, которая болтала съ Воропаевымъ, и, подозрительно взглянувъ на нее, сказалъ:

— Ну, ты—собирайся,—домой сейчасъ поѣдемъ.

— Домой?—вызывающимъ тономъ переспросила Антонида Васильевна и захохотала ему въ лицо.—Съ какой стати? Поѣзжай одинъ, если хочется, а я останусь.

— Вотъ какъ?—съ злобнымъ удивленіемъ проговорилъ Чекманаевъ.—Ну ладно... поѣзжай одна.

— Я провожу Антониду Васильевну, — въ порывѣ рыцарскихъ чувствъ объявилъ Воропаевъ.

— На чемъ это? На своихъ-на-двоихъ что ли?—пренебрежительно спросилъ Чекманаевъ.

— Ужъ это мое дѣло,—отвѣчалъ Воропаевъ, принимая величественный видъ.

Антонида Васильевна заливалась истерическимъ смѣхомъ, и яркій румянецъ то вспыхивалъ, то погасалъ на ея щекахъ. Чекманаевъ почуялъ въ этомъ смѣхѣ что-то недоброе; онъ исподлобья наблюдалъ за женою, раздумывая, ѣхать ему или не ѣхать, и послѣ нѣкотораго колебанія тоже рѣшилъ остаться.

— А знаешь, Наташа,—сказала Ксаня.—Александръ Рафаиловичъ пріѣхалъ приглашать насъ къ себѣ на вечеръ,—къ нему сестра изъ института пріѣхала, и по этому случаю балъ. Поѣдемъ?

— Право не знаю,—разсѣянно проговорила Наташа.

— Нѣтъ, ужъ вы не отговаривайтесь! — обратился къ ней Прилукинъ. — Я надѣюсь, что вы будете, — мои старики такъ желаютъ съ вами познакомиться. Непремѣнно пріѣзжайте.

— Поѣдемъ, поѣдемъ, Наташка! Вспомнимъ старину, потанцуемъ!

— Да вѣдь я танцовать не люблю, и бальнаго платья у меня нѣтъ.

— Какое тамъ бальное платье!—засмѣялся Прилукинъ.—У насъ балъ провинціальный, и никакихъ особенныхъ туалетовъ не надо. Просто сестрѣ хочется потанцовать,—вотъ и балъ!

— То-то Иванъ Охримычъ за карманъ-то и держится...— сквозь зубы пробормоталъ Чекманаевъ.

Къ Наташѣ подошла Олимпіада, и, отозвавъ ее въ сторону, сообщила, что „старая барыня" проситъ барышню къ себѣ. Наташа удивилась и пошла. Она никогда еще не была въ комнатѣ у Ганны Матвѣевны и теперь съ любопытствомъ осматривала убѣжище старухи, носившее на себѣ характеръ своей суровой и домовитой обитательницы. По угламъ стояли большіе кованные сундуки, покрытые старинными домашними коврами; огромная двуспальная кровать подъ ситцевымъ пестрымъ пологомъ была завалена чуть не до потолка подушками; передъ образомъ Козельщанской Божіей Матери, обвитымъ по малороссійскому обычаю цвѣтами, горѣла лампада, а на бичевкахъ, протянутыхъ по стѣнамъ, висѣли какіе-то сухіе пучки, распространявшіе крѣпкій и пряный запахъ мяты, кануперу и богородской травки. Ганна Матвѣевна лежала на кровати; передъ нею стоялъ

столикъ, на которомъ лежало какое то вязанье и въ сумеркахъ догорающаго дня тускло горѣла керосиновая лампочка.

— Что̀ это съ вами, Ганна Матвѣевна?—спросила Наташа, подходя къ кровати, и тутъ только замѣтила, что старуха сильно осунулась и пожелтѣла.

— Пришла?—сказала Ганна Матвѣевна, и ея суровое лицо внезапно смягчилось выраженіемъ необычной нѣжности.—Вотъ спасибо,—добрая въ тебѣ душа, не погнушалась старуху провѣдать. Сідай же, моя ласточка, я що-сь хочу тебѣ сказать...

Наташа сѣла около кровати на табуретку,—старуха глядѣла на нее грустнымъ и ласковымъ взглядомъ.

— Вотъ занедужилось мнѣ, второй день лежу,—начала Ганна Матвѣевна („А мы и не знали объ этомъ!"—съ укоризной подумала Наташа). Такъ що-сь марно,—николи того не було. Неначе каменюка лежить на сердцѣ.

— Вамъ бы надо доктора позвать, Ганна Матвѣевна.

— Э, ну ихъ въ болото,—не стану я у докторовъ лечиться! Коли придетъ часъ „вмерты", такъ и безъ докторовъ умру... Не о томъ у меня думка! Я что̀! я свое у Бога взяла,—пора мнѣ и въ домовину... а Максимку вотъ дуже жалко. Ой, серденько мой, сынку, за що уродывся такій несчастлывій!..—запричитала она по-хохлацки и заплакала.

— Да что вы это, Ганна Матвѣевна? — попробовала утѣшить ее Наташа, обезпокоенная этими неожиданными слезами.—Вѣдь ничего дурного съ Максимомъ Григорьевичемъ не случилось,—чего же вы горюете? Это вамъ нездоровится, вотъ вы и разстроились...

— Эге!—съ горькой улыбкой продолжала старуха.—Я знаю, что̀ говорю... Вотъ кабы моему Максиму такая жинка, какъ ты,—о, я и сумовать бы не стала!.. А теперь... э-э, теперь нехорошее завелось у насъ въ домѣ. Хоть и старыя мои очи, а далеко видятъ, оттого я и журюся. Жалко мнѣ Максима,—не чуетъ онъ, мой рідніесенькій, какая хмара у него надъ головою...

— Я не знаю, Ганна Матвѣевна...—нерѣшительно заговорила Наташа.—Вы что-то дурное думаете о Ксанѣ... но это напрасно. Она вовсе не плохая жена... и Максимъ Григорьевичъ съ нею счастливъ. Зачѣмъ же накликать несчастье, когда нѣтъ никакихъ основаній?

Наташа почувствовала, что лжетъ, и эта ложь заставила ее покраснѣть. Но взволнованная старуха не замѣтила ея смущенія.

— Нѣтъ, голубочка моя, не утѣшай меня,—сказала она, качая головою.—Не станетъ родная мать накликать на сына не-

счастье. Да я лучше бы померла, только бы Максимкѣ моему было хорошо на свѣтѣ. Ты чистая душа, и еще не знаешь, какіе злые люди бываютъ, а меня, старую, не обманешь. Не любитъ Оксана Павловна Максима... нѣтъ, не любитъ... хоть и глядитъ ему въ очи и ластится, какъ змѣя, а на думкѣ у нея другое. Господи Боже мой, да какже-жъ его не любить? Что за душа у него открытая, что за сердце ласковое,—вѣрнѣе его и не найдешь нигдѣ человѣка... А она... о, какъ вошла она къ намъ въ домъ, я сейчасъ почуяла, какое горе будетъ съ нею моему Максимкѣ. Оба они, и братъ, и сестра, неначе хмару принесли съ собою. Я какъ глянула имъ въ ихъ темныя очи, такъ во мнѣ сердце и задрожало... И ты, Наталья Гавриловна,— торжественнымъ тономъ закончила старуха,—и ты берегись тѣхъ очей... Недобрые тѣ люди, у которыхъ въ очахъ нѣтъ свѣта,— лихо тому, кто имъ повѣритъ...

Она замолчала и долго лежала неподвижная, какъ трупъ, скрестивъ на груди свои большія, костлявыя руки. Желтый огонекъ лампадки умиралъ, и его слабыя вздрагиванія отражались на лицѣ Ганны Матвѣевны, придавая ему странную игру, напоминавшую послѣднія судороги агоніи. Наташѣ вспомнилось, какъ умирала ея мать, вспомнился тусклый разсвѣтъ осенняго петербургскаго утра,—перваго утра ея полнаго одиночества и печальнаго сиротства... Незажившая боль проснулась въ ея сердцѣ, горло сжалось отъ подступавшихъ слезъ... Старуха зашевелилась и взяла Наташу за руку своими холодными пальцами.

— Прости меня, серденько, что я тебѣ докучаю...—ласково заговорила она.—А что же сдѣлаешь, когда я одна и поговорить мнѣ не съ кѣмъ. Оксана Павловна какъ была чужая мнѣ, такъ чужая и осталась, а Максимка... онъ только на нее и глядитъ,— ему не до матери. А я вотъ зачѣмъ тебя призывала... слушай сюда, моя доню... Если я дуже захвораю, чего Боже сохрани, или умру,—не покидай моего Максима. Сердце у него слабое, какъ у малой дытыны; случится какое горе,—онъ не стерпитъ... Доглядай за нимъ, серденько,—не дай пропасть человѣку... Ну, а теперь иди себѣ съ Богомъ,—тамъ вѣдь, я слышу, гости... да не сказывай ничего Максимкѣ. Зачѣмъ его смущать; придетъ время, и самъ узнаетъ, а теперь нехай его не журится...

Наташа простилась со старухой и тихонько вышла изъ душной комнаты, разстроенная мрачными предчувствіями Ганны Матвѣевны.

XXXII.

Съ балкона доносился шумный говоръ и смѣхъ, и громче всѣхъ слышался раскатистый, откровенный хохотъ Максима Григорьевича, который, не думая ни о какихъ „хмарахъ“, отъ всей души потѣшался надъ разсказами Ивана Охримыча о томъ, какъ его кормили въ Ростовѣ.

— Отъ, побачьте себѣ!—повѣствовалъ Холодецъ, въ то же время искоса поглядывая на накрытый для ужина столъ и соображая, угостятъ ли его сегодня сливянкой, которую онъ особенно любилъ.—Прихожу я въ самый лучшій ресторанъ и прошу подать мнѣ борщу,—какъ глядь! — несутъ мнѣ какое-то бѣлое, кислое, жидкое, и тамъ плаваютъ двѣ картохи и вотъ такесенькій шматочекъ говядины! Я ажъ перелякался. — Что это? спрашиваю.—Да борщъ вы изволили приказывать...—Какой это, говорю, борщъ,—да у насъ свинья хорошая не станетъ ѣсть такого пойла! Вылей его себѣ на голову, а мнѣ дай настоящаго, со свининой и со всякой всячиной, чтобы въ немъ ложка стояла!—Дивится на меня:—У насъ, говоритъ, такого нѣту.— А что̀ же у васъ есть?—спрашиваю.—Все самое лучшее, говоритъ — и пошелъ мнѣ выковыривать такія слова, что у меня ажъ въ ушахъ зазвенѣло. Велѣлъ подать, потыкалъ вилкой туда-сюда,—ка̀-зна-що! И что же вы думаете, вышелъ изъ ресторана, купилъ себѣ кнышъ и балыка, пришелъ въ номеръ и отвелъ душу... Вотъ, думаю себѣ опять, такъ городъ! Даже поѣсть по-человѣчески нельзя,—что же это за жизнь?..

— „Господи, вѣчно ѣда и объ ѣдѣ!“—подумала Наташа, проходя въ полуосвѣщенный уголокъ балкона, гдѣ сидѣли Прилукинъ, Ксаня и Антонида Васильевна.

— Садитесь, Наталья Гавриловна, — сказалъ Прилукинъ, вставая и подвигая Наташѣ стулъ.—Послушайте, какіе ужасы тутъ Антонида Васильевна проповѣдуетъ.

— А что̀ такое?—разсѣянно спросила Наташа.

— Даже повторять страшно!—шутливо продолжалъ Прилукинъ.—Антонида Васильевна возненавидѣла за что-то весь человѣческій родъ—и желаетъ всеобщаго разрушенія и уничтоженія. Какъ это вы сказали, Антонида Васильевна, — „взорвать весь земной шаръ“,—такъ, кажется?

Чекманаева молча кивнула головой.

— Ну, это уже черезчуръ,—серьезно замѣтила Наташа.—

Казнить всѣхъ за вину немногихъ,—это дико, и люди вовсе не заслуживаютъ такой ужасной ненависти.

— Отвратительныя, злыя животныя! — отрывисто сказала Чекманаева.—Нѣтъ... хуже животныхъ... низкіе, подлые, грязные! Ненавижу! Ахъ, еслибы я могла, что̀ бы я съ ними сдѣлала...

— Даже и праведниковъ не пощадили бы?—тѣмъ же шутливымъ тономъ проговорилъ Прилукинъ.

— Праведниковъ—нѣтъ; всѣ—отвратительные!

— Не всѣ, не всѣ, Антонида Васильевна! Есть и добрые, и святые; наконецъ, есть просто слабые и несчастные, которыхъ не ненавидѣть, а пожалѣть надо.

— Нѣтъ, нѣтъ, всѣ одинаковые! — настойчиво повторила Антонида Васильевна.—И слабые еще хуже всѣхъ... Сильные хоть прямо дѣлаютъ подлости и не притворяются, а слабые все исподтишка норовятъ и потомъ въ кусты прячутся... Это еще хуже!

Прилукинъ вздрогнулъ и покраснѣлъ, точно его по лицу ударили... Нестерпимое чувство стыда и отвращенія къ самому себѣ овладѣло имъ. „Бѣжать, бѣжать надо!..“—смутно пронеслось въ его головѣ... Но въ эту минуту ихъ позвали ужинать, и Прилукинъ съ покорной и растерянной улыбкой пошелъ къ столу. Наташа отказалась отъ ужина и, несмотря на упрашиванія Максима Григорьевича, даже съ колѣнопреклоненіемъ, осталась сидѣть въ своемъ полутемномъ уголку.

Максимъ Григорьевичъ вернулся къ обществу. Холодецъ уже сидѣлъ за столомъ и, выправляя усы, жадными глазами осматривалъ закуски. Увидѣвъ между бутылками свою любимую сливянку, онъ съ удовлетвореннымъ видомъ вздохнулъ, пощупалъ карманъ и принялся тщательно запихивать салфетку за воротъ рубашки.

— Ну, панове, кому треба горилки? — спросилъ Максимъ Григорьевичъ, потряхивая графиномъ водки.

— Мнѣ!—отозвалась первая Антонида Васильевна.

Чекманаевъ угрюмо посмотрѣлъ на нее и только-что хотѣлъ перехватить у жены налитую рюмку, какъ Антонида Васильевна, подстерегавшая каждое его движеніе, быстро взяла ее и залпомъ опрокинула себѣ въ ротъ.

— Ты съ ума сошла!—пробормоталъ сквозь зубы Чекманаевъ и обратился къ хозяину:—Максимъ Григорьевичъ, не давайте ей больше водки... ей вредно пить...

Смущенный Максимъ Григорьевичъ поглядѣлъ на Чекманаеву; она громко расхохоталась.

— Что? Что?—воскликнула она.—Послушайте, господа, что̀

онъ говоритъ,—мнѣ вредно пить! Вотъ, подумаешь, какой нѣжный супругъ! Ха-ха-ха!..

— Э, ну, оставьте, Антонида Васильевна! — проговорилъ Максимъ Григорьевичъ, предчувствуя скандалъ.

— Ахъ, нѣтъ, Максимъ Григорьевичъ, это ужъ вы оставьте!— перебила его Антонида Васильевна съ пылающимъ лицомъ.—Довольно я молчала, дайте и мнѣ, наконецъ, сказать... „Вредно пить“—скажите, пожалуйста! Откуда такая заботливость? А нагайкой бить не вредно? А всю жизнь мою изломать и исковеркать не вредно? Ахъ ты лицемѣръ! Тартюфъ изъ мясной лавки!— крикнула она въ лицо мужу.

Чекманаевъ весь побагровѣлъ и всталъ.

— Замолчи!.. — сдавленнымъ голосомъ сказалъ онъ, дѣлая шагъ къ Антонидѣ Васильевнѣ.—Ты пьяна, должно быть... вотъ и несешь околесную... Собирайся домой!

— Домой? Куда это—домой? На твою бойню? Нѣтъ у меня тамъ дома! Не хочу я больше жить въ вашемъ кулацкомъ притонѣ! Ха-ха-ха... Что вы смотрите на меня страшными глазами? Думаете меня напугать? Я не боюсь. Это другіе, можетъ быть, васъ боятся и не смѣютъ сказать вамъ правду, а я смѣю и всѣмъ скажу,—кто вы такой...

Она вся дрожала, выкрикивая эти безпорядочныя слова и прерывая ихъ короткимъ смѣхомъ, въ которомъ уже слышались сдержанныя слезы. Чекманаевъ съ искаженнымъ лицомъ повернулся и, ни съ кѣмъ не прощаясь, пошелъ къ дверямъ.

— Ага, струсилъ?—закричала ему въ догонку Антонида Васильевна.—Мясникъ! Живодеръ! Грабитель!..

Она упала на стулъ, и съ нею сдѣлались конвульсіи. Максимъ Григорьевичъ, растерянный, бросился за Чекманаевымъ.

— Данило Кузьмичъ, куда же вы?—А ужинать же?

— Покорно благодаримъ... — отрывисто вымолвилъ Чекманаевъ.

Они оба вышли; рыдающую Антониду Васильевну Наташа увела въ свою комнату; изъ дверей выглядывали испуганныя лица Олимпіады и Мидаса. Холодецъ такъ и остался сидѣть съ рюмкой въ одной рукѣ и съ грибомъ на вилкѣ въ другой.

— Вотъ такъ гишторія!—проговорилъ онъ наконецъ.

— Непріятная исторія,—сказалъ Прилукинъ, весь блѣдный и взволнованный.—Несчастная женщина: нужно много выпести, чтобы дойти до такого состоянія.

— Э, всѣ жинки такія!—хладнокровно замѣтилъ Холодецъ

и выпилъ рюмку.—Накричать, нашумять, и Боже жъ мой, Господи, а потомъ сама же придетъ прощенья просить.

— Нѣтъ, Иванъ Охримовичъ, это не простая семейная исторія, — возразилъ Прилукинъ.—Тутъ серьезная драма чувствуется.

— Та ну бо!—пожимая плечами, сказалъ Холодецъ и поддѣлъ другой грибъ на вилку.—Это вы потому говорите, что еще сами не женаты; а вотъ женитесь и узнаете, какой перецъ эти жинки. Ну, поцапались сегодня, а завтра и помирятся опять. Кто кого любитъ, тотъ того и губитъ!

Прилукину стало досадно на эту невозмутимую житейскую философію, и онъ хотѣлъ-было опять возразить, но въ эту минуту вошла Ксаня и заняла свое мѣсто за столомъ.

— Ну, что̀ она?—спросилъ Прилукинъ.

— Ничего, успокоилась. Тамъ съ нею Наташа, а она какъ-то умѣетъ успокаивать.

— Фу, хай ему чортъ!—воскликнулъ, входя, Максимъ Григорьевичъ. — Вотъ разозлился, ажъ и со мной говорить не хочетъ! Нужно-жъ, чтобы у меня въ домѣ такой скандалъ вышелъ: теперь, пожалуй, онъ у меня и шерсть не возьметъ!

Это наивное замѣчаніе заставило всѣхъ улыбнуться, хотя у Прилукина на душѣ было смутно и тяжело. Передъ нимъ все еще стояло измученное лицо Антониды Васильевны съ горящими глазами... было что-то страшное въ этихъ глазахъ... а они тутъ смѣются, пьютъ, ѣдятъ и шутки шутятъ...—„Какіе мы всѣ мелкіе, скверные людишки!“—подумалъ Прилукинъ, и опять ему захотѣлось куда-то уйти отъ всего этого,—уйти какъ можно дальше, гдѣ можно было бы начать новую жизнь, безъ мелкихъ подлостей, безъ грязи и нечистоты, которая въ послѣднее время толстымъ слоемъ облѣпила всю его душу и заставляла его задыхаться...

Между тѣмъ Наташа, уложивъ Чекманаеву и дождавшись, когда она заснула̀, вышла изъ своей комнаты. Въ корридорѣ ей встрѣтился Мидасъ и съ таинственнымъ видомъ подалъ какую-то записку.

— Отъ молодого барчука!—сказалъ онъ многозначительно.

Наташа покраснѣла и, подойдя къ лампѣ, одиноко горѣвшей въ углу корридора, развернула скомканную бумажку. На ней небрежнымъ почеркомъ было нацарапано:—„Наталья Гавриловна! Я на нѣсколько дней долженъ уѣхать отсюда: во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній и догадокъ сообщите объ этомъ при удобномъ случаѣ сестрѣ.—Степанъ“.

XXXIII.

Прилукинскій домъ и въ обыкновенное время не представлялъ образцоваго порядка, а теперь, передъ семейнымъ праздникомъ, затѣяннымъ maman-Прилукиной въ честь своей любимицы, уже и совсѣмъ перевернулся кверху дномъ. На кухнѣ происходило настоящее столпотвореніе: рубились котлеты, пеклись торты и паштеты, жарились индюки и телята, кухарка разругалась съ горничной, кучеръ съ водовозомъ, и шумъ отъ всѣхъ этихъ кухонныхъ баталій достигалъ даже до уединеннаго покоя Рафаила Аркадьевича, погруженнаго въ свои мемуары. Дора Алексѣевна, оторванная отъ своихъ веселыхъ гасконцевъ и очаровательныхъ маркизъ, совершенно растерялась и съ утра до вечера ходила съ заплаканными глазами или сидѣла въ своей комнатѣ, заткнувъ уши и нюхая нашатырный спиртъ. Цѣлая туча непривычныхъ для нея хозяйственныхъ заботъ вторглась въ ея сказочный міръ и назойливо требовала ея вниманія. То нужно было составить реестръ покупокъ,—а Дора Алексѣевна забывала вписать необходимый для крема клей, или макароны, или корицу,—и приходилось разъ двадцать гонять людей въ Лазоревую; то у Ливочки, или „Элизъ“, какъ предпочитала называть ее Дора Алексѣевна, —неладилось что-то съ платьемъ; то приглашенные изъ Лазоревой музыканты отказывались вдругъ играть на балу, потому что у нихъ запилъ контрбасъ, и т. д. Дѣло было затѣяно на широкую ногу, а ни умѣнья, ни денегъ не хватало, и это обстоятельство еще болѣе усугубило душевное разстройство maman-Прилукиной. Сгоряча она даже хотѣла-было устроить фейерверкъ, но Александръ Рафаиловичъ противъ этого окончательно возсталъ, и между нимъ и матерью произошла бурная сцена, съ потоками слезъ, жалкими словами и трагическими завываніями. Прилукину едва-едва удалось отстоять половину изъ занятыхъ имъ денегъ для того, чтобы внести проценты въ банкъ, но за это онъ получилъ названіе „деспота“, „скупого рыцаря“ и еще цѣлую дюжину подобныхъ эпитетовъ.—Рафаилъ Аркадьевичъ во всѣхъ этихъ семейныхъ драмахъ не принималъ никакого участія и даже обѣдать ему носили въ кабинетъ, такъ какъ, по его словамъ, шумъ въ домѣ „отвлекаетъ его отъ серьезныхъ занятій и мѣшаетъ сосредоточиться“. Его, впрочемъ, и не безпокоили...

Наконецъ, наступилъ торжественный день. Обѣдъ былъ назначенъ въ четыре часа, а съ двѣнадцати часовъ Элиза уже начала одѣваться. Maman присутствовала при ея туалетѣ и съ

лорнетомъ въ рукахъ любовалась дочерью. Дѣйствительно, Элиза была хороша... Ей только недавно сровнялось пятнадцать лѣтъ, и она еще не вполнѣ сформировалась, но изъ ея большихъ голубыхъ глазъ съ длинными загнутыми рѣсницами уже глядѣла будущая львица. Продолговатое личико съ правильными чертами и маленькимъ пунцовымъ ротикомъ, похожимъ на распустившійся цвѣтокъ, поражало своей ослѣпительной свѣжестью и нѣжными красками. Одѣта она была въ легкое шолковое платье серебристо-розоваго цвѣта съ кружевными короткими рукавами и такимъ же лифомъ, сквозь который сквозили ея худенькія дѣтскія плечи и грудь съ выдавшимися ключицами. Тоненькія ножки ея были обуты въ розовые шолковые чулки и такіе же башмаки; пышные бѣлокурые волосы были слегка завиты и, связанные на затылкѣ розовой лентой, золотымъ каскадомъ падали на спину. Тоненькая, вертлявая, съ длинными руками и ногами, она была похожа на большую розовую стрекозу, готовую вспорхнуть и улетѣть. Maman глядѣла на нее съ гордостью и любовью и втихомолку даже успѣла всплакнуть. „Какая она у меня красавица будетъ!—думала она.—Господи, а вѣдь тридцать лѣтъ тому назадъ и я была такая“...

При этомъ у нея снова изъ глазъ выпало нѣсколько слезинокъ въ память своей исчезнувшей красоты... хотя совершенно напрасно, такъ какъ Дора Алексѣевна никогда не была красавицей, и ее еще въ Смольномъ называли „le poulet amoureux“, потому что она, дѣйствительно, была похожа на миленькаго цыпленка.

Портниха и горничная, одѣвавшія Элизу, совсѣмъ сбились съ ногъ; отъ нетерпѣнія Элиза сердилась на нихъ, капризничала и топала ножкой. Наконецъ, послѣдній бантикъ былъ пришпиленъ, и Элиза побѣжала смотрѣться въ большое зеркало, стоявшее въ залѣ. Дора Алексѣевна поплыла за ней. Въ залу вошелъ Прилукинъ и съ насмѣшливой улыбкой раскланялся передъ сестрой.

— Ну что̀, Саша, хорошо? — спросила Элиза, вертясь передъ нимъ на носкахъ, какъ балерина. — Говори скорѣе: ты очарованъ? Восхищенъ?

— И восхищенъ, и очарованъ.

— Платье хорошо? Посмотри, какъ сзади,—не морщитъ?

— Очаровательно!

— А чулки? Взгляни, какіе прелестные! Это я у Мюра и Мерилиза въ Москвѣ... и, замѣть, — необыкновенно дешево: съ башмаками всего восемнадцать рублей! Не правда ли, это дешево?

— Чрезвычайно дешево! На эти деньги цѣлое крестьянское семейство могло бы отлично прожить мѣсяца два.

— Ахъ, mon Dieu, какое мнѣ дѣло до этого семейства? Ты всегда меня разстроиваешь, Саша!

— Александръ, зачѣмъ ты ее разстроиваешь! — вмѣшалась maman.

— Да помилуйте, чѣмъ же я ее разстроиваю! Я только правду говорю. Вотъ ты эти башмачки надѣнешь разъ-два и бросишь; а какой-нибудь мужикъ за эти деньги сколько бы дѣла надѣлалъ...

— Не говори ты мнѣ объ этихъ противныхъ мужикахъ! Я ихъ ненавижу! Они такіе грязные, страшные—фи!..

— Александръ, не говори ей о мужикахъ! — простонала maman.

— Что за цензура, maman?—возразилъ Прилукинъ. — Ей слѣдуетъ знать о мужикахъ: вѣдь еслибы не было мужика, она не щеголяла бы въ этихъ розахъ!

— Maman, что̀ онъ говоритъ?—Я вовсе не хочу ничего знать о мужикахъ, мнѣ это не нужно!

— А ты думаешь, мужику-то нужно, чтобы ты покупала себѣ чулки у Мюра и Мерилиза и кушала конфекты отъ Абрикосова? Ахъ, Лиза, Лиза!..

— Не называй меня „Лиза“,—такое мѣщанское имя!

— Не называй ее Лизой, Александръ! — какъ эхо отозвалась maman.

— Все равно! Какъ тебя, однако, исковеркали-то, Лиза, а? Я, братъ, тебя совсѣмъ не узнаю. Была, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, такая милая дѣвочка, а теперь...

— Grande dame! — перебила его Элизъ и важно прошлась по залѣ, присѣдая такъ, чтобы платье ея волочилось по полу въ видѣ шлейфа.—Ну, еще бы: вѣдь мнѣ *почти* шестнадцать лѣтъ! А вотъ подожди, какая я буду, когда кончу курсъ и выйду замужъ за какого-нибудь графа!

— Ma chère enfant!—прошептала Дора Алексѣевна и прослезилась.

— А ты уже мечтаешь о графѣ?—усмѣхнулся Прилукинъ. —Ну это, матушка, еще вопросъ! Кто знаетъ, можетъ быть, придется быть просто учительницей.

— Учительницей? Ни за что! — съ ужасомъ воскликнула Элизъ.—Желтая, худая, презрѣнная... Сохрани, Боже!

И, гримасничая, она запѣла:

Mademoiselle Pimpernelle,
Votre figure n'est pas belle!
Ni derrière, ni devant
Votre figure n'est pas charmante!

Прилукинъ не выдержалъ и разсмѣялся.

— Что за чепуха? Какъ тебѣ не стыдно, Лиза, повторять всѣ эти институтскія глупости?

— Ничуть не глупости: это мы сочинили про одну безобразную и злую классную даму...—возразила Элиза, разсматривая кончики своихъ розовыхъ башмачковъ.— А кстати, Саша, скажи, кто у васъ здѣсь изъ мужчинъ? Есть изящные?

— Ну ужъ, матушка, изящныхъ кавалеровъ ты у насъ не найдешь.

— Саша, какъ ты омужичился! Что̀ за выраженія: „матушка"! „братъ"! Но неужели ни одного порядочнаго мужчины?

— Не знаю, что̀ ты называешь „порядочнымъ". Но кавалеровъ не жди. Здѣсь все больше тарханы, въ поддёвкахъ, въ личныхъ сапогахъ, мажутъ волосы деревяннымъ масломъ!..

— Ужасъ!.. Для кого же я тогда одѣвалась? Съ кѣмъ я буду танцовать? Ахъ, а мнѣ такъ хотѣлось танцовать, танцовать...

Она бросилась къ разстроенному пьянино и шумно заиграла какой-то вальсъ.

— Это вальсъ „Увлеченіе",—ты знаешь, Саша? Я обожаю вальсы...—И, бросившись на кресло, она закинула головку назадъ и воскликнула:—Ахъ, я желала бы умереть при звукахъ вальса!..

„И это будущая жена и мать!" — подумалъ Прилукинъ, и краска выступила на его щекахъ.—„А я-то? Развѣ я лучше?.. Всѣ мы—больныя дѣти больной матери!..."

Часамъ къ двумъ въ Прилукино начали съѣзжаться гости. Первымъ пріѣхалъ лазоревскій батюшка съ супругой и съ причтомъ, и немедленно по ихъ пріѣздѣ въ залѣ былъ отслуженъ торжественный молебенъ, на которомъ присутствовала вся дворня и самъ глава дома, Рафаилъ Аркадьевичъ. Онъ, наконецъ, покинулъ свой островъ Св. Елены и явился въ залу одѣтый въ свой дворянскій мундиръ съ выцвѣтшимъ шитьемъ и въ высокихъ крахмальныхъ воротничкахъ, подпиравшихъ ему шею. Потомъ прибылъ отставной полковникъ, Кружаловъ, жившій на покоѣ въ Лазоревой, съ своими двумя сыновьями, воспитанниками новочеркасской гимназіи, и дочкой лѣтъ семнадцати, стройной, худощавой брюнеткой казачьяго типа, великолѣпно ѣздившей

верхомъ и въ совершенствѣ постигшей всѣ тонкости казацкой джигитовки, чѣмъ ея престарѣлый отецъ чрезвычайно гордился и любилъ похвастаться. Самъ полковникъ былъ уже совершенно разбитый человѣкъ, полуслѣпой и съ хроническимъ отъ непомѣрнаго куренья катарромъ бронхъ, — хрипѣніе его и удушливый кашель слышны были за двѣ комнаты. Вслѣдъ за ними стали собираться и другіе приглашенные. Пріѣхалъ лазоревскій коммерсантъ, Долгоуховъ, съ женой въ огромныхъ брилліантахъ; притащилась на рыдванѣ старушка-помѣщица съ племянниками; явился аптекарь Цибель съ женой, замѣчательно красивой, но въ то же время феноменально глупой дамой, вѣчно улыбавшейся. Цибель пріѣхалъ въ Лазоревую всего два года тому назадъ, худенькимъ, потертымъ еврейчикомъ, а теперь уже имѣлъ прекрасную обстановку, всѣ пальцы въ перстняхъ и дорогую енотовую шубу, несмотря на то (а можетъ быть, именно поэтому), что продавалъ казакамъ вмѣсто хины сѣрнокислую магнезію. Общество собралось довольно многочисленное, но дворянъ сравнительно было немного: преобладающимъ элементомъ были купцы и разночинцы. Все это былъ народъ здоровый, крѣпкій, горластый, съ большими красными руками и рѣшительными тѣлодвиженіями, какъ бы говорившими: „шире дорогу!“ — и хотя въ гости эти господа явились не въ поддёвкахъ и личныхъ сапогахъ, какъ пугалъ Лизу Прилукинъ, а въ черныхъ сюртукахъ, лакированныхъ штиблетахъ и даже въ бѣлыхъ галстухахъ и перчаткахъ, но отъ нихъ такъ и несло кошарой, мучнымъ лабазомъ, саломъ и дегтемъ. Всѣ они пришли въ степь съ единственной цѣлью наживать деньги, и въ ихъ твердыхъ лицахъ, въ настойчивомъ блескѣ глазъ и въ самоувѣренныхъ улыбкахъ отражалась упорная рѣшимость не останавливаться ни передъ чѣмъ и добиться своего во что̀ бы то ни стало. И разговоры у нихъ тоже были особенные: о цѣнахъ на шерсть и сало, объ арнауткѣ и бѣлотуркѣ, о фрахтахъ и элеваторахъ... Со всѣми этими иностранными словами они обращались совершенно свободно; особенно щеголялъ ими Долгоуховъ, который какъ-то чрезвычайно вкусно выговаривалъ: „дисконтъ“ и „дивидендъ“. Въ своемъ кружкѣ онъ, повидимому игралъ роль солнца, а остальные группировались вокругъ него въ качествѣ второстепенныхъ планетъ, получавшихъ тепло и свѣтъ отъ главнаго свѣтила. Рядомъ съ этими новыми людьми, такими сильными, здоровыми и сытыми, дворяне совершенно терялись и производили впечатлѣніе самое жалкое. Они казались старыми, изсохшими отъ недостатка питанія, корявыми сучьями, между тѣмъ какъ эти вче-

рашніе мужики были похожи на жирные, молодые побѣги, выросшіе на старомъ перегноѣ.

Позже всѣхъ пріѣхали Червоные съ Наташей, Воропаевъ, Холодецъ и винокурша съ своимъ супругомъ и мастодонтообразнымъ сынкомъ, воспитанникомъ Коммиссаровскаго училища. Неизмѣнная Любаша, по обыкновенію, волочила за ней зонтикъ, шаль и ридикюль.

XXXIV.

До пріѣзда Ксани Прилукинъ былъ самъ не свой. Онъ провелъ отвратительную ночь, въ сотый разъ думая и передумывая о томъ, что̀ ему дѣлать съ своей несчастной любовью и съ самимъ собой. Передъ нимъ, какъ передъ сказочнымъ царевичемъ, лежали два пути: выбрать одинъ—значило уѣхать, забыть Ксаню и безвозвратно разбить свою жизнь, но остаться честнымъ человѣкомъ; пойти по другому—значило упиться безумнымъ счастьемъ, но сдѣлаться подлецомъ. Но при этой мысли все въ немъ горѣло и возмущалось, и съ краской стыда Прилукинъ говорилъ самъ себѣ: „никогда!“ Былъ еще третій выходъ—самоубійство, и Александръ Рафаиловичъ въ послѣднее время особенно часто останавливался на этомъ, какъ на самомъ лучшемъ и неизбѣжномъ исходѣ изъ своего трагическаго положенія. „Лучше смерть, чѣмъ подлость“, повторялъ онъ себѣ всю ночь и все утро и днемъ, стоя у окна и издали глядя на шумную толпу гостей. Вдругъ онъ вздрогнулъ, и кровь ударила ему въ голову. „Смерть моя!“—подумалъ онъ и ослабѣлъ до того, что долженъ былъ прислониться къ подоконнику, чтобы не упасть... Въ залу входили Червоные и Наташа. Ксаня была ослѣпительно хороша въ легкомъ свѣтломъ платьѣ, съ пунцовыми розами въ волосахъ и на груди. Рядомъ съ нею Наташа въ голубой блузкѣ и черной юбкѣ, съ гирляндой блѣдныхъ розъ на плечѣ, казалась совершенно незамѣтной. Максимъ Григорьевичъ сіялъ: появленіе Ксани произвело эффектъ, и ему пріятно было, что это его „жинка“, и что на нее всѣ смотрятъ, не скрывая восхищенія. Пока Червоные раскланивались съ гостями, Прилукинъ немного оправился и хотя блѣдный, но наружно спокойный, подошелъ къ Червонымъ. Крѣпкое и горячее пожатіе Максима Григорьевича, какъ всегда, обожгло его. „Какъ онъ хорошъ, и какой я подлецъ!..“—подумалъ онъ, едва слыша, что̀ говорилъ ему Максимъ Григорьевичъ. Къ его счастію, кто-то отвлекъ Червоныхъ въ сторону, и Прилукинъ остался вдвоемъ съ Наташей.

— Что это, вы больны?—спросила Наташа, глядя на его разстроенное лицо, и вдругъ вся вспыхнула, почувствовавъ, что ея вопросъ неумѣстенъ.

Прилукинъ взглянулъ на нее съ жалкой улыбкой, и у него мелькнула мысль разсказать все этой доброй, милой дѣвушкѣ. Но въ ея вспыхнувшемъ лицѣ, въ ея открытомъ взглядѣ онъ прочелъ, что она знаетъ все, и ему стало страшно...

— Боленъ? Нѣтъ...—сказалъ онъ, стараясь улыбнуться.— Я не спалъ всю ночь.

— Хлопотали?

— Да...—солгалъ Прилукинъ.

Наташа потупилась, и Прилукинъ опять понялъ, что она догадывается о его лжи и что ей все-все извѣстно... Они замолчали, чувствуя взаимную неловкость, и, не зная, о чемъ говорить, глядѣли на гостей, гудѣвшихъ въ разныхъ углахъ залы, точно рой шмелей.

— А вонъ Чекманаевъ пріѣхалъ!—сказалъ наконецъ Прилукинъ.

Чекманаевъ вошелъ въ залу торжественно. Онъ былъ въ черномъ сюртукѣ и бѣломъ галстухѣ, но этотъ костюмъ очевидно стѣснялъ его. Грубое лицо его казалось еще грубѣе отъ бѣлизны рубашки, а въ движеніяхъ чувствовалась нѣкоторая неловкость. Съ его появленіемъ рой шмелей загудѣлъ еще громче, и всѣ бросились на встрѣчу Чекманаеву. Солнце Долгоухова померкло, и даже Цибель, только-что разсыпàвшійся передъ нимъ мелкимъ бѣсомъ, торопливо выправилъ на жилетѣ толстую цѣпочку и скользящей походкой поплылъ къ новому, еще болѣе блестящему свѣтилу. Чекманаевъ умышленно-небрежно отвѣчалъ на привѣтствія и, примѣтивъ своими зоркими глазами Прилукина съ Наташей, грубо, на полусловѣ, оборвалъ лебезившаго передъ нимъ Цибеля и подошелъ къ окну.

— А что же Антониды Васильевны нѣтъ съ вами?—спросилъ Прилукинъ.

— Это уже пятый вопросъ я слышу,—съ непріятной улыбкой сказалъ Чекманаевъ.—Она нездорова... нездорова-съ!.. а вотъ вы, барышня, такъ цвѣтете у насъ, право!—обратился онъ къ Наташѣ, пристально осматривая ее съ ногъ до головы. Видно, нашъ степной воздухъ вамъ въ прокъ пошелъ!

— Не умѣете вы, Данило Кузьмичъ, комплиментовъ говорить,—сказалъ Прилукинъ.—Хотите Наталью Гавриловну похвалить, а выходитъ, какъ будто вы степной воздухъ хвалите.

— Какъ умѣю-съ, не взыщите! Въ салонахъ не бывалъ, а

говорю по нашему, по степному, какъ на умѣ, такъ и на языкѣ. А что же, не правда что-ли? Пріѣхала къ намъ барышня блѣдненькая, хвеленькая, а теперь, гляди, и не узнаешь! Вѣтеркомъ нашимъ обдуло, солнышкомъ припекло,—ишь, румянецъ-то такъ и пышетъ!

— Я бы просила васъ не обращать на меня вниманія,— сказала Наташа, возмущенная.

— А что жъ? Нешто я обидное что̀ говорю? Отъ самаго чистаго сердца. И смотрѣть на васъ вы мнѣ не закажете. На то и макъ въ полѣ, чтобы его лущить; на то и дѣвицы красныя, чтобы ихъ любить... А про воздухъ степной я вотъ къ чему сказалъ: чего вы тамъ въ своемъ Питерѣ дѣлать будете? Оставались бы у насъ.

— У меня въ Петербургѣ дѣло...—сухо отвѣчала Наташа, глазами ища въ толпѣ Ксаню.

— Какое тамъ дѣло? И здѣсь бы дѣла нашлись. Что̀ вы тамъ? Учительницей что-ли? Такъ это и у насъ можно. Скажите только,—сейчасъ лазоревскую учительницу долой, а васъ на ея мѣсто. Хотите?

— Благодарю васъ,—сказала Наташа и, увидѣвъ наконецъ Ксаню, стремительно отошла къ ней.—Чекманаевъ глядѣлъ ей вслѣдъ и тихо смѣялся, между тѣмъ какъ въ глазахъ его бѣгали какіе-то странные огоньки.

— Недотрога-барышня!—проговорилъ онъ.—Погладиться не дастъ!

— Прекрасная дѣвушка!—сказалъ Прилукинъ, въ то же время слѣдя глазами за блѣдно-палевымъ платьемъ и пунцовыми розами, мелькавшими по залѣ.

— Ничего-съ... глазки хорошенькіе! Только вотъ не пойму я ее никакъ.

— А вамъ зачѣмъ это нужно?

— Какъ зачѣмъ? Это первое дѣло—понять человѣка, что̀ ему нужно и чѣмъ его можно взять. Высмотрѣлъ, понялъ—ну и бери его хоть голыми руками.

— Ну, знаете, это трудно.

— Не очень. Только и всего, что около одного походить надо, а другой самъ тебѣ въ руки лѣзетъ—вотъ и вся разница. Больше, конечно, къ деньгамъ липнутъ, какъ мухи къ меду. Ну... а вотъ эту не разобралъ еще.

— Да, я думаю, вамъ это и не удастся,—поддразнилъ его Прилукинъ, котораго начиналъ злить тонъ Чекманаева.

— А что, не по носу товаръ что-ли?—усмѣхнулся Чекма-

наевъ.—Посмотримъ... Главная вещь, чего она въ Питерѣ сидитъ,—какая ей тамъ сласть... Житьишко-то, видно, не больно жирное... ишь, на балъ пріѣхала, а юбочка старенькая, кофточка тоже надѣванная... Вотъ вѣдь и надо это понять: отчего? Можетъ, это изъ „принципа“, а, можетъ, просто деньги̂ не хватаетъ...

Въ эту минуту мимо нихъ, совсѣмъ близко, прошла Ксаня, окруженная барышнями. Прилукина она не замѣтила или просто не хотѣла замѣтить съ умысломъ, громко смѣясь чему-то и закрываясь вѣеромъ. Чекманаевъ съ двусмысленной улыбкой посмотрѣлъ ей вслѣдъ.

— Вотъ эту барыньку не трудно раскусить,—сказалъ онъ.— Сразу видно, чего ей надо.

— Чтò такое?—проговорилъ Прилукинъ, чувствуя, какъ у него все похолодѣло внутри.

— А вы нешто этого не знаете?—спросилъ Чекманаевъ, уставивъ на него свои насмѣшливо прищуренные глаза и, не дожидаясь отвѣта, отошелъ къ Долгоухову.

„Этакое грубое животное!“—подумалъ Прилукинъ, едва переводя духъ отъ негодованія. „Чтò онъ хотѣлъ этимъ сказать? Неужели всѣ уже догадываются?.. Ахъ, да чтò же мнѣ дѣлать, чтò дѣлать“?

Его безпокойныя думы были прерваны садовникомъ Никифоромъ, превращеннымъ на этотъ день въ оффиціанта и облеченнымъ въ старый барскій сюртукъ, сидѣвшій на немъ какъ на коровѣ сѣдло, и въ бѣлыя перчатки, которыя связывали его руки. Онъ торжественно отворилъ дверь изъ столовой въ залу и громогласно объявилъ, что „кушать подано“. Кружаловъ, припадая на лѣвую ногу, предложилъ руку хозяйкѣ; Рафаилъ Аркадьевичъ, выгнувъ голову на подобіе пристяжной, повелъ m-me Долгоухову; остальные гости безпорядочной толпой двинулись за ними. Болѣе почетныхъ гостей размѣстили за большимъ столомъ; для молодежи и для тѣхъ, которые попроще, были приготовлены два отдѣльныхъ маленькихъ стола. Большой столъ доставилъ хозяевамъ не мало хлопотъ: надо было всѣхъ разсадить такъ, чтобы никого не обидѣть и чтобы каждый остался доволенъ и своимъ мѣстомъ, и сосѣдомъ; на маленькіе столы не обращали вниманія, но зато тамъ было больше непринужденности и веселья. Элиза усадила съ собою рядомъ гимназистовъ Кружаловыхъ и Ксаню, въ которую уже, по институтской привычкѣ, была влюблена; Наташа очутилась рядомъ съ Прилукинымъ и съ мастодонтообразнымъ сынкомъ винокурши, который

первымъ долгомъ пребольно наступилъ ей на ногу. Ксаню тоже хотѣли-было усадить за большимъ столомъ, но она наотрѣзъ отказалась и присоединилась къ молодежи. Здѣсь только они съ Прилукинымъ встрѣтились и, обмѣнявшись горячими взглядами, крѣпко стиснули другъ другу руки. И Прилукинъ забылъ обо всемъ...

Обѣдъ продолжался около трехъ часовъ. Начали, по деревенскому обычаю, съ пирога и водки, а кончили мороженымъ и шампанскимъ. Не обошлось безъ нѣкоторыхъ непріятныхъ происшествій, неизбѣжныхъ за каждымъ званымъ обѣдомъ: Никифоръ, стѣсненный своими перчатками, лишавшими его свободы дѣйствій, облилъ соусомъ парадную пелерину винокурши; пуддингъ оказался немного пригорѣвшимъ, а разварная рыба—сыроватою; но это не мѣшало оживленію, возроставшему за столомъ съ каждымъ новымъ блюдомъ и съ каждою бутылкою довольно плохого вина. Всѣ ѣли и пили чрезвычайно много, особенно пили; но больше всѣхъ пилъ Чекманаевъ, хотя не пьянѣлъ, а только разгорался, и его рѣчи становились все смѣлѣе и самоувѣреннѣе. Всѣ лазоревскіе капиталисты прислушивались къ нимъ съ удовольствіемъ и одобреніемъ; даже Долгоуховъ, сдержанный и корректный господинъ съ холоднымъ, благообразнымъ лицомъ, началъ подъ конецъ сочувственно улыбаться Чекманаеву и часто тянулся чокаться съ нимъ.

— За наше процвѣтаніе!—говорилъ онъ, многозначительно прищуривая свои блѣдно-голубые глаза, странно выдѣлявшіеся на темномъ отъ загара лицѣ.

— Процвѣтемъ-съ, процвѣтемъ, Иванъ Сидорычъ!—отвѣчалъ Чекманаевъ и сейчасъ же протягивалъ свою рюмку къ сидѣвшему напротивъ него Кружалову. — Ваше благородіе, позвольте и съ вами чокнуться за наше процвѣтаніе!—говорилъ онъ, дерзко и самодовольно улыбаясь.

Глухой полковникъ, тряся головой, добродушно чокался съ Чекманаевымъ, а купцы при этомъ переглядывались и безцеремонно хохотали. Вся лазоревская мелочь смотрѣла на нихъ съ завистью и благоговѣніемъ.

— Богатѣи-то наши разошлись, а?—шептали они одинъ другому.

— Еще бы имъ не разойтись! Скоро мы всѣ у нихъ въ лапахъ будемъ...

Холодецъ, сидѣвшій между купцами, только молча косился на своихъ сосѣдей и время отъ времени обѣими руками заботливо ощупывалъ свой карманъ. Онъ одинъ изъ всѣхъ присут-

ствующихъ вполнѣ понималъ опасность, угрожавшую имъ со стороны этой грубой, шумной, увѣренной въ себѣ силы, грядущей на смѣну вымирающему дворянству, и, по крайней мѣрѣ, самъ за себя рѣшилъ не уступать.

— А что, Акимъ Герасимовичъ?—вдругъ обратился онъ къ засѣдателю, пользуясь мгновеннымъ затишьемъ, наступившимъ въ то время, какъ Никифоръ обносилъ гостей жаркимъ.—Говорятъ, у насъ того... въ округѣ неспокойно?

Засѣдатель, толстый, неповоротливый человѣкъ, помѣщавшійся на самомъ концѣ стола, торопливо вытеръ масляныя губы салфеткой и круглыми глазами посмотрѣлъ на Холодца.

— Нѣтъ, ничего-съ... я не слыхалъ,—отвѣчалъ онъ.

— Какъ ничего? У насъ въ Лазоревой и то поговариваютъ.

— А что такое?—спросилъ кто-то.

— Да мужичишки тамъ...—лѣниво проговорилъ Долгоуховъ, разглядывая на свѣтъ рюмку вина.—Шумятъ на базарѣ... больше ничего. Конечно, постращать слѣдуетъ.

— Это ужъ ваше дѣло, господинъ засѣдатель,—съ усмѣшкой сказалъ Чекманаевъ.—На то вы и полиція.

— Да ужъ это будьте спокойны!—увѣрилъ засѣдатель, приподнявшись со стула и дѣлая легкій поклонъ.

— Мы и не безпокоимся!—продолжалъ Чекманаевъ.—Это ужъ вы побезпокойтесь, а наше дѣло—сторона.

— Это ихъ бунтуютъ!—вмѣшался опять Холодецъ.—Я еще въ Ростовѣ слыхалъ, что какія-то прокламаціи на улицахъ бросаютъ, а бо що... Народъ голодный,—вотъ его и мутятъ.

— А у меня на хуторѣ-то!.. — началъ Воропаевъ и снова разсказалъ о таинственномъ солдатѣ, проповѣдывавшемъ всеобщую „отдышку“.

— Да вы бы его въ станичное управленіе,—сказалъ засѣдатель, глядя на всѣхъ своими круглыми глазами, выражавшими полную готовность и усердіе.—Я бы ему тамъ всыпалъ!..

Въ это время подали шампанское, и галантный полковникъ, привставъ, провозгласилъ тостъ за здоровье милыхъ хозяевъ и ихъ очаровательной дочки. Тостъ былъ встрѣченъ весьма шумно: мужчины закричали ура и лѣзли цѣловаться къ Рафаилу Аркадьевичу; женщины цѣловали хозяйку и раскраснѣвшуюся Элизъ; въ залѣ заиграла тушъ довольно скверная музыка. И растроганной Дорѣ Алексѣевнѣ казалось въ эту минуту, что ея фантастическіе сны сбываются наяву, и захудалый родъ Прилукиныхъ снова возвращается къ своему былому величію.

XXXV.

Послѣ обѣда отяжелѣвшіе гости перешли въ другія комнаты. Мужчины засѣли за карты; дамы разсѣлись въ гостиной у стола съ дессертомъ; молодежь, въ ожиданіи танцевъ, убѣжала въ садъ. Наташа осталась одна. Она была страшно утомлена продолжительнымъ сидѣньемъ за столомъ и все время искала случая поговорить съ Ксаней съ глазу на глазъ, но Ксаня какъ будто даже избѣгала ее, и ей, повидимому, было очень весело въ обществѣ Элизы и молодыхъ Кружаловыхъ. Это показалось Наташѣ очень обидно и непріятно. „Неужели ее занимаютъ эти люди?“ подумала она. „Вѣдь ни одного живого слова, ни одного интереснаго лица,—цѣлый день какая-то пошлая болтовня, безсмысленный смѣхъ, ѣда, питье, безцѣльная бѣготня изъ угла въ уголъ... А ей нравится!.. Скорѣе бы домой“. И скучающая Наташа пошла бродить по дому, ища такого уголка, гдѣ бы можно было посидѣть одной и отдохнуть отъ всего этого длиннаго, безтолковаго дня.

Въ маленькой, загроможденной всякимъ хламомъ каморкѣ рядомъ съ столовой она наткнулась на Любашу, которая, примостившись на подоконникѣ, торопливо ѣла что-то съ тарелки. Увидѣвъ Наташу, она сконфузилась и быстро отодвинула отъ себя тарелку, точно ей было совѣстно, что ее застали за ѣдой.

— Кушайте, кушайте, пожалуйста! — сказала обрадованная Наташа, садясь около нея на подоконникъ.—Я такъ рада, что васъ встрѣтила, и мнѣ будетъ непріятно, если я вамъ помѣшаю.

— Помилуйте!..—сказала Любаша, но ѣсть не стала, увѣряя, что она уже сыта, и робко усѣлась на кончикѣ стула.

— Я ушла оттуда, потому что ужасно скучно, — начала Наташа.—Такъ все это надоѣло!

— Конечно, какое ужъ у насъ веселье! — робко замѣтила Любаша, поглядывая на дверь.

— Да нѣтъ, отчего же,—вѣдь вотъ другимъ же весело! А я не люблю шума, не привыкла. Я вѣдь какъ живу въ Петербургѣ: день въ школѣ, а вечеромъ за книгой; изрѣдка въ театръ, или къ подругамъ,—вотъ и все. Да вотъ переѣдете въ Петербургъ,—увидите!

Лицо Любаши при этихъ словахъ просіяло.

— А я ужъ думала, вы забыли...—прошептала она.

— Какъ же я забуду? — удивилась Наташа. — Я серьезно

это говорила и опять повторяю: собирайтесь, устроивайтесь, а ужъ за мной дѣло не станетъ.

— Господи!..—проговорила Любаша, глубоко вздохнувъ.— Да я и не знаю, что... какъ вы мнѣ тогда сказали... все думаю, все думаю... даже ночей не сплю... Я ужъ и паспортъ себѣ выправила!—скороговоркой добавила она, снова оглядываясь на дверь.

— Великолѣпно!—воскликнула Наташа весело и протянула ей руку.—Значитъ, ѣдемъ? По рукамъ?

Любаша схватила ея руку и припала къ ней губами.—Чья-то голова просунулась въ дверь.

— Любаша, ты здѣсь? Иди-ка, помоги мнѣ чай разливать.

Любаша встрепенулась, еще разъ счастливыми глазами посмотрѣла на Наташу и побѣжала на зовъ.

Наташа вышла въ корридоръ и столкнулась съ Ксаней, которая, обнявшись съ Элизой и что-то напѣвая, бѣжала по корридору.

— А! это ты?—небрежно проговорила она на бѣгу.—Куда это ты исчезла? Я тебя совсѣмъ не вижу сегодня. Пойдемъ съ нами, поболтаемъ!

Наташу больно кольнулъ ея небрежный тонъ... „Мотылекъ, мотылекъ... Порхаетъ съ цвѣтка на цвѣтокъ!“—подумала она съ горечью, но пошла вслѣдъ за ними. Онѣ вошли въ комнату Элизы, похожую на изящную бомбоньерку,—всю въ цвѣтахъ, въ лентахъ и въ бѣлой кисеѣ. Ксаня подбѣжала къ туалету и стала оправлять прическу, а Элиза смотрѣла на нее влюбленными глазами и безпрестанно цѣловала ее то въ затылокъ, то въ „душку“, то въ ушко. Онѣ хохотали, какъ сумасшедшія, безъ умолку болтали и, наконецъ, пустились вальсировать, опрокидывая стулья. Наташа молча смотрѣла на нихъ, и досада ея на Ксаню все росла и росла.

Запыхавшись, раскраснѣвшись, Ксаня остановилась и взглянула на подругу.

— Наташка, да что это съ тобою? — воскликнула она. — Ты дуешься? Отчего ты молчишь?

— Да когда же мнѣ говорить, вѣдь вы все время разговариваете!—съ невольной улыбкой сказала Наташа.

Ксаня бросилась ее цѣловать.

— Наташа, милая!.. Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ мы все трещимъ, а тебѣ не даемъ слова сказать. Прелесть ты моя!.. Элизъ, взгляните, какая она у меня прелесть!

Элизъ стояла, насупившись, и недружелюбно смотрѣла на

Наташу. Наташа ей не нравилась, и она ревновала ее къ Ксанѣ.

— Но скажи, отчего ты сегодня такая надутая? Тебѣ скучно?

— Да,—созналась Наташа.—А тебѣ развѣ весело?

— Еще бы! Сейчасъ будутъ танцы, — слышишь, уже настроиваютъ? (Изъ залы дѣйствительно доносились нестройные звуки скрипокъ). Набѣшусь сегодня вволю! Мнѣ ужасно хочется побѣситься!

— Значитъ, мы не скоро уѣдемъ?

— Помилуй, Наташа, отъ танцевъ-то? Ни за что! А ты развѣ не будешь танцовать?

— Да вѣдь я плохо танцую и не люблю танцевъ.

— Ну, нѣтъ! ты должна танцовать! Слышишь? Элизъ, что̀ вы такъ смо̀трите? Наташка — премилая: это она такъ только серьёзничаетъ, а на самомъ дѣлѣ она предобренькая и превеселая! Помнишь, какъ мы съ тобою въ гимназіи бѣсились? Какъ тогда хорошо было!..

На мгновеніе ея сіяющее личико затуманилось, но сейчасъ же она снова засмѣялась, и, обнявъ Элизу, тихонько толкнула ее къ Наташѣ.

— Это самый мой лучшій другъ, Элизъ,—поцѣлуйте ее!

Элиза неохотно приблизилась къ Наташѣ и съ легкой гримаской поцѣловала ее. Ксаня смѣялась и аплодировала, но Наташа оставалась серьезной, и неестественное оживленіе Ксани ее безпокоило.

— А знаешь, Наташа,—продолжала между тѣмъ Ксаня.— Я тебѣ скажу секретъ: въ тебя влюбленъ нѣкто. Цѣлый часъ меня мучилъ разспросами: сколько тебѣ лѣтъ, есть ли родители, какъ ты живешь, отчего замужъ не выходишь. Угадай, кто? Чекманаевъ...

Онѣ переглянулись съ Элизой и расхохотались; Наташа вспыхнула.

— Прошу тебя, Ксаня, не говори этого даже въ шутку,— дрожащимъ отъ обиды голосомъ сказала она. — Ты знаешь, я терпѣть не могу такихъ разговоровъ... и Чекманаева ненавижу... Какъ ты могла...

— Ахъ, Боже мой, ну что̀ тутъ такого? Ты невыносима сегодня, Наташка! Ей Богу же, это такъ смѣшно: Чекманаевъ— и вдругъ влюбленъ!.. Можетъ быть, поэтому онъ и жену не привезъ на балъ... Говорятъ, она у него подъ замкомъ теперь сидитъ...

— Стыдно, Ксаня! — проговорила Наташа, вся пылая отъ негодованія. — И ты можешь надъ этимъ смѣяться? Какая ты стала... злая...

Она вдругъ взглянула на Элизъ и замолчала: ей не хотѣлось, чтобы эта дѣвочка была свидѣтельницей ихъ размолвки, и съ досадой на свою вспышку она встала и вышла изъ комнаты.

Изъ залы донеслось взвизгиванье скрипокъ; оркестръ игралъ польку.

Неуклюжіе лазоревскіе кавалеры, какъ-то особенно притопывая каблуками и при каждомъ поворотѣ поднимая кверху руки своихъ дамъ, кружились съ видимымъ удовольствіемъ; раскраснѣвшіяся дамы, сдѣлавъ туръ, тяжело опускались на стулья и обмахивались вѣерами, а нѣкоторыя изъ нихъ, за неимѣніемъ вѣеровъ, носовыми платочками; гимназисты Кружаловы, танцовавшіе лучше всѣхъ, прищурившись, выбирали тѣхъ, кто танцуетъ лучше, и, пренебрежительно вздергивая плечами, обходили дамъ постарше и потяжелѣе на подъемъ,—ихъ широкіе красные лампасы такъ и мелькали по залѣ. Нетанцующіе столпились у дверей и смотрѣли на танцы, вслухъ критикуя дамъ и кавалеровъ и отпуская на ихъ счетъ безцеремонныя остроты. Наташа, никогда не видавшая деревенскихъ баловъ, помѣстилась въ уголку и съ любопытствомъ наблюдала все происходившее: это ее развлекло и даже насмѣшило, особенно когда она увидѣла винокуршу, увлекаемую тощимъ и длиннымъ Воропаевымъ, изнемогавшимъ подъ тяжестью своей монументальной дамы, причемъ у него было такое страдальческое лицо, какъ будто онъ подвергался жесточайшей пыткѣ.—Къ ней подошелъ Прилукинъ.

— А вы что же не танцуете?—спросилъ онъ.—Вамъ, вѣроятно, скучно и смѣшно? Это нехорошо.

— Почему нехорошо?

— А! это сложный вопросъ. Мнѣ кажется, что человѣкъ, который не умѣетъ веселиться и котораго не радуетъ веселье другихъ,—очень черствый и сухой человѣкъ.

— Я съ этимъ не согласна. Все зависитъ отъ настроенія и отъ темперамента, а вовсе не отъ нравственныхъ качествъ. Да и веселье бываетъ разное... Но вы правы: вотъ *это* веселье меня не радуетъ.

— Почему?

— Это тоже сложный вопросъ. Можетъ быть, потому, что эти люди мнѣ не нравятся. Ну, скажите, могу ли я радоваться на ихъ веселье, когда мнѣ извѣстно, что вотъ этотъ обсчитываетъ

своихъ рабочихъ, тотъ запираетъ свою жену, а вонъ та мучитъ и бьетъ беззащитную сироту, которая работаетъ на нее какъ волъ?

— „Мерещится вамъ всюду драма"!..—сказалъ Прилукинъ, улыбаясь.—Разумѣется, грѣшки за каждымъ изъ нихъ водятся, но все-таки вы уже черезчуръ преувеличиваете: не всѣ такъ дурны, какъ вы думаете. Да вотъ взгляните хотя бы на этого гимназистика и на мою сестру,—вотъ ужъ эти навѣрное веселятся съ чистой совѣстью. Неужели вамъ и на нихъ непріятно смотрѣть?

Наташа взглянула на розовыя ножки Элизы, мелькавшія рядомъ съ красными лампасами, и покачала головой.

— Да вѣдь они еще дѣти, Александръ Рафаиловичъ, а веселье дѣтей всегда вызываетъ во взрослыхъ людяхъ грустныя чувства, напоминая имъ о собственномъ невозвратномъ дѣтствѣ.

— Вы это такъ говорите, точно вамъ по крайней мѣрѣ лѣтъ семьдесятъ!—смѣясь, замѣтилъ Прилукинъ.

— А что же вы думаете?—серьезно вымолвила Наташа.— Я вѣдь дѣйствительно стара,—не по годамъ, а по чувствамъ стара, можетъ быть, потому, что у меня не было настоящаго дѣтства. Я съ четырнадцати лѣтъ уже знала, что жизнь не праздникъ, а борьба за существованіе, и въ то время, какъ другія дѣти еще играютъ въ куклы, я уже должна была бѣгать по урокамъ, чтобы заработать себѣ на платье и башмаки...

Она вдругъ вздрогнула и запнулась. Прямо напротивъ нея, у дверей залы, стоялъ Чекманаевъ и упорно смотрѣлъ на нее своими узенькими, блестящими отъ вина глазами. Прилукинъ приписалъ ея внезапное смущеніе грустнымъ воспоминаніямъ дѣтства и поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.

— Ну, вамъ только можно позавидовать, Наталья Гавриловна,—сказалъ онъ.—Можетъ быть, дѣтство ваше было лишено иллюзій, но зато ранняя трудовая жизнь выработала въ васъ твердость характера и самостоятельность. Я при первомъ знакомствѣ съ вами подмѣтилъ въ васъ именно эти черты. У васъ долженъ быть твердый и ясный взглядъ на жизнь; мнѣ думается, ничто васъ не испугаетъ и со всякими затрудненіями вы легко справитесь... не то что мы—грѣшные. Tout comprendre, c'est tout pardonner,—это какъ будто про васъ сказано, и мрачная философія, ей Богу, вамъ не къ лицу... Не Степанъ ли Павловичъ съ своими разрушительными теоріями омрачилъ вашу свѣтлую душу?

— Я очень рѣдко вижу Степана Павловича,—сухо сказала Наташа, отворачивая въ сторону свое покраснѣвшее лицо.

— Странный онъ человѣкъ... Я увѣренъ, что душа у него замѣчательно добрая и мягкая, а вѣдь послушайте его, какіе онъ ужасы иногда говоритъ. Я разъ, послѣ разговора съ нимъ, всю ночь не спалъ.

— А, знаете, бываютъ минуты, когда я начинаю его понимать...—тихо произнесла Наташа.

Прилукинъ пристально взглянулъ на нее и махнулъ рукой.

— Ну, вы, я вижу, сегодня въ безнадежно-пессимистическомъ настроеніи. Пойдемте лучше танцовать... Кажется, полька кончилась, и я васъ имѣю честь пригласить на кадриль,—съ шутливой торжественностью сказалъ Прилукинъ, дѣлая глубокій поклонъ.

Наташа улыбнулась и подала ему руку. Садясь на мѣсто, она оглянулась и снова встрѣтила тяжелый, подстерегающій взглядъ Чекманаева, который все стоялъ у дверей и слѣдилъ за нею. Наташа съ нескрываемой досадой передернула плечами и нахмурилась; Чекманаевъ усмѣхнулся... Это возмутило Наташу. „Какъ онъ смѣетъ?“—подумала она съ негодованіемъ, и ей вспомнились нелѣпыя и обидныя предположенія Ксани. Она отвернулась и заговорила съ Прилукинымъ, стараясь не смотрѣть на Чекманаева, но все время чувствовала на себѣ его взглядъ, и это такъ смущало ее, что, танцуя, она путала фигуры, часто сбивалась и очень рада была, когда кадриль кончилась.

— Ну, спасибо!—сказалъ Прилукинъ, дружески пожимая ей руки.—Признаюсь вамъ по секрету, я ужасно усталъ съ этимъ глупымъ баломъ и только съ вами отдохнулъ. Давайте ужъ и слѣдующую танцовать вмѣстѣ!

Наташа молча кивнула ему головой и поспѣшно ушла въ столовую, гдѣ уже разливали чай. Прилукинъ провожалъ ее глазами и думалъ: „Вотъ отчего бы мнѣ не полюбить ее? Прелестная, милая дѣвушка, серьезная, твердая, умная; была бы чудной женой и хорошимъ товарищемъ... а вотъ нѣтъ, не судьба... Ахъ, Ксаня, Ксаня!..“

И какъ бы отвѣчая на этотъ страстный призывъ, къ нему подбѣжала Ксаня и взглянула прямо ему въ лицо разгорѣвшимися глазами.

— Что̀ это значитъ?—прошептала она, улыбаясь, хотя губы ея дрожали отъ скрытаго гнѣва.—Вы сегодня бѣгаете отъ меня... Это нарочно, не правда ли? Да говорите же!

— Да... я хотѣлъ бы убѣжать отъ васъ... совсѣмъ, — съ усиліемъ вымолвилъ Прилукинъ, опуская глаза.

— Куда? Зачѣмъ? — продолжала Ксаня быстро, комкая и ломая свой вѣеръ.

Прилукинъ еще ниже опустилъ голову. „Кончить все... разомъ, и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше“...—подумалъ онъ.

— Вы сами знаете, Ксенія Павловна... Такъ больше нельзя... я не могу. Я долженъ уйти... понимаете, *долженъ*... Оставаться—безчестно...

Ксаня вздрогнула, отшатнулась, и на мгновеніе презрительная усмѣшка искривила ея губы. „Вы трусъ... вы не умѣете любить... и недостойны любви“...—хотѣла она сказать, но, взглянувъ на его поблѣднѣвшее, страдальческое лицо, на его покорно склоненную передъ нею голову, почувствовала приливъ такой безумной нѣжности къ нему, что обидныя слова замерли у нея въ горлѣ.

— Александръ!..—тихо произнесла она, наклоняясь къ нему.

Прилукинъ почувствовалъ, что теряетъ самообладаніе.

— Александръ,—повторила еще тише Ксаня.

Прилукинъ поднялъ глаза и взглянулъ на нее. Она стояла передъ нимъ сіяющая, безстрашная, ослѣпительная во всей своей торжествующей красотѣ, и влажныя губы ея шептали только ему одному: „люблю, люблю, люблю“... Голова у него закружилась.

„Кончено... погибъ, погибъ!“—подумалъ онъ и пошелъ за нею, какъ покорный рабъ за своей царицей.

XXXVI.

Послѣ кадрили былъ сдѣланъ небольшой антрактъ. Стемнѣло, и въ домѣ зажгли лампы; гостей обносили чаемъ и сластями; картежная игра была въ полномъ разгарѣ, и для вдохновенія игроковъ въ кабинетѣ хозяина была устроена выпивка и закуска, къ которой мужчины, въ промежуткахъ между двумя пульками, усердно прикладывались. Въ комнатахъ становилось душно и шумно; запахъ увядшихъ цвѣтовъ смѣшался съ запахомъ пота, пива и сапожной кожи; клубы дыма плавали по всему дому, и въ его сѣрыхъ волнахъ мелькали красныя, разгоряченныя отъ вина, танцевъ и преферанса, лица. Подвыпившіе кавалеры сдѣлались смѣлѣе и развязнѣе съ своими дамами и, танцуя, неистово топали ногами, какъ будто желали проломить полъ; вокругъ стола съ закуской раскатывался оглушительный хохотъ, а между игроками завязывались иногда такія запальчивыя перебранки, что,

казалось, партнеры вотъ-вотъ вцѣпятся другъ другу въ волосы. Особенно горячилась винокурша: она, по выраженію Холодца, безпрестанно „садилась въ лужу“, оставаясь безъ одной или безъ двухъ, и вымещала свою досаду на партнерахъ, обвиняя ихъ въ подсиживаньѣ и даже въ мошенничествѣ. Ея визгливый голосъ такъ и разносился по всѣмъ комнатамъ, а Холодецъ, чѣмъ больше она свирѣпѣла, тѣмъ онъ становился хладнокровнѣе и, съ аппетитомъ посасывая отвратительную сигару, одну за другой билъ ея карты. Мало-по-малу балъ превращался въ самую обыкновенную мѣщанскую вечеринку, и maman-Прилукина, у которой уже начинала разбаливаться голова, украдкой нюхая спиртъ, желала въ душѣ, чтобы все это какъ можно скорѣе кончилось...

Когда въ залѣ снова завизжали скрипки, Наташа потихоньку выбралась изъ дома въ садъ и углубилась въ единственную, уцѣлѣвшую отъ порубки, липовую аллею. Вечеръ былъ чудесный, мягкій, немного влажный, потому что поутру шелъ небольшой дождь. Одинокая звѣздочка, точно серебряный гвоздикъ, привѣтливо и грустно сіяла на блѣдномъ небѣ; въ листьяхъ деревьевъ шелъ торопливый шопотъ. Гдѣ-то за садомъ, должно быть, на болотѣ, посвистывали кулички: „фить-фить“,—и эти слабые, нѣжные звуки придавали особенное значеніе мирной тишинѣ природы, приготовляющейся отдыхать. Наташа шла по заросшей дорожкѣ, и ей было пріятно, что она одна, что нѣтъ вокругъ нея возбужденныхъ, красныхъ лицъ, не слышно грубаго хохота, рѣзкихъ голосовъ, звона посуды, стука каблуковъ,—даже музыка, такая пошлая вблизи, теперь, смягченная разстояніемъ, не рѣзала, а ласкала слухъ. Наташа шла, закинувъ голову кверху и жадно вдыхая влажный, пахучій воздухъ; ей думалось о многомъ,—обо всемъ, но мысли были отрывочны, безсвязны и останавливались то на Ксанѣ, которая такъ странно вела себя съ нею въ этотъ день, то на Прилукинѣ, который былъ такъ жалокъ и въ то же время симпатиченъ Наташѣ, то наконецъ на Степанѣ. Вотъ уже почти недѣля, какъ онъ уѣхалъ, а на хуторѣ до сихъ поръ никто и не спрашивалъ, гдѣ онъ и что съ нимъ,—только одна Наташа безпрестанно думала о немъ съ смутнымъ безпокойствомъ и страхомъ. „Какая эгоистка Ксаня!“—прошептала она съ горечью, всматриваясь въ тихо мерцавшую звѣздочку, и эта звѣздочка напомнила ей ту ночь, когда она задремала на крыльцѣ Степанова флигеля, и ей снился странный сонъ.—Но наяву этого не бываетъ!—подумала она съ грустнымъ сожалѣніемъ.—Нѣтъ, не бываетъ никогда... Всѣ мы—чужіе другъ другу,

и ничто насъ не связываетъ. Всѣ мы живемъ въ одиночку, сами собою, и я не знаю Ксаню, не знаю Степана, и они не знаютъ, о чемъ я думаю, чего хочу, какъ ихъ всѣхъ жалѣю и люблю...

Вдругъ ей почудились сзади чьи-то тяжелые шаги,—Наташа остановилась и, затаивъ дыханіе, прислушалась. Она была уже въ самомъ концѣ аллеи, упиравшейся въ какое-то строеніе,— должно быть, бесѣдку, всю до верху обвитую дикимъ виноградомъ и прятавшуюся въ густыхъ кустахъ сирени. А шаги слышались все ближе и ближе; жестко хрустѣлъ подъ ними песокъ и шуршала трава,—за Наташей точно гнались... Наташа пошла скорѣе впередъ: ей стало жутко въ этомъ безмолвномъ, незнакомомъ саду, далеко отъ дома и отъ людей, и она торопилась скрыться, чтобы не встрѣчаться съ тѣмъ, кто шелъ сзади. Но испугъ ея тотчасъ же смѣнился досадой, и, дойдя до бесѣдки, она нарочно умѣрила шаги, сѣла на лавочку въ тѣни винограда и притаилась въ надеждѣ, что тотъ, кто шелъ за нею, не замѣтитъ ея и вернется назадъ.

Но шаги все приближались, и въ густыхъ сумеркахъ обрисовалась большая темная фигура. Тотъ, кто шелъ, очевидно, уже замѣтилъ Наташу и шелъ именно въ бесѣдку. Слышно было уже его тяжелое дыханіе... и Наташа, съ ужасомъ и предчувствіемъ чего-то недобраго, узнала Чекманаева.

Онъ вошелъ въ бесѣдку, зацѣпившись за что-то такъ сильно, что виноградная сѣть задрожала, и нѣсколько листьевъ съ шорохомъ упало на землю. Оглядѣвшись, онъ увидѣлъ Наташу и приблизился къ ней.

— Однако же вы шибко бѣгаете, барышня!—сказалъ онъ, переводя дыханіе и отирая платкомъ вспотѣвшій лобъ.—Я насилу васъ догналъ.

Наташа молчала,—ужасъ и отвращеніе росли въ ея душѣ. Въ первую минуту она хотѣла-было встать и бѣжать бѣгомъ, не оглядываясь, но это показалось ей унизительнымъ. Ей не хотѣлось показать Чекманаеву, что она его боится, и хотя она дѣйствительно его боялась, но старалась подавить въ себѣ чувство страха, и ей самой стыдно было за свою трусость.

— Это вы отъ меня бѣжали-то, что-ли?—продолжалъ Чекманаевъ.

— Я даже и не знала, что это вы, — отвѣчала Наташа, стараясь говорить спокойно, хотя губы ея дрожали.

Чекманаевъ усмѣхнулся,—онъ, должно быть, замѣтилъ дрожь въ ея голосѣ.

— Ишь ты, какая храбрая! Неужто вы меня такъ-таки ни капельки и не боитесь?

— Съ какой стати?

— Гмъ! А мнѣ таки думается, что вы меня боитесь! Вѣдь я знаю, что вамъ обо мнѣ всякой чертовщины наговорили,—и извергъ, молъ, и кулакъ, и жену смертнымъ боемъ бьетъ, и то, и се!.. Правда?

— Вы и сами этого, кажется, не скрываете... и даже передо мною разъ хвалились своей нагайкой,—рѣзко сказала Наташа, и вдругъ совершенно перестала бояться.

— Такъ-съ... Это вѣрно, говорилъ, не отпираюсь. Ну, а все-таки, половина того, что вамъ обо мнѣ разсказывали—вранье, —какъ вы объ этомъ полагаете?

— Ничего я не полагаю и совсѣмъ о васъ не думаю,—для меня вы нисколько не интересны.

— Ну, барышня, вотъ это уже вы неправду изволите говорить! Я хоть и неотесанный, а кое-что все-таки понимаю. Бабы... виноватъ-съ,—женщины!—народъ любопытный, и любятъ въ омутъ заглядывать, и чѣмъ онъ темнѣе, да страшнѣе, тѣмъ больше ихъ туда тянетъ... Что̀, неправда?

Наташа молчала.

— Ага, вотъ вы и молчите,—значитъ, правда. Э, барышня, я все знаю! Знаю, что жена вамъ обо мнѣ все разсказала,—конечно, приврала здорово, по-бабьи, съ охами, вздохами, со слезами, ну, и прочее... А вы-то, небось, и повѣрили, и ушки развѣсили; а можетъ, всю ночь послѣ того не спали, и извергъ-Чекманаевъ вамъ во снѣ мерещился въ видѣ этакого чорта съ рогами и съ хвостомъ,—что̀?

— Ничего подобнаго,—возразила Наташа холодно.— И зачѣмъ вамъ все это нужно знать,—не понимаю...

Чекманаевъ снова усмѣхнулся, и еслибы Наташа въ эту минуту могла его видѣть, она замѣтила бы на этомъ грубомъ лицѣ странное смущеніе и тревогу.

— Зачѣмъ?—вымолвилъ онъ и, шагнувъ къ Наташѣ, сѣлъ около нея. Это было такъ неожиданно, что Наташа вздрогнула и отодвинулась.

— Ага!—засмѣялся Чекманаевъ.—А говорите, что не боитесь!

Но Наташа была разсержена и своимъ испугомъ, и его насмѣшкой, и перестала владѣть собой.

— Не смѣйте мнѣ такъ говорить, что я боюсь! — запальчиво крикнула она.—Ничего я не боюсь, а... мнѣ противно! Вы

мнѣ противны, слышите? Потому, что вы... дѣйствительно, ужасный человѣкъ... вы замучили свою несчастную жену, вы бьете ее, запираете... и рабочихъ бьете и обсчитываете... и у васъ только одинъ богъ—деньги, деньги—больше ничего!

Выговоривъ все это залпомъ, Наташа остановилась, и ей стало мучительно стыдно за свою неожиданную откровенность съ человѣкомъ, котораго она не уважала и чуждалась. Она поняла, что эта безтактная выходка унизила ее въ глазахъ Чекманаева и что, позволивъ себѣ рѣзкость по отношенію къ нему, она тѣмъ самымъ давала и ему право такъ же грубо поступить и съ нею. Это была правда...

Чекманаевъ долго молчалъ, потомъ досталъ платокъ, снова вытеръ лицо, и заговорилъ:

— Однако, ловко вы меня отдѣлали! Вотъ ужъ не ожидалъ, что вы умѣете ругаться!.. Ну, да ладно, наплевать,—по крайней мѣрѣ я теперь знаю, что̀ вы обо мнѣ думате, а мнѣ только это и нужно было. А зачѣмъ нужно, это я вамъ сейчасъ скажу...

„Не надо, не надо говорить"...—хотѣла сказать Наташа, но слова не шли у нея съ языка, и она, тяжело дыша, покорно наклонила голову, точно ожидая удара.

— Ну... вотъ что̀, барышня милая, — фамильярно началъ Чекманаевъ, заглядывая въ ея опущенное лицо.— Вы свое сказали, теперь я скажу, по-просту, безъ затѣй... Хочу я, чтобы вы изверга-Чекманаева полюбили...

Наташа вскочила и хотѣла-было убѣжать, но Чекманаевъ всталъ и загородилъ ей дорогу. Она, растерянная, оглушенная, снова опустилась на лавку.

— Подождите, барышня, удирать, — посмѣиваясь и видимо наслаждаясь ея испугомъ, продолжалъ Чекманаевъ. — Небось, я сидѣлъ, да слушалъ, когда вы меня тутъ на всѣ корки расчесывали, а вы не хотите. По нашему, по торговому—такъ нельзя; у насъ сколько ты взялъ, столько и отдай—чохъ-на-чохъ, какъ говорится. Цѣлый день я нынче васъ высматривалъ, какъ бы это васъ поймать, да вы все отъ меня бѣгали. Ну, теперь попались, ужъ я васъ не отпущу, пока всего не выложу. Очень полюбились вы мнѣ, вотъ какая исторія вышла...

— Я не хочу, не хочу васъ слушать... не говорите объ этомъ...—едва слышно проговорила Наташа, холодѣя отъ ужаса.

— Нѣтъ ужъ, вы слушайте,—настойчиво произнесъ Чекманаевъ, стоя передъ ней такъ, чтобы она никуда не могла уйти. Кто мнѣ понравится, отъ того я не отстану,—такой ужъ я человѣкъ,—а вы мнѣ сразу понравились. Какъ увидалъ я васъ

тогда, этакую маленькую, бѣленькую,—ну, словно вы мнѣ въ сердцу прилипли... Ѣду я домой, а самъ думаю: и чѣмъ бы мнѣ эту дѣвушку взять? Въ гуртъ поѣду, въ степь, въ кошару пойду, а у самого все на умѣ: и чѣмъ бы, Данило, тебѣ ее взять?.. Ну, говорите, чѣмъ?—понижая голосъ до шопота, спросилъ онъ и нагнулся къ ней.

Наташа не отвѣчала, и холодный ужасъ сковывалъ ее все больше и больше. А Чекманаевъ продолжалъ:

— Денегъ ежели? Такъ это сколько хочешь, я за ними не постою... Мѣста—какого пожелаете: школу не школу, а прямо университетъ для васъ выстрою. Да что тамъ толковать,—скажите только, чего вамъ хочется,—землю разрою для васъ, а достану, вотъ какъ я васъ полюбилъ. Вамъ, можетъ, не нравится, какъ я живу,—въ степи, въ грязи, на бойнѣ? Такъ вѣдь это все по боку можно. Вы думаете, я на всю жизнь что-ли себя законопатилъ? Ошибаетесь, милая барышня... Э, вы еще плохо меня знаете! И никто Чекманаева не знаетъ, никому я своихъ мыслей не разсказывалъ, даже Антошкѣ, потому что она дура и все-равно ничего не пойметъ, а вотъ вамъ скажу. Я для чего сюда пріѣхалъ, въ это вонючее болото? Деньги наживать, вотъ для чего. Годика два еще поживу, и шабашъ: больше мнѣ здѣсь дѣлать нечего,—тѣсно будетъ. Я пошире размахнуться хочу... Въ Москву съ вами переѣдемъ, за границу,—куда угодно. На весь свѣтъ загремимъ! Эхъ! — воскликнулъ онъ съ дикой энергіей, встряхивая своей большой головой. Вотъ вы увидите, барышня, каковъ-таковъ есть Чекманаевъ! Вы только поймите меня... Мы съ вами царствовать будемъ.

Онъ подождалъ отъ Наташи отвѣта и снова началъ:

— Я знаю, у васъ въ головкѣ разныя тамъ идеи бродятъ... наслушались, небось, въ Питерѣ отъ студентовъ, да и здѣсь этотъ... какъ его? бунтарь-то вашъ,—Степанъ что-ли, — тоже, чай, нашептываетъ. Только вѣдь это, я вамъ скажу, все ерунда. Ничего они не сдѣлаютъ,—куда тамъ нашему теляти волка поймати! Не въ нихъ сила и не туда они смотрятъ. Имъ хочется весь міръ колѣнкой перевернуть, да это дѣло не выгоритъ—надорвутъ животы, больше ничего. А вотъ *мы*—перевернемъ! Не колѣнкой, а рублемъ-цѣлковымъ перевернемъ,—какова сила-то? И все это въ вашихъ ручкахъ будетъ, милая вы моя барышня...

Онъ засмѣялся, самъ ослѣпленный нарисованною имъ широкою перспективой, и подсѣлъ къ Наташѣ.

— Ну... что же вы молчите?—спросилъ онъ, стараясь въ темнотѣ разсмотрѣть ея лицо.—Какой вашъ отвѣтъ будетъ? Мо-

жетъ, вы боитесь, что про васъ люди дурно говорить будутъ? Вздоръ,—не посмѣютъ пикнуть, какъ передъ царицей станутъ передъ вами кланяться,—на то я Чекманаевъ! А ежели по закону желаете—это сколько угодно, хоть сейчасъ. Антонидѣ разводъ—и подъ вѣнецъ. Все равно, я жить съ ней не могу, мнѣ не такая жена нужна. Ей все было дано, — ничего не умѣла она сдѣлать... А вотъ вы не такая! Вы—смѣлая, а я смѣлыхъ люблю, потому что самъ смѣлый. Эхъ, и зажили бы мы съ вами! Чтò же вы скажете мнѣ, а? (Онъ подвинулся еще ближе, и Наташа почувствовала на своей щекѣ его горячее дыханіе). А можетъ, вы стѣсняетесь потому, что у васъ тамъ прежде какая-нибудь любовишка была? Вѣдь вы уже не дѣвочка, лѣтъ двадцать слишкомъ, небось, будетъ? Жили въ Питерѣ одна, тамъ студенты, молодежь, мало ли чтò случается? Ну, влюбились, жили съ кѣмъ-нибудь, такъ это мнѣ наплевать...

— О, Боже мой!—простонала, наконецъ, Наташа.

— Да вы не волнуйтесь, это дѣло житейское,—дружелюбно сказалъ Чекманаевъ. — Говорите все, чтò есть, по душамъ, не бойтесь! Эка важность, ежели у васъ тамъ и было что-нибудь! Небось, и я не святой... а любить васъ буду не хуже другихъ. Да чего тамъ: всего вы меня взяли съ руками и съ ногами,—весь я тутъ, берите меня и дѣлайте чтò хотите, только любите покрѣпче...

И съ этими словами Чекманаевъ взялъ руку Наташи и сжалъ ее въ своей горячей, потной рукѣ.

— Прочь! — вскрикнула Наташа, выходя изъ своего оцѣпенѣнія и съ силой выдергивая руку у Чекманаева.—Не смѣйте... не трогайте меня... я васъ презираю, отвратительный, низкій человѣкъ!..

Она рванулась отъ него, но сейчасъ же снова упала на скамью, стиснутая желѣзными руками.

— Ага, вотъ ты какая недотрога?..— задыхаясь, пробормоталъ Чекманаевъ.—Я передъ ней разсыпаюсь, а она вонъ какъ? Ну, такъ я же тебя, коли добромъ не хочешь, силой возьму... Сказалъ—возьму, и возьму...

Вдругъ около бесѣдки послышались голоса, смѣхъ, и сверкнулъ огонекъ папиросы. Чекманаевъ выпустилъ Наташу изъ рукъ и торопливо вышелъ изъ бесѣдки на встрѣчу подходившимъ; Наташа бросилась за нимъ и, свернувъ сейчасъ же въ чащу, побѣжала черезъ какую-то полянку, скользя по скошенной травѣ, падая и цѣпляясь платьемъ за колючій кустарникъ.

XXXVII.

Она пришла въ себя только тогда, когда увидѣла ярко освѣщенныя окна дома, изъ которыхъ лились подмывающіе звуки какой-то разухабистой кадрили. Въ первую минуту Наташей овладѣло безумное желаніе ворваться сейчасъ въ домъ и передъ всѣми закричать, какъ ее оскорбилъ Чекманаевъ... Но, представивъ себѣ равнодушныя, насмѣшливыя или любопытныя лица гостей, пошлыя хихиканья какой-нибудь винокурши, вульгарныя остроты Холодца, она опомнилась и въ изнеможеніи прислонилась къ холодной стѣнѣ дома. Сердце ея колотилось изо всѣхъ силъ, вся она дрожала, какъ въ лихорадкѣ, и зубы у нея стучали. Ей все еще чудилось, что за нею гонятся... но кругомъ никого не было, и только въ отворенныя окна до нея доносились звуки той же кадрили, сливавшіеся съ топотомъ и шарканьемъ ногъ, смѣхомъ, говоромъ и возгласами дирижера. Въ залѣ дѣлали шэнъ, и эта оживленная картина представляла такой разительный контрастъ съ безобразной сценой, только-что разыгравшейся въ бесѣдкѣ, что Наташѣ даже дико показалось. Точно сонъ... странный, ужасный сонъ. А можетъ быть, она сходитъ съ ума, и все это — бредъ разстроеннаго мозга... Но, собравъ свои разсѣянныя мысли, Наташа съ новой силой почувствовала и вполнѣ сознала всю гнусность нанесеннаго ей оскорбленія, и ей опять захотѣлось вбѣжать въ залу, остановить музыку, танцы, и разсказать всѣмъ, всѣмъ о своей обидѣ, требуя мщенія. Боже мой, Боже мой, за что?.. Вѣдь ее прямо покупали, какъ скотину, предлагали ей сдѣлку „по-нашему, по торговому"... И потомъ эти грубыя объятія, этотъ ужасъ насилія,—вѣдь что же остается дѣлать послѣ этого? Смерть, конечно, больше ничего... У Наташи захолонуло въ груди, когда она ясно представила себѣ опасность, угрожавшую ей, и, присѣвъ на землю у стѣны, она тихо заплакала... Что ей дѣлать теперь? Какъ смотрѣть на людей? Уѣхать отсюда, забыть... умереть!..

Но когда Наташа хорошенько проплакалась, сидя на голой землѣ подъ окнами, мысли ея понемногу пришли въ порядокъ, и благоразумная, уравновѣшенная натура взяла верхъ надъ овладѣвшимъ ею мгновеннымъ безуміемъ. Она затихла, вытерла глаза и спокойно, твердо стала обдумывать все происшедшее. Конечно, она никогда никому не скажетъ объ этомъ ужасѣ и позорѣ. Даже Ксанѣ не скажетъ,—зачѣмъ говорить? Ей могутъ не повѣрить, не поймутъ и даже ее еще обвинятъ. И дѣйстви-

тельно, она виновата во всемъ сама. Зачѣмъ она допустила себя до разговора съ нимъ, зачѣмъ крикнула ему въ лицо, что она его не уважаетъ? Съ этого и началось: онъ обозлился и осмѣлился... „Ахъ, какъ все это гадко, гадко вышло!“ — прошептала Наташа, содрогаясь отъ стыда и отвращенія. Ей вспомнились совѣтъ Степана не ѣздить къ Чекманаевымъ и его слова, что тамъ уродуютъ душу. „Какъ онъ былъ правъ!“ — съ горячимъ чувствомъ подумала Наташа. — „Милый, хорошій... какъ я его люблю! Вотъ бы кто пожалѣлъ и заступился за меня. А Ксаня? Ахъ, ей все равно,—она танцуетъ и не думаетъ обо мнѣ“.

Музыка въ домѣ внезапно смолкла, шарканье прекратилось, и у оконъ появились разгоряченные танцоры, вдыхая прохладный ночной воздухъ. Надъ самою головою Наташи раздался чей-то звонкій смѣхъ,—она съ испугомъ вскочила и осторожно, чернымъ ходомъ, прокралась въ ту самую каморку, гдѣ сидѣла недавно съ Любашей. На ея счастье тамъ никого не было, только тускло мерцала и коптила маленькая лампочка безъ абажура. Наташа оглядѣла себя. Хорошенькая кофточка ея была вся смята и въ какихъ-то пятнахъ, подолъ мокрый отъ росы, волосы растрепаны, руки исцарапаны и болятъ въ суставахъ, точно она дралась. „Фу, гадость, гадость!“—думала Наташа, торопливо оправляя волосы и платье. „Господи, хоть бы уѣхать поскорѣе... а тамъ, кажется, опять танцуютъ“...

Въ дверь заглянула Любаша.

— Ахъ, барышня, вы здѣсь?—Гдѣ это вы были?

— Въ саду гуляла, — съ усиліемъ улыбнувшись, отвѣчала Наташа.

— А васъ Ксенія Павловна ужъ искали-искали по всему дому... Да вонъ онѣ и сами идутъ!

Ксаня вбѣжала, вся разгорѣвшаяся отъ танцевъ, но съ озабоченнымъ лицомъ. Увидѣвъ Наташу, она радостно вскрикнула и бросилась къ ней.

— Наташка, какъ ты меня испугала, скверная этакая! Гдѣ это ты пропадала? Я уже вообразила себѣ, что ты разсердилась на меня и пѣшкомъ ушла на хуторъ. Макся хотѣлъ ѣхать тебя искать, а мы съ Александромъ Рафаиловичемъ весь садъ сейчасъ обошли...

Радость Ксани тронула Наташу, и у нея выступили на глазахъ слезы. „Нѣтъ, она вовсе не эгоистка, она любитъ меня,— я не права передъ ней!“ — подумала она, прижимаясь къ подругѣ и чувствуя, что ей такъ хорошо, тепло, и что все происшедшее въ бесѣдкѣ навсегда ушло и больше не повторится...

Наташа тихо всхлипнула, — теперь уже отъ счастья, — и еще крѣпче прильнула къ Ксанѣ.

— Да что это съ тобой, Наташка?—съ безпокойствомъ заглядывая ей въ лицо, спросила Ксаня. Ты вся какая-то странная,—сама блѣдная, а глаза красные... ты плачешь?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, Ксаня, ничего, мнѣ хорошо... я такъ рада, что ты со мной, что ты меня любишь...

— А ты развѣ думала, — нѣтъ? И все это потому, что я тутъ съ Лизой глупости болтала? Ахъ, ты, ревнивица!.. Нѣтъ, ты скажи мнѣ все-таки, гдѣ ты была?

— Я... въ саду. У меня разболѣлась голова, и я ушла въ садъ...

— Какъ же мы тебя не видѣли? Мы до самой бесѣдки дошли,— нѣтъ и нѣтъ. Только Чекманаева встрѣтили. Я его спрашиваю,— не видалъ ли онъ тебя, а онъ такъ грубо мнѣ: „Почемъ я знаю? я не сторожъ вашей подругѣ"... Этакое животное!..

— Мы еще не скоро уѣдемъ?—перебила ее Наташа, болѣзненно морщась и хватаясь за голову, которая, дѣйствительно, начинала разбаливаться.

— А что, тебѣ баиньки хочется? Наташка, милая, вѣдь еще такъ рано,—я бы еще потанцовала...

— Такъ зачѣмъ же тебѣ уѣзжать? Ты оставайся, я подожду...

И смягченныя, готовыя на всякія взаимныя уступки, подруги еще тѣснѣе прижались другъ къ другу.

— Постой, Наташа!—сказала Ксаня, вспомнивъ что-то.— Знаешь, Цибели хотѣли скоро уѣзжать. Я ихъ попрошу, чтобы они тебя завезли на хуторъ,—хочешь?

Наташа молча кивнула головой.

Черезъ часъ Наташа уже ѣхала на аптекарскихъ дрожкахъ, втиснутая въ середину между довольно увѣсистыми супругами-Цибелями, которые всю дорогу безъ умолку болтали, считая своимъ долгомъ занимать петербургскую барышню. Аптекарша сообщила, что она „тоже" чуть-чуть не поступила на врачебные курсы, да дѣти помѣшали, — ахъ, какія прелестныя дѣти, Розочка и Михась!—А аптекарь безпрестанно обращался къ Наташѣ съ вопросомъ,—ловко ли ей сидѣть,—и въ то же время нестерпимо давилъ ей въ грудь пухлымъ локтемъ, отъ котораго пахло какимъ-то особымъ аптечнымъ запахомъ — смѣсью іодоформа и камфоры. И хотя Наташа была очень благодарна любезнымъ супругамъ за то, что они избавили ее отъ боли и отъ необходимости разговаривать, но, разставшись съ ними, она почувствовала истинное облегченіе. Войдя въ свою тихую, уютную

комнатку, пропитанную запахомъ розъ и жасмина, она вспомнила, что не далѣе, какъ два-три часа тому назадъ ей угрожалъ позоръ, и впервые съ особою силою ощутила необычайную радость жизни...

Послѣ Прилукинскаго бала жизнь Червонаго хутора долго не могла наладиться и войти въ свою обычную колею. Ксаня хандрила, хмурилась, была раздражительна, ко всѣмъ придиралась и безпрестанно жаловалась на скуку и однообразіе. Особенно съ мужемъ она вела себя нервно и несдержанно: то она злилась на него, топала ногами и отворачивалась брезгливо, когда онъ подходилъ къ ней съ лаской; то бросалась при всѣхъ къ нему на шею, просила у него прощенья, гладила по головѣ и осыпала поцѣлуями. Ганна Матвѣевна, которая уже поправилась и стала выходить изъ своей комнаты, при этомъ сурово поджимала губы, качала головой и всячески старалась выразить Ксанѣ свое неодобреніе. Съ Наташей она себя держала такъ, какъ будто у нихъ и не было никакого разговора, да онѣ и встрѣчались рѣдко, только за чаемъ и за обѣдомъ. Большую часть дня всѣ сидѣли по своимъ угламъ и избѣгали другъ друга. Одинъ Максимъ Григорьевичъ былъ въ своемъ всегдашнемъ благодушно-дѣловомъ настроеніи, да ему и некогда было нервничать, потому что шла уборка сѣна, метали паръ, и онъ съ утра до вечера рыскалъ по полямъ на своемъ Киргизенкѣ. Къ выходкамъ жены онъ относился спокойно и добродушно подсмѣивался надъ своими дамами, обѣщая имъ послѣ уборки хлѣба задать такой балъ, что черти затанцуютъ въ пеклѣ, а всѣ лазоревскія барыни „сказятся“ отъ зависти.

Но его шутки никого не веселили: Ксаня сердилась; Ганна Матвѣевна еще зловѣщѣе поджимала губы, и только Наташа, чтобы не обидѣть Максима Григорьевича, сочувственно улыбалась ему. Чѣмъ больше она узнавала его, тѣмъ больше онъ ей нравился, и хотя его наивный эгоизмъ и откровенно-буржуазные взгляды иногда возмущали Наташу, но въ то же время она не могла не видѣть, что онъ великодушенъ, простъ, честенъ и силенъ душой. Она никогда не слышала, чтобы онъ бранилъ кого-нибудь, выходилъ изъ себя, сердился, раздражался по пустякамъ, и его дѣтская незлобивость—и не книжная, а настоящая доброта—приводили ее въ восхищеніе. „Что же,—думала она,—онъ хочетъ жить, любитъ жизнь и не скрываетъ этого. Вѣдь и всѣ мы хотимъ жить и цѣпляемся за жизнь, но почему-то стыдимся этого и дѣлаемъ видъ, что думаемъ больше о другихъ, чѣмъ о себѣ... А вѣдь это неправда.

И ей вспоминался Степанъ, который мечталъ на человѣческихъ трупахъ создать новый рай. Въ эти унылые дни она много думала о немъ, и ей казалось, что теперь она могла бы разбить его на всѣхъ пунктахъ. У нея на всѣ его доводы были готовы возраженія, и, сидя въ своей комнатѣ или гуляя съ книгой по саду, Наташа мысленно спорила съ нимъ, произносила цѣлыя рѣчи и опрокидывала до основанія его инквизиторскую теорію всеобщаго счастья. Но Степанъ не показывался; окна его флигеля были наглухо заперты, и на дверяхъ висѣлъ замокъ. Наташа страстно ждала его, и каждый день, просыпаясь утромъ, прислушивалась, не слыхать ли въ саду знакомаго глухого голоса. И увѣрившись, что нѣтъ, она разочарованно вздыхала и со скукой принималась за свои обычныя занятія, — читала, гуляла, занималась съ дѣтьми. Съ Ксаней у нихъ, послѣ того нѣжнаго порыва дружбы, опять установились какія-то странныя отношенія. Ксаня какъ будто пряталась отъ нея, уходила гулять одна и избѣгала оставаться съ нею вдвоемъ, а при другихъ изрѣдка перекидывалась незначительными фразами—и только. Но Наташѣ теперь это уже не казалось обиднымъ: она слишкомъ занята была своими думами и даже не замѣчала холодности Ксани. Объ исторіи съ Чекманаевымъ она никому не сказала ни слова, и ей самой теперь все происшедшее казалось совсѣмъ въ другомъ свѣтѣ. Больше всего она стыдилась того, что испугалась Чекманаева, не съумѣла дать ему отпоръ и потомъ ревѣла, какъ обиженный ребенокъ, на землѣ около дома. Это было самое обидное воспоминаніе, и она краснѣла отъ злости на себя за свою слабость. Она терпѣть не могла „киснуть", и вдругъ сама раскисла и разнюнилась, какъ какая-нибудь кисейная барышня... Отчего? Оттого, что на нее напалъ дикій, бѣшеный звѣрь. Оскорбленіе—только тогда оскорбленіе, когда оно наносится равнымъ равному, и причиняетъ особенно сильную боль, если идетъ отъ человѣка, котораго уважалъ,—а развѣ она уважала Чекманаева?

Но, несмотря на всѣ эти трезвыя разсужденія, у Наташи, при воспоминаніи о Чекманаевѣ, глаза загорались ненавистью; и она думала, что еслибы ее постигла участь несчастной Антониды Васильевны—а какъ она была близка къ этому!—то она непремѣнно убила бы и его, и себя... Это было не совсѣмъ логично и немножко не вязалось съ ея трезвыми разсужденіями, но Наташа этого не замѣчала. Жизнь давала ей первые уроки и вела борьбу съ книгой,—и въ то время какъ книга гордо воздвигала стройныя постройки изъ теорій, жизнь съ безпощадною насмѣшкой разрушала ихъ своею желѣзною лапой.

XXXVIII.

Прошло нѣсколько дней. На хуторъ никто не заглядывалъ,— только разъ, и то на минутку, заѣхалъ Иванъ Охримовичъ Холодецъ, весь красный, какъ мѣдный самоваръ, и въ страшныхъ хлопотахъ по случаю приближавшейся ярмарки, которая всегда бывала въ Лазоревой 29 іюня. Онъ второпяхъ выпилъ шесть стакановъ чаю и съѣлъ пропасть ватрушекъ, второпяхъ разсказалъ анекдотъ объ одномъ казакѣ, который пропилъ свою жену и, по его собственному выраженію, „сломя голову“ помчался дальше на такомъ же толстомъ, какъ и онъ самъ, иноходцѣ. И Червоный хуторъ снова погрузился въ свое мирное житіе.

Былъ тихій румяный вечеръ. Днемъ было 40° на солнцѣ, и всѣ, исключая Максима Григорьевича, прятались по своимъ комнатамъ; но какъ только солнце сѣло, Наташа вышла въ садъ и стала прохаживаться взадъ и впередъ по своей любимой липовой аллеѣ, которая теперь была въ полномъ цвѣту. Тамъ, за садомъ было еще свѣтло, и золотая заря догорала на небѣ, но надъ деревьями уже легъ густой сумракъ, и неслышно скользили таинственные призраки ночи. Наташа чутко прислушивалась къ вечернимъ голосамъ, и ей нравилось слѣдить за постепеннымъ замираніемъ хлопотливой хуторской жизни. Вотъ съ пѣснями прошли въ людскую полольщицы; кто-то тяжелымъ шагомъ прошелъ мимо сада и съ громкимъ зѣвкомъ исчезъ въ сумракѣ; лѣниво пролаяла собака и замолкла; потомъ прогнали лошадей въ ночное, и ихъ неровный топотъ и усталое фырканье замерли вдали.—Вдругъ легкіе шаги послышались сзади, и мягкія, теплыя, маленькія руки закрыли Наташѣ глаза.

— Ксаня, ты?

— А что? Испугалась? Думала—русалка или, можетъ, та Настасья съ кургана?

Ксаня тихо смѣялась и, какъ кошечка, жалась къ Наташѣ.

— Давно ужъ мы съ тобой, Наташка, не разговаривали какъ слѣдуетъ!—сказала она съ оттѣнкомъ грусти въ голосѣ.— Право, послѣ этого дурацкаго бала точно дурману всѣ наѣлись: я всю недѣлю злилась, какъ вѣдьма; ты тоже чего-то дулась и навѣрное скучала.

— Нѣтъ, я не дулась и не скучала, а вотъ съ тобою, правда, что-то сдѣлалось... Да это не балъ, — и до бала ты такая же была.

— Да?..—Ксаня все ближе прижималась къ Наташѣ и ти-

хонько ласкала ей щеку.—Ахъ, я не знаю, что это такое... Мнѣ иногда хочется уйти отъ всѣхъ отъ васъ куда-нибудь далеко-далеко, никого не видѣть, ничего не слышать и быть совсѣмъ-совсѣмъ одной...

— Отчего же это?

— Ахъ, отчего?!.. Ты знаешь, говорятъ, когда животныя умираютъ, они прячутся отъ всѣхъ, чтобы имъ никто не мѣшалъ умирать.

— Но вѣдь ты не собираешься же умирать?—воскликнула Наташа, стараясь смѣхомъ замаскировать свое безпокойство.

— А почемъ знать?..—загадочно вымолвила Ксаня.—Можетъ быть, я уже и умерла... прежняя „я" умерла, а теперь съ тобою разговариваетъ совсѣмъ другая, не такая, какъ была раньше...

— Какія ты глупости говоришь!—возразила Наташа съ волненіемъ. — Ну, какая ты другая? Все такая же взбалмошная, сумасшедшая шалунья-Ксанька! Помнишь, и въ гимназіи на тебя иногда находило: ты вдругъ начинала отъ всѣхъ бѣгать, ни съ кѣмъ не разговаривала, писала какіе-то таинственные дневники, которые потомъ рвала. Мы называли это — корчить Чайльдъ-Гарольда, — помнишь? А потомъ все пройдетъ, и опять ты бѣсишься еще больше прежняго. Вотъ и теперь ты такая же!

— И ты меня любишь такую?

— Очень!

— Всякую любишь: и веселую, и злючку?

— Всякую. Только злючку все-таки меньше,—смѣясь, сказала Наташа.

— И ты всегда будешь меня любить? Какая бы я ни была? Что бы я ни сдѣлала?

Наташа сдѣлалась серьезна.

— Ну, этого я не знаю... И что ты можешь сдѣлать?

— А если я... что-нибудь очень дурное сдѣлаю, — тогда разлюбишь? — тревожнымъ шопотомъ продолжала допрашивать Ксаня.

— Не знаю...—въ раздумьѣ проговорила Наташа.—На это трудно сразу отвѣтить... Но я думаю, если ты будешь знать, что дѣлаешь гадость, и все-таки сдѣлаешь,—ну, я тогда тебя разлюблю. Да нѣтъ, нѣтъ, Ксаня, не разлюблю,—я всегда буду тебя любить, даже и гадкую...

Ксаня крѣпко стиснула руку Наташи и вдругъ неожиданно прильнула къ ней губами. Наташа вздрогнула и отдернула руку.

— Что съ тобой, Ксаня?—съ тревогой спросила она.

— Ничего, ничего... Ахъ, мнѣ только страшно, Наташка, я

самой себя боюсь... Отчего я не похожа на тебя? Отчего не ты—Максина жена? Я такая отвратительная, неспокойная, злая, мнѣ мало того, что у меня есть,—я хочу больше, и отъ этого я сама несчастна, и всѣ несчастны...

— Ксаня,—серьезно и ласково сказала Наташа. — У тебя что-то нехорошее есть на душѣ,—скажи мнѣ все... можетъ быть, я могла бы тебѣ помочь.

— Ахъ, нѣтъ!—прошептала Ксаня, затихая.—Никто ничего не можетъ для меня сдѣлать... Никто, никто... развѣ только одна смерть...

— Послушай, Ксаня, — рѣшительно произнесла Наташа.— Вѣдь я все знаю... ты любишь Прилукина.

Рука Ксани дрогнула и запылала въ ея рукѣ, и Ксаня какъ-то особенно громко и весело захохотала.

— Чтò это у васъ за веселье такое? — послышался около нихъ знакомый глухой голосъ, и высокая бѣлая фигура обрисовалась въ сумракѣ.

У Наташи въ груди похолодѣло и на мгновеніе захватило дыханіе. Она никогда не думала, что появленіе Степана можетъ такъ ее взволновать, и, молча отвѣчая на его рукопожатіе, она радовалась, что онъ не можетъ видѣть ея лица въ темнотѣ.

— Чему это ты такъ радуешься? — продолжалъ Степанъ, обращаясь къ сестрѣ.

— Да вотъ Наташка смѣшитъ!..—все такъ же ненатурально-громко смѣясь, отвѣчала Ксаня.—Чтò у кого болитъ, тотъ про то и говоритъ... Сама, должно быть, влюбилась въ кого-нибудь на балу, а на меня сваливаетъ!

— Любовь, балъ... — протяжно вымолвилъ Степанъ.—Какъ все это дико звучитъ для меня!.. Что это за балъ такой?

— Какъ, ты не знаешь развѣ? У Прилукиныхъ былъ вечеръ съ музыкой и танцами. Превесело было... я всю ночь танцовала, до разсвѣту!

— И вы были?—спросилъ Степанъ Наташу.

— Да...—отрывисто отвѣчала Наташа, подъ умышленной рѣзкостью тона скрывая свое волненіе.

— Удивительные вы люди, право... — помолчавъ, сказалъ Степанъ.—Къ вамъ всегда точно съ луны пріѣзжаешь.

— А ты развѣ на лунѣ былъ?—смѣясь, спросила Ксаня.

— Я былъ тамъ, гдѣ людямъ ѣсть нечего,—угрюмо отвѣчалъ Степанъ.

— Ахъ, ну, опять за свое! Олимпіада, это ты? Чтò тебѣ?

— Баринъ ключи отъ кабинета спрашиваютъ.

— Сейчасъ. Вы подождите меня здѣсь,—я сейчасъ вернусь.

— Какой вы счастливый народъ въ самомъ дѣлѣ!—началъ Степанъ, когда они остались съ Наташей одни.—Балы у васъ тутъ, танцы, веселье, разговоры о любви,—и все это васъ утѣшаетъ и наполняетъ жизнь. Точно въ двадцатыхъ годахъ, когда барышни мечтали о герояхъ и вензеля на окнахъ писали. Вы не пишете вензелей, Наталья Гавриловна?

Въ его голосѣ слышалась насмѣшка, оскорбившая Наташу, и все, чтò готовилась она ему сказать, вылетѣло у нея изъ головы и смѣнилось раздраженіемъ и досадой. Совсѣмъ не такъ думала онà встрѣтиться съ нимъ...

— Вы не поняли, Степанъ Павловичъ, — возразила она сухо.—Ксаня просто шутила... разговоръ былъ о другомъ... и я вензелей не пишу.

— Я васъ, кажется, обидѣлъ?—спросилъ Степанъ.—Фу, ты, Боже мой, да что это мы съ вами—какъ сойдемся, такъ поссоримся! Честное слово, я вовсе не хотѣлъ сказать вамъ что-нибудь обидное,—такъ просто, по привычкѣ, съ языка сорвалось.

Эти слова, сказанныя съ непривычною для Степана мягкостью и задушевностью, тронули Наташу, и досада ея разсѣялась.

— Я вамъ вѣрю,—сказала она тихо.—Я замѣтила, что вы часто говорите очень злыя вещи, вовсе не желая оскорбить,—это ваша манера, и мнѣ пора бы къ этому привыкнуть. Но зачѣмъ вы это дѣлаете? Вѣдь вы сами очень хорошо видите, что я нисколько не похожа на Пушкинскую Татьяну?

— Конечно, не похожи. Татьяна была натура страстная, увлекающаяся, а вы... вы—особа положительная. У васъ все это такъ спокойно, умѣренно и аккуратно. Навѣрное у васъ на стѣнкѣ виситъ этакое росписаніе, по которому вы строго распредѣляете каждое ваше дѣйствіе, каждый шагъ. Я думаю,—чтò съ вами ни случись, вы ужъ никогда не позабудете пообѣдать, потому что это такъ надо по росписанію...

— Ну вотъ, вы опять!..—съ упрекомъ, но смѣясь, воскликнула Наташа.

— Что?.. Ахъ, въ самомъ дѣлѣ. Ну, не буду, не буду... Давайте сядемъ и поговоримъ какъ слѣдуетъ.

Они сѣли на скамью въ глубинѣ аллеи, и шепчущій сумракъ окуталъ ихъ такъ, что они едва видѣли другъ друга, и только ихъ голоса звучали странно и глухо подъ сводами деревьевъ.

— Кстати,—думали ли вы когда-нибудь о томъ, отчего это мы всѣ, русскіе интеллигенты, говоримъ другъ съ другомъ не

умѣемъ и не можемъ?—началъ Степанъ.—Вѣдь, навѣрное, у каждаго изъ насъ столько на душѣ накипѣло,—иной разъ хочется прямо на площадь выйти и кричать. А сойдешься съ человѣкомъ—и молчокъ, а то ругаться начнешь или какой-нибудь нелѣпый споръ затѣешь; о томъ же, о чемъ нужно говорить и хочется говорить—ни слова, и даже не знаешь, съ чего начать. Отчего это, какъ вы думаете?

— Можетъ быть, оттого, что уже слишкомъ много накипѣло... или просто потому, что черезчуръ долго молчалъ человѣкъ и отвыкъ говорить.

— Пожалуй... И молчать привыкъ, и накипѣло до того, что тронуть больно... и, наконецъ, стыдно. Суть-то свою показывать стыдно: иногда она очень скверная бываетъ, ну, и скрываешь ее за стѣною спасительнаго молчанія. А потомъ еще страхъ,—ну, какъ вдругъ тебя поймаютъ на словѣ и потребуютъ осуществить его на дѣлѣ? Слово обязываетъ: если-молъ ты такъ думаешь, значитъ, долженъ и дѣлать такъ же, а вѣдь у насъ сплошь да рядомъ дѣлаютъ совсѣмъ не то, что̀ говорятъ. Иной въ своемъ кабинетѣ—настоящій Гракхъ на форумѣ!—а вышелъ на улицу—и сейчасъ хвостикъ поджалъ и „примѣнительно къ подлости" началъ дѣйствовать. Ни у кого нѣтъ мужества громко сказать, что вотъ я такой-то и такой-то, и вотъ это я могу, а этого не могу. Всякому порисоваться хочется, показать себя лучше, чѣмъ онъ есть,—оттого и молчатъ или лгутъ и притворяются; оттого и рознь у насъ, и никакъ мы другъ друга понять не можемъ.

— Но вѣдь это не всегда такъ,—возразила Наташа.

— Всегда и вездѣ. Жилъ я и въ провинціи, и въ Петербургѣ, сходился и съ молодежью, и съ литераторами, и съ мужиками и рабочими,—вездѣ одно и то же!

— Что̀?

— Рознь, тоска или равнодушіе. Ну, мужикъ или рабочій,—этимъ, конечно, не до разговоровъ, ихъ заѣла хроническая голодовка и каторжный трудъ, который не только думать,—вздохнуть имъ не даетъ („отдышка"!—пронеслось у Наташи въ головѣ),—а интеллигенція-то? Соберутся, бывало, и сидятъ—ноютъ или разныя сплетни другъ другу разсказываютъ, жалуются на притѣсненія, да и то потихоньку, съ оглядкой, не сидитъ ли гдѣ-нибудь за угломъ шпіонъ... Впрочемъ, иногда развѣ, какъ выпьютъ,—ну, разгорятся, каяться начнутъ, съ біеніемъ себя въ грудь, со слезами, пѣсни этакія зажигательныя запоютъ,—дескать, „впередъ безъ страха и сомнѣнья, на подвигъ доблестный, друзья"!.. А потомъ, какъ пройдетъ хмельной угаръ-то, и опять

присмирѣютъ, и опять въ свои норы запрячутся, на подобіе Щедринскаго пискаря. Ахъ, какое зло меня тогда разбираетъ!

— Но зачѣмъ же непремѣнно злиться? Не злиться, а жалѣть надо.

— Не могу я жалѣть... Помилуйте, передъ вами человѣкъ съ высоко-развитымъ мозгомъ, вооруженный знаніемъ, получившій отъ современной культуры все, что она могла ему дать,—однимъ словомъ, человѣкъ „дорого-стоющій", какъ сказалъ кто-то,—въ правѣ вы ожидать отъ него пониманія и дѣйствія? А вмѣсто того онъ киснетъ, носится съ своей „больной совѣстью", какъ съ писаною торбой, и ежечасно, ежеминутно трепещетъ за свое жалкое существованіе. Какъ же тутъ не злиться, скажите пожалуйста, и за что жалѣть?

— Но вѣдь прежде, чѣмъ дѣйствовать, надо еще рѣшить, какъ дѣйствовать. Можетъ быть, не всякій еще рѣшилъ: это вовсе не такъ легко.

— Я не говорю, что легко. Но вѣдь не до сѣдыхъ же волосъ рѣшать? А у многихъ часто вся жизнь проходитъ въ сомнѣніяхъ и колебаніяхъ, да въ этомъ проклятомъ страхѣ за свою шкуру. Что это за жизнь въ вѣчномъ трепетѣ и ожиданіи, что вотъ-вотъ явится щука, разинетъ пасть и проглотитъ тебя? Это не жизнь, а мерзость, позоръ! Лучше погибнуть въ борьбѣ, чѣмъ этакъ жить. Возненавидѣлъ я это пискарное существованіе и ушелъ. Противно мнѣ все это стало, и я рѣшилъ примкнуть къ тѣмъ, которые не дрожатъ, а дѣйствуютъ.

— То-есть, ломаютъ и разрушаютъ?

— Ну... да,—не сразу отвѣчалъ Степанъ.—Я понялъ, что нуженъ ужасъ... Нужно, чтобы всѣ эти пискари очнулись и поняли, что такъ жить нельзя, молчать нельзя, прятаться отъ жизни нельзя...

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ!—съ жаромъ воскликнула Наташа.— То, что вы хотите дѣлать, ужасно... и безсмысленно.

— А по вашему, что же нужно? Букварь, указка, волшебные фонари, грошевая филантропія? Корочки хлѣбца для голодающихъ собирать,—да?

— Хотя бы и корочки!..

— Ну ужъ, по-моему, честнѣе ничего не давать. Корочка— это развратъ и для того, кто даетъ, и для тѣхъ, кому даютъ. Нужно отдавать или все, или ничего. А корочки вы почему раздаете? Для очистки совѣсти, больше ничего. На тебѣ, другъ любезный, грызи на здоровье: и ты немножко червячка заморишь, да и я свой бифштексъ съ удовольствіемъ скушаю... Га-

дость, пошлость, фарисейство—эта ваша корочка! Вѣдь она вамъ, въ сущности и ненужна, поэтому вы ее и отдаете... Нѣтъ, вы отдайте все, что̀ у васъ есть, даже самую жизнь,—вотъ это будетъ настоящее дѣло!

— Вы требуете Богъ-знаетъ чего...

— Да. Или все, или ничего!—повторилъ Степанъ настойчиво.

— Это невозможно. Тутъ нуженъ, пожалуй, героизмъ, а героизмъ—явленіе исключительное, да и рѣдко достигаетъ цѣли. Развѣ мало было героевъ, а зло и несправедливость по прежнему торжествуютъ на свѣтѣ. Постойте, я даже читала гдѣ-то и запомнила, что героизмъ и самоотверженіе—великія добродѣтели, но они никогда ничего не сдѣлаютъ для рѣшенія экономическихъ вопросовъ. А вѣдь эти вопросы теперь—самые важные...

— Преклоняюсь передъ вашей эрудиціей, Наталья Гавриловна!—насмѣшливо сказалъ Степанъ.—Но, къ сожалѣнію, долженъ сказать, что вашъ авторъ, вѣроятно, самодовольный филистеръ, которому, конечно, выгодно проповѣдовать теорію невмѣшательства и, дорожа своимъ покоемъ, мирно наблюдать изъ окна кабинета за теченіемъ исторіи. Я много видалъ такихъ господъ... и мнѣ до нихъ нѣтъ никакого дѣла. Пусть себѣ пишутъ всякую ерунду для оправданія собственнаго индифферентизма,—это ничему не помѣшаетъ. Я вамъ приведу слова другого писателя, Ренана, который сказалъ, что исторія есть рядъ человѣческихъ жертвоприношеній... Вдумайтесь въ эти слова хорошенько, Наталья Гавриловна, какой въ нихъ глубокій смыслъ! Все, чѣмъ мы теперь живемъ,—книжка, которую вы читаете; свѣча, которая вамъ свѣтитъ; хлѣбъ, который вы ѣдите,—все, все добыто геройскими усиліями, жертвами, можетъ-быть гибелью тысячи-тысячъ людей. Развѣ все это даромъ вамъ досталось, само собою пришло? А мнѣ говорятъ: сиди смирно и жди, да ненужныя корочки нищимъ раздавай! Не хочу я ждать!—страстно воскликнулъ Степанъ, вскакивая съ мѣста и большими шагами расхаживая передъ Наташей.—Не могу предаваться спокойному созерцанію въ то время, какъ вокругъ меня одни погибаютъ, а другіе благоденствуютъ на чужой счетъ. Лучше самому погибнуть, какъ Сампсонъ, но попытаться опрокинуть величественное зданіе отъ грязныхъ подваловъ до роскошныхъ бель-этажей... Подвальнымъ обитателямъ, все равно, нечего терять, а бель-этажи...

XXXIX.

Степанъ вдругъ оборвалъ рѣчь на полусловѣ, вернулся на свое мѣсто и замолчалъ. Какъ всѣ застѣнчивые и замкнутые люди, онъ раскаявался теперь въ своей откровенности и съ чувствомъ мучительнаго стыда мысленно ругалъ себя. „Разболтался некстати“,—думалъ онъ со злостью.—„Зачѣмъ, къ чему? Убѣдить что-ли хотѣлъ эту буржуазку въ моихъ возвышенныхъ чувствахъ? Скверный признакъ... Когда человѣкъ старается увѣрить другихъ, что онъ силенъ и смѣлъ—значитъ, онъ самъ въ себѣ не увѣренъ... Даже съ Сампсономъ себя сравнилъ... Фу ты, гадость какая“!..

Первая заговорила Наташа.

— Нѣтъ, Степанъ Павловичъ, я съ вами ни за что не могу согласиться! — начала она. — Все это такъ дико и странно... и мнѣ не вѣрится даже, чтобы вы говорили серьезно.

— Какъ вамъ угодно,—угрюмо произнесъ Степанъ.

— Вы хотите всего добиться сразу. Это невозможно!

— Я и не утверждаю, что можно.

— Такъ зачѣмъ же эта ломка, эти насилія? Ну, вы все разрушите, все опрокинете, какъ вы говорите,—а потомъ что?

— А это уже не мое дѣло.. Меня тогда не будетъ. Моя задача—только проложить дорогу для другихъ; а какъ по ней пойдутъ—я не знаю.

— И для этого неизвѣстнаго столько страданій!—воскликнула Наташа.

— Страданія, страданія!..—раздражительно заговорилъ Степанъ, снова вставая.—Что̀ вы говорите о страданіяхъ? Я знаю, васъ пугаетъ сила и внезапность катастрофы... помилуйте, столько жизней гибнетъ сразу... вопли, стоны, кровь,—ахъ, какъ страшно! Но вѣдь это только одинъ моментъ въ исторіи—моментъ, правда, очень некрасивый и мучительный... а вы отрѣшитесь на минуту отъ сентиментальности и вглядитесь хорошенько вокругъ—не больше ли жизней гибнетъ въ эти мертвые, такъ называемые „мирные“ періоды исторіи? Васъ ужасаетъ шумъ борьбы,—а сколько людей каждый день гибнетъ тихо, медленно, отъ голода, отъ непосильнаго труда, отъ болѣзней, нищеты,—вы считали? Тысячи, милліоны, —только все это шито-крыто, тамъ гдѣ-то, въ темныхъ закоулкахъ, подъ покровомъ внѣшняго благоприличія и порядка,—поэтому никого и не поражаетъ. Почему же эти невидимыя и неслышныя страданія не возбуждаютъ ни въ комъ ужаса и негодованія? Развѣ

они дешевле стоютъ? Вотъ я только-что вернулся изъ такихъ мѣстъ, гдѣ люди, ополоумѣвшіе отъ голода, продаютъ себя на базарѣ, какъ скотину... нѣтъ! дешевле скотины, потому что за скотину деньги даютъ, а люди продаются „за харчи"... Эти-то какъ,—не страдаютъ, по-вашему? Ихъ-то вамъ не жаль?

Наташа молчала, и вдругъ, пораженная внезапной мыслью, спросила:

— Гдѣ вы были все это время, Степанъ Павловичъ?

— Гдѣ?—неохотно сказалъ Степанъ.—Въ разныхъ мѣстахъ... въ степи былъ, по хуторамъ ѣздилъ...

— Зачѣмъ?

— Да такъ... посмотрѣть на тихое и мирное житіе вотъ этихъ самыхъ людей, которые на базарѣ себя продаютъ, и которымъ вы корочки подаете.

— Я слышала,—продолжала Наташа, оставивъ безъ возраженія его колкость:—я слышала, что въ Лазоревой и еще гдѣ-то — въ народѣ волненіе... Будто бы какіе-то злоумышленники появились и бунтуютъ народъ,—правда ли это?

— Отъ кого вы это слышали?—быстро и, какъ показалось Наташѣ, неспокойно спросилъ Степанъ.

— На обѣдѣ у Прилукиныхъ говорили.

— Ага, уже заговорили! — пробормоталъ Степанъ и разсмѣялся. — Вздоръ! Никакихъ злоумышленниковъ нѣтъ... т.-е., нѣтъ, есть, но эти злоумышленники—голодъ, невѣжество и еще... разные Чекманаевы.

— Чекманаевы?—съ изумленіемъ спросила Наташа.

— Ну да... Вамъ это смѣшно? А между тѣмъ это сущая правда: Чекманаевы-то и есть самые настоящіе бунтари и поджигатели. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, я ѣхалъ по Волгѣ съ однимъ либеральнымъ господиномъ, который, по порученію начальства, какія-то изслѣдованія народнаго быта производилъ и тоже о народномъ благѣ хлопоталъ... разумѣется, за солидное вознагражденіе. Такъ вотъ этотъ самый господинъ пресерьезно доказывалъ мнѣ, что волненіе у насъ произведутъ именно кулаки, и что русскимъ революціонерамъ слѣдуетъ не бороться съ кулакомъ, а всячески культивировать его, лелѣять и вступать съ нимъ въ союзъ. Я тогда былъ самый крайній народникъ и по молодости лѣтъ спорилъ съ нимъ до чертиковъ, чуть не подрался,—ну, а вотъ теперь, умудренный опытомъ, вижу, что господинъ-то былъ правъ. Чекманаевы—не враги наши, а союзники и помощники, хотя, можетъ быть, и безсо-

знательные... Они будутъ поджигать и ломать съ одного конца, а мы—съ другого.

— Ну ужъ это совсѣмъ возмутительно!..—сказала Наташа, чувствуя въ душѣ холодъ и тоску.—Я не могу съ вами больше говорить объ этомъ... я васъ совершенно не понимаю... И такъ хладнокровно, такъ спокойно... это просто аномалія какая-то!

— Согласенъ,—аномалія. Но разъ эта аномалія существуетъ, значитъ, въ общественномъ организмѣ не все ладно. Мы—болѣзненное, уродливое явленіе — допустимъ!—но тѣмъ лучше! Чѣмъ рѣзче проявляется болѣзнь, тѣмъ энергичнѣе ее начинаютъ лечить.

— Какой слѣпой и безумный фанатизмъ!—прошептала Наташа. — У васъ все заранѣе рѣшено и подогнано подъ вашу точку зрѣнія... И неужели у васъ никогда не возникаетъ никакихъ сомнѣній въ правильности избраннаго вами пути?

— Никакихъ.

— Но вотъ вы все говорите: народъ, народъ... Васъ трогаютъ его несчастія; вы даже для этого ѣздите по деревнямъ, приглядываетесь къ его жизни, мучаетесь за него. А знаете ли вы, чего онъ хочетъ? Мнѣ кажется, не знаете. Вы за него все рѣшили, а я думаю, что онъ за вами никогда не пойдетъ, и у васъ съ нимъ нѣтъ ничего общаго. Я тоже не знаю народа, но вотъ овчаръ и его жена... Вѣдь это тоже „народъ", а между тѣмъ какъ свѣтло и ясно они смотрятъ на жизнь! Такіе бунтовать не пойдутъ: они видятъ свое спасеніе не въ бунтѣ, а въ трудѣ.

— Я этого не отрицаю. Нашъ народъ такъ забитъ и теменъ, что, по выраженію Тургеневскаго Базарова, еще и самъ себя не понимаетъ. Но, съ другой стороны, почемъ вы знаете, что эти ваши овчары съ вами откровенны? Русскій мужикъ недовѣрчивъ и по душѣ съ вами разговаривать не станетъ, потому что вы—барышня. Онъ вамъ изнанку свою покажетъ, а лицо спрячетъ. А въ лицѣ-то и суть. Нѣтъ, вы попытайтесь подойти къ нему не барышней, а такой же батрачкой, поработайте съ нимъ вмѣстѣ, поѣшьте его черстваго хлѣба,—вотъ тогда вы и увидите, какое у него настоящее нутро! Вашъ овчаръ вамъ благонамѣренныя рѣчи говоритъ, а вотъ послушайте пчелинца-Егора,—тотъ другую пѣсню поетъ.

— Егоръ?—разсѣянно переспросила Наташа. — Да, я слышала что-то... Но онъ, говорятъ, какой-то странный... озлобленный.

— Да вѣдь они всѣ такіе. Мужикъ хотя и смутно, но со-

знаетъ все-таки, что униженъ и оскорбленъ. Обида-то у нихъ у всѣхъ одна; всякому хочется человѣкомъ быть, а его въ разрядъ скотовъ зачислили. Человѣкъ „человѣкомъ хочетъ быть",— а вы ему корочку!.. Ха-ха-ха!.. И онъ это понимаетъ, да только не знаетъ, что̀ ему дѣлать. Ну и прётъ свое ярмо до поры до времени, и развѣ только когда ужъ очень приспичитъ,—осатанѣетъ и пойдетъ безсмысленно, глупо, кабаки разбивать, жидовъ колотить, или въ сектантство ударится, на кострахъ начнетъ себя поджаривать, на крестѣ распинать, а то еще какую-то дурацкую „красную смерть" выдумаетъ!

— Да вѣдь это совершенно то же самое, что и вы!—сорвалось у Наташи.

— Остроумное сопоставленіе!—усмѣхнулся Степанъ.—И вы, пожалуй, немножко правы... Но я продолжаю о Егорѣ. Это очень любопытный человѣкъ; я бы желалъ, чтобы вы съ нимъ когда-нибудь поговорили. Впрочемъ, онъ съ вами не станетъ говорить.

— А съ вами говоритъ?

— Да... Мы, кажется, немножко понимаемъ другъ друга. Но знаете что̀: вотъ вы говорите, что вамъ со мною бываетъ страшно, а представьте себѣ,—мнѣ страшно съ нимъ! Въ душѣ этого человѣка ни одного живого мѣста нѣтъ: все растоптано, оплевано, оскорблено до основанія, и онъ это глубоко понимаетъ и сознаетъ... Да вы не знаете его исторіи? Нѣтъ? Ну, такъ я вамъ разскажу... хотя исторія очень простая и ничуть не романическая,—такихъ тысячи на Руси. Онъ изъ крестьянъ саратовской губерніи,—былъ работящій парень, веселый, добрый, косилъ, пахалъ, сѣялъ, платилъ подати и все какъ слѣдуетъ. Въ свое время женили его, дѣти пошли,—Егоръ доволенъ, работаетъ, какъ волъ, живетъ впроголодь и думаетъ, что такъ оно и должно быть. Вдругъ неурожай, другой, третій; земли мало, поправиться трудно, аренда дорогая. Что̀ было—все продали на подати, ѣсть стало нечего, ребята ревутъ, достать негдѣ. Пришелъ такой моментъ, что и подати платить нечѣмъ, — выдрали Егора... Это была первая обида,—съ нея все и началось. Началъ Егоръ задумываться: зачѣмъ сѣкутъ? зачѣмъ все отняли? за что выдрали? Опротивѣла ему вдругъ деревня, земля, жена,— взялъ паспортъ и ушелъ на Волгу, въ бурлаки. Опять работаетъ, какъ волъ, старается угодить, терпитъ голодъ-холодъ, ругань, побои, и все для того, чтобы сколотить деньжонокъ и „поправиться". Обсчиталъ хозяинъ... Замѣтьте, вѣдь это все мелочи, все это какъ будто въ порядкѣ вещей: ну, выдрали! ну,

хозяинъ обсчиталъ,—эка важность—всѣхъ порютъ, всѣхъ обсчитываютъ... Но въ томъ-то и дѣло, что не всѣхъ, и опять Егоръ надъ этимъ задумался. Почему съ мужикомъ все можно, а съ другими нельзя? Вѣдь онъ не разбойникъ, не воръ, не лѣнтяй, а такой же человѣкъ, какъ и всѣ... И еще обиднѣе ему стало. Подалъ въ судъ на хозяина, но росписокъ у него никакихъ не было, судъ ничего не могъ сдѣлать, и Егоръ остался ни съ чѣмъ. Опять обида! Бросилъ Егоръ бурлачить, поступилъ кочегаромъ на пароходъ. Трудно, но ничего; жалованье хорошее, — вздохнулъ немножко Егоръ и выписалъ жену съ ребятами. Вдругъ жена приглянулась капитану. Вы знаете, что̀ за народъ капитаны на волжскихъ пароходахъ? Онъ тамъ у себя на палубѣ и Богъ, и царь... Обидѣлъ жену Егорову, а она—мужу жаловаться; Егоръ вступился за нее,—его въ ухо. Опять обида, опять судъ, и все-таки капитанъ вышелъ правъ, а Егоръ остался въ дуракахъ. Въ заключеніе и жена противъ него пошла. „Какой же ты послѣ этого мужъ, когда за жену постоять не можешь? Настоящій мужъ долженъ быть для жены защитникъ и заступа, а я съ тобой ничего кромѣ обиды не вижу“... Взяла, да и ушла къ приказчику жить, —и по-своему, конечно, права. У приказчика и сапоги бутылками, и цѣпочка на жилетѣ, и гармошка, и пироги по праздникамъ, и заушать его не всякій посмѣетъ, а Егоръ—черный, грязный, „незаступа“, и житье съ нимъ—вѣчная голодовка и горькія обиды... Вотъ вамъ и вся исторія. Самая обыкновенная, а между тѣмъ—„за человѣка страшно“...

— Говорятъ, будто онъ жену свою убилъ?—спросила Наташа.

— Можетъ быть, и убилъ, не знаю, онъ мнѣ объ этомъ не разсказывалъ. А еслибы и убилъ,—развѣ въ этомъ суть? Конечно, убить человѣка страшно, но человѣческую душу убить—это еще страшнѣе, а въ Егорѣ душа убита. Вотъ вы и послушайте, что̀ онъ говоритъ. Говорю вамъ,—*мнѣ* страшно становится!.. Прощайте.

Онъ всталъ и протянулъ Наташѣ руку.

— Куда же вы,—постойте. Я еще что-то хотѣла вамъ сказать...

— Нѣтъ, на сей разъ довольно! — съ усмѣшкой сказалъ Степанъ.—Я и безъ того сегодня столько лишняго наговорилъ, что навѣрное буду потомъ сожалѣть объ этомъ. Знаете, въ темнотѣ какъ-то откровеннѣе становишься... это тоже черта. Можетъ быть, поэтому люди и маскарады выдумали: подъ маской не такъ стыдно въ своемъ настоящемъ видѣ показаться, а

вѣдь человѣку иной разъ, охъ, какъ хочется перестать притворяться и хоть на минутку быть самимъ собой!

Съ этими словами Степанъ повернулся и исчезъ въ густомъ сумракѣ аллеи.

XL.

Наташа всю ночь не спала послѣ разговора съ Степаномъ. Этотъ разговоръ не только не удовлетворилъ ее, но еще болѣе взволновалъ и вызвалъ въ ея головѣ тысячу мучительныхъ вопросовъ. Она мечтала убѣдить Степана въ томъ, что онъ неправъ, а вмѣсто того чуть сама не убѣдилась въ его фанатической преданности своей безумной идеѣ, и хотя все существо ея, проникнутое врожденной любовью къ порядку и покою, возмущалось противъ его проповѣди чуть не разрушенія и террора, но въ глубинѣ души Наташа сознавала, что въ его злобныхъ и ѣдкихъ рѣчахъ есть частица правды, и что факты дѣйствительности иногда говорятъ за него. Душевное равновѣсіе ея было поколеблено, и сомнѣнія въ своей правотѣ, въ дѣятельности, которой она придавала такое огромное значеніе, поднимались въ ея душѣ. Да, страшна кровавая борьба, но развѣ невидимое горе, неслышные стоны—не страшны также? И развѣ чья-нибудь одинокая слеза, затерявшаяся въ торжествующемъ шумѣ жизни, не имѣетъ такой же цѣны, какъ и кровь, льющаяся за возстановленіе „братства и равенства" на землѣ? Но вѣдь крови пролиты цѣлые океаны, а братства и равенства все-таки нѣтъ,—зачѣмъ же опять кровь?—Наташа терялась въ противорѣчіяхъ; голова у нея кружилась, ей становилось душно. Она вставала, ложилась грудью на подоконникъ и, всматриваясь въ темную глушь сада, всею грудью вдыхала въ себя свѣжій ночной воздухъ. Но ночь не успокоивала ее своимъ ласковымъ дыханіемъ, и въ тишинѣ ея она слышала чьи-то стоны. Ей мерещились тѣни невѣдомыхъ страдальцевъ,—Егоръ съ „убитою душою", замученная Антонида Васильевна, Любаша—и тысячи, тысячи другихъ... а надъ всею этою вереницею загубленныхъ призраковъ вставалъ мрачный образъ Степана—непризваннаго, самозваннаго мстителя за общественную несправедливость...

Утро застало Наташу уже совсѣмъ одѣтою. Она была блѣдна, съ красными отъ безсонной ночи глазами, съ усталостью во всемъ тѣлѣ. Не дожидаясь, когда въ домѣ всѣ поднимутся и подадутъ чай, она пошла къ овчару. Ей хотѣлось поговорить съ этими простыми, добрыми людьми и разсѣять свои сомнѣнія и

тревоги. Подойдя къ овчарнѣ, Наташа увидѣла Илью, который съ двумя мальчишками въ длинныхъ рваныхъ зипунахъ выгонялъ изъ кошары на пастьбу отару овецъ. Мальчишки, путаясь въ зипунахъ, бѣгали и хлопали кнутами, Илья кричалъ на овецъ: „пырь, пырь, пырь!“—овцы блеяли, огромныя лохматыя собаки лаяли. Это оживленное зрѣлище успокоительно подѣйствовало на Наташу, и на душѣ у нея стало легче особенно, когда Илья, увидѣвъ ее, улыбнулся своей широкою улыбкой и обнажилъ передъ нею курчавую бѣлую голову, похожую на огромный пучокъ нерасчесанной кудели.

— Вотъ свое войско выгоняемъ!—крикнулъ онъ ей своимъ зычнымъ голосомъ. — Цыцъ, Кудлашка! А у насъ нынче прибыль,—Петровна окотилась, да ярочкой! Подите, поглядите-ка!..

Наташа пробилась сквозь плотную массу потныхъ, горячихъ и грязныхъ овечьихъ тѣлъ и вошла въ полутемную кошару. Илья провелъ ее за загородку, гдѣ содержались котныя овцы. Петровна,—большая, старая овца,—встрѣтила ихъ робкимъ блеяніемъ и, недовѣрчиво косясь на Наташу, потянулась къ рукамъ Ильи. Около нея, нетвердо держась на длинненькихъ, тонкихъ ножкахъ, жался бѣлый, какъ молоко, ягненокъ.

— Ну, ну, небось, Петровна, свои люди! — сказалъ Илья, доставая изъ кармана корочку хлѣба.—Ну, нà тебѣ, возьми!

Петровна захрустѣла хлѣбомъ, а Илья подхватилъ ягненка и поднесъ его къ Наташѣ, держа какъ ребенка.

— Глядите, какой! Хорошій ягнокъ, ядреный, — хорошая ярка будетъ!

Наташа погладила новорожденнаго по мягкому лобику, и Илья снова пустилъ его къ матери. Петровна озабоченно принялась его обнюхивать, какъ бы желая удостовѣриться, что онъ цѣлъ и невредимъ. Почуявъ запахъ хлѣба, другая овца, лежавшая на соломѣ, поднялась и тоже сунулась мордой въ руки Ильѣ.

— И ты хлѣбушка захотѣла?—засмѣялся Илья и обратился къ Наташѣ.—Это у меня Атаманша,—тоже добрая старуха!

Выйдя изъ кошары, Наташа отправилась къ овчарихѣ. Степанида уже убралась съ печью и что-то шила; у ногъ ея копошились цыплята, подбирая разсыпанныя крошки; въ люлькѣ спалъ ребенокъ. При видѣ Наташи, она поспѣшно бросила шитье и встала.

— Здравствуйте, барышня. Что это вы такъ рано? Небось, барыня-то еще спитъ?

— Всѣ спятъ.

— Извѣстно, на зарѣ—самый крѣпкій сонъ. Зачѣмъ же вы-то себя такъ утруждаете?

Въ первый разъ и тонъ, и слова Степаниды—показались Наташѣ неискренними и преувеличенно слащавыми. „А вѣдь въ самомъ дѣлѣ она, вѣроятно, съ своими совсѣмъ не такъ говоритъ!“—подумала Наташа съ непріятнымъ чувствомъ.

— Почему же мнѣ рано не вставать? Вѣдь вотъ вы же встали и, я думаю, еще раньше меня?

— И-и, барышня, наше дѣло другое!

— Почему другое?—съ досадой спросила Наташа.

— О, Господи, да какже! Мы — слуги, а вы — господа; у васъ одно дѣло, а у насъ—другое. Ежели мы спать-то станемъ, кто же за насъ работать будетъ?

— А какъ вы думаете, Степанида, хорошо это по-вашему?

Степанида съ удивленіемъ поглядѣла на Наташу.

— Чего такое?

— Да, вотъ, что одни работаютъ, а другіе въ это время спятъ...

На лицѣ Степаниды отразилось еще большее недоумѣніе, и она даже сѣла и взялась за шитье.

— Да вѣдь это ужъ порядокъ такой, барышня, — не сразу отвѣчала она.—Вы—господа, мы—слуги. Мы свое жалованье получаемъ, стало быть, должны хозяину угождать. Чай, хозяинъ-то намъ не даромъ деньги платитъ!

— Ну хорошо; а еслибы у васъ было много денегъ, вы тоже сами не стали бы работать, а слугъ себѣ наняли бы?

Степанида усмѣхнулась и покачала головой.

— Ну ужъ это... кто его знаетъ, барышня!—какъ-то уклончиво сказала она.—Безъ работы какъ же прожить?.. Мы—привычные... Ну, конечно, ежели бы достатокъ... да нѣтъ! это что же, слава Богу, мы всѣмъ довольны!

— И вамъ не хотѣлось бы пожить получше?

— Да какого же намъ еще рожна нужно, барышня? Слава тебѣ, Господи, кусокъ есть, крыша есть,—на что намъ лучше? Да мы, по глупости по своей, и не знаемъ, какъ это лучше! Нѣтъ, помилуй Богъ, въ добрый часъ сказать, въ худой помолчать,—мы довольны!

„Лжетъ или нѣтъ?“—подумала Наташа и замолчала, недовольная собой и Степанидой.

Овчариха какъ будто почувствовала, что барышня не въ духѣ, и, громко откусивъ нитку, взглянула на Наташу и заговорила своимъ обычнымъ веселымъ тономъ.

— А мы, барышня, ужъ и спасибо вамъ вчерась сказывали! Пришли вчерась мои ребята отъ васъ, а Илья и говоритъ Кирюшкѣ: „Ты бы, говоритъ, хошь показалъ намъ, чему ты отъ барышни занялся. Можетъ, такъ, зря ходите, барышнѣ докучаете!“ А Кирюшка взялъ книжку, да и ну тачать, ну тачать! Ужъ онъ прибиралъ-прибиралъ, ажно насъ съ Ильей слеза прошибла! Ну, и Васятка тоже ничего, а нѣтъ,—Кирюшка понятнѣе! Вотъ Илья-то и говоритъ: „Ну, Кирюшка, учись, смотри, да моли Бога за барышню! Черезъ нее ты, говоритъ, можетъ, человѣкомъ будешь!

Наташа вздрогнула. Вотъ, вотъ именно то самое и тѣми же словами говорилъ вчера Степанъ... Мужикъ хочетъ „человѣкомъ быть“...

— А что же это, Степанида, по-вашему значитъ: „человѣкомъ быть“?—съ жгучимъ любопытствомъ спросила она.

Степанида опять затруднилась.

— Да какже, барышня? Теперича ежели Кирюшка въ настоящее понятіе взойдетъ, вѣдь ему совсѣмъ другая цѣна будетъ! Вѣдь мы съ Ильей что̀? Темнота одна, чисто звѣри лѣсные живемъ, безо всякаго понятія! А грамотный человѣкъ, ежели хорошо займется,—ему вездѣ мѣсто, онъ до всего дойти можетъ!

— До чего—до всего?—продолжала допытываться Наташа.

— Охъ, ужъ и сказать-то я вамъ не умѣю, барышня! Вотъ кабы грамотная была, можетъ, и сказала бы, а то мелю-мелю, и чего,—сама не знаю... А только одно слово скажу: грамотному завсегда на свѣтѣ лучше жить.

— Ну, вотъ видите, Степанида,—а вы давеча сказали, что не знаете, какъ лучше жить! Значитъ, знаете!

— Да вѣдь это я про себя съ Ильей сказала, — наше съ нимъ дѣло такое, что какъ жили, такъ и проживемъ. А объ дѣтяхъ-то все думается, какъ бы имъ получше было... Охъ, Господи, можетъ, это и грѣхъ, а вѣдь тоже, скажу я вамъ, барышня, не сладко жить, у кого своего хозяйства нѣтъ, въ чужихъ людяхъ! Хорошо, ежели хозяинъ добрый попадется,—вотъ какъ нашъ баринъ, дай Богъ ему здоровья, а то вѣдь такіе храпоидолы попадаются—и Боже ты мой!.. Такъ нешто своему дитю добра не пожелаешь?

„Вотъ, вотъ правда!“ — думала Наташа, выйдя отъ овчарихи, и на душѣ у нея просвѣтлѣло. „Не намъ, такъ дѣтямъ нашимъ... вотъ этому самому Кирюшкѣ... и ихъ много, этихъ Кирюшекъ, и всѣ они хотятъ жить, и надо помочь имъ жить, — не кровью и ужасомъ, а именно букваремъ и

указкой, какъ вчера насмѣхался Степанъ"... Вспомнивъ о Степанѣ, Наташа почувствовала къ нему болѣзненную жалость, и ей стало страшно за его мрачное будущее. „Несчастный, несчастный... что онъ хочетъ дѣлать и зачѣмъ? Какъ бы его остановить, убѣдить, что онъ заблуждается? Погибнуть и погубить другихъ... пожертвовать собою такъ, ни за что, за химеру,—это ужасно"... Свѣтлое настроеніе ея исчезло, и она шла, не замѣчая, куда идетъ, волнуемая тяжелыми предчувствіями и ожиданіемъ какого-то огромнаго горя. „Да, правда, я не знаю народа и ничего не знаю, но вѣдь и онъ не знаетъ. Каждый изъ насъ думаетъ по-своему,—такъ, какъ ему хочется и какъ кажется. Споримъ, враждуемъ, расходимся, — а Кирюшка хочетъ жить и ждетъ... Отчего бы намъ не соединиться и не пойти вмѣстѣ на помощь Кирюшкѣ? Вѣдь ему отъ насъ нужно только одно... а тамъ ужъ онъ и самъ устроитъ свою жизнь такъ, какъ ему хочется"... И взволнованной Наташѣ, отуманенной безсонной ночью, казалось, что ее окружаютъ тысячи, милліоны,—цѣлый океанъ Кирюшекъ, ждущихъ, зовущихъ и просящихъ...

Вдругъ она споткнулась о кочку и остановилась. Она въ своемъ стремительномъ бѣгѣ забрела на какую-то узенькую межу, заросшую донникомъ и бѣлой кашкой. По обѣ стороны межи волновались выспѣвающіе хлѣба; на высокихъ колосьяхъ качались какія-то пестрыя козявки; синѣли васильки; невидимые жаворонки жизнерадостно журчали гдѣ-то и внизу, и вверху, и вездѣ. Пахло донникомъ и медуницей. Наташа оглянулась на волнующееся золотое море и вздохнула во всю грудь. Широкій просторъ полей захватилъ ее всю, и ей захотѣлось исчезнуть въ немъ, слиться съ нимъ въ одно... Она зашла въ самую глубь золотого моря и прилегла въ тѣни высокихъ колосьевъ. Здѣсь было свѣжо и душисто; непросохшая роса еще блестѣла на зеленыхъ стебелькахъ; пестрыя козявки грѣлись на солнцѣ, лѣниво шевеля усиками; золотая сѣть, сплетенная изъ солнечныхъ лучей и нѣжныхъ, прозрачныхъ колосьевъ пшеницы, съ таинственнымъ шопотомъ колыхалась надъ головою. Мысли Наташи спутались, и подъ пѣніе жаворонковъ, подъ стрекотаніе кузнечиковъ, она сладко заснула.

А Степанида, проводивъ Наташу, долго сидѣла въ раздумьѣ, покачивая головою. „Хорошая барышня, добрая, а... чудная!"—думала она.—До всего доходитъ... Я чтой-й-то впервой такую и вижу. Вотъ барыня, Аксинья Павловна,—тоже она простая,—и пошутитъ тебѣ, и посмѣется, ну все-таки же не то. А эта... во все вникаетъ"...

И когда Кирюшка прибѣжалъ въ избу за грифельной доской и азбукой, чтобы идти въ барскій домъ „на учобу“, Степанида почему-то особенно ласково погладила его по головкѣ и вздохнула.

XLI.

Солнце стояло высоко, когда Наташа проснулась и съ удивленіемъ увидѣла надъ собою синее небо и густую сѣть пшеницы. „Какъ это я сюда попала?“—подумала она, приводя въ порядокъ свои мысли. „Вотъ удивились бы всѣ мои петербургскіе знакомые, еслибы узнали, какую первобытную жизнь я веду,—бѣгаю по ночамъ, сплю въ полѣ, на голой землѣ, веду бесѣды съ овчаромъ-Ильей насчетъ ягнятъ“... И ей самой стало странно, что она такъ далеко отъ Петербурга и отъ всего петербургскаго,—скучнаго, книжнаго и сухо-серьезнаго. Освѣженная сномъ, обвѣянная здоровыми ароматами зрѣющихъ хлѣбовъ и травъ, она чувствовала себя теперь легко и бодро. „Какъ хорошо!“—повторяла она, идя по межѣ и съ наслажденіемъ нюхая сорванную по дорогѣ ромашку. „Вотъ правду сказалъ Некрасовъ: „Спасибо, сторона родная, за твой чарующій просторъ!“ Но что̀ думаютъ обо мнѣ дома? Ганна Матвѣевна, узнавъ, что я куда-то сбѣжала,—всякое уваженіе ко мнѣ потеряетъ“... Наташа засмѣялась и пошла скорѣе. Узенькая межа привела ее къ какому-то плетню, — она узнала пчельникъ и сажалку, гдѣ не была ни разу съ перваго дня своего пріѣзда. Ей вдругъ захотѣлось пройти туда и взглянуть на Егора,—она никогда его не видала. Откинувъ лыковую петлю и съ усиліемъ отворивъ плетеныя ворота, Наташа очутилась въ тѣнистомъ уголку, наполненномъ медовымъ запахомъ и мѣрнымъ жужжаніемъ пчелъ. Никого не было около шалаша... но гдѣ-то совсѣмъ близко Наташѣ послышались голоса. Раздвигая руками густую заросль, Наташа пошла по едва замѣтной тропинкѣ, извивавшейся между кустами; голоса слышались все ближе и ближе. Вотъ уже сквозь зеленую сѣть вѣтвей блеснула вода; запахло тиной и кувшинками; почва подъ ногами сдѣлалась тонкой и вязкой. Наташа остановилась, выбирая мѣсто посуше,—и вдругъ въ ужасѣ отступила назадъ... Прямо передъ нею на сломанномъ деревѣ сидѣла Ксаня въ утреннемъ бѣломъ платьѣ, а около нея на колѣняхъ стоялъ Прилукинъ. Ксаня положила обѣ руки ему на плечи и, близко наклонившись къ нему, что-то быстро-быстро говорила, а онъ глядѣлъ на нее, какъ очарованный, и страстно цѣловалъ

волнистыя пряди ея распущенныхъ волосъ. Они ничего не видѣли и не слышали...

Наташа опомнилась и, какъ безумная, побѣжала назадъ, ломая попадавшіеся на дорогѣ кусты и увязая въ тонкой грязи. Ее трясло точно въ лихорадкѣ; ноги дрожали и подкашивались. Первая мысль ея была о Максимѣ Григорьевичѣ. „Бѣдный, бѣдный!“ — шептала она съ отчаяніемъ. „Что̀ же дѣлать теперь,—что̀ дѣлать? Прибѣжавъ домой, она бросилась въ свою комнату и въ корридорѣ лицомъ къ лицу столкнулась съ Олимпіадой.

— Что̀ это съ вами, барышня? — съ удивленіемъ спросила Олимпіада.—На васъ лица нѣтъ...

— Ничего...—едва вымолвила Наташа, запирая дверь.

Олимпіада подозрительно покачала головой и, бормоча что-то себѣ подъ носъ, удалилась.

Оставшись одна, Наташа принялась обдумывать все случившееся. Значитъ, все, о чемъ она только смутно догадывалась,—правда... Ксаня, ея правдивая, честная Ксаня—лжетъ и обманываетъ! Что̀ же дѣлать теперь ей, Наташѣ, чтобы не быть соучастницей въ этомъ отвратительномъ обманѣ добраго, хорошаго человѣка? Какъ ей глядѣть послѣ этого въ его честные глаза? Открыть ли ему сейчасъ же всю правду, или молча уйти, оставить этотъ домъ съ его бѣдой и позоромъ? А можетъ быть, еще разъ попробовать остановить Ксаню, уговорить ее—такъ или иначе покончить съ этой ложью и преступной любовью?

Когда Наташа нѣсколько успокоилась и приняла послѣднее рѣшеніе, въ дверь ея комнаты постучались, и веселый голосъ Ксани окликнулъ Наташу.

— Зачѣмъ ты затворилась, Наташка? Что̀ съ тобой? Ты больна? Отвори скорѣе!..

Ничего не отвѣчая, потому что у нея отъ волненія перехватило горло, съ сильно бьющимся сердцемъ, Наташа отперла дверь, и въ комнату вбѣжала Ксаня, вся сіяющая, съ огромнымъ букетомъ водяныхъ лилій въ рукахъ. Щеки ея горѣли, глаза мерцали, на губахъ застыла счастливая улыбка.

— Мнѣ сейчасъ Олимпіада сказала...—начала она,—но, взглянувъ въ суровое, холодное лицо Наташи, остановилась, и улыбка исчезла съ ея губъ, смѣнившись выраженіемъ испуга.

— Ксаня, я все знаю... — сказала Наташа охрипшимъ голосомъ.

Ксаня поблѣднѣла, и букетъ выпалъ изъ ея рукъ.

— Я нечаянно зашла сейчасъ на сажалку... — продолжала Наташа съ усиліемъ. — И я видѣла тебя... и его.

Судорога пробѣжала по лицу Ксани, — глаза ея блеснули злымъ огонькомъ, и она смѣло, съ какимъ-то задоромъ, взглянула на Наташу.

— Ну чтожъ? Ну видѣла? — вызывающе крикнула она. — Мнѣ какое дѣло? Люблю — и люблю... и никому нѣтъ дѣла до этого...

— Зачѣмъ же ты лжешь? Если любишь,—скажи Максиму Григорьевичу... за что же его такъ... оскорблять?

При имени мужа весь злобный задоръ Ксани исчезъ. Она вся съёжилась, какъ-то по-дѣтски замигала глазами и стала вдругъ такая маленькая и жалкая. У Наташи сжалось сердце.

— Ксаня, не надо такъ...—вымолвила она ласково.—Ахъ, это такъ ужасно... и мнѣ такъ жаль васъ обоихъ!..

Ксаня закрыла лицо руками и, опустившись на кровать, среди мокрыхъ, раскиданныхъ по полу лилій, отчаянно зарыдала.

— Наташа, милая... не говори ничего... Ахъ, я съ ума сошла... я не знаю, что̀ мнѣ дѣлать! Это какое-то безуміе... Еслибы ты только знала, что̀ я переживаю каждый день! Когда я съ *нимъ*,—я все забываю, и я готова на все... но дома... смотрѣть на Максю, слышать, какъ онъ смѣется... ахъ, это такая мука! И я молчу, я ничего не могу... я боюсь и себя, и всѣхъ... Какъ я ему скажу? Что̀ съ нимъ будетъ?..

— Хочешь, я скажу все Максиму Григорьевичу?

Ксаня подняла къ ней свое залитое слезами лицо, и въ глазахъ ея появилось выраженіе ужаса и смертельной тоски.

— Нѣтъ, нѣтъ, Наташка... подожди... — зашептала она, ловя Наташины руки и крѣпко сжимая ихъ въ своихъ горячихъ рукахъ.—Подожди, я сама... Ахъ, я знала, что отъ меня будетъ только одно горе Максѣ! Сколько разъ я думала покончить все... уйти ночью на сажалку... и въ воду... Но я не могу! У меня не хватаетъ духу... я такъ боюсь смерти! Что же мнѣ дѣлать, другъ, Наташа,—скажи!..

Наташа сѣла съ нею рядомъ и обняла ее.

— Слушай, Ксаня,—успокойся... Вотъ что̀ я тебѣ посовѣтую...—Ксаня притихла и жадно слушала.—Я даю тебѣ сроку недѣлю. Мы вмѣстѣ обдумаемъ все и рѣшимъ, что̀ дѣлать. Но ты должна мнѣ обѣщать, пока не рѣшимъ, не видѣться съ Прилукинымъ, ничего ему не писать, не получать отъ него никакихъ записокъ... Хорошо?

— Наташка... — нерѣшительно произнесла Ксаня. — Но я уже обѣщала ему придти завтра утромъ туда... Сюда онъ ни за что не придетъ, — онъ не можетъ глядѣть на Максю... Но если я не приду къ нему завтра,—онъ измучается... Ему надо все сказать...

— Я пойду за тебя... и скажу все,—рѣшила Наташа, подумавъ. Ксаня хотѣла что-то сказать, но безсильно поникла головой и, увидѣвъ на полу водяныя лиліи, начинавшія уже увядать, снова залилась слезами. Эти лиліи напомнили ей солнечное утро, веселый блескъ воды, жаркіе поцѣлуи тайной любви. Теперь все кончено, тайна открыта, лиліи увяли... и это было ея послѣднее беззаботное солнечное утро. До сихъ поръ она, закрывъ на все глаза и отгоняя отъ себя всякія докучныя мысли, отдавалась своей грѣшной любви съ смутной надеждой, что все это какъ-нибудь и когда-нибудь само собою уладится; теперь этотъ страшный моментъ наступилъ, и жизнь настоятельно требуетъ отъ нея немедленнаго и серьезнаго рѣшенія труднаго вопроса. И легкомысленная Ксаня впервые еще вполнѣ ясно сознала, что ея счастливое, свѣтлое прошлое умираетъ вмѣстѣ съ этими лиліями, а будущее... будущее начинается съ обмана, слезъ и мучительной ломки всего, что̀ она такъ сильно любила. Обѣщало ли счастіе такое печальное начало?

Не безъ волненія подходила Наташа на слѣдующее утро къ мѣсту свиданія. Вчера, во время разговора съ Ксаней и послѣ, ей все казалось такъ легко и просто, и нужныя слова, которыя она должна была сказать Прилукину, сами просились на языкъ, а теперь она все забыла, все перепутала, чувствуя всю трудность, всю неловкость своего положенія, и ей приходило даже въ голову вернуться назадъ. Но она переломила себя и съ камнемъ на сердцѣ отворила знакомыя ворота. Проходя мимо шалаша, она увидѣла пчелинца-Егора. Онъ сидѣлъ на обрубкѣ, низко опустивъ голову и свѣсивъ руки, но, услышавъ шаги, оглянулся и медленно всталъ. Наташа пристально взглянула въ его темное, сухое лицо, обросшее черною съ сильной просѣдью бородой, и ей показалось, что угрюмый взглядъ его выразилъ изумленіе... „Не знаетъ ли и онъ обо всемъ?“—подумала Наташа, и ей стало стыдно и страшно за Ксаню, которая до того дошла въ своемъ безуміи, что чуть не на глазахъ у всѣхъ назначала Прилукину свиданія. И тутъ у нея мелькнула другая мысль, что вотъ такая-то безумная любовь и есть самая на-

стоящая, стихійная любовь, которая, очертя голову, идетъ на все, ни о чемъ не размышляетъ, ломая на своемъ пути всѣ преграды и не останавливаясь даже передъ гибелью и позоромъ. Наташа еще разъ оглянулась на Егора,—онъ стоялъ на томъ же мѣстѣ и страннымъ взглядомъ продолжалъ слѣдить за нею.

Прилукинъ сидѣлъ на сломанномъ деревѣ въ глубокой задумчивости. Шелестъ шаговъ заставилъ его встрепенуться; съ радостной улыбкой онъ оглянулся, но, увидѣвъ Наташу, весь помертвѣлъ, и радость смѣнилась на его лицѣ испугомъ.

— Вы?..—проговорилъ онъ, дѣлая шагъ къ Наташѣ и протягивая ей руку.—Что-нибудь случилось?

— Ничего...—отвѣчала Наташа въ смущеніи, не глядя на него и дѣлая видъ, что не замѣчаетъ его протянутой руки.—Я... я пришла къ вамъ по порученію Ксани.

— А!..—глухо произнесъ Прилукинъ, и блѣдность его смѣнилась яркой краской. Онъ опустилъ руку и, снявъ фуражку, машинально провелъ рукою по лицу.—Значитъ, вы... все знаете? —упавшимъ голосомъ спросилъ онъ.

Наташа молчала. Прилукинъ обѣими руками схватился за голову и сѣлъ на дерево.

— За кого же вы меня теперь считаете?—прошепталъ онъ.

— Не будемте говорить объ этомъ!—мягко сказала Наташа. —Я пришла только для того, чтобы сказать вамъ... Ксаня проситъ васъ не ходить сюда и не бывать у нихъ до тѣхъ поръ, пока... пока не рѣшитъ, что̀ ей дѣлать.

— Значитъ, все кончено?—еще тише поникая головою, вымолвилъ Прилукинъ.

— Вы узнаете все потомъ. Дайте ей придти въ себя и обдумать... Александръ Рафаиловичъ, — неужели вы сами не знаете, что *это* не должно такъ продолжаться?

— Да, да... я знаю, знаю...—пробормоталъ Прилукинъ, не поднимая головы.

Они замолчали. Прошло нѣсколько тяжелыхъ минутъ, показавшихся Наташѣ безконечно долгими. „Ахъ, скорѣе бы это кончилось!“—подумала она съ тоской.

— Александръ Рафаиловичъ, что̀ же вы скажете мнѣ?— начала она рѣшительно.—Я ухожу...

Прилукинъ поднялъ голову и протянулъ къ ней руки.

— Постойте, Наталья Гавриловна... не уходите такъ! — съ мольбой воскликнулъ онъ.—Я знаю, вы презираете меня... и я сто̀ю этого... но дайте же мнѣ хоть немного оправдаться передъ вами.

— Зачѣмъ это? Передо мною вы ни въ чемъ не виноваты.

— Ахъ, вы хотите сказать... передъ Максимомъ Григорьевичемъ? Да, да, вы опять правы... Я поступалъ безчестно... я велъ себя, какъ презрѣнный воръ... я кралъ въ одно и то же время и дружбу, и любовь... („Къ чему онъ говоритъ это?“ — подумала Наташа, морщась и начиная раздражаться).—Но еслибы вы знали, какъ я боролся и страдалъ! У меня не хватало силъ сдѣлать то, что̀ было нужно сдѣлать... Пожалѣйте меня, — я такой несчастный, жалкій человѣкъ!

Его лицо исказилось, прекрасные глаза были полны слезъ. И въ душѣ Наташи вмѣстѣ съ жалостью шевельнулось и презрѣніе.

— Довольно объ этомъ, Александръ Рафаиловичъ, — прервала она. — Обдумайте все это про себя и рѣшите, что̀ дѣлать, — я вамъ не судья... Но оставьте Ксаню... дайте и ей придти въ себя. Вамъ обоимъ надо успокоиться,—вѣдь вы теперь оба въ бреду.

— Да... въ бреду!—машинально повторилъ Прилукинъ.— Хорошо, я уйду... я даю вамъ слово, что... Но неужели вы такъ и уйдете отъ меня съ презрѣніемъ въ душѣ? Неужели вы и теперь не дадите мнѣ вашей руки? (Наташа холодно протянула ему руку,—онъ съ жаромъ сжалъ ее въ своихъ пылающихъ рукахъ). Спасибо, спасибо, Наталья Гавриловна... Ахъ, еслибы вы знали, чего мнѣ стоитъ смотрѣть въ ваши свѣтлые, правдивые глаза!.. Но я ухожу, я повинуюсь вамъ во всемъ. Я сдѣлаю все, чтобы загладить... Но скажите ей, что я—что̀ бы меня ни ожидало — безуміе, ужасъ, смерть... я люблю ее и жить безъ нея не могу... Прощайте! Я все, все поправлю...

Онъ еще разъ крѣпко сжалъ ея руку и бросился въ чащу. Наташа проводила его глазами и въ раздумьи пошла домой. Теперь ей казалось, что она сдѣлала что-то не такъ; она сожалѣла, что обошлась съ нимъ черезчуръ холодно и рѣзко, и его послѣднія, отчаянныя слова все еще звучали въ ея ушахъ.

На пчельникѣ она опять встрѣтилась съ Егоромъ. Онъ какъ будто поджидалъ ее, и когда она проходила мимо,—смѣрилъ ее съ ногъ до головы своими мрачными глазами. И Наташа прочла въ его взглядѣ уже не изумленіе, а презрительную насмѣшку. „Да, онъ знаетъ все!“—подумала Наташа, чувствуя, что краснѣетъ подъ этимъ злымъ и презрительнымъ взглядомъ. „Давно знаетъ... и въ душѣ, можетъ быть, радуется, что и господа не избавлены отъ стыда и позора. Но какое у него страшное лицо!..“

Наступилъ день праздника Петра и Павла. Этотъ праздникъ являлся всегда цѣлымъ событіемъ въ станицѣ Лазоревой, во-первыхъ, потому, что тамъ былъ „престолъ“, во-вторыхъ,—ярмарка, и, наконецъ, въ-третьихъ,—множество именинниковъ. Поэтому лазоревцы обыкновенно начинали готовиться къ нему чуть не за недѣлю,—мылись, чистились, бѣлили хаты, свозили навозъ съ улицъ на „зады“, шили наряды, варили брагу и пекли огромное количество пироговъ. Всюду кипѣла лихорадочная дѣятельность: на площади съ утра до ночи стучали топоры и визжали пилы; строились дощатые балаганы для красныхъ товаровъ, пряниковъ, посуды и всякой всячины; возводились гигантскія „рели“ (качели), изъ Ростова тянулись громадные обозы съ товарами, фокусниками, звѣринцами, петрушками и каруселями... Ближайшіе хутора тоже не отставали отъ станицы въ праздничныхъ хлопотахъ, и поэтому на Червономъ хуторѣ еще наканунѣ торжественнаго дня шла веселая суматоха и стряпня. На задахъ у рѣчки топилась цѣлый день баня, и всѣ хуторяне ходили съ вѣниками, съ красными, торжественно-серьезными лицами, въ чистыхъ рубахахъ и сарафанахъ и съ какимъ-то особеннымъ, самодовольнымъ сіяніемъ въ глазахъ. Нигдѣ не слышно было ни брани, ни громкаго говора и смѣха,—даже людскую кухарку оставили въ покоѣ, и ея появленіе не вызывало никакихъ бурныхъ сценъ и столкновеній.—Русскій человѣкъ всегда особенно сдержанъ наканунѣ большихъ праздниковъ,—вѣроятно, потому, что нѣкоторое воздержаніе увеличиваетъ остроту предстоящаго праздничнаго веселья и какъ бы даетъ бóльшее право развернуться во всю ширь. И обитатели Червонаго хутора серьезно готовились къ встрѣчѣ Петра и Павла. — Въ людской кухнѣ заводились огромныя дижи съ тѣстомъ для пироговъ; за овчарней рѣзали барановъ; въ курятникѣ отчаянно кричали куры и индюки. Максимъ Григорьевичъ всюду распоряжался самъ, и его статная фигура мелькала то здѣсь, то тамъ, и громкій голосъ раскатывался по всему хутору. Онъ былъ веселъ, и его настроеніе находилось въ полнѣйшей дисгармоніи съ тишиной, царившей въ домѣ. Тамъ, повидимому, приближавшійся праздникъ никого не радовалъ. Ганна Матвѣевна, которая въ былое время сама принимала во всемъ дѣятельное участіе и, засучивъ рукава, подтыкавъ юбку, шумѣла на весь хуторъ, теперь сидѣла, запершись у себя и ссылаясь на недомоганіе. Наташа и Ксаня тоже ходили какъ въ воду опущенныя, и Ксаню не радовало даже новое платье, сшитое къ празднику у самой лучшей лазоревской портнихи. Наконецъ, и Максимъ Григорьевичъ

сталъ замѣчать, что въ его домѣ поселился невидимый духъ унынія и печали, и тщетно старался изгнать его своими пряными хохлацкими шутками и смѣхомъ.

— Да чего-жъ вы всѣ сумныя такія? — приставалъ онъ то къ женѣ, то къ Наташѣ. — Такой завтра праздникъ, а у васъ на лицахъ постъ! Смотрите, Петръ и Павелъ на васъ разсердятся, ей Богу, разсердятся! Наталья Гавриловна, да хоть вы поглядите на меня веселѣе, — къ той фуріи я ужъ и подступиться боюсь... Засмѣйтесь хоть!

Но Наташа не смѣялась и опускала глаза передъ его веселымъ, добродушнымъ взглядомъ. Она не могла глядѣть на него прямо,—ей казалось, что онъ сразу прочтетъ въ ея глазахъ все...

— Э, Боже мой!—вздыхалъ Максимъ Григорьевичъ.—И чтò это съ вами такое? Давно ли вы какая веселенькая были! Ну, пойдемте, коли такъ, въ людскую, глядѣть, какъ пироги ставятъ. Тамъ—вы поглядите только—чтò дѣлается! Барановъ, утей, курей нажарили,—у святого, и у того слюнки потекутъ, ей Богу! А завтра чтò будетъ, о, Боже ты мой! Пѣсни, пляски, музыка! Въ прошломъ году у меня даже Оксанка въ хороводѣ плясала,—право! Да какъ ловко, бісова,—совсѣмъ какъ наши харьковскія хохлушки: „Дубъ-дубъ-дуба, дуба, дуба, ты дивчина моя люба!"—Помнишь, Оксанко?

Но Ксаня хмурилась и отмалчивалась, и Максимъ Григорьевичъ, глядя на нее, затуманивался. Зà-сердце его начинало что-то сосать... Но въ это время къ нему прибѣгали изъ людской спросить насчетъ пшена, или ключникъ требовалъ ключей отъ амбара, и онъ съ головой погружался въ эти хозяйственныя дѣла, которыя надолго заглушали сосущую боль сердца.

Иногда Наташа, чтобы не обидѣть Максима Григорьевича, шла съ нимъ въ людскую или въ кухню, и они вмѣстѣ смотрѣли, какъ кухарка, звякая монистами, мѣситъ въ дижѣ тѣсто своими толстыми, крѣпкими руками и, вымѣсивъ, креститъ его по всѣмъ направленіямъ и накрываетъ чистымъ рядномъ, или какъ Мидасъ, обливаясь потомъ, чиститъ кострюли и подсвѣчники, а Олимпіада, осыпая его язвительными словами, гладитъ крахмальныя юбки и малороссійскія рубашки.—Наташа замѣтила, что Олимпіада въ послѣднее время тоже какъ будто была не въ духѣ, и Наташѣ казалось, что она дуется именно на нее. Прежде она всегда разстилалась передъ Наташей лисой и засыпала ее своими услугами и любезностями,—теперь же молча убирала комнату, на вопросы отвѣчала нèхотя и отрывисто, а при встрѣчахъ въ корридорѣ какъ-то странно щурила свои бы-

стрые глаза и поводила носомъ, точно хотѣла выразить Наташѣ свое пренебреженіе. Наконецъ, Наташа стала даже подозрѣвать, что Олимпіада за нею невидимо слѣдитъ: куда бы она ни пошла— глядь, Олимпіада ужъ тутъ какъ тутъ,—вертится, чего-то ищетъ и дѣлаетъ видъ, что не обращаетъ на Наташу ни малѣйшаго вниманія, сама же такъ и виляетъ глазами, такъ и высматриваетъ, такъ и подстерегаетъ каждое движеніе... Наташѣ это не нравилось.

— Какая противная твоя Олимпіада!—говорила Наташа Ксанѣ.—Я ее не люблю: въ ней есть что-то предательское, лукавое!

— Неправда!—съ жаромъ возражала Ксаня.—Ты ее не знаешь, Наташка: она мнѣ страшно предана и готова за меня въ огонь и въ воду!..

О Прилукинѣ и обо всемъ, что̀ произошло на сажалкѣ, подруги ничего не говорили съ того самаго дня. Но Ксаня держала свое слово: она никуда теперь не исчезала одна, и все время проводила съ Наташей, хотя разговаривали онѣ мало и все больше о пустякахъ. Въ присутствіи Максима Григорьевича онѣ обѣ чувствовали себя неловко и избѣгали смотрѣть другъ на друга, точно два сообщника, связанные между собою общимъ преступленіемъ.

XLII.

Вечеромъ, наканунѣ праздника, всѣ рѣшили лечь пораньше, чтобы раньше встать и поѣхать къ обѣднѣ. Такъ было всегда заведено на Червономъ хуторѣ, и отъ этого обычая никогда не отступали. Послѣ обѣдни предполагалось отправиться къ батюшкѣ пить чай и пригласить его на хуторъ съ образами, потомъ пойти и потолкаться на ярмаркѣ. Къ обѣду же рѣшено было вернуться домой, потому что вечеромъ непремѣнно ужъ кто-нибудь пріѣдетъ въ гости.

— Куда это Чекманаевъ пропалъ?—говорилъ Максимъ Григорьевичъ за ужиномъ.—Нужно мнѣ его повидать до зарѣзу, а онъ точно провалился. Говорятъ, въ гурты уѣхалъ... а какіе тамъ гурты? Вретъ все, и не въ гурты вовсе, а есть тамъ у него на хуторѣ кое-что... Эхъ, погано это!

— Что̀ такое?—спросила Наташа, стараясь при упоминаніи о Чекманаевѣ сохранить самый спокойный и равнодушный видъ.

— Да вотъ отъ жены такую пакость заводить! Бѣдняга Антонида,—по неволѣ запьешь до бѣлой горячки, чтобы не ви-

дѣть такого сраму. Да что̀! я и сгадать не могу, какъ бы я глядѣлъ въ очи моей Оксанкѣ, когда у меня на сторонѣ завелась такая шкода!

Ксаня вспыхнула и бросила быстрый взглядъ на Наташу; Наташа сидѣла какъ на иголкахъ, уткнувшись въ свою тарелку.

— Перестань, Макся!—рѣзко сказала Ксаня.—Что это за гадость: ты сплетничаешь и судачишь, точно какая-нибудь винокурша. Что тебѣ за дѣло до Чекманаева!

Максимъ Григорьевичъ добродушно разсмѣялся.

— Вотъ такъ хлопъ—прямо въ лобъ!—воскликнулъ онъ.— Уже и въ сплетники попалъ на старости лѣтъ... А и то правда,— какое мнѣ дѣло до Чекманаева и до другихъ? Такъ только,—поглядишь на чужую бѣду, ну и жалко станетъ,—поэтому и говоришь... А оно, конечно, моя хата съ краю... вѣдь у меня ничего этого, слава Богу, нѣту.

Бѣдняга, говоря это, и не подозрѣвалъ, что страшная бѣда, отъ которой онъ такъ открещивался, уже поселилась въ его домѣ и, какъ злой демонъ, высматриваетъ изъ всѣхъ угловъ. И безпечный тонъ Максима Григорьевича особенно больно рѣзалъ Наташу.

На утро Наташу разбудилъ стукъ въ дверь и голосъ Олимпіады, докладывавшей, что лошади уже готовы, и въ Лазоревой давно звонятъ къ обѣднѣ. Наташа быстро встала, одѣлась и по привычкѣ подошла къ окну. Утро было очаровательное,—свѣжее, розовое, тихое; на небѣ ни облачка; весь садъ пропитанъ запахомъ росы и зацвѣтающихъ левкоевъ. Но Наташа уже не испытывала того беззаботнаго, жизнерадостнаго настроенія, которое всегда бывало у нея по утрамъ въ первое время ея пребыванія на хуторѣ; на душѣ у нея лежала тяжесть; безпокойныя предчувствія и ожиданіе несчастія угнетали ее. „Какъ прекрасна природа, и какъ все искажается въ рукахъ человѣка!"—подумала она словами Руссо, съ тяжелымъ вздохомъ отходя отъ окна.

Уже совсѣмъ готовая къ отъѣзду, въ кофточкѣ и шляпѣ, она вышла на крыльцо и увидѣла Степана, который медленно, усталою походкой, подходилъ къ дому. Эта неожиданная встрѣча смутила ихъ обоихъ, и они долго молчали, какъ молчатъ люди, которыхъ такъ глубоко и сильно занимаетъ одна какая-нибудь общая идея, что всякіе посторонніе разговоры кажутся имъ незначительными и ненужными. Наташа давно уже не видѣла Степана (тогда вечеромъ въ саду она не могла разсмотрѣть его лица), и ей сразу бросилось въ глаза, что онъ сильно осунулся и поблѣднѣлъ еще больше, и прежнее, немножко презрительное выраженіе лица смѣнилось у него какою-то унылою озабоченностью.

— Вы были больны?—спросила наконецъ Наташа.

— Я? Нѣтъ...—скороговоркой отвѣчалъ Степанъ и сейчасъ же поспѣшно измѣнилъ тему разговора.—А вы, кажется, молиться ѣдете?

— Да. Я никогда не бывала въ деревенской церкви, и мнѣ очень интересно...

— Посмотрѣть, какъ молится народъ? Такъ же безсмысленно, какъ и все, что̀ онъ дѣлалъ и дѣлаетъ до сихъ поръ... Впрочемъ, зачѣмъ я это говорю?.. Посмотрите сами,—увидите, а кстати помолитесь „за всѣхъ труждающихся и обремененныхъ“,—можетъ быть, ваша молитва облегчитъ чье-нибудъ тяжкое бремя.

— Опять насмѣшка?

— Нѣтъ... я серьезно. Помолитесь за грѣшныхъ и заблуждающихся, за падающихъ и ослабѣвшихъ... если хотите, и за меня въ томъ числѣ...

Онъ началъ говорить иронически, но на послѣднихъ словахъ голосъ его сорвался, и въ немъ зазвучала уже не иронія, а такая глубокая печаль, что сердце у Наташи дрогнуло.

— Ахъ, Степанъ Павловичъ!—воскликнула она горячо, протягивая ему руку.—Еслибы я могла молиться, еслибы я только могла... о, какъ бы я просила Бога, чтобы онъ излечилъ боль вашей души и разсѣялъ мракъ, въ которомъ вы заблудились! Ни за кого, никогда я не молилась бы такъ, и еслибы вы только знали, какъ я этого хочу, и какъ я васъ...

Она не договорила, съ ужасомъ и восторгомъ глядя на Степана. Лицо его странно измѣнилось и просвѣтлѣло, въ угрюмыхъ глазахъ сверкнула радость, и онъ съ силою сжалъ Наташину руку,—ту самую руку, которая мерещилась ему и во снѣ, и наяву, а теперь сама такъ довѣрчиво отдавалась.

— Вы... вы...—прошепталъ онъ и остановился.—Вы... очень много берете на себя, Наталья Гавриловна!—съ непріятнымъ смѣхомъ продолжалъ онъ, выпуская ея руку.—Ваши молитвы мнѣ не помогутъ... да и не надо мнѣ ихъ, не хочу я... Хоть тысячу молебновъ отслужите за спасеніе моей грѣшной души,—меня вы этимъ не остановите... Запомните это хорошенько, Наталья Гавриловна... и не пытайтесь больше „изъ мрака заблужденья—горячимъ словомъ убѣжденья—душу́ падшую извлечь“... Спасать ближнихъ,—это очень красиво и возвышенно... и для собственнаго самолюбія пріятно... ха-ха!.. потому что, вѣдь, кто берется исправлять другихъ, тотъ самому себѣ, такъ сказать, выдаетъ патентъ на безупречность... Но, Наталья Гавриловна, не забывайте, что на этомъ пути не одни розы и тріумфы, а

есть и тернія... и что тѣ, которыхъ вы желаете облагодѣтельствовать, могутъ превратиться не въ друзей вашихъ, а въ самыхъ непримиримыхъ враговъ...

Степанъ произносилъ эти оскорбительныя, злыя слова грубо и рѣзко, прерывая ихъ короткимъ, хриплымъ смѣхомъ, но лицо его выражало страданіе, какъ будто бы съ каждымъ словомъ онъ отрывалъ отъ своего сердца по куску, и это причиняло ему мучительную боль. Послѣднюю фразу онъ выговорилъ съ видимымъ усиліемъ,—голосъ его оборвался, смѣхъ, похожій на рыданіе, замеръ въ горлѣ, и, не простившись съ Наташей, онъ торопливо отошелъ отъ крыльца.

Но Наташу не оскорбила его грубая выходка,—она чувствовала, что это говорилъ другой Степанъ,—не тотъ, который сейчасъ смотрѣлъ на нее просвѣтлѣвшими отъ счастья глазами, и, закрывъ лицо, она шептала: „Любитъ, любитъ... *меня* любитъ... и тогда ночью онъ *мнѣ* это сказалъ“...

На крыльцо вышла Ксаня; за нею слѣдовалъ Максимъ Григорьевичъ, весьма торжественный, но въ то же время и чрезвычайно неуклюжій въ своей крахмальной рубашкѣ, сюртукѣ и городской соломенной шляпѣ. Онъ самъ, смѣясь, сознался, что чувствуетъ себя въ этомъ костюмѣ, какъ индюкъ въ мѣшкѣ, но это не мѣшало Ганнѣ Матвѣевнѣ, которая, несмотря на нездоровье, тоже ѣхала къ обѣднѣ, смотрѣть на своего „любаго Максимку“ съ гордостью и любовью. Она сама тоже была разодѣта въ черное шолковое платье, въ старинную мантилью съ кистями и стеклярусомъ и въ черную кружевную косынку на головѣ. Въ этомъ траурномъ нарядѣ, съ сумрачными своими глазами и сурово сжатыми губами, она напоминала какую-то средневѣковую королеву, ѣдущую на казнь еретиковъ. Тарасъ подалъ дрожки, запряженныя парой, и не безъ ухарства, не совсѣмъ подходившаго къ его сѣдой бородѣ и сгорбленной фигурѣ, осадилъ лошадей у крыльца.

— Ну, ну, Тарасъ, не такъ швидко!—засмѣялся Максимъ Григорьевичъ.—Еще разсыплешься, пожалуй, и придется намъ по всему шляху твои старыя кости собирать!

Но Тарасъ, возбужденный новою наборною сбруей, употреблявшейся только въ особо торжественныхъ случаяхъ, новымъ кучерскимъ армякомъ, подпоясаннымъ ярко-зеленымъ шерстянымъ поясомъ, былъ такъ проникнутъ въ эту минуту горделивымъ желаніемъ не ударить для праздника лицомъ въ грязь, что не обратилъ на предостереженіе Максима Григорьевича никакого вниманія, и только усмѣхнулся ему въ отвѣтъ.

Проѣзжая мимо флигеля Степана, Наташа оглянулась. Окна были наглухо заперты, на двери висѣлъ замокъ; домъ смотрѣлъ мрачно и замкнуто—такъ же, какъ и его хозяинъ. Но Наташа подумала, что теперь въ ея власти согрѣть и освѣтить холодный мракъ, въ которомъ жилъ до сихъ поръ Степанъ, и при этой мысли ей стало такъ стыдно и радостно, что она отвернулась, стараясь скрыть отъ всѣхъ свое счастливое лицо.

Обѣдня уже началась, когда они пріѣхали въ Лазоревую. Народу было такъ много, что большая часть его не помѣстилась въ церкви и тѣснилась на паперти и въ оградѣ. Пестрѣли яркіе наряды лазоревскихъ красавицъ и красныя рубахи казаковъ, сверкали позументы на казакинахъ и разноцвѣтныя бусы на шеяхъ разряженныхъ казачекъ, но преобладали рваные зипуны, лапти и сермяги пришлыхъ рабочихъ, которымъ не нашлось мѣста въ церкви и которые расположились въ оградѣ прямо на землѣ. Червоные едва пробрались въ церковь, гдѣ отъ множества молящихся было нестерпимо душно и жарко. У всѣхъ лица были красныя, мокрыя; пахло пòтомъ и сапогами; сизый паръ стоялъ надъ толпою, смѣшиваясь съ густыми облаками кадильнаго дыма, поднимавшимися кверху. Шорохъ поклоновъ, вздохи, покашливанье, возгласы священника въ глубинѣ алтаря, пѣніе пѣвчихъ—учениковъ лазоревскаго училища,—все это сливалось въ одинъ общій, довольно своеобразный гулъ. Впереди у самаго амвона помѣщалась самая аристократическая часть публики. На отдѣльномъ коврикѣ стоялъ Долгоуховъ и съ важностью индѣйскаго пѣтуха отвѣшивалъ поклоны, но больше всего, кажется, былъ занятъ тѣмъ, чтобы его какъ-нибудь не толкнули, и враждебнымъ взглядомъ окидывалъ всякаго, кто осмѣливался подходить къ нему черезчуръ близко. „Не тронь!"—казалось, говорилъ этотъ взглядъ.—„Развѣ ты не знаешь, кто я такой?"—И его не трогали, потому что знали, что онъ—тотъ самый Долгоуховъ, который въ прошломъ году подновилъ на собственный счетъ иконостасъ и такимъ образомъ купилъ себѣ право быть ближе къ Богу. Рядомъ съ нимъ стояла его величественная супруга, горделиво выпятивъ грудь, вся обвѣшанная драгоцѣнностями, испускавшими сіяніе. Вокругъ нея тѣснились другія дамы; блескъ бриліантовъ m-me Долгоуховой мѣшалъ имъ молиться, и онѣ, разсѣянно крестясь, безпрестанно оглядывались и впивались глазами то въ ея брошку, величиною съ блюдечко, то въ серьги и браслеты, украшавшія ея уши и руки. Онѣ обмѣнивались между собою взглядами, выражавшими зависть и восхищеніе, и,

подавляя вздохи, снова принимались изучать подробности туалета великолѣпной купчихи...

Въ церкви становилось все тѣснѣе; толпа напирала сзади, и, наконецъ, начала толкать и тѣснить лазоревскую аристократію. Надменный взоръ Долгоухова загорѣлся справедливымъ негодованіемъ, и, мановеніемъ руки подозвавъ къ себѣ церковнаго сторожа, онъ что-то приказалъ ему. Церковный сторожъ, подобострастно выслушавъ приказаніе, ринулся на толпу и принялся расталкивать ее и расчищать мѣсто около ихъ степенствъ, безцеремонно толкая въ грудь мужиковъ и бабъ, одѣтыхъ посѣрѣе и попроще.

Его энергическіе маневры вызвали въ церкви смятеніе: послышались стоны и восклицанія; толпа заколыхалась и подалась назадъ. Въ этой сумятицѣ Наташа была оттерта отъ своихъ спутниковъ и очутилась у стѣны за правымъ придѣломъ, среди самаго сѣраго и рванаго люда.

— Чтò тамъ такое? Чего толкаются?—шептались около нея.

— О, Господи, ишь тѣснота какая!—сказала какая-то баба, притиснутая къ стѣнѣ.—Ой, батюшки, задавили!

— Оттого и толкаются, что богатѣямъ мѣста мало!—послышался чей-то громкій, протестующій голосъ. — Настановились впереди, а насъ —въ грудки! Нашему брату-сѣряку и помолиться-то не даютъ...

Наташа оглянулась. Это говорилъ низенькій, шершавый человѣчекъ въ рваномъ казакинѣ, съ краснымъ, возбужденнымъ лицомъ и сверкающими, злыми глазами. Губы у него тряслись, и весь онъ какъ-то дергался и кривлялся, точно въ припадкѣ Виттовой пляски. Слова его были встрѣчены общимъ сочувствіемъ, и вокругъ Наташи поднялся ропотъ. Толпа снова всколыхнулась и двинулась впередъ; Наташу волокли то туда, то сюда; то прижимали ее къ стѣнѣ, то выносили на самую середину церкви; сѣрые зипуны, растрепанныя бороды, дырявыя бабьи панёвы—просачивались всюду и волнами разливались во всѣ стороны. Наташа задыхалась; голова у нея закружилась, въ глазахъ потемнѣло, ноги подкосились...

— Стой, стой!.. Куда вы прете, оглашенные? — слышались вокругъ нея голоса.—О, Господи, барышню-то задавили!..

— А она не лѣзь!—возражалъ кто-то.—Чего на нихъ смотрѣть! Они тутъ расфуфырятся, да и норовятъ впередъ выставиться, а мы сзади стой! Чай, мы такіе же люди! Небось, храмъ-то Божій для всѣхъ!..

В. І. Дмитріева.



ПО
ШВЕЦІИ

Путевые очерки и замѣтки.

Окончаніе.

XI.—Озеро Веттеръ [1]).

Продолжая плыть по каналу, мы попрежнему видимъ, что рѣка Мотала все время остается довольно глубоко внизу, сравнительно съ нашимъ пароходомъ, и своими широкими разливами отдѣляетъ отъ насъ крутые лѣсные склоны своего лѣваго берега. Но отъ Боренборга уже начинается Боренское озеро, каналъ обрывается, рѣка Мотала тоже, и приходится цѣлыхъ четырнадцать верстъ перерѣзать насквозь изъ конца въ конецъ это на картѣ очень маленькое, а въ дѣйствительности порядочно большое и сильно взволнованное озеро, на которомъ нашъ пароходъ сталъ не на шутку подпрыгивать. По красивымъ берегамъ оз. Борена встрѣчаются не только маяки и деревеньки, но и фабрики, и цѣлые городки. Налѣво виднѣется шпиль церкви Экебюборна, подальше—Ульфоза. Вѣтеръ гонитъ намъ прямо на встрѣчу цѣлыя стаи всплескивающихъ и ныряющихъ бѣлыхъ барашковъ, и на нихъ съ быстротою стрѣлы пронесло мимо насъ, подкидывая его какъ орѣховую скорлупу, крошечное парусное суденышко съ тройкою молодыхъ, румянолицыхъ парней, самымъ безпечнымъ

[1]) См. выше: апрѣль, стр. 429.

образомъ относившихся и къ жуткой пляскѣ, и къ этому бушующему озеру.

Подходя уже къ тому его берегу, мы прошли очень близко мимо высокаго, скалистаго островка, покрытаго густымъ лѣсомъ. На самой вершинѣ его эффектно вырѣзался большой господскій домъ, по-здѣшнему зàмокъ, къ которому вела отъ воды узкая и крутая просѣка. Это и есть историческая Ульфоза, о которой до сихъ поръ разсказываютъ старыя легенды.

Озеро, наконецъ, кончилось, и опять пошелъ каналъ; гигантская лѣстница, изъ пяти шлюзовъ сряду—ожидала насъ. Капитанъ объявилъ, что проходъ этихъ шлюзовъ возьметъ цѣлый часъ; и мы всѣ, пользуясь солнечнымъ, хотя и вѣтренымъ денькомъ, высыпали изъ парохода поразмять немного свои ноги. Дорога вдоль канала оказалась прелестною прогулкою въ тѣни стараго лѣса, охватывающаго съ обѣихъ сторонъ каналъ по замѣчательно мягкой, пескомъ убитой дорогѣ. Мы незамѣтно дошли до Моталы, самаго оживленнаго промышленнаго центра всей этой дѣятельной промышленной мѣстности. Знаменитые заводы Моталы разбросаны на большомъ пространствѣ вдоль рѣки. Собственно говоря, и озеро Боренъ, и озеро Роксенъ, которыя мы проѣхали, и еще одно озеро Гланъ, оставшееся вправо отъ насъ,—все это только разливы одной и той же рѣки Моталы, черезъ русло которой выливаются въ фіордъ Балтійскаго моря, Бровикенъ — вòды всегда переполненнаго огромнаго озера Веттера. У низовья этой рѣки или, вѣрнѣе, этой системы озеръ и протоковъ, близъ впаденія ея въ Бровикенъ, стоитъ богатый и многолюдный заводскій городъ Норрчёпингъ, а у истока ея, близъ выхода ея изъ озера Веттера,—городъ Мотала, быстро развивающій свою кипучую заводскую дѣятельность и уже извѣстный своими желѣзными издѣліями и машинами далеко во всѣхъ европейскихъ странахъ, особенно же у насъ въ Россіи, которая дѣлаетъ въ Моталѣ множество заказовъ. И Мотала, и Норрчёпингъ, пользуются для своихъ многочисленныхъ заводовъ громадною даровою силою рѣки, которая не знаетъ, куда вмѣстить свои обильныя воды, падающія, къ тому же, на колеса заводовъ съ порядочной высоты. Въ этой части Швеціи, впрочемъ, вездѣ многочисленныя воды ея играютъ эту двойную благодѣтельную роль неистощимыхъ и всегда готовыхъ даровыхъ двигателей всевозможныхъ заводскихъ машинъ и въ то же время легко доступныхъ и всюду проникающихъ своими безчисленными развѣтвленіями—путей сообщенія для пароходовъ, кораблей, плотовъ и барокъ. Эти счастливыя условія встрѣчаются далеко не вездѣ и

далеко не часто обезпечиваютъ и этимъ областямъ Швеціи— былой землѣ воинственныхъ готовъ—блестящую промышленную будущность. Еще изстари эта „страна озеръ, заливовъ, рѣкъ" сдѣлалась одною изъ самыхъ торговыхъ и промышленныхъ мѣстностей Швеціи именно вслѣдствіе тѣхъ условій, о которыхъ я только-что говорилъ, и къ которымъ слѣдуетъ прибавить еще до сихъ поръ существующее, хотя уже сильно пошатнувшееся обиліе лѣсовъ для топлива, нѣкогда казавшееся такъ же неистощимымъ, какъ и вòды здѣшнихъ озеръ. Оттого-то вся окрестная мѣстность полна, такъ сказать, исторически-установившихся торговыхъ рынковъ, которые даже въ самыхъ названіяхъ своихъ громко свидѣтельствуютъ о своей не только теперешней, но и прежней торговой роли. „Чёпингъ" (пишется: köping) — по-шведски значитъ именно „рынокъ". Норрчёпингъ—„сѣверный рынокъ"—въ нѣсколькихъ часахъ къ сѣверу отъ насъ, Сёдеръ-чёпингъ—„южный рынокъ"—его мы только-что проѣхали въ заливѣ Слоттбаккенѣ; въ 10—12 километрахъ къ югу отъ осмотрѣннаго нами въ Бергѣ Вретскаго монастыря—опять „рынокъ", городъ Линчёпингъ; близъ Окселозунда мы проѣхали недалеко отъ Нючёпинга („новаго рынка"); впереди насъ, на берегу озера Веттера одинъ изъ самыхъ большихъ и древнихъ торговыхъ городовъ Готіи—Іёнчёпингъ, а по сосѣдству съ нимъ—Фалчёпингъ.

Нѣкоторые изъ этихъ „рынковъ", какъ Мотала и Норрчёпингъ, процвѣли въ настоящее время исключительно черезъ желѣзо. Желѣзомъ переполнена почва Швеціи, и во всемъ мірѣ нѣтъ такой чистой и выгодной желѣзной руды, какъ шведская. Оттого шведскія желѣзныя издѣлія и шведскія желѣзные матеріалы если не берутъ особенно громадными количествами сбыта, какъ англійскія, бельгійскія и нѣмецкія издѣлія и руды, зато берутъ своимъ превосходнымъ качествомъ, высоко цѣнимымъ во всѣхъ промышленныхъ странахъ за свою чистоту и мягкость. Шведская желѣзная руда почти свободна отъ примѣси сѣры и фосфора, которые такъ портятъ англійское и нѣмецкое желѣзо, сообщая ему хрупкость и ломкость, и вынуждая желѣзодѣлательные заводы этихъ странъ прибѣгать къ дорого стоющимъ изобрѣтеніямъ для устраненія столь важнаго недостатка.

Шведское желѣзо значительно лучше другихъ не только по внутренней природѣ своихъ рудъ, но и потому еще, что громадныя лѣсныя богатства Швеціи даютъ ей возможность обработывать свои руды гораздо болѣе чистымъ древеснымъ углемъ, а не каменнымъ, котораго у нея вовсе нѣтъ (если не считать скромныхъ копей около Гельсингборга), и которымъ вынуждены,

за недостаткомъ лѣсовъ, выдѣлывать свое желѣзо англичане, бельгійцы и другіе народы. Каменный же уголь, заключая въ себѣ всегда изрядную порцію сѣры,—невольно подмѣшиваетъ часть этой сѣры и въ желѣзную руду, да кромѣ того, требуя для своего горѣнія гораздо болѣе высокой температуры, чѣмъ дрова, заставляетъ желѣзо соединяться еще и съ кремнеземомъ тѣхъ каменныхъ печей, въ которыхъ обжигается руда, а кремнеземъ дѣйствуетъ такъ же вредно, какъ фосфоръ и сѣра, на тягучесть и ковкость желѣза.

Всѣ эти, такъ сказать, естественныя преимущества шведской желѣзодѣлательной промышленности позволили шведскимъ заводамъ конкуррировать съ лучшими иностранными, даже и не вводя въ свое производство новѣйшихъ усовершенствованій, такъ что давно уже употребительные въ Европѣ способы литья стали и обработка желѣза Бессемера, Сименса-Мартена и др., проникли въ шведскіе заводы только въ послѣднее время, да и то далеко не всѣ.

Заводы Моталы, основанные всего 75 лѣтъ тому назадъ, съ каждымъ годомъ пріобрѣтаютъ все бо̀льшее значеніе. До 1.200 рабочихъ постоянно заняты на нихъ. На заводахъ этихъ приготовляются всевозможныя паровыя машины, паровозы, тендеры, газовые и гидравлическіе двигатели, пароходы, землечерпалки, турбины, насосы, мосты, все, что̀ угодно изъ области машинъ, не считая разныхъ сортовъ желѣза, стали и чугуна, которые въ огромныхъ массахъ сбываются за границу и внутрь страны. Особенно охотно раскупаютъ въ Германію, Австрію, Швейцарію и Бельгію здѣшнюю великолѣпную сталь для косъ и разныхъ инструментовъ. Ежегодно Мотала сбываетъ своихъ фабрикатовъ милліона на три франковъ, хотя еще далеко отстала отъ сосѣда своего по рѣкѣ, Норрчёпинга, этого „скандинавскаго Манчестера“, гдѣ, кромѣ желѣзныхъ и машинныхъ заводовъ, работаютъ около 35 ткацкихъ фабрикъ, изготовляющихъ главную массу всѣхъ шерстяныхъ тканей Швеціи, гдѣ строятся канонерки и броненосцы, рафинируется сахаръ, гдѣ вообще кормится работою 6—7.000 рабочихъ, выработывающихъ всякаго товара уже не на три, а на тридцать-пять милліоновъ франковъ ежегодно!

Желѣзо вообще составляетъ одну изъ главныхъ статей добычи и сбыта Швеціи, всѣ заводы которой обработываютъ его ежегодно до полу-милліона метрическихъ тоннъ, хотя всего тридцать лѣтъ назадъ производство желѣза въ Швеціи не превышало 160.000 тоннъ, слѣдовательно увеличилось за послѣднее время болѣе чѣмъ втрое.

По воскресеньямъ заводы Моталы закрыты, какъ и вездѣ въ Швеціи, и необычная тишина царствуетъ потому въ этомъ мѣстѣ суеты, движенія, шума и гама. Громадные корпуса заводовъ, складовъ, мастерскихъ окружены цѣлыми деревнями домиковъ для рабочихъ. Каждый семейный рабочій имѣетъ здѣсь свой домъ; это лучше всего привязываетъ его къ интересамъ завода и заставляетъ дорожить своимъ мѣстомъ. Домики эти безъ дворовъ, и уже снаружи рѣзко отличаются отъ крестьянскихъ, всегда окруженныхъ разными хозяйственными угодьями.

На набережныхъ канала могучіе паровые краны, которые захватываютъ, какъ щепотку табаку, тяжелѣйшій локомотивъ въ нѣсколько тысячъ пудовъ и въ одну минуту переносятъ его прямо на палубу парохода. Хотя можно было получить какого-нибудь смотрителя заводовъ и осмотрѣть ихъ внутреннее устройство, но насъ, какъ не-спеціалистовъ техники, это мало интересовало, а потому мы ограничились наружнымъ осмотромъ Моталы и пѣшкомъ же отправились въ дальнѣйшій путь до городка Моталы, отстоящаго верстахъ въ четырехъ отъ заводовъ, у самаго озера Веттера. На пути мы прошли мимо „Карлсборга", хорошенькой дачи управляющаго мотальскихъ заводовъ, украшенной памятникомъ своему старому хозяину,—мимо нѣсколькихъ другихъ фабрикъ и усадьбъ, спрятанныхъ въ лѣсу. Прекрасный высокоствольный лѣсъ идетъ все время по обоимъ берегамъ канала, отѣняя собою широкія и покойныя аллеи-дороги. Среди этого лѣса, на высокомъ правомъ берегу канала—памятникъ графу Платену, создателю Готскаго канала. Подъ широкими кронами—кучки старыхъ вязовъ; среди ограды поставлена на-ребро огромная угловатая плита дикаго камня, безъ всякой полировки и отдѣлки, прямо такая, какою ее выломали изъ скалы, съ краткою и простою надписью: „Graff B. B. von Platen". Группы туристовъ и мѣстныхъ крестьянокъ, пришедшихъ раньше насъ, толпились уже около памятника этого добромъ поминаемаго энергическаго дѣятеля. Хотя дѣйствительнымъ строителемъ Готскаго канала былъ не онъ, а приглашенный имъ шотландскій инженеръ Томасъ Тельфордъ, но тѣмъ не менѣе каналъ все-таки обязанъ своимъ существованіемъ разумному замыслу и настойчивымъ усиліямъ Платена, съумѣвшаго одолѣть всѣ многочисленныя и для другихъ, можетъ быть, непреоборимыя препятствія, встрѣчавшіяся на пути.

Бальтазаръ Богисловъ фонъ-Платенъ былъ морякъ по воспитанію, цѣлый рядъ годовъ прожилъ на морѣ, то на коммерческихъ, то на военныхъ корабляхъ, бился въ морскихъ сраже-

ніяхъ, и просидѣлъ нѣсколько лѣтъ плѣнникомъ въ русской крѣпости. Когда Платенъ сдѣлался, въ 1801 г., однимъ изъ директоровъ акціонернаго общества только-что оконченнаго въ 1800 г. маленькаго Трольгетскаго канала, соединявшаго озеро Венернъ съ рѣкою Гёта-Эльфъ, въ обходъ знаменитыхъ водопадовъ Трольгеттанъ, онъ задался упорною мыслью соединить такимъ же каналомъ съ такими же шлюзами Балтійское море съ Каттегатомъ, поперекъ всей Швеціи. Это была вѣковѣчная мечта многихъ выдающихся умовъ въ Швеціи, и попытки осуществить ея проявлялись не только при Густавѣ Вазѣ и Карлѣ IX, но и раньше ихъ, когда эту мысль настойчиво проводилъ Браскъ, католическій епископъ Линчёпинга; при Карлѣ XII-мъ, надъ этимъ вопросомъ много работалъ извѣстный мистикъ и инженеръ Сведенборгъ, по смѣлой мысли котораго и былъ впослѣдствіи прорытъ Трольгетскій каналъ.

Платену пришлось бороться и противъ людей, и противъ стихій. Никто почти не вѣрилъ въ осуществимость его предпріятія. Съ огромнымъ трудомъ удалось ему вырвать въ 1809 г. согласіе риксдага на начатіе работъ. Денегъ всегда было мало; расходы громадны; насмѣшки и противодѣйствія враждебно настроенныхъ людей на каждомъ шагу грозили разрушить задушевное дѣло смѣлаго иниціатора. Даже члены риксдага часто острили, что „единственная вода, которая потечетъ по каналамъ Платена,—будутъ слезы разорившихся акціонеровъ". Тридцать лѣтъ продолжалась эта героическая борьба одного человѣка съ недоброжелательствомъ и косностью общества, и въ концѣ концовъ все-таки создался и глубочайшій въ Европѣ каналъ съ его изумительными системами шлюзовъ, поднимающими корабли и пароходы на вершины горъ, спускающими ихъ оттуда по ступенямъ лѣстницы,—и многочисленные заводы Моталы, служившіе разнороднымъ потребностямъ того же канала. Самъ творецъ канала не дожилъ до его торжественнаго открытія, хотя все приготовилъ для этого. Въ 1830 году онъ успокоился отъ своихъ трудовъ сномъ вѣчнымъ. Въ своемъ завѣщаніи онъ писалъ: „Устройте мое погребеніе такъ просто, какъ только дозволятъ уставы церкви; покройте мое тѣло знаменемъ моего отечества и похороните меня въ Моталѣ. Памятникомъ мнѣ поставьте простую плиту изъ каменоломней канала и не пишите на ней ничего кромѣ моего имени".

Риксдагъ, тронутый кончиною самоотверженнаго труженика, рѣшился окончить его славное дѣло, и въ 1832 году воды Балтійскаго моря слились съ водами внутреннихъ озеръ Швеціи,

Балтика соединилась съ Каттегатомъ и Скагерракомъ непрерывною водною дорогою.

Платенъ обладалъ изумительнымъ даромъ угадывать людей и открывать скрытые въ нихъ таланты. Онъ привлекъ къ себѣ на службу, еще почти юношею, извѣстнаго Джона Эриксона, разгадавъ его призваніе инженера по нѣсколькимъ почти дѣтскимъ рисункамъ, а впослѣдствіи привлекъ также и его брата, Нила Эриксона. Оба эти славные инженера удостоились за свои заслуги торжественныхъ монументовъ отъ благодарнаго отечества: Нилъ Эриксонъ—въ Стокгольмѣ; Джонъ Эриксонъ—въ Филипстадѣ.

По всей дорогѣ, на пространствѣ четырехъ верстъ, и справа, и слѣва канала—толпы народа, благодаря воскресенью. Одни двигаются къ озеру, другіе назадъ, къ заводамъ. На лошадяхъ—ни одного,—всѣ пѣшкомъ. Все это простой людъ, вѣроятно, фабричный. Рабочіе въ жакеткахъ, галстухахъ, воротничкахъ, шляпахъ; у каждаго часы съ цѣпочкою. Дамы ихъ одѣты еще приличнѣе и наряднѣе, не деревенскія бабы и дѣвки, а настоящія городскія барышни, подъ зонтиками, съ ридикюльчиками, въ шляпкахъ съ цвѣтами. Дѣтишки тоже одѣты, какъ у насъ говорится, совсѣмъ по-господски: разноцвѣтные чулочки, башмаки, воротнички, матроски, хотя и грубоватой матеріи. Уравненіе сословій полное въ смыслѣ костюма. Многіе на велосипедахъ, которые въ Швеціи изготовляются на множествѣ фабрикъ и дешевы какъ нигдѣ.

Временами мнѣ казалось, что мы гуляемъ по оживленной улицѣ какого-нибудь города, среди обычной городской публики, а не въ деревенскомъ лѣсу. Осмотръ завода и остановка у памятника отняли у насъ столько времени, что мы едва не опоздали къ проходу парохода подъ разводный желѣзнодорожный мостъ у послѣдняго шлюза на рѣкѣ Моталѣ, за которымъ онъ уже выходилъ въ озеро Веттеръ. Послѣднюю версту пришлось сдѣлать чуть не бѣгомъ, при общемъ смѣхѣ всѣхъ запоздавшихъ, хотя страхъ нашъ, конечно, былъ напрасенъ, такъ какъ любезный капитанъ парохода, навѣрное, подождалъ бы какую-нибудь четверть часа такую слишкомъ уже крупную партію своихъ неаккуратныхъ пассажировъ.

Разводный мостъ и шлюзъ—въ самомъ мѣстечкѣ Моталѣ, отъ котораго заводы Моталы отстоятъ версты четыре. Тутъ, однако, тоже немало торговыхъ и промышленныхъ заведеній: цементный заводъ, хлѣбные элеваторы съ обычною вентиляціею сквозь че-

тырехъ-этажныя рѣшетчатыя башни; у самой пристани—домъ „Общества Готскаго канала“. Набережная у пристани кишитъ празднымъ людомъ. Рабочіе подъ-ручку съ своими женами, въ шляпахъ, съ тросточками, весело болтая, толпятся около отходящихъ и приходящихъ пароходовъ. Оживленіе большое. Одинъ изъ пароходовъ, „Vera“, убралъ себя кругомъ вѣтвями деревьевъ и гирляндами цвѣтовъ, какъ у насъ убираютъ церкви на Троицынъ-день, отправляясь куда-то въ Lustfahrt, полный миловидныхъ молодыхъ личиковъ дѣтей и дѣвушекъ, весело выглядывающихъ изъ-за зелени. Кромѣ пароходовъ, на пристани громоздились и нѣсколько парусныхъ кораблей, ожидающихъ груза. Движеніе, жизнь, многолюдство, вездѣ,—на землѣ и на водѣ.

Вотъ мы, наконецъ, и на пресловутомъ озерѣ Веттерѣ, извѣстномъ каждому россійскому школьнику даже изъ самаго краткаго учебника географіи. Wetter, по-нѣмецки, значитъ „погода“, но по всей справедливости, божеской и человѣческой, это безпокойное озеро слѣдовало бы перекрестить въ „Unwetter“—„непогоду“,—такъ оно постоянно волнуется. По-русски же и безъ перекрещиванія выходитъ вполнѣ законное названіе этому озеру —„озеро Вѣтеръ“. Вѣтеръ тутъ, дѣйствительно, не прекращается никогда. Можно сказать, здѣсь тянетъ вѣчный сквознякъ, и это не удивительно, если сообразить, что вся эта цѣпь большихъ и малыхъ озеръ и рѣчекъ Готіи: Меларъ, Гіельмаръ, Веттеръ, Венернъ, соединяясь съ фіордами Балтійскаго моря въ одномъ концѣ—и съ фіордами Каттегата на другомъ, образуютъ собою широкую сквозную впадину между возвышенными мѣстностями стараго готскаго царства, „Гётарике“, или Готланда, заключавшаго къ себѣ древнія области Сканіи, Блекинга, Галланда и Смоланда на югѣ, и стараго Свевскаго, или Свейскаго царства, Svearike, на сѣверѣ. Какъ бы то ни было, но эти географическія и метеорологическія соображенія, при всей убѣдительности своей, нисколько не утѣшили насъ, когда, по выходѣ въ озеро, мы вдругъ почувствовали изрядную качку, какъ бы на настоящемъ морѣ.

Солнце разсыпàло по верхушкамъ пляшущихъ волнъ свое совсѣмъ бѣлое, серебристое отраженіе, не похожее на огненно-золотистые брызги южнаго солнца. Ширь и просторъ во всѣ стороны; юго-западный вѣтеръ упорно гонитъ волны въ бокъ нашего шаткаго и валкаго парохода; берега еле замѣтны въ туманѣ дали. Мы огибаемъ выдающійся въ озеро мысъ и заво-

рачиваемъ широкою дугою къ древней Вадстенѣ, больше извѣстной теперь подъ именемъ Веттерсборга. Издали еще высоко торчитъ надъ водою острый шпиль церкви св. Бригитты, которой обязана своимъ основаніемъ и сама древняя Вадстена. Кучка краснокрышихъ домиковъ поднимается съ берега по мѣрѣ приближенія къ нему, а у самой пристани, прямо на лонѣ водъ, возвышается живописная громада средневѣковаго замка, нѣсколько напомнившаго намъ замокъ Грипсгольмъ на озерѣ Меларѣ. Женщина основала и прославила этотъ городокъ пятьсотъ лѣтъ тому назадъ; женскимъ дѣломъ славится онъ и въ наше время. Вадстена торгуетъ на всю Швецію замѣчательно тонкими кружевами своими.

Обитель св. Бригитты закрыта уже давно, вмѣстѣ съ упраздненіемъ въ Швеціи католическаго культа. Въ историческомъ монастырѣ помѣщается также домъ душевно-больныхъ, хотя въ церкви его еще хранятся чтимые даже протестантами останки святой основательницы монастыря. Имя св. Бригитты широко было знакомо христіанскому міру въ былые вѣка, и составляетъ одно изъ самыхъ симпатичныхъ и трогательныхъ именъ суровой исторіи скандинавовъ. Эта свѣтлая, возвышенная душа прошла черезъ мракъ себялюбиваго, кровожаднаго и чувственнаго времени какимъ-то кроткимъ ангеломъ, разливавшимъ кругомъ себя тихое сіяніе любви и мирнаго труда, какимъ-то чуднымъ гостемъ иного, идеальнаго міра среди ожесточеннаго страстями и злобою взаимной борьбы, грубаго человѣчества. Бригитта жила въ самые темные дни и шведской, и европейской исторіи,—на зарѣ XIV-го столѣтія (она родилась въ 1300 году). И хотя она была монахиня, и причтена была католическою церковью къ лику святыхъ, вся ея жизнь протекла среди людей и людей ради. Она была святою и чистою съ самаго младенчества своего. Почти ребенкомъ плѣнился ея душевнымъ качествомъ знатный ярлъ Ульфъ (т.-е. Вольфъ), мало похожій на обычный типъ современной ему знати и еще менѣе отвѣчавшій характеромъ своему хищному имени (т.-е. „Волкъ“). Бригитта цѣлый длинный рядъ лѣтъ была прекрасною женою и прекрасною матерью восьмерыхъ дѣтей, не переставая быть глубокою христіанкою. Среди разврата, лжи и насилій тогдашняго королевскаго двора она оставалась цѣломудренной и правдивой, какъ въ своемъ скромномъ дѣвичествѣ, смѣло обличая безнравственныя дѣла, смѣло говоря правду въ глаза самому королю. Эта высокая женщина насаждала вездѣ, гдѣ ей приходилось дѣйствовать, не только сѣмена добра и любви, но и свѣтъ просвѣщенія, особенно рѣдкій

и особенно необходимый въ тѣ темныя варварскія времена. Ея заботами священное писаніе было переведено на тогдашній шведскій языкъ, и она усердно занималась съ дочерьми изученіемъ латинскихъ авторовъ. Ученые и мудрые люди составляли ея любимое общество; она не только сама нѣсколько разъ предпринимала безконечно трудныя тогда и чрезвычайно опасныя путешествія въ Испанію, въ Италію, въ Палестину, для посѣщенія святыхъ мѣстъ и знакомства съ ученѣйшими представителями католической церкви, но увлекла въ эти путешествія и мужа своего, и многихъ друзей; а когда мужъ ея умеръ, дѣти выросли и она могла, наконецъ, подъ старость лѣтъ, посвятить свои силы устройству давно задуманной ею иноческой обители, то она обратила эту обитель въ своего рода разсадникъ просвѣщенія, полезнаго труда и широкаго благотворенія, сдѣлала ее плодотворнымъ центромъ культурной и разумной духовной жизни тѣхъ темныхъ временъ. Въ церкви ея обители постоянно говорились проповѣди, доступныя простому народу, дѣвушки высшаго круга обучались подъ ея руководствомъ не только истинамъ вѣры, но и правиламъ трудолюбивой и честной семейной жизни, и сами монахини, помимо молитвъ и поста, были постоянно заняты какою-нибудь полезною женскою работою. Между прочимъ и кружевной промыселъ, давшій столько заработка жительницамъ Вадстены въ теченіе послѣдующихъ вѣковъ, обязанъ своимъ развитіемъ трудамъ св. Бригитты. Святая жена пользовалась такимъ уваженіемъ своихъ земляковъ и иноземцевъ, среди которыхъ она жила во время своихъ благочестивыхъ странствованій, что жертвы на ея монастырь приходили отовсюду. Шведскій король подарилъ для обители землю въ Вадстенѣ. Ея собственное состояніе обильно тратилось на то же любимое дѣло ея.

Бѣдные, больные, отверженцы всякаго рода—кто бы они ни были, изъ какой бы страны ни пришли—находили въ святой женѣ нѣжную, самоотверженную мать. Она и состояніе свое подѣлила передъ смертью по-братски между ними и дѣтьми своими; умерла она въ глубокой старости, скоро послѣ того, какъ совершила, уже семидесятилѣтнею старицею, съ нѣсколькими дѣтьми своими, въ конецъ обезсилившее ее—тяжелое и далекое путешествіе въ Іерусалимъ...

Несмотря на короткую остановку парохода, мы успѣли-таки осмотрѣть старый зàмокъ Густава-Вазы, представляющій собою одинъ изъ самыхъ характерныхъ образчиковъ тогдашняго архитектурнаго стиля, который величаютъ теперь „густавіанскимъ“

и которому усердно стараются подражать современные шведскіе архитекторы въ крупныхъ общественныхъ постройкахъ. Особенной красоты въ этомъ стилѣ я не вижу; онъ слишкомъ тяжелъ, массивенъ и прозаиченъ.

Но зато онъ вполнѣ выражаетъ собою свою эпоху и характеръ того великаго шведа, имя котораго онъ носитъ. Та же несокрушимая мощь, та же способность упорнаго сопротивленія стихіямъ и времени. Въ одно и то же время—крѣпость и церковь, дворецъ и темница. Высокая башня, совсѣмъ напоминающая колокольню, съ такимъ же шпилемъ и такимъ же барабаномъ подъ нимъ, вѣнчаетъ середину массивнаго дома съ готическими ступенчатыми фронтонами въ каменныхъ статуяхъ, подпертаго съ боковъ, и отъ воды, и отъ суши, приземистыми круглыми башнями изъ грубаго булыжника, съ рѣдкими бойницами, съ глубокими подземельями ниже воды. Еще двѣ пяти-ярусныя башни примыкаютъ со двора къ заднему фасаду дома. Редутъ, какъ видите, изрядно неприступный.

Мы вошли въ замокъ по подъемному когда-то мостику, перекинутому черезъ ровъ, полный воды; парадный входъ подъ центральную башню сохранилъ еще нѣкоторыя скудныя украшенія шведской готики XVI-го столѣтія, и только два огромныя окна башни еще пропускаютъ свѣтъ внутрь зàмка; всѣ остальныя окна обоихъ ярусовъ задѣланы деревомъ, разрисованнымъ на манеръ старинныхъ глазчатыхъ оконъ. Дворецъ Густава-Вазы уже давно обращенъ въ какой-то интендантскій или иной складъ. Обширный дворъ обсаженъ громадными вѣковыми деревьями, можетъ быть, еще современниками перваго шведскаго короля.

Шведы стали громко вызывать „vacktmästare“, — сторожа зàмка, который и появился безъ замедленія со связкою ключей,— очевидно, уже заранѣе поджидая пароходную публику.

Мы пробѣжали оба полутемные этажа зàмка, но не нашли тамъ ничего интереснаго, несмотря на старанія нашего путеводителя воспламенять наше воображеніе разными важными историческими именами. Тутъ дѣйствительно остались только одни имена, одинъ пустой звукъ. Спальня Густава-Вазы, темница Густава-Вазы, зала пиршествъ Густава-Вазы, — все это звучитъ интересно, но на дѣлѣ вы ничего не видите, кромѣ грубыхъ сводовъ и арокъ въ пустыхъ громадныхъ сараяхъ, вымазанныхъ известью, да изрѣдка только остановитесь на какомъ-нибудь случайно уцѣлѣвшемъ скульптурномъ каминѣ, карнизѣ потолка или порталѣ дверей временъ реформаціи.

———

Отчалили отъ Вадстены, усѣвшись за обѣдъ. Двѣ проворныя шведки отлично управляются съ двумя длинными столами, биткомъ набитыми путешественниками. Но качка дѣлаетъ свое. Многія дамы съ необычною быстротою убѣгаютъ изъ-за стола, спасаясь въ свои каюты. А озеромъ идти цѣлыхъ тридцать верстъ, да еще самою серединою его. Старинный и богатый городъ Іёнчепингъ съ его знаменитыми фабриками, снабжающими спичками и Южную Америку, и Австралію, и Африку, мы оставляемъ въ сторонѣ, влѣво, а сами поперекъ перерѣзаемъ озеро, чтобы черезъ новую систему каналовъ, рѣчекъ и маленькихъ озеръ пробраться въ самое большое изъ шведскихъ озеръ—озеро Венернъ. Несмотря на сильный вѣтеръ и качку, я все-таки не уходилъ съ рубки, всматриваясь въ своеобразныя картины, насъ окружавшія. Я съ жуткимъ замираніемъ сердца, понятнымъ въ человѣкѣ, не привыкшемъ къ морю,—слѣдилъ глазами за морской парусной шлюпкой, которая съ быстротою птицы неслась по вѣтру, накренившись совсѣмъ на бокъ и поминутно черпая бортомъ воду, такъ что намъ постоянно былъ виденъ ея зеленый киль, между тѣмъ какъ два лихихъ матроса ея сидѣли, перевѣсившись на противоположный бортъ, и, повидимому, нисколько не думая о грозившей имъ опасности...

Гораздо скорѣе, чѣмъ я ожидалъ, перенеслись и мы черезъ озеро и стали подходить къ крѣпости Карлсборгу, на противоположномъ берегу Веттера, у входа въ новую вѣтвь Готскаго канала. Карлсборгъ считается очень сильною крѣпостью, устроенною по всѣмъ правиламъ современной фортификаціи. Тутъ ужъ ничто не пахнетъ средними вѣками: вмѣсто романтическихъ шпилей, башенъ и остроребрыхъ крышъ зѝмка — невинные на видъ зеленые валы, выстланные газономъ, съ выглядывающими изъ нихъ кое-гдѣ черными жерлами пушекъ; все—въ саду, въ зелени.

Тутъ же, недалеко отъ крѣпости, въ тѣни деревьевъ—и многолюдное гулянье городской публики. Дѣвушки, дѣти—смѣло и свободно катаются на парусныхъ и гребныхъ лодкахъ, видимо освоясь съ водною пучиною, какъ наши дѣти—съ своими степями и полями. Около гостинницы, украшенной цвѣтами и растеніями, веселыя толпы народа, пьющаго, болтающаго, читающаго. Пароходъ останавливается почти у подножія этой гостинницы-ресторана, и его рѣшительно осадила эта разношерстная, многоголосая, оживленно волнующаяся публика. У всякаго пассажира и пассажирки отыскались здѣсь знакомые, и смѣху, розсказнямъ, разспросамъ—конца нѣтъ. Пароходная публика вывалила на набережную, го-

родская завладѣла пароходомъ, и все перемѣшалось въ одинъ пестрый и шумный базаръ. Военныхъ тутъ много, все въ синихъ съ желтымъ мундирахъ; одни только артиллеристы—въ суровыхъ черныхъ. Щеголяютъ тутъ офицеры, щеголяютъ дѣвушки, все и всѣ разодѣты по праздничному,—все ярко, пестро и свѣжо...

Домá тутъ всѣ въ садахъ, въ тѣни парковъ; вездѣ дорожки, скамеечки, чистота и порядокъ—на цѣлыя версты, сколько ни ѣдешь, куда ни глянешь. Мы проѣхали маленькое озеро Боттенъ, всего семь верстъ длины, держась почти прямо на сѣверъ, и опять очутились въ каналѣ. Погода, слишкомъ бурная и суровая на просторѣ озера Веттера, къ вечеру нѣсколько стихла, тучи куда-то угнало, и солнечное небо веселило теперь глазъ и душу. Невыразимое спокойствіе и какое-то ласково-трогательное наслажденіе чувствуете вы, проплывая безшумно и почти неподвижно этимъ узкимъ каналомъ, среди милыхъ зеленыхъ рощъ, гдѣ пасутся на сочныхъ полянахъ жирныя молочныя коровы, сидятъ, бродятъ, предаваясь своему воскресному отдыху, мирные граждане трудолюбивой страны въ своихъ опрятныхъ одеждахъ. Кое-гдѣ разноцвѣтныя группы мужчинъ и женщинъ разсѣлись на травѣ кругомъ голаго гранитнаго камня и, растеливъ на немъ ради приличія бѣлую салфетку, угощаются принесенными ими in's Grüne скромными питіями и яствами. Все это смотритъ на васъ настоящею сельскою идилліею, счастливыми буколиками Виргилія.

Но въ Швеціи погода не балуетъ, и ясные лучи солнца показываются, кажется, только затѣмъ, чтобы еще болѣе дать вамъ почувствовать обычную суровость здѣшней негостепріимной природы. Только-что вступили мы изъ канала въ озерцо Викенъ, какъ опять расшумѣлся холодный вѣтеръ, опять принеслись откуда-то стаи тучъ, сталъ накрапывать мелкій дождь, берега сразу отодвинулись въ туманную даль, и вся мирная красота пейзажа вдругъ исчезла, будто сквозь землю провалилась. Отъ мѣстечка Петорпа опять возобновился каналъ со всею прелестью своихъ березовыхъ, ясеневыхъ и ильмовыхъ рощъ, съ бархатистыми коврами своихъ зеленыхъ береговъ, усѣянныхъ бѣлыми и розовыми цвѣтами. Несмотря на моросившій дождь, жители не хотѣли лишиться своей воскресной прогулки in's Grüne и, вооружившись зонтиками, прячась подъ густыя кроны старыхъ деревьевъ, все-таки съ любопытствомъ глазѣли на проплывавшій пароходъ и его столичную публику. Дѣтки, опрятно подвязанныя фартучками, тоже здѣсь въ изобиліи. Они очевидно пріучены уже къ вѣчной сырости и мокротѣ родныхъ палестинъ и не

церемонятся съ дождемъ. Со двора одной изъ фермъ, мимо которой мы проѣхали, выбѣжала цѣлая бойкая толпа босоногихъ ребятишекъ и дѣвчонокъ, снявшихъ свою обувь, можетъ быть, нарочно ради дождя. Ихъ радостно-смѣющаяся кучка, какъ стая проворныхъ ласточекъ, долго преслѣдовала нашъ пароходъ, ловко подхватывая то налету, то въ травѣ бросаемые имъ съ палубы конфекты, сухарики и печенья. Особенно насмѣшила всю нашу пароходную публику своею озабоченною серьезностью и глубоко обиженнымъ видомъ крошечная румянолицая пышечка въ соломенной шляпѣ съ краснымъ бантомъ и съ буффами на рукавахъ, и въ то же время босоногая; она употребляла самыя отчаянныя, но всякій разъ безполезныя усилія схватить своими миніатюрными лапками хотя что-нибудь изъ лакомой добычи, неизмѣнно попадавшей въ болѣе пряткія руки ея безжалостныхъ товарищей...

За Васбаккеномъ пейзажъ рѣзко измѣнился; по сторонамъ канала пошли поля, раскинулась широкая равнина; лѣсные холмы отодвинулись далеко, на задній планъ. Фермы и мызы стали встрѣчаться гораздо чаще. Дома крыты черепицею, хорошо и красиво выстроены; огромные сараи, вмѣщающіе въ себѣ и гумно, и амбары, и конюшни, и все хозяйство поселянина— подъ соломою. Только у богатыхъ владѣльцевъ вся усадьба подъ черепицею и непремѣнно выкрашена съ макушки до низу.

Мы заснули, не доѣзжая до озера Венерна, и не замѣтили, какъ въѣхали въ него.

XII.—Водопады Трольгеттана.

Всю ночь насъ трепала жестокая буря; Венернъ оправдалъ свою репутацію самаго большого и самаго бурнаго озера Скандинавіи. Сквозь сонъ мнѣ искренно казалось, что мы гдѣ-нибудь въ Балтикѣ,—до того сильна была качка; въ довершеніе иллюзіи, бутылка зельтерской воды, лежавшая на сѣткѣ надъ моею койкою, отъ постоянной тряски выпалила вонъ свою пробку и стала совсѣмъ некстати окачивать мнѣ полегоньку лицо и шею своею прохладительною струею; я вообразилъ сначала, что это морская волна пробилась сквозь плохо запертый люкъ, но люкъ оказался сухимъ и плотно завинченнымъ; заснулъ опять,— опять орошеніе сверху. Насилу я сообразилъ истинную причину этого загадочнаго фонтана, и сбросилъ на полъ полупорожнюю бутылку. Въ девять часовъ утра мы вышли на палубу. Дождь

лилъ, буря продолжала свирѣпѣть. Все было застлано сѣрыми простынями дождевыхъ струй; окрестности окутались, какъ въ клочья ваты, въ тяжелыя влажныя облака, никакихъ береговъ не было видно, и даже знаменитая своею живописностью гора Кинекуле, заставившая насъ одѣться пораньше, и привлекающая болѣе всего туристовъ на берегъ Венерна, не показала намъ даже острія своего каменнаго конуса. Озеро плескалось какъ раскаченный тазъ, черносвинцовое, въ вихрахъ бѣлой пѣны; красные головастые поплавки, обозначавшіе фарватеръ, ныряли и выныривали изъ этихъ пляшущихъ волнъ, будто какіе-нибудь водяные духи, насмѣхающіеся надъ нашимъ горемъ; а въ другихъ мѣстахъ—торчавшіе изъ воды черные вѣники на шестахъ, тоже привязанные къ поплавкамъ фарватера, качались и кивали намъ по сторонамъ парохода, словно угрожая впереди чѣмъ-то еще болѣе сквернымъ...

Послѣ нѣсколькихъ часовъ томительной качки, стали протягиваться къ намъ спереди сквозь влажный туманъ, будто двѣ исполинскія руки, два крутыхъ лѣсныхъ мыса, далеко выдавшихся въ озеро. На вершинахъ ихъ забѣлѣлись маяки. Фарватеръ сталъ все больше съуживаться, а мы втянулись въ заливъ, стѣсненный по сторонамъ устроенными въ разныхъ направленіяхъ гранитными брекватерами, для защиты судовъ отъ бури. Одинъ брекватеръ сдѣланъ изъ плотовъ, привязанныхъ къ столбамъ фарватера.

Мы очутились въ гавани Венерсборга, административнаго центра этого округа и резиденціи мѣстнаго губернатора. Онъ лежитъ очень удобно на пересѣченіи четырехъ желѣзныхъ дорогъ и у самаго выхода р. Гёта-Эльфъ. Въ городкѣ всего тысячъ пять жителей, но онъ очень хорошенькій, съ правильными улицами, съ солидно построенными домами, съ зелеными бульварами и превосходною гранитною набережною.

Венерсборгъ обрадовалъ насъ уже тѣмъ, что мы распростились въ немъ съ негостепріимнымъ Венерномъ и были почти на порогѣ Трольгеттана, больше всего интересовавшаго насъ въ этой части нашего длиннаго пути...

Прошли маленькое озеро Васботенъ и сквозь раздвижной мостъ выбрались въ каналъ, прорѣзанный среди прекраснаго зеленаго сада. Мы любовались его милыми берегами, несмотря на лившій все время ливень. Шлюзы пришлось пройти нѣсколько разъ; въ одномъ изъ нихъ мы даже сошлись съ встрѣчнымъ пароходомъ; онъ выплывалъ изъ того самаго шлюза, въ который мы осторожно вплывали; узкій каналъ оказался все-таки на-

столько широкъ, чтобы свободно помѣстить насъ рядомъ. По берегамъ вездѣ—зелень, цвѣты, убитыя, пескомъ высыпанныя дорожки. Въ одномъ только мѣстѣ мы были нѣсколько удивлены и смущены картиною, совсѣмъ не подходящею къ культурной странѣ: двѣ худыя, блѣднолицыя фигуры,—правда, въ непромокаемыхъ желтыхъ плащахъ и непромокаемыхъ желтыхъ шляпахъ изъ клеенки,—усиленно тянули лямкою, какъ нѣкогда волжскіе бурлаки, длинный бревенчатый плотъ. Третій работникъ стоялъ на плоту и направлялъ его ходъ. Повидимому, людская тяга еще въ обычаѣ и у шведовъ, хотя въ другомъ мѣстѣ, на этомъ же каналѣ, мы встрѣтили барку, которую тянули два вола...

Чѣмъ ближе къ Трольгеттану тѣмъ чаще виднѣются хорошенькія фермы и владѣльческія усадьбы съ трехъ-этажными домами на холмахъ среди рощъ, прорѣзанныхъ прямыми какъ стрѣла просѣками.

Городокъ Трольгетта—чистый Манчестеръ. Это—рядъ огромныхъ заводовъ, изготовляющихъ машины, локомотивы, жернова, вальцы, спичечныхъ, целюлозныхъ и разныхъ другихъ фабрикъ. Вокругъ фабрикъ—дома рабочихъ. Громадная масса водъ Гёта-Эльфа, низвергающагося здѣсь цѣлымъ рядомъ водопадовъ и пороговъ, позволяетъ отводить совсѣмъ незамѣтную часть ихъ на приводы фабрикъ и вертѣть съ ихъ помощью безчисленныя машины. Эту ничтожную частицу водопадовъ, работающую полезную для человѣка работу, исчисляютъ въ 220.000 лошадиныхъ силъ! Это не мудрено, если вспомнить, что озеро Венернъ наливается со всѣхъ сторонъ обильными водами Дальсланда, Вестёргётланда и Вермланда, а эти воды непрерывно несутъ къ нему впадающія въ него рѣки всѣхъ примыкающихъ къ нему областей, подобно Кларъ-Эльфу и другимъ. Но единственный истокъ вѣчно-переполненнаго Венерна—это Гёта-Эльфъ съ своими водопадами.

Водопады Трольгеттана издревле составляли не побѣдимое препятствіе къ сообщенію озера Венерна съ Гётебургомъ и южными берегами Швеціи и уничтожали всякую возможность торговли между ними; поэтому издавна предпріимчивыя головы обдумывали, какъ бы обойти этого неукротимаго врага. Первые пороги Гёта-Эльфа у Роннума, около Венерсборга, были раньше всѣхъ обойдены каналомъ, но гораздо труднѣе было пробить искусственное русло сквозь гранитныя кручи и толщи, окружающія Трольгетту.

При Карлѣ XII-мъ, талантливый инженеръ Польгемъ положилъ здѣсь много труда, взрывая порохомъ глубокіе проходы для судовъ, но его работы не увѣнчались успѣхомъ, и огромная,

устроенная имъ, предохранительная плотина была снесена напоромъ сплавного лѣса, нанесеннаго рѣкою. Только въ 1793 г. составилось общество, которое рѣшилось довершить начатое дѣло и черезъ семь лѣтъ усилій открыло, въ 1800 году, Трольгетскій каналъ въ обходъ водопадовъ, давшій потомъ графу Платену смѣлую мысль провести такой же каналъ вплоть до фіордовъ Балтійскаго моря.

Пароходу нашему пришлось не только выгружаться и нагружаться въ Трольгеттанѣ, но еще пройти чуть не подъ рядъ пятнадцать шлюзовъ. Это взяло у него столько времени, что пассажиры свободно могли употребить три-четыре часа на осмотръ водопадовъ и всего, что̀ имъ здѣсь интересно. Но для сбереженія времени и силъ капитанъ намъ посовѣтовалъ нанять экипажъ, чтобы не дѣлать пѣшкомъ довольно однообразныхъ и не всегда короткихъ переходовъ между пунктами, обыкновенно посѣщаемыми туристами. Мы такъ и сдѣлали, нанявъ себѣ тутъ же на пристани за пять кронъ четырехъ-мѣстную коляску и проводника, что̀ составило всего по кронѣ съ четвертью на каждаго сѣдока. Однако, ходить пѣшкомъ пришлось гораздо больше, чѣмъ ѣздить, потому что иначе нѣтъ возможности спускаться и подниматься по кручамъ и переходить узенькіе мостики.

Трольгеттанъ — это не одинъ водопадъ, а цѣлая лѣстница водопадовъ: кипящая масса водъ низвергается съ одной исполинской ступени на другую, и чѣмъ дальше, чѣмъ ниже, тѣмъ ступени эти дѣлаются положе и протяжнѣе. Верхніе водопады — Гуло и Топö—самые крутые, самые бѣшеные, самые эффектные. Они тутъ же подъ-рукой, въ самомъ городкѣ,—стоитъ только повернуть отъ канала мимо огромной фабрики Гулофорсбрукъ, изготовляющей вальцы для паровыхъ мельницъ, направо, къ рѣкѣ. Рѣка тутъ тѣснится между двумя гранитными стѣнками, загороженная еще по серединѣ огромнымъ гранитнымъ утесомъ, обросшимъ густою бородою елей. Тяжкія массы водъ напираютъ такъ стремительно сверху, что имъ нѣтъ никакой возможности умѣститься въ тѣсномъ раздвоенномъ руслѣ, и онѣ громоздятся валъ на валъ, воздымаются горами другъ надъ другомъ, перекатываются черезъ головы другъ друга съ бѣшенымъ ревомъ, гуломъ, кипѣньемъ, шипѣньемъ, и всѣ вмѣстѣ съ оглушающимъ громомъ обрушиваются внизъ, въ клокочущую бездну, ударяясь тамъ со всего размаха, всею грудью своею, о залитыя водою скалы, отливаютъ отъ нихъ, словно пораженныя ужасомъ, разбѣгаясь, кружась, взлетая вверхъ, сталкиваясь съ низвергающимися сверху

массами, стрѣляя словно изъ пушекъ при этихъ яростныхъ сшибкахъ, взбрасывая высоко и далеко во всѣ стороны столбы водяной пыли и вспѣнивая неистовые водовороты бездны бѣлою, какъ сливки, пѣною...

Таковъ Гуло, таковъ и Топö. Голый утесъ, на который ведетъ узенькій желѣзный мостикъ, обдаваемый брызгами водопада, картинно торчитъ между двумя потоками Топö, и, забравшись на него, вы можете любоваться обоими водопадами. Справа и слѣва отъ этой гранитной скалы, гремя и гудя, прорываются могучія массы водъ и съ безумной стремительностью низвергаются еще разъ внизъ, туда, гдѣ среди обломанныхъ и обглоданныхъ ими скалъ, словно въ какомъ-то исполинскомъ адскомъ пеклѣ, кружится, кипитъ и клокочетъ, взвиваясь кудрями сплошной бѣлой пѣны, третій порогъ Трольгеттана.

Не скоро оторвешься отъ этой поразительной картины. Когда долго стоишь на этомъ каменномъ островкѣ, оглушаемый и ослѣпляемый со всѣхъ сторонъ ревомъ, шипѣньемъ, мельканьемъ и сверканіемъ несущихся мимо васъ безъ перерыва и отдыха бѣлыхъ водъ,—вамъ начинаетъ чудиться, что и гранитный утесъ, на которомъ вы стоите, и вы сами принимаете участіе въ этой безостановочной скачкѣ, въ этихъ головокружительныхъ водоворотахъ; грозная сила, таинственно скрытая въ природѣ мирно текущихъ водъ, развертывается здѣсь во всемъ своемъ чарующемъ и вмѣстѣ ужасающемъ величіи. Та тихая струя благодѣтельной влаги, безъ которой невозможна никакая жизнь, которая питаетъ землю и все, что̀ на землѣ, какъ ребенка молоко матери, которую въ обычныхъ ея условіяхъ можетъ остановить всякая утлая дощечка, всякая горсть навозу или глины,—является здѣсь необоримою силою разрушенія, сокрушающею гранитныя горы, вымывающею съ корнями вѣковые лѣса.

Такое зрѣлище попадается не на каждомъ шагу, особенно нашему брату, жителю вѣчно-однообразныхъ черноземныхъ равнинъ,—и потому не удивительно, что на меня большіе водопады производятъ потрясающее впечатлѣніе, что̀ я любуюсь на нихъ цѣлыми часами, не отрывая глазъ, и все-таки никакъ не насмотрюсь, никакъ не справлюсь со множествомъ разнородныхъ ощущеній, которыя возбуждаютъ во мнѣ эти такъ живописно низвергающіяся со скалъ красивыя и могучія громады водъ...

Налюбовавшись на верхніе водопады въ самомъ, такъ сказать, жерлѣ ихъ,—отправляйтесь обходною дорогою внизъ, къ длинному желѣзному мосту короля Оскара, смѣло перекинутому черезъ всю ширь рѣки и водопадовъ. Станьте по серединѣ

моста, и передъ вами назадъ и впередъ, вѣрнѣе—у ногъ вашихъ откроется вся великолѣпная панорама Трольгетскихъ водопадовъ, верхнихъ и нижнихъ. Правый, противоположный берегъ рѣки — громадная, почти отвѣсная стѣна, заросшая еловыми лѣсами; она вся сочится ручейками, водопадиками, какъ и вся вообще эта гористая мѣстность, истекающая неудержимымъ обиліемъ внутреннихъ водъ, словно переполненныя сосцы молодой матери; въ ней дается характерный первый планъ этой могучей картинѣ, полной какой-то дикой жизни, движенія, шума и красокъ...

Когда вы проходите къ несокрушимому гранитному устью, на которомъ покоится съ лѣваго берега мостъ короля Оскара,— остановитесь на нѣсколько минутъ, чтобы заглянуть въ глубокую темную пасть покинутаго стараго шлюза Польгема. Отведенный отъ главнаго русла, потокъ обрушивается въ его глубину съ отвѣсной вышины, и подземнымъ тоннелемъ вытекаетъ внизъ. Цвѣтущій кустъ розоваго шиповника алѣетъ внутри его на уступѣ почвы, словно памятникъ забытому талантливому инженеру, воздвигнутый ему самой природою среди его безвременно покинутаго сооруженія... Эти розовые кусты вообще попадаются тутъ очень часто и не мало веселятъ суровый пейзажъ. Тутъ же недалеко и Kungsgrotta, одинъ изъ образчиковъ тѣхъ „Riesentöpfe“, „котловъ исполиновъ“, которыхъ много встрѣчается въ Швеціи, и которые геологи объясняютъ былымъ буравленіемъ каменнаго дна водоворотами моря, нѣкогда покрывавшаго материкъ Швеціи.

Изъ любопытства мы сходили къ водопадамъ еще въ нѣсколькихъ мѣстахъ, спускаясь постепенно все ниже и ниже, чтобы со всѣхъ точекъ познакомиться съ физіономіею Трольгеттана. Helvetesfall, самый нижній, уже вовсе не водопадъ, а настоящій порогъ, весь усыпанный камнями. Но отсюда—очень красивый видъ на расширяющуюся долину рѣки, справа задвинутой высокой лѣсистой стѣной, а слѣва увѣнчанной взобравшимся на вершину живописнаго холма—хорошенькимъ домомъ „Hôtel Utsigten“ (т.-е. Aussicht) изукрашеннымъ рѣзными коньками, карнизами и балкончиками...

Коляска особенно пригодилась намъ, когда пришлось сдѣлать порядочный конецъ,—правда, тѣнистыми лѣсными дорогами,—отъ Трогельттана въ Акервасъ, къ знаменитымъ шлюзамъ Нильса Эриксона, гдѣ мы должны были дожидаться парохода. Погода немного смиловалась надъ нами, и дождь хотя изрѣдка моросилъ, но не мѣшалъ намъ бродить по Трольгеттану. А когда мы доѣхали до Акерваса и взобрались на холмикъ къ лѣсу, гдѣ

скромно красовался павильонъ „Швейцари“ съ разными мѣстными фотографіями, кофеемъ и прохладительными напитками,—то небо совсѣмъ прояснилось. Павильонъ окруженъ тѣнистою галерейкою, на которой мы могли не только покойно распивать кофе, но и любоваться прекраснымъ видомъ широкой, цвѣтущей котловины Акерстрома, окруженной со всѣхъ сторонъ лѣсными холмами и лугами, оживленной по вершинамъ этихъ холмовъ красивыми помѣстьями и дачами богатыхъ жителей.

Мы еще имѣли время, хорошо отдохнувъ, насмотрѣться на оригинальное зрѣлище, какъ нашъ пароходъ медленно сползалъ по воднымъ ступенямъ гигантской лѣстницы, составленной изъ одиннадцати шлюзовъ, въ ту же котловину Акерстрома, гдѣ мы дожидались его. Лѣстницы собственно двѣ—одна рядомъ съ другою. Одна—изъ старыхъ шлюзовъ, открытыхъ въ 1800 г., другая—изъ новѣйшихъ, болѣе глубокихъ и болѣе удобныхъ, устроенныхъ Нильсомъ Эриксономъ. Мы разглядывали ихъ на свободѣ и снизу, и сверху, и со всѣхъ сторонъ, и изумлялись необыкновенной прочности, точности, аккуратности и даже своего рода изяществу работы этихъ удивительныхъ сооруженій. Все приточено и прилажено, какъ въ дорогой шкатулкѣ,—громадныя глыбы гранита, массивные деревянные брусья, тяжелые желѣзные крюки и петли. Нигдѣ не просочится ни одна капля воды. Огромныя ворота съ скелетомъ изъ желѣзныхъ брусьевъ, забранныхъ толстѣйшими досками, поднимаются на десять, на двѣнадцать аршинъ въ высоту, надежно подпирая собою всю массу воды, запертую въ шлюзѣ; по сторонамъ ее сдерживаютъ несокрушимыя гранитныя стѣны.

Въ одно и то же время, когда мы стояли внизу, у подножія этихъ колоссальныхъ лѣстницъ, одинъ пароходъ взлѣзалъ наверхъ по однѣмъ ступенямъ, а наша „Паллада“, заполняя своимъ грузнымъ корпусомъ тѣсныя клѣтки шлюзовъ, осторожно спалзывала, словно какое-то живое чудовище, гремя цѣпями, свистя и дымя трубами, со ступеней другой...

Мы двигаемся теперь то по Стрöмъ-каналу, то по широкимъ разливамъ Гöта-Эльфа, мимо большого заводскаго мѣстечка Лиля-Эдетъ, полнаго лѣсопиленъ, мельницъ, высокихъ трубъ и каменныхъ корпусовъ. И тутъ тоже частые шлюзы, раздвижные мосты; то-и-дѣло вòды рѣки отводятся въ стороны на колеса и турбины заводовъ.

Сейчасъ чувствуется страна высоко-развитой промышленной

дѣятельности, страна богатая не только водою и рудою, но и научнымъ знаніемъ, и смѣлою предпріимчивостью. Съ чужими капиталами, съ выписанными мастерами не осилишь такого множества заводовъ и фабрикъ.

Въ тѣснотѣ канала встрѣтились съ туристскимъ пароходомъ „Motala-Ström", полнымъ путешественниковъ. Маханье платками и громкія взаимныя привѣтствія... Онъ везетъ публику изъ Гӧтеборга къ водопадамъ Трольгеттанъ.

Гӧта-Эльфъ, какъ и наша Нева, скорѣе протокъ между озеромъ Венерномъ и моремъ, чѣмъ рѣка. Путешествіе по немъ—одно наслажденіе, какъ ни мало благопріятствуетъ намъ погода съ ея постоянно набѣгающими тучами, моросящимъ дождемъ и сильнымъ вѣтромъ, срывающимъ васъ съ палубы. О лѣтнихъ платьяхъ здѣсь позабудьте,—тутъ, кажется, всегдашняя осень. Или, можетъ быть, дѣйствительно, только на наше несчастье выпалъ такой исключительный лѣтній послѣдокъ, какъ стараются извинить передъ нами свой климатъ немного сконфуженные имъ наши любезные шведскіе знакомцы. Какъ бы то ни было, древніе боги Скандинавіи немилостиво встрѣчаютъ насъ!

Виды по сторонамъ рѣки—разнообразны и живописны. То лѣсистыя скалы и холмы, то низкія цвѣтущія равнины, заливаемыя съ краевъ каждымъ всплёскомъ волны, полныя опрятныхъ селеній, фермъ и хуторковъ, со стадами сытаго скота на обильныхъ пастбищахъ. Фабрики и заводы тоже часты. Пароходы то-и-дѣло протаскиваютъ мимо насъ караваны нагруженныхъ баржъ. Парусники тоже частенько задвигаютъ своими громоздкими многоярусными башнями горизонты рѣки. А справа по берегу бѣжитъ желѣзная дорога изъ Гӧтеборга въ Венерсборгъ. Гӧта-Эльфъ является крупною артеріею шведской торговли, выходомъ цѣлой страны къ морю и воротами въ нее отъ моря. Недаромъ и возникъ у ея устья такой значительный торговый центръ, какъ Гӧтеборгъ.

По берегамъ въ каждомъ селеніи видишь одну-двѣ доморощенныхъ верфи, гдѣ безъ всякихъ сложныхъ и дорогихъ приспособленій, въ полуоткрытыхъ деревянныхъ сараяхъ и даже прямо на берегу, строятся большія барки, чинятся корабли. Видно, что мореходство и всякое вообще водоходство—естественный промыселъ этихъ прибрежныхъ жителей, и что запросъ на всякаго рода водяныя посудины здѣсь далеко не малый...

Въ прежнее время рѣка эта важна была, повидимому, и не для одной торговли, а служила удобною дорогою для вторженій внутрь страны. Оттого-то среди новѣйшихъ заводскихъ мѣсте-

чекъ, на берегахъ ея увидите не одну старинную церковь, развалины не одного древняго зàмка. Вотъ, напр., у Фоксеры, гдѣ среди фабричныхъ трубъ высится сложенная изъ дикаго камня средневѣковая колокольня, когда-то происходили жестокія битвы между шведами и норвежцами, постоянно спорившими за эти соблазнительные южные берега. Норвегія долго господствовала здѣсь въ свое время; мы проплываемъ теперь мимо стариннаго городка Конгсэльфа, стоящаго на отдѣльномъ рукавѣ рѣки, когда-то бывшаго даже столицею норвежскаго царства. Сюда съѣзжались, бывало, для переговоровъ всѣ три владыки скандинавскихъ народовъ—датскаго, норвежскаго и шведскаго. Развалины зàмка Bohus, что̀ торчатъ ближе къ намъ на высокихъ скалахъ, надъ Конгэльфомъ, и самое царственное имя городка наглядно напоминаютъ намъ его прошлую исторію. Видъ этихъ развалинъ гомерической первобытности—грубая круглая башня съ двумя рядами стѣнъ, и около нея—какое-то большое полуразрушенное зданіе...

Богусъ имѣлъ въ свое время такое важное значеніе, что вся окрестная область называлась прежде, да отчасти продолжаетъ называться и теперь Богуслэномъ. Маленькая область эта, лежавшая, можно сказать, на рубежѣ трехъ скандинавскихъ царствъ, одинаково доступная и шведу, и датчанину, и норвежцу, была нѣкогда однимъ изъ главныхъ средоточій удалыхъ викинговъ и однимъ изъ центровъ религіозной жизни скандинавовъ, почему и до сихъ поръ въ этомъ прибрежномъ уголку находятъ болѣе чѣмъ гдѣ-нибудь остатковъ скандинавской древности. Разбросанные по прибрежной долинѣ отдѣльными островками, скалистые столообразные холмы, придающіе пейзажу такой своеобразный видъ, безъ сомнѣнія, облегчали устройство зàмковъ и сторожевыхъ башенъ, охранявшихъ водную дорогу Богуслэна. Одинъ изъ такихъ зàмковъ—тоже, конечно, въ развалинахъ, Рагнгильдборгъ, немного въ сторонѣ отъ рѣки, недалеко отъ Gamla Lodosa („Гамла"—по-шведски „старинная, древняя"), гдѣ уцѣлѣла такая же старая колокольня, какъ и въ Фоксерѣ, и гдѣ на безцеремонной деревенской верфи туземные мастера строили на нашихъ глазахъ уже не барку, а цѣлый парусный корабль.

Въ этомъ Рагнгильдборгѣ еще недавно были сдѣланы очень интересныя археологическія раскопки.

XIII.—На морскомъ рубежѣ Швеціи.

Въ Гётеборгъ въѣзжаешь какъ въ большой торговый и фабричный городъ. Гёта-Эльфъ обращается здѣсь въ настоящій проливъ, подкрѣпленный еще двумя широкими каналами. Мачты, корабли, трубы пароходовъ, трубы фабрикъ, склады, заводы—вотъ первое впечатлѣніе его. Городъ помѣщается въ прибрежной котловинѣ, охваченной, какъ лапами, справа и слѣва кряжемъ скалистыхъ холмовъ. Справа лѣсныя и голыя высоты вплотную подступаютъ къ городу, который уже начинаетъ коегдѣ залѣзать на ихъ кручи. Ближе къ намъ, на кругломъ обрывистомъ холмѣ, совсѣмъ въ серединѣ города, хмурится среди свѣжихъ и свѣтлыхъ современныхъ построекъ, посвященныхъ мирному торгу, знанію и искусствамъ, словно ночная сова, залетѣвшая среди дня не въ свое мѣсто, средневѣковая круглая башня, сѣрая и приземистая, враждебно озираясь во всѣ стороны черными амбразурами своихъ пушекъ. Другой такой же угрюмый гранитный часовой, въ пару къ ней, выглядываетъ поверхъ кровель домовъ, съ дальняго морского края города... Это—единственные уцѣлѣвшіе остатки когда-то обширныхъ укрѣпленій этого важнаго пограничнаго порта, открытаго нападеніямъ всѣхъ сосѣднихъ народовъ... Теперь всѣ эти укрѣпленія срыты и обращены въ широкую ленту садовъ и бульваровъ, составляющую красоту и утѣшеніе многолюднаго города.

Пароходы канала пристаютъ къ малой пристани „Lilla Bommen Hamn", довольно далеко отъ центра города. Омнибуса отъ рекомендованнаго намъ „Grand Hötel Hagelund" почему-то на пристани не нашлось, и мы, сердечно простившись съ любезнымъ капитаномъ и добрѣйшими спутниками нашими, отправились въ другой, тоже первоклассный отель „Göta-källare", оказавшійся на той же самой улицѣ Södra Hamngatan, какъ и „Hagelund", супротивъ его. Комната въ бель-этажѣ, съ двумя прекрасными постелями, окнами на площадь, съ триповою мебелью, коврами, золочеными столами, электрическою люстрою и звонками, стоитъ всего $5^1/_2$ кронъ, т.-е. менѣе 3-хъ рублей на наши деньги. Мы сейчасъ же наняли четырехъ-мѣстное ландо для себя и нашихъ двухъ спутницъ—осматривать городъ. За часъ тутъ платится 2 кроны, т.-е. 1 р. 06 к., считая крону по курсу 53 коп. Экипажи, лошади тутъ—великолѣпны. Мы объѣхали всѣ лучшія улицы, всѣ интересные уголки. Городъ рѣшительно восхитилъ насъ. Никто изъ насъ не ожидалъ ни-

чего подобнаго. Даже послѣ Стокгольма онъ смотритъ настоящею столицею. Дома, улицы—одна лучше другой: Södra Hamngatan, Östra Hamngatan, Vasagatan, Kungsgatan, цѣлые ряды улицъ и набережныхъ, на которыя не насмотришься. Дома громадные, все почти новые, необыкновенно изящной архитектуры, больше въ итальянскомъ вкусѣ, съ балкончиками, колоннами, донжонами, оригинальными лѣпными украшеніями, выстроенные съ педантическою отчетливостью и точностью работы. Огромныя превосходныя церкви, тоже большею частью новыя, выдержаннаго готическаго стиля, съ стройными шпилями и иглами, множество прелестныхъ бульваровъ, садовъ, парковъ, идеальные троттуары, идеальныя мостовыя, вездѣ порядокъ, чистота, удобство, на всемъ яркая печать культуры, труда и знанія. За городомъ мы объѣхали, катаясь, какъ по бархатному ковру, по широкимъ, убитымъ щебнемъ аллеямъ, громадный паркъ „Slottetskogen", по-русски „Зàмковый лѣсъ", съ чудными газонами, полянами, холмами, чащами, озерами, павильонами, съ звѣринцемъ дикихъ козъ и оленей. По воскресеньямъ тутъ любимое гулянье публики и рабочаго народа. Замѣнившая собою былыя укрѣпленія „Nya Allen"—„Новая Аллея"—тоже зеленый паркъ своего рода, хотя и не широкій, но зато перерѣзающій своею длинною, полукруглою лентою весь городъ изъ конца въ конецъ. По ея безконечнымъ ровнымъ дорожкамъ мы доѣхали, въ свою послѣобѣденную прогулку, какъ бы не выходя изъ тѣнистаго парка, въ замѣчательный ботаническій садъ Гётеборга. Тамъ воздвигнута грандіозная галерея, вся стеклянная отъ пяты до верха, съ стеклянными стѣнами, со сводистымъ стекляннымъ потолкомъ, для цѣлаго лѣса колоссальныхъ пальмъ, юккъ, араукарій и разныхъ другихъ растительныхъ чудесъ тропическаго міра. Насъ особенно поразили гигантскіе экземпляры „Livistona Chinensis", со стволомъ въ толщину человѣка, высотою въ 12—15 аршинъ, съ великолѣпною кроною широкихъ, лапчатыхъ листьевъ по нѣскольку саженъ въ обхватъ; такія же гигантскія „Stelitzia" изъ южной Африки, съ плоскими стволами, съ громадными листьями въ родѣ банановъ; такія же гигантскія араукаріи изъ Австраліи, упирающіяся вершинами въ стеклянный сводъ, не менѣе 20 аршинъ вышины; древовидные папоротники въ 5, 6 четвертей толщины; панданусы пятнадцати-аршинной высоты и пр. Ходишь между этими гигантами и чувствуешь себя словно въ какомъ-нибудь дѣвственномъ лѣсу Америки или Австраліи.

Передъ оранжереею и вездѣ по саду—роскошные цвѣтники, полные художественнаго вкуса и своеобразности, часто изъ са-

мыхъ простыхъ цвѣтовъ и травъ, но подобранныхъ съ такимъ умѣньемъ, съ такою гармоніею формъ и колеровъ, что на нихъ любуешься словно на изящно разрисованныя огромныя тарелки и блюда, гдѣ только вмѣсто красокъ—травки всякаго цвѣта и тона, матово-тусклые седумы, карликовыя породы агавъ и кактусовъ.

Сильный дождь захватилъ насъ въ Ботаническомъ саду, и мы были очень рады просидѣть этотъ ливень по крайней мѣрѣ подъ прикрытіемъ стекляннаго свода оранжереи, сыпавшаго, впрочемъ, на насъ въ изрядномъ обиліи струйки дождя, пробивавшіяся сквозь швы стеколъ... Когда дождь прошелъ, мы зашли въ прекрасно отдѣланный двухъ-этажный „Concert-Salon", гдѣ гремѣла очень хорошая военная музыка и уже собралась порядочная толпа; за горячимъ чаемъ, котораго особенно захотѣлось послѣ холода и мокроты, мы просидѣли, бесѣдуя о своихъ впечатлѣніяхъ и слушая музыку, до десятаго часу. День нашъ закончился обильнымъ ужиномъ въ „Göta-källare"—и опять-таки чаемъ, безъ котораго русскій человѣкъ, да еще въ путешествіи, просто жить не можетъ.

Гётеборгъ такъ интересенъ, что его не осмотришь хорошо въ полтора сутокъ, поэтому мы рѣшились провести въ немъ еще однѣ сутки. Ростъ этого города просто неимовѣренъ: въ теченіе менѣе столѣтія, изъ городишка въ 12.000 жителей онъ обратился въ огромный и великолѣпный торговый городъ съ 120.000 жителей, а считая съ предмѣстьями—даже съ 130.000. Первымъ сильнымъ толчкомъ къ такому энергическому росту послужила для него пресловутая „континентальная система", устроенная въ 1806 г. всесильнымъ тогда Наполеономъ съ другими державами европейскаго континента противъ Англіи, съ цѣлью подорвать ея морское могущество, и запретившая англійскимъ кораблямъ всякую торговлю съ материкомъ Европы. Гётеборгъ, который лежитъ съ одной стороны на полудорогѣ въ Балтику и въ Христіанію, а съ другой стороны—противъ Даніи и главнѣйшихъ сѣверныхъ портовъ Германіи, чрезвычайно счастливо воспользовался своимъ выгоднымъ положеніемъ и обратился силою вещей въ главный складъ англійскихъ товаровъ, которые черезъ его посредство шли уже въ порты Германіи и другихъ европейскихъ государствъ, участвовавшихъ въ континентальной системѣ.

Теперь Гётеборгъ—второй городъ въ Швеціи по богатству, числу жителей и торговлѣ, которая въ немъ, пожалуй, скоро

перебьетъ даже торговлю Стокгольма. Онъ уже теперь выпускаетъ разныхъ товаровъ до 4-хъ милліоновъ тоннъ, что на русскій вѣсъ равняется 250 милліонамъ пудовъ! На рейдѣ его болѣе полутораста собственныхъ его пароходовъ и 35 большихъ парусныхъ кораблей; онъ вывозитъ массы дерева въ Бразилію, на мысъ Доброй-Надежды, въ Австралію, въ Новую-Зеландію, но главнымъ образомъ въ Англію, и не только какія-нибудь бревна и доски, но и гораздо болѣе цѣнныя древесныя издѣлія, какъ паркеты и разные другіе столярные матеріалы. Однѣхъ шведскихъ спичекъ онъ отправляетъ въ разныя страны свѣта нѣсколько тысячъ тоннъ.

Дерево — вообще составляетъ основное богатство Швеціи, какъ въ Россіи—хлѣбъ. Вся Швеція сбываетъ ежегодно иностранцамъ своего лѣса на 150 милліоновъ франковъ, а вмѣстѣ съ Норвегіею—на цѣлыхъ 250 милліоновъ. Не довольствуясь обдѣлкою своихъ деревьевъ въ разные тонкіе матеріалы и готовыя издѣлія, не довольствуясь милліардами сбываемыхъ ею вездѣ прославленныхъ „шведскихъ спичекъ",—осиновое дерево для которыхъ, кстати упомянуть, Швеція уже выписываетъ теперь въ большомъ количествѣ изъ Россіи,—шведы и норвежцы завели въ послѣднее время до сорока спеціальныхъ фабрикъ, превращающихъ дерево въ писчую бумагу, а изъ безчисленныхъ грудъ стружекъ, накопляющихся при обработкѣ дерева, стали приготовлять картонъ для коробокъ и оберточную бумагу.

Въ Трольгеттанѣ, среди множества заводовъ, двигаемыхъ силою водопада, мы видѣли, между прочимъ, и такую фабрику древесной бумаги.

Желѣзо — тоже очень важная статья шведскаго сбыта, и Гётеборгъ еще больше, чѣмъ лѣса, отправляетъ за границу превосходныя издѣлія своихъ многочисленныхъ желѣзныхъ, стальныхъ и машино-строительныхъ заводовъ.

Разнообразіе промышленной предпріимчивости Гётеборга по истинѣ изумительно: кромѣ всѣхъ этихъ лѣсопильныхъ, столярныхъ фабрикъ, желѣзныхъ и механическихъ заводовъ, у него еще множество бумагопрядиленъ, рафинадныхъ и пивоваренныхъ заводовъ; есть даже единственная во всей Швеціи льнопрядильная фабрика, корабельныя верфи и всякаго рода заведенія и мастерскія для приготовленія корабельныхъ снастей. Капиталы здѣсь не дремлютъ и не лежатъ въ кубышкахъ, а энергически и умѣло стремятся захватить свою долю на рынкѣ міровой промышленности и торговли. Этому обстоятельству много помогаетъ и характеръ мѣстнаго населенія. Гётеборгцы и всѣ вообще жи-

тели этого древняго округа Богуслэна—моряки по призванію и отличаются необыкновеннымъ мужествомъ, предпріимчивостью и чувствомъ собственнаго достоинства. Всѣ приморскіе города Швеціи и Норвегіи съ особеннымъ удовольствіемъ принимаютъ на корабельную службу этихъ смѣлыхъ и умѣлыхъ матросовъ, давно привыкшихъ совершать далекія и опасныя торговыя странствованія черезъ моря и океаны на противоположный конецъ земного шара.

Неудивительно поэтому, что Гётеборгъ естественнымъ образомъ сдѣлался центромъ почти всѣхъ полярныхъ экспедицій послѣдняго времени. Одинъ изъ его богатѣйшихъ торговцевъ и нотаблей—Оскаръ Диксонъ,—виллу котораго мы посѣтили на другой день нашего пребыванія здѣсь,—между прочимъ снарядилъ на свой счетъ, съ помощью короля Оскара II-го и нашего извѣстнаго покровителя научно-торговыхъ предпріятій, Александра Михайловича Сибирякова, цѣлыхъ три полярныхъ экспедиціи знаменитаго изслѣдователя сѣвера Норденшёльда, за что и былъ произведенъ королемъ Оскаромъ, также какъ и самъ Норденшёльдъ, въ званіе барона. Этимъ частымъ и плодотворнымъ научнымъ экспедиціямъ для изслѣдованія дальняго сѣвера обязанъ своими удивительно богатыми и рѣдкими коллекціями музей Гётеборга, который мы подробно осмотрѣли.

Но Гётеборгъ привлекаетъ къ себѣ не однимъ матеріальнымъ богатствомъ и развитіемъ своей промышленности. Этотъ торговый городъ, преданный, повидимому, такому горячему культу мамоны, городъ купцовъ и фабрикантовъ, высоко поучителенъ еще совсѣмъ въ другомъ смыслѣ.

Рѣдко такой большой центръ Европы можетъ похвастать такими гуманными и разумными заботами о своей меньшей братіи, о рабочемъ и бѣдномъ людѣ,—какъ Гётеборгъ. Рабочее предмѣстье его Аннедаль, примыкающее къ роскошному парку „Slottetskogen", о которомъ я уже говорилъ раньше,—все полно превосходно устроенныхъ по Мюльгаузенской системѣ дешевыхъ жилищъ для рабочихъ. Рабочій трудъ здѣсь ограниченъ десятью и даже восемью часами. Для престарѣлыхъ и увѣчныхъ рабочихъ существуетъ пенсіонная касса. Вода отпускается городомъ безплатно всѣмъ жителямъ. Городомъ же устроены чрезвычайно дешевыя, доступныя послѣднему бѣдняку, общественныя бани, народный театръ, концертныя залы, читальни, разныя профессіональныя школы.

Главнымъ источникомъ для этихъ высоко-полезныхъ общественныхъ учрежденій служитъ такъ-называемая „Гётеборгская

система" продажи спиртныхъ напитковъ, вполнѣ заслуженно прославившая этотъ городъ по всему міру и послужившая для всей Швеціи и Норвегіи и даже для нѣкоторыхъ другихъ странъ образцомъ подражанія. Я уже имѣлъ случай, описывая Стокгольмъ, упомянуть о великомъ народномъ и историческомъ порокѣ скандинавовъ,—столь близкомъ, впрочемъ, и нашей православной Руси,—о непомѣрно огромномъ потребленіи ими алкоголя и о многотрудной борьбѣ съ этою національною страстью разныхъ достойныхъ людей и учрежденныхъ ими обществъ.

Въ исторіи этой борьбы, въ концѣ все-таки побѣдоносной, главная роль принадлежитъ Гётеборгу.

Рѣшительная борьба противъ пьянства началась еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія, въ 1817 и 1819 годахъ, и передовые люди Швеціи не разъ пытались увѣщаніями и законодательными мѣрами искоренить этотъ народный порокъ. Еще король Густавъ III-й пробовалъ запретить частное винокуреніе и хотѣлъ всѣ заводы обратить въ казну, но его усилія разбились о всеобщее противодѣйствіе и недовольство населенія. Линней тоже тщетно доказывалъ съ научной точки зрѣнія гибельность этой позорной народной страсти.

Привычка къ постоянному неумѣренному употребленію спирта среди шведовъ была вкоренена такъ глубоко, что когда, въ 1819 году, появились первые зачатки общества трезвости, то одинъ изъ жителей гётеборгской округи, и притомъ священникъ, пробстъ Рабэ изъ Богуслэна, въ горячей церковной проповѣди увѣщевалъ своихъ прихожанъ не поддаваться вольнодумной пропагандѣ и не бросать старой привычки пить водку, предсказывая, въ противномъ случаѣ, ослабленіе всѣхъ силъ народа и неизбѣжное покореніе Швеціи сосѣдними державами! Проповѣдь эта была встрѣчена общимъ восторгомъ слушателей. Однако, плодотворная дѣятельность обществъ трезвости, какъ мы видѣли раньше, въ корнѣ измѣнила положеніе вопроса.

„Гётеборгская система" дала этимъ обществамъ готовую организацію для борьбы съ многовѣковымъ зломъ. Швеція и Норвегія перестали быть „пьянымъ царствомъ", какъ величали ихъ прежде иностранцы, и количество употребляемаго спирта въ нихъ опустилось ниже, чѣмъ во многихъ просвѣщенныхъ странахъ Европы.

„Гётеборгская система" была учреждена въ 1871 году, и результаты ея относительно самаго города Гётеборга выразились очень ярко. Еще въ 1875 году, при населеніи въ 60.000 жителей, городъ Гётеборгъ выпивалъ около 1.650.000 литровъ

водки, что давало болѣе 27 литровъ на душу; при этомъ случаи бѣлой горячки отъ пьянства (delirium tremens) доходили до 159 въ годъ (въ 1874 году). Черезъ 16 лѣтъ, въ 1891 году, при 105.000 жителей выпито было всего около 1.550.000 литровъ, по 14$^{3}/_{4}$ литра на человѣка,—стало быть, вдвое меньше,—а случаи delirium tremens уменьшились до 31. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этомъ году казна и городъ получили отъ питей на общественныя надобности цѣлыхъ 700.000 кронъ, которыя и были употреблены на разныя благотворительныя и просвѣтительныя учрежденія города.

Основателемъ „Гётеборгской системы“ былъ нѣкто Бергстрёмъ, священникъ секты баптистовъ, долго жившій въ Америкѣ и восхитившійся благотворнымъ вліяніемъ на нравственность народа тамошняго братства трезвости. Черезъ десять лѣтъ гётеборгское братство, прозванное „Скалою“ по прочности его основныхъ принциповъ, считало уже 50.000 членовъ и, кромѣ того, породило нѣсколько другихъ обществъ трезвости, между прочимъ въ Христіаніи и въ Стокгольмѣ.

Основа всѣхъ этихъ обществъ, по примѣру гётеборгскаго, очень простая: акціонерное общество получаетъ отъ правительства своего рода монополію на торговлю спиртными напитками, съ правомъ выкупать на извѣстныхъ условіяхъ права̀ этой торговли, ранѣе пріобрѣтенныя различными лицами и корпораціями. Сосредоточивъ такимъ образомъ въ своихъ рукахъ все дѣло, общество значительно сокращаетъ число мѣстъ продажи и поручаетъ одни мѣста хорошо извѣстнымъ ему благонадежнымъ лицамъ, а другія беретъ въ собственное завѣдываніе, строго соблюдая правила, установленныя въ цѣляхъ здоровья и нравственности; хмельнымъ людямъ и дѣтямъ вина не продаютъ вовсе; безъ какой-нибудь закуски, уменьшающей вредное дѣйствіе на голову спиртныхъ напитковъ, водки тоже не продаютъ; въ праздники и подъ праздники питейные дома запираются. Въ сидѣльцы выбираютъ трезвыхъ и нравственныхъ людей, вслѣдствіе чего всѣ эти разумныя правила примѣняются на дѣлѣ, а не остаются на бумагѣ, и примѣняются настолько строго, что, напр., въ Христіаніи въ одномъ году было отказано въ продажѣ водки 34.399 лицамъ, въ другомъ—43.951.

Изъ полученнаго чистаго дохода акціонерное общество удерживаетъ въ свою пользу только пять процентовъ, а всю остальную выручку обязано передавать государству и муниципалитетамъ на дѣла общественной пользы. Такимъ образомъ получаются огромныя суммы, на которыя устроиваются всевозможные пріюты, бо-

гадельни, дешевые дома для бѣдныхъ, школы, лечебницы, читальни, пенсіонныя кассы для рабочихъ и прислуги, ясли для дѣтей, народные театры, общедоступные сады, парки, купальни и проч.

Общество трезвости Христіаніи внесло такимъ путемъ на подобныя благотворительныя дѣла въ теченіе шести лѣтъ около 1.200.000 кронъ, а стокгольмское общество уплатило казнѣ и городу въ четырнадцать лѣтъ около 17 милліоновъ кронъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ „Гётеборгская система" благодѣтельно повліяла на уменьшеніе числа преступленій всякаго рода, сокративъ ихъ на цѣлую треть.

И все это совершилось въ такой сравнительно короткій промежутокъ времени, потому что еще въ 1854 г. шведскій риксдагъ вынужденъ былъ изыскивать мѣры, — чтобы, говоря его словами, — „обуздать порокъ пьянства, угрожающій въ конецъ извести шведскій народъ", а король Оскаръ I-й публично выражался, что онъ „не знаетъ той цѣны, которую готовъ былъ бы заплатить за освобожденіе шведскаго народа отъ погибели черезъ спиртные напитки".

Далѣе мы полюбовались на статую Густава-Адольфа, основателя Гётеборга, работы извѣстнаго Фокельберга, на великолѣпные готическіе зàмки школы мореходства и народной библіотеки, на характерные дворцы биржи и ратуши, и подробно осмотрѣли превосходные музеи города. Тутъ замѣчательная коллекція скандинавскихъ древностей, главнымъ образомъ, найденныхъ въ Богуслэнѣ, а въ зоологическомъ музеѣ—единственные, по своей величинѣ и по рѣдкости, экземпляры всевозможныхъ полярныхъ чудищъ, въ скелетахъ и чучелахъ. Въ художественной галереѣ сколько-нибудь выдающихся картинъ немного; больше другихъ мнѣ понравилась Вакханка съ козломъ, извѣстнаго Бугерò, да одна превосходная копія съ Карла Долче. Гораздо больше здѣсь прекрасныхъ мраморовъ Молина, Фогельберга и др. мѣстныхъ и иноземныхъ скульпторовъ.

Магазины Гётеборга особенно привлекательны изящными деревянными и кожаными издѣліями, превосходнымъ фарфоромъ и фаянсомъ и мѣстными вышивками, полными оригинальнаго вкуса. Цѣны очень милостивыя и выборъ самый богатый.

Въ почтамтѣ, къ искреннему огорченію нашему, мы не нашли никакой вѣсточки съ родной стороны. Значитъ, приходится ждать до Христіаніи, куда скорѣе успѣютъ попасть наши письма и телеграммы. Въ Христіанію мы рѣшились отпра-

виться не по желѣзной дорогѣ, которую намъ всѣ не хвалили, а пароходомъ, чтобы познакомиться съ южными берегами Швеціи, Каттегатомъ и Скагерракомъ, и заглянуть въ интересные городки съ морскими купаньями, Марстрандъ, Лизекиль и имъ подобныя любимыя мѣста лѣтнихъ сборищъ шведской родовой и денежной аристократіи. Пришлось заранѣе заказывать кабины на пароходѣ, уходившемъ завтра утромъ, и я отправился поэтому на большую гавань,—„Stora Bommens Hamn“,—гдѣ причаливаютъ глубоко сидящіе морскіе пароходы. Долго пришлось разыскивать капитана, который могъ объясняться только по-англійски. Онъ любезно выбралъ намъ двѣ просторныя каюты, по одной на каждую пару, въ самомъ центрѣ парохода, гдѣ качка всего меньше, и предоставилъ право переселиться къ нему на пароходъ хотя бы и къ ночи, чтобы не тревожить себя рано поутру. Обезпечивъ себя такимъ образомъ, мы рѣшились посвятить послѣобѣденные часы объѣзду городскихъ дачъ. Такса на загородныя прогулки уже нѣсколько выше городской, но при слякоти, которая давала себя чувствовать на всякомъ сколько-нибудь крутомъ подъемѣ даже и здѣшнихъ превосходныхъ дорогъ,—можно было по всей справедливости даже удвоить эту таксу.

Такъ-называемая „Датская дорога“ — „Danska vagen“ — огибаетъ своею длинною лентою весь городъ и все время идетъ среди густыхъ садовъ и парковъ. Это—славныя легкія для дыханія многолюдному городу въ добавокъ къ его внутреннимъ садамъ, бульварамъ и паркамъ. Особенно роскошныхъ и изящныхъ дачъ здѣсь нѣтъ; все довольно просто, но вполнѣ удобно, чисто и здорово. Вдали—живописная лѣсистая мѣстность, тоже съ дачами. Вилла Оскара Диксона—самая интересная изъ здѣшнихъ дачъ; ее одну мы и осмотрѣли. Паркъ—съ столѣтними деревьями, съ гранитными обрывами, съ зелеными холмами и лужайками; никакихъ затѣй нѣтъ, даже цвѣтниковъ очень мало; природа сохранена почти въ первоначальной дикости, съ лохматыми елями и пихтами, съ тѣнями и перспективами настоящаго лѣса. Домъ не особенно большой, во французскомъ стилѣ, спрятанъ посреди парка, а въ дальнемъ концѣ его—огромныя оранжереи.

Порядокъ и чистота вездѣ по дорогѣ и по дворамъ, какъ и въ городѣ. Конки бѣгаютъ во всѣ предмѣстья; народу открыты всѣ гулянья. Да и симпатичный же народъ—эти бѣлокурые и голубоглазые шведы: веселый, здоровый, разумный, дѣльный, знающій и, вмѣстѣ, такой общительный и добрый! Любезность его къ иностранцу просто трогательна. Когда мы шли къ Моталѣ, къ Трольгеттану, встрѣчавшіяся дѣвочки присѣдали намъ на

улицѣ, взрослые люди привѣтливо кланялись. Нельзя не позавидовать этому милому народу, умѣвшему устроить свой общественный и домашній бытъ съ такимъ удобствомъ, такою почтенностью и такою хотя бы и сравнительною справедливостью. Вотъ что̀ значитъ посвятить всѣ силы народа мирному труду, свободному развитію культуры, на почвѣ мудраго довѣрія къ его благоразумію и его совѣсти, вмѣсто того, чтобы тратить народное достояніе, подобно „Кайзеру Вильгельму", на померанскихъ гренадеровъ и Крупповскія пушки.

Пока шведы были „военнымъ народомъ", пока разные фантазёры вродѣ Карла XII-го и Густава III-го гонялись за миражами завоеваній и политическаго значенія въ Европѣ, — не было, можетъ быть, страны бѣднѣе и непріютнѣе Швеціи, между тѣмъ какъ теперь, можно смѣло сказать, въ Европѣ нѣтъ народа счастливѣе шведовъ. Это, несомнѣнно, народъ большого будущаго, который еще обгонитъ—на пути промышленной, торговой, научной и общественной дѣятельности—многіе передовые народы настоящей минуты...

Вернулись мы съ противоположнаго конца города, черезъ совсѣмъ еще новые, только-что застроивающіеся кварталы, по „Kungsportavenuen", мимо сплошныхъ рядовъ его не домовъ, а дворцовъ, въ пять, въ шесть этажей, съ балконами, колоннами и помпеянскими украшеніями стѣнъ.

Ночевать пришлось уже въ гавани, кишѣвшей пароходами и кораблями. На кабинѣ нашей приколотъ былъ ярлычокъ: „Professor Markoff". Кто и за что пожаловалъ мнѣ этотъ титулъ,—я никакъ не могъ рѣшить. Посмотрѣлъ на сосѣднюю кабину тоже семейнаго нѣмца—и тамъ опять: „Professor"... Вѣроятно, метръ д'отель парохода убѣжденъ, что съ дамами путешествуютъ только профессора...

Мы отлично выспались въ покойныхъ, отлично устроенныхъ каютахъ, и уже были давно на палубѣ, когда пароходъ тронулся въ путь. Жена моя дѣятельно хлопотала о томъ, чтобы снять побольше видовъ съ береговъ и съ гавани въ свой моментальный „кодакъ". Картина была дѣйствительно характерная, особенно для нашего брата, жителя черноземныхъ равнинъ. Цѣлыя стаи маленькихъ паровыхъ катеровъ бѣгаютъ проворно, будто водяные паучки, ловко извиваясь между стоящими на якоряхъ и двигающимися громадами морскихъ пароходовъ и трехъ-мачтовыхъ кораблей, тащатъ барки, привозятъ и отвозятъ публику и товары, вертятся, шипятъ, свистятъ, пыша клубами дыма. Устье Гёта-Эльфъ

здѣсь уже смотритъ морскимъ заливомъ. Берега сплошь застроены товарными доками, складами лѣса, фабриками, корабельными верфями. Вонъ лежитъ на самомъ берегу, опрокинутый желтымъ пузомъ вверхъ, будто громадный убитый звѣрь, трехъмачтовый корабль. Крошечные человѣчки въ синихъ блузахъ копошатся на немъ, какъ мухи на падшемъ животномъ, стучатъ, стругаютъ, забиваютъ, накладываютъ латки...

Фарватеръ обозначенъ частыми, ярко раскрашенными баканами, такъ что даже ночью трудно сбиться. Маленькая старинная крѣпостца съ четырехугольными башнями, „Эльфсборгъ", — „Рѣчной за́мокъ", по-русски, — примостилась на крошечной круглой скалѣ какъ разъ по серединѣ теченія у того предѣла, гдѣ кончается рѣка и начинается морской фіордъ. Онъ называется Гаке-фіордъ. Пароходъ держитъ путь прямо на сѣверъ, такъ какъ и берегъ Швеціи поворачиваетъ здѣсь рѣзко на сѣверъ, къ фіорду Христіаніи. Мы опять—въ царствѣ шхеръ; міръ зеленыхъ лѣсистыхъ островковъ, болѣе или менѣе населенныхъ, мы оставляемъ вправо отъ себя, ближе къ берегамъ, а сами идемъ наружнымъ поясомъ совсѣмъ голыхъ и совсѣмъ безлюдныхъ шхеръ. Ширь, гладь; солнце яснаго утра разбрасываетъ бѣловато-серебристый дождь своихъ искръ по колыхающейся мелкой зыби моря, скорѣе сѣраго, чѣмъ голубого. И солнце, и море—сѣвера, а не юга. Цѣпи сѣро-желтыхъ и желто-красныхъ каменныхъ череповъ, горбушекъ, холмовъ, утесовъ окружаютъ эту цѣпь озеръ своего рода, соединенныхъ протоками другъ съ другомъ,—сквозь которую бѣжитъ нашъ пароходъ. Слѣва частенько прорываются эти каменныя плотины и открываютъ намъ видъ на безбрежное море уже совсѣмъ другой синевы и далеко не такое спокойное. Веселый путь, несмотря на безлюдье скалъ. Пароходы, парусники, шлюпки, лодочки то-и-дѣло мелькаютъ мимо, словно экипажи на улицѣ большого города. Бѣлыя крылья косыхъ рыбачьихъ парусовъ шныряютъ по всѣмъ этимъ безчисленнымъ проливчикамъ и озерцамъ, добывая рыбу, устрицъ, омаровъ и всякіе „frutti di mare". Бѣлыя башенки маяковъ торчатъ на скалахъ, что повыше, точно неусыпные часовые этой большой дороги, и тоже нѣсколько разнообразятъ пейзажъ. На другихъ скалахъ сигнальные каменные столбы, раскрашенные черными и бѣлыми полосами или шахматами, чтобы они бросались въ глаза и днемъ, и ночью. На красныхъ гранитахъ намазаны известью бѣлыя четырехугольныя пятна, тоже для ночной примѣты. Вообще, куда ни глянешь,—вездѣ разнаго рода значки, сигналы, замѣтки, которые мѣстные рыбаки и матросы читаютъ какъ хорошо понятную книгу, крайне необходимую въ такомъ

лабиринтѣ скалъ и островковъ. На иныхъ шхерахъ, впрочемъ, торчатъ кое-гдѣ и вѣтряныя мельницы на высокихъ сваяхъ, чтобы и морской вѣтеръ не пропадалъ даромъ, а работалъ на пользу прибрежнаго трудового люда. Теперь людъ этотъ почти весь ушелъ въ море. Поверхъ плоскихъ гранитныхъ лепешекъ, отдѣляющихъ отъ него нашъ фарватеръ, намъ видны на горизонтѣ моря десятки бѣлыхъ парусниковъ, правильною цѣпью загоняющихъ рыбу въ громадные морскіе неводá, точно пеликаны исполинскаго роста на охотѣ за своей добычей. Пеликановъ тутъ нѣтъ, зато нѣтъ и отъ чаекъ отбоя; онѣ тучею преслѣдуютъ пароходъ на своихъ гибкихъ, остроносыхъ крыльяхъ, провожая его пронзительными криками, похожими на плачъ дѣтей. Публика забавляется, бросая имъ кусочки хлѣба и сухарей, которые онѣ на перегонку другъ съ другомъ выхватываютъ изъ пѣнящейся струи пароходнаго винта, стремглавъ падая въ эту синюю кипѣнь и жадно выхватывая другъ у друга лакомую добычу.

Поворачиваемъ вправо между шхеръ къ Марстранду, который еще издали виденъ намъ своею круглою башнею съ зáмкомъ, торчащею выше всѣхъ окружающихъ скалъ. Это—крѣпость Карлстэнъ, считавшаяся когда-то неприступною и даже прозывавшаяся „сѣвернымъ Гибралтаромъ“. Она забралась на высокую, отвѣсную скалу острова и, кромѣ того, окружила свой центральный зáмокъ съ башнею гранитными стѣнами. Сверху стѣны покрыты зеленымъ газономъ, въ сущности болѣе несокрушимымъ для ядеръ, чѣмъ самъ гранитъ. Пушечныя амбразуры въ зáмкѣ, пушечныя амбразуры въ стѣнахъ. Внизу, у самой воды, сильный гранитный блокгаузъ съ такими же амбразурами. Нужно повернуть мимо крѣпости влѣво, чтобы очутиться въ пристани Марстранда. Городъ сдвинулся довольно тѣсно къ набережной. Тутъ все вывѣски гостинницъ, пансіоновъ, ресторановъ. Разодѣтая публика толпится на пристани, ожидая пріѣзжихъ, собираясь сама въ путь. Пароходъ стоитъ у Марстранда не особенно долго, а осматривать въ городкѣ рѣшительно нечего. Самая тѣнистая и людная часть городка—за поворотомъ берега, гдѣ много изящныхъ дачъ въ садахъ, и гдѣ, между прочимъ, и расположена и королевская вилла. Садъ ея опускается къ самой водѣ; на мраморной колонкѣ стоитъ бюстъ короля Оскара, который каждое лѣто пріѣзжаетъ купаться въ Марстрандѣ. Рядомъ—большая общественная купальня. Воздухъ здѣсь очень здоровый и въ окрестностяхъ много лѣсныхъ и водяныхъ прогулокъ. Но для русскихъ привычекъ степного и

лѣсного раздолья этотъ архипелагъ хорошенькихъ островковъ, на каждомъ шагу останавливающій расходившуюся ногу,—кажется слишкомъ тѣснымъ.

Мы проѣзжаемъ маленькій островокъ Арвидсвигъ съ маленькою деревенькою, обращенною въ любимую купальню марстрандскихъ лѣтнихъ гостей. На другомъ такомъ же маленькомъ островкѣ—живописная церковь. Среди очень опасныхъ подводныхъ камней, коварно притаившихся подъ мирною гладью воды, на скалѣ „Патеръ-Ностеръ" („Отче Нашъ")—высокій маякъ. Самое имя его говоритъ вамъ, что безъ молитвы не проѣзжаютъ этого жуткаго мѣста.

Шхеры дѣлаются все разнообразнѣе и живописнѣе. Вотъ мы въѣхали въ узкіе „зунды"—проливчики, напоминающіе скорѣе рѣку, чѣмъ море. Это—царство рыболовства. Справа и слѣва—рыбачьи деревеньки. Опрятные деревянные дома ихъ всѣ красные, крыши и стѣны. Но около нихъ—ни дворика, ни деревца; подъ ними, одна голая плита. Закаленные въ буряхъ—старые рыбаки, костистые, морщинистые, рослые и широкоплечіе, возятся въ своихъ сѣтяхъ и лодкахъ, не обращая вниманія на проходящій пароходъ, всецѣло поглощенные своимъ дѣломъ. Они—въ темныхъ бумазейныхъ рубахахъ, перехваченныхъ кожаными поясами, въ кожаныхъ шлемахъ на головахъ. Въ каждой изъ безчисленныхъ заводей, укрытыхъ скалами, вырѣзаются ихъ характерные силуэты.

Молло-Зундъ—уже порядочное мѣстечко, тоже сплошь изъ домовъ, красныхъ сверху до низу; но эти дома особаго рода. Они поднимаются прямо изъ воды и надъ водою, на сваяхъ, безъ дверей; во второмъ и третьемъ этажѣ ихъ—широкія ворота, куда на блокѣ поднимаются подвозимые судами товары—лѣсъ, бочки, ящики съ рыбою.

Такими складами полны приморскія деревни и города южной Швеціи. Въ каждомъ такомъ домѣ виситъ безчисленными связками распластанная сушеная рыба всякаго вида и величины. На гранитныхъ скалахъ, нагрѣтыхъ солнцемъ, тоже сушатся тысячи рыбъ; рыба виситъ несчетными монистами на пряслахъ и жердяхъ, на протянутыхъ веревкахъ, вездѣ, гдѣ только можно ее разложить или развѣсить.

Мы подходимъ теперь къ Лизекюлю, или, по шведскому выговору, „Лисечилю",—сопернику Марстранда въ качествѣ морского купальнаго мѣстечка. Тутъ еще больше дачъ, больше населенія, больше гостей, чѣмъ въ Марстрандѣ. Много красныхъ деревенекъ выглядываютъ то тамъ, то здѣсь, изъ-за скалъ, когда

приближаешься къ этому оживленному городку. Парусныя суда цѣлыми стаями рѣютъ въ его окрестностяхъ. Нѣтъ, по-моему, птицы красивѣе и веселѣе и статнѣе паруснаго судна, когда оно несется на своихъ бѣлыхъ крыльяхъ-парусахъ, смѣло ныряя грудью въ пучину и горделиво вылетая оттуда опять вверхъ...

Лизекюль—огромное круглое озеро, охваченное цѣпью гористыхъ островковъ и береговъ. Цѣлый десятокъ парусниковъ, нахохливъ свои крылья, сбился въ живописную кучку, вокругъ большого невода. Другіе бороздятъ озеро, рыская по его заводямъ. Лизекюль живетъ анчоусами, которыхъ онъ ловитъ и вывозитъ въ огромныхъ количествахъ.

Городокъ окружилъ озеро полукольцомъ своихъ простенькихъ дачъ, отелей и пансіоновъ. Зелени въ немъ меньше, чѣмъ въ Марстрандѣ; вездѣ—одинъ камень; кругомъ—тоже голые каменные островки. На иныхъ дымятся фабрики, на другихъ—видны флаги и скамейки для купающихся. Просторныя купальни выстроены и подъ самою пристанью. На пристани публика оживленнѣе и многочисленнѣе марстрандской. Многіе вышли сюда съ нашего парохода; многіе сѣли на пароходъ.

Мы все время отъ самаго Гётеборга идемъ путемъ такъ-называемыхъ „ytre vägen", то-есть „внѣшнимъ путемъ" шхеръ, оставляя вправо отъ себя большіе прибрежные острова Тьорнъ и Орустъ; другой, „внутренній путь" черезъ шхеры идетъ между этими двумя островами и берегомъ шведскаго материка, именно мимо древней области Богуса, всегда принадлежавшей прежде не Швеціи, а сосѣдней Норвегіи, и бывшей однимъ изъ коренныхъ гнѣздъ древнихъ викинговъ. Внутренній этотъ путь тоже ведетъ къ разнымъ маленькимъ прибрежнымъ городкамъ, обращеннымъ въ лѣтнія купальни шведовъ и дѣятельно промышляющимъ рыболовствомъ. Каждый изъ нихъ, подобно Марстранду, Лизекюлю, Уддевалѣ и другимъ, высылаетъ въ годъ отъ 1.500 до 2.000 кораблей съ рыбою,—почему здѣсь бѣдности не видно и не слышно.

Каждая дѣвочка, каждый мальчишка находитъ себѣ какое-нибудь занятіе при ловлѣ, сушкѣ, соленіи или укупоркѣ рыбы. Этой дѣятельной торговлѣ помогаютъ, между прочимъ, телеграфы, телефоны, проведенные даже и по шхерамъ, во всѣ рыбачьи деревеньки. Ряды телеграфныхъ столбовъ постоянно виднѣются на голыхъ гранитныхъ горбушкахъ, а гдѣ телеграфный кабель опускается подъ воду, тамъ вездѣ выставлена надпись, предостерегающая отъ порчи кабеля.

За Лизекюлемъ, „ytre vägen" сильно приближается къ ру-

бежу открытаго моря; шхеры дѣлаются еще болѣе плоскими, еще болѣе голыми и безотрадными, превращаясь мало-по-малу въ подводныя скалы, которыя выдаютъ свою коварную засаду только всплесками бѣлой пѣны; море все чаще и чаще заглядываетъ къ намъ сквозь рѣдѣющую цѣпь этихъ гранитныхъ тарелокъ.

Смӧгенъ—богатое рыбачье селеніе на островкѣ. Дома его плотно обшиты тесомъ въ стойку, на швы тесинъ опять нашиты тесины, и все окрашено въ прочную красную краску, очень дешевую въ Швеціи, потому что она добывается изъ мѣстной же мѣдной руды. Почти всѣ дома трехъ-этажные, съ крутыми высокими кровлями, охватывающими не только верхній, но и второй этажъ. Прибрежные дома—все товарные склады; сами на сваяхъ и передъ каждымъ изъ нихъ маленькая площадка на сваяхъ—ихъ пристань. Ворота—то во всѣхъ трехъ, то только въ двухъ ярусахъ. Наверху—неизмѣнный блокъ для подъема товаровъ. Внутри всегда одно и тоже—бревна, доски, ящики, бочки, развѣшанная рыба. Эти склады въ высшей степени характерны для шведскаго берега, и жена моя старательно схватывала въ свой моментальный фотографическій приборъ ихъ оригинальные фасады вмѣстѣ съ окружавшими ихъ столь же характерными группами рыбаковъ и рыбачекъ. И тутъ, какъ вездѣ въ этихъ рыбацкихъ селеніяхъ, похожихъ другъ на друга какъ овцы одного стада, на всѣхъ голыхъ шхерахъ устроены прясла изъ жердей, на которыхъ въ безчисленномъ множествѣ сушится рыба, развѣшиваются неохватные морскіе невода.

Дѣвушки, дѣти, подходятъ вплотную къ пароходу, который двигается по этимъ тѣснымъ проливамъ между шхеръ, точно по узкому каналу. Всѣ прилично и красиво одѣты, ничѣмъ не отличаясь отъ нашей „господской" одежды; всѣ смотрятъ честнымъ и разумнымъ взглядомъ мирнаго культурнаго народа. Конечно, это не простые земледѣльцы, а зажиточные хозяева судовъ и рыбопромышленники, но суть-то въ томъ, что тутъ почти все населеніе сплошь—судохозяева и промышленники. Дѣятельность тутъ кипитъ. У домовъ—суда и лодки выгружаются, нагружаются; среди шхеръ—опять суда, цѣлыми десятками,—вездѣ, куда ни глянешь. Настоящее водяное и рыбное царство, гдѣ не на шутку съ зари до зари занимаются и рыбою, и водою... На нашъ пароходъ часа два сряду не перестаютъ таскать изъ барокъ ящики съ лососиною, обложенною льдомъ, для дальней отправки. Одинъ изъ ящиковъ уронили, разбили, и оттуда посыпался и ледъ, и рыба, мастерски упакованная... Къ этимъ боль-

шимъ, тяжелымъ ящикамъ прибиты съ короткихъ сторонъ на деревянныхъ ляпугахъ узкія дощечки, за которыя можно браться, какъ за ручки, и черезъ это легко и удобно поднимать ящики, которые—безъ этого простого, ничего не стоющаго приспособленія—потребовали бы гораздо болѣе времени и усилій для своего подъема и истерзали бы пальцы несчастныхъ рабочихъ, вынужденныхъ поднимать эти тяжелыя укладки подъ плоское дно, какъ водится обыкновенно у нашего беззаботнаго, неаккуратнаго народа, совсѣмъ не берегущаго своихъ силъ и здоровья.

Когда мы отчалили отъ Смöгена и повернули опять на свой путь, передъ нами открылась оригинальная и живописная картина. Болѣе полусотни судовъ, поднявъ вверхъ свои бѣлыя острыя крылья, дружно наклоненныя вѣтромъ въ одну сторону, цѣлымъ полкомъ двигались за шхерами въ открытое море, ярко вырѣзаясь на его глубокой синевѣ. Погода обѣщала удачный ловъ, и все рыбачье населеніе Смöгена ополчилось на свою обычную охоту.

Мы тоже совсѣмъ почти выходимъ въ море, оставляя шхеры вправо. Это уже не Каттегатъ, а Скагерракъ, давно прославившійся своимъ бурнымъ нравомъ. Пристали еще разъ къ одиночному островку Ведеръ-Öарне, въ скалистой бухтѣ котораго производятся ломки краснаго гранита, особенно цѣнимаго въ постройкахъ. Глыбы камня спускаются въ вагонеткахъ по рельсамъ къ самой пристани и здѣсь нагружаются на корабли и пароходы. Нутро высокихъ, обрывистыхъ скалъ изорвано этими ломками, словно распоротая утроба животнаго, обнажившая кровавые куски своего сырого мяса.

У Фьельбака—опять остановка. Это—уже берегъ материка. Гранитныя стѣны тутъ еще круче и выше; могучая сила, поднявшая ихъ, расколола какъ ножомъ эту несокрушимую массу, узкою трещиною, въ глубинѣ которой угнѣздилась, будто въ безопасномъ пріютѣ, цѣлая семья ярко-зеленыхъ, молодыхъ березъ. Дома и склады селенья тоже прилѣпились къ подножію каменной громады. На одномъ изъ уступовъ ея—храмъ Божій, осѣняющій тѣснящіяся внизу рыбачьи жилища. Мѣстечко это тоже богатое и промышленное, тоже полное рыбы, судовъ, торговаго движенія.

Мы долго, долго любовались неутомимостью и выносливостью старыхъ рыбаковъ, что̀ безъ устали таскали то изъ нашего трюма, то въ нашъ трюмъ громадныя тяжести — ящики, бочки, возы тесу, гранитные жернова, получая въ награду за это какихъ-нибудь 40—50 öръ. Народъ этотъ усвоилъ себѣ внѣш-

ній типъ англичанина и американца: всѣ безъ усовъ, только съ сѣдыми бородками; всѣ работаютъ безъ сюртуковъ, въ однихъ фланелевыхъ фуфайкахъ и жилетахъ.

Въ Гребештадѣ, тоже на самомъ берегу Богуса, насъ поразила оригинальная выдумка мѣстныхъ жителей. На отвѣсныхъ гранитныхъ стѣнахъ, окружающихъ крошечный городокъ, колоссальными буквами вырѣзаны всякаго рода вывѣски и рекламы, которыя можно читать съ моря за цѣлую версту. Это—примѣненное къ промышленному духу времени переживанье далекой старины, когда древніе обитатели Богуса временъ викинговъ оставляли на такихъ же гранитныхъ страницахъ свои несокрушимыя временемъ руническія письмена и изображенія, до сихъ поръ уцѣлѣвшія въ окрестныхъ скалахъ этой мѣстности.

Гребештадъ, какъ и Фьельбакъ, и Ведеръ-Öарне, и всѣ здѣшнія прибрежныя селенія, такъ похожи другъ на друга и постройкою своихъ свайныхъ домовъ, и неизбѣжными пряслами съ сушоной рыбой, и бѣготнею парусниковъ на своихъ водахъ, и торговою вознею на пристаняхъ, что, увидѣвъ одинъ такой городокъ, одно такое селенье,—вы уже знаете всѣ другіе.

Но, все-таки, большое наслажденіе—созерцать въ постоянно смѣняющейся очереди эти своеобразные берега, островки и поселенія незнакомаго народа, дѣлаться невольнымъ свидѣтелемъ его нравовъ и обычаевъ, безмолвнымъ наблюдателемъ его жизни. И мысль, и сердце, и глазъ, радостно обнимающій новые образы, новую красоту,—все въ человѣкѣ наполняется свѣжимъ, характернымъ содержаніемъ, книга духа его обогащается еще никогда не пережитыми страницами, и весь онъ точно выростаетъ выше и шире, чѣмъ былъ...

Штрöмстадъ—послѣдній городокъ, куда мы пристали до ночи. Это—одинъ изъ самыхъ бойкихъ рыбныхъ городковъ. Много народа столпилось на пристани. Толстые, добродушные шведскіе бюргеры, фамильярно шутившіе и острившіе въ пароходной столовой со всѣми, кто только попадался имъ на глаза, вылѣзли здѣсь всею компаніею; ихъ уже ожидалъ на берегу цѣлый рой молоденькихъ дѣвушекъ, разодѣтыхъ въ яркіе, хотя и простенькіе наряды,—повидимому, ихъ дочекъ и родственницъ всякаго наименованія. Встрѣчали ихъ и такіе же, какъ они, веселые, болтливые и фамильярные пріятели, какіе-нибудь коммерсанты маленькаго городка, собирающіеся на пристань къ приходу парохода, какъ въ общественный клубъ. Говоръ, смѣхъ, шутки—слышатся отовсюду... Почтенные штрöмштадскіе буржуа преоткровенно потрепываютъ по тугимъ плечикамъ и берутъ за такія же

тугія таліи хохочущихъ миловидныхъ барышенъ, не видящихъ, кажется, въ такомъ искреннемъ выраженія дружелюбія и ласки ничего неприличнаго. Тутъ всѣ знакомы другъ съ другомъ, всѣ—друзья-пріятели. А на пароходѣ такая возня, что пройти трудно и на него, и съ него. Безъ конца вытаскиваютъ, безъ конца втаскиваютъ всякій громоздкій и грузный товаръ: опять тѣ же бревна и доски; тѣ же сундуки, бочки, мѣшки и жернова... И таскаютъ этотъ тяжелый грузъ безъ устали, цѣлый часъ, за обидно ничтожную плату, все больше худощавые, костистые старики съ широкими, стуломъ согнутыми спинами, безъ усовъ, часто безъ волосъ на головѣ, съ однѣми сѣдыми американскими бородками.

Отъ Штрömштада пошелъ открытый Скагерракъ; шхеры встрѣчались очень рѣдко или очень далеко. Скагерракъ всегда суровъ и негостепріименъ, но въ этотъ вечеръ онъ оказался просто свирѣпымъ, словно въ какую-нибудь ноябрьскую ночь. И какъ нарочно, ни одного городка, ни одного острова на пути... Пароходъ нашъ уже не качаетъ, а просто-нà-просто треплетъ. Подбрасываетъ васъ какъ на качеляхъ, то въ одну сторону, то въ другую, то килевою, то боковою качкою, безъ всякаго милосердія. Огромный пароходъ пляшетъ и прыгаетъ, какъ игрушечный конекъ, на этихъ могучихъ волнахъ, шутя подбрасывающихъ его то вверхъ носомъ, то вверхъ кормою, будто онъ и вправду конь, то взвивающійся свѣчкою на дыбы, то пригибающій голову книзу и подкидывающій задомъ. Ходить по палубѣ и думать нельзя,—относитъ будто вихремъ съ одного конца парохода на другой. Стоять тоже невозможно. Мудрено даже усидѣть на мѣстѣ, крѣпко уцѣпившись обѣими руками за какую-нибудь неподвижную перильцу или столбикъ, и упершись ногами въ рѣшетки сквозного пола. Дамъ да и всѣхъ почти мужчинъ давно уже разогнало по постелямъ и диванамъ, откуда слышатся только всевозможныя оханья, стоны, вскрикиванія, взвизгиванія и разные другіе характерные звуки, нисколько не ободряющіе тѣхъ, кто еще продолжаетъ бороться съ тошнотою и головокруженіемъ. На палубѣ маячатся всего двѣ, три притихшія фигуры въ дождевыхъ плащахъ, не поддавшіяся пока жестокой качкѣ. Я оказался, къ собственному удивленію, въ числѣ этихъ немногихъ, хотя въ прежнія морскія путешествія свои безконечно страдалъ отъ качки. Теперь меня спасали разныя фортели, которымъ я слѣдовалъ съ упрямою настойчивостью. Я усѣлся, во-первыхъ, на самой оси качанія, чтобы ослабить его дѣйствіе на свою го-

лову, соблюдалъ, строжайшимъ образомъ, вертикальное положеніе своего тѣла при самыхъ крутыхъ задираніяхъ пароходной кормы и носа, и, главное дѣло, не сводилъ глазъ съ какой-нибудь неподвижной точки неба, стараясь пропускать мимо своего вниманія все это неистовое шатаніе пароходныхъ снастей, всю эту дьявольскую пляску разъярившихся волнъ. Свирѣпое свинцовое море ревѣло и плескалось словно какой-то громадный неистовый звѣрь, рвавшійся разбить въ щепки и проглотить нашъ несчастный пароходъ и всю его злополучную публику. Глубокія черныя хляби распахивались подъ нами, будто бездонные овраги, а сверху на нихъ накатывались и съ громомъ обрушивались внизъ цѣлыя горы темно-зеленыхъ волнъ. Жутко было смотрѣть на эту грозную и мрачную картину. Съ замираніемъ сердца поджидаешь роковую минуту, потрясавшую внутри меня всѣ мозги и всѣ поджилки,—когда трещавшій по всѣмъ швамъ пароходъ низвергался стремглавъ, вмѣстѣ съ налетѣвшею волною, въ эти темныя пучины смерти. Кажется, и самъ сорвался съ своего крѣпко пристывшаго мѣста и летишь куда-то внизъ головою на вѣрную погибель...

Волны выростаютъ на нашихъ глазахъ и двигаются на насъ цѣлыми стѣнами, цѣлыми чудовищными хребтами, съ дикою силою, будто крѣпостными таранами, ударяя со всего разбѣга въ крутыя ребра парохода... Бѣлая пѣна, будто сѣдая грива, кудрявитъ гребешки этихъ черныхъ волнъ, и въ наступающей полутьмѣ кажется, будто по всему морю ныряютъ и бѣсятся безчисленныя стада какихъ-то злыхъ лохматыхъ чудищъ... То-и-дѣло разбѣжавшаяся водяная гора въ шесть—восемь аршинъ вышины, гулко шлепнувъ о бортъ, окатываетъ меня съ головы до ногъ и переносится черезъ палубу, какъ расшалившаяся шайка бѣсовъ. Дождевикъ спасаетъ меня, а неожиданная холодная дýша весьма кстати освѣжаетъ измученную, тоскливо-ноющую голову. Скрытые подъ водою плоскіе камни шхеръ кажутся теперь осажденными баттареями, энергически отстрѣливающимися во всѣ стороны отъ наступающаго врага,—до того окутаны они бѣлыми дымками пѣны разбивающихся о нихъ волнъ, а вдали, на горизонтѣ, въ туманахъ вечера вамъ чудятся цѣлые города бѣлыхъ домовъ и бѣлыхъ церквей, то встающихъ изъ пучины моря, то разсыпающихся въ прахъ...

Встрѣчные парусники, встрѣчныя барки съ дровами безпечно ныряютъ, однако, въ эту разбушевавшуюся пучину, ложась до того на бокъ, что черпаютъ бортомъ воду и чуть не задѣваютъ гребешковъ волны концами своихъ мачтъ. А всего-то на

нихъ торчитъ какихъ-нибудь двѣ-три мрачныя фигуры въ клеенчатыхъ плащахъ и клеенчатыхъ шлемахъ, которыя съ спокойною смѣлостью моряка, съ дѣтства сжившагося съ этими шалостями ихъ кормильца-моря, хладнокровно натягиваютъ, куда нужно, веревки парусовъ и перебираются съ опрокинутаго борта на другой, вздернутый высоко вверхъ...

Теперь ждешь только, какъ неоцѣненныхъ спасителей, памозолившія-было глаза сплошныя цѣпи шхеръ... Гдѣ онѣ? Куда дѣлись?

Уже поздно ночью, пароходъ сталъ, наконецъ, идти нѣсколько спокойнѣе; все рѣже и тише стали ударять въ него волны, и среди значительно стихшаго черно-свинцоваго моря засвѣтились мало-по-малу блѣднымъ, бѣлесоватымъ отблескомъ голые плитняки, черепа и горбы гранитныхъ шхеръ. Мы входили въ широкое устье фіорда Христіаніи, забравшись опять въ густую кашу островковъ, камней, утесовъ,—отбившись, наконецъ, отъ яростныхъ аттакъ бушующаго открытаго моря...

Берега Швеціи кончились, —мы теперь вступали въ воды Норвегіи...

Евгеній Марковъ.

ОЧЕРКИ

изъ

ДАЛЕКАГО ПРОШЛАГО

I.

...Лѣто 1855-го года 2-я легкая батарея, въ которой я служилъ, провела въ Финляндіи. Мы стояли на позиціи для отраженія союзнаго флота, еслибы онъ вздумалъ нападать на сѣверный берегъ Финскаго залива. Офицеры охотились, катались на лодкѣ, удили рыбу и занимались рѣшеніемъ споровъ солдатъ съ мѣстнымъ населеніемъ. Непріятельскіе выстрѣлы удалось намъ видѣть всего два раза. Въ первый разъ около десяти выстрѣловъ, а во второй—до полусотни; но все прошло безвредно и безслѣдно.

Когда море въ шхерахъ замерзло и высадка сдѣлалась невозможною, насъ перевели въ Москву, чтобы занимать караулы. Эта обязанность состояла прежде всего въ томъ, чтобы хранить отъ воровъ и пожаровъ порохъ и снаряды; а Москва тогда была дешевая и очень гостепріимная. Охотники повеселиться могли распредѣлять всѣ вечера безъ остатка. Всѣ офицеры батареи были холостые, и уже по этому одному интересные.

Службой занимались только днемъ, да и то только съ лошадьми да въ канцеляріи. Главная письменная часть состояла въ запущенныхъ походныхъ отчетахъ и въ провѣркѣ формуляровъ для солдатъ. Вторая была легче—комплектовать части изъ смоленскихъ и тверскихъ рекрутовъ,—число крѣпостныхъ было тогда почти поголовное.

Наша батарея квартировала на Колымажномъ дворѣ, возлѣ строившагося тогда храма Спасителя; офицеры помѣщались въ четырехъ комнатахъ, составляли общежитіе, столовались у батарейнаго. Какъ-то вечеромъ, въ концѣ 1855 года, пришелъ изъ комендантскаго управленія писарь, отрапортовалъ дежурному офицеру о приказахъ на слѣдующій день, и потомъ таинственно вызвалъ дежурнаго въ другую комнату. Долго тамъ шептались; мы думали,—вѣроятно, денегъ проситъ на выпивку. Оказалось не то. Дежурный вошелъ и, тоже таинственно, повѣдалъ намъ, что при замиреніи съ французами крестьянъ всѣхъ отпустятъ на волю, что объ этомъ говорятъ по секрету въ комендантскомъ управленіи, а слухъ идетъ отъ управленія генералъ-губернатора (тогда былъ—Закревскій). Вѣры этимъ баснямъ мы не придали, и каждый занялся своимъ дѣломъ.

Секретъ, однако, не удержался. Съ утра уже на всѣхъ лицахъ солдатъ можно было видѣть какое-то оживленіе, и движеніе въ батареѣ было какъ бы праздничное. Между офицерскими деньщиками было два крѣпостныхъ дворовыхъ: у меня—Петръ, изъ симбирскаго имѣнія, а у прапорщика Ушакова — Самсонъ, изъ его ярославскаго имѣнія. Этотъ Самсонъ былъ прежде дядькой Ушакова, когда онъ былъ еще ребенкомъ; а послѣ производства Ушакова въ офицеры, Самсонъ отправился съ своимъ бариномъ въ походъ. Это былъ типъ тѣхъ дядекъ, которыхъ сравнить можно только съ няней Татьяны изъ „Евгенія Онѣгина“. Петръ просто меня спросилъ:—Правда ли, что скоро волю дадутъ?—Не знаю, Петръ,—отвѣтилъ я;—мы только вчера сами услыхали; не думаю, чтобы это скоро сдѣлалось.

Самсонъ къ своему барину отнесся иначе; онъ прежде разсердился на своего барина, и сталъ ему выговаривать, что онъ его хочетъ на волю прогнать, а самъ даже пуговицы себѣ пришить не съумѣетъ.

— Никто тебя прогонять не хочетъ,—отвѣтилъ Ушаковъ:— не нравится тебѣ со мной жить,—уходи домой.

— Теперь я не пойду; а какъ волю дадутъ, то какъ же мнѣ при васъ оставаться; вѣдь это значитъ—царскаго указа тогда ослушаться!

Изъ таинственнаго и секретнаго разговора скоро этотъ слухъ перешелъ на водевильную тему. Въ каждой батареѣ есть весельчаки, „мазапеки“, какъ ихъ солдаты называли. Обязанность ихъ острить, шутоваться и смѣшить. У насъ такой былъ Кириловъ, изъ сдаточныхъ какого-то смоленскаго мелкопомѣстнаго. Въ артиллерійскомъ сараѣ, при чисткѣ и уборкѣ орудій, Кириловъ

распространялся на тему о волѣ мужиковъ, какъ они будутъ судить его, бывшаго помѣщика, и потомъ какъ его разложатъ, будутъ сѣчь и приговаривать. Надо замѣтить, что эти „мазапеки“ очень любятъ, когда однимъ ухомъ ихъ шутки и прибаутки слушаютъ офицеры. „Мазапекъ“ притворяется, что не видитъ офицера, позволяетъ себѣ нѣкоторыя вольности, но въ это же время чувствуетъ, что его слушаетъ компетентный судья, который пойметъ самую тонкую иронію, чего команда солдатъ, разумѣется, не можетъ понять. Прежняя длинная служба и походы сближали солдатъ и офицеровъ въ одну семью, до полной откровенности. Кромѣ разговоровъ о батарейной жизни, солдаты очень любили, когда ихъ слушали объ ихъ прежней жизни, о семьѣ, о крестьянствѣ, о помѣщикѣ и т. п. До всеобщей воинской повинности въ солдаты брали до 35-лѣтняго возраста,—стало быть, людей поживших, и въ эпоху крѣпостного права видавшихъ виды. Какъ крестьянскія бабы при общемъ разговорѣ хвастаютъ, чей мужъ хуже, такъ, бывало, и солдаты любили разсказывать про своихъ помѣщиковъ, и спорили между собой, чей злѣе и ядовитѣе.

Наслышавшись подобныхъ разсказовъ, можетъ быть, даже и въ преувеличенномъ видѣ, и сблизившись съ этими людьми въ солдатскомъ быту, нельзя было не радоваться слуху объ уничтоженіи крѣпостного права. Всѣ офицеры нашей батареи новость эту переживали какъ торжественный праздникъ; хотя слуху и плохо вѣрилось, но дѣло валилось изъ рукъ, и ничего кромѣ воли въ голову не шло. Дня три-четыре мы такъ пережили, подтвержденіе ниоткуда не приходило, и скоро вопросъ этотъ изсякъ.

Я былъ старшій офицеръ въ батареѣ, и поэтому батарейный командиръ всѣ приказанія отдавалъ преимущественно на мое распоряженіе. Разъ онъ откуда-то пріѣхалъ, прислалъ за мной; я явился къ нему на квартиру; онъ встрѣтилъ меня съ озабоченнымъ видомъ, затворилъ за мной дверь и попросилъ сѣсть. Мы сѣли.

— У насъ всѣ снаряды сданы въ пороховой погребъ?— спросилъ онъ.

— Всѣ.

— И изъ передковъ тоже?

— Да, изъ передковъ тоже.

— Зачѣмъ же вы ихъ сдали?! Вѣдь вы знали, что мы въ Москву присланы занимать караулы, и кромѣ нашей батареи ни одной пушки нѣтъ у арміи. Что же, мы горохомъ теперь будемъ стрѣлять? — выпалилъ онъ, уставя на меня свои глаза.

— Да на это былъ приказъ отъ начальника артиллеріи,— отвѣтилъ я.

— Вотъ онъ, приказъ; я велѣлъ его отыскать въ канцеляріи; прочитайте! Развѣ тутъ сказано, что *всѣ* снаряды отправить?

Прочелъ я предписаніе, и ничего не понялъ. Можно было растолковать и такъ, и сякъ. Говорится о зарядныхъ ящикахъ, о боевыхъ снарядахъ; о передкахъ написано только то, что, за неимѣніемъ надежнаго помѣщенія въ Колымажномъ дворѣ, холостые заряды для торжественной пальбы и похоронъ хранить въ передкахъ.

Прочелъ и батарейный командиръ, и тоже ничего не понялъ. Выругалъ автора этого предписанія и всю злобу обратилъ на канцелярію начальника артиллеріи. Когда у него отлегло, я спросилъ, въ чемъ дѣло, въ кого стрѣлять?

— Въ кого прикажутъ, въ того и будемъ!—отрѣзалъ онъ, и потомъ пояснилъ, что онъ былъ у одного важнаго господина, очень близкаго къ генералъ-губернатору, и что Закревскій ждетъ бунта въ Москвѣ. Кто-то, будто бы, распустилъ слухъ, что какъ только заключатъ миръ, то дадутъ крестьянамъ волю, слѣдовательно надо быть готовымъ на все, чтобы остановить безпорядки, и показать мужикамъ, что никакой воли не будетъ.

Батарейнымъ у насъ былъ полковникъ Прозоркевичъ, который, въ 1830 году, былъ выпущенъ изъ 1-го кадетскаго корпуса прямо на Кавказъ, гдѣ и воевалъ съ горцами двадцать-пять лѣтъ сряду. Онъ смотрѣлъ на бунты и ихъ усмиреніе—какъ на вещи самыя обыденныя, и вѣрилъ, что въ Москвѣ также могутъ быть какіе-нибудь бунты, и понадобится картечь. Когда пылъ его прошелъ, мы съ нимъ выяснили, что намъ надо ждать прямого приказа отъ нашего начальства, а всѣ эти важныя персоны намъ не указъ. Нашъ артиллерійскій сарай деревянный, много зарядовъ въ немъ хранить нельзя. Если же, дѣйствительно, намъ прикажутъ приготовиться, то мы тотчасъ же запряжемъ передки, поѣдемъ къ пороховому погребу и тамъ возьмемъ то, что̀ прикажутъ. Послѣ этого разговоръ о волѣ въ нашей батареѣ больше не возникалъ. Но зато въ другихъ сферахъ Москвы онъ не прекращался и разнообразился на всѣ лады, смотря по образованію и по соціальному положенію кружковъ.

Въ зиму 1855 — 56-го года жилъ въ Москвѣ бывшій алатырскій уѣздный предводитель дворянства, Александръ Сергѣе-

вичъ Жилинъ. Состоятельный симбирскій помѣщикъ и почтеннѣйшая личность; его шесть трехлѣтій сряду единогласно выбирали въ предводители, несмотря на его самыя искреннія просьбы уволить его отъ службы. Я, какъ алатырскій помѣщикъ, знакомъ былъ съ нимъ давно, и въ Москвѣ бывалъ у него часто, тѣмъ болѣе, что у него всегда можно было встрѣтить или симбирскихъ помѣщиковъ, или сенатскую молодежь, преимущественно правовѣдовъ.

Между этими правовѣдами былъ Николай Авксентьевичъ Манасеинъ, впослѣдствіи министръ юстиціи. Манасеинъ, по женѣ, былъ племянникъ Жилину, и въ его домѣ былъ какъ хозяинъ. Встрѣчался я тамъ съ товарищами Манасеина,—изъ нихъ помню Браилко, Всеволожскаго, Родіонова, Щербина и другихъ. Въ домѣ Жилина также нерѣдко возникалъ вопросъ о предстоящемъ освобожденіи крестьянъ. И какъ самъ Жилинъ, такъ и вся молодежь, ждали этого освобожденія какъ манны небесной. Самъ Жилинъ, человѣкъ пожилой, спокойный, уравновѣшенный и достаточно послужившій въ провинціи, боялся, какъ бы эта воля не была изуродована во всевозможныхъ комитетахъ и канцеляріяхъ. Помѣщикъ онъ былъ гуманный, и крестьянамъ жилось у него очень хорошо. Дѣтей у него не было, и онъ всѣ заботы посвящалъ на образованіе своего племянника, Николая Авксентьевича Манасеина. Когда же Манасеинъ кончилъ курсъ въ школѣ правовѣдѣнія, и Жилинъ увидѣлъ въ немъ выдающійся умъ и хорошее направленіе, то хотѣлъ свое родовое имѣніе, село Княжуху въ 700 душъ, передать Манасеину. Княжуха въ роду Жилиныхъ была болѣе ста лѣтъ, и Манасеинъ никоимъ образомъ не хотѣлъ укрѣплять за собой это имѣніе. Между тѣмъ Жилинъ лично не зналъ побочныхъ своихъ наслѣдниковъ; слухи же о нихъ доходили до насъ такого сорта, что онъ вправѣ былъ бояться за будущность своихъ крѣпостныхъ, и, за нѣсколько мѣсяцевъ до разговора о волѣ, рѣшилъ передать крестьянъ съ барской землей и со всѣми угодьями въ симбирскій дворянскій пансіонъ.

Началось дѣло объ укрѣпленіи села Княжухи, алатырскаго уѣзда, за дворянскимъ пансіономъ, состоящимъ при симбирской гимназіи. Это дѣло велось въ дореформенномъ уѣздномъ судѣ и гражданской палатѣ болѣе полутора года, и, до его совершенія, прекращено за внезапной смертью Александра Сергѣевича Жилина. Явились законные наслѣдники съ побочныхъ линій рода Жилиныхъ, и послѣ хлопотъ имѣніе укрѣплено за ними. Я тогда хотя и не могъ знать, что мнѣ впослѣдствіи, въ качествѣ мирового посредника, придется возиться съ этимъ имѣніемъ, но,

ради нашего дворянскаго пансіона, говорилъ Манасеину, чтобы онъ, какъ юристъ, ускорилъ это дѣло. Манасеинъ на это сказалъ, что дѣло получило такую огласку,—будто это дѣлается лично для него, и потому онъ умываетъ руки.

Въ Москвѣ у Жилина встрѣчались и рьяные противники воли, которые заводили споры съ молодежью. Въ этихъ спорахъ Н. А. Манасеинъ былъ замѣчателенъ. Всегда сдержанъ, ровенъ, находчивъ и чрезвычайно логиченъ. Его товарищи по выпуску еще въ правовѣдѣніи пророчили ему портфель министра юстиціи. Самъ онъ, разумѣется, смѣялся надъ этимъ пророчествомъ; ни по рожденію, ни по связямъ или протекціи, онъ не могъ подняться такъ высоко, а въ свой умъ онъ, кажется, не вѣрилъ. Острить надъ кѣмъ-нибудь, или срѣзать кого мѣткимъ словомъ онъ себѣ никогда не дозволялъ даже среди близкихъ друзей.

Изъ споровъ о волѣ крестьянъ въ моей памяти осталась такая классификація, а именно, что тѣ лица, которыя прикосновенны были къ дому генералъ-губернатора, они же были и противники реформы. Московскіе богатые помѣщики не вѣрили въ реформу и даже мысли не допускали возможности ея для Россіи. Люди прикосновенные къ театру и къ литературѣ были за реформу. Тогда драматургъ Островскій только еще поднимался, а журналъ „Русскій Вѣстникъ“ удивлялъ своимъ либерализмомъ всѣхъ насъ, привыкшихъ къ цензурѣ.

Другой кружокъ, который довелось мнѣ посѣщать довольно часто въ Москвѣ, помѣщался въ Чудовомъ монастырѣ, въ кельѣ профессора Капитона Ивановича Невоструева. Этотъ археологъ и историкъ разбиралъ архивы восточныхъ губерній Россіи; долго жилъ въ гор. Алатырѣ (симбир. губ.), гдѣ разыскивалъ памятники Пугачевскаго бунта, и тамъ сошелся съ архимандритомъ Троицкаго монастыря, отцомъ Авраамiемъ. Отецъ Авраамій, когда-то студентъ казанскаго университа, всегда интересовался народнымъ бытомъ. Въ Москвѣ гостилъ онъ у Невоструева и къ нему приходилъ его племянникъ, извѣстный писатель Михайловъ, ратовавшій за эмансипацію женщинъ. Въ эту компанію изрѣдка являлся и профессоръ богословія московскаго университета,—кажется, Сергіевскій, сколько могу припомнить. Михайловъ воспитывался въ горномъ корпусѣ, гдѣ онъ хорошо усвоилъ геологію и естественныя науки, и Сергіевскій любилъ поднимать съ нимъ споръ о потопѣ, о мірозданіи и вообще о всякихъ гипотезахъ и теоріяхъ строенія земли. Понятно, что о. Сергіевскій твердо стоялъ

на библейской исторіи, а Михайловъ ни на іоту не сдавался съ научныхъ теорій. Споры кончались ничѣмъ, и дали поводъ Невоструеву высказать такую мысль, что пока наука была въ монастыряхъ и въ рукахъ духовенства, то можно еще было духовнымъ лицамъ поучать, объяснять и толковать всѣ естественныя явленія и законы ихъ. Теперь же, когда наука изъ закрытыхъ монастырей перешла въ открытые университеты и требуетъ во всемъ провѣрки и строгихъ доказательствъ, то духовенству слѣдуетъ уклониться отъ толкованій естественныхъ явленій, а ограничиться только догматами и нравственнымъ ученіемъ.

Михайловъ къ этому добавилъ, что это было бы полезно для самого духовенства и его авторитета, такъ какъ если проповѣдники вѣры будутъ, по своему незнанію, подрывать къ себѣ довѣріе въ естественныхъ наукахъ, то имъ не будутъ довѣрять и въ сверхъестественныхъ.

Невоструевъ, хорошо знавшій Сергіевскаго, пояснилъ Михайлову, что часто люди убѣжденные начинаютъ споры съ знающими спеціалистами только для того, чтобы поучиться отъ нихъ. Съ естественныхъ наукъ разговоръ перешелъ на догматическое ученіе, и архимандритъ Авраамій, родной дядя Михайлова, прочиталъ ему цѣлую лекцію о воспитаніи молодежи, почему она выходитъ изъ учебныхъ заведеній недостаточно укрѣпленною въ вѣрѣ. Ошибка лежитъ не въ ученикахъ, а въ преподавателяхъ и въ руководителяхъ этихъ преподавателей. По словамъ Авраамія выходило такъ, что еслибы послушались Малова и приняли его систему—не касаться въ катехизисахъ догматическаго богословія, а на первый планъ ставить нравственное ученіе,—то были бы иные результаты. Теперь же по катехизису Филарета преподаватели сами затруднены ставить на первый планъ догматику, имъ самимъ мало понятную, а поэтому истинное ученіе вѣры, со всей ея простотой и чистотой, ускользаетъ отъ учениковъ.

Келья, въ которой происходилъ этотъ разговоръ, была затворена; Филаретъ былъ въ полной силѣ и власти, и не было сомнѣнія, что всѣ мы, пять человѣкъ присутствующихъ, были на сторонѣ священника Малова, противника митрополита Филарета. Помню, что мнѣ тогда показалось страннымъ противорѣчіемъ между мірянами и духовными: міряне чтили Филарета какъ святого, а духовные смотрѣли на него какъ на сухого схоластика, запоздалаго педанта. Черезъ двадцать лѣтъ послѣ этого разговора хотя и появлялись въ нашей печати такіе же отзывы о Филаретѣ и его полемикѣ съ Маловымъ, но духъ этихъ статей и тѣни не

имѣлъ той нетерпимости, которою отличался Филаретъ по словамъ близкихъ къ нему.

Въ тѣсномъ кружкѣ Невоструева много вечеровъ посвящено было и вопросу освобожденія крестьянъ. Кто что̀ говорилъ—упомнить трудно, но мѣры обсуждались тѣ, которыя проникали въ келью изъ города. Такъ, напримѣръ, было мнѣніе о томъ, чтобы сдѣлать народную перепись всѣхъ крѣпостныхъ и затѣмъ манифестомъ объявить свободными всѣхъ рождаемыхъ послѣ этой переписи. Черезъ пятьдесятъ лѣтъ, дѣйствительно, были бы всѣ свободны, но, во-первыхъ,—безъ земли, а во-вторыхъ, цѣлые полвѣка было бы полное безправіе и пестрота въ каждой семьѣ,—а это хуже крѣпостного права. Мнѣніе это, однако, обсуждалось и во многихъ гостиныхъ Москвы.

Предлагали и такую мѣру, чтобы отмѣнить Юрьевъ-день, и дозволить крестьянамъ переходить отъ помѣщика къ помѣщику, какъ было до Бориса Годунова. Московскія гостиныя не чувствовали того, что онѣ создавали этимъ бродячую Русь и безземельное населеніе. Много и другихъ предложеній и слуховъ ходило по Москвѣ и критиковалось въ кельѣ Невоструева. Всѣ мы только жалѣли, что этотъ вопросъ нельзя обсуждать въ печати. Отъ литератора Михайлова мы знали, что и въ Петербургѣ ходили изъ устъ въ уста такіе же проекты, гдѣ называли и авторовъ ихъ, стоящихъ на высокихъ ступеняхъ государственнаго управленія. Такъ, напримѣръ, приписывали одному вельможѣ проектъ слѣдованія политикѣ Николая I, чтобы постепенно, шагъ за шагомъ и указъ за указомъ, ограничивать произволъ и власть помѣщиковъ надъ крестьянами.

Этотъ проектъ далъ поводъ археологу Невоструеву импровизировать свой проектъ освобожденія, или, какъ онъ назвалъ—„раскрѣпощенія". Подобно тому, какъ 250 лѣтъ закрѣпощали народъ, сначала за землей, а потомъ уже лично за помѣщиками, такъ, по его мнѣнію, надо бы и раскрѣпощать.

— Какъ!—возмутились Михайловъ и дядя его, о. Авраамій:—250 лѣтъ раскрѣпощать!

— Нѣтъ, это можно поскорѣе,—спокойно отвѣтилъ Невоструевъ.—Прежде не было ни почты, ни печати, ни контроля. Бумажными указами жила только Москва, да тѣ города, куда случайно цари заглядывали. Россія жила обычаемъ, а управлялась силой, палкой да голодомъ. Тогда землю присвоивалъ себѣ тотъ, кто сильнѣе; на его землѣ селились, строились, работали и уходили, когда не нравилось жить. Потомъ выходъ былъ запрещенъ, но все-таки уходили. Дозволено было самовольныхъ вы-

ходцевъ искать, ловить и водворять силой. Сыски эти и водворенія имѣли сроку пять лѣтъ; а кто пять лѣтъ не рызыщется, то и сыскъ его прекращался. Потомъ срокъ сыска увеличенъ до десяти лѣтъ, а уже послѣ и до пятидесяти. Отъ этого же срока незамѣтно перешли и къ вѣчной крѣпости, а все-таки къ землѣ, а не къ помѣщику. И уже потомъ, долго спустя, когда устроился порядокъ, дороги, мосты, перевозы и сильныя власти въ странѣ, которыя были въ полной зависимости отъ помѣщиковъ, то началась купля и продажа людей; а потомъ—даренія и награжденія ими. По этой схемѣ въ обратную сторону можно опять дойти до свободы людей на ихъ собственной—или на государственной землѣ.

Надо сказать, что Невоструевъ былъ правой рукой предсѣдателя археологическаго комитета въ Москвѣ, князя Михаила Андреевича Оболенскаго. Часто у него бывалъ я, встрѣчалъ тамъ цвѣтъ дворянской и купеческой Москвы, такъ какъ князь былъ женатъ на Мазуриной, изъ стариннаго и богатѣйшаго купеческаго рода. Послѣ каждаго посѣщенія княжескаго дома, Невоструевъ приносилъ новыя темы для критики и спора въ тѣсномъ и дружескомъ кружкѣ.

Въ одинъ изъ вечеровъ Невоструевъ намъ говоритъ, что онъ у князя встрѣтилъ господина, который упрекалъ князя за то, что ни въ одномъ архивѣ до сихъ поръ не найдено точныхъ и правдивыхъ документовъ о томъ, какъ отразился указъ объ Юрьевѣ днѣ въ разныхъ сферахъ тогдашней Россіи. Князь указалъ на Невоструева и говоритъ:—Вотъ вамъ головой выдаю виновника; тащите его на лобное мѣсто, онъ до сотни архивовъ разобралъ.

— До сотни далеко, ваше сіятельство, но изъ всѣхъ архивовъ, которые я разбиралъ,—отвѣтилъ Невоструевъ,—не было ни одного, который бы нѣсколько разъ не горѣлъ, не былъ обокраденъ, и гдѣ бы не видна была невѣжественная рука, путавшая бумаги и уничтожавшая ихъ.

— Прошедшее намъ не вернуть,—сказалъ на это о. Авраамій:—драгоцѣнны теперь были бы тѣ записки, которыя писались современниками закрѣпощенія народа. А если до сихъ поръ такихъ записокъ для насъ не найдено, то мы должны выручить изъ той же бѣды наши поколѣнія. Вѣдь теперешнее раскрѣпощеніе народа не менѣе важно для государства, чѣмъ бывшее закрѣпощеніе. И записки объ нынѣшнемъ времени черезъ сто лѣтъ будутъ такъ же цѣниться, какъ мы бы теперь цѣнили записки о закрѣпощеніи. Вотъ тебѣ бы, Миша,—обратился онъ къ своему племяннику, Михаилу Иларіоновичу Михайлову,—начать

писать все, что ты видишь и слышишь въ настоящее время о волѣ крестьянъ. Ты еще такой молодой, что успѣешь увидѣть вполнѣ свободный народъ, если даже освобожденіе продлится цѣлые полвѣка.

Михайловъ согласился съ этимъ и сказалъ, что онъ будетъ вести дневникъ о волѣ. Но дядя пережилъ племянника. Въ шестидесятыхъ годахъ Михайловъ замѣшался въ какую-то политическую исторію, былъ сосланъ въ Сибирь, гдѣ вскорѣ и умеръ.

Въ мартѣ 1856 года, былъ заключенъ парижскій миръ между Россіею и союзными государствами. Тогда же заговорили о коронаціи императора Александра II, и о возвращеніи войскъ на прежнія квартиры. Наша батарея перешла въ с. Мытищи, 20 верстъ отъ Москвы; а потомъ отъ батареи отдѣлили лабораторію, подъ командой прапорщика Юзвикевича, которую и командировали въ распоряженіе генерала Константинова, для приготовленія фейерверка. Работы лабораторіи продолжались отъ мая до конца августа. Между множествомъ эффектныхъ штукъ, самой выдающеюся былъ искусственный Везувій. 42.000 ракетъ, болѣе 1.000 лусткугелей и пудовъ до сотни огненныхъ фонтановъ послѣдовательно воспламенялись, взлетали на версту, горѣли, палили, трещали и лопались 15 минутъ времени. По отзывамъ людей, видѣвшихъ настоящій Везувій во время сильнаго изверженія, искусственный Везувій во время коронаціи былъ еще величественнѣе.

Вторымъ нумеромъ, устроеннымъ Константиновымъ, было исполненіе „Боже царя храни“. 3.000 музыкантовъ и 4.000 пѣвцовъ составляли хоръ. Вмѣсто турецкихъ барабановъ, было заряжено 48 пушекъ, которыя палили въ тактъ хору посредствомъ электрическаго тока. Замыканіе токовъ было прилажено къ фортепьяно, на которомъ игралъ Львовъ, авторъ гимна.

То, что происходило въ Москвѣ во время коронаціонныхъ празднествъ, много разъ уже было описано. Добавлю къ этому: —когда вѣрно и безповоротно было объявлено, что надо дать волю крѣпостнымъ, то всѣ сомнѣнія разлетѣлись прахомъ. И тѣ самые люди, которые говорили, что это невозможно, несправедливо, несвоевременно и т. д., сдѣлались сторонниками освобожденія, или отмалчивались. Кромѣ того, какъ только это дѣло стало безповоротнымъ, то споры о немъ, даже и разговоры о волѣ утихли, или велись неохотно.

Послѣ коронаціи батарея наша собралась въ Мытищахъ.

Всѣмъ было извѣстно, что войска будутъ приводиться въ мирный составъ; службы для офицеровъ почти не было, и мы цѣлую осень охотились съ помѣщикомъ Абрамомъ Никитичемъ Аладьинымъ. Борзыя у него лихостью на русаковъ не отличались, но лисицъ брали злобно.

Въ октябрѣ войска расформировывались; десятки тысячъ лошадей продавались съ аукціона за четверть цѣны. Я сформировалъ себѣ крѣпкую тройку и на ней отправился изъ Москвы въ каменецъ-подольскую губернію, куда меня перевели въ 14-ю бригаду, изъ которой только-что выбылъ Левъ Николаевичъ Толстой. Въ бригадѣ онъ оставилъ по себѣ память какъ ѣздокъ, весельчакъ и силачъ. Такъ, онъ ложился на полъ, на руки ему становился пудовъ въ пять мужчина, и онъ, вытягивая руки, поднималъ его вверхъ; на палкѣ никто не могъ его перетянуть. Онъ же оставилъ много остроумныхъ анекдотовъ, которые разсказывалъ мастерски; нѣкоторые анекдоты—не для печати.

Графа Толстого изъ бригады провожали уже послѣ того, какъ онъ себя заявилъ выдающимся писателемъ и обличителемъ наживы изъ казны. Офицеры говорили, что батарейные командиры, которые вообще наживались отъ казенныхъ лошадей, замѣтно стыдились его, какъ будто имъ жгли ладони остатки отъ овса и сѣна. Разсказывали, что онъ до такой степени былъ брезглив къ казеннымъ деньгамъ, что проповѣдывалъ офицерамъ возвращать въ казну даже тѣ остатки фуражныхъ денегъ, когда офицерская лошадь не съѣстъ положеннаго ей по штату.

14-я бригада полевой артиллеріи квартировала въ Григоріополѣ, Дубоссарахъ и въ селеніяхъ вдоль р. Днѣстра. Окрестные помѣщики пріѣзжали съ семьями на офицерскіе балы, были и сами гостепріимны къ офицерамъ; но о волѣ мнѣ пришлось говорить съ весьма немногими. Зато на правомъ берегу Днѣстра, въ Бессарабіи, въ Бендерахъ, въ Кишиневѣ и въ нѣкоторыхъ селахъ любимый разговоръ помѣщиковъ былъ о московскихъ слухахъ. Повидимому, тонъ сужденій давали Леонарди и генералъ Рербергъ, богатые помѣщики. Волю встрѣчали, сколько помню, безъ страха и безъ радости...

Какъ извѣстно, послѣ парижскаго мира, часть Бессарабіи отходила къ Молдавіи, а жителямъ этой отходящей части предоставлялось брать выходныя свидѣтельства и поселяться въ Россіи. Свидѣтельства выдавались изъ полиціи Измаила, Рени и Киліи и составляли предметъ торга по всей Бессарабіи. Крѣпостные люди бѣгали отъ помѣщиковъ, перемѣняли имя, покупали выходныя свидѣтельства и шли свободными людьми, куда

имъ вздумается. Въ Одессѣ тогда торговля оживлялась, хлѣба отправлялось много, работы находить было не трудно, и бѣглые съ такими свидѣтельствами переполняли ее, и не скрывали своей хитрости.

Отходящую отъ Бессарабіи часть отводила разграничительная коммиссія. Одинъ изъ членовъ этой коммиссіи послѣ разсказывалъ, что очень многіе жители его спрашивали: гдѣ будетъ лучше жить, подъ Россіей, или подъ Румыніей? Поясняя свой вопросъ, гдѣ будетъ легче отъ податей и сборовъ,—помню, что этотъ членъ коммиссіи ужасался малому развитію патріотизма на окраинахъ отечества.

До войны я былъ въ отставкѣ, жилъ въ своемъ алатырскомъ имѣніи, платилъ отцовскіе долги, работалъ съ мужиками, и такъ пришлось это мнѣ по вкусу, что я опять запрегъ въ телѣгу своихъ лошадей и на-своихъ отправился въ симбирскую губернію. По сѣрой солдатской шинели на постоялыхъ дворахъ и въ дорогѣ меня принимали за простого солдата, и простой народъ откровенничалъ со мной, какъ съ своимъ братомъ. Отъ Одессы вплоть до Харькова былъ одинъ у всѣхъ вопросъ: правда ли, что татары и нагайцы поднимаются изъ Крыма въ Турцію, а землю тамъ отдаютъ мужикамъ? Иногда этотъ вопросъ варьировался тѣмъ, что кто уйдетъ отъ помѣщика на ту землю, то будетъ вѣкъ вольный. Слухъ этотъ былъ такъ упоренъ, что совершенно не вѣрили, если приходилось разубѣждать въ этомъ слухѣ.

Толки о крымскихъ земляхъ и даровой ихъ раздачѣ держались весь годъ, и осенью 1857 года народъ массами двинулся въ переселеніе. Второпяхъ продавали все хозяйство, запрягали воловъ и лошадей, сажали свои семьи и густыми обозами направлялись въ Крымъ. На мостахъ, на переправахъ и въ городахъ губернаторы разставили караульныхъ, чтобы не пропускать народъ и возвращать его обратно. Но эта мѣра не повела къ добру; караульные пропускали за деньги, пропивали ихъ, торговали кормомъ и хлѣбомъ, и, наконецъ, были командированы войска, которыя и положили конецъ стихійному движенію массъ.

За Харьковомъ, къ Воронежу и особенно къ Тамбову, народъ сильно интересовался волей. На постоялыхъ дворахъ разговоръ о волѣ велся открыто, не шопотомъ, споры были самые нелѣпые. Видно было, что кое-что слышали отъ дворовыхъ людей и отъ проѣзжихъ изъ Москвы, но все это пересыпалось мѣстными выдумками пылкой фантазіи.

На дорогѣ съ попутчиками легче было разговаривать, узна-

вать отъ нихъ слухи и ожиданія и разъяснять имъ правду и истинное положеніе дѣла. Помню, разъ идемъ мы возлѣ лошадей, толкуемъ о злобахъ дня, и насъ обогналъ какой-то помѣщикъ въ коляскѣ четверикомъ прекрасныхъ коней. Мои попутчики сняли шапки, а потомъ съ большимъ злорадствомъ стали подтрунивать надъ нимъ, что недолго ему такъ кататься, что черезъ годъ отъ него отберутъ и лошадей, и кучеровъ; самъ колеса будетъ мазать!

— Зачѣмъ же отберутъ?—спрашиваю я.

— За Кіевомъ уже отобрали. Тутъ богомольцы проходили и говорили, что тамъ уже народъ на волю отпустили; а лѣса, луга, сады, пашни, скотъ и лошадей въ казну взяли, чтобы противъ мужиковъ ничѣмъ лишнимъ не владѣлъ, чтобы всѣ передъ царемъ были одинаковы!

— Ну, а купцы?—спросилъ я.—Вѣдь они тоже помногу лошадей и всякаго добра имѣютъ; неужто и ихъ ровнять будутъ?

— Нѣтъ, купцы—иная статья; они своимъ капиталомъ и своимъ трудомъ богатѣютъ. Помѣщики все мужичьимъ трудомъ добыли; сами ничего не работали. Они черезъ мужичьи руки богатѣли, а теперь мужики будутъ царскіе,—поэтому и добро отъ помѣщиковъ отойдетъ къ царю.

Такая логика, съ небольшими варіантами, шла вдоль большой дороги сто и двѣсти верстъ, пока не смѣнялась другимъ слухомъ, въ который темная масса точно такъ же слѣпо вѣрила. Напримѣръ, за Тамбовомъ, къ Пензѣ, на постояломъ дворѣ, за общимъ чаемъ, одинъ крестьянинъ авторитетно разсказывалъ, что у помѣщиковъ все отберутъ, а ихъ самихъ въ казаки запишутъ и на Донъ погонятъ.

— А какъ же малолѣтокъ, которые и пики не поднимутъ?—вмѣшался кто-то.

— Для нихъ изъ казны паёкъ пойдетъ; такъ же, какъ теперь для кантонистовъ у солдатокъ. Въ уѣздныхъ городахъ всѣхъ ихъ перепишутъ и никого не обидятъ,—подтвердилъ авторитетъ.

— Это правильно!—замѣтили другіе:—потому что и господа не виноваты; такіе порядки были,—отъ отцовъ и дѣдовъ по наслѣдству доставалось.

— Много, которые по глупости своей, и сами покупали; въ карты выигрывали, на собакъ вымѣнивали; всего было!—желчно отозвался какой-то рыжій, прихлебывая съ блюдечка.

Въ одномъ мѣстѣ догналъ я богомолокъ. Слѣзъ съ телѣги, пошелъ съ ними.

— Откуда Господь несетъ?—привѣтствовалъ я ихъ.

— Къ Митрофанію-угоднику ходили,—отвѣтили старухи.— Заходили и къ Тихону Задонскому, да на святомъ ключѣ были; народу вездѣ много,—все объ волѣ толкуютъ.

— А вы сами-то барскія?

— Барскія, изъ-подъ Саранска; у насъ барыня старенькая; какъ прослышала про волю, такъ залилась слезами: „что̀, говоритъ, я буду дѣлать—голодной смертью умирать!“ А мужики ее утѣшать стали: „не дадимъ тебѣ умереть, келью поставимъ, міромъ прокормимъ“.

— А міръ-то великъ у нея?

— Нѣтъ, она мелкопомѣстная, душъ двадцать будетъ; не обижала никого. Мы ее міромъ жалѣемъ, и дровецъ наберемъ, и соломки дадимъ. Мужики говорятъ, что и корову ея пустятъ на свою землю, за то, что дней не отнимала.

— А другіе развѣ отнимали дни?

— Какже! Въ этомъ же селѣ помѣщикъ богатый,—никакой жалости въ немъ нѣтъ. Пока свою гречу не обмолотитъ,— не смѣй никто на себя работать. Такой извергъ, не приведи Богъ! Мужики только и ждутъ, когда его землю будутъ дѣлить. „Въ поганомъ оврагѣ, говорятъ, дадимъ ему полосу, и пусть на ней хоть издыхаетъ“.

Дорога пошла подъ-гору; я сѣлъ на телѣгу и поѣхалъ рысцой. Не доѣзжая Чембара, путь былъ отвратительный. Они какъ будто забыли, что на этой дорогѣ опрокинули императора Николая Павловича и сломали ему ключицу. Колеи, ямы, водороины, и не было версты гладкой и ровной. А между тѣмъ, кромѣ большихъ дорогъ и постоялыхъ дворовъ, не было иныхъ проводниковъ культуры. Кто-то доказывалъ тогда, что Россія цивилизуется кабаками и острогами, но, разумѣется, это была натяжка. Хотя и не было желѣзныхъ дорогъ, телеграфовъ, газетъ, школъ, а для интеллигенціи — клубовъ, библіотекъ, обществъ и т. п., но обозы, торговые центры, большіе города, Москва и т. д. были настолько доступны для общенія и объединенія народа, что онъ полировался на большихъ дорогахъ гораздо лучше, чѣмъ въ проселкахъ и въ глухихъ мѣстахъ.

За Пензой я свернулъ съ тракта и направился прямикомъ по проселкамъ. Населеніе—смѣшанное: татары, мордва и русскіе; были тутъ и государственные, и удѣльные, и барскіе. Села большія, и слухи о волѣ—съ такими крупными варіантами почти въ каждомъ селѣ, что видны были и домосѣдство крестьянъ, и полная ихъ дикость. Въ одномъ селѣ барскіе мужики толковали о томъ,

что они 333 года уже отслужили господамъ, и царь дѣлаетъ ихъ вольными, а вмѣсто нихъ господамъ даетъ государственныхъ крестьянъ—ухо-на-ухо,—если русскіе мужики; а если мордва,—то полтора мордвина будетъ засчитываться за одного русскаго.

Въ другомъ барскомъ селѣ, гдѣ мнѣ пришлось ночевать, одинъ почтенный старикъ разсказывалъ, что попъ въ церкви народу разъяснялъ, чтобы вздору не вѣрили, никакой воли и не можетъ быть! Этотъ старикъ подробно передалъ проповѣдь священника о Ноѣ и его сыновьяхъ. Затѣмъ, съ убѣжденіемъ подчеркнулъ, что мужики идутъ отъ Хама, непокорнаго сына, а господа происходятъ отъ покорныхъ сыновей.

Слышалъ отъ одного древняго старика и такое разсужденіе, что онъ въ свою жизнь пять разъ уже пережилъ разговоръ о волѣ, что все это—пустяки; поговорятъ годъ-другой, а все-таки воли не будетъ. Кто хочетъ вольнымъ быть, такъ тотъ пускай на Амуръ-рѣку идетъ, черезъ каленые пески; дойдетъ живой—вольнымъ будетъ, а умретъ въ пескахъ—вóроны склюютъ. „Много нашихъ пропало на моемъ вѣку съ этой волей!"—добавилъ съ грустью старикъ.

Былъ и такой споръ въ одномъ селѣ: меня, какъ „служивенькаго", молодежь разспрашивала, чтò говорятъ про волю въ Пензѣ? И въ это же время увѣряли, что съ весны будетъ запрещено на господъ пахать, а кто ослушается, того къ сохѣ прикуютъ, и онъ цѣлый годъ будетъ ее таскать за собой.

Помню, одинъ старикъ, на моемъ ночлегѣ, долго слушалъ радужныя надежды своихъ взрослыхъ сыновей; не вытерпѣлъ и съ сердцемъ сказалъ: „Пустыя слова! Чѣмъ вы лучше насъ, что вамъ волю дадутъ? Мы вѣкъ свой работали, а вамъ волю дадутъ! Вотъ всыплетъ вамъ бурмистръ батогомъ, такъ и будете знать волю!"

Наконецъ, добрался я и до своихъ родныхъ мѣстъ, до алатырскаго уѣзда. Вновь принялся за работу въ деревнѣ, за книги, за корреспонденцію и за посѣщеніе родныхъ и знакомыхъ. Разговоръ о волѣ облекался таинственностью; при дворовыхъ и крестьянахъ не говорили. Всѣ помѣщики знали, что въ Петербургѣ съ начала 1857 года открытъ „Особый Комитетъ" для выработки плана къ освобожденію крестьянъ. Знали и то, что въ этомъ комитетѣ дѣла ведутся въ совершенномъ секретѣ. Секретъ этотъ, будто бы, необходимъ для того, чтобы не было крестьянскаго бунта. Большинство помѣщиковъ смѣялось надъ этой причиной и не вѣрило въ бунты.

— Помилуйте,—говорили,—если крестьяне не бунтовали у

такихъ тирановъ и изверговъ, какъ господа Н*, М*, И* и т. п., то будутъ ли они бунтовать при ожиданіи воли?

Недовольство на секреты было не по одному любопытству, но также и по недовѣрію къ тѣмъ сановникамъ, которые никогда не жили въ деревняхъ, не знаютъ ни помѣщичьей, ни крестьянской жизни, и хотятъ ломать вѣковой строй на свой искусственный ладъ. Громко говорили и о томъ, что правительство могло бы издавать свой органъ, разсылать его предводителямъ дворянства и тѣмъ подготовлять общество, чтобы ломка была безъ потрясеній. „Вѣдь у насъ у всѣхъ семьи, долги, хозяйства; надо же намъ знать, къ чему намъ готовиться".

Такимъ и подобнымъ разговорамъ былъ положенъ конецъ извѣстнымъ рескриптомъ 1857 года генералъ-губернаторамъ и губернаторамъ, въ которомъ страшное слово „воля" замѣнено выраженіемъ: „улучшеніе быта крестьянъ". Въ чемъ состояло это улучшеніе—никто даже смутно себѣ не представлялъ; и одинъ изъ помѣщиковъ завелъ въ своей конторѣ дѣло подъ заглавіемъ: „Улучшеніе быта крестьянъ, или ухудшеніе быта помѣщиковъ".

Такъ какъ рескриптъ 1857 года рѣшалъ дѣло безповоротно и уничтожалъ всякія сомнѣнія въ близкой перемѣнѣ деревенскаго строя, то вмѣсто простой болтовни начался говоръ о практическомъ разрѣшеніи вопроса. Наиболѣе толковые помѣщики разсуждали о томъ, что хорошо бы и намъ, въ подражаніе виленскимъ, ковенскимъ и гродненскимъ помѣщикамъ, откликнуться на рескриптъ и высказать готовность къ улучшенію быта *нашихъ собственныхъ* крестьянъ. Подчеркнутымъ словомъ хотѣли пояснить о своемъ правѣ распоряжаться своею собственностью.

Начались споры о словахъ, объ умѣстности разныхъ намековъ, о безтактности отстаиванія рабовладѣльческаго принципа и, наконецъ, о своемъ безсиліи идти противъ времени и исторіи. Въ этихъ оживленныхъ разговорахъ и спорахъ первый разъ, кажется, начали проглядывать политическія розни во взглядахъ. Эти розни незамѣтно группировали въ уѣздахъ партіи не за Иванова и Петрова, а настоящія политическія партіи „крѣпостниковъ" и „либераловъ". Такъ началось серьезное дѣло во всѣхъ уѣздахъ, которые я знаю.

Затѣмъ пришло извѣстіе, что московское и нижегородское дворянскія собранія послали адресы въ Петербургъ, что они съ готовностью присоединяются къ желанію правительства улучшить бытъ крѣпостныхъ крестьянъ. Вслѣдъ за этимъ пришла отъ симбирскаго губернатора къ алатырскому предводителю дворянства, Н. А. Попову, бумага, съ предложеніемъ созвать уѣздное дворян-

ское собраніе, для составленія отвѣта на рескриптъ 1857 г. и для выбора двухъ членовъ и одного кандидата къ нимъ въ *Губернскій Комитетъ по улучшенію быта крѣпостныхъ крестьянъ.*

Предводитель разослалъ ко всѣмъ приглашенія; и въ назначенный день собралось въ Алатырѣ до сорока помѣщиковъ. Такъ какъ въ уѣздѣ болѣе или менѣе всѣ другъ друга знаютъ, то партіи крѣпостниковъ и либераловъ тотчасъ же обозначились безъ утайки. Крѣпостники значительно превышали числомъ голосовъ—либераловъ. На отвѣтномъ адресѣ имъ удалось вставить фразу: „улучшить бытъ *нашихъ собственныхъ* крестьянъ". Кромѣ этой фразы, партію крѣпостниковъ очень утѣшила записка, поданная отъ г-на П. въ сосѣднее, курмышское уѣздное дворянское собраніе. Эта записка читалась громко въ нашемъ собраніи и безпрестанно прерывалась хлопаньемъ въ ладоши при всякихъ громкихъ словахъ, гдѣ, напримѣръ, мужика сравнивали со звѣремъ лѣснымъ, а его понятіе о волѣ уподоблялось понятію о вольной птицѣ. До баллотировки, партія крѣпостниковъ торжественно провозглашала, что дворяне должны стоять за дворянскіе интересы и отнюдь не поступаться въ губернскомъ комитетѣ ни своими правами, ни тѣмъ паче своею собственностью. „И то и другое добыто кровію и заслугами нашихъ предковъ!"

Самовосхваленіе продолжалось нѣсколько часовъ кряду; но такой цинизмъ все болѣе и болѣе раздражалъ либеральную партію, и все тѣснѣе и тѣснѣе сплочивалъ ее къ энергичному отпору при выборахъ. Когда же приступили къ баллотировкѣ, то оказались выбранными: князь Николай Андреевичъ Оболенскій, Дмитрій Александровичъ Мещериновъ и Николай Александровичъ Крыловъ. Послѣдній попалъ въ число избранныхъ потому, что въ партіи крѣпостниковъ началась зависть и расколъ; либералы же хотя и въ меньшемъ числѣ, но дѣйствовали дружно.

Послѣ выборовъ явилось шампанское, общее поздравленіе и снова рѣчи о высокомъ значеніи дворянъ, ихъ доблестяхъ на всѣхъ поприщахъ и, наконецъ, ихъ самоотверженной и безкорыстной службѣ къ обузданію страстей дикихъ и лютыхъ звѣрей, т.-е. мужиковъ. Когда всласть себя расхвалили, то подписали протоколъ; двое первыхъ были объявлены членами, а третій—кандидатомъ къ нимъ.

Послѣ мы узнали, что почти то же самое происходило и въ сосѣднихъ уѣздахъ симбирской губерніи. Выборы кончились, разъѣхались по деревнямъ и ждали призыва въ губернскій комитетъ. Между тѣмъ, слухъ о выборахъ и о выбранныхъ членахъ разошелся среди крестьянъ въ искаженномъ и уродливомъ

видѣ. Крестьяне вообразили, что эти избранные члены тотчасъ же начнутъ отбирать отъ помѣщиковъ землю и распредѣлять ее между крестьянами. На другой же день, по пріѣздѣ моемъ въ деревню, начали являться сторонніе мужики съ вопросами, слѣдуетъ ли работать на помѣщиковъ, смѣютъ ли ихъ посылать въ подводы и т. п. Пришлось отсылать ихъ безъ всякаго отвѣта или совѣта, потому что если бы только дозволить себѣ какое-либо толкованіе или совѣтованіе, то слова непремѣнно были бы перевраны, перетолкованы, и въ слѣдующіе дни являлись бы не отдѣльныя личности, а сотни и тысячи крестьянъ. Осторожности этой держались и другіе члены комитета.

Пріѣзжали и сосѣди помѣщики; заводили рѣчь издалека и потомъ мало-по-малу переходили къ своимъ проектамъ и къ совѣтамъ, чтò надо говорить и кàкъ надо дѣйствовать въ губернскомъ комитетѣ. Съ этими совѣтниками пришлось отшучиваться и ограничиваться обычнымъ гостепріимствомъ и угощеніемъ.

Помню, одинъ пожилой господинъ, А. М. С., пріѣхалъ за тридцать верстъ съ письменнымъ проектомъ объ улучшеніи быта крестьянъ. Читалъ онъ его болѣе часа, и все сводилось къ тому, чтобы и послѣ воли непремѣнно снимали шапки передъ господами.

Пріѣзжалъ и старикъ П. М. М., который требовалъ, чтобы непремѣнно было заявлено въ комитетѣ и наипоспѣшнѣйшимъ образомъ отписано министру внутреннихъ дѣлъ, что въ Россіи нѣтъ подготовленныхъ слугъ ни для кухни, ни для стола, ни для сада, словомъ—ни для чего. Слѣдовательно, дворовыхъ людей нельзя отпускать раньше того, пока правительство не подготовитъ слугъ для помѣщиковъ взамѣнъ тѣхъ, которыхъ оно отбираетъ.

Въ сосѣднемъ уѣздѣ, у А. П. Н., былъ прекрасный и огромный конный заводъ. Конюхи у него были вышколены, какъ въ образцовомъ кавалерійскомъ полку, и онъ сказалъ: „Какъ только объявятъ волю, то ни одной лошади не оставлю!“ И дѣйствительно, заводъ свой онъ уничтожилъ, и только потому, что вольныхъ конюховъ нельзя ни сѣчь, ни бить.

— Помилуйте,—онъ говорилъ,—конюхъ мнѣ испортитъ лошадь, которую я выводилъ пять поколѣній; стòитъ она мнѣ двадцать лѣтъ моей собственной жизни, а я не смѣй мерзавца пальцемъ тронуть, когда вся цѣна ему грошъ? Нѣтъ, этому или не бывать, или заводу не существовать!

Очертить характеръ „крѣпостниковъ“ и „либераловъ“ я не берусь. Какъ въ той, такъ и въ другой партіи были умные и недалекіе, старые и молодые, серьезные и легкомысленные, словомъ

—и въ той, и въ другой была смѣсь. Нельзя раздѣлить эти партіи ни по образованію, ни по воспитанію, ни по характеру, ни по жизни. Какъ среди крѣпостниковъ были скупые и тароватые, такъ и между либералами было немало, у которыхъ были запасы денегъ и хлѣба, а у другихъ были долги, и имѣнія висѣли на волоскѣ. Разумѣется, были и такіе межеумки, которыхъ трудно было опредѣлить, къ какой партіи они принадлежали. Были и такіе увлекающіеся, которые сами не знали, что̀ изъ нихъ завтра будетъ, и они, смотря по минутному влеченію принадлежали то къ одной, то къ другой партіи. Самые непріятные были политиканы; они держали носъ по вѣтру, и нѣкоторые изъ нихъ были очень чутки, чтобы отгадывать, откуда вѣтеръ дуетъ.

Точно такъ же и въ управленіи своими имѣніями невозможно сказать, какая партія была болѣе тяжела для крестьянъ. Безалаберщина была въ тѣхъ и въ другихъ; иногда крѣпостникъ былъ гуманнѣе либерала, а частёхонько и либералъ билъ и поролъ своихъ крѣпостныхъ хуже всякаго крѣпостника. Въ большинствѣ случаевъ не было твердой выработки взглядовъ и характеровъ, какъ въ сужденіяхъ, такъ и въ дѣйствіяхъ.

Огромное воспитательное значеніе на всѣхъ читающихъ журналы имѣла печать. Послѣ рескрипта 1857 года генералъ-губернаторамъ, печати дозволено было обсуждать дѣло освобожденія крестьянъ, или „эмансипацію", какъ тогда говорили. Раздѣлилась печать на два рѣзкіе лагеря: на консервативную и либеральную. Кто стоялъ во главѣ той и другой—намъ въ провинціи было не видно; но ясно было замѣтно, что цензура направляетъ печать къ извѣстной цѣли, и играетъ общественнымъ мнѣніемъ какъ на клавишахъ; знала, гдѣ нажать и гдѣ отпустить. Говорили, что будто нѣкоторую свободу печати испросилъ у государя великій князь Константинъ Николаевичъ; и печать сослужила свою службу, облегчила эмансипацію.

Шатающіеся и неустойчивые умы и характеры сами себя опредѣлили, къ какому лагерю они принадлежатъ. Печать давала имъ тонъ, и они болѣе сознательно оріентировались въ новомъ дѣлѣ. Благодаря либеральной печати, уменьшилась крѣпостная тяжесть; стыдились отнимать у крестьянъ дни, стыдились хвалиться своей строгостью, которая нерѣдко переходила въ жестокость. Главная же заслуга печати—та, что она возбуждала мысль, какъ приступить къ дѣлу освобожденія, и что̀ именно было надобно для прочнаго существованія порядка, послѣ освобожденія крестьянъ на волю. Слова покойнаго императора Николая Павловича, что у него сто-тысячъ полицiймейстеровъ, комментировались на всѣ

лады. Ждали, что всѣ эти полиціймейстеры разомъ выйдутъ въ отставку, и являлся вопросъ, кѣмъ ихъ замѣнить, такъ, чтобы не было обременительно ни для казны, ни для крестьянъ. Либеральная печать и отчасти славянофилы разъяснили значеніе общины и общественной, неотчуждаемой земли. Статья за статьей читались въ толстыхъ журналахъ; затѣмъ обсуждали статьи, спорили о нихъ и уясняли себѣ вопросы далеко еще до того времени, какъ приходилось высказаться по нимъ въ протоколахъ комитета.

Хотя къ дѣлу обсужденія нуждъ крестьянства и было призвано отъ каждаго уѣзда по три человѣка въ губернскіе комитеты, т.-е. почти полторы тысячи со всей Россіи,—но чтобы направить эти полторы тысячи мыслей по одной правильной дорогѣ, не было другого средства, кромѣ печати. Всѣ члены комитетовъ были новички въ коллегіальныхъ учрежденіяхъ. Печать исподволь помогала имъ обдумывать будущую работу и, вмѣстѣ съ тѣмъ, давала дѣльныя темы для разговора съ сосѣдями и съ толковыми крестьянами. Всякій понялъ, что если о волѣ дозволено печатать, то нельзя же запрещать и говорить. Не менѣе того, однако, были попытки, со стороны усердныхъ охранителей, изъ простого разговора съ крестьянами сдѣлать подговоръ къ неповиновенію или даже къ бунту.

Гласное обсужденіе дѣла, въ печати и въ разговорахъ, показало всѣмъ прикосновеннымъ къ сельскому быту людямъ, до какой степени это дѣло трудное и мѣшкотное. Многіе полагали, особенно крестьяне и дворовые, что это дѣло—самое простое и легкое,—„отпустилъ на волю, и все тутъ!“ Но достаточно было поговорить съ толковымъ человѣкомъ нѣсколько минутъ, и показать ему на тысячи и милліоны жителей, какъ въ нихъ трудно однимъ махомъ устроить порядокъ,—и этотъ человѣкъ убѣждался, что торопиться тутъ нельзя. Толковый же человѣкъ, въ свою очередь, разъяснялъ на базарахъ сотнямъ людей, почему тутъ нельзя спѣшить, а надо имѣть терпѣніе. „Дѣло пошло на огласку,—уже теперь господа его не скроютъ“.

Терпѣніе народа проявилось въ одной очень характерной чертѣ, именно въ аграрныхъ преступленіяхъ: въ поджогахъ и въ убійствахъ помѣщиковъ. Объ этихъ преступленіяхъ въ жандармскомъ управленіи велся особый секретный реестръ. Съ 1850 года эти преступленія замѣтно увеличивались; но какъ только съ 1855 года заговорили о волѣ, они стали уменьшаться, и процентъ этого уменьшенія быстро возросталъ по мѣрѣ приближенія къ 19-му февраля 1861 года. Свѣдѣнія эти пора бы

опубликовать, какъ и все то, что̀ относится къ освобожденію крестьянъ изъ крѣпостной зависимости. Вѣдь теперь это уже достояніе исторіи, современниковъ событія почти не осталось въ живыхъ, а о потомствѣ самъ императоръ Александръ II-й милостиво позаботился, выразивъ свою волю въ незабвенныхъ словахъ: „Пора знать публикѣ, какъ мы потрудились надъ этимъ дѣломъ. Я желаю, чтобъ оно предстало потомству, какъ происходило, безъ прикрасъ“ [1]).

Оффиціальныя работы коммиссій и комитетовъ давно опубликованы; но кромѣ ихъ лежатъ подъ спудомъ дѣла, близко касающіяся дѣла освобожденія.

Избранные члены и кандидаты въ симбирскій губернскій комитетъ жили въ своихъ уѣздахъ, подготавливались къ предстоящей работѣ, но не имѣли ни общаго плана, ни программы тѣхъ обсужденій, которыя надо было имѣть въ виду. Въ 1858 г. полученъ былъ симбирскимъ губернаторомъ Извѣковымъ высочайшій рескриптъ о созваніи симбирскаго губернскаго комитета объ улучшеніи быта помѣщичьихъ крестьянъ, и всѣ наличные члены и кандидаты отправились въ Симбирскъ.

Я поѣхалъ съ членомъ Д. А. Мещериновымъ на почтовыхъ. Путь около двухсотъ верстъ мы дѣлали не торопясь. Насъ интересовало, какъ смотрятъ на дѣло освобожденія всѣ, съ кѣмъ по дорогѣ приходилось встрѣчаться на станціяхъ. Въ с. Княжухѣ, въ имѣніи Жилина, гдѣ намъ пришлось ночевать, пришли къ намъ нѣсколько крестьянъ съ разспросами не о волѣ, а объ ихъ собственномъ дѣлѣ. До нихъ дошелъ слухъ, что ихъ помѣщикъ, А. С. Жилинъ, даритъ ихъ со всей барской землей и со всѣми угодьями симбирскому дворянскому пансіону; такъ они пришли справиться,—правда ли это, и не помѣшаетъ ли это волѣ. Мещериновъ сказалъ имъ, что, дѣйствительно, и онъ слышалъ, что Жилинъ намѣренъ передать свое имѣніе въ дворянскій пансіонъ, но въ какомъ положеніи это̀ дѣло—ему неизвѣстно. Что же касается до будущей воли, то, вѣроятно, передача ихъ въ пансіонъ ничего въ ихъ судьбѣ не измѣнитъ, и они будутъ на тѣхъ же правахъ, какъ и въ селѣ Мальцевѣ бывшіе крестьяне Брехова, которые имъ подарены въ нижегородскій дѣвичій пансіонъ. Крестьяне поклонились и ушли.

Чрезъ нѣсколько минутъ, одинъ изъ среды этихъ крестьянъ вер-

---

[1]) „Освобожденіе крестьянъ“, Н. П. Семенова, т. I.

нулся на станцію, отозвалъ таинственно Мещеринова, и наединѣ по секрету сталъ что-то разспрашивать. Мещериновъ, всегда тихій и ласковый, поговорилъ съ этимъ крестьяниномъ и отпустилъ его.—„А кстати, говоритъ, какъ ты прозываешься?“—„Меня зовутъ Котовъ“,—отвѣтилъ мужикъ и ушелъ.

Мещериновъ мнѣ сообщилъ, что этотъ Котовъ уполномоченъ отъ міра с. Княжухи исхлопотать, чтобы Княжуху со всей барской землей передать въ дворянскій пансіонъ, что для этой цѣли міръ себя обложилъ по рублю съ тягла на расходы. Котовъ былъ уже у директора симбирской гимназіи, въ вѣдѣніи котораго состоялъ пансіонъ; былъ у крѣпостныхъ дѣлъ столоначальника гражданской палаты и сказалъ Мещеринову, что всѣ ему обѣщаютъ сдѣлать что̀ надо, и что очень рады даже помочь этому хорошему дѣлу, а между тѣмъ дѣла не дѣлаютъ. Поэтому Котовъ по секрету и спрашивалъ Мещеринова, кому надо дать и сколько дать, чтобы дѣло подвинуть. Мещериновъ спокойно и убѣжденно ему сказалъ: „Никому, ни копѣйки!“

Подъ Симбирскомъ на одной станціи мы съѣхались съ проѣзжими хлѣбными коммерсантами, которые ѣхали изъ самарскихъ степей. Они сочувствовали волѣ и очень зло подсмѣивались надъ помѣщиками, которые ни во что не считаютъ крестьянскія подводы. Гоняютъ мужиковъ съ барскимъ хлѣбомъ за 150 и за 200 верстъ, чтобы только 20—30 копѣекъ получить лишняго на четверть. „Вотъ это намъ будетъ невыгодно, когда волю дадутъ,—добавили они:—баринъ тогда въ извозъ мужика не посмѣетъ даромъ послать, а мужикъ дешево не поѣдетъ. Это уже значитъ—изъ нашего купеческаго кармана плати!“

Въ Симбирскъ мы прибыли наканунѣ открытія губернскаго комитета, и умышленно никому не дѣлали визитовъ, чтобы совершенно свободными отъ всякій вѣяній явиться въ первое засѣданіе.

II.

Въ предисловіи къ капитальному сочиненію: „Освобожденіе крестьянъ изъ крѣпостной зависимости“, Н. П. Семеновъ, описывая посѣщеніе государемъ императоромъ Александромъ Николаевичемъ вдовы Ростовцева въ 1866 г., сообщаетъ, какъ мы выше замѣтили, что государь выразился такъ:

„Пора знать публикѣ, какъ мы потрудились надъ этимъ дѣломъ. Я желаю, чтобы оно предстало потомству какъ происходило, безъ прикрасъ“.

О крупныхъ дѣятеляхъ реформы много было писано; но о тѣхъ звеньяхъ, которыя соединяли этихъ дѣятелей съ народомъ, мало было разсказано. Между тѣмъ крупные дѣятели имѣли дѣло съ бумагами, и оставили слѣдъ по себѣ; тѣ же мелкія сошки, которыя непосредственно соприкасались съ помѣщиками и народомъ, не публиковали своихъ замѣтокъ, и большею частью держали только въ памяти. Сошки эти исчезаютъ, мало ихъ остается, и надо торопиться представить, что было, „безъ прикрасъ".

Въ то время симбирская губернія была дворянская губернія [1]). Помѣщики еще не эмигрировали изъ своихъ имѣній; на зиму съѣзжались въ Симбирскъ, часто посѣщали столицы, и хотя имѣнія уже были заложены въ опекунскомъ совѣтѣ, но жили широко и открыто. Щедринъ симбирскую губернію назвалъ „губерніей отставныхъ корнетовъ". Раньше того ее называли „дамской губерніей", и съ дамами приходилось считаться даже при назначеніи губернаторовъ на службу въ губернію. Въ то время губернаторомъ былъ Извѣковъ. Изъ Петербурга всѣ секретныя распоряженія, касающіяся крестьянъ, шли черезъ губернатора, который строго соблюдалъ канцелярскій порядокъ неогласки дѣлъ. Лѣстница этой неогласки означалась на самыхъ бумагахъ: „Тайно", „строго-секретно", „секретно", „конфиденціально", „довѣрительно", „негласно"—и, наконецъ, безъ всякой отмѣтки. Послѣднія бумаги хотя и зналъ всякій писецъ въ канцеляріи, но въ публику проникали онѣ только въ изуродованномъ видѣ.

Говоръ о волѣ не умолкалъ; правды никто не зналъ; до-

---

[1]) Отъ дворянъ алатырскаго уѣзда симбирской губерніи были избраны въ симбирскій комитетъ по улучшенію быта крестьянъ: князь Никол. Андр. Оболенскій, Дм. Александр. Мещериновъ и кандидатомъ къ нимъ—пишущій эти строки, Никол. Александр. Крыловъ. Кн. Оболенскій былъ въ отлучкѣ и въ Симбирскъ къ назначенному сроку, 8-го декабря 1857 года, не пріѣзжалъ. Кромѣ этихъ лицъ, въ составъ комитета вошли: предсѣдателемъ—губерн. предв. дворянства Никол. Тимоѳ. Аксаковъ. Отъ симбирскаго уѣзда—Александръ Льв. Бычковъ, Дм. Никол. Шидловскій и кандидатомъ къ нимъ Северьянъ Никит. Лопатинъ. Отъ сингилеевскаго уѣзда—Александръ Николаевичъ Татариновъ, Александр. Ив. Ермоловъ и кандидатъ Андр. Вас. Фатьяновъ. Отъ сызранскаго уѣзда—гр. Вл. Петр. Орловъ-Давыдовъ, Дм. Никол. Ребровскій, кандидатъ Никол. Ден. Давыдовъ. Отъ корсунскаго—Никол. Петр. Ахматовъ, Кон. Никол. Татариновъ, кандидатъ Дм. Андр. Бестужевъ. Отъ ардатовскаго—Никол. Александр. Соловьевъ, графъ Александръ Александр. Толстой, кандидатъ Ив. Ем. Чарыковъ. Отъ курмышскаго уѣзда—Дм. Серг. Пазухинъ, Алекс. Ил. Пантусовъ и кандидатъ Пав. Ив. Аристовъ. Отъ буинскаго уѣзда—Петръ Ст. Есиповъ, Вас. Ег. Аргамаковъ, кандидатъ Мих. Мих. Герасимовъ. Кромѣ избранныхъ отъ дворянъ, было назначено два члена отъ правительства: Мих. Серг. Ланской и Вл. Андр. Хвощинскій.

вольствовались слухами, сплетнями и варіантами ихъ. Обвиняли губернатора, что онъ скрываетъ отъ дворянъ и дѣлаетъ тайну изъ того, что̀ уже давно всѣ знаютъ. Отъ пріѣзжихъ изъ Петербурга слышали, что съ начала 1857 года, подъ предсѣдательствомъ самого государя, организованъ „Особый Комитетъ“ изъ 13-ти лицъ. Въ числѣ этихъ лицъ были: великій князь Константинъ Николаевичъ, предсѣдатель государственнаго совѣта Алексѣй Ѳед. Орловъ, начальникъ III отдѣленія кн. Долгорукій, Як. Ив. Ростовцевъ, министры Муравьевъ и Ланской, графъ Викт. Никит. Панинъ и др.

Молва города Симбирска дѣлила членовъ Особаго Комитета на сочувствующихъ реформѣ и—противниковъ освобожденія. Къ первымъ она относила великаго князя, генерала Ростовцева и тѣхъ членовъ, которые не владѣютъ большими помѣстьями, т.-е. которымъ терять нечего. Ко вторымъ она относила графа Панина, владѣющаго 20.000 душъ крестьянъ, Мих. Никол. Муравьева, на твердость котораго надѣялась, какъ на каменную гору, князя Долгорукова и др., которыхъ, по понятію дамъ, должна поддерживать провинція, въ лицѣ комитетовъ по улучшенію быта крестьянъ, или „по ухудшенію быта дворянъ“, какъ кто-то пустилъ въ оборотъ эту фразу.

Когда собрались члены комитета въ Симбирскъ, то городъ оживился. Началось сондированіе мнѣній, кто̀ ка̀къ смотритъ на реформу. Мы съ Мещериновымъ пріѣхали изъ Алатыря наканунѣ открытія и явились прямо въ комитетъ, который собрался въ одной изъ залъ дома дворянскаго собранія.

Прибылъ губернаторъ Извѣковъ и прочелъ рескриптъ Особаго Комитета, отъ 20-го ноября 1857 года, къ генералъ-губернаторамъ и начальникамъ губерній, гдѣ давались такія основы: „Помѣщикамъ сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянамъ оставляется ихъ усадебная осѣдлость, которую они, въ теченіе опредѣленнаго времени, пріобрѣтаютъ въ собственность посредствомъ выкупа; сверхъ того, предоставляется въ пользованіе крестьянъ надлежащее по мѣстнымъ удобствамъ, для обезпеченія ихъ быта и для выполненія ихъ обязанностей передъ правительствомъ и помѣщиками, количество земли, за которую они или платятъ оброкъ, или отбываютъ работу помѣщикамъ“.

Члены комитета ждали, что губернаторъ сообщитъ и программу занятій, или вопросы,—но ни того, ни другого не было въ распоряженіи губернатора. И онъ ограничился только рѣчью, что намъ предстоитъ пережить благодатную эпоху, и что за-

дача наша состоитъ въ томъ, чтобы облегчить подвигъ монарха. При этомъ губернаторъ сказалъ, что ожиданія крестьянъ не знаютъ ни времени, ни трудности государственнаго переустройства; они ждутъ, что эта воля явится къ нимъ очень скоро. Поэтому онъ проситъ комитетъ не разглашать своихъ постановленій раньше времени, и обсудить возможность успокаивать крестьянъ въ ихъ неумѣренныхъ ожиданіяхъ. Пригласилъ всѣхъ членовъ къ себѣ на обѣдъ, распрощался и уѣхалъ.

Первое засѣданіе комитета безъ программы и безъ вопросовъ посвящено было знакомству со взглядами членовъ. Перекрестный разговоръ выяснилъ общую неподготовленность къ дѣлу. На рескриптъ смотрѣли какъ на пророчество, которое будетъ понято только послѣ его исполненія. Но такъ какъ другихъ данныхъ къ обсужденію пока не было, то стали его вновь читать и разбирать по словамъ. При фразѣ: „для выполненія обязанностей крестьянъ передъ правительствомъ, предоставляется имъ количество земли",—обнаружилось крупное разногласіе. Заговорилъ Дмитрій Николаевичъ Шидловскій.

— Какое намъ дѣло до обязанностей крестьянъ передъ правительствомъ? Если у насъ отбираютъ крестьянъ, то пусть правительство само объ этомъ и заботится!

Въ этомъ же его съ горячностью поддерживалъ Дмитрій Андреевичъ Бестужевъ, и они вдвоемъ на эту тему наговорили столько эгоистическихъ истинъ, что сразу было ясно, что это будутъ крайніе крѣпостники.

Черезъ нѣсколько минутъ тотъ же Шидловскій торжественно встаетъ, развертываетъ какой-то толстый журналъ и читаетъ изъ него нѣсколько выдержекъ, гдѣ осмѣивается крѣпостное право и выставляются злоупотребленія помѣщичьей власти. Кончивъ выдержки, Шидловскій обращается къ комитету и предлагаетъ войти съ представленіемъ къ правительству для обузданія печати.

Всталъ Кон. Никол. Татариновъ и началъ съ разстановкой отчеканивать каждое слово:

— Дмитрій Николаевичъ сдѣлалъ великое открытіе! Этотъ журналъ надо препроводить къ губернатору и указать, что вотъ гдѣ корень зла, вотъ причина торопливыхъ ожиданій крестьянъ!

Кто-то перебилъ Татаринова, и говоритъ:

— Вы шутите?

— Да, шучу; потому что заявленіе Дмитрія Николаевича иного отвѣта не заслуживаетъ. Вмѣсто того, чтобы радоваться тому, что наша литература доросла до пониманія всѣхъ безо-

бразій крѣпостного права, и правительство сознало силу печати и дало ей крошечную свободу говорить о вопіющемъ злѣ, намъ вдругъ предлагаютъ ходатайствовать о стѣсненіи печати!

Перекрестный разговоръ перешелъ на печать и ея вліяніе на общественное мнѣніе. Вспомнили, какъ вся грамотная Россія плакала надъ „Парашей-Сибирячкой", умилялась надъ „Бѣдной Лизой" и „Райской птичкой", вѣрила въ голубиную чистоту пастуховъ и пастушекъ, несмотря на то, что развратныхъ лакеевъ сама дѣлала пастухами и свинопасами. Потомъ пришло время, что, благодаря печати и печатнымъ учебникамъ, мы себя вообразили воинственной націей. Разводы, парады, „Громъ побѣды раздавайся!", реляціи побѣдъ на Кавказѣ, преподаваніе исторіи во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ и другія мѣры отуманивали настолько, что и неглупые люди считали, что Россія есть воинствующая нація. Въ это же время сами солдаты залихватски распѣвали:

„Пальцы рубитъ, зубы рветъ,
Въ службу царскую нейдетъ.
Ай, кàлина! ай, мàлина!
Ваньку въ рекруты берутъ,
Всѣ деревни заревутъ..."

Туманъ такъ былъ силенъ, что когда въ одной губерніи дворяне редактировали адресъ новому монарху—Александру II, и кто-то предложилъ воззвать: „Миролюбивѣйшій государь миролюбивѣйшаго изъ народовъ!"—то поднялся споръ о томъ,—миролюбивая ли мы нація. Словомъ, силу печати никто не отрицалъ, и большинство членовъ комитета сознавало, что цензура разыгрываетъ на печатномъ словѣ, какъ на клавишахъ. Меньшинство силилось доказать, что русская литература давно доросла до пониманія своего долга—идти во главѣ лучшихъ людей общества, но она до сихъ поръ была въ оковахъ. Теперь же заслуга печати именно въ томъ, что она сдерживаетъ крѣпостниковъ и заставляетъ ихъ стыдиться своего дикаго произвола.

Въ невинныхъ спорахъ о печати все болѣе и болѣе выяснялись взгляды членовъ, и съ первыхъ же дней безошибочно можно было дѣлить членовъ на крѣпостниковъ и эмансипаторовъ, которыхъ впослѣдствіи называли „либералами". Это былъ зародышъ политическихъ партій въ комитетѣ, а изъ него онъ перешелъ въ городъ и во всю губернію. Политическія страсти отуманиваютъ умъ не хуже религіозныхъ страстей. Прежде чѣмъ приступить къ дѣлу, комитетъ разбился на два лагеря—за реформу и противъ нея.

Болѣе другихъ былъ подготовленъ къ дѣлу Александръ Николаевичъ Татариновъ, племянникъ Вал. Алексѣевича Татаринова, который ввелъ единство кассы въ русскихъ финансахъ и готовился быть безстрашнымъ государственнымъ контролеромъ. Къ Александру Татаринову примкнули: его братъ Кон. Никол., Александръ Ив. Ермоловъ, вскорѣ послѣ того выбранный въ губернскіе предводители дворянства, и Дм. Никол. Ребровскій. Эта партія либераловъ до конца оставалась за безповоротную реформу.

Къ партіи консерваторовъ или крѣпостниковъ принадлежали всѣ остальные члены комитета. Но это не была установившаяся партія; одни придерживались ходячаго мнѣнія, что въ Петербургѣ все уже готово, и что провинціальныхъ комитетовъ слушать не будутъ, что̀ бы они ни представили. Другіе, наоборотъ, говорили, что эта эмансипація ничѣмъ не кончится, что въ Россіи много уже было попытокъ къ освобожденію крестьянъ, но когда приступали къ дѣлу, то убѣждались, что рано еще начинать эту ломку. Были и такіе, которые вѣрили въ неизбѣжность реформы, но хотѣли ее такъ смягчить, чтобы она совершенно была нечувствительна для помѣщиковъ.

Надо, однако, сказать, что тѣ члены, которые утверждали, что̀ никакой реформы не будетъ—имѣли много за себя основаній. Пріѣзжіе изъ Петербурга говорили, что изъ тринадцати членовъ Особаго Комитета большинство—противъ реформы; что ее горячо поддерживаютъ только великій князь Константинъ Николаевичъ, Я. И. Ростовцевъ и министръ внутреннихъ дѣлъ Ланской. Другіе же члены Особаго Комитета высказываются противъ реформы и даже опасаются за спокойствіе государства.

Невѣрующіе въ реформу опирались и на длинный рядъ прежнихъ попытокъ, начиная съ Петра I, Екатерины II и Николая I. Всѣ эти попытки приводили къ необходимости сохранить полную власть помѣщиковъ, о которыхъ императоръ Николай I говорилъ, что у него 100.000 полиціймейстеровъ. Но надо замѣтить, что въ то время всѣ правительственныя попытки къ освобожденію крестьянъ держались въ строгой тайнѣ, и пересказъ ихъ шелъ изъ рода въ родъ, въ самой искаженной формѣ. Истинное положеніе дѣлъ узналось уже далеко послѣ освобожденія 19-го февраля 1861 года, когда въ разныхъ органахъ печати стали появляться архивныя дѣла. Такъ, если прослѣдить рядъ опубликованныхъ попытокъ къ освобожденію крестьянъ и къ облегченію ихъ участи, то приходится начинать съ указа Петра I, съ января 1719 года. Въ немъ изображено:

„Понеже есть нѣкоторые непотребные люди, которые своимъ деревнямъ самые безпутные разорители суть, что ради пьянства или иного какого непостояннаго житья, вотчины свои не только не снабдѣваютъ, но разоряютъ, налагая на крестьянъ несносныя тягости и въ томъ ихъ бьютъ и мучатъ“... А потому, повелѣвалъ указъ, на такихъ людей доносить—и государь самъ съ ними расправится.

Много ли приходилось государю расправляться—исторія умалчиваетъ, но первая перепись народа при Петрѣ I еще болѣе закрѣпила крестьянъ за помѣщиками. Указъ о переписи повелѣвалъ писать въ сказки всѣхъ особливо и поименно, „кои своей пашни не имѣютъ, а пашутъ на помѣщиковъ своихъ“.

А ежели со стороны приказчиковъ и старостъ съ выборными людьми „явится какая въ душахъ утайка, и за тобъ учинить приказчикамъ и старостамъ съ выборными людьми всѣмъ смертную казнь безъ всякой пощады“. Трудно ожидать, чтобы послѣ такого распоряженія много народа оставалось незаписаннаго за помѣщиками.

Въ царствованіе Екатерины II, первыя десять лѣтъ еще были слабыя надежды на освобожденіе, а потомъ и всякая мысль объ этомъ пропала, когда началась раздача казенныхъ крестьянъ въ награду помѣщикамъ.

Слухъ о волѣ при императорѣ Павлѣ I кончился тѣмъ, что указомъ 1797 года запрещено было продавать крестьянъ безъ земли за долги. Такой указъ легко было обходить, и онъ оставался мертвой буквой. Такой же указъ, ограничивающій барщину тремя днями, совершенно не исполнялся, какъ потому, что не было опредѣлено наказаніе за неисполненіе, такъ и потому, что не было контроля.

Затѣмъ идетъ рядъ отдѣльныхъ указовъ къ облегченію участи крѣпостныхъ. Такъ, въ 1803 году отбирали поссесіонныхъ крестьянъ отъ фабрикъ, за то, что фабриканты не знали мѣры въ притѣсненіяхъ крестьянъ, приписанныхъ къ фабрикамъ.

Въ 1816 году запрещалось продавать отдѣльно отъ семьи дворовыхъ людей. Этотъ гуманный указъ поселялъ только слухъ о волѣ, но не имѣлъ никакого практическаго дѣйствія. Раздѣлъ семей вполнѣ зависѣлъ отъ помѣщиковъ; кромѣ того, дворовыхъ продавали въ рекруты, а дворовыхъ дѣвушекъ—въ замужество. Потомъ запрещалось выдавать противъ воли въ бракъ; но какая же изъ дѣвушекъ не понимала, что лучше быть за немилымъ, чѣмъ подвергаться гнѣву помѣщика, или, еще того хуже, помѣщицы, за ослушаніе.

Въ царствованіе Николая I были искреннія попытки къ освобожденію крестьянъ; такъ, напр., въ 1839 г. былъ для этой цѣли учрежденъ секретный комитетъ, который, однако, въ 1842 г. закрытъ.

Въ это же время, въ 1840 г., 15-го февраля, былъ учрежденъ Особый Комитетъ для изысканія мѣръ къ уменьшенію дворовыхъ людей. Комитетъ этотъ поселилъ такіе опасные толки и надежды, что его, 26-го марта 1840 г., пришлось закрыть до лучшихъ дней.

Въ 1846 г., 25-го февраля, онъ вновь былъ открытъ, вновь пошла молва, и онъ 22-го апрѣля того же года закрытъ.

Въ томъ же 1846 г., 1-го марта, вслѣдствіе записки министра внутреннихъ дѣлъ, былъ открытъ комитетъ объ уничтоженіи крѣпостного состоянія въ Россіи, но онъ просуществовалъ только четыре недѣли, и 30-го марта былъ закрытъ.

Въ 1848 г., 5 іюня, былъ учрежденъ секретный комитетъ для разсмотрѣнія вопроса о публичной продажѣ населенныхъ имѣній съ правомъ крестьянъ въ тридцать дней выкупаться, внося 150 руб. асс. за душу.

И, наконецъ, 20-го ноября 1857 года послѣдовалъ высочайшій рескриптъ, уже не секретный, а возвѣщенный на весь міръ. Но этотъ торжественный рескриптъ все-таки не убѣдилъ скептиковъ въ безповоротности начатаго дѣла. Они говорили, что такъ какъ этотъ рескриптъ относился спеціально къ виленскому военному губернатору и къ гродненскому и ковенскому генералъ-губернаторамъ, то ясно, что только этими губерніями и ограничатся, подобно тому, какъ, сорокъ лѣтъ назадъ, воля ограничивалась только остзейскими губерніями Что же касается до полной готовности, съ которой примкнули къ рескрипту другія всѣ губерніи, то на эту торопливость правительство не разсчитывало, да у него и средствъ нѣтъ, чтобы тотчасъ замѣнить всѣхъ „100.000 полиціймейстеровъ“.

Въ симбирскомъ комитетѣ были и такіе члены, которые сознавали все зло крѣпостного права, но не вѣрили, чтобы правительство съумѣло охранить дворянъ отъ полнаго разоренія. Помню, какъ говорилъ, во время антракта одного засѣданія, Ал. Ил. Пантусовъ; онъ доказывалъ, что помѣщики не обѣднѣютъ сразу, все-таки будутъ хорохориться: „то балъ задастъ, то крышу поправитъ, то отъѣзжее поле устроитъ; но это все на десять, пятнадцать лѣтъ, а потомъ всѣ будутъ сходить на-нѣтъ“. Впослѣдствіи Пантусовъ перешелъ на сторону либераловъ и твердо стоялъ на томъ, чтобы воля была дана не на

словахъ, а на дѣлѣ. Онъ принадлежалъ къ тѣмъ безкорыстнымъ помѣщикамъ, которые сознательно шли на жертвы. Послѣ 19-го февраля 1861 года, онъ былъ мировымъ посредникомъ перваго призыва и свои принципы проводилъ въ жизнь.

Совершенную противоположность составлялъ кандидатъ отъ корсунскаго уѣзда Дмитрій Андреевичъ Бестужевъ. Богатырь съ виду, съ огромнымъ сиплымъ голосомъ и съ характеромъ идти напроломъ за свои права, онъ не отличался ни логикой, ни тактомъ. На весь обширный домъ дворянскаго собранія раздавались его характерныя фразы: „Убить меня можно, но убѣдить никогда!“ Про крестьянъ и другія сословія онъ выражался: „Гусь свиньѣ не товарищъ!“ Корсунское дворянство его выбирало своимъ предводителемъ шесть трехлѣтій сряду. Страстно онъ любилъ ордена; но за ордена не продавалъ правъ дворянъ, „а отстаивалъ эти права грудью, и за это моя грудь увѣшана“,— какъ онъ говорилъ. Отстаиваніе же этихъ правъ было отнюдь не передъ высшими, а только передъ низшими, которыхъ надо „драть, лупить и бить“. Помѣщикъ онъ былъ хлѣбосольный, и нерѣдко говорилъ, что у него корсунскіе дворяне уже три стола съѣли, на которыхъ повара рубили котлеты. Впослѣдствіи, когда понадобились другіе люди на должность предводителей,—ему на выборахъ наклали черняковъ. Онъ подошелъ къ баллотировальному ящику и во все горло провозгласилъ: „Да, Бестужевъ обѣднѣлъ! уже не можетъ кормить дворянъ обѣдами!“—повернулся и вышелъ изъ собранія.

Въ комитетѣ по улучшенію быта крестьянъ онъ мало говорилъ за столомъ, во время засѣданій; но зато въ антрактахъ, когда выходили покурить, его крѣпостническая рѣчь гудѣла безъ застѣнчивости. При вопросѣ о правахъ крестьянъ, о справедливости, гуманности и т. п., онъ обыкновенно кричалъ: „Я измѣнникомъ никогда не былъ и не буду!“ Законы онъ признавалъ только тѣ, которые выгодны для дворянъ, а остальные—„есть насиліе, и ихъ надо попирать!“ Спокойнаго, тихаго разсужденія отъ него никто не слышалъ; да онъ его и избѣгалъ, чтобы не быть припертымъ къ стѣнѣ. Его арена были: клубъ, буфетъ, дворянское собраніе, которое парламентаризмомъ не отличалось, и антракты засѣданій.

Вообще же, антракты были интереснѣе, чѣмъ оффиціальный столъ засѣданій. Первые дни въ антрактахъ сондировали другъ друга, а когда уже всѣ развернулись и не скрывали своихъ мыслей, то было чего послушать. Если все дворянство было ниже реформы, и только незначительное меньшинство доросло

до нея, то понятно, что и выбранные отъ дворянъ немногимъ были выше своей среды. О государственной идеѣ говору въ обществѣ не поднималось,—это были только кабинетныя бесѣды нѣкоторыхъ. Въ антрактахъ передавались слухи и сплетни, которые приходили изъ Петербурга, и ихъ обсуждали всегда сплеча, не заботясь о вѣрности ихъ. Члены комитета отъ общаго настроенія отличались только тѣмъ, что общее настроеніе было—пассивное сопротивленіе; а большинство членовъ изъявляло готовность исполнить волю царя, но такъ, чтобы потомъ обходить ее.

За столомъ засѣданій о сути дѣла почти не говорили, потому что не было выслано изъ Петербурга программъ для разработки и отвѣтовъ. Программы разосланы были въ губернскіе комитеты только въ маѣ 1858 года; по нимъ уже потомъ составлялись „Губернскія Положенія". Въ настоящее же время вопросъ былъ поставленъ о подготовительныхъ работахъ, для которыхъ нужны были статистическія данныя. Этихъ же данныхъ не было ни у предводителя, ни у губернатора; въ казенной палатѣ были только свѣдѣнія о душахъ для податей и рекрутскихъ наборовъ; поэтому губернскій комитетъ на первое время занимался сводкою данныхъ. Для полноты и вѣрности цифръ комитетъ постановилъ разъѣхаться по своимъ уѣздамъ и, по выработанной формѣ, просить всѣхъ помѣщиковъ дать свѣдѣнія объ угодьяхъ, надѣлѣ, работѣ, оброкахъ, повинностяхъ и проч. При этомъ было постановлено, чтобы свѣдѣнія эти члены провѣрили въ каждой деревнѣ, у каждаго помѣщика лично. Вслѣдствіе этого постановленія комитетъ разъѣхался для работы на мѣстахъ.

Въ старые годы, Симбирскъ зимой былъ переполненъ дворянами. Театръ, любительскіе спектакли, собранія, балы, вечера и гостепріимство сказочное; жизнь была дешевая. Въ три недѣли занятій въ комитетѣ можно было познакомиться со всѣмъ городомъ. Живы были тогда старики 1812 года, были прежніе франкъ-масоны, члены общества „Арзамасъ" и доживали свой вѣкъ декабристы, которымъ удалось дождаться воли и порадоваться на остаткѣ своихъ дней. Членовъ комитета принимали радушно; новый вопросъ занималъ даже дамъ. Со стороны ихъ нетерпимости мнѣній не было; но шпильки, остроты и насмѣшки такъ и сыпались. Симбирскъ былъ „дамскій городъ", и самобытности мнѣній у дамъ было больше, чѣмъ у мужчинъ. Мужчины все ждали, что̀ скажетъ Москва, чтобы потомъ повторять ее

слова; а дамы объ этомъ не заботились,—ихъ творчество не уступало Москвѣ. Да Москва и не была въ фаворѣ у нихъ; онѣ глядѣли на Петербургъ, Парижъ и Флоренцію, гдѣ прожигали свои денежки, выработанныя крестьянами. Вопросъ о волѣ ихъ занималъ именно съ этой точки зрѣнія. Онѣ разсуждали очень гуманно, искренно желали, чтобы бытъ крестьянъ улучшился, но чтобы изъ своихъ доходовъ копѣйки не потерять.

Сидя въ своихъ будуарахъ, онѣ слѣдили за раздѣленіемъ мнѣній и за партіями въ губернскомъ комитетѣ. Сердились на либераловъ, и требовали, чтобы всѣ отстаивали свои права. Про тѣхъ, кто не отстаивалъ своихъ эгоистическихъ воззрѣній и правъ, симбирскія дамы говорили, что они выбраны въ комитетъ для того, чтобы играть въ „поддавки“ съ правительствомъ. Кто первый пустилъ это острое выраженіе,—неизвѣстно, но оно было въ большомъ ходу. Потомъ это выраженіе было забыто и вновь воскресло съ „диктатурой сердца“, въ 1881 году, при Лорисъ-Меликовѣ. Но тогда крѣпостники говорили, что „правительство играетъ въ поддавки съ народомъ“.

Если теперь, черезъ сорокъ лѣтъ послѣ освобожденія, не исчезъ еще чадъ крѣпостничества, то можно представить, что̀ было въ 1858 году. Пестрота мнѣній и варіантовъ ихъ была особенно велика и потому еще, что кромѣ рескрипта не было никакихъ основаній для ожиданій и сужденій. Живые и мыслящіе люди были рѣдки, а масса злобствовала только потому, что не знала ничего кромѣ сплетенъ. Въ Петербургѣ все подготавливалось секретно, что̀ давало обильную пищу воображенію и предположеніямъ. Навѣрняка знали только, что великій князь Константинъ Николаевичъ стоитъ за волю всей своей силой. Это обстоятельство бодрило либераловъ, и вѣра въ реформу росла; каждый изъ нихъ чувствовалъ, что за спиной его стоитъ человѣкъ государственнаго ума, самый близкій къ государю; иначе бой былъ бы неравенъ. Знали тоже, что начальникъ III-го Отдѣленія, князь Василій Андреевичъ Долгорукій, не сочувствуетъ реформѣ, а этого было вполнѣ достаточно, чтобы не рисковать своей шкурой. Длинный періодъ предшествующихъ лѣтъ и событій пріучилъ держать языкъ за зубами. Говорить въ засѣданіяхъ тогда еще не было привычки, и поэтому душу отводить можно было только въ тѣсныхъ кружкахъ.

Даже люди совершенно непричастные къ реформѣ должны были политиканствовать. Такъ, симбирскій архіерей Θеодотій, зная, что московскій митрополитъ Филаретъ не сочувствуетъ реформѣ, всегда держалъ языкъ за зубами даже со своими прія-

телями. Онъ выразилъ неподдѣльную радость только тогда, когда воля была безповоротно рѣшена, и когда печатные журналы Редакціонной Коммиссіи стали разсылаться по всей Россіи и сдѣлались общимъ достояніемъ. Ѳеодотій былъ сообщительный и отзывчивый человѣкъ. Передъ крымской войной, когда изъ отставныхъ поручиковъ Симбирска вновь поступали на службу, онъ благословлялъ и говорилъ: „Возьмите намъ Цареградъ отъ турокъ, а мы водрузимъ тамъ крестъ на Софійскомъ соборѣ". Когда же, послѣ неудачной войны, онъ вновь встрѣтилъ одного либеральнаго поручика, то, улыбаясь, спросилъ: „Вы и съ турками въ поддавки играли?"

Старики-помѣщики, у которыхъ многіе изъ родныхъ и знакомыхъ покончили жизнь въ Сибири за волю крестьянъ и за другія несвоевременныя желанія, не были оптимистами въ ожиданіи реформы. Вспоминаю умнѣйшаго старика въ Симбирскѣ, Александра Мих. Языкова, брата поэта Николая Михайловича и брата геолога Петра Михайловича, женатаго на Ивашевой: онъ говорилъ, что не слѣдовало царю обращаться къ чести дворянъ и предоставлять имъ улучшать бытъ своихъ крестьянъ. Дворяне теперь не тѣ, что были тридцать-три года назадъ, да и власть теперь не та, чѣмъ была. Прежде дворяне были либеральнѣе правительства, а въ настоящій моментъ правительство либеральнѣе дворянъ. Поэтому и надо было бы самому правительству сдѣлать, что̀ оно находитъ нужнымъ, и предписать—исполнить.

Въ Симбирскѣ есть памятникъ Никол. Мих. Карамзину. Я его осмотрѣлъ, пришелъ къ А. М. Языкову, у котораго были тогда гости, и по своей болтливости началъ критиковать проектъ памятника. Съ какой стати, говорю, на высокомъ пьедесталѣ поставили большую богиню Кліо, а маленькій бюстъ Карамзина спрятали въ нишу пьедестала? Говорю, что барельефы на пьедесталѣ тоже смѣшны: съ одной стороны, голый Карамзинъ стоитъ со свиткомъ, а съ другой стороны этотъ же голый Карамзинъ сидитъ на кровати, а къ нему изъ рога изобилія сыплются червонцы.—Неужели, спрашиваю, не было у Карамзина другихъ побужденій, какъ только получать деньги? Да и самая надпись странна; почему написали: „Исторіографу Россійска*го Го*сударства"? Вѣдь Карамзинъ избѣгалъ некрасивыхъ созвучій „го-го", и озаглавилъ свою Исторію—„Государства Россійскаго". Слѣдовало бы также не писать подъ бюстомъ: „Н. М. Карамзинъ", а надо бы выписать цѣликомъ, какъ на визитныхъ карточкахъ: „Николай Михайловичъ Карамзинъ". Кто это, спрашиваю, сочинялъ проектъ памятника?

Съ полнымъ спокойствіемъ Языковъ слушалъ и далъ мнѣ вполнѣ высказаться, а потомъ, даже безъ язвительной улыбки, хладнокровно отвѣтилъ:—Проектъ памятника составляла цѣлая коммиссія; въ ней были—я, потомъ князь Баратаевъ; вѣдь ты былъ, князь?

— Да, былъ,—отвѣтилъ князь красный и сконфуженный.

— А предсѣдателемъ коммиссіи,—какъ бы заминаясь и посматривая на гостей, продолжалъ Языковъ,—былъ вашъ отецъ, Александръ Алексѣевичъ Крыловъ.

Гости закусили губы, чтобы не разсмѣяться надо мною, молодымъ поручикомъ. Князь Баратаевъ хотѣлъ-было замять разговоръ, но Языковъ ему не далъ и съ такимъ же спокойствіемъ продолжалъ:

— Былъ вѣкъ такой; классицизмъ все заѣдалъ. Ну, а вы, Николай Александровичъ, какъ бы проектировали?—спросилъ онъ меня.—Интересно знать, какъ вкусы подвинулись за эти тридцать лѣтъ?

Я отвѣтилъ, что я точно также собралъ бы коммиссію, но въ предсѣдатели не пошелъ бы, чтобы потомъ было—за кого прятаться. Всѣ засмѣялись,—и это меня вывело изъ неловкаго положенія.

Перешелъ разговоръ на крестьянскую реформу. Кто-то сказалъ, что великая княгиня Елена Павловна, съ дозволенія государя, получаетъ всѣ протоколы Особаго Комитета и нетерпѣливо ждетъ окончанія подготовительныхъ работъ. Ее очень интересуетъ, какъ откликнутся губернскіе комитеты и что̀ скажетъ дворянская честь, къ которой такъ довѣрчиво государь обратился.

Богатый помѣщикъ Юрловъ, противникъ реформы, замѣтилъ, что обращеніе это чрезвычайно политично. Правительство никогда бы не рѣшилось само отнять у дворянъ столько, сколько дворяне теперь дадутъ добровольно, чтобы не ударить лицомъ въ грязь.

— Но не о матеріальныхъ убыткахъ приходится намъ говорить, а о томъ, что намъ придется выѣхать изъ деревень. Нельзя забывать, что на наши обширные уѣзды дано для нашей охраны только по одному исправнику, да по два пьяныхъ становыхъ.— Вонъ, Наумовъ число псарей и егерей уже увеличилъ: „я, говоритъ, готовлю себѣ гвардію для защиты“. То же дѣлаетъ и Мачеваріановъ: „теперь, говоритъ, мнѣ не псовую породу улучшать, а семью охранять. Въ ардатовскомъ уѣздѣ увѣрены, что правительство не справится съ вольницей, и будетъ то, что̀ было въ Галиціи!—закончилъ Юрловъ.

Пессимизмъ старика, однако, никто изъ гостей не поддер-

жалъ. Напротивъ, нашли, что онъ слишкомъ сгустилъ краски. Лучше другихъ заступился за народъ Дмитрій Петровичъ Ознобишинъ, поэтъ и старый арзамасецъ. Онъ сказалъ, что былъ недавно въ Петербургѣ, видѣлся съ княземъ Василіемъ Андреевичемъ Долгорукимъ, который ему сказалъ, что въ прежнее время во всей Россіи бывало въ годъ по пятидесяти убійствъ и покушеній крестьянъ на помѣщиковъ. Послѣдніе же два года, когда всѣ крестьяне ждутъ волю, было только по два убійства въ годъ. Долгорукому же нельзя не знать вѣрныхъ цифръ, потому что эти секретныя дѣла сосредоточиваются у него въ III-мъ Отдѣленіи.

Начался общій разговоръ, и кто-то указалъ на средство, которое придумалъ Николай Денисовичъ Давыдовъ, сынъ поэта и партизана Дениса Давыдова. Онъ предлагалъ полюбовно раздѣлаться съ крестьянами и дать имъ то, чтò они теперь имѣютъ; и кромѣ того, полюбовно сговориться съ ними насчетъ барщины. Тогда можно будетъ не только спокойно, но даже пріятельски жить съ крестьянами въ своихъ деревняхъ.

Надо замѣтить, что Н. Д. Давыдовъ за свои либеральные взгляды не попалъ въ члены губернскаго комитета, и по баллотировкѣ назначенъ только въ кандидаты отъ сызранскаго уѣзда. Этотъ безупречный человѣкъ всегда былъ общественнымъ дѣятелемъ, ни передъ кѣмъ не скрывалъ своихъ убѣжденій; въ дворянскихъ собраніяхъ онъ былъ выдающимся ораторомъ, съ весьма разностороннимъ образованіемъ и съ опредѣленными, установившимися взглядами на вещи,—чѣмъ тогда не могли многіе похвалиться. Здравыя мысли были только у нѣкоторыхъ; а гражданскія доблести—Бѣлинскій правильно опредѣлилъ:—„друзья своихъ интересовъ и враги общаго блага". Н. Д. Давыдовъ женатъ былъ на Топорниной, приволжской аристократкѣ. Красавица собой и храбрая проповѣдница среди молодежи въ Симбирскѣ, она говорила, что такъ какъ представителей отъ крестьянъ нѣтъ въ губернскомъ комитетѣ, то дворяне вдвойнѣ обязаны ограждать интересы крестьянъ. „Мы должны сознать свой долгъ передъ ними; они насъ выростили, дали средства для нашего образованія, и теперь работаютъ, чтобы мы могли пользоваться всѣми благами жизни; а сами они рѣшительно ничѣмъ не пользуются". Завистницы надъ ней подсмѣивались, говорили, что она повторяетъ слова Юрія Ѳед. Самарина, ея сосѣда по имѣнію. Но это не хула; его слова и мысли не грѣхъ было повторять и министрамъ!

Три недѣли въ Симбирскѣ и ежедневныя сношенія съ самой

разнохарактерной публикой показали, какъ измѣнилось настроеніе всѣхъ и каждаго послѣ войны 1854—55 годовъ. Провожали насъ на войну съ увѣренностью, что мы „гнилой Западъ“ въ море столкнемъ, въ Константинополѣ столицу россійской имперіи учредимъ. Послѣ войны тѣ же лица пѣли другую пѣсню: бранили нашу неподготовленность, отсталость отъ Запада и общіе свои непорядки. Со стороны же либераловъ слышны были голоса и о томъ, что въ крымскую войну мы потеряли именно потому, что мы были крѣпостными. Этотъ ядъ вносилъ развратъ всюду, начиная съ воспитанія нашихъ дѣтей и нашего народа. Дѣти выросли на крѣпостномъ трудѣ, не цѣнили никакой чужой трудъ, а для себя всякій трудъ считали униженіемъ. Это убѣжденіе они вносили во всѣ сферы жизни и въ воспитаніе войскъ. Войска управлялись фельдфебелями и унтеръ-офицерами. Полковые командиры смотрѣли на свои полки какъ на доходныя имѣнія; баталіонные командиры сибаритничали; ротные—заботились только о казовомъ концѣ на парадахъ, а молодежь знала лишь карты, вино и танцы. Хозяйство вели каптенармусы и фуражиры; вся отчетность была въ рукахъ старшихъ писарей, а кормёжка солдатъ—въ рукахъ артельщиковъ. Боевой подготовки войскъ совершенно не было,—все вертѣлось на ружейныхъ пріемахъ и на маршировкѣ. Въ рекруты поступали мужики кроткіе по природѣ и забитые по воспитанію. Двадцати-пятилѣтняя служба, съ унтеръ-офицерскими понятіями о дисциплинѣ, воспитывала солдатъ съ полнымъ отсутствіемъ сопротивленія и всякой иниціативы. Офицеры были изъ дворянъ. Ихъ девизъ былъ: „слабыхъ гни, а передъ сильнымъ гнись“.

Послѣ венгерской войны 1848 года, европейскіе народы смотрѣли на Россію какъ на гасительницу свѣта и свободы. Эти народы сознавали опасность отъ воинственныхъ замашекъ Россіи и готовились къ войнѣ съ нею не на плацъ-парадахъ, а на стрѣльбѣ, на усовершенствованіи оружія и на научной подготовкѣ офицеровъ и инструкторовъ. Понятно, что кто просвѣщеннѣе, тотъ дальновиднѣе, развитѣе, и, значитъ, разумнѣе и способнѣе брать верхъ во всякой борьбѣ, гдѣ кромѣ животной силы нужны еще интеллигентныя качества человѣка.

Всѣ эти мысли высказаны были, разумѣется, не однимъ лицомъ, а настроеніемъ всего общества. Эти длинныя разсужденія черезъ десять лѣтъ были формулированы всего въ три слова. Именно послѣ Садовой явилась фраза: „школьный учитель побѣдилъ“. Передъ нашей же войной 1854—55 годовъ школьный учитель былъ рѣдкостью, а въ университетахъ комплектъ студен-

товъ допускался не болѣе 300 человѣкъ въ каждомъ. Всего же университетовъ было только пять, на 65 милл. жителей Россіи.

Здѣсь кстати привести мнѣніе, которое мнѣ удалось тогда слышать отъ нашего губернскаго предводителя дворянства, Александра Ивановича Ермолова. При разговорѣ о войнѣ, которую тогда еще не забывали, и о нашемъ стремленіи къ Константинополю, чтобы сдѣлать его столицей, Ермоловъ замѣтилъ, что это будетъ опасно.

— Босфоръ, да, слѣдуетъ намъ занять и владѣть имъ; но переносить подъ южное солнце столицу, со всѣми ея учрежденіями для управленія государствомъ—опасно. Во-первыхъ, далеко, а главное же потому, что нашу слабую, распущенную и лѣнивую натуру палящій жаръ превратитъ въ такую дряблость, что мы не въ силахъ будемъ развиваться, а заснемъ и будемъ разваливаться.

Замѣчательно совпаденіе: эту же мысль, послѣ войны съ Турціей въ 1878 году, когда мы отошли отъ воротъ Константинополя, высказалъ одинъ англійскій журналъ. Разница только въ томъ, что журналъ пожалѣлъ, что мы не взяли столицу Турціи. Подъ южнымъ солнцемъ,—пишетъ журналъ,—Россія быстро бы изнѣжилась, одряхлѣла и начала бы распадаться, какъ Турція.

Когда формы для сбора свѣдѣній отъ помѣщиковъ были готовы и отпечатаны, то губернскій комитетъ на время закрылся, а члены его разъѣхались по своимъ уѣздамъ. Въ свой алатырскій уѣздъ мы поѣхали вмѣстѣ съ Мещериновымъ. На почтовыхъ станціяхъ прибѣгали на насъ смотрѣть, какъ на медвѣдей, и были смѣльчаки, которые спрашивали, скоро ли выйдетъ воля. Во время пути не было ни одного ямщика, который бы не повернулся къ намъ на козлахъ, не разспрашивалъ насъ о волѣ и не приносилъ намъ жалобы на обиды въ землѣ, въ лугахъ или въ усадьбѣ. Нѣкоторыя жалобы выдавали ямщика, что онъ не отъ себя спрашиваетъ, а по наущенію міра.

Большую надо было имѣть осторожность въ этихъ разговорахъ, чтобы не поселить въ толкахъ крестьянъ самыхъ сумбурныхъ ожиданій. Если помѣщики смотрѣли на эмансипацію дикими глазами, то легко представить, что̀ было въ головахъ крестьянъ.

По прибытіи въ Алатырь, мы были предметомъ любопытства всего города; разспросамъ не было конца. На наше же увѣреніе, что мы рѣшительно ничего не знаемъ, намъ прямо говорили,

что мы не должны секретничать съ тѣми людьми, которые насъ выбрали своими уполномоченными. Нѣкоторые помѣщики сердились на тайну, и готовы были смотрѣть на насъ какъ на измѣнниковъ. Но скоро все это разсѣялось; мы раздавали листки для вписанія въ нихъ свѣдѣній объ имѣніяхъ, и началась новая работа.

Большинство помѣщиковъ до такой степени были непривычны къ письменной работѣ, что, несмотря на простоту и ясность формъ, все-таки прибѣгали къ помощи писарей или чиновниковъ для заполненія графъ. Замѣчательно, что даже кончившіе университетскій курсъ не рѣшались сами писать бумагъ ни въ судъ, ни въ полицію. Выбранные изъ помѣщиковъ въ уѣздные судьи оказывались настолько всегда невѣжественны въ своихъ должностяхъ, что вполнѣ подчинялись секретарю, стряпчему и писцу у крѣпостного стола. Судьи слабаго характера сквозь пальцы смотрѣли на взятки своихъ подчиненныхъ; а мало-мальски плутоватые судьи сами брали и этимъ вносили въ дѣло суда такой развратъ, что даже составлялась особая система взятокъ, и въ дѣлежѣ участвовали и предсѣдатели уголовныхъ и гражданскихъ палатъ.

Когда начались новыя вѣянія, разговоръ о волѣ, обличительныя статьи въ печати, начиная съ „Губернскихъ Очерковъ" Щедрина, то помѣщики, какъ будто, опомнились. На выборахъ начался говоръ о томъ, чтобы выбирать въ уѣздные судьи и въ предсѣдатели палатъ людей надежныхъ, знающихъ и честныхъ.— Но семейныя связи, взаимныя услуги, обѣды и интриги взяли свое, и говоръ сдѣлалъ только то, что брать взятки начали болѣе хитро и скрытно.

Въ тѣ времена, о которыхъ здѣсь пишется, полицейскія должности замѣщались тоже по выборамъ. Самая доходная должность была—исправника. Чтобы быть выбраннымъ, онъ долженъ былъ угождать всѣмъ и каждому, кто имѣетъ шаръ. Судебныхъ слѣдователей тогда не было, и все слѣдственное производство по дѣламъ уголовнымъ вѣдала полиція. Отъ нея зависѣло начать дѣло, направить его въ ту или другую сторону, скрыть концы или раздуть изъ мухи слона,—и все это было доведено до виртуозности. Кромѣ этихъ спеціальныхъ уголовныхъ отношеній исправника къ помѣщикамъ, на полиціи лежала обязанность смотрѣть за состояніемъ дорогъ, мостовъ, перевозовъ и т. д. И хотя состояло въ каждомъ уѣздѣ особое о земскихъ повинностяхъ присутствіе, которое вѣдало всѣ натуральныя повинности въ уѣздѣ, но оно было только номинально. Предсѣдатель при-

сутствія, уѣздный предводитель дворянства, разсматривалъ раскладку повинностей только для того, чтобы на имѣнія его и его родныхъ легли самыя легкія повинности. Затѣмъ отъ письмоводителя предводителя зависѣла вся раскладка, и это былъ его главный доходъ. Что же касается до дохода отъ дворянскихъ опекъ надъ малолѣтними, умалишенными и по охранѣ имущества послѣ умершихъ, то это былъ доходъ лично уѣзднаго предводителя. Если мало ихъ попадало подъ судъ за растрату и злоупотребленія, то этому они были обязаны: канцелярской тайнѣ, принципу поддержки дворянскаго достоинства и кумовству съ прежнимъ номинальнымъ контролемъ.

При разговорѣ о волѣ былъ говоръ и о слухахъ изъ Петербурга, что эмансипація крестьянъ есть начало многихъ реформъ въ государствѣ. Какъ бы въ подтвержденіе этихъ слуховъ, тогда же были оффиціально получены предводителями дворянства запросы о медицинѣ въ уѣздѣ, объ опекѣ, о повинностяхъ и о проч. Эти реформы были какъ въ туманѣ, но, въ связи съ гласностью печати, всѣ служащіе предчувствовали что-то недоброе. А такъ какъ къ нимъ очень многіе обращались для заполненія бланокъ объ имѣніяхъ, гдѣ, кромѣ разграфленныхъ клѣтокъ для цифръ, были еще и бѣлыя страницы для общихъ соображеній, то эти соображенія иногда отличались отчаяннымъ курьёзомъ. По нимъ можно было догадаться, что составители этихъ соображеній имѣли въ виду запугать правительство бунтами, пожарами, разбоями, грабежами и др. страхами. Словомъ, писаки алатырскаго уѣзда желали избавить Россію отъ государственной реформы—и оставить все по старому.

Тѣ же бланки, которыя заполнялись самими помѣщиками, были очень разнообразны. Одни относились къ вопросамъ на бланкахъ вполнѣ серьезно и дѣловито, а другіе съ явнымъ шутовствомъ и озорствомъ; нѣкоторые, впрочемъ, не лишены остроумія.

Такъ, напр., отст. поручикъ Н. Н. Несвѣтаевъ писалъ: „Владѣю движимымъ — Герасимомъ; и онъ же каждый праздникъ и каждый базаръ превращается въ недвижимое имущество. Болѣе ничего не имѣю, и очень буду радъ, если высшее правительство возьметъ его себѣ“.—Слѣдуетъ подпись.

Еще,—отст. колл. рег. Вл. Гавр. Свіяжениновъ противъ графы о пашняхъ, лугахъ, садахъ и лѣсахъ пишетъ: „Все было, — все сплыло! А какія въ саду были яблоки, повѣрите ли, въ голову, и наливъ такой, что зернышки пересчитать можно. Теперь имѣю маленькій домикъ и передъ нимъ палисад-

ничекъ. Но какая въ палисадникѣ смородина!!! (пять строчекъ восклицательныхъ знаковъ) и потомъ подпись.

Были и такія свѣдѣнія: „Есть прудъ; въ немъ 777 карасей, 313 лягушекъ и 917 пискарей“.

Кто-то написалъ: „Есть пчельникъ, въ немъ считается 2.573.428 пчелъ“.

Еще свѣдѣніе,—на бланкѣ написано: „Чиновъ на мнѣ было допропасти, но, по несправедливости начальства, всѣ поснимали, за то, что я былъ недоволенъ своимъ полковымъ командиромъ и намылилъ ему шею“.

А вотъ бланка Загуляева. „Скотины имѣю 12 штукъ: 3 свиньи, 1 тёща, 2 коровы и 6 овецъ“.

Надо однако замѣтить, что я былъ счастливѣе другихъ членовъ комитета на озорниковъ. Въ моемъ участкѣ было село Сара, въ которомъ до 60 мелкопомѣстныхъ, и село Стемасъ, въ которомъ—того больше.

Въ алатырскомъ уѣздѣ были и очень крупныя имѣнія,—такъ, село Порѣцкое съ деревнями, пустошами, лѣсами и селами, въ окружной межѣ до 50.000 десятинъ, Прасковьи Ивановны Мятлевой, вдовы поэта Мятлева, дочери фельдмаршала Салтыкова. Потомъ село Промзино-Городище, помѣщицы Татьяны Борисовны Потемкиной. Въ Промзинѣ была тогда богатая хлѣбная пристань на р. Сурѣ. По наслѣдству это имѣніе перешло теперь къ гр. Рибопьеру. Порѣцкое же, послѣ смерти Прасковьи Ивановны, ея наслѣдниками продано въ удѣлъ за полтора милліона рублей, и теперь приноситъ болѣе 10% въ годъ. Свѣдѣнія объ этихъ имѣніяхъ дали конторы имѣній, гдѣ были управляющими: въ Порѣцкомъ Ст. Як. Ползиковъ, изъ дворовыхъ, а въ Промзинѣ управлялъ Амондъ Самойловичъ Ренкуль, побочный сынъ герцога Лукнера (Lucner, читая наоборотъ, будетъ Rencul). Герцогъ, во время французской революціи, эмигрировалъ въ Россію, гдѣ жилъ; но записанъ былъ саксонскимъ подданнымъ.—Ам. Сам. Ренкуль былъ хорошо образованъ, дѣльно управлялъ имѣніемъ и женатъ былъ на княжнѣ Оболенской.

Что же касается до Ст. Як. Ползикова, то это былъ русскій самородокъ. Въ 1830 году, во время холеры въ симбирской и нижегородской губерніяхъ, Ползиковъ былъ писцомъ у моего отца, Александра Ал. Крылова. Во время эпидеміи мой отецъ былъ сдѣланъ окружнымъ коммиссаромъ, и въ его округъ входило село Болдино, въ которомъ жилъ тогда Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ. Отецъ вмѣстѣ съ Ползиковымъ нѣсколько разъ бывалъ въ Болдинѣ у Пушкина и, кромѣ того, часто видѣлся съ нимъ въ

с. Апраксинѣ, у Новосильцевыхъ, и въ с. Черновскомъ, у Топорниной, которая приходилась теткой моему отцу. Ползиковъ отличался хорошей памятью и разсказывалъ эпизодъ бѣгства Пушкина изъ Болдина съ бо̀льшими подробностями, чѣмъ это описалъ самъ Пушкинъ.

По словамъ Ползикова, холера надвигалась къ Болдину съ востока, отъ Волги, но еще не доходила до Болдина и его окрестностей. Карантины были разставлены по московской дорогѣ и по р. Пьянѣ. Отъ нижегородскаго губернатора было объявлено, что какъ только холера дойдетъ до р. Пьяны, то карантины усилить и никого не пропускать за Пьяну.—Усердіе же карантинныхъ мужиковъ стало притѣснять проѣзжающихъ еще до появленія холеры. И вотъ въ это-то время Пушкинъ, боясь попасть въ карантинъ, поторопился уѣхать въ Москву, и очень понятно, что мужики воспользовались тароватостью Пушкина, взяли съ него цѣлковый за переправу, но Ползиковъ объ этомъ цѣлковомъ не разсказывалъ.

Въ свѣдѣніяхъ, которыя Ползиковъ далъ объ имѣніи Пр. Ив. Мятлевой, были драгоцѣнныя данныя о винокуренномъ производствѣ на заводѣ Мятлевой, гдѣ въ иные годы выкуривалось до 300.000 ведеръ полугару, въ 50°. По заводскимъ книгамъ, при крѣпостномъ трудѣ, ведро полугара обходилось въ началѣ 1850-хъ годовъ по 45 коп. сер. Вино сплавлялось по Сурѣ прямо въ бочкахъ, безъ всякихъ судовъ и барокъ. Бочки съ виномъ связывались въ плоты и плыли вплоть до Василя-Сурскаго на Волгѣ, гдѣ ихъ грузили на суда и доставляли въ Рыбинскъ, для отправки въ Петербургъ.

Много бланокъ у помѣщиковъ и особенно у помѣщицъ оставалось незаполненными. При повѣркахъ на мѣстахъ, эти добродушные люди таинственно спрашивали, какъ выгоднѣе показывать, увеличивая или уменьшая существующее на дѣлѣ. Имъ такъ же таинственно приходилось внушать, что самое выгодное—писать—не увеличивая и не уменьшая, а только одну правду.

Сгруппированныя по уѣздамъ свѣдѣнія были доставлены въ губернскій комитетъ, гдѣ и послужили къ тому, чтобы составить „губернское положеніе“ для отправки въ Петербургъ, въ Главный Комитетъ. Но еще раньше этой отправки, отъ губернскаго комитета было поручено члену Дмитрію Александровичу Мещеринову написать общую записку по симбирской губерніи о состояніи экономическаго положенія крѣпостныхъ крестьянъ въ губерніи. Мещериновъ трудился два мѣсяца и описалъ такое Эльдорадо, что даже и крѣпостники покраснѣли отъ стыда,—столько было

тамъ лжи и похвальбы помѣщичьей власти.—Записку забаллотировали и не рѣшились послать въ Главный Комитетъ.

Промахъ Мещеринова, хорошаго борзописца, одни объясняли тѣмъ, что онъ прошелъ казанскій университетъ при Магницкомъ; а другіе заподозривали его въ лести передъ графомъ Орловымъ-Давыдовымъ, у котораго въ сызранскомъ уѣздѣ 30.000 душъ крестьянъ и 180.000 десятинъ барской земли. Я хорошо зналъ Мещеринова и видѣлъ двѣ причины: было тутъ и вліяніе лицемѣрія Магницкаго, и плоды тридцатилѣтней службы того времени въ чиновникахъ, гдѣ все было основано на казовомъ концѣ.

Во время большого пожара въ Симбирскѣ, въ 1863 году, сгорѣло три четверти города, всѣ присутственныя мѣста, всѣ архивы и всѣ свѣдѣнія, по которымъ выработывалось „губернское положеніе“ симбирской губерніи. А при пожарѣ Апраксина двора и министерства внутреннихъ дѣлъ, въ 1862 году, сгорѣли и тѣ свѣдѣнія, которыя были посланы въ Петербургъ. Уцѣлѣло очень немногое, такъ что возобновить въ памяти потомства можно только словоохотливостью стариковъ, видѣвшихъ корень и начало великихъ реформъ, какъ по освобожденію крестьянъ, такъ и по развитію всей жизни, построенной на этомъ освобожденіи.

Огромное различіе въ развитіи этой жизни—у насъ и въ Германіи. Оптимисты ждали, что свободный народъ Россіи, тотчасъ по освобожденіи, будетъ разработывать богатства втунѣ лежащія. Но быстрый ростъ промышленности и торговли, а также накопленіе капиталовъ въ Россіи—начались и идутъ только черезъ четверть вѣка послѣ этого освобожденія. Да и то мы обязаны этому иностраннымъ капиталамъ и самимъ иностранцамъ; свободный же народъ мало подвинулся въ нравственномъ и матеріальномъ отношеніи. Инерція ли тутъ виновата, или то, что недостаточно было только отмѣнить крѣпостной трудъ, — надо было и развивать этотъ трудъ, давать ему ходъ и средства,— а этого сдѣлано не было. Надо полагать, что обѣ причины содѣйствовали къ тому, что казна и государство разбогатѣли, а народъ остался бѣденъ и невѣжественъ.

Въ Германіи быстрый ростъ промышленности начался тоже черезъ четверть вѣка послѣ войны и объединенія. Но тамъ, рядомъ съ казной и государствомъ въ цѣломъ его видѣ, богатѣлъ и развивался народъ въ собственномъ смыслѣ этого слова. Причинъ разбирать тутъ не мѣсто, а поэтому возвратимся къ нашему предмету.

Для повѣрки свѣдѣній на мѣстахъ надо было побывать въ каждомъ имѣніи и переговорить съ каждымъ владѣльцемъ или его

управляющимъ, если самого владѣльца не было. Въ общемъ, по уѣзду встрѣчались обширныя хоромы, чуть не дворцы—у помѣщиковъ, и полуразвалившіяся избы—у крестьянъ. Возлѣ помѣщичьяго дома—строеніе, изъ трубы котораго валитъ дымъ съ утра до вечера; это не фабрика или заводъ, а кухня. Къ дому примыкаетъ садъ, иногда густой и обширный; въ нёмъ нерѣдко оранжерея съ персиками, сливами и абрикосами, а кругомъ—грядки съ ананасной клубникой. Крестьянскія избы крыты соломой, кругомъ ихъ ни кустика; какъ будто тутъ осѣли переселенцы, которые намѣрены уйти на другое мѣсто. У помѣщика—просторныя псарни, конюшни, птичники и скотные дворы; у крестьянъ все это подъ одной крышей съ избой, а скотина лѣто и зиму—на дворѣ. У помѣщика для скота въ большіе морозы топятся скотныя избы и устроены мшанники. Крестьяне же въ морозные дни и ночи коровъ и ягныхъ овецъ впускаютъ въ свои тѣсныя избы и спятъ всѣ вмѣстѣ,—теплѣе, какъ говорятъ бабы. Коровы, овцы и дѣти до семи лѣтъ, а иногда и пьяные мужики, всѣ свои надобности отправляютъ тутъ же, гдѣ спятъ и обѣдаютъ.

Одному французу-путешественнику пришлось провести ночь въ крестьянской избѣ, и онъ въ своемъ описаніи восхищался неприхотливостью русской породы коровъ, которыя могутъ жить даже въ одной избѣ съ русскимъ мужикомъ.

Въ домѣ помѣщика—мебель, фарфоръ, зеркала, ковры и нерѣдко шкафъ съ повѣстями и романами, рояль и масса дѣтскихъ игрушекъ. Въ избѣ крестьянина—столъ, лавка, деревянныя чашки и ложки; а по стѣнамъ развѣшаны хомуты, кнуты, полушубки, лыки, веревки, только въ переднемъ углу—кіотъ съ образами. Теперь въ избахъ завелись самовары и чайники, но я описываю деревянный вѣкъ Руси, и говорю только объ алатырскомъ уѣздѣ.

Но, среди этой безотрадной бѣдности, глазъ отдыхалъ на крестьянскихъ гумнахъ. Почти въ каждомъ селѣ на задахъ стояли немолоченныя клади, копны и одонья хлѣба. Стояли онѣ такъ густо, что съ одного конца села до другого конца можно было пройти по кладямъ хлѣба. У помѣщиковъ гумны тоже были полны хлѣба и соломы, но не было ни сѣялокъ, ни вѣялокъ, ни молотилокъ. Всѣ работы крестьяне отправляли своимъ инвентаремъ: сохой, цѣпомъ, лопатой и метлой. Рѣдкое исключеніе составляли только богатые помѣщики, у которыхъ были молотилки и вѣялки отъ Бутенопа изъ Москвы.

Заводовъ, фабрикъ и промышленныхъ заведеній у помѣщиковъ не было. Но зато были свои крѣпостные столяры, куз-

нецы, шорники, обойщики, портные, сапожники, псари, садовники и повара. Комплектовались эти мастеровые изъ многочисленной дворни, дѣтей которой отправляли въ ученье въ Москву и въ Петербургъ, и отдавали по контрактамъ на пять и на шесть лѣтъ безплатно. Поваровъ учили въ столичныхъ клубахъ за деньги. Такъ, у помѣщика Мачеваріанова его знаменитый поваръ Амплей учился въ московскомъ англійскомъ клубѣ за плату по сту рублей асс. въ мѣсяцъ. Своихъ дѣтей помѣщики учили даромъ въ корпусахъ и гимназіяхъ; университеты мало кому были доступны. До поступленія въ заведеніе, для дѣтей нанимали французенокъ и нѣмокъ, съ которыми дѣти свободно болтали на ихъ языкахъ; а потомъ эти языки въ казенныхъ заведеніяхъ совершенно забывались.

У крестьянъ были вѣтрянки, крупорушки, толчеи, маслобойки, поташные заводы, овчинныя, кожевенныя и другія заведенія кустарнаго промысла. Кромѣ того, крестьяне торговали и занимались скупкой шерсти, щетины, холстовъ, кошекъ, зайцевъ, бѣлокъ, меду, воску, льна, пеньки и другихъ крестьянскихъ снадобій. Изъ отхожихъ промысловъ крестьяне алатырскаго уѣзда ходили въ бурлаки на Суру и на Волгу и на жнитво въ самарскія степи. Зимой крестьяне отправлялись въ извозъ, въ Москву, на Уралъ и на зимнія ярмарки. Чтобы барская работа не пропадала за тягловыми мужиками, — въ отхожіе промыслы уходили только изъ большесемейныхъ домовъ. Благоразумные помѣщики поощряли извозъ, торговлю и скупку товара, но обыкновенно удерживали отъ бурлачества, которое оплачивалось такъ дешево, что выгоды крестьянамъ не приносило.

Скотоводство у крестьянъ зависѣло отъ удобства и обилія пастбищъ. Если помѣщикъ дозволялъ пасти по своимъ угодьямъ, то крестьяне заводили лишнюю скотину. Если же у помѣщика своего скота было много, и крестьянское стадо гуляло только на крестьянскихъ поляхъ, то міръ не дозволялъ богатымъ мужикамъ держать много скота. Впрочемъ, скотскіе падежи были такъ часты, что обширное скотоводство не развивалось даже и на удобныхъ пастбищахъ.

Отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ въ общемъ не были звѣрскія. Большинство работало по трехдневной барщинѣ и только въ молотьбѣ гречи, гороха или при уборкѣ сѣна—отнимался у крестьянъ четвертый день. Но были и выдающіеся тираны, которые отнимали всѣ дни, пока шла уборка барскихъ полей. Крестьянамъ давали только праздники, оправдывая свое тиран-

ство тѣмъ, что крестьяне свои поля убираютъ дѣвками, подростками и стариками.

Преступная „барщина“ была только въ двухъ имѣніяхъ алатырскаго уѣзда: у отставного лейбъ-гусара Г. Я. К. и у выгнаннаго со службы чиновника Д. В. С. Первый отдѣлывался отъ Сибири (за малолѣтокъ) деньгами, а второй въ 1857 году былъ подъ семнадцатью уголовными слѣдствіями, и все ему сходило съ рукъ, благодаря порядку прежнихъ закрытыхъ судовъ.

Продажей крестьянъ въ рекруты занимались три помѣщика. У нихъ все было обставлено на законномъ основаніи, и помогали имъ въ этомъ чиновники, разумѣется, за взятки. Во время войны съ 1853 по 1856 годъ было три рекрутскихъ набора, и въ общемъ взято по 23 рекрута съ 1.000, такъ что годные въ солдаты мужики сильно вздорожали. Рекрутскія квитанціи во время войны продавались отъ 1.500 до 2.000 руб. асс.

Продажа дѣвокъ въ замужство была закономъ дозволена. Средняя цѣна взрослой дѣвки была 120 руб. асс., или 35 р. с. Что же касается прежней торговли дѣвками, которыхъ помѣщики возили на Макарьевскую ярмарку, и брали за красивыхъ по тысячѣ рублей и больше, то, съ переводомъ ярмарки изъ Макарья въ Нижній (въ 1819 г.), эта торговля давно прекратилась.

Кандалы, розги, палки и расправа кулаками практиковались повсемѣстно, и считалось, что безъ этого нельзя. Не употребляли этого варварства только нѣкоторые въ уѣздѣ. При этомъ надо замѣтить, что до 1855 года драчуны даже не скрывали своего нрава, били людей при своихъ женахъ и дочеряхъ. Скрывать свой обычай стали лишь тогда, когда появилась гласность печати.

Отношеніе крестьянъ къ помѣщикамъ было настолько разнохарактерно и неуловимо въ короткихъ словахъ, что ему посвящалась цѣлая литература. Свѣдѣнія о такъ-называемыхъ аграрныхъ преступленіяхъ понимались такъ, что убилъ или поджогъ кто-нибудь одинъ, и настолько тайно, что и его друзья не знали, но весь міръ сочувствовалъ, а иногда и сосѣди-помѣщики говорили: „Такъ ему и надо!“ Крупныя аграрныя преступленія вообще были очень рѣдки, но я ни одного не знаю, гдѣ бы потерпѣлъ помѣщикъ гуманный и справедливый. Крестьяне доводились до крупныхъ преступленій только послѣ долгаго ряда самыхъ вопіющихъ злоупотребленій помѣщика и полной его безнаказанности со стороны власть имѣющихъ надъ помѣщикомъ. Жалобы крестьянъ губернатору, предводителю и жандармскому штабъ-офицеру обыкновенно оставлялись безъ послѣдствій, а жа-

лобщиковъ отдавали тому же помѣщику, который и мстилъ имъ всю жизнь. Если же жалоба была заслуживающею вниманія, то слѣдствіе производилось самымъ секретнымъ образомъ, и крестьяне о немъ не знали, а значитъ—и удовлетворены не были. Подъ уголовный судъ за крестьянъ помѣщики подпадали въ чрезвычайно рѣдкихъ случаяхъ, и то только тогда, когда преступленіе совершено явно, или помѣщикъ былъ въ ссорѣ съ предводителемъ. Что же касается до статьи закона, повелѣвающей за злоупотребленіе помѣщичьей властью брать имѣнія въ опеку, то эта статья почти не практиковалась.

Крестьяне вообще были почтительны къ своимъ господамъ, даже пьянствующимъ и безобразнымъ. Отправленіе же барскихъ работъ было вродѣ отдыха для крестьянъ: пахали мельче и борозды были рѣже, чѣмъ на своей землѣ; бороны впрягали на болѣе короткихъ постромкахъ; жали и косили выше, чѣмъ у себя, снопы вязали крупнѣе; причемъ если крестьянинъ у себя сжиналъ 400 кв. саженъ въ день, то на барской работѣ такого же хлѣба онъ сжиналъ не болѣе 300 кв. саженъ, а у снисходительнаго помѣщика—не болѣе 200 кв. саж. При всякихъ другихъ работахъ онъ давалъ помѣщику не болѣе 50% силъ своихъ и своей лошади. Крестьяне говорили: „барскую работу не переработаешь".

При откровенныхъ разговорахъ крестьяне въ своихъ сѣтованіяхъ на судьбу вообще были добродушны и многое извиняли господамъ. Но въ это же время самые добродушные крестьяне говорили: „барскаго добра жалѣть нечего", и дѣйствительно не жалѣли, а если чѣмъ возможно было безнаказанно попользоваться, то не считали это ни за стыдъ, ни за грѣхъ.

Повѣрка собранныхъ въ уѣздѣ свѣдѣній пришлась подъ осень. Длинные вечера и гостепріимство помѣщиковъ давали возможность знакомиться съ ихъ взглядами и ожиданіями. Громадное большинство было противъ эмансипаціи. Отвлеченныя мысли о собственности, справедливости, занимали только дамъ. Мужчины право собственности признавали только по чувству эгоизма; юридическихъ же понятій о какомъ бы то ни было правѣ они не признавали. Родились и выросли они сами въ крѣпостной средѣ; пространный катехизисъ Филарета поддерживалъ рабство; купля и продажа крестьянскихъ душъ продолжалась попрежнему; добровольно отказываться отъ собственности не всякій могъ. Государственный вопросъ былъ недоступенъ,—онъ слишкомъ отвлеченъ отъ обыденной практической жизни; къ тому же никто никогда раньше этого не говорилъ о немъ, и онъ на провинцію какъ съ неба упалъ.

Въ деревняхъ много читали, но выписывали журналы и газеты безъ всякаго соображенія съ ихъ направленіемъ. Политическихъ партій совершенно не было, и различать идеи журналовъ не приходилось. Искали занимательныя завязки и развязки въ повѣстяхъ и романахъ; между строкъ читать не умѣли, а идейные вопросы часто оставляли неразрѣзанными.

Когда цензура употребила вліяніе газетъ и журналовъ на развитіе понятій объ эмансипаціи, а гасители мысли стали сдерживаться и стыдиться своихъ проповѣдей, то устыдились и крѣпостники въ провинціяхъ. Но сразу они не переродились, а сдѣлались осторожнѣе и больше заботились о томъ, чтобы соръ изъ избы не выносить. Сантиментальныя статьи со словами: „мужичокъ“, „кормилецъ“ и др. смѣшили практиковъ, но все-таки запуганная провинція держала носъ по вѣтру, сознавала, что придется отпустить крестьянъ на волю,—и съ этимъ начали мириться. На бѣду въ это время пріѣхалъ въ Алатырь министръ Мих. Никол. Муравьевъ, гроза удѣла и государственныхъ имуществъ; онъ помыкалъ даже генералами, а чиновниковъ въ грошъ не ставилъ. Вотъ онъ нагналъ страхъ на всѣхъ, выказывалъ силу царскую, и по секрету сказалъ нашему уѣздному предводителю дворянства, Никол. Алдр. Попову, что здѣсь воли не будетъ, что она ограничится только виленской, гродненской и ковенской губерніями, а что въ наши губерніи пришлютъ полки на зимнія квартиры. Но, прибавилъ онъ, эти толки о волѣ не полезны,—они должны смягчить произволъ помѣщичьей власти. Понятно, предводитель Поповъ понялъ, что этотъ секретъ онъ долженъ по секрету сообщить всѣмъ дворянамъ,—и сообщилъ,—чѣмъ поставилъ членовъ комитета съ ихъ повѣркой въ странное положеніе, а консерваторовъ—поднялъ. Повѣрка, однако, не прекратилась, а споры наши съ помѣщиками расширились; партія либераловъ сдѣлалась сдержаннѣе и замѣтно убыла въ числѣ.

Вскорѣ послѣ этого пришлось мнѣ бесѣдовать съ Петр. Мих. Мачеваріановымъ, который учился въ школѣ колонновожатыхъ, зналъ Муравьева и вѣровалъ въ каждое его слово. Когда я вошелъ къ Мачеваріанову, онъ побѣдоносно спросилъ:

— Ну что̀, Н. А., провалилось ваше дѣло?

— Нѣтъ, не провалилось, а идетъ попрежнему.

— Какъ, все-таки намѣрены нарушать наши законныя права собственности? Вѣдь это революція!

— Нѣтъ,—отвѣтилъ я,—это только реформа правъ; законны права лишь до тѣхъ поръ, пока ихъ законъ не отмѣнитъ. Абсолютнаго права собственности на крестьянъ никогда не было.

Вмѣшался въ разговоръ Ѳед. Ив. Топорнинъ, бывшій пріятель Бакунина, искренній радикалъ, самый честный, безобидный и мирный.

— Какая это воля, которую даютъ? Это чепуха, а не воля; волю надо брать! тогда это будетъ воля; а которую даютъ, ту можно и назадъ взять.

— Наши права незыблемы...—началъ-было Мачеваріановъ, но Топорнинъ перебилъ его и сталъ горячо доказывать, что незыблемость правъ—только у дикарей, которые, кромѣ обычая, никакихъ законовъ не имѣютъ. Тѣ же народы, которые управляются законами, должны развиваться въ своей жизни, а законы должны измѣняться рядомъ съ этимъ развитіемъ. Если же народъ такъ невѣжественъ и забитъ, что неспособенъ самъ идти впередъ и развиваться, то законъ долженъ самъ двигаться впередъ и тащить за собой народъ. Застой и неподвижность можно еще допустить въ отдѣльныхъ личностяхъ; они имѣютъ право быть и дряхлыми, могутъ и умирать, чтобы давать жить молодому поколѣнію, но молодое поколѣніе не должно быть дряхлымъ, оно должно идти впередъ, лишь бы достигнуть освобожденія крестьянъ.

Топорнинъ въ то время былъ съ большой просѣдью и лысиной, но вполнѣ сохранилъ молодецкій видъ и молодой характеръ. Молодость же его прошла бурно и отважно. Когда ему было двадцать-пять лѣтъ, онъ ѣздилъ въ Сибирь, къ декабристу Вас. Петр. Ивашеву, чтобы объявить ему о внезапной смерти его отца, Петра Никифоровича Ивашева, и о томъ, что на семейномъ совѣтѣ рѣшили передать ему законную часть наслѣдства. А такъ какъ Вас. Петр. Ивашевъ былъ лишенъ всѣхъ правъ и не могъ наслѣдовать имѣніями отца, то надо было условиться съ Василіемъ Петровичемъ о томъ, какъ лучше устроить дѣло, чтобы передать ему его часть деньгами, около 800.000 руб. асс. Сёстры же его, Ермолова, Языкова и княгиня Хованская, на все согласны, что̀ захочетъ Василій Петровичъ. Подвигъ Топорнина былъ рискованный, потому что было сдѣлано такое общее распоряженіе, что если мать, сестра, жена или кто бы то ни было, посѣтятъ декабристовъ въ Сибири, то должны тамъ и сами остаться навѣки.

Лѣтомъ 1838 года, Ивашева изъ Петровскаго каторжнаго острога перевели въ Туринскъ, тобольской губерніи, всего 2.000 верстъ отъ Симбирска; и это облегчило свиданіе съ нимъ. Рѣшили ѣхать втроемъ: Ѳедоръ Ивановичъ Топорнинъ, Григорій Михайловичъ Толстой и сестра Ивашева, Елизавета Петровна Языкова. Соорудили удобный возокъ и съ видами казанскихъ

купцовъ, подъ полнымъ секретомъ, отправились въ Туринскъ. Елизавета Петровна остригла волосы, одѣлась мальчикомъ, и въ первыхъ числахъ декабря 1838 года, съ разными приключеніями, они доѣхали до Туринска, устроили дѣло и благополучно вернулись домой. Секретъ этотъ крѣпко держался до 19 февраля 1855 года.

Такая же удалая штука продѣлана была Топорнинымъ въ Дрезденѣ, гдѣ онъ вмѣстѣ съ своимъ пріятелемъ Бакунинымъ, въ 1848 году, провозгласилъ уличную революцію. Они попались, были арестованы, но по заступничеству сильныхъ міра были высланы не въ Россію, а во Францію.

Пылкость и независимость Топорнина имѣла большое вліяніе особенно на молодежь. Его откровенныхъ взглядовъ, безкорыстія и передовыхъ идей, конечно, не любили крѣпостники, но у него не было личныхъ враговъ. Съ Мачеваріановымъ ихъ соединяла охота, гастрономія, одинаковость образованія и широкая жизнь.

Ко времени освобожденія крестьянъ, у Топорнина уже все было прожито, и онъ жилъ у матери, на ея средства. Возвращаясь въ 70-хъ годахъ изъ-за границы, Топорнинъ заѣхалъ въ Скерневицы къ фельдмаршалу Барятинскому, съ которымъ онъ вмѣстѣ учился, служилъ и вмѣстѣ проводилъ бурную молодость. Князь Барятинскій ему предложилъ зачислиться на службу, или устроиться какъ-нибудь лучше. Топорнинъ очень серьезно попросилъ у него одной услуги,—„которую кромѣ тебя никто не можетъ оказать мнѣ въ Россіи“.

— Съ удовольствіемъ! Что̀ такое? — обрадовался князь и даже вскочилъ съ мѣста.

— Вели отпустить со мной въ дорогу бутылку столѣтней водки, которую мы съ тобой пили за завтракомъ.

Случай этотъ сдѣлался извѣстенъ въ Алатырѣ черезъ графа Левашева, свидѣтеля этой сцены.

Другая горячая голова, которая говорила, что волю надо брать, былъ Вас. Андр. Головинскій. Въ 40-хъ годахъ онъ воспитывался въ училищѣ правовѣдѣнія; отличался умомъ и способностями, былъ любимецъ принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго и директора Пошмана. По окончаніи курса въ 1846 г., онъ поступилъ на службу въ Петербургѣ, сблизился съ партіей Петрашевскаго, и по суду былъ приговоренъ къ смертной казни, которая была замѣнена каторгой, куда онъ и былъ сосланъ. Послѣ коронаціи императора Александра II, Головинскій былъ помилованъ и жилъ въ имѣніи своей сестры, Смагиной.

Головинскій былъ очень остроуменъ, находчивъ, а иногда и дер-

зокъ на словахъ. Онъ ненавидѣлъ крѣпостниковъ; клеймилъ ихъ при всякой встрѣчѣ, и они его побаивались и называли „висѣльникомъ". Головинскій имѣлъ возможность раньше другихъ узнавать секреты изъ Петербурга о работахъ Главнаго Комитета и о преніяхъ въ Москвѣ среди дворянъ. Его особенно возмущало то, что Муравьевъ осмѣливался идти противъ воли государя и проповѣдывать въ провинціи о ничтожности рескрипта 20 ноября 1857 года. Головинскій писалъ всюду и кричалъ объ этомъ не стѣсняясь. Увлекался онъ освобожденіемъ крестьянъ до такой степени, что требовалъ отъ помѣщиковъ, чтобы они отпустили крестьянъ на волю съ землей до царскаго указа и до того позорнаго времени, когда, какъ онъ говорилъ, „Муравьевъ и К⁰ изуродуютъ основы воли и закрѣпостятъ крестьянъ еще крѣпче".

Эта ли открытая проповѣдь Головинскаго, или вліяніе эмансипатора Як. Алдр. Соловьева—на своего брата, но только Ѳед. Алдр. Соловьевъ такъ и поступилъ. Онъ тогда же, не дожидаясь никакихъ распоряженій свыше, отпустилъ своихъ крестьянъ села Зимницы, алатырскаго уѣзда, на полную волю со всей землей и усадьбами. Ѳед. Алдр. Соловьевъ точно также возмущался увѣреніями Муравьева, что воли не будетъ, и горячо проповѣдывалъ о дворянской чести. Его братъ-близнецъ Як. Алдр. близко стоялъ къ Главному Комитету въ Петербургѣ и писалъ Ѳед. Алдр. Соловьеву, что Муравьева и К⁰ никто не послушаетъ, и чтобы либералы не унывали. Между тѣмъ, либеральная партія въ алатырскомъ уѣздѣ не увеличивалась, и немногихъ единомышленниковъ нужно было отыскивать днемъ съ огнемъ.

Но, наконецъ, членовъ губернскаго комитета извѣстили, что получена въ Симбирскѣ программа для работъ комитета. Требовалось отъ комитета установленіе обязанностей крестьянъ относительно помѣщиковъ въ хозяйственномъ, юридическомъ и административномъ отношеніяхъ по всей симбирской губерніи; по уѣздамъ же требовалось только земельное устройство. Князь Оболенскій и Мещериновъ поѣхали въ Симбирскъ, а я, какъ кандидатъ, остался въ алатырскомъ уѣздѣ, чтобы доставлять имъ всѣ дополнительныя свѣдѣнія, какія понадобятся по мѣрѣ развитія работъ въ комитетѣ.

Хотя работы симбирскаго губернскаго комитета держались въ его тѣсномъ кругу, но разница мнѣній членовъ комитета отражалась на уѣзды и волновала всѣхъ помѣщиковъ. Рѣдко доходили до уѣзда подлинные журналы комитета; довольствовались

больше выдержками изъ нихъ, письмами изъ Симбирска, слухами, которые привозили пріѣзжіе, чаще же всего сплетнями. Было извѣстно, что комитету преподаны такія начала: 1) чтобы крестьяне почувствовали, что бытъ ихъ улучшился; 2) чтобы помѣщики успокоились, такъ какъ интересы ихъ ограждены, и 3) чтобы власть ни на минуту не колебалась и порядокъ ни въ чемъ бы не нарушался.

Кромѣ того, были подтверждены преподанныя начала высочайшаго рескрипта о надѣлѣ землей, усадьбахъ и ихъ выкупѣ и объ обезпеченіи уплаты податей и сборовъ. Требовался проектъ о распредѣленіи крестьянъ на сельскія общины, и проектъ общественнаго управленія съ сохраненіемъ помѣщикамъ вотчинной полиціи въ своихъ имѣніяхъ.

Всѣ эти начала и проекты обсуждались, критиковались и искажались до чудовищныхъ размѣровъ. Уѣздные крикуны хотѣли, чтобы казна выкупила трудъ крестьянъ, купила бы у помѣщиковъ крестьянскія усадьбы, а потомъ чтобы нанимала у помѣщиковъ землю для обезпеченія крестьянскихъ податей и сборовъ. Другіе требовали, чтобы казна уплатила помѣщикамъ за крестьянъ и взяла ихъ долой съ земли. Имъ возражали: „Нѣтъ, уплати мнѣ за нихъ и прикрѣпи ихъ къ моей землѣ, чтобы были возлѣ меня рабочія руки для найма!“

Были и мягкіе голоса, которые говорили, что свободу надо дать, но тѣмъ, что̀ мое: земля, усадьба, избы, выгоны, луга и пр., тѣмъ пользуйся, войдя со мной въ договоръ о цѣнѣ.

Иные поднимались до государственныхъ вопросовъ и говорили, что власть помѣщиковъ есть государственная опора,—при ней каждое село уподобляется дисциплинированному полку. Нельзя вышибать или расшатывать эти опоры,—надо ихъ чѣмъ-нибудь замѣнить.

Одинъ изъ практиковъ говорилъ: „Я нашелъ средство,—вся земля у меня останется. Когда объявятъ волю, я выкачу бочку вина, скажу: пей, кто сколько хочетъ,—мужики перепьются на смерть, земля у меня и останется!“ Были и другія подобныя выдумки; но въ общемъ было видно, что, по мѣрѣ разработки вопроса въ комитетахъ и безповоротнаго рѣшенія дать волю крестьянамъ съ землей, помѣщики стали особенно цѣнить землю, тогда какъ до этого больше цѣнили души.

Рьяные консерваторы, а между ними мой развитой и образованный сосѣдъ П. М. Мачеваріановъ, горевали о потерѣ власти „исконной, патріархальной, а главное—даровой, которую мы давали государству для поддержанія порядка. Эта власть надъ

народомъ дана намъ отъ Бога, и это—наши святыя права. Если мы ихъ теряемъ,—пояснялъ Мачеваріановъ,—то въ этомъ виноваты всѣ дворяне, которые продавали свои права предводителямъ. Предводители же, купивъ у дворянъ, за пироги и наливки, возможность распоряжаться дворянскими правами, перепродавали эти права правительству за кресты и ордена, чтобы ими чваниться передъ своими же дворянами"... Мачеваріановъ находилъ, что въ симбирскомъ губернскомъ комитетѣ только графъ Орловъ-Давыдовъ отстаиваетъ свои права. Слухъ доходилъ, что графъ Орловъ-Давыдовъ требовалъ феодальнаго устройства въ Россіи и какихъ-то особыхъ правъ аристократамъ. Мачеваріановъ не столько заботился о потерѣ крѣпостного труда и надѣльной земли, сколько о потерѣ права охотиться по всѣмъ землямъ. Онъ требовалъ, чтобы охота въ Россіи была привилегіей дворянъ, и никто кромѣ ихъ не смѣлъ бы держать ружей и борзыхъ собакъ. Надо замѣтить, что П. М. Мачеваріановъ вывелъ свою, мачеваріановскую, породу густопсовыхъ борзыхъ, славящуюся до настоящаго времени во всей Россіи.

Толкуя постоянно о правахъ и льготахъ, Мачеваріановъ совершенно не зналъ законовъ, никогда не заглядывалъ въ нихъ, и за это въ свое время поплатился. Въ одно лѣто у него въ саду уродилось огромное количество райскихъ яблоковъ. Его поваръ Амплей посовѣтовалъ ему сдѣлать изъ нихъ яблочное вино. Мачеваріановъ дозволилъ. Амплей въ барской банѣ устроилъ перегонный аппаратъ, заквасилъ яблоки, подвергъ ихъ спиртовому броженію, и черезъ змѣевикъ получилъ спиртъ. Дѣлалось это такъ открыто и простодушно, что о томъ узналъ кабатчикъ, а потомъ и довѣренный. Въ то время симбирская губернія была на откупу у Алдр. Павл. Шипова, который умѣлъ наживать деньги. Къ Мачеваріанову нагрянулъ обыскъ съ полиціей, которая составила протоколъ о томъ, что въ барской усадьбѣ устроенъ тайный винокуренный заводикъ. Отъ скандала пришлось откупаться. Дорого было заплачено Шипову; хорошо получила и полиція.

Не прошло и двухъ лѣтъ послѣ этого, какъ въ селѣ Липовкѣ, принадлежащемъ Мачеваріанову, во время ярмарки народъ разбилъ кабакъ и разграбилъ вино и выручку. Откупщикъ хотѣлъ дѣло направить такъ, чтобы доказать, что это было мщеніе со стороны Мачеваріанова. Но, на его счастіе, мужики однимъ кабакомъ не удовлетворились, а начали разбивать кабаки во всѣхъ уѣздахъ, чѣмъ ясно доказали свою злобу противъ от-

куповъ, и что мщеніе со стороны помѣщика тутъ было ни-при-чемъ.

Охота на звѣря и зайцевъ была такъ распространена въ симбирской губерніи, что члены комитета ставили этотъ вопросъ ребромъ, и силились провести въ „Положеніе" о волѣ, что охота есть старая дворянская затѣя и лучшая подготовка людей и командировъ для партизанской войны. Дѣйствительно, не было, кажется, помѣщика, у котораго не висѣлъ бы на гвоздикѣ арапникъ и не бѣгали бы двѣ-три своры борзыхъ. Воля все это истребила, и теперь будущіе партизаны занялись мирнымъ птицеводствомъ.

Въ селѣ Апраксинѣ, у богатаго помѣщика Алдр. Петр. Новосильцева, былъ прекрасный конный заводъ до 400 головъ. Своеобразный человѣкъ былъ этотъ Новосильцевъ! Онъ служилъ въ лейбъ-гвардіи Семеновскомъ полку, и когда этотъ полкъ, за бунтъ противъ командира, разкассировали, Новосильцевъ вышелъ въ отставку и съ 1827 года безвыѣздно жилъ въ Апраксинѣ, занимался хозяйствомъ и пристрастился къ лошадямъ. Въ волю онъ не вѣрилъ, и не говорилъ о ней; но когда онъ удостовѣрился въ неизбѣжности воли и узналъ, что конюховъ нельзя будетъ бить, онъ твердо сказалъ, что „безъ этого конный заводъ не можетъ существовать; я его закрою!"—Закрылъ, заскучалъ и умеръ.

Впрочемъ, правду сказать, не одно битье кулаками и палками угнетало крестьянъ,—кулакъ у нихъ самихъ былъ въ ходу и между собой, и съ женами, дочерями и т. д. Но собственно и это было результатомъ безъисходной зависимости ихъ отъ полнѣйшаго произвола помѣщичьей власти. Не было видно у нихъ ни просвѣта, ни заступниковъ, и каждый чувствовалъ, что все это такъ и останется на всю жизнь. Марко-Вовчекъ (г-жа Марковичъ) въ одномъ изъ своихъ сочиненій мимоходомъ сказала, что то, что̀ мужчина можетъ сдѣлать въ пылу своей ярости и злобы, то женщины дѣлаютъ по̀ходя. Это не было преувеличеніемъ среди грубыхъ, полуграмотныхъ помѣщицъ того времени. Предводители дворянства и другія власти не дѣлили владѣльцевъ на группы достойныхъ управлять людьми какъ собственностью и—недостойныхъ. Дворянство, какъ корпорація, не чуждалось своихъ тирановъ, а иногда даже называло ихъ „строгими, хорошими хозяевами".

Разъединенность общества, „моя хата съ краю", до такой степени была тогда въ ходу, что даже при явныхъ уголовныхъ

преступленіяхъ и хорошіе помѣщики не рѣшались вступаться за крестьянъ противъ своихъ сосѣдей. Но, можетъ быть, даже эта самая дряблость, бездушность и безхарактерность цѣлаго сословія и понудила „не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, ибо лучше начать освобожденіе сверху, чѣмъ дожидаться, что оно само начнется снизу“.

Н. Крыловъ.

БАЙРОНЪ ВЪ ЛОНДОНѢ

1812—1816 гг. [1]).

Слава и разрывъ съ страною.

„Моя пора прошла, — чтожъ! — у меня все же *была* своя пора“!..—My day is over—what then!—J have had it! [2])—такъ, вспоминая среди бѣдствій о дняхъ счастья, Байронъ отзывался позже о краткомъ періодѣ безспорной славы, внезапно наставшемъ послѣ появленія первыхъ главъ его „Чайльдъ-Гарольда“. Иногда онъ преувеличивалъ непродолжительность своей диктатуры, сводя ее къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ, чуть не недѣлямъ. Чарующее впечатлѣніе, произведенное „Гарольдомъ“, поддержанное восточными поэмами и „Еврейскими мелодіями“, сохраняло силу, хоть и не новизну, до 1815 года. Горячность творчества, изумительная смѣна картинъ, образовъ, фабулъ, красота формы, возростающая таинственность излюбленнаго поэтомъ героя, не давали современникамъ очнуться послѣ плѣнительной грёзы. Враждебные элементы обозначались, организовывались, но не смѣли выбиться на свѣтъ. Только острый кризисъ въ личной, общественной и поэтической жизни Байрона нарушилъ очарованіе, придалъ смѣлости и энергіи его противникамъ и вызвалъ ожесточенную борьбу.

[1]) Срав. выше статью того же автора: „Изъ жизни Байрона, 1788—1812 гг.“, мартъ, стр. 29 и слѣд.; по недосмотру, въ содержаніи той книги журнала авторъ былъ поименованъ Александромъ, вмѣсто: Алексѣй; пользуясь настоящимъ случаемъ, спѣшимъ это исправить.—*Ред.*

[2]) Works, 1899, Letters, III, 386.

Итакъ, своей канонизаціей Байронъ, наканунѣ мало извѣстный, обязанъ былъ появленію на литературной аренѣ своего задумчиваго и печальнаго двойника, Гарольда. Необходимо вглядѣться въ него, отдать себѣ отчетъ въ причинахъ вліянія поэмы на умы и чувства цѣлой эпохи.

Самъ авторъ видимо сознавалъ неясность и неполноту образа вымышленнаго героя, которымъ онъ, изъ осторожности и подчиняясь совѣту друзей, захотѣлъ подмѣнить свою собственную личность [1]). Въ двухъ предисловіяхъ къ поэмѣ, — одномъ при первомъ ея появленіи, другомъ—послѣ сужденій и комментаріевъ критики,—онъ нѣсколько разъ возвращается къ оцѣнкѣ характера Гарольда, и приговоръ его суровъ. Это—„фиктивное лицо, введенное для того, чтобы придать произведенію хоть нѣкоторую связь, не говоря уже о стройности"; „лицо непривлекательное, выставленное со всѣми его недостатками, которые авторъ легко могъ сгладить, заставивъ его болѣе дѣйствовать, чѣмъ разсуждать"; „это не образцовый герой,—наоборотъ, онъ показываетъ, какъ извращеніе ума и нравственности ведетъ къ пресыщенію, портитъ всѣ радости жизни". Поэтъ не только возстаетъ (подобно Лермонтову, въ его предисловіяхъ къ „Герою нашего времени", сильно напоминающихъ Байроновскіе пріемы) противъ привычки читателей смѣшивать автора съ созданнымъ имъ характеромъ, но въ интимныхъ письмахъ заявляетъ, что „ни за что на свѣтѣ не желалъ бы походить на такого человѣка", хотя бы мѣстами и придалъ ему нѣсколько своихъ чертъ. Ему казалось, что онъ когда-нибудь „углубитъ" и объяснитъ Гарольда; но, возвращаясь къ нему въ разные періоды жизни, и время отъ времени напоминая современникамъ о прежнемъ ихъ любимцѣ то третьею, то четвертою пѣснью „Паломничества" [2]), онъ постепенно свелъ на нѣтъ разсказъ о фиктивномъ героѣ,—въ послѣдней главѣ вытѣснилъ его совсѣмъ, выступая уже отъ своего лица,—и только передъ паденіемъ занавѣса вспомнилъ, что у него прежде былъ спутникъ, была и фабула; но въ эту минуту для него они казались ненужной, поблекшей сказкой.

Передъ нами, стало быть, только контуръ Гарольда. Байрону, конечно, не удалось бы объективно „углубить" и объяснить его. Вѣдь, обѣщая это сдѣлать, онъ прибавлялъ, что въ

---

[1]) Тѣ же совѣты побудили его замѣнить Гарольдомъ его первоначальное, слишкомъ близкое къ фамиліи автора, имя Childe-Burun.

[2]) Въ 1822 году, задумывая поѣздку въ южную Италію, Байронъ сбирался, изучивъ страну, написать пятую и шестую пѣснь „Гарольда". См. у Мура 506-ое письмо, 25 окт. 1822.

его первоначальный планъ входило представить въ немъ „современнаго Тимона или опоэтизированнаго Zeluco“. Это—одинъ изъ разительныхъ примѣровъ неудачнаго самоанализа, встрѣчающихся иногда у величайшихъ мастеровъ. Чуткій къ народнымъ страданіямъ, поклонникъ свободы, доступный впечатлѣніямъ искренней женской ласки или величавой природы, меланхоликъ Гарольдъ не могъ выродиться въ лютаго ненавистника людей, Тимона [1]), хотя бы „современность“ и сняла съ него слишкомъ рѣзкія черты, завѣщанныя преданіемъ. Такъ же мало годится ему въ прототипы Zeluco, герой совсѣмъ посредственнаго англійскаго романа прошлаго вѣка [2]), прочтеннаго Байрономъ очень рано. Даже бѣглаго знакомства съ этой безвкусной стряпней, кажется, достаточно было бы, чтобъ остановить біографовъ поэта [3]) отъ повторенія сдѣланной имъ, быть можетъ, даже шутливой ссылки, принимаемой ими на вѣру. Низкопробный авантюристъ, игрокъ, хищникъ, мучитель своихъ рабовъ-негровъ, соблазнитель и обманщикъ женщинъ, герой скучнѣйшаго и притомъ поучительнаго романа, итальянецъ Зелюко цѣлой бездной отдѣленъ отъ мірового скорбника—Гарольда.

Освободимъ же Байроновскаго пилигрима отъ неподходящей къ нему родословной, признаемъ также, что съ другими представителями зарождавшейся скорби его связывало лишь элементарное сходство темы; родоначальникъ ихъ, Вертеръ, не оставилъ и слѣда на характерѣ Гарольда; итальянскаго Вертера, Якопо Ортиса, Байронъ тогда не зналъ; эгоизмъ Шатобріанова Ренэ непримиримъ съ народолюбіемъ; только одинъ Руссо завѣщалъ Гарольду вмѣстѣ съ протестомъ противъ лживой цивилизаціи тонкость чувства и пониманіе природы. Установивъ же перевѣсъ самостоятельности Гарольда, мы придемъ къ убѣжденію, что, слабый, какъ поэтическій характеръ, онъ пріобрѣтаетъ значеніе и силу, сливаясь съ самимъ авторомъ. Нѣсколько начальныхъ строфъ первой главы какъ будто должны ввести насъ въ особую біографію героя: онѣ говорятъ о его родныхъ, о замкѣ предковъ, о шумномъ кругѣ его друзей и любовницъ, о безумной растратѣ силъ,—но „костюмъ странника оказывается простымъ

---

[1]) Литературная исторія этого типа—въ моихъ „Этюдахъ о Мольерѣ. II. Мизантропъ“. М. 1881.

[2]) „Zeluco. Various views of human nature, taken from life and manners, foreign and domestic“. 1789.

[3]) Elze, „Lord Byron“, 1886, p. 21, находитъ даже нѣсколько сходныхъ біографическихъ чертъ у Байрона и героя романа.

домино, и маска неплотно прилегаетъ къ лицу" [1]). Съ фикціею никогда не существовавшаго героя разлетается и фабула, зачѣмъ-то снабженная завязкой. *Поэмы* нѣтъ,—но сохранившійся въ ея нарядѣ первообразъ, поэтическій дневникъ путешествія и искренняя лирическая исповѣдь, полонъ красотъ.

Пусть мѣстами форма устарѣла, а подражаніе не только Спенсеру, но—въ языкѣ—даже средневѣковымъ поэтамъ [2]) несвойственно дарованію Байрона и натянуто; пусть разсказъ иногда отягченъ обиліемъ историческихъ и географическихъ подробностей,—самою нестройностью своей, вѣчными отступленіями и эпизодами, смѣною описаній задушевными изліяніями, силой личной грусти, рѣзкостью гнѣва на поработителей и тирановъ—это небывалое, непредвидѣнное никакою поэтикой произведеніе и теперь вызываетъ изумленіе. Съ виду,—по выраженію послѣдняго издателя Байрона,—это—„поэтическая діорама" съ яркими картинами юга,—но въ то же время это—либеральный памфлетъ, смѣло брошенный въ европейскую толпу, приниженную и обезличенную военщиной бонапартизма и узкимъ націонализмомъ англійской охранительной политики,—наконецъ, это—циклъ чудныхъ меланхолическихъ стихотвореній, выдѣляющихся изъ фона описаній и разсужденій, оставляя позади себя какъ ихъ, такъ и все, что дала за нѣсколько вѣковъ англійская поэзія чувства и рефлексіи. Въ поэмѣ, быть можетъ, не видно было Гарольда, но въ ней показался „истинный Байронъ".

Онъ весь здѣсь, съ своими слабостями и великими достоинствами. Онъ преувеличиваетъ испорченность Гарольда, ищетъ мелодраматическаго эффекта, говоря о томъ, какъ, по временамъ, по лицу героя „проходили странныя тѣни, точно мучило его въ эти минуты воспоминаніе о смертельной враждѣ или разбитой любви",—и потомъ будетъ надѣлять героевъ своихъ восточныхъ поэмъ таинственнымъ, чуть не преступнымъ прошлымъ,—но онъ же даетъ волю глубокой и искренней скорби, душевному одиночеству, въ „Прощаніи Гарольда", или въ „Стансахъ къ Инесѣ". Первое стихотвореніе—говоритъ онъ—зародилось подъ вліяніемъ такого же „Прощанія" шотландскаго изгнанника, лорда Максуэлла, чью балладу, начала XVII-го вѣка, онъ прочелъ въ сборникѣ Вальтеръ-Скотта: „Minstrelsy of the scottish border",—но,

[1]) Спасовичъ, „Байронъ и нѣкоторые изъ его предшественниковъ". Спб. 1885, стр. 106.

[2]) Оно замѣчено въ первыхъ, біографическихъ строфахъ, однимъ изъ новѣйшихъ историковъ англійскаго романтизма, Henry Beers, „History of romanticism in the XVIII century". 1899, p. 98.

свободное отъ подражанія, оно вылилось изъ души въ минуту сильнаго аффекта. Во второмъ—сказалась уже мучительная рефлексія позднѣйшихъ лѣтъ; оно говоритъ о безъисходной душевной усталости, о томъ „taedium vitae", которое возбуждается въ немъ всѣмъ, до чего ни коснется онъ, всѣмъ, что̀ онъ слышитъ, видитъ, встрѣчаетъ,—о проклятіи, которое преслѣдуетъ его, „какъ Вѣчнаго-Жида легенды"; о мучащемъ его „Демонѣ Мысли" (Demon Thought). Въ разсказъ то-и-дѣло врывается личное, пережитое; экзотическій ландшафтъ блѣднѣетъ, и передъ читателемъ—скорбный поэтъ, оплакивающій безвременно погибшую Тирзу. Печаль о личныхъ утратахъ окончательно сливается съ меланхолическими отголосками міровой исторіи, говорящей о гибели народовъ, цивилизацій, великихъ городовъ, великихъ людей. Путешествіе, почти все время проводившее странника по развалинамъ былого величія, придало въ поэмѣ основному мотиву „міровой скорби" особую силу. Впослѣдствіи, въ Италіи, когда писалась четвертая пѣснь „Чайльдъ-Гарольда", Байронъ вспомнилъ, какъ въ молодости онъ прошелъ по слѣдамъ друга Цицерона, Сервія Сульпиція; какъ, послѣ отплытія изъ Эгины, оглядѣлся вокругъ себя, и слова Сульпиція пришли ему на память: „Позади меня была Эгина, передо мной Мегара; Пирей былъ справа, слѣва же Коринѳъ; все города, нѣкогда славные, цвѣтущіе,—теперь же похороненные подъ обломками. Увы! какъ мучимся мы, бѣдные смертные, когда лишаемся друга, чья жизнь была коротка,—тогда какъ передо мной жалкіе остатки такого множества великихъ и могучихъ городовъ!" [1]) Но этотъ любопытный античный образецъ „Weltschmerz'a", какъ бы близко ни сошлись въ мысли о бренности всего существующаго задумчивый римлянинъ и одинъ изъ виновниковъ міровой скорби XIX-го вѣка, не исчерпываетъ настроенія поэта. Безрадостный и безнадежный по отношенію къ себѣ, онъ, при видѣ гибели, развалинъ, упадка, порабощенія народовъ, превозмогаетъ свою грусть и находитъ въ себѣ мужество пророка возрожденія, политическаго поэта; скорбникъ становится Тиртеемъ. „Возстаньте, испанцы!"—„Возстаньте, греки!"—восклицаетъ тотъ, кого личная жизнь, казалось, убѣдила въ ничтожествѣ всякихъ иллюзій.

Такой лирики унынія и раздумья, и такихъ горячихъ воззваній, не слышало ни отъ кого современное англійское поколѣніе,—ни отъ балладниковъ, увлекавшихъ читателя въ даль сред-

---

[1]) „Childe Harold's Pilgrimage", canto IV, XLIV.—Байронъ дѣлаетъ выписку изъ письма Сульпиція къ Цицерону, по поводу смерти его дочери.

нихъ вѣковъ, или въ романтику испанскаго рыцарства,—ни отъ „озерныхъ“ поэтовъ, въ чьей поэзіи, какъ въ „лонѣ водъ“, безмятежно отражалась родная природа и идеализованная деревенская жизнь,—ни отъ мистиковъ или пантеистовъ, ни отъ немногихъ спеціалистовъ по политической лирикѣ, когда-то вольнодумствовавшихъ, а теперь холодно и отвлеченно декламировавшихъ о примиреніи и спокойствіи. Въ то время, какъ литература континента полна была отраженій разочарованности и недовольства, скопившихся послѣ крушенія революціи и возврата къ старому строю,—въ англійской литературѣ то былъ „вѣкъ Вордсворта“ [1]), богатый оптимизмомъ, фантазіей, поэтическими красками, платоническимъ народничествомъ, но безсильный отозваться на поднимавшуюся въ жизни общества нервную тревогу, на политическій протестъ, на борьбу за права личности. Нетрудно представить себѣ чарующую необычайность появленія въ этой средѣ Гарольда.

„Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen“!—и поэма различными своими сторонами вызывала разнообразные оттѣнки интереса и энтузіазма. Одни привѣтствовали зарожденіе Байроновскаго „героическаго типа“ [2]) въ лицѣ первенца обширной семьи неудачниковъ; другіе любовались женскими головками, силуэтомъ Флоренсы, печальнымъ призракомъ Тирзы; третьи радостно отзывались на починъ политической поэзіи; инымъ нравились картины природы и быта, испанскія душистыя ночи, морское плаваніе, янычары, муэдзины, албанскія пѣсни („Tamburgi“), бой быковъ,—наконецъ, красивая этнографическая пестрота, зачѣмъ-то скрѣпленная множествомъ ученыхъ примѣчаній въ концѣ книги [3]), разумѣется, не прочтенныхъ никѣмъ. Успѣхъ переходилъ въ фанатизмъ. Изданія быстро слѣдовали одно за другимъ; въ первый же годъ поэма была издана пять разъ; она все хорошѣла, развивалась, особенно послѣ седьмого изданія, обогащеннаго десяткомъ новыхъ строфъ, и при Байронѣ достигла одиннадцати изданій. Любопытство было возбуждено въ высшей степени. Зная, что двѣ главы выпущены въ свѣтъ „въ

---

[1]) Исторія литературы въ Англіи настойчиво величаетъ и теперь этимъ именемъ эпоху, которая по справедливости должна быть названа „вѣкомъ Байрона“. Ср., напр., книгу Herford'a, „The age of Wordsworth“, L. 1899.

[2]) Спеціальная работа по исторіи развитія этого типа—Heinrich Kraeger, „Der Byronsche Heldentypus“. München, 1898.

[3]) Пристрастіе къ ученому аппарату усиливалось съ каждой новой главой; тутъ и археологія, и исторія, и филологія, образцы діалектовъ, новогреческихъ пѣсенъ и т. д.

видѣ опыта", масса не сомнѣвалась въ томъ, что колоссальный успѣхъ побудитъ автора издать слѣдующія главы, которыя, конечно, у него давно готовы... Но кромѣ незначительной попытки продолжать въ третьей главѣ описаніе восточнаго путешествія и разсказать въ ней о посѣщеніи Трои и Константинополя [1]), у Байрона не было ничего готоваго. Водоворотъ житейскій вскорѣ закружилъ его и отвлекъ отъ мысли продолжать поэму въ задуманномъ направленіи [2]); когда же, четыре года спустя, появилась одинокая третья глава,—она уже взята была изъ совершенно иного періода жизни поэта, и изображала другіе края, другую природу,—да и сложилъ ее, казалось, совсѣмъ иной поэтъ, измученный, негодующій.

Успѣхъ „Гарольда" совпалъ съ мимолетной, но, по словамъ очевидцевъ, поразительной побѣдой Байрона въ парламентѣ. Авторъ поэмы неожиданно выказалъ такія способности оратора, которыя старожиламъ напомнили славные дни Питта, Фокса и Борка; заставилъ верхнюю палату выслушать рядъ горькихъ истинъ, выказалъ себя сторонникомъ демократіи,—хотя, правда, не смогъ провести своего гуманнаго предложенія наперекоръ компактному охранительному большинству, но все-же рѣзко выдѣлился и внушилъ къ себѣ уваженіе. Зная, ближе многихъ, бѣдственное положеніе ткачей Ноттингэмскаго округа, своихъ земляковъ и сосѣдей, онъ не могъ молчать. Введеніе машинъ ихъ разоряло; они стали толпами нападать на фабрики и уничтожать ненавистныя имъ орудія. Высланы были войска, и подъ-конецъ—отрядъ въ 3.000 всадниковъ и пѣхотинцевъ; началась суровая расправа, для узаконенія которой понадобился билль, карающій участниковъ въ порчѣ машинъ смертною казнью и поощрявшій доносы. Пэръ-новичокъ напоминалъ маститымъ товарищамъ, что прежде, чѣмъ карать насилія, нужно выяснить причины, вызвавшія ихъ; съ горячностью глубоко потрясеннаго очевидца онъ изображалъ народное бѣдствіе, взывалъ къ справедливости и гуманности, не хотѣлъ вѣрить, чтобы нашлись кровожадные присяжные, способные засудить голодныхъ и несчастныхъ. Когда билль прошелъ

[1]) Единственный отрывокъ (The monk of Athos) былъ впервые напечатанъ въ книгѣ у Roden Noel, „Life of L. Byron", 1890.

[2]) „Я очень польщенъ желаніемъ видѣть продолженіе моей поэмы",—писалъ Байронъ Долласу (Letters, II, 27), но для этого я долженъ былъ бы снова вернуться въ Грецію и Азію; мнѣ нужно горячее солнце, голубое небо; я не могу описывать дорогія мнѣ картины, сидя у камина".

и сталъ закономъ, Байронъ помѣстилъ въ „Morning Chronicle“ гнѣвную оду къ творцамъ билля (To the framers of the Frame Bill), писалъ возбужденныя письма къ выдающимся политическимъ дѣятелямъ, называя себя единомышленникомъ ткачей... Блескъ политическаго дебюта, почти не имѣвшаго послѣдствій (Байронъ произнесъ еще только двѣ рѣчи въ палатѣ) затмился поэтической славой автора „Гарольда“; но такіе быстро слѣдующіе одинъ за другимъ тріумфы [1]) убѣждали современниковъ въ необычайности дарованій Байрона. *Его пора*—настала.

Эта пора была полна сильныхъ, сладостныхъ, острыхъ, пряныхъ ощущеній; она тѣшила и мучила, манила все новыми иллюзіями и разбивала ихъ, льстила суетности, научала играть роль—эффектно драпироваться, возбуждала къ лихорадочной работѣ изъ-за новаго, опьяняющаго успѣха, кружила голову безумнымъ поклоненіемъ женщинъ, множествомъ сердечныхъ романовъ и свѣтскихъ приключеній, — и среди маскарадовъ, баловъ, отчаянно смѣлыхъ свиданій, зарождала эксцентрическія поэмы, возникавшія въ три, четыре дня, уносившія поэта все дальше и дальше отъ грёзъ и идеаловъ его творчества, отъ его искренней скорби, отъ его общественныхъ симпатій. Это была въ полномъ смыслѣ слова „жизнь подъ высокимъ давленіемъ“, быстро подтачивавшая силы, заставлявшая прибѣгать, для поддержанія ихъ, къ возбуждающимъ средствамъ—опіатамъ,—вызывая во всеобщемъ кумирѣ (многіе современники иначе и не называли Байрона, какъ „the idol of society“) тревогу о своемъ здоровьѣ, испугъ передъ возможностью сумасшествія. Эту боязнь находимъ мы у него еще въ 1811 г., Letters, II, 54, вмѣстѣ съ признаніемъ, что онъ въ 23 года чувствуетъ себя такимъ старымъ, какимъ люди бываютъ въ 70 лѣтъ.

Байронъ окруженъ теперь свѣтилами литературы. Отнынѣ дружба связываетъ его съ Томасомъ Муромъ и Вальтеръ-Скоттомъ; доживающій свой вѣкъ, дряхлый, вѣчно нетрезвый, но попрежнему остроумный авторъ „Школы Злословія“, Шериданъ, увлекается имъ; изъ „озерныхъ“ поэтовъ къ нему съ сочувствіемъ подходитъ Кольриджъ; даже у будущаго злѣйшаго врага и доносчика, Соути, отношенія къ Байрону—приличныя; на изящныхъ и полныхъ остроумія

[1]) Г. Брандесъ придаетъ дѣятельности Байрона, какъ политика, ироническое названіе дилеттантизма, направляемаго состраданіемъ и отзывчивостью, а не здравой обдуманностью государственнаго мужа. Но, быть можетъ, приложимое къ юношескому дебюту въ парламентѣ, названіе это непріятно удивляетъ, когда прикладывается критикомъ и къ послѣдовательной, многолѣтней дѣятельности Байрона-карбонара и избавителя Греціи.

литературныхъ обѣдахъ свѣтскаго человѣка и даровитаго стихотворца Роджерса, Байронъ—желанный и неизмѣнный гость. Онъ очаровываетъ г-жу Сталь, укрывшуюся отъ преслѣдованій Наполеона, послѣ скитаній по всей Европѣ [1]), въ Лондонъ,—и въ ея глазахъ онъ—„l'homme le plus intéressant de toute l'Angleterre". Но его можно видѣть очень часто и среди high-life'а, даже въ обществѣ знаменитаго дэнди, законодателя модъ, Броммеля,—даже въ придворныхъ кругахъ, куда антипатичный ему принцъ-регентъ и его клевреты стараются привлечь всеобщаго любимца, приручить и подчинить его,—даже за кулисами, гдѣ подъ конецъ этого періода онъ проникъ въ комитетъ, управлявшій Дрюрилэнскимъ театромъ.

Съ избыткомъ подобныхъ впечатлѣній, встрѣчъ, знакомствъ, состязаній въ умѣ и дарованіяхъ, совпадала сильно возбужденная жизнь чувства; все волновало, разжигало и угнетало Байрона. По временамъ усталость и пресыщеніе доходили у него до того, что ему страстно хотѣлось уйти безъ оглядки отъ этихъ людей. Весной 1813 года, онъ сообщаетъ друзьямъ, что рѣшилъ *навсегда* уѣхать изъ Англіи и поселиться на одномъ изъ греческихъ острововъ. Нѣсколько позже, когда мысль о бѣгствѣ снова овладѣла имъ, онъ выхлопоталъ разрѣшеніе занять кабину одного изъ офицеровъ корабля „Boyne", уходившаго въ Средиземное море, и въ письмѣ къ секретарю адмиралтейства извѣщалъ, что готовъ будетъ къ отъѣзду „въ субботу"... Но онъ не могъ уже болѣе твердо хотѣть чего бы то ни было, оставался въ Лондонѣ, и безумная жизнь снова начиналась.

Ея главными виновницами были женщины. Психопатическія проявленія обожанія и восторговъ на него почти не дѣйствовали, и забавно необузданныя его поклонницы, о которыхъ потомъ вспоминалъ Роджерсъ, способныя Богъ вѣсть чѣмъ пожертвовать за нѣсколько интимныхъ минутъ съ нимъ,—вызывали въ немъ брезгливость. Но на его пути были женщины, которыми онъ самъ увлекался, въ которыхъ—какъ идеализованный новѣйшими поэтами Донъ-Жуанъ—онъ вглядывался, страстно надѣясь найти, наконецъ, осуществленіе своей мечты,—и вѣчно ошибаясь. Связи продолжались недолго; одна изъ нихъ,—съ лэди Оксфордъ,—по его же словамъ,—всего восемь мѣсяцевъ. Всевозможныя препятствія, ревнивые мужья, свѣтская огласка, вѣроятность дуэли, не останавливали его. Въ пылу страсти онъ воспѣвалъ царицу своей

[1]) Для характеристики своеобразныхъ отношеній его къ г-жѣ Сталь, письма ея даютъ не мало матеріаловъ, но ими пренебрегъ авторъ большого труда о Сталь, lady Blennerhasset: „Frau von Staël, ihre Freude und ihre Bedeutung" etc. 1888.

души; такъ, по свидѣтельству Мура, и въ „Абидосской Невѣстѣ“, и въ современныхъ ей стихотвореніяхъ, лирическій огонь вызванъ былъ увлеченіемъ лэди Фрэнсисъ, женою Уэддерборна Уэбстера, и въ новыхъ письмахъ немало слѣдовъ этой связи—совсѣмъ на глазахъ у мужа [1]). Лэди Оксфордъ не только была, въ свою очередь, музой поэта; когда оба супруга сбирались надолго уѣхать за-границу, Байронъ готовъ былъ все покинуть, послѣдовать за нею,—и въ гнѣвѣ разорвалъ отношенія, убѣдившись въ ея невѣрности...

Но, отстранивъ всѣхъ соперницъ, взявъ Байрона съ бою, на его пути появляется одинъ изъ его злыхъ геніевъ, лэди Каролина Ламъ.

Дошедшая до насъ миніатюра, изображающая ее въ нарядѣ пажа, въ кокетливой бархатной курточкѣ съ наплечными нашивками въ испанскомъ вкусѣ и высокимъ кружевнымъ воротомъ, въ атласномъ жилетѣ, обрисовывающемъ стройную талію, съ вьющимися кудрями, зачесанными помужски на лобъ, съ большимъ хрустальнымъ блюдомъ, полнымъ крупныхъ кистей винограда, въ поднятыхъ рукахъ,—какъ будто застаетъ ее въ одну изъ сумасбродныхъ ея выходокъ. Черты красивы, глаза большіе и выразительные, но на лицѣ печать нервности, порывистой страстности. Сначала счастливая въ замужествѣ, потомъ вообразившая себя непонятой, одинокой, неудовлетворенной, она, увидавъ Байрона, въ первую минуту испытала необъяснимую тревогу, записала въ своемъ дневникѣ, что встрѣтила человѣка „безумнаго, дурного, съ которымъ сближеніе опасно“—mad, bad and dangerous to know,—но вслѣдъ затѣмъ увлеклась имъ до самозабвенія. Чего только она не дѣлала, чтобы быть съ нимъ! Переодѣваніе пажемъ, дававшее ей возможность проникать въ мужское общество, напримѣръ, во внутренніе покои парламента, было одною изъ привычныхъ ея выдумокъ. Въ напечатанномъ теперь письмѣ, одномъ изъ первыхъ послѣ ихъ сближенія, она говоритъ Байрону, что никого не боится, себя не жалѣетъ, идетъ на встрѣчу опасностямъ. Ее смущаетъ мысль, что онъ можетъ жениться, и она заклинаетъ его повременить, — вѣдь никто не будетъ его такъ сильно любить!.. Она показывалась съ нимъ всюду, надѣясь гласностью своей связи разстроить всѣ притязанія дру-

---

[1]) Первое впечатлѣніе, произведенное открытіемъ ея измѣны, выразилось въ стихотвореніи, которое стало извѣстно лишь съ 1869 („Quarterly Review“, October, „The Byron mystery“). Оно начинается словами: Go, triumph securely, the treacherous vows thou hast broken“ etc., и полно упрековъ—и въ то же время неисправимой любви.

гихъ женщинъ. Въ ея поступкахъ было много несообразнаго, безтактнаго, необузданнаго. Заподозривъ охлажденіе, она сожгла однажды Байрона—in effigie, уничтоживъ вмѣстѣ съ портретомъ его подарки, кольцо и цѣпь, потомъ описала эту расправу въ стихахъ и послала ихъ вѣроломному. Въ другой разъ, зная, что ее уже не пустятъ къ нему, она одѣлась извозчикомъ и проникла въ его квартиру; въ третій—едва не закололась на его глазахъ. Но въ ея сумасбродствѣ было столько искренней любви, что Байронъ прощалъ ей многое, стараясь сдерживать и умѣрять ея нервность. Уцѣлѣло три интимныхъ его письма къ Каролинѣ; ихъ тонъ становится все нѣжнѣе; онъ зоветъ ее своею „Caro", своею любовью—my Caro, my love;—слышатся рѣдкія у него признанія: „есть ли на землѣ или на небѣ что-нибудь, что̀ сравнилось бы для меня съ счастьемъ назвать васъ моею!.. Я отдаю себя вамъ, свободно, всецѣло, повинуюсь, уважаю, люблю, готовъ бѣжать съ вами—когда и куда вы захотите". Но мучительная неровность ея натуры, постоянные приступы ревности и слезъ, неожиданныя фанфаронады,—наконецъ, тяжелое впечатлѣніе горя, которое вызывалъ въ семьѣ молодой женщины ея психозъ, охладили увлеченіе. Байронъ теперь проповѣдовалъ умѣренность, совѣтовалъ сблизиться съ мужемъ. Она же увидѣла въ этомъ интригу соперницъ, особенно лэди Оксфордъ. Истерзавшись душой, она, наконецъ, отдалилась отъ него, затаивъ мщеніе; съ злорадствомъ услышала она первыя вѣсти о семейномъ разладѣ своего прежняго друга. Казалось, только ненависть могла внушить ей мысль избрать для мести такое тяжелое для Байрона время, какъ разлука съ дочерью, разрывъ съ женой, добровольное изгнаніе,—она взялась за перо, чтобы въ романѣ-пасквилѣ „Glenarvon" разсказать исторію своей роковой любви, черня Байрона, обѣляя себя. Но когда поэта не стало, она опасно заболѣла, и съ одра болѣзни послала издателю извѣстныхъ въ свое время „Разговоровъ съ лордомъ Байрономъ", Медвина,—Коборну большое письмо съ поправками къ Медвиновскому тексту и любопытными признаніями,—письмо, проникнутое снова любовью и тяжкимъ горемъ [1])...

— — —

[1]) „Journal of the conversations of L. Byron, noted during a residence with his lordship at Pisa in the years 1821 a. 1822", by T. Medwin. Lond. 1824.—Этой книгѣ необыкновенно посчастливилось; она была переведена на всѣ языки (недавно на нѣмецкій); въ русской литературѣ это была первая книга о поэтѣ (Записки о Лордѣ Байронѣ, Спб. 1835); этой репутаціи она не заслуживаетъ по массѣ вымысла. Гобгоузъ назвалъ автора „презрѣннымъ обманщикомъ" (infamous impostor); см. письмо его, неизданное, къ Августѣ Ли, 4 ноября 1824 г.

Разгоряченная, нездоровая была атмосфера, въ которой сложились ближайшія послѣдствія „Чайльдъ-Гарольда"—*восточныя* поэмы, отвѣчавшія на запросъ общественнаго мнѣнія, жаждавшаго повторенія плѣнительныхъ картинъ „Паломничества". Ожиданія сбывались: *картины* дальняго юга, напоминавшія поэту, какъ свѣтлыя сновидѣнія, недавнее прошлое, много разъ проходили передъ читателемъ. Но на ихъ фонѣ выдѣлялись лица, событія, становившіяся съ каждымъ произведеніемъ все мрачнѣе, трагичнѣе. Первый опытъ въ новомъ родѣ, „Гяуръ", былъ, по словамъ поэта (письмо къ Гиффорду, ноябрь 1813), написанъ въ такомъ *настроеніи*, вызванномъ обстоятельствами, которое побуждало умъ сосредоточиться на чемъ бы то ни было, только *не на дѣйствительной жизни* (any thing but reality). Лишь незначительная часть фабулы была реальна,—видѣнная имъ когда-то въ Пиреѣ сцена расправы съ зашитой въ мѣшокъ женщиной. Зато, трагическое освѣщеніе центральнаго лица, которое сначала просто пригрезилось поэту, и въ извѣстной степени поддержано было литературнымъ вліяніемъ „разбойничьихъ" сюжетовъ, и окружено романтической дымкой преступности, тайны и невѣдомыхъ страданій,—рѣшило участь нововведенія, возбудившаго величайшее любопытство. *Настроеніе*, вызвавшее „Гяура", долго продержалось у Байрона, и за однимъ тяжелымъ сномъ наяву вскорѣ слѣдовалъ другой, еще тяжелѣе. Популярность росла, баловала и дразнила поэта; онъ началъ находить своеобразное, почти болѣзненное удовольствіе въ возбужденіи суевѣрныхъ и фантастическихъ бредней о томъ, будто всѣ ужасы его поэмъ были пережиты имъ, въ мистификаціи довѣрчивой толпы. Такъ—относительно эпизода съ избавленной имъ дѣвушкой—онъ хотя и огласилъ письмо очевидца, маркиза Слэйго, тѣмъ не менѣе не скупился, въ разговорахъ съ легковѣрными людьми, на намеки, изъ которыхъ они выводили заключеніе, что онъ самъ былъ любовникомъ несчастной, едва не поплатившейся жизнью за него,—и рядъ біографовъ повторилъ небылицу. Но досужая сплетня забиралась дальше въ глубь сюжета, готовая приписать автору мрачныя дѣянія Гяура и угрызенія его совѣсти. Чего не могло случиться въ невѣдомыхъ дебряхъ востока!... Образъ поэта становился все привлекательнѣе и таинственнѣе.

Связь частей въ поэмѣ и прерывистая форма разсказа удивительно слабы и небрежны; все говоритъ о томъ, что произведеніе писалось урывками, среди дрязгъ, заботъ и развлеченій; потомъ, съ каждымъ новымъ изданіемъ, оно пересматривалось, дополнялось, къ шестому изданію удвоилось размѣрами, но и въ

окончательномъ видѣ поражаетъ фрагментарностью. Новый другъ Байрона, Роджерсъ, незадолго передъ тѣмъ выпустилъ поэму „Columbus“, изображавшую открытіе Америки и пророческое видѣніе о будущихъ ея судьбахъ; свой сюжетъ онъ обработалъ въ рядѣ отрывковъ, увѣряя, будто нашелъ ихъ въ такомъ видѣ въ старой испанской рукописи и только перевелъ. Почему-то этотъ пріемъ приглянулся Байрону, и отрывочность повѣствованія дошла у него до такой крайности, когда развитіе сюжета можетъ быть понято лишь съ постояннымъ комментаріемъ. Послѣ прекраснаго вступленія, изложеннаго отъ лица автора, идетъ чей-то разсказъ о событіяхъ, составляющихъ канву поэмы; очень смутно намѣчено, что разсказчикъ—бѣдный рыбакъ съ береговъ Эгинскаго залива, случайный свидѣтель ужасныхъ дѣлъ. Притаившись у челнока, онъ, конечно, могъ видѣть скачущаго во весь опоръ Гяура и негодяевъ, бросившихъ въ воду женщину, но не былъ же онъ вездѣсущимъ и не могъ знать того, что̀ происходило потомъ въ домѣ Гассана, и въ ущельѣ, гдѣ мѣткая пуля Гяура положила на мѣстѣ его врага, и снова у Гассана, гдѣ мать тщетно ждетъ его возвращенія. Этого мало,—безъ оговорокъ дѣйствіе вдругъ переносится черезъ шестилѣтній промежутокъ въ греческій монастырь, и разсказъ возобновляется отъ чьего-то лица, задающаго одному монаху вопросъ: „Кто этотъ одиноко стоящій *калугеръ* (старецъ)?“ Снова передъ нами рыбакъ, узнавшій въ „старцѣ“ Гяура,—но, нѣсколько десятковъ строкъ спустя, мы уже слышимъ предсмертныя признанія героя одному изъ старшихъ монаховъ. Очевидно, мелочи техники казались излишними при страстномъ тэмпѣ работы, который, какъ свидѣтельствуетъ Муръ, мѣстами отразился и на внѣшности рукописи, исписанной бѣглыми, спѣшными, неразборчивыми строками. Воображеніе неслось впередъ, и перо едва успѣвало закрѣплять его образы на бумагѣ.

Но, при всей отрывочности формы, эта поэма была первой Байроновской попыткой „романтическаго разсказа“, какъ говорили въ старину; съ несравненно бо̀льшимъ правомъ, чѣмъ къ „Ч.-Гарольду“, къ ней предъявлялись требованія ясной завязки и опредѣленной характеристики, но эти требованія совсѣмъ не удовлетворялись. Личность Гяура осталась туманной, его прошлое до смерти Лейлы и убійства Гассана и послѣдующая жизнь до вступленія въ монастырь—окружены таинственностью. Очевидно, пришелецъ на востокѣ, Гяуръ кажется старику-монаху ренегатомъ, который передъ смертью кается въ измѣнѣ христіанству. Нѣтъ и намека на то, что̀ могло его побудить къ ней.

Ранніе годы, прошедшіе словно внѣ времени и пространства, дали ему „много разочарованій въ дружбѣ, любви и радостяхъ"; не они ли привели его къ мысли схоронить себя среди мусульманской жизни? Но вотъ онъ впервые сильно и счастливо полюбилъ. Черкешенка Лейла хочетъ бѣжать съ нимъ изъ гарема въ одеждѣ „грузинскаго пажа"; она схвачена, казнена,—онъ отмстилъ за нее. Съ той поры тоска преслѣдуетъ его. Когда она вызываетъ передъ нимъ образъ Лейлы и напоминаетъ ему, что любимая женщина погибла изъ-за него,—реальность этихъ мукъ захватываетъ читателя; но когда она ведетъ несчастнаго, послѣ его утраты, къ озлобленной преступности, къ ряду убійствъ, отъ которыхъ гибнутъ неповинные передъ нимъ люди, когда онъ повидимому дѣлается бандитомъ, а съ другой стороны, когда его сердце обвивается ядовитыми змѣями рефлексіи и самоистязанія,—недочеты психологіи и мелодраматическія преувеличенія поражаютъ, особенно теперь, на большомъ отдаленіи отъ эпохи.

Но когда указываешь на слабыя стороны этой поэмы и стараешься съ спокойной объективностью произвести неизбѣжный анализъ, чувствуешь не разъ, съ какимъ разсудочнымъ холодомъ подходишь къ тому, что̀ въ сотнѣ мѣстъ полно горячей и искренней поэзіи. Большое вступленіе къ „Гяуру"—само по себѣ одно изъ украшеній Байроновской живописи природы; это—роскошное описаніе Греціи, благословенной страны, царства боговъ,—и въ то же время—совершенно въ духѣ историко-политическихъ оцѣнокъ „Гарольда"—рѣзкій протестъ противъ тиранніи, доведшій чудный край до летаргическаго сна:

Such is the aspect of this shore;
'T is Greece, *but living Greece no more*!

Это вступленіе — въ сущности законченное лирическое изліяніе, лишь внѣшнимъ образомъ связанное съ поэмой. А въ ней самой сколько вдохновенныхъ мѣстъ, которыя то-и-дѣло вспыхиваютъ во время разсказа, точно яркія искры: то восторженное описаніе красоты Лейлы, то живо представившаяся поэту смѣна чувствъ у старой мусульманки, матери Гассана, когда она прислушивается къ бубенчикамъ Гассановыхъ верблюдовъ, ждетъ сына, готовитъ ему встрѣчу,—и слышитъ вѣсть о томъ, что его убили,—то безконечныя и все-таки захватывающія своею задушевностью, предсмертныя воспоминанія Гяура о его подругѣ и пластически-яркій разсказъ его о томъ, какъ въ его галлюцинаціи она пришла къ нему на послѣднее свиданіе. Въ тонѣ *этихъ* воспоминаній дѣйствительно отгадываешь пережитое поэтомъ,

изъ недавнихъ его утратъ или разставаній *навѣки* перенесенное въ оріентальную обстановку и мрачную, вымышленную драму. Такого лиризма не вычитаешь, его нельзя заимствовать,—и старанія нѣмецкаго автора диссертаціи о „Гяурѣ“ [1]), со всѣми его ссылками и справками изъ двухъ Вальтеръ-Скоттовскихъ поэмъ, „Rokeby“ и „Marmion“, не привели къ правдоподобной генеалогіи Байроновскаго произведенія.

Очарованіе, вызванное „Гарольдомъ“, усилилось послѣ появленія новой поэмы, хотя оттѣнокъ былъ уже иной. Если „Гарольдовъ плащъ“ прикрывалъ собой политическое, соціальное и личное недовольство, то „Гяуръ“ отвѣчалъ все еще не вымершимъ стремленіямъ къ чудесному, таинственному, потрясающему, и притомъ экзотическому, которыя поддерживались, бывало, романтизмомъ первой формаціи. „Гяуръ“ давалъ „any thing but reality“, волновалъ ужасами и преступленіями, плѣнялъ игрой страстей, загадочностью героя. То былъ, конечно, тоже неудачникъ, лишній человѣкъ, но „болѣзнь вѣка“ облечена была въ чужеземное одѣяніе и уносила читателя далеко за предѣлы лондонскихъ тумановъ, сплина и политическаго гнета;—въ гибкомъ и разнообразномъ дарованіи поэта-чародѣя открылась новая черта, показавшаяся необыкновенно завлекательною.

Волна, уже захватившая Байрона, понесла его дальше. Всѣ ожидали отъ него новыхъ „турецкихъ повѣстей“, — *въ четыре ночи* онъ набросалъ слѣдующую свою фантазію на восточныя темы, „Абидосскую Невѣсту“, или „Зюлейку“, какъ онъ назвалъ ее сначала. Запись въ его дневникѣ объясняетъ появленіе поэмы не желаніемъ поддержать разгорѣвшееся любопытство читающей массы, а глубокими личными причинами. „Я написалъ ее,—говоритъ онъ,—чтобы разсѣять мои мечты о ***. Еслибъ я не сосредоточился тогда на какомъ-нибудь трудѣ, я бы съ ума сошелъ, постоянно гложа свое сердце“. Но—принявшись за дѣло, чтобы заглушить грустныя воспоминанія, онъ и въ созданіи, и въ выполненіи плана поэмы пошелъ по пути, намѣченному „Гяуромъ“. Благосклонный къ нему отнынѣ критикъ „Эдинбургскаго Обозрѣнія“, находя большія красоты въ „Гяурѣ“, сожалѣлъ о склонности поэта къ „мрачнымъ и отталкивающимъ сюжетамъ“. „Абидосская Невѣста“ подтвердила это наблюденіе. Неясные намеки на разбойничество, которому предался Гяуръ съ отчаянія и изъ злобы на судьбу и людей, замѣнены профессіональнымъ пиратствомъ новаго героя, Селима. Воздухъ пропитанъ лютой враж-

[1]) Karl Hoffman, Ueber Lord Byron's „The Giaour“. Halle, 1898.

дой и кровожадностью; оба противника, старый деспотъ Джафиръ и его мятежный пріемышъ, бѣшено ненавидятъ другъ друга; схватка тѣлохранителей паши съ разбойниками превращается въ бойню, вода окрашивается кровью,—убиты и Селимъ, и Джафиръ; Зюлейка не можетъ пережить своего друга,—опять сколько мрака и ужаса!... Одна лишь нѣжность Зюлейки къ тому, кого она долго считала братомъ, быстро переходящая въ любовь и самоотверженіе, смягчаетъ трагизмъ внезапно разразившагося бѣдствія, словно осѣняетъ его ореоломъ. И, конечно, никогда еще Байронъ не рисовалъ съ такимъ тонкимъ мастерствомъ женскаго образа. Какъ „Абидосская Невѣста", по его же словамъ, первое его цѣльное и стройное произведеніе, такъ героиня поэмы—первое жизненное и, вмѣстѣ, поэтическое лицо въ ряду „Байроновскихъ женщинъ".

Но герой?.. Неужели, по заведенному обычаю, и въ немъ, какъ въ Гяурѣ, нужно искать снимка съ Байрона, отмѣчать его автобіографическое значеніе? Если для этого достаточно общаго освѣщенія порывистой, непокорной, властной натуры, пусть сойдетъ и онъ за клише съ великаго человѣка. Но для него найдется мѣсто въ другой связи художественныхъ фактовъ. Онъ—замѣтное звено въ эволюціи „байроническаго типа героевъ", образующее переходъ къ „Корсару". Трехъ дѣйствующихъ лицъ въ восточныхъ поэмахъ", Гяура, Селима, Конрада, объединяетъ—разбойничество, правда, значительно опоэтизированное по Шиллеровскому образцу. Спеціальныя изслѣдованія развитія героическаго типа у Байрона и работы по генеалогіи „Разбойниковъ" Шиллера [1]) и ихъ позднѣйшему вліянію показали, какъ мотивъ „Разбойниковъ", сначала въ англійской переработкѣ, прочтенной Байрономъ еще въ дѣтствѣ и такъ поразившей его, что онъ задумывалъ, въ 1802 г., драму „Ulric and Ilvina" съ героемъ во вкусѣ Карла Мора,—потомъ, при непосредственномъ знакомствѣ съ Шиллеровской пьесой, опредѣлилъ его своенравную наклонность къ сюжетамъ этого рода. Но пора признать, что эта наклонность была преходящимъ явленіемъ; что она, и въ художественномъ, и въ нравственномъ отношеніи, стоитъ значительно ниже другого героическаго склада, который, подъ вліяніемъ вынесенныхъ поэтомъ тяжелыхъ испытаній, смѣнилъ ее у Байрона,

---

[1]) Передѣлка другого Шиллеровскаго произведенія (Geisterseher) въ позднѣйшій періодъ повліяла на зарожденіе Байронова „Вернера". См. Karl Stöhsal, „Lord Byron's Trauerspiel: „Werner", und seine Quelle". Erlangen, 1891.

и на мѣсто Корсара (хотя бы онъ и велъ по-своему борьбу со всѣмъ общественнымъ строемъ) поставилъ *титана*, Прометея [1]).

Оставивъ Селима въ обычныхъ рамкахъ романическаго героя и возвративъ фабулѣ значеніе пламеннаго вымысла, который своимъ оріентализмомъ и небывальщиной призванъ былъ отвлечь и разсѣять думы поэта, нельзя не отмѣтить значительнаго шага впередъ, сдѣланнаго Байрономъ. Дѣйствительно, это уже не кучка красивыхъ отрывковъ, а искусно выдержанный разсказъ, съ драматическимъ движеніемъ, захватывающими неожиданностями, живыми людьми, сильными характерами. Зрительная память, развившаяся во время путешествія, такъ еще сильна, что снова вызвала яркія картины юга. Онѣ перевиты оригинальными отступленіями, сравненіями, варіаціями: то (во вступительной строфѣ) послышится вдругъ мотивъ Гётевскаго „Kennst du das Land“ (Know ye the land where the cypress and myrtle“ etc.); то отголосокъ легенды о Геро и Леандрѣ; то—эхо арабской поэзіи. Природа, люди, страсти—не британскіе подъ восточнымъ нарядомъ. Поэтъ своимъ волшебнымъ жезломъ переноситъ читателя всюду, куда захочетъ. Масса ликуетъ, поглощаетъ съ энтузіазмомъ одно изданіе за другимъ; критика побѣждена.

Байронъ уже не въ силахъ остановиться. Отзывчивая, гуманная поэзія „Гарольда“ еще дальше отодвинулась въ прошлое, хотя общественныя и политическія убѣжденія поэта ни въ чемъ не измѣнились. Соблазны успѣха, славы, честолюбія—увлекаютъ его къ невѣдомымъ берегамъ фантастическаго царства. Но *такъ* не можетъ долго продержаться это насиліе надъ собой. Еще одна, феноменальная, все затмевающая удача,—созданіе „Корсара“, и настанетъ упадокъ, отливъ. Все, что было болѣзненнаго, сумрачнаго, односторонняго, ультра-нервнаго въ принятомъ направленіи,—все это возьметъ верхъ и приведетъ по наклонной плоскости въ непостижимо таинственныя дебри „Лары“.

Но какой тріумфъ доставилъ ему „Корсаръ“; какъ засіяла въ немъ во всемъ блескѣ изумительная даровитость! Послѣ летучихъ импровизацій Байронъ выступилъ съ обширной поэмою въ трехъ пѣсняхъ, полною драматизма, выработанной тщательнѣе всѣхъ другихъ его произведеній—она написана въ тринадцать

[1]) Байрона увлекало еще въ дѣтствѣ чтеніе Эсхилова „Прометея“, и онъ признавался, что вліяніе трагедіи сохранилось въ его поэзіи навсегда. Байроновскій „Прометей“ изданъ Kölbing'омъ, „The Prisoner of Chillon and other poems“, Weimar, 1896, съ цѣнными комментаріями.

дней, 18—31 дек. 1813,—созданной, по его же свидѣтельству, *„съ особымъ увлеченіемъ,* con amore, и въ значительной степени *взятой изъ дѣйствительности"* —very much from existence.

Послѣднее показаніе слишкомъ важно; стóитъ остановиться на немъ и разъяснить вопросъ. Въ горячности его творческаго темперамента за это время нельзя сомнѣваться; все, что написалъ онъ тогда, отмѣчено ею; конечно, „Корсаръ" могъ еще сильнѣе захватить его своимъ сюжетомъ, волновать грезившимися ему лицами, рѣчами, событіями. Но гдѣ же слѣды *дѣйствительности?* Общее мнѣніе повторило тогда шаблонную догадку о связи съ личною жизнью автора. Критика до нашихъ дней обнаруживала склонность вторить подобнымъ празднымъ догадкамъ. Полезно будетъ прислушаться, въ виду этого, къ важному свидѣтельскому показанію. Вотъ что говорилъ, умно и энергично возставая противъ всѣхъ такихъ пересудовъ, Вальтеръ-Скоттъ, тонко изучившій Байрона, какъ поэта и человѣка, и одаренный большою терпимостью къ его убѣжденіямъ, которыя онъ далеко не раздѣлялъ. Посмѣявшись надъ тѣми, кто ищетъ полнаго сходства автора и героя,—и кто, стало быть, долженъ придти къ подозрѣнію въ тайномъ пиратствѣ Байрона,—В.-Скоттъ допускаетъ, однако, что поэтъ приписывалъ нѣкоторыя, часто совсѣмъ внѣшнія свои примѣты созданнымъ имъ лицамъ. По его мнѣнію, „эту склонность можно объяснить разнообразными причинами: меланхолическимъ душевнымъ складомъ, находящимъ особое удовольствіе въ вымышленныхъ положеніяхъ преступности и опасности, подобно тому, какъ иныхъ людей влечетъ бродить по самому краю пропасти, или, почти не имѣя никакой опоры, проходить надъ бездной, въ которую несется потокъ; это могло быть прихотливо придуманнымъ переряживаньемъ вродѣ того, когда человѣкъ выбираетъ себѣ для маскарада плащъ, кинжалъ и потайной фонарь какого-нибудь bravo,—или, зная за собой большое мастерство въ изображеніи мрачнаго и ужасающаго, Байронъ въ своемъ рвеніи принималъ на себя точное подобіе описываемыхъ характеровъ, какъ актеръ, который выступаетъ на сценѣ въ одно и то же время съ чертами подлинной своей личности и въ образѣ трагическаго героя, чья роль на него возложена".

Необходимо же, однако, отдѣлить въ „Корсарѣ" правду отъ вымысла. „Сюжетъ поэмы происходитъ на островѣ пиратовъ, *населенномъ созданными мною лицами* (my own creatures); вы можете себѣ представить, сколько бѣдъ они надѣлали на протяженіи трехъ пѣсенъ",—такъ шутливо рекомендовалъ Байронъ

поэму, посылая ее издателю. Не только Сеидъ-паша или разбойники и эсаулы Конрада, не только обѣ героини, Мэдора и Гюльнара, но и самъ Конрадъ—*созданныя имъ* лица; поэтъ ни видѣлъ ихъ, ни слышалъ о нихъ разсказы. Что касается, въ частности, Конрада,—преступное его ремесло могло бы служить, говоря съ В.-Скоттомъ, маскараднымъ плащомъ, но подробно очерченныя душевныя его свойства рѣшительно разъединяютъ его съ поэтомъ,—и прежде всего ненависть къ людямъ—„онъ слишкомъ ненавидѣлъ людей, чтобы чувствовать раскаяніе". Байрона всегда возмущалъ упрекъ въ мизантропіи, побудившей его подъ конецъ жизни съ горечью воскликнуть: „Зачѣмъ приписываете вы мнѣ человѣконенавистничество? Оттого ли, что *вы* меня ненавидите, а не я васъ?" Упрекъ этотъ въ значительной степени опирается на характеристику Конрада. Но ее нельзя назвать неосторожною, давшею врагамъ автора орудіе противъ него,—вѣдь въ предисловіи, какъ будто предвидя выводы этого рода, онъ сильнѣе прежняго разобщаетъ свои творческіе образы съ личною жизнью,—и, стало быть, былъ вполнѣ воленъ обрисовать Конрада, какъ существо, внѣ его стоящее. Но черты реальныя, личныя, все-же проникли въ вымыселъ. Хотя Конрадъ жестокъ, суровъ,—самъ сознаетъ, что онъ негодяй (a villain), хотя за нимъ „одна добродѣтель и тысяча преступленій", но одно чувство смягчаетъ, облагораживаетъ его,—любовь. Его привязанность къ Мэдорѣ, мечты о ней во время пиратскаго набѣга, внезапный чувственный капризъ, сблизившій его съ Гюльнарой, и отчаяніе, овладѣвшее имъ, когда измученной тоскою и разлукою Мэдоры не стало,—давали поэту просторъ для личныхъ признаній. Тутъ былъ и возвратъ къ неудачной юности, „когда дурныя страсти научили менѣе цѣнить ту, которая искренно любитъ, чѣмъ ту, что послушна его волѣ",—и полныя раскаянія воспоминанія о разставаніяхъ, подобныхъ прощанію съ Мэдорой, когда безконечная нѣжность и самоотверженіе любящей женщины принимались какъ что-то привычное и должное,—и воскрешавшее терзанія Байрона, изъ-за утраты Тирзы и другихъ, глубоко подѣйствовавшихъ сердечныхъ разочарованій,—неутѣшное горе Конрада надъ недвижимымъ, холодно прекраснымъ трупомъ той, кого онъ не умѣлъ цѣнить. Авторъ во-время спускаетъ занавѣсъ, не говоря о дальнѣйшей судьбѣ героя. Конрадомъ завладѣваетъ неотвязная мысль, онъ безслѣдно скрывается,—но онъ все-же далъ поэту грустную отраду пережить былое, вложить въ вымыселъ свою исповѣдь.

Въ *такихъ* предѣлахъ „Корсаръ" написанъ—„very much from

existence". Шагъ дальше, или въ сторону,—и начнется вымучиваніе изъ поэмы желанныхъ доказательствъ „дэмонизма" Байрона, о которомъ заговорили тотчасъ вслѣдъ за ея появленіемъ, приводя, между прочимъ, какъ аргументъ, два, три неловкихъ выраженія и т. п., чтò вызвало въ Байронѣ тогда же ироническую догадку о лежащей въ основѣ этихъ пересудовъ *женской* сплетнѣ.

Но какъ велика, сравнительно съ долею „Wahrheit", сила „Dichtung" въ этомъ произведеніи! Сжатый, быстро идущій впередъ разсказъ, драматизмъ положеній, полныхъ смѣлыми эффектами, какъ появленіе Конрада, переодѣтаго дервишемъ, въ станѣ паши, искусная мистификація, и внезапное нападеніе Конрадовой шайки,—два художественно выполненныхъ этюда женской психологіи, обособленные и своеобразные: Мэдора—вся преданность и обожаніе,—и пламенная, ревнивая, способная ради любви дойти до преступленія, до убійства, Гюльнара; наконецъ, несмотря на мелодраматическіе привѣски, окруженный сумрачной величавостью и отвагой центральный образъ; пестрота и оживленіе разбойничьей орды, пѣсня пиратовъ, и въ противоположность ей—глубоко грустная пѣсня одинокой Мэдоры; бодрая свѣжесть моря и просторъ природы, переданные въ чудныхъ описаніяхъ,—и зрѣлище разъѣдающаго унынія, на изображеніи котораго поэтъ останавливается долго, настойчиво, не щадя читателя, но не переставая дѣйствовать на его потрясенное чувство,—какое богатство красотъ!.. „Корсаръ" по истинѣ сталъ—какъ выразился тогда изумленный Мэррей—Байроновскимъ „carmen triumphale"; „въ первый же день совершился фактъ, неслыханный въ англійской книжной торговлѣ,—разошлось десять тысячъ экземпляровъ". Издатель поэмы принимается, затѣмъ, перечислять знаменитыхъ цѣнителей, выражавшихъ при немъ удивленіе и восторгъ, но прерываетъ свой перечень,—до того много именъ. И всюду „Корсару" суждено было явиться откровеніемъ Байроновской поэтической силы. Пушкинъ признавался Мицкевичу [1]), что чтеніе „Корсара" показало ему вполнѣ величіе Байрона и оживило въ немъ вѣру въ свое поэтическое призваніе; первый же результатъ байронизма самого Мицкевича, „Конрадъ Валленродъ", по мнѣнію польской критики, испыталъ сильное вліяніе „Корсара" [2]).

---

[1]) Статья о Пушкинѣ въ журналѣ „Le Globe", 1837 г., I. Ср. мою статью: „Пушкинъ и европейская поэзія", въ журн. „Жизнь", 1899, май.

[2]) Zdiechowski, „Byron i jego wiek". 1899, passim.

Но побѣдное шествіе поэта не исключало проявленій враждебности,—напротивъ, вызывало ихъ. Чѣмъ выше поднимались волны успѣха, тѣмъ злѣе становились зависть и раздраженіе въ тѣхъ литературныхъ и общественныхъ закоулкахъ и приходахъ, которые не могли перенести ни съ чѣмъ не соразмѣримаго тріумфа, отодвигавшаго ихъ привычныхъ дѣятелей въ тьму и забвеніе. Старые счеты съ авторомъ „Англійскихъ бардовъ" только съ виду замолкли; раны не зажили. Показавъ и въ прежнемъ столкновеніи съ поэтомъ способность бороться не литературными средствами, а инсинуаціями и доносами, вторгавшимися въ частную жизнь врага, соперники Байрона поспѣшили взять въ руки орудіе, которое онъ же далъ имъ противъ себя. Къ изданію „Корсара" было приложено небольшое стихотвореніе,—всего въ два куплета,—озаглавленное такъ: „To a young lady weeping". Они были написаны за два года передъ тѣмъ, въ 1812 г., стало быть, въ разгаръ славы „Гарольда", и напечатаны въ газетѣ безъ подписи; авторъ, съумѣвшій сохранить анонимность, не былъ узнанъ, и стихотвореніе было приписано молвою Томасу Муру, имѣвшему уже репутацію политическаго вольнодумца съ окраской ирландскаго патріотизма. Байрону почему-то захотѣлось снять маску и подъ прикрытіемъ „Корсара" признать эту вещицу, всего въ 8 стиховъ, своею собственностью. Но „плачущая женщина", къ которой поэтъ обращался, была принцесса Шарлотта, и желаніе, чтобъ она своими слезами искупила грѣхи и пороки отца, мѣтило прямо въ ненавистнаго Байрону принца-регента [1]). Предлогъ для протестовъ противъ оскорбленія главы государства „безстыднымъ и вольнодумнымъ" поэтомъ былъ найденъ, и по всей консервативной печати пролился потокъ этихъ протестовъ—въ прозѣ, и въ особенности въ стихахъ. Байронъ былъ изумленъ тѣмъ, что „какихъ-нибудь *восемь* строкъ породили *восемь тысячъ* строкъ стихотворныхъ проклятій и ругательствъ". Но и этого похода было мало; написанъ былъ пасквиль „Anti-Byron", въ которомъ собраны были и прежнія его дѣянія, и новыя вольности его поэмъ, выставляемыя верхомъ цинизма, безнравственности, либерализма и безбожія. Черезъ посредство Мэррея поэту удалось добыть въ рукописи этотъ доносъ; прочитавъ его, онъ посовѣтовалъ своему

---

[1]) „Я не писалъ эпиграммъ, которыя мнѣ приписываютъ,—говоритъ Байронъ въ одномъ изъ писемъ 1812 г.,—но еслибы мнѣ пришлось бросать въ кого-нибудь этими ручными гранатами, это было бы именно въ принца-регента". Байронъ демонстративно навѣщалъ въ тюрьмѣ радикала Ли-Гонта, арестованнаго за оскорбленіе принца.

издателю взять на себя его печатаніе, и разсерженъ былъ его отказомъ. Но уже стало очевидно, что въ то время, какъ масса читателей еще предавалась восторгамъ, подкопъ былъ заложенъ и поворотъ общественнаго мнѣнія подготовлялся.

Авторъ „Восточныхъ поэмъ" —политическій вольнодумецъ,— что можно было придумать несправедливѣе этого упрека! Съ каждымъ новымъ произведеніемъ онъ нарушалъ традиціи „Гарольда", и его поэзія нуждалась въ возстановленіи связей съ современностью. Другое дѣло—его интимныя убѣжденія. Письма и дневникъ говорятъ намъ, что онъ нисколько не измѣнилъ своихъ политическихъ взглядовъ. Запись въ дневникѣ 1813 г. отдаетъ рѣшительное предпочтеніе республиканской формѣ правленія, оплакиваетъ кратковременность существованія англійской республики и доходитъ до лирическаго восклицанія: „быть первымъ въ народѣ,—не диктаторомъ, не Суллой,—но Вашингтономъ, или Аристидомъ,—руководителемъ жизни въ силу справедливости и опираясь на талантъ,—участь, равняющая человѣка съ божествомъ!" Если, наоборотъ, въ дневникѣ 1814 г. встрѣчается выходка, утверждающая, будто поэтъ „упростилъ свою политику рѣшительнымъ презрѣніемъ ко всѣмъ правительствамъ", и что онъ, „какъ только была бы провозглашена повсемѣстная республика, способенъ превратиться въ защитника единоличнаго деспотизма", —она является однимъ изъ тѣхъ парадоксовъ, которые, особенно въ минуты тяжелаго раздумья и разочарованія, вырывались у него, совершенно вразрѣзъ съ его поступками и неизмѣнными убѣжденіями. Иное дѣло—такой, тоже интимный, отзывъ: „Свобода,—я ея не знаю, нигдѣ я ея не видѣлъ"... Опытъ и наблюденія всей его молодости научили его среди всеобщаго застоя этой печальной истинѣ; онъ видѣлъ къ тому же, что, съ крушеніемъ Наполеона и насажденіемъ „добрыхъ сѣмянъ" въ избавленной отъ него Европѣ, еще болѣе понизится значеніе того начала, которое онъ привыкъ считать величайшимъ благомъ. Въ побѣдахъ европейской коалиціи онъ видѣлъ торжество реакціи; вступленіе союзныхъ войскъ въ Парижъ обозвалъ рѣзкимъ словомъ: „воры въ Парижѣ"!—the thieves are in Paris!—„какъ якобинецъ", отказался присутствовать при чествованіи Людовика XVIII въ Лондонѣ; съ горестью воскликнулъ: „итакъ, всѣ надежды на республику во Франціи рушились!"; когда же Бурбоны возвратились къ власти, „ничему не научившись и ничего не позабывъ", онъ въ негодованіи остановилъ свой дневникъ и вырвалъ остававшіяся бѣлыя страницы. Вотъ послѣдняя его запись апрѣля 19, 1814: „Бурбоны возстановлены во власти!!!

Повѣсьте же философію!.. [1]) „По истинѣ, долго я презиралъ и себя, и людей, но никогда не приходилось мнѣ плевать въ лицо ближнимъ! О, шутъ, я сойду съ ума!“ [2]).

Вольнодумства Байрона въ эту пору отрицать нельзя. Для потомства оно ясно; порукою въ томъ служатъ недоступные его современникамъ письма и дневники,—даже стихотворенія политическаго содержанія, не проникшія тогда въ печать, особенно „Поѣздка дьявола“ (The devil's drive), написанная на мотивъ изъ Кольриджа [3]), но смѣло и съ юморомъ, предвѣщающимъ „Донъ-Жуана“, освѣтившая современность „неоконченная рапсодія“. Желая развлечься, Люциферъ покидаетъ адъ, спрыгиваетъ на землю, тамъ „однимъ прыжкомъ изъ Москвы переносится во Францію“,—„но—спѣшитъ поправиться авторъ—я забылъ сказать, что когда онъ несся, онъ остановился на мгновеніе надъ полями лейпцигскаго сраженія, и сладостенъ былъ для разгорѣвшихся его глазъ видъ полей, съ наслажденіемъ смотрѣлъ онъ на покраснѣвшую отъ крови землю, и, дико захохотавъ, промолвилъ: „Кажется, здѣсь не очень нуждаются въ *моей* помощи!“ Отъ картинъ недавней битвы, отъ грудъ труповъ, дьяволъ отрывается, чтобъ очутиться, наконецъ, въ Англіи, пролетѣть по лондонскимъ улицамъ, войти въ парламентъ и осмѣять бездарныхъ и ничтожныхъ владыкъ и вождей политическаго міра. Всюду желчная иронія, рѣзкій смѣхъ... Но эти выраженія мнѣній поэта были закрытою грамотой для читателей и критики. Извлечь же доказательства вольнодумства изъ восточныхъ поэмъ съ ихъ чужеземными сюжетами, загадочными героями, кипучими страстями и ужасными злодѣяніями—можно только при умѣньѣ читать въ сердцахъ и извращать печатную строку, пока она не обнаружитъ желаемаго смысла.

Такое же чтеніе въ сердцахъ и навязываніе вымышленныхъ намѣреній привело къ другому извѣту,—въ безнравственности и атеизмѣ. Но даже правовѣрный „Christian Observer“, порицая поэта за то, что онъ своихъ героевъ беретъ то изъ Ньюгэта (тюрьмы), то изъ Бедлама (дома сумасшедшихъ), призналъ тогда, что онъ никогда не изображалъ своихъ негодяевъ и изверговъ счастливыми, а напротивъ, надѣлялъ ихъ невыносимыми терзаніями и раскаяніемъ. Такимъ образомъ, устранялось подозрѣніе въ проповѣди двусмысленной морали. Быть можетъ, однако,

---

[1]) „Ромео и Юлія“, актъ III, 3.

[2]) „Король Лиръ“, II, 4.

[3]) „Die englische Romantik u. Sam. Taylor Coleridge“, v. Alois Brandl. 1886.

должно было остаться въ силѣ порицаніе симпатій стихотворца къ мотиву борьбы съ обществомъ, хотя бы она и велась подъ флагомъ разбоя. Но чопорность въ такомъ вопросѣ была бы не къ лицу поколѣніямъ читателей и зрителей конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, привыкшимъ, благодаря Шиллеру и нѣсколькимъ второстепеннымъ поэтамъ, къ разбойничьимъ сюжетамъ въ романѣ и драмѣ; *личной* виновности Байрона тутъ нельзя было доказать. Что же оставалось за вычетомъ нелегальности героевъ и ихъ кающагося, психопатическаго состоянія? Повѣсть любви, тонко очерченная женская психологія, красивая этнографія, картины природы. Сколько нужно было коварства для того, чтобы *такую* поэзію выставить безнравственной и опасной!

Поклонниковъ Байрона очень опечалило заявленіе, сдѣланное имъ при выпускѣ въ свѣтъ „Корсара“: это—его послѣднее произведеніе, на много лѣтъ онъ воздержится отъ литературной дѣятельности. То же рѣшеніе высказано имъ было во многихъ письмахъ того времени. По мѣрѣ того, какъ ожесточались нападки и клеветы, а хроническое возбужденіе нервной системы вѣчно взволнованною жизнью подрывало силы,—рѣшеніе это крѣпло, и являлось сознаніе невозможности и безцѣльности работы. Опять хотѣлось уйти куда-нибудь,—на этотъ разъ въ Италію; приглашая съ собою друзей, Байронъ сбирался „въ южномъ *Раю* написать *свой Адъ*“, пересказавъ все, что пришлось за послѣднее время пережить. По временамъ у него уже поднималось желаніе обличительнаго изображенія окружающаго общества; по свидѣтельству дневника 1813 г., онъ оставлялъ поэмы, для того, чтобы писать *комедію* и *романъ*, но обѣ работы были прерваны,—потому что были „слишкомъ близки къ жизни, и много людей могли бы себя узнать“, и потому что охота къ труду была парализована.

На душѣ было тяжело; въ дневникѣ встрѣчаются записи, говорящія о подавленномъ состояніи; одна изъ нихъ набросана наскоро утромъ, послѣ пробужденія отъ страшнаго сна, вызвавшаго тѣнь умершей женщины: „Какой сонъ!.. Ей не удалось овладѣть мною!.. Но я хотѣлъ бы, чтобъ мертвецы мирно покоились!.. О, какъ стыла моя кровь!.. Я никакъ не могъ проснуться“, —и ему вспоминаются слова Ричарда III-го, пробуждающагося послѣ ночи страшныхъ видѣній. Нервы были настолько плохи, что даже сильныя эстетическія впечатлѣнія вызывали у него судорожные припадки—такъ было однажды въ театрѣ послѣ потря-

сающей игры Кина. Все волновало, жалило, возмущало,—частыя разочарованія въ любви, уколы литературной зависти и матеріальныя затрудненія. Печатаніе поэмъ не приносило выгодъ, потому что доходъ съ нихъ Байронъ предоставлялъ въ распоряженіе то того, то другого изъ нуждающихся или временно стѣсненныхъ своихъ товарищей по перу, — напр., одного изъ ветерановъ англійскаго радикализма, Годвина, когда-то извѣстнаго автора „Политической справедливости", теперь старѣвшаго и опускавшагося. Не барство, какъ думали многіе, а гуманность заставляла его уклоняться отъ гонорара; готовность его активно помочь въ нуждѣ дошла до полнѣйшаго своего выраженія въ великодушной поддержкѣ, оказанной имъ въ болѣзненный періодъ „Корсара" и „Лары" одному изъ старыхъ товарищей. Годгсонъ рѣшительно не сходился съ нимъ во взглядахъ, настойчиво пытался его переубѣдить въ вопросахъ религіи, получалъ отъ него письма, полныя сарказмовъ,—но безденежье помѣшало его браку; онъ уже отказывался отъ счастья, и былъ растроганъ, получивъ, безъ всякой своей просьбы, отъ Байрона крупную сумму въ 1.500 фунтовъ. Мнимый мизантропъ и закоснѣлый эгоистъ занесъ только въ дневникъ краткую замѣтку о томъ, что „ему удалось сдѣлать счастливымъ одного человѣка". Но щедрость не улучшала личныхъ дѣлъ Байрона, запутанныхъ со временъ студенчества и путешествія, и, конечно, не поправившихся во время „жизни подъ высокимъ давленіемъ"... „Кумиръ лондонскаго свѣта" томился заботами и денежными дрязгами.

Выработанный имъ въ видахъ здоровья, а еще болѣе въ интересахъ эстетики,—чтобъ не дать развиться полнотѣ,—режимъ вегетаріанства и сложныхъ физическихъ упражненій не давалъ достаточныхъ силъ для житейской борьбы. Поддерживать организмъ должны были возбуждающія средства; тогда это было въ ходу среди англійской молодежи, и если Байронъ не дошелъ, подобно даровитому, но загубившему себя Томасу Де-Квинси, до такихъ излишествъ, какія описаны были этимъ несчастнымъ въ извѣстныхъ „Признаніяхъ курильщика опіума" [1]), то былъ на пути къ нимъ; болѣзненные симптомы, испугавшіе впослѣдствіи его жену вскорѣ послѣ брака, въ значительной степени подготовлены были въ описываемую пору.

Это сложное патологическое состояніе послужило тою почвой, на которой возникло, словно вопреки волѣ поэта, слѣдующее его

[1]) „Confessions of an opium eater, being an Extract from the life of a scholar". 1821.

произведеніе, „Лара". Зарокъ былъ данъ не писать и не печатать ничего больше. Выпустивъ анонимно „Оду къ Наполеону", Байронъ объяснялъ это нарушеніе клятвы выходящимъ изъ ряду вонъ политическимъ событіемъ, и нѣсколько казуистическимъ аргументомъ, что относительно анонима не было зарока. Дѣйствительно, Байрону трудно было сохранить молчаніе при видѣ того, что̀ должно было измѣнить судьбы всей Европы; событія отъ взятія Парижа и удаленія Наполеона на Эльбу до разгрома при Ватерлоо встрѣчены были имъ съ различными оттѣнками чувствъ и тревогой, сказавшимися—и въ „Одѣ къ Наполеону",—и въ нѣсколькихъ стихотворныхъ отвѣтахъ на злобу дня, изъ предосторожности снабженныхъ оговоркой: „from the french" (съ французскаго),—и въ замыкающей эту серію одѣ, вызванной ватерлооскимъ сраженіемъ. Первое изъ этихъ произведеній полно укоризнъ тирану и узурпатору, радости при видѣ его паденія; Байронъ, не чуждый извѣстной слабости къ Наполеону, находилъ теперь, что онъ со сцены не съумѣлъ сойти съ достоинствомъ. Но когда союзники восторжествовали, въ немъ взяло верхъ сознаніе, что поверженъ все-же сынъ революціи, а торжествуютъ носители мрака,—и послѣдняя ода уже полна состраданія...

Но поэмы несомнѣнно включались въ зарокъ Байрона, и вдругъ въ любезномъ письмѣ къ Роджерсу, съ выраженіями благодарности за присылку рукописи его поэмы „Jacqueline", полной, по словамъ Байрона, изящныхъ и нѣжныхъ картинъ, столь свойственныхъ его таланту,—пишущій прибавляетъ, что въ отвѣтъ посылаетъ ему свое новое произведеніе, въ которомъ, наоборотъ, отразилась склонность *его* дарованія къ ужасному и мрачному; прилагая къ себѣ выраженіе Макбета въ пятомъ дѣйствіи трагедіи, Баронъ говоритъ, что въ своей поэмѣ „вдоволь насытился ужасами" (supped full of horrors). И эту мрачную импровизацію (какъ мы узнаемъ изъ другого его показанія) онъ написалъ въ самое шумное, безпорядочное время своего лондонскаго житья, когда, возвращаясь изъ свѣтскаго собранія, или одѣваясь для маскарада, набрасывалъ свои стихи...

Связей у „Лары" съ дѣйствительностью нѣтъ вовсе. Байронъ выразился какъ-то, что въ этой поэмѣ, несмотря на испанское имя героя, дѣйствіе „происходитъ не въ Испаніи, а скорѣе всего на лунѣ". Дана только въ самыхъ общихъ чертахъ рыцарская обстановка, феодалы, вассалы, за̀мки, турниры. Неопредѣленность всюду, и въ фабулѣ, и въ характерѣ героя. Критика, расположенная къ Байрону, но желающая сознательно изучить его произ-

веденіе, теряется передъ множествомъ вопросовъ, такъ и остающихся открытыми. Зачѣмъ ушелъ Лара когда-то на чужую сторону и скрывался тамъ?—спрашиваетъ она.—Совершилъ ли онъ въ молодости такой поступокъ, который онъ не могъ оправдать ни передъ собой, ни передъ судомъ другихъ людей? Почему онъ потомъ вернулся на родину? Оттого ли, что надъ нимъ тяготѣло новое преступленіе, совершённое во время его скитаній? Нельзя ли понять запутанное сцѣпленіе событій въ такомъ смыслѣ, что Лара когда-то вырвалъ силою дѣвушку, слѣдующую за нимъ всюду въ одеждѣ пажа, изъ рукъ враждебныхъ ему родныхъ, или постылаго жениха, или владыки вродѣ паши Сеида, и что таинственный Эццелинъ хочетъ покарать его за это, а Лара избавляется отъ тягостнаго обличителя, убивъ его [1])? Съ другой стороны, еще Джефри старался найти выходъ изъ недоумѣнія, принимая „Лару“ за продолженіе „Корсара“. Послѣ смерти Мэдоры, Конрадъ пропадаетъ безъ вѣсти, съ тѣмъ, чтобы всплыть на поверхность уже въ своей родной странѣ, подъ настоящимъ своимъ именемъ, и замѣнить разбойничье ремесло ролью феодальнаго владѣльца. Такой выходъ, конечно, многое упростилъ бы, но Байронъ ни однимъ словомъ не указалъ даже близкимъ людямъ на то, что ему захотѣлось прослѣдить дальнѣйшую судьбу только-что покинутаго имъ героя. Приходится счесть „Лару“ кошмаромъ, пригрезившимся поэту подъ сложнымъ вліяніемъ житейскихъ невзгодъ и ипохондрическихъ настроеній, удивлявшихъ его самого, когда они проходили. Въ болѣе свѣтлыя минуты онъ шутливо относился къ своему творенію, переполненному мракомъ. Когда „Лара“ явился вмѣстѣ съ поэмой Роджерса въ одной книгѣ, Байронъ часто обозначалъ ихъ обоихъ подъ уменьшительными именами; въ его перепискѣ они живутъ подъ кличками: *Larry* и *Jacquy*; въ эти минуты Ларри какъ будто казался ему отбившимся отъ остальной группы его героевъ зловѣщимъ созданіемъ, натворившимъ чрезмѣрное количество злодѣяній. Въ самой цитатѣ изъ „Макбета“, гласящей буквально, что онъ до пресыщенія поужиналъ ужасами, также какъ будто чувствуется ироническое отношеніе къ тому, до чего довела поэта его фантазія.

Безъ повтореній нельзя было обойтись. Снова тянется передъ читателемъ знакомая печальная повѣсть рано испорченной души, отравленной еще въ безпомощные годы, преданной, благодаря одиночеству и сиротству, всевозможнымъ соблазнамъ,—обыч-

---

[1]) Kraeger, „Byr. Heldentypus“, S. 41.

ный автобіографическій и покаянный мотивъ, вводившійся тогда Байрономъ въ его фабулы. Потомъ идетъ также знакомая внѣшняя характеристика героя: онъ вѣчно въ сторонѣ отъ людей, съ печатью глубокой меланхоліи на челѣ; какъ Печоринъ, унаслѣдовавшій эту черту отъ него, онъ могъ смѣяться губами, въ то время какъ глаза его не смѣялись:

That smile might reach his lip, but pass'd not by,
None e'er could trace his laughter to his eye.

Душа его мрачна. На совѣсти его какъ будто нѣтъ душегубства, какъ ремесла. Ожесточенное и мстительное отношеніе къ людямъ, подробнѣе чѣмъ когда-либо, мотивировано вынесенными разочарованіями и обманами; зато муки совѣсти мелодраматически сосредоточены на какомъ-то одномъ неслыханномъ и страшномъ преступленіи. Память о немъ гонится за злодѣемъ всюду, удручаетъ его галлюцинаціями; стѣны его замка, увѣшанныя реликвіями его семьи, дышатъ преступностью, напоминаютъ былые ужасы, совершённые его предками и предопредѣлившіе его грѣхи. Грозное видѣніе, явившееся ему ночью, вызываетъ бредъ наяву, борьбу, вопли, обморокъ, похожій на смерть. Но необузданная, мстительная натура не смиряется этими терзаніями отравленной совѣсти. Эццелинъ загадочно погибаетъ въ тотъ самый день, когда всенародно долженъ былъ изобличить Лару; вступившійся за отсутствующаго рыцарь Отонъ повергнутъ Ларой въ бѣшеномъ поединкѣ на землю и тяжко раненъ. Всюду оставляетъ за собой слѣдъ крови, злобы и преступленія герой, освѣщенный фосфорическимъ свѣтомъ „дэмонизма".

Вторая пѣснь поэмы вводитъ новыя черты въ знакомый образъ великаго грѣшника. Развязка его жизни близится, но разыграется она не среди разбоя или грабежа, и не на дуэли,—а въ неожиданной обстановкѣ народнаго возстанія противъ тиранній феодаловъ. Возстаніе это лишено реальности, описанію его развитія недостаетъ живости и яркости; холодность красокъ поражаетъ у поэта, котораго, казалось, послѣ прежнихъ симпатій къ народной борьбѣ за вольность, должна бы электризовать подобная тема. Во главѣ возставшихъ становится Лара, но имъ руководитъ не любовь къ свободѣ, и онъ поддерживаетъ требованія толпы только для того, чтобы сломить гордыню ненавидящей его знати; потомокъ крѣпостниковъ, онъ принимаетъ на себя роль демагога. Авторъ уже отмѣтилъ въ немъ роковую, гипнотическую способность завладѣвать душою тѣхъ, кого судьба близко сведетъ съ нимъ; эта власть проявляется теперь надъ толпой.

Все, дотолѣ разсказанное и описанное, дѣйствительно могло произойти „на лунѣ“, или въ страшной „зимней сказкѣ“; художественной силѣ разсказчика негдѣ было проявить себя. Но съ той минуты, когда смертельно раненый Лара, обливаясь кровью, разстается съ своею грѣховною жизнью, эта сила возвращается къ поэту и заканчиваетъ блѣдное произведеніе удивительно задушевными, трогательными строфами. На изнуреннаго судьбою Лару нисходитъ наконецъ покой. Передъ нами несчастный страдалецъ, котораго покинули злые духи мести, властолюбія и самоуправства. Свѣтлыя воспоминанія о далекомъ прошломъ, прожитомъ *на востокѣ*, манятъ и утѣшаютъ его. О нихъ онъ шепчется съ загадочнымъ своимъ спутникомъ, пажомъ Каледомъ, пришельцемъ изъ тѣхъ дальнихъ странъ; о нихъ идетъ его тихая рѣчь на понятномъ лишь Каледу чужеземномъ языкѣ; о нихъ говорятъ долгіе прощальные взгляды, которыми обмѣнялись они передъ послѣдней разлукой. Вмѣсто дикой агоніи, которую для развязки могъ бы внушить мелодраматизмъ, примиряющее впечатлѣніе затишья душевной боли вызываетъ невольную симпатію къ умирающему; она почуетъ въ немъ, пожалуй, опять неудачника, испорченнаго жизнью, но стоившаго лучшей участи. Склонившійся надъ нимъ съ безконечной нѣжностью пажъ подтверждаетъ это своей привязанностью. До послѣдней минуты поэтъ хранитъ его тайну, и только когда Лары не стало, при видѣ неутѣшнаго горя юноши, даетъ разгадку—всего въ двухъ, трехъ словахъ: „Что̀ значитъ теперь *для нея* и женственность, и людская молва!“—и характеръ „Каледа“ украсилъ собою галерею Байроновскихъ героинь.

Впечатлѣніе, произведенное поэмой, могло быть лишь двойственнымъ. Красоты послѣднихъ строфъ плѣняли; меланхолія личныхъ изліяній, введенныхъ въ характеристику героя, вызывала, какъ и прежде, извѣстное настроеніе. Но недостатки дѣйствовали сильнѣе. Любимыхъ картинъ восточной природы и быта не было. Избытокъ „ужасовъ“, возроставшій отъ поэмы къ поэмѣ, начиналъ удручать; безсмѣнная центральная фигура съ печатью Каина, демоническими страстями и уголовнымъ прошлымъ, обличала въ авторѣ болѣзненную манію. Наконецъ, все разроставшаяся сплетня нашла въ тѣхъ мѣстахъ поэмы, гдѣ слышался ей слишкомъ явно голосъ самого автора, новыя доказательства своей правоты, утверждала, что Лара — вѣрнѣйшій портретъ поэта, безцеремонно навязываемый имъ читателямъ, и негодовала на развращенность и безстыдство. А въ немъ, каждый разъ, какъ до него доходили эти негодующіе пересуды, поднималось

желаніе еще болѣе изумить и испугать толпу намеками на свою душевную черноту; „мнѣ кажется, люди въ массѣ любятъ, когда имъ противорѣчатъ“,—писалъ онъ въ 1814 г. (Letters, III, 26), а В.-Скоттъ съ большою наглядностью изображалъ ходъ такихъ мыслей въ своемъ другѣ: „А! вы отворачиваетесь отъ меня, какъ отъ порочнаго человѣка,—говоритъ современникамъ Байронъ,—подождите же, вы услышите отъ меня рѣчи еще страшнѣе прежнихъ“. Это была во всякомъ случаѣ игра съ огнемъ. У этой странной потѣхи скоро явилась печальная развязка.

Въ письмахъ 1813—15 годовъ много грусти и недовольства собой. Несчастная, въ замужествѣ м-ссъ Мэстерсъ, когда-то *его Мэри* Чэвортъ, своими посланіями возбуждаетъ въ немъ печальныя воспоминанія; теперь она называетъ его „своимъ дорогимъ другомъ“, говоритъ о былыхъ дняхъ, какъ о „счастливѣйшихъ во всей ея жизни“, увѣряетъ, что „часто вспоминаетъ и жалѣетъ о нихъ“. Онъ ѣдетъ отыскивать ее въ провинціи и переживаетъ тяжелыя минуты. Въ другой разъ онъ исчезъ изъ Лондона, чтобъ убить время сначала въ напряженныхъ физическихъ упражненіяхъ, потомъ въ пирахъ съ веселой братіей „за кларетомъ и шампанскимъ съ 6 часовъ вечера до 5 утра“. Подъконецъ онъ пересталъ показываться въ обществѣ. Въ особенности его утомляло и раздражало поклоненіе женщинъ, соперничество ихъ изъ-за него; поднималось желаніе покоя и—домашняго очага. Взоръ ищетъ привѣтливаго, искренняго лица и не встрѣчаетъ его. „Я исправлюсь, я женюсь,—если только кто-нибудь захочетъ взять меня“,—*такія* рѣчи слышатся теперь отъ него... Но кто же будетъ избранницей? Можно ли повѣрить его опасенію холодности и равнодушія къ его брачнымъ планамъ?

Одна изъ свидѣтельницъ его тогдашней свѣтской жизни, m-rs Piozzi, говоритъ, что его обаяніе на женщинъ было еще необыкновенно сильно: „еслибъ только онѣ узнали, что онъ ищетъ себѣ жену, ему бы стоило платокъ бросить“... Иногда онъ втолковывалъ себѣ, что въ подобномъ дѣлѣ личность безразлична. „Я женюсь,—пишетъ онъ Муру,—*мнѣ все равно на комъ*“. Но на него можно также и вліять. Муръ, встревоженный безпросвѣтной меланхоліей его писемъ, является неожиданно въ роли свата, настаиваетъ на томъ, чтобъ онъ сдѣлалъ предложеніе дѣвушкѣ, которая за послѣднее время болѣе всѣхъ ему нравится,—лэди Аделаидѣ Форбсъ; Байронъ уже ищетъ воз-

можности интимнаго объясненія съ нею. Сестра Августа указала ему еще на кого-то; печально-юмористическій отвѣтъ на ея письмо воспроизводитъ сцену между молодыми людьми, въ которой Байронъ играетъ неожиданную роль смущеннаго, чуть не безсловеснаго поклонника... Въ этотъ обострившійся періодъ нерѣшительности и безволія ему вспомнился образъ существа, совсѣмъ не похожаго на столичныхъ красавицъ и модныхъ львицъ, скромно скрывающагося въ провинціальной глуши, показавшагося ему при встрѣчѣ прелестнымъ полевымъ цвѣткомъ,—Аннабеллы (т.-е. Анны-Изабеллы) Мильбанкъ.

О ней онъ давно уже слышалъ. Въ первый разъ упоминаетъ онъ ея имя еще 25 августа 1811 г., съ сочувствіемъ сообщая слухъ о томъ, что она упросила свою семью дать въ одномъ изъ деревенскихъ коттэджей пріютъ обнищавшему поэту-самородку Джозефу Блакетту, который могъ провести у нея тихо и безбѣдно свои послѣдніе дни. Мѣсяцевъ черезъ восемь послѣ того уже устанавливаются между ними личныя сношенія, и, по ироніи судьбы, виновницей ихъ знакомства и сближенія является Каролина Ламъ, не подозрѣвавшая, что сводитъ любимаго человѣка съ своей разлучницей. Лэди Каролина, по просьбѣ дѣвушки, была посредницей между великимъ поэтомъ и его скромнымъ собратомъ—новичкомъ: Аннабелла тоже писала стихи, сборникъ ихъ переданъ былъ Байрону. Второе упоминаніе о будущей женѣ есть критическій разборъ ея стихотворныхъ упражненій, занимающій собой почти все письмо къ лэди Ламъ, отъ 1 мая 1812. Онъ „со вниманіемъ прочелъ ея стихотворенія; въ нихъ видны воображеніе, чувство; „еще нѣсколько навыка, и у нея выработается гибкій слогъ“. Переходя къ частностямъ, онъ иногда расходится во вкусѣ и пріемахъ съ авторомъ, но нѣкоторыя строфы называетъ „очень хорошими“, другія (подъ условіемъ небольшихъ перемѣнъ)—даже „отличными“. Нѣтъ ли у нея еще стиховъ?—спрашиваетъ онъ, очевидно заинтересованный. „Я убѣждаюсь въ томъ, что эта дѣвушка — совершенно необычное явленіе; кто могъ бы ожидать столько силы и разнообразія въ стихотвореніяхъ при такой безмятежной внѣшности!“ Письмо заканчивается неожиданнымъ заявленіемъ: „я не имѣю желанія ближе познакомиться съ нею; она слишкомъ хорошій человѣкъ для такого *падшаго духа*,—fallen spirit,—какъ я; я бы лучше къ ней относился, еслибъ она не была такимъ совершенствомъ“.

Очевидно, они уже встрѣчались, и мимолетное впечатлѣніе было дополнено свѣтскими слухами и разсказами ея родныхъ,

чей кругъ соприкасался съ привычными Байрону лондонскими слоями. Впечатлѣніе, произведенное ею, поэтъ передавалъ впослѣдствіи Мэдвину въ такихъ выраженіяхъ: „въ миссъ Мильбанкъ было что-то пикантное; къ ней можно было приложить названіе хорошенькой. Черты ея лица были тонки и женственны, но неправильны. Сложеніе ея гармонировало съ ея ростомъ. Въ ея привычкѣ держать себя видна была своеобразная простота, сдержанность, скромность, составлявшая пріятный контрастъ съ холодной, искусственной формальностью и заученной чопорностью, которую величаютъ модой". Но это было внѣшнее впечатлѣніе, произведенное *женщиной*; за ея миловидной простотой скрывалась, однако, не наивность деревенской барышни, выросшей на волѣ, а многосторонняя даровитость, и вмѣстѣ съ литературными вкусами—даже ученость, почти переходившая въ педантизмъ. „Полевой цвѣтокъ", при ближайшемъ изученіи, превращался въ bas bleu; впослѣдствіи онъ слылъ у Байрона подъ шутливыми названіями „математической Медеи" и „принцессы параллеллограммовъ"; Аннабелла была прекраснымъ математикомъ, знала древніе языки, особенно греческій... Никогда еще Байронъ не встрѣчалъ такой женщины. Но не одною эрудиціею удивляла его дѣвушка; въ ея взглядахъ и сужденіяхъ чувствовалась искренняя религіозность, ея отношенія къ людямъ и жизни были проникнуты нравственной требовательностью и идеею долга. Старые ея родители, баронетъ сэръ Рольфъ и его жена, съ поддержкой воспитательницы и друга дома, мистриссъ Клермонтъ, выдержали свою единственную дочь въ этихъ почти пуританскихъ убѣжденіяхъ, нарочно въ сторонѣ отъ большого свѣта, куда доступъ для Аннабеллы былъ, при ея связяхъ, широко открытъ. Она берегла свою душевную чистоту, любила деревенское затишье своего Сигэма (Seaham), „служила музамъ",—зная, что тамъ, вдали, въ шумномъ и развратномъ Лондонѣ,—точно на Бэньяновской „Ярмаркѣ Суетности", кипитъ постылая ей жизнь. Какъ же не почувствовать смущенія при видѣ такихъ „совершенствъ" тому, кто пропитанъ былъ, казалось, интересами этой жизни, какъ не поникнуть головою „падшему ангелу" передъ небесною дѣвой!.. Долго потомъ чувствуется смущеніе и покаяніе въ тонѣ писемъ и дневника Байрона: *она*—такъ добра, благородна, а *я*—такъ отягченъ грѣхами!

Но крайности притягивались; по мѣрѣ того, какъ понравившійся ему сразу „контрастъ простоты и сдержанности" съ свѣтской фальшью выяснялся передъ нимъ, онъ забывалъ первоначальный отказъ отъ близкаго знакомства съ дѣвушкой. Сбли-

женіе установилось, и очень оригинальное; любви не было ни съ чьей стороны,—объ этомъ опредѣленно говоритъ Байронъ въ дневникѣ 1813 г.? „without one spark of love on either side"; было много разсудочности, интереса узнать ближе прямую свою противоположность, много запросовъ на мирныя, гармоническія впечатлѣнія. Одна изъ великосвѣтскихъ знакомыхъ миссъ Мильбанкъ, герцогиня Девонширская [1]), тщетно прочившая ее за своего сына, отказалась отъ брачныхъ плановъ съ неудовольствіемъ, находя такую молодую дѣвушку „совершенно непостижимою, холодною, точно кусокъ льда". Если это наблюденіе было вѣрно, то въ самомъ рѣзкомъ контрастѣ, какой только можно вообразить: судьбою сопоставлены были „ледъ" и „пламень". Этого мало: новѣйшія данныя, раскрывшія душевное состояніе жены Байрона во время разрыва, убѣждаютъ въ томъ, что лицомъ къ лицу стояли двѣ далеко не нормальныя, нервныя натуры, что подъ изящнымъ ледянымъ покровомъ скрывался въ дѣвушкѣ такой запасъ тревоги, мнительности, ревности, безволія, который былъ подавленъ строгой выправкой и чиннымъ воспитаніемъ, но рѣзко проявился, какъ только началась личная женская жизнь.

При пуританствѣ ея вкусовъ, Аннабеллу интересовало видѣть въ числѣ своихъ поклонниковъ перваго изъ современныхъ поэтовъ; правда, съ его славой была неразлучна преувеличенная репутація безнравственнаго и демонически опаснаго человѣка, но она не пугала, а еще болѣе влекла къ нему, и не по грѣховной прелести соблазна, но изъ-за высшихъ этическихъ цѣлей: Байронъ высказывалъ впослѣдствіи убѣжденіе, что миссъ Мильбанкъ надѣялась спасти и исправить его... Къ изяществу, учености и сердоболію, однако, присоединялась еще одна очень существенная черта,—зажиточность, если не богатство. Для человѣка, пережившаго финансовый кризисъ, печально остря надъ денежными неурядицами, „фамильнымъ недугомъ въ роду Байроновъ", подобная партія могла бы явиться спасительнымъ исходомъ. Защитникамъ поэта много разъ приходилось отстаивать его память отъ подозрѣній въ разсудочной и выгодной женитьбѣ,—подозрѣній, которыя могли, между прочимъ, опираться на высказывавшіяся Байрономъ и прежде, сгоряча, рѣшенія поправить дѣла бракомъ съ „золотой куклой". Такой ближайшій къ поэту человѣкъ, какъ Гобгоузъ (впослѣдствіи лордъ Броутонъ),

---

[1]) Объ ея позднѣйшихъ сношеніяхъ съ Байрономъ см.: „The two duchesses, Georgiana duchess of Devonshire", etc., by Vere Foster.

посвященный въ его помыслы и намѣренія, энергически протестовалъ всегда противъ намековъ и предположеній этого рода [1]). Да и Байронъ, извѣщая Мура о своей помолвкѣ, выразился очень опредѣленно: „говорятъ, будто она можетъ разсчитывать на наслѣдство, но я объ этомъ ничего точнаго не знаю и не стану развѣдывать. Знаю только, что у нея много дарованій и превосходныхъ качествъ, и вы не станете оспаривать серьезность ея рѣшенія, когда узнаете, что она отказала шести женихамъ, и согласилась выйти за меня“. Дѣйствительно, еслибы могла тутъ идти рѣчь о „золотой куклѣ“, то слѣдовало бы отыскать литую изъ чистаго золота. Достатки сэра Рольфа Мильбанка были вовсе не изъ ряду вонъ, наслѣдство послѣ дяди терялось еще въ туманѣ будущаго; затрудненія данной минуты почти ни въ чемъ не измѣнились послѣ брака,—и съ чести Байрона можно снять застарѣлый поклёпъ.

Въ первый разъ онъ посватался осенью 1812 года, и встрѣтилъ отказъ. Традиція говоритъ, что онъ исходилъ отъ родителей дѣвушки, испуганныхъ (какъ старики Гончаровы относительно Пушкина) одною уже мыслью, что ихъ голубка можетъ соединить свою судьбу съ такимъ погибшимъ человѣкомъ. Запись въ дневникѣ 1813 г., которая уже сказала намъ объ отсутствіи любви съ обѣихъ сторонъ, вполнѣ подтверждаетъ это преданіе. Поэтъ только-что получилъ отъ Аннабеллы письмо; по всему видно, что послѣ отказа, навязаннаго свыше, переписка между молодыми людьми не прекратилась. Онъ высказываетъ цѣлый рядъ похвалъ ей. Письмо ея „очень мило“, она—„выдающееся существо“, „совсѣмъ почти не испорченное“; она—„поэтъ, математикъ, метафизикъ, и при всемъ этомъ добра, благородна, деликатна, почти безъ всякихъ притязаній“. „Какъ странны наши отношенія и наша дружба, завязавшіяся *при такихъ обстоятельствахъ*, которыя обыкновенно порождаютъ холодность съ одной стороны, и отвращеніе—съ другой!“—восклицаетъ поэтъ.

Прошло потомъ ровно два года; казалось, „демонъ страсти“ (the demon of passion) совсѣмъ овладѣлъ Байрономъ; любовь, слава, борьба, вражда пронеслись въ его жизни, но воспоминаніе о той, съ кѣмъ фантазія когда-то посулила ровное и свѣтлое счастье, не изгладилось. Измученнаго и пресыщеннаго человѣка снова повлекло къ прежнему замыслу, и въ сентябрѣ 1814 г. онъ

[1]) Объ этомъ подробнѣе у Roden Noel, „L. Byron“, 1890, pp. 90 et passim. —Въ неизданномъ письмѣ къ Августѣ Ли, по поводу статьи въ „London Magazine“, X; „Характеристика Байрона“, Гобгоузъ опредѣленно говоритъ: „Byron did not marry from mercenary motives“.

сдѣлалъ вторичное предложеніе, на которое отвѣтили согласіемъ. Другая изъ многочисленныхъ легендъ, опутавшихъ исторію брака и семейной жизни Байрона, утверждаетъ, что первая неудача сильно отдалила его отъ Аннабеллы, внушила недоброе чувство къ ней, впослѣдствіи быстро разгорѣвшееся; что новое домогательство ея руки было слѣдствіемъ одного лишь упрямаго желанія поставить на своемъ, подчинить непокорную, и что полученное, наконецъ, согласіе не доставило ему никакой отрады. Джэфрсонъ прибавилъ къ этому еще басню, будто возобновленію сватовства содѣйствовала тетка дѣвушки, лэди Мэльборнъ, старая, умная и глубоко уважаемая Байрономъ; она желала спасти его отъ нравственнаго паденія, разобщить его съ Каролиной Ламъ, также ей близкой, и этимъ путемъ возстановить семейное счастіе въ домѣ ея мужа [1]). Это показаніе разбивается въ послѣдней своей части тѣмъ, что въ данную минуту Байронъ и Каролина давно уже разошлись; вмѣшательство доброжелательной свѣтской свахи только поддержало рѣшеніе, самостоятельно принятое Байрономъ. Что тутъ не было упрямства, недобраго чувства къ невѣстѣ за то, что ее пришлось брать долгой осадой,—показываетъ, прежде всего, письмо поэта, двѣ недѣли спустя послѣ помолвки, въ которомъ онъ выражаетъ искреннее сожалѣніе: „*это* должно было бы случиться два года тому назадъ,—отъ сколькихъ потрясеній оно бы меня избавило!“—затѣмъ, *цѣлая серія писемъ Байрона къ невѣстѣ*, оглашенная впервые только лѣтомъ 1899 года, и потомъ такъ поздно предназначенныхъ (вѣроятно, послѣ колебаній и сомнѣній) къ обнародованію внукомъ поэта, что издатель лишенъ былъ возможности вставить ихъ въ хронологической связи съ остальными письмами изъ той поры и помѣстилъ нѣкоторыя изъ нихъ въ видѣ приложенія въ концѣ тома.

Въ этихъ письмахъ, постепенно дѣлающихся все нѣжнѣе (сначала нѣтъ прямого обращенія, потомъ появляется ласковое „my dear friend“, наконецъ—„my love“, любимая моя), сбережено много любопытныхъ автобіографическихъ показаній. Очевидно, дѣвушка прислала ему выдержки изъ своихъ дневниковъ 1812 года, и онъ увидалъ, до чего ее сначала пугала его репутація „злого духа“, „evil spirit“,—онъ успокоиваетъ ее. „То не былъ мой истинный характеръ. Я тогда только-что вернулся изъ далекой страны, гдѣ жизнь была иная. Все мнѣ было чуждо, и я чувствовалъ себя совсѣмъ несчастливымъ въ отече-

---

[1]) Jeaffreson, „The real Lord Byron“, 1883.

ствѣ, которое покинулъ безъ сожалѣнія и снова увидалъ безъ всякаго интереса. Я замѣтилъ, что сталъ, не знаю почему, предметомъ общаго любопытства, которое не желалъ возбуждать. Мой умъ и мои чувства были къ тому же охвачены заботами, не имѣвшими ничего общаго съ кругами, въ которыхъ я вращался,—неудивительно, что я казался отталкивающимъ и холоднымъ". Въ другомъ письмѣ, онъ сообщаетъ невѣстѣ о результатѣ только-что окончившагося изслѣдованія его черепа извѣстнымъ въ то время краніологомъ Шпурцгеймомъ. Осмотръ показалъ, что способности и наклонности у Байрона необыкновенно сильно выражены, но съ постояннымъ контрастомъ: добрымъ влеченіямъ соотвѣтствуютъ, на противоположной сторонѣ, столь же выпукло обозначившіяся—дурныя; „если вѣрить ему,—объясняетъ Байронъ,—во мнѣ добро и зло находятся въ постоянной борьбѣ; молите небо, чтобы зло не восторжествовало", и въ духѣ этого признанія онъ не скрываетъ того, что̀ въ глазахъ дѣвушки навѣрно могло бросить на него тѣнь. Дважды касается онъ важнаго для нея вопроса о религіи, и признается въ равнодушіи къ ней; вспоминаетъ о томъ, какъ въ Патрасѣ, находясь при смерти, онъ настойчиво отвергалъ вмѣшательство священника; „никогда еще изъ этого источника не извлекалъ онъ для себя утѣшенія". Заводитъ онъ съ умысломъ рѣчь и о различіи ихъ натуръ: „неужели вы думаете, my love, что счастье зависитъ отъ сходства характеровъ?"—спрашиваетъ онъ и рѣшаетъ вопросъ въ пользу обоюднаго воздѣйствія супруговъ и мягкаго вліянія жены. „Теперь онъ понимаетъ, что былъ слишкомъ молодъ, когда впервые сдѣлалъ ей предложеніе, теперь онъ гордится ея отказомъ (rejection). Онъ не можетъ представить худшаго для себя бѣдствія, чѣмъ сознаніе, что онъ сдѣлалъ ее несчастною". Еслибы онъ „могъ предвидѣть, что ея жизнь будетъ связана съ его судьбой, еслибы онъ имѣлъ малѣйшую надежду на это, онъ усиленно работалъ бы надъ собой и исправился бы". Его мнѣніе о ней проникнуто уваженіемъ и симпатіей. Она „почти единственная представительница ея пола, которую онъ уважаетъ; только *два раза* видѣлъ онъ передъ собой олицетвореннымъ идеалъ женщины,—первая встрѣча произошла въ ранней юности и на взаимность было безумно разсчитывать, вторая свела его съ Аннабеллой [1]).

Ему казалось, что чувство его къ ней—любовь; онъ не разъ спрягаетъ глаголъ, которому на дѣлѣ здѣсь не было мѣста („*я люблю ее*,—пишетъ онъ Годгсону,—и надѣюсь, что она

---

[1]) Letters, III, pp. 137, 151, 157, 159, 398, 402, 406, 468.

будетъ счастлива"). Но вѣдь самъ же онъ говорилъ ей, что „никогда не могъ существовать безъ привязанности"; такимъ образомъ пришлось бы всѣ многочисленныя его увлеченія подвести подъ то же понятіе о *любви*... Его ли сердечный тонъ и искреннее желаніе сдѣлаться достойнымъ ея, перемѣнить складъ жизни, или же, несмотря на ледовитость темперамента, свободно зародившееся въ ней влеченіе—повліяли,—но Аннабелла испытывала теперь что-то, принятое ею за любовь. Въ этомъ духѣ писала она подругамъ о своемъ счастьѣ; глядя на сіяющую и расцвѣтшую дочь, въ томъ же духѣ сообщали близкимъ о своей семейной радости ея родители въ случайно сберегшихся ихъ письмахъ.

Совсѣмъ тихо, въ деревенской обстановкѣ Сигэма, отпразднована была свадьба (2 янв. 1815 г.); изъ друзей поэта былъ только неизмѣнный Гобгоузъ; послѣ церемоніи, молодые тотчасъ уѣхали въ Гольнэби, въ Іоркширѣ. Письма за все первое время брачной жизни полны тѣхъ же отголосковъ счастья и—любви. Байронъ называетъ жену ласковымъ словечкомъ „Bell"; она „полна здоровья и постоянно въ прекрасномъ расположеніи духа"; когда они гостили у родителей, немало было всякихъ шалостей, — однажды онъ явился въ длинномъ парикѣ своей тещи и въ шлафрокѣ, вывернутомъ наизнанку, она—въ его дорожной шляпѣ, сюртукѣ, съ усами и бакенбардами. На постороннихъ ихъ дружная жизнь производила пріятное впечатлѣніе. Сестра поэта писала Годгсону, что „никогда не слыхала и не читала о такомъ, полномъ совершенствъ, человѣкѣ, какъ жена ея брата"; что она „не могла даже надѣяться, что подобное существо будетъ ему послано судьбою". Лэди Мильбанкъ, недѣли черезъ три послѣ свадьбы дочери, писала: „оба они здоровы и такъ счастливы, какъ только можетъ дѣлать людей счастливыми молодость и любовь". Наконецъ, и Байронъ, шутливо цитируя слова Свифта, утверждавшаго, что „никогда ни одинъ *мудрый* человѣкъ не женился", заявлялъ, что, по его мнѣнію, для *глупцовъ* это—наиболѣе блаженное состояніе.

Поэзія тоже явилась отраженіемъ новаго фазиса въ судьбѣ Байрона. Первое же письмо послѣ свадьбы упоминаетъ о готовой къ печати рукописи „Еврейскихъ мелодій". Онѣ написаны были, стало быть, еще во время пролога къ браку. Незадолго передъ тѣмъ Киннэрдъ познакомилъ Байрона съ талантливымъ еврейскимъ музыкантомъ Натаномъ, много писавшимъ и для

сцены, и для салоннаго пѣнія, къ тому же мастерски исполнявшимъ свои романсы. Они близко сошлись, и Натанъ искренно привязался къ поэту (Байрона тронула потомъ его преданность, когда пришлось покинуть Англію навсегда, и всѣ отвернулись отъ него). Даровитость Натана плѣнила Байрона, и онъ охотно исполнилъ просьбу композитора дать ему рядъ текстовъ для переложенія на музыку. Книга Іова и Псалмы дали фонъ и темы; общій колоритъ внушили еще не заглохшія впечатлѣнія Востока. Много передуманнаго и испытаннаго самимъ поэтомъ облеклось въ еврейскій нарядъ и прошло подъ маской Давида, Саула или Самуила, какъ проходило недавно, скрытое подъ псевдонимами героевъ поэмъ. Съ другой стороны, душевное состояніе библейскихъ личностей было отгадано съ немалымъ психологическимъ мастерствомъ. Исполняя скромное призваніе заказаннаго романснаго текста, „Еврейскія мелодіи“ мѣстами поднимались до художественной высоты, какая вообще въ ту пору могла быть достигнута Байрономъ. Въ стихахъ: „When coldness wraps this suffering clay“, неожиданно-величественно раскрывается судьба души, покинувшей остывшій трупъ, носящейся среди сферъ, свободной отъ добра и зла, чистой и вѣковѣчной. Варіація на тему о „суетѣ суетъ“ построена на личномъ, Байроновскомъ сопоставленіи блеска, славы, когда-то испытанныхъ и очаровывавшихъ Байрона, съ крушеніемъ и разочарованіемъ. Въ прославленной импровизаціи: „Душа моя мрачна“, фантазія устремилась въ область психоза и словно хочетъ нѣжными звуками арфы смягчить и успокоить больную душу. На первый взглядъ, это—странная поэзія для кануна свадьбы и свѣтлаго настроенія; но она и не проникала особенно глубоко въ сознаніе автора и явилась, прежде всего, прекраснымъ опытомъ артистической виртуозности; послѣ той или другой изъ „Еврейскихъ мелодій“ можно было безъ труда возвращаться съ береговъ вавилонскихъ къ дѣйствительности. Натанъ увѣрялъ [1]), что стих. „Душа моя мрачна“ написано было подъ впечатлѣніемъ дошедшихъ до Байрона слуховъ, будто онъ по временамъ томится приступами душевной болѣзни. Смѣясь, онъ захотѣлъ испытать силу своего дарованія, попытавшись схватить тонъ дѣйствительно безумнаго и истомленнаго человѣка; „на нѣсколько мгновеній устремилъ онъ взглядъ въ пространство, потомъ, словно охваченный вдохновеніемъ, набросалъ безъ помарокъ все стихотвореніе“. Художественная меланхолія и реальный смѣхъ, сопостав-

---

[1]) Isaac Nathan, „Fugitive pieces and recollections of Lord Byron“. L. 1829.

ленные въ этомъ разсказѣ, даютъ извѣстное освѣщеніе всему сборнику. Но при выпускѣ въ свѣтъ онъ еще былъ украшенъ, въ видѣ вступленія, чудеснымъ стихотвореніемъ: „She walks in beauty", — оно, собственно, не имѣетъ связи съ восточными темами, но не вызываетъ и диссонанса, благодаря своимъ изящнымъ очертаніямъ въ оріентальномъ стилѣ. Это — привѣтствіе поразительно красивой женщинѣ, дальней родственницѣ поэта, съ которой онъ встрѣтился въ свѣтѣ; это — свободное отъ всякой риторики преклоненіе передъ существомъ, въ которомъ соединились красота, грація, нѣжность, доброта, — свѣтлый гимнъ, который могъ вылиться только изъ счастливой и успокоенной души.

Но, несмотря на обиліе признаковъ совсѣмъ иного рода, счастье и успокоеніе были только фикціею, осужденной на недолговѣчность. Байронъ, какъ мы уже знаемъ, признался потомъ въ своемъ „Снѣ", что во время брачнаго обряда имъ внезапно овладѣло воспоминаніе о разбитой навсегда юной любви къ Мэри. Безповоротность шага, который онъ дѣлалъ въ эту минуту, представилась ему яснѣе, чѣмъ когда-либо. Въ томъ самомъ шутливомъ и довольномъ письмѣ, откуда мы только-что взяли его полемику съ Свифтомъ о бракѣ, есть фраза, очевидно внушенная овладѣвшими имъ за послѣднее время мыслями: „все-же я стою за бракъ на извѣстный срокъ, съ правомъ его продленія, — хотя бы отсрочка была и въ 99 лѣтъ". Выйдя изъ церкви и помѣстившись въ экипажѣ рядомъ съ молодой женой, онъ не могъ найти въ себѣ того настроенія, котораго она была въ правѣ ожидать во время свадебной поѣздки. Сплетня превратила впослѣдствіи это неловкое затишье и душевную подавленность въ бурное объясненіе, чуть не въ нервный припадокъ супруга, неожиданно выказавшаго свой нестерпимый нравъ. Ничего этого не было, и когда меланхолическое облако слетѣло, возстановился ласковый тонъ, молодость взяла свое, и нѣжность загладила только-что пережитое впечатлѣніе. Обоимъ почудилось счастье; радостные отзывы писемъ были искренни. Зато, когда настали вражда и разрывъ, и ничто уже не смягчало тяжелыхъ минутъ прежняго житья вдвоемъ, гнѣвная, считавшая себя глубоко оскорбленною, супруга повторяла всѣмъ, кто только хотѣлъ слышать, что не успѣли ихъ обвѣнчать, какъ Байронъ рѣзко выказалъ къ ней непріязненное чувство, которое потомъ, возростая, дошло до открытой злобы.

Они жили или въ Лондонѣ, или въ Сигэмѣ, у стариковъ; жена помогала поэту въ его работахъ; произведенія его достав-

вляли теперь издателю и наборщикамъ большое удовольствіе, потому что, вмѣсто его нечеткой руки, безпорядочно носившейся по бумагѣ, они присылались переписанныя крупно, твердо и красиво рукою жены. Въ деревнѣ жизнь шла иначе; нужно было сообразоваться съ старомодными вкусами; можно безъ труда прочесть между строками, гдѣ говорится объ уютности и спокойствіи въ домѣ тестя, выраженіе скуки отъ однообразія добропорядочной и снотворной жизни. Нужно играть въ карты съ древними партнерами, выслушивать отъ отца жены допотопныя сужденія о политикѣ и вредѣ либерализма, отъ тещи — религіозно-нравственныя сентенціи; бѣглый намекъ на нервную зѣвоту, какъ-то промелькнувшій въ письмѣ, говоритъ за себя. Но въ деревнѣ былъ за нимъ и любительскій, негласный надзоръ; безъ памяти боготворившая свою воспитанницу и почувствовавшая къ Байрону что-то вродѣ ревности, за то, что онъ порвалъ ихъ связи и завладѣлъ ею, мистриссъ Клермонтъ подъ личиной любезности присматривалась къ каждому шагу, прислушивалась къ каждому слову человѣка, которому не довѣряла, — и ея мнѣнія и выводы, конечно, сообщались старикамъ, постепенно портя ихъ отношенія къ зятю. Она не была тою фуріей, тѣмъ демономъ раздора, какимъ выставилъ ее поэтъ, послѣ разрыва съ женой, въ безпощадно уничтожающемъ стихотвореніи; не вполнѣ доказано, напр., что именно она тайкомъ вскрывала ящики письменнаго стола, чтобы найти тамъ любовную переписку Байрона съ другими женщинами; есть свидѣтельскія показанія (жены Флетчера, безсмѣннаго Байроновскаго камердинера, служившей у молодыхъ супруговъ) [1]), которыя показываютъ ее сторонницей примиренія, осуждавшей поведеніе лэди Байронъ, — но все это не снимаетъ съ нея обвиненія въ настойчивомъ возбужденіи подозрительности, которое много содѣйствовало порчѣ отношеній.

Въ сближеніи Байрона съ миссъ Мильбанкъ, при всей искренности его признаній, было много недоговореннаго и невыясненнаго. Это было почти исключительно сближеніе на письмѣ; по собственному показанію поэта, передъ вторымъ предложеніемъ онъ не видѣлъ Аннабеллы цѣлыхъ десять мѣсяцевъ. Ихъ отношенія походили, стало быть, на главу изъ „романа въ письмахъ“, какіе были въ ходу въ литературѣ восемнадцатаго столѣтія. Но достаточно извѣстна словоохотливость этихъ романовъ, и въ то же время частые недочеты въ психологіи. Обѣ стороны несомнѣнно представляли себѣ другъ друга невполнѣ реально; недо-

---

[1]) „Statement of mrs. Fletcher“ (Murray Manuscripts). Letters, III, 320—321.

умѣнія, неожиданныя открытія были неизбѣжны. Разногласія въ мнѣніяхъ и вкусахъ оказались глубже и серьезнѣе. Годгсонъ говорилъ впослѣдствіи о сильныхъ спорахъ между супругами по вопросамъ религіи, въ пользу которой, очевидно, жена хотѣла склонить Байрона. Аннабелла выказывала себя большою домосѣдкой, съ сильной привычкой къ провинціальной средѣ, съ очень развитымъ культомъ родственныхъ отношеній и привязанностью къ семьѣ. Для привыкшаго къ свободѣ передвиженій и къ самоопредѣленію Байрона должно было казаться гибельнымъ стремленіе прикрѣпить его къ землѣ, стѣснить его вольный полетъ. Въ мечтахъ онъ создалъ уже идиллію житья вдвоемъ гдѣ-нибудь на дальнемъ югѣ, ожидая отъ него возрожденія своей поэтической работы. Но при первыхъ же серьезныхъ рѣчахъ о заграничномъ путешествіи онъ встрѣтилъ отпоръ; въ письмахъ есть слѣды того; съ небольшимъ черезъ мѣсяцъ онъ говоритъ Муру о планѣ уѣхать въ Италію, изучить ее „отъ Венеціи до Везувія" и затѣмъ перебраться въ Грецію; „это можно выполнить въ теченіе *двѣнадцати мѣсяцевъ*", поясняетъ онъ, прибавляя затѣмъ довольно выразительную оговорку: „если я возьму съ собой свою жену, возьмите и вы вашу; *если я ее оставлю*, и вы такъ же поступите". Двѣ недѣли спустя, узнавъ, что у Мура есть другіе планы путешествія, и притомъ единоличнаго, Байронъ сообщаетъ ему: „я тоже рѣшилъ уѣхать, приблизительно въ одно время съ вами, и *тоже поѣду одинъ*". Готовность разстаться такъ скоро съ женой, и притомъ на цѣлый годъ, говоритъ объ измѣнившихся отношеніяхъ.

Но было бы большою напраслиной придавать ихъ перемѣнѣ характеръ враждебности. Не только во время житья подъ одною крышей, но и послѣ разрыва, Байронъ не переставалъ считать жену существомъ избраннымъ, полнымъ достоинствъ. Когда они уже разошлись, онъ въ письмѣ къ Роджерсу (25 марта 1816) опредѣленно выражаетъ это. „Вы были однимъ изъ немногихъ, съ которыми я поддерживалъ отношенія, обыкновенно называемыя интимными; вы не разъ слышали, какъ я говорилъ о моихъ семейныхъ несогласіяхъ. Скажите мнѣ разъ навсегда, слышали ли вы когда-нибудь, чтобъ я отзывался о ней съ неуваженіемъ или безъ симпатіи, или чтобы я защищалъ себя въ ущербъ ей отъ какого бы то ни было серьезнаго обвиненія? Не слыхали ли вы отъ меня, что *если тутъ есть правый и виноватый, то права она*" [1]).

---

[1]) R. W. Claydon, „Rogers and his contemporaries", 1889, 215.

Сознаніе достоинствъ и преимуществъ не дѣлало, однако, совмѣстную жизнь счастливѣе, съ тѣхъ поръ какъ отлетѣла поэзія женственности и любви, оставивъ позади себя рѣзко обозначавшееся несходство характеровъ и убѣжденій. Такое событіе, какъ рожденіе дочери, Ады, должно было бы ввести снова мягкій тонъ въ отношенія, — но въ первыхъ впечатлѣніяхъ Байрона, какъ отца, нѣтъ еще и слѣда той нѣжности и того поразившаго многихъ чадолюбія, которыя сказались впослѣдствіи, въ задушевныхъ строфахъ третьей пѣсни „Гарольда", обращенныхъ къ далекой, разлученной съ отцомъ навсегда крошкѣ, въ заботахъ о ней, то-и-дѣло мелькающихъ въ итальянской перепискѣ, въ предсмертныхъ обращеніяхъ къ Адѣ. А жизнь становилась все сложнѣе и труднѣе; денежный кризисъ обострился. Отмѣчая въ приведенномъ уже письмѣ супружеское счастье брата, Августа не скрываетъ, что по временамъ лицо его омрачается, и приписываетъ это единственно матеріальнымъ заботамъ. Хотя смерть родственника жены, отъ котораго ожидалось наслѣдство, случилась раньше, чѣмъ это могли предполагать, Байронъ не обращался къ ея семьѣ за поддержкой; гнетъ долговъ удручалъ; если не медовый мѣсяцъ, то все же первый періодъ брачной жизни не избѣгъ непріятныхъ ощущеній нужды и стѣсненности. Въ квартирѣ поэта стали привычными посѣтителями судебные пристава; литература исполнительныхъ листовъ и описей процвѣтала. „За послѣднее время у меня перебывало уже десять судебныхъ требованій,—пишетъ Байронъ,—я начинаю къ этому привыкать"... Онъ все еще хотѣлъ оставаться вѣрнымъ своей филантропической привычкѣ отказываться въ чужую пользу отъ гонораровъ, но нужда стала такъ велика, что отказъ отъ тысячи фунтовъ, предложенныхъ ему за двѣ новыя поэмы Мэрреемъ, быстро замѣненъ былъ согласіемъ. Во мгновеніе ока этой тысячи уже не существовало; она пошла на покрытіе хоть части долговъ.

На обоихъ произведеніяхъ, единственномъ поэтическомъ результатѣ краткаго супружества,—на „Осадѣ Коринѳа" и „Паризинѣ",—отразилось потрясенное душевное состояніе. Выборъ сюжетовъ снова мраченъ, дѣйствіе полно ужасовъ и трагизма. Подъ стѣнами крѣпости, взорванными на воздухѣ, гибнутъ герои, чтобы не поддаться кровожадному измѣннику, ихъ же собрату; отъ руки палача гибнетъ сынъ, осужденный своимъ соперникомъ въ любви, отцомъ. Всюду—месть, борьба, злоба, горе. Вдохновеніе поэта какъ будто ищетъ только такихъ сюжетовъ и, найдя ихъ (для „Siege of Corinth" въ „Исторіи Турціи";

для „Паризины“ — у Гиббона), извлекаетъ изъ краткаго историческаго повѣствованія всю скрытую въ немъ трагическую сущность. Таинственный герой-пиратъ уже сошелъ со сцены. Венеціанецъ Альпъ, скрывшій свое ненасытное честолюбіе подъ чалмой мусульманина, ренегата, не задается, подобно Конраду, общими вопросами поруганной морали, но открыто дѣйствуетъ подъ вліяніемъ жажды власти и мщенія выкреста прежнимъ единовѣрцамъ. Въ „Паризинѣ“ авторъ даже и не старался сколько-нибудь опредѣлить психологію молодого Уго, не надѣлилъ его ни міровою, ни личною скорбью,—зато выдвинулъ горячее, искреннее увлеченіе пасынка своей мачихой, которое возмутило чопорныхъ блюстителей нравственности, протестовавшихъ противъ „апоѳеоза кровосмѣшенія“. Любовь и въ этихъ поэмахъ является единственнымъ смягчающимъ началомъ. Паризина не можетъ пережить казни своего милаго. Послѣднія строфы поэмы полны глубокой печали, тогда какъ первыя дышали такою нѣжностью, которая и въ сновидѣніяхъ продолжаетъ жизнь чувства, побуждая уста шептать милое имя. И для Альпа память о любимой женщинѣ одна только въ состояніи остановить дѣло разрушенія и мести; съ удивительной силой фантасмогоріи проведенная сцена появленія передъ нимъ, въ ночь наканунѣ штурма, призрака его Франчески, любящей, ласковой, молящей, наполняетъ его душу мягкими влеченіями, — но злоба всюду торжествуетъ, пороховой дымъ и сѣкира палача замыкаютъ собой двѣ печальныя повѣсти. Онѣ разсказаны были съ обычнымъ мастерствомъ, на этотъ разъ свободнымъ отъ позы и гиперболы, стихъ былъ гармониченъ и тѣшилъ слухъ, — но прежнихъ безусловныхъ восторговъ уже не было, а „Паризина“ умножила собой свитокъ грѣховъ и оскорбленій, совершенныхъ поэтомъ противъ вѣры, стараго, добраго порядка и нравственности.

Для поэта, казалось, изучившаго всѣ муки разочарованности и тоски „за себя и за многихъ“, жизнь создала новый, еще имъ не испытанный, видъ недовольства судьбою и скорби. Надежды на счастье и душевный отдыхъ разбиты; личная свобода его навсегда связана; брачная цѣпь приковала его къ существу, съ которымъ у него почти нѣтъ ничего общаго; кругомъ поднимается и ростетъ недовольство; вражда смѣняетъ прежнее поклоненіе; личное матеріальное положеніе становится невыносимымъ. Удивительно ли, что старое, роковое наслѣдіе проявилось теперь съ особой силой, что нервная возбужденность принимала

все болѣе рѣзкія формы, то сказываясь въ привычныхъ когда-то пароксизмахъ „безмолвнаго бѣшенства“, то искажая тѣло судорогами, то вырываясь въ видѣ гнѣвныхъ рѣчей. Молодая женщина, пораженная внезапностью первыхъ симптомовъ и испуганная ихъ повтореніями, не могла не рѣшить загадки въ наиболѣе заурядномъ смыслѣ, не доискивающемся сложныхъ причинъ явленія,—и свои тревоги о мужѣ, „находящемся, повидимому, на порогѣ душевной болѣзни“, поспѣшила передать родителямъ. Въ Сигэмѣ это извѣстіе вызвало ужасъ; затаенное нерасположеніе къ зятю получило полное оправданіе; сообщенный дочерью рядъ испытанныхъ ею тяжелыхъ и мучительныхъ сценъ приводилъ къ одному рѣшенію — разобщить ихъ какъ можно скорѣе; но для этого необходимо было доказать ненормальность и невмѣняемость мужа;—вокругъ Байрона, незамѣтно для него, начинается медицинскій надзоръ, поручаемый присяжнымъ аліенистамъ, цѣлая интрига, ключъ которой—въ Сигэмѣ. Но Аннабелла еще не разлюбила мужа и не можетъ безропотно исполнять волю старшихъ, озабоченныхъ однимъ лишь разрывомъ; она проситъ Байрона лечиться, обратиться къ спеціалистамъ по нервнымъ страданіямъ. И только послѣ того, какъ явные и тайные эксперты единогласно не нашли въ его организмѣ и въ его поступкахъ никакихъ слѣдовъ тяжкой ненормальности, она отъ сожалѣнія и участія перешла въ противоположную крайность: если это не болѣзнь, то она страдаетъ отъ злой воли, отъ душевной развращенности, отъ нестерпимаго характера мужа, который никогда ея не любилъ, напротивъ, ненавидѣлъ ее и съ первыхъ же дней мучилъ. Начинаетъ создаваться, въ свою очередь, болѣзненная, нереальная „скорбная лѣтопись“ страдающей, обманутой жены.

Да, быть можетъ, именно обманутой, но кѣмъ, для кого,— она не знаетъ. Прежняя страстная жизнь Байрона была ей достаточно извѣстна; теперь мы знаемъ, что онъ добровольно открылъ ей нѣкоторыя, для нась навсегда закрытыя, сердечныя тайны свои, существованіе побочныхъ дѣтей и т. п. Она могла легко вообразить, что неровность, нетерпимость въ отношеніяхъ къ ней вызвана оживленіемъ какой-нибудь старой связи или новымъ увлеченіемъ; но ни тогда, ни впослѣдствіи *она не могла назвать, и не назвала ни одного имени*, тогда какъ это могло бы вооружить ее самымъ главнымъ орудіемъ для формальнаго развода.

Назвать эти имена потрудилась новѣйшая, современная намъ сплетня, то подъ личиной заступничества за нравственность вообще и за честь страдалицы, то подъ благовиднымъ предлогомъ

возсозданія біографіи „настоящаго Байрона". 1869-й годъ отмѣченъ былъ въ Байроновской литературѣ появленіемъ—сначала въ видѣ журнальной статьи, потомъ отдѣльною книгой [1])—труда Бичеръ-Стоу, разоблачавшаго истинную причину супружескаго раздора, смѣло и увѣренно указывавшаго ее въ связи поэта съ его сводной сестрой Августой,—связи, открытой женою, возмутившей ее и безповоротно приведшей къ разрыву. Обвиненіе опиралось на важныя показанія пострадавшаго лица, вдовы поэта, ссылалось на разговоры съ нею, на какую-то составленную ею памятную книгу, которую авторъ статьи могъ просмотрѣть въ рукописи.

Въ то время уже исполнилось девять лѣтъ со смерти лэди Байронъ; главный разговоръ, поведшій къ признаніямъ и просьбѣ о заступничествѣ, происходилъ, по словамъ Бичеръ-Стоу, еще раньше, за 13 лѣтъ передъ тѣмъ; рукопись исчезла. Но къ честному имени и незапятнанному авторитету автора „Хижины дяди Тома" такъ всѣ привыкли, что заявленіе ея невольно заставляло прислушаться и задуматься. Къ счастью, несмотря на живучесть застарѣлаго нерасположенія къ Байрону, готоваго повѣрить каждому новому грѣховному его дѣянію, въ англійскомъ обществѣ и литературѣ статья Стоу вызвала небывало взволнованную полемику. Журналы и газеты того времени были переполнены статьями за и противъ Байрона; во главѣ газетъ шелъ „Times", открывшій свои столбцы для всевозможныхъ заявленій; журнальный же походъ привелъ къ превосходной статьѣ „Quarterly Review", oct. 1869: „The Byron Mystery".—„Times" (сент. 3), выслушавъ различныя мнѣнія, поставилъ слѣдующія два заключенія: „или лэди Байронъ подъ конецъ своей жизни сообщила мистриссъ Стоу ложь, полную непостижимой дерзости, или же г-жа Стоу выдумала сама клевету, небывалую по грандіозности".

Оба эти заключенія вполнѣ подтверждены послѣдующимъ ходомъ біографическихъ разысканій о Байронѣ, и необычайное сотрудничество обѣихъ женщинъ въ клеветѣ не подлежитъ сомнѣнію. Еще въ 1869 г., внукъ лэди Байронъ, лордъ Вентвортъ, заявилъ печатно, что въ бумагахъ ея дѣйствительно найдена была рукопись такого содержанія, на какое указываетъ Стоу, но что происхожденіе этой рукописи опредѣлить нельзя. *Собственноручныя же* записи лэди Байронъ не заключаютъ въ себѣ

[1]) „Lady Byron vindicated". Boston and London, 1870.—Для возстановленія истины вышла тогда „The true story of lord and lady Byron, as told by C. Macaulay, Th. Moore" etc. 1869.

ничего похожаго на разсказъ Б.-Стоу. Много фактическихъ несоотвѣтствій и погрѣшностей открылось въ статьѣ Стоу при внимательномъ ея изученіи; авторъ былъ уличенъ въ томъ, что онъ, привыкнувъ къ сочиненію романовъ, *сочинялъ цѣлыя сцены*, напр. разговоръ между женой и поэтомъ, котораго она застала съ Августой, и т. д. Рядъ авторитетныхъ показаній обрисовалъ Августу Ли въ ея подлинномъ, необыкновенно симпатичномъ освѣщеніи, съ семейными привязанностями, заботами о вѣчно увлекающемся братѣ, котораго она, какъ легкомысленнаго шалуна-мальчика, называла съ материнской лаской „baby Byron", жалѣла, выручала. Бичеръ-Стоу, въ виду дружнаго натиска, пробовала сначала пригрозить большимъ, генеральнымъ отвѣтомъ, но никогда не отвѣчала,—потому что ей нечего было сказать... Съ тѣхъ поръ число оправдательныхъ документовъ въ пользу Августы необыкновенно возросло; одни изъ нихъ уже напечатаны; другіе еще хранятся въ подлинникахъ въ Британскомъ Музеѣ (Byron-Leigh Correspondence, Additional Manuscripts, 31,037),—это частью переписка между женою Байрона и мнимой ея разлучницей Августой, веденная во время наибольшаго развитія дѣла о разводѣ и послѣ него, въ тонѣ большой дружбы и откровенности,—частью же многочисленныя позднѣйшія письма лэди Байронъ къ дочери Августы, на которую она, по ея словамъ, хочетъ перенести нѣжность и дружбу, которыя она всегда питала къ матери. Августа являлась посредницей, напрягая всѣ усилія для примиренія,—и ее же выставили виновницей супружеской драмы.

Вторая басня не имѣла такого злостнаго характера, и въ извѣстной степени могла бы соотвѣтствовать фактамъ,—еслибъ только не досадная помѣха въ хронологіи. Это—указаніе на соперницу лэди Байронъ въ лицѣ сестры второй жены Шелли, Джэнъ Клермонтъ. Красивая, страстная, съ смуглымъ южнымъ типомъ, молодая дѣвушка эта—существо вполнѣ реальное; горячая, почти психопатическая любовь ея къ Байрону подтвердилась напечатанными теперь впервые письмами ея къ нему; вѣчно экзальтированная, лихорадочно переходившая отъ одной профессіи къ другой, и во время своего культа къ Байрону представлявшая собой третьестепенную актрису, она, сначала подъ псевдонимами, потомъ снявъ маску, осыпала Байрона въ своихъ посланіяхъ такимъ дождемъ восторговъ и благословеній, такими страстными призывами, что онъ, измученный клеветами и дрязгами семейнаго раздора, сошелся съ нею еще въ Лондонѣ, свидѣлся съ нею снова въ Швейцаріи. Она—ненадолго—

стала его подругой; она — мать его второй дочери, Аллегры. Но ихъ сближеніе, какъ теперь точно доказано, произошло тогда, *когда дѣло о разводѣ было уже въ полномъ ходу*. Стало быть, видѣть въ связи Байрона съ нею причину и начало несогласій совершенно невозможно.

Рано умершая дочь Байрона, леди Ловлэсъ (Ада),—какъ она категорически заявляла это одному изъ близкихъ ей людей, м-ру Фонбланку,—вполнѣ убѣдилась, что единственною причиной разлада ея родителей было несоотвѣтствіе и, вслѣдствіе того, неуживчивость (incompatibility) двухъ характеровъ. Это — самая вѣрная оцѣнка сущности спора, которую Байронъ тщетно хотѣлъ выяснить и никогда ни отъ кого не узналъ. Находясь уже въ Италіи (въ La Mira, близъ Венеціи), въ 1817 году, онъ услышалъ, что адвокаты его жены отказываются давать какія-либо объясненія причинъ разрыва, ссылаясь на то, что на „ихъ уста навсегда наложена печать",—въ твердо и опредѣленно проредактированномъ заявленіи повторилъ свою готовность предстать передъ какой бы то ни было трибуналъ,—но никакого удовлетворенія не получилъ.

Противница его была не въ лучшемъ положеніи. Ея нервная система также была сильно возбуждена; на ея дѣйствіяхъ, на тонѣ ея писемъ всюду видны слѣды этого потрясеннаго состоянія. Ласково простившись съ Байрономъ и не говоря ему, что покидаетъ его навсегда, она уѣхала къ роднымъ, стала послушнымъ орудіемъ ихъ интриги и подкоповъ,—и въ то же время писала своей дражайшей (sic! — „dearest") Августѣ нѣжные запросы о его здоровьѣ и о новостяхъ его повседневной жизни. Когда вѣрные друзья Байрона, призванные Августой на помощь (Годгсонъ, Гобгоузъ), пытались деликатно вмѣшаться, она изумляла ихъ (напр. Годгсона) фантастическими разсказами о злобѣ мужа:—„онъ женился на мнѣ съ глубоко обдуманнымъ рѣшеніемъ мщенія, въ которомъ признался въ день моей свадьбы, и которое съ той поры выполнялъ съ систематической и возростающей жестокостью; никакая любовь не могла его смягчить". Въ другія минуты, какъ будто яснѣе сознавая, что она разбиваетъ и свою жизнь, она совершенно не владѣла собой и доходила до самозабвенія. Одна изъ записочекъ ея къ Августѣ, напр., звучитъ такъ: „Дорогая моя Августа, скоро я напишу больше. Надѣюсь, вы еще не уѣдете изъ Лондона. Я не больна. Я *хотѣла вложить въ письмо — не помню что* — думаю, что мать вернется ночью". Точно въ чаду, повторяя все болѣе грозныя и таинственныя обвиненія, увѣряя и себя, и другихъ, что

она—несчастная жертва, она не мѣшала легальному походу, начатому противъ мужа ея родителями. Рѣчь шла теперь вполнѣ опредѣленно о разводѣ. Довѣренный семьи Мильбанковъ, д-ръ Лэшингтонъ, неожиданно предсталъ передъ Байрономъ съ требованіемъ подписать актъ о разлученіи супруговъ (separation), получилъ рѣшительный отказъ, но когда объяснилъ, что, въ случаѣ сопротивленія, истица обратится къ суду, потребуетъ освобожденія отъ сожительства съ нимъ и будетъ настаивать на изъятіи дочери изъ-подъ власти безнравственнаго отца,—получилъ согласіе (такъ, по крайней мѣрѣ, излагала Муру, со словъ своего адвоката, ходъ этой рѣшительной сцены жена поэта).

Впечатлѣніе внезапнаго раскрытія давно уже опутывавшей его интриги было ошеломляющимъ. Ко всѣмъ пережитымъ, видѣннымъ и болѣзненно гревшимся ему тяжелымъ испытаніямъ присоединилось новое, подавившее своей силой ихъ всѣхъ. Когда же съ необыкновенной быстротой слухами и сплетнями о мнимо-скандальной хроникѣ поэта завладѣло измѣнчивое общественное мнѣніе, когда вся враждебная печать, всѣ придворные и аристократическіе враги, всѣ клерикалы, методисты, піэтисты, давно стонавшіе при видѣ торжествующаго разврата, съ дикимъ наслажденіемъ накинулись на добычу, терзая его доброе имя и возводя на него множество небывалыхъ проступковъ, когда сторицей отплачивали ему за независимость, политическій либерализмъ, религіозное вольнодумство, за умъ, за геній,—о, какъ жалки и мелки должны были показаться ему прежніе, юношескіе счеты съ родиной! Теперь, казалось, вся она поднимается противъ него, безпощадная, нетерпимая, клянетъ и гонитъ его. Вѣковѣчный трагизмъ столкновенія личности съ обществомъ, бывало, представлявшійся ему въ протестахъ Гарольда или пиратской бравадѣ его восточныхъ героевъ, захватывалъ его теперь съ такой яростью, передъ которой блѣднѣли всѣ романтическіе вымыслы. Негодованіе и презрѣніе заглушали въ немъ всѣ прочія чувства. Оставался одинъ исходъ—разрывъ не только съ женой, съ семьей, но и съ отечествомъ, со всѣмъ, что̀ наполняло его жизнь, — добровольное изгнаніе, изъ котораго не должно быть возврата; „пусть даже тѣло его не возвращаютъ родной землѣ,—оно не найдетъ въ ней покоя“.

Нѣсколько спѣшныхъ распоряженій, нѣсколько дѣловыхъ бумагъ, сдержанное, дѣловое же, послѣднее письмо къ женѣ, соглашеніе, выработанное короннымъ генеральнымъ адвокатомъ (Sollicitor General) и подписанное обоими супругами, относительно имущественныхъ и денежныхъ дѣлъ, печальное разставаніе съ

сестрой и немногими друзьями,—и день отъѣзда наступилъ. Карета уже подана и вещи вынесены, а вокругъ собралась толпа зѣвакъ; злой шутникъ сказалъ, что уѣзжаетъ промотавшійся и запутавшійся дворянчикъ,—и изъ толпы полетѣли въ слѣдъ путешественнику камни и брань: это было послѣднее привѣтствіе отечества...

25 апр. 1816 г., бѣглецъ отплылъ изъ Дувра въ Остенде. Наставала новая жизнь—на чужой сторонѣ. Эту новую жизнь застилалъ пока туманъ; все казалось смутно, неопредѣленно, безцѣльно... Но впереди—было истинное величіе поэта.

Алексѣй Веселовскій.

СОВРЕМЕННЫЯ НЕДОУМѢНІЯ

ОЧЕРКИ.

I.

Много страннаго и загадочнаго представляетъ наша общественная жизнь. У насъ существуютъ и горячо обсуждаются вопросы, построенные исключительно на игрѣ словъ, а реальныя, жгучія задачи дѣйствительности остаются часто въ тѣни и находятъ слишкомъ слабый отголосокъ въ нашей печати.

Недавно одна газета высказала мнѣніе, что у насъ не должно быть особаго крестьянскаго вопроса, такъ какъ нельзя ставить особый вопросъ о трехъ-четвертяхъ населенія страны, или о ста милліонахъ коренныхъ жителей Россійской имперіи. Если крестьянство бѣдствуетъ и пребываетъ во тьмѣ, то, „значитъ, три-четверти государства — въ такомъ печальномъ положеніи“, а этого, конечно, быть не можетъ; — отсюда дѣлается выводъ, что весь крестьянскій вопросъ есть только плодъ недоразумѣнія, результатъ устарѣлыхъ понятій и законовъ. Однако, именно эти „три-четверти“ населенія подчинены особымъ условіямъ существованія, въ силу которыхъ, напримѣръ, взрослые и даже семейные люди не избавлены отъ тѣлесныхъ мѣръ воздѣйствія. По отношенію къ этимъ „тремъ-четвертямъ“ населенія примѣнялась еще до недавняго времени система „выколачиванія“ податей—система, унаслѣдованная отъ временъ монгольскаго ига. Среди этой крестьянской массы происходятъ такія явленія, какъ массовые переходы въ далекіе края и періодическія голодовки. Что̀ же удивительнаго въ томъ, что вопросъ объ облегченіи и улучшеніи быта этихъ „трехъ-четвертей“ населенія выдѣляется въ особый крестьянскій

вопросъ? Если тутъ есть недоразумѣніе, то оно коренится въ тяжеловѣсныхъ жизненныхъ фактахъ, отъ которыхъ нельзя отдѣлываться общими фразами. Любопытно и крайне оригинально нѣчто другое — поведеніе профессіональныхъ патріотовъ, глашатаевъ „истинно-русскихъ" государственныхъ началъ, относительно „трехъ-четвертей" русскаго народа. Именно эти-то три четверти населенія и служатъ постояннымъ предметомъ враждебныхъ нареканій, помысловъ и проектовъ въ той части журналистики, которая выдаетъ себя за вмѣстилище благонамѣреннаго патріотизма. Неприязненное, злобное отношеніе этой части печати къ крестьянству, прикрываемое обыкновенно мнимыми заботами о народной нравственности, объясняется, конечно, традиціями крѣпостной эпохи; но оно направлено прямо противъ интересовъ государства, какъ цѣлаго,—и только по недоразумѣнію можетъ быть связываемо съ консервативными или какими-либо иными политическими принципами. Между тѣмъ, сословныя анти-крестьянскія тенденціи чаще всего принимаютъ оттѣнокъ чего-то государственнаго, и подобныя попытки ввести публику въ заблужденіе иногда пользуются успѣхомъ, порождая смуту въ умахъ довѣрчивыхъ обывателей.

Рядомъ съ явнымъ или скрытымъ недоброжелательствомъ къ крестьянству замѣчается въ „патріотической" печати, во-первыхъ, усердное не по разуму превознесеніе общественной и государственной роли дворянства, и во-вторыхъ, отрицательное отношеніе къ тѣмъ сферамъ дѣятельности, въ которыхъ только и можетъ выражаться эта общественная и государственная роль дворянства. Настойчивые защитники привилегированнаго землевладѣльческаго класса выступаютъ въ то же время рѣшительными врагами земства, гдѣ фактически господствуетъ именно помѣстное дворянство, и гдѣ оно находитъ главнѣйшее поприще для своего непосредственнаго вліянія и авторитета. Въ довершеніе всего, обнаруживается необычайная, ничѣмъ не ограниченная вѣра въ чиновничество, которое признается способнымъ безошибочно руководить всѣми крупными и мелкими дѣлами страны, замѣнивъ собою и мѣстное самоуправленіе, и судъ общественной совѣсти. Когда безраздѣльное владычество бюрократіи возводится на степень общаго безусловнаго догмата, то не должно оставаться мѣста для сословной дворянской программы, предполагающей самостоятельное значеніе по крайней мѣрѣ одного высшаго сословія въ государствѣ. Дворянство, претворяясь въ чиновничество и играя роль только въ качествѣ чиновничества, утрачиваетъ уже очевидно свои сословныя черты и перестаетъ быть тѣмъ спеціально-землевладѣльческимъ классомъ,

о великомъ призваніи котораго такъ много говорятъ лже-консервативные публицисты. Эта цѣпь неразрѣшимыхъ внутреннихъ противорѣчій объединяется системою софизмовъ, заслуживающихъ внимательнаго разбора.

Нападая на земство, наши консерваторы не предлагаютъ прямо поставить на его мѣсто „кочующую интеллигенцію мелкаго чиновничества“, какъ выражается князь Д. Цертелевъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ (отъ 11 февраля). Но если ту же „кочующую интеллигенцію“ мелкаго чиновничества назвать органомъ правительства, то дѣло сразу получаетъ другой оборотъ. „Еслибы размѣръ земскихъ налоговъ устанавливался правительствомъ,— разсуждаютъ „Московскія Вѣдомости“,—то размѣры ихъ всегда находились бы въ полномъ соотношеніи съ платежными силами населенія, что̀ и гарантировало бы правильное и исправное ихъ поступленіе... Гарантируя земствамъ извѣстныя денежныя средства для удовлетворенія ихъ нуждъ, правительство, само собою понятно, не могло бы позволить имъ непроизводительныхъ тратъ. Отсюда прямой выводъ, что на каждый расходъ должно быть испрошено разрѣшеніе правительства, которымъ смѣта земскихъ расходовъ должна разсматриваться и утверждаться“.

Конечно, правительство само по себѣ ошибаться не можетъ; но оно собираетъ свои свѣдѣнія и дѣйствуетъ на ихъ основаніи не иначе, какъ черезъ посредство многочисленныхъ служебныхъ органовъ, принадлежащихъ именно къ „кочующей интеллигенціи мелкаго чиновничества“. Вѣроятно, и размѣры общихъ налоговъ „всегда находились бы въ полномъ соотношеніи съ платежными силами населенія“, еслибы это зависѣло отъ правительства въ истинномъ и высшемъ смыслѣ этого слова. Почему же то „полное соотношеніе съ платежными силами населенія“, которое несомнѣнно отсутствуетъ въ казенныхъ податяхъ и повинностяхъ, было бы обезпечено участіемъ чиновниковъ въ установленіи земскихъ бюджетовъ? Правительство не допускало бы для земства „непроизводительныхъ тратъ“, подобно тому, какъ оно избѣгаетъ подобныхъ тратъ и въ общемъ государственномъ бюджетѣ, построенномъ, какъ извѣстно, на принципахъ строгой экономіи и бережливости. Разногласія возможны были бы только относительно того, что̀ разумѣть подъ „непроизводительной тратой“. Съ точки зрѣнія „кочующаго чиновничества“ могли бы быть признаны малопроизводительными и подлежащими сокращенію расходы на такія мѣстныя нужды, которыя представляются наиболѣе настоятельными для мѣстныхъ жителей; напр., врачебно-санитарная часть,

школьное дѣло, улучшеніе проѣзжихъ дорогъ, поглощаютъ огромныя суммы,—но безъ достаточнаго числа врачей, безъ школъ и безъ нѣкотораго ремонта проѣзжихъ дорогъ, нельзя жить въ провинціальной глуши, гдѣ приходится, однако, существовать мѣстному населенію, участвующему прямо или косвенно въ земскихъ дѣлахъ. Не говоря уже о крестьянствѣ, — само землевладѣльческое дворянство, заправляющее дѣлами земства, не можетъ оставаться на мѣстѣ безъ врачей и безъ школъ, а для „кочующаго чиновничества" земскіе врачи и земскія школы довольно безразличны. Земскіе дѣятели вынуждены заботиться объ обезпеченіи продовольствія крестьянъ въ случаѣ недорода, принимать извѣстныя мѣры для удовлетворенія общихъ потребностей сельскаго хозяйства и для введенія болѣе культурныхъ порядковъ въ мѣстную жизнь; а всѣ эти мѣстные интересы, чрезвычайно важные для земства, превратились бы въ простыя отвлеченности, еслибы отданы были въ распоряженіе казенныхъ канцелярій. Громкія слова объ авторитетѣ правительства сводятся въ данномъ случаѣ къ проявленію безотчетной вѣры въ бюрократію и ея бумажное производство.

Едва-ли даже самые ярые обличители земства отвѣтятъ утвердительно на вопросъ: лучше ли было бы поставлено земское хозяйство, еслибы оно находилось въ вѣдѣніи столоначальниковъ казенныхъ присутственныхъ мѣстъ? Гораздо меньшая доля расходовъ употреблялась бы тогда на существенныя мѣстныя нужды, нечувствительныя для губернскихъ и столичныхъ чиновниковъ; было бы меньше больницъ и школъ, меньше живыхъ заботъ о крестьянствѣ и сельскомъ хозяйствѣ, и нападки на земское обложеніе не выдѣлялись бы изъ общей оцѣнки обременительной для народа податной системы. Однородныя послѣдствія имѣло бы и подчиненіе земскихъ бюджетовъ казенной нормировкѣ. Правда, мѣстныя казенныя учрежденія имѣютъ одно громадное преимущество передъ общественными и въ томъ числѣ земскими: они въ несравненно меньшей степени доступны публичной критикѣ и контролю печати, и многія стороны ихъ дѣятельности процвѣтаютъ подъ покровомъ канцелярской тайны; но это преимущество, весьма цѣнное для должностныхъ лицъ, создаетъ почву для господства рутины и скрытыхъ злоупотребленій, порождая въ то же время особую атмосферу внѣшняго, иногда обманчиваго благополучія въ ходѣ дѣлъ. Земскія учрежденія не пользуются этой привилегіею, и противъ нихъ направляется весь запасъ свободной критики, который при другихъ обстоятельствахъ нашелъ бы иное примѣненіе.

Консервативная печать разрѣшаетъ всѣ вопросы высокопарными обращеніями къ государственной власти, надѣясь этимъ легкимъ путемъ пріобрѣсть твердую точку опоры для узко-сословныхъ или эгоистическихъ цѣлей. Разумѣется само собою, что государственная власть не нуждается ни въ чьемъ ѳиміамѣ, и что отдѣльные представители ея знаютъ цѣну льстивымъ фразамъ, относящимся къ власти вообще въ лицѣ давняго вѣдомства или сановника. Въ случаѣ надобности, принципіальное преклоненіе передъ словомъ „правительство" уступаетъ мѣсто пренебрежительному отзыву о чиновничествѣ и бюрократіи. „Было время,—говоритъ, напр., редакторъ „Гражданина",—когда, подобно всѣмъ, я трубилъ про спасеніе земледѣлія посредствомъ учрежденія особаго министерства. Казалось бы, кому, какъ не Россіи, странѣ, которую всѣ называютъ исключительно земледѣльческою, имѣть свое министерство земледѣлія! И создалось оно, и начало дѣйствовать, а земледѣліе все болѣе и болѣе тонетъ въ непроходимыхъ дебряхъ органическаго хаоса. Нѣкоторые стали наивно, по традиціонной привычкѣ, причину всего видѣть въ чиновникахъ, винить это самое министерство земледѣлія. Но для всякаго человѣка ясно, какъ Божій день, что министерство тутъ ни-при-чемъ, и что земледѣліе гибнетъ просто потому, что въ немъ нѣтъ ни нервовъ, ни органовъ самостоятельнаго живого организма, и что министерство земледѣлія оказалось вслѣдствіе этого призваннымъ не только управлять дѣломъ земледѣлія, но дѣлопроизводствомъ замѣнять отсутствующую въ этой громадной области народнаго труда жизнь" („Гражданинъ", отъ 6 февраля). Такимъ образомъ, по признанію „Гражданина", никакое министерство не въ состояніи своимъ дѣлопроизводствомъ замѣнить отсутствующую въ странѣ самостоятельную жизнь; и тотъ же „Гражданинъ" неустанно проповѣдуетъ необходимость погасить остатокъ жизни тамъ, гдѣ она еще теплится, — въ мѣстномъ самоуправленіи и въ судѣ присяжныхъ,—чтобы осуществился идеалъ всеобщей мертвенной неподвижности, надъ которою безконтрольно властвовали бы энергическіе губернаторы съ своими канцеляріями и земскіе начальники изъ бравыхъ офицеровъ. Завѣтная мечта „Гражданина" — исчезновеніе всякаго подобія „гражданъ" въ государствѣ, искорененіе всякихъ нервовъ и органовъ „самостоятельнаго живого организма", созданнаго земскими учрежденіями, и повсемѣстная замѣна общественной и даже сословной дѣятельности бюрократическою, начальственной, чиновничьею. Мертвое общество, мертвый народъ, подъ командой живыхъ распорядителей, огражденныхъ отъ критики

всеобщимъ принудительнымъ молчаніемъ,—таково положеніе вещей, къ которому стремятся наши лже-консерваторы, и во имя котораго они смѣло громятъ „либераловъ“ при всякомъ проявленіи жизни въ обществѣ и народѣ. Стремятся ли они сознательно къ чему-нибудь опредѣленному? Этого не видно; скорѣе напротивъ,—они не знаютъ сами, куда идутъ, съ чѣмъ воюютъ и что̀ превозносятъ. Глашатаи дворянскихъ интересовъ поднимаютъ гоненіе на помѣщичье дворянство, пытающееся жить и дѣйствовать въ земствѣ, и требуютъ передачи всей провинціальной жизни Россіи подъ опеку бюрократіи, которая въ сущности, въ принципѣ, далеко не пользуется ихъ симпатіями. Льстивое поклоненіе правительству оказывается, слѣдовательно, чѣмъ-то вполнѣ абстрактнымъ, не касающимся вовсе необходимыхъ о̀ргановъ и способовъ дѣйствія правительственной власти.

„Никто не хвалитъ бюрократовъ,—читаемъ мы въ „Гражданинѣ“ (отъ 3 февраля),—и врядъ-ли кто благословляетъ гидру, стиснувшую свободную, яркую жизнь,—но у всѣхъ на умѣ и на сердцѣ заботы болѣе жгучія, и страхъ, и радость болѣе близкіе. И гидра эта толстѣетъ, расползается. Въ Россіи она сильнѣе, чѣмъ на Западѣ... За малымъ исключеніемъ, служба русской интеллигенціи протекаетъ въ сторонѣ, вдали отъ народа. На Западѣ чиновники тоже чураются простого народа; но тамъ народъ—выборщикъ, политическая сила, и потому волей-неволей чиновникъ долженъ съ нимъ тѣснѣе сплотиться, выслушивать его нужды, жить его заботами. Тамъ это дѣлается не отъ сердца, но по необходимости, изъ страха. У насъ же нѣтъ ни влеченія сердца, ни силы необходимости и страха. У насъ, недосягаемо надъ народомъ, выросла гигантская служебная машина, и шумъ, трескотня въ ней, идетъ совсѣмъ особо отъ шума народной жизни. Эту машину не могъ расчистить своею дубинкою Петръ I; передъ ней спасовалъ крутой нравъ Николая I; передъ нею и понынѣ склоняются монархи, аристократія и народъ“...

Мы должны вступиться за бюрократію передъ публицистами „Гражданина“... „Гидра, стиснувшая свободную, яркую жизнь“, не была бы гидрою и не подавляла бы жизни, еслибы не ложныя консервативныя идеи, враждебныя всему живому въ обществѣ и народѣ. Гидра „толстѣетъ, расползается“ только потому, что окружающіе ее элементы общественной самодѣятельности обречены на безсиліе, подвергаются систематическимъ заподозриваніямъ и ограниченіямъ, открывающимъ полный просторъ не-

прерывному росту бюрократіи. Сложный правительственный механизмъ, безъ котораго не можетъ обойтись современное государство, выходитъ изъ своей служебной роли и пріобрѣтаетъ указанныя „Гражданиномъ“ черты исключительно лишь тогда, когда онъ становится единственной, всепоглощающей силой въ государствѣ. Въ результатѣ, сами консерваторы начинаютъ усматривать мертвящую „гидру“ въ законномъ продуктѣ ихъ собственныхъ стремленій и домогательствъ. Странное, поучительное недоумѣніе! Ради чего же возстаютъ они противъ началъ самоуправленія, гласности и публичнаго контроля, которыми бюрократія только и вводится въ извѣстные предѣлы, соотвѣтствующіе ея истинному назначенію?

Наша новѣйшая бюрократія во многихъ отношеніяхъ превосходна; она вбираетъ въ себя лучшія интеллигентныя силы страны, и большинство кончающей курсъ университетской молодежи ежегодно пополняетъ собою ряды чиновниковъ въ правительственныхъ канцеляріяхъ. Въ каждомъ министерствѣ можно найти не мало ученыхъ и талантливыхъ людей, замѣчательныхъ тружениковъ, опытныхъ писателей и публицистовъ; нѣкоторыя вѣдомства, какъ, напр., финансовъ и земледѣльческое, обогащаютъ спеціальную литературу весьма цѣнными общеполезными изданіями и обнаруживаютъ вообще заботливость о распространеніи въ публикѣ фактическихъ свѣдѣній по различнымъ отраслямъ государственнаго хозяйства. Но самые просвѣщенные и дѣятельные представители бюрократіи не въ состояніи исполнить все то, что̀ ожидается отъ нихъ консервативною печатью. Когда рѣчь идетъ объ единоличной власти, то часто совершенно упускается изъ виду физическая природа ея носителей; этимъ грѣшитъ и законодательство, возлагающее на отдѣльныхъ сановниковъ и администраторовъ такое обиліе обязанностей, какое было бы не по силамъ даже цѣлой обширной коллегіи должностныхъ лицъ. И при всякой новой законодательной мѣрѣ число этихъ обязанностей увеличивается. Многіе проекты построены на предположеніи, что человѣкъ, облеченный властью, способенъ одновременно находиться въ разныхъ мѣстахъ, вникать одновременно въ сотни дѣлъ и непрерывно разрѣшать всевозможные вопросы, независимо отъ исполненія постоянныхъ обязательныхъ функцій. Если сообразить, напримѣръ, что̀ долженъ дѣлать земскій начальникъ, совмѣщающій въ себѣ должности судьи, администратора и опекуна для многихъ тысячъ жителей своего участка, то надо удивляться самоотверженнымъ людямъ, рѣшающимся занять

такой многотрудный и почти фантастическій постъ. Земскій начальникъ привлекается и къ задачѣ взысканія податей; онъ участвуетъ и въ дѣлахъ по опекѣ, и нѣтъ такихъ мѣстныхъ крестьянскихъ дѣлъ, которыя не входили бы въ его компетенцію. Сверхъ всего прочаго, на немъ лежитъ огромная письменная работа: онъ долженъ вести 19 книгъ, формы которыхъ установлены или предлагаются губернскимъ присутствіемъ; а дѣла распредѣляются по 22 нарядамъ или категоріямъ [1]). Хорошій и добросовѣстный земскій начальникъ долженъ все знать, за всѣмъ слѣдить, отказаться отъ сна и отдыха, чтобы вполнѣ удовлетворить возростающимъ требованіямъ закона и консервативныхъ доброжелателей. А губернаторъ, хозяинъ губерніи! Страшно подумать о количествѣ лежащихъ на немъ обязанностей, заботъ и дѣлъ; между тѣмъ, къ этой массѣ дѣлъ и заботъ прибавляются все новыя, относительно которыхъ также высказывается увѣренность, что ихъ лучше всего предоставить губернатору. Очевидно, съ понятіемъ о губернаторѣ соединяется уже представленіе объ отвлеченной, сверхъестественной личности, свободной отъ условій времени и пространства. Любители сильныхъ ощущеній совѣтуютъ теперь возложить на того же хозяина губерніи и руководство всѣмъ земскимъ хозяйствомъ, такъ какъ, въ силу своего званія, онъ одинъ можетъ безошибочно справиться съ бременемъ, превышающимъ способности многочисленныхъ мѣстныхъ дѣятелей. Что губернаторамъ дѣйствительно приписываются сверхъ-человѣческія качества,—въ этомъ не трудно убѣдиться, читая „Московскія Вѣдомости" и „Гражданинъ". Послѣдній любезно предлагаетъ, между прочимъ, предоставить губернаторамъ, „подъ ихъ личною отвѣтственностью строить всѣ нужныя губерніи проѣздныя дороги". Въ сущности, — восклицаетъ этотъ публицистъ,—„что можетъ быть легче такого предпріятія? А вмѣстѣ съ тѣмъ какое громадное пробужденіе для трудовой жизни и какой подъемъ народнаго благосостоянія произведетъ въ каждой губерніи начало этихъ дорожныхъ сооруженій!" Ясно, что „Гражданинъ" создалъ себѣ образъ всевѣдущаго, вездѣсущаго и повсюду успѣвающаго губернатора, которому ничего не стоитъ „объять необъятное" и совмѣстить несовмѣстимое. Для обыкновенныхъ смертныхъ сооруженіе проѣздныхъ дорогъ въ губерніи, равной по пространству, быть можетъ, какому-нибудь изъ европейскихъ государствъ, составляло бы колоссальное пред-

---

[1]) См. „Практическое пособіе для земскихъ начальниковъ", А. К. Боровскаго. Спб., 1900.

пріятіе, которое потребовало бы энергической работы многихъ руководителей и инженеровъ; а губернаторы, по „Гражданину", устроивали бы дороги мимоходомъ, въ видѣ отдыха, среди тысячи текущихъ административныхъ дѣлъ, вызывая, кстати, „громадное пробужденіе трудовой жизни" и „подъемъ народнаго благосостоянія". Что̀ можетъ быть легче этого! Взглядъ на носителей власти, какъ на особыя существа, не связанныя условіями времени и мѣста, приводитъ къ тому, что, съ одной стороны, многія служебныя задачи и повинности превращаются неизбѣжно въ бумажныя фикціи, а съ другой — значительнѣйшая часть работы по необходимости сосредоточивается въ канцеляріяхъ, или достается второстепеннымъ исполнителямъ. Еслибы губернаторовъ обязали, сверхъ всего прочаго, строить еще дороги въ губерніи, то имъ ничего не оставалось бы, какъ назначить для этого особыхъ чиновниковъ, поручивъ имъ вѣдаться съ подрядчиками и тратить казенныя деньги съ соблюденіемъ извѣстныхъ формальностей; „личная отвѣтственность" была бы въ данномъ случаѣ только ненужною ширмою. Точно такъ же передача губернатору части земскаго хозяйства привела бы къ созданію новой канцеляріи съ соотвѣтственнымъ штатомъ чиновниковъ.

Безконечное увеличеніе бюрократическаго персонала и возростаніе бумажнаго производства являются прямыми послѣдствіями непомѣрныхъ требованій, предъявляемыхъ къ о̀рганамъ правительства. Винить бюрократію за эти послѣдствія было бы несправедливо. Источникъ зла—преувеличенная вѣра въ чудодѣйственную силу власти, въ ея способность ставить человѣка внѣ и выше физическихъ законовъ, которымъ подчинены обыкновенные смертные. Иначе, какъ этой вѣрой, нельзя объяснить то баснословное нагроможденіе разнородныхъ обязанностей, которое характеризуетъ многія правительственныя должности по нашимъ законамъ и обычаямъ. Не говоримъ уже о министрахъ,—они стоятъ настолько высоко, что ихъ ежедневные труды, дѣла и заботы не поддаются наблюденію и превосходятъ человѣческое пониманіе. Но и высокопоставленныя лица—все-таки люди, и надо бы, по крайней мѣрѣ, избѣгать обремененія ихъ новыми задачами и проектами, которые постоянно придумываются для нихъ услужливою консервативною печатью. Къ министру направляются дѣла и вопросы со всѣхъ концовъ Россійской имперіи; отъ него ждутъ рѣшеній и указаній цѣлыя арміи чиновниковъ, и каждое вѣдомство образуетъ особый грандіозный механизмъ, который расширяется и ростетъ вмѣстѣ съ развитіемъ и услож-

неніемъ русской жизни. И чѣмъ больше и шире кругъ дѣлъ, доходящихъ до министерства и зависящихъ отъ его рѣшенія, тѣмъ сильнѣе умножается составъ бюрократіи, и тѣмъ чаще государственные вопросы сливаются съ бюрократическими.

Въ до-реформенной Россіи господство бюрократіи было исключительное и безраздѣльное. О государственномъ и общественномъ бытѣ того времени М. Н. Катковъ писалъ въ шестидесятыхъ годахъ: „Наука?? Науки не было,—была бюрократія. Право собственности?? Его не было,—была бюрократія. Законъ и судъ?? Суда не было,—была бюрократія. Церковнаго управленія не было, — была бюрократія. Администрація?? Администраціи не было,—было постоянное, организованное превышеніе власти, а съ симъ вмѣстѣ и ея бездѣйствіе въ ущербъ интересамъ казеннымъ и частнымъ“... Къ этой характеристикѣ, сдѣланной редакторомъ „Московскихъ Вѣдомостей“, можно только прибавить, что бюрократія была тогда плохая, ненадежная по качеству, и что, слѣдовательно, могущество ея было само по себѣ великимъ зломъ для государства. Современное чиновничество имѣетъ уже мало общаго съ своеобразнымъ міромъ Фамусовыхъ и Скалозубовъ, но оно обладаетъ всѣми недостатками, присущими бюрократическому режиму вообще. По свидѣтельству такого авторитетнаго и высоко-компетентнаго наблюдателя, какъ К. П. Побѣдоносцевъ, и въ наше время канцелярскій способъ государственной дѣятельности приводитъ, съ одной стороны, къ возвышенію людей, подобныхъ пустому карьеристу Никандру, а съ другой—создаетъ въ исполнителяхъ „равнодушіе“ къ живому дѣлу—эту „язву бюрократіи“,—причемъ серьезныя правительственныя задачи попадаютъ нерѣдко въ совершенно неподготовленныя руки: „юноши, едва покинувшіе школьную скамью, притомъ плохо обсиженную,—начинаютъ уже строчить въ канцеляріяхъ полуграмотные проекты новыхъ уставовъ“, являются составителями законодательныхъ проектовъ; „былинка, вчера только поднявшаяся изъ земли, становится на мѣсто крѣпкаго дерева“, и проекты ихъ „проходятъ безъ критики и возбуждаютъ еще иногда удивленіе, вмѣсто смѣха“... Въ бюрократической средѣ развивается особая болѣзнь, которую К. П. Побѣдоносцевъ называетъ „гипертрофіею власти“; по мѣрѣ усиленія этой болѣзни, „власть можетъ впасть въ состояніе нравственнаго помраченія, въ коемъ она представляется сама по себѣ и сама для себя

существующею“ [1]). Этотъ самодовлѣющій характеръ бюрократіи есть основное свойство ея природы, источникъ ея постояннаго несоотвѣтствія потребностямъ жизни. Служба, какъ форма существованія и обезпеченія значительной части образованнаго общества, вырабатываетъ свой самостоятельный кругъ интересовъ, стремленій и страстей, далеко не всегда совпадающихъ съ нуждами и пользами государственными. Чиновники, какъ и всѣ люди, живутъ также прежде всего для себя и для своихъ семействъ,—и требовать отъ нихъ непрерывнаго систематическаго самоотверженія было бы болѣе чѣмъ странно. Формальное отношеніе къ дѣламъ, даже при полной добросовѣстности служащихъ, привычка „отписываться“ отъ трудныхъ реальныхъ задачъ и вопросовъ, послѣдовательное увеличеніе штатовъ въ связи съ наплывомъ новыхъ искателей мѣстъ, превращеніе временныхъ должностей или канцелярій въ долговѣчныя или постоянныя, преобладаніе бумажнаго производства надъ жизненными требованіями дѣйствительности,—таковы неизбѣжныя особенности бюрократическаго міра, независимо отъ достоинствъ и знаній дѣйствующихъ въ немъ лицъ. Руководящіе дѣятели даютъ иногда сильный толчокъ этой сложной машинѣ, заставляя ее работать ускореннымъ тэмпомъ; но главное бремя труда и отвѣтственности лежитъ на нихъ самихъ, и въ наиболѣе энергическихъ вѣдомствахъ начальники обыкновенно страдаютъ отъ избытка занятій и заботъ, въ отличіе отъ массы второстепенныхъ чиновниковъ. Внутренній строй бюрократіи сказывается и въ замкнутости различныхъ вѣдомствъ, и въ ихъ взаимной розни. Законъ говоритъ, что „поелику всѣ министерства составляютъ единое управленіе, то ни одно изъ нихъ не можетъ отдѣляться отъ другихъ ни въ видахъ управленія, ни въ общей его цѣли. Раздѣленіе разныхъ частей управленія по министерствамъ не есть раздѣленіе самого управленія, которое по существу своему всегда должно быть едино“ (ст. 216 Учрежденія министерствъ). На практикѣ возможны у насъ такіе случаи, что два министерства, независимо одно отъ другого, приготовляютъ одновременно два различныхъ законопроекта по одному и тому же предмету; напр., проекты положенія объ артеляхъ выработаны и министерствомъ финансовъ, и состоящею при министерствѣ юстиціи коммиссіею по составленію новаго гражданскаго уложенія,—точно также какъ и законопроекты объ акціонерныхъ компаніяхъ. Хотя составленіе законодательныхъ проектовъ не входитъ въ обычныя

---

[1]) „Московскій Сборникъ“, 1896 г., стр. 94, 224—234, 246, 253 и слѣд.

обязанности министерскихъ канцелярій, но оно вѣроятно только въ рѣдкихъ случаяхъ поручается вновь причисленнымъ неопытнымъ юношамъ, какъ на это указываетъ К. П. Побѣдоносцевъ; отмѣченная же нами аномалія наглядно убѣждаетъ въ отсутствіи единства даже въ одной изъ важнѣйшихъ отраслей государственной дѣятельности, при господствѣ бюрократическихъ началъ.

Спрашивается теперь: почему бюрократія съ ея общеизвѣстными недостатками и слабостями должна поглотить собою земство и оттѣснить на задній планъ живыя общественныя силы? Съ какой точки зрѣнія можно желать, чтобы однообразіе рутины и формализма торжествовало надъ естественнымъ разнообразіемъ жизни и ея интересовъ? Въ частности, не заглохнутъ ли и консервативные элементы общества подъ одностороннею ферулою бюрократическаго всевластія?.. „Кто замѣнитъ этихъ (какъ отзывался о нихъ государственный совѣтъ, въ 1890 г., при обсужденіи проекта нынѣ дѣйствующаго Положенія о земскихъ учрежденіяхъ) „знающихъ и чувствующихъ мѣстныя потребности“ людей, „берущихся за трудъ не изъ-за матеріальныхъ выгодъ, а изъ любви и усердія къ дѣлу“?—спрашиваетъ В. Д. Кузьминъ-Караваевъ, въ недавно вышедшей въ свѣтъ брошюрѣ: „Предѣльность земскихъ расходовъ и обложенія“ (Спб. 1900, стр. 61), и отвѣчаетъ не безъ основанія на поставленный имъ вопросъ: „Кто бы ни замѣнилъ—живого дѣла уже не будетъ. Сразу дѣло не погибнетъ—земства вѣдь не уничтожаютъ. Но въ томъ-то и опасность предлагаемой мѣры (фиксаціи земскихъ расходовъ и обложеній), что она, не уничтожая земства, ставитъ для его дѣятельности такія условія, при которыхъ оно медленно, но вѣрно само придетъ къ смерти“...

Далѣе,—почему судъ присяжныхъ, для котораго отправленіе правосудія есть священнодѣйствіе, вызываетъ противъ себя нападки по поводу каждаго приговора, представляющагося сомнительнымъ, тогда какъ неудачныя рѣшенія коронныхъ судей, обремененныхъ дѣлами и потому лишенныхъ возможности посвящать много вниманія судьбѣ обвиняемыхъ, не подвергаются заслуженной критикѣ?.. Канцелярская бюрократія, въ разныхъ ея видахъ и формахъ, несомнѣнно сама нуждается въ преобразованіяхъ и ограниченіяхъ для пользы государства, и предоставлять ей ограничивать жизнь безъ мѣры, какъ того требуютъ наши мнимые консерваторы, значило бы ставить искусственныя преграды будущему росту и всестороннему внутреннему развитію самого государства.

Л. Слонимскій.

ИЗЪ

СОВРЕМЕННЫХЪ АНГЛІЙСКИХЪ ПОЭТОВЪ

I.—РИЧАРДЪ ГАРНЕТТЪ.

Два листа.

Сказалъ поблекшій листъ опавшему листу:
— Одинъ на деревѣ держусь я сиротливо;
Въ вершинахъ буйный вихрь бушуетъ прихотливо
И вѣтви старыя ломаетъ на-лету.—

Сказалъ опавшій листъ поблекшему листу:
— А я затоптанъ въ грязь тяжелою стопою;
Напрасно буйный вихрь зоветъ меня съ собою,
Онъ подхватить меня не можетъ на-лету.—

Сказалъ поблекшій листъ опавшему листу:
— О, научи меня, мольбѣ моей внимая:
Что̀ сдѣлать для того, чтобъ мнѣ дождаться мая
И снова пережить любви моей мечту?—

Сказалъ опавшій листъ поблекшему листу:
— Ты все отъ жизни взялъ: любовь съ ея отрадой,
Ты жилъ и зеленѣлъ, теперь же вянь и падай:
Кто можетъ пережить любви своей мечту!—

Баллада о челнѣ.

Рѣка блестѣла, какъ стекло;
    Сирены сладко пѣли;
Взялись мы бодро за весло
    И вихремъ полетѣли.
Въ стремленьи радостномъ своемъ,
    Вездѣ минуя мели,
Когда же въ гавань мы войдемъ?
    Когда достигнемъ цѣли?

Отъ ливней пѣнится рѣка,
    Шумитъ межъ берегами;
За быстрымъ бѣгомъ челнока
    Пастухъ слѣдитъ очами.
Уноситъ насъ рѣки разливъ,
    И волны зашумѣли...
Когда же мы минуемъ рифъ?
    Когда достигнемъ цѣли?

Горятъ пожаромъ облака́,
    И мы плывемъ къ закату;
Подобна бурная рѣка
    Расплавленному злату...
Исчезло солнце въ лонѣ волнъ.
    Когда жъ, минуя мели,
Увидитъ гавань утлый чолнъ?
    Когда достигнетъ цѣли?

Разсѣявъ дымку облаковъ,
    Луна взошла высо̀ко;
Не видно больше береговъ
    Шумящаго потока.
Блеснула молнія огнемъ,
    Раскаты прогремѣли...
Теперь мы рифы обогнемъ,
    Теперь достигнемъ цѣли!

Но валъ громадный поднялся́
    Внезапно передъ нами,
И съ трескомъ пали паруса,

Залитые волнами.
Съ собою насъ несетъ волна,
Спасенья нѣтъ... Ужели
Намъ эта гавань суждена?
Ужели мы—у цѣли?

II.—УИЛЬЯМЪ МОРРИСЪ.

Стансы.

О небесахъ и адѣ пѣть безсильный,
Не разгоню я тотъ священный страхъ,
Который міръ вкушаетъ замогильный;
Не воскрешу прошедшее въ умахъ,
Не осушу источникъ слезъ обильный;
Надежды словъ не ждите отъ меня—
Безпечнаго пѣвца пустого дня.

Но если въ часъ веселья къ вамъ устало
Заглянетъ вдругъ, застигнувъ васъ врасп.
И вырвется изъ сердца тихій вздохъ,
И братскую вы ощутите жалость—
Тогда на мигъ припомните меня—
Безпечнаго пѣвца пустого дня.

Заботы гнётъ, которая тревожитъ
Свершающихъ тяжелый жизни трудъ—
Ее снести мой стихъ имъ не поможетъ
Я стану пѣть о тѣхъ, что̀ не умрутъ,
Кого постичь забвеніе не можетъ,
Чье имя чтутъ, въ сердцахъ своихъ храня,
Безпечные пѣвцы пустого дня.

Мечтатель я, безвременно рожденный,
И мнѣ ль идти въ упорный бой со зломъ?
Пускай мой стихъ, отъ узъ освобожденный
Какъ мотылекъ о двери бьетъ крыломъ,
И этотъ міръ, въ дремоту погруженный,
Внимаетъ мнѣ и слушаетъ меня—
Безпечнаго пѣвца пустого дня.

Кудесникъ былъ; въ крещенскіе морозы
Показывалъ онъ взорамъ короля—
Изъ одного окна—весну и розы,
А изъ другого—лѣтнія поля,
Изъ третьяго—осеннихъ гроздій лозы,
Межъ тѣмъ какъ вихрь, врывавшійся извнѣ—
Напоминалъ о хмуромъ зимнемъ днѣ.

Такъ иногда съ земнымъ бываетъ раемъ.
Тамъ, гдѣ кипитъ ключомъ водоворотъ—
Мы острова̀ блаженства созидаемъ;
На днѣ живетъ морскихъ чудовищъ родъ,
Героями бывалъ онъ побѣждаемъ;
Но грозная борьба—не для меня,
Безпечнаго пѣвца пустого дня.

О. Михайлова.

ЖЕНА—АМЕРИКАНКА

И

АНГЛИЧАНИНЪ—МУЖЪ

„American Wives and English Husbands", by G. Atherton.

VIII *).

Около недѣли спустя послѣ драки Сесиля на улицѣ, Ли проснулась среди ночи отъ какого-то страннаго ощущенія,—какъ будто на нее откуда-то подуло холодомъ. Она посмотрѣла на дверь,—ничего: заперта, и все въ комнатѣ какъ всегда, въ томъ порядкѣ, въ какомъ она сама, Ли, все оставила, засыпая; даже фланелевая юбка, которую м-съ Тарлтонъ вышивала для дочери, лежала тамъ, гдѣ была брошена съ вечера, и иголка высоко торчала, блестя какъ длинный лучъ при свѣтѣ ночника. Все вокругъ было какъ обыкновенно; а все-таки во всемъ чувствовалось безотчетное присутствіе чего-то жуткаго, необычнаго и Ли поддалась этому впечатлѣнію:

— Мэмми!—позвала она:—мэмми!

Сонъ у м-съ Тарлтонъ былъ всегда очень чуткій, но на этотъ разъ она не откликнулась.

Ли соскочила на полъ и подбѣжала къ матери, но за шагъ до кровати остановилась, и колѣнки у нея затряслись: мать ея лежала на боку, лицомъ къ стѣнѣ, протянувъ руку на одѣялѣ...

---

*) См. выше: апр., 749 стр.

Ли, испуганная неподвижностью и безотвѣтностью матери, бросилась внизъ, а потомъ прямо къ Сесилю; дверь его комнаты не была заперта на ключъ. Мальчикъ проснулся, но пришелъ въ себя только очутившись на ногахъ и кого-то отгоняя отъ себя, какъ во снѣ.

— Да это я, это я!—запыхавшись, лепетала Ли.—Съ мэмми что-то случилось; пойдемъ скорѣе!

— Хорошо, хорошо; только вы останьтесь здѣсь, а я пройду къ отцу и одѣнусь.—М-ръ Маундрелъ вышелъ изъ своей комнаты и при свѣтѣ газоваго рожка замѣтилъ, какъ блѣдна и утомлена бѣдная дѣвочка. Возвращаясь отъ м-съ Тарлтонъ, онъ встрѣтилъ на лѣстницѣ сына и Ли, закутанную въ пальто ея маленькаго друга, и заставилъ обоихъ вернуться обратно.

— Миссисъ и миссъ Гейнъ у вашей мамы,—проговорилъ онъ. —Ложитесь въ постель Сесиля и спите, а Сесиля я возьму къ себѣ.

— Я никогда не оставляю мэмми на чужихъ рукахъ,—пролепетала Ли и вздрогнула, почему-то закрывая себѣ уши обѣими руками.—Только бы мнѣ не остаться одной!..

— Хорошо, — поспѣшилъ м-ръ Маундрелъ согласиться.— Ступайте оба въ гостиную, а ты, Сесиль, завари ей чаю.

Сесиль скорѣе донесъ, чѣмъ довелъ дѣвочку до гостиной, посадилъ ее на диванъ, зажегъ всѣ рожки, и принялся заваривать чай дрожащими руками. Покончивъ съ этимъ дѣломъ, онъ подошелъ къ ней съ чашкой чаю.

— Пейте! — самымъ рѣшительнымъ тономъ приказалъ онъ, и Ли проглотила нà-скоро цѣлую чашку чаю. Сесиль тоже выпилъ чаю и, подойдя къ Ли, крѣпко обнялъ ее, проговоривъ:

— Ну, теперь можете, если хотите, плакать...

Отъ усилія сдержать свои слезы, онъ морщилъ брови, а Ли спрятала свое блѣдное лицо у него на груди и зарыдала неудержимо надъ своей ужасной догадкой. Сесиль не могъ ничего придумать—ей сказать, но судорожно обнималъ ее и цѣловалъ; онъ былъ готовъ самъ разрыдаться и въ то же время сожалѣлъ, что это случилось не тремя днями позже. Ему казалось, что за три дня всякая дѣвочка успѣетъ выплакать всѣ свои слезы. Друзья и знакомые м-съ Тарлтонъ всѣ прислали цвѣтовъ и пришли на отпѣваніе, которое происходило въ той же комнатѣ, гдѣ она умерла. М-съ Гейнъ нашла, что вынести покойницу въ церковь слишкомъ дорого обойдется, а перенести ее въ общую гостиную не допустили жильцы.

Ли сидѣла поодаль, въ уголку, крѣпко держась за руку Сесиля; еще худѣе, еще чернѣе казалась она въ своемъ траурномъ

платьѣ, хотя оно, какъ новинка, и умѣряло на время ея горе. Всѣ дамы цѣловали ее и звали къ себѣ, а м-съ Монгомери, только-что вернувшаяся изъ Европы, очень волновалась и хотѣла тотчасъ же увезти ее; но дѣвочка только качала головой: у нея и у ея друга были совсѣмъ другіе планы.

Кроватку ея перенесли въ комнатку миссъ Гейнъ, и Ли, какъ всегда, продолжала ходить въ школу; но горе ея, съ теченіемъ времени, не смягчалось, а скорѣе усиливалось; она даже стала горбиться, почему м-съ Гейнъ и заблагоразсудила надѣть на нее корсетъ. Это обстоятельство еще болѣе подтвердило мрачныя воззрѣнія дѣвочки на жизнь; а ея женское чутье подсказало ей, что она должна сдерживать свои слезы, если хочетъ, чтобы Сесиль былъ ея другомъ и товарищемъ. Онъ былъ съ нею добръ и ласковъ, и объявилъ, что любитъ ее еще больше за то, что она славная дѣвочка и держится прямо (про корсетъ Ли умолчала), и что отецъ, который вообще американцевъ ненавидитъ, говоритъ тоже про нее, что она „славный малый“ и что въ ней, несмотря на то, что ей всего двѣнадцатый годъ, больше выдержки и здраваго смысла, чѣмъ съумѣла за тридцать-пять лѣтъ пріобрѣсти сама избранница его сердца.

Ли часто и подолгу гуляла съ товарищемъ своихъ думъ; иногда они ѣздили кататься на лодкѣ; одинъ разъ Сесиль и его отецъ даже взяли ее съ собой на рыбную ловлю,—и тутъ-то впервые закралось ей въ душу подозрѣніе, что, въ сущности, она все-таки одинока. Углубившись въ свой любимый спортъ, они забыли думать про нее, и безъ ея участія, повидимому, чувствовали себя хорошо: никогда еще не видывала она м-ра Маундрела такимъ счастливымъ, а каріе глаза Сесиля искрились, какъ шампанское...

Прошелъ почти мѣсяцъ со дня смерти м-съ Тарлтонъ.

Однажды, сидя за завтракомъ, Сесиль толкнулъ Ли подъ столомъ и подмигнулъ ей, указывая бровями на отца, который внимательно читалъ англійскую газету; лицо его, обыкновенно блѣдное, вспыхнуло; казалось, волненіе готово было отразиться въ чертахъ его лица.

Вскорѣ днемъ, когда Ли возвращалась изъ школы домой, Сесиль вышелъ къ ней на встрѣчу.

— Мой дядя и его бутузъ—оба умерли, и ихъ наслѣдникъ—мой отецъ,—объявилъ онъ.

— Значитъ, онъ—лордъ? — чуть не задыхаясь, воскликнула Ли.

— Да.

Глаза у дѣвочки такъ и запрыгали; ея романъ ожилъ; заботъ—какъ не бывало.

— Онъ герцогъ?

— Нѣтъ: онъ—графъ.

— „Графъ" даже красивѣе, чѣмъ „герцогъ"... то-есть, какъ самое названіе, конечно.

— У него есть еще особый титулъ,—такъ ужъ это полагается: онъ—лордъ Барнстэплъ.

— Ну, это не такъ красиво.

— Я...—Сесиль засунулъ руки въ карманы и сильно покраснѣлъ. — Пожалуй, *вамъ* я могу это сказать: у меня вѣдь тоже есть свой титулъ. Видите ли,—отецъ мой—графъ Барнстэплъ и виконтъ Маундрелъ; а я, значитъ, оказываюсь „лордомъ Маундрелъ"... Никому другому я ни за что не рѣшился бы сказать,—прибавилъ онъ поспѣшно.

— Сесиль!—восторженно вырвалось у Ли; она неистово замахала руками и запрыгала отъ радости.—Отроду я не слыхала ничего чудеснѣе! Это совсѣмъ точно живемъ мы „въ Вальтеръ-Скоттѣ" или „въ Шекспирѣ", или... что-нибудь въ этомъ родѣ. Придется вамъ носить корону и порфиру?

— Я не король, — съ достоинствомъ возразилъ Сесиль.— Вотъ послѣ этого и говорите, что я не знаю исторіи Соединенныхъ-Штатовъ! Вы вѣдь, американцы, презабавный народъ! Только вы и способны заботиться о такихъ пустякахъ!

— Что-жъ тутъ такого? Мнѣ кажется, чудесно быть лордомъ или лэди? Цѣлыя полки книгъ написаны про нихъ,—это самые лучшіе изъ романовъ, которые каждый читаетъ... А какое множество балладъ, поэмъ, картинъ! Я слышала, какъ мама часто объ этомъ говорила, и я ей вслухъ читала... Она думала, что это разовьетъ во мнѣ вкусъ къ изящной литературѣ. Я живо могла себѣ представить герцоговъ и королей, ихъ великолѣпныя шествія, замки и турниры, принцессъ и соколовъ. О, Боже мой! Да я была бы совсѣмъ глупа, еслибъ это мнѣ было все равно! Я только жалѣю, что не родилась такою, какъ онѣ. Я увѣрена, что въ нашемъ Санъ-Франциско нѣтъ ничего романическаго,—особенно въ Базарной улицѣ.

— Но вы будете такою же, — согласился, наконецъ, Сесиль.—Вы вѣдь выйдете за меня замужъ.

— Ну да! Ну да! Не можемъ ли мы жениться... хоть сейчасъ?

Сесиль опустилъ голову и покачалъ ею отрицательно.

— На дняхъ я говорилъ съ отцомъ, и онъ мнѣ сказалъ,— —мальчикъ вздрогнулъ при одномъ воспоминаніи объ этомъ,—онъ сказалъ, что не можетъ взять васъ съ собою; — что съ него довольно и одной американки въ семьѣ, и... ну, словомъ, наговорилъ кучу всякихъ гадостей. Дѣлать нечего,—намъ придется обождать, пока я самъ за вами пріѣду, или кто-нибудь привезетъ васъ къ намъ.

Отойдя въ уголъ лѣстницы, Сесиль потянулъ къ себѣ Ли и высокимъ фальцетомъ произнесъ:

— О, Ли! Мы завтра уѣзжаемъ. Какъ мнѣ противно оставлять васъ одну!

— Вы ѣдете... завтра?! — задыхаясь, повторила Ли.—И... безъ меня!

Она залилась слезами, а Сесиль на этотъ разъ позабылъ свою мужскую гордость и тоже заплакалъ.

— Ахъ, еслибъ я былъ уже большимъ!—всхлипывая, говорилъ онъ. — Но до этого еще далеко. Много лѣтъ пройдетъ, пока я кончу курсъ въ Итонѣ, а потомъ я поступлю въ Оксфордъ: мнѣ вѣдь только четырнадцать лѣтъ и одиннадцать мѣсяцевъ. Цѣлыхъ шесть лѣтъ придется дожидать, пока я буду совершеннолѣтнимъ. Чортъ знаетъ, какъ долго надо давать образованіе человѣку! Пожалуй, добрыхъ восемь лѣтъ придется съ вами не видаться.

— Восемь лѣтъ? Да я умру!.. Отчего онъ не хочетъ взять меня съ собой? Я могу за себя заплатить: м-съ Гейнъ говоритъ, что у меня есть восемьдесятъ долларовъ въ мѣсяцъ. Какъ вамъ кажется: отецъ, узнавъ это, не передумаетъ?

— Нѣтъ! Нѣтъ...

Выплакавъ всѣ слезы, Ли покорилась своей горькой участи.

— Но мы будемъ, все-таки, переписываться разъ въ недѣлю,—да?

Пришла очередь Сесилю растеряться.

— Ли!—воскликнулъ онъ въ отчаяніи:—я терпѣть не могу писать письма!

— Но вы будете мнѣ писать, будете?—рѣзко повторила Ли.

— Ну хорошо, хорошо: попробую!.. Но только разъ въ мѣсяцъ.

— Разъ—*въ недѣлю*; а не то я не буду вовсе писать! А какъ пріятно получать письма!

— Ну, такъ два раза въ мѣсяцъ.

На томъ и согласились, и вмѣстѣ пошли укладываться.

За обѣдомъ у бѣдныхъ дѣтей были такія печальныя лица,

что по адресу м-ра Маундрела былъ направленъ не одинъ укоризненный взглядъ: дѣти немало всѣхъ развлекали и увеселяли, а потому и пользовались всеобщимъ сочувствіемъ.

Послѣ обѣда Ли и Сесиль сидѣли въ гостиной и говорили о своей дальнѣйшей судьбѣ, и Сесиль благосклонно обѣщалъ, что ихъ жизнь сложится непремѣнно какъ въ романѣ Вальтеръ-Скотта... который Ли больше всего по-сердцу. Послѣ нѣкоторыхъ преній, она рѣшила, что ей больше всего нравится поэма „Марміонъ“, и Сесиль согласился принять на себя роль героя; Ли, со своей стороны, обѣщала всюду съ нимъ ходить и ѣздить удить рыбу; — обѣщала не кричать, даже еслибъ ее напугалъ страшный черный жукъ;—обѣщала никогда не злиться и не бранить его. Они обмѣнялись залогами обоюдной вѣрности. Ли дала ему свое золоченое сердечко съ ея портретомъ (сдѣланное изъ желтой жести) а въ немъ—прядь своихъ прямыхъ волосъ; Сесиль подарилъ ей на память кольцо съ фамильнымъ гербомъ и просилъ держать его пока въ карманѣ, чтобы отецъ не замѣтилъ.

Поутру ей милостиво разрѣшили ѣхать провожать Сесиля, но оба друга были слишкомъ взволнованы, чтобы особенно поддаваться унынію. Они прохаживались по палубѣ, ходили осматривать каюту перваго класса, которую взялъ для себя и для сына лордъ Барнстэплъ.

— Вы не будете высовывать голову изъ окна,—нѣтъ, Сесиль?—тревожно спрашивала его Ли.—И ночью,—смотрите!—держитесь покрѣпче, чтобы не вывалиться.

Сесиль пробурчалъ что-то такое въ отвѣтъ. Ли ужъ успѣла навѣсить на него предохранительный мѣшочекъ съ камфорой и подарила большой запасъ леденцовъ отъ кашля.

Лордъ Барнстэплъ посмотрѣлъ на часы.

— Черезъ восемь минутъ—мы уѣдемъ,—проговорилъ онъ и предложилъ Ли начать прощаться. Онъ былъ настроенъ благодушно и даже улыбался; казалось, ему хотѣлось на прощанье быть со всѣми въ ладу, и онъ даже рисовалъ себѣ въ будущемъ маленькую Ли не иначе, какъ богатой наслѣдницей, милліонершей (ему почему-то представлялось, что всѣ дѣвушки-американки становятся милліонершами, когда выростаютъ); конечно, Сесиль могъ выбрать себѣ подругу не хуже Ли.

— Когда-нибудь можетъ случиться, что вы попадете въ Англію, — сказалъ онъ дѣвочкѣ: — вы, американцы, вѣдь, постоянно путешествуете; такъ ужъ постарайтесь какъ можно ближе походить на англичанку. Не будьте болтливы, а главное — не давайте надъ собой волю истерикѣ: я увѣренъ, что

ей можно не поддаваться, — стòитъ только захотѣть. И... вотъ еще чтò: ваши манеры... мм... нѣсколько рѣзки, угловаты; у васъ есть привычка иногда развалиться; а ваша мать, насколько я слышалъ, была весьма изящная женщина. Постарайтесь сдѣлаться такою же, какъ она. М-съ Гейнъ говоритъ, что друзья вашей матери намѣрены предложить вамъ переселиться къ нимъ. Вамъ надо непремѣнно принять ихъ предложеніе: было бы ужасно получить воспитаніе въ меблированномъ домѣ! Ну, кажется, вотъ и все. А теперь—-прощайтесь.

Сесиль крѣпко обнялъ и поцѣловалъ Ли и кивнулъ ей еще разъ на прощанье. Лордъ Барнстэплъ далъ имъ побыть еще минуту вмѣстѣ, а затѣмъ взялъ дѣвочку зà-руку и повелъ ее къ выходу.

— Прощайте!—проговорилъ онъ ласково:—Вы славная дѣвочка, не дѣлаете сценъ. Помните,—чтобъ у васъ не было истерикъ!

По дорогѣ домой, сидя одна въ наемномъ экипажѣ, Ли, однако, не стѣсняясь, рыдала,—и было отъ чего. Сесиль уѣхалъ, а дома нельзя даже выплакаться у мэмми на кровати: тамъ, тоже,—какъ и вездѣ вокругъ нея,—чужіе... все чужіе!

IX.

Цѣлая недѣля прошла въ неопредѣленныхъ переговорахъ, и, наконецъ, въ домѣ м-съ Монгомерй собрались для окончательнаго рѣшенія м-съ Браннанъ, м-съ Джири и м-съ Картрайтъ.

У послѣдней была племянница, Елена Бельмонтъ, энергію которой пока временно обуздывала школа. М-съ Монгомерй и м-съ Браннанъ готовились къ отвѣтственной роли матери красавицъ. Значеніе м-съ Джири было нѣсколько меньше въ этомъ смыслѣ: ея дочь можно было назвать скорѣе видной, нежели красивой. М-съ Картрайтъ была между двухъ огней: своимъ братомъ-полковникомъ,—домомъ котораго она управляла съ тѣхъ поръ, какъ онъ овдовѣлъ,—и Еленой—дѣвушкой рѣшительной и властной. Въ Калифорнію она явилась не особенно съ твердымъ характеромъ, но съ тѣхъ поръ окончательно его лишилась; впрочемъ, въ ея распоряженіи всегда былъ цѣлый потокъ разсужденій, и она имѣла извѣстное положеніе въ обществѣ; поэтому на свои совѣты и собранія всѣ ея друзья непремѣнно ее приглашали. М-съ Монгомери была „настоящая южанка“,—горячая, увлекающаяся, скорѣе склонная надѣлать бѣдъ, когда ее подхватитъ вихрь увлеченія. М-съ Браннанъ представляла собою просто мать

пышной красавицы, но и она была непремѣннымъ членомъ тѣснаго кружка пріятельницъ покойной м-съ Тарлтонъ. М-съ Джири— была практичная особа и жена милліонера. Въ 49-мъ году, ея супругъ,—по наружности довольно близко напоминавшій собой сушеную треску, уроженецъ Мэна,—промывалъ золото; въ пятидесятыхъ годахъ, онъ накупилъ себѣ земель и луговъ; въ шестидесятыхъ былъ уже крупнымъ банкиромъ, и, наконецъ, добился того, что сдѣлалъ изъ своей жены-южанки такого же узкаго и практичнаго человѣка, какъ онъ самъ. Ея пріятельницы всегда обращались къ ней за совѣтомъ.

— Такъ вотъ въ чемъ дѣло,—тотчасъ же начала м-съ Картрайтъ:—Эту милую дѣвочку нельзя воспитывать въ меблированныхъ комнатахъ, хотя бы у м-съ Гейнъ. Ли—внучатная или двоюродная племянница генерала Роберта Ли и троюродная сестра Брѐкинриджей, Ра́ндольфовъ, Ка́рролей и Прѐстоновъ, не говоря уже о Тарлтонахъ. Пока еще была жива наша милая, но гордая Маргарита, мы ничего не могли сдѣлать; но теперь—Ли намъ принадлежитъ, тѣмъ болѣе, что братецъ Джэкъ и м-ръ Бреннанъ состоятъ ея душеприказчиками и опекунами. Теперь, конечно, я сама бы ухватилась за удобный случай взять ее къ себѣ, еслибъ не моя дорогая, энергичная Елена. Черезъ годъ она уже будетъ дома, а если онѣ не поладятъ,—для меня это будетъ ужасно! Елена — добродушнѣйшее, милѣйшее созданье, но такой тиранъ! Ея волю *никто никогда* не пытался сломить. Вы не можете себѣ представить, что̀ мнѣ приходится подчасъ переносить, хотя я могу сказать, что передъ нею буквально преклоняюсь; а вѣдь Ли, за одиннадцать лѣтъ своей жизни, тоже привыкла творить *свою* волю, и было бы ужасно, еслибы она не захотѣла уступать Еленѣ. А между тѣмъ, мнѣ кажется, что Ли именно ни за что не станетъ уступать, и было бы ужасно для нея воспитываться въ домѣ, гдѣ ея индивидуальность была бы подавлена, хотя, впрочемъ, можетъ легко случиться, что Елена тотчасъ же выйдетъ замужъ...

— А сколько у Ли годового доходу?—перебила ее м-съ Джири.

— Восемьдесятъ долларовъ въ мѣсяцъ... Нѣтъ, вы себѣ представьте: дочь Гейварда Тарлтона должна жить и воспитываться на какіе-нибудь восемьдесятъ долларовъ!

— Этого вполнѣ довольно ей на ученье и на платье; а когда ей придется выѣзжать, мы можемъ каждая подарить ей по платью и сообща сдѣлать приданое, когда она будетъ выходить замужъ.

— Но вѣдь надо же, чтобъ у нея гдѣ-нибудь былъ родной

уголъ,—свой домъ, своя семья и материнская ласка,—возразила м-съ Монгомерѝ, которая, повидимому, сдерживала свое краснорѣчіе.—Чтò, еслибъ на ея мѣстѣ была моя Тини? Я какъ подумаю,—такъ и зальюсь слезами. Бѣдная крошка! Жить въ меблированныхъ комнатахъ ей не пристало; нéчего и говорить...

— Еще бы! Тарлтоны—одинъ изъ древнѣйшихъ родовъ нашего Юга!—восторженно вырвалось у м-съ Картрайтъ.

— Все это хорошо и прекрасно; но почему бы не помѣстить ее въ „Женскую Семинарію" Милля на семь лѣтъ? Лѣтомъ она можетъ жить у насъ, въ Мэнлò, — предложила дѣловитая м-съ Джири.

М-съ Монгомерѝ внушительно покачала головой.

— Нѣтъ, нѣтъ! Ей необходимо имѣть свой домъ: она—нѣжной души ребенокъ. Ее оскорбило бы, ей было бы больно чувствовать себя заброшенной и одинокой, никому особенно не интересной... Нѣтъ, даже подумать страшно!

— Значитъ, приходится кому-нибудь изъ насъ взять ее къ себѣ,—проговорила м-съ Джѝри.

— Именно, я такъ и думаю!—горячо подхватила м-съ Монгомерѝ.

— Еслибъ не Елена...—начала-было м-съ Картрайтъ, готовясь повторить все снова; но ее перебила м-съ Браннанъ, заговорившая съ необычной для нея твердостью:

— Я боюсь, что и я не могу; моя Иля такъ требовательна и такъ ревнива,—хотя на видъ и спокойна,—что мнѣ страшно за нее. Я сдѣлаю все, чтò угодно, въ смыслѣ подарка къ празднику, и буду очень рада, ѐсли Ли можетъ приходить учиться съ моей Коралѝ; но взять ее жить къ себѣ—я не могу рискнуть.

— Понятно, вы взяли бы, еслибъ могли,—сказала м-съ Монгомерѝ:—Мы всѣ знаемъ, кáкъ вы милы и добры. А вы, Марія?

— М-ръ Джѝри и слышать не хочетъ. Онъ терпѣть не можетъ сентиментальностей и всего, чтò выходитъ изъ ряду обыденной жизни; а вдобавокъ и покойная Маргарита всегда надъ нимъ подсмѣивалась, какъ надъ сѣверяниномъ; онъ вѣдь не изъ такихъ, которые легко зáбываютъ... Нѣтъ, я даже и не думала объ этомъ. Я ей буду дѣлать подарки и закажу нарядное платье, когда ей минетъ восемнадцать лѣтъ,—но больше ничего не могу сдѣлать.

— А я не смѣю даже и попытаться,—вздохнула м-съ Картрайтъ.—Но Джэкъ можетъ очень многое для нея сдѣлать.

— Такъ, значитъ, рѣшено!—перебила м-съ Монгомерѝ.—Она досталась мнѣ. Еще въ день похоронъ я звала ее къ себѣ, но

тогда она надѣялась, что этотъ безсердечный англичанинъ возьметъ ее съ собою,—бѣдное невинное дитя! Но Сесиль добрый мальчикъ, — настоящій южанинъ! Оно даже и лучше, что Ли тогда не согласилась: я успѣла посовѣтоваться съ дѣтьми, и даже считала это своимъ долгомъ. Я написала Тини въ Парижъ, подробно разсказала ей всю исторію семейства Тарлтоновъ, и сегодня утромъ получила отъ нея отвѣтъ,—такой милый, такой сочувственный! Знаете, я всегда цѣнила въ ней серьезность и здравый смыслъ, которымъ руководствовались даже ея старшія сестры. Она начала съ того, что объяснила, какой важный и рискованный шагъ—вводить новаго члена въ семью, гдѣ всѣмъ живется такъ дружно и счастливо, — какъ бы хорошо мы ни были знакомы съ его отцомъ и матерью. Поэтому, Тини меня просила не брать Ли къ себѣ, особенно если на это рѣшится кто-либо изъ нашихъ друзей; если же всѣ откажутся, пусть я ее возьму и сдѣлаю, насколько возможно, похожей на моихъ собственныхъ дѣтей;—вѣдь ей еще только одиннадцать лѣтъ... Итакъ, рѣшено: она—моя!

— Конечно, у вашей Тини уравновѣшенный умъ,—сказала м-съ Джйри.—И ничего лучшаго для Ли я не могла бы себѣ представить. Вы, конечно, позаботитесь о томъ, чтобы у нея были хорошія манеры и чтобъ ей никто грубаго слова не сказалъ; а Тини будетъ наблюдать, чтобы вы не слишкомъ ее избаловали, и чтобы къ ней привился вашъ семейный духъ.

— Ахъ, вы, милая моя насмѣшница,—Мэри! Вы сами знаете, что стали бы ее такъ точно баловать, какъ и я. Я очень рада! А до сихъ поръ я не рѣшалась заглянуть къ ней сама и только послала ей леденцовъ, да фруктовъ, новенькую кофточку и шляпу. Сейчасъ пойду за нею.

Такъ былъ рѣшенъ этотъ вопросъ, и жизнь Ли вступила въ новый фазисъ.

Въ тотъ же день Ли водворилась на житье въ старомъ деревянномъ домѣ на Ринконъ-Гиллѣ, стѣны котораго были увѣшаны длинными рядами фамильныхъ портретовъ. Мебель и ковры были уже неновые, но, купленные еще въ блестящую пору жизни м-ра Монгомери, они могли смѣло прослужить еще много лѣтъ его вдовѣ. Сверхъ того, м-съ Монгомери навезла изъ Европы множество бездѣлушекъ и старинной мебели, что̀ придавало еще болѣе скромный и аристократическій, — не-калифорнійскій видъ всей обстановкѣ. Хрусталь и серебро у нея, тоже, было хорошее, старинное. Теперь—м-съ Монгомери больше не

была богата, но у нея еще оставалось послѣ мужа настолько дохода, что она могла воспитывать дѣтей и ѣздить за границу, а также поддерживать Ринконъ-Гиллъ и Мэнло-Паркъ, и жить вообще настолько прилично, насколько это, по традиціи, пристало „одному изъ древнѣйшихъ родовъ Калифорніи", т.-е. блиставшему въ началѣ пятидесятыхъ годовъ.

Хорошенькая голубая спальня Ли выходила окнами въ старый, полузаглохшій садъ, тянувшійся по склону холма, надъ городомъ, и благоухалъ розами, которыя скрывались за его полуразвалившимися высокими стѣнами; по серединѣ были развалины стараго фонтана. Шумъ городской равнины никогда сюда не долеталъ и жилось здѣсь какъ-то по-старинному.

Напримѣръ, Ли было запрещено выходить за ворота безъ провожатаго. Ей не было необходимости самой думать и хлопотать обо всемъ; но мало-по-малу инстинкты, унаслѣдованные ею отъ матери, просыпались въ ней, и съ гибкостью, свойственной ея дѣтскому возрасту, она начинала усвоивать привычки и манеры, ближе подходившія къ жизни ея прежнихъ дней,—еще до смерти отца. Порой, Ли горевала и скучала по матери; но въ то же время не могла не чувствовать, что ей пріятно, спокойно проспать всю ночь напролетъ; вообще, Ли сдѣлалась такой сильной и здоровой дѣвочкой, какой только можно пожелать.

Рандольфъ былъ красивый мальчикъ—брюнетъ—точь-въ-точь отецъ, который былъ вылитый дѣдушка, самый изящный кавалеръ!—а вѣжливъ былъ до такой степени, что Ли чувствовала себя передъ нимъ какимъ-то краснокожимъ. Напримѣръ, онъ предупредительно вскакивалъ съ мѣста и бросался любезно отворять ей дверь; онъ никогда не садился въ ея присутствіи, пока она не сядетъ,—совершенно игнорируя разницу между своими шестнадцатью годами и ея дѣтскимъ возрастомъ. За столомъ, онъ также былъ полонъ вниманія, а къ матери всегда относился съ особымъ уваженіемъ, какъ „истинный южанинъ". Когда Ли, бывало, признавалась, что она чувствуетъ сама, до чего она глупа и неуклюжа, Рандольфъ поспѣшно возражалъ, что завѣдомо безукоризненная въ своихъ манерахъ Тини—и та была совсѣмъ неуклюжей въ сравненіи съ нею въ томъ же возрастѣ.

Впрочемъ, Ли и сама чувствовала, что измѣняется постепенно къ лучшему; она съ удовольствіемъ носила изящныя бѣлыя платья и тонкія ботинки, мыла свои руки въ отрубяхъ и разъ въ недѣлю покорно ввѣряла себя заботливому спеціалисту по уходу за ногтями. Она строго смотрѣла за собою и за своими ногами, чтобы онѣ не болтались и не выставлялись впередъ; ей

казалось, что она уже потому стала болѣе ловкой и изящной, что юбки ея были со всѣхъ сторонъ одинаковой длины.

Она возобновила прерванное знакомство съ Коралй Браннанъ, которая обѣщала черезъ нѣсколько лѣтъ сдѣлаться воздушно-прекрасной, нѣжной красавицей, осужденной блистать недолго прежде, чѣмъ отцвѣсти, какъ выхоленное тепличное растеніе, которое вянетъ отъ суроваго житейскаго вихря. Она была блестящая, нѣжная дѣвочка и сразу принялась обожать энергичную, здоровую подругу, которая настолько съ нею сблизилась, что читала ей письма Сесиля, причемъ Коралй глубоко сочувствовала каждой подробности этой необыкновенной дружбы.

Лѣто вся семья Монгомери проводила въ Мэнло-Паркѣ, куда много знакомыхъ съѣзжалось по сосѣдству, въ ту же долину Санъ-Матео, гдѣ находились помѣстья прочихъ калифорнійскихъ представителей былого блеска: Браннановъ, Рандольфовъ, Джйри и друг.

Сесиль писалъ съ весьма похвальной аккуратностью и, называя Ли, какъ всегда, „славнымъ малымъ“, просилъ ее не измѣнять, ему, писать аккуратно, потому что ея письма очень радуютъ его. Про себя онъ сообщалъ, что водворился опять въ Итонѣ и опять принялся за крокетъ; что родители его живутъ довольно мирно; что мачиха обѣщала подарить ему еще лошадь и лодку...

Осенью Ли — розовая, полненькая, окрѣпшая—вернулась въ городъ и принялась за уроки вмѣстѣ съ Коралй: ей предстояло быть не просто образованной, а въ высшей степени образованной. Науки проходились исключительно на французскомъ языкѣ; на фортепіано она играла до усталости; тьму листовъ покрыли нарисованные ею птички, деревья и цвѣты; на гитарѣ она играла, слегка наклонивъ голову на бокъ; на нѣмецкій языкъ, тоже, ополчилась смѣло, и три раза въ недѣлю брала уроки танцевъ въ большой комнатѣ съ натертымъ поломъ, гдѣ къ нимъ охотно присоединялись кавалеры—Рандольфъ и Томъ Браннанъ, когда бывали дома. Послѣдній, — круглолицый юноша четырнадцати лѣтъ, съ большимъ ртомъ и привѣтливымъ нравомъ,—съ перваго же раза объявилъ, что онъ страстно влюбленъ въ Ли; а такъ какъ они оба—онъ и Рандольфъ—танцовали въ совершенствѣ, то и въ ней быстро развивалась врожденная граціозность креолки.

Отъ одиннадцати и до восемнадцати лѣтъ жизнь Ли шла счастливо и однообразно, и дѣвочка съ каждымъ годомъ больше приближалась къ тому идеалу, какимъ она была давно въ гла-

захъ мальчиковъ, увѣрявшихъ ее, что она есть и будетъ — „лучше всѣхъ во всемъ Санъ-Франциско!“

Два года спустя, Тини вернулась домой, по окончаніи курса, и тотчасъ же заняла мѣсто первой красавицы,—если можно назвать красавицей дѣвушку до такой степени разсудительную и почти холодную.

На видъ она поражала своей нѣжной и тонкой красотой, но характера была стойкаго, и сила воли у нея была непреклонная. Ли преклонялась передъ нею и негодовала всей душой на всякое притязаніе первенствовать со стороны прочихъ представительницъ юной красоты: властной и величественной Елены, поэтически-гибкой Или, умной миссъ Джйри и богачки—миссъ Іорба. Когда у м-съ Монгомери былъ вечеръ, Ли позволили полюбоваться въ уборной на эти высшія созданія женской красоты; больше всѣхъ понравилась ей миссъ Іорба, несмотря на свое обыкновенное, даже простоватое лицо,—потому что она единственная соблаговолила обратить вниманіе на дѣвочку-подростка.

Лѣтомъ ей ближе пришлось ознакомиться съ жизнью взрослыхъ людей, которая, повидимому, протекала исключительно на верандахъ и въ веселыхъ пикникахъ. М-съ Монгомери хотѣла возможно дольше держать Ли въ сторонѣ, на правахъ ребенка, но, несмотря на всѣ ея усилія, мужчины начали замѣчать ее, когда ей пошелъ шестнадцатый годъ. Кровь креолки, все-таки, сказывалась въ ней, и задолго до своего появленія „въ свѣтъ“ Ли уже была объявлена преемницей знаменитаго тріо красавицъ Санъ-Франциско: Елены Бельмонтъ, Или Бранванъ и Тини Монгомери. Ея мечты въ этомъ направленіи были для нея самаго утѣшительнаго свойства; но это не мѣшало ей прилежно заниматься науками и читать такъ много, что Тини даже просила ее умѣрить свое рвеніе, „чтобы не записали ее въ разрядъ *умныхъ*“.

X.

Мѣсяцевъ пять спустя послѣ того, какъ Сесилю исполнилось восемнадцать лѣтъ, онъ перешелъ въ Оксфордъ, въ Баліоль-Колледжъ.

Здѣсь онъ поспѣшилъ измѣнить крокету и предался морскому спорту, съ восторженнымъ увлеченіемъ человѣка, который обязанъ поддержать славу своего колледжа. Онъ началъ усерднѣе относиться къ перепискѣ и посылалъ Ли длиннѣйшія письма

о направленіи современной цивилизаціи. Ее поражала его серьезность сравнительно съ болѣе легкомысленными ея поклонниками—м-рами: Браннанъ и Монгомери; это даже—тревожило ее. Она, конечно, не могла подозрѣвать, что для юноши-англичанина въ порядкѣ вещей—подпадать вліянію „передового движенія", которымъ онъ обязательно, въ извѣстный возрастъ, долженъ заразиться, какъ школьникъ заражается корью, скарлатиной или коклюшемъ, а затѣмъ—замашками училища, великимъ открытіемъ своего личнаго достоинства, какъ члена британской имперіи, и, наконецъ,—цинизмомъ.

На второмъ курсѣ — Сесиль сдѣлался мыслителемъ на глубоко-религіозныя темы, и Ли горько плакала при мысли, что ей придется быть женой пастора. Его смѣлыя попытки углубляться въ необозримыя пространства духовныхъ тайнъ утомляли ее, и она чувствовала себя совершенно подавленной, несчастной, убѣждаясь, что до неузнаваемости измѣнился ея прежній другъ и товарищъ. Но съ весной того же года въ немъ произошла новая перемѣна: письмомъ, помѣченнымъ „Аббатство-Маундрелъ", Сесиль извѣщалъ ее, что находится въ изгнаніи за попытку побить окна и развести костеръ въ непоказанномъ мѣстѣ; вдобавокъ, онъ сообщалъ тутъ же, что въ тотъ веселый вечеръ онъ былъ подобранъ на лѣстницѣ какимъ-то „добрымъ самаритяниномъ" въ ту минуту, когда призывалъ Господа Бога, дабы Онъ вознесъ его на площадку и далъ ему попасть въ постель.

За нѣсколько мѣсяцевъ, въ которые длилось его изгнаніе, онъ ѣздилъ путешествовать, и его письма изъ Европы больше напоминали прежняго Сесиля; осенью онъ вернулся въ Оксфордъ и, увлекаясь политикой, объявилъ, что онъ—либералъ, довольно рѣзко отзывающійся о палатѣ пэровъ. Вскорѣ послѣ того онъ былъ выбранъ въ предсѣдатели своего „Союза" и, давъ волю словотеченію, горячо проповѣдовалъ свои новыя убѣжденія, стремительно нападая на существующую міровую систему, такъ что рѣчь его была покрыта шумными свистками и одобреніями.

На слѣдующія же каникулы, Сесиль попытался совратить съ пути истиннаго своего отца, глубоко убѣжденнаго тори, и самоувѣренная заносчивость его сужденій вывела изъ себя лорда Барнстэпла, который заклеймилъ своего сына и наслѣдника позорнымъ прозвищемъ „выскочки" и „нахала", забывая, что въ свое время онъ самъ былъ такимъ же оксфордскимъ выскочкой и нахаломъ. Любимымъ изреченіемъ юнаго лорда Сесиля Маундрела была выдержка изъ мнѣнія Матью Арнольда о государственномъ строѣ Англіи:

„Нашъ міръ,—міръ аристократіи матеріальной и ничтожной,—средняго класса—ослѣпленнаго и отвратительнаго,—низшаго класса—грубаго и невѣжественнаго...“

Лордъ Маундрелъ стоялъ за то, чтобы пересоздать всѣ эти классы.

Въ противоположность великому поэту, со стороны Сесиля нельзя было опасаться, что онъ сдѣлается „горячимъ и неустрашимымъ воителемъ погибшихъ надеждъ, который не вѣдаетъ будущаго и не находитъ утѣшенія въ его обѣтахъ, но все-таки ведетъ горячую борьбу съ консерватизмомъ нетерпимаго, стараго мірового строя“. Но теперь это будущее было совершенно ясно,—то-есть, собственно говоря, оно казалось именно такимъ, какимъ желалъ его видѣть блестящій и рѣшительный юноша.

Ли считала, что такія чувства и воззрѣнія—просто роскошь, и высказала свое одобреніе такъ горячо, что Сесиль принялся писать ей все чаще и чаще, увѣряя, что слогъ ея становится замѣчательно выработаннымъ.

За послѣдній годъ въ Оксфордѣ все это шло у него своимъ чередомъ, хотя временно и онъ заинтересовывался „вліяніемъ Золà на современную мысль“ и биметаллизмомъ. Но его идеалы постепенно разрушались, какъ онъ не преминулъ о томъ извѣстить Ли. Единственное, что̀ для него теперь было важно,—это отличиться по исторіи, и онъ работалъ „какъ лошадь“. Промежутки между письмами были большіе, а когда онъ писалъ, то непремѣнно въ извиненіе себѣ приводилъ усталость, и говорилъ, что усталъ „какъ собака“.

„Такова участь, по его мнѣнію, всѣхъ мужчинъ; если же они еще не всѣ превратились въ идіотовъ и помѣшанныхъ, такъ это лишь единственно благодаря тому, что англичанина—ничто не въ состояніи свалить съ ногъ.

„Понятно, я катаюсь на лодкѣ и играю, попрежнему, въ крокетъ, чтобы поддерживать въ себѣ бодрость и силу, а все-таки—не въ томъ размѣрѣ, какъ бы слѣдовало. Пожалуйста, молитесь, чтобы мои занятія меня не доконали“.

Сесилю нравилось, чтобы женщины молились. Его собственная религіозность исчезла вмѣстѣ съ его прочими идеалами; но для женщины религіозность—прекрасное дѣло!

Желѣзная дорога отрѣзала кусокъ земли у Ли Тарлтонъ и щедро за него заплатила; а капиталъ этотъ былъ помѣщенъ на проценты подъ первыя закладныя. Землетрясеніе подарило все

тотъ же участокъ „ранча“ прекраснымъ подборомъ минеральныхъ источниковъ, которые призваны были исцѣлять людей отъ множества недуговъ. Весьма быстро выросли тутъ же большой отель и купальни, и тяжелѣе стало опекунамъ вести дѣла Ли. М-съ Монгомери потребовала, чтобы Ли объяснили все въ ея дѣлахъ, какъ только ей исполнилось шестнадцать лѣтъ, а въ восемнадцать—чтобы она сама приняла на себя контроль надъ своими дѣлами.

— Я хочу, чтобы Ли столько же понимала въ дѣлахъ, сколько любой мужчина —говорила м-съ Монгомери м-ру Браннанъ:—чтобы никогда никакой мужчина не могъ ее надуть; чтобы никакое осложненіе не застало ее врасплохъ. Посмотрите, сколько женщинъ,—нѣкогда членовъ самаго высшаго общества,—Богъ знаетъ, какимъ путемъ снискиваютъ себѣ теперь пропитаніе. Мужья ихъ умерли въ долгахъ,—а онѣ сами остались безпомощны, какъ настоящія балованныя, любимыя куколки.

Итакъ, въ одинъ прекрасный день, Ли проснулась и увидала, что ей уже минуло восемнадцать лѣтъ. Утро было еще раннее, и тишиною былъ объятъ весь міръ. Весеннія пташки еще молчали подъ вѣтвями ивы. Звѣзды догорали на низкомъ небосклонѣ...

Ли чувствовала себя вполнѣ счастливой и была полна свѣтлыхъ ожиданій, какъ принцесса, которая готовится оставить свою уединенную башню, чтобы сойти въ главную залу зàмка и принять участіе въ прекрасной и таинственной драмѣ, имя которой—„Жизнь“.

Она была убѣждена, что во всемъ мірѣ нѣтъ дѣвушки счастливѣе ея. Ли знала, что она красива и привлекательна; что ея манеры изящны и скромны, какъ у „монастырки“: даже сама м-съ Монгомери,—строжайшій изъ критиковъ,—и та признавала, что она могла бы сдѣлать честь своей родинѣ во времена ея былого блеска. Ли была рада, что богатство еще больше придаетъ ей значенія; радовала ее также возможность сдѣлаться дѣловой женщиной, и эта мысль наполняла ее гордостью и сознаніемъ своего значенія. Отель у нея на водахъ былъ построенъ неуклюжій,—и Ли, вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Рандольфомъ, который уже былъ архитекторомъ,—проектировала новое гигантское зданіе въ древне-калифорнійскомъ стилѣ, съ большимъ дворомъ, засаженнымъ пальмами, а посреди него—фонтанъ самой чистой цѣлебной воды...

Все это—и еще даже бòльшее—приходило ей теперь въ голову; но главнымъ центромъ всему служилъ онъ—Сесиль, кото-

рый, какъ сказочный принцъ, представлялся ей какимъ-то отвлеченнымъ идеаломъ. Идеализировать его было, конечно, не трудно... на разстояніи семи тысячъ верстъ. И, наконецъ, онъ—уроженецъ страны поэзіи и романтизма, крестоносцевъ и рыцарей, и всей исторической роскоши. Онъ, т.-е. Сесиль,—восьмой герцогъ и одиннадцатый виконтъ рода Барнстэплъ, и самыя простыя постройки въ его родовомъ зàмкѣ старше, чѣмъ звѣзды на ея національномъ флагѣ.

Тотъ—идеальный Сесиль, который жилъ въ ея воображеніи, былъ, безспорно, самый умный, самый милый изъ удалыхъ питомцевъ Оксфорда; Ли не смущалась тѣмъ, что въ его письмахъ было полное отсутствіе нѣжностей и сентиментальности: это было бы даже на него не похоже. Она задала ему какъ-то разъ вопросъ, есть ли барышни въ Оксфордѣ, но онъ отвѣтилъ:

„Я слишкомъ занятъ, чтобы о нихъ думать, и вы—единственная, которую я въ состояніи терпѣть. Тѣ дѣвицы, которыхъ я вижу на каникулахъ, надоѣдаютъ мнѣ до смерти; замужнія женщины мнѣ больше нравятся; я намѣреваюсь на-дняхъ ими заняться".

Ли зѣвнула и сѣла на краю кровати.

Ей слѣдовало еще разъ заснуть въ виду предстоящаго бала; но ей хотѣлось, чтобы такой знаменательный день въ ея жизни былъ какъ можно длиннѣе. Собираясь причесываться, она распустила свои черные волосы и, посмотрѣвъ на себя критически въ небольшое ручное зеркальце, осталась довольна своей наружностью. Кожа у нея была бѣлая, щеки и губы румяныя; большіе свѣтло-голубые глаза такъ и сіяли; рѣсницы—не длинныя, но очень густыя и черныя—еще больше ихъ оттѣняли; волосы обрамляли лобъ ея волнообразной линіей, а брови прямыя и широкія—равно какъ и неправильные ротъ и носъ,—казалось, были нарочно для ея лица созданы какъ по заказу. Короткій носъ, съ чуть замѣтнымъ стремленіемъ кверху, и вообще всѣ черты ея, выигрывали въ свѣжести и миловидности то, чего имъ недоставало въ смыслѣ классической правильности. Ли прекрасно сознавала свои выгодныя стороны: глаза и цвѣтъ лица, умѣла поворотить голову и знала пропорціональность всѣхъ частей тѣла,—знала также, кàкъ извлекать изъ нихъ больше всего пользы...

Ли, любуясь собою, разсмѣялась и спустила ноги съ кровати, не особенно торопясь разстаться съ своими пріятными мечтами и очутиться лицомъ къ лицу съ важнѣйшимъ событіемъ въ ея жизни. Въ открытое окно къ ней донеслось благоуханіе розъ и фіалокъ; вдали городъ словно хмурился за утренней своею за-

вѣсой. Когда эта завѣса вдругъ окрасилась розоватымъ блескомъ, а синева бухты стала еще ярче, Ли еще разъ окончательно рѣшила, что она всѣмъ довольна, и что ее ждетъ разнообразная, свѣтлая жизнь. Глядя на заалѣвшее, какъ скромная, но счастливая невѣста, Санъ-Франциско, Ли врядъ-ли отдавала себѣ отчетъ въ томъ, что этотъ городъ—чудовище, въ крови котораго кишатъ самые ужасные микробы пороковъ и убійствъ; чудовище съ неутомимой жаждой къ алмазамъ, къ золоту и къ человѣческой жизни: недаромъ оно пожрало и погубило ея отца и м-ра Монгомери, полковника Бельмонта и даже Роберта Іорба, и еще многое множество другихъ семействъ, которыя разсѣялись на всѣ четыре стороны... Все равно, въ эту минуту, вмѣстѣ съ молодой красавицей, дочерью Гейварда и Маргариты Тарлтонъ, всѣ и все ликовали и, сіяя, напомнили ей о далекомъ, но вѣчномиломъ „королевичѣ" въ образѣ Сесиля и его родового зàмка...

XI.

— Ли, дорогая! Мнѣ страшно, что ты простудишься!—раздалось позади нея, и она увидѣла Тини,—розовую отъ сна, хорошенькую, но, какъ всегда, съ невозмутимымъ выраженіемъ лица. — Я первая хочу тебя расцѣловать, — прибавила она, улыбаясь.

Ли восторженно накинулась на нее, крѣпко обняла, расцѣловала и, подхвативъ, подняла и посадила Тини на столъ. Та громко разсмѣялась и принялась усаживаться поудобнѣе.

— Ты настоящая бѣлая лилія въ своемъ халатикѣ,—замѣтила она.—А въ силѣ, пожалуй, не уступишь Рандольфу!

Ли откинулась назадъ, изгибаясь, пока не коснулась пола кончиками пальцевъ, а затѣмъ принялась разгибаться, извиваясь, какъ ужъ. Тини чуть не задохнулась отъ волненія, глядя на нее.

— Неудивительно, что ты такъ граціозна; кто тебя научилъ такимъ фокусамъ?

— Хочешь посмотрѣть, какъ я умѣю прыгать?

— О, нѣтъ! нѣтъ! Я не думаю, голубушка, чтобъ это было особенно граціозно; но я не намѣрена сегодня на тебя ворчать... Знаешь, я не могу себѣ представить, что тебѣ восемнадцать лѣтъ! Мнѣ кажется, что я, какъ будто, въ бабушки попала: мнѣ двадцать-пятый годъ!

— Отчего жъ ты не выходишь замужъ? Я думаю, быть старой дѣвой препротивно!

— Но я вовсе не старая дѣва!

— Конечно; на взглядъ, самое бо̀льшее, что̀ тебѣ можно дать—шестнадцать лѣтъ. Но почему ты не выходишь замужъ?

— Ну, такъ и быть! Принимая въ разсчетъ, что сегодня ты сама стала взрослая,—я тебѣ скажу по секрету, что я подумываю объ этомъ.

Раздался восторженный возгласъ, и Ли очутилась на полу, обхвативъ руками свои колѣни.

— Ну, живо! Говори—кто это?

— Онъ англичанинъ. Я съ нимъ встрѣтилась въ Лондонѣ, года два тому назадъ, и онъ посватался еще тогда же; но я не могла рѣшиться. Это такая мука—необходимость придти къ окончательному рѣшенію! Я не особенно хлопотала, о бракѣ, но все-таки мы вели переписку, и мнѣ сдѣлалось легче рѣшиться, чѣмъ я думала: вчера вечеромъ я окончательно послала ему свое согласіе. Онъ такъ вѣренъ мнѣ! Какъ подумаешь, сколько ихъ было всего за это время! А онъ, дѣйствительно, премилый; не слишкомъ веселый и забавный, но и не слишкомъ болтливый.

— Какъ его фамилія?

— Лордъ Арромаунтъ.

— Значитъ, все превосходно!

— Я бы даже хотѣла, чтобы онъ не былъ лордомъ: это будетъ такая мука—сживаться съ порядками, къ которымъ мы здѣсь не привыкли. Когда я была въ Лондонѣ, мнѣ казалось, что тамъ бѣдныя женщины утомляются до смерти. Я скорѣе вышла бы за американца, еслибы пришлось выбирать только національность.

— Ну, тебя тамъ тоже не заставятъ дѣлать ничего такого, что̀ тебѣ было бы противно. У тебя личико самое прелестное, голосъ самый нѣжный, но хладнокровіе, съ которымъ ты всегда идешь къ намѣченной цѣли... Нѣтъ! Это ужъ черезчуръ умно!

Тини разсмѣялась.

— Нѣтъ, это ты сама черезчуръ умна. Будь осторожна, милочка моя, не веди съ молодыми людьми на балу „книжныхъ“ разговоровъ.

— Я полагаю, до пріѣзда Сесиля мнѣ не съ кѣмъ будетъ вести „книжные“ разговоры,—не безъ ехидства возразила Ли.— А лордъ Арромаунтъ уменъ?

— Слава Богу,—нѣтъ! Это—милый, спокойный, рослый и добродушный англичанинъ. Онъ занимается фотографіей, какъ любитель, но мнѣ это все равно, потому что онъ не особенно распространяется объ этомъ; разъ я ему сказала, что предпо-

читаю не простаивать подъ жгучимъ солнцемъ по десяти минутъ подъ-рядъ, и съ тѣхъ поръ онъ больше не упоминалъ объ этомъ. Я думаю, мы будемъ совершенно счастливы. Конечно, мы часто будемъ пріѣзжать въ Калифорнію, и мама будетъ насъ навѣщать.

— Понятно; я и сама такъ точно буду дѣлать. Я никогда не могла бы надолго разстаться съ Калифорніей.

— Англичанами не такъ легко управлять, какъ американцами; но я думаю, что съ Арчэромъ мнѣ не будетъ трудно, когда я его окончательно пойму. Мнѣ было бы нестерпимо противорѣчіе съ его стороны.

— Да онъ и не будетъ тебѣ противорѣчить. Мнѣ кажется, что я даже не пожелала бы, чтобы Сесиль мнѣ подчинялся; я думаю, что это должно быть чудесно, если надо мной будетъ властвовать любимый человѣкъ! А все-таки я бы съумѣла поставить на своемъ; я бы шумѣла и просила, я ласкалась бы къ нему—и, понятно, добилась бы своего, въ концѣ-концовъ.

— Я мало знаю англичанъ,—смѣясь, возразила Тини.—Но, кажется, ты ихъ знаешь еще меньше моего.

— Но видишь ли, я не увижу Сесиля еще много лѣтъ, а до тѣхъ поръ наберусь опытности: я вѣдь серьезно изучаю Рандольфа и Тома, считая весьма интереснымъ научиться понимать мужчинъ... Это такъ полезно!

— И въ самомъ дѣлѣ, у тебя такой ученый видъ...

— Большой разницы между ними быть не можетъ, если принять во вниманіе, что мы произошли отъ англичанъ и говоримъ на ихъ языкѣ; а я, вдобавокъ, до-сыта начиталась англійской литературы: она—единственная, которую я знаю; а поэмы американской, кажется, ни одной не прочитала, за всю свою жизнь. Я знаю англійскую исторію минувшихъ вѣковъ и, буквально, ее обожаю.

— Все равно, ты—американка до мозга костей, а я, чѣмъ больше вижу англичанъ, тѣмъ больше убѣждаюсь, что нѣтъ на свѣтѣ народа, менѣе похожаго на насъ, американцевъ.

— Мнѣ кажется, все это очень странно,—замѣтила Ли сердито.—Я въ этомъ ничего не понимаю.

— Мы даже не похожи на американцевъ четверти вѣка тому назадъ; такъ можемъ ли мы разсчитывать на свое сходство съ нашими предками, за нѣсколько вѣковъ?

— О, да! Я думаю, ты, пожалуй, права. А Сесиль? Если онъ хоть сколько-нибудь похожъ на себя въ своихъ письмахъ, такъ онъ совсѣмъ другой, чѣмъ Рандольфъ или Томъ. Но мнѣ казалось, что онъ какъ бы проходитъ своего рода курсъ фиглярства, а

потомъ все-таки будетъ какъ и всѣ другіе... только получше ихъ!..

— Конечно, такихъ, какъ онъ, найдутся сотни,—возразила Тини:—но мнѣ хотѣлось бы, чтобы ты, голубушка, не употребляла грубыхъ выраженій.

— Ну, хорошо; не буду! А кто такой твой Арчэръ?

— Онъ не Богъ знаетъ кто: просто баронъ, и только; но родъ его очень древній, я справилась у Берка, и главное—не деньги мои его подкупили: онъ знаетъ, что у меня очень маленькое приданое. Мнѣ кажется, онъ самъ очень богатъ. Ему тридцать-шесть лѣтъ; прекрасный возрастъ: я не терплю мальчишекъ!

— Онъ очень влюбленъ?

Тини кивнула утвердительно и вспыхнула какъ зарево.

— Какъ англичанинъ,... когда влюбится.

Ли подпрыгнула и захлебнулась отъ восторга.

— А ты?.. Ты влюблена въ него?—тихонько спросила она:—Ну, скажи мнѣ, Тини?

Солидность и достоинство вернулись къ Тини вмѣстѣ съ нѣжнымъ румянцемъ на щекахъ.

— Ты знаешь, у меня было много предложеній,—соскользнувъ со стола на полъ, проронила она:—и нѣкоторые изъ жениховъ были даже богатые люди; и, наконецъ, въ нашъ вѣкъ такъ заурядно—выходить за титулованныхъ особъ... Ну, поцѣлуй меня скорѣе и скажи, что ты желаешь, чтобы мнѣ счастливо жилось,—а я пойду и лягу: очень ужъ озябла!

— Я отложилъ еще на день свое намѣреніе,—проговорилъ Рандольфъ, сидя за утреннимъ завтракомъ, а Ли мило ему улыбнулась, но плечо ея невольно подернулось въ знакъ досады: съ минуты своего возвращенія изъ Европы (а оно состоялось три недѣли тому назадъ), Рандольфъ уже успѣлъ четыре раза дѣлать ей предложеніе. М-съ Монгомери благосклонно на это улыбалась. Она не переставала надѣяться, что глупая ребяческая помолвка Ли Тарлтонъ съ Маундреломъ съ теченіемъ времени падетъ сама собой, а въ ея семьѣ произойдетъ отрадная и неощутительная перемѣна. По ея желанію, весь столъ былъ покрытъ сегодня полевыми цвѣтами, присланными для этого нарочно изъ Мэнло-парка, и появилось еще три новыхъ сорта горячаго хлѣба, потому что Ли не любила обычнаго завтрака американцевъ, и по утрамъ ѣла яйца, курицу и т. п. Можетъ быть, именно своему равно-

душію къ кашѣ Ли была обязана отсутствіемъ пухлой блѣдности въ лицѣ, свойственной американцамъ, а въ томъ числѣ и Рандольфу, несмотря на его мускульную силу. Манеры у него хотя были уже не прежнія, но все еще изящныя, несмотря на то, что онъ былъ нѣсколько сутуловатъ и довольно неровенъ въ движеніяхъ.

Послѣ завтрака онъ пошелъ и сѣлъ около Ли, подъ ивой.

— Подождите немножко дѣлать мнѣ предложеніе,—сказала она:—я нахожусь въ такомъ блаженномъ настроеніи, что ни за что въ мірѣ не хотѣла бы сердиться.

— Ни за что въ мірѣ, если вамъ это не угодно,—великодушно проговорилъ Рандольфъ.—Я отложу до завтра, до шести часовъ вечера: значитъ, у насъ на это будетъ полчаса.

— Право, мнѣ не вѣрится, чтобы вы когда-нибудь говорили серьезно: вы не были бы тогда и въ половину такъ милы.

— Къ привычкамъ трудно относиться серьезно; а каждый разъ, какъ я вамъ дѣлаю предложеніе, у меня въ памяти проносятся дѣтскіе передничики, косы и угловатыя движенія. Несмотря на вашу красоту, мнѣ приходится напрягать всю тонкость своего ума, чтобы убѣдиться, что вы, по возрасту, дѣйствительно уже невѣста.

Несмотря на его привычный полунасмѣшливый голосъ, руки его судорожно и крѣпко сжимались. Ли видѣла только его улыбавшіеся глаза, и сама вызывающе улыбнулась въ отвѣтъ.

— Со мной приходится считаться; никакихъ передничковъ я не вижу въ моихъ планахъ на будущій сезонъ.

Рандольфъ даже откинулъ голову назадъ,—до того искренно расхохотался.

— Можетъ быть, вы подозрѣваете, что сегодня же вечеромъ будете царицей бала?

— Я-то? О, Рандольфъ! Ну, какъ вы можете быть увѣрены?..

— Мужчины такъ между собою порѣшили. Вы не должны чувствовать ни малѣйшаго сомнѣнія...

Ли радостно всплеснула руками, и глаза ея засвѣтились восторгомъ.

— Да кто же, кто? Скажите! Конечно, первый—вы?

— Можете быть увѣрены, что я всегда и на все готовъ, лишь бы обезпечить вамъ успѣхъ; Томъ Браннанъ и Нэдъ Джйри также, а остальныхъ вы знаете только по фамиліи.

— Я думаю, м-ръ Джйри сегодня сдѣлаетъ мнѣ предложеніе,—покорно сказала Ли.—Къ вамъ и къ Тому я хоть привыкла; но когда начнутъ другіе,—мнѣ кажется, я рѣшительно

взбѣшусь. Пожалуй, надо будетъ имъ сказать про Сесиля Маундрела...

Ее перебилъ громкій хохотъ Рандольфа.

— Нѣтъ, только подумать, что вы можете выйте за этого оловяннаго англійскаго божка!!

— Довольно!

— Ахъ, простите. Но не жгите меня раскаленнымъ огнемъ вашихъ синихъ глазъ, если не хотите, чтобы я его ругалъ. Вы меня поразили такой неожиданностью: я думалъ, вы про него совсѣмъ забыли.

— Да вѣдь, вы знаете, мы съ нимъ въ перепискѣ.

— Да неужели? До сихъ поръ?.. Впрочемъ, чего же удивляться: вы добрѣе, вы самоотверженнѣе всѣхъ дѣвушекъ на свѣтѣ, а у этихъ англичанъ такая ужъ тупоумная манера—придерживаться всего, что̀ войдетъ въ привычку.

— Сесиль не тупоумный: онъ разъ пятьдесятъ мѣнялъ свои воззрѣнія на все въ мірѣ. Можете прочесть сами въ его письмахъ, если вамъ угодно.

— Упаси, Господи! Я ничего не знаю въ мірѣ противнѣе оксфордскаго фатишки. Но вы-то, вы? Неужели вы хотите сказать, что считаете себя связанной съ нимъ?

— Да конечно!

— Ли! Да вѣдь все это шутка: вы были еще дѣти, и не видались уже цѣлыхъ семь лѣтъ. Вы встрѣтитесь теперь какъ люди, совершенно чуждые другъ другу, и если не возбудите въ себѣ взаимнаго отвращенія, такъ это уже будетъ чудо.

— Тѣмъ болѣе намъ будетъ интересно встрѣтиться, и, наконецъ, люди не до такой уже степени способны измѣняться...

— Я развѣ тотъ же, что въ шестнадцать лѣтъ?... Ну, да оставимъ это! Главное, согласится ли еще его семья? Маундрелы—бѣдняки, и Сесиль вынужденъ жениться на богатой, а ваше состояніе для него слишкомъ мало. Лэди Барнстэплъ значительно порастрясла свой капиталъ, чтобъ только не отставать отъ высшаго общества, въ которомъ сначала не хотѣли ее принимать. Да и немудрено; она пріѣхала въ Лондонъ богатой вдовушкой, но безъ рекомендацій къ американскому консульству, и уже готовилась вернуться на родину и съ чѣмъ, какъ вдругъ подвернулся Маундрелъ со своими долгами, и оба обрадовались такой счастливой случайности: онъ—ея деньгамъ, а она—его грядущему герцогскому титулу. Но, говорятъ, дядюшка, умирая, завѣщалъ бо̀льшую часть состоянія своей молодой женѣ, а вашъ

Сесиль остался бы ни съ чѣмъ, еслибъ не наслѣдство отъ бабушки: онъ долженъ жениться на деньгахъ!

— Ахъ, да отстаньте! Не хочу больше слушать.

— Нѣтъ, вы скажите: еслибъ вамъ не мѣшалъ Сесиль, вышли бы вы за меня?

— Вы обѣщали...

— Не дѣлать предложенія? Конечно. Было бы смѣшно объясняться въ любви, проглотивъ восемь гречневыхъ пирожковъ! Но обсуждать этотъ вопросъ въ отвлеченномъ смыслѣ—другое дѣло. И, наконецъ, вы меня совсѣмъ не знаете...

Ли съ удивленіемъ взглянула на него.

— Вы думаете, что я неспособенъ говорить серьезно? А между тѣмъ, спросили бы, зачѣмъ я надрываюсь надъ работой?

— Чтобы нажить скорѣе милліоны, эту конечную цѣль всякаго американца: самый богатый все идетъ впередъ и умираетъ, такъ сказать, съ оружіемъ въ рукахъ.

— До нѣкоторой степени вы правы; но для меня настоящая цѣль—не самыя деньги, а—вы. Будь у меня милліоны, я бы ихъ всѣ не пожалѣлъ отдать за то, чтобъ только вы блистали въ свѣтѣ. Никакой непріятной обязанности я бы вамъ не навязалъ; каждое ваше желаніе исполнялось бы безпрекословно...

— А если бы мнѣ вздумалось, чтобъ вы застегивали мнѣ сапоги?—весело перебила Ли.

— Застегивалъ бы, безусловно!.. Чего же вамъ еще?

Ли задумчиво смотрѣла сквозь низкія вѣтви ивы.

— О чемъ вы задумались?—спросилъ Рандольфъ.

— Я, вѣрно, плохая американка, потому что не гонюсь за большимъ богатствомъ и за его блескомъ...

— Чего же вы хотите?..

Ли вся порозовѣла, смутилась и опустила глаза.

— И вы воображаете, что вамъ это доставитъ англичанинъ, для котораго бракъ съ вами имѣетъ, просто, значеніе добродѣтельнаго поступка? Вы будете для него интересны и красивы мѣсяца три,—не больше...

— Однако, Тини выходитъ за англичанина, и три ея подруги живутъ себѣ прекрасно съ мужьями-англичанами...

— Лордъ Арромаунтъ—добрый малый; но вы—не Тини, а ея подруги замужемъ за англичанами, поселившимися здѣсь же, въ Калифорніи. Бракъ на калифорнійской уроженкѣ для нихъ такъ же, какъ и все остальное, входитъ въ программу ихъ жизни въ Калифорніи; прежде всего, такой англичанинъ влюбляется въ Калифорнію, а затѣмъ уже въ свою жену. Но вы не

Тини, а для Сесиля нѣтъ никакого вѣроятія, чтобы онъ переселился къ вамъ, сюда. Повторяю вамъ еще разъ: будь вы *моей* женой, вы жили бы какъ королева; для него вы будете лишь придаткомъ къ его личной жизни... пока вы оба не дойдете до того, что вовсе перестанете говорить другъ съ другомъ.

— Ахъ, да отстаньте, наконецъ! Мнѣ хочется сегодня вѣрить, что все на свѣтѣ такъ прекрасно, такъ свѣтло, и я буду продолжать такъ думать, какъ только можно дольше. Подите, принесите планы моего отеля и не смѣйте весь день болтать мнѣ всякій вздоръ!

XII.

— Ты просто прелестна!—замѣтила Тини подругѣ въ тотъ же день вечеромъ, передъ баломъ.—Но все-же тебѣ бы слѣдовало быть въ бѣломъ, и съ нашей стороны непростительное малодушіе, что мы тебѣ уступили. Ни одна дѣвушка не вступаетъ въ свѣтъ въ темномъ платьѣ.

— Вотъ потому-то мнѣ именно такъ и хотѣлось! — возразила Ли.—Неужели мнѣ только оттого и надо облачиться въ это глупѣйшее бѣлое платье, что таковъ обычай?

— Но чѣмъ ближе ты будешь похожа на другихъ, тѣмъ легче тебѣ будетъ жить потомъ на свѣтѣ.

Ли упрямо закинула голову.

— Я намѣрена поступать всегда—какъ мнѣ самой заблагоразсудится,—отвѣтила она.

М-съ Монгомери чуть не до слезъ обидѣлась, когда Ли все-таки настояла на своемъ, чтобы непремѣнно быть въ темномъ; но нельзя было не признать тутъ и художественнаго чутья, которое подсказало Ли, что въ бѣломъ она будетъ только миловидна, а въ темномъ—восхитительна. Она приказала отдѣлать свое темносинее газовое платье какъ можно проще, чтобы рѣзче выдѣлялось совершенство очертаній всей ея фигуры и ослѣпительная бѣлизна кожи. Волосы ея были откинуты назадъ и свернуты узломъ на затылкѣ.

— Я, можетъ быть, и не особенно отличаюсь красотой,—заговорила Ли,—но зато я бросаюсь въ глаза!

— Ты—цѣлая симфонія темныхъ и свѣтлыхъ тоновъ; ты сегодня даже бѣлѣе и розовѣе, чѣмъ обыкновенно, а глаза твои кажутся еще синѣе; волоса, брови и рѣсницы—еще чернѣе отъ этого темнаго платья. Ты можешь хоть кого съ ума свести.

— А мнѣ только это и надо! Если замѣчу, что хоть кто-нибудь смотритъ на мое лицо и собирается его критиковать, я обожгу его своими глазами и... отойду прочь съ презрѣніемъ на другой конецъ комнаты.

— Это вѣрно: умѣнье держаться для красавицы—все равно, что половина побѣды!—смѣясь, замѣтила Тини.—Я сама видала, что иной разъ дѣвушки, довольно заурядныя лицомъ, держались такъ, какъ будто бы онѣ увѣрены во всеобщемъ поклоненіи, и —повѣрь—онѣ имѣли больше успѣха въ обществѣ, нежели иная красивая скромница.

— Чортъ побер... ахъ, Тини, извини! Не буду больше никогда ругаться. Клянусь тебѣ,—не буду! А правда ли, что англичанки приличнаго общества тоже ругаются?

— Англичанки приличнаго общества составили себѣ такое понятіе, что онѣ—выше всякаго закона, и нѣкоторыя изъ нихъ такъ же грубы, такъ же неразборчивы въ своихъ выраженіяхъ, какъ любая невоспитанная американка низшихъ слоевъ общества. Чего же больше?! Но у меня, какъ у благовоспитанной южанки, вѣдь свои убѣжденія.

— Но если не усвоишь себѣ ихъ жаргонъ,—пожалуй, съ ними не поладишь?—спросила Ли.

— Ничего лучшаго я себѣ не желаю, какъ быть не-популярной въ кругу людей, манеры которыхъ мнѣ не по вкусу,—возразила Тини.—А ихъ погоня за развлеченіями меня просто изнуряла; пусть онѣ думаютъ себѣ, что я старомодная провинціалка,—мнѣ это все равно. Главное—имѣть доступъ въ общество, и затѣмъ уже на комъ-нибудь изъ его среды остановить свой выборъ.

— Мнѣ дѣла нѣтъ до общества, если я буду замужемъ: мы оба — Сесиль и я—будемъ страшно влюблены другъ въ друга и поселимся въ его старомъ замкѣ; будемъ цѣлыми днями гулять въ густомъ лѣсу, взбираться на крутыя скалы... ну, и т. д.

— Такъ ты воображаешь, что все еще влюблена въ Сесиля? Ты промечтала о немъ столько лѣтъ...

Ли вдругъ заалѣла, какъ роза Кастиліи, красовавшаяся у нея подъ окномъ. Она опять выдала свою тайну.

— Зато, это такъ поэтично! Я... На моемъ мѣстѣ, ты сама такъ точно думала бы о немъ; я знаю,—я увѣрена!

— Можетъ быть... еслибы мнѣ не приходилось читать его письма. Но если ты намѣрена сдержать свое обѣщаніе,—тебѣ слѣдовало бы объявить, что ты—невѣста.

— Ну, нѣтъ! Я не хочу портить себѣ всякое удовольствіе! Быть невѣстой—страшная тоска!

— Скрывать—это нечестно по отношенію къ остальнымъ мужчинамъ. Надѣюсь, милочка моя, что ты не превратишься въ отъявленную кокетку.

— Будутъ ли за мной ухаживать, или нѣтъ,—мнѣ все равно. Мнѣ, просто, хочется повеселиться. Конечно, если я увижу, что кто-нибудь собирается въ меня влюбиться, я тотчасъ же сочту священнымъ долгомъ предупредить этого господина; я не хочу никого обижать. Мнѣ только хочется быть всегда и вездѣ царицей бала, получать отъ всѣхъ цвѣты... И наконецъ, я вѣдь имѣю право на обще-дѣвичьи удовольствія и развлеченія...

— Конечно, милая, конечно! Но почему бы тебѣ не вернуть слово Сесилю? Подумала ли ты, хорошо ли, и по отношенію къ нему, стоять на своемъ?

— Что̀?—вскричала Ли и круто обернулась.—Неужели ты думаешь, что *онъ* не прочь порвать со мной? Онъ и намека на это никогда не сдѣлалъ.

— Конечно, нѣтъ! онъ—честный человѣкъ. Ну, вотъ, увидишь: проживешь еще годъ—и ты же сама вернешь ему слово, сама первая скажешь, что не считаешь его связаннымъ такимъ ребяческимъ условіемъ.

— Да нѣтъ же, нѣтъ! Онъ—мой, и я не выпущу его изъ рукъ!.. О, Тини! Какъ это ты можешь быть до такой степени жестока? Вѣдь онъ первый мой женихъ... Ну вотъ, я сейчасъ расплачусь!

— Постой, ты не дала мнѣ договорить! Я вовсе не намѣрена была поднимать теперь этотъ вопросъ, и ни за что на свѣтѣ не хотѣла бы испортить тебѣ удовольствіе сегодня. Мнѣ хотѣлось просто предупредить тебя, что за годъ ты успѣешь повидать свѣтъ и людей, и обо всемъ будешь судить иначе. Тогда для тебя вполнѣ опредѣлится разница между дѣйствительностью и мечтами.

— Все равно, я своего Сесиля никому не уступлю! — упрямилась Ли.—Онъ—моя самая драгоцѣнная мечта. Я думать не хочу, чтобъ это было все пустое!

Но годъ прошелъ, и, какъ премудро предсказала Тини, Ли написала жениху, что возвращаетъ ему полную свободу.

Положимъ, не большой премудрости можетъ научиться дѣвушка въ кругу молодыхъ людей, представляющихъ странную смѣсь

язвительности и добродушія, алкоголя и чайныхъ печеній; но и это немногое кой-чему научило Ли. Она была не только первою красавицей вездѣ, но ея властность и обаяніе — всѣхъ, поголовно, покоряли; не разъ въ этомъ году ей приходилось видѣть, какъ разгорается въ мужчинѣ страсть.

Чувство Рандольфа все крѣпло и росло по мѣрѣ того, какъ возростало сознаніе Ли въ ея власти, и уже два раза эту власть онъ испыталъ на себѣ. Томъ Браннанъ, въ которомъ сердечныя чувства и большой ротъ увеличивались пропорціонально, никогда не отличался своимъ умомъ, а теперь окончательно поглупѣлъ. Нэдъ Джѣри, напротивъ, былъ неглупый малый, — но всѣ свои силы употреблялъ не на то, чего отъ него ожидалъ отецъ: онъ не наживалъ, а только проживалъ деньги. Нэдъ не довольствовался тѣмъ, что періодически дѣлалъ предложеніе своей подругѣ дѣтства, но даже подносилъ ей стихи, навѣянные вдохновеніемъ. Въ обществѣ онъ всегда былъ вѣжливъ и даже предупредителенъ; всегда посѣщалъ вечера м-съ Монгомери, и никогда не оставлялъ ея приглашеній безъ письменнаго отвѣта. Ли, какъ человѣкъ наблюдательный, замѣтила, что онъ усиленно краснѣлъ, когда просилъ ее сжалиться надъ нимъ; но такъ же точно наливались жилы у него на лбу, когда онъ пѣлъ, — и Ли отвѣчала ему рѣшительнымъ отказомъ. Ей нравились, какъ добрые товарищи, и Нэдъ, и Томъ, которымъ она предложила — взамѣнъ любви — дружбу по гробъ жизни. Къ Рандольфу она питала болѣе нѣжныя чувства, уважая его за то, что онъ былъ умнѣе и начитаннѣе другихъ; но Ли просила Бога, чтобы эти нѣжныя чувства онъ перенесъ съ нея на Коралй, которая украдкою по немъ вздыхала. И на своихъ троихъ поклонникахъ Ли постепенно изучила мужскіе нравы настолько, чтобы видѣть въ мужчинахъ людей исключительно практическаго направленія, но отнюдь не мечтателей. Лордъ Арромаунтъ, котораго она также принялась старательно изучать, обманулъ ея ожиданія и, оставаясь неизмѣнно вѣжливымъ и даже любезнымъ, въ разговоры не желалъ пускаться. Ли было-пробовала разспрашивать его про Маундреловъ; но и тутъ дождалась лишь краткаго отвѣта.

— Барнстэплъ, какъ будто, немного сумасшедшій.

— А лэди Барнстэплъ?

— Лэди Барнстэплъ, чортъ возьми, такъ широко живетъ! Про Сесиля онъ ровно ничего не зналъ и не слыхалъ.

— А объ Оксфордѣ какія у васъ сохранились воспоминанія? Съ минуту посмотрѣлъ онъ на нее въ недоумѣніи, и наконецъ сказалъ.

— Мнѣ кажется, самыя обыкновенныя.

Розовая дымка, которая окружала Сесиля въ воображеніи Ли, вдругъ померкла, и краски еще болѣе сгустились, когда Нэдъ и Рандольфъ, проведшіе шесть мѣсяцевъ въ Европѣ, принялись увѣрять ее, что лордъ Арромаунтъ — истый типъ англичанина.

По отъѣздѣ молодыхъ, Ли пыталась возсоздать свои свѣтлыя мечты; но будничная, дѣловая и свѣтская жизнь захватывала ее все больше и больше. Не говоря уже про то, что она была признанной красавицей сезона, она сама входила въ заботы по благоустройству своего помѣстья и лечебнаго заведенія. Газеты и печать вообще заинтересовались новымъ „мѣстечкомъ" и его прелестною владѣлицей; про нее кричали, ее превозносили до небесъ; въ результатѣ явилась необходимость построить еще два добавочныхъ флигеля и еще цѣлый рядъ купаленъ... Дѣла ей было пропасть. Она была рада своимъ увеличивающимся доходамъ и популярности; но не согласилась ни за что сняться для печати, повинуясь въ этомъ требованію м-съ Монгомери. Въ общемъ, жизнь казалось ей очень разнообразной и привлекательной, хотя не походила вовсе на картины, которыя нѣкогда рисовало ей воображеніе: жизнь была несравненно практичнѣе, реальнѣе.

Къ концу года, ея главнымъ желаніемъ попрежнему оставалось—выйти за Сесиля; но, тѣмъ не менѣе, она сочла своимъ нравственнымъ долгомъ вернуть ему слово, которое онъ далъ ея умирающей матери.

Въ то время Сесиль былъ на послѣднемъ курсѣ. Онъ отвѣтилъ скоро и удивительно-подробно, если принять во вниманіе, что времени у него было мало (это можно было прочесть между строкъ). Онъ торжественно и высокомѣрно заявлялъ, что онъ привыкъ давать обѣщанія и держать ихъ; и ни разу не подумалъ за все это время ни о какой другой женщинѣ. „Понятно, женитьбу онъ считалъ дѣломъ рѣшеннымъ, а письма... Если она, Ли, прекратитъ съ нимъ переписку,—онъ будетъ чувствовать себя совсѣмъ заброшеннымъ, убитымъ"...

Но между строкъ Ли, все-таки, прочла, что онъ, въ сущности, временно позабылъ про ихъ помолвку, и только хочетъ показаться ей внимательнымъ и вѣжливымъ по отношенію къ существу, на которое онъ смотрѣлъ какъ на добраго товарища, на свое второе „я",—на сокровищницу, въ которую онъ складывалъ на храненіе свои мысли и чувства, каясь, какъ на исповѣди, передъ своимъ духовникомъ.

Со дня смерти матери, Ли никогда еще не чувствовала себя такой несчастной и, запершись въ своей комнаткѣ наединѣ съ

письмомъ, горько рыдала надъ отлетѣвшими остатками взлелѣянной мечты... Но первый пылъ жгучей боли миновалъ—и Ли взялась за перо, чтобы, въ свою очередь, отозваться на письмо Сесиля какъ можно веселѣе (настаивая, однако, на разрывѣ помолвки) и обѣщать ему писать попрежнему, какъ будто ничего не случилось.

...„И въ самомъ дѣлѣ ничего, вѣдь, не случилось: только мы больше ужъ не дѣти! Благодаря вашему Оксфорду, вы стали лѣтъ на тридцать старше меня. Впрочемъ, и я сама стала практичнѣе: во мнѣ не осталось ни капельки ничего романическаго, и я твердо рѣшила жить, не впадая въ заблужденія. А какъ многія изъ насъ ошибаются въ своихъ чувствахъ! Одновременно съ Тини вѣнчались и уже успѣли разойтись съ мужьями четыре ея сверстницы. По-моему, это ужасно—такъ необдуманно выходить замужъ! Я долго буду колебаться, пока не рѣшусь окончательно на такой важный шагъ. Вы, я знаю, вполнѣ меня поймете и не перетолкуете ложно моихъ словъ: мы съ вами для этого слишкомъ старые друзья и единомышленники. Хотя мы—уже вотъ девятый годъ, какъ не встрѣчались, я все-таки, увѣрена, что вы не подали бы никогда вашей женѣ поводъ къ разводу; но рознь естественныхъ наклонностей и вкусовъ сдѣлала бы насъ одинаково несчастными; вдобавокъ, и воспитаніе мы получили разное: вы были бы въ моихъ глазахъ все равно что западный дикарь, и я, благовоспитанная дѣвица (съ точки зрѣнія калифорнійцевъ), смотрѣла бы на васъ какъ на краснокожаго... Но къ чему всѣ эти разсужденія?! Времени у насъ впереди еще довольно, чтобы опять увидѣться и—если суждено—убѣдиться, хорошо ли поступили мы, нарушивъ нашъ ребяческій договоръ. А пока будемъ оба свободны; я настаиваю на этомъ. Помните, вѣдь и прежде я всегда исполняла свою волю?“

Въ отвѣтѣ Сесиля (онъ опять отозвался съ полной готовностью) выражено было желаніе покориться ея рѣшенію; а вскорѣ послѣ того онъ написалъ, что непремѣнно побываетъ въ Калифорніи, такъ какъ уже окончилъ курсъ и отправляется „охотиться на крупнаго звѣря“.

...„Въ Индіи я надѣюсь видѣть львовъ и тигровъ (писалъ онъ); въ Африкѣ — львовъ и слоновъ; въ Америкѣ, „на Дальнемъ Западѣ“ — буйволовъ и бизоновъ. Когда удастся мнѣ повстрѣчать косолапаго медвѣдя, я снова почувствую себя человѣкомъ, а не изнуреннымъ въ конецъ субъектомъ. А между тѣмъ, остаться безъ оксфордскаго образованія было бы плохо, тѣмъ болѣе, что я, кажется, изберу себѣ карьеру политическаго дѣя-

теля. Кстати, я вѣдь оказался не очень бѣднымъ человѣкомъ. Бабушка оставила мнѣ наслѣдство; я могу побывать во всѣхъ нашихъ колоніяхъ и научиться въ нихъ всему, что̀ послужитъ мнѣ на пользу моей политической дѣятельности".

XIII.

Въ одно прекрасное утро, Ли получила отъ него извѣстіе, что онъ скоро будетъ на Дальнемъ Западѣ, а пока находится еще въ Нью-Іоркѣ. Передъ тѣмъ,—мѣсяца четыре Ли не получала отъ Сесиля ни полслова, и, видя подлѣ себя неизмѣнно-преданнаго Рандольфа (который изъ всѣхъ ея поклонниковъ былъ наиболѣе ей симпатиченъ), была почти склонна примириться съ перспективой стать его женою. Она выѣзжала, она хлопотала по дѣламъ, — но все это не могло ей замѣнить привычной переписки... Наконецъ, пришло долго жданное посланіе, и, унеся его съ собою на прогулку, Ли, на полпути отъ дома, рѣшилась вскрыть конвертъ.

Полу-шутливо, полу-умиленно вспоминалъ Сесиль свои дѣтскія впечатлѣнія и говорилъ, что заѣдетъ повидаться съ другомъ и товарищемъ своихъ юныхъ лѣтъ... на возвратномъ пути изъ владѣній одного изъ его англо-американскихъ друзей. А на пути къ дому, Ли встрѣтила Рандольфа.

— Мама̀ безпокоится о васъ и говоритъ, что вамъ не мѣшало бы брать съ собою прислугу; но если вамъ это непріятно, я всегда къ вашимъ услугамъ.

Ли слегка дотронулась до него своимъ хлыстикомъ.

— Въ такомъ случаѣ, я бы не пошла; я люблю гулять совсѣмъ одна. Было бы ужасно жить на свѣтѣ, еслибы нельзя было иногда уходить отъ людей!

Ея заносчивый тонъ поразилъ Рандольфа.

— Что̀ случилось? Вы какая-то странная!

Ли вспыхнула; но письмо Сесиля было въ надежномъ мѣстѣ: у нея на груди.

— Не говорите мнѣ непріятностей и не заговорите меня до̀-смерти! Устала! — предупредила она и убѣжала къ себѣ, наверхъ.

У нея на столѣ оказалось письмо изъ Нью-Іорка, отъ Коралѝ.

„Ну, вотъ, наконецъ-то я видѣла твоего Сесиля (прямо начинала та свое посланіе): вчера вечеромъ, на званомъ обѣдѣ

у Форбсовъ. Тебѣ будетъ пріятно слышать, что онъ высокаго роста и, вѣроятно, крѣпкаго сложенія, судя по тому, какъ на немъ сидитъ одежда. Но, мнѣ кажется, онъ мало бывалъ въ обществѣ, а разгуливалъ себѣ по бѣлу-свѣту съ узелкомъ въ рукахъ или съ котомкой за плечами. На немъ былъ сюртукъ Смита, у котораго онъ теперь гоститъ, и страшно было ему коротокъ и узокъ,—но это, повидимому, ничуть его не смущало, и, въ качествѣ единственнаго присутствующаго лорда, онъ торжественно повелъ м-съ Форбсъ къ столу. Твой Сесиль не особенно разговорчивъ, и вовсе не похожъ на Арромаунта. Сначала я его немножко дичилась; но когда онъ упомянулъ про свои письма (я и виду не подала, что я уже ихъ читала!) — я убѣдилась еще разъ, что онъ совсѣмъ на нихъ не похожъ. Ему очень было интересно, что ты—моя подруга, и—можешь быть увѣрена,—я ничего не щадила, чтобы выставить тебя въ самомъ выгодномъ свѣтѣ; но—странное дѣло!—я почему-то ни разу не обмолвилась, что ты красива. Я ему сказала вообще, что ты пользуешься большимъ успѣхомъ,—что у тебя на поясѣ тьма-тьмущая скальповъ твоихъ жертвъ... Мало-по-малу, твой Сесиль началъ оживляться и даже объявилъ, что ты всегда была его закадычнымъ другомъ, и что теперь онъ ѣдетъ въ Калифорнію—убить медвѣдя и повидаться съ тобой. (На первомъ планѣ у него — медвѣдь, а ты — на второмъ! Но... все равно!) Послѣ обѣда, какъ только мужчины отдѣлились отъ дамъ, онъ подошелъ ко мнѣ (я, кажется, еще не говорила, что онъ застѣнчивъ), и я прямо подвела его къ тому столу, на которомъ торжественно красуется только твой портретъ. — Вотъ она! — объявила я..

„Онъ взялъ его въ руки, посмотрѣлъ на него во всѣ глаза (милые, честные глаза!—они часто у него смѣются; но я голову отдамъ на отсѣченіе, что онъ—человѣкъ съ характеромъ).—Кто это?—спросилъ онъ.

— Да это Ли,—понятно!

„Онъ еще пристальнѣе всмотрѣлся въ карточку (это, знаешь, та, гдѣ ты—декольтэ, раскрашенная, въ темномъ газовомъ платьѣ) и уставилъ на меня глаза.

— *Это* — Ли? — и еслибы на лицѣ у него не было почти чернаго загара, было бы видно, что онъ поблѣднѣлъ. Ротъ у него необыкновенно выразительный, а губы—дрожали.

— Очень хорошенькая она стала!—проговорилъ онъ, какъ только могъ небрежнѣе.—Я не подозрѣвалъ, что она можетъ *такъ* похорошѣть... что она такъ похорошѣла. Конечно, ею

занялись какіе-нибудь смѣлые американцы... А я уже давно ничего о ней не слышу.—Она невѣста?

— Насколько мнѣ извѣстно,—еще нѣтъ; хотя около нея есть человѣка три-четыре такихъ усердныхъ поклонниковъ, что этого можно ждать съ минуты на минуту. (Я подумала, что не мѣшаетъ немножко его потревожить; а онъ, вдобавокъ, слишкомъ самодовольный господинъ).

— А!—проронилъ онъ и поставилъ карточку на мѣсто, но потомъ раза два подходилъ еще и еще на нее взглянуть. Только наши американцы умѣютъ это сдѣлать болѣе тонко и незамѣтно. А все-таки, въ немъ есть что-то такое,—особенное, прекрасное! Онъ не такой рѣчистый, какъ Рандольфъ, но у него такой спокойный видъ, онъ такъ далекъ отъ пустой буднично-свѣтской суеты, что съ нимъ невольно отдыхаешь! Я усердно принялась откапывать въ немъ его совершенства; но, сама знаешь, никогда я не умѣла работать киркой и лопатой (не къ тому меня готовила судьба!), а потому успѣла только догадаться, что въ немъ есть солидныя залежи здраваго смысла вмѣстѣ съ полнымъ развитіемъ всѣхъ современныхъ совершенствъ. Насчетъ себя онъ былъ нѣмъ, какъ рыба; а Смитъ, тогда же вечеромъ, сказалъ мнѣ, что среди своихъ знакомыхъ лордъ Маундрелъ считается виднымъ спортсмэномъ. Помнишь, какъ Томъ застрѣлилъ пантеру? Мы ее ѣли за завтракомъ и за обѣдомъ, чуть не цѣлый мѣсяцъ... Конечно, всего лучше—благоразумная середина; но я, съ своей стороны, недолюбливаю излишнюю скромность: она мнѣ подозрительна"...

— „Такъ, значитъ, моя красота его смутила? Онъ—такой, какъ и всѣ мужчины,—подумала Ли и прибавила:—Ну что-жъ,—тѣмъ лучше!"

Недѣли двѣ пришлось поклонникамъ Ли Тарлтонъ терпѣть отъ ея неровнаго настроенія: она была то раздражительна и прихотлива, то разсѣянна, и даже не старалась это скрыть. Впрочемъ, аппетитъ у нея все время былъ хорошъ, иначе м-съ Монгомери встревожилась бы не на шутку.

Ли цѣлый день и цѣлую ночь обдумывала свой отвѣтъ Сесилю и, наконецъ, отвѣтила радушно и весело, высказывая въ своемъ удовольствіи его увидѣть скорѣе любопытство, но тщательно скрывая то пылкое и глубокое чувство, которое въ дѣйствительности ее томило. Когда же онъ отозвался снова письмомъ, въ которомъ главный интересъ сосредоточивался на би-

зонахъ, — она благодарила судьбу, внушившую ей тогда скрыть свои настоящія чувства. Въ заключеніе, Сесиль прибавилъ:

„Если отъ меня больше письма не будетъ, можете ожидать моего пріѣзда во всякое время. Сначала я поѣду на югъ Калифорніи и попробую тамъ, у своихъ знакомыхъ, расправиться съ косматымъ Мишкой...“

Ли въ мелкіе клочки изорвала письмо Сесиля и пустилась отчаянно кокетничать съ другомъ своимъ, Рандольфомъ, утомляя его множествомъ танцевъ на всѣхъ вечеринкахъ въ Мэнло. Она заставляла его подниматься въ неслыханно-ранніе часы, чтобы сопровождать ее верхомъ (кстати: онъ терпѣть не могъ верховой ѣзды), а сама ежедневно ѣздила въ экипажѣ на станцію — его встрѣчать. Рандольфъ удивлялся; но, погруженный въ свои занятія, онъ и тому былъ радъ, что, работая карандашомъ надъ прозаическими деталями гигантской желѣзной постройки, могъ предвкушать удовольствіе, что его вечеръ озарится сверкающей улыбкой самой очаровательной изо всѣхъ женщинъ въ мірѣ.

Для него — Сесиль Маундрелъ пересталъ существовать, и будущее, къ которому онъ пламенно стремился, теперь казалось неизбѣжнымъ.

XIV.

— Ну, вотъ! Опять сюда идетъ какой-то бродяга, — раздраженно замѣтила м-съ Монгомери. — Это ужъ второй на этой недѣлѣ. Придется поставить сторожа; эти бродяги такъ надоѣдаютъ!

— Но походка у него не такая, — возразила Ли и посмотрѣла въ лорнетку (она была чуть-чуть близорука); хотя, собственно, одѣтъ онъ...

Вдругъ она встала и, сойдя поспѣшно съ веранды, пошла впередъ по дорожкѣ, чувствуя, что кровь приливаетъ къ головѣ, а руки и ноги дрожатъ. Минуты три прошло, пока она дошла до незнакомца; тотъ остановился и приподнялъ фуражку, а затѣмъ принялся поджидать молодую дѣвушку, засунувъ руки въ карманы. Нервы Ли рисковали не выдержать.

— Ну, какъ это, Сесиль, на васъ похоже! — явиться въ такомъ видѣ! — весело воскликнула она. — М-съ Монгомери приняла васъ за бродягу.

Сесиль посмѣивался нервнымъ смѣхомъ и трясъ ее за руку.

— Насъ подожгли вчера ночью, и у меня все сгорѣло. Дня черезъ два я поѣду въ Санъ-Франциско и куплю, что̀ нужно.

— Не думаю, чтобъ тётя охотно согласилась принять васъ въ этомъ видѣ.

— Ну? Неужели? Вотъ такъ потѣха! Я и не зналъ, что здѣсь у васъ такъ строго. Я сейчасъ прямо въ городъ заѣду, если вы считаете, что это необходимо.

— Нѣтъ, нѣтъ! Только хорошенько извинитесь передъ м-съ Монгомери—и она къ вамъ премило отнесется. Мы здѣсь очень чувствительны къ приличіямъ, а особенно къ уваженію. Разъ къ намъ на обѣдъ явился герцогъ—въ пиджакѣ; до сихъ поръ мы этого не можемъ позабыть!

— Что̀ за нахалъ! Ну, а я пойду и поѣмъ съ поденьщиками. Мнѣ нравятся грубые и простые американцы.

— Я такихъ вовсе не знаю, поэтому не могу спорить... Но вы чудо сами какъ хороши и высоки ростомъ! Я этому рада. Право, вы мало измѣнились; вотъ только нѣжный цвѣтъ лица пропалъ,—впрочемъ, такой я предпочитаю: у всѣхъ мужчинъ обыкновенно хилый видъ!.. О, Сесиль, какъ я вамъ рада!

Ея лицо и голосъ были проникнуты самой искренней радостью и дружескимъ чувствомъ. Сесиль смотрѣлъ на нее молча и въ глазахъ его постепенно угасало выраженіе веселости.

— Вы очень хороши собой!—проговорилъ онъ отрывисто.

— Я слышу, кто-то ѣдетъ: это гости къ обѣду. Пойдемте прочь, въ сторону; не потому, что мнѣ за васъ стыдно, но если вы не хотите встрѣчаться съ м-съ Монгомери при посторонних...

— Я, вообще, не хочу видѣть никого, кромѣ васъ. Правду сказать, мнѣ даже въ голову не приходило, что здѣсь будетъ кто-нибудь еще другой, а вы—я былъ увѣренъ—не придадите значенія моимъ старымъ тряпкамъ. Теперь и я припоминаю, какъ пассажиры въ вагонѣ на меня уставляли глаза: я вѣдь и въ самомъ дѣлѣ похожъ на бродягу. Какой-то расфранченный пассажиръ въ вагонѣ для курящихъ спросилъ меня, не ищу ли я мѣста? А я ему отвѣтилъ: — Не мѣста, а драки! — До самой станціи онъ не проронилъ больше ни слова, а потомъ предложилъ выйти и выпить вмѣстѣ.

— И вы пошли?—спросила Ли.

— О, я смотрю снисходительно на все, что̀ естественно. Я принялъ его предложеніе, и самъ угостилъ его. Послѣ этого я сдѣлалъ видъ, что задремалъ, чтобы только онъ отъ меня отвязался: понятно, ему хотѣлось пуститься въ разговоръ... но, конечно, это ему удалось въ формѣ монолога.

— Пойдемте вотъ сюда и посидимъ,—предложила Ли.

Они усѣлись въ отдаленной части сада, на скамейкѣ, подъ развѣсистымъ дубомъ, и молча посмотрѣли другъ на друга.

— Ну что же? Вы убили косматаго Мишку?

— Нѣтъ; ни по сосѣдству, ни въ окрестностяхъ, не появлялся онъ вотъ уже три года. Никогда еще мнѣ не случалось переживать такое глубокое разочарованіе: теперь, я думаю, придется навсегда отказаться отъ этой мечты. Нельзя же требовать чтобы о косматомъ Мишкѣ думали люди, только-что потерпѣвшіе отъ пожара! А другіе мои товарищи сами не бывали дальше Монтаны.

Въ тотъ день на Ли было надѣто бѣлое лѣтнее платье съ поясомъ, который былъ одного цвѣта съ ея голубыми глазами; черные волосы были собраны въ свободный узелъ. Она прекрасно сознавала, что очаровательна въ этомъ нарядѣ.

— Вы единственный изо всѣхъ мужчинъ на свѣтѣ, способный думать сперва о медвѣдѣ, а потомъ обо мнѣ, — замѣтила она, чуть сдвинувъ брови и надувъ губки.—Сесиль! Никто лучше васъ не умѣлъ любоваться.

— Но, право же... я, кажется, думалъ столько же о васъ, сколько о своемъ Мишкѣ.

— Очень вамъ благодарна!

— Нѣтъ, серьезно! — возразилъ онъ и отвернулся. Ли показалось, что лицо его поблѣднѣло подъ тройнымъ загаромъ:— Никогда я еще не былъ такъ смущенъ!—признался англичанинъ.

— Ну, на это вы всегда были готовы, — продолжала его собесѣдница.—Впрочемъ, и то ужъ большое утѣшеніе, что намъ не предстоятъ нескончаемыя шесть недѣль обоюднаго ухаживанія передъ помолвкой; не правда ли? Признайтесь!

Сесиль разсмѣялся, но безъ особаго увлеченія.

— Хорошо, я скажу вамъ совершенно откровенно,—началъ онъ:—въ Нью-Іоркѣ я увидѣлъ вашъ портретъ, и онъ мнѣ совершенно голову вскружилъ; въ первый разъ ошеломила меня женская красота (два или три мимолетныхъ увлеченія не стòитъ и считать). Всю ночь я не могъ глазъ сомкнуть и мысленно сопоставлялъ вашу красоту и все то, чтò мнѣ было дорого въ нашихъ прекрасныхъ товарищескихъ воспоминаніяхъ, когда вы были много старше дѣвочекъ вашихъ лѣтъ,—такая восхитительная крошка! — У меня голова кружилась... а на утро я вамъ написалъ то письмо...

— Н-ну?...—спросила Ли, вертя въ рукахъ лорнетку и не поднимая глазъ. Сесиль тоже, не отрываясь, глядѣлъ на дальній небосклонъ. Говорилъ онъ какъ бы съ трудомъ.

— Когда моя горячность нѣсколько остыла, я пожалѣлъ о томъ, что̀ написалъ. Видите ли,—продолжалъ онъ грубовато:—въ сущности, за всѣ эти годы я не думалъ о васъ вовсе въ этомъ смыслѣ, иначе не поѣхалъ бы въ Калифорнію: я вообще не вѣрю въ браки людей не одной національности.

— Но, милый мой Сесиль, — мы вѣдь не собираемся жениться!—воскликнула Ли, широко раскрывъ глаза.—Я ужъ давно покончила съ этимъ вопросомъ.

Сесиль былъ еще недостаточно опытенъ и, вдобавокъ, слишкомъ растерялся для того, чтобы замѣтить, какъ быстро Ли перемѣнила тактику. Онъ поблѣднѣлъ и удивленно уставился на нее своими темными отъ волненія,—почти черными глазами.

— Что касается меня—я не считаю, что онъ поконченъ: я это сразу понялъ и почувствовалъ, когда вы встали и пошли ко мнѣ на встрѣчу. За послѣднія пять недѣль я только и дѣлалъ, что взвѣшивалъ все—за̀ и противъ такихъ браковъ; припоминалъ каждую ссору моего отца съ мачихой; старался убѣдить себя, что такой бракъ,—бракъ не на деньгахъ,—сумасшествіе; но въ ту же минуту, какъ я васъ увидѣлъ, я понялъ, что потерялъ напрасно цѣлыхъ пять недѣль,—что я женюсь на васъ непремѣнно, только бы вы согласились взять меня въ мужья.

Глаза Ли снова принялись изучать что-то такое на платьѣ, у нея на колѣняхъ. Гордость и страсть опять въ ней боролись; но, послѣ минутнаго молчанія, она подняла голову съ такой ясной, милой улыбкой, что Сесиль невольно хотѣлъ взять ее за руку; но она отдернула ее.

— Нѣтъ, Сесиль! Я вамъ даже думать запрещаю ухаживать за мною, пока вы сами не заставите меня васъ полюбить. Но для начала,—прибавила Ли, все еще улыбаясь,—ужъ и то хорошо, что я не люблю никого, а вы всегда мнѣ нравились больше всѣхъ на свѣтѣ. Сегодня двадцать-шестое апрѣля;—такъ двадцать-шестого мая — можете опять сдѣлать мнѣ предложеніе.

Сесиль какъ-то растерянно, безпомощно посмотрѣлъ на нее; губы его дрожали:

— Вы совсѣмъ не любите меня? — спросилъ онъ глухо и взволнованно.

— Ну, какъ я могу васъ любить, если не видала васъ цѣлыхъ десять лѣтъ?—возразила Ли.—Вы сами говорите, что я была для васъ существомъ отвлеченнымъ, пока вы не увидѣли меня на карточкѣ; а я даже карточки вашей ни разу не видала! А женщины не такъ легко воспламеняются, какъ мужчины. (Мысленно, она только просила Бога, чтобы Сесиль не вздумалъ

ее обнять и цѣловать). Мнѣ даже въ голову не пришло все это взвѣсить и обсудить... Нѣтъ, что бы вы обо мнѣ подумали, еслибъ я сразу приняла ваше предложеніе?

— Конечно, я бы первый васъ не оправдалъ. Я просто чудовище!—воскликнулъ растерянно и огорченно Сесиль; видъ у него былъ такой ребячески-трогательный, что Ли за это еще больше его полюбила.

— Въ которомъ часу идетъ поѣздъ въ Санъ-Франциско?—спросилъ Сесиль.

— Въ двѣнадцать-десять.

— Я какъ разъ поспѣю; а назадъ буду, когда запасусь приличнымъ платьемъ. На Базарной улицѣ, я думаю, найдутся портные?

— Поѣзжайте прямо къ Рандольфу; онъ васъ направитъ къ своему портному.

— Благодарю васъ, до свиданія!

Сесиль пожалъ ей руку, избѣгая смотрѣть въ глаза, и пошелъ прочь. Выйдя на дорогу, онъ засунулъ руки въ карманы и пустился бѣжать. Ли посмотрѣла ему вслѣдъ и разсмѣялась, видя его поразительную несообразительность; затѣмъ она сама пошла черезъ лужайку, въ лѣсъ, чтобы остаться одной.

Дня черезъ три, лордъ Маундрелъ вернулся въ безукоризненномъ костюмѣ, и сама м-съ Монгомери могла только благосклонно отнестись къ его знанію свѣтскихъ приличій. Рандольфъ, повидавшись съ нимъ въ городѣ, отвѣчалъ на разспросы матери, что онъ „англичанинъ, но совсѣмъ въ другомъ родѣ, чѣмъ Арромаунтъ: Маундрелъ—тощій и сильный, а у того худоба совсѣмъ иного свойства“.

— Онъ красивъ.

— Право, ничего не могу сказать; не разглядѣлъ,—замѣтилъ Рандольфъ, и Ли хотя вскинула на него украдкой глазами, а не могла уловить никакого признака раздраженія. Только разъ, послѣ обѣда, поднявъ глаза, она поймала на себѣ холодный, какъ сталь, взглядъ Рандольфа, и поспѣшила отвернуться, задумчиво перебирая клавиши рояля. По его просьбѣ, она сѣла въ сумерки играть; но на этотъ разъ не было въ ея игрѣ обычной выразительности.

Обыкновенно, лѣтомъ Ли имѣла привычку ходить въ бѣломъ; на этотъ разъ она только выбрала платье потоньше и поизящнѣе,—съ вырѣзомъ на груди. Когда Сесиль и Рандольфъ пріѣхали изъ города, Ли не сразу вышла къ нимъ, предоставивъ молодому хозяину дома занимать гостя. Спустившись внизъ къ

обѣду, она застала въ гостиной дружно бесѣдовавшую пару: м-съ Монгомерѝ и Сесиля, къ которымъ присоединялся изрѣдка Рандольфъ. Они говорили о Калифорніи, а онъ имъ возражалъ, что ихъ замѣчанія лишены оригинальности.

— Калифорнія еще не дождалась себѣ до сихъ поръ должной оцѣнки,—прибавилъ онъ.

— Но можно и на избитую тему найти оригинальное сужденіе,—замѣтила Ли, здороваясь и желая поддержать разговоръ въ шутливомъ тонѣ.—Капитанъ Туайнингъ, пробывъ два дня въ Калифорніи, успѣлъ однако прославиться своимъ замѣчаніемъ:—„Только двѣ вещи знамениты въ Калифорніи, сколько я слышалъ: миссъ Тарлтонъ и климатъ“.—И Ли съ вызывающимъ кокетствомъ улыбнулась.

— Однако, не очень-то съ его стороны вѣжливо называть васъ „вещью“,—замѣтилъ Сесиль.

— Онъ, можетъ быть, принялъ ее за цвѣтокъ или за тонкіе духи?—поспѣшно возразилъ Рандольфъ, и мужчины обмѣнялись взглядомъ.

— Очень, очень мило сказано! — замѣтилъ опять гость.— Вы могли бы покраснѣть отъ комплимента, Ли.

— Она слишкомъ привыкла къ комплиментамъ; ее избаловали...

— А!—проронилъ Маундрелъ и умолкъ.

Въ столовой, за обѣдомъ, Рандольфъ блеснулъ своимъ умѣньемъ проявить даръ краснорѣчія, и пока разговоръ оставался на почвѣ его спеціальности—архитектуры, Ли просто не знала, кому отдать предпочтеніе,—до того поразилъ ее также и Сесиль своими наблюденіями надъ архитектурными достопримѣчательностями въ Индіи и въ Испаніи (преимущественно въ Гренадѣ) и сравненіями этихъ обоихъ стилей; затѣмъ, онъ постепенно перешелъ къ бытовымъ и климатическимъ условіямъ Южной-Америки.

По этому вопросу Рандольфъ былъ совсѣмъ несвѣдущъ, но съ удивительною ловкостью умѣлъ скрыть свой недостатокъ свѣдѣній. Перевѣсъ остался, однако, на сторонѣ Сесиля, какъ только разговоръ коснулся политики. Блестящимъ ораторомъ его нельзя было назвать; но онъ увлекалъ слушателей разнообразіемъ и основательностью своихъ познаній. Рандольфъ не зналъ тѣхъ подробностей въ политическомъ управленіи своей страны, какія оказались близко знакомы англичанину.

— Честное слово!—воскликнулъ, смѣясь, Рандольфъ:—единственное, что̀ я вынесъ изо всей исторіи Соединенныхъ-Шта-

товъ, это—желаніе вырости какъ можно скорѣе и задать трёпку англичанамъ.

Ли и Сесиль единодушно разсмѣялись, и Сесиль весьма образно передалъ ихъ общее воспоминаніе о томъ, кàкъ онъ когда-то пострадалъ за такое стремленіе.

— Но странное дѣло,—прибавилъ онъ:—несмотря на то, что вы, американцы, насъ опередили, въ *васъ* еще остается чувство горечи, а въ насъ—нѣтъ. Мальчишки, которые меня тогда побили, сами же не иначе, какъ враждебно смотрѣли на меня до сàмаго моего отъѣзда; а теперь, въ Монтанѣ, я задалъ здоровую трёпку одному американцу, и съ тѣхъ поръ не было у меня болѣе восторженнаго друга.

— О, намъ непремѣнно нужна встряска,—призналея Рандольфъ:—слишкомъ мы любимъ высоко заноситься и хвастать, и пыль въ глаза пускать. Мы, видите ли, такой ужъ особенный народъ, что не можемъ не пѣтушиться. Только тотъ и дождется отъ насъ уваженія, кто самъ насъ сшибетъ съ ногъ и наставитъ намъ побольше синяковъ, да носъ расквасить, на придачу. Конечно, мы встанемъ на ноги—подъ ногами отнюдь не останемся лежать!—но вѣчно будемъ питать уваженіе къ грубой силѣ, какъ въ смыслѣ нравственномъ, такъ и физическомъ.

— Это чрезвычайно интересно,—чрезвычайно! — задумчиво проговорилъ Сесиль, и примолкъ на минуту.—Мнѣ кажется, эта горечь должна бы современемъ пройти, и, конечно, прошла бы, еслибъ не наша дипломатія,—слишкомъ тонкая и слишкомъ изворотливая для того, чтобы нравиться всему остальному міру. Я не могу сказать, чтобы у Соединенныхъ-Штатовъ не было сторонниковъ ихъ антагонизма.

Рандольфъ зналъ еще меньше про англійскую дипломатію, чѣмъ про американскую политику былыхъ временъ; мигомъ прикинулъ онъ въ умѣ, что, играя въ руку сопернику, онъ скорѣе выиграетъ въ глазахъ Ли, нежели проиграетъ, такъ какъ она пойметъ, что онъ нарочно великодушно стушевался передъ гостемъ,—и сдѣлалъ вскользь какое-то шутливое замѣчаніе по поводу англійской политики, и минуту спустя Сесиль очутился единственнымъ ораторомъ, котораго не только Ли, но и всѣ остальные слушали съ живымъ интересомъ.

— Какъ это было мило съ вашей стороны!—замѣтила молодая дѣвушка Рандольфу, по уходѣ гостя:—я знаю, Англія никогда не возбуждала въ васъ особеннаго интереса.

— Но я зналъ, что это *васъ* заинтересуетъ...

— Какой вы добрый!—Она немного запнулась и прибавила:

— А что̀, вѣдь у него, дѣйствительно, много здраваго смысла.

— Онъ знатокъ своего дѣла; онъ можетъ хоть кого разнести въ пухъ и прахъ, когда дѣло коснется основательныхъ познаній; но въ ходячемъ, обыкновенномъ разговорѣ я его всегда побью, и еслибы ему пришлось долго выдерживать перекрестный огонь американской живости и натиска,—онъ бы не выдержалъ.

— Но онъ довольно смѣлъ...

— На отвѣты,—да! Но я не то хочу сказать...—не поясняя, однако, своего возраженія, замѣтилъ въ заключеніе Рандольфъ.

XV.

Выйдя въ гостиную, куда за м-съ Монгомери̂ послѣдовали и другіе гости,—м-съ Браннанъ и м-ръ Треннаганъ, — Сесиль въ одинъ мигъ очутился подлѣ Ли и предложилъ ей пройтись,— „если не будетъ невѣжливо оставить остальное общество".

— Нисколько. Мы здѣсь между собой не церемонимся; вдобавокъ, это гости скорѣе лично м-съ Монгомери̂, а не мои.

Луна свѣтила надъ лугомъ, на который они вышли, и рѣзко обрисовывались очертанія лѣса.

— Можно мнѣ выкурить сигару?

— Конечно.

— Вамъ слѣдовало бы что-нибудь на плечи накинуть.

— Мой платокъ изъ верблюжьей шерсти и грѣетъ прекрасно,—возразила Ли.—Ну, ка̀къ же вамъ нравится Рандольфъ?

— Весьма приличный малый! Онъ въ васъ влюбленъ?

— Почему это каждый мужчина непремѣнно думаетъ, что всѣ влюблены въ женщину, которая возбуждаетъ *въ немъ* восхищеніе?

— Это не отвѣтъ на мой вопросъ; да онъ мнѣ и не нуженъ! Никто не могъ бы рости съ вами вмѣстѣ и васъ не полюбить.

— Вы учитесь говорить любезности? Пожалуй, еще начнете подносить мнѣ конфекты и цвѣты?

— Ни конфектъ, ничего такого, что̀ вамъ не полезно, я вамъ подносить не буду.

— Скажите: вы провели эти три дня въ сожалѣніяхъ, что сдѣлали мнѣ предложеніе?

— За какого осла вы меня принимаете! Я сдѣлалъ предложеніе,—и конецъ этому дѣлу! Единственное, что̀ можетъ меня

мучить, это—мысль, что я такъ плохо его сдѣлалъ. За эти три дня, я ломалъ себѣ голову, но только надъ другимъ,—тоже сроднымъ вопросомъ.

Ли молчала; а Сесиль спокойно, но твердо взялъ ея руку въ свою и продолжалъ:

— Какъ я могу заставить васъ полюбить меня? Я не имѣю объ этомъ ни малѣйшаго, хотя бы самаго смутнаго представленія...

— Но, въ глубинѣ души, неужели вамъ дѣйствительно этого бы такъ хотѣлось?.. Я вѣдь тоже много передумала за это время. Конечно, я знаю случаи, когда такіе „международные“ браки протекали благополучно; но это ничуть не смягчаетъ того факта, что многіе были, наоборотъ, черезчуръ неудачны. А большинство англичанъ—счастливо въ семейной жизни?

— По всей вѣроятности,—не очень. Но дѣло въ томъ, что еслибы я встрѣтилъ дѣвушку-англичанку, которая хоть въ половину нравилась бы мнѣ настолько, насколько привлекаете меня вы,—я бы на ней женился, и навѣрное наша жизнь пошла бы своимъ мирнымъ чередомъ, безъ особыхъ осложненій. Нормальная жена-англичанка тàкъ ужъ воспитана, что заранѣе знаешь, чего можно ожидать отъ нея... Она будетъ послушною супругой, заботливой матерью своихъ дѣтей, и, какъ бы она ни была блестяща, она всегда съумѣетъ примѣниться къ нему, подчинить себя его волѣ, его вкусамъ и воззрѣніямъ; а это весьма немаловажный пунктъ въ семейной жизни англичанина. Самъ англичанинъ не можетъ, да и не умѣетъ ни къ кому примѣняться. Онъ можетъ быть хорошимъ мужемъ, если любитъ свою жену и если она старается оставаться всегда привлекательной въ его глазахъ. Но подчиненіе... Нѣтъ, это не въ его натурѣ! Если она съумѣетъ заставить себя полюбить, онъ ей не будетъ измѣнять, и приложитъ всѣ старанія, чтобы сдѣлать ее счастливой. Но, все-таки, она должна подчинить ему свою волю.

— Откровенность—ваша добродѣтель! Или это просто попытка запугать меня?

— Съ моей стороны было бы нечестно васъ обманывать,—просто, но совершенно серьезно проговорилъ онъ, и Ли пытливо посмотрѣла на его строгій профиль, но не отняла руки.

— Я, собственно, не вижу, чего бы вамъ пугаться?—продолжалъ Сесиль, все такъ же серьезно.—Мы всегда, во всемъ сочувствовали другъ другу. Мы любили другъ друга искренно и горячо, еще когда были совсѣмъ дѣтьми, и сразу почувство-

вали взаимное влеченіе. За всѣ эти годы не было ни одной женщины, которой я довѣрился бы такъ, какъ вамъ; никто не былъ мнѣ такъ необходимъ, какъ вы! Да и вы относились ко мнѣ не безразлично: болѣе усердной переписки у меня не было ни съ кѣмъ. Еслибы вы меня достаточно для этого любили, мы могли бы быть очень счастливы: любовь устранила бы всю остальную рознь.

— Удивляюсь, право!—воскликнула Ли, и съ минуту оба шли рядомъ молча:—какая у васъ смѣлость! Вы гораздо смѣлѣе, чѣмъ оказалась бы я, еслибъ я согласилась выйти за васъ: вѣдь я, по крайней мѣрѣ, давно и хорошо васъ знаю, а вы все равно, что вовсе не знаете меня;—не знаете, подъ какимъ вліяніемъ я развилась и выросла. Я могла бы пространно описать вамъ вліяніе моей матери и ту, немалую долю, которую приняли въ немъ впослѣдствіи мужчины—съ тѣхъ поръ, какъ я начала ходить въ длинныхъ платьяхъ. Я могла бы представить вамъ подробный разборъ моего собственнаго „я“, въ развитіи котораго крупную роль играло то, что я сама веду свои дѣла, что я, какъ всегда, творю свою волю, и наконецъ,—что три года я была признанной первой красавицей въ Санъ-Франциско... Но все это еще не дастъ вамъ такого представленія о моей личности, которое само явилось бы у васъ, еслибъ мы жили вмѣстѣ,—еслибъ вы входили въ составъ всего, что меня окружало за минувшій десятокъ лѣтъ. Ничто не можетъ быть умнѣе вашего замѣчанія, что каждый долженъ жениться на себѣ подобной по происхожденію,—и каждая женщина—также. Словомъ, въ итогѣ выходитъ, что выйди я за Рандольфа,—онъ всю жизнь будетъ застегивать мнѣ сапоги; выйду за васъ,—всю жизнь придется мнѣ стаскивать ваши.

— О, Боже мой! Конечно, нѣтъ. Я былъ тогда грубое животное!—засмѣялся онъ; но этотъ смѣхъ, измѣнившій бы настроеніе всякаго другого, ничуть не повліялъ на его серьезность. —Я не обидѣлся бы на судьбу, еслибъ она дала мнѣ въ жены женщину, которая занимала бы меня больше всѣхъ женщинъ моей родины, еслибы вы только всегда были со мной искренни и откровенны. Я ненавидѣлъ бы загадки и не давалъ бы себѣ ни времени, ни труда ихъ разрѣшать. Если вы сами не будете нарочно прилагать старанія меня морочить, мнѣ будетъ недолго васъ узнать; а иначе, какъ положительно прелестной, я не могу васъ себѣ представить.

— Да,—еслибъ я вырвала съ корнемъ всю свою, такъ сказать, индивидуальность и съумѣла бы къ вамъ принаровиться...

— Вы это съумѣли бы, конечно, и не ломая ничуть вашей индивидуальности; да я и самъ этого не пожелалъ бы никогда. Въ чемъ же тогда будетъ ваша главная прелесть?.. Мы оба молоды, хоть мнѣ идетъ уже двадцать-шестой годъ; американецъ, а тѣмъ болѣе американка, не можетъ вполнѣ уяснить, чтобъ въ это время мужчина былъ уже вполнѣ сложившимся человѣкомъ; но у меня горячая склонность къ привязанности, которая до сихъ поръ не имѣла удовлетворенія. Еслибъ вы меня настолько любили, чтобы дать согласіе,—это было бы главное!

— Иначе говоря, отвѣтственность въ этомъ супружескомъ опытѣ легла бы исключительно на меня?

— Не называйте это опытомъ, ради Бога! Для меня это—вопросъ жизни или смерти. Если я возьму васъ въ жены, такъ это ужъ навѣкъ. Если вы рѣшитесь выйти за меня,—вы должны въ умѣ своемъ твердо рѣшить, что мы будемъ счастливы.

Послѣ минутнаго молчанія, Сесиль почувствовалъ, что рука Ли нервно напряглась, но голосъ ея прозвучалъ спокойно.

— Еще давно, когда мнѣ минуло шестнадцать лѣтъ, я рѣшила, что выйду за васъ замужъ, и съ той поры ни на минуту не измѣнила своему рѣшенью. Я всегда знала навѣрное, что вы вернетесь... Въ понедѣльникъ, я не могла рѣшиться упасть въ ваши объятія, какъ... какъ спѣлое яблоко,... но вы такъ серьезно отнеслись къ этому вопросу, что и меня заставили смотрѣть серьезно Кокетничать я больше не могу!

Сесиль выпустилъ ея руку и остановился, какъ вкопанный:

— Неужели?! Вы любите меня?

— Я васъ всегда любила въ двадцать разъ горячѣе, нежели кого бы то ни было на свѣтѣ,—любила за всѣ эти годы, и, пока жива, никого другого такъ любить не буду... Сесиль! Да не смотрите на меня такъ страшно!..

Еще мгновенье,—и Сесиль отвелъ глаза.

Рѣшено было пока держать помолвку въ тайнѣ; но на четвертый день м-съ Монгомерѝ не выдержала и совершенно неожиданно вошла къ Ли.

— Я должна знать правду, дитя мое! — сказала она.—Во-первыхъ, если ты не невѣста лорда Маундрела, я не могу вамъ разрѣшить длинныя прогулки вдвоемъ; прежде ты никогда не дѣлала ничего подобнаго. А во-вторыхъ...

— Не плачьте!—говорила Ли, осыпая ее нервными ласками

и поцѣлуями.—Я потому вѣдь только и скрывала, что знала, кàкъ это разочаруетъ и васъ, и Рандольфа. Мнѣ самой тяжела мысль, что придется разстаться съ вами...

— Ахъ! Еслибъ ты могла полюбить Рандольфа!..

— Ну, право же, раза два-три я такъ искренно старалась! Но чтò же дѣлать? Я ужъ давно любила одного только Сесиля, и готова поступиться всѣмъ на свѣтѣ—для него. Чтò бы ни случилось,—ничто не уменьшитъ моего чувства.

— Дай Богъ, чтобы вы были счастливы! Тини дружно живетъ со своимъ Арромаунтомъ, и слава Богу; но я буду такъ одинока безъ тебя и... и... бѣдный Рандольфъ! Здѣсь, у меня въ Америкѣ, еще шесть дочерей замужнихъ,—и пятеро внучатъ; уѣхать отъ нихъ я не могу, но я, конечно, иногда буду навѣщать тебя... А все-таки я вѣдь тебя навѣкъ теряю!..

Ли тоже залилась слезами предъ такой картиной (прежде она ей въ голову не приходила). Когда волненіе обѣихъ немного успокоилось, м-съ Монгомерѝ спросила:

— Ты ему сказала, что ты теперь богата?

— Да; и онъ, съ обычной своей прямотою, сказалъ мнѣ, что онъ даже этому радъ. У насъ обоихъ будетъ тысячи три долларовъ, и жить можно будетъ хорошо; трудно придется только тогда, какъ наступитъ наша очередь поддерживать аббатство Маундрелъ. Мачиха отказала ему все свое состояніе, но содержать имѣніе въ порядкѣ стòитъ страшныхъ денегъ, и ей для этого пришлось тронуть капиталъ.

— Отчего бы Сесилю не заняться коммерческими предпріятіями, чтобы разбогатѣть?

— У него свои, уже давно установившіеся идеалы; онъ, вѣрно, будетъ министромъ-президентомъ и глубоко убѣжденъ, что политика—его призваніе. Онъ честолюбивъ и гордится тѣмъ, что какой-то законъ связанъ съ именемъ одного изъ его предковъ. Его дядя тоже былъ извѣстный членъ парламента. Черезъ годъ и я надѣюсь, что буду въ состояніи разсуждать о политикѣ.

— И будешь, будешь! Ты создана быть женою великаго человѣка, и онъ будетъ гордиться тобою.

— Ну, вы пристрастно судите...

— Да, конечно; только и недостатки дѣтей моихъ я всегда видѣла ясно, кàкъ горячо ни обожала ихъ. У тебя бойкій умъ, а за манерами твоими я строго слѣдила, и онѣ—безупречны.

— Подумайте, чтò бы со мною было, еслибъ меня воспитывали въ меблированномъ домѣ? Никогда въ жизни не забуду,

чѣмъ я вамъ обязана! А знаете, я забыла вамъ сказать: Сесиль больше не радикалъ,—онъ консерваторъ, какъ и его предки.

— Онъ, вообще, слишкомъ зрѣлый человѣкъ для своего возраста,—вздохнувъ, замѣтила м-съ Монгомерѝ.—Томъ и Нэдъ—сущія дѣти передъ нимъ, а Рандольфъ—какой онъ ни есть серьезный труженикъ,—онъ то-и-дѣло, что шутитъ и смѣется.

— Я знаю, онъ уважаетъ умъ въ другихъ людяхъ, но это все-таки нѣсколько тяготитъ его,—подтвердила Ли.

— Да. Правда... правда. Ты скажешь ему?.. У меня духу не хватаетъ.

— Хорошо. Сегодня же скажу; кстати, гостей у насъ не будетъ за обѣдомъ? А за него вы не тревожьтесь: мужчины переживаютъ все подобное гораздо легче насъ...

И въ тотъ же день, вечеромъ, Ли отвела Рандольфа въ сторону, въ гостиную.

— Мнѣ надо вамъ кое-что сказать, — начала она. — Вы знаете, я всегда любила Маундрела; такъ я... выхожу за него замужъ.

— Я это угадалъ, — отозвался Рандольфъ. Было слишкомъ темно, и его лица нельзя было разглядѣть.

— Очень рада, если вы это не принимаете къ сердцу. Бывало, вамъ казалось, что вы влюблены въ меня; это—единственное, чтò мучило меня. У меня—страшное самомнѣніе.

— И вполнѣ основательное. Маундрелъ сшибъ меня съ ногъ, и я его за это уважаю; но, какъ я вамъ уже сказалъ, американецъ, все равно, встанетъ на ноги.

— Вы забудете меня и женитесь на Коралѝ?

Рандольфъ взялъ ее за плечо и, повернувъ къ себѣ лицомъ, такъ что его блѣдное лицо виднѣлось своими бѣлыми очертаніями близко-близко передъ нею, возразилъ:

— Я хочу только вамъ сказать, что рано или поздно, въ этомъ ли году, или черезъ десять лѣтъ,—все равно, вы будете мнѣ принадлежать, и сами, — да, *сами*, по своей доброй волѣ придете ко мнѣ.

— Никогда! Во вѣки вѣковъ! Что за отвратит... Чтò бы ни случилось, я никогда не полюблю никого въ мірѣ, кромѣ Маундрела. Я ему принадлежу.

— А вотъ—увидимъ!

Онъ вышелъ на веранду, и, минуту спустя, оттуда уже донеслись звуки его безпечнаго смѣха.

„Конечно, и онъ можетъ говорить серьезно, — подумала Ли; — но это ему непріятно; а его смѣхъ доказываетъ только, что онъ радъ возможности забыть про свое минутное отступленіе отъ общаго правила, или что онъ очень ужъ ловкій притворщикъ. Въ своемъ родѣ, онъ довольно интересенъ“...

XVI.

Какъ-то разъ, за обѣдомъ, Рандольфъ сказалъ Маундрелу:

— Если у васъ еще не пропало желаніе помѣряться силою съ Мишкой, вы можете доставить себѣ это удовольствіе: онъ — рѣдкая птица у насъ, въ Калифорніи, а управляющій мызою мамà въ горахъ Санта-Лучіи, пишетъ что онъ выслѣдилъ на-дняхъ цѣлую парочку. Чтò бы онъ ни задумалъ, онъ вѣчно думаетъ по нѣскольку недѣль; такъ если вы не прочь, — вы еще поспѣете перехватить у него этихъ косолапыхъ.

Сесиль чуть не привскочилъ отъ восторга.

— Я готовъ хоть сейчасъ!.. Какъ туда добраться?

— Если хотите въ самомъ дѣлѣ, я зайду и скажу Треннагану: онъ — большой любитель медвѣжьей травли, и навѣрное съ вами поѣдетъ. Можете выѣхать на зарѣ, если хотите.

— Еще бы не хотѣть! Какъ это мило, что вы подумали меня предупредить! Право, я страшно вамъ обязанъ. Рѣдко когда я чего-нибудь до такой степени упорно добивался.

Ли не поднимала глазъ: они горѣли такимъ жгучимъ огнемъ, что могли бы выдать ея мысль. Рандольфъ такъ и сыпалъ анекдотами изъ медвѣжьей жизни; Сесиль слушалъ, видимо, съ удовольствіемъ.

Проходя черезъ сѣни, Ли сказала ему:

— Хотите, пройдемъ на минуту въ библіотеку? Намъ надо бы поговорить. — Библіотека помѣщалась въ дальнемъ концѣ дома; тамъ никто не могъ имъ помѣшать.

— Вы на меня за что-нибудь сердиты? — спросилъ Сесиль.

— Вы въ самомъ дѣлѣ хотите на двѣ недѣли меня бросить изъ-за какого-то медвѣдя?

— Ну, это не затянется такъ долго!

— Однако, ѣхать туда надо двое сутокъ, а третьи вамъ придется отдыхать, до того васъ дорòгою разломитъ... Въ общемъ, наберется двѣ недѣли.

Сесиль не возражалъ.

— Еще нѣтъ двухъ недѣль, какъ мы помолвлены,—продолжала она,—а вы уже хотите меня бросить?

— Напротивъ, и въ намѣреніи не имѣю! Развѣ мы не можемъ ѣхать вмѣстѣ?

— Да вы не имѣете понятія, что значитъ проѣзжать по калифорнійскимъ дикимъ лѣсамъ и чащамъ!

— Ну, въ такомъ случаѣ, не ѣздите, конечно. Но мнѣ-то не представится другого подобнаго случая, и вы, на моемъ мѣстѣ, не захотѣли бы упустить его. Вы еще сами говорили, что понимаете мое увлеченіе охотой.

— Но *не понимаю* вовсе, какъ вы можете бросать меня! Очевидно, я не вашъ идеалъ; иначе, я бы васъ, конечно, понимала.

— Нѣтъ, не то: вы, вѣрно, слишкомъ многихъ мужчинъ очаровывали.

— Однако, ни одинъ изъ нихъ не рѣшился бы промѣнять меня на медвѣдя.

— Но это еще не доказательство, что *они* васъ любили больше моего. Ни одинъ, напримѣръ, не могъ добиться вашего вниманія, а ваше обращеніе съ ними заставляетъ меня краснѣть; вчера вы все равно что помеломъ вымели м-ра Джири.

— Мнѣ хотѣлось остаться съ вами.

Сесиль смотрѣлъ ей въ глаза, засунувъ руки въ карманы и поджавъ губы, такъ точно, какъ два дня тому назадъ, когда Ли потребовала, чтобы онъ чистосердечно разсказалъ ей про свои отношенія къ другимъ женщинамъ.

— Такъ вы поѣдете?—спросила Ли.

Сесиль утвердительно кивнулъ; руки его нервно сжимались въ карманахъ, но Ли этого не видала.

— Нѣтъ! Не могу повѣрить!—сказала она.

— Чему? Что я могу страстно васъ любить и въ то же время стремиться къ разлукѣ съ вами, чтобы кончить свое спортсмэнское предпріятіе, которое чрезвычайно важно для меня. Еслибъ я разсчитывалъ остаться жить въ Калифорніи, я не задумался бы отложить его до слѣдующаго года; но при данныхъ условіяхъ мнѣ надо ѣхать или немедленно, или уже никогда не ѣхать. Конечно, вы разсудите благоразумно...

— Можете ѣхать, если вамъ угодно, но возвращаться не трудитесь!—возразила Ли и бросилась-было вонъ изъ комнаты.

Сесиль обнялъ ее и прижалъ къ груди своей, такъ что она не могла пошевельнуться.

— Да, я поѣду и вернусь; и обвѣнчаюсь съ вами перваго

іюля. И повѣрьте мнѣ,—я буду всѣми силами души стремиться скорѣе къ вамъ вернуться обратно.

— Не могу!.. Не могу вынести мысли, что вы промѣняли меня на... медвѣдя!—рыдая, говорила Ли.

— Ну, такъ хоть тѣмъ утѣшьтесь, что никогда дольше, какъ на двѣ недѣли, намъ не придется разлучаться.

— Въ другой разъ вы больше уже не возобновите свой кругосвѣтный спортъ?

— Никогда въ жизни! Семейный очагъ—вотъ что̀ для меня теперь всего нужнѣе.

— Мнѣ бы хотѣлось имѣть на васъ больше вліянія.

— Чтобы я былъ вашимъ безропотнымъ рабомъ? Когда вы позабудете немного про свое фантастическое представленіе объ отношеніяхъ мужчины и женщины и примкнете къ настоящему,—вы перестанете терзаться всякимъ вздоромъ, и—вотъ увидите!—не будетъ въ мірѣ людей счастливѣе насъ...

— Да; когда я къ вамъ „примѣнюсь"...

— Нѣтъ: когда вы потолкаетесь по бѣлу-свѣту и придете къ здравому міросозерцанію. Такое состояніе общества, когда оно подчинено власти женщины—полухаотическое, переходное состояніе. Когда падутъ ваши всемогущіе Штаты, тогда положеніе мужчины и женщины въ мірѣ будетъ равноправно, и число разводовъ сократится...

— Ну, какъ это вы можете стоять тутъ предо мною и читать мнѣ нравоученія!

— Да я и не намѣренъ. Мнѣ просто хочется... васъ поцѣловать.

— А я не могу быть иначе, какъ американкой! Американкой я родилась и выросла,—и не могу переродиться.

— Бросьте объ этомъ думать; для васъ, калифорнійцевъ, ваше происхожденіе, ваша индивидуальность—своего рода знамя, и вы съ нимъ носитесь, ка̀къ маленькій мальчикъ съ первой парою своихъ штанишекъ... Я слышу голосъ Треннагана: черезъ пять минутъ мнѣ надо̀ уходить, и, можетъ быть, намъ больше не случится быть однимъ. Ну, поговорили мы,—и будетъ!

Они разстались ласково и мирно, съ увѣреніями въ обоюдной правотѣ и... любви...

На слѣдующій день, за завтракомъ, Ли вдругъ встала изъ-за стола и вызвала въ сосѣднюю комнату Рандольфа.

— Вы вѣдь нарочно для того спровадили Сесиля за медвѣдями, чтобы они его помяли?

— Вы, кажется, принимаете меня за изверга въ грошовыхъ романахъ? У него силы и ловкости хватитъ на двоихъ, а я, вдобавокъ, поручилъ Джо Мэну, чтобъ тотъ не отходилъ отъ него ни на минуту: его драгоцѣннѣйшая шкура—въ полной безопасности. Нѣтъ, мнѣ просто хотѣлось дать вамъ образчикъ, чего вы можете отъ него ожидать.

— Значитъ, вы это подстроили нарочно?

— Ну, понятно! Дѣтская наивность, съ которой онъ попался въ ловушку, просто прелестна.

— Нѣтъ, онъ просто такой же прямой и честный человѣкъ, какъ... ну, какъ, напримѣръ, вашъ дѣдъ; а вы... вы—самый гадкій, самый лукавый изъ американцевъ!

Рандольфъ стиснулъ зубы, но сравнительно спокойно возразилъ:

— Въ любви всѣ средства хороши. Еслибъ я былъ человѣкъ совсѣмъ вамъ посторонній,—я всѣ старанія употребилъ бы для того, чтобы разстроить этотъ бракъ. Обдумайте все сами хорошенько; еще есть время.

— Я никогда не измѣню своему слову. И наконецъ, мы уже помолвлены.

— Это ничего не значитъ! Еслибы вы дали слово *мнѣ*, а Маундрелъ пріѣхалъ бы потомъ,—вы отказали бы мнѣ,—да?

— Конечно.

— Это—чисто-женская черта! Женственность—главная ваша прелесть. А все-таки, подумайте объ этомъ.

— Можете какія угодно строить козни,—я все равно выйду за Сесиля, хоть каждый мѣсяцъ ходи онъ на медвѣдя!—рѣшительно объявила Ли...

— Ну, а какъ ты? съумѣла примѣниться къ своему лорду и повелителю?—принялась она послѣ допрашивать Тини Арромаунтъ, которая, два дня спустя, торжественно явилась въ Мэнло-паркъ съ мужемъ и съ наслѣдникомъ знатнаго рода Арромаунтовъ, достопочтеннымъ Чарльзомъ - Эдвардомъ - Ричардомъ-Торнтономъ. Послѣдній возсѣдалъ на рукахъ у кормилицы.

Тини, какъ всегда, сіяла своею безмятежной красотой. Лордъ Арромаунтъ тоже ничуть не измѣнился; ни тѣни властности не было замѣтно въ его голосѣ и въ его обращеніи.

— Онъ *думаетъ*, что *я* къ нему подладилась,—но это одно и то же,—съ обычною загадочной улыбкой отозвалась Тини.

— Очень жаль, что я не умѣю такъ же точно дѣйствовать съ моимъ Сесилемъ,—замѣтила Ли:—онъ такой умный, а я не могу всегда быть спокойной.

— Это зависитъ отъ темперамента, конечно. Попробуй требовать меньше, и тебѣ же все покажется легче. Ни одинъ англичанинъ не будетъ тебѣ твердить постоянно, что онъ тебя любитъ.

— Мой мужъ будетъ твердить,—а не то будетъ плохо.

— Нѣтъ, они лѣнивы говорить, и онъ, вѣрно, тоже. Просто, изъ-за лѣни болтаютъ они языкомъ, глотая слова. Какъ и мой мужъ, всякій другой—заявилъ разъ, что тебя любитъ,—и конецъ; онъ считаетъ, что этого увѣренія съ тебя довольно на всю жизнь. Съ моимъ Арчэромъ очень удобно ладить. Я любезно принимаю его дурацкихъ пріятелей-охотниковъ, и онъ считаетъ меня совершенствомъ, потому что я всегда красива и всегда во всемъ съ нимъ соглашаюсь... Но это не мѣшаетъ мнѣ дѣлать изъ него *все, что я хочу*! Лѣтомъ и осенью я принимаю *его* гостей; а зиму мы проводимъ—гдѣ и какъ *я* захочу; въ городѣ у меня тоже есть *свои* друзья, и мы бываемъ въ тѣхъ домахъ, которые *мнѣ* интересны.

— Очевидно, мнѣ и Сесилю придется самимъ выработывать наши отношенія,—замѣтила Ли.

Двѣ недѣли и два дня пробылъ Сесиль въ отлучкѣ и привезъ съ собою шкуру гигантскаго медвѣдя,—отвратительную, загнившую. Ли повела въ сторону своимъ нѣжнымъ носикомъ и подобрала платье, но увѣряла его, что она не меньше его въ восторгѣ, и до того гордится имъ, что боится, какъ бы надъ нею не стали смѣяться.

— А второго Мишку прикончилъ Треннаганъ,—говорилъ восторженно Сесиль.—Но мой больше ростомъ: онъ чуть не подмялъ меня. Это—длинная исторія. Пойду помоюсь и переодѣнусь—и все вамъ разскажу.

Онъ вернулся, принявъ приличный видъ, и на прогулкѣ съ нимъ вдвоемъ Ли окончательно убѣдилась, что главная его забота была—скорѣе спѣшить къ ней обратно; но это не помѣшало ему дождаться, пока медвѣжью шкуру вычистили и просушили. Ли слушала его и чувствовала себя вполнѣ счастливой.

Свадьба состоялась перваго іюля.

Коралй вернулась домой вò-время, чтобы одѣть невѣсту къ вѣнцу, и Ли была такъ хороша въ своемъ бѣлоснѣжномъ нарядѣ, что руки Сесиля мигомъ очутились въ карманахъ,—признакъ величайшаго волненія; но по лицу его объ этомъ нельзя было догадаться, и вообще онъ держалъ себя вполнѣ сдержанно и прилично. То же можно было сказать и про Рандольфа.

Послѣ свадебнаго завтрака, молодые уѣхали верхомъ въ

домъ Треннагана, въ которомъ и пробыли, за отсутствіемъ хозяевъ, не двѣ недѣли, какъ намѣревались раньше, а цѣлый мѣсяцъ.

Какъ только молодые уѣхали, Рандольфъ простился съ матерью и вполнѣ успокоилъ ее тѣмъ, что въ городѣ у него—спѣшныя дѣла. Но, въ сущности, дѣлъ у него не было тамъ никакихъ; весь вечеръ и всю ночь провелъ онъ въ модномъ ресторанѣ и пилъ, пилъ, пилъ безъ перерыва; лицо его становилось все блѣднѣе и блѣднѣе, а мысли все больше прояснялись. Только разъ опустилъ онъ руку въ карманъ, вынулъ полученное письмо и перечелъ его: то было извѣстіе, что перувіанскія копи, въ которыхъ онъ былъ участникомъ, оказались несравненно богаче, нежели предполагалось. Рандольфъ въ мелкіе клочки изорвалъ письмо.

Заря занялась; онъ все еще былъ трезвъ...

XVII.

Чрезвычайно рѣдко случается, чтобы дѣйствительность не оправдала ожиданій, которыя рисуетъ намъ воображеніе... особенно если мы, американцы, стараемся сѐбѣ представить „родовой зȧмокъ“ въ Англіи. И все-таки сильное впечатлѣніе производятъ эти древнія, живописныя сооруженія на обитателя Соединенныхъ-Штатовъ, привыкшаго къ болѣе современной, заурядной и грубой архитектурѣ своей родной страны.

Но удивленіе, которое чувствуетъ американецъ при видѣ того, что такія древности еще могли уцѣлѣть, скоро проходитъ, и онъ довольно быстро примѣняется къ обще-англійскому строю и воззрѣніямъ.

Аббатство Маундрелъ стоитъ посреди большого лѣсистаго и возвышеннаго пространства, занимающаго шесть квадратныхъ миль. Волнообразнымъ склономъ спускается оно къ главному въѣзду зȧмка, по ту сторону котораго разбросано нѣсколько мызъ и отдѣльныхъ лѣсочковъ, какъ это бываетъ бо̀льшею частію въ Англіи. Недалеко отъ самаго „Аббатства“, на крутомъ, но невысокомъ пригоркѣ стоитъ часовня и при ней кладбище. По дорогѣ къ своему новому жилищу, Ли съ жаднымъ любопытствомъ смотрѣла по сторонамъ, чтобы не пропустить ни одного лѣсочка, ни одной полоски воды, сверкавшей межъ деревъ, у подножія сѣдыхъ стѣнъ уединенныхъ зȧмковъ и развалинъ. Въ эти минуты, Ли даже не думала о своемъ мужѣ и

мысленно возстановляла картину, при помощи которой Тини хотѣла подготовить ее къ особенностямъ англійской жизни.

— Помни,—говорила она,—что тебя можетъ озадачить холодный пріемъ, но приготовься къ нему, и не приписывай его безучастной холодности: англичане, вообще, не обладаютъ даромъ радушнаго гостепріимства, и на первый взглядъ, повидимому, онъ совсѣмъ въ нихъ отсутствуетъ.

И въ самомъ дѣлѣ, въѣзжая подъ мрачный сводъ, огороженный колоннами, молодые не встрѣтили никого, кромѣ двухъ лакеевъ.

— Развѣ ни матери, ни отца дома нѣтъ?—спросила съ удивленіемъ Ли.

— Отецъ, вѣроятно, на прогулкѣ; а Эмми имѣетъ привычку въ это время отдыхать,—равнодушно отозвался Сесиль.—Мы пройдемъ прямо на мою половину; а если тебѣ тамъ не понравится,—можешь выбрать себѣ какое угодно другое помѣщеніе.

Поднявшись вверхъ по гигантской каменной лѣстницѣ, новобрачные прошли вдоль по пяти длиннымъ корридорамъ съ безчисленнымъ множествомъ окошекъ, и Ли всю дорогу думала, что назадъ она одна бы не дошла—до того долгимъ и запутаннымъ показался ей путь отъ входа и до башни, въ концѣ праваго крыла зàмка Маундрелъ. Наконецъ, пройдя подъ низкимъ сводомъ у подножія витой лѣстницы, они поднялись наверхъ и очутились въ комнатѣ, очень просто обставленной.

— Ну, вотъ мы и пришли!—объявилъ Сесиль.

— Хорошо! Я рада отдохнуть. Но нельзя ли пройти сюда короче? Если нѣтъ, мнѣ придется всегда гулять только по комнатамъ.

— Внизу башни есть выходъ наружу. Но погоди—черезъ годъ ты будешь прекрасный ходокъ. Всѣ вы, калифорнійцы, лѣнивы на подъемъ, — прибавилъ Сесиль, открывая дверь въ большую комнату, которая служила ему спальней и выходила другой дверью въ уборную. Вся эта обстановка не понравилась Ли, привыкшей къ удобствамъ и къ роскоши; но видъ изъ оконъ примирилъ ее.

— Какъ тебѣ кажется? Пріятно тебѣ будетъ здѣсь?—спрашивалъ ее мужъ тревожно. — Въ твоемъ распоряженіи сколько угодно другихъ комнатъ, но лично я съ дѣтства добивался, чтобы мнѣ отдали эту башню, потому что въ ней когда-то два дня скрывался король Карлъ II; теперь же я люблю ее еще и потому, что она отстоитъ такъ далеко отъ шумныхъ сборищъ Эмми.

— О, я увѣрена что тоже полюблю ее! Мнѣ нравится, что я могу быть здѣсь совсѣмъ одна съ тобой. Только позволь мнѣ тутъ все поуютнѣе устроить, а не то я буду чувствовать себя какъ въ кельѣ.

— Дѣлай, что̀ хочешь; а если ужъ надежды на лучшее не будетъ,—можешь выбрать себѣ другое помѣщеніе. Твоя дѣвушка можетъ спать въ сосѣдней комнатѣ; надо только провести колокольчикъ... Ахъ, уже пять часовъ! Ну, я пойду поищу отца; ты отдохни пока, а я прикажу, чтобы тебя разбудили во̀-время къ обѣду.

— Нѣтъ, ужъ, ради Бога, ты самъ вернись за мной: безъ тебя я боюсь пошевелиться!

Сесиль ласково ущипнулъ ее за̀ щеку, поцѣловалъ и ушелъ. Служанка, которую онъ къ ней прислалъ, явилась съ чайнымъ приборомъ и, спросивъ ключи, принялась такъ ловко разбирать и раскладывать вещи своей молодой хозяйки, что послѣдняя облегченно вздохнула, радуясь, что ей не придется брать на себя трудъ думать о тысячѣ будничныхъ мелочей, которыя ее утомляли и сердили. Свое физическое благосостояніе Ли весьма цѣнила.

Между тѣмъ, дѣвушка вынула изъ багажа капотъ и перетащила сундуки и чемоданы въ уборную.

— Угодно вамъ будетъ снять платье и отдохнуть немного?— спросила она, вернувшись, и Ли, впервые услышавъ, что ее назвали торжественнымъ титуломъ „ladyship“, такъ и встрепенулась, почувствовавъ, что и она сама какъ бы стала теперь частью величественнаго аббатства,—нѣкогда убѣжища королей... Теперь она—у себя дома.

Впрочемъ, расположившись отдохнуть, она вдругъ почувствовала приступъ волненія и слезъ. До сихъ поръ она привыкла, чтобъ ее всѣ любили, ласкали—и послѣ хотя бы кратковременной отлучки встрѣчали радостно и предупредительно, а не съ леденящимъ равнодушіемъ, какъ въ этомъ мрачномъ, исторически-величавомъ за̀мкѣ. Здѣсь слуги, все равно, что хорошій часовой механизмъ съ недѣльнымъ заводомъ; если сама Эмми такая же,—такъ и она не больше, какъ механизмъ... быть можетъ, еще съ истерикой. Конечно, нѣтъ основанія ожидать нѣжныхъ чувствъ отъ женщины, которая не захотѣла измѣнить заведенному порядку, чтобы встрѣтить, послѣ двухлѣтняго отсутствія, своего единственнаго любимца-пасынка, который привезъ съ собою, вдобавокъ, молодую жену.

„Все равно,—думала Ли, свертываясь клубочкомъ, въ надеждѣ

задремать.—Все равно, съумѣю за себя постоять,—хоть и то утѣшеніе! Благодаря Бога, я всю жизнь была пріучена смотрѣть на себя, какъ на лицо не послѣдней важности, и, на придачу, я богата! Вотъ было бы трагично, еслибъ я была робкая и нервная, забитая и бѣдная безприданница!

За дверью послышались легкіе шаги и пріятный шелестъ шолковаго платья. Въ одинъ мигъ Ли очутилась передъ зеркаломъ. Ничего!—румянецъ на щекахъ и глаза ясные, неутомленные; бѣлый капотикъ, отдѣланный голубымъ бархатомъ, достаточно оттѣняетъ цвѣтъ лица;—словомъ, нѣчего бояться придирчивыхъ женскихъ взглядовъ.

— Можно войти?—окликнула ее лэди Барнстэплъ, и въ то же мгновеніе распахнула дверь, не выжидая отвѣта.—Ну, какъ ваше здоровье? Вы отлично свѣжи и цвѣтущи—и какой стройный ростъ! Я такъ и думала, что вы въ капотѣ,—потому только и не послала васъ просить къ себѣ. Лежите, лежите, а я вотъ тутъ присяду. Боже! Да эти стулья набиты кирпичомъ!.. — восклицала маленькая, полная особа съ красивымъ, но уже расплывшимся книзу станомъ. Лицо ея, съ довольно-тонкими чертами, было очень мило подрисовано, а на черномъ „вечернемъ“ платьѣ красовались розовые банты. Голосъ у „Эмми“ былъ отрывистый и грубый, но она уже настолько усвоила себѣ манеру говорить и держаться какъ настоящая англичанка, что теперь ея стремленіе казаться развязной по-американски выходило даже напускнымъ, неестественнымъ. Глаза ея, при входѣ въ комнату, блуждали неопредѣленно, какъ у ребенка, но постепенно принимали возбужденное выраженіе, обычное для женщинъ раздражительныхъ и привыкшихъ властвовать.

Ли была утомлена дорогой, но инстинктъ по неволѣ заставилъ ее насторожиться, и она даже привстала на кровати.

— Конечно, вы не останетесь жить въ этой ямѣ! За все это время Сесиль писалъ мнѣ только разъ, да и то просилъ, чтобъ я оставила ему его прежнія комнаты,—то-есть, эту самую башню. Конечно, я не знаю вашихъ вкусовъ; но *мнѣ* необходимо больше воздуха, больше всякихъ пушистыхъ, пестрыхъ, красивыхъ вещицъ вокругъ; больше свѣта... впрочемъ,—не иначе, какъ сквозь розовыя занавѣски. . У васъ чудный цвѣтъ лица; и у меня когда-то былъ такой же... Конечно, какъ и всѣ молодыя жены, вы страстно влюблены въ своего мужа... А жаль, что вы не принесли Сесилю въ приданое нѣсколькихъ милліоновъ: ему трудно будетъ нести расходы; вѣдь ваше житье въ городѣ возьметъ все, до послѣдняго гроша. А если вамъ не хва-

тить средствъ поддерживать „Аббатство“, я, кажется, въ гробу перевернусь: оно—моя любовь,—единственная въ мірѣ!

Глаза ея блуждали по комнатѣ; впрочемъ, и Ли умѣла смотрѣть строго.

— О, въ сущности, это не важно!—поправилась Эмми.—Я не хотѣла сказать ничего обиднаго, но насчетъ „Аббатства“ я всегда была особенно чувствительна, а во всемъ остальномъ, вы увидите, я всегда мила и любезна. Ну, разсказывайте про свои наряды! Еслибъ вы мнѣ выслали заблаговременно подкладку, я могла бы заказать вамъ здѣсь все, что̀ угодно.

— У меня все уже сдѣлано въ Нью-Іоркѣ и, я думаю, подойдетъ къ здѣшнимъ требованіямъ.

— О, конечно! Нью-Іоркъ можетъ вполнѣ сравняться съ Парижемъ. А украшеній у васъ много?

— Сравнительно съ выставкой на окнахъ въ Нью-Іоркѣ и на самихъ англичанкахъ,—чрезвычайно мало!

— Да; мы любимъ увѣшивать себя золотомъ и камнями,—любезно согласилась лэди Барнстэплъ.—Но если въ васъ мало блеска, васъ не замѣтятъ,—таково наше общество. Пока я жива, фамильныя драгоцѣнности Барнстэпловъ, конечно, мои; но я могу дать вамъ поносить. Свои я продала, но сперва отдала ихъ поддѣлать. Если хотите, можете пользоваться ими; но вы еще такъ недавно „оттуда“, что, вѣроятно, съ презрѣніемъ относитесь къ поддѣлкамъ?

— Это даже моя обязанность.

— Ну, современемъ вы отстанете отъ нея! У насъ носятъ все поддѣльное.

— Вы довольно откровенны.

— По привычкѣ. У насъ здѣсь каждый, не стѣсняясь, кричитъ обо всемъ, что̀ знаетъ; мы даже за столомъ ведемъ такіе разговоры, которые считались бы неудобными—ну, напримѣръ, хоть въ Чикаго; а что касается вашего крошечнаго Санъ-Франциско, такъ онъ представляетъ полнѣйшее сходство съ нашимъ среднимъ классомъ.

— Но, можетъ быть, вы не огорчитесь, если я скажу, что вы, конечно, выѣхали бы насъ встрѣтить, еслибъ я привезла съ собою милліоны?

— Нѣтъ, все равно, я не поѣхала бы никуда такъ рано! У меня привычка спать отъ четырехъ до пяти, и чай я пью отдѣльно.

— Мы не встрѣтили даже никакихъ изъявленій радости.

— Все это было бы, конечно! Но теперь намъ нужны только деньги, деньги и деньги!.. Пусть это васъ не удивляетъ...

— О, нисколько: я спросила просто такъ, — изъ любопытства.

— Впрочемъ, женщинѣ молодой и красивой нельзя быть раздражительной: это было бы слишкомъ глупо! Вы, милочка моя, вѣроятно, находите, что я суха? Но я могу быть иногда мила необычайно; только сегодня я въ такомъ уже настроеніи, что вы меня сочли навѣрное сущимъ дьяволомъ. Я и сама себѣ противна, вѣрьте мнѣ, но что̀ же дѣлать? Никакого повода къ тому нѣтъ, а такъ меня и тянетъ чуть не выцарапать кому-нибудь глаза. И тѣмъ не менѣе, вы себѣ даже представить не можете, до чего здѣсь я—популярна!

Ли про себя сердилась и негодовала, а подъ-конецъ начала чувствовать лишь пренебреженіе и жалость. „Неужели это—типъ американки, къ которой привиты жизнь и привычки англичанъ?“—подумала она, и спросила: есть ли кромѣ нея еще американцы въ аббатствѣ Маундрелъ?

Улыбка лэди Маундрелъ согнала съ лица ея послѣдніе слѣды молодости.

— Ни съ кѣмъ изъ американцевъ, кромѣ васъ и лэди Арромаунтъ, я не знаюсь, да и знаться не желаю. Я обожаю англичанъ и ненавижу американцевъ—особенно здѣшнихъ. Три года я съ ними воевала, и должна была сдаться, потому что у меня — нѣтъ денегъ, чтобы *ихъ* одолѣть... Вотъ потому мнѣ жаль, что Сесиль женился не на милліонахъ. Съ богатой и красивой... Ахъ! Вотъ ваша служанка; пойду и я къ себѣ. Пари держу, что завтра же вы совсѣмъ сойдетесь со мной!

Съ англ. А. Б—г.

ВСЕМІРНАЯ ВЫСТАВКА ВЪ ПАРИЖѢ

1900-го года.

Письмо второе *).

I.

Выставка открылась *оффиціально* въ назначенный срокъ, 14-го (1-го) апрѣля, потому именно, что этотъ день былъ давно заранѣе выбранъ уставомъ выставки, утвержденнымъ 4-го августа 1894 года. Отложить было невозможно, хотя бы, можетъ быть, и слѣдовало, такъ какъ на самомъ дѣлѣ она еще далеко не готова, и, говоря правду, открыли только зданія—на двѣ-трети пустыя. Тѣмъ не менѣе, на другой же день — въ день западно-европейской Пасхи — стали пускать публику по билетамъ. Интересно, можетъ быть, отмѣтить, что въ первомъ декретѣ объ устройствѣ нынѣшней выставки, отъ 13-го іюля 1892 года, подписанномъ еще покойнымъ президентомъ Карнò, значится въ первой и единственной его статьѣ, что „всемірная выставка... откроется въ Парижѣ 5-го мая 1900 года и закроется 31-го октября того же года". Только два года спустя, сообразили, что въ 1900 году Пасха будетъ довольно поздняя, и, въ виду громадныхъ затратъ на устройство этой колоссальной международной ярмарки, не безполезно будетъ, для доходовъ, воспользоваться необыкновеннымъ наплывомъ публики, привлеченной новизною, во время праздничныхъ дней. И въ декретѣ, отъ 4-го августа 1894 г., день открытія выставки перенесенъ на 15-е апрѣля (для публики)—въ самый день Пасхи. Если принять въ разсчетъ, что это уже судьба каждой выставки—не быть готовой въ день ея открытія; что всегда первыя двѣ недѣли уходятъ на закан-

*) См. выше: апр., стр. 781.

чиваніе работъ,—то эта выставка, хотя въ день открытія и была нѣсколько менѣе готова, чѣмъ въ 1889 году, все-таки, будетъ вполнѣ окончена гораздо раньше — на цѣлый мѣсяцъ, чѣмъ всѣ предшествующія выставки, которыя открывались между 1-мъ и 6-мъ мая и никогда не были готовы къ сроку. Въ 1878 году выставка открылась 1-го мая въ едва законченномъ тогда дворцѣ Трокадерò. Дворецъ былъ совершенно пустъ, паркъ не былъ разведенъ, и весь склонъ трокадерскаго холма въ день открытія былъ покрытъ такой непроходимой грязью,—день къ тому же былъ дождливый,—что кортежу отъ Трокадеро до Марсова-Поля пришлось идти по проложеннымъ доскамъ. И выставка была окончена только черезъ мѣсяцъ. Правда, ее тогда выстроили менѣе чѣмъ въ два года.

Очень интересно было слѣдить за работами на выставкѣ въ послѣднія двѣ недѣли. Сказать, что работа двигалась гигантскими шагами—мало. За эти двѣ недѣли было сдѣлано больше, чѣмъ за предшествовавшіе четыре мѣсяца. За три дня до открытія залъ, гдѣ торжество открытія происходило, — la Salle des fêtes—еще весь былъ запруженъ громадными лѣсами, которые стали только разбирать за два дня до открытія. Ихъ разбирали и днемъ, и ночью; наканунѣ залъ еще не былъ очищенъ вполнѣ отъ лѣсовъ, а особенно отъ пыли и грязи на каменномъ полу. А на другой день, къ десяти часамъ, онъ былъ готовъ... правда, только поверхностно, какъ разъ для открытія. Но послѣ церемоніи всѣ драпировки сняли, и теперь его додѣлываютъ.

Чтò сдѣлано было въ одну ночь на 14-ое—рѣшительно сказочно. Наканунѣ, въ шесть часовъ вечера, на Елисейскихъ-Поляхъ, на Эспланадѣ Инвалидовъ и на Марсовомъ-Полѣ, еще былъ непроходимый хаосъ—кругомъ дворцовъ и на всемъ пути, по которому на другой день, по заранѣе установленному церемоніалу, долженъ былъ слѣдовать кортежъ, были только ухабы, рытвины и глубокія ямы; а на другой день утромъ, точно по желанію какой-то сказочной волшебницы, земля была выровнена, вездѣ чистыя, усыпанныя мелкими камешками, дороги; садики подчищены, вездѣ свѣжая зелень, роскошные цвѣтники, покрытые сплошными массами разноцвѣтныхъ гіацинтовъ и тюльпановъ.

Раннее открытіе невполнѣ готовой выставки имѣетъ и нѣкоторыя преимущества. Оно даетъ поводъ къ цѣлому ряду частныхъ открытій разныхъ отдѣловъ, можетъ быть—поочередно въ отдѣлѣ каждаго народа. Тогда „открытія“ выставки будутъ выставкой „открытій“, ибо, несомнѣнно, каждый народъ откроетъ по-своему. Такъ, недавно, 16-го (3-го) апрѣля, открыли торжественно русскій отдѣлъ. Пріѣзжалъ на открытіе президентъ республики; ему вручили знаменитую карту

Франціи изъ разноцвѣтныхъ камней. Затѣмъ, по отъѣздѣ президента, уже по чисто русскому обычаю, состоялся молебенъ со „словомъ“ священника; освятили всѣ покои, всѣ залы. А потомъ, по тому же хорошему русскому обычаю, все—и всѣхъ—оросили шампанскимъ; по тому же обычаю плотно закусили, пошумѣли, поднимали на ура, кричали при этомъ такъ, что крики слышны были на версту кругомъ. Потомъ... тѣ, у кого желудки успѣли офранцузиться, прихворнули. Тѣмъ торжество пока кончилось. Очевидно, примѣръ хорошій, и если ему послѣдуютъ другіе народы, представленные на выставкѣ, то будетъ весьма интересно наблюдать, какъ каждый изъ никъ „открываетъ“... выставку. Французы, напр., уже такъ откроютъ, какъ русскіе неспособны.

Скоро, черезъ недѣлю, послѣдуетъ открытіе новыхъ дворцовъ въ Елисейскихъ-Поляхъ, будетъ „вернисcажъ“ [1]), т.-е. открытіе отдѣла изящныхъ искусствъ въ Большомъ дворцѣ.

Публика въ дни Пасхи понеслась на выставку громадной толпой. Въ первый же день вошло около 250.000 народу. Понемногу, однако, охота гулять по пустымъ заламъ, таскаться по грязи и пыли между вагонами, телѣгами, ящиками и т. п. притупилась, и въ послѣдніе дни „входы“ значительно понизились—среднимъ числомъ, около 100.000; изъ нихъ только половина—платные. Но когда все будетъ готово—успѣхъ ожидаютъ неслыханный.

II.

Теперь, когда наружные фасады дворцовъ, выстроенныхъ на Елисейскихъ-Поляхъ, очищены отъ лѣсовъ, когда вся площадь между дворцами, новый бульваръ Avenue Nicolas II, мостъ и Эспланада расчищены, убраны и приняли свой настоящій—покамѣстъ *выставочный*—видъ, можно себѣ отдать отчетъ, какую новую, по истинѣ художественную красоту этотъ новый бульваръ съ дворцами, мостомъ, и особенно съ видомъ на Домъ Инвалидовъ, составляетъ для Парижа уже и безъ того самаго богатаго красивыми площадями, со вкусомъ убраннаго изъ всѣхъ столицъ міра памятниками искусства, садами и парками.

[1]) Вернисcажъ—vernissage—значитъ покрываніе лакомъ. Въ былое время, лѣтъ сорокъ тому назадъ, наканунѣ открытія ежегодной художественной выставки—Салона, живописцы покрывали свои картины лакомъ, и избранную публику приглашали особыми письмами на эту операцію. Отсюда и слово: vernissage. Мало-по-малу vernissage превратился въ своего рода модное празднество; никто картинъ лакомъ не покрываетъ,—это, собственно, открытіе выставки, на которое публика пускается за высокую цѣну—обыкновенно за 20 франковъ.

Малый дворецъ—le Petit palais—ближайшій къ площади Согласія, на лѣвой сторонѣ названнаго бульвара—если смотрѣть на „Домъ Инвалидовъ"—„Малый" только относительно: онъ только гораздо меньше того, что на противоположной сторонѣ бульвара. Самъ же по себѣ онъ весьма почтенныхъ размѣровъ—онъ покрываетъ, приблизительно, 1.700 кв. саженей и построенъ совершенно правильной трапеціей кругомъ внутренняго, очень изящнаго дворика. Дворецъ возвышается на цоколѣ вышиной полторы сажени, и главный фасадъ—одна изъ параллельныхъ сторонъ трапеціи — въ 129 метровъ—на новомъ бульварѣ представляетъ длинную колоннаду въ іоническомъ стилѣ, которая въ срединѣ прерывается выступающей впередъ полукруглой аркой надъ главнымъ крыльцомъ. Крыльцо въ 22 ступени ведетъ—подъ этой скромно, но изящно орнаментированной аркой—ко главному входу, который запирается большой, двустворчатой стеклянной дверью, покрытой рѣшеткой изъ кованнаго желѣза. Полукруглый фронтонъ надъ дверью занятъ обширной скульптурной композиціей съ горельефными фигурами извѣстнаго теперь скульптора Энжальбера. По мнѣнію всѣхъ художниковъ, этотъ фронтонъ—совершенно въ жанрѣ Микель-Анджело—одно изъ лучшихъ произведеній Энжальбера и лучшій орнаментъ между всѣми, украшающими въ такомъ множествѣ оба дворца. Сводъ арки надъ крыльцомъ опирается на шесть колоннъ — три съ каждой стороны—такого же стиля, какъ и вся колоннада. Между колоннами съ обѣихъ сторонъ параднаго входа, надъ длинными, идущими отъ пола, полукруглыми вверху окнами, едва отдѣленными отъ колоннъ, проходитъ горельефный фризъ. Надъ колоннами—балюстрада, съ разставленными черезъ правильные промежутки вазами, скрываетъ отъ глазъ крышу; а надъ параднымъ входомъ—черный орнаментированный куполъ. Двѣ большія скульптурныя группы съ обѣихъ сторонъ свода, надъ дверью, и двѣ другія внизу, съ обѣихъ сторонъ крыльца, дополняютъ украшенія фасада. По краямъ фасада два круглые угловые павильона—каждый съ тремя смежными окнами въ выпуклой части—соединяютъ главный фасадъ съ боковыми сторонами зданія. Послѣднія продолжаютъ его общій стиль. Тѣ же высокія окна, которыхъ верхніе своды опираются на двѣ болѣе скромныя іоническія колонны, а между окнами—ниши для будущихъ статуй разныхъ знаменитостей. Пока онѣ пусты.

Внутренній дворикъ представляетъ очень кокетливый садикъ съ тремя, полукругомъ расположенными, фонтанами, со статуями. Онъ окаймленъ полукруглой колоннадой, образованной изъ аркъ, опирающихся на попарно разставленныя іоническія колонны; за колоннадой портикъ, а за портикомъ—три галереи, соотвѣтствующія тремъ нефасаднымъ сторонамъ дворца.

Въ общемъ, Малый дворецъ производитъ впечатлѣніе цѣльно-художественной, спокойной, во всѣхъ частяхъ выдержанной гармоніи, весьма пріятно ласкающей глазъ.

Когда, въ 1896 году, устроенъ былъ конкурсъ на постройку двухъ дворцовъ на Елисейскихъ-Поляхъ, проектъ, нынѣ исполненный, Малаго дворца сразу встрѣтилъ всеобщее одобреніе.

Большой дворецъ со стороны новаго бульвара поражаетъ своей величественной колоннадой въ іоническомъ стилѣ, съ колоннами, гораздо болѣе орнаментированной, чѣмъ въ Маломъ дворцѣ. Колоннада, какъ и весь дворецъ, построена на цоколѣ въ одинъ небольшой этажъ, и за колоннадой, въ отличіе отъ Малаго дворца, тянется длинная и довольно широкая открытая галерея—обширный портикъ,—котораго внутренняя стѣна украшена мозаичнымъ фризомъ и роскошными скульптурными орнаментами; они окружаютъ отдѣльныя мозаичныя панно, даже въ черезчуръ большомъ множествѣ. Весь фасадъ на бульварѣ занимаетъ 110 саженъ длины, а длина колоннады—около 95 саженъ. Въ серединѣ колоннада прерывается парадньмъ входомъ, выступающимъ нѣсколько впередъ, въ видѣ обширнаго перистиля съ тремя дверьми, ведущими внутрь. Весь дворецъ построенъ въ видѣ неправильной буквы Н, представляя двѣ параллельныя, но разной длины главныя части—одну болѣе длинную, вдоль новаго бульвара, другую—съ фасадомъ на Avenue d'Antin,—соединенныя поперечными галереями. Громадный нэфъ—въ 100 саженей длины и 22 (45 метр.) ширины—занимаетъ всю внутренность длиннѣйшей части дворца. Этотъ нэфъ въ серединѣ пересѣкается другимъ, ему перпендикулярнымъ, захватывающимъ часть поперечной галереи. Получается внутри одинъ обширный крестообразный нэфъ, покрытый сводообразной стеклянной крышей, а надъ срединой креста поднимается какой-то совершенно необъятный стеклянный куполъ. Нэфъ этотъ главнымъ образомъ предназначенъ для скачекъ, извѣстныхъ въ Парижѣ подъ именемъ „Concours hippique", гдѣ нѣтъ жокеевъ, а скачутъ лошади, неся своихъ собственниковъ, большею частью военныхъ. Снаружи, особенно съ нѣкотораго разстоянія, напр. съ крыльца Малаго дворца, эта необыкновенныхъ размѣровъ стеклянная крыша образуетъ необъятный стеклянный полу-цилиндрическій сводъ, съ куполомъ въ срединѣ, который совершенно подавляетъ весь каменный фасадъ. Это—одинъ изъ крупныхъ промаховъ въ постройкѣ новаго дворца. Со стороны Avenue d'Antin, фасадъ также образуетъ колоннаду, съ открытой галереей, но она начинается гораздо выше, какъ въ Луврѣ, и непрерывна, потому, что онъ надъ нижнимъ входомъ. Надъ колоннадой—фронтонъ украшенный двумя длинными фаянсовыми фризами съ горельефными фигурами. Эти фризы сдѣланы на знаменитой севрской фарфоровой фаб-

рикѣ (Manufacture de Sèvres). Между фризами—большая мраморная плита, на которой значится: „Этотъ памятникъ посвященъ республикой славѣ французскаго искусства".

Мостъ Александра III-го—самый богатый и самый роскошный въ Парижѣ и, вѣроятно, одинъ изъ самыхъ изящныхъ въ мірѣ. Онъ построенъ въ одинъ пролетъ изъ 15 параллельныхъ аркъ, идущихъ отъ одного берега Сены до другого. Чтобы выпуклость моста не скрывала перспективы „Дома Инвалидовъ" со стороны Елисейскихъ-Полей, высота стрѣлы подъема—наименьшая изъ допускаемыхъ: другими словами, разстояніе вершины дуги отъ хорды, протянутой между концами арки — наименьшая. Такъ что мостовая на мосту почти совершенно плоская. Въ этомъ—весь, такъ сказать, инженерный интересъ въ постройкѣ моста.

Но для красоты Парижа главный интересъ—въ томъ художественномъ элементѣ, который мостъ вноситъ въ группу, состоящую изъ двухъ дворцовъ и „Дома Инвалидовъ"; ихъ совокупность, вмѣстѣ съ новымъ бульваромъ и Эспланадой, должна составить одно гармоническое цѣлое. Въ этомъ отношеніи украшенія и размѣры моста вполнѣ соотвѣтствуютъ его назначенію. Шириной въ сорокъ метровъ (20 саж.)—двадцать на мостовую и по десяти на каждый троттуаръ — онъ поддерживаетъ то впечатлѣніе легкости, удобства, свободнаго пространства, обилія воздуха, которое уже даетъ обширная площадь между двумя дворцами. У входа на мостъ съ обоихъ концовъ и по двумъ его сторонамъ, стоятъ два четырехугольные столба (пилона) изъ сѣраго гранита, вышиной въ четыре этажа. Каждый столбъ стоитъ на цоколѣ вышиной въ этажъ, и углы каждаго столба во всю длину какъ бы врѣзаны въ четыре іоническія колонны. Колонны поддерживаютъ карнизъ, съ четырехугольной площадкой наверху, на которой стоитъ крылатый позолоченный конь. Онъ какъ бы устремляется впередъ, но его удерживаетъ за узду миѳологическая человѣческая фигура, также позолоченная. На пьедесталѣ, слитомъ съ цоколемъ столба и выступающемъ впередъ въ сторону противоположную рѣкѣ, прислонившись спиной къ столбу, сидитъ каменная женская фигура, изображающая Францію въ одну изъ главныхъ эпохъ ея исторіи: со стороны Елисейскихъ-Полей одна фигура изображаетъ средневѣковую Францію, а другая—современную. Со стороны Эспланады—одна изображаетъ Францію изъ эпохи „ренессансъ", а другая—временъ Лудовика XIV-го. Нѣсколько въ сторонѣ отъ каждаго столба, на большомъ пьедесталѣ стоитъ большой каменный левъ, котораго ведетъ ребенокъ; рядомъ со львомъ, нѣсколько ближе къ рѣкѣ, на меньшемъ пьедесталѣ стоитъ красивая мраморная ваза. Оба пьедестала служатъ устоями для перилъ лѣстницы, спускающейся къ берегу рѣки, такъ что левъ и ваза

какъ бы украшаютъ начало этой лѣстницы. Бронзовыя перила моста поддерживаются каменными стойками. На всемъ протяженіи перилъ разставлены бронзовыя канделябры, а позади каждаго столба на перила поставлены очень изящныя бронзовыя группы младенцевъ. Со стороны рѣки, къ периламъ въ срединѣ моста прикрѣплены: внизъ по рѣкѣ—группа двухъ женскихъ фигуръ—„Нева и Сена", которыя въ очень художественной позѣ поддерживаютъ щитъ; вверхъ по рѣкѣ будетъ тоже какая-то аллегорія, но она еще не готова.

Съ Елисейскихъ-Полей, по оси новаго бульвара, получается теперь зрѣлище необыкновенно величественное: съ широкаго зеленаго бульвара, съ двумя колонадами новыхъ дворцовъ по обѣимъ сторонамъ, взоръ невольно направляется четырьмя столбами, съ ихъ золотыми крылатыми конями, къ фону, откуда спокойно, величаво, и какъ бы царя надъ всѣмъ этимъ, выступаетъ золотой куполъ „Дома Инвалидовъ". Ничего нельзя было придумать величественнѣе этого фона, и онъ дѣйствительно—самое, что̀ есть, красивое и пріятное для глаза во всей этой художественной совокупности. Столбы моста какъ бы разставлены для того именно, чтобы взоръ не терялся, не разбрасывался, чтобы направить его прямо къ самому, что̀ тутъ есть, великолѣпному. Видъ этотъ послѣ выставки будетъ еще болѣе величественный, болѣе, вѣроятно, строгій, когда передъ глазами на фонѣ будетъ весь „Домъ Инвалидовъ". Теперь же со стороны Елисейскихъ-Полей вамъ кажется, что тамъ, на Эспланадѣ, что-то наставлено, какія-то сахарныя кондитерскія произведенія, съ которыми сливаются самые отдаленные столбы, украшающіе мостъ. Излишне прибавлять, что для выставки лучшаго „гвоздя" и быть не могло. Въ виду этого „гвоздя", знаменитая Эйфелева башня становится еще безобразнѣе.

Зато „Монументальныя врата"—„la Porte Monumentale"—полное фіаско. Представьте себѣ громадный треножникъ вышиной въ 15 саженъ, увѣнчанный большимъ плоскимъ куполомъ,—треножникъ, въ которомъ ноги растопырены такъ, что образуютъ между собою арки,—весь изъ гипса, выкрашенный частями въ цвѣтъ бирюзы, стоящій на громадной, очень красивой площади, совершенно отдѣльно, вродѣ какого-то страннаго кондитерскаго произведенія на громадномъ подносѣ,—и у васъ будетъ совершенно достаточное представленіе о знаменитыхъ „Монументальныхъ вратахъ", надъ которой весь Парижъ хохочетъ. Нужно еще сказать, что весь треножникъ—въ какомъ-то восточномъ вкусѣ; что на одну изъ арокъ, очень разукрашенную разной майоликой и обращенную въ сторону площади Согласія, поставили пьедесталъ, кончающійся шаромъ, а на шаръ—женскую фигуру, изображающую яко-бы современную парижанку въ бальномъ платьѣ, съ широкой бальной накидкой поверхъ платья. Эта фигура, и безъ того уже

неграціозная—далеко не парижанка,—на этомъ восточномъ треножникѣ являетъ нѣчто совсѣмъ невозможное. За четыре дня до открытія выставки, въ газетахъ пропечатали, что рѣшено фигуру эту снять, и что это „снятіе" состоится на другой же день. Понятно, что „парижанка", о которой до тѣхъ поръ никто не думалъ, сразу привлекла массу народа, стоявшаго на другой день передъ „Монументальными вратами", уставивъ глаза вверхъ, на „парижанку". Главное—всѣ хотѣли присутствовать при „снятіи парижанки". Начали-было уже устроивать лѣса, но потомъ ихъ разобрали. Рѣшено было парижанку оставить на мѣстѣ, вѣроятно, сообразивъ, что ужъ если убирать, то слѣдовало бы убрать самыя врата; а разъ они остаются, то можно оставить и парижанку. Въ газетахъ нѣсколько дней была даже отдѣльная рубрика: „Вопросъ о парижанкѣ"—„La question de la Parisienne". Съ тѣхъ поръ—еще и теперь—передъ вратами постоянно стоитъ небольшая толпа, которая разсматриваетъ эту парижанку. Для скульптора—автора парижанки — реклама получилась необыкновенная. Врата эти, дѣйствительно, ни для чего не служатъ; они не служатъ входомъ ни въ какой дворецъ. Отъ нихъ до перваго—Малаго дворца, саженъ двѣсти, и это пространство занято прекраснымъ садомъ, составляющимъ часть выставки садоводства. Когда располагаютъ такимъ великолѣпіемъ, какъ площадь Согласія, никакихъ монументальныхъ вратъ не нужно; достаточно устроить красивую рѣшетку, какъ это и сдѣлано было со стороны Елисейскихъ-Полей.

III.

Сообщенія между главными частями выставки обезпечены электрической желѣзной дорогой—нынѣ уже довольно обыденнымъ способомъ сообщенія—и подвижной платформой,—приводимой въ движеніе также электричествомъ, но составляющей все-таки новость, особенно по своимъ размѣрамъ (3 версты съ половиной), и даже одинъ изъ „гвоздей" настоящей выставки. Если посмотрѣть на планъ выставки, то легко видѣть, что пространство между Марсовымъ-Полемъ и Эспланадой Инвалидовъ представляетъ неправильный четыреугольникъ, котораго три стороны — набережная (съ сѣвера), восточный край Марсова-Поля и западный край Эспланады—въ районѣ выставки, а четвертая, южная сторона, образованная частью бульвара Avenue de la Motte Piquet,—уже внѣ выставки. По сторонамъ этого четыреугольника и проведены—почти параллельно одна другой—электрическая дорога и подвижная платформа. Послѣдняя построена вся на непрерывномъ деревянномъ мосту, поддерживаемомъ деревянными столбами и скрѣпами,

вездѣ на одномъ уровнѣ второго этажа домовъ. Сама платформа, шириной въ 4 метра, раздѣлена во всю длину на три части: одну неподвижную шириной въ 1 метръ, 10 сантим.; параллельно ей идетъ подвижная часть шириной въ 90 сантим., которая движется очень медленно—со скоростью 4 килом.—въ часъ. Эта средняя узкая полоса служитъ только для облегченія перехода отъ неподвижной части къ третьей, движущейся уже довольно скоро — 8 килом. — шириной въ 2 метра. Каждая изъ подвижныхъ частей платформы составляетъ помостъ, настланный на непрерывномъ рядѣ телѣжекъ, ѣдущихъ по рельсамъ. Чтобы слѣдить за кривизнами пути, помостъ раздѣленъ довольно частыми полукруглыми прорѣзами на большое число сочлененныхъ между собой площадокъ; выпуклый край одной легко движется въ вогнутомъ сосѣдней площадки. Такимъ образомъ, каждая подвижная часть платформы представляетъ собой, нѣкоторымъ образомъ, плоскій безконечный ремень, который вертится все въ одномъ направленіи. Само же движеніе платформы впередъ получается такимъ образомъ: подъ каждой телѣжкой, по ея срединѣ, проходитъ прикрѣпленный къ ней рельсъ, который скользитъ по вращающемуся блоку, а блокъ вмѣстѣ съ валомъ, на которомъ онъ укрѣпленъ, приводится во вращеніе динамо-машиной. Когда блокъ вращается, увлеченный динамо-машиной, его треніе объ рельсъ толкаетъ телѣжку по рельсамъ впередъ. Такія динамо-машины съ валами и блоками разставлены черезъ 24 метра вдоль прямо-линейной части платформы, и черезъ каждые 12 метровъ въ кривизнахъ. Всѣ динамо-машины приводятся въ движеніе токомъ изъ одной центральной станціи. Остается обезпечить постоянное треніе рельса объ блокъ, другими словами—постоянное и непрерывное соприкосновеніе между рельсомъ подъ телѣжкой и вращающимся блокомъ, по которому онъ скользитъ. Въ этомъ—вся новизна системы, вся оригинальность, составляющая привилегію изобрѣтателя.

Блокъ подвѣшенъ на сильныхъ пружинахъ, постоянно прижимающихъ его къ рельсу.

Разныя скорости для широкой и узкой платформы получаются при помощи двухъ блоковъ разныхъ діаметровъ и укрѣпленныхъ на одномъ и томъ же валу.

Въ извѣстныхъ мѣстахъ по неподвижной части платформы разставлены станціи, къ которымъ съ выставки ведутъ лѣстницы. Для облегченія перехода отъ неподвижнаго троттуара на медленно движующуюся платформу, и отъ этой—на болѣе скорую,—по краямъ подвижныхъ частей разставлены вертикально палки съ шаровидными наконечниками, за которые легко можно ухватиться и перейти съ одной части платформы на другую. Самую ѣзду по платформѣ приходится совершать стоя, и это—единственное неудобство; но сама ѣзда очень

пріятна; можно прогуливаться въ направленіи движенія, и такимъ образомъ ускорить самое путешествіе.

Система подвижныхъ платформъ,—только въ видѣ безконечныхъ широкихъ ремней приводимыхъ во вращеніе рядомъ вертящихся валиковъ,—примѣнена въ разныхъ частяхъ выставки въ большихъ размѣрахъ. Вездѣ рядомъ съ лѣстницей, ведущей на второй этажъ, устроенъ подвижной ремень. Достаточно стать на этотъ ремень, чтобы въѣхать на второй этажъ. Даже на платформу ведутъ такіе подвижные ремни. Всѣ вертящіеся валики, вращающіе ремни, приводятся въ движеніе при помощи электрическаго тока. Электрическая желѣзная дорога, почти вездѣ параллельная платформѣ, не нуждается въ одинаковомъ уровнѣ на всемъ протяженіи; мѣстами она нѣсколько удаляется отъ платформы, мѣстами проходитъ подъ нею, и движется въ сторону обратную. Вдоль набережной Сены платформа идетъ по теченію рѣки,—съ востока на западъ, а электрическая дорога — съ запада на востокъ [1]).

Оба эти пути сообщенія считаются—даже въ той части, гдѣ они внѣ выставки—въ районѣ ея территоріи; къ сожалѣнію, оба они—на лѣвомъ берегу Сены. Было бы гораздо полезнѣе устроить одинъ путь-платформу на лѣвомъ берегу, а другой—на правомъ.

IV.

Русскій отдѣлъ на нынѣшней выставкѣ — одинъ изъ обширныхъ. Россія участвуетъ въ 17 группахъ—во всѣхъ, кромѣ группы „Колонизаціи" (№ 17-ой).

Сверхъ того, Россіи, какъ и всѣмъ государствамъ, отведено было мѣсто для отдѣльнаго павильона, и ей дали—самое обширное; такъ что по пространству русскій павильонъ превосходитъ павильоны всѣхъ другихъ государствъ. Только построенъ онъ не на „Улицѣ народовъ" — la Rue des Nations—какъ называютъ теперь часть „Quai d'Orsay", гдѣ живописнымъ рядомъ разставлены „павильоны иностранныхъ націй", а въ паркѣ дворца Трокадеро, нѣсколько ниже его праваго крыла, съ фасадомъ на аллею, ведущую отъ Трокадеро къ Марсову-Полю. Павильонъ посвященъ исключительно окраинамъ Россіи и выставкѣ удѣльнаго ея вѣдомства.

Въ первый разъ на парижской выставкѣ—а я уже видѣлъ двѣ—русскій отдѣлъ похожъ—не такъ, какъ это было на прошлыхъ выставкахъ,—

[1]) Для стоящаго внутри описываемаго четырехугольнаго пути, электрическая дорога движется какъ стрѣлки часовъ, а платформы—въ обратную сторону.

на что-нибудь... даже очень художественное, устроенное со вкусомъ, могущее заинтересовать, и даже уже заинтересовавшее европейскую публику, парижанъ и парижанокъ, не только роскошью—глыбами малахита и ляписъ-лазури или громадными кусками парчи,—но именно присутствіемъ вкуса, художественностью расположенія предметовъ, декоративностью. Это совершенно ново и достигнуто благодаря громаднымъ усиліямъ двухъ художниковъ: архитектора Р. Ѳ. Мельцера и живописца К. А. Коровина и ихъ помощниковъ, гг. Стаборовскаго, ванъ-Нефтрика, барона Клодта и др. Г. Мельцеръ построилъ весь павильонъ въ русскомъ стилѣ, собравъ сначала элементы для своего сооруженія во всѣхъ существующихъ древне-русскихъ памятникахъ—башни и часть стѣнъ—въ Кремлѣ, однѣ сѣни и крыльцо—въ храмѣ Тайнинской Божіей Матери, декоративные изразцы въ Ярославлѣ,—и изъ всего этого скомпановалъ одно цѣлое—весьма оригинальное, въ своемъ родѣ небольшой Кремль. На большую аллею выходитъ главный—западный фасадъ зданія, представляющій главный входъ, и—нѣсколько лѣвѣе—богато орнаментированный фасадъ „Царскаго Павильона“. Главный входъ ведетъ въ большія, раскрашенныя въ русскомъ стилѣ, сѣни, откуда небольшая лѣстница проведена въ покой „Царскаго Павильона“. Это—довольно большой залъ со сводчатымъ, богато раскрашеннымъ потолкомъ, напоминающій архитектурой, мотивами рисунковъ и красками Грановитую Палату. Вся живописная часть декораціи поручена была молодому художнику, П. И. Долгову, который спеціально ѣздилъ въ Москву „вдохновляться“ мотивами русской старины. Тутъ же въ одномъ углу стоитъ печка, скопированная съ единственнаго образца, находящагося въ музеѣ поощренія искусствамъ. Въ этомъ покоѣ недавно русскій посолъ передалъ президенту республики, г. Лубэ, знаменитую карту Франціи изъ разноцвѣтныхъ камней—каждый французскій департаментъ вырѣзанъ изъ особаго цвѣта камня, а города обозначены разными драгоцѣнными каменьями.

Изъ сѣней прямо вы входите въ небольшой дворъ, и передъ вами—обширная, высокая, полукруглая вверху, дверь отдѣла Азіи. Обыкновенно эта дверь открыта, и еще изъ сѣней васъ пріятно поражаетъ на противоположной двери стѣнѣ громадное паннò г. Коровина, изображающее видъ одной площади въ Самаркандѣ. Первый залъ „Азіи“—самый обширный по своимъ размѣрамъ. Онъ очень высокъ—въ четыре свѣта, освѣщенъ сверху и убранъ съ большимъ вкусомъ. Стѣны расписаны въ восточномъ вкусѣ синими арабесками и, кромѣ большого паннò, на боковыхъ стѣнахъ—четыре другихъ очень декоративныхъ паннò, въ новѣйшемъ стилѣ, того же г. Коровина, дополняютъ художественное убранство зала. Въ серединѣ его—небольшой бассейнъ съ постоянно бьющимъ фонтаномъ. Всѣ коллекціи, привезенныя

изъ Средней Азіи, расположены со вкусомъ. На правой отъ двери стѣнѣ устроено очень декоративное паннò, во всю почти вышину стѣны, изъ разныхъ тканей,—шелковыхъ или шитыхъ серебромъ и золотомъ, оружія, красивой посуды. Тутъ же—витрина съ разными очень оригинальными драгоцѣнностями, принадлежащими лично бухарскому эмиру. Другое живописное паннò устроено на лѣвой отъ двери стѣнѣ изъ ковровъ. Вездѣ вдоль стѣнъ, на диванахъ или среди зала на подставкахъ, расположены ковры, ткани, образцы хлопка,—привезены даже кустарники съ хлопкомъ на вѣткахъ,—образчики дерева, разная домашняя утварь и т. п. И все расположено красиво. Расположеніемъ предметовъ въ этомъ залѣ руководилъ самъ г. Мельцеръ. Въ постройкѣ павильона Азіи онъ очень удачно воспользовался неровностью почвы—паркъ Трокадерò расположенъ на южномъ склонѣ довольно высокаго холма. Изъ средне-азіатскаго зала двѣ лѣстницы ведутъ внизъ—одна въ отдѣлъ нефтяного промысла г. Нобеля, другая—въ „Кавказъ"; три другія лѣстницы ведутъ на верхъ: двѣ—въ небольшіе залы, посвященные сибирской желѣзной дорогѣ; а третья—въ „Сѣверъ", весь устроенный и убранный г. Коровинымъ. По стѣнамъ развѣшаны очень интересныя, весьма живописныя паннò, изображающія виды и сцены изъ сѣверной природы. Получается полное живое впечатлѣніе сѣверной ночи, сѣверной жизни людей и животныхъ. Кругомъ этихъ паннò всѣ стѣны убраны мѣхами, разными предметами сѣвернаго быта. Тутъ на столахъ весьма художественно сгруппированы разныя этнографическія коллекціи, рельефныя изображенія нѣкоторыхъ сценъ сѣверной жизни, какъ перевозка по Бѣлому морю почты. Въ сосѣднемъ залѣ, посвященномъ Сибири, стоитъ замѣчательно богатая коллекція идоловъ и предметовъ тибетскаго культа бурятъ, принадлежащая кн. Ухтомскому. Въ залахъ сибирской желѣзной дороги, завѣдующіе, гг. Сэярскій и Ежовъ, выставили весьма интересную коллекцію картъ, видовъ дороги, рельефныхъ моделей разныхъ сооруженій, модели и снимки парового парома, служащаго для перевозки поѣздовъ по Байкалу.

Жаль только, что до сихъ поръ на многихъ предметахъ нѣтъ еще французскихъ надписей, чтò часто даетъ поводъ въ простой публикѣ къ комичнымъ вопросамъ и толкованіямъ. Такъ, клыки мамонта часто принимаются за клыки слона, и слышатся такіе разговоры: „Развѣ въ Россіи водятся слоны?" — „Конечно,—сама видишь". Или: „Я и не подозрѣвалъ, что въ Россіи водятся слоны".—„Что-жъ въ томъ, что ты не подозрѣвалъ; это—очень богатая страна: тамъ всѣ, всѣ безъ исключенія звѣри водятся, и слоны, и медвѣди, и даже обезьяны"...

Жаль также, что тутъ нѣтъ пока никого, кто бы давалъ объясненія. Слѣдовало бы устроить здѣсь въ извѣстные часы и въ извѣстные

дни чтенія о представленныхъ здѣсь окраинахъ Россіи; это было бы весьма поучительно и имѣло бы большой успѣхъ.

Наборомъ и выборомъ коллекцій для устройства выставки окраинъ завѣдывалъ сенаторъ П. П. Семеновъ. Почтенный сенаторъ—извѣстный этнографъ, и тутъ это чувствуется, такъ какъ коллекціи собраны главнымъ образомъ съ точки зрѣнія этнографіи. Этнографія, несомнѣнно, очень интересна; но слѣдовало бы обратить бо̀льшее вниманіе на производства представленныхъ странъ, показать, какую тамъ вводятъ культуру. Въ средне-азіатскомъ залѣ, напр., туркменскихъ ковровъ такъ много, что всѣ думаютъ, что въ Туркестанѣ—спеціальное производство ковровъ; а хлопокъ тутъ хоть и выставленъ, но такъ его мало, что онъ производитъ впечатлѣніе рѣдкости. Нѣтъ нигдѣ въ отдѣлѣ и признака какой-нибудь русской школы въ Средней Азіи или на „Сѣверѣ".

Въ этомъ отношеніи удѣлы поступили гораздо болѣе цѣлесообразно. Въ залѣ направо отъ двора они выставили все, что̀ они производятъ: коллекцію отрубковъ разныхъ сортовъ дерева, прекрасную коллекцію разныхъ сортовъ винограда, вина, закавказскій чай и т. д.

Сѣверная сторона „Кремлевскаго" дворика занята террасой, которая прилегаетъ къ одному яко-бы русскому ресторану—за одну небольшую чашку чаю берутъ франкъ, т.-е. почти сорокъ копѣекъ!— и на террасѣ отъ двухъ до шести часовъ совершенно невозможный духовый оркестръ. Дворикъ окруженъ со всѣхъ сторонъ довольно высокими, голыми стѣнами, сильно отражающими звукъ, и поэтому шумъ здѣсь отъ оркестра страшный,—близкаго говора не слышно. Приходится затыкать уши—или бѣжать вонъ. Тѣмъ не менѣе, оркестръ имѣетъ успѣхъ, какъ средство для привлеченія публики необычайностью шума. Французская публика его уже прозвала „la fanfare du Kremlin" — кремлевскій духовой оркестръ, и она воображаетъ, что одѣтые въ русскіе, будто бы, костюмы музыканты дѣйствительно пріѣхали изъ Россіи.

Ресторанъ же устроенъ обществомъ спальныхъ вагоновъ подъ предлогомъ панорамы сибирской дороги. Обществу на этомъ основаніи отвели большое мѣсто—широкій и длинный залъ, который тянется съ востока на западъ во всю длину отведеннаго для Россіи мѣста. Въ залъ они вкатили четыре спальныхъ вагона, передъ которыми, вдоль сѣверной стѣны, будетъ вращаться панорама сибирской дороги. Въ вагонахъ, разумѣется, будетъ сидѣть публика и завтракать, обѣдать или просто пить во время такого новаго рода „путешествія—не двигаясь мѣста".

Съ восточной стороны къ русскому павильону примыкаетъ китайскій павильонъ. Это уже исключительно почти ресторанъ съ китайской прислугой. Онъ изображаетъ яко-бы вокзалъ въ Пекинѣ—конеч-

ный пунктъ сибирской дороги—и тоже принадлежитъ обществу спальныхъ вагоновъ. Кухни подъ русскимъ ресторанолъ служатъ и для китайскаго. И вотъ какимъ образомъ, подъ предлогомъ выставки, общество спальныхъ вагоновъ владѣетъ двумя ресторанами — ничего не платя за мѣсто—въ Россіи и Китаѣ. И вотъ почему для русскаго кустарнаго отдѣла, на этотъ разъ чрезвычайно интереснаго, не оказалось достаточно мѣста.

V.

Этотъ кустарный отдѣлъ находится за панорамой сибирской дороги, въ нѣсколькихъ очень недурныхъ, въ русскомъ стилѣ выстроенныхъ, деревянныхъ домикахъ и деревянной же церкви. И домики, и церковь, расположены въ рядъ такъ, что образуютъ вмѣстѣ какъ бы улицу русской деревни. Жаль только, что улица тутъ очень узкая: разстояніе между домиками и правымъ крыломъ дворца—не больше двухъ саженей, такъ что не откуда охватить однимъ взглядомъ всѣ эти деревянныя постройки. Выстроено же тутъ все по проекту г. Коровина, который завѣдывалъ всей художественной стороной дѣла, имѣя при себѣ двухъ очень полезныхъ помощниковъ, барона Клодта и г. Дурново, и пользуясь также содѣйствіемъ одной, очень талантливой художницы, г-жи Давыдовой. И здѣсь я могу повторить, что̀ уже сказалъ разъ,—пріятно видѣть, что и въ кустарномъ отдѣлѣ позаботились о декоративности и расположили вещи съ большимъ вкусомъ. Совершенно иное этотъ кустарный отдѣлъ представлялъ собою въ 1889 году!.. Нынѣ же во всемъ тутъ чувствуется рука художника.

Весь кустарный отдѣлъ расположенъ въ нѣсколькихъ комнатахъ и состоитъ такимъ образомъ изъ цѣлаго ряда подраздѣленій. Въ первой комнатѣ расположены вещи, которыя составляютъ вмѣстѣ то, что̀ организаторы называютъ „Art nouveau"—такъ прямо по-французски и называютъ. Все, что̀ вы тутъ видите, сдѣлано крестьянами-кустарями по рисункамъ художниковъ: окна въ самомъ домикѣ, длинная скамья, табуретки, шкатулки—по рисункамъ г. Головина; ковры вышиты по рисункамъ г-жъ Давыдовой, Якунчиковой и покойной Полѣновой; изразцовая печка сдѣлана по рисунку г. Врубеля. Одна изъ завѣдующихъ отдѣломъ, г-жа Якунчикова, устроила въ тамбовской губерніи, въ своемъ имѣніи, вышивальныя мастерскія, гдѣ крестьянки и крестьяне вышиваютъ разныя вещи по рисункамъ художниковъ,—много по рисункамъ г-жи Давыдовой, тутъ же участвовавшей въ устройствѣ отдѣла и внѣшней декораціи домиковъ. Дѣло—несомнѣнно благое. Но будетъ еще лучше, если благодѣтельницы крестьянъ позаботятся не только о пріученіи крестьянокъ къ механическому копированію ри-

сунковъ, но постараются развить въ нихъ вкусъ, научивъ ихъ хоть сколько-нибудь самихъ рисовать и составлять образцы, какъ это дѣлается на Западѣ, хотя бы во Франціи; здѣсь *знаменитые*—да еще какіе!—художники и художницы не брезгаютъ положеніемъ учителей и учительницъ въ самыхъ низшихъ начальныхъ школахъ, и маленькихъ дѣвочекъ и мальчиковъ пріучаютъ, съ восьми или девяти лѣтъ, составлять декоративные рисунки.

Вотъ когда у насъ постараются устроить такую школу, хотя бы даже въ Москвѣ, и пойдутъ туда проводить два раза въ недѣлю по два часа, хотя бы и за плату, тогда... но и тогда мы скажемъ, что во Франціи это дѣлается уже тридцать лѣтъ.

За „Art-nouveau“ идетъ комната, гдѣ выставлены вещи—опять съ большимъ вкусомъ—кустарей разныхъ областей: кавказское оружіе и разныя серебряныя издѣлія, новоторжская вышитая обувь, вышивки, кружева и т. д.

Далѣе, выстроена небольшая русская лавка, съ большими, вытянутыми въ ширину, дугообразными окнами. Тутъ собраны вещи изъ домашняго обихода и разная утварь изъ сельской жизни, но все вещи дѣланныя самими крестьянами и имѣющія какой-нибудь художественный интересъ, по формѣ или по орнаментамъ: полива, любопытной формы квасники, бураки, ножи, раскрашенныя грабли и т. д.

За лавкой идетъ небольшой теремокъ—воспроизведеніе, яко бы, боярской горницы XVI-го вѣка. Можетъ быть. Во всякомъ случаѣ, выставленные здѣсь въ витринахъ древне-русскіе костюмы, шитые золотомъ,—очень интересны. Въ одной комнатѣ большой, накрытый будто бы старинной скатертью, столъ и по двумъ его сторонамъ—куклы двухъ боярышенъ въ древне-русскихъ костюмахъ: одна стоитъ, а другая сидитъ за пяльцами. Далѣе, идетъ церковь, построенная по образцу такой же церкви XVII-го столѣтія, существующей еще на сѣверѣ. Въ витринахъ выставлены работы разныхъ монастырей, состоящія изъ предметовъ культа; отмѣтимъ еще, что г. Коровинъ старается ввести въ русскіе орнаменты ель, какъ новую основу этихъ орнаментовъ. Мысль несомнѣнно интересная и достойна разработки. Но тàкъ, кàкъ она примѣнена на нѣкоторыхъ предметахъ, выставленныхъ въ отдѣлѣ „Сѣвера“ — украшенія лѣстницы — и въ кустарномъ отдѣлѣ, она даетъ орнаменты черезчуръ примитивные, грубые, въ которыхъ, при самомъ лучшемъ намѣреніи, особенной красоты не видно...

М.



ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 мая 1900.

Высочайшіе рескрипты 9-го апрѣля.—Кончина Е. И. В. Вел. Княгини Александры Петровны, въ инокиняхъ Анастасіи, 13-го апрѣля.—Вопросъ объ участковыхъ попечительствахъ въ московскомъ губернскомъ земствѣ.—Еще нѣсколько словъ объ „урегулированіи" земскихъ расходовъ. — Аномаліи дѣйствующей земской избирательной системы.—Почетные земскіе начальники.—Введеніе земскихъ начальниковъ въ юго-западномъ краѣ.

9-го апрѣля, во время пребыванія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ Москвѣ, обнародованы два Высочайшихъ рескрипта на имя московскаго генералъ-губернатора, Великаго Князя Сергія Александровича. Первый изъ нихъ гласитъ:

„Ваше Императорское Высочество. Горячее желаніе Мое и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны провести съ Дѣтьми Нашими дни Страстной недѣли, удостоиться пріобщенія Святыхъ Таинъ и встрѣтить Праздниковъ Праздникъ въ Москвѣ, среди величайшихъ народныхъ Святынь, подъ сѣнью многовѣковаго Кремля, милостію Божіею осуществилось.

„Здѣсь, гдѣ нетлѣнно почиваютъ угодившіе Богу Святители, среди гробницъ вѣнценосныхъ собирателей и строителей Земли Русской, въ колыбели Самодержавія, усиленно возносятся молитвы къ Царю царствующихъ, и тихая радость наполняетъ душу въ общеніи съ притекающими въ храмы вѣрными чадами нашей возлюбленной Церкви.

„Да услышитъ Господь эти молитвы, да подкрѣпитъ вѣрующихъ, да удержитъ колеблющихся, да возсоединитъ отторгнувшихся и да благословитъ Россійскую Державу, прочно покоящуюся на незыблемой истинѣ Православія, свято хранящаго вселенскую правду любви и мира.

„Въ молитвенномъ единеніи съ Моимъ народомъ Я почерпаю новыя силы на служеніе Россіи для ея блага и славы, и Мнѣ отрадно именно

сегодня выразить Вашему Императорскому Высочеству и чрезъ Васъ дорогой Мнѣ Москвѣ одушевляющія Меня чувства. Христосъ Воскресе!"

Содержаніе второго рескрипта слѣдующее:

„Ваше Императорское Высочество. Девять лѣтъ тому назадъ Мой Незабвенный Родитель, желая явить новое доказательство Своего неизмѣннаго благоволенія къ Первопрестольной столицѣ, призвалъ Васъ стать во главѣ ея управленія.

„Изъ года въ годъ, при каждомъ посѣщеніи Моемъ Москвы, Я убѣждаюсь въ отличномъ исполненіи Вами возложенныхъ на Васъ многотрудныхъ обязанностей, въ постоянномъ согласованіи Вашей полезной дѣятельности съ даваемыми Мною Вамъ указаніями, и въ Вашемъ неустанномъ стремленіи съ непоколебимою твердостью слѣдовать предначертаніямъ, завѣщаннымъ Блаженной памяти Императоромъ Александромъ III, священнымъ для Меня и, какъ Мнѣ хорошо извѣстно, драгоцѣннымъ для Васъ.

„Высоко цѣня Ваши заслуги, Я, въ ознаменованіе Моего особаго къ Вамъ благоволенія, препровождаю при семъ Вашему Императорскому Высочеству для ношенія на груди на Андреевской лентѣ бриліантами украшенный портретъ Мой".

Въ ночь съ 12-го на 13-е апрѣля, скончалась въ г. Кіевѣ Великая Княгиня Александра Петровна, дочь принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго и супруга Великаго Князя Николая Николаевича Старшаго. Въ состоявшемся по этому поводу Высочайшемъ манифестѣ, данномъ въ Москвѣ, 13-го апрѣля, сказано слѣдующее:

„Всемогущему Богу угодно было отозвать къ Себѣ Любезнѣйшую двоюродную Бабку Нашу Великую Княгиню Александру Петровну, въ инокиняхъ Анастасію. Почившая скончалась въ 13-й день сего апрѣля послѣ тяжкой многолѣтней болѣзни, на 62-мъ году отъ рожденія. Возвѣщая о семъ горестномъ событіи всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ, Мы пребываемъ увѣрены, что они, раздѣляя скорбь, постигшую Императорскій Домъ Нашъ, соединятъ теплыя молитвы свои съ Нашими объ упокоеніи въ Царствѣ Праведныхъ души усопшей инокини Анастасіи, въ мірѣ Великой Княгини Александры Петровны, и сохранятъ благодарную память объ Ея самоотверженныхъ трудахъ, посвященныхъ дѣламъ христіанскаго милосердія и подачи врачебной помощи неимущимъ больнымъ въ устроенной Ею въ городѣ Кіевѣ Покровской обители".

Великая Княгиня Александра Петровна посвятила болѣе сорока лѣтъ своей жизни дѣламъ благотворительности, какъ бы слѣдуя въ этомъ отношеніи примѣру своего почившаго отца, щедротамъ котораго обя-

заны своимъ существованіемъ два весьма крупныя учрежденія въ Петербургѣ, носящія его имя—больница и пріютъ. На Васильевскомъ Острову, близъ Гавани, почившая оставила по себѣ память основаніемъ Покровской общины сестеръ милосердія, гдѣ сосредоточилась цѣлая группа учебныхъ и благотворительныхъ заведеній. Въ самомъ началѣ 80-хъ годовъ она избрала своимъ мѣстопребываніемъ г. Кіевъ, гдѣ лѣтъ десять тому назадъ основала на собственныя средства Покровскій женскій монастырь, въ который вступила и сама, подъ именемъ инокини Анастасіи; этотъ монастырь, при ея жизни, служилъ также и благотворительнымъ цѣлямъ...

Между различными вопросами, касающимися устройства земскаго дѣла, нѣтъ, быть можетъ, болѣе важнаго, чѣмъ вопросъ о мѣстныхъ земскихъ òрганахъ, непосредственно близкихъ къ населенію и работающихъ, въ его средѣ и вмѣстѣ съ нимъ, надъ тѣмъ, что̀ для него всего болѣе необходимо. Самымъ нормальнымъ способомъ разрѣшенія этого вопроса было бы, конечно, созданіе мелкой земской единицы, давно поставленное на очередь и печатью, и земскими собраніями. Къ ней неизбѣжно возвращается общественная мысль въ эпохи народныхъ бѣдствій, когда съ особенною силой чувствуется ея отсутствіе и съ лихорадочною поспѣшностью дѣлаются попытки замѣнить ее, на время, кое-какъ и чѣмъ-нибудь. Несмотря на то, что во многихъ губерніяхъ самый терминъ: „всесословная волость“ возбуждаетъ недовѣріе администраціи, противодѣйствующей, прямо или черезъ предсѣдателей земскихъ собраній, обсужденію всего относящагося къ этому предмету, онъ все-таки, по временамъ, выступаетъ на сцену, именно потому, что касается несомнѣнно больного мѣста нашей народной жизни. Еще недавно, напримѣръ, въ докладѣ рязанской губернской земской управы губернскому земскому собранію шла рѣчь о нуждахъ, удовлетвореніе которыхъ можетъ быть достигнуто „только при участіи собственной дѣятельности населенія каждой мѣстности“. Этихъ нуждъ, по словамъ управы, „такъ много, что почти нѣтъ надобности и перечислять ихъ: за что̀ ни возьмется земство въ своихъ заботахъ о народномъ благосостояніи, непремѣнно конечнымъ тормазомъ его начинаній является недостатокъ такого мѣстнаго òргана, которому непосредственно, безъ особыхъ изслѣдованій, были бы извѣстны обстоятельства и нужды каждаго члена общества... Противопожарныя мѣры, мѣры по распланированію селеній, по борьбѣ съ эпидеміями и т. п., постоянно подрываются отсутствіемъ на мѣстахъ другихъ радѣтелей, кромѣ подавленныхъ взысканіями и запуганныхъ арестами сельскихъ старостъ съ сотскими и волостныхъ старшинъ съ писарями... Школы стоятъ безъ ремонта и безъ призора, хлѣбные магазины то пусты, то наполнены

трухой, а объ организаціи мѣстнаго общественнаго призрѣнія даже и мысли не приходитъ: до того мало вѣроятностей успѣть сдѣлать что-нибудь. А между тѣмъ мало ли безпріютныхъ стариковъ и старухъ, хронически больныхъ и калѣчныхъ, безвременно погибаетъ отъ недостатка какого бы то ни было призора? Нѣтъ возможности ни мѣстной дороги исправить вò время, ни какой-либо натуральной повинности установить на удовлетвореніе мѣстной потребности, напр., борьбы съ вредными насѣкомыми, отъ которыхъ гибнетъ урожай".

Въ этой картинѣ нѣтъ ни одного невѣрнаго, ни одного преувеличеннаго штриха—и воспроизведеніе ея можно встрѣтить на каждомъ шагу, во всѣхъ концахъ Россіи. Напрасно было бы, однако, скрывать отъ себя, что въ настоящую минуту, да и въ ближайшемъ будущемъ, на осуществленіе всесословной волости—или вообще мелкой самоуправляющейся земской единицы—нѣтъ рѣшительно никакой надежды. Необходимо напоминать о ней, неустанно выставлять на видъ ея незамѣнимыя и неоцѣнимыя достоинства—но столь же необходимо пріискивать палліативы, которые, въ ожиданіи болѣе коренной реформы, могли бы облегчить дѣятельность земства и хоть нѣсколько улучшить положеніе населенія. На этотъ путь вступило московское губернское земское собраніе. Уже въ прошедшемъ году оно постановило ходатайствовать о предоставленіи земскимъ учрежденіямъ московской губерніи устраивать экономическія попечительства, коллегіальныя или единоличныя, на которыя могло бы быть возлагаемо исполненіе на мѣстахъ земскихъ мѣропріятій экономическаго характера. Въ то же самое время губернское собраніе поручило губернской управѣ, совмѣстно съ особой коммиссіей и съ совѣщаніемъ предсѣдателей уѣздныхъ управъ, разработать организацію общественнаго призрѣнія въ губерніи, на почвѣ законопроекта по этому предмету, составленнаго, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Отсюда естественно возникъ вопросъ, не слѣдуетъ *ли* соединить обѣ задачи, т.-е. сдѣлать участковыя попечительства, предусмотрѣнныя законопроектомъ объ общественномъ призрѣніи, òрганами земства и по хозяйственнымъ дѣламъ. За такое соединеніе высказалось, вмѣстѣ съ губернской управой, большинство вышеупомянутой коммиссіи, а также значительное большинство уѣздныхъ земскихъ собраній. Въ томъ же смыслѣ вопросъ разрѣшенъ, по большинству голосовъ, и губернскимъ земскимъ собраніемъ. Сущность одобреннаго собраніемъ проекта заключается въ слѣдующемъ: во главѣ каждаго участковаго попечительства ставится попечитель, избираемый на опредѣленный срокъ уѣзднымъ земскимъ собраніемъ. По соглашенію съ попечителемъ, земскою управою приглашаются товарищъ попечителя и совѣтъ попечительства. Имъ въ помощь попечитель можетъ приглашать на неопредѣленный срокъ со-

трудниковъ. Сверхъ того, попечительство старается привлечь платныхъ членовъ (минимумъ платы установляется земскимъ собраніемъ). Районы дѣятельности попечительства опредѣляются уѣздными земскими собраніями по соглашенію съ попечителемъ. Попечительства служатъ òрганами мѣстной благотворительности и въ то же время òрганами уѣзднаго земства для осуществленія на мѣстахъ общественнаго призрѣнія. Средства попечительствъ получаются отъ членскихъ взносовъ, сбора пожертвованій, устройства зрѣлищъ и т. п., а также отъ земскихъ ассигнованій; послѣднія могутъ быть употребляемы лишь на тѣ предметы, на которые они земскимъ собраніемъ предназначены. Въ кругъ обязанностей попечительства по дѣламъ экономическимъ должны входить: доставленіе уѣздной управѣ различныхъ свѣдѣній, представленіе о нуждахъ участка, распредѣленіе выдаваемыхъ черезъ посредство попечительства пособій и ссудъ, наблюденіе за правильнымъ употребленіемъ первыхъ и за возвратомъ послѣднихъ, исполненіе различныхъ порученій земской управы по экономической части. Обсужденіе общихъ вопросовъ, касающихся экономической дѣятельности попечительствъ, должно лежать на обязанности имѣющихъ быть созданными при земскихъ управахъ, взамѣнъ существующихъ нынѣ экономическихъ совѣтовъ, новыхъ òргановъ—„совѣтовъ экономическихъ и по вопросамъ общественнаго призрѣнія", въ составъ которыхъ должны входить, между прочимъ, представители попечительствъ.

Прежде, чѣмъ приступить къ разбору этого плана, остановимся на доводахъ, приведенныхъ за и противъ соединенія въ рукахъ участковыхъ попечительствъ двухъ родовъ дѣятельности—хозяйственной и благотворительной. По мнѣнію защитниковъ соединенія, весьма трудно, даже невозможно было бы устроить въ уѣздахъ двѣ параллельныя организаціи. Хозяйственная помощь и общественное призрѣніе во многихъ случаяхъ, притомъ, неразрывно связаны между собою. Даже въ городахъ одною изъ задачъ общественнаго призрѣнія служитъ *предупрежденіе* обнищанія; тѣмъ важнѣе эта задача въ деревняхъ. Хозяйство безъ лошади, большая семья безъ коровы—близки къ разоренію; снабженіе ихъ лошадью или коровой имѣетъ характеръ экономической помощи. Сторонники противоположнаго мнѣнія находятъ, что между филантропіей и экономическимъ содѣйствіемъ слишкомъ мало общаго; объединить двѣ столь различныя функціи въ одномъ учрежденіи, значило бы подчинить одну изъ нихъ другой, къ явному вреду для дѣла. Мѣстные экономическіе òрганы не могутъ претендовать на самостоятельность; они являются, въ сущности, только приказчиками земства. Положеніе òргановъ общественнаго призрѣнія совсѣмъ иное, уже потому, что средства у нихъ бу-

дутъ преимущественно собственныя, получаемыя путемъ сбора пожертвованій, устройства зрѣлищъ и т. п.; они должны стоять въ связи съ земскими учрежденіями, но отнюдь не въ зависимости отъ нихъ, особенно отъ земскихъ управъ. Людей, готовыхъ участвовать въ попечительствахъ о бѣдныхъ, найдется достаточно, если не сейчасъ, то со временемъ; спѣшить нѣтъ надобности, главное — правильная постановка дѣла... Намъ кажется, что въ основаніи этого разномыслія лежитъ, отчасти, ошибочная квалификація дѣятельности попечительствъ по общественному призрѣнію. Это—вовсе не филантропія, вовсе не благотворительность въ обычномъ, житейскомъ смыслѣ слова; это—исполненіе общественной обязанности, ничѣмъ не отличающейся, напримѣръ, отъ обязанности пещись о народномъ здравіи или народномъ образованіи. Хорошо устроенная школа или больница — несомнѣнное *благо* для народа; никто, однако, не относитъ открытіе земствомъ школъ и больницъ къ области благотворительной дѣятельности. Призрѣніе дѣтей, стариковъ, калѣкъ, хронически больныхъ *должно* быть, *въ извѣстныхъ предѣлахъ*, задачей государства или призванныхъ ихъ къ тому общественныхъ силъ (земскаго, городского, сословнаго самоуправленія). Завѣдывать имъ можетъ, поэтому, то же учрежденіе, на которое возложены другія аналогичныя функціи. Соединеніе или разъединеніе этихъ функцій—вопросъ удобства, а не принципа. Съ точки зрѣнія удобства, т.-е. практической осуществимости, рѣшеніе большинства московскаго земства представляется намъ вполнѣ правильнымъ. Такихъ людей, на которыхъ земское собраніе могло бы возложить отвѣтственныя обязанности участковаго попечителя, едва ли найдется много; хорошо, если въ каждой волости окажется хоть *одно* лицо, пользующееся довѣріемъ собранія и вмѣстѣ съ тѣмъ готовое поработать на общую пользу. Гораздо легче будетъ пріискать ему сотрудниковъ, изъ которыхъ каждый возьметъ на себя ту роль, которая ему болѣе по сердцу и по силамъ. Здѣсь откроется большой просторъ для раздѣленія труда, со всѣми его выгодами и преимуществами. Нимало не говоритъ противъ системы объединенія и то обстоятельство, что часть средствъ на общественное призрѣніе будетъ поступать не отъ земства. Въ распоряженіи этою частью средствъ проектъ московскаго губернскаго земства предоставляетъ попечительствамъ полную свободу — а тотъ земскій контроль, который, по всей вѣроятности, будетъ установленъ надъ *всѣми* дѣйствіями попечительства, послужитъ только добавочной гарантіей правильнаго и цѣлесообразнаго употребленія пожертвованныхъ денегъ и усилитъ, этимъ самымъ, приливъ пожертвованій.

Гораздо болѣе спорнымъ, чѣмъ вопросъ о функціяхъ попечительствъ, является вопросъ о ихъ организаціи. Въ проектѣ московскаго губерн-

скаго земства она идетъ сверху, а не снизу: попечитель избирается не населеніемъ участка, а уѣзднымъ земскимъ собраніемъ; всѣ остальные члены и сотрудники попечительства *приглашаются* попечителемъ, единолично или при участіи уѣздной земской управы. Это значительно ослабляетъ связь между попечительствомъ и населеніемъ и уменьшаетъ средства попечительства, устраняя возможность пополненія ихъ изъ особаго, ad hoc установленнаго сбора. Мы продолжаемъ думать, что гораздо больше пользы принесли бы попечительства, избранныя *всѣмъ* населеніемъ участка. Подробно развивая эту мысль (въ ноябрьскомъ внутреннемъ обозрѣніи 1897-го года), мы представляли себѣ участокъ какъ *хозяйственную* всесословную волость, существующую рядомъ съ теперешнею *административною* крестьянскою волостью; но осуществленіе ея возможно и безъ формальнаго образованія всесословной волости. Достаточно было бы постановить, что для разрѣшенія нѣкоторыхъ вопросовъ, близко затрогивающихъ *все* населеніе данной мѣстности (въ томъ числѣ вопросовъ общественнаго призрѣнія и многихъ другихъ, связанныхъ съ хозяйственною дѣятельностью земства), къ существующему волостному сходу присоединяются представители остальныхъ землевладѣльцевъ и постоянныхъ жителей волости, и предоставить такому усиленному сходу какъ право выбора участковыхъ попечительствъ, такъ и право назначать, на извѣстные предметы и въ извѣстныхъ предѣлахъ, для всѣхъ одинаково обязательные сборы. Само собою разумѣется, что контроль надъ постановленіями усиленнаго схода, съ правомъ ихъ отмѣны, слѣдовало бы возложить не на земскихъ начальниковъ и не на уѣздные съѣзды, а на уѣздныя земскія собранія, при чемъ дальнѣйшій ходъ дѣла подчинялся бы общимъ правиламъ Земскаго Положенія. При невозможности достигнуть такого устройства мѣстныхъ земскихъ органовъ, большимъ шагомъ впередъ было бы, однако, и приведеніе въ дѣйствіе проекта московскаго губернскаго земства.

Въ № 150 „Сѣвернаго Курьера“, въ статьѣ В. Д. Кузьмина-Караваева, составляющей дополненіе къ длинному ряду его статей о фиксаціи земскихъ расходовъ [1]), приведены любопытныя свѣдѣнія о новомъ фазисѣ, въ который вступилъ этотъ вопросъ. Мы говорили уже въ предыдущемъ обозрѣніи, что вмѣсто остановки земскихъ смѣтъ на уровнѣ, достигнутомъ ими къ 1900-му году, предполагается установить предѣлъ для ежегоднаго ихъ роста. Судя по первоначальнымъ

[1]) Эти интересныя статьи соединены авторомъ въ особую брошюру, озаглавленную: „Предѣльность земскихъ расходовъ и обложенія“.

слухамъ, такимъ предѣломъ должна была служить одна двадцатая часть (5%) смѣтной суммы. Данными, сообщаемыми въ статьѣ г. Кузьмина-Караваева, эти слухи подтверждаются не вполнѣ. Земскимъ учрежденіямъ, впредь до установленія предѣльныхъ нормъ земскаго обложенія (т.-е. до окончанія оцѣнки), предоставляется увеличивать сборы съ недвижимыхъ имуществъ противъ окладовъ предшествующаго года только на *два съ половиною процента*. Для отдѣльныхъ губерній и уѣздовъ, по соглашенію министровъ финансовъ и внутреннихъ дѣлъ, эта норма можетъ быть повышаема до 5%, но, по положеніямъ комитета министровъ, можетъ быть и понижаема до *одного* процента. Если названные министры не сочтутъ возможнымъ утвердить предположенный земскимъ собраніемъ размѣръ обложенія, превышающій окладъ предыдущаго года болѣе чѣмъ на 2½%, но исчисленіе расходовъ признàютъ правильнымъ,—они могутъ войти въ Государственный Совѣтъ съ представленіемъ о принятіи нѣкоторыхъ расходовъ данной губерніи или уѣзда на счетъ казны, или объ оказаніи пособія земству изъ особо предназначеннаго на то кредита. Итакъ, *свободнымъ* въ увеличеніи расходовъ земство—въ случаѣ осуществленія вышеизложенныхъ предположеній—останется только въ предѣлахъ *одного процента* смѣтной суммы. Такая свобода равносильна полнѣйшему стѣсненію: на одну сотую часть смѣты нельзя, очевидно, предпринять ничего существеннаго въ смыслѣ развитія или усовершенствованія земскаго хозяйства. Всякій разъ, когда земское собраніе задумаетъ какой-нибудь серьезный шагъ впередъ, оно будетъ поставлено въ безусловную зависимость отъ усмотрѣнія двухъ министровъ. Разница между проектами первоначальнымъ и видоизмѣненнымъ сводится, такимъ образомъ, почти къ нулю. Въ одномъ отношеніи послѣдній даже менѣе благопріятенъ для земства: увеличеніе расходовъ, даже при согласіи обоихъ министровъ, не можетъ составлять, ежегодно, болѣе 5%, между тѣмъ какъ прежде о крайнемъ предѣлѣ увеличенія вовсе не было рѣчи. Правда, въ экстренныхъ случаяхъ расходы, признанные необходимыми какъ со стороны двухъ министровъ, такъ и со стороны Государственнаго Совѣта, могутъ быть принимаемы на счетъ казны; но самая сложность установляемой для такихъ случаевъ процедуры служитъ ручательствомъ въ томъ, что ихъ будетъ весьма немного. Мы продолжаемъ думать, поэтому, что градація земскихъ расходовъ, какъ и фиксація ихъ, должна нанести земству тяжкій, трудно поправимый, можетъ быть, смертельный ударъ... Противъ исходной точки всѣхъ проектовъ, направленныхъ къ „урегулированію“ земскихъ расходовъ—противъ предположенія, что земскія смѣты растутъ непомѣрно, безъ надобности, вслѣдствіе легкомыслія и непредусмотрительности земскихъ собраній,—все чаще и

чаще слышатся голоса въ òрганахъ печати самыхъ различныхъ направленій. Укажемъ, въ видѣ примѣра, на статью кн. Друцкого-Сокольнинскаго: „Тягость земскаго обложенія", помѣщенную въ № 102 „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей". Авторъ (нѣсколько трехлѣтій сряду состоящій мокшанскимъ уѣзднымъ предводителемъ дворянства) утверждаетъ, что земскія смѣты хорошо извѣстной ему пензенской губерніи,—которую онъ считаетъ типичной чисто-земледѣльческой,—растутъ лишь въ силу „настоятельной необходимости". Это относится одинаково и къ области народнаго образованія, и къ области народной медицины, и къ дорожной части, и ко всѣмъ другимъ сторонамъ земскаго хозяйства. Что̀ можно возразить, въ самомъ дѣлѣ, хотя бы противъ цифръ, удостовѣряющихъ, что въ теченіе четверти вѣка число душевно-больныхъ, содержимыхъ въ пензенской психіатрической больницѣ, возрасло слишкомъ въ семь разъ (въ среднемъ, ежедневно, 374 человѣка вмѣсто 52), соотвѣтственно чему увеличилось и число больничныхъ дней (вмѣсто 19 тыс.—болѣе $135^1/_2$ тыс.)? А между тѣмъ, земство призрѣваетъ только такихъ душевно-больныхъ (буйныхъ, безпокойныхъ, неопрятныхъ), которыхъ нельзя предоставить домашнему уходу. Отказывать въ ихъ пріемѣ невозможно—а число ихъ постоянно растетъ... Отрицаетъ необходимость фиксаціи, по словамъ корреспондента „Новаго Времени", и г. Шатиловъ, извѣстный сельскій хозяинъ, очень далекій отъ „земскихъ увлеченій". Противъ увеличенія земскихъ смѣтъ, по мнѣнію г. Шатилова, ратуютъ всего больше двѣ категоріи людей: разорившіеся землевладѣльцы, состоящіе неоплатными недоимщиками какъ по земскимъ, такъ и по всѣмъ другимъ повинностямъ, и лица, давно порвавшія нравственную связь съ деревней или попадающія туда лишь на короткое время, для каникулярнаго отдыха. Всякій коренной и постоянный житель деревни, даже находясь въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ, никогда не будетъ сторонникомъ фиксаціи земской смѣты. Говорить о тяжести земскаго обложенія могутъ только тѣ, кто въ деревнѣ не живетъ и не испытываетъ на себѣ ежедневно, какъ много еще надо затратить денегъ и труда, чтобы обратить столь мало культурную русскую деревню во что-нибудь терпимое... Много убѣдительныхъ аргументовъ противъ „урегулированія" земскихъ расходовъ даетъ статья г. N: „Быть или не быть земству" (въ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ"). Какъ видно изъ самаго ея заглавія, авторъ считаетъ самостоятельность въ вопросахъ обложенія необходимымъ условіемъ жизненности земства. Съ этимъ согласится всякій, въ чьихъ глазахъ земство̀—нѣчто бòльшее, чѣмъ орнаментальная, показная пристройка къ бюрократическому зданію.

Кто имѣлъ случай присмотрѣться поближе къ дѣятельности ны-

нѣшняго земства и сравнить ее съ земской работой, предшествовавшей изданію Положенія 1890 г., тотъ не можетъ не видѣть—если только онъ не принадлежитъ къ систематическимъ „земствофобамъ",—что слабой стороной существующихъ земскихъ порядковъ является отнюдь не отсутствіе предѣльныхъ нормъ земскаго обложенія. Преобразованное земство страдаетъ отъ двухъ главныхъ недостатковъ: оно не представляетъ собою всего населенія и не пользуется независимостью даже въ тѣсномъ кругу своихъ скромныхъ функцій. Какъ ни стѣснено, въ послѣднее время, возбужденіе земскихъ ходатайствъ, даже они свидѣтельствуютъ о томъ, что самимъ земствомъ оба эти недостатка сознаются и чувствуются совершенно ясно. Въ началѣ нынѣшняго года три губернскія земскія собранія — нижегородское, новгородское и ярославское —постановили ходатайствовать объ измѣненіи дѣйствующей системы земскаго представительства, въ смыслѣ возвращенія къ безсословному составу земскихъ собраній и къ непосредственности избирательныхъ полномочій [1]). Въ нижегородской губерніи этотъ вопросъ возникъ первоначально въ двухъ уѣздныхъ собраніяхъ (нижегородскомъ и балахнинскомъ), которыя и перенесли его на разсмотрѣніе губернскаго земства. Уѣздныя земскія собранія, при нынѣшнемъ икъ составѣ, очень рѣдко берутъ на себя починъ въ возбужденіи принціпіальныхъ вопросовъ; если, въ данномъ случаѣ, произошло отступленіе отъ общаго правила, то это служитъ яркимъ указаніемъ на то, какъ широко распространено убѣжденіе въ необходимости реформы... Къ какимъ аномаліямъ приводитъ существующій порядокъ—объ этомъ мы говорили еще недавно, по поводу данныхъ, относящихся къ никольскому уѣзду, вологодской губерніи; не менѣе характеристичны и цифры по кадниковскому уѣзду той же губерніи, приводимыя „Сѣвернымъ Краемъ" (№ 61). Кадниковское уѣздное земское собраніе состоитъ изъ 20 гласныхъ отъ перваго избирательнаго собранія (т.-е. отъ дворянъ), 8 гласныхъ отъ второго и 10 отъ сельскихъ обществъ. Между тѣмъ, дворяне въ кадниковскомъ уѣздѣ владѣютъ всего 160 тыс. десятинъ, оцѣненныхъ въ 895 тыс. рублей, остальные личные землевладѣльцы (кромѣ крестьянъ)—225 тыс. десятинъ, оцѣненныхъ въ 1.122 тыс. руб., крестьяне (считая и надѣльную, и купленную землю)—779 тыс. десятинъ, на сумму 12.176 тыс. руб. На каждаго гласнаго отъ дворянъ приходится, такимъ образомъ, 7.981 дес., цѣнностью въ 45 тыс. руб., на каждаго гласнаго отъ второго избирательнаго собранія—28 тыс. дес., цѣнностью въ 140 тыс. руб., на каждаго глас-

[1]) Гласные отъ крестьянъ, на основаніи Положенія 1890 года, *назначаются* губернаторомъ изъ числа кандидатовъ, выбранныхъ волостными сходами.

наго отъ крестьянъ—*78* тыс. дес., цѣнностью въ *1.217* тыс. руб.! Изъ дворянъ-землевладѣльцевъ въ предѣлахъ уѣзда проживаетъ 10—12 чел.; въ избирательное собраніе являются 14—15 чел., которые всѣ попадають въ гласные, а остальные, недостающіе до комплекта, избираются изъ среды отсутствующихъ. Эти послѣдніе никогда не пріѣзжають на собраніе, да и изъ числа первыхъ нѣкоторые появляются въ немъ только разъ въ три года, для участія въ выборахъ. Во второмъ избирательномъ собраніи избирателей бываетъ на лицо также очень немного, отъ 12 до 14. Волостей въ кадниковскомъ уѣздѣ 49; слѣдовательно *тридцать девять* волостей остаются вовсе безъ представительства въ земскомъ собраніи. Этого мало: по нѣскольку трехлѣтій сряду не имѣютъ представителей цѣлые земскіе участки—напр. 1-ый, 4-ый и 9-ый, съ населеніемъ свыше 55 тыс. душъ,—между тѣмъ какъ отъ 2-го и 3-го участковъ постоянно состоятъ гласными *пять* человѣкъ. Въ числѣ десяти гласныхъ отъ сельскихъ обществъ насчитывается 6 волостныхъ старшинъ, 1 волостной писарь, 2 торговца и только одинъ заправскій крестьянинъ-земледѣлецъ. Къ какимъ результатамъ приводитъ подобный составъ земскаго собранія, объ этомъ можно судить по слѣдующимъ фактамъ. Уѣздная управа, по иниціативѣ уѣзднаго исправника, предложила разсрочить 33 тыс. руб. недоимки земскаго сбора, лежащей на крестьянахъ; но гласные-старшины заявили, что „поблажки" не слѣдуетъ дѣлать, и предложеніе управы было отклонено собраніемъ. Вопросъ о лучшемъ устройствѣ медицинской части былъ обойденъ молчаніемъ, хотя громадному большинству крестьянъ медицинская помощь недоступна... Можно ли представить себѣ болѣе краснорѣчивыя доказательства тому, что избирательная система, созданная Земскимъ Положеніемъ 1890 года, настоятельно требуетъ радикальныхъ измѣненій?

У реакціонныхъ газетъ всегда имѣется на складѣ коллекція залежалыхъ товаровъ, которые по временамъ выносятся на воздухъ, провѣтриваются, очищаются отъ пыли, но не становятся отъ того ни лучше, ни свѣжѣе. Къ числу подобныхъ товаровъ принадлежитъ, напримѣръ, мысль о почетныхъ земскихъ начальникахъ, пущенная въ оборотъ въ началѣ 90-хъ годовъ, потомъ еще нѣсколько разъ появлявшаяся и исчезавшая, а теперь вновь выдвигаемая на сцену „Московскими Вѣдомостями" (№№ 76, 77, 80). Старая пѣсня поется, на этотъ разъ, въ приподнятомъ, мажорномъ, почти торжествующемъ тонѣ. Содержаніе ея, въ главныхъ чертахъ, слѣдующее. Построить все мѣстное управленіе на принципѣ безвозмездной службы дворянства нельзя, въ виду малочисленности крупныхъ и тяжелаго экономическаго поло-

женія среднихъ землевладѣльцевъ; но вполнѣ возможно отвести этому принципу роль болѣе видную чѣмъ та, которая дана ему реформой 1889 года. Теперь безвозмездно служать на мѣстахъ только уѣздные предводители дворянства; ничто не мѣшало бы присоединить къ нимъ почетныхъ земскихъ начальниковъ, назначаемыхъ въ томъ же порядкѣ, какъ и участковые, но исключительно изъ среды мѣстныхъ дворянъ, владѣющихъ опредѣленнымъ земельнымъ цензомъ. Почетные земскіе начальники должны, прежде всего, замѣнить собою почетныхъ мировыхъ судей, существованіе которыхъ, послѣ упраздненія мирового суда, является „нарушеніемъ правильности конструкціи и стиля областныхъ учрежденій“, не имѣющимъ за себя „ни малѣйшаго оправданія“ и безпримѣрнымъ въ нашемъ правѣ. Наиболѣе вѣроятно предположеніе, что „въ видѣ почетныхъ мировыхъ судей вѣдомство юстиціи желало сохранить въ мѣстномъ судѣ такихъ же контролеровъ надъ дѣятельностью земскихъ начальниковъ, какихъ оно создало въ видѣ должности уѣзднаго члена окружного суда“. Десятилѣтній опытъ доказалъ „ненужность такихъ контролеровъ“. Званіе почетныхъ мировыхъ судей, за ничтожными исключеніями, достается теперь именно тѣмъ представителямъ уѣзднаго населенія, которые могли бы принять на себя обязанности почетныхъ земскихъ начальниковъ. Такимъ образомъ, „уѣздные съѣзды не лишились бы своихъ даровыхъ сотрудниковъ; разница была бы лишь въ томъ, что, принадлежа къ одному и тому же вѣдомству и потому не будучи въ состояніи проникнуться тенденціями вѣдомственнаго антагонизма, почетные земскіе начальники, вѣроятно, дружнѣе и согласнѣе работали бы съ участковыми земскими начальниками на поприщѣ мѣстнаго правосудія и поэтому были бы полезнѣе почетныхъ мировыхъ судей“. Кромѣ судебныхъ засѣданій уѣзднаго съѣзда, почетные земскіе начальники могли бы быть призваны къ участію и въ засѣданіяхъ административныхъ. Уѣздный съѣздъ не будетъ для нихъ *чужимъ* учрежденіемъ, какимъ онъ является для почетныхъ мировыхъ судей; принадлежа къ институту, они, съумѣютъ проникнуться его интересами и будутъ въ составѣ уѣзднаго съѣзда „элементомъ не противодѣйствующимъ и не контролирующимъ, а такимъ же содѣйствующимъ и творческимъ, какъ и остальные члены административнаго присутствія“. Почетные земскіе начальники могли бы, далѣе, замѣщать участковыхъ земскихъ начальниковъ во время ихъ отсутствія или болѣзни, а также помогать имъ въ критическіе моменты (напр., при эпидеміяхъ или недородахъ), либо принимая на себя отправленіе судебныхъ функцій, такъ чтобы за участковымъ земскимъ начальникомъ оставались однѣ лишь административныя обязанности, либо вступая всецѣло въ завѣдываніе извѣстною мѣстностью, выдѣленною ad hoc изъ состава участка. Учре-

жденіе почетныхъ земскихъ начальниковъ, „создавая на мѣстахъ готовый контингентъ доброхотныхъ дѣятелей на поприщѣ государственномъ, устранило бы надобность въ наѣздахъ *добровольцевъ благотворительности*“, которыми „внутренніе враги государства во многихъ случаяхъ пользовались для сѣянія смутъ и распространенія лжеученій“.

Что почетные мировые судьи не имѣютъ болѣе того значенія, которое принадлежало имъ на основаніи судебныхъ уставовъ—это не подлежитъ никакому сомнѣнію; безспорно и то, что съ устраненіемъ ихъ изъ уѣзднаго съѣзда составъ его сдѣлался бы болѣе цѣльнымъ, болѣе однороднымъ и однообразнымъ. Весь вопросъ въ томъ, желательна ли подобная цѣльность и однородность? Чтобы осуществить ее вполнѣ, нужно исключить изъ уѣзднаго съѣзда не только почетныхъ мировыхъ судей, но и уѣзднаго члена окружного суда, и городского судью, т.-е. всѣхъ представителей чисто-судебнаго элемента. За такое радикальное разрѣшеніе вопроса подавались голоса при подготовкѣ законовъ 1889 года; ему сочувствуютъ и теперь всѣ прямолинейные сторонники дискреціонной власти меньшинства надъ большинствомъ. Мы согласились бы съ ними, еслибы держались принципа: „чѣмъ хуже, тѣмъ лучше“. Всецѣло предоставленные самимъ себѣ, „очищенные“ отъ всѣхъ постороннихъ элементовъ, съѣзды земскихъ начальниковъ скорѣе, быть можетъ, дошли бы до того пункта, дальше котораго идти нельзя; скорѣе, можетъ быть, обнаружилась бы необходимость возвращенія къ основнымъ началамъ судебныхъ уставовъ—но до наступленія этого момента слишкомъ многимъ пришлось бы перенести слишкомъ многое. Возможнымъ ускореніемъ перемѣны, въ концѣ концовъ неизбѣжной, не уравновѣшивается, въ нашихъ глазахъ, *несомнѣнное* ухудшеніе юридической обстановки, въ которой живетъ масса населенія. Тѣ же самыя соображенія, въ силу которыхъ мы всегда стояли за удержаніе въ составѣ уѣзднаго съѣзда—впредь до коренной реформы мѣстнаго суда—чиновъ судебнаго вѣдомства, заставляютъ насъ желать сохраненія института почетныхъ мировыхъ судей, даже въ той незавидной формѣ, какая дана ему преобразованіемъ 1889-го года. Мы видимъ въ почетныхъ мировыхъ судьяхъ не только противовѣсъ одностороннему преобладанію стремленій, свойственныхъ земскимъ начальникамъ,—эту роль почетные судьи раздѣляютъ съ уѣзднымъ членомъ окружного суда и городскимъ судьею,—но и представителей мѣстнаго населенія, поддерживающихъ традицію участія его въ отправленіи правосудія. Совершенно невѣрно предположеніе, что почетные мировые судьи проникнуты тенденціями „вѣдомственнаго антагонизма“. Съ чинами министерства юстиціи у нихъ общее только одно—мундиръ, т.-е. ничего не означающее внѣшнее

отличіе; ихъ сила—именно въ томъ, что они не принадлежатъ ни къ какому вѣдомству. Правда, они идутъ чаще всего рука въ руку съ уѣзднымъ членомъ окружного суда и городскимъ судьею; но почему? Потому что и тѣ, и другіе сознаютъ и чувствуютъ себя судьями, только судьями, тогда какъ земскіе начальники, за рѣдкими исключеніями, сознаютъ и чувствуютъ себя прежде всего администраторами. Главная особенность судьи—исканіе правды, независимо отъ того, кому она, въ данномъ случаѣ, должна оказаться выгодной; главная особенность администратора—приспособленіе своихъ дѣйствій къ заранѣе намѣченной цѣли, къ огражденію интересовъ, заранѣе признанныхъ требующими усиленной охраны. Почетные земскіе начальники, и по способу облеченія ихъ этимъ званіемъ, и по функціямъ, съ нимъ сопряженнымъ, были бы такими же администраторами, какъ и ихъ коллеги, завѣдующіе участками. Не подлежитъ, поэтому, никакому сомнѣнію, что въ число почетныхъ земскихъ начальниковъ перешли бы далеко не всѣ нынѣшніе почетные мировые судьи. Однихъ не рекомендовали бы на новую должность предводители дворянства и не представили бы къ утвержденію губернатора; другіе отказались бы занять ее, еслибы она и была имъ предложена. Немногіе изъ тѣхъ землевладѣльцевъ, которымъ дорога память о выборномъ мировомъ судѣ, о безсословномъ земствѣ, о духѣ и завѣтахъ эпохи великихъ реформъ, согласились бы принять на себя функціи, самое наименованіе которыхъ возбуждаетъ прямо противоположныя представленія. Уѣздные съѣзды сразу потеряли бы множество членовъ, цѣнныхъ своею опытностью, своимъ безпристрастіемъ, и облеченныхъ довѣріемъ населенія. Не слѣдуетъ забывать, что въ выборѣ почетныхъ мировыхъ судей участвуютъ гласные отъ крестьянъ—участвуютъ, благодаря закрытой баллотировкѣ, болѣе или менѣе свободно, независимо отъ властныхъ внушеній. До уѣзднаго съѣзда можетъ дойти, этимъ путемъ, отголосокъ крестьянскихъ взглядовъ—отголосокъ слабый, чуть слышный, но все же напоминающій о существованіи обширной группы интересовъ, слишкомъ часто игнорируемой большинствомъ съѣзда. Этому положитъ конецъ уничтоженіе почетныхъ мировыхъ судей — и наоборотъ, съ учрежденіемъ почетныхъ земскихъ начальниковъ значительно усилится тотъ элементъ, которымъ и теперь уже обусловливается бо́льшая или ме́ньшая односторонность дѣятельности уѣздныхъ съѣздовъ...

Еще менѣе желательныхъ результатовъ слѣдуетъ ожидать отъ появленія почетныхъ земскихъ начальниковъ на мѣстахъ, среди сельскаго населенія. Въ виду постоянныхъ указаній на недостаточное число участковъ, на необходимость облегчить занятія участковаго земскаго начальника и приблизить его къ населенію, едва ли можно сомнѣваться въ томъ, что почетные земскіе начальники, однажды создан-

ные, были бы привлечены къ дѣятельности не только періодической—во время эпидемій, голодовокъ и т. п.,—но и ежедневной, постоянной. Быть можетъ, въ вѣдѣніе каждаго изъ нихъ была бы предоставлена волость или часть волости, со всѣми правами и обязанностями участковаго земскаго начальника; быть можетъ, въ предѣлахъ каждаго участка произошелъ бы раздѣлъ функцій между земскими начальниками участковымъ и почетнымъ (или почетными); быть можетъ, почетному земскому начальнику была бы ввѣрена дискреціонная власть, съ правомъ пользоваться ею всякій разъ, когда нѣтъ на лицо участковаго земскаго начальника. Общимъ, во всѣхъ этихъ случаяхъ, было бы обостреніе надзора за крестьянами, усиленіе ихъ зависимости отъ должностныхъ лицъ, представляющихъ собою интересы помѣстнаго дворянства—иными словами, еще бо̀льшее ограниченіе свободы дѣйствій самаго многочисленнаго класса населенія, еще бо̀льшее удаленіе отъ равенства передъ закономъ, составляющаго конечную цѣль правового государства. Напрасна, съ другой стороны, надежда найти въ почетныхъ земскихъ начальникахъ такое число „доброхотныхъ дѣятелей на государственномъ поприщѣ", которое, въ годины народныхъ бѣдствій, устраняло бы потребность въ частной, личной иниціативѣ. Замѣнить такую иниціативу оффиціальная дѣятельность, по самому своему существу, совершенно безсильна: она не вызываетъ беззавѣтной преданности дѣлу, доходящей до готовности жертвовать собою, не вызываетъ и прилива матеріальныхъ средствъ, необходимыхъ для широкой организаціи помощи. Центровъ борьбы съ результатами бѣдствія должно быть, притомъ, очень много—гораздо больше, чѣмъ можно набрать, даже въ мѣстностяхъ съ сильно развитымъ дворянскимъ землевладѣніемъ, почетныхъ земскихъ начальниковъ, постоянно живущихъ въ своихъ имѣніяхъ и согласныхъ взять на себя тяжелую работу. Готовые кадры для такой работы можетъ дать только организація мелкой земской единицы. И она, конечно, въ критическія минуты нуждалась бы въ активной поддержкѣ со стороны общества — но многое она могла бы сдѣлать собственными силами, для многаго другого создать хорошо подготовленную почву. Къ ней всего удобнѣе могли бы примыкать группы лицъ или отдѣльныя лица, желающія послужить бѣдствующему населенію. До какой степени драгоцѣнна и незамѣнима подобная служба—объ этомъ свидѣтельствуетъ каждая страница исторіи недавнихъ неурожайныхъ и холерныхъ годовъ. Нужно совсѣмъ особое настроеніе, чтобы извлечь изъ этой исторіи только недовѣріе къ „наѣздамъ добровольцевъ благотворительности". Если гдѣ-нибудь съ такими „наѣздами" и было соединено „сѣяніе смуты"—въ чемъ, впрочемъ, до указанія на безспорные факты позволительно сомнѣваться,—то оно совершенно меркнетъ въ сравненіи съ громад-

ной пользой, принесенной самоотверженнымъ трудомъ „добровольцевъ". Достаточно напомнить, что ими пущена въ ходъ та форма помощи (деревенскія столовыя), которая теперь практикуется съ большимъ успѣхомъ и обществомъ Краснаго-Креста... Огульное заподозриваніе дѣятельности, которая, помимо блестящихъ заслугъ въ прошедшемъ, такъ много обѣщаетъ въ будущемъ, должно быть признано однимъ изъ тѣхъ неизгладимымъ пятенъ. которыми покрываетъ себя чуть не ежедневно реакціонная печать.

Другая тема, къ которой періодически возвращаются „Московскія Вѣдомости" и ихъ подголоски, это—необыкновенно успѣшные, будто бы, результаты дѣятельности земскихъ начальниковъ, въ особенности судебной. Намъ приходилось уже нѣсколько разъ выставлять на видъ безпочвенность подобныхъ ликованій [1]). Не повторяя сказаннаго прежде, остановимся только на одномъ новомъ штрихѣ, внесенномъ въ старую аргументацію московской газеты. Положеніе дѣлъ въ восьмидесятыхъ годахъ рисуется ею такъ, какъ будто бы абсолютная непригодность мирового суда для массы населенія признавалась тогда самыми ревностными сторонниками основныхъ началъ судебной реформы. „Нужды нѣтъ"—читаемъ мы въ № 71 „Московскихъ Вѣдомостей",—„что мировой институтъ, въ сельскихъ мѣстностяхъ, не оправдалъ, по признанію даже самого *Вѣстника Европы*, возлагавшихся на него ожиданій и что ни годъ, то шелъ все хуже и хуже; нужды нѣтъ, что раскрытіе органическихъ недостатковъ этого института приводило къ такимъ разоблаченіямъ и признаніямъ, которыя были равносильны утратѣ всѣхъ розовыхъ надеждъ, возлагавшихся на него въ шестидесятыхъ годахъ. Въ виду опасности, угрожавшей, будто бы, принципу законности, всякая безпристрастная критика была забыта и ряды порицателей и хулителей быстро превратились въ ряды пропагандистовъ выборнаго мирового суда въ его первообразной формѣ. Принципы раздѣленія властей и общественныхъ выборовъ, положенные въ основу мирового суда, опять и съ особой силой прославлялись какъ непреложные". Ссылаясь на „Вѣстникъ Европы", московская газета имѣетъ въ виду, безъ сомнѣнія, статью г. Назарьева: „Современная глушь", появившуюся въ нашемъ журналѣ въ 1879 г. (№ 5) и уже много разъ выдвигавшуюся реакціонной печатью какъ орудіе противъ мировыхъ учрежденій. Что мировые судьи, въ деревенской глуши, не всегда и не вездѣ стояли на высотѣ своего призванія, особенно въ концѣ семидесятыхъ годовъ, въ эпоху всеобщей апатіи и упадка духа — это безспорно. Картина, нарисованная г. Назарьевымъ, была снята съ натуры; она отразила собою медлен-

---

[1]) См., напр., Внутр. Обозрѣніе въ № 10 „Вѣстника Европы" за 1895 г.

ное, вялое теченіе жизни въ одномъ изъ захолустныхъ уголковъ Россіи—и такихъ уголковъ тогда могло быть немало. Пойдемъ дальше: допустимъ, что „осень", по выраженію г. Назарьева, наступила для мировыхъ учрежденій *повсемѣстно*—и спросимъ себя, доказываетъ ли это хоть отчасти несостоятельность началъ, положенныхъ въ основу мирового суда? Нисколько. Подъ вліяніемъ неблагопріятныхъ условій захирѣть и опуститься можетъ самый здоровый организмъ—и болѣе чѣмъ странно было бы считать его обреченнымъ на смерть, когда для возвращенія ему прежнихъ силъ вполнѣ достаточно перенесеніе его въ другую, болѣе нормальную обстановку. Въ жизнеспособности мирового суда защитники порядка, созданнаго Судебными Уставами 1864-го года, никогда не сомнѣвались; но столь же несомнѣнной была для нихъ необходимость перемѣнъ, которыми обезпечивалось бы правильное его развитіе. Въ нашемъ журналѣ нѣкоторыя изъ этихъ перемѣнъ—повышеніе образовательнаго и пониженіе имущественнаго ценза мировыхъ судей, періодическій ихъ выѣздъ, для разбора дѣлъ, въ разные пункты участка, упрощеніе и облегченіе процессуальныхъ формъ, пересмотръ гражданскихъ законовъ въ смыслѣ бо̀льшаго приспособленія ихъ къ народному быту—были намѣчены еще въ 1871 г., черезъ пять лѣтъ послѣ осуществленія судебной реформы [1]); тогда же подчеркнута была нами и тѣсная связь между мировыми учрежденіями и земствомъ, съ поднятіемъ и укрѣпленіемъ котораго неизбѣжно долженъ подняться и укрѣпиться и мировой судъ. И позже, когда „Вѣстнику Европы" приходилось касаться мирового суда, онъ постоянно стоялъ за неприкосновенность основныхъ его началъ—но въ то же время и за его частичное усовершенствованіе [2]). То же самое слѣдуетъ сказать и о другихъ о̀рганахъ нашей печати, остававшихся вѣрными завѣтамъ эпохи великихъ реформъ. Превращеніе, о которомъ говорятъ „Московскія Вѣдомости", существуетъ только въ ихъ воображеніи. „Пропагандисты выборнаго мирового суда въ его первообразной формѣ" никогда не были его „порицателями и хулителями"; указывая на его недостатки, они всегда признавали, вмѣстѣ съ тѣмъ, возможность ихъ исправленія и приписывали ихъ не кореннымъ свойствамъ института, а постороннимъ причинамъ. Слышались, правда, изъ среды приверженцевъ судебной реформы отдѣльные, немногочисленные голоса, отрицавшіе цѣлесообразность *выбора* мировыхъ судей [3]); но, во-первыхъ, это от-

---

[1]) См. „Итоги судебной реформы", „Вѣстн. Европы" 1871 г., № 5, стр. 367—385.

[2]) Укажемъ, для примѣра, на Внутреннее Обозрѣніе въ № 8 „Вѣстника Европы" за 1880 г. (стр. 777 — 81), написанное тогда, когда не возникала еще и мысль о передѣлкѣ мирового суда.

[3]) Мы имѣемъ въ виду статью П. Н. Обнинскаго, появившуюся, въ 1888 г., въ „Юридическомъ Вѣстникѣ" и вызвавшую возраженіе со стороны „Вѣстника Европы" (1888 г., № 6, Внутреннее Обозрѣніе).

рицаніе совмѣщалось съ защитой всѣхъ остальныхъ устоевъ истиннаго правосудія, а во-вторыхъ, оно относится къ тому времени, когда уже поставлено было на очередь судебно-административное преобразованіе, осуществившееся въ 1889 г. и положившее конецъ не только выборному началу въ области суда (за исключеніемъ немногихъ большихъ городовъ), но и отдѣленію судебной власти отъ административной, и независимости мѣстнаго суда. Отношеніе либеральной печати къ этому преобразованію остается неизмѣнно такимъ, какимъ оно было съ самаго начала; если она рѣже прежняго возвращается къ данной темѣ, то только потому, что не видитъ надобности въ безпрестанномъ повтореніи много разъ высказанныхъ аргументовъ. Къ которому изъ двухъ противоположныхъ взглядовъ склоняется большинство русскаго общества—объ этомъ нельзя сказать ничего опредѣленнаго, за отсутствіемъ у насъ вѣрныхъ показателей общественнаго мнѣнія; но мы едва ли ошибемся, если предположимъ, что и здѣсь не произошло никакой рѣзкой перемѣны. Если число сторонниковъ новаго института теперь, быть можетъ, нѣсколько больше, чѣмъ 12—15 лѣтъ тому назадъ, когда онъ существовалъ лишь въ видѣ проекта, то это объясняется присоединеніемъ къ нимъ тѣхъ людей колеблющейся средины, которые всегда слѣдуютъ за колесницей побѣдителей.

Если вѣрить газетнымъ слухамъ, въ юго-западномъ краѣ предполагается ввести, въ 1901 г., земскихъ начальниковъ, взамѣнъ существующихъ тамъ мировыхъ посредниковъ и мировыхъ судей (послѣдніе будутъ сохранены только въ Кіевѣ). Городскіе судьи будутъ учреждены лишь въ губернскихъ и болѣе значительныхъ уѣздныхъ городахъ. Мелкіе уѣздные города, а равно и всѣ многочисленные (до 450) мѣстечки края, съ мѣщанскимъ (еврейскимъ) населеніемъ, будутъ подчинены власти земскихъ начальниковъ наравнѣ съ сельскими мѣстностями. Мотивируется это тѣмъ, что мѣщанскіе сходы и управы, съ ихъ ни для кого непонятнымъ жаргономъ, напоминаютъ прежнее кагальное управленіе, и что только непосредственнымъ вторженіемъ сильной власти въ эту темную область можно расшатать и разрушить такую вредную анти-государственную организацію, какъ кагальный строй. Въ виду подчиненія земскимъ начальникамъ мѣщанскихъ управленій, а также въ виду многихъ другихъ осложненій мѣстнаго управленія, число земскихъ участковъ въ юго-западномъ краѣ будетъ, сравнительно, больше, чѣмъ во внутреннихъ губерніяхъ: ихъ намѣчено около 330, т.-е., въ среднемъ, 110 на губернію (отъ 9 до 10 на уѣздъ). Окладъ содержанія земскихъ начальниковъ юго-западнаго края будетъ увеличенъ до 3 тыс. рублей, такъ какъ въ виду малочислен-

ности въ краѣ помѣстнаго русскаго дворянскаго элемента, изъ среды котораго могутъ быть назначаемы земскіе начальники, многіе изъ нихъ будутъ люди пріѣзжіе, которымъ придется нанимать помѣщенія для себя и для своихъ камеръ. Всѣ земскіе начальники въ юго-западномъ краѣ будутъ обязательно русскіе... Отступленія отъ обычнаго типа, перечисленныя выше, столь велики, что невольно возникаетъ сомнѣніе въ достовѣрности газетныхъ извѣстій. Когда проектировались новыя судебно-административныя учрежденія, отличительными ихъ чертами выставлялись съ одной стороны тѣсная ихъ связь съ помѣстнымъ дворянствомъ, представителямъ котораго была дана извѣстная роль въ назначеніи земскихъ начальниковъ, съ другой — близость ихъ къ *сельскому* населенію, особенно нуждающемуся въ твердой и вмѣстѣ съ тѣмъ легко доступной власти. Правда, отъ обоихъ началъ были уже тогда допущены отступленія: земскіе начальники были введены и тамъ, гдѣ нѣтъ помѣстнаго дворянства, и судебныя функціи были ввѣрены имъ не только въ сельскихъ мѣстностяхъ, но и въ нѣкоторыхъ небольшихъ городахъ, гдѣ не было учреждено городскихъ судей. Проектируемая, будто бы, реформа и въ томъ, и въ другомъ отношеніи, идетъ, однако, гораздо дальше: она намѣчаетъ назначеніе земскими начальниками людей пришлыхъ, хотя бы на лицо имѣлось достаточное число мѣстныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ (не-русскихъ по происхожденію), и облекаетъ земскихъ начальниковъ, во многихъ городахъ и во всѣхъ мѣстечкахъ, управляемыхъ на основаніи Городового Положенія, не только судебными, но и административными полномочіями, а также, повидимому, и дискреціонною дисциплинарною властью. Намъ могутъ замѣтить, что de facto мировыми судьями и мировыми посредниками въ юго-западномъ краѣ состоятъ и теперь исключительно русскіе, такъ что никакой перемѣны въ положеніи дѣлъ новый порядокъ, съ этой точки зрѣнія, не произведетъ; но не слѣдуетъ упускать изъ виду, что званіе мирового судьи никогда и нигдѣ не было привилегіей помѣстнаго дворянства, а устраненіе лицъ польскаго происхожденія отъ занятія должности мирового посредника относится къ такому времени, когда оно было политическою необходимостью. Дискреціонная власть въ сельскихъ мѣстностяхъ давно вошла въ обычай; раньше, чѣмъ земскимъ начальникамъ, она была предоставлена мировымъ посредникамъ, волостнымъ старшинамъ и даже сельскимъ старостамъ. Ея приверженцы могутъ, такимъ образомъ, утверждать, что на ея сторонѣ давность и сила привычки. Другое дѣло—города: здѣсь дискреціонная власть, въ томъ видѣ, въ какомъ она установлена ст. 61 и 62 Полож. о земск. начальн., явилась бы совершенною новизною, явно не соотвѣтствующею городской обстановкѣ. Не менѣе крупнымъ отступленіемъ отъ обычнаго порядка было бы и вмѣшательство подчи-

венныхъ органовъ управленія въ дѣла городскихъ сословій. Едва ли можно согласиться съ тѣмъ, что такое вмѣшательство необходимо въ видахъ уничтоженія „кагальной организаціи". Населеніе небольшихъ городовъ и мѣстечекъ юго-западнаго края состоитъ, во-первыхъ, далеко не изъ однихъ евреевъ. Возьмемъ, для примѣра, три сравнительно малонаселенныхъ города: Каневъ — кіевской губерніи, Летичевъ—подольской, Овручъ — волынской. Въ Каневѣ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, евреи составляли около $^1/_5$ населенія (1.859 чел. изъ 9.135), въ Летичевѣ и Овручѣ—около $^2/_5$ (3.636 изъ 8.861 и 4.017 изъ 10.037). О вѣроисповѣдномъ составѣ населенія мѣстечекъ у насъ нѣтъ подъ рукою точныхъ свѣдѣній; и здѣсь, однако, численность христіанъ, повидимому, довольно значительна. Въ мѣстечкѣ Корцѣ (новоградъ-волынскаго уѣзда волынской губ.) имѣется, напримѣръ, 5 православныхъ церквей, одинъ православный монастырь, одна католическая церковь и только двѣ синагоги; въ мѣстечкѣ Мошнахъ (черкасск. у., кіевской губ.)—двѣ православныхъ церкви, одна католическая и только одна синагога. Во-вторыхъ, если и допустить болѣе чѣмъ сомнительное существованіе „кагальной организаціи", нѣтъ причины думать, что успѣшно бороться съ нею можно только посредствомъ „усмотрѣнія". Высшая административная власть облечена и теперь болѣе чѣмъ достаточнымъ правомъ надзора надъ сословными городскими учрежденіями; для защиты личныхъ правъ существуютъ и теперь законные пути. Уменьшить національную обособленность евреевъ можетъ только широкое распространеніе общаго образованія... Чѣмъ больше, наконецъ, число земскихъ участковъ, тѣмъ сильнѣе давленіе власти на населеніе, тѣмъ чувствительнѣе ограниченіе личной самостоятельности, безъ того уже поставленной у насъ въ столь тѣсные предѣлы. Все это вмѣстѣ взятое заставляетъ желать, чтобы вѣсть о примѣненіи судебно-административной реформы къ юго-западному краю оказалась неосновательною или, по меньшей мѣрѣ, не вполнѣ точною.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 мая 1900.

Политическое значеніе парижской выставки. — Министерство Вальдека-Руссо и его противники.—Внѣшняя политика въ Европѣ.—Францъ-Іосифъ I и Вильгельмъ II.— Делегаты южно-африканскихъ республикъ и дипломатія.—Англійскія недоумѣнія и трансваальская война.

Общее политическое настроеніе въ Европѣ мало соотвѣтствуетъ тѣмъ хорошимъ оффиціальнымъ фразамъ, которыя сказаны были президентомъ французской республики 14 (1) апрѣля при открытіи неготовой еще всемірной выставки въ Парижѣ. „Франція,—по словамъ г. Эмиля Лубé,—желала внести блестящій вкладъ въ дѣло установленія согласія между народами. Она имѣетъ сознаніе, что работаетъ для блага міра, къ концу этого благороднаго вѣка, побѣда котораго надъ заблужденіемъ и враждою—увы!—не была полною, но который завѣщаетъ намъ неизмѣнно бодрую вѣру въ прогрессъ... Этотъ праздникъ гармоніи, мира и прогресса, какъ бы ни была эфемерна его обстановка, не окажется напраснымъ. Мирная встрѣча правительствъ культурнаго міра не пройдетъ безслѣдно. Благодаря упорному подтвержденію извѣстныхъ великодушныхъ идей, которыми прославился этотъ истекающій вѣкъ, двадцатое столѣтіе увидитъ больше братства и меньше бѣдствій всякаго рода, и, быть можетъ, въ близкомъ будущемъ мы пройдемъ важную стадію въ медленной эволюціи труда по пути къ счастію, и человѣка—къ человѣчеству". Въ томъ же духѣ благодушнаго оптимизма, но съ большею свободою краснорѣчія, говорилъ министръ торговли, Мильеранъ; онъ также выразилъ надежду, что торжество мирнаго труда приведетъ со временемъ къ осуществленію идеала, первые проблески котораго освѣтили занятія Гаагской конференціи, и что наступитъ благодатная эра, когда достигнуто будетъ „совершенное единеніе между могуществомъ, справедливостью и благостью".

Эти утѣшительныя перспективы принадлежатъ, впрочемъ, къ числу обычныхъ украшеній такихъ международныхъ празднествъ, какъ всемірная выставка; но громкія слова о будущемъ царствѣ правды никогда еще не произносились такъ некстати, какъ въ настоящее время. Передовая культурная нація Европы, истинная представительница промышленнаго прогресса, поглощена жестокою кровавою борьбою съ небольшимъ такимъ же христіанскимъ народомъ, отстаивающимъ свою не-

зависимость въ южной Африкѣ; великая сѣверо-американская республика продолжаетъ воевать съ населеніемъ Филиппинскихъ острововъ, которому обѣщала свободу отъ испанскаго гнета; воинственный „имперіализмъ“ все сильнѣе и рѣзче проявляется не только въ Англіи, но и въ Америкѣ; враждебное чувство къ англичанамъ ростетъ во Франціи, въ Германіи и въ нѣкоторыхъ другихъ странахъ, вопреки оффиціальному миролюбію правительствъ; повсюду замѣчается въ народныхъ массахъ глухое недовольство настоящимъ и недовѣріе къ будущему. Сами французы смотрятъ на парижскую выставку только какъ на выгодное національно-промышленное предпріятіе, для успѣха котораго необходимо сохраненіе мира до извѣстнаго, точно опредѣленнаго срока; а чтобы взаимное общеніе народовъ на выставкѣ повело къ ослабленію военно-политическаго соперничества державъ,—объ этомъ никто не думаетъ серьезно ни во Франціи, ни въ остальной Европѣ. Обстоятельства, о которыхъ ежедневно напоминаютъ газеты, не оставляютъ мѣста иллюзіямъ, нашедшимъ себѣ отголосокъ въ рѣчахъ президента Лубé и министра торговли Мильерана. Даже внутри отдѣльныхъ государствъ, какъ, напр., въ Австро-Венгріи, различные элементы населенія далеко не обнаруживаютъ готовности стремиться къ прочному миру и согласію на почвѣ равноправности; напротивъ, старые племенные антагонизмы искусственно оживляются и обостряются подъ вліяніемъ новыхъ патріотическихъ движеній, которыя характеризуются все большею нетерпимостью и безпринципностью. Еще недавно Франціи грозило междоусобіе по поводу споровъ и разногласій изъ-за дѣла Дрейфуса. Католики возставали противъ протестантовъ и евреевъ; военная партія возмущалась противъ гражданской власти; патріоты и националисты искали генерала, способнаго совершить государственный переворотъ, и глубокая внутренняя рознь надолго парализовала всю политическую жизнь страны. Борьба партій затихла послѣ суда надъ Деруледомъ и его союзниками, а по мѣрѣ приближенія срока открытія выставки усиливалась потребность перемирія. „Военныя дѣйствія“ пріостановлены теперь на все время существованія выставки, т.-е. на шесть мѣсяцевъ, такъ какъ всѣ французскія партіи одинаково заинтересованы въ достиженіи возможно лучшихъ матеріальныхъ результатовъ международнаго празднества, устроеннаго въ Парижѣ. Эти мирныя вѣянія, по своему источнику и характеру, не имѣютъ, къ сожалѣнію, ничего общаго съ возвышенными стремленіями къ идеалу.

Впрочемъ, политическія партіи во Франціи только съ трудомъ подчиняются перемирію, вынужденному открытіемъ выставки. Противники министерства Вальдека-Руссо не могутъ помириться съ мыслью, что оно останется у власти еще не менѣе полугода, до возобновленія періода кабинетныхъ кризисовъ,—и многихъ не покидаетъ еще смутная

надежда на перемѣну. Нападки на правительство не прекращались въ парламентѣ и въ печати до послѣдняго времени. Вальдеку-Руссо и его товарищамъ не разъ приходилось давать отпоръ рѣшительнымъ аттакамъ Мелина, вождя умѣренно-консервативнаго центра, и солидарныхъ съ нимъ клерикаловъ и націоналистовъ. Самые скромные бюджетные или техническіе вопросы давали матеріалъ для неожиданныхъ вспышекъ, выдвигавшихъ на сцену недавнія распри. Обсуждавшійся въ палатѣ законъ о подчиненіи колоніальныхъ войскъ военному министру, а не морскому, побудилъ нѣкоторыхъ ораторовъ заговорить объ опасности государственнаго переворота. Генералъ Галлифе́ произнесъ по этому поводу весьма интересную рѣчь, юмористическую по тону, но вѣскую и поучительную по содержанію. „Говорятъ о государственномъ переворотѣ, — сказалъ военный министръ, — но такой переворотъ невозможенъ. Переворотъ не дѣлается въ Лоріанѣ или Брестѣ, ни даже въ Тулонѣ; его дѣлаютъ только въ Парижѣ. Я имѣю кое-какія свѣдѣнія по части государственныхъ переворотовъ. И вотъ почему: мнѣ часто предлагали роль исполнителя. Для этого не ожидали даже, чтобы я сталъ министромъ, — а довольствовались моимъ титуломъ генерала. Тогда я говорилъ себѣ: если мнѣ предлагаютъ совершить переворотъ, то это значитъ, что то же самое предлагали уже всѣмъ другимъ. Это соображеніе меня оскорбляло. Я отказывался— по тремъ причинамъ. Я имѣю еще достаточно гордости, чтобы не совершать преступленія противъ отечества. Я находилъ предложеніе глупымъ и неосторожнымъ. И наконецъ, должность, которая досталась бы мнѣ въ результатѣ, казалась бы мнѣ безнадежно скучною. Для государственнаго переворота въ Парижѣ нужно согласіе военнаго министра и парижскаго военнаго губернатора. Я знаю своего друга, генерала Брюжера; онъ бы велѣлъ меня арестовать, еслибы я приступилъ къ исполненію. Я сдѣлалъ бы то же самое съ нимъ, еслибы онъ пытался совершить переворотъ. Пятнадцать лѣтъ тому назадъ можно было толковать о государственномъ переворотѣ. Не армія подготовляла его; мы подчинялись человѣку, который олицетворялъ идею, но мы никогда не думали помогать ему. Тотъ, кто хотѣлъ произвести переворотъ, не обладалъ душою преступника; притомъ генералъ Соссье помѣшалъ бы ему“. Разсказъ Галлифе́ имѣлъ отчасти характеръ разоблаченія; онъ живо напомнилъ попытки, связанныя когда-то съ личностью генерала Буланже́ и неоднократно повторявшіяся позднѣе, при возбужденіи страстей подъ вліяніемъ дѣла Дрейфуса. Процессъ о заговорѣ, разбиравшійся передъ верховнымъ судомъ сената, выставлялся многими въ видѣ неудачной полицейской выдумки, раздутой правительствомъ съ цѣлью избавиться отъ Дерулэда и другихъ опасныхъ дѣятелей оппозиціи; вмѣстѣ съ тѣмъ, министры желали,

будто бы, упрочить свое положеніе, разыгравъ роль спасителей республики. Изъ словъ Галлифè можно видѣть, что покушеніе Дерулэда составляло лишь отдѣльный эпизодъ въ ряду проектовъ и посягательствъ, носившихся, такъ сказать, въ воздухѣ. Предложенія, съ которыми обращались къ тому или другому генералу, дѣлались, конечно, не въ шутку и должны были исходить отъ компетентныхъ лицъ или политическихъ группъ; слѣдовательно, существовало законное основаніе для суда надъ виновниками этихъ затѣй, хотя бы послѣднія оказались на дѣлѣ неудачными и слишкомъ ничтожными по замыслу. Между тѣмъ, дѣло о заговорѣ до сихъ поръ еще ставится въ вину кабинету Вальдека-Руссо, точно такъ же, какъ и взятая имъ на себя миссія защиты республиканскихъ учрежденій, которымъ никто, будто бы, и не угрожалъ.

Въ засѣданіи 11 апрѣля, одинъ изъ ораторовъ правой, Дени Кошенъ, горячо доказывалъ палатѣ, что глава кабинета воспользовался мнимыми опасностями для прямого нарушенія всѣхъ либеральныхъ принциповъ и традицій, и что присутствіе соціалиста Мильерана въ министерствѣ представляетъ угрозу для всѣхъ благонамѣренныхъ гражданъ. Министерство преслѣдуетъ недозволенныя духовныя конгрегаціи, занимающіяся политическою пропагандою, и въ то же время покровительствуетъ ученіямъ коллективистовъ; эта политика, по мнѣнію Кошена, ведетъ къ цезаризму. Вальдеку-Руссо не трудно было отвѣчать на эти обвиненія.— Правительство—заявилъ онъ между прочимъ—противодѣйствуетъ агитаціи монашескихъ орденовъ; но въ этомъ случаѣ оно слѣдуетъ лишь старинной практикѣ, одобряемой самыми консервативными авторитетами. Въ началѣ столѣтія римскій папа и французскій первый консулъ, которые оба не были коллективистами, полагали, что конгрегаціи не особенно нужны для блага государства. Въ странѣ встрѣчается слишкомъ много монаховъ политиканствующихъ и монаховъ - дѣльцовъ. Предоставлять въ ихъ распоряженіе интересы народнаго образованія было бы несогласно съ давнишней программою республиканской партіи. „Министерство можетъ оглянуться на истекшіе десять мѣсяцевъ своего существованія. Наши труды не будутъ признаны безполезными. Мы оставимъ странѣ спокойствіе, котораго она давно уже не знала. Выставка послужитъ свидѣтельствомъ возстановленія нравственнаго мира. Во внѣшнихъ дѣлахъ наша политика была твердая и достойная. Мы не оставили безъ вниманія ни одного изъ крупныхъ интересовъ Франціи".

Республиканское большинство палаты было вполнѣ удовлетворено этими объясненіями Вальдека-Руссо и рѣшило обнародовать его рѣчь во всѣхъ общинахъ страны. Однако, къ общему удивленію, поднялся Мелинъ и повторилъ, хотя и въ другой формѣ, филиппику

Дени Кошена. Бывшій министръ-президентъ, опиравшійся въ свое время на консерваторовъ и клерикаловъ, уличалъ главу кабинета въ отреченіи отъ прежнихъ взглядовъ на соціализмъ и въ чрезмѣрномъ сочувствіи къ рабочему классу. „Я желалъ бы,—говорилъ Мелинъ,—чтобы г. Вальдекъ-Руссо относился къ коллективистамъ, какъ я относился къ правой. Я спрашиваю его, какъ онъ думаетъ примирить свою настоящую политику съ своими предшествовавшими заявленіями. Пусть онъ выскажется о причинахъ преобладающаго вліянія Мильерана въ его кабинетѣ. Пусть онъ объяснитъ снисхожденіе своихъ агентовъ къ красному знамени и вмѣшательство ихъ въ стачки рабочихъ". Шумные протесты постоянно прерывали оратора, и его вопросы остались безъ отвѣта со стороны Вальдека-Руссо, въ виду достаточно яснаго настроенія значительной части палаты. Мелинъ имѣлъ возможность развить свои идеи болѣе пространно и безъ всякихъ стѣсненій, въ собраніи своихъ избирателей въ Ремиремонѣ, 21 апрѣля. Но какія это идеи! Во-первыхъ, Мелинъ остается при убѣжденіи, что не слѣдовало допускать пересмотра дѣла Дрейфуса, и что противники этой мѣры были добрыми французами и патріотами. Во-вторыхъ, по его мнѣнію, нельзя ограничивать учебную и воспитательную дѣятельность монашескихъ орденовъ, которымъ граждане добровольно довѣряютъ своихъ дѣтей. Въ-третьихъ, важнѣйшее преступленіе Вальдека-Руссо заключается въ томъ, что онъ удѣлилъ мѣсто въ своемъ министерствѣ предводителю партіи коллективистовъ, Мильерану, тогда какъ обязанность всякаго республиканскаго правительства—безпощадно воевать съ соціализмомъ и съ рабочимъ движеніемъ. Мелинъ увѣряетъ при этомъ, что онъ твердо стоитъ на почвѣ либеральныхъ принциповъ, что онъ защищаетъ свободу совѣсти и религіи и стремится лишь къ прочному умиротворенію Франціи. Оставляя въ сторонѣ надоѣвшее всѣмъ и къ счастью забытое нынѣ дѣло Дрейфуса, можно только удивляться нетерпимости стараго республиканскаго дѣятеля по отношенію къ рабочимъ и ихъ защитникамъ въ парламентѣ и печати. Будучи ярымъ протекціонистомъ, онъ находилъ справедливымъ поддерживать промышленниковъ и землевладѣльцевъ на счетъ остального населенія и въ томъ числѣ на счетъ рабочихъ, посредствомъ высокихъ охранительныхъ пошлинъ, и въ этомъ поощреніи однихъ въ ущербъ другимъ—богатыхъ на счетъ бѣдныхъ—онъ не усматривалъ признаковъ односторонняго и опаснаго соціализма; а малѣйшее вниманіе къ требованіямъ и жалобамъ трудящихся представляется ему уже чѣмъ-то ненормальнымъ и непозволительнымъ. Мелинъ пользуется репутаціею серьезнаго государственнаго человѣка, и его узкое доктринерство принимается многими за патріотическую мудрость; въ этомъ смыслѣ отзывается о немъ и газета „Temps", вполнѣ солидар-

ная съ нимъ по вопросу о соціализмѣ и Мильеранѣ. Если вѣрить Мелину, онъ имѣетъ за собою общественное мнѣніе въ провинціи, и единомышленники его вовсе не намѣрены сложить оружіе на время выставки; такимъ образомъ, французамъ далеко еще до внутренняго мира, возвѣщеннаго оффиціальными правителями республики.

Разнородный составъ министерства Вальдека-Руссо, столь сурово осуждаемый оппозиціею, не обнаружилъ пока никакихъ неудобствъ и нисколько не отражается на политикѣ кабинета, вообще довольно умѣренной и въ то же время энергической. Что касается Мильерана, то въ сущности онъ ничѣмъ не выдается изъ ряда обыкновенныхъ французскихъ министровъ: онъ говоритъ красиво, съ оттѣнкомъ декламаціи, заботится о внѣшнихъ эффектахъ и впадаетъ въ тѣ же практическія ошибки и увлеченія, какими отличались его предшественники, и какими, вѣроятно, будутъ отличаться его преемники. Онъ настаивалъ на открытіи выставки въ назначенный день, утверждая категорически, что она будетъ безусловно готова, и палата повѣрила ему, вопреки предостереженіямъ скептиковъ. Благоразуміе предписывало отложить оффиціальное празднество еще на одинъ мѣсяцъ, но съ точки зрѣнія авторитета власти казалось необходимымъ буквально исполнить то, чтò было рѣшено правительствомъ и парламентомъ восемь лѣтъ тому назадъ. Важные реальные интересы должны были отступить передъ фикціею, въ силу которой правительство ошибаться не можетъ, и стойкимъ блюстителемъ этой бюрократической рутины явился соціалистъ Мильеранъ, котораго такъ боится Мелинъ. Соціалистическихъ замысловъ Мильерана, какъ министра торговли, никто еще не видалъ, а результаты его оффиціальнаго оптимизма—у всѣхъ передъ глазами. Выставка открылась еще при самомъ разгарѣ приготовительныхъ работъ, и это обстоятельство не только испортило первое впечатлѣніе, но привело также къ весьма печальнымъ послѣдствіямъ, способнымъ компрометтировать выставку въ глазахъ публики. Провалился какой-то мостикъ и задавилъ нѣсколькихъ человѣкъ; въ другомъ мѣстѣ обвалились лѣса, и пострадали рабочіе; чрезмѣрная и никому не нужная спѣшность приготовленій не позволяетъ предупреждать несчастные случаи и вызываетъ справедливыя нареканія, которыхъ легко было избѣгнуть. Будущіе заграничные посѣтители выставки едва ли найдутъ что-либо утѣшительное для себя въ оффиціальномъ сообщеніи о томъ, что въ числѣ погибшихъ при провалѣ мостика не оказалось „ни одного иностранца". Въ этомъ неловкомъ сообщеніи, какъ и во всѣхъ этихъ предварительныхъ неудачахъ, отражается чтò угодно, но только не соціализмъ Мильерана. Если Вальдекъ-Руссо желалъ погубить партію коллективистовъ въ лицѣ ея вождя, или доказать ихъ безвредность для буржуазіи, то онъ не могъ

придумать ничего лучшаго, какъ сдѣлать Мильерана министромъ торговли, отвѣтственнымъ за ходъ дѣлъ по приготовленію и открытію выставки. Разумѣется, въ концѣ концовъ, выставка несомнѣнно будетъ блистательною; но поглощенный ею министръ будетъ лишенъ возможности вспомнить о своемъ теоретическомъ соціализмѣ, и даже неисправимые доктринеры, пугающіеся самаго слова: „соціализмъ", убѣдятся на дѣлѣ, что Вальдекъ-Руссо поступилъ чрезвычайно умно по отношенію къ Мильерану и его парламентской группѣ.

Среди политическихъ тревогъ, вызванныхъ трансваальской войною, пріобрѣтаютъ особенное значеніе факты и слухи, касающіеся дѣйствій и намѣреній руководящихъ государственныхъ дѣятелей Европы; по этой части изобрѣтательность западно-европейскихъ газетъ за послѣдніе мѣсяцы находилась, безспорно, на высотѣ положенія. Предполагалось заранѣе, что великія державы должны непремѣнно воспользоваться затруднительными обстоятельствами Англіи для территоріальныхъ захватовъ или для достиженія какихъ-либо иныхъ выгодъ; а такъ какъ Англія имѣетъ крупные интересы во всѣхъ частяхъ свѣта, то открывался широкій просторъ для всевозможныхъ комбинацій, болѣе или менѣе правдоподобныхъ. Однако, съ теченіемъ времени, публика начинала думать, что это политическое фантазерство не имѣетъ подъ собою почвы; такому повороту общественнаго мнѣнія отчасти способствовало упорное англофильство императора Вильгельма II, выражавшееся неоднократно въ весьма демонстративной формѣ. Неожиданная поѣздка его въ Альтону, для свиданія съ принцемъ Уэльскимъ, который возвращался изъ Копенгагена въ Лондонъ, дала новую пищу для догадокъ и комментаріевъ,—быть можетъ, совершенно неосновательныхъ. Незадолго до того, принцъ Уэльскій подвергся въ Брюсселѣ покушенію со стороны какого-то юнаго безумца, и Вильгельмъ II могъ просто пожелать лично поздравить принца съ благополучнымъ избавленіемъ отъ опасности. Столь же мало связи съ высшей политикою имѣетъ, вѣроятно, и свиданіе двухъ императоровъ, австрійскаго и германскаго, въ Берлинѣ, 6 мая (нов. ст.), по случаю достиженія совершеннолѣтія старшимъ сыномъ Вильгельма II, кронпринцемъ Фридрихомъ-Вильгельмомъ. Глава династіи Габсбурговъ рѣшилъ по собственной инициативѣ отправиться въ Берлинъ на семейный праздникъ Гогенцоллерновъ, и хотя онъ ѣдетъ въ сопровожденіи своего министра иностранныхъ дѣлъ, графа Голуховскаго, но онъ слишкомъ удрученъ годами и заботами, чтобы задаваться при этомъ какими-либо политическими планами. Австро-Венгрія находится не въ такомъ положеніи, чтобы играть самостоятельную активную роль въ круп-

ныхъ международныхъ предпріятіяхъ. Вѣнскій кабинетъ заинтересованъ лишь въ сохраненіи своего традиціоннаго престижа и вліянія, причемъ тѣсный союзъ съ Германіею служитъ для него важною нравственною опорою. Францъ-Іосифъ I, привыкшій нѣкогда смотрѣть на прусскаго короля какъ на своего вассала, вынужденъ теперь признавать и чувствовать свою фактическую зависимость отъ Берлина. Австрійская дипломатія съумѣла еще удержать за собою преобладаніе въ значительной части Балканскаго полуострова; но прежняя предпріимчивость исчезла, и соперничество съ Россіею утратило свой рѣзкій характеръ, уступивъ мѣсто дружественнымъ соглашеніямъ и компромиссамъ. Поэтому трудно также допустить, чтобы Австро-Венгрія имѣла въ виду вмѣшиваться въ дѣла Болгаріи, съ цѣлью ослабить въ ней русское вліяніе при содѣйствіи Германіи,—какъ это приписываютъ графу Голуховскому нѣкоторые иностранные публицисты. Во всякомъ случаѣ, въ Берлинѣ ничего не затѣвается противъ Англіи и въ пользу Трансвааля, а при современномъ международномъ положеніи это значитъ, что въ Европѣ не можетъ быть предпринято ничего подобнаго.

Насколько твердо держится такое политическое направленіе подъ руководствомъ Германіи, можно было видѣть изъ печальной исторіи южно-африканской миссіи, посланной къ великимъ державамъ для просьбы о посредничествѣ въ пользу боэровъ. Делегаты Трансвааля и Оранжевой республики были приняты оффиціально только въ Гаагѣ, гдѣ не могло быть и рѣчи объ оказаніи имъ какого-нибудь содѣйствія; голландская королева и голландское правительство отнеслись къ нимъ какъ къ представителямъ родственнаго народа, и оказали имъ свое гостепріимство, съ пожеланіемъ успѣха въ ихъ усиліяхъ. Между тѣмъ, всѣ европейскіе кабинеты, начиная съ берлинскаго, рѣшительно отклонили какія бы то ни было сношенія съ ними, ссылаясь на то, что для посредничества необходимо согласіе обѣихъ сторонъ, котораго не имѣется въ данномъ случаѣ. Другими словами, никакое посредничество между сильнымъ и слабымъ вообще немыслимо, и просьба о заступничествѣ никѣмъ и нигдѣ не будетъ выслушана, даже послѣ знаменитой Гаагской конференціи! Понятно, что сильнѣйшая сторона никогда не дастъ своего согласія на посредничество постороннихъ державъ и всегда пожелаетъ сохранить полную свободу въ подчиненіи или даже истребленіи противника. Для чего же тогда придуманъ весь арсеналъ „добрыхъ услугъ“ и дружественныхъ мѣръ вмѣшательства съ цѣлью ограниченія кровавыхъ ужасовъ войны? Теорія, выдвинутая въ Берлинѣ и принятая на вѣру другими правительствами, не выдерживаетъ ни малѣйшей критики; но еслибы она и имѣла основаніе, то она вовсе не освобождала бы отъ исполненія простого долга

вѣжливости: можно было, по крайней мѣрѣ, принять и выслушать делегатовъ, не принимая на себя никакого формальнаго посредничества, и даже передать потомъ ихъ желанія лондонскому кабинету для свѣдѣнія. Пассивная передача просьбы ни къ чему не обязывала бы и не соединялась бы ни съ какимъ рискомъ; холодный, отрицательный отвѣтъ ни для кого не былъ бы обидой, а нѣкоторое нравственное воздѣйствіе на Англію было бы все-таки произведено. Наконецъ,—повторяемъ,—не было повода заранѣе отказывать въ допущеніи къ себѣ южно-африканскихъ посланцевъ, хотя бы и при безусловной рѣшимости оставить ихъ ходатайства безъ послѣдствій. Европейская дипломатія отвернулась отъ нихъ какъ отъ зачумленныхъ. Единственный мотивъ этой ненужной жестокости—рутинная боязнь дипломатическаго неудовольствія великой державы, съ которой желательно сохранить дружественныя отношенія. Но мыслимо ли предположить, что отношенія испортились бы подъ вліяніемъ естественной человѣчности къ болѣе слабой сторонѣ? Или эти взаимныя дружественныя отношенія менѣе важны для Англіи, чѣмъ для другихъ государствъ? Всѣ поступили извѣстнымъ образомъ только потому, что такъ сдѣлала Германія, желавшая выказать спеціальную близость или сочувствіе къ британскому правительству. Злосчастные делегаты, встрѣченные въ Европѣ какъ преступники, съ которыми опасно разговаривать,—вынуждены были уѣхать въ Америку, не посѣтивъ ни одной изъ главныхъ европейскихъ столицъ. Въ американскихъ Соединенныхъ-Штатахъ они имѣютъ еще возможность найти доступъ къ общественному мнѣнію и возбудить симпатіи народныхъ массъ, независимо отъ оффиціальныхъ дѣятелей; тамъ они разсчитываютъ на вліятельныхъ союзниковъ, вродѣ бывшаго товарища министра внутреннихъ дѣлъ, Уэбстера-Дэвиса, который занялся усердною агитаціею въ пользу боэровъ послѣ недавней своей частной поѣздки въ Трансвааль. Приближающаяся борьба изъ-за президентскихъ выборовъ дѣлаетъ тамъ и трансваальскій вопросъ предметомъ практическихъ требованій, въ связи съ спорными программами внѣшней политики. Но пока заступится за нихъ Америка, южно-африканскія республики могутъ быть окончательно разгромлены, а Европа съ ея Гаагскою конференціею будетъ попрежнему безучастно слѣдить за кровопролитіемъ, предоставляя англичанамъ довести начатое дѣло до конца.

Замѣчательная сдержанность европейской дипломатіи въ трансваальскомъ вопросѣ, впрочемъ, не оцѣнена по достоинству въ Англіи; напротивъ, англійская печать и англійскіе министры постоянно жалуются на вражду континентальной прессы и на мнимую ненависть

иноземцевъ къ британской націи. Странно видѣть, какъ серьезнѣйшіе люди, не исключая даже лорда Сольсбери, сознательно смѣшиваютъ осужденіе извѣстной политики съ ненавистью къ цѣлой странѣ или націи. Никто въ мірѣ не можетъ питать ненависть къ англійскому народу и къ англійской культурѣ за то, что неразборчивые въ средствахъ британскіе дѣятели втянули Англію въ несправедливую и жестокую войну. Каждому государству случалось поступать несправедливо или безчеловѣчно, и суровая критика подобныхъ дѣйствій часто исходитъ отъ лучшихъ гражданъ и патріотовъ данной державы. Нелѣпая сказка о „ненависти къ Англіи“ занимаетъ теперь обширное мѣсто въ англійскихъ газетахъ, въ видѣ особой рубрики, а между тѣмъ дѣло идетъ лишь объ естественномъ негодованіи противъ актовъ насилія и озлобленія, совершаемыхъ англичанами въ южной Африкѣ. Тогда какъ британскіе офицеры и солдаты, находящіеся уже долго въ плѣну въ Преторіи, сами заявляли о прекрасномъ обращеніи съ ними мѣстныхъ властей, англійское военное начальство, наоборотъ, обнаруживало непростительную небрежность въ размѣщеніи плѣнныхъ боэровъ, содержало ихъ въ невозможной тѣснотѣ на судахъ, при варварскихъ санитарныхъ условіяхъ, безъ врачебнаго ухода, какъ бы умышленно вызывая развитіе среди нихъ эпидемій, или отсылая истощенныхъ, полубольныхъ людей въ далекое плаваніе на островъ Святой Елены. Въ мѣстностяхъ, переходившихъ отъ англичанъ къ боэрамъ и обратно, жители, естественно, должны были подчиняться то тѣмъ, то другимъ, и если англійскія войска возвращались въ покинутую ими область, то ихъ начальники подвергали суровымъ карамъ фермеровъ, нарушившихъ вѣрность во время вынужденнаго отсутствія англійской власти, въ періодъ хозяйничанья боэровъ; надъ виновными или заподозрѣнными лицами устроивалось подобіе суда, и произносились приговоры, возмутительность которыхъ очевидна для всякаго. Можно ли требовать отъ кого-либо сохраненія вѣрности властямъ, которыя дали себя вытѣснить непріятелю или искали спасенія въ бѣгствѣ? Такъ-называемыя наказанія за измѣну при подобныхъ обстоятельствахъ не могутъ быть ничѣмъ оправданы, а между тѣмъ англійскія газеты, съ „Times“'омъ во главѣ, говорятъ еще о необыкновенной снисходительности приговоровъ, въ виду рѣдкаго назначенія ими смертной казни. Репрессаліи противъ туземныхъ обывателей и ихъ семействъ въ занятомъ краѣ, подъ предлогомъ измѣны, придаютъ войнѣ злобный оттѣнокъ и ожесточаютъ обѣ стороны, безъ всякой пользы для хода военныхъ операцій. Еслибы боэры подражали въ этомъ отношеніи англичанамъ, то послѣдніе находили бы такой способъ дѣйствій неслыханнымъ нарушеніемъ международныхъ обычаевъ. Боэры вообще не примѣняютъ правилъ возмездія и не

обращаются къ цивилизованному міру съ протестами противъ военныхъ злоупотребленій англичанъ, которые, съ своей стороны, протестуютъ при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Достаточно вспомнить жалобу англійскаго генерала на то, что боэры употребляютъ запрещенныя пули „думъ-думъ", захваченныя ими у англичанъ и дозволенныя къ употребленію только въ англійскихъ войскахъ. Временный оружейный заводъ въ Іоганнесбургѣ взорванъ англичанами, оставленными въ городѣ въ качествѣ мирныхъ обывателей,—причемъ погибло около 60 иностранныхъ рабочихъ,—и англичане не возмущаются этимъ дикимъ поступкомъ; но можно себѣ представить, къ какимъ репрессаліямъ они бы прибѣгли, еслибы въ чемъ-либо подобномъ провинились противники. Англичане постоянно обвиняли иностранныя державы въ нарушеніи нейтралитета подвозомъ къ Трансваалю скрытыхъ добровольцевъ и даже хлѣбныхъ продуктовъ, а сами безцеремонно вынудили у Португаліи согласіе на прямую перевозку войскъ и орудій черезъ Бейру въ Родезію, для наступленія на трансваальскую территорію съ сѣвера. Такая перевозка предусмотрѣна, правда, договоромъ 1891 года, причемъ имѣлись въ виду надобности военной защиты противъ туземныхъ дикихъ племенъ Родезіи; но воспользоваться этимъ соглашеніемъ для наступательныхъ мѣръ противъ южно-африканской республики, относительно которой Португалія заявила уже раньше о своемъ нейтралитетѣ, и въ то же время утверждать, что нейтралитетъ вовсе не нарушенъ Португаліею,—это уже грубая насмѣшка надъ элементарными началами международнаго права. Понятно, что безпристрастные заграничные наблюдатели не могутъ сочувствовать англичанамъ въ южной Африкѣ, тѣмъ болѣе, что и самая цѣль, громко заявленная Англіею,—завоеваніе территоріи боэровъ,—не заключаетъ въ себѣ ничего симпатичнаго.

Англійскіе патріоты, недовольные или раздраженные вполнѣ естественными чувствами иностранцевъ, обнаруживаютъ ослѣпленіе, которое кажется намъ какою-то психологическою загадкою. Почему они могли думать, что посторонніе народы должны равнодушно или даже одобрительно смотрѣть на завоевательную войну, предпринятую Англіею противъ Трансвааля? Можно было заранѣе предвидѣть, что всѣ будутъ возмущены откровеннымъ цинизмомъ политики, направленной къ захвату чужихъ культурныхъ земель подъ разными благовидными и отчасти пустыми предлогами. И сами англичане первые вознегодовали бы, еслибы какая-нибудь другая держава поступила подобнымъ образомъ, и не разъ они высказывались въ такихъ случаяхъ тономъ глубокаго убѣжденія, во имя оскорбленнаго чувства правды и человѣчности. Умѣя осуждать другихъ, надо понимать и допускать чужую оцѣнку своихъ собственныхъ дѣйствій, и не-

достатокъ этого пониманія представляетъ удивительную особенность современнаго настроенія англичанъ. Британскій премьеръ, лордъ Сольсбери, соединяющій тонкій философскій умъ съ огромною политическою опытностью, раздѣляетъ это непониманіе—или, вѣрнѣе, нежеланіе понимать—съ трезвымъ практикомъ Чемберлэномъ и съ большинствомъ своихъ просвѣщенныхъ или мало-просвѣщенныхъ согражданъ. На банкетѣ въ Лондонѣ, 30 (17) апрѣля, глава кабинета презрительно отозвался о „различныхъ другихъ націяхъ" и объ ихъ „уличной прессѣ", нападающей „съ поразительнымъ единодушіемъ" на Великобританію и клевещущей на ея славныя войска. „Это единодушіе,—прибавилъ премьеръ,—можетъ сравниться только съ равнодушіемъ, съ какимъ принимаетъ его англійскій народъ". Еслибы въ самомъ дѣлѣ англичане относились равнодушно къ общественному мнѣнію „разныхъ другихъ націй", т.-е. всего остального культурнаго міра, то это не могло бы считаться достоинствомъ или заслугою и притомъ противорѣчило бы реальнымъ интересамъ Англіи, для которой хорошія отношенія съ „разными другими націями" тоже не лишены значенія. Британская имперія, при всемъ своемъ могуществѣ, заинтересована не менѣе другихъ великихъ націй въ сохраненіи взаимнаго довѣрія и уваженія между передовыми культурными державами и въ соблюденіи извѣстныхъ общихъ началъ международнаго права, ибо безъ этой общепризнанной основы невозможенъ былъ бы никакой прочный миръ. Гордыя слова лорда Сольсбери опровергаются всею практикою современной политической жизни; они имѣли бы еще смыслъ, еслибы въ числѣ другихъ государствъ не было такихъ же великихъ и сильныхъ, какъ Англія, которыя тоже могли бы съ гордостью повторить эти слова въ примѣненіи къ самимъ себѣ. Бисмаркъ сказалъ, что „нѣмцы никого не боятся, кромѣ Бога"; но онъ никогда не претендовалъ на то, что Германія можетъ обойтись безъ хорошихъ довѣрчивыхъ отношеній съ другими великими народами. Пренебреженіе къ чужимъ націямъ и національное самодовольство являются обычными спутниками ложнаго воинственнаго патріотизма, завладѣвшаго теперь умами въ Англіи; эта странная эпидемія, конечно, пройдетъ вмѣстѣ съ вызвавшими ее обстоятельствами, хотя и оставитъ послѣ себя въ Европѣ нѣкоторое чувство горечи и разочарованія.

ПИСЬМО ВЪ РЕДАКЦІЮ.

По поводу судьбы русскихъ переселенцевъ въ Канадѣ.

М. Г.—Надѣюсь, Редакція не откажетъ мнѣ въ помѣщеніи моего возраженія на тѣ кривотолки, и даже хуже того, вызванные въ петербургской печати тѣмъ участіемъ, какое я считалъ долгомъ принять въ облегченіи печальной участи русскихъ переселенцевъ, изъ духоборовъ, какую они испытали въ Канадѣ. Почти три мѣсяца, все мое время было занято попыткой устроить перемѣщеніе 7.400 душъ изъ Канады въ Калифорнію и Орегонъ, такъ какъ въ Канадѣ ихъ положеніе оказалось просто невыносимымъ.

Еще прошлой осенью были надежды, что если имъ удастся перезимовать, они, можетъ быть, и будутъ въ состояніи оправиться въ будущемъ. По мѣрѣ того, какъ положеніе выяснялось, и эти надежды оказались совершенно неосновательными. Дѣло въ томъ, что тѣ сѣверныя части провинцій Ассинабойны и Манитобы, въ которыхъ они поселились, за суровостью климата не пригодны къ земледѣлію; даже овесъ и ячмень вызрѣваютъ только, въ среднемъ, одинъ годъ изъ трехъ, и прошлымъ лѣтомъ картофель и капуста замерзли во всѣхъ селеніяхъ, кромѣ одного. Земля оттаиваетъ лѣтомъ только на нѣсколько футовъ, а комары и мошки дѣлаютъ жизнь совершеннымъ адомъ,—какъ въ тундрѣ. Работы зимой совсѣмъ нѣтъ, да и какая работа возможна при 50° ниже нуля по Фаренгейту? Квакеры прислали имъ больше $ 20.000^{00}, изъ Россіи—$ 10.000; свыше $ 20.000^{00} было собрано разными лицами въ Европѣ и Америкѣ, кромѣ слишкомъ ста вагоновъ разной провизіи. Только благодаря этимъ пожертвованіямъ, они не перемерли съ голоду, хотя скорбутъ и не переводится между ними, и нынѣшней зимой свирѣпствуетъ особенно сильно. Ихъ вожаки,—изъ интеллигентовъ,—а именно вслѣдствіе ихъ непредусмотрительности и самоувѣренности они попали какъ „куръ во щи", „изъ огня да въ полымя" — скрывали и скрываютъ дѣйствительное положеніе дѣлъ, частію потому, что отвѣтственны за него, а главнымъ образомъ потому, что ихъ собственный фанатизмъ ничего не имѣетъ противъ этихъ страданій. Такъ какъ „естественные" главари духоборовъ, люди изъ ихъ собственной среды, всѣ въ ссылкѣ, то руководятъ ими, такъ сказать, „искусственные духоборы", доходящіе до nec plus ultra, проповѣдующіе, напримѣръ, неупотребленіе желѣза, ѣду немолотаго зерна, спанье на голомъ полу, когда рядомъ стоитъ удобная кровать,—словомъ, они—

royalistes plus que le roi, люди, додумавшіеся, какъ говорится, до чертиковъ, безнадежные маніяки. Подобное крайнее ученіе одержало верхъ уже послѣ того, какъ я переселился въ Америку, и потому не имѣлъ и понятія о томъ, до какихъ крайностей оно можетъ доходить. Признаюсь, я былъ совершенно озадаченъ, когда лично познакомился съ представителями этого совершенно неожиданнаго для меня типа въ лицѣ духоборовъ-ходаковъ, присланныхъ для осмотра Калифорніи. Въ прошломъ декабрѣ они обратились ко мнѣ съ просьбой доставить имъ дешевый тарифъ для осмотра штатовъ; я пустилъ въ ходъ все мое вліяніе здѣсь, всѣ мои знакомства, и мнѣ удалось добыть не только даровой проѣздъ тремъ ихъ представителямъ сюда и обратно, и по всему тихоокеанскому побережью, но и устроить складчину, при помощи которой были покрыты всѣ ихъ расходы во время переѣздовъ и разъѣздовъ, такъ что вся поѣздка не стоила имъ ни гроша. Здѣсь общественное мнѣніе, вообще, крайне отзывчиво—мнѣ удалось своевременно заинтересовать судьбою духоборовъ, и насъ засыпали самыми разнообразными предложеніями въ ихъ пользу. Были предложены деньги на перевозку ихъ и семействъ; отведены земли безъ гроша денегъ, по номинальной цѣнѣ въ $2^1/_2$ доллара за акръ съ водой; работа по два доллара въ день круглый годъ; одинъ старикъ-прогибиціонистъ, генералъ Бидвэль, архимилліонеръ, предложилъ огромное мѣсто за треть его дѣйствительной рыночной стоимости. Едва ли мнѣ нужно послѣ всего этого упоминать, что въ статьѣ г. Сигмы: „Духоборы въ Калифорніи", въ „Новомъ Времени", нѣтъ *ни одного слова* правды: у S. P. R. R. C° нѣтъ совсѣмъ земли въ Калифорніи, всѣ предложенія шли отъ частныхъ лицъ, и никто, конечно, не ожидалъ никакихъ коммиссій. Напротивъ, въ этомъ общественномъ возбужденіи было очень много крайне симпатичныхъ сторонъ,—что̀ вполнѣ ясно уже изъ одного того, что переселеніе и устройство 7.400 абсолютныхъ нищихъ сдѣлалось вполнѣ достижимымъ. Я утверждаю это совершенно положительно, со всѣми необходимыми документами въ рукахъ. Вѣроятно, г. Сигма хотѣлъ съ лихвой отплатить мнѣ своей нечистоплотной инсинуаціей и раскрытіемъ моего псевдонима за то радушное гостепріимство, которое я и моя семья оказали ему, когда, года два тому назадъ, онъ гостилъ у насъ около недѣли проѣздомъ изъ Китая въ Россію.

Къ сожалѣнію, когда имѣешь дѣло съ такими „поврежденными", каковы интеллигенты-вожаки духоборовъ,—никакъ нельзя ручаться за результаты. Они нашли, что въ Калифорніи слишкомъ много роскоши, что разведеніе фруктовъ—„дѣло барское", что „ихъ народъ избалуется". Главный изъ нихъ, А. М. Бодянскій, открыто говорилъ нѣсколько разъ, что переѣзжать имъ изъ Канады въ Калифорнію

отнюдь не слѣдуетъ, такъ какъ для нихъ шансовъ „терпѣть и околѣвать“ тамъ, гдѣ они теперь живутъ, гораздо больше. Словомъ, произошло нѣчто совершенно несообразное, дикое. Уже при разставанiи съ ними, передъ ихъ возвращенiемъ домой, я опасался, что изъ всей этой массы труда и расходовъ ничего не выйдетъ, такъ какъ люди эти имѣютъ удивительно превратныя понятiя о вещахъ,—и дѣйствительно, я получилъ окончательную телеграмму отъ нихъ, что переселенiе не состоится. Не знаю еще, чѣмъ это рѣшенiе будетъ мотивировано, но убѣжденъ, что фанатизмъ ихъ вождей несомнѣнно послужитъ его дѣйствительной основой. Всякому безконечно жаль канадскихъ духоборовъ-мужиковъ, а между тѣмъ, тѣ же вожаки сообщили мнѣ, что еще новыя тысячи ихъ ожидаются будущимъ лѣтомъ изъ Россiи. Подъ такимъ руководствомъ, и при существующихъ условiяхъ жизни въ Канадѣ, всѣмъ этимъ несчастнымъ грозитъ голодная смерть. Я пишу все это, чтобы познакомить васъ съ дѣйствительной фактической стороной дѣла и отвѣтить на сообщенiе г. Сигмы.

Мнѣ очень хотѣлось бы описать подробнѣе дѣйствительное положенiе духоборовъ въ Канадѣ и мою попытку вырвать ихъ изъ него, а главное—ихъ удивительныхъ вожаковъ; но не знаю, насколько это мнѣ удастся...

П. А. Тверской.

Лосъ-Анжелесъ,
Калифорнiя.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 мая 1900.

— Д. Михайловъ. Аполлонъ Григорьевъ, жизнь въ связи съ характеромъ литературной дѣятельности его. Съ портретомъ. Спб. 1900.

— Л. М. Шахъ-Пароніанцъ. Критикъ-самобытникъ, Аполлонъ Александровичъ Григорьевъ. (Къ XXXV-лѣтію со дня его смерти). Біографическій очеркъ съ портретомъ. Спб. 1899.

Объ Аполлонѣ Григорьевѣ вспомнили, какъ это теперь въ обычаѣ, по ариѳметическимъ соображеніямъ: сколько лѣтъ прошло послѣ его смерти. Безъ сомнѣнія, онъ требовалъ бы воспоминанія и безъ этихъ случайныхъ соображеній: это былъ писатель оригинальный, страстно преданный интересамъ русской литературы, стремившійся отыскать глубокій художественно-національный смыслъ русской поэзіи, и даже при несогласіи съ тѣми или другими его взглядами внушавшій уваженіе этой постоянной работой надъ разъясненіемъ русскаго художественнаго и національнаго идеала. При жизни, Ап. Григорьевъ не имѣлъ особеннаго успѣха внѣ одного литературнаго круга; впослѣдствіи онъ былъ нѣсколько забытъ,—между прочимъ, какъ намъ кажется, и по винѣ его друзей. Онъ умеръ въ 1864; только въ 1876 ближайшій изъ его друзей, Н. Н. Страховъ, началъ изданіе его сочиненій, но остановился на первомъ томѣ, который и до сихъ поръ остается единственнымъ,—и такимъ образомъ для читателя (который не можетъ предпринять библіотечныхъ изслѣдованій) не было возможности познакомиться ни съ полнымъ составомъ его литературнаго труда, ни съ его біографіей. Жаловались потомъ, что первый томъ шелъ „туго", но одной изъ причинъ этого было то, что онъ былъ только началомъ: одинъ „первый" томъ изданія вообще не имѣетъ шансовъ на успѣхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что великой популярности и вліянію Бѣлинскаго въ новыхъ поколѣніяхъ не мало помогли „двѣнадцать" томовъ его сочиненій.

О забытомъ писателѣ рѣшили напомнить два новѣйшихъ біографа.

Г. Михайловъ дѣлаетъ это въ небольшой книжкѣ, написанной въ высокопарномъ тонѣ, но весьма мало удовлетворительной.

Въ самомъ началѣ авторъ исполненъ негодованія противъ общества, забывающаго своихъ замѣчательныхъ дѣятелей. „По всей справедливости намъ слѣдовало бы начать наши строки о Григорьевѣ сѣтованіями на наше общество. Оно, помня литературныя имена одного разряда, съ какимъ-то *непонятнымъ основаніемъ*, забываетъ имена другихъ. Какъ будто въ однихъ именахъ все рѣшеніе и утвержденіе дѣла, а въ другихъ, преданныхъ забвенью, отрицаніе и искаженіе его (?). Вообще не нужно быть особенно одареннымъ свыше (?), чтобы не замѣтить много любопытныхъ явленій въ исторіи развитія нашего общественнаго сознанія, не нужно быть и особенно конгеніальнымъ (?), чтобы не замѣтить подкладки этой исторіи. Отношенія нашего общества къ своимъ писателямъ, къ тѣмъ изъ нихъ, которые наиболѣе потрудились ему на пользу, которые жизнь свою отдали исключительно его духовнымъ интересамъ, не вызваны ни справедливостью къ ихъ трудамъ и признаннымъ истинными цѣнителями заслугамъ, ни любовью къ содержанію ихъ дѣятельности, ни чувствомъ признательности за полученное духовное содержаніе. Таково общее нравственное состояніе нашего общества". Если такъ, то, значитъ, нѣтъ того „непонятнаго основанія", о которомъ авторъ говорилъ выше; онъ тотчасъ же открылъ это основаніе, и самъ говоритъ, что для этого не надо даже быть „одареннымъ свыше".

Но выводъ объ „общемъ нравственномъ состояніи нашего общества" есть, однако, выводъ легкомысленный. Наше общество, правда, не богато образованіемъ; но авторъ говоритъ, конечно, не о людяхъ, совсѣмъ чуждыхъ литературнымъ интересамъ; что же касается „общества" съ нѣкоторой образованностью, то взвести на него такое обвиненіе несправедливо. Даже элементарныя книжки по исторіи литературы стараются съ „признательностью" называть всѣ заслуженныя имена людей, потрудившихся на пользу русскаго просвѣщенія и литературы. Вся выписанная тирада есть простая неумѣлая реторика, долженствующая приготовить читателя къ восхваленію Аполлона Григорьева.

Читаемъ дальше. „Изъ тысячи, вспомнимъ только одно типическое явленіе—что *мы дѣлали* съ Пушкинымъ съ января 1837 года до іюня 1880 года. Исторія одного этого явленія можетъ привести въ отчаяніе любителя родной словесности". Но отчаяніе „любителя" было бы совсѣмъ неразумно. Съ 1837 до іюня 1880 произошло многое, между прочимъ такое, что̀ могло бы „любителя" порадовать, а другое, что̀ могло бы казаться неблагопріятнымъ, онъ съумѣлъ бы объяснить. По смерти Пушкина изданы были замѣчательныя произве-

денія, которыхъ онъ самъ не успѣлъ напечатать; изданіе было не совсѣмъ удовлетворительно,—но оно сдѣлано было друзьями Пушкина, одними, получившими право на это, и слѣдовательно „общество“ въ недостаткахъ изданія было неповинно. Само оно отозвалось тѣмъ, что изданіе дало поводъ къ знаменитымъ статьямъ Бѣлинскаго, которыя дали обширный эстетическій комментарій къ произведеніямъ Пушкина, сохранившій свою цѣнность донынѣ. Въ началѣ пятидесятыхъ годовъ, въ новомъ литературномъ поколѣніи, сдѣланъ былъ другой важный трудъ для изученія Пушкина—изданіе Анненкова. Еслибы г. Михайловъ не гонялся за громкими, но безсодержательными фразами, онъ долженъ былъ бы увидѣть важность этого дѣла въ тѣхъ условіяхъ, при которыхъ оно исполнялось: Анненковъ самъ впослѣдствіи разсказалъ исторію своего труда, и изъ нея, напримѣръ, можно было бы понять, какая была при этомъ роль „общества“. Изданіе Анненкова дало толчокъ къ изслѣдованіямъ Пушкина—между прочимъ впервые къ біографическому и историческому комментарію, который въ прежнее время былъ невозможенъ, опять по причинамъ, совершенно не зависѣвшимъ отъ „общества“. Около 1860 года явились статьи Писарева, относительно которыхъ не могутъ до сихъ поръ успокоиться защитники Пушкина и „искусства“; защитники могли бы, однако, успокоиться тѣмъ, что значеніе Пушкина не потерпѣло никакого ущерба отъ нападеній Писарева, и что послѣднія,—кромѣ того, что сами имѣли объясненіе въ условіяхъ времени,—еще способствовали углубленію изслѣдованій о Пушкинѣ: возраженія и отрицанія заставили обратить вниманіе на такія стороны въ дѣятельности Пушкина, которыя нуждались въ объясненіи,—Писаревъ отрицательно содѣйствовалъ этому объясненію. Еслибы „любители родной словесности“ были лучше знакомы съ исторіей, имъ нечего было бы приходить въ „отчаяніе“, потому что они понимали бы исторію отношеній общества къ Пушкину въ разныхъ условіяхъ самого общества и его настроеній; они припомнили бы, что примѣры отрицательнаго отношенія къ Пушкину бывали еще и въ его время,—напр. у Надеждина.

Далѣе (стр. 6) г. Михайловъ разсуждаетъ: „Да, послѣ этого стократъ правъ Щедринъ, съ болью въ сердцѣ звавшій: „гдѣ ты, читатель,—отзовись!“ Насъ оскорбило (?!) это восклицаніе стараго писателя; мы тогда еще не помышляли о печатномъ авторствѣ, находясь въ числѣ тѣхъ, къ кому отнесся Щедринъ. Но съ теченіемъ времени —при видѣ голыхъ фактовъ—мы признали справедливость этого возгласа (?) и съ болью въ сердцѣ согласились съ нимъ“. Не совсѣмъ вразумительно.

Г. Михайловъ—великій поклонникъ Аполлона Григорьева, и его книжка есть постоянный панегирикъ Григорьева и обличеніе тѣхъ,

кто не умѣлъ его оцѣнить. Къ сожалѣнію, панегирикъ не весьма обстоятельный и вноситъ мало—почти ничего—новаго послѣ того, что̀ сказано было Страховымъ и самимъ Григорьевымъ въ его „Литературныхъ и нравственныхъ скитальчествахъ". Стиль—какъ выражаются теперь—вездѣ „приподнятый", другими словами, натянутый и неестественный.

Первая характеристика Григорьева заключается въ выпискѣ изъ его сужденій о Пушкинѣ,—о чемъ г. Михайловъ говоритъ: „еслибъ Григорьевъ ни одной печатной строчки не оставилъ, какъ знакъ своей литературной дѣятельности, послѣ этихъ строкъ о Пушкинѣ,—то уже по одному этому проницательный взглядъ призналъ бы великость дарованія писателя, такъ близко съумѣвшаго подойти и понять геніальную душу великаго нашего поэта",—и въ выпискахъ изъ Страхова; кромѣ того, еще нѣсколько разъ повторены выраженія негодованія противъ малой культурности нашего общества, не умѣвшаго понять такого критика.

Затѣмъ слѣдуютъ біографическія свѣдѣнія. „Возстановимъ эту жизнь по матеріаламъ (какимъ?), оставляя въ сторонѣ перифразъ и пережевываніе ихъ (?)",—дальше только оказывается, что матеріаломъ должны были служить воспоминанія Григорьева объ его „скитальчествахъ". Онъ происходилъ изъ дворянской чиновничьей среды и родился въ Москвѣ, въ 1822, „на Тверской" (стр. 16). „Отрочество волею судьбы (?) ему пришлось провести въ другой части первопрестольной столицы нашей, на Болвановкѣ, а младенчество въ Замоскворѣчьѣ",—какъ будто онъ волею судьбы сначала прожилъ отрочество, а потомъ младенчество. Но сейчасъ же (стр. 17) оказывается, что онъ и родился не на Тверской: „Григорьевъ (въ своихъ воспоминаніяхъ) отводитъ большое значеніе факту своего *рожденія въ Замоскворѣчьѣ*. Вѣра и любовь къ своему, родному здѣсь впервые были глубоко заложены въ его душу". Читателю предоставляется рѣшать, какъ знаетъ, гдѣ же родился Григорьевъ. Такъ или иначе, въ Замоскворѣчьѣ (гдѣ проведено было младенчество) „какъ *въ* Таганкѣ, *въ* Ордынкѣ, на Болвановкѣ", сосредоточивалась и „упрямо замкнулась старая жизнь": отсюда и задатки народнаго направленія. „Не забудемъ, что эпоха 12-го года *еще вѣяла въ воздухѣ* Москвы поры младенчества Григорьева. Не забудемъ также и того, что эпоха предшествующаго XVIII вѣка еще *шелестила въ воздухѣ* земской Москвы" (стр. 18). Образно-поэтическіе обороты видимо нравятся автору; дальше (стр. 35), упоминая о двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, г. Михайловъ выражается такъ, что „*въ воздухѣ* этого двадцатилѣтія *шуршало* (!) еще иное *вѣяніе*: борьба романтизма съ классицизмомъ". Но поклоненіе Григорьеву не избавляетъ автора отъ галлицизмовъ: „Чут-

кій, впечатлительный ребенокъ *Григорьевъ,—отъ него* не убѣжала эта старая жизнь нашихъ предковъ" и пр. (стр. 18). И здѣсь опять читатель въ недоумѣніи: только-что упомянуто было символическое значеніе Болвановки, и авторъ говоритъ уже, что „Болвановка не влекла Григорьева".

Литературная дѣятельность Григорьева изложена въ упомянутомъ высокопарномъ, въ сущности нескладномъ, тонѣ, такъ что передать взглядъ автора довольно трудно. Ограничимся нѣсколькими образчиками. „Къ концу 30-хъ годовъ (у насъ) повѣяло Гегелемъ... Страстный, чуткій, жадный и смѣлый ловецъ новаго, Бѣлинскій почуялъ тягу (?) и отдался могучему вѣянію. Но Григорьевъ, молодой человѣкъ съ ярко выраженными поэтическими наклонностями, не поддался этому вѣянію"—его симпатіи лежали на сторонѣ Шеллинга, у котораго, по признанію автора, Григорьевъ и взялъ основу своей „органической критики". Характеры двухъ знаменитыхъ философовъ авторъ изображаетъ такъ: „Гегель тихій, спокойный, мало возмущающійся (?); Шеллингъ—страсть, огонь; Гегель—сильный аналитическій умъ, Шеллингъ—искрометный геній; Гегель—воплощеніе труда, кропотливаго собиранія кропотливыхъ (?) фактовъ;... Гегель медленно добирался до зерна истины, Шеллингъ прямо смотрѣлъ въ корень дѣла, ясно видѣлъ суть явленій" (стр. 53). Эта геніальность и увлекла Григорьева; но—„Шеллингъ закончилъ жизнь индифферентизмомъ и мистицизмомъ, т.-е. такими фактами, которые ясно показываютъ, что жизнь проведена безплодно" (стр. 56). Читатель опять оставляется въ недоумѣніи объ этой безплодности генія, „смотрѣвшаго въ корень дѣла",—особливо когда вслѣдъ затѣмъ оказывается, что „основная черта философской манеры Шеллинга поразительно совпадаетъ съ аналогичной чертой писательской манеры Григорьева" (стр. 60).

Отъ настойчиваго панегириста можно было бы ожидать, что онъ дастъ основанія своего панегирика,—изложитъ ученіе „несравненнѣйшаго Аполлона Александровича" и хоть сколько-нибудь объяснить, почему онъ былъ такъ мало понятъ и современниками, и потомствомъ. Къ сожалѣнію, авторъ о первомъ говоритъ только общими, довольно темными фразами, а о второмъ совсѣмъ умалчиваетъ,—развѣ сказавъ только, что въ то время въ журналистикѣ „циркулировала (?) преимущественно западническая критика". Но самъ же авторъ приводитъ, изъ воспоминаній Григорьева, что и „западническая" критика иногда не скупилась на похвалы, когда находила въ работахъ Григорьева здравое пониманіе художества. Григорьевъ былъ, однако, чрезвычайно неровенъ и лишенъ чувства мѣры. „Главное, отъ чего страдалъ Григорьевъ, было постоянное стремленіе къ энтузіазму, къ тому самому энтузіазму, въ которомъ заключалась вся его сила какъ

критика и писателя. Минуты, когда онъ *писалъ* самыя тайныя *біенія жизни* (?), воплощенныя искусствомъ, были настоящими, живыми минутами Григорьева. Но за ними слѣдовалъ упадокъ силъ, при которомъ весь личный міръ человѣка тускнѣетъ и обезцвѣчивается; неизбѣжно слѣдовало смутное и тревожное *исканіе идеала въ своей собственной жизни* (?). Вотъ почему Григорьевъ былъ человѣкъ въ высшей степени напряженный" и т. д. (стр. 95). Не совсѣмъ понятно; но кажется намъ, что „постоянное стремленіе къ энтузіазму" было, пожалуй, не силою, а слабою стороною въ дѣятельности Григорьева: энтузіазмъ не можетъ быть постояннымъ настроеніемъ писателя-критика, и даже не долженъ быть, потому что въ дѣятельности критика долженъ быть не только энтузіазмъ къ искусству, но и теоретическое его объясненіе, для котораго мало энтузіазма, но также нужны средства чисто научныя—психологія, исторія, логика и т. д. Еслибы біографъ обратилъ вниманіе на то, что̀ имѣли противъ Григорьева представители другого направленія, онъ, быть можетъ, увидѣлъ бы, что ихъ холодное или отрицательное отношеніе къ Григорьеву не было лишено основаній. Въ одномъ мѣстѣ своего изложенія г. Михайловъ привелъ отзывы самого Григорьева объ его раннихъ трудахъ. „Въ 1846 году я редактировалъ Пантеонъ, со всѣмъ увлеченіемъ и азартомъ городилъ въ стихахъ и повѣстяхъ ерундищу непроходимую. Но зато свою, не кружка... Я уѣхалъ въ Москву и тамъ несъ азартъ въ „Городскомъ Листкѣ", но опять-таки свой азартъ, и былъ обруганъ" и т. д. Въ послѣдніе годы дѣятельности ближайшими друзьями Григорьева были Страховъ и Достоевскій; но оказывается, что и здѣсь труды Григорьева не всегда встрѣчали полное довѣріе. Повидимому, уже здѣсь, въ отзывахъ самого Григорьева и въ нѣкоторыхъ опасеніяхъ друзей, былъ бы поводъ вникнуть въ вопросъ, но біографъ такъ и оставилъ это безъ объясненія; нѣтъ рѣчи и о томъ, что̀ возражали Григорьеву его противники.

Въ эпиграфѣ къ своему сочиненію г. Михайловъ приводитъ слова Григорьева изъ статьи его по поводу „Дворянскаго Гнѣзда" Тургенева (1859): „Дурно ли, хорошо ли—я продолжаю въ этомъ отношеніи (т.-е. въ отношеніи художественной критики) дѣло Бѣлинскаго и горжусь этимъ смиреннымъ назначеніемъ,—не отвѣчая ни на циническія выходки невѣжества, ни даже на минутныя требованія современности, предоставляя будущему разсудить, что̀ право: вѣрованіе ли въ жизнь и искусство, или вѣрованіе въ теорію и вопросы минуты?" Г. Михайловъ начинаетъ затѣмъ свое изложеніе такъ: „Въ этихъ словахъ слышно упорное убѣжденіе покойнаго критика въ правоту (въ правотѣ?) своего дѣла: въ нихъ же уже есть намекъ на оцѣнку этого дѣла"... Намъ представляется, что уже въ этихъ словахъ Гри-

горьева и его біографа кроются недоразумѣнія, которыя въ книгѣ г. Михайлова такъ и остаются нерѣшенными: въ чемъ заключается противорѣчіе жизни и искусства съ одной стороны, и теоріи и вопросовъ минуты съ другой? въ какомъ смыслѣ Григорьевъ продолжалъ дѣло Бѣлинскаго? „Жизнь“ есть только сплетеніе и цѣлое изъ „вопросовъ минуты“, а въ концѣ пятидесятыхъ годовъ вопросы минуты,—которыхъ литература не имѣла тогда даже возможности излагать во всемъ ихъ объемѣ,—были глубокіе, историческіе; это были вопросы реформы и общественнаго обновленія. „Искусство“, когда идетъ рѣчь объ его истолкованіи, необходимо требуетъ „теоріи“,—въ чемъ же именно противоположность? Григорьевъ самъ хочетъ считать себя продолжателемъ Бѣлинскаго,—но біографъ объясняетъ, что взгляды Бѣлинскаго и Григорьева были совсѣмъ различны...

Книжка г. Шахъ-Пароніанца гораздо лучше, болѣе обстоятельно разсказываетъ біографію и излагаетъ литературную дѣятельность Григорьева, но, какъ дальше замѣтимъ, опять не свободна отъ крупныхъ недостатковъ. Въ предисловіи авторъ также начинаетъ жалобами и негодованіями на современниковъ и потомство, которые не умѣли оцѣнить великаю критика. „Писатель, жизнь котораго преисполнена безпрерывной геройской внутренней и внѣшней борьбы, дорогихъ побѣдъ и горькихъ неудачъ, важныхъ заслугъ передъ родиной и тяжкихъ обидъ со стороны современниковъ, достоинъ во имя глубокой признательности потомства болѣе искуснаго пера... Главной задачей составителя жизнеописанія А. А. Григорьева служитъ—напомнить сообща съ голосами друзей покойнаго и лучшихъ русскихъ людей обществу о даровитѣйшемъ критикѣ, честно по гробъ свой ратовавшемъ за пробужденіе народнаго самосознанія, за самостоятельность изящнаго искусства и литературы и за развитіе правильныхъ эстетическихъ воззрѣній и вкуса. Такой голосъ необходимъ, и понадобится еще не одинъ до тѣхъ поръ, пока труды Аполлона Григорьева, составлявшіе его плоть и кровь (?), покоятся въ архивной пыли на пожелтѣвшихъ страницахъ отошедшихъ въ вѣчность органовъ печати, и пока наслѣдники его или другія лица, предпочитающія затрачивать крупныя суммы денегъ на печатаніе различныхъ курьезовъ западно-европейской мысли (?), не расщедрятся хоть сколько-нибудь на изданіе полнаго собранія сочиненій критика-самобытника“ и пр.

Мы замѣчали выше, что вина этого лежитъ отчасти на самихъ друзьяхъ Григорьева, которые слишкомъ поздно задумали издать его сочиненія, и тутъ остановились на одномъ первомъ томѣ: *одинъ* томъ не могъ возбудить интереса, который могло бы вызвать цѣлое изданіе; извѣстно кромѣ того, что наши читатели, т.-е. покупающіе книги,

относятся недовѣрчиво къ *началамъ* изданій, которыя иногда не имѣли конца,—какъ и въ данномъ случаѣ. — Далѣе, когда сочиненія Григорьева стали уже фактомъ миновавшаго литературнаго періода, онѣ нуждались въ біографическомъ и историко-литературномъ комментаріи,—который всего ближе было дать его литературнымъ друзьямъ и союзникамъ. Этого комментарія не было,—потому что такимъ нельзя считать ни воспоминаній Страхова, ни тѣхъ двухъ книжекъ, о которыхъ мы говоримъ.

Въ нихъ, особенно въ первой, нѣтъ яснаго изложенія ни самыхъ идей Григорьева, ни его историко-литературнаго положенія, въ которомъ опредѣлились бы его отношенія къ другимъ направленіямъ,—а можетъ быть, опредѣлились бы и причины того, почему онъ не занялъ руководящаго положенія, какого требуютъ для него его панегиристы. Г. Шахъ-Паронiанцъ обстоятельнѣе г. Михайлова, сообщаетъ больше данныхъ о литературной дѣятельности Григорьева,—но и онъ не чувствуетъ, что его защита Григорьева для многихъ читателей будетъ не убѣдительна, и даже поселитъ прямое недовѣріе, выборомъ тѣхъ писателей, на которыхъ опирается его защита. Укажемъ одинъ примѣръ. Недавняя почесть, отданная памяти Бѣлинскаго и выразившаяся въ цѣлой литературѣ о немъ, была, безъ сомнѣнія, указателемъ той исторической оцѣнки, которая сложилась въ сознаніи поколѣній, не видѣвшихъ его труда непосредственно и только испытавшихъ его вліяніе исторически. Новѣйшій защитникъ Григорьева не видѣлъ этого и счелъ нужнымъ отыскивать въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ 1895 только злостные отзывы о Бѣлинскомъ и инсинуаціи противъ писателей, которыхъ причисляютъ къ его школѣ: этимъ оба автора думали возвысить Григорьева,—когда, какъ выше упомянуто, самъ Григорьевъ, въ зрѣлую пору его дѣятельности, хотѣлъ именно считать себя продолжателемъ Бѣлинскаго. Защитникъ Григорьева не чувствовалъ, что унижаетъ своего героя, когда ищетъ своихъ союзниковъ между обскурантами... Кромѣ этого союзника изъ „Московскихъ Вѣдомостей“, онъ нашелъ и другого, еще худшаго.

Изъ того, что намъ не нравятся эти книжки, пусть читатель не заключаетъ, что мы относимся враждебно къ самому Григорьеву. Онъ займетъ почетное мѣсто въ исторіи своего литературнаго періода, какъ искренній идеалистъ, какъ даровитый писатель, ревностный почитатель искусства, для котораго искалъ народной жизненной основы,—хотя въ то же время писатель, увлекавшійся до странныхъ крайностей, какъ романтикъ на славянофильской почвѣ. Но очень жаль, что пока онъ нашелъ только неумѣлыхъ защитниковъ; не давая правильнаго понятія о его литературномъ дѣлѣ, эти защитники только вредятъ его исторической памяти, когда дѣлаютъ его союзникомъ или

предшественникомъ такихъ новѣйшихъ тенденцій, которыя не способны внушать какое-либо сочувствіе.—Д.

— Л. Василевскій. Современная Галиція. Спб. 1900.

Въ нашей литературѣ, особливо газетной, за послѣднее время опять возникаютъ толки о славянскихъ народахъ и славянскихъ дѣлахъ,—нѣсколько заглохшіе послѣ окончанія русско-турецкой войны и берлинскаго трактата, въ результатѣ которыхъ явилась „оккупація“ Боснии и Герцеговины или передача ихъ въ „сферу австрійскаго вліянія“... Мы читаемъ опять о новыхъ надеждахъ славянскаго дѣла, напр. о русскомъ языкѣ, какъ будущемъ литературномъ языкѣ славянства, и т. п. Странно при этомъ одно,—что въ массѣ общества имѣются только очень смутныя свѣдѣнія о славянствѣ: въ литературѣ ученой есть не мало важныхъ изслѣдованій о разныхъ предметахъ славянскаго языка и исторіи, но и въ этой литературѣ, кромѣ книги г. Ровинскаго о Черногоріи,—единственной въ своемъ родѣ,—нѣтъ цѣльныхъ описаній славянскихъ земель, съ ихъ прошлымъ и особенно настоящимъ, въ которомъ совершается броженіе ихъ развитія и ихъ борьба за племенную особность. Здѣсь наша литература имѣетъ только или переводы, или отрывочныя журнальныя и газетныя статьи.

Поэтому мы съ любопытствомъ встрѣтили книгу г. Василевскаго, но въ концѣ концовъ и эта книга не измѣняетъ того, что̀ мы говорили относительно скудости нашей литературы о славянствѣ.

Въ предисловіи авторъ такъ объясняетъ важность для насъ знакомства съ Галиціей:

„Если для русскаго читателя большой интересъ представляютъ описанія могущественныхъ политически, богатыхъ и просвѣщенныхъ странъ, то это вполнѣ понятно. Вѣдь въ этихъ странахъ такъ много любопытнаго и поучительнаго, что съ ними, дѣйствительно, стоитъ познакомиться. Но что̀ же можетъ дать русскому читателю книжка о Галиціи?—спроситъ кто-нибудь. Вѣдь извѣстно, что Галиція — маленькая и бѣдная страна, съ темнымъ, преимущественно крестьянскимъ населеніемъ, лишенная крупной промышленности, ничѣмъ выдающимся не заявившая себя передъ лицомъ Европы. На это можно отвѣтить, что именно ознакомленіе съ такой страной, какъ Галиція, даетъ очень много“.

Авторъ продолжаетъ разсуждать, что если высокая культура тѣхъ сильныхъ странъ достигнута цѣной напряженнаго труда многихъ вѣковъ, то невольно является мысль: „куда ужъ намъ тягаться съ этими

просвѣщенными и богатыми странами! Намъ ихъ не только обогнать, но и не сравняться никогда съ ними".

„Но вотъ, если наши читатели ознакомятся съ Галиціей, со страной, которая давно потеряла политическую независимость, которая въ теченіе *ста лѣтъ* была немилосердно угнетаема и эксплуатируема, о развитіи которой никто не заботился долгіе годы, то они вздохнутъ съ облегченіемъ".

Причина облегченія должна заключаться въ зрѣлищѣ замѣчательнаго развитія Галиціи за послѣднія десятилѣтія.

„Прошло всего тридцать лѣтъ съ тѣхъ поръ какъ Галиція свободно вздохнула, а между тѣмъ, что же мы видимъ? Галиція по прежнему страна бѣдная, оправляющаяся крайне медленно, но какія перемѣны произошли въ ней въ послѣднее время! Изъ совершенно темнаго края, съ невѣжественнымъ населеніемъ, Галиція превратилась въ культурную страну, которая дѣлаетъ *быстрые шаги впередъ*" (Но сейчасъ только было сказано, что движеніе Галиціи *крайне медленно*?). „Сильное уменьшеніе количества неграмотныхъ, увеличеніе числа школъ среднихъ и низшихъ, развитіе высшихъ учебныхъ заведеній, плодотворная дѣятельность общества на поприщѣ народнаго просвѣщенія, развитіе кустарной промышленности, хозяйственная организація крестьянства, зачатки фабричной промышленности, возникновеніе ученыхъ обществъ, ростъ повременной печати и т. д.,—все это результаты, которыхъ Галиція достигла въ теченіе тридцати лѣтъ, начиная работу почти на каждомъ поприщѣ съ начала".

Но кромѣ этого явленія, „сравнительно блестящихъ результатовъ", достигнутыхъ Галиціей вслѣдствіе того, что она получила „условія правильнаго развитія",—Галиція интересна для насъ еще тѣмъ, что это — ближайшая сосѣдка Россіи, населенная тѣми же поляками и малоруссами, которые населяютъ царство польское и юго-западный край, и притомъ въ довольно сходныхъ хозяйственныхъ отношеніяхъ. Авторъ думаетъ, что поэтому „развитіе Галиціи можетъ быть указаніемъ на то, какимъ путемъ пойдетъ (?) развитіе Запада Россіи. На примѣрѣ Галиціи можно видѣть, какія средства лучше всего примѣнимы для хозяйственнаго развитія крестьянства и т. д.". Авторъ именно и хотѣлъ въ своей книжкѣ указать культурные успѣхи Галиціи.

Начало этихъ успѣховъ авторъ, какъ мы видѣли, полагаетъ за тридцать лѣтъ назадъ, именно съ тѣхъ поръ, какъ Австрія, потерпѣвъ пораженіе въ войнѣ съ Пруссіей, „должна была порвать съ своей прежней политикой". Прежняя политика заключалась въ стремленіи германизовать Галицію и въ нѣмецкомъ бюрократическомъ гнетѣ;—теперь правительство увидѣло, что „всякому народу слѣдуетъ дать право развиться самостоятельно и самому черезъ своихъ представителей рѣ-

шать свою судьбу“ (стр. 13—14). Такимъ образомъ Галиція пріобрѣла самоуправленіе и просторъ для общественной инициативы, которые и дали возможность ея культурныхъ успѣховъ. Прежде Галиція считалась „очагомъ анти-правительственныхъ происковъ“, когда германизація и бюрократическія стѣсненія вызывали протесты поляковъ; теперь Галиція спокойна и ничѣмъ не обнаружила желанія отторгнуться отъ Австріи (стр. 15).

Къ сожалѣнію, исполненіе книги весьма небрежно. Авторъ не указываетъ своихъ источниковъ,—но они были, кажется, довольно случайны, и встрѣчаются ошибки, которыхъ не могъ допустить человѣкъ, знакомый прямо съ самыми фактами; прибавляется къ тому и небрежная корректура. Совсѣмъ неожиданно, и забавно, въ самомъ текстѣ встрѣчаемъ въ одномъ мѣстѣ вопросительный знакъ, поставленный повидимому недоумѣвающимъ корректоромъ. На стр. 17, говорится объ отношеніяхъ родителей и школы, которая мало обращала вниманія на ихъ желанія: „поэтому въ галиційской повременной жизни (?) постоянно раздавались голоса, требующіе“ и т. д. Наборщикъ, увидѣвъ безсмыслицу, поставилъ вопросительный знакъ, — но безплодно; авторъ такъ и пропустилъ этотъ знакъ недоумѣнія въ печать.

Книжка представляетъ слѣдующія главы: историческій очеркъ и современное положеніе Галиціи; страна и народъ; города; экономическое положеніе; земледѣльческіе кружки; народное просвѣщеніе; партійныя отношенія; литературная и умственная жизнь Галиціи. Въ книжкѣ разсѣяно не мало любопытныхъ свѣдѣній, но изложеніе небрежно, не отчетливо, а иной разъ и противорѣчиво. Галиція не есть страна однородная, съ сплошнымъ населеніемъ; это—страна польская и русская, и притомъ въ русской части польскій элементъ издавна получилъ такое преобладаніе, что русскимъ оставалось подъ конецъ почти только крестьянство. Это случилось, однако, не вдругъ; галицкая Русь сохранила связи съ единоплеменниками въ „литовско-русскомъ княжествѣ“, Львовъ въ XVI—XVII вѣкѣ былъ важнымъ центромъ южно-русскаго просвѣщенія и церковной жизни, и т. д., такъ что и позднѣйшее „возрожденіе“ было отголоскомъ этой старины. Въ книжкѣ г. Василевскаго эта историческая преемственность русско-галицкой жизни такъ мало отмѣчена, что для обыкновеннаго читателя исторія „Галиціи“ остается весьма неясной: о какой „Галиціи“ идетъ рѣчь?

О Львовѣ, гдѣ главнымъ образомъ совершается галицко-русское движеніе, авторъ говоритъ: „Львовъ имѣетъ чисто польскій характеръ, несмотря на то, что въ окрестностяхъ Львова большинство селъ и деревень русинское. На улицахъ Львова очень рѣдко можно встрѣтить лицъ, говорящихъ по-малорусски. Русиновъ во Львовѣ (гдѣ 150.000 жителей) всего около десяти тысячъ человѣкъ... Русины во

Львовѣ живутъ въ своемъ кругу совершенно замкнуто, не принимая никакого участія въ жизни польскаго большинства населенія. У нихъ существуетъ цѣлый рядъ самостоятельныхъ обществъ и другихъ учрежденій. А такъ какъ русины распадаются на нѣсколько враждующихъ партій, то у каждой партіи имѣются собственныя общества, преслѣдующія *однѣ и тѣ же цѣли* (?): клубы, литературныя научныя общества, просвѣтительныя, театральныя, ремесленныя и т. д." (стр. 82). Вѣроятно, авторъ хотѣлъ сказать, что враждующія партіи одинаково пользуются составленіемъ обществъ для своихъ цѣлей; но цѣли вѣроятно разныя, — потому что, иначе, изъ-за чего имъ враждовать?

Опять отсутствіе корректуры, а также и ясности изложенія: подъ вліяніемъ школы еврейское населеніе ополячивается,—„младшее поколѣніе говоритъ уже и чище по польски и одѣвается въ еврейское (=европейское) платье" (стр. 84). Въ Краковѣ есть холмъ Вавель, но онъ же и—Вовель (стр. 86, 87). Краковъ, по словамъ автора, *городъ*, спокойный, „преданный научному труду" (?), чему способствуютъ: „присутствіе хорошаго университета, академіи наукъ, богатѣйшей библіотеки, музей Чарторыйскій, различныхъ ученыхъ обществъ и т. д." (стр. 88), — именительные и родительные падежи уживаются мирно. Дальше: извѣстный дѣятель русинской литературы Головацкій называется у автора: Головецкій (стр. 180); по поводу преслѣдованій другого дѣятеля тридцатыхъ годовъ авторъ выражается, что „консисторія рѣшила, что въ помѣщеніи (?) Шашкевича нѣтъ ничего преступнаго" (стр. 182),—что̀ за „помѣщеніе", нельзя понять. Нѣкоторыя корректурныя ошибки выдаютъ и неточное пониманіе фактовъ: по поводу событій 1848—49 года авторъ говоритъ, что русинами была тогда основана „Галыцко-руска Матыця" (стр. 186), — таковой не было, а была „галицко-русская Матица" безъ украинофильскаго стиля; такимъ же образомъ далѣе „Ныва" (стр. 190) и под. Въ 1868, галицкіе украинофилы основываютъ изданіе „Просвіта", „которое имѣетъ *громадное* значеніе въ исторіи просвѣщенія въ Галиціи" (стр. 193), но ненадолго, потому что черезъ двѣ страницы „Наумовичъ одинъ сдѣлалъ гораздо больше для народа, чѣмъ всѣ галиційскіе украинофилы, вмѣстѣ взятые" (стр. 195).

По этимъ образчикамъ можно видѣть, что историко-литературныя свѣдѣнія автора весьма случайны и повидимому слиты, а также и спутаны, изъ разнородныхъ источниковъ. Главы о русинскомъ движеніи и русинской литературѣ могли бы быть особенно интересны для русскихъ читателей,—но онѣ именно принадлежатъ къ наиболѣе неяснымъ и запутаннымъ.

Старыя времена Галицкой Руси авторъ изображаетъ такимъ образомъ:

„Еще въ первой половинѣ XIV вѣка *Галицiйская* Русь“ (—„Галицiйская“ говорятъ только поляки; русскіе и малоруссы говорятъ „Галицкая“—) „потеряла связь съ другими южнорусскими *провинціями* (?). Только въ теченіе очень непродолжительнаго времени, съ люблинской уніи (1569) до возстанія Хмельницкаго, весь малорусскій край начинаетъ жить общей жизнью. Къ этому времени относятся первыя проявленія южнорусской литературы... Появляется цѣлый рядъ писателей, которые, *несмотря* на свое происхожденіе изъ *русскихъ провинцій* (съ Волыни, изъ Галиціи, съ Украйны), сознательно относятся къ національнымъ интересамъ малорусскаго племени; *хотя* работаютъ *въ различныхъ городахъ* (!): во Львовѣ, въ Кіевѣ, Острогѣ, Луцкѣ, Черниговѣ, Вильнѣ“. Какая здѣсь произведена путаница историческихъ и этнографическихъ фактовъ, кажется, не требуетъ объясненій. „Казацкія войны нанесли смертельный ударъ этому національному единенію“ (какимъ образомъ?); „религіозная (=церковная) унія, введенная въ Галиціи, убила его окончательно. Съ присоединеніемъ къ Австріи Галиція очутилась въ положеніи, нисколько не похожемъ на положеніе остальныхъ частей южной Руси“ и т. д. (стр. 216—217). Выходитъ какъ будто такъ, что казацкія войны, которыя имѣли цѣлью освобожденіе отъ польскаго господства и защиту православія, были вредны, какъ было вредно присоединеніе къ единоплеменному и единовѣрному государству—потому что въ это освобожденіе не вошла Галицкая Русь? Заключеніе очень мудреное. Затѣмъ выходитъ, что унія конца XVI вѣка была послѣ казацкихъ войнъ XVII-го столѣтія,—такъ какъ она *окончательно* убила національное единеніе?

Но дальше находимъ здравое сужденіе о новѣйшемъ галицко-русскомъ литературномъ языкѣ. Процессъ образованія этого языка еще не кончился, и что онъ выработывался трудно, въ этомъ, по мнѣнію автора, нѣтъ ничего удивительнаго. „Языкъ, на которомъ (въ прежнее время, напр. еще въ сороковыхъ годахъ) говорилъ всякій образованный русинъ, былъ польскій; церковно-славянскій языкъ былъ ему извѣстенъ какъ уніату; малорусскихъ научныхъ книжекъ не было. Нужно было прямо фабриковать новый языкъ. Понятно, что этотъ трудъ съ теченіемъ времени становился все легче и легче, по мѣрѣ того, какъ возросталъ запасъ научныхъ выраженій. Теперь русину уже легко написать на родномъ языкѣ и газетную статью, политическаго и литературнаго содержанія, и школьный учебникъ, и строго научное сочиненіе. Слѣдя за развитіемъ малорусскаго языка, мы замѣчаемъ, что онъ постепенно приближается къ чисто народному и очищается отъ постороннихъ примѣсей“ (стр. 219).

Къ книжкѣ приложена довольно плохая карта Галиціи.

Вообще, при наилучшихъ намѣреніяхъ, исполненіе труда нельзя назвать удовлетворительнымъ. Какъ замѣчено выше, авторъ не указываетъ своихъ источниковъ, хотя, предпринимая спеціальное описаніе страны, онъ даже былъ бы долженъ указать читателю литературу предмета, въ которой заинтересованный читатель могъ бы найти дальнѣйшія подробности по исторіи, этнографіи и т. д. Галиціи; но повидимому самъ авторъ мало знакомъ съ этой литературой, — потому что знакомство съ ней, во-первыхъ, предохранило бы его отъ ошибокъ, во-вторыхъ обогатило бы его трудъ многими свѣдѣніями, весьма не лишними въ спеціальной книгѣ. Въ русской литературѣ есть все-таки не мало сочиненій о старой и современной Галиціи, которыя были бы для автора весьма полезны; и едва ли сомнительно, напр., что онъ не справлялся даже со статьями въ Энциклопедическомъ Словарѣ Брокгауза и Ефрона.

Книжка г. Василевскаго, въ концѣ концовъ, довольно характерна. Авторъ, видимо, не спеціалистъ въ славяновѣдѣніи, заинтересовался страной, заслуживающей этого интереса, потому что въ разныхъ отношеніяхъ Галиція намъ близка, — но свѣдѣнія его оказались случайны и во многихъ предметахъ скудны и неточны. Это—свидѣтельство того, каковы въ обычномъ обращеніи наши познанія о родственной и сосѣдней *русской* странѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, многое авторъ понялъ правильно; и между прочимъ онъ правильно понялъ, во-первыхъ, что новѣйшіе культурные успѣхи Галиціи стали возможны главнымъ образомъ отъ благопріятно измѣнившихся въ послѣднее время внутреннихъ политическихъ условій страны, отъ бо̀льшаго простора общественной самодѣятельности; во-вторыхъ, что галицко-русская научно-литературная дѣятельность выростала собственными силами мѣстнаго русскаго общества и характеръ ея опредѣлялся старыми условіями и свойствами жизни, польскаго и нѣмецкаго сосѣдства,—и, въ цѣломъ, безъ всякаго нашего покровительства и помощи; изъ этихъ условій произошло и образованіе галицко-русскаго литературнаго языка.

Но это общее положеніе вещей, которое могло стать понятно даже не-спеціалисту, судившему безъ предвзятыхъ теорій, оказалось непонятно спеціалистамъ славяновѣдамъ, которые возстали противъ допущенія галицко-русской рѣчи на кіевскомъ *археологическомъ* съѣздѣ.

Любопытно, между прочимъ, что въ книжкѣ г. Василевскаго, напечатанной много спустя послѣ кіевскаго съѣзда, даже не упомянуто объ этомъ эпизодѣ.—Т.

Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, въ Редакцію поступили нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Абрамовъ, Я. В.—Наши воскресныя школы. Ихъ прошлое и настоящее. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Антоновичъ, проф., В.—Къ вопросу о галицко-русской литературѣ. Кіевъ, 900.

Баранцевичъ, Каз.—Лицо жизни. Девять разсказовъ. Спб. 900. Ц. 1 р.

Баскаковъ, В., врачъ.—Дровяной кризисъ и мѣры къ его устраненію. Съ 9 чертеж. въ текстѣ и 7 прилож. Спб. 900. Ц. 50 к.

Бертенсонъ, В. А.—По югу Россіи. Сельско-хозяйственные очерки, наблюденія и замѣтки. Вып. III. Од. 900. Ц. 60 к.

Боборыкинъ, П. Д.—Европейскій романъ въ XIX-мъ столѣтія. Романъ на Западѣ за двѣ трети вѣка. Спб. 900. Ц. 3 р.

Боровскій, А. К.—Практическое пособіе для земскихъ начальниковъ. Дѣлопроизводство ихъ. Спб. 900. Ц. 3 р.

Бородинъ, Н.—Рыболовство и рыбный промыселъ въ зап. Европѣ и Сѣв. Америкѣ. Ч. II: Рыбный промыселъ. Вып. 2: Приготовленіе рыбныхъ продуктовъ. Спб. 900. Ц. 1 р.

Бруоаловскій, д-ръ Е. М.—Хроническій сочленовный ревматизмъ. Съ 2 табл. рентгено-фотограммъ. Од. 900.

Булатовичъ, А. К.—Съ войсками Менелика II. Дневникъ похода изъ Эѳіопіи къ озеру Рудольфа. Съ 4 схемами, 3 карт. и 78 фото-типогравюрами. Спб. 900. Ц. 3 р.

Бѣлинскій, В. Г.—Полное собраніе сочиненій, въ 12 томахъ, п. р. и съ примѣч. С. А. Венгерова. Т. I, съ прилож. снимка съ бюста Бѣлинскаго, работы Ге, факсимиле, портрета Надеждина и Станкевича, съ 7 статьями Надеждина. Спб. 900. Ц. 1 р. 25 к. По подпискѣ, за 12 томовъ, 12 рублей.

Бэнъ.—О классицизмѣ. Тула, 900.

Вальденбергъ, В.—Законъ и право въ философіи Гоббеса. Спб. 900. Ц. 2 р.

Василевскій, Л.—Современная Галиція. Спб. 900. Ц. 80 к.

Ветнекъ, Евг.—Краткій очеркъ миѳологіи грековъ и римлянъ. Съ 24 рис. Спб. 900. Ц. 1 р.

Вербицкая, А.—Первыя ласточки. Повѣсть. М. 900. Ц. 80 к.

Весновскій, В.—Ѳ. М. Рѣшетниковъ, его жизнь и литературная дѣятельность. Уральскъ, 900. Стр. 58 (брошюра).

Войничъ, Е.—Оводъ. Ром. изъ итальян. жизни 30-хъ годовъ. Съ англ. З. А. Венгеровой. Спб. 900. Ц. 1 р. 25 к.

Гикманъ, проф., А. Л., и *Марксъ*, А. Ф.—Всеобщій географическій и статистическій карманный Атласъ, состоящій изъ 57 таблицъ, съ картами и діаграммами, и изъ 74 стр. объяснительнаго текста. Ц. 2 р.

Герасимовъ, Н. И.—Лунный свѣтъ Саккья—Истины. Въ переводѣ съ санскритскаго, съ вступительной статьею и примѣчаніями D-r Р. Гарбе. М. 900. Ц. 1 р. 25 к.

Герштеккеръ.—Заря новой жизни. Сцены изъ войны за освобожденіе негровъ въ Америкѣ. По роману составила О. Н. Попова. Спб. 900. Ц. 10 к.

Гиршманъ, проф., Л. Л.—Трахома, какъ народное бѣдствіе. Харьк. 900.

Гринченко, Б.—Народные спектакли. Черниг. 900.

Гурьевъ, А.—Записки о промышленныхъ банкахъ. Спб. 900.

Даксергофъ, Левъ.—„Передъ новой жизнью". Картины усадебнаго быта. М. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Данилевскій, К.—Управляемый летательный снарядъ. Харьк. 900. Ц. 1 р. 50 коп.

Данилевскій, проф. В. Я.—Изслѣдованіе надъ физіологическимъ дѣйствіемъ электричества на разстояніи. I: Электрокинетическое раздраженіе нервовъ. Харьк. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Де-ла Пулэнъ, Жанъ.—Колоссъ на глиняныхъ ногахъ. Къ вопросу о военномъ могуществѣ Англіи. Съ франц. В. Кустерскій. Спб. 900. Ц. 50 коп.

Делажъ, Ив.—Наслѣдственность. Извлеченіе п. р. проф. К. Тимирязева. М. 900. Ц. 50 к.

Демоленъ, Эдм.—Новое воспитаніе. Школа Де-Рошъ. М. 900. Ц. 65 к.

Джаншіевъ, Гр.—Перлъ Кавказа. Боржомъ—Аббастуманъ. Впечатлѣнія и мысли туриста. 4-е дополн. изд., съ 153 цинкограф., 10 ориг. заставками и 2 планами. М. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Докучаевъ, В. В.—Предварительный отчетъ объ изслѣдованіяхъ на Кавказѣ лѣтомъ 1899 г. Тифл. 99.

——— Мѣсто и роль современнаго почвовѣдѣнія въ наукѣ и жизни. Спб. 1899.

——— Частные публичные курсы къ сельскому хозяйству и основнымъ для него наукамъ. Спб. 900.

Заіончовскій, А., и *Бѣляевъ*, В.—Учебникъ прикладной тактики. Курсъ старш. класса Михайлов. артилл. и Николаевск. инжен. училищъ. Вып. II. Съ 48 чертеж. Спб. 900. Ц. 1 р.

Кавелинъ, К. Д.—Собраніе сочиненій. Т. IV: Этнографія и правовѣдѣніе. I: Бытъ русскаго народа. II: Исторія русскаго права и законодательства. III: Гражданское право и правовѣдѣніе вообще. IV: Гражданское уложеніе. Съ примѣчаніями проф. Д. А. Корсакова. Спб. 900. Столбц. 1348. Ц. 4 р.; за всѣ 4 тома—15 руб.

Карѣевъ, Н.—Учебная книга Новой исторіи. Съ историческими картами. Спб. 900. Ц. 1 р. 30 к.

Кеппенъ, А.—Соціальное законодательство Франціи и Бельгіи. Спб. 900. Стр. 355 in 4°.

Ковалевскій, П. И.—Психологія преступника по русской литературѣ о каторгѣ. Спб. 900.

Конöръ, Гр.—Судъ Божій надъ бояриномъ Оршей. Екатеринославъ. 900. Ц. 15 коп.

Кузьминъ-Караваевъ, В. Д.—Предѣльность земскихъ расходовъ и обложеній. Спб. 900. Стр. 61.

Левитъ, I. М.—Деньги, деньги—въ нихъ вся суть, Ком. въ 4 д. Бендеры, 900. Ц. 40 к.

Лесгафтъ, П.—Извѣстія Спб. Біологической лабораторіи. Т. IV, вып. 1. Спб. 900 Подписн. ц. 3 р.

Лэддъ, Эж. Т.—Очеркъ элементарной психологіи. Съ англ. Н. Спиридоновъ, п. р. Б. Кистяковскаго. Спб. 900. Ц. 80 к.

Лохвицкая, М. А. (Жиберъ).—Стихотворенія. Т. I—III. 1889—1900. Спб. 900. Ц. 5 р.

Малининъ, А. А.—Старое и новое направленіе въ исторической наукѣ Лампрехтъ и его оппоненты. М. 900.

Малиновскій, проф. I., и *Сапожниковъ*, проф. В.—Рѣчи, произнесенныя въ

торжеств. засѣданіи Имп. Томскаго университета, 26 мая 1899 г. Памяти А. С. Пушкина. Томскъ, 900. Ц. 40 к.

Мандельштамъ, А. Н.—Гаагскія конференціи о кодификаціи международнаго права. Т. I: Кодификація междунар. частнаго права. II: Кодификаці. междунар. брачнаго права. Спб. 900. Ц. 5 р.

Масловскій, А. Ф.—Русская общеобразовательная школа. Мысли отца семейства, по поводу предстоящей реформы средней школы. Спб. 900. Ц. 2 р.

Меликъ-Саркисянъ, С. А.—I. Урочище Бусъ, Ферганской области. II. Къ вопросу о положеніи хлопковаго дѣла въ Ферганской области и мѣры къ его упорядоченію. Спб. 900. Стр. 77 in 4°.

Минскій, Н.—Альма. Трагедія изъ современной жизни, въ 3-хъ д. Спб. 900. Ц. 1 р.

Муравьевъ, Н. В.—Изъ прошлой дѣятельности. Т. I: Статьи по судебнымъ вопросамъ. Т. II: Рѣчи и сообщенія. Спб. 900. Ц. 6 руб.

Мюнстербергъ, Э.—Призрѣніе бѣдныхъ. Руководство къ практической дѣятельности въ области попеченія о бѣдныхъ. Съ нѣм. А. Браудо и В. Гагенъ. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Носовичъ, С. И.—Крестьянская реформа въ Новгородской губерніи. Записка 1861—63 гг. Спб. 900. Ц. 1 р. 25 к.

Нефедовъ, Ф. Д.—Сочиненія. Т. III и IV. Спб. 900. Ц. 1 р.

Одарченко, Кон.—Организація и задача земскаго самоуправленія. М. 900. Ц. 1 р.

Ожешкова, Элиза.—Юльянка. Городская картинка. Съ польск. В. Лавровъ. М. 900.

Осадчій, Т.—Силы деревни. Хроника. 1870—1900 гг. М. 900. Ц. 80 к.

Паульсонъ, Ф.—Образованіе. Съ нѣм. М. 900. Ц. 15 к.

Прейсъ, Л.—Путь къ трезвости. Начальная книга для семьи и школы. Съ англ., п. р. врача А. М. Коровина. М. 900. Ц. 30 к.

Пѣвцовъ, М.—Объ опредѣленіи географической широты по соотвѣтственнымъ высотамъ двухъ звѣздъ. Съ 2 карт. Спб. 900.

Ратцигъ, А. А.—Производство и потребленіе пшеницы на всемъ свѣтѣ. Спб. 900. Ц. 1 р.

Рескинъ (J. Ruskin).—Искусство и дѣйствительность. Избранныя страницы. Перев. О. М. Соловьевой. М. 900. Ц. 1 р. 50 к.

——— Сочиненія. Сезамъ и Лилія. Перев. Л. Никифорова. М. 900. Ц. 25 к.

Роборовскій, В. И.—Труды экспедиціи Имп. Русск. Геогр Общ. по Центральной Азіи, совершенной въ 93—95 гг. Ч. III. Спб. 99.

Ровинскій, К., и *Женжуристъ*, Θ.—Способъ веденія упрощеннаго счетоводства и отчетности по окладнымъ сборамъ въ селеніяхъ, какъ съ грамотнымъ, такъ и съ неграмотнымъ населеніемъ. Лодзь, 900. Ц. 1 р. 50 к.

Руссофилъ, П. (Хижняковъ).—Народное образованіе въ Россіи. Харьковъ, 900. Ц. 1 р. 50 к.

Рѣдько, А.—Нечистая сила въ судьбахъ женщины-матери. (Брошюра изъ „Этнографическаго Обозрѣнія").

Салтыкова, М. И.—Хроника воскресныхъ школъ. П. р. Х. Д. Алчевской. М. 900.

Сенкевичъ, Г.—Пойдемъ за нимъ! Съ польск. В. М. Лавровъ. М. 900.

Соловьевъ, Владиміръ.—Стихотворенія. Изд. 3-ье, дополненное. Спб. 900. Стр. 291. Ц. 1 р. 50 к.

Сперанскій, С. В.—Отчетъ о торговлѣ на Нижегородской ярмаркѣ 1899 г. М. 900.

Спрудина, Т.—Русскія женщины нашего времени. Психологическій очеркъ. Од. 900. Ц. 50 к.

Степовичъ, А. И.—Пушкинъ и славянство. Рѣчь, читанная въ Кіевск. Педагог. Обществѣ, 28 мая 99 г. Кіевъ, 900.

Стороженко, проф. Н. И.—Апостолъ гуманности и свободы. Теодоръ Пиркеръ. М. 900. Ц. 20, к.

Струве, Г.—Современная анархія духа и ея философъ Фридрихъ Ницше. Харьк. 900. Ц. 60 к.

Суворинъ, А. С.—Поддѣлка „Русалки" Пушкина. Сборникъ статей и замѣтокъ. Спб. 900. Ц. 1 р.

Танъ.—Стихотворенія. Спб. 900. Ц. 80 к.

Туганъ-Барановскій, М.—Промышленные кризисы. Очеркъ изъ соціальной исторіи Англіи. 2-е изд. Спб. 900. Ц. 2 р. 25 к.

Тютчевъ, Ѳ. Ѳ.—На границѣ. Повѣсти и разсказы. М. 900. Ц. 1 р.

Фармаковскій, Вл.—Начальная школа мин. народ. просвѣщенія. По оффиц. источн. Спб. 900. Ц. 1 р.

Ходскій, Л. В.—Основа государственнаго хозяйства. Пособіе по финансовой наукѣ. 2-е изд. Вып. 1. Спб. 900.

Хомяковъ, А. С.—Стихотворенія. М. 98.

Цыпкинъ, д-ръ С. М.—Женскій вопросъ. Соціологическій этюдъ. М. 900. Ц. 50 к.

Шателье, А.—Исламъ въ XIX-мъ вѣкѣ. Перев. А. Калмыковой. Ташк. 900. Ц. 75 к.

Швецовъ, С. П.—Алтайскій сборникъ. Матеріалы по изслѣдованію мѣстъ водворенія переселенцевъ въ Алтайскомъ округѣ. Результаты статистическаго изслѣдованія. I. Экономическія таблицы, стр. 193. II: Описаніе переселенческихъ поселковъ, стр. 560. Барнаулъ, 99.

Шлоссъ, Д.—Формы заработной платы. Перев. М. Е. Ландау. Спб. 1900. Ц. 1 р. 50 к.

Шляпошниковъ, д-ръ М.—Третій всемірно-еврейскій конгрессъ сіонистовъ, въ авг. 1899 года, въ Базелѣ. Харьк. 900. Ц. 15 к.

Шмидтъ, П., и *Палибинъ*, К.—Естественно-историческій Атласъ. Вып. IV. Табл. 124—126. Стр. 177—239.

Шопенгауэръ, Арт.—Полное собраніе сочиненій. Перев. Н. Эйхенвальда. Вып. 1. М. 900 Ц. за всѣ 4 т. 8 руб.

Штраусъ, Давидъ.—Вольтеръ. Шесть лекцій. Съ нѣм. М. 900. Ц. 80 к.

Яковлевъ, Н.—Фауна нѣкоторыхъ верхнепалеозейскихъ отложеній Россіи. I. Головоногія и брюхоногія. Съ 5 табл. рис. Спб. 99. Ц. 3 р. 50 к.

Bobristcheff-Pouchkine, M-me.—Cours théorétique et pratique de la langue française à l'usage de la jeunesse. Спб. 94. Ц. 2 р.

——— Cours pratique de grammaire et des dictées française, augmenté d'un Appendice. Livre II. Спб. 900. Ц. 2 р. 30 к.

Drandar, A. G.—La situation des Slaves et des Roumains en Autriche-Hongrie. Les Croates. Par. 900. Ц. 3 фр.

Wereschtchagin, R.—Skobelew im Türkenkriege und vor Achal-Teke. Uebersetzt von A. von Drygalski. Berl. 900.

— La situation politique de la Finlande. Extrait de la „Revue de Droit internationale et de la Législation comparée. Brux. 900. Стр. 51.

— Аккерманское Земство XXXI очередной сессіи созыва 1899 г. Аккерм. 899.

— Бесѣды и уроки руководителей на краткосрочныхъ педагогическихъ курсахъ въ г. Саратовѣ, въ 1899 г. Съ рис. и діаграммами. Изд. Саратов. Губ. Земства. Саратовъ, 900. Ц. 2 р.

— Графическое изображеніе состоянія дѣла начальнаго образованія въ Россійской имперіи, по свѣдѣніямъ 1896 года. Приложеніе къ книгѣ: „Статистическое свѣдѣніе по начальному образованію", изд. Мин. Народн. Просвѣщенія. Спб. 900.

— Ежегодникъ Полтавскаго Губернскаго Земства на 1898 годъ. Годъ IV. Полт. 900.

— Ежегодникъ Сельско-хозяйственной Колоніи при Бакинской Императора Александра III мужской гимназіи, № 1: 1898—99 г. Баку, 900. Ц. 5 руб.

— Изъ Архива госпожи Авроры фонъ-Рёхне. Сообщ. К. Бутеневъ. Спб. 1900.

— Изъ Украинской старины (La Petite Russie d'autrefois). Рисунки академиковъ С. И. Васильковскаго и Н. С. Самокиша, пояснительный текстъ проф. Д. И. Зварницкаго. Спб. 900. Изданіе А. Ѳ. Маркса.

— Иллюстрированный Географическій Сборникъ, составленный преподавателями географіи, А. Круберомъ, С. Григорьевымъ, А. Барковымъ и С. Гофрановымъ. М. 900. Ц. 2 р.

— Итальянская Библіотека: 1) Джузеппе Джусти, крит. біограф. очеркъ М. Ватсонъ. Спб. 900. 2) Ада Негри, крит.-біограф. очеркъ ея же. Спб. 1899. Ц. по 50 к.

— Книгоиздательское тов—во „Просвѣщеніе": 1) Жизнь растеній, А. Генкена, вып. 1, ц. 50 к.; 2) Происхожденіе животнаго міра, В. Гааке, вып. 2, ц. 50 к.; 3) Мірозданіе, В. Мейера, вып. 2, ц. 60 к.; 4) Человѣкъ, І. Ранке, вып. 1, ц. 50 к.; 5) Исторія земли, Неймайера, вып. 1, ц. 50 к.; 6) Народовѣдѣніе, Ф. Ратцеля, т. I, вып. 1, ц. 35 к.; 7) Жизнь животныхъ, Брэма, т. I, вып. 1, ц. 35 к.; 8) Исторія нѣмецкой литературы, вып. 1, ц. 50 к. Спб. 99—900 г.

— Краткій обзоръ дѣятельности Педагогическаго Музея военно-учебныхъ заведеній, за 1898—99 г. XXIX-ый обзоръ. Спб. 900. Ц. 20 к.

— Матеріалы къ оцѣнкѣ земель Пермской губерніи. Т. II: Кунгурскій уѣздъ. Съ 5 картогр. Пермь, 900. Ц. 2 р.

— Народное хозяйство. Научно-общественный журналъ, 6. предв. ц. Политическая экономія, финансы, городское и земское хозяйство, статистика. Редакторъ-издатель проф. Л. В. Ходскій. Спб. 900. Выходитъ ежемѣсячно, кромѣ іюля и августа. Годовая подписка—10 руб., съ достав. и пересылкой.

— Научно-популярныя чтенія по сельскому хозяйству и основнымъ для него наукамъ, подъ общ. ред. проф. В. В. Докучаева: 1) И. Я. Шевыревъ, Полезныя и вредныя животныя въ сельскомъ хозяйствѣ. Ц. 50 к.—2) Броуновъ, П. И., О климатѣ и погодѣ.—3) Никитинъ, С. Н., Грунтовыя и артезіанскія воды на русской равнинѣ.—4) Менделѣевъ, Д. И., Мысли о развитіи сельскохозяйственной промышленности.—5) Слезкинъ, П. Р., Сельское хозяйство въ черноземной полосѣ Россіи.—6) Скворцовъ, А. И., Экономическія основы земледѣлія. Ц. 1 р. 50 к. Спб. 900.

— Начальное народное образованіе въ Россіи. П. р. членовъ Совѣта б. Спб. Комитета грамотности, I. Фальборка и В. Чарнолусскаго. Т. I: Статистическія таблицы по уѣздамъ, городскимъ поселеніямъ и селеніямъ Имперіи. Спб. 900. (На русскомъ и на франц. языкахъ). Ц. 6 руб.

— Письмо А. А. Безбородка къ графу П. А. Румянцеву, 1775—1793 гг. Изд. съ предисл. и примѣч. П. М. Майкова. Спб. 900.

— Русскій Біографическій Словарь. Т. II: Алексинскій — Бестужевъ-Рюминъ. Спб. 900. Стр. 799, въ 2 столбца.

— Сборникъ Императорскаго Русскаго Историческаго Общества. Т. 107-ой. Спб. 900. Стр. 654. Ц. 3 р.

— Старина и Новизна. Историческій Сборникъ, издав. при Общ. ревнителей русск. историч. просвѣщ., въ память имп. Александра III. Кн. III. Спб. 900. Ц. 2 р.

— Труды XXIV съѣзда горнопромышленниковъ юга Россіи, бывшаго въ г. Харьковѣ, въ 1899 г. Ч. I: Отчеты, протоколы и доклады. Харьк. 900.

ЗАМѢТКА.

Сцены изъ трехъ книгъ сочиненій М. Горькаго.

..."Что такое падшіе люди? Прежде всего люди, та же самая кровь, то же мясо и нервы, какъ у насъ. Говорятъ намъ объ этомъ цѣлые вѣка изо дня въ день"... Такъ говоритъ и г. М. Горькій, и такъ—надобно думать,—писали до него, и такъ пишутъ и будутъ писать еще долго... Нищіе, бродяги, пропойцы, воры, отъ которыхъ мы ограждаемъ себя и свою собственность законами, заборами и крѣпкими замками,—онъ знакомитъ насъ со всѣми этими „падшими людьми", изображая ихъ со всею жизненной правдой и описываетъ ихъ жестокій внѣшній и внутренній бытъ. Читателю приходится вмѣстѣ съ авторомъ спускаться въ сырой, промозглый, полутемный подвалъ, гдѣ проживаютъ, напримѣръ, два человѣка такъ-называемаго „простого званія". Одинъ изъ нихъ, видимо, взволнованный и возбужденный, молодой рабочій, съ замираніемъ сердца переживаетъ читаемую имъ вслухъ исторію. Его слушаетъ хлѣбопёкъ Коноваловъ, бродяга-пропойца съ голубыми, ясными глазами, съ высокимъ лбомъ и шелковистой бородой; блѣдное овальное лицо его все вспыхиваетъ какимъ-то горячимъ чувствомъ. Въ самыхъ трагическихъ мѣстахъ онъ тяжело дышитъ. Наконецъ, онъ вырвалъ изъ рукъ чтеца книгу, изо всей силы бросилъ ее на полъ, и самъ сѣлъ, спряталъ голову въ колѣни и заплакалъ, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны...

Коноваловъ—красивый малый съ доброй, отзывчивой душой.

Г-нъ М. Горькій, какъ художникъ, съ прирожденнымъ ему эстетическимъ чутьемъ, во всемъ и вездѣ умѣетъ найти и описать красоту въ противоположность инымъ живописцамъ съ выработанной техникой, переполняющимъ картинныя выставки своими изображеніями мужиковъ—не иначе какъ съ глупыми рожами, съ плоскими черепами и низкими лбами, съ приплюснутыми носами... Коноваловъ у него бѣднякъ и неудачникъ въ жизни, но онъ ни на кого не жалуется, и никого кромѣ себя не винитъ въ своей судьбѣ. Разсужденія начитаннаго молодого рабочаго о людяхъ, какъ о жертвахъ несовершеннаго общественнаго строя, онъ опровергаетъ.

— Никто не виноватъ въ томъ, что я пью. Павёлка, братъ мой не пьетъ—въ Перми у него своя пекарня. А я вотъ работаю не хуже его,—однако бродяга и пьяница, и больше нѣтъ мнѣ ни званія, ни доли. А вѣдь мы одной матери дѣти. Выходитъ, что во мнѣ самомъ

что-то неладно. Не такъ я, значитъ, родился. И не одинъ я, много насъ этакихъ. Особый намъ счетъ нуженъ и законы особые, чтобъ насъ изъ жизни искоренять... Сами мы передъ собой виноваты"...

Бичуя себя съ безпощаднымъ самоуничиженіемъ, и тѣмъ какъ бы опровергая безсознательно неизвѣстную ему теорію „заѣданія средой", Коноваловъ въ то же время безсознательно оправдываетъ и себя, и свою непригодность къ жизни:—„Меня мать на свѣтъ родила,—говоритъ онъ,—безъ чего-то такого, что̀ у другихъ людей есть, и что̀ человѣку нужнѣе всего".

Прочтемъ другой разсказъ г-на М. Горькаго: „Дружки".

Два друга—одинъ чахоточный, другой калѣка съ вывихнутой ногой—голодали зиму въ своей лачугѣ, слѣпленной изъ глины; лѣтомъ ловили птицъ, собирали щавель, землянику, грибы и продавали базарнымъ торговкамъ, но никогда досыта не наѣдались, и постоянно думали и говорили о томъ, ка̀къ украсть, чтобы поѣсть. Ранней весной, когда чахоточный дышалъ особенно часто, въ груди его свистѣло, и кашель его душилъ, шли они въ деревню поискать, не лежитъ ли тамъ что-нибудь плохо. Они встрѣтили недалеко отъ лѣса тощую, мохнатую лошадёнку, увели ее и спрятали въ лѣсномъ оврагѣ, въ ожиданіи ночи, когда удобнѣе будетъ отвести ее къ татарину, чтобы продать на кожу за три рубля. Долго сидѣли они у костра на днѣ оврага. Калѣка плелъ изъ ивовыхъ вѣтвей корзину, чахоточный вздыхалъ и кашлялъ, лошадь стояла неподвижно, съ окутанной лохмотьями мордой. Чахоточный, указывая на нее товарищу, оживленно заговорилъ:

— Тоже и у меня была такая... Замухрышка она, а въ хозяйствѣ первый винтъ. У меня одно время даже пара была, здо̀рово я въ ту пору работалъ.

— А что̀ выработалъ?—круто и холодно обрываетъ его товарищъ изъ духовнаго званія. Но чахоточный, бывшій крестьянинъ, то-и-дѣло затрогиваетъ вопросъ объ украденной лошади.

— Хватится мужикъ лошади,—вдругъ заговорилъ онъ страннымъ голосомъ,—а ея нѣту... Туда-сюда—нѣтъ лошадки!

— Это ты къ чему?—сурово спросилъ калѣка.

— Вспомнилъ я одну исторію,—виновато отвѣчаетъ больной.

— Какую?

— Да... такъ тутъ... случилось тоже вотъ, что лошадь увели...

— Ну?

— Ну и увели... Такъ онъ, Михайло-то, какъ понялъ, что обезлошадѣлъ, да какъ грохнется на земь, да какъ завоетъ... Ахъ, ты, братецъ ты мой, какъ онъ завылъ тогда... и упалъ... ровно ему ноги переломило.

— А тебѣ что̀?

— Да я такъ это... вспомнилъ... Потому что безъ лошади зарѣзъ мужику!.. Давай лучше бросимъ ее... Право?.. Человѣка жалко...

Калѣка до послѣдней степени возмущенъ.

— Ахъ ты добрая душа, а ума нѣтъ ни шиша! Да онъ кто тебѣ, человѣкъ-то?.. Онъ, вотъ, поймаетъ тебя за шиворотъ, да и... какъ блоху подъ ноготь. Онъ за твою жалость—семью муками тебя измучаетъ... по вершку въ часъ жилы изъ тебя вытянетъ... А ты моли Бога, чтобы безъ всякой жалости просто прикокнули тебя—и шабашъ! Эхъ ты! Чтобъ тебя дождемъ размочило! Жалость!.. тьфу!

Больной продолжаетъ робко настаивать на своемъ, ссылаясь ужъ не на жалость, а на то, что опасно, хлопотно съ лошадью,—ну ее къ лѣшему.

— Ты жралъ сегодня?—крикнулъ его товарищъ.

— Нѣ...—сконфуженно отвѣтилъ тотъ. И въ концѣ концовъ, вынудивъ согласіе товарища, онъ снялъ съ морды лошади тряпку и пустилъ ее.

— Христосъ съ тобой, не бойся!—раздавался его голосъ въ темномъ оврагѣ.—Ну, иди себѣ... вотъ и иди... Нн-о, дура-а!

Они отправились, голодные, въ деревню. Раздосадованный калѣка дорогой пилилъ и корилъ товарища, придирался къ нему: зачѣмъ тихо идетъ, зачѣмъ кашляетъ, всѣхъ чертей въ лѣсу перебудитъ.

Скоро больной въ изнеможеніи опустился на землю, выплевывая кровь; грудь его съ хрипомъ и кашлемъ высоко поднималась, глаза провалились, а губы страшно растянулись и какъ бы пристали къ зубамъ.

— Умираю я, — прошепталъ онъ. — Прости, Степанъ... коли что я... за лошадь вотъ... прости, братокъ!..

Слезы вызываетъ это предсмертное прощаніе воришки.

Среди угрюмыхъ и мрачныхъ арестантовъ есть одинъ веселый, по прозванію „Зазубрина", всегда готовый скрасить своей веселостью унылое тюремное существованіе. Во время прогулокъ по тюремному двору то онъ крысъ запряжетъ въ бичевки и гоняетъ ихъ какъ тройку лошадей, то для общей потѣхи вымажетъ себѣ краской усы, на все онъ готовъ, лишь бы съ хохотомъ окружали его товарищи. Какъ артистъ несоразмѣрно таланту самолюбивый, онъ стремится быть центромъ постояннаго и неослабнаго вниманія, а „изъ всѣхъ стремленій человѣка это самое пагубное для него,—говоритъ авторъ,— ибо ничто не умерщвляетъ душу такъ быстро, какъ жажда нравиться людямъ. И весельчакъ Зазубрина, отъ природы неспособный къ унынію и озлобленію, возненавидѣлъ другого любимца и баловня публики, своего соперника, котенка. Котенокъ, забавляя собой арестантовъ, отвлекалъ отъ него ихъ вниманіе, и въ такихъ случаяхъ

забытый артистъ садился въ уголокъ; онъ ревновалъ, завидовалъ, мучился. Однажды, увеселяя товарищей, онъ съ пляской и съ прибаутками окунулъ котенка въ оставленное маляромъ ведро съ масляной краской мѣдянкой. Зрители задыхались отъ хохота. Артистъ наслаждался своимъ торжествомъ, а жертва его соревнованія, облѣпленный краской котенокъ—жалобно мяукалъ, ползая на дрожащихъ лапкахъ. И публика перестала смѣяться.

— Пошто убили животную? — раздались негодующіе голоса. — Вотъ онъ подсохнетъ на солнцѣ, шерсть-то склеится на немъ, онъ и сдохнетъ".

Арестанты жестоко избили своего кумира-артиста, зато послѣдній съ той поры ни съ кѣмъ ужъ не дѣлилъ всеобщаго вниманія...

Во всякой средѣ есть жаждущій популярности, который пачкаетъ и губитъ другихъ клеветой, плохой актеръ, литераторъ, художникъ, желающая всѣмъ нравиться женщина... О, слишкомъ много можно сказать на эту тему!

Отрицательными типами являются у Горькаго сравнявшіеся съ отребьемъ по несчастію изъ темнаго люда — порочные отбросы изъ привилегированной среды. „Ученый" задушилъ и ограбилъ ночью въ степи заснувшаго прохожаго; „проходимецъ" изъ дворянъ эксплуатируетъ крестьянъ запугиваньемъ на почвѣ ихъ легковѣрія; бывшій дьяконъ пьяница и развратникъ; грузинскій князь Шарко...

Случайно оставшись безъ денегъ въ чужомъ городѣ, грузинскій князь Шарко своимъ безпомощнымъ положеніемъ возбудилъ къ себѣ участіе босяка-рабочаго, который безкорыстно кормилъ и одѣвалъ его своимъ трудомъ, провожая пѣшкомъ изъ Одессы въ Тифлисъ. Князь пользуется имъ какъ по праву, требуетъ отъ него услугъ и заботъ о себѣ какъ должнаго, всю дорогу обѣщая, безъ намѣренія исполнить свое обѣщаніе, вознаградить его за все въ Тифлисѣ. И всю дорогу князь беретъ, проѣдаетъ и пропиваетъ заработокъ босяка, ругаетъ его, клевещетъ на него, хохочетъ надъ нимъ, и говоритъ ему откровенно:

„— Я вижу, ты смырный. Работаешь. Мэня не заставляешь. Думаю: почему? Значитъ, глупый ты какъ баранъ".

И послѣ того какъ они оба избѣжали опасности быть пойманными на кражѣ казенной лодки, князь хохочетъ, признаваясь своему вѣрному проводнику и хранителю:

„— Нэ понымаешь, почему смэшно? Сэчасъ будешь знать. Я бы сказалъ про тэбя: онъ мэня утопить хотэлъ! И сталъ бы плакать. Тогда бы мэня стали жалэть и не посадили въ турму. Понымаешь?"

Босякъ, отъ лица автора, преисполняется чувствомъ глубокой жалости передъ нравственной тупостью, передъ наивнымъ цинизмомъ чело-

вѣка, который съ свѣтлой улыбкой заявляетъ о своемъ замѣреніи... убить его. И глядя на князя, босякъ думаетъ, опять отъ лица автора:

„— Это мой спутникъ... Я могу бросить его здѣсь, но не могу уйти отъ него, ибо имя его легіонъ... Это спутникъ всей моей жизни... Онъ до гроба проводитъ меня".

Послушаемъ еще, о чемъ говорятъ у г. М. Горькаго его „Бывшіе люди" въ пригородной харчевнѣ, въ глухую дождливую ночь, когда осенняя непогода бушуетъ на улицѣ, а жёны ждутъ домой пьяныхъ мужей,—они говорятъ о женщинахъ.

„— Я привыкъ дьяконицу свою по воскресеньямъ послѣ обѣдни бить, — говоритъ бывшій дьяконъ Тарасъ, — такъ, знаете, когда она умерла, такая тоска на меня по воскресеньямъ стала нападать, что даже невѣроятно. Одно воскресенье прожилъ—и вижу: плохо! Другое—стерпѣлъ. Третье—кухарку свою ударилъ..."

Бывшій учитель, признанный среди погибшихъ недюжиннымъ человѣкомъ, читаетъ лекцію практической морали избившему свою жену, еще не погибшему мастеровому Якову, „настоящему человѣку":

„— Жена у тебя беременна; ты билъ ее по животу и по бокамъ, значитъ, ты билъ не только ее, но и ребенка. Ты могъ его убить, и при родахъ жена твоя умерла бы отъ этого, или сильно захворала. Возиться съ больной женой непріятно и хлопотно, и дорого стоютъ лекарства. Ежели же ты ребенка не убилъ еще, то навѣрно изувѣчилъ, и онъ, быть можетъ, родится уродомъ, неспособнымъ къ работѣ, а для тебя важно, чтобъ онъ былъ работникомъ.—Ты злишься на всю свою жизнь, а терпитъ твоя жена только потому, что ты ея сильнѣе; она у тебя всегда подъ рукой и дѣваться ей отъ тебя некуда".

Яковъ понялъ, что бить жену невыгодно для него самого, и восклицаетъ:

„— Да вѣдь что же мнѣ дѣлать-то? Али я не человѣкъ?

„— Бить ты ее бей, если безъ этого ужъ не можешь, но бей осторожно... бей по шеѣ, или возьми веревку и... по мягкимъ частямъ",—философствуетъ при этомъ и „настоящій" человѣкъ, почтенный калачникъ Мокей Анисимовъ.

„— Жена другъ, ежели правильно вникнуть въ дѣло. Она къ тебѣ вродѣ какъ цѣпью на всю жизнь прикована... и оба вы съ ней на манеръ каторжниковъ. И старайся идти съ ней въ ногу... а не съумѣешь, цѣпь почуешь", — говоритъ онъ Якову, который ему отвѣчаетъ:

„— Вѣдь и ты свою бьешь?

„— А я развѣ говорю: нѣтъ! Бью... Иначе невозможно. Кого же мнѣ—стѣну что-ли дуть кулаками, когда не въ терпежъ!"

Такъ живутъ и разсуждаютъ эти двуногія твари-самцы. Ихъ самки изъ поколѣнія въ поколѣніе рождаютъ на нашихъ глазахъ уродовъ, калѣкъ, идіотовъ, преступниковъ, а для послѣднихъ мы строимъ тюрьмы, больницы, пріюты, и сколько ни строимъ—все мало...

Много мыслей роится въ головѣ за чтеніемъ такихъ наблюденій—въ этомъ не малая заслуга автора. Три книжки сочиненій М. Горькаго потребовали отъ него цѣлые годà личнаго опыта, и сколько пережитыхъ впечатлѣній въ нихъ вложено авторомъ, и думаемъ, что все это не останется безъ вліянія въ будущемъ.

Нельзя потому не поблагодарить г. М. Горькаго за это небольшое пока, но яркое освѣщеніе самыхъ темныхъ угловъ; высказанная имъ съ величайшей искренностью правда оживляетъ въ сердцѣ читателя братскую любовь къ тѣмъ „бывшимъ“ людямъ, отъ которыхъ невольно отталкиваетъ насъ одна ихъ неприглядная внѣшняя обстановка...

А. Виницкая.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Guy de Maupassant, Le Colporteur. Paris, 1900. Стр. 346.

Второй посмертный томикъ Мопассана заключаетъ въ себѣ болѣе интереснаго матеріала, чѣмъ первый. Среди нѣсколькихъ слабыхъ очерковъ и разсказовъ, которыхъ необычайно строгій къ самому себѣ художникъ, вѣроятно, не издалъ бы при жизни, есть нѣсколько и такихъ, которые стоятъ на ряду съ самыми сильными его произведеніями. Это относится въ особенности къ тѣмъ, гдѣ чувствуется элементъ ужаса. Мопассанъ не часто вводилъ ужасное въ свои разсказы, будучи, какъ послѣдовательный реалистъ, скорѣе скептикомъ, чѣмъ мистикомъ, скорѣе мрачнымъ наблюдателемъ уродства жизни, чѣмъ воплотителемъ мистическаго чувства, живущаго въ человѣкѣ и постоянно заставляющаго и жаждать, и бояться чуда. Но въ приближеніи грозившаго ему безумія Мопассанъ самъ переживалъ моменты стихійнаго страха; моменты эти населены были для него страшными образами, и когда онъ изрѣдка отражалъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ,—получались такія незабвенныя творенія, какъ „Horla".

Въ новомъ сборникѣ „Le Colporteur" есть одинъ разсказъ, гдѣ стихійно-ужасное переплетается съ дѣйствительностью, объясняется совершенно естественно и все-таки производитъ сильное впечатлѣніе на читателя. Это—разсказъ о смерти Шопенгауэра (Auprès d'un Mort). На нѣсколькихъ страницахъ описывается смерть философа со словъ, будто бы, его ученика, нѣмецкаго юноши, присутствовавшаго при кончинѣ учителя. Онъ разсказываетъ о томъ моментѣ, когда только-что умершій философъ казался окружающимъ еще почти живымъ,—до того свѣжа была еще память о его недавнихъ словахъ, о его улыбкѣ, о взглядѣ глазъ. И хотя смерть уже начала свое дѣло, и въ комнатѣ уже слышенъ былъ запахъ тлѣна,—любившимъ его ученикамъ казалось, что мертвый—среди нихъ, что душа его не отлетѣла. Этотъ моментъ перехода отъ жизни къ смерти, когда въ мертвомъ и уже разлагающемся тѣлѣ еще чувствуется присутствіе души, удивительно возсозданъ въ простыхъ словахъ ученика, разсказывающаго о страшной ночи, проведенной у тѣла Шопенгауэра. „Лицо его совершенно не измѣнилось, оно улыбалось. Знакомая намъ улыбка углубляла концы рта, и намъ казалось, что онъ откроетъ глаза, подни-

мется, заговоритъ. Его мысль, или, вѣрнѣе, его мысли охватили насъ. Болѣе чѣмъ когда-либо мы чувствовали себя окруженными, захваченными его геніемъ. Его власть казалась намъ еще болѣе непобѣдимой, потому что онъ умеръ. Нѣчто таинственное примѣшивалось къ могуществу этого несравненнаго ума. Тѣло такихъ людей можетъ исчезнуть, но сами они остаются; и въ ту ночь, которая слѣдуетъ за остановкой ихъ сердца, они, я увѣряю васъ, страшны". Ученики говорятъ о покойномъ, вспоминаютъ его мысли, изреченія, свѣтъ, который онъ проливалъ на невѣдомое. Но въ то же время, чувствуя присутствіе души учителя, они чувствуютъ также несомнѣнное тлѣніе тѣла и должны выйти въ другую комнату, потому что имъ становится дурно. Они усаживаются въ сосѣдней комнатѣ, такъ, что съ ихъ мѣста видна въ полномъ освѣщеніи постель и лицо мертвеца... „Но онъ продолжалъ насъ держать во власти. Казалось, что его безплотный духъ, освобожденный, всемогущій и властный, бродилъ вокругъ насъ; временами же тяжелый запахъ его разлагающагося тѣла достигалъ до насъ, смутный и отвратительный". Вдругъ имъ слышится странный шумъ въ комнатѣ мертвеца. Они заглядываютъ въ комнату, и совершенно ясно оба видятъ, какъ что-то бѣлое пробѣжало по постели, упало на коверъ и исчезло подъ кресломъ. Ихъ охватываетъ безумный, безотчетный ужасъ. Они увѣрены, что Шопенгауэръ умеръ и что тѣло его разлагается, а между тѣмъ ясно чувствуютъ присутствіе чего-то живого, непонятнаго. Со свѣчою въ рукахъ они входятъ въ комнату. „Я приблизился къ постели—говоритъ разсказчикъ,—и остановился въ ужасѣ и оцѣпенѣніи. Шопенгауэръ уже не смѣялся. Ротъ его былъ искривленъ страшной гримасой, губы сжаты, щеки глубоко провалились. Я прошепталъ:—онъ не умеръ! А между тѣмъ страшный запахъ тѣла, исходившій отъ трупа, доводилъ меня до удушья. И я стоялъ недвижимъ, не спуская съ него глазъ, въ ужасѣ, какъ передъ призракомъ". Этотъ моментъ стихійнаго ужаса, вызванный въ душѣ постояннымъ ожиданіемъ невозможнаго чуда, разъясняется очень просто. Бѣлый предметъ, пробѣжавшій по постели и упавшій на коверъ, оказался вставной челюстью зубовъ, выпавшей изо рта мертвеца именно вслѣдствіе трупнаго разложенія. Это происшествіе, почти анекдотическое, превращено художникомъ въ художественный разсказъ о томъ, какъ таинственно все самое простое, и какъ открыта душа человѣка для чувства тайны, охватывающей міръ.

Такое же стремленіе описать и понять чувство ужаса создало другой маленькій разсказъ, помѣщенный въ томъ же сборникѣ—„Ужасное" (L'Horrible). Тамъ старый генералъ, побывавшій въ нѣсколькихъ походахъ, разсказываетъ о двухъ случаяхъ, разъяснившихъ ему всю глубину слова: „ужасное". Въ одномъ случаѣ разъяренные и пе-

реутомленные солдаты гонятся за странной фигурой человѣка, котораго принимають за шпіона, звѣрски раздѣлываются съ нимъ и разстрѣливаютъ его, привязавъ къ дереву. „Солдаты стрѣляли въ него, заряжали наново свои ружья, снова стрѣляли съ ожесточеніемъ разъяренныхъ звѣрей. Они брали каждый съ боя свою очередь, проходили уже передъ мертвымъ трупомъ и все еще стрѣляли, какъ проходятъ мимо гроба, окропляя его каждый святою водой". Когда совершенно истерзанную окровавленную массу мнимаго шпіона раздѣваютъ, чтобы обыскать его,—оказывается, что это—переодѣтая старая женщина, которая вѣроятно пробиралась въ лагерь къ своему сыну. „И я,—говоритъ генералъ,—видѣвшій много въ жизни, заплакалъ. Здѣсь, передъ этой мертвой, въ эту ледяную ночь, среди черной равнины, передъ этой тайной, передъ этой звѣрски убитой незнакомой женщиной, я почувствовалъ, что̀ значитъ слово: ужасъ". Другой случай, о которомъ разсказываетъ генералъ, заключается въ томъ, какъ погибающіе отъ голода солдаты рѣшаются убить одного изъ своихъ товарищей и съѣсть его мясо.

Мрачная фантазія Мопассана сказалась еще въ одномъ разсказѣ сборника „Тикъ"—разсказѣ о заживо погребенной дѣвушкѣ, которой, проснувшись, удается выбраться изъ склепа и вернуться къ отцу. При этомъ происходитъ рядъ ужасовъ: дѣвушка проснулась потому, что слуга отрубилъ ей палецъ, чтобы снять съ него перстень. Вернувшись въ домъ отца, она, конечно, приводитъ всѣхъ въ безумный ужасъ. Увидавъ ее, воръ-слуга падаетъ мертвый; отецъ навсегда сохранилъ странный нервный тикъ—движеніе руки, какъ бы отмахивающей страшное видѣніе. Одна только дѣвушка здорова, и только отрѣзанный палецъ напоминаетъ ей о пережитомъ.

Наряду съ этими разсказами изъ области ужасовъ и страха, въ сборникѣ есть много разсказовъ въ обычномъ, иногда шутливомъ, иногда скептическомъ тонѣ Мопассана. Одинъ изъ наиболѣе удачныхъ—полуюмористическій и, въ сущности чрезвычайно пессимистическій разсказъ—„Мститель".

II.

Théodore de Wyzewa. Ecrivains étrangers. 3-ème série. Paris. 1900. Стр. 329.

Теодоръ де-Визева, одинъ изъ знатоковъ иностранной литературы во Франціи, даетъ въ своихъ „Ecrivains étrangers" характеристики новѣйшей европейской литературы, выясняя ея отношенія къ духовной жизни Франціи. Онъ иногда сильно расходится въ своихъ сужде-

ніяхъ съ большинствомъ французскихъ критиковъ. Такъ, напримѣръ, говоря о вліяніи русскаго романа на французскую литературу, онъ отрицаетъ его благотворность и старается умалить самые размѣры этого вліянія. Ему гораздо болѣе улыбается мысль о такъ-называемомъ латинскомъ возрожденіи, чѣмъ признанный и, казалось бы, неоспоримый фактъ воздѣйствія на европейскую беллетристику русскаго романа и скандинавской драмы.

Въ новой, недавно вышедшей третьей серіи „Ecrivains étrangers" Визева собралъ рядъ очерковъ о современномъ романѣ внѣ Франціи. Въ предисловіи онъ довольно пессимистически относится къ современной беллетристикѣ въ Европѣ. „За-границей, какъ и во Франціи,— говоритъ онъ,—романъ падаетъ, и за-границей, какъ и во Франціи, причина его паденія не зависитъ отъ международнаго обмѣна идей. Дѣло просто въ томъ, что во всей Европѣ романисты утратили способность и охоту разсказывать. Одни стремятся описывать, другіе— проповѣдывать, иные—анализировать процессы мысли и чувства; и среди всего этого они забываютъ, что единственная задача романа— воспроизводить живое дѣйствіе". Теорія, высказанная въ этихъ словахъ, крайне спорная, и множество примѣровъ опровергаютъ ее. Тонкость психологическаго анализа и даже проповѣдь опредѣленныхъ этическихъ идеаловъ не мѣшаютъ романамъ Толстого быть чрезвычайно интересными по фабулѣ, а „выдумка" у мистика Достоевскаго не менѣе разнообразна и увлекательна, чѣмъ у самаго беззаботнаго французскаго романтика, забывающаго, ради сложности дѣйствія, правдоподобность психологіи. У болѣе посредственныхъ современныхъ романистовъ меньше умѣнья заинтересовывать событіями въ своихъ книгахъ, но они и въ психологическомъ, также какъ въ идейномъ отношеніи, менѣе своеобразны и поучительны. Во всякомъ случаѣ, нѣтъ противорѣчія между углубленіемъ психологическаго элемента въ романѣ и художественнымъ развитіемъ фабулы, такъ что предпочитать романтика современнымъ романистамъ за непосредственный даръ разсказа нѣтъ никакого основанія, какъ нельзя предпочитать пеструю смѣну картинъ въ калейдоскопѣ осмысленной художественной картинѣ.

Гораздо болѣе вѣрной кажется намъ другая мысль, высказанная Визевой въ его предисловіи. Онъ доказываетъ, что въ европейской беллетристикѣ гораздо менѣе космополитизма, чѣмъ это принято считать въ настоящее время. Лучшіе писатели каждой страны остаются вполнѣ самобытными, и въ каждой странѣ вкусы и литературныя традиціи порождаютъ художественныя произведенія, которыя не могли бы возникнуть на другой почвѣ. Въ Германіи есть романы, чрезвычайно высоко цѣнимые нѣмецкими читателями, но съ точки зрѣнія француза—скучные, растянутые и мало характерные. Многія англій-

скія повѣсти, при всѣхъ ихъ достоинствахъ, могутъ нравиться лишь читателямъ, воспитаннымъ на постоянномъ чтеніи Библіи. Если же въ послѣднее время повсюду завелись писатели космополиты, то это, въ сущности, подражатели моднымъ вѣяніямъ, не создающіе ничего цѣннаго. Итальянскій поэтъ д'Аннунціо доказываетъ своимъ примѣромъ, какъ опасно даже для талантливаго писателя отказываться отъ самобытности, подчиняясь литературнымъ вкусамъ другихъ странъ. Бурже тоже примѣръ того, какъ намѣренный космополитизмъ приводитъ къ банальности и нехудожественности.

Визева разбираетъ въ своей книгѣ писателей различныхъ странъ, наиболѣе противоположныхъ свойствами своего таланта космополитическому однообразію нѣкоторыхъ модныхъ романистовъ. Онъ говоритъ о романахъ, пользующихся у себя на родинѣ большимъ успѣхомъ, выясняетъ ихъ значеніе, непонятное,—если не войти въ психологію среды, породившей данный романъ. Наиболѣе интересны характеристики нѣсколькихъ нѣмецкихъ романистовъ, именно потому менѣе извѣстныхъ,—какъ во Франціи, такъ и между прочимъ въ Россіи,—что они воплощаютъ все, что въ нѣмецкихъ вкусахъ противоположно традиціямъ другихъ странъ. Одинъ изъ этихъ романистовъ—Теодоръ Фонтанъ, умершій около двухъ лѣтъ тому назадъ и считавшійся въ Германіи главой современнаго романа. Въ послѣднее время у насъ стали переводить отдѣльныя повѣсти Фонтана, но самыя его характерныя вещи, объемистый романъ-хроника „Штехлинъ", „Irrungen-Wirrungen" и нѣкоторыя другія повѣствованія изъ жизни современной Германіи совершенно невозможны въ переводѣ. Въ нихъ почти совершенно нѣтъ дѣйствія, хотя въ эпическихъ подробностяхъ, въ характерахъ и въ ироническомъ тонѣ автора съ большой полнотой и силой воплощенъ духъ нѣмецкой жизни, и для историка повѣсти Фонтана—драгоцѣнный психологическій матеріалъ. Художественность этого рода произведеній романиста ускользаетъ отъ иностранца, въ особенности, конечно, отъ француза, которому трудно примириться съ медлительностью изложенія, съ терпѣливымъ выписываніемъ подробностей, съ отсутствіемъ драматическаго элемента. Визева правъ, утверждая, что нужно вполнѣ отрѣшиться отъ космополитизма, чтобы оцѣнить такого чисто національнаго писателя, какъ Фонтанъ, и понять его значеніе не только для Германіи, но и дли обще-европейской литературы. Давая характеристику Фонтана, Визева самъ, несмотря на свое желаніе войти въ чуждую психологію, судитъ о немъ какъ французъ. Понимая силу таланта Фонтана, онъ, однако, не замѣчаетъ въ немъ то, что есть въ немъ самаго характернаго. Образъ нѣмецкаго романиста является у него поэтому неполнымъ и блѣднымъ.

Фонтанъ первый послѣдовательный реалистъ въ Германіи. Совре-

менные нѣмецкіе писатели, начиная съ реализма, переходятъ большей частью къ идеалистическому творчеству, какъ, напримѣръ, Гауптманъ, или же вдаются въ крайности натурализма. Фонтанъ оставался отъ начала до конца реалистомъ, рисующимъ правдиво жизнь, занятымъ исканіемъ характерныхъ чертъ и не вносящимъ никакой проповѣди въ свое внимательное, любопытствующее и снисходительно-любовное изученіе дѣйствительности.

Значеніе Фонтана—въ томъ, что онъ создалъ „берлинскій романъ“, подобно тому, какъ во Франціи реалистическая школа воплотилась наиболѣе ярко въ романѣ парижскихъ нравовъ. Визева отмѣтилъ чисто-нѣмецкій характеръ романовъ Фонтана, но характерное „берлинство“ Фонтана онъ почему-то оставилъ безъ вниманія. На глазахъ Фонтана, уроженца Бранденбургской марки и прожившаго почти всю жизнь въ Берлинѣ, происходило постепенное превращеніе очень провинціальнаго по духу Берлина въ крупный европейскій центръ. Художникъ видѣлъ, среди какой борьбы, среди какого упорнаго матеріальнаго стяжательства, развивалось благосостояніе берлинцевъ, среди какой вѣчной заботы о безконечно маломъ выработывались современная роскошь и великосвѣтскость Берлина, налагая отпечатокъ нѣкоторой духовной тупости, безвкусія и нравственной безпринципности на общественные нравы; онъ видѣлъ, какъ постепенно выработывалось у берлинцевъ грубоватое самодовольство, отличающее людей, которые обязаны успѣхомъ своей собственной изворотливости и борьбѣ среди безконечныхъ лишеній. Берлинъ, съ его скороспѣлымъ внѣшнимъ великолѣпіемъ, лишенъ спокойной, аристократической красоты другихъ, выроставшихъ цѣлыми вѣками европейскихъ столицъ,—и тотъ же духъ самодовольнаго плебейства отразился въ нравахъ берлинскаго общества. Фонтанъ глубоко понялъ эту особую психологію Берлина, обусловленную историческими обстоятельствами, и отразилъ ее въ своихъ романахъ. Онъ не моралистъ, не обличитель общественной безнравственности, а только внимательный бытописатель. Онъ знаетъ, что ко всѣмъ вопросамъ совѣсти умудренные опытомъ берлинцы относятся съ ироніей, что они отшучиваются отъ всѣхъ неудобныхъ въ практической жизни нравственныхъ требованій; ихъ поэтому не возмущаетъ зло, которое они сами испытываютъ въ сношеніяхъ съ людьми, и то, которое они причиняютъ другимъ. Борьба, среди которой развился Берлинъ, могла бы создать трагическіе характеры, но практическій складъ ума берлинцевъ выработалъ въ нихъ иронію и сдѣлалъ этимъ жизнь болѣе безмятежной и менѣе сложной. Иронія берлинца—его философія, иногда мудро рѣшающая сложные вопросы жизни и совѣсти, иногда поражающая своимъ бездушіемъ. Никто въ литературѣ не отразилъ съ такой полнотой всѣ проявленія

берлинской ироніи, какъ Фонтанъ. Визева, который признаетъ за нимъ только даръ лѣтописца, заносящаго на страницы своихъ романовъ однообразныя событія однообразной жизни, не усмотрѣлъ, что эта лѣтопись освѣщена изнутри своеобразной психологіей; авторъ не судитъ своихъ героевъ, а сливается съ ихъ отношеніемъ къ жизни, придавая художественную выпуклость ихъ безсознательной философіи. Это единеніе даетъ Фонтану необычайно богатый и разнообразный матеріалъ. Всѣ черты современныхъ берлинцевъ, исходящія изъ ироническаго склада ихъ ума и освѣщенныя ироническимъ стилемъ автора, пріобрѣтаютъ жизненность и силу. Фонтанъ чрезвычайно остроуменъ; онъ любитъ мѣткія, сжатыя, эпиграмматическія опредѣленія. Въ этомъ видны слѣды французской крови (отецъ и мать Фонтана французскаго происхожденія). Всѣ дѣйствующія лица относятся съ нѣкоторымъ юморомъ даже къ своимъ собственнымъ злоключеніямъ, и при этомъ выступаютъ оттѣнки ихъ ироническаго отношенія къ жизни. Фонтанъ подмѣтилъ двѣ основныя черты практическаго берлинца—его кичливость, „Ueberheblichkeit“, пренебрежительную критику ко всему чужому, и его чрезмѣрную практичность и изворотливость—„Extragescheidtheit“. Но, при всемъ пониманіи суетности своихъ самолюбивыхъ героевъ, Фонтанъ, какъ эстетикъ съ аристократическимъ вкусомъ, любитъ типы, созданные жестокимъ эгоизмомъ практическаго Берлина. Ему нравится внѣшняя обаятельность удачниковъ, которые умѣютъ ослѣплять и чаровать, покоряя себѣ жизнь не внутренними достоинствами, а ловкостью и безпринципностью. Побѣдители въ суровой борьбѣ за успѣхъ не возмущаютъ его нравственнаго чувства, также какъ никто не судитъ ихъ въ ихъ собственной средѣ, признающей погоню за жизненными благами главнымъ закономъ жизни. Фонтанъ видитъ поэтому одну художественную сторону ихъ успѣха, притягательную силу ихъ ума и умѣнья покорять себѣ людей и обстоятельства. Они интересуютъ его какъ цѣльные, выдержанные типы, и таковыми они рисуются въ его романахъ. Фонтанъ—и въ этомъ еще одна особенность его таланта—любитъ все типичное и характерное. Онъ много путешествовалъ и повсюду гораздо менѣе обращалъ вниманія на природу, чѣмъ на людей. Его интересуютъ разновидности характеровъ; онъ любитъ все, въ чемъ отражается жизнеспособность людей,—любитъ наблюдать, какъ богатая человѣческая натура справляется съ различными условіями существованія. Поэтическая любовь къ человѣческому придаетъ теплоту его ироніи. Фонтанъ показываетъ внутреннюю пустоту своихъ умниковъ и удачниковъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ любуется ихъ властью надъ людьми. Изъ этихъ элементовъ составилось творчество Фонтана, распадающееся на двѣ большія группы. Къ первой принадлежатъ историческіе романы-хроники: „Grete-Minde“ „Unter

dem Birnbaum", „Ellernklipp" и др.; въ нихъ видно исканіе интересныхъ драматическихъ сюжетовъ; загадочныя преступленія, трагическая судьба цѣлыхъ семей, убійства и покаянія придаютъ романтическую окраску этимъ романамъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ Фонтанъ даетъ любопытныя описанія нравовъ, и характеры выведенныхъ лицъ обрисованы съ большой психологическою выпуклостью.

Болѣе интересна вторая группа—психологическіе романы изъ современной жизни, въ которыхъ рисуются Берлинъ и Пруссія настоящаго времени, всѣ классы общества, аристократія, военное сословіе, богатая буржуазія. Лучшіе романы этой группы: „Adultera", „Irrungen-Wirrungen", „Frau Jenny Treibe", „Unwiderruflich", „Effi Briest", „Stechlin" и др. Въ этихъ романахъ видна любовь Фонтана къ характернымъ типамъ, къ оригинальнымъ, гордымъ людямъ, умѣющимъ вліять на окружающее и полно пользоваться жизнью. Тутъ Фонтанъ вполнѣ реалистъ, врагъ всякой идеализаціи, всего условнаго. По его собственному выраженію, высокій стиль—„намѣренное уклоненіе отъ всего, что̀ людей интересуетъ". Онъ, опять-таки по его собственному выраженію „терпѣть не можетъ торжественности", и потому рисуетъ людей со всѣмъ, что̀ въ нихъ есть большого и мелкаго, индивидуальнаго и типичнаго. Изображеніе современности проникнуто у него свободнымъ юморомъ, жизнерадостнымъ любованіемъ всѣми явленіями жизни. Широта его историческаго пониманія дѣйствительности нѣсколько напоминаетъ Вальтеръ-Скотта, причемъ, однако, у него больше психологической проницательности и жизненной правды. Въ романахъ Фонтана мало дѣйствія. Намѣтивъ рядъ характерныхъ типовъ, онъ спокойно рисуетъ ихъ жизнь, не заботясь о томъ, чтобы разнообразить событія, часто останавливая и безъ того несложное дѣйствіе безконечными разговорами на всевозможные вопросы дня. Но эти кажущіяся вставки и отступленія вовсе не нарушаютъ интереса романа, будучи чрезвычайно характерными и психологически продуманными. Кромѣ того, французскій умъ Фонтана вноситъ въ діалогъ и въ разсужденія отдѣльныхъ лицъ столько остроумія и блеска, что длинныя страницы общихъ разсужденій читаются съ особымъ интересомъ. Можно было бы сдѣлать блестящій сборникъ афоризмовъ изъ разсѣянныхъ въ романахъ Фонтана изреченій, обобщеній и всякаго рода формулъ. Вотъ для примѣра нѣсколько его замѣчаній: „Самое печальное въ жизни—дубликаты"... „Самоучки всегда преувеличиваютъ"... „Геройство всегда исключительное состояніе и большею частью навязывается обстоятельствами"... „Во всякомъ собраніи людей необходимъ кто-нибудь, кто бы слушалъ молча"... „Отсутствующіе всегда лучше обо всемъ знаютъ", и т. п. Рядомъ съ этими отдѣльными афоризмами, въ романахъ Фонтана встрѣчается множество замѣча-

тельныхъ разсужденій о разныхъ общественныхъ вопросахъ, о сословной чести, о политикѣ, о правилахъ жизни. Въ нихъ сказывается сатирическій умъ, знаніе людей и, главнымъ образомъ, ироническое примиреніе съ практическою моралью, которой живутъ люди.

Всѣ эти элементы сказались съ большой оригинальностью въ особенности въ двухъ романахъ: „L'adultera“ и „Irrungen-Wirrungen“. Заглавіе перваго относится къ извѣстной картинѣ Тиціана—„Прелюбодѣйная жена“. Картину эту богатый берлинскій банкиръ покупаетъ для своей жены. Молодая, красивая женщина вскорѣ послѣ того измѣняетъ своему мужу,—картина явилась какъ бы пророчествомъ. Сюжетъ довольно банальный, но оригинальность Фонтана заключается въ томъ, какъ его очень современная берлинская чета разыгрываетъ драму своей жизни. Чувства у нихъ искреннія, мужъ очень любитъ свою жену, та въ свою очередь терзается увлеченіемъ, которому отдалась, но оба они—люди современнаго практическаго Берлина, безъ трагизма и способности къ геройству. Оба любятъ внѣшнія радости жизни, понимаютъ, что жизнь создана изъ условностей, умѣютъ—это главная ихъ сила—смотрѣть на самихъ себя со стороны, иронизировать надъ собой,—и потому никакой драмы не происходитъ. Когда все выяснено, супруги, очень спокойно разсуждавшіе о всѣхъ обстоятельствахъ такъ-называемой преступной связи, убѣждаются, что все-таки они остались близкими другъ другу, что у нихъ одинаковое желаніе жить не высокими отвлеченными идеалами, а улыбающейся внѣшней жизнью, и примиряются. Ничто не измѣнилось. Картина, изображенная на полотнѣ, повторилась въ жизни—и больше ничего. Для всѣхъ знакомыхъ банкирской четы, для тѣхъ, кто привыкъ пріятно проводить время въ ихъ домѣ, не было даже видно никакой опасности, угрожавшей семейному счастью. Праздники продолжаются, молодая женщина очаровываетъ попрежнему всѣхъ своими нарядами и своей красотой, и даже тѣнь грусти не омрачила прежняго отношенія супруговъ. Въ этомъ почти циничномъ отношеніи къ жизни, въ слишкомъ, казалось бы, простомъ примиреніи съ драмой, нѣтъ, однако, ничего уродливаго, благодаря тому, что Фонтанъ находитъ въ своей ироніи неисчерпаемый источникъ любви къ людямъ и умѣетъ согрѣть ею своихъ умствующихъ, иронизирующихъ героевъ, которымъ жизнь такъ дорога, что омрачить ее ничто не можетъ.—Въ „Irrungen-Wirrungen“ еще болѣе ярко выступаетъ жестокій цинизмъ житейской практичности. Молодой, блестящій офицеръ искренно и тепло любитъ простую дѣвушку. Онъ охотно оставляетъ общество своего круга, чтобы проводить вечера у матери своей возлюбленной, считается тамъ членомъ семьи, входитъ во всѣ ихъ маленькіе интересы, посѣщаетъ сосѣдей, разсказываетъ о дамахъ своего круга, возбуждая благоговѣй-

ный интересъ своими разсказами. Дѣвушка не скрываетъ ни отъ кого своихъ отношеній съ блестящимъ офицеромъ, и никто изъ буржуазной семьи ея не поднимаетъ вопроса о нравственности. При этомъ, однако, никакихъ матеріальныхъ разсчетовъ со стороны дѣвушки и ея семьи не возникаетъ. Она просто рада, что пользуется жизнью, что молода и красива, что любитъ и любима. Затѣмъ наступаетъ серьезный моментъ. Блестящему офицеру предстоитъ соотвѣтствующая его положенію женитьба. Онъ спокойно, хотя и съ большою грустью сообщаетъ объ этомъ дѣвушкѣ и ея матери, и опять-таки никто не ропщетъ, не возмущается. Таковы законы жизни, и всѣ ихъ просто принимаютъ, пользуясь радостью, когда она приходитъ, и заранѣе примиренные съ ея исчезновеніемъ. Офицеру устроивается въ семьѣ его возлюбленной скромное прощальное торжество, затѣмъ онъ уѣзжаетъ. Онъ очень счастливъ со своей добродушной, красивой женой, и только изъ газетныхъ объявленій узнаетъ о томъ, что его прежняя возлюбленная вышла замужъ. Жена его вычитываетъ это объявленіе въ газетахъ, смѣясь надъ именемъ жениха, котораго зовутъ Гедеономъ. Офицеръ смущенно беретъ газету и только говоритъ: „Что̀ ты имѣешь противъ имени Гедеона, Кэтти? Гедеонъ лучше чѣмъ Ботто (такъ зовутъ офицера)". На этомъ романъ заканчивается. Сколько бы на этотъ сюжетъ можно было написать раздирательныхъ драмъ съ самоубійствомъ героя или, по меньшей мѣрѣ, героини, съ дешевыми возмущеніями по поводу вѣроломства, эгоизма и т. д.! Но дѣйствующія лица Фонтана не трагичны, и въ ихъ спокойномъ и, опять-таки, нѣсколько циничномъ примиреніи съ практическими условіями жизни есть какая-то своеобразная свобода и красота. Во всякомъ случаѣ, такого рода освѣщеніе очень оригинально и рисуетъ нѣмецкую современность такъ, какъ ее еще никто не изображалъ.

Въ послѣднемъ, уже вышедшемъ послѣ смерти Фонтана, романѣ „Штехлинъ" совсѣмъ нѣтъ драмы. Въ первой части разсказывается о пріѣздѣ молодого офицера и его товарища къ старику отцу, представителю стариннаго прусскаго рода. Затѣмъ, въ дальнѣйшихъ частяхъ, разсказывается о женитьбѣ молодого Штехлина, потомъ о провалѣ старика на выборахъ, наконецъ о смерти его. Объемистый романъ (въ пятьсотъ слишкомъ страницъ) заполненъ главнымъ образомъ разговорами, въ которыхъ рисуется міросозерцаніе различныхъ классовъ нѣмецкаго общества, аристократической молодежи, стариковъ съ твердыми сословными понятіями, сельскаго священника, учителя, представителей либерализма въ Пруссіи. Все, что̀ они говорятъ, характерно, умно и интересно, и весь романъ представляетъ собою скорѣе живо написанную лѣтопись съ художественными, совершенно живыми характерами и типами.

Таковъ этотъ оригинальный романистъ, дающій новое освѣщеніе нѣмецкой жизни и обнаружившій большой и своеобразный художественный талантъ.

Возвращаясь къ оцѣнкѣ, сдѣланной Визевой, можно прибавить, что, понявъ силу Фонтана, онъ все-таки недостаточно ярко оттѣнилъ идейный интересъ его романовъ, ихъ своеобразную ироническую философію, дѣлающую ихъ воплощеніемъ историческаго момента, переживаемаго въ настоящее время Германіей.

Въ книгѣ Визевы другіе очерки посвящены разбору повѣсти Розеггера: „Das Ewige Licht", очень интересной характеристикѣ датскаго романиста Нансена,—и нѣсколькимъ англійскимъ и американскимъ писателямъ.

III.

Jean Dornis. La Poésie Italienne Contemporaine. Paris, 1900. Стр. 340.

За исключеніемъ нѣсколькихъ разрозненныхъ именъ—д'Аннунціо, Ады Негри, Фогаццаро, Джіокозы, современная итальянская литература, и въ особенности поэзія, мало обращаетъ на себя вниманія въ другихъ европейскихъ странахъ. Послѣ завершенія великой культурной миссіи Италіи, наступилъ періодъ упадка, и какъ бы ни складывалась политическая и общественная жизнь Италіи, человѣчество не будетъ искать въ ней источника новыхъ идей—и новыхъ путей въ искусствѣ. Каждый разъ когда, въ силу культурныхъ привычекъ, болѣе молодыя европейскія націи искали вдохновенія въ литературѣ и въ искусствѣ Италіи, это приводило къ застою, къ возникновенію подражательнаго ретроспективнаго и мертваго искусства и литературы. Въ нашемъ вѣкѣ, когда все болѣе ростетъ потребность создать самобытную культуру, отвѣчающую новымъ потребностямъ духа, итальянское вліяніе окончательно пало. Италія или примыкаетъ къ движенію мысли въ остальной Европѣ, или замыкается въ чисто національномъ творчествѣ, возбуждающемъ въ другихъ націяхъ только интересъ, а не подражаніе и не соревнованіе.

Въ недавнее время, т.-е. за послѣднія 5—6 лѣтъ, итальянская литература стала возбуждать больше вниманія. Группа молодыхъ писателей, примкнувшихъ къ ветерану итальянской поэзіи, Кардуччи, провозгласила новое Возрожденіе—Risorgimento—и старалась убѣдить читателей въ томъ, что южно-романское вліяніе должно снова взять верхъ надъ сѣвернымъ въ европейской литературѣ. Гордость ихъ, однако, не восторжествовала. Нѣкоторые изъ созидателей этого Risorgimento оказались талантливыми поэтами, но они или подражали фран-

цузскимъ символистамъ, какъ д'Аннунціо, или замыкались въ латинскихъ традиціяхъ. Итальянская поэзія оставалась въ ихъ рукахъ отдѣленной отъ общеевропейской и мало извѣстной за предѣлами Италіи.

За послѣдніе годы появилось нѣсколько очерковъ новой итальянской поэзіи и ея національныхъ особенностей. Книга Уго Ойетти (Ugo Ojetti), составленная изъ бесѣдъ съ наиболѣе выдающимися итальянскими писателями, знакомитъ скорѣе, такъ сказать, съ личнымъ составомъ новѣйшей итальянской литературы, съ группами, на которыя она распадается. Болѣе цѣльный историко-литературный характеръ имѣетъ книга французскаго писателя Жана Дорниса, „La Poésie Italienne Contemporaine", вышедшая теперь четвертымъ, значительно увеличеннымъ и исправленнымъ изданіемъ.

Дорнисъ излагаетъ исторію развитія итальянской поэзіи XIX вѣка. Вслѣдствіе чисто національныхъ причинъ главнѣйшія теченія общеевропейской литературы отразились въ Италіи очень своеобразно; то, что въ остальной Европѣ было причиной длящейся очень долго реакціи, сдѣлалось въ Италіи источникомъ обновленія. Новая итальянская поэзія возникла на почвѣ классицизма. Кардуччи, первый итальянскій нео-классикъ—отецъ новой поэзіи. Въ первой половинѣ XIX вѣка поэзія была тѣсно связана съ политическими обстоятельствами, отражала протестъ противъ правительственнаго гнета. Но, какъ справедливо утверждаетъ Дорнисъ, — „самые гордые крики звучатъ фальшиво, когда исчезли тираны, противъ которыхъ они направлены. Нельзя возмущаться противъ тюремъ—уже уничтоженныхъ; воззванія къ свободѣ вызываютъ лишь улыбку, когда эта свобода достигнута". Патріотическая поэзія вдохновляла итальянцевъ къ борьбѣ за свободу, но художественное значеніе ея ничтожно.

Гораздо плодотворнѣе была ожесточенная борьба между классицизмомъ и романтизмомъ. Въ Италіи произошло въ этомъ отношеніи какъ разъ противоположное тому, что происходило въ другихъ странахъ. Во Франціи и въ Германіи романтизмъ разбудилъ творческія силы націи, освободилъ отъ гнета чуждой античной культуры и пробудилъ самобытную жизнь. Въ Италіи, напротивъ того, романтизмъ съ его возрожденіемъ среднихъ вѣковъ былъ выдумкой ученыхъ и археологовъ и никогда не проникалъ въ сознаніе народа. Единственнымъ результатомъ его былъ возвратъ къ языку XIII-го и XIV-го вѣковъ, отягченному въ началѣ XIX вѣка латинизмами эпохи „Возрожденія". Классицизмъ же, напротивъ того, выросъ изъ глубины національной жизни, и все имъ созданное въ Италіи носитъ печать искренности и художественной правды. „Ода къ Гражданину Бонапарту", Уго Фосколи, болѣе классична по духу, чѣмъ большинство произведеній Наполеоновской эпохи во Франціи.

Но все же, такъ какъ и въ Италіи классицизмъ состоялъ въ обращеніи назадъ, къ пережитымъ уже формамъ и чувствамъ, то самъ по себѣ онъ не могъ создать новой литературы. Творческая пора для итальянской поэзіи наступила тогда, когда борьба между классицизмомъ и романтизмомъ превратилась въ борьбу между разумомъ и вѣрой. Въ другихъ странахъ классицизмъ проникнутъ былъ духомъ послушанія и консерватизма, а всѣ мятежныя силы боролись въ рядахъ романтиковъ. Особенность Италіи—въ томъ, что романтизмъ съ его католическими симпатіями былъ оплотомъ реакціи, а классицизмъ питалъ собой духъ протеста. Въ ожесточенной борьбѣ между этими двумя теченіями побѣдилъ классицизмъ, и новая литература—въ частности поэзія—стала антиромантичной и антирелигіозной. „Гимнъ Сатанѣ", Кардуччи, и „Люциферъ", Раписарди—первыя проявленія итальянской поэзіи, когда она вступила, въ шестидесятыхъ годахъ нашего вѣка, на путь самобытнаго творчества.

Отецъ новой итальянской поэзіи—Джозуэ Кардуччи—нео-классикъ и патріотъ. Поэзія и эрудиція сочетались въ прославленномъ профессорѣ болонскаго университета съ изумительной гармоніей, исключающей всякій педантизмъ. Фатальной легкости итальянскихъ риѳмованныхъ стиховъ и куплетовъ подъ аккомпаниментъ гитары, онъ противопоставилъ строгіе греко-римскіе ритмы тѣхъ итальянскихъ поэтовъ XV и XVI вѣка, которые сами себя называли „варварами". Въ память о нихъ Кардуччи назвалъ нѣсколько своихъ стихотворныхъ сборниковъ: „Ode Barbare". Ихъ искусная изысканно-гармоничная форма имѣла чрезвычайно благотворное вліяніе на итальянскую поэзію, изгнавъ изъ нея слишкомъ легкую и пошлую музыкальность. Но по содержанію первые сборники Кардуччи, проникнутые пламеннымъ гражданскимъ лиризмомъ, были менѣе всего античны. Въ „Ea Ira" и въ особенности въ гнѣвномъ и мятежномъ „Гимнѣ Сатаны"—Кардуччи—выразитель своего поколѣнія. Знаменитые два стиха: „Materia, inalzati,—Satana ha vinto", повторялись съ упоеніемъ—не только въ одной Италіи. Въ гимнѣ звучитъ страстность и убѣжденность молодости, и несмотря на декламаціонный характеръ этой апологіи разума (Salute, o, Satana,—O, ribellione,—O, forza vindice—De la ragione), властная жажда свободы и познанія дѣлаетъ это произведеніе юности однимъ изъ самыхъ яркихъ образцовъ лирической силы Кардуччи. Впослѣдствіи Кардуччи отошелъ отъ непримиримо-республиканскихъ идеаловъ и со времени объединенія Италіи сталъ сторонникомъ водворившагося политическаго режима. Поэтъ и историкъ литературы сталъ центромъ литературной жизни сѣверной Италіи. Онъ стремился облагородить итальянскій стихъ, изгонялъ риѳму, слишкомъ доступную и легкую въ итальянскомъ языкѣ, чтобы быть художественной.

Духъ его поэзіи античенъ, не только потому, что мысли его направлены на изученіе и пониманіе древности, но и потому, что онъ—язычникъ по природѣ. Онъ искренно ненавидитъ смиреніе, грусть, самоотреченіе и добродѣтели, созданныя христіанствомъ, и пламенно славословитъ природу и радость жизни. Въ лучшихъ стихотвореніяхъ и поэмахъ Кардуччи чувствуется полная гармонія между втиснутымъ въ строгій античный метръ лиризмомъ и описаніемъ чувствъ, связанныхъ съ природой. Но иногда воображеніе поэта разбиваетъ рамки античной ясности духа: вдохновляясь дѣйствительностью, онъ отражаетъ въ поэзіи страданія всю индивидуальность своего отношенія къ міру. Во второмъ и, въ особенности, въ третьемъ сборникѣ „Ode Barbare", Кардуччи, оставаясь вѣрнымъ избраннымъ имъ греко-римскимъ размѣрамъ, становится все болѣе индивидуальнымъ и оригинальнымъ въ передачѣ своихъ ощущеній и настроеній, и создаетъ такимъ образомъ чисто современную поэзію, коренящуюся въ глубинѣ національнаго духа.

Кардуччи сталъ основателемъ такъ называемой болонской школы, изъ которой вышелъ цѣлый рядъ талантливыхъ молодыхъ поэтовъ. Главные элементы ихъ поэтическаго credo—вѣрность греко-римской просодіи, презрѣніе къ дешевой музыкальности, передача лирическихъ настроеній въ природѣ, языческій идеалъ радости. Одинъ изъ самыхъ видныхъ представителей этой группы—Джіованни Маррадн, соединявшій, подобно своему учителю, твердую эрудицію съ непосредственнымъ лирическимъ талантомъ. Подобно Кардуччи, Маррадн былъ борцомъ въ области поэзіи. Кардуччи боролся противъ романтизма, Маррадн—противъ германскаго вліянія; оно проникло въ Германію въ 70-хъ годахъ и возбудило въ итальянской молодежи преувеличенное преклоненіе передъ ученостью и педантизмомъ въ ущербъ чувству красоты и творческой фантазіи. Маррадн сталъ во главѣ союза новыхъ „голіардовъ", названныхъ въ память безпечно веселыхъ, независимыхъ въ жизни и искусствѣ „clerici vagantes" среднихъ вѣковъ. Члены союза искали источниковъ поэзіи въ жизни; до натуралистовъ и „веристовъ" они съ любовью изучали всѣ явленія дѣйствительности, видя въ этомъ путь къ пониманію скрытаго смысла бытія. Маррадн—очень утонченный пейзажистъ; его описанія моря, горъ и сельскихъ картинъ проникнуты поэзіей и страстью. Форма его стиховъ связываетъ его съ классической эпохой итальянской лирики, съ ритмами Петрарки. По его примѣру, многіе изъ молодыхъ итальянскихъ поэтовъ пытались выражать современныя чувства и настроенія при посредствѣ античныхъ формъ.—Всѣ эти попытки показываютъ, что одна только Италія могла плодотворно пользоваться наслѣдіемъ классицизма. Во всѣхъ странахъ слѣдованіе античнымъ законамъ формы

роковымъ образомъ приводило къ подражательности, къ повторенію идейнаго содержанія. Итальянскіе поэты могли безнаказанно вкладывать въ унаслѣдованныя формы свою индивидуальность, не противорѣчащую, а, напротивъ того, какъ бы продолжающую прежнюю жизнь, прежнія чувства и отношенія къ природѣ.

Гвидо Маццони, Кіаррини, талантливая поэтесса Анни Виванти—наиболѣе выдающіяся имена болонской школы поэтовъ. У всѣхъ у нихъ звучитъ идиллическая нота, и воспѣваніе простыхъ чувствъ, тихихъ радостей очага, спокойныхъ красотъ природы занимаетъ главное мѣсто.

Совершенно другой характеръ носитъ поэзія юга Италіи. Проводя параллель между Кардуччи и его соперникомъ, неаполитанскимъ поэтомъ Маріо Рaписарди, Дорнисъ объясняетъ успѣхъ послѣдняго—его близостью къ народному духу Сициліи. Кардуччи высоко культуренъ въ своей лирикѣ, и чувство мѣры, изысканность вкуса—основной принципъ всего его творчества. Раписарди, напротивъ того, поражаетъ своей неуравновѣшенностью, безудержностью, многорѣчивостью и отсутствіемъ вкуса. Но стихійность его лиризма и смѣлость фантазіи заставляютъ забывать погрѣшности вкуса и невыдержанность формы. Раписарди тоже задавался цѣлью воскресить въ новой итальянской поэзіи античный духъ и этимъ вызвалъ негодованіе Кардуччи, видѣвшаго въ строгости формы единственно вѣрный путь къ воскресенію классическаго идеала. Кардуччи очень ожесточенно нападалъ на поэму „Люциферъ“ Раписарди, считая ее полной противоположностью античному духу.

Подобно Кардуччи на сѣверѣ, Раписарди на югѣ сталъ центромъ группы поэтовъ, изъ которыхъ наиболѣе интересны—Чезарео, Луиджи Капуана, Уго Флересъ. Ихъ поэзія соткана изъ свѣта и грёзъ, изъ поверхностной эрудиціи и романтичнаго состраданія къ судьбѣ угнетенныхъ и обездоленныхъ.

Помимо рѣзкаго отличія сѣверно-итальянской поэзіи отъ южной, есть нѣсколько другихъ подраздѣленій, которыми опредѣляется современная итальянская поэзія. Говоря о религіозной и мистической поэзіи, Дорнисъ останавливается преимущественно на Фогаццаро, извѣстномъ авторѣ романовъ: „Malombra“, „Daniele Cortis“ и др., и поэмъ и лирическихъ сборниковъ: „Valsolda“, „Miranda“ и т. д. Фогаццаро—одинъ изъ немногихъ итальянскихъ писателей, хорошо извѣстныхъ и за предѣлами своей родины; но европейская критика относится къ нему гораздо болѣе критически, чѣмъ соотечественники. Дорнисъ раздѣляетъ увлеченіе итальянцевъ и говоритъ о глубоко искренней религіозности поэта, о его проникновенной грусти. Но сентиментально-идеализированные образы героинь Фогаццаро и романтизмъ фабулы

въ его повѣстяхъ противорѣчатъ характеристикѣ Дорниса, и тѣ отрывки поэмъ, которыя онъ приводитъ, тоже полны условной трогательности.

Такъ называемые „веристы", т.-е. поэты занятые реальными страданіями людей, извѣстны внѣ Италіи въ лицѣ самаго даровитаго своего представителя—Стеккетти, страстнаго страдальца и скептика, котораго возмущаютъ люди и жизнь. По темпераменту Стеккетти—романтикъ; его поэзія—лирика оскорбленной души. Но умъ его, столь же мятежный, какъ и душа, борется противъ безвкусія въ литературѣ, противъ условной красивости—belezza—и манерности, излюбленной публикой, и это сдѣлало его защитникомъ реализма, искренности и простоты, т.-е. того, что̀ составляетъ принципъ „веристовъ" въ итальянской литературѣ.

Гораздо менѣе, чѣмъ Стеккетти, извѣстенъ Артуръ Графъ, пессимистическій поэтъ нѣмецкаго происхожденія. Дорнисъ приводитъ нѣсколько образчиковъ поэзіи Графа. Это—варіаціи на тему о безполезности человѣческихъ усилій; его выдержанный классическій стиль роднитъ его съ болонской школой, также какъ и чуткое пониманіе природы.

Говоря о поэтахъ съ ярко выразившейся индивидуальностью, Дорнисъ даетъ характеристику популярной поэтессы Ады Негри и заканчиваетъ книгу пространнымъ очеркомъ, посвященнымъ Габріэлю д'Аннунціо. Послѣдній извѣстенъ въ остальной Европѣ главнымъ образомъ какъ романистъ и драматургъ. А между тѣмъ, оригинальность его страстной и вмѣстѣ съ тѣмъ утонченной натуры сказалась главнымъ образомъ въ лирикѣ. Дорнисъ приводитъ образцы его описаній природы, въ которыхъ особенно сильно выразилась индивидуальность поэта. Его любовь къ Риму, къ морю, горамъ, также какъ и къ красотѣ, воплощенной въ образѣ любимой женщины, проникнуты одинаковой сосредоточенностью и силой воображенія.—З. В.

НЕКРОЛОГЪ.

Леонидъ Николаевичъ Майковъ.

7-го апрѣля, скончался Леонидъ Николаевичъ Майковъ, вице-президентъ Имп. Академіи Наукъ, давно составившій себѣ заслуженную извѣстность трудами по исторіи древней и новой русской литературы и народной поэзіи. Родъ Майковыхъ очень старый; по преданіямъ, къ нему принадлежалъ знаменитый подвижникъ и писатель XV—XVI вѣка, Нилъ Сорскій; въ XVIII-мъ вѣкѣ, изъ этого рода былъ извѣстный въ свое время стихотворецъ—Василій Ив. Майковъ. Въ семьѣ Л. Н. поддерживались живые художественные и литературные интересы. Л. Н. родился въ 1839, а двое старшихъ его братьевъ еще въ сороковыхъ годахъ вступили на литературное поприще, одинъ—какъ поэтъ, сразу обратившій на себя вниманіе, другой—какъ даровитый и оригинальный критикъ. Въ семьѣ установились литературные интересы и отношенія, и позднѣе въ ихъ кругъ вошелъ и Л. Н., для котораго эти интересы стали жизненнымъ дѣломъ—въ области науки. Онъ учился въ частномъ пансіонѣ, потомъ въ гимназіи, наконецъ въ петербургскомъ университетѣ. Свою литературную дѣятельность онъ началъ еще студентомъ, а затѣмъ, въ 1863 г. защищалъ свою магистерскую диссертацію „О былинахъ Владимірова цикла“. Здѣсь уже сказались тѣ свойства, которыя всегда потомъ отличали его ученую работу: внимательное изученіе историческаго факта, его ближайшихъ непосредственныхъ особенностей, осторожное отношеніе къ теоретическимъ построеніямъ. Въ то время, когда Майковъ работалъ надъ своей диссертаціей, по почину Буслаева распространялась теорія миѳологическаго объясненія русской народной поэзіи, и въ томъ числѣ эпоса. При всемъ остроуміи въ рукахъ Буслаева при всемъ старательномъ собираніи подробностей у Аѳанасьева, эти объясненія были, въ слишкомъ большой степени, теоретически предвзятыя, когда, прежде достаточно полнаго изученія фактовъ, были въ основѣ цѣликомъ взяты изъ теорій Гримма, Шварца, Макса Мюллера и пр. Еще черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ диссертаціи Майкова, Ор. Миллеръ издалъ свою громадную книгу объ „Ильѣ Муромцѣ“, гдѣ эта система объясненія древней былины была доведена до фантастическихъ размѣровъ. Майковъ остался чуждъ этому направленію. Онъ разсматривалъ былины

по ихъ историческимъ и бытовымъ даннымъ и опредѣлилъ ихъ какъ эпосъ дружинный. Кіевское происхожденіе былинъ указывается историческими фактами: дѣйствіе происходитъ главнымъ образомъ въ Кіевѣ или около него; дѣйствующія лица иногда названы въ лѣтописи на пространствѣ X—XIII вѣковъ; въ старыхъ былинахъ не видно никакого преобладанія Москвы.

Начавъ службу въ министерствѣ финансовъ, Майковъ вскорѣ перешелъ въ центральный статистическій комитетъ министерства внутреннихъ дѣлъ; съ 1868 года онъ былъ помощникомъ редактора, а съ 1882 до 1890—редакторомъ „Журнала министерства народнаго просвѣщенія“, который съ тѣхъ поръ, не безъ его воздѣйствій, представилъ множество цѣнныхъ изслѣдованій по исторіи русской литературы. Съ 1882 г. Майковъ былъ помощникомъ директора Имп. Публичной Библіотеки; съ 1889 г. онъ былъ членомъ Русскаго Отдѣленія Академіи Наукъ, и съ 1893 г.—вице-президентомъ Академіи.

Съ перваго его труда, дѣятельность Л. Н. Майкова была направлена, съ одной стороны, на изученіе народной поэзіи, съ другой—на исторію литературы, древней и новой. Новый періодъ нашей науки въ обѣихъ областяхъ имѣлъ двѣ основныя задачи: опредѣлить исторически факты, которые до тѣхъ поръ мало привлекали вниманіе изслѣдователей (какъ вообще старая литература), и вмѣстѣ съ тѣмъ разыскивать и приводить въ извѣстность новые факты, до тѣхъ поръ совсѣмъ невѣдомые. Майковъ издавна работалъ въ Географическомъ Обществѣ, гдѣ потомъ, въ 1872—1886 гг., былъ предсѣдателемъ Этнографическаго Отдѣленія. Подъ его редакціей вышло нѣсколько томовъ „Записокъ по Отдѣленію Этнографіи“. Изъ его собственныхъ работъ по этнографіи особенно цѣнно было собраніе великорусскихъ заклинаній, разборы „Пѣсенъ“, Рыбникова, „Причитаній сѣвернаго края“, Барсова, „Онежскихъ былинъ“, Гильфердинга; изслѣдованія о значеніи народной поэзіи въ средѣ самого быта, о характерѣ народныхъ пѣвцовъ, о старыхъ записяхъ народной поэзіи (съ XVII вѣка), объ отношеніи старыхъ книжниковъ къ народной поэзіи и т. д. Работы историко-литературныя также имѣли иногда отношеніе къ этнографіи, какъ напр. его статья о полу-народной повѣсти Петровскаго времени, какъ его изданія старыхъ сочиненій XVIII вѣка: „Краткое извѣстіе о народѣ Остяцкомъ“, Григорія Новицкаго (1715 г.), 1884, и „Путешествіе по сѣверу Россіи въ 1791 г.“, П. Челищева, 1886.

Рядомъ съ этимъ шли работы историко-литературныя. Разсѣянныя въ журналахъ, онѣ только частію собраны были имъ въ „Очеркахъ изъ исторіи русской литературы XVII и XVIII столѣтій“ (Спб. 1889), потомъ въ „Историко-литературныхъ очеркахъ“ (Спб. 1895), гдѣ находятся любопытныя частныя изслѣдованія о Крыловѣ, Жуковскомъ,

Батюшковѣ, Пушкинѣ, Плетневѣ, Погодинѣ, Фетѣ. Самымъ обширнымъ изъ его историко-литературныхъ трудовъ было изданіе сочиненій К. Ѳ. Батюшкова (Спб. 1889, три тома) съ біографіей поэта и обширнымъ комментаріемъ, гдѣ нашли также мѣсто весьма цѣнныя библіографическія изысканія В. И. Саитова. Впослѣдствіи біографія Батюшкова, съ новыми дополненіями, была выдѣлена отсюда въ особое изданіе (Спб. 1896). Въ 1891, изданы были „Критическіе опыты (1845—1847)“ Валеріана Майкова, къ которымъ Л. Н. составилъ біографическое и историко-литературное введеніе. Въ тѣ же годы выходили его „Матеріалы и изслѣдованія по старинной русской литературѣ“ (Спб. 1890—91), гдѣ между прочимъ былъ имъ изданъ любопытный и ранѣе неизвѣстный памятникъ паломнической литературы, „Бесѣда о святыняхъ Цареграда“. Эти изученія увлекали Л. Н. и среди обширнаго труда надъ Пушкинымъ, и въ послѣдніе дни жизни онъ работалъ надъ однимъ любопытнымъ вопросомъ литературы XVI вѣка: не знаемъ, было ли имъ закончено это изслѣдованіе.

Извѣстно, что въ послѣдніе годы Л. Н. Майковъ былъ поглощенъ работой надъ Пушкинымъ. Вышедшій въ свѣтъ въ прошломъ году первый томъ изданія сочиненій Пушкина даетъ понятіе о томъ, какія широкія рамки Л. Н. ставилъ для своего комментарія къ Пушкину: „примѣчанія“ должны были составить рядъ детальныхъ разысканій по разнымъ сторонамъ поэзіи Пушкина. Ему не суждено было довести до конца свою главную, любимую работу.

Эту работу онъ началъ уже много лѣтъ назадъ; подготовительныя изученія составили цѣлый рядъ статей, которыя къ юбилейному году собраны были въ книгу: „Пушкинъ. Біографическіе матеріалы и историко-литературные очерки“ (Спб. 1899). Нѣкоторые изъ этихъ матеріаловъ и очерковъ были раньше помѣщены въ журналахъ; другіе являлись въ книгѣ въ первый разъ.

Таковы были работы Л. Н. Майкова по русской этнографіи и исторіи литературы. Ихъ многочисленность свидѣтельствуетъ о его трудолюбіи, съ которымъ соединялась обыкновенно большая внимательность и точность его изслѣдованій. Его свѣдѣнія по вопросамъ исторіи русской литературы, древней и новой одинаково, были весьма обширны, и еще одна черта, говорившая объ его великой любви къ предмету и не всегда отличающая ученыхъ спеціалистовъ, заключалась въ его готовности служить и чужому труду: онъ всегда былъ готовъ помогать ему и своими цѣнными сообщеніями, и хорошо подобранными книгами. Многіе помянутъ его добрымъ словомъ, и я въ томъ числѣ.

А. Пыпинъ.



ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 мая 1900.

Судебное разслѣдованіе и административная расправа.—Люди XIX-го вѣка, „живущіе во времена Алексѣя Михайловича“.—Новыя варіаціи на тему объ „объединеніи силъ“.—Правдивое слово „Гражданина“.—Петербургскій городской голова и „охранительная“ пресса.—Высшіе женскіе курсы въ Москвѣ.—М. А. Загуляевъ †.—Отъ Редакціи, по поводу возраженія г-на Семенковича г-ну Гутьяру.

Мѣсяцъ тому назадъ, говоря о нѣсколькихъ характерныхъ судебныхъ процессахъ, мы упомянули, между прочимъ, о дѣлѣ крестьянъ ставропольскаго уѣзда (самарской губерніи), обвинявшихся въ попыткѣ насильственнаго завладѣнія землей гр. Орлова-Давыдова. Подробный отчетъ объ этомъ дѣлѣ, появившійся въ газетѣ „Право“, заставляетъ насъ возвратиться къ нѣкоторымъ вопросамъ, слегка затронутымъ въ нашей предыдущей хроникѣ. Несмотря на всю очевидную неполноту судебнаго слѣдствія, оно обнаружило съ достаточною ясностью тотъ фактъ, что административная расправа была пущена въ ходъ не во время безпорядковъ и не съ цѣлью ихъ прекращенія, а на другой день, т.-е. въ видѣ *карательной*, а не предупредительной мѣры. Самовольная распашка полей гр. Орлова-Давыдова продолжалась три дня, 1, 2 и 3 іюня. 3-го іюня прибыли войска и пріѣхалъ губернаторъ. „Мы упали ему въ ноги“ — показывалъ на судѣ одинъ изъ обвиняемыхъ, Башаевъ,—„а онъ на насъ кричалъ и говорилъ, что земля не наша, а графская. Мы его стали просить-молить: ваше превосходительство, будьте вмѣсто отца небеснаго, явите божескую милость—разберите наше дѣло! Онъ отвѣтилъ: завтра я вамъ все разберу,—погрозился крѣпко наказать насъ и уѣхалъ съ поля“. По объясненію свидѣтеля Шаркова, свою рѣчь къ крестьянамъ губернаторъ, не поздоровавшись съ ними, началъ словами: „бездѣльники, разбойники“, и закончилъ угрозой: „завтра будете наказаны“. Изъ показаній обвиняемыхъ Башаева и Буянова видно, что лица, подвергшіяся 4-го іюня экстраординарной расправѣ, были вызваны для этого изъ своихъ домовъ или сняты съ постелей, неодѣтыми и босыми; такимъ образомъ, въ моментъ экзекуціи не было, слѣдовательно, ни волненій, угрожавшихъ порядку, ни даже какого-либо народнаго сборища. Отсюда явствуетъ, что производство экзекуціи входило въ составъ обстоятельствъ, подлежавшихъ судебному разслѣдованію: выяснить все сюда относящееся защита не только имѣла право, но и была обязана, чтобы доказать, что обвиняемые (или нѣкоторые изъ нихъ) уже по-

терпѣли наказаніе и не могутъ, безъ нарушенія основного юридическаго начала, подлежать вторичной отвѣтственности за тѣ же самые проступки (или поступки). Между тѣмъ, предсѣдательствовавшій на судѣ направлялъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы помѣшать поднятію завѣсы, наброшенной на событіе 4-го іюня. Всякій разъ, когда къ нему подходили обвиняемые, свидѣтели или защитники, они были останавливаемы, иногда въ такихъ формахъ, къ которымъ насъ не пріучили новые суды. Какъ только обвиняемый Башаевъ хотѣлъ перейти, въ своемъ разсказѣ, къ тому, что̀ происходило 4-го іюня, предсѣдатель рѣзко прервалъ его словами: „нельзя говорить объ этомъ, нельзя, я вамъ воспрещаю", и на просьбу Башаева: „позвольте обсказать всю правду", отвѣчалъ: „не позволяю". Когда обвиняемый Буяновъ показалъ, что къ нему пришелъ 4-го іюня полицейскій Кирилловъ и позвалъ его, по требованію начальства, на борковское поле, предсѣдатель воскликнулъ: „я запрещаю вамъ говорить объ этомъ". Буяновъ, плача, просилъ позволенія объяснить, что̀ потомъ съ нимъ сдѣлали; предсѣдатель отвѣтилъ новымъ (очень рѣзкимъ, какъ сказано въ отчетѣ) запрещеніемъ касаться подобныхъ вопросовъ. То же самое повторилось и во время послѣдняго слова Башаева и Буянова. Не ме́ньшую строгость проявлялъ предсѣдатель и тогда, когда заходила рѣчь о другихъ распоряженіяхъ администраціи. Одинъ изъ защитниковъ спросилъ свидѣтеля (управляющаго имѣніемъ гр. Орлова-Давыдова), дѣлалъ ли при немъ исправникъ распоряженіе не пускать въ ходъ оружія; предсѣдатель остановилъ его восклицаніемъ: „*не смѣйте* касаться этого вопроса". Другому защитнику предсѣдатель запретилъ касаться дѣйствій полиціи. Не помогла и просьба всѣхъ защитниковъ, къ которымъ присоединился повѣренный гражданскаго истца, выяснить событія, происходившія 4-го іюня и *носившія характеръ наказанія*... Какъ ни прискорбно такое стѣсненіе правъ защиты, совпадающихъ съ правами подсудимыхъ, оно имѣетъ одну утѣшительную сторону. Чрезвычайная расправа въ родѣ той, которая совершилась 4-го іюня на борковскомъ полѣ, признается, очевидно, чѣмъ-то не выдерживающимъ дневного свѣта, чѣмъ-то подлежащимъ сохраненію въ глубокой тайнѣ. Это равносильно ея осужденію: что̀ имѣетъ легальную и нравственную raison d'être, того нѣтъ надобности замалчивать и скрывать... Какъ бы то ни было, даже тѣ немногіе лучи свѣта, которые упали на ставропольское дѣло, даютъ возможность утверждать, что пора положить конецъ способамъ репрессіи, невѣдомымъ закону и уже по тому одному не поддающимся никакой регламентаціи. Чрезвычайно знаменательно, съ этой точки зрѣнія, то обстоятельство, что нѣкоторые изъ числа крестьянъ, подвергшихся экзекуціи 4-го іюня и затѣмъ преданныхъ суду, содержались, во время слѣдствія, подъ стражей.

Одно изъ двухъ: если экзекуція имѣла цѣлью устрашить ихъ, отбить у нихъ охоту дѣйствовать въ прежнемъ духѣ, то ихъ слѣдовало оставить, послѣ экзекуціи, на мѣстѣ жительства; если же бытность ихъ тамъ признавалась несовмѣстной съ возстановленіемъ и поддержаніемъ порядка, то ихъ слѣдовало тотчасъ же арестовать, не подвергая ихъ внѣ-судебному или до-судебному наказанію. Съ другой стороны, кѣмъ и по какимъ даннымъ былъ составленъ списокъ лицъ, подлежавшихъ экзекуціи (а что такой списокъ существовалъ, это видно изъ призыва Башаева, Буянова и др. на борковское поле)? На чемъ была основана увѣренность, что въ него включены дѣйствительные зачинщики или главные виновники безпорядковъ (если только можетъ быть рѣчь о виновникахъ, пока нѣтъ вины, въ надлежащемъ порядкѣ установленной)? Не былъ ли онъ простымъ повтореніемъ списка „главнокомандующихъ, приводившихъ въ разстройство общество“, который былъ составленъ 26-го мая соединенными усиліями сельскаго старосты, сельскаго писаря и урядника?.. А между тѣмъ, прошло то время, когда экзекуція въ родѣ борковской могла казаться зауряднымъ инцидентомъ въ жизни народа, привыкшаго къ самымъ грубымъ формамъ физической расправы. Слезы Башаева и Буянова—краснорѣчивое доказательство тому, какое потрясающее впечатлѣніе эта расправа производитъ на людей сравнительно развитыхъ, далеко не малочисленныхъ теперь въ средѣ такъ называемыхъ низшихъ сословій. Буяновъ, въ добавокъ, мѣщанинъ—т.-е. лицо, изъятое, по закону, отъ тѣлеснаго наказанія въ его обычныхъ формахъ; онъ былъ солдатомъ и во время всей своей службы ни разу не былъ оштрафованъ. Все его участіе въ дѣлѣ ограничивалось тѣмъ, что, будучи хорошо грамотнымъ, онъ прочиталъ 1-го іюня, по просьбѣ борковскихъ крестьянъ, отрывокъ изъ книги, на которой они, по недоразумѣнію, основывали свои права...

До крайности печальна картина, раскрываемая борковскимъ дѣломъ. еще въ другомъ отношеніи. Въ многолюдномъ селеніи оказывается только *одинъ* крестьянинъ (Романъ Кругловъ), умѣющій хорошо читать и писать. Отсюда полнѣйшая беззащитность крестьянъ, готовность ихъ довѣрять первому попавшемуся проходимцу, простодушіе, съ которымъ они видятъ важное для нихъ доказательство въ книжкѣ протоіерея Орлова: „Описаніе города Ставрополя и его окрестностей“, наивность, съ которою они увѣдомляютъ о своихъ намѣреніяхъ губернаторовъ сосѣднихъ губерній (казанской, саратовской) и даже отдаленной астраханской. По мѣткому выраженію прис. пов. Карабчевскаго (который хотя и явился въ судъ по уполномочію гражданскаго истца, гр. Орлова-Давыдова, но дѣйствовалъ и говорилъ скорѣе какъ защитникъ обвиняемыхъ), борковскіе крестьяне отстали отъ жизни на цѣлыя столѣтія: „съ ними сталкиваются культурные люди,

а они ихъ современнымъ требованіямъ противопоставляютъ какія-то древнія воспоминанія. Мы ихъ судимъ въ 1900-мъ году, но они мыслятъ и чувствуютъ такъ, какъ въ XVII в.; они живутъ все еще при Алексѣѣ Михайловичѣ". Среди разныхъ безпочвенныхъ фантазій у борковскихъ крестьянъ блеснула, однако, разумная мысль—обратиться къ суду. Еслибы она была приведена въ исполненіе, крестьянамъ пришлось бы уплатить нѣкоторую сумму въ видѣ судебныхъ издержекъ—но надъ ними не стряслась бы тяжелая бѣда судебныхъ и внѣ-судебныхъ каръ. Помѣшало предъявленію иска неутвержденіе приговора объ избраніи повѣренныхъ, которымъ крестьяне хотѣли поручить ходатайство на судѣ. По этому вопросу возникло разномысліе даже въ уѣздномъ съѣздѣ: предсѣдатель съѣзда не находилъ повода къ отмѣнѣ приговора, но большинство согласилось съ мѣстнымъ земскимъ начальникомъ—и единственный путь, на которомъ крестьяне могли получить твердое убѣжденіе въ отсутствіи у нихъ законнаго права на спорную, по ихъ мнѣнію, землю, оказался для нихъ закрытымъ. Вмѣсто огражденія крестьянскихъ интересовъ, произошло явное и весьма серьезное ихъ нарушеніе. Въ такомъ результатѣ опеки надъ взрослыми людьми едва ли можно усмотрѣть что-нибудь совершенно неожиданное и исключительное...

Въ теченіе двухъ недѣль, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ" почти ежедневно появлялись статьи, пріурочиваемыя къ Высочайшимъ рескриптамъ 9-го апрѣля, но на самомъ дѣлѣ соединенныя съ ними только внѣшнею связью. По словамъ московской газеты, въ средѣ русскаго общества замѣчается „раздвоеніе" во взглядахъ на истинный путь историческаго движенія Россіи. Съ одной стороны,—говоритъ эта газета,—стоитъ русскій народъ и его *національно-просвѣщенный* [1]) классъ, съ другой—безчисленный, все захватившій въ свои руки слой отщепенскій, космополитическій, либеральный, анти-церковный или соціалистическій. Совмѣстное существованіе этихъ двухъ направленій невозможно. Которое изъ нихъ истинно — это предрѣшено еще апрѣльскимъ манифестомъ 1881 года, послѣ котораго все русское сразу ожило, все анти-русское, лже-либеральное сразу стушевалось. Въ послѣднее время, однако, отрицатели всѣхъ оттѣнковъ опять стали поднимать голову и проповѣдывать, будто бы царствованіе императора Александра III было лишь эпизодическою „реакціей", временною пріостановкою реформаторскаго движенія. Рескриптами 9-го апрѣля недоразумѣнія окончательно устранены. Россія предназначена вступить въ XX-ый в. стра-

[1]) Мы вездѣ сохраняемъ курсивъ подлинника.

ной, обладающей всѣми средствами европейскаго образованія, но сохраняющею при этомъ всѣ свои исконныя, православно-церковныя и самодержавныя основы. Таковъ историческій фактъ, въ виду котораго въ рядахъ русскихъ людей отнынѣ не должно быть мѣста никакому раздвоенію. Невозможны никакія сомнѣнія или разногласія относительно лежащаго передъ Россіей пути развитія, а слѣдовательно и относительно *обязательнаго* для русскихъ людей *объединенія силъ* для служенія престолу и отечеству *именно на этомъ*, а не на какомъ-либо иномъ пути. Пріобщеніе Россіи къ европейской образованности было многими, по малокультурности, понято какъ *отреченіе* отъ *своихъ*, русскихъ основъ міросозерцанія и государственности. Всѣ реформы шестидесятыхъ годовъ искажались постояннымъ стремленіемъ къ подрыву русскихъ основъ и возможно бо́льшему подражанію европейскимъ странамъ, видимое разложеніе которыхъ нимало не образумливало нашихъ западниковъ или „прогрессистовъ“. Ихъ усилія направлялись сначала къ конституціонному увѣнчанію зданія, а потомъ— ко мнимому „просвѣщенію“ массы народа, т.-е. къ колебанію въ народѣ его исконныхъ вѣрованій, религіозныхъ и политическихъ, путемъ печати и особенно путемъ спеціально приспособленной для того школы. Конечно, раздвоеніе образованнаго общества быстро прекратиться не можетъ; люди убѣжденій антимонархическихъ, антицерковныхъ и антинаціональныхъ останутся еще въ своемъ *расколѣ*, въ своемъ духовномъ разъединеніи съ русскимъ народомъ—но зато дѣятельность истинно русскихъ людей получаетъ ясную, *обязательную* цѣль. Они должны проникнуться сознаніемъ неразрывной связи православія, самодержавія и народности. Вмѣстѣ росли у насъ эти принципы, вмѣстѣ существуютъ, вмѣстѣ поддерживаются. Отрывать хотя одинъ изъ составныхъ элементовъ цѣлостной русской идеи, значитъ обезпложивать ее *всю*. Только на почвѣ ихъ единства можетъ быть велика и плодотворна работа русскихъ людей въ наукѣ, въ искусствѣ, въ общественномъ настроеніи, въ быту экономическомъ и домашнемъ. Твердо стать на эту почву каждому отдѣльно и всѣмъ вмѣстѣ, поддерживая другъ друга,—вотъ первая задача русскаго образованнаго общества въ новую, открывающуюся передъ Россіей культурную эпоху. Но если эта задача лежитъ передъ каждымъ русскимъ человѣкомъ въ его личной дѣятельности, то она несомнѣнно лежитъ и предъ Россіей, какъ коллективнымъ цѣлымъ. Отсюда возникаетъ вопросъ, въ какой степени учрежденія страны согласованы съ полнотой содержанія русской національной идеи, въ какой степени они строго выдержаны съ точки зрѣнія православія, самодержавія и народности? Не необходима ли и въ этомъ отношеніи нѣкоторая „синтезирующая реформа“? Почти двухсотлѣтняя практика подражательнаго, учениче-

скаго періода не могла не привести къ недостаточной согласованности учрежденій съ основными русскими началами. Періодъ подражательности окончился, по крайней мѣрѣ въ принципѣ, въ 1881 г.; но за нимъ послѣдовалъ нѣкоторый *переходный* періодъ, характеристичной чертой котораго было стремленіе осмотрѣться, подвести итоги прошлаго. Его историческое значеніе огромно, но не въ смыслѣ *положительнаго* устроенія на русскихъ началахъ, а въ смыслѣ прекращенія всякаго дальнѣйшаго ихъ искаженія. Съ этого и нужно было *начать*, но нельзя на этомъ *остановиться* или, еще менѣе, этимъ *кончить*. Послѣ переходнаго времени, блистательно доказавшаго могучую жизнедѣятельность русскихъ началъ, невозможно возвращеніе къ ученической эпохѣ; но столь же невозможно дальнѣйшее развитіе безъ пересмотра и исправленія всего того, что̀ въ учрежденіяхъ подражательнаго періода оказывается несогласованнымъ съ русскими началами. Необходима не ломка, но серьезная, строго обдуманная *реформа*, которою и будетъ ознаменована новая устроительная эпоха, и т. д., и т. д.

Такова, въ главныхъ чертахъ, аргументація „Московскихъ Вѣдомостей“, переданная нами, по возможности, собственными ихъ словами. Бросается въ глаза, прежде всего, натяжка въ ея исходной точкѣ. Формула: *православіе, самодержавіе, народность* была провозглашена болѣе полувѣка тому назадъ; повтореніе ея не можетъ, слѣдовательно, служить, само по себѣ, началомъ новой эпохи. Если и допустить—чего на самомъ дѣлѣ не было,—что въ руководящихъ сферахъ она когда-либо была забыта или отодвинута на задній планъ, —то во всякомъ случаѣ возвращеніемъ къ ней послужилъ манифестъ 29-го апрѣля 1881-го года, подтвержденный Высочайшею рѣчью 17-го января 1895-го года. Въ положеніи дѣлъ не произошло, съ этой точки зрѣнія, никакой существенной перемѣны... „Раздвоеніе“, оплакиваемое и осуждаемое московской газетой — не что̀ иное, какъ разномысліе, неизбѣжно сопутствующее всякой умственной работѣ. Немыслимо, гдѣ бы то ни было, направить ту или другую работу мысли въ одно русло и удержать ее отъ всякаго уклоненія съ заранѣе намѣченной дороги. Нѣтъ такой идеи, которая могла бы быть обсуждаема безъ разномыслія и всѣми сохранена неприкосновенной. Западничество и славянофильство — только временныя, мѣстныя формы двухъ настроеній, существующихъ вездѣ и всегда, одинаково свойственныхъ человѣческой природѣ и потому одинаково неискоренимыхъ. О „гніеніи“ или „паденіи“ Запада говорили еще первые славянофилы, говорили съ свойственнымъ имъ увлеченіемъ и талантомъ,—а Западъ все-таки сохранялъ обаяніе даже для тѣхъ, кто былъ далекъ отъ всякаго идеализированія „страны святыхъ чудесъ“. Кого же надѣятся убѣдить

эпигоны славянофильства, извлекая изъ его арсенала одно изъ наиболѣе притупившихся его орудій? Много ли найдется людей, не умѣющихъ отличить превращеніе отъ разложенія и усматривающихъ близость смерти въ какихъ-нибудь признакахъ новой жизни?.. Для кого и для чего, далѣе, желательно „обязательное объединеніе силъ“, основанное на безусловномъ однообразіи взглядовъ? Борьба мнѣній—необходимое условіе движенія, а движеніе — необходимая принадлежность жизни. Постоянное, ничѣмъ не нарушимое единогласіе — синонимъ полнаго умственнаго застоя. Въ обществѣ, способномъ къ развитію, такой застой не можетъ быть ни продолжительнымъ, ни абсолютнымъ; и самыя попытки его достигнуть ведутъ къ безплодной тратѣ силъ, тяжело отзывающейся на ближайшемъ, а иногда и на отдаленномъ будущемъ. Чрезвычайно характеристиченъ терминъ, примѣняемый „Московскими Вѣдомостями“ ко всѣмъ тѣмъ, кто не примкнетъ къ проповѣдуемому ими „обязательному объединенію“: они признаются остающимися въ *расколѣ*. Пребываніе въ расколѣ, у насъ въ Россіи, равносильно нахожденію въ подозрѣніи, влекущемъ за собою политическую и общественную неполноправность. Такова роль, съ „легкимъ сердцемъ“ уготовляемая реакціонной газетой для многихъ тысячъ съ нею „несогласно мыслящихъ“. „Обязательное объединеніе силъ“, на которомъ настаиваетъ московская газета, немыслимо и потому, что тождествомъ отправныхъ пунктовъ далеко не всегда обусловливается тождество выводовъ. Можно стоять одинаково твердо и болѣе искренно на почвѣ православія — и расходиться насчетъ способовъ дѣйствія по отношенію къ иновѣрцамъ, раскольникамъ и сектантамъ. Можно, при полномъ сходствѣ основныхъ политическихъ убѣжденій, держаться совершенно различныхъ взглядовъ на допустимость, при самодержавіи, независимости суда, свободы печати, самостоятельности земскихъ учрежденій. Еще шире просторъ, оставляемый для разномыслія признаніемъ принципа народности. Сознавать и чувствовать себя русскимъ—не значитъ еще предрѣшить въ опредѣленномъ смыслѣ вопросъ о положеніи не-русскихъ элементовъ въ русскомъ государствѣ. Можно горячо любить свою народность—и вмѣстѣ съ тѣмъ уважать всѣ остальныя, признавать ихъ права, высоко цѣнить ихъ матеріальное и духовное благосостояніе. Не слѣдуетъ забывать, что болѣе четверти русскихъ подданныхъ—не русскіе по происхожденію и не православные [1]); въ примѣненіи къ нимъ

---

[1]) По свѣдѣніямъ семидесятыхъ годовъ, русскихъ (въ европейской Россіи) считалось около 72½%, православныхъ (во всей имперіи)—около 70%. Болѣе новыхъ свѣдѣній по этому предмету нѣтъ, такъ какъ соотвѣтствующія данныя, добытыя переписью 1897-го года, еще не разработаны и не опубликованы.

и консервативные принципы необходимо требуютъ, поэтому, дополненія или разъясненія.

Отъ отвлеченныхъ разсужденій московская газета переходитъ къ начертанію опредѣленнаго плана дѣйствій. Въ статьяхъ, которыя теперь лежатъ передъ нами, онъ изложенъ, повидимому, еще не вполнѣ; но о конечныхъ его цѣляхъ можно судить уже по исходной его точкѣ. Послѣднія два десятилѣтія признаются періодомъ *переходнымъ*, назначеніемъ котораго было не „положительное устроеніе на русскихъ началахъ", а только „прекращеніе дальнѣйшаго ихъ искаженія". Какъ!?.. Этимъ, однимъ лишь этимъ ограничивались всѣ преобразованія конца восьмидесятыхъ и начала девятидесятыхъ годовъ? Законодательные акты 1889-го, 1890-го, 1892-го года были болѣе, чѣмъ попытками новаго *устроенія*, сравнительно съ прежнимъ. Не осталось ни одной области государственной и общественной жизни, въ которую не были бы внесены болѣе или менѣе существенныя перемѣны—и все это не могло быть исключительно однимъ желаніемъ „осмотрѣться" и „подвести итоги прошлому"... Болѣе безцеремоннаго обращенія съ фактами нельзя себѣ и представить. Нарушеніе истины доведено здѣсь до такой степени, что ввести кого-либо въ заблужденіе оно едва ли можетъ. Если все сдѣланное до сихъ поръ по отношенію „великихъ реформъ" было лишь *переходомъ*, подготовкой къ „устроительной" работѣ, то самая работа должна была бы получить именно тотъ характеръ, отъ котораго такъ отнѣкивается газета—характеръ настоящей, какъ она сама выражается, „ломки". Какое направленіе намѣчаютъ для нея, мысленно, наши газетные „охранители" (болѣе чѣмъ когда-либо это слово, въ примѣненіи къ нимъ, принимаетъ глубоко-ироническій оттѣнокъ)—это угадать нетрудно. Отмѣна суда присяжныхъ, несмѣняемости судей и неприкосновенности окончательныхъ судебныхъ рѣшеній, уничтоженіе, если не de jure, то de facto, послѣднихъ остатковъ самоуправленія—земскаго, городского и крестьянскаго, расширеніе дворянскихъ привилегій, обостреніе демаркаціонной линіи между „высшими" и „низшими" сословіями, пониженіе уровня народной школы, затрудненіе доступа къ общему образованію, среднему и высшему, бо̀льшее чѣмъ когда-либо стѣсненіе свободы мысли, во всѣхъ ея видахъ и формахъ, бо̀льшее чѣмъ когда-либо ограниченіе правъ инородцевъ и иновѣрцевъ—вотъ основныя черты программы, скрывающейся за неопредѣленнымъ терминомъ: *русская реформа*. Одинъ уголокъ завѣсы—весьма, впрочемъ, прозрачной — приподнятъ „Московскими Вѣдомостями" въ томъ мѣстѣ, гдѣ идетъ рѣчь о главной задачѣ русскихъ „прогрессистовъ"—о „мнимомъ просвѣщеніи массы народа, *путемъ печати и спеціально приспособленной для того школы*". Естественный выводъ от-

сюда—уничтоженіе земской школы и возстановленіе предварительной цензуры...

До какой степени навѣты „Московскихъ Вѣдомостей“ идутъ въ разрѣзъ съ минимальными требованіями человѣчности и справедливости—это показываетъ съ особенною ясностью отпоръ, данный имъ на страницахъ газеты „Гражданинъ“ (№ 28).

Авторы статей московской газеты — читаемъ мы въ „Дневникѣ“ кн. В. П. Мещерскаго — „дѣлаютъ то же по отношенію къ русскому правовѣрію, что̀ дѣлали создатели инквизиціи по отношенію къ католицизму; они опредѣляютъ правовѣріе, и затѣмъ изрекаютъ осужденіе на всѣхъ неподчиняющихся этому опредѣленію. Прочитавши статьи „Московскихъ Вѣдомостей“, я почувствовалъ, что авторы ихъ выступили на такую почву, гдѣ вопросы догматики сталкиваются съ вопросами душевной жизни и совѣсти, не вдумавшись достаточно въ то, насколько потому самому эти вопросы требуютъ самаго деликатнаго и осмотрительнаго обращенія, дабы не соблазнить однихъ, не смутить другихъ, не отшатнуть третьихъ. Вѣдь инквизиція во имя католическаго правовѣрія казнила не преступниковъ, не злодѣевъ, не подлецовъ, а только тѣхъ, которые не по буквѣ ея катехизиса исповѣдывали католицизмъ, и вся исторія инквизиціи состоитъ изъ сопоставленія самыхъ далекихъ отъ Бога по порокамъ и злодѣяніямъ людей, прикрытыхъ мантіей палачей-инквизиторовъ, съ многими хорошими христіанами, казнимыми этими палачами за отступленіе отъ буквы правовѣрія... Присмотритесь къ жизни: кто учитъ православію и русской народности? Какая-нибудь дешевенькая газетка въ родѣ Комаровскаго „Свѣта“, проповѣдующаго съ полнымъ непониманіемъ православія и патріотизма, что быть православнымъ—значитъ ненавидѣть всѣ остальныя вѣроисповѣданія; быть русскимъ—значитъ презирать всѣ другія національности, входящія въ составъ Русской Имперіи; исповѣдывать самодержавіе—значитъ называть измѣнниками всякаго, кто думаетъ не по моему шаблону“...

Съ большимъ злорадствомъ наши газетные псевдо-охранители относятся къ неурядицѣ, происходящей, въ послѣднее время, въ петербургской городской думѣ. Не отступая ни передъ какими логическими скачками, не считаясь ни съ какими фактами, они видятъ въ этой неурядицѣ не только приговоръ надъ русскимъ самоуправленіемъ, но и оправданіе отрицательныхъ взглядовъ на такъ-называемый ими „правовой порядокъ“. „Людямъ зрѣлаго здравомыслія“—таковъ новый титулъ, жалуемый ими самимъ себѣ,—„вся политическая жизнь за-

падно-европейскихъ конституціонныхъ странъ уже давно представлялась усовершенствованною *Деляновщиною*, ежедневно теряющею подъ собой почву и медленно, но вѣрно расчищающею путь для окончательнаго крушенія конституціонализма на Западѣ" [1]. „Петербургскіе избиратели" — читаемъ мы дальше — „ходятъ теперь повѣся носъ и уши, и чувствуютъ они теперь заднимъ умомъ, что всѣ книжники и фарисеи либерализма какъ будто ихъ только морочили прелестями *священнаго* самоуправленія, и мечтаютъ, какъ бы обуздать зазнавшагося и сократить расходившагося—но какъ и кѣмъ это сдѣлать? На это либерализмъ и даже самъ либеральный законъ отвѣта не даютъ"...

Подъ неуклюже-шутовской формой здѣсь скрывается или незнаніе, или непониманіе самыхъ простыхъ вещей. Городовое Положеніе 1892-го года—это, въ ихъ глазахъ, *либеральный* законъ? Установленное имъ соединеніе въ одномъ лицѣ обязанностей предсѣдателя городской думы и предсѣдателя городской управы, вслѣдствіе чего думѣ приходится обсуждать дѣла управы и ея предсѣдателя подъ его же предсѣдательствомъ (въ земскихъ собраніяхъ этого нѣтъ)—это обстоятельство не имѣетъ, будто бы, никакого вліянія на ходъ городского управленія? Городская дума, состоящая изъ однихъ только домовладѣльцевъ и купцовъ—это нормальное представительство столицы?.. Какъ ни печально все то, что происходило и происходитъ въ послѣднее время въ стѣнахъ петербургской городской думы, удивительнаго здѣсь нѣтъ ничего: это естественный результатъ условій, при которыхъ дѣйствуетъ наше городское самоуправленіе. Не слѣдуетъ забывать, далѣе, что до настоящаго времени никогда не утверждался городскимъ головою „второй" кандидатъ, а потому и при послѣднихъ выборахъ никто—не исключая самого „второго" кандидата,—не думалъ, что именно этому „второму" кандидату и придется нести обязанности этого званія. И все-таки нельзя не признать, что самоуправленіе, даже въ томъ крайне-несовершенномъ видѣ, въ какомъ оно существуетъ въ нашихъ городахъ, не совсѣмъ безсильно для борьбы со зломъ, выростающимъ на его почвѣ: гласное обсужденіе въ думѣ—и осужденіе — образа дѣйствій городской управы и ея предсѣдателя, хотя оно и происходитъ подъ предсѣдательствомъ его же самого, но все же иногда проходитъ не безслѣдно. Въ одной ли сферѣ общественнаго самоуправленія, притомъ, трудно „обуздать зазнавшагося и „сократить расходившагося"? Всегда ли доходятъ по адресу и достигаютъ цѣли жалобы, хотя бы и самыя основательныя, на то или другое должностное лицо, обязанное своею властью не выборамъ, а назначенію?..

---

[1]) См. „Мысли русскаго читателя" въ № 88 „Московскихъ Вѣдомостей".

Послѣ десятилѣтняго перерыва, тягостнаго для всѣхъ, кому дорого развитіе русскаго просвѣщенія, Москва опять будетъ имѣть свои высшіе женскіе курсы; исчезнетъ та аномалія, въ силу которой возможное въ одной столицѣ оказывалось невозможнымъ въ другой. Нужно надѣяться, что не встрѣтится препятствій къ возстановленію высшихъ женскихъ курсовъ въ другихъ университетскихъ городахъ, гдѣ они существовали до 1889 г. (Казани и Кіевѣ), а также и въ тѣхъ, гдѣ они намѣчались, но не успѣли перейти въ жизнь (Одесса, Харьковъ, Варшава). Весьма желательно также, чтобы въ Москвѣ и послѣ открытія высшихъ женскихъ курсовъ были сохранены (какъ о томъ ходатайствуетъ московская городская дума) замѣнявшіе ихъ до извѣстной степени „коллективные" (вечерніе) уроки при обществѣ гувернантокъ и учительницъ, насчитывающіе свыше шестисотъ слушательницъ; благодаря имъ, пополнять свое образованіе могутъ учительницы и многія другія дѣвушки, днемъ не имѣющія свободнаго времени. Московская городская дума ассигновала пять тысячъ рублей на наемъ въ 1900—1 учебномъ году помѣщенія для высшихъ женскихъ курсовъ и обѣщала имъ ежегодную субсидію, размѣръ которой будетъ опредѣленъ впослѣдствіи. Московское губернское земство постановило учредить при высшихъ курсахъ нѣсколько стипендій на сумму 3.000 руб. въ годъ. Вполнѣ обезпеченнымъ новое дѣло будетъ, однако, только тогда, когда прочно станетъ на ноги утвержденное недавно общество для доставленія средствъ высшимъ женскимъ курсамъ въ Москвѣ.

М. А. Загуляевъ, скончавшійся около мѣсяца тому назадъ, принадлежалъ къ числу самыхъ образованныхъ нашихъ журналистовъ. Всецѣло посвятивъ себя газетной работѣ, онъ относился къ ней искренно и горячо, какъ къ излюбленному дѣлу своей жизни. Въ нашемъ журналѣ онъ напечаталъ, въ 1883 г., романъ: „Странная Исторія", обратившій на себя общее вниманіе какъ интереснымъ замысломъ, такъ и отличнымъ знаніемъ эпохи, въ которую было перенесено дѣйствіе—эпохи первой французской революціи. Особенно типично обрисована авторомъ фигура Робеспьера. Въ послѣдніе годы, среди массы работъ М. А. Загуляева, всего больше выдѣлялись фельетоны о русской литературѣ, которые онъ, превосходно владѣя французскимъ языкомъ, помѣщалъ еженедѣльно въ „Journal de Saint-Pétersbourg".

От ъ редакціи.—Въ апрѣльской книгѣ журнала (стр. 843 и слѣд.) мы помѣстили возраженіе В. Н. Семенковича г-ну Н. Гутьяру, по поводу его статьи, напечатанной у насъ же въ ноябрѣ 1899 г. „И. С. Тургеневъ и А. А. Фетъ"; при этомъ мы заявили, что сохраняемъ за собою право высказаться въ слѣдующей книгѣ журнала, хотя намъ не было бы трудно исполнить это тогда же, такъ какъ возраженіе г. Семенковича само подсказывало отвѣтъ со стороны каждаго читателя, если не знавшаго лично Тургенева, то слыхавшаго о немъ, а именно: почему защитѣ памяти А. А. Фета понадобилось, чтобы ее обѣлить—очернить для того память Тургенева? Если вѣрить г. Семенковичу, то самъ покойный Фетъ былъ бы глубоко возмущенъ нынѣшними его отзывами о Тургеневѣ и, безъ сомнѣнія, прочтя его статью, не такъ еще „осадилъ" бы его, какъ онъ его осадилъ при жизни, когда г. Семенковичъ „сталъ говорить ему о тѣхъ дѣйствіяхъ Тургенева, которыя мнѣ (г. Семенковичу) не нравились":—„Тургеневъ умеръ,—сказалъ ему Фетъ,—онъ вашъ родственникъ, которымъ должны гордиться не только вы (г. Семенковичъ), но и вся Россія; судить его частную жизнь—не намъ съ вами. Когда мы сойдемъ въ могилу, дай Богъ, чтобы мы унесли съ собой такое имя честнаго человѣка, какое унесъ Тургеневъ". Еслибы г. Семенковичъ ограничился, для характеристики А. А. Фета, только этими одними словами, то онъ защитилъ бы его память болѣе, чѣмъ могла сдѣлать вся остальная его статья. Замѣтимъ, что Фетъ сказалъ все это не юношѣ: по словамъ г. Семенковича, онъ былъ „въ то время уже отцомъ семейства"; но г. Семенковичъ оказался неисправимымъ! Онъ не воспользовался даже своими вполнѣ правильными сужденіями по поводу ссоры Тургенева съ его дядей: „Трудно,—говоритъ онъ самъ,—черезъ тридцать лѣтъ, судить семейныя дѣла и отношенія лицъ давно умершихъ и не оставившихъ послѣ себя никакихъ неопровержимыхъ письменныхъ доказательствъ своей вины или правоты". Но въ настоящемъ случаѣ онъ, рѣшился во что бы то ни стало преодолѣть такую трудность, и въ нѣкоторое оправданіе автора можно привести развѣ только то, что онъ, какъ оказывается, питалъ съ дѣтства нѣчто вродѣ недуга, какое-то прирожденное ему нерасположеніе къ другому своему дядѣ—Тургеневу: „И меня,—говоритъ онъ,—мой троюродный дядюшка, Тургеневъ, тогда еще *юнца-гимназиста*, въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ „просвѣщалъ" (кавычки автора) своимъ слащавымъ (!) и визгливымъ (!!) голосомъ, и видя, что я представляю плохую почву для воспріятія его словесъ (!), онъ купилъ мнѣ коробку тульскихъ пряниковъ (дѣло было на вокзалѣ, во Мценскѣ) и сказалъ:—Ну, впрочемъ, вы еще очень молоды; подростете,—вспомните своего дядю-Тургенева"! Но „почва" у отца семейства, повидимому, осталась такою же, какова она была у юнца-

гимназиста. Подумалъ ли авторъ, что онъ говоритъ также и о себѣ, когда опять справедливо въ одномъ мѣстѣ своей филиппики, по отношенію къ Тургеневу, утверждаетъ: „Надергать фактовъ, освѣтить ихъ подъ извѣстнымъ угломъ и бросить ими въ могилу человѣка—очень легко, но вопросъ: доброе ли это, похвальное ли дѣло?"—а онъ самъ именно это-то и сдѣлалъ. Вытаскивать брошенное теперь г-мъ Семенковичемъ въ могилу Ивана Сергѣевича Тургенева мы считаемъ излишнимъ: довольно словъ самого Фета, обращенныхъ къ себѣ и г. Семенковичу: „Дай Богъ, чтобъ мы унесли съ собой такое имя честнаго человѣка, какое унесъ Тургеневъ"!..



ИЗВѢЩЕНІЯ

Отъ Общества Вспомоществованія Литераторамъ и Ученымъ въ Одессѣ.

26-го декабря 1898 года, на празднествѣ по случаю 25-лѣтія существованія „Одесскаго Листка“, редакторъ - издатель его, В. В. Навроцкій, обратился къ присутствовавшимъ представителямъ различныхъ слоевъ одесскаго общества съ рѣчью, въ которой провелъ мысль о необходимости устройства особаго Убѣжища для необезпеченныхъ матеріально тружениковъ печати на случай болѣзни ихъ, старости или потери ими трудоспособности. При этомъ В. В. Навроцкій внесъ присутствовавшему тамъ же Предсѣдателю Одесскаго Общества Вспомоществованія Литераторамъ и Ученымъ свою лепту на это дѣло въ суммѣ 3.000 руб. Мысль объ устройствѣ Убѣжища тотчасъ же встрѣтила общее сочувствіе и среди присутствовавшихъ собрано было для этой цѣли свыше 8.000 руб. Вслѣдъ за этимъ стали поступать и другія пожертвованія не только отъ мѣстныхъ, но и отъ иногородныхъ жителей.

Въ мартѣ 1899 года Одесская Городская Дума, по предложенію В. В. Навроцкаго, единогласно отвела для постройки Убѣжища участокъ городской земли по Среднефонтанской дорогѣ въ 700 кв. саж. и постановила ежегодно отпускать Одесскому Обществу Вспомощ. Литер. и Учен. по 5.000 рублей на содержаніе при Убѣжищѣ просвѣтительныхъ учрежденій имени А. С. Пушкина народной школы, читальни и аудиторіи для народныхъ чтеній. Вслѣдъ за этимъ Общество В. Л. и Уч. выдѣлило изъ своей среды особую строительную коммиссію, немедленно приступившую къ подготовительнымъ работамъ по сооруженію громаднаго зданія, закладка котораго состоялась 6-го іюня 1899 года. Къ концу того же года зданіе, имѣющее мѣрою по фасаду 32 саж., а въ пролетѣ 13 саж., вчернѣ было готово, причемъ, кромѣ зала для народной аудиторіи на 700 чел. и народной школы на 100 учениковъ, въ немъ имѣется 30 большихъ свѣтлыхъ комнатъ, въ которыхъ могутъ найти пріютъ до 50 немощныхъ тружениковъ печати (наборщиковъ, литографовъ и литераторовъ). Кромѣ того, въ зданіи этомъ имѣются комнаты для читальни, домашней аптеки, квартира для смотрителя, а также два помѣщенія для лавокъ, наемная плата за которыя вмѣстѣ съ доходами народной аудиторіи и пятью тысячами рублей городской субсидіи пойдетъ на содержаніе Убѣжища съ просвѣтительными при немъ учрежденіями.

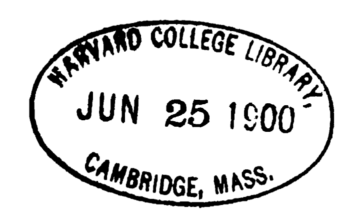
Общая сумма расходовъ по сооруженію и внутреннему устройству зданія исчислена въ 85.000 руб. Между тѣмъ, до сихъ поръ собрано

только 48.690 руб. Такимъ образомъ, не хватаетъ еще свыше 36.000 руб. для того, чтобы начали функціонировать столь полезныя учрежденія. Къ сожалѣнію, Одесское Общество Всп. Лит. и Уч., въ вѣдѣніи котораго находится устройство Убѣжища, не обладаетъ такими денежными средствами, чтобы покрыть недостающую сумму, и вынуждено прибѣгнуть съ призывомъ о помощи къ той щедрой рукѣ дающаго, которая не оскудѣваетъ.

У насъ, въ Россіи, еще не было такого учрежденія, какъ Убѣжище для немощныхъ тружениковъ печати. Дѣло новое, дѣло благое, и Правленіе Общества, озабоченное скорѣйшимъ осуществленіемъ его, позволяетъ себѣ надѣяться, что призывъ его о помощи встрѣтитъ сочувственный откликъ. Каждая копѣйка, каждый рубль пожертвованій приблизятъ это доброе дѣло къ желанному концу. Да проникнется же каждый жертвователь сознаніемъ, что его лепта въ настоящій трудный для Общества моментъ настоятельно необходима, что она осушитъ не одну слезу, избавитъ не отъ одного страданія и не разъ будетъ вызывать чувство сердечной благодарности со стороны тѣхъ скромныхъ тружениковъ, которые, не покладая рукъ, всю жизнь свою полагаютъ на пользу общую, на посильное распространеніе свѣта, знаній и человѣколюбія посредствомъ печатнаго станка.

Пожертвованія, въ какой бы то ни было суммѣ, Строительная Коммиссія покорнѣйше проситъ направлять на имя Одесскаго Городского Головы П. А. Зеленаго, или на имя Предсѣдателя Строительной Коммиссіи В. В. Навроцкаго. Имена гг. жертвователей будутъ опубликованы.

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.



ЧЕРВОНЫЙ ХУТОРЪ

РОМАНЪ.

Окончаніе.

XLIII *).

Наташа очнулась уже на паперти, вынесенная изъ церкви чьими-то сильными руками. Свѣжій воздухъ, пропитанный запахомъ травы и земли, сразу привелъ ее въ сознаніе.

— А что̀, видно—тѣсно въ церкви-то?—спросилъ ее какой-то мужичокъ въ лаптяхъ, сидѣвшій на ступенькахъ.

— Тамъ народу—и-и!—прибавила баба, сидѣвшая рядомъ съ нимъ.—И не суйся лучше,—задавятъ!

— А ты иди къ намъ на травку!—крикнула Наташѣ третья баба съ ребенкомъ, ласково глядя на ея поблѣднѣвшее лицо.—Ишь, на тебѣ лица нѣту, а тутъ вольготно. Сядь, посиди; хоша въ церкви и не была, а все-таки словно на душѣ легше,—все къ Богу, кабыть, поближе.

Наташа подошла къ привѣтливой бабѣ. Кромѣ нея, здѣсь „на травкѣ“ сидѣло еще нѣсколько бабъ и мужиковъ, въ которыхъ Наташа, по ихъ худымъ, истощеннымъ лицамъ, бѣдной одеждѣ и особому говору, сейчасъ же признала „косарей“.

— Садись, садись! — сказала привѣтливая баба, подбирая къ себя босыя, грязныя ноги.—Вотъ сюда, гдѣ посуше-то, а то измараешься: дюже нонѣ росно было!

---

*) См. выше: май, стр. 5.

— Да вѣдь вы же сидите!—возразила Наташа.

— Ну, мы—таковскія. Мы и въ „гризѣ“ хороши, а у тебя ишь одёжка-то какая ладная. Небось, копѣекъ двадцать аршинъ плачено?—спросила баба, съ наивнымъ восхищеніемъ щупая матерію Наташина платья.

Наташа покраснѣла. Матерія стоила вдвое дороже, но Наташѣ почему-то непріятно было объ этомъ говорить, и она перемѣнила разговоръ.

— Вы вѣрно нездѣшніе?—спросила она.

— Охъ, мы издалече,—тульскіе, со вздохомъ отвѣчала баба. —Пришли вотъ сюда, исхарчились, обносились,—чаяли, работка будетъ, анъ, вышло, никакъ задаромъ проходили.

— Дюже народу много набилось,—пояснилъ мужикъ съ желтымъ, отекшимъ лицомъ.—Народу много, а купцы притѣсняютъ. Хлѣба уродилось страсть, а они цѣной жмутъ. Что̀ и дѣлать будемъ, бѣда головушкѣ!

— Зачѣмъ же вы шли?

— О, Господи!—съ жаромъ воскликнула баба.—Да что̀ же намъ дома-то дѣлать? У насъ земли 28 саженъ на душу,—вотъ тутъ и живи, какъ знаешь. Ни тебѣ скотинку выгнать, ни тебѣ ленку посѣять на рубахи, ни капустки посадить,—хоть ложись, да умирай.

— А здѣсь-то, поглядишь, воля!—снова заговорилъ мужикъ.— У купцовъ земли до пропасти,—пшеничка-то столбомъ стоитъ! Опять же цѣлина, трава уродилась здоровая, косой не возьмешь... И чего жадничаютъ, подумаешь?

— Хайло-то ненасытное!—со злостью вымолвила третья баба, до сихъ поръ молчавшая и недружелюбно косившаяся на Наташу.—По ихнему брюху все мало! Надысь вышелъ самъ нанимать,—грохочетъ, рыло толстое, глазъ не видать,—ахъ, чтобъ ты треснулъ, окаянный!

— Небось, съ жиру не треснешь; съ голоду скорѣе треснешь...—замѣтилъ мужикъ, ковыряя пальцемъ свои растоптанныя лапти.—Вотъ праздничекъ нонѣ, а намъ и разговѣться нечѣмъ!

— Ишь, еще чего захотѣлъ!—продолжала сердитая баба.— Пущай ужъ за насъ купцы разговляются. Имъ—пироги, а намъ—котяхи!

Она захохотала. Привѣтливая баба дернула ее за рукавъ и, чтобы загладить грубую выходку товарки, ласково обратилась къ Наташѣ:

— А ты тоже изъ купцовъ будешь?

— Нѣтъ, я не здѣшняя. Я—учительница.

Баба стала разспрашивать Наташу, а мужикъ, занятый одной и той же мыслью, продолжалъ, ни къ кому собственно не обращаясь:

— Хоша бы пшеньцо было, кашичку бы сварили,—и пшеньцато нѣту. Сухари были, и сухарей нѣту. Не миновать побираться идтить. Пойдемъ побираться, что̀ ты подѣлаешь...

— Какъ же ты съ ребенкомъ работать будешь?—спросила Наташа свою собесѣдницу.—Вѣдь онъ, я думаю, тебѣ мѣшаетъ?

— Да-то! Прямо смучилась съ нимъ! Оставить дома не на кого, довелось съ собой тащить,—ужъ и напрималась я съ нимъ горюшка! Въ грудяхъ молока ничуть нѣтути; хлѣбушка нажуешь—не ссетъ, верещитъ,—о, Господи, Царица Небесная! Ужъ я, грѣшница, и то Бога молю, хошь бы Онъ его къ себѣ прибралъ! Ну, цыть ты, ротастый!—крикнула она на ребенка, который заворочался и запищалъ.—Чуетъ, что объ немъ говорятъ; нѣтъ на тебя пропасти! И гдѣ это смерть-то твоя, прости ты меня, Господи!

— Неужто тебѣ его не жалко? — спросила Наташа, глядя на крошечное, изсохшее существо, копошившееся въ грязныхъ тряпкахъ.

— Ну да какъ не жалко,—жалко! Да вѣдь отъ хорошаго житья смерти не пожелаешь. А этакъ-то мытариться,—и не дай Богъ!

— Ангельска душка!—равнодушно сказалъ мужикъ.—Ему на томъ свѣтѣ лучше будетъ... Э, никакъ кончилось! Къ „Достойной“ звонятъ!—оживившись, воскликнулъ онъ и, снявъ шапку, перекрестился.

Веселые звуки трезвона разлились надъ оградой. Толпа зашевелилась; сидѣвшіе вставали и торопливо крестились. Встала и Наташа. Ей ужасно хотѣлось дать тулякамъ денегъ, но она не рѣшалась. Сердце ея учащенно билось, щеки заливались румянцемъ, и она то опускала руку въ карманъ за кошелькомъ, то снова ее вынимала. Ей было стыдно, и она невольно вспомнила о Степановой „корочкѣ“; но и уйти отъ этихъ людей *такъ*, ничѣмъ не выразивъ имъ своего сочувствія, было невозможно. Наконецъ она рѣшилась.

— Вотъ что̀...—начала она, вся красная, дрожащими руками открывая кошелекъ.—У меня тутъ немного денегъ есть... мнѣ не нужно... Вы возьмите. Вамъ пригодится... ребенку молочка купишь... разговѣетесь...

Баба съ недоумѣніемъ посмотрѣла на деньги и нерѣшительно оглянулась на товарищей.

— Ой, да что это?.. Да какже это?.. — бормотала она въ смущеніи. Ее выручилъ желтый мужичокъ.

— Бери-и!—крикнулъ онъ, жадными глазами заглядывая въ Наташинъ кошелекъ.—Что же тебѣ?.. Для ребеночка... Барышня, чай, отъ души даетъ, тутъ стыда нѣту... Мы—люди странніе...

Баба взяла бумажку, тупо поглядѣла на нее и вдругъ заплакала.

— О, Господи!.. До чего довелось дожить... Дай Богъ тебѣ здоровья,—сиротство ты наше пожалѣла, на чужой на дальней сторонушкѣ...

Она хотѣла-было броситься передъ Наташей въ ноги, но Наташа остановила ее и поспѣшно скрылась въ толпѣ. Ей было стыдно, мучительно стыдно и за себя, и за этихъ оборванныхъ, нищихъ „кормильцевъ" земли русской, и за нарядную, сытую толпу, которая валила изъ церкви подъ праздничный звонъ колоколовъ. Въ эту минуту она поняла особенно ясно, что подавать милостыню такъ же трудно и тяжело, какъ и принимать ее...

За оградой она нашла всѣхъ своихъ; они стояли окруженные цѣлымъ цвѣтникомъ лазоревскихъ дамъ. Тутъ была и винокурша съ Любашей, и смирненькая матушка, и еще какія-то барыни въ необыкновенныхъ шляпкахъ, въ шумящихъ шолковыхъ платьяхъ, и всѣ наперерывъ приглашали Червоныхъ къ себѣ кушать чай. Но такъ какъ еще заранѣе было рѣшено пить чай у матушки, то всѣ другія приглашенія были любезно отклонены, и Тарасъ торжественно направилъ лошадей къ священническому чистенькому домику, гдѣ въ тѣни сиреневой бесѣдки полисадника, утопавшаго въ густой сѣти вьющихся настурцій и ипомей, уже былъ накрытъ столъ, на которомъ гостепріимно шумѣлъ томпаковый самоварчикъ, купленный въ годъ матушкиной свадьбы. Событіе это произошло сравнительно еще такъ недавно, что самоварчикъ блестѣлъ какъ новенькій, и все вообще кругомъ было такое чистенькое, новенькое, чашечки такія маленькія и хорошенькія, салфеточки бѣленькія, и сама матушка съ своею тяжелою косою такая миленькая и свѣженькая, что даже у суровой „Червонихи" разгладились морщины на лицѣ.

— Ой, да якъ же у васъ гарнесенько!—воскликнула она, восхищенными глазами окидывая сервировку стола.—Такъ оно и видно, что добрая хозяйка, щирая хозяйка, и чоловіку около нея тепленько...

И съ глубокимъ вздохомъ она перевела глаза на Ксаню, которая, небрежно сбросивъ съ себя шляпку и кофточку, съ уста-

лымъ и равнодушнымъ видомъ ощипывала сорванную мимоходомъ розу.

— Да,—ужъ такая хозяйка у насъ матушка, надо чести приписать!—затараторила винокурша, тоже увязавшаяся пить чай къ матушкѣ.—Лепешечки-то какія аппетитныя; сами пекли? Вотъ у меня Любка никакъ этакихъ печь не умѣетъ! Добра изведетъ пропасть, а на столъ подастъ—въ ротъ не возьмешь: жесткія такія и въ зубахъ вязнутъ, а у васъ—чистый сахаръ, такъ во рту и таютъ! Слышишь, Любка? Чего ты глазами-то лупаешь? Взяла бы, да у матушки и поучилась, какъ надо дѣлать.

Бѣдная Любаша молчала. Она очень хорошо знала, что матушка для своего печенья не жалѣетъ ни масла, ни сметаны, а винокурша ограничивается только однимъ прокислымъ молокомъ, да и то когда оно уже больше ни на что не годится,—но возразить не посмѣла,—и винокурша, изливъ на ея голову цѣлый потокъ упрековъ въ лѣности и дармоѣдствѣ, съ жадностью принялась истреблять сахарныя булочки, причмокивая и похваливая. Матушка краснѣла отъ удовольствія и усердно угощала гостей, аккуратно разливая чай въ хорошенькія чашечки.

— А что это, матушка, я нынче какой сонъ видѣла?—начала винокурша послѣ пятой чашки чаю, обтирая платкомъ вспотѣвшее лицо.—Свинью я видѣла, толстую-растолстую, и все будто она за мной гонялась.

— Это къ богатству,—сказала темненькая старушка, родственница матушки, жившая у нея на покоѣ.

— Дай Богъ! А я смотрѣла въ сонникѣ, ничего нѣту. Ужъ я испугалась,—не къ бѣдѣ ли, думаю.

— Къ богатству!—авторитетно повторила старушка.—Свинью —къ богатству. Вотъ лошадь видѣть,—это значитъ: ложь; кошку тоже нехорошо,—значитъ: измѣна друга, а свинью—очень хорошо!

И темненькая старушка принялась обстоятельно разсказывать обо всѣхъ вѣщихъ и таинственныхъ снахъ, какіе только приходилось ей видѣть на своемъ вѣку. Въ самый разгаръ этой занимательной бесѣды изъ церкви вернулся батюшка, отслуживъ по заказу нѣсколько молебновъ, и привелъ съ собою винокура. Батюшка былъ тоже молодой и „новенькій“, очень красивый и живой брюнетъ, не терявшійся ни въ какомъ обществѣ, дѣятельный и начитанный не только въ духовной, но и въ свѣтской литературѣ, такъ какъ кромѣ спеціально-духовныхъ изданій выписывалъ еще „Ниву“, „Свѣтъ“, и даже самъ втайнѣ пописывалъ корреспонденціи. Съ его приходомъ общество оживилось:

всѣ встали, подошли къ нему подъ благословеніе и благодарили за прекрасную службу и пѣніе.

— Ну, какое тамъ прекрасное!—отговаривался батюшка со смѣхомъ.—Пѣли нынче плохо, самъ знаю, а „Херувимскую“ совсѣмъ испортили, не постарались.

— Оттого, что у регента-то вашего не то на умѣ! — подхватила винокурша.—Гдѣ же ужъ ему „Херувимскую“ разучивать,—влюбленъ!

— Ну, это меня не касается,—уклончиво замѣтилъ батюшка и перемѣнилъ разговоръ.—Поразительная тѣснота была нынче въ церкви; и откуда столько народу взялось?

— Да все эти косари, мужичье!—сказала винокурша.—Такой народъ оголтѣлый,—такъ и лѣзутъ, такъ и лѣзутъ! вонищи напустили онучами своими,—ну, просто съ души рветъ! А ужъ что̀ у креста было,—я думала, и духъ вонъ выскочитъ! Какая-нибудь скверная баба—и вѣдь норовитъ впередъ тебя приложиться! Я бы, на вашемъ мѣстѣ, о. Алексѣй, приказала черный народъ не пускать въ церковь.

— Храмъ Божій для всѣхъ,—сказалъ батюшка.

— Да вѣдь кабы они молились, а то безобразничаютъ только! Вѣдь это такой народъ дикій, что у нихъ настоящихъ религіозныхъ понятіевъ-то никакихъ нѣту! Имъ все равно, что̀ Богъ, что̀ пятница,—нешто они могутъ религію понимать?

— Но наша обязанность ихъ просвѣщать,— мягко возразилъ батюшка, поглаживая свою курчавую бородку.—А для этого мы должны не затворять передъ нимъ храмъ, а напротивъ, открывать возможно шире доступъ къ нему. Притомъ, религіозности въ нашемъ народѣ отрицать никакъ нельзя: онъ дикъ, это точно, но религіозенъ.

— Ну ужъ, батя, это „ахъ, шиши, шиши, шиши“!—пискливо пропѣлъ винокуръ и захохоталъ, очень довольный своей выходкой. —Какая тамъ, миленькій ты мой, у нашего народа религія! Вотъ я тебѣ разскажу, что̀ съ нашимъ покойнымъ отцомъ Василіемъ было,—ей Богу, не вру, онъ самъ разсказывалъ! Была у насъ засуха страшущая, все до тла выжгло. Служили-служили молебны, — ничего не дѣйствуетъ; хоть бы тебѣ на̀-смѣхъ одна дождинка! Вдругъ наше козачьё и валитъ къ о Василію... „Что, говорятъ, батюшка, молились-молились,—нѣту дождя, и шабашъ! Теперича вотъ что̀: отыщи ты намъ, батюшка, какого-нибудь святого,—самаго что ни на есть ледащаго, завалящаго, и отслужи ему молебенъ, а то другіе-то, прочіе, ужъ до того набалованы, что насъ и слушать не хотятъ“... Вотъ у нихъ какая религія!

— Все можетъ быть, все можетъ быть!—сдержанно сказалъ батюшка.—Темноты въ народѣ много, но тѣмъ болѣе мы должны просвѣщать... Однако, вы, кажется, выпили свой чай? Оля, ты что же?

Воспользовавшись перерывомъ въ разговорѣ, винокурша снова набросилась на сладкія булочки, а ея словоохотливый супругъ вступилъ въ бесѣду съ Максимомъ Григорьевичемъ, жалуясь на огромный акцизъ и посылая проклятія изобрѣтателю контрольнаго снаряда.

— И какой дьяволъ выдумалъ его, хотѣлъ бы я знать?—негодовалъ онъ.—Я бы его, чорта, на тёркѣ истеръ за этакую штуку! Нѣтъ, прежде было проще. Бывало, пріѣдетъ чиновникъ, угостишь его, ну, сунешь ему тамъ что-нибудь—и дѣло въ шляпѣ. А теперь онъ, пёсъ его задави, на тебя и не глядитъ, а прямо къ этому чорту—снаряду...

XLIV.

Въ палисадникъ вдругъ, какъ бомба, ворвался Иванъ Охримовичъ Холодецъ. Отъ всей его тучной фигуры такъ и несло жаромъ, точно отъ раскаленной печки, лицо пылало и глаза выкатились изъ орбитъ.

— Миръ вамъ, и я къ вамъ! — прохрипѣлъ онъ и, шумно отдуваясь, не сѣлъ, а рухнулъ на подставленный ему стулъ.—Фу-у, Боже ты мой... Не то живъ, не то нѣтъ,—ужъ и не знаю...

— Да откуда это вы?—спросилъ батюшка.

— Да съ ярмарки-жъ... хотѣлъ кониковъ посмотрѣть; говорятъ, съ Битюга пригнали, какіе-то особенные. Ну и правда-жъ,—посмотрѣлъ,—не кони, а мамонты, настоящіе мамонты! Этакого коня и держать страшно: не ты на немъ будешь ѣздить, а онъ на тебѣ... Ну, и цѣна тоже симпатичная... (Онъ потрогалъ себя за карманъ). Я какъ услыхалъ, что за одного тамъ сивенькаго тысячу карбованцевъ просятъ, такъ у меня ажъ вотъ этакія искры (онъ показалъ кулакъ) изъ глазъ поскакали... Я отъ нихъ бокомъ, бокомъ, да фуръ-фуръ до дому, да и попалъ прямо къ москалямъ, на наёмку... Ну ужъ, скажу я вамъ, и было мнѣ... фу-у! (Онъ пощупалъ себя со всѣхъ сторонъ и покрутилъ головой). Чи живой, чи мертвый,—ужъ и самъ не знаю...

— Много рабочихъ?—спросилъ Максимъ Григорьевичъ.

— Тамъ до чорта! Я столько и не видалъ никогда. Столпотвореніе вавилонское! Ревутъ, гомонятъ, одинъ на другого лѣзутъ...

— Вотъ говорили по веснѣ,—сказалъ батюшка,—что наёмка дорогая будетъ, анъ вышло дешевле пареной рѣпы.

— Нипочемъ, нипочемъ! — воскликнулъ Холодецъ. — Тамъ Долгоуховскіе приказчики нанимаютъ,—я слышалъ: восемь гривенъ, шесть, полтинникъ; бабѣ за вязку—двугривенный на своихъ харчахъ. Бабы просто воютъ! Обносились, исхарчились, и на смѣхъ точно — двугривенный. Что̀ можно здоровому человѣку сдѣлать на двугривенный? Развѣ купить себѣ веревку, да повѣситься? И еще сами же себѣ сбиваютъ цѣны!

— Конкурренція!—погладивъ бороду, сказалъ батюшка.

Послѣ чаю—самоваръ подогрѣвался нѣсколько разъ—рѣшили всей компаніей идти на ярмарку. Центръ ярмарки, собственно, находился на огромной базарной площади, но отсюда она растекалась по боковымъ переулкамъ и заливала обширный лазоревскій выгонъ, гдѣ и происходила главнымъ образомъ торговля лошадьми. По словамъ Ивана Охримовича, съ дамами туда почему-то было неудобно идти, и пошли прямо на площадь. Уже издали до нихъ донесся какой-то дикій ревъ, точно тамъ бушевала буря. „Это москали!“—сказалъ Холодецъ, и Наташа подумала, какая громадная пропасть отдѣляетъ ее и всѣхъ ея спутниковъ отъ тѣхъ, которые мятутся теперь тамъ на площади. Они—сытые, хорошо одѣтые, всласть напились чаю съ сахарными булочками и отъ нѣчего дѣлать идутъ на ярмарку, какъ на пріятную прогулку, а тѣ—голодные, голые, измученные—бьются и готовы растерзать другъ друга изъ-за жалкаго двугривеннаго... Но она не успѣла хорошенько остановиться на этой мысли, потому что они очутились уже въ самой серединѣ ревущаго океана, который сразу захлестнулъ ихъ своими разноцвѣтными волнами, оглушилъ и ослѣпилъ. Но теперь на общемъ фонѣ ярмарочнаго шума стали выдѣляться отдѣльные звуки. Слышались завыванія торговцевъ, рѣзкій пискъ свистулекъ—необходимая принадлежность всякой сельской ярмарки,—оглушительный грохотъ турецкаго барабана, ружейная пальба въ странствующемъ театрѣ, лошадиное ржаніе, пѣніе слѣпцовъ. Растерявшаяся Наташа ухватилась за Ивана Охримовича, и они стали протискиваться сквозь толпу. Винокурша шествовала впереди и по какому-то наитію свыше привела ихъ прямо въ „красные ряды“. Потянулись безконечной вереницей дощатые балаганы съ яркими лоскутками кумача вмѣсто вывѣсокъ, съ гирляндами разноцвѣтныхъ лентъ, бусъ и кружевъ, съ цѣлыми стѣнами пестрыхъ матерій, съ грудами коробокъ на прилавкахъ и улыбающимися приказчиками за прилавками. Тутъ преобладала дамская пуб-

лика, — и барыни, и казачки, и сѣрыя бабы изъ „косарей“,— которыхъ даже нужда не могла удержать отъ искушенія полюбоваться на пестрыя тряпки. Винокурша, какъ увидѣла всѣ эти прелести, такъ и ринулась, какъ разъяренный быкъ на красный плащъ матадора, на разложенныя матеріи; остальные пошли дальше. За красными рядами слѣдовали посудные ряды,—горы всевозможныхъ горшковъ, сверкающее стекло и хрусталь, лампы, сервизы, потомъ пошли корыта, лопаты, грабли, лапти, ложки, самовары... Всего этого было такое множество, что казалось невѣроятнымъ, чтобы нашлись люди, которые раскупили бы все. Наташѣ, наконецъ, даже противно стало это обиліе, и она жмурила глаза... А барабанъ гудѣлъ все ближе и громче, свистульки пищали пронзительнѣе, завыла гдѣ-то шарманка, и всѣ эти разнообразные звуки слились, наконецъ, въ какой-то вихрь.

— Боже мой, а гдѣ же наши?—воскликнула Наташа, озираясь и оглядываясь.

— А кто ихъ знаетъ!—спокойно сказалъ Холодецъ.—Потерялись. Ну, что-жъ дѣлать, теперь ужъ ихъ искать нечего, пойдемте дальше. Вы не бойтесь, да крѣпче за меня цѣпляйтесь. Куда васъ вести?

— Пойдемте, гдѣ наёмка.

— О, ну ихъ къ лысому дѣду!—поморщившись, проговорилъ Холодецъ и ощупалъ карманъ.—Да на что̀ вамъ ихъ надо? Тамъ еще и толкнутъ, и въ карманъ, пожалуй, залѣзутъ,—да Богъ съ ними, я ни за что не пойду. Лучше на карусели пойдемъ. Ну, вцѣпитесь въ меня хорошенько!..

Наташа „вцѣпилась“, и Холодецъ повелъ ее туда, гдѣ слышались отчаянные вопли шарманки. Передъ ихъ глазами засверкала бумажная парча каруселей, разукрашенная разноцвѣтными стеклышками и мишурными кистями; вертѣлись, подъ звуки еврейскаго оркестра, деревянныя лошадки; турецкій барабанъ гремѣлъ надъ самымъ ухомъ. Наташа съ любопытствомъ оглядѣлась. Передъ каруселями толпился народъ: молодые казачата и казачки, пощелкивая такъ называемыя „линейскія“ (арбузныя) сѣмечки, поочередно взбирались на коньковъ и съ серьезнымъ видомъ дѣлали нѣсколько круговъ подъ звуки „Камаринской“; простодушные степняки, жители дальнихъ хуторовъ, въ длинныхъ сѣрыхъ свитахъ и громадныхъ бараньихъ шапкахъ, придававшихъ имъ свирѣпый видъ, стояли, разинувъ рты, какъ дѣти, въ нѣмомъ восторгѣ отъ всего этого блеска и треска, но, главнымъ образомъ, отъ барабана. Наташѣ особенно бросился въ глаза одинъ почтенный хохолъ, какъ будто живьемъ выхваченный изъ

повѣстей Гоголя, — съ длинными усами, въ широкихъ, словно Черное море, шароварахъ и даже въ кожухѣ. Онъ былъ подъ хмелькомъ, и его коричневое, морщинистое лицо, съ добродушными голубенькими глазками, сіяло полнѣйшимъ блаженствомъ; улыбаясь и размахивая руками, онъ топтался на одномъ мѣстѣ и какимъ-то дряблымъ, разслабленнымъ голосомъ тянулъ одни и тѣ же слова:

„А ко мнѣ Яківъ прыходывъ,
Коробочку раківъ прыносывъ,
А я тіи раки не взяла,
Яківа зъ хаты прогнала"...

Рядомъ съ каруселями пріютился „Петрушка", около котораго гремѣлъ дружный хохотъ; дальше—лохматый, черный, какъ сапогъ, цыганъ показывалъ панораму; пирожникъ въ бѣломъ фартукѣ пѣвучимъ голосомъ выводилъ: „Благослови Господи! до обѣда проспали, калачей напекли, калачи горячи, кто съѣстъ, тотъ заплачетъ!.." И, наконецъ, надо всѣмъ этимъ живымъ моремъ высились перекидныя качели: изъ скрипучихъ ихъ люлекъ неслись переливы гармоники въ перемежку съ отчаяннымъ женскимъ визгомъ.

— А что, часомъ, не покачаться ли и намъ на этой исторіи?—предложилъ Холодецъ, посмѣиваясь.

Наташа отказалась, и Холодецъ повелъ ее дальше. Они хотѣли пройти къ театру, гдѣ показывали какую-то „Морскую Царевну", но въ это время на нихъ налетѣла какая-то буйная толпа, оттерла ихъ отъ увеселительныхъ балагановъ и увлекла за собою.

— Вотъ такъ влопались!—съ досадой и испугомъ воскликнулъ Холодецъ.—Це-жъ опять эти анаѳемскіе москали!..

А толпа засасывала ихъ въ себя все глубже и глубже, и съ глухимъ ревомъ, напоминавшимъ грозный ропотъ морского прибоя, несла куда-то помимо ихъ воли и желанія. Вокругъ нихъ волновалось цѣлое море рваныхъ полушубковъ, бѣлыхъ рубахъ, пропитанныхъ потомъ, дегтярныхъ чоботовъ, стоптанныхъ лаптей, растрепанныхъ рыжихъ, черныхъ и сѣдыхъ бородъ... Они попали въ самый центръ рабочей арміи, жаждавшей хлѣба и работы, и вся эта голодная рвань представляла жестокій контрастъ съ пестрою грудою всякихъ соблазнительныхъ вещей, только-что видѣнныхъ Наташей. А изъ отворенныхъ оконъ трактировъ, тутъ же, рядомъ съ голодною и оборванною толпой, какъ будто въ насмѣшку надъ нею, неся веселый звонъ посуды, пахло кушаньями, и торжествующе гремѣли побѣдоносные

звуки какого-то марша... Наташа невольно подумала,—что̀ должны были чувствовать эти голодные люди, съ великими трудами и лишеніями пришедшіе сюда за тысячи верстъ, при видѣ этихъ трактировъ, биткомъ набитыхъ гуляющимъ народомъ,—и ей стало жутко.

— Боже мой, что̀ тутъ дѣлается? Куда они всѣ идутъ?— спросила она Ивана Охримовича.

Но Холодецъ ничего не отвѣчалъ, пожалуй даже и не слышалъ ея вопроса. Съ озабоченнымъ лицомъ, съ съѣхавшею на затылокъ фуражкой, онъ свирѣпо проталкивался впередъ, но толпа не давала имъ ходу. Всѣ стремились туда, къ трактирамъ, гдѣ очевидно что-то происходило; у всѣхъ были красныя, возбужденныя лица, всѣ яростно махали руками, толкались и сыпали самою отборною руганью. До Наташи долетали отрывочныя слова: „Рупь съ четвертью... Нако, самъ выкуси!.. Мы вамъ, небось, не лошади!.. Да это на хлѣбѣ больше проѣшь!.. Мошенники!.. Черти толсторылые!.. Прижимка!.. Дай ему, таковскому сыну, по маслаку“!.. Вдругъ передъ Наташей мелькнуло чье-то знакомое лицо... Она вглядѣлась и узнала пчелинца-Егора. Въ новой розовой рубашкѣ, въ синей поддёвкѣ, небрежно накинутой на плечи, онъ тоже, неизвѣстно зачѣмъ, толкался между народомъ и что-то оралъ, чего, за общимъ гвалтомъ, разобрать было невозможно. „Зачѣмъ онъ здѣсь?“—подумала Наташа, но въ эту минуту толпа колыхнулась, и они съ Иваномъ Охримовичемъ очутились около трактировъ. Здѣсь у стѣны, подъ тѣнью распряженныхъ телѣгъ съ поднятыми оглоблями, расположилась группа бабъ. Онѣ сидѣли прямо на землѣ: нѣкоторыя изъ нихъ жевали хлѣбъ, запивая его водою изъ жестяныхъ чайниковъ; другія кормили грудью дѣтей; но у всѣхъ у нихъ были такія же красныя, возбужденныя и злыя лица, и онѣ кричали и размахивали руками. Наташѣ показалось, что тутъ были и ея давешніе знакомые туляки, съ которыми она разговаривала въ оградѣ... Но теперь, глядя на ихъ озлобленныя лица, ей трудно было даже и представить себѣ, что это—тѣ самые смирные, добродушные люди, которые такъ благоговѣйно крестились при звонѣ къ „Достойной“... И опять въ двухъ шагахъ отъ себя Наташа увидѣла розовую рубашку Егора. Его темное лицо было искажено, глаза сверкали, и онъ съ жаромъ говорилъ что-то тѣснившейся около него кучкѣ мужиковъ.

— „Гляди имъ больше въ зубы-то“!..—разслышала Наташа. —„Вонъ они сидятъ, чай жрутъ!.. Не чай это, а кровь наша... Въ кулаки бы ихъ... дьяволо̀въ!.. Чего на нихъ глядѣть“!..

— Вѣрно, вѣрно!..—отозвались въ толпѣ.—Вали, ребята!.. Чтожъ намъ, издыхать, что-ли?.. Пущай они сюда выходятъ... Полтину... мы имъ покажемъ полтину... Вали! Бей ихъ!..

Волна опять нахлынула, и Холодецъ съ Наташей, смятые, полу-задушенные, какимъ-то чудомъ были выброшены на загроможденный повозками постоялый дворъ. Тутъ было тихо; лошади мирно жевали сѣно; куры съ озабоченнымъ кудахтаньемъ рылись въ навозѣ, и большой индюкъ, распустивъ крылья и чертя ими по землѣ, важничалъ передъ своимъ гаремомъ.

— Ну-ну!—прохрипѣлъ Холодецъ, садясь на колоду, лежавшую у колодца.—Вотъ проклятые москали, сто чертей въ зубы ихъ бабушкѣ! Какъ на молотилкѣ, всего измолотили! о, Боже ты мой, Боже!..

Онъ пыхтѣлъ, вздыхалъ, отирая платкомъ свою взмокшую лысину и ощупывая карманы; наконецъ, успокоившись,—обратился къ Наташѣ:

— А вы-то живы, барышня?

— Я—ничего. Но чтò это у нихъ тамъ такое? Я ничего не поняла.

— А тамъ чортъ развѣ пойметъ. Видѣли, какія у нихъ у всѣхъ рожи? Не дай Богъ и во снѣ увидѣть такія... О, Боже мой, Боже мой, до чего можетъ осатанѣть человѣкъ! А вотъ поглядите, чтò еще къ вечеру будетъ, когда всѣ они цапнутъ горилки...

— Да гдѣ же они возьмутъ? Вѣдь у нихъ даже хлѣба нѣтъ.

— Э, москаль чего другого, а горилку подъ землей найдетъ! Москалю самъ чортъ помогаетъ...

Возвратившись къ батюшкѣ, они уже застали всѣхъ тамъ, за исключеніемъ винокурши, которую такъ и засосала краснорядская пучина. Ксаня была не въ духѣ и торопила ѣхать домой; но Максимъ Григорьевичъ разыскалъ какого-то знакомаго купца, и они ушли куда-то совершать сдѣлку насчетъ запроданнаго Максимомъ Григорьевичемъ хлѣба. Онъ вернулся веселый, немножко подъ хмелькомъ, и объявилъ, что ему сегодня везетъ.

— Ну, Оксанка, гроши теперь у насъ будутъ! — сказалъ онъ.—Говори, чего тебѣ надо, какую обнову? „Все куплю,—сказало злато"!..

— Ничего мнѣ не надо,—ѣдемъ!—сердито сказала Ксаня.

— Ой-ой-ой, какая важная!.. А обнову я тебѣ все-таки куплю... Мама, а вамъ чего?—разнѣженно обратился онъ къ матери, цѣлуя ей руку.

— Чего мнѣ?—съ горечью вымолвила старуха:—Домовину развѣ?..

Максимъ Григорьевичъ махнулъ рукой.

XLV.

Когда Червоные выѣхали изъ Лазоревой, было уже около трехъ часовъ. Надъ полями разливался зной, и хлѣба млѣли въ истомѣ; раскаленное небо было задернуто мутно-лиловымъ пологомъ, и земля, казалось, тяжко дышала, изнемогая отъ жары. И всюду хлѣбà, хлѣбà, „какъ степь живая“—золотомъ льются по землѣ, волнуются, шумятъ... и какъ много ихъ, и какъ просторно здѣсь,—а между тѣмъ тамъ, позади, на громадной лазоревской площади, загороженной лавками и трактирами, тѣснота, и вой, и голодный скрежетъ. Наташа попробовала подѣлиться своими впечатлѣніями съ Червоными,—но Ксаня и Ганна Матвѣевна всю дорогу молчали, а Максимъ Григорьевичъ, пріятно возбужденный выгодной сдѣлкой и магарычами, то распѣвалъ хохлацкія пѣсни, то начиналъ переговариваться съ Иваномъ Охримовичемъ, который былъ приглашенъ обѣдать и трусилъ за ними на бѣгунцахъ, запряженныхъ толстою и замѣчательно похожею на своего хозяина лошадью.

Обѣдъ, несмотря на молчаливость хозяйки, прошелъ очень оживленно. Кромѣ Ивана Охримовича, пріѣхалъ еще тотъ купецъ, которому Максимъ Григорьевичъ продалъ хлѣбъ; всѣ мужчины порядочно подвыпили и страшно шумѣли. Послѣ обѣда Холодецъ вдругъ вздумалъ даже плясать, припѣвая самъ себѣ „Рудаго діда“, и это выходило у него до того уморительно, что Ксаня и Наташа, несмотря на усталость и дурное настроеніе, хохотали до упаду. Наконецъ, хмель и зной разогнали всѣхъ по прохладнымъ уголкамъ и уложили и хозяевъ, и гостей въ постели.

Наташа чувствовала такую усталость, что какъ легла, такъ и заснула. И какъ часто бываетъ днемъ, ей снились страшные и необычайно яркіе сны. Она видѣла вокругъ себя множество лицъ, ужасныхъ, искаженныхъ злобой; слышала крики: „бей ее!“— и среди этихъ свирѣпыхъ людей былъ Степанъ, и онъ больше всѣхъ ее ненавидѣлъ, и громче всѣхъ кричалъ: „бей ее!“ Потомъ за нею гнались какія-то свиньи; она спасалась отъ нихъ и вдругъ попадала въ трясину. Дрожа отъ ужаса и задыхаясь, она дѣлала страшныя усилія, чтобы выбраться, но трясина за-

сасывала ее все глубже и глубже, свиньи надвигались все ближе и ближе, и слышался оглушительный ревъ и вой...

— Барышня, барышня, вставайте!—будила ее Олимпіада.— Чай кушать пора!

Наташа открыла отяжелѣвшія вѣки и долго не могла придти въ себя. Въ головѣ—мутно, во рту—гадость; не то ночь, не то день... въ комнатѣ темно; гдѣ-то слышатся голоса...

— Который часъ?—спросила Наташа.

— Да ужъ восемь часовъ, барышня. Заспались всѣ. Самоваръ-то ужъ кипѣлъ-кипѣлъ, — два раза подогрѣвала; барыню насилу разбудила. Спятъ, какъ мертвыя!

Наташа, пошатываясь, встала. Ей было скверно и стыдно. Въ самомъ дѣлѣ, что̀ за жизнь! Наѣсться до отвалу и спать днемъ,—это отвратительно! А *тѣмъ*—„корочку"... И что̀ ей снилось, Боже мой! Свиньи какія-то... Что̀ бы сказалъ Степанъ, еслибы зналъ, какъ она проводитъ свое время? А еще она собирается на него вліять... Нѣтъ, онъ сильнѣе ея, и ей не подъ силу будетъ съ нимъ бороться...

Съ тяжелой головой, съ недовольствомъ въ душѣ, заспанная, хмурая, вышла Наташа на балконъ. Тамъ, за чайнымъ столомъ, уже сидѣли всѣ, такіе же заспанные и недовольные. Холодецъ съ похмелья стоналъ, жаловался, что у него „печѐ", и пилъ кружку за кружкой мятный квасъ, который въ огромныхъ жбанахъ, ухмыляясь, таскалъ ему Мидасъ. Купца не было; онъ уже уѣхалъ.

— А что, Наталья Гавриловна?—шутливо сказалъ Максимъ Григорьевичъ.—И вы-таки всхрапнули?

— Да,—хмурясь и краснѣя, созналась Наташа.—Богъ знаетъ что̀, Максимъ Григорьевичъ! у васъ тутъ совсѣмъ въ Обломова превратишься. Представьте, мнѣ даже свиньи снились, какъ винокуршѣ!

— Ну ужъ, бѣда какая!—смѣялся Максимъ Григорьевичъ.— Когда-то вздремнули трошки послѣ обѣда, и ужъ раскисли, и ругаетесь, будто и Богъ знаетъ какое преступленіе сдѣлали. А что̀ тутъ дурного? Мы, вотъ, съ Иваномъ Охримовичемъ каждый день спимъ, да не плачемъ.

— Это еще что̀—свиньи снились!—съ трудомъ прочистивъ горло, захрипѣлъ Холодецъ.—Свиньи—ничего, вещь обыкновенная,—я ихъ каждый день во снѣ вижу; а вотъ мнѣ приснилось, что я нашего атамана съѣлъ со всѣмъ—съ сапогами и съ булавой,—вотъ это такъ исторія! Чую, и дòси онъ у меня вотъ здѣсь сидитъ, никакъ его, анаѳему, не протолкаю... охъ, лишечко мое, якъ важко!..

И онъ, корчась и гримасничая, выпилъ залпомъ еще кружку квасу, къ великой потѣхѣ Мидаса, который изнемогалъ отъ беззвучнаго смѣха за дверями балкона.

Послѣ нѣсколькихъ стакановъ чаю, всѣ нѣсколько оживились и отрезвѣли. Въ саду было тихо и прохладно; небо быстро темнѣло; съ полей слышалось посвистыванiе перепеловъ и однообразный скрипъ коростеля. Наташа собралась пройтись по саду, смутно надѣясь встрѣтить Степана... какъ вдругъ на балконъ, запыхавшись, прибѣжала Олимпiада.

— Ой, батюшки, Максимъ Григорьевичъ!—закричала она.— Глядите, за садомъ зарево какое! Ужъ не въ Лазòревой ли горитъ?

— Фу, испугала кàкъ, сумасшедшая баба! — вымолвилъ поблѣднѣвшiй Максимъ Григорьевичъ, вставая.—Я ужъ думалъ, не случилось ли чего у меня на хуторѣ...

— Своя рубашка ближе къ тѣлу!—замѣтила Наташа.

— Да разумѣется! Однако, пойдемте, посмотримъ, чтò тамъ такое...

Встревоженные, они всѣ вышли на дворъ. Тамъ уже собралась вся хуторская дворня и съ глухимъ говоромъ смотрѣла по направленiю къ Лазòревому. Тамъ на бархатно-синемъ фонѣ неба разливалось розовое зарèво. Оно волновалось, вздрагивало и поднималось все выше и выше.

— Ну чтò, гдѣ горитъ?—спросилъ Максимъ Григорьевичъ съ безпокойствомъ.

— Да кто-е-знаетъ, не разберешь ничего. А похоже, что въ Лазоревой. Садъ мѣшаетъ; изъ-за саду ничего не видать.

— А ну-ка, влѣзь кто-нибудь на крышу, погляди!—сказалъ Максимъ Григорьевичъ.

Мидасъ притащилъ лѣстницу и, гремя сапогами, живо взобрался на крышу. Всѣ съ ожиданiемъ смотрѣли на него. А зарево все разгоралось и разгоралось.

— Въ Лазоревой!—закричалъ Мидасъ.—Ой, батюшки, огонь видно!

— А це жъ москали!—сказалъ Холодецъ рѣшительно.—Ей Богу, москали, вражьи дѣти! Я вамъ говорилъ давеча...

— Здорово, знать, полыхаетъ,—слышалось въ толпѣ.—Вонъ, вонъ, въ другомъ мѣстѣ занялось... О, Господи, страсть какая!

Въ эту минуту теплый вѣтерокъ потянулъ отъ сада, и съ нимъ вмѣстѣ принеслись глухiе звуки торопливаго набата.

— Въ набатъ ударили...—сказалъ кто-то.—Не дай, Господи!.. Время ночное, сушь,—всю станицу до-чистà выхватитъ...

— Надо ѣхать,—рѣшилъ Максимъ Григорьевичъ.

— И я ужъ съ вами! — сказалъ присмирѣвшій Холодецъ, позабывъ о своемъ „атаманѣ“, сидѣвшемъ у него въ животѣ.

— Макся, и мы съ тобой!—крикнула Ксаня.

— Ну вотъ, куда я еще васъ потащу!—съ неудовольствіемъ проговорилъ Максимъ Григорьевичъ.—Еще задавятъ!

— Нѣтъ, возьми, возьми! — настойчиво требовала Ксаня, странно оживляясь.—А не возьмешь, я сама пѣшкомъ побѣгу!

— А, ну тебя...—Эй, кто тамъ? Нѣтъ, не ты, Тарасъ; ты въ потьмахъ ничего не видишь, еще завезешь въ яму... Давыдка, запряги барынямъ шарабанъ, а я съ Иваномъ Охримовичемъ на бѣгунцахъ поѣду. Да тащите сюда кишку и багры...

Ксаня съ Наташей побѣжали одѣваться. Ими овладѣла тревога; Ксаня страшно волновалась и торопила Наташу.—Скорѣй, скорѣй, Наташка, а то они безъ насъ уѣдутъ!..

Онѣ кое-какъ накинули на себя кофточки, платки, и выбѣжали на крыльцо. Шарабанъ уже былъ готовъ; въ темнотѣ слышалось испуганное фырканье лошадей, потревоженныхъ шумомъ, и громко раздавался твердый голосъ Максима Григорьевича, распоряжавшагося около пожарнаго насоса. Весь хуторъ пришелъ въ движеніе; всюду мелькали бѣгущія черныя тѣни; черный силуэтъ Мидаса отчетливо вырисовывался на крышѣ, среди мутно-багроваго зарева, охватившаго уже полнеба.

— Ну, ѣдемъ же, ѣдемъ, Макся! — нетерпѣливо кричала Ксаня.

— Да что̀ тебѣ не терпится? Сидѣла бы лучше дома!

— Нѣтъ, нѣтъ, не могу, не могу...

Онѣ уже сидѣли въ шарабанѣ, но Максимъ Григорьевичъ не пустилъ ихъ до тѣхъ поръ, пока не отъѣхали дроги съ пожарными принадлежностями и не была подана толстая лошадь Ивана Охримовича, повидимому страшно недовольная тѣмъ, что ее оторвали отъ теплаго стойла и доброй порціи овса. Холодецъ тоже недовольно ворчалъ и долго усаживался и ощупывался прежде, чѣмъ двинуться въ путь. Наконецъ бѣгунцы тронулись; за ними мягко покатилъ шарабанъ. И опять Наташа, проѣзжая мимо флигеля, оглянулась. Степанъ былъ дома; въ окнахъ свѣтился огонь, но шторы были спущены, и за ихъ плотной тканью ничего не было видно. Среди всеобщей суеты и тревоги одинъ этотъ огонекъ оставался спокойнымъ и безучастнымъ, точно неизмѣримая пропасть отдѣляла его отъ всего окружающаго... И Наташа подумала, что такая же неизмѣримая пропасть отдѣляетъ и ее отъ Степана, и никогда-никогда ея жизнь не сольется

съ его жизнью. Она вспомнила давешнее утро... свое недоговоренное признаніе и рѣзкія слова Степана, — и ей стало такъ стыдно и больно, что даже слезы выступили у нея на глазахъ.

Они выѣхали уже на шляхъ и быстро помчались впередъ. Въ открытомъ полѣ зарево казалось больше и страшнѣе. Кровавыя облака нависли надъ Лазоревой, и ихъ багровый отблескъ ложился на затихшія поля. Перепела и коростели примолкли; въ тишинѣ слышался только стукъ лошадиныхъ копытъ и колесъ, да изрѣдка отъ станицы доносились звуки набата, похожіе на жалобные вопли.

— Ахъ, Наташка, какъ страшно... и хорошо! — твердила Ксаня.—Точно во снѣ!..

— Ну, что же тутъ хорошаго?—сказала Наташа, пожимаясь отъ жуткаго, непріятнаго чувства.—Ужасъ, бѣдствіе... Не знаю, чѣмъ тутъ восхищаться.

— Ахъ, ты не понимаешь!.. Тѣмъ-то и хорошо, что страшно... и необыкновенно. Ну, что мы живемъ? Спимъ, ѣдимъ, сплетничаемъ... А тутъ вдругъ что-то такое новое... отчего сердце замираетъ... и хочется плакать, смѣяться, хочется сдѣлать что-нибудь такое, отчего бы духъ захватило.

— Но зачѣмъ же непремѣнно для этого пожаръ?

— Ты не понимаешь, ты не понимаешь...—повторяла Ксаня.

И она даже привставала въ шарабанѣ, чтобы лучше видѣть зарево, а ея красивое лицо съ горящими глазами, съ выбившимися изъ-подъ платка темными прядями волосъ, озаренное краснымъ отблескомъ пожара, принимало странное, восторженное и въ то же время жестокое выраженіе. „Это у нихъ общее съ Степаномъ!“—подумала Наташа съ невольной дрожью.—„Они точно созданы для того, чтобы разрушать и коверкать свою и чужую жизнь... странные, несчастные люди!..“

Подъ самымъ Лазоревымъ имъ преградили дорогу какіе-то возы и толпа народа, метавшаяся въ безпорядкѣ туда и сюда. Черные силуэты бѣгущихъ людей рельефно вырисовывались на багровомъ фонѣ зарева. Шарабанъ остановился.

— Что такое? Отчего мы стоимъ? — нетерпѣливо спрашивала Ксаня.—Давыдка, поди, спроси Максю, отчего мы не ѣдемъ дальше?

Кучеръ слѣзъ и пошелъ впередъ, гдѣ слышались крики и глухой говоръ. Черезъ минуту онъ вернулся.

— Тутъ не проѣхать намъ, барыня,—сказалъ онъ.—Надо по другой дорогѣ. Тутъ народъ бѣжитъ изъ Лазоревой,—видимо-невидимо!

— Куда бѣжитъ? Отчего бѣжитъ?

— Да кто ихъ знаетъ, ничего не разберешь. Бунтъ,—кричатъ.

— А Макся же гдѣ?

— Они тоже тамъ остановились. И кишку остановили, не пущаютъ.

Къ шарабану подошелъ Максимъ Григорьевичъ. Онъ былъ встревоженъ и озабоченъ.

— Ну, Оксанко, вамъ надо домой ѣхать,—сказалъ онъ съ волненіемъ.—Тамъ, говорятъ, не дай Богъ, что̀ дѣлается. Бунтъ! Рабочіе поразбивали кабаки, напились, торговцевъ бьютъ и ярмарку запалили со всѣхъ концовъ... Вы послушайте-ка!

Они прислушались. Изъ станицы до нихъ смутно доносился какой-то зловѣщій гулъ и грохотъ; изрѣдка оттуда наплывала горячая струя воздуха, и удушливое облако дыму и гари обволакивало мятущуюся въ ужасѣ толпу. А одинокій колоколъ кричалъ и вылъ, отчаянно призывая на помощь.

— Нѣтъ, Макся, я хочу, хочу туда! — настойчиво произнесла Ксаня, вся дрожа отъ нетерпѣнія. — Поѣдемъ; говорятъ, есть другая дорога.

— Вотъ сумасшедшая баба! — разсердился Максимъ Григорьевичъ.—Ну, чего тебѣ тамъ? Ничего хорошаго нѣтъ! Народъ пьяный, осатанѣлый: разорвутъ въ клочки, больше ничего.

— Ксаня, вернемся домой!—сказала и Наташа.

Но Ксаня и слышать ничего не хотѣла и настаивала на своемъ.

— Хочу, хочу!—твердила она, чуть не плача отъ досады.—Поѣзжайте себѣ, куда хотите, а я одна поѣду!

— Тьфу! — плюнулъ Максимъ Григорьевичъ и, вернувшись къ своимъ бѣгунцамъ, на которыхъ, весь блѣдный и скорчившійся, сидѣлъ Холодецъ, онъ приказалъ работнику съ пожарными дрогами поворачивать въ объѣздъ.

— Зачѣмъ мы ѣдемъ, Ксаня?—спросила Наташа.

Но Ксаня не отвѣчала. Она стояла въ шарабанѣ, придерживаясь за облучокъ, и ея дико блестѣвшіе глаза были неподвижно устремлены на огненные языки пламени, взвивавшіеся къ небу.

XLVI.

Несмотря на темную ночь, ѣхать было свѣтло, какъ днемъ. Мимо нихъ потянулись плетни огородовъ, изъ-за которыхъ взды-

мались высокіе подсолнухи съ своими круглыми, какъ будто удивленными, желтыми лицами; крѣпкій запахъ мяты и укропа стоялъ въ воздухѣ. Узенькіе переулки, заросшіе крапивой и гусятникомъ, извивались вправо и влѣво, и колеса безпрестанно попадали въ ямы. Лошади спотыкались, шли неохотно и, дрожа, прядали ушами, испуганныя заревомъ и набатомъ. Давыдка ворчалъ: „Заѣхали, чортъ-те-куда,—того и гляди, оси переломаешь"... Наконецъ, тихіе огороды, съ удивленными подсолнухами и съ свѣжимъ ароматомъ укропа и мяты, кончились; впереди послышались опять голоса и крики; передъ ярко освѣщенными мазанками копошились люди, таская узлы и рухлядь, которую сваливали тутъ же посреди дороги. Какая-то женщина, сидя на сундукѣ, громко стонала и плакала, раскачиваясь изъ стороны въ сторону; маленькіе ребятишки лѣпились по крышамъ и громко перекликались, считая огненныхъ галокъ, носившихся надъ пожарищемъ. Они еще не понимали ужаса всего происходящаго, и величественное зрѣлище пожара ихъ забавляло.

— Вонъ, вонъ еще одна полетѣла!—кричалъ одинъ. — Сичасъ упадетъ... упала! Сичасъ загорится!..

— Загорѣлась, загорѣлась! — съ торжествомъ откликался другой малышъ, приплясывая, и ребятишки начинали слѣдить за новою галкой.

— Всѣ погоримъ, ничего не останется!—кричала женщина на сундукѣ.—Черти проклятые, чтобы вамъ ни дна, ни покрышки... Подъ разстрѣлъ бы ихъ всѣхъ, анаѳемовъ!

— Да гдѣ это мужики-то всѣ наши подѣвались, окаянные? —ругалась другая женщина, таща изъ хаты огромную дижу.— Разбѣжались, таковскія дѣти, а ты тутъ хоть разорвись... Водку почуяли, гàлманы ненасытные!

— Гдѣ горитъ, тетка?—спросилъ ее Давыдка.

— На площади... Косари-черти, должно быть, подожгли.

Кое-какъ объѣхали рухлядь, нагроможденную по улицѣ, и тронулись дальше. Воздухъ становился все удушливѣе; шумъ приближался. И вдругъ на одномъ изъ поворотовъ яркій огонь сверкнулъ имъ прямо въ глаза, въ лицо пахнýло горячимъ дымомъ, и страшная картина открылась передъ ними.

Вся огромная площадь была въ пламени. Тамъ, гдѣ давеча были галантерейные, красные и посудные ряды, теперь бушевалъ, крутился и ревѣлъ огненный вихрь. Качели, увеселительные балаганы, странствующій театръ уже сгорѣли, и на ихъ мѣстѣ дымились и чадили какія-то безобразныя черныя кучи. Всюду и вездѣ хозяйничалъ огонь: онъ—то, какъ змѣя, припа-

далъ къ землѣ, извивался и съ шипѣніемъ переползалъ съ мѣста на мѣсто; то въ безумномъ весельѣ взвивался къ небу и, танцуя, разсыпалъ вокругъ себя цѣлые фонтаны искръ. Слышался трескъ падающихъ досокъ и лопающихся стеколъ; огненныя лохмотья, какъ фантастическія птицы, летали по всѣмъ направленіямъ, и среди этого хаоса вся розовая стояла церковь, и при каждой новой вспышкѣ огня казалось, что она вздрагиваетъ отъ ужаса.

— Долгоуховскій трактиръ горитъ!—сказалъ Холодецъ.—А вонъ и другой рядомъ, гдѣ я утромъ чай пилъ... Ахъ, окаянные! чтò надѣлали!..

— Да гдѣ пожарные?—проговорилъ Максимъ Григорьевичъ. —Пожарныхъ не видать,—не тушатъ совсѣмъ. Куда и ѣхать, не знаю.

— Э, чего тушить!—безнадежно замѣтилъ Холодецъ.—Тутъ ничего не подѣлаешь. Вы будете тушить, а они—поджигать...

— Да вѣдь это врутъ, можетъ быть. Просто, какой-нибудь пьяный бросилъ папиросу,—вотъ и пошло чесать. Всегда такъ бываетъ.

Въ эту минуту на площади что-то произошло. Раздался оглушительный грохотъ; гигантскій столбъ дыма и огня взлетѣлъ къ небу, и во всѣ стороны посыпались, точно ракеты, пылающія головни и клочья. И вслѣдъ затѣмъ до Червоныхъ явственно донеслись отголоски нестройнаго, дикаго пѣнія.

— А чтò?—воскликнулъ Холодецъ.—Это-жъ они проклятую „Дубинушку“ поютъ. О то, дьяволы!..—И съ внезапною рѣшимостью прибавилъ:—Пойду туда...

— И я!—быстро вымолвила Ксаня, бросаясь за нимъ.

— Чтò ты дѣлаешь, Оксанко? — крикнулъ Максимъ Григорьевичъ, дѣлая попытку ее остановить.

Но Ксаня оттолкнула его руку и бѣгомъ пустилась за Холодцомъ, прямо въ огненный вихрь и бурю.

— Сдурилась! совсѣмъ сдурилась баба! — говорилъ растерянно Максимъ Григорьевичъ.—Ну, чтò же намъ теперь дѣлать, Наталья Гавриловна? Вотъ чтò: вы поѣзжайте себѣ потихоньку на хуторъ, а я съ насосомъ отправлюсь на базаръ, попробую поработать, да кстати вытащу оттуда жинку. Вѣдь ее тамъ изуродуютъ еще, Боже сохрани... да и этого стараго дурня тоже...

Между тѣмъ, Ксаня и Холодецъ пробирались по площади. Несмотря на свою тучность, Холодецъ обнаружилъ такую прыть, что Ксаня едва поспѣвала за нимъ. Вся площадь была запружена народомъ и загромождена обломками, возами, какими-то

ящиками и безпорядочно сложенными кучами разныхъ товаровъ, наскоро вынесенныхъ изъ лавокъ. Въ яркомъ заревѣ пламенѣли куски кумача, распростертые по землѣ, высились бѣлыя пирамиды миткаля, серебромъ и золотомъ отливали шолковыя ткани, и всѣ эти дорогія вещи валились кое-какъ на-земь, въ пыль и грязь; по нимъ ходили, топтали ихъ ногами, кучей громоздили на воза и куда-то увозили, а на мѣстѣ увезенныхъ сейчасъ же образовывались новыя горы и пирамиды. Толкотня была страшная; приказчики не успѣвали выносить вещи и прямо ихъ выбрасывали; слышались ругательства, плачъ, испуганное ржанье лошадей, скрипъ колесъ, крики, дикое пѣніе. Ксаня и Холодецъ очутились въ какомъ-то водоворотѣ, который сейчасъ же закрутилъ ихъ и втянулъ въ себя. На встрѣчу имъ бѣжали люди, сзади на нихъ напирали, и они сами неслись, сами не зная куда и зачѣмъ. Общая картина пожара, на которую они смотрѣли давеча съ переулка, теперь была имъ невидна; но зато передъ ними мелькали одна за другою разныя мелкія подробности и сцены, полныя ужаса и трагизма. Они видѣли, какъ взбѣсившаяся лошадь, поднявшись на дыбы, опрокинула дроги, нагруженныя зеркалами, и разбитое въ дребезги дорогое стекло сверкающимъ потокомъ со звономъ лилось на землю; видѣли, какъ толстый купецъ, безъ шапки, въ разорванномъ сюртукѣ, но съ толстою золотою цѣпочкой на животѣ, плакалъ по-бабьи, сидя на кучѣ исковерканной мебели; какъ другой купецъ, съ маленькимъ ребенкомъ на рукахъ, съ изступленнымъ лицомъ и развѣвающимися волосами, отчаянно кричалъ выносившимъ вещи людямъ: „Аннушка-то, Аннушка-то гдѣ?.. Да бросьте вы это ухоботье,—пущай горитъ, шутъ съ нимъ,—Аннушку-то Аннушку-то ищите... гдѣ Аннушка?..“ Въ эту минуту общаго бѣдствія и несчастія у всѣхъ проснулись и заговорили человѣческія чувства, иногда задавленныя жаждою наживы...

Выбравшись изъ этого хаоса людей, лошадей, товаровъ и возовъ, Ксаня и Холодецъ совершенно неожиданно увидѣли передъ собою батюшкинъ домикъ съ полисадничкомъ, гдѣ они давеча утромъ такъ мирно пили чай изъ хорошенькихъ матушкиныхъ чашечекъ. Здѣсь тоже шла суматоха. На крышѣ стоялъ работникъ и поливалъ сверху изъ ведра. Ворота была настежь отворены, и въ глубинѣ двора виднѣлись возы, до верху нагруженные сундуками и мебелью; испуганная, блѣдная, какъ полотно, матушка стояла тутъ же и, всхлипывая, слѣдила, какъ изъ дому выносили и укладывали на телѣгѣ вещи. Ксаня и Холодецъ подошли къ ней.

— Ахъ, Боже мой, Аксинья Павловна, Иванъ Охримовичъ! —воскликнула матушка и расплакалась.—Несчастье-то какое, Господи! У насъ уже два раза отъ головешекъ уголъ занимался... Сгоритъ, все сгоритъ, вся станица сгоритъ!

— А гдѣ же батюшка?

— Въ церкви со всѣмъ причтомъ. И пожарные туда поѣхали. Охъ, Боже мой, Боже мой, что же мы будемъ дѣлать?!

— Отчего загорѣлось? Подожгли, говорятъ?—спросилъ Холодецъ.

— Не знаю, ничего неизвѣстно... Кто говоритъ, что нарочно подожгли, а то говорятъ, что отъ Чекманаевскаго хутора загорѣлось.

— Какъ, и Чекманаевъ тоже горитъ?

— Да какже, вѣдь съ него и началось! Часу въ седьмомъ, мы только-что чай отпили, вдругъ слышимъ: „пожаръ, пожаръ“! Выбѣжали на улицу,—ничего не видать. А тутъ говорятъ, на площади драка вышла,—косари перепились и пошли кабаки разбивать... Охъ, батюшки, зачѣмъ же вы зеркало-то такъ положили, вѣдь разобьется!—закричала матушка, прерывая свой разсказъ и бросаясь къ возамъ.

— Позвольте-ка, я вамъ помогу,—сказалъ Холодецъ, и, засучивъ рукава, схватился за зеркало.

— Уголъ затлѣлся!—крикнулъ съ крыши работникъ.—Поддавай, поддавай, братцы! Еще ведерко!

Матушка съ плачемъ бросила зеркало и выбѣжала опять за ворота.

Вдругъ откуда-то появилась винокурша, вся растрепанная, запыхавшаяся и, сверхъ обыкновенія, безъ ридикюля и безъ Любаши.

— Что тамъ дѣлается-то, батюшки мои!—объявила она, задыхаясь.—Все ломаютъ, бьютъ, въ огонь бросаютъ! Долгоуховскій домъ весь разграбили!.. Самъ Долгоуховъ съ женой насилу уѣхалъ... Батюшки, что же это такое?! Всѣ разбѣжались! А ужъ этотъ засѣдателишко мнѣ,—такой негодный мужиченко! Я жаловаться буду! Я до самого наказнаго дойду!.. Я ихъ на весь міръ оскандалю!..

— Пойдемте отсюда!—шепнула Ксаня Ивану Охримовичу, и они, оставивъ винокуршу изрыгать посреди улицы проклятія на голову несчастнаго засѣдателя, пошли дальше.

— Барабанъ! Чистый барабанъ!—сказалъ Холодецъ. — Въ ушахъ такъ и трещитъ...

Въ это время до нихъ совершенно ясно долетѣли слова

бурлацкой пѣсни и дружное уханье, сопровождаемое хохотомъ. Пѣніе это слышалось изъ густой толпы, сгрудившейся передъ двухъ-этажнымъ домомъ, изъ-подъ крыши котораго кое-гдѣ уже то показывались, то прятались лукавые, предательскіе, огненные язычки. Холодецъ съ Ксаней протолкались съ трудомъ впередъ и остановились. Изъ отворенныхъ оконъ верхняго этажа дома летѣли стулья, диваны, шкафы, зеркала и съ трескомъ разбивались объ землю подъ дружный припѣвъ: „Эй, ухнемъ!“ Холодецъ сначала не понялъ, въ чемъ дѣло, и рѣшилъ вмѣшаться.

— Что̀ вы дѣлаете!—закричалъ онъ, выступая впередъ.— Вѣдь вы этакъ всѣ вещи перепортите! Выносить, выносить надо!

— Вотъ еще, выносить! — насмѣшливо сказалъ около него дюжій парень въ лаптяхъ и въ грязной рубахѣ безъ пояса.

— Тьфу, анаѳемы! — выругался Холодецъ, но Ксаня потянула его за рукавъ, и онъ прикусилъ языкъ.

— Получай, братцы!—крикнулъ кто-то изъ окна, и вслѣдъ затѣмъ на улицу полетѣлъ столъ и съ грохотомъ разсыпался въ щепки.

— Батюшки мои, да вѣдь это Цибелева аптека!—шепнулъ Холодецъ Ксанѣ.—Глядите-ка, вывѣска валяется, и бутыли побиты... Ну, я вамъ скажу, тутъ будетъ катавасія, когда бензинъ загорится. Не улизнуть ли намъ съ вами потихесеньку?

Ксаня отрицательно покачала головой и придвинулась еще ближе.—Въ окнѣ показался здоровенный мужикъ съ добродушнымъ лицомъ и съ громадной русой бородой во всю грудь.

— А это куда, братцы? — спросилъ онъ, показывая толпѣ какую-то шкатулочку и ясно улыбаясь.—Чево-й-то такое, и не пойму,—ящичекъ съ ручкой...

— Это органъ!—закричалъ дюжій парень. — Съ музыкой!.. Ты верти ручкой-то, онъ тебѣ и заиграетъ!..

— Ишь ты!—съ удовольствіемъ сказалъ добродушный мужикъ, приближая органчикъ къ уху.—Знатно! Это, стало быть, для забавы! Штучка занятная. Что̀ же теперича съ ней дѣлать?

— Вали въ кучу, послѣ разберемъ!—крикнулъ распоясанный парень.

— Бѣдный жидюга!—пробормоталъ Холодецъ. — Хоть я и сердитъ на него за то, что онъ разъ чуть, было, не отправилъ меня къ Богу въ рай своими пургативами, а жалко его мнѣ.

Вдругъ до него донеслись какіе-то странные, хриповатые звуки, показавшіеся ему знакомыми. Онъ обернулся и увидѣлъ давешняго хохла изъ Гоголевской повѣсти. Хохолъ былъ такъ же пьянъ и доволенъ, и длинныя усищи его болтались попрежнему,

и тотъ же кожухъ небрежно висѣлъ на одномъ плечѣ. Среди бурнаго настроенія взволнованной толпы онъ одинъ сохранялъ полнѣйшее спокойствіе, какъ будто все происходящее вокругъ ничуть его не касалось, и съ самымъ безмятежнымъ видомъ, пошатываясь и притопывая сапогами, напѣвалъ одну и ту же безсмысленную пѣсню:

„А ко мнѣ Яківъ прыходывъ,
Коробочку раківъ прыносывъ"!..

Холодецъ не могъ удержаться отъ улыбки.

— Ну, братъ, какіе теперь раки! — сказалъ онъ, махнувъ рукою.—Тутъ, братъ, не до раковъ, когда насъ съ тобой самихъ, того и гляди, живьемъ испекутъ...

А разгромъ съ хохотомъ, пѣніемъ и шутками шелъ своимъ порядкомъ. На сцену появилась огромная перина,—необходимая принадлежность всякаго зажиточнаго еврейскаго семейства,—и была немедленно растерзана въ клочки. За периной послѣдовали подушки, которыя толпа, забавляясь, начала перебрасывать съ рукъ на руки, пока онѣ тоже не превратились въ лохмотья. Пухъ и перья летали кругомъ, точно огненныя бабочки; Холодецъ весь кипѣлъ отъ негодованія и нѣсколько разъ порывался броситься на защиту уничтожаемаго имущества, но прикосновеніе къ завѣтному карману возвращало ему благоразуміе, и онъ ограничивался только тѣмъ, что бормоталъ про себя ругательства.

Между тѣмъ, веселые огоньки, игравшіе подъ крышей, становились все смѣлѣе и многочисленнѣе, и вдругъ, вырвавшись на свободу, слились всѣ вмѣстѣ и огненнымъ вѣнцомъ опоясали крышу. Послышался трескъ лопающихся стеколъ; густой дымъ повалилъ изъ оконъ, и цѣлый дождь искръ разсыпался надъ толпой. Толпа отшатнулась въ сторону.

— Ребята, выходи скорѣе, кто живъ! — крикнулъ распоясанный парень тѣмъ, кто еще оставался въ домѣ.

Люди, одинъ за другимъ, выбѣгали изъ подъѣзда. Добродушный мужикъ, весь закопченный, потный, но такъ же ясно улыбающійся, выскочилъ послѣднимъ и, вытирая подоломъ рубахи потъ и сажу съ лица, присоединился къ товарищамъ. Толпа притихла и съ любопытствомъ наблюдала, какъ занимался домъ.

— Ловко садитъ!—сказалъ добродушный мужикъ.—Ишь ты, ишь ты, желѣзо-то на крышѣ какъ кбрёжится! Здòрово горитъ!

— Люминація!—съострилъ кто-то.—Теперь, небось, тепло купцамъ-то.

— Ничего, пущай погрѣются.

Вдругъ въ одномъ изъ оконъ пылающаго дома показалась какая-то фигура и пронзительно закричала. Толпа дрогнула.

— Робя, человѣкъ въ домѣ!..—пронеслось надъ ней.

— Ишь, жарко стало, онъ и объявился!—сказалъ дюжій парень со смѣхомъ. Но его шутка на этотъ разъ не встрѣтила ничьего сочувствія.

Фигура продолжала вопить, простирая впередъ руки.

— Баба!..—сказалъ добродушный мужикъ и принялся засучивать рукава.—Пойтить вытащить.

— Не трожь! Пущай ее!—остановилъ его парень.

— Не... не годится. Чай, человѣкъ, а не кошка...

И, перекрестившись, мужикъ съ такою же ясною улыбкою, какъ и давеча, когда онъ помогалъ ломать вещи, отправился въ огонь вытаскивать бабу.

Всѣ замерли въ ожиданіи. Фигура скрылась, и огромные клубы дыма вырвались изъ всѣхъ оконъ и наполнили воздухъ нестерпимымъ жаромъ. На мгновеніе все кругомъ заволокло удушливою, смрадною мглою; но когда дымъ нѣсколько разсѣялся, толпа увидѣла мужика, спокойно тащившаго на плечахъ барахтавшуюся женщину. Его встрѣтили единодушнымъ и восторженымъ „ура“!

— Ишь ты, еще корячится!—сказалъ добродушный мужикъ, опуская свою ношу на землю.—Ядовитая, братцы, какая: я ее волоку, а она меня по башкѣ кулаками молотитъ. Рубаху вотъ только никакъ спалилъ изъ-за нея.

Онъ сталъ осматривать свою прожженную рубаху.

Холодецъ пришелъ въ такое восхищеніе отъ подвига добродушнаго мужика, что, позабывъ о своемъ негодованіи, бросился къ нему и началъ его благодарить.

— Вотъ спасибо! Вотъ это такъ спасибо! Хоть и москаль, а молодецъ. Ей Богу же молодецъ... Дай мнѣ твою руку! Я непремѣнно хочу пожать твою благородную руку...

Мужикъ, занятый больше своей испорченной рубахой, ничего не понималъ и во всѣ глаза смотрѣлъ на Холодца.

— Да чего тебѣ? Вотъ привязался... И чудакъ же!—съ удивленіемъ говорилъ онъ и снова погрузился въ разсматриваніе своей рубахи.—Эхъ, шутъ-те возьми, весь задъ спалилъ... Жалко! Вѣдь и рубаха-то совсѣмъ новенькая была...

— Дайте ему денегъ...—возбужденно шепнула Ксаня Холодцу.

Энтузіазмъ Холодца разомъ остылъ.

— Да у меня мелкихъ нѣтъ,—нерѣшительно сказалъ онъ, шаря по карманамъ.

— Ну, крупныя дайте... Я вамъ завтра отдамъ!—настаивала Ксаня съ нетерпѣніемъ.

Холодецъ долго рылся въ нѣдрахъ своего обширнаго пиджака, наконецъ добылъ рублевую бумажку, предварительно осмотрѣлъ ее со всѣхъ сторонъ и потомъ уже протянулъ мужику.

— На́ тебѣ, возьми... на рубаху.

Мужикъ окончательно пришелъ въ недоумѣніе.

— Да на кой это мнѣ? Вотъ чудакъ-человѣкъ!... Чего ты ко мнѣ присталъ?

Холодецъ продолжалъ совать ему въ руку бумажку; мужикъ не бралъ. Неизвѣстно, чѣмъ бы кончилась эта сцена, но въ эту минуту крыша дома съ оглушительнымъ трескомъ провалилась, и исполинскій огненный фонтанъ поднялся къ небу, обсыпавъ толпу горящими головнями, и въ то же время надъ толпою, какъ дуновеніе бури, пронесся чей-то крикъ: „Казаки, казаки!..“ Народъ заволновался и шумнымъ потокомъ ринулся въ другую сторону отъ догорающихъ развалинъ аптеки, а Холодецъ и Ксаня, потерявъ изъ виду добродушнаго мужика, побѣжали къ церкви, съ которой все еще неслись безпорядочные звуки набата.

XLVII.

Наташа возвратилась домой одна и съ непріятнымъ, щемящимъ чувствомъ вошла въ опустѣвшія комнаты. Весь домъ какъ будто вымеръ, но вездѣ горѣли лампы, и этотъ яркій свѣтъ среди пустоты и безмолвія, и разбросанныя всюду въ безпорядкѣ вещи, не взятыя при поспѣшномъ отъѣздѣ, производили странное и жуткое впечатлѣніе. Наташа обошла всѣ комнаты, заглянула въ корридоръ,—никого; всѣ были на дворѣ и смотрѣли на пожаръ. Она не могла больше выносить этого гнетущаго одиночества и пустоты и пошла къ дверямъ, но на порогѣ столкнулась съ Степаномъ, и оба остановились въ смущеніи, не глядя другъ на друга.

— Скажите...—началъ, наконецъ, Степанъ страннымъ, какъ будто чужимъ голосомъ.—Вы, кажется, туда ѣздили... что̀ такое тамъ случилось?

Наташа не успѣла отвѣтить, потому что въ передней послышались голоса, и въ залу шумно вошелъ Максимъ Григорьевичъ. Наташа взглянула на него и удивилась; она никогда не

видала его такимъ. Онъ былъ разстроенъ и разсерженъ; брови его были сердито сдвинуты, и добродушное лицо пылало гнѣвомъ.

— Что̀ случилось?—заговорилъ онъ, поймавъ послѣднія слова Степана.—Случилось то, чего вы такъ добиваетесь... Ступайте туда, полюбуйтесь на вашихъ мужичковъ въ роли революціонеровъ!

— Ну, до революціи-то, я думаю, еще далеко,—съ угрюмой усмѣшкой сказалъ Степанъ.—Это вы со страху говорите, а у страха, извѣстно, глаза велики. Какая тамъ революція? Цѣловальниковъ, что-ли, бьютъ?

— А вотъ вы подите, посмотрите!—съ раздраженіемъ крикнулъ Максимъ Григорьевичъ, перебивая его.—Можетъ, оно еще и далеко до революціи, да и дай Богъ, чтобы ея и совсѣмъ не было, этой вашей проклятой революціи, а все-таки вамъ слѣдовало бы поглядѣть, какая-такая она бываетъ. Кто чорта зоветъ, тотъ нехай съ нимъ и водится, а вѣдь вы тутъ все накликали: бунтъ-бунтъ... вотъ вамъ теперь и бунтъ!..

— Ну, ужъ это я знаю, что̀ дальше будетъ!—пренебрежительно сказалъ Степанъ. — Насъ еще въ гимназіи учили, что „страшенъ русскій бунтъ, безсмысленный и безпощадный"... Точно бываетъ какой-то другой бунтъ—благоразумный и благоприличный. Всякій бунтъ безпощаденъ, и французская жакерія такъ же страшна, какъ и русская пугачевщина. Но дѣло не въ томъ... и я, конечно, понимаю ваше раздраженіе, Максимъ Григорьевичъ,—насмѣшливо продолжалъ Степанъ.—Въ васъ задѣты теперь чувства собственника, который привыкъ спокойно класть къ себѣ въ карманъ прибавочную стоимость, какъ нѣчто, принадлежащее ему по праву, и вдругъ приходитъ человѣкъ, запускаетъ лапу въ вашъ кошелекъ и говоритъ: „Нѣтъ, братъ, подай сюда, это—мое!" Непріятное положеніе, чортъ возьми!

— А какія въ васъ чувства говорятъ, хотѣлъ бы я знать?—закричалъ, весь побагровѣвшій, Максимъ Григорьевичъ.—Вы что̀ за люди такіе и кто васъ надо всѣми поставилъ, чтобы судить? Можетъ быть, мы и плохо дѣлаемъ, да все-таки дѣлаемъ, а вотъ вы такъ ничего не дѣлаете,—блукàете по свѣту, да дурней мутите отъ бездѣлья. Эхъ, заставилъ бы я васъ землю копать, чтобы вы знали, какъ рабочему человѣку хлѣбъ достается,—можетъ быть, тогда вы и не полѣзли бы съ лапой въ чужой карманъ, и не посылали дурней чужое добро жечь!..

Степанъ, продолжая презрительно улыбаться, хотѣлъ-было что-то возразить расходившемуся Максиму Григорьевичу, но На-

таша, желая предупредить готовую разгорѣться ссору, поспѣшила его перебить.

— Максимъ Григорьевичъ,—сказала она.—Ради Бога, скажите,—гдѣ Ксаня?

— А чортъ ее знаетъ!—отвѣчалъ Максимъ Григорьевичъ, и ушелъ къ себѣ, сильно хлопнувъ дверью.

Наташа и Степанъ снова остались одни, и снова ими овладѣло смущеніе. Оба они думали о давешней сценѣ передъ обѣдней и въ то же время старались показать, что совершенно о ней забыли... А между тѣмъ оба хорошо знали, что забыть этого нельзя.

— Максимъ Григорьевичъ очень разстроенъ,—заговорила Наташа, какъ бы желая оправдать передъ Степаномъ раздражительный тонъ Максима Григорьевича.—Онъ очень безпокоится за Ксаню... она убѣжала на пожаръ и не вернулась... а тамъ, говорятъ, Богъ знаетъ что̀ дѣлается.

— Ну, это пустяки, — возразилъ Степанъ.—Конечно, она вернется, и не въ этомъ дѣло. Максимъ Григорьевичъ—пропріетѐръ, а пропріетѐръ не можетъ не волноваться, когда посягаютъ на его карманы. Вы слышали, онъ даже о святости труда заговорилъ, и меня землю рыть посылаетъ,—съ усмѣшкой добавилъ онъ.—Люди, которые живутъ чужимъ трудомъ, ужасно любятъ говорить о необходимости труда... все равно, какъ развратники всегда бываютъ ханжами и постоянно ссылаются на Священное Писаніе. Вы замѣтили это?—спросилъ онъ, и такъ какъ Наташа ничего не отвѣчала,—онъ продолжалъ съ искусственнымъ оживленіемъ.—Когда я учился въ гимназіи, я жилъ на квартирѣ у одной очень почтенной дамы. Эта дама имѣла весьма приличное наслѣдственное состояніе, жила въ собственномъ хорошенькомъ домикѣ, съ хорошенькимъ садикомъ и навѣрное во всю свою жизнь палецъ о палецъ никогда не ударила. Такъ вотъ она цѣлый день, бывало, сидитъ въ мягкомъ креслѣ съ жирной кошкой на колѣняхъ, сама такая же жирная и сытая, какъ кошка, пьетъ кофе съ жирными сливками, жуетъ какіе-то особенные пряники и толкуетъ, что всякій человѣкъ долженъ работать. Чуть, бывало, увидитъ, что горничная присѣла отдохнуть, сейчасъ же распекать: „Ты что же это, матушка, ничего не дѣлаешь? Трудись, трудись, Богъ труды любитъ!..“ Пробѣжитъ мимо нея мальчишка верхомъ на палочкѣ,—она и его остановитъ: „Охъ, голубчикъ, ты все играешь, а уроки-то, небось, не выучилъ? Работать, работать надо“... Отчитаетъ и опять за кофеекъ примется...

— Максимъ Григорьевичъ не такой,—сказала Наташа.

— Всѣ они такіе... А впрочемъ, не будемъ объ этомъ спорить. Разскажите, чтò же вы видѣли въ Лазоревой?

— Мы ничего не видѣли,—мы далеко были. Отчего вы не пошли туда?

— Зачѣмъ? Чтобы меня потомъ разные благонамѣренные Максимы Григорьевичи въ поджигательствѣ обвинили?

— Какъ это зло сказано!—съ упрекомъ вымолвила Наташа.—Максимъ Григорьевичъ никогда этого не сдѣлаетъ!

— А вы слышали, чтò онъ здѣсь говорилъ? Насчетъ дурней, которыхъ кто-то посылаетъ чужое добро жечь?

— А развѣ это не правда? Развѣ вы не хотите этого?..—едва слышно проговорила Наташа, чувствуя, что у нея горло перехватываетъ отъ подступающихъ слезъ.

Степанъ бросилъ на нее быстрый взглядъ и, увидѣвъ передъ собою блѣдное лицо съ полными слезъ глазами, вздрогнулъ и опустилъ голову.

— Я уже говорилъ съ вами объ этомъ...—стараясь казаться спокойнымъ, произнесъ онъ. — Я ничего не хочу поджигать, и разрушеніе кабаковъ и трактировъ вовсе не входитъ въ мои планы. Это дѣлается само собою; повторяю вамъ,—капиталисты—самые лучшіе революціонеры, потому что капиталъ производитъ нищихъ, а въ толпѣ нищихъ всегда кроются элементы безпорядка и разрушенія... Стало быть, съ этой стороны намъ безпокоиться нечего: они—снизу; мы—сверху... А то, чтò происходитъ въ Лазоревой теперь,—это еще только зарницы... гроза будетъ впереди...

Наташа больше не могла сдерживаться и, закрывъ лицо руками, выбѣжала на балконъ. Послѣ нѣкотораго колебанія, Степанъ послѣдовалъ за нею. Онъ нашелъ Наташу въ самомъ темномъ уголку балкона; она сидѣла, обхвативъ голову руками, и плечи ея слегка вздрагивали.

— Наталья Гавриловна...—сказалъ Степанъ, подходя къ ней.—Зачѣмъ вы... Зачѣмъ мы съ вами лжемъ, какъ авгуры?.. Я не хочу больше притворяться и разыгрывать изъ себя картоннаго героя, какъ давеча утромъ... Простите меня... я страшно виноватъ передъ вами...

Наташа молчала. Степанъ глядѣлъ на ея склоненную голову, на эти волнистые русые локоны, о которыхъ онъ такъ страстно мечталъ и въ одиночествѣ и тишинѣ своего флигеля, и блуждая по шумнымъ дорогамъ, базарамъ и хуторамъ, гдѣ онъ надѣялся зрѣлищемъ чужого горя заглушить свою любовь... Голова его

кружилась. Вотъ она, вотъ, передъ нимъ, такъ близко,—и, не владѣя больше собою, Степанъ взялъ ее за голову и поднялъ къ себѣ ея залитое слезами лицо. Трепетавшее въ небѣ зарево пожара бросало на это блѣдное лицо красноватый отблескъ, и въ этомъ фантастическомъ освѣщеніи оно казалось какимъ-то страннымъ, новымъ, и все-таки необыкновенно прекраснымъ и милымъ.

— Простите же!..—повторилъ Степанъ, лаская и гладя ее по головѣ, какъ маленькаго ребенка.

— За что мнѣ васъ прощать?—прошептала Наташа.—Вы не виноваты... вы не можете быть другимъ... Не можете—и не хотите...

— Но я васъ люблю... я васъ люблю...—сказалъ Степанъ, опускаясь передъ ней на колѣни и стискивая ея руки въ своихъ пылающихъ рукахъ.—Скажите же, что̀ мнѣ съ этимъ дѣлать? Я схожу съ ума... я измучился! Когда васъ не было,—все казалось мнѣ такъ просто и ясно, а теперь я не знаю... я сбился съ своей дороги и теряю вѣру въ себя... Вернуться назадъ я не могу,—жизнь моя уже отдана; но и потерять васъ... теперь, когда я узналъ, что вы меня полюбили... ахъ, вы не знаете, что̀ я чувствую теперь! Я васъ люблю и ненавижу, какъ злѣйшаго врага... Вы меня унизили и растоптали... и вы же заставили меня пережить такія минуты, за которыя я готовъ на васъ молиться. И я молюсь, молюсь,—вы видите? Я никогда ни у кого, кромѣ своей матери, не цѣловалъ рукъ, а у васъ цѣлую... и ползаю передъ вами, какъ презрѣнный червь... Вотъ до чего вы меня довели!..

— Пустите меня...—вымолвила Наташа, пытаясь отнять у него свои руки, которыя онъ жарко цѣловалъ.

— Нѣтъ, постойте... Теперь ужъ все равно... и это въ первый и въ послѣдній разъ. Завтра, можетъ быть, все уже будетъ кончено... всѣ пути отрѣзаны...

— Какіе пути? Что̀ вы хотите дѣлать?—съ дрожью въ голосѣ спросила Наташа.

— Зачѣмъ вамъ это знать? Вѣдь вы со мною не пойдете...

— А еслибы... еслибы я васъ не пустила?

— Ну... я убилъ бы себя тогда.

Наташа взглянула въ его преобразившееся лицо, печальное и нѣжное, въ его трагическіе глаза, свѣтившіеся теперь не ненавистью, а любовью, и съ внезапною рѣшимостью обняла его голову и прижала къ своей груди. Такъ пробыли они нѣсколько минутъ... такіе счастливые и въ то же время несчастные, такіе

близкіе—и далекіе... А мрачное зарево пожара все еще дрожало надъ ихъ головами, точно громадный погребальный факелъ, освѣщавшій передъ ними ихъ печальное будущее.

Первая пришла въ себя Наташа и, освободившись изъ объятій Степана, встала.

— Ахъ, зачѣмъ это, зачѣмъ?—проговорила она съ тоской, схватываясь за голову.—Какіе мы жалкіе, какіе несчастные люди!..

Степанъ смотрѣлъ на нее глазами человѣка, только-что пробудившагося отъ сладкаго сна. Послѣднія слова ея заставили его вздрогнуть.

— Да, да...—сказалъ онъ съ горечью.—Да... я—жалкій человѣкъ... Все это сонъ былъ... два раза одинъ и тотъ же страшный сонъ... Помните—курганъ?..

Онъ не договорилъ и быстро сталъ спускаться съ балкона. На послѣдней ступенькѣ онъ споткнулся и чуть, было, не упалъ; сильно зашелестѣли задѣтые имъ кусты сирени, и затѣмъ все смолкло.

Зарево надъ станицей начало блѣднѣть, а на востокѣ уже занималась золотисто-зеленая заря.

XLVIII.

Всю ночь на Червономъ хуторѣ никто не ложился спать; всю ночь въ домѣ горѣли огни,—Ксаня не возвращалась. Максимъ Григорьевичъ, мрачный, какъ туча, нѣсколько разъ выходилъ въ залу, подходилъ то къ одному окну, то къ другому, прислушивался къ каждому ночному шороху,—и уходилъ опять къ себѣ, еще болѣе мрачный, чѣмъ былъ.

Наконецъ, часовъ уже въ десять утра, когда Олимпіада съ Мидасомъ протащили нѣсколько разъ подогрѣвавшійся самоваръ,—къ крыльцу со скрипомъ немазанныхъ колесъ подъѣхала крестьянская полуфурка, запряженная парой въ дышло, и изъ нея вылѣзли Холодецъ и Ксаня, оба измятые, грязные, пропитанные копотью и дымомъ, съ красными, припухшими отъ безсонной ночи вѣками. Максимъ Григорьевичъ бросился къ нимъ на встрѣчу и, увидѣвъ Ксаню, забылъ, что онъ на нее сердитъ и что собирался страшно ее распечь.

— Оксанко!.. любая моя!—закричалъ онъ, подхватывая ее на руки и поднимая, какъ ребенка.—Ну жъ ты меня перелякала, ну же и злился я на тебя, Боже мой!.. Бить хотѣлъ,—а

что̀ ты думаешь?.. И побью, и побью... ласточка моя, дурная моя жинка, рыбка моя золотая...

И онъ мялъ и тискалъ ее въ своихъ могучихъ рукахъ, осыпая въ то же время тысячью и ругательныхъ, и ласкательныхъ словъ, смѣясь и чуть не плача отъ прилива бурной радости.

Но Ксаня не отвѣчала на его восторги. Она тихо отстранила его отъ себя и, взглянувъ на него страннымъ, точно не видящимъ взглядомъ, сказала спокойно:

— Постой, Макся... Надо же намъ сначала умыться и переодѣться. Я пойду къ Наташѣ, а ты возьми Ивана Охримовича въ нашу спальню и дай ему что-нибудь чистое. Ему пиджакъ разорвали.

Максимъ Григорьевичъ подбѣжалъ къ Холодцу и громко расхохотался. Бѣдный Иванъ Охримовичъ, дѣйствительно, имѣлъ самый жалкій видъ. Бѣлая фуражка его превратилась въ грязную лепешку, которая печально обвисла вокругъ его круглой головы; одна штанина его полотняныхъ шароваръ была до колѣна выпачкана въ грязи, вслѣдствіе чего казалось, что Холодецъ стоитъ на одной ногѣ; наконецъ, пиджакъ былъ располосованъ на спинѣ сверху до низу, и въ образовавшуюся прорѣху выглядывали какія-то тесемки. Одинъ завѣтный карманъ сохранился въ полной неприкосновенности, судя по той заботливости, съ которою Холодецъ продолжалъ его ощупывать.

— А ну, ну, пане-добродію, дайте на себя подивиться!— съ хохотомъ говорилъ Максимъ Григорьевичъ, отводя Холодца отъ стѣны, къ которой онъ такъ и прилипъ, не желая показывать изъяны своего туалета.—Эге, друже, гдѣ это васъ такъ расписали? Хиба жъ вы были у тѣхъ чортівъ на болотѣ, або що?

— А тее... какъ оно...—бормоталъ сконфуженный Холодецъ, упираясь.—Анаѳемскіе козаки... того... бунтарей усмиряли, ну, и того... и въ насъ трошки попало...

Максимъ Григорьевичъ потащилъ его въ спальню, а Ксаня прошла въ Наташину комнату.

Наташа, совсѣмъ одѣтая, лежала на диванѣ съ книгой, но не читала, и безучастнымъ взглядомъ встрѣтила Ксаню.

— Ну, Наташка!..—воскликнула Ксаня, подбѣгая къ ней.— Ахъ, еслибы ты видѣла!.. Это было что-то ужасное, необыкновенное... Ахъ, я никогда этого не забуду, никогда... Главное, что̀ меня поразило,—смѣлость и рѣшительность. Знаешь, Наташа, я теперь поняла народъ... я прежде презирала народъ, а теперь преклоняюсь передъ нимъ. Когда онъ захочетъ, онъ ничего не боится... и, главное, Наташа, онъ совершенно не

боится смерти! О, какіе мы всѣ трусы передъ нимъ!.. Мы вѣчно трясемся надъ каждымъ своимъ волоскомъ и изъ трусости готовы на все. А они... Тамъ былъ одинъ мужикъ... Нѣтъ, Наташа, вотъ у кого мы должны учиться!..

Съ этими безсвязными словами Ксаня расхаживала по комнатѣ, возбужденно размахивая руками, съ пылающимъ лицомъ и лихорадочно блестѣвшими глазами. Но такъ какъ Наташа молчала, не выказывая никакого интереса къ тому, чтò она говорила, то Ксаня вдругъ умолкла и взглянула на подругу.

— Ты меня не слушаешь, Наташка? Чтò съ тобой?

— Мы не спали всю ночь,—равнодушно сказала Наташа.

— Въ самомъ дѣлѣ! А впрочемъ, чтò за бѣда не поспать одну ночь? Ничего; только голова немного кружится, и все такъ въ туманѣ, въ туманѣ... Даже пріятно!

— Максимъ Григорьевичъ страшно безпокоился!

— Макся?.. Ну, онъ всегда безпокоится... онъ даже не спитъ ночь, если нѣтъ дождя, или рабочіе не пришли вò-время, или еще тамъ что-нибудь не ладится въ хозяйствѣ... (Ксаня засмѣялась, и въ ея смѣхѣ почувствовалось что-то нехорошее, прозвучала какая-то злая нотка).—И чтò за чепуха—дрожать надъ каждымъ моимъ шагомъ, точно я несовершеннолѣтняя какая-нибудь? Это даже обидно... я терпѣть этого не могу!

— Но мало ли чтò могло случиться съ тобой? Ты побѣжала въ самую свалку; тебя могли затоптать, ушибить...

— А можетъ быть, я этого хотѣла?!—перебила ее Ксаня запальчиво, останавливаясь передъ ней и сверкая глазами.—Можетъ быть, я шла для того, чтобы умереть? И никому нѣтъ до этого дѣла, и могу я, наконецъ, сама собой распоряжаться...

„Какъ они похожи другъ на друга, какъ похожи!“—подумала Наташа, съ болью въ сердцѣ вспомнивъ Степана.—„Они *хотятъ*—и больше ничего имъ не нужно, и прочь съ дороги все, чтò имъ мѣшаетъ... А страдаетъ ли кто-нибудь при этомъ—все равно,—даже это нужно, потому что страданіе возвышаетъ, молъ, душу и возноситъ ее надъ пошлостью обыденной жизни... Жестокая теорія, жестокіе люди!..“

Между тѣмъ, Холодецъ, уже умытый, вычищенный и облеченный въ костюмъ Максима Григорьевича, сидѣлъ за чайнымъ столомъ и разсказывалъ о событіяхъ ночи и обо всемъ, чтò ему удалось узнать отъ другихъ. Дѣло началось съ простой драки между пришлыми рабочими, громадное большинство которыхъ осталось безъ работы и причину своей неудачи объясняло тѣмъ, что ихъ болѣе счастливые товарищи черезчуръ сбили цѣну на

руку купцамъ. Сначала рабочіе ограничивались взаимными упреками и ругательствами; потомъ кто-то кому-то далъ по уху, и этотъ первый ударъ былъ сигналомъ къ общему разгрому. Послышались крики: „бей купцовъ!"; враждующія партіи рабочихъ соединились, и толпа устремилась къ трактирамъ, которые давно уже раздражали голодныхъ „косарей" своимъ наглымъ весельемъ. Кто первый поджёгъ, да и былъ ли вообще поджогъ—неизвѣстно; всего вѣрнѣе, что поджигать никто не имѣлъ намѣренія, а загорѣлось какъ-нибудь само собою; косари же, возбужденные видомъ пожара, уже продолжали дѣло разрушенія, начатое такъ успѣшно, и дальше. Ярмарочная полиція явилась-было на мѣсто дѣйствія для водворенія порядка, но, увидѣвъ численное превосходство непріятеля, поспѣшила скрыться; станичный атаманъ, праздновавшій въ этотъ день свои именины, былъ, по мѣстному выраженію, „мертвый", т.-е. пьянъ, и его насилу разыскали гдѣ-то на сѣновалѣ, а засѣдатель, тоже бывшій гдѣ-то на именинахъ, явился только къ утру, когда спасать было уже нечего и оставалось только арестовывать бунтовщиковъ. Пожаръ былъ прекращенъ самими казаками, которые, видя, что огонь уже начинаетъ перекидываться на ихъ дома, рѣшили принять собственныя мѣры для спасенія своего имущества. Они гурьбой привалили въ станичное управленіе, разбудили сладко спавшаго атамана, разыскали попрятавшихся со страху полицейскихъ и, организовавъ пожарную команду, ринулись на площадь, прямо въ бушевавшую толпу. Ихъ стремительный натискъ, съ плетями, съ пожарными насосами, съ неистовымъ гиканьемъ и свистомъ, произвелъ на бунтующихъ впечатлѣніе, и они ударились въ разсыпную, давя и опрокидывая другъ друга подъ отрезвляющими ударами нагаекъ и холодною струею воды изъ пожарныхъ трубъ.

— Ну, и что̀ же тутъ было, я вамъ скажу!—закончилъ Холодецъ.—Баталія, настоящая баталія,—бѣжимъ, кричимъ, а зачѣмъ бѣжимъ и кричимъ,—и чортъ его батька знаетъ. А козаки, бисовы дѣти, такъ по головамъ нагайками и хлещутъ, только и слышно: жж!.. жж!.. Тутъ и намъ съ Оксаной Павловной попало...

— Да зачѣмъ вы туда пошли? Ну, чего вамъ тамъ надо было?—спрашивалъ Максимъ Григорьевичъ, къ которому теперь, когда его „жинка" была дома и внѣ опасности, вернулась вся его прежняя веселость,—онъ хохоталъ до упаду надъ разсказами Холодца.

— И чортъ меня надалъ,—я самъ не знаю, зачѣмъ,—въ не-

доумѣніи отвѣчалъ Холодецъ.—Я до чорта любопытный: какъ гдѣ что,—такъ меня и потягне. У меня мать-покойница такая была: гдѣ пожаръ, гдѣ драка,—она ужъ тамъ; ну и мнѣ отъ нея передалось. Трусишься весь, какъ собака, а лѣзешь, чтобы хоть однимъ глазомъ глянуть, что тамъ такое... Ну, вотъ тебѣ и глянулъ: свитку всю порвали, нагайками накормили, водой облили... Да это еще что,—еще слава Богу, что не забрали и въ кутокъ не засадили вмѣсто бунтовщика.

— Жалко, что не засадили, было бъ вамъ не лѣзть,—смѣясь, сказалъ Максимъ Григорьевичъ.—Вотъ и мою Оксанку слѣдовало бы поучить,—прибавилъ онъ на встрѣчу входившей Ксанѣ.

— За что?—спросила Ксаня, занимая свое мѣсто за столомъ.

— А не бунтуй! Можетъ, и ты тамъ поджигала, да грабила?

— Тамъ никто не грабилъ,—рѣзко возразила Ксаня.

— А вѣрно!—подтвердилъ Холодецъ.—Ломали и жгли, это правда, и богато всякаго добра пожгли и поломали. Но чтобы воровать,—этого мы не видали, нѣтъ... Такой ужъ глупый народъ, эти москали!

— Ну, и много же ихъ позабрали?

— Да кто же ихъ знаетъ! Писаря видѣлъ,—говоритъ, человѣкъ двадцать сидитъ, а можетъ—и больше.

— Егора нашего тоже взяли,—сказала Ксаня.

— Какого Егора?—съ изумленіемъ спросилъ Максимъ Григорьевичъ.

— Пчелинца.

— Не можетъ быть?—воскликнулъ съ безпокойствомъ Максимъ Григорьевичъ.—Вотъ чортова дытына!..

— А вѣрно!—подтвердилъ опять Холодецъ.—Мы сами видѣли. Мы ѣдемъ сюда, а ихъ ведутъ. И вашъ этотъ пчелинецъ идетъ,—нахмурился, какъ быкъ, и по рожѣ видно, что кабы ему въ руки да хорошій ножъ,—такъ бы онъ всѣхъ и перерѣзалъ...

Максимъ Григорьевичъ всталъ и съ волненіемъ зашагалъ по балкону.

— Вотъ чортова дытына!—повторилъ онъ сердито.—Теперь пойдетъ возня съ полиціей, допросы и всякая дрянь, которой я терпѣть не могу... А тутъ какъ разъ рабочая пора, уборка хлѣба,—до чорта некогда... Чтобы они всѣ поиздыхали, всѣ эти бунтари!

Опасенія Максима Григорьевича оправдались весьма скоро. Вечеромъ къ крыльцу подкатила бричка, запряженная тройкой взмыленныхъ лошадей съ бубенцами, и изъ нея вылѣзъ засѣда-

тель. Онъ имѣлъ такой же смиренный видъ, какъ и тогда, на обѣдѣ у Прилукиныхъ, и вошелъ въ домъ съ виноватой улыбкой, чувствуя, что его пріѣздъ не можетъ доставить хозяевамъ никакого удовольствія. Русскій обыватель, несмотря на свою благонамѣренность и несклонность ко всякаго рода фрондерству (а можетъ быть именно поэтому), ужасно боится имѣть дѣло съ полиціей, и видъ полицейскаго жгута всегда приводитъ его въ то состояніе, которое Щедринъ называлъ „трепетомъ".

— Ну вотъ!—проворчалъ Холодецъ, увидѣвъ засѣдателя.—Гдѣ рòги, тамъ и хвостъ; только чорта помянули, а чортъ ужъ и лѣзетъ!

— Чтò дѣлать, служба!—сказалъ засѣдатель, пожимая плечами и съ тою же виноватою улыбкой со всѣми раскланиваясь.

— Ну чтò, Акимъ Герасимовичъ, какъ у васъ тамъ, въ станицѣ?—спросилъ Максимъ Григорьевичъ, приглашая засѣдателя къ чайному столу.

— Ничего, теперь утихло. Пожаръ затушили.

— Много погорѣло?

— Да вся ярмарка сгорѣла. У Долгоухова трактиръ сгорѣлъ до основанія; аптека сгорѣла; церковная сторожка тоже. Церковь отстояли. Батюшка нашъ молодецъ,—не отходилъ отъ церкви. Ему кричатъ: „Батюшка, вашъ домъ горитъ!"—А онъ: „Пусть горитъ, а я храмъ Божій не оставлю". Ну ничего, слава Богу, и церковь отстояли, и дома у него все благополучно. Богъ помиловалъ. Но убытки громадные.

— Развѣ ничего не было застраховано?

— Да домà-то, конечно, застрахованы, а вотъ прочее имущество то,—мебель, товары,—все это погибло. Много поломали, пограбили.

— Ну, ужъ это вы врете, Акимъ Герасимовичъ!—вмѣшался Холодецъ.—Никто не грабилъ, я самъ видѣлъ. Все ломали и бросали въ огонь, а грабить не грабили.

— А цыгане-то? Они тутъ подъ шумокъ ловко поживились. И вѣдь какія шельмы: до-свѣту снялись и ушли неизвѣстно куда. Говорятъ, полны возы всякаго добра везли.

— Ну, ужъ это вы сами виноваты, господа начальники!—возразилъ Холодецъ.—Помните, я давно вамъ говорилъ, что у насъ неспокойно,—вы себѣ и въ усъ не дули. Атаманъ-то прочухался, что-ли?

Засѣдатель улыбнулся и опять пожалъ плечами.

— Чтò дѣлать? Мы тоже люди...—сказалъ онъ.

— А что же, и вѣрно!—согласился Холодецъ.—За это жъ

мы васъ и любимъ. Насъ много, а васъ, можетъ быть, одинъ на тысячу,—хиба за всѣми усмотришь? А и то надо сказать,—купцы дуже народъ прижимали. Волъ—скотина сильная, а коли его все гнать, да гнать, то онъ и подохнетъ. Такъ оно и съ народомъ. Купцы же на это не смотрятъ; имъ бы только въ кишени было полно, а тамъ хоть подыхай всѣ,—это имъ чортъма̀! Э, не люблю я это Иродово племя!

— У Чекманаева хуторъ сгорѣлъ,—сказалъ засѣдатель.

— Какъ, и у него тоже?

— До тла! Все сгорѣло,—домъ, постройки, кошары, бойня. Ну, только тутъ совсѣмъ особенная исторія,—съ таинственнымъ видомъ прибавилъ засѣдатель.

— А что̀ такое?

— Говорятъ, ихъ супруга подожгла,—понизивъ голосъ, сказалъ засѣдатель.—Ихніе люди сказывали. Она у нихъ, говорятъ, въ бѣлой горячкѣ была, ну и сидѣла взаперти. А тутъ, по случаю праздника, всѣ разбрелись, кто—куда, самого дома не было, она, будто бы, изъ окна и выскочила. Руки себѣ изрѣзала, вся въ крови была, и поймали ее уже въ степи,—верховой насилу догналъ. Привезли ее домой, а тамъ уже все въ огнѣ, и она, будто бы, радовалась и кричала: „Все пожгу, камня на камнѣ не оставлю!“ Можетъ быть, и врутъ: сами людишки подъ пьяную руку подожгли, да на нее сваливаютъ.

— А Чекманаевъ что̀?

— Да ему что̀,—у него все застраховано.—Я, говоритъ, теперь еще лучше хуторъ построю! Ныньче же въ Москву уѣхалъ и супругу съ собой повезъ,—лечить, что-ли, хочетъ.

— Вылечишь теперь,—проворчалъ Холодецъ.—Еще придушитъ гдѣ-нибудь по дорогѣ, да скажетъ, что сама повѣсилась. Это—такая анаѳемская бестія, я вамъ скажу, не дай Богъ! Можетъ, и хуторъ-то самъ поджогъ, чтобы страховку получить.

Засѣдатель покосился на него и промолчалъ. Онъ зналъ, что Холодецъ былъ непримиримымъ врагомъ Чекманаева за то, что тотъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, по его собственному выраженію, „накрылъ“ его тысячи на полторы при продажѣ хлѣба.

— Ну, и много же вы бунтарей наловили?—спросилъ Максимъ Григорьевичъ, желая поскорѣе узнать, зачѣмъ собственно пріѣхалъ къ нему засѣдатель.

— Нѣтъ, всего человѣкъ пятнадцать. Да кого и ловить—неизвѣстно,—они всѣ отпираются. Тамъ кое-кого допрашивали,—ничего не добьешься. Всѣ, говорятъ, бунтовали. Ну, и взяли, кого попало.

— Правосудіе!—проворчалъ Холодецъ.—Небось, Чекманаева въ Москву отпустили, потому что милліонщикъ, а голодранцевъ разныхъ понасажали.

— Нельзя же, надо острастку сдѣлать, — съ улыбкой сказалъ засѣдатель. — Кромѣ того, на троихъ тамъ сильныя подозрѣнія имѣются.

— Кто же это такіе?

— Да тамъ паренекъ одинъ...—началъ-было засѣдатель.

Холодецъ быстро переглянулся съ Ксаней и воскликнулъ:

— Это здоровый такой? Высокій?

— А вы его видѣли?—съ живостью спросилъ засѣдатель.

Холодецъ струсилъ.

— Э... нѣтъ! — замялся онъ. — Ничего я не видѣлъ... не тее... это не тотъ. Я про другого говорю... тамъ на пожарѣ одинъ жидовку изъ огня вытащилъ...

— Ну, вотъ-вотъ, этотъ самый! — продолжалъ засѣдатель, извлекая поспѣшно изъ кармана записную книжечку.—Про него говорили, что онъ тамъ спасъ кого-то... при пожарѣ аптеки. Здоровый... борода этакая... Вы ужъ позвольте записать, Иванъ Охримовичъ... для памяти!..

— Э, чортъ меня надалъ!.. — весь багровый пробормоталъ Холодецъ.—Какъ бисъ въ вершу, такъ и я... Нѣтъ, ужъ вы не записывайте, Акимъ Герасимовичъ,—чего тамъ записывать? Вовсе нечего записывать, да я и не видалъ ничего. Другіе говорили, и я говорю... а видать—не видалъ...

Засѣдатель съ сожалѣніемъ спряталъ книжечку обратно и продолжалъ:

— Ну, а другой,—старикъ, хохолъ...

— И хохолъ тоже?..—воскликнулъ Холодецъ—и прикусилъ языкъ.

Засѣдатель засмѣялся, но книжечки вынимать уже не сталъ.

— А чтò, вы и хохла не знаете, не видали?—спросилъ онъ.

— Ей Богу же, не видалъ...—покрутилъ головою Холодецъ и, нѣжно потрепавъ засѣдателя по плечу, прибавилъ:—Э, Акимъ Герасимовичъ, любый мой, чего тамъ еще сосѣдей по допросамъ тягать? Вы вотъ лучше пріѣзжайте ко мнѣ на хуторъ,—я васъ такой запеканкой угощу, что у васъ очи на лобъ вылѣзутъ—ей Богу, правда!

Засѣдатель въ знакъ согласія расшаркался подъ столомъ и, принявъ уже серьезный видъ, обратился къ Максиму Григорьевичу.

— А я, Максимъ Григорьевичъ, ужъ извините... за справочкой къ вамъ. Позвольте два слова сказать вамъ наединѣ.

— Съ удовольствіемъ, — поморщившись, сказалъ Максимъ Григорьевичъ.—Пойдемте ко мнѣ...

XLIX.

— Позвольте спросить, — у васъ проживалъ тульскій крестьянинъ, Егоръ Петровъ?—спросилъ засѣдатель, когда они пришли въ кабинетъ Максима Григорьевича.

— У меня.

— Паспортъ его у васъ? Позвольте взглянуть... Дѣло, видите ли, вотъ въ чемъ,—принимая оффиціальный тонъ, продолжалъ засѣдатель. — Этотъ человѣкъ, именующій себя Егоромъ Петровымъ, замѣченъ въ подстрекательствѣ народа къ бунту и въ возмутительныхъ рѣчахъ, которыя онъ произносилъ на площади во время пожара. Кромѣ того, имѣется подозрѣніе, что онъ вовсе не то лицо, за которое онъ себя выдаетъ...

— То-есть, какъ же это?—смущенно проговорилъ Максимъ Григорьевичъ.

— А такъ-съ. Имѣются данныя, что онъ — бѣглый поселенецъ изъ Сибири, и паспортъ этотъ принадлежитъ не ему. Да вы не безпокойтесь,—на васъ это никоимъ образомъ не можетъ падать. Тутъ у насъ сторона такая, что каждый день съ безпаспортными дѣло имѣть приходится. На то и „вольный тихій Донъ"!—улыбаясь, съострилъ засѣдатель.

Но Максиму Григорьевичу было не до остротъ. Онъ досталъ паспортъ Егора и подалъ его засѣдателю. Тотъ внимательно осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ, прикинулъ даже на свѣтъ и спряталъ въ карманъ.

— Ужъ я его съ собой возьму, Максимъ Григорьевичъ. А вы не извольте безпокоиться, — дѣло-то, можетъ быть, и обойдется какъ-нибудь.

— А, чортъ его батька! — съ досадой сказалъ Максимъ Григорьевичъ. — Ну, а самъ-то онъ чтò? Говоритъ что-нибудь? Сознается?

— Ничего не говоритъ. Но держитъ себя до возмутительности дерзко. На вопросы не отвѣчаетъ, или загибаетъ такіе крендели, что такъ бы, кажется... (Засѣдатель сдѣлалъ какой-то странный жестъ, но сейчасъ же спохватился).—Словомъ, мерзавецъ, должно быть, отъявленный, по всему видно.

— Не знаю. Онъ у меня тихо жилъ и ни въ чемъ не былъ замѣченъ. Угрюмый былъ, правда, но грубить никогда не грубилъ.

Засѣдатель молчалъ и видимо чего-то мялся. Наконецъ, послѣ нѣкотораго колебанія, онъ рѣшился.

— Вотъ еще одинъ вопросецъ, Максимъ Григорьевичъ...— началъ онъ съ особенно ласковой улыбкой.—Вы ужъ извините... Касательно проживающаго у васъ (онъ заглянулъ въ записную книжечку)... Степана Павловича Коржова... Вѣдь они, кажется, братецъ вашей супруги? И у васъ на порукахъ? Ну, вотъ-вотъ... Осмѣлюсь спросить, они въ настоящее время не въ отлучкѣ?

— Нѣтъ, онъ здѣсь, — нахмурившись, отвѣчалъ Максимъ Григорьевичъ.

— Такъ-съ... А могу я ихъ видѣть?

— Отчего же?—сказалъ Максимъ Григорьевичъ и, позвавъ Мидаса, велѣлъ ему пригласить Степана въ домъ.

— Вотъ видите, дѣло какого рода,—таинственно заговорилъ засѣдатель.—Мнѣ нужно удостовѣриться, что они не въ отлучкѣ, и взять съ нихъ росписочку о невыѣздѣ до окончанія дѣла.

— Да вѣдь онъ и такъ не имѣетъ права уѣзжать безъ разрѣшенія?

— Нельзя, это для порядка требуется.

— А развѣ онъ тоже въ чемъ-нибудь подозрѣвается?

— Да нѣтъ, сущіе пустяки... т.-е., я, пожалуй, скажу, но подъ строжайшимъ, Максимъ Григорьевичъ, секретомъ! Сами знаете, служба: мы сами каждую минуту рискуемъ... Дѣло такого рода, что идетъ разговоръ, будто этотъ самый господинъ... Коржовъ имѣлъ вліяніе на этого самаго Егора Петрова, т.-е., не вліяніе, а просто видали ихъ, что-ли, вмѣстѣ... Ну, такъ вотъ росписочка и требуется на тотъ случай, если понадобится господина Коржова вызвать въ качествѣ свидѣтеля. Больше ничего. Но подъ секретомъ, подъ секретомъ, любезнѣйшій Максимъ Григорьевичъ!..

Пришелъ Степанъ. Онъ, повидимому, нисколько не удивился требованію засѣдателя и спокойно подписалъ бумагу, предъявленную ему Акимомъ Герасимовичемъ. Получивъ „бумажку“, засѣдатель сейчасъ же уѣхалъ,—даже отъ чаю отказался, ссылаясь на множество хлопотъ...

— Ну, вотъ такъ заварили кашу! — сердито сказалъ Максимъ Григорьевичъ, возвращаясь на балконъ.

— Что̀ такое?—спросили всѣ въ одинъ голосъ.

— А то, что твоего братца подозрѣваютъ тоже въ бунтарствѣ... Росписку взяли о невыѣздѣ, свидѣтелемъ будутъ вызывать

Наташа поблѣднѣла.

— Но почему же? — спросила она, едва сдерживая свое волненіе.—На какомъ основаніи могутъ его подозрѣвать?

— А я почемъ знаю. Ужъ эти крючки ко всему прицѣпятся. Говорятъ, онъ на Егора нашего какое-то вліяніе имѣлъ,— продолжалъ Максимъ Григорьевичъ, совершенно позабывъ, что выдаетъ строжайшій секретъ. — А Егоръ будто и не Егоръ, а кто-то другой, и чортъ ихъ разберетъ, кто кого деретъ! Теперь пойдетъ катавасія. Вотъ тебѣ и человѣчество, и всякія возвышенности! Какое, чортъ, человѣчество, когда тутъ пшеницу убирать нужно?!

— А хохолъ-то мой? — уныло проговорилъ Холодецъ.—За чтò человѣка взяли, подумаешь! Выпилъ себѣ, плясалъ, пѣсни пѣлъ, и вдругъ такъ, ни за что, въ Сибирь, пожалуй, пойдетъ. Вотъ тебѣ и раки!.. Нѣтъ, не къ добру я вчера атамана во снѣ скушалъ. Это ужъ у меня всегда такъ: какъ увижу во снѣ начальство,—ну, значитъ, будетъ пакость...

Наташа встала и вышла въ садъ. Дойдя до скамьи, гдѣ она когда-то разговаривала со Степаномъ, Наташа почти упала на нее и, ломая руки, дала волю своимъ чувствамъ. Сообщеніе Максима Григорьевича страшно ее поразило, хотя въ немъ не было ничего неожиданнаго. Вѣдь она уже знала теперь намѣренія Степана и знала, къ чему ведетъ избранный имъ страшный путь... Но до сихъ поръ обо всемъ этомъ только говорилось, все это было еще тамъ гдѣ-то, въ далекомъ будущемъ... И вотъ это будущее уже здѣсь, на порогѣ, и надъ головою Степана занесена грозная рука. „Безумный, безумный, чтó онъ дѣлаетъ?“—шептала Наташа, стискивая и ломая свои пальцы, чтобы заглушить нестерпимую сердечную боль.— „Вѣдь онъ губитъ себя... и меня также—и для чего? Для несбыточной мечты... и какой ужасной мечты! О, какъ я ненавижу тѣхъ, кто его вовлекъ въ это дѣло... Я не могу этого оставить такъ. Неужели я для того только и встрѣтила его, для того и полюбила, чтобы его у меня отняли? Ахъ, Степанъ, Степанъ!..“

Она представила его себѣ такимъ, какимъ онъ вчера стоялъ передъ нею на колѣняхъ,—побѣжденнымъ любовью, смирившимся, съ нѣжностью въ суровыхъ глазахъ, съ просвѣтлѣвшимъ лицомъ... и въ сердцѣ ея вспыхнула надежда. Если онъ, такой гордый и непреклонный, не устоялъ вчера передъ ея слезами, то неужели устоитъ теперь? О, она готова на все...

Наташа рѣшительно встала и пошла къ Степану, выбирая самыя глухія дорожки, чтобы ни съ кѣмъ не встрѣтиться. Вѣтки хлестали ее по лицу и рвали ея платье; молодой мѣсяцъ таин-

ственно и нѣжно заглядывалъ ей въ лицо сквозь серебристое облачко, таявшее въ блѣдномъ вечернемъ небѣ,—она ничего не замѣчала. Только когда она вышла изъ темноты сада на просторъ, и голубая зарница блеснула ей въ глаза,—Наташа вздрогнула, и ноги ея задрожали. „Ахъ, зарницы, зарницы!“ — прошептала она безсознательно.—„Вотъ онѣ опять... Ну, все равно, все равно“...

Она торопливо вбѣжала на крыльцо флигеля и постучала въ дверь. Степанъ сидѣлъ у стола и писалъ; услышавъ стукъ, онъ вздрогнулъ, быстро набросилъ на бумагу газетный листъ и, потрогавъ себя за боковой карманъ, гдѣ у него всегда лежалъ заряженный револьверъ, подошелъ къ двери.

— Кто тамъ?—спросилъ онъ.

— Это я... Отворите, Степанъ Павловичъ...

Степанъ весь похолодѣлъ. Еслибы случилось то, чего онъ постоянно ждалъ,—обыскъ, арестъ, все равно,—онъ не взволновался бы такъ, какъ теперь, когда у его дверей стояла полюбившая его дѣвушка. „Зачѣмъ это, зачѣмъ?“ — подумалъ онъ, трясущимися руками снимая съ петли крючокъ.

Наташа вошла и остановилась у порога. Она не была здѣсь съ тѣхъ поръ, какъ дежурила у больного Степана, и воспоминанія той странной ночи съ необычайной яркостью воскресли въ ея головѣ. Вѣдь *тогда* собственно все и началось... и еслибы не было той ночи,—можетъ быть, и ничего бы не было. И гроза... и курганъ... и зарницы... Какъ все это странно, и какъ непохоже на то, что было въ Петербургѣ, когда-то давно, давно...

— Я вамъ помѣшала?—заговорила Наташа, не отходя отъ двери.

— Да... нѣтъ... ничего,—сказалъ Степанъ,—перебирая на столѣ бумаги и дѣлая видъ, какъ будто онъ очень этимъ занятъ.

— Какъ давно я здѣсь не была... у васъ!—съ глубокимъ вздохомъ вымолвила Наташа и снова оглядѣлась вокругъ.—Вы помните *ту* ночь, Степанъ Павловичъ?

— Да... помню.

Наташа подошла къ нему, положила обѣ руки ему на плечи и заглянула въ его опущенные глаза.

— *Все* помните?—спросила она серьезно.

Степанъ отвернулся, и Наташа слышала, какъ билось его сердце и какъ дрожали его плечи подъ ея руками.

— Къ чему это, Наталья Гавриловна?..—съ усиліемъ вымолвилъ онъ.—Вы сами сказали вчера:—зачѣмъ?.. Ну, и не надо...

Не мучьте меня!—уже тверже сказалъ онъ и взглянулъ на нее печальнымъ и строгимъ взглядомъ.

Этотъ взглядъ смутилъ Наташу. Она приняла свои руки и сѣла у стола; сознаніе дѣйствительности на мгновеніе вернулось къ ней. „Боже мой, что̀ я дѣлаю?“—промелькнуло у нея въ головѣ.

— Я хотѣла васъ спросить...—начала она, стараясь овладѣть собою:—Максимъ Григорьевичъ говорилъ, что васъ хотятъ привлечь къ этому дѣлу... о поджогѣ. Это серьезно?

— Ерунда.

— Но почему же тогда подписка о невыѣздѣ?

— Не знаю. Вѣроятно, здѣшніе охранители надѣются увѣнчать себя лаврами, пристегнувъ меня къ разрушенію кабаковъ и трактировъ, и изъ простого буйства желаютъ создать громкое политическое дѣло.

— Но вѣдь это ужасно!

— Не ужасно, а непріятно. Эта глупая исторія можетъ мнѣ помѣшать... Но во всякомъ случаѣ я приму мѣры, чтобы избѣжать этого.

— Какія мѣры?

Степанъ молчалъ. Наташа взглянула на его похудѣвшее лицо съ темными тѣнями на вискахъ, и безуміе снова отуманило ея голову.

— Вы... хотите уѣхать?—воскликнула она, быстро вставая, и своимъ порывистымъ движеніемъ сбросила на полъ груду бумагъ.

Степанъ бросился подбирать ихъ и, положивъ на столъ, озабоченно сталъ искать между ними чего-то.

— Вы уѣзжаете, да?—настойчиво повторила Наташа.

— Да, уѣзжаю, — нéхотя отвѣчалъ Степанъ, продолжая рыться въ бумагахъ.

— Куда, куда?

— Не знаю... Можетъ быть, въ Петербургъ.

— Но вѣдь вы не можете... вамъ нельзя.

Степанъ усмѣхнулся.

— Да, нельзя... Степану Павловичу. А какому-нибудь Павлу Степановичу можно.

Наташа смотрѣла на него съ ужасомъ и отчаяніемъ. Итакъ, онъ уходитъ отъ нея навсегда... и черезъ мгновеніе, можетъ быть, между ними будетъ лежать пропасть, переступить которую будетъ невозможно. Вотъ теперь онъ еще стоитъ передъ ней такъ близко, и она могла бы удержать его отъ страшнаго шага, а завтра... завтра будетъ уже поздно.

Между тѣмъ Степанъ нашелъ, наконецъ, то, что̀ искалъ, и, бережно расправивъ скомканную бумажку, хотѣлъ положить ее въ карманъ. Но Наташа, слѣдившая за каждымъ его движеніемъ, не дала ему этого сдѣлать, и бумажка очутилась въ ея рукахъ. Это было шифрованное письмо.

— Шифръ...—проговорила она.—Это... то, что̀ разъединяетъ насъ съ вами... навсегда?

— Отдайте мнѣ, Наталья Гавриловна!—сказалъ Степанъ неспокойно, протягивая къ ней руку.

— Я не хочу... Зачѣмъ вамъ это?—крикнула Наташа.

— Отдайте...—съ возростающимъ безпокойствомъ просилъ Степанъ, подозрительно взглядывая на окна и дверь.—Вы знаете, за мною могутъ слѣдить... Вы губите меня, Наталья Гавриловна!

— Я васъ спасти хочу... Я хочу, чтобы вы остались здѣсь...

— И чтобы меня связали по рукамъ и ногамъ и лишили возможности дѣйствовать?—съ горькой усмѣшкой добавилъ Степанъ.—Спасибо...

Онъ бросился къ ней и хотѣлъ схватить ее за руку, чтобы отнять у нея записку.

Но Наташа, подбѣжавъ къ столу, поднесла бумажку къ лампѣ. Бумажка вспыхнула, взвилась надъ стекломъ и тонкимъ пепломъ разсыпалась по столу. Степанъ съ облегченіемъ вздохнулъ.

— Ну... все равно...—проговорилъ онъ, и безпокойство на его лицѣ смѣнилось выраженіемъ страшной усталости. Онъ вдругъ какъ-то ослабѣлъ и тяжело опустился на стулъ, склонивъ голову на руки.

— Вы... остаетесь?—шопотомъ спросила Наташа.

Онъ взглянулъ на нее страннымъ, чужимъ, какъ будто мертвымъ взглядомъ, и Наташѣ вдругъ вспомнилась ея покойная мать. Вотъ такъ же смотрѣла она на нее, когда умирала и съ каждой минутой уходила все дальше и дальше... пока не ушла совсѣмъ. Наташа поняла, что и Степанъ уходитъ отъ нея, и съ страстнымъ порывомъ она припала къ его плечу.

— Милый, милый...—шептала она, какъ въ бреду.—Ахъ, все это такъ ужасно!.. Мракъ, мракъ... и смерть... Зачѣмъ? Для чего? Какая безсмысленная и безполезная жертва,—никому не нужная и такая ужасная!..

— Безсмысленная и безполезная...—повторилъ Степанъ.—Ну, это мы посмотримъ...

— Да, да, безсмысленная!—продолжала Наташа, задыхаясь.—Ну, чѣмъ же мнѣ васъ убѣдить? Какъ остановить?—скажите!

Ну... возьмите меня, возьмите всю мою жизнь... развѣ вамъ мало этого?

Степанъ осторожно отстранилъ ее отъ себя и всталъ.

— Наталья Гавриловна, вы пользуетесь моей слабостью,— сказалъ онъ глухо.—Это... невеликодушно. Вѣдь вы не пойдете со мною туда, куда я иду... въ этотъ „мракъ", какъ вы говорите?..

— Я хочу, чтобы *вы* шли со мною...

— Ну, такъ и нечего тянуть эту канитель...—съ рѣзкимъ смѣхомъ прервалъ ее Степанъ.—Мы съ вами точно журавль и цапля въ сказкѣ... Это становится смѣшно!

Наташа, не говоря ни слова, выбѣжала изъ комнаты.

L.

Вернувшись домой послѣ объясненія съ Наташей, Прилукинъ заперся у себя въ комнатѣ и сталъ припоминать все, что̀ произошло на сажалкѣ, весь разговоръ съ Наташей и свои жалкія слова передъ ней. Мучительный стыдъ за свое малодушіе, сознаніе позора и собственной подлости грызли его слабую душу. Дурной поступокъ, когда онъ становится извѣстенъ и другимъ, кажется еще чернѣе и гаже, и Прилукинъ, хотя и раньше сознавалъ всю недостойность своего поведенія по отношенію къ Ксанѣ и ея мужу,—теперь, когда объ этомъ знала и Наташа, совсѣмъ упалъ духомъ. Самоубійство казалось ему единственнымъ и неизбѣжнымъ исходомъ изъ его положенія, и, какъ всѣ слабые люди, боящіеся борьбы, онъ видѣлъ въ этомъ исходѣ то, чего особенно ему хотѣлось, — покой и забвеніе. Скорѣе уйти, забыть, ни о чемъ не думать, ничего не предпринимать,— какъ это хорошо и какъ легко сдѣлать! Прилукинъ досталъ револьверъ, осмотрѣлъ его, зарядилъ и сѣлъ къ столу привести въ порядокъ свои бумаги. Но разсѣянныя мысли мѣшали ему сосредоточиться, и онъ хватался то за одно, то за другое, находилъ то, что̀ ему было ненужно, и терялъ нужное и важное, начиналъ писать письма къ отцу и рвалъ ихъ на клочки, находя то черезчуръ пошлыми и приторно-сентиментальными, то лживыми и пустыми. Какъ человѣкъ, привыкшій больше жить воображеніемъ, чѣмъ дѣйствіемъ, онъ теперь именно, когда отъ него и требовалось дѣйствіе, совершенно растерялся и запутался въ самыхъ досаднѣйшихъ подготовительныхъ мелочахъ, необходимыхъ при окончательномъ разсчетѣ съ жизнью. Въ во-

ображеніи все выходило такъ просто и хорошо: написалъ письмо, взялъ револьверъ, пустилъ себѣ пулю въ лобъ—и конецъ. Но на дѣлѣ оказывалось вовсе не такъ просто: уходя изъ жизни, нужно было подумать о тѣхъ, которые остаются, а покончить съ собою такъ, сразу, — онъ еще не дошелъ до той степени отчаянія, когда люди уже не размышляютъ ни о чемъ и съ размаху бросаются въ прорубь или объ стѣну головой—только бы поскорѣе... Смущенный, разстроенный сидѣлъ Александръ Рафаиловичъ за столомъ и тупо глядѣлъ на приготовленный револьверъ. „Нѣтъ, ничего не буду писать имъ!“—подумалъ онъ.— „Все равно, имъ отъ этого не будетъ ни лучше, ни хуже“... Онъ взялъ револьверъ, приложилъ къ виску и вздрогнулъ отъ инстинктивнаго ужаса передъ самоуничтоженіемъ. А досадныя мысли о житейскихъ мелочахъ, о запущенныхъ дѣлахъ по имѣнію, жужжали въ мозгу, какъ мухи, и оковывали его волю. Онъ вспомнилъ о долгахъ, которые, съ его смертью, останутся никогда невыплаченными, представилъ себѣ горе и безпомощность отца и матери,—этихъ старыхъ дѣтей,—жалость къ нимъ больно сжала его сердце, и револьверъ выпалъ у него изъ рукъ. „И такъ подло, и этакъ подло“,—подумалъ онъ съ тоской.— „Что̀ же дѣлать?..“ И уставшій, измученный, съ презрѣніемъ и отвращеніемъ къ самому себѣ и къ своей позорной слабости, онъ бросился на кровать—и сейчасъ же заснулъ, какъ убитый.

Было уже поздно, когда онъ проснулся отъ стука въ дверь его комнаты. Maman-Прилукина находилась въ какомъ-то затрудненіи и взывала къ нему, настойчиво стуча въ дверь. Прилукинъ быстро вскочилъ и отворилъ дверь. Въ комнату вошла Дора Алексѣевна, негодующая и разобиженная.

— Что̀ это, Александръ?—начала она, оглядываясь.—Какъ это нехорошо съ твоей стороны... Я стою у двери уже полчаса, стучу-стучу, и... Ахъ, mon Dieu, что̀ это такое?.. Ахъ, воды, воды...—Она зашаталась и чуть, было, не упала, но Прилукинъ успѣлъ ее подхватить и посадилъ на стулъ.

— Что̀ съ вами, maman? Что̀ такое?—растерянно твердилъ онъ, ничего не понимая спросонья.

Maman не отвѣчала, закинувъ голову на спинку стула и закативъ глаза. Прилукинъ испугался и побѣжалъ за Элизой. Принесли воды и стали брызгать въ лицо Дорѣ Алексѣевнѣ; Элиза рыдала у ея ногъ; папа̀-Прилукинъ, привлеченный шумомъ, покинулъ свои мемуары, и тоже съ испугомъ заглядывалъ въ дверь.

Холодная вода привела Дору Алексѣевну въ чувство. Она открыла глаза и стала рыдать.

— Maman, да что же такое случилось?—съ безпокойствомъ спрашивалъ Прилукинъ.

Она только стонала въ отвѣтъ и указывала на что-то пальцемъ.

— Это... это...—выговорила она наконецъ съ усиліемъ.—Зачѣмъ у тебя... это?

Прилукинъ взглянулъ на столъ и увидѣлъ забытый имъ револьверъ. Краска бросилась ему въ лицо. „И этого не съумѣлъ сдѣлать!“—подумалъ онъ.

Дора Алексѣевна продолжала рыдать; Элиза, увидѣвъ смертоносное оружіе, тоже подняла крикъ; папà-Прилукинъ за дверями громко сморкался и вздыхалъ. Пришлось снова прибѣгнуть къ холодной водѣ и туалетному уксусу, острый запахъ котораго наполнилъ весь домъ. Рыдающую Дору Алексѣевну отвели въ спальню, раздѣли и уложили въ постель, но она долго не могла успокоиться. Ея романтическое воображеніе рисовало ей всякіе ужасы, и она ни за что не хотѣла отпустить отъ себя сына.

— Не отходи, не отходи отъ меня, Александръ!.. Ахъ, какъ это ужасно!.. Что ты хотѣлъ сдѣлать? Зачѣмъ у тебя эта вещь... я даже не могу назвать ее... Александръ, ты хотѣлъ застрѣлиться, несчастный?!

— Ты хотѣлъ застрѣлиться, Саша?!—вторила ей Элиза.

Сконфуженный и обозленный на себя и на нихъ, Прилукинъ изнемогалъ въ этой уксусной атмосферѣ.

— Боже мой, maman, да съ чего вы это взяли?—съ досадой говорилъ онъ.—Неужели нельзя держать револьвера?.. Ну, револьверъ и револьверъ; у всякаго порядочнаго человѣка бываетъ револьверъ, и никто не дѣлаетъ изъ этого драмы. Что такое револьверъ?

— Ахъ, не называй, этого пожалуйста!—стонала Дора Алексѣевна, затыкая уши.—Я слышать не могу... я вся дрожу при одномъ названіи... Что ты хотѣлъ дѣлать съ этимъ?

— Да ничего... ну, чистилъ, заряжалъ... вотъ и все, и ничего больше.

— Но ты меня не пускалъ... Я стучалась-стучалась, — и вдругъ... Ахъ, я точно предчувствовала!.. И еслибы я не пришла... Ахъ, Саша, Саша!..

— Негодный, противный Сашка! — кричала Элиза. — Сознайся, что ты хотѣлъ застрѣлиться!.. И навѣрное отъ несчастной любви?

Прилукинъ, наконецъ, не выдержалъ этой пытки и пошелъ къ двери. Но Элиза бросилась за нимъ и повисла у него на шеѣ.

— Сашечка, милый, отдай намъ револьверъ!—просила она.

— Да, да, отдай сейчасъ же, заклинаю тебя именемъ Бога!— торжественно взывала maman, простирая къ нему руки такъ, какъ это дѣлали въ романахъ ея любимыя героини.—Сейчасъ же, на моихъ глазахъ, вынь изъ него пули и отдай!..

Драма превращалась въ забавный фарсъ... Дѣлать было нечего, и Прилукинъ покорился. Онъ разрядилъ револьверъ и отдалъ его Элизѣ, которая, осторожно держа его за кончикъ на аршинъ отъ себя и въ душѣ воображая, что она теперь „ужасная“ героиня, отнесла его къ матери.

— Вотъ, maman, возьми и спрячь его къ себѣ въ шифоньерку А ключъ я сама спрячу, такъ что онъ его не найдетъ.

— И поклянись мнѣ, Александръ, передъ образомъ, что ты никогда, никогда больше не посягнешь на свою жизнь. Слышишь,—торжественно поклянись!

— Да, да, Саша, поклянись!..

Прилукинъ, сгорая отъ стыда, клялся. Послѣ этого maman-Прилукина успокоилась совсѣмъ и снова залилась слезами, но уже не бурными, а тихими и сладкими.

— Ахъ, и подумать даже страшно... Не войди я,—ты, можетъ быть, уже лежалъ бы съ раздробленнымъ черепомъ, какъ этотъ несчастный виконтъ де-Мармонтель... Гадкій, гадкій мальчикъ!

— Гадкій, противный Саша!—повторила Элиза.

Этотъ дѣтскій лепетъ довелъ, наконецъ, Прилукина до изступленія, и, возвратясь къ себѣ въ комнату, онъ чувствовалъ себя такъ, какъ будто бы только-что побывалъ въ какомъ-нибудь застѣнкѣ, на дыбѣ или что-нибудь въ этомъ родѣ. „Несчастныя, жалкія созданія!“ —думалъ онъ съ жалостью и отвращеніемъ. —„Ну, что̀ стали бы они всѣ дѣлать безъ меня? Оставить ихъ, никому не нужныхъ, ни на что неспособныхъ, однихъ среди Чекманаевыхъ... подло, подло... И жить подло, и умереть подло,— вотъ положеніе!“

Но спустя нѣсколько дней, когда первыя острыя впечатлѣнія притупились, и жизнь Прилучья потекла обычнымъ порядкомъ, Александръ Рафаиловичъ пассивно отдался ея теченію, какъ будто бы ничего и не случилось. Онъ такъ же, какъ и прежде, занимался хозяйствомъ, ѣздилъ по утрамъ въ поле, бесѣдовалъ съ приказчиками и старостами и штопалъ многочисленныя дыры на своемъ хозяйствѣ. Послѣ обѣда, вечеромъ, они играли съ Элизой въ четыре руки, гуляли по саду, затѣмъ ужинали и расходились по своимъ комнатамъ. Только когда Прилукинъ оста-

вался одинъ, манящій образъ Ксани вставалъ передъ нимъ во всей своей чарующей прелести, и воспоминанія объ ея ласкахъ, о таинственныхъ свиданіяхъ въ тѣни деревьевъ надъ прудомъ зажигали въ немъ кровь. Въ эти минуты все существо его возмущалось отъ мысли, что онъ навсегда можетъ потерять Ксаню, и Прилукинъ готовъ былъ опять бѣжать на сажалку, прокрадываться, какъ воръ, между деревьями, постыдно дрожать и прятаться,—только бы еще разъ увидѣть ея смѣющіяся губки, ея огненные глаза и черныя косы, которыми она опутала его, какъ цѣпями. Пусть позоръ, пусть преступленіе, только бы опять ея любовь, за которую можно отдать все! „И зачѣмъ явилась эта добродѣтельная дѣва?"—съ раздраженіемъ и почти ненавистью думалъ Прилукинъ о Наташѣ. „Кто просилъ ее вмѣшиваться въ чужую жизнь и брать на себя роль строгаго судьи чужихъ поступковъ?" Но вспомнивъ сцену, разыгравшуюся на сажалкѣ, и свое униженіе, онъ снова смирялся, каялся и проклиналъ свое малодушіе и слабость.

Такъ проходили дни. Съ Червонаго хутора не было никакихъ вѣстей, и Прилукинъ не зналъ, что̀ съ Ксаней, какъ она живетъ теперь, что̀ думаетъ дѣлать. „Неужели все кончено?"—говорилъ онъ самому себѣ, и иногда эта мысль приносила ему облегченіе. Душа его замирала въ мертвомъ спокойствіи, и все, что̀ было,—сажалка, свиданія, поцѣлуи, любовь,—все это казалось страннымъ и далекимъ сномъ.

Но когда, на третій день послѣ пожара въ Лазоревой, въ Прилучье заѣхалъ Холодецъ и сказалъ, что онъ только-что отъ Червоныхъ,—Прилукинъ весь закипѣлъ и загорѣлся. Онъ готовъ былъ расцѣловать Холодца въ его толстыя, масляныя губы, которыя, можетъ быть, недавно еще разговаривали съ Ксаней, и въ ребяческомъ восторгѣ не зналъ, куда его посадить и чѣмъ угостить. Хитрый хохолъ даже подумалъ про себя: „эге!"—и схватился за боковой карманъ, въ полной увѣренности, что Прилукинъ намѣренъ занять у него денегъ. Но Прилукинъ денегъ у него не занялъ, а, усѣвшись противъ него, съ блестящими глазами, съ краской на щекахъ, сталъ разспрашивать обо всемъ, что̀ происходило на хуторѣ. Узнавъ, что Ксаня была съ Холодцомъ на пожарѣ въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, что ее толкали, обливали водой, что разъ даже она упала, сбитая съ ногъ какимъ-то остервенившимся казакомъ, Прилукинъ взволновался чуть не до слезъ и принужденъ былъ на минуту уйти къ себѣ, чтобы успокоиться. „Милая, она тоже смерти искала!"—подумалъ онъ съ нѣжностью и восторгомъ.—„И я хотѣлъ ее забыть, хотѣлъ отка-

заться отъ ея любви!.. Никогда, ни за что, пусть хоть тысяча добродѣтельныхъ дѣвъ станетъ между нами!“

LI.

Холодецъ уѣхалъ изъ Прилучья поздно вечеромъ, выпивъ громадное количество своей любимой сливянки и оглушивъ всѣхъ разговорами до того, что у Доры Алексѣевны разболѣлась голова. Проводивъ его, Александръ Рафаиловичъ ушелъ въ свою комнату въ крайне возбужденномъ и приподнятомъ настроеніи. Тысячи плановъ роились въ его мозгу, и опять все казалось ему такъ легко и просто. Онъ сейчасъ же напишетъ Максиму Григорьевичу письмо, въ которомъ разскажетъ все и будетъ требовать развода. Максимъ Григорьевичъ такъ добръ и благороденъ, что, разумѣется, согласится на все, и тогда, тогда... Но что̀ будетъ тогда—Прилукинъ и представить себѣ не могъ, задыхаясь отъ счастья. Голова его кружилась, онъ шатался, какъ пьяный, и нѣсколько разъ подходилъ къ окну, чтобы освѣжить свою пылающую голову. Ночь, вся пронизанная луннымъ свѣтомъ, была раздражающе прекрасна. Изъ сада вѣялъ слабый запахъ левкоевъ и резеды, и чьи-то страстные вздохи доносились изъ темной чащи деревьевъ. Хуторъ спалъ, и бѣлыя хаты сверкали въ лунномъ сіяніи точно серебряныя, а высокія раины казались сплетенными изъ тончайшихъ кружевъ. „Такая ночь создана для любви“,—подумалъ Прилукинъ, и ему вспомнился разсказъ Гюи де-Мопассана: „Лунная ночь“. „А я, безумецъ, хотѣлъ себя убить... и лежалъ бы теперь въ холодной землѣ отвратительнымъ, разлагающимся трупомъ... какъ у Бодэлэра... Брр!..“ Онъ содрогнулся и отошелъ отъ окна. Вдругъ за окномъ ему почудился шорохъ шаговъ и вслѣдъ затѣмъ тихій, осторожный стукъ...

— Кто тамъ?—спросилъ Прилукинъ, съ тревогой подбѣгая къ окну.

— Это я... Можно къ вамъ?

„Степанъ Павловичъ!.. Можетъ быть, отъ нея“...—пронеслось въ головѣ у Прилукина.

— Подождите, Степанъ Павловичъ... Я вамъ сейчасъ отворю дверь.

— Зачѣмъ! не надо. Я такъ...

Степанъ схватился за подоконникъ, подтянулся на рукахъ и вскочилъ въ комнату.

— Вотъ и я,—сказалъ онъ.—Пожалуйста, потише: я не хочу, чтобы знали, что я былъ у васъ.

— Вы съ хутора?..—съ волненіемъ спросилъ Прилукинъ.—Ну... что у васъ? Ничего не случилось?

— Кажется, ничего. А что?

— Нѣтъ, я думалъ...—разочарованно произнесъ Прилукинъ и, уже овладѣвъ собою, прибавилъ со смѣхомъ:—Однако, какой вы таинственный человѣкъ, Степанъ Павловичъ! Вы всегда являетесь ко мнѣ самымъ необыкновеннымъ способомъ и въ несовсѣмъ обычное время для визитовъ.

— У меня есть на это свои причины, — серьезно сказалъ Степанъ.—Я къ вамъ по дѣлу, Прилукинъ. Вы должны мнѣ оказать одну услугу.

— Услугу? Очень радъ,—принимая тоже серьезный тонъ, вымолвилъ Прилукинъ.

Онъ подвинулъ стулъ поближе къ Степану, сѣлъ и, взглянувъ на своего страннаго гостя, тутъ только замѣтилъ, какая страшная перемѣна произошла въ немъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ его не видѣлъ. Степанъ похудѣлъ и постарѣлъ на нѣсколько лѣтъ; щеки его ввалились и потемнѣли; впавшіе глаза горѣли лихорадочнымъ, больнымъ огнемъ. И опять сходство съ Ксаней поразило Прилукина.

— Что съ вами, Степанъ Павловичъ?—съ участіемъ и лаской спросилъ Прилукинъ.—Вы были больны?

— Нѣтъ... а впрочемъ, пожалуй, да, я былъ боленъ,—отрывисто отвѣчалъ Степанъ, и твердыя губы его дрогнули.—Но... будемте говорить о дѣлѣ; у меня очень мало времени остается. Я долженъ вамъ сказать, что я ухожу съ хутора совсѣмъ.

— Уходите? Зачѣмъ?—съ изумленіемъ спросилъ Прилукинъ. Степанъ вкратцѣ разсказалъ ему о пріѣздѣ засѣдателя, арестѣ Егора и о грозящей ему перспективѣ быть впутаннымъ въ дѣло о пожарѣ. Прилукинъ всталъ и въ задумчивости прошелся по комнатѣ.

— Да, все это очень непріятно,—сказалъ онъ.—Но я все-таки не понимаю, зачѣмъ вамъ непремѣнно бѣжать? Вѣдь если вы, дѣйствительно, не замѣшаны, дѣло можетъ кончиться пустяками.

— Ну да, можетъ кончиться такъ, но можетъ кончиться и иначе, а я вовсе не желаю зависѣть отъ случайности. Я нуженъ въ другомъ мѣстѣ, и мнѣ совсѣмъ не улыбается перспектива засѣсть въ клоповникъ въ самую важную минуту...

Но, озаренный какою-то мыслью, Прилукинъ не слушалъ его и, подсѣвъ къ нему ближе, заглянулъ ему въ глаза.

— Степанъ Павловичъ, все это пустяки, — тихо сказалъ онъ, взявъ его руку въ обѣ свои руки.—Я васъ понимаю... я самъ люблю и... однимъ словомъ, все это не то. Вы не отъ клоповника бѣжите, а... а отъ нея? Да?

Степанъ отнялъ у него свою руку и хотѣлъ улыбнуться, но улыбка вышла страдальческая.

— Ну... если хотите, да, отъ нея, — рѣзко сказалъ онъ, отворачиваясь.

— Но зачѣмъ же, зачѣмъ?—съ любопытствомъ и волненіемъ разспрашивалъ Прилукинъ. — Чтò вамъ мѣшаетъ? Вы оба свободны, ничѣмъ не связаны... она васъ любитъ... конечно, любитъ, я давно это замѣтилъ. Зачѣмъ же такъ разрывать?.. Это очень тяжело... и какъ вы это сдѣлали?

Степанъ всталъ и отошелъ въ уголъ, гдѣ было меньше свѣта.

— Оставимъ это, пожалуйста... Чтò за изліянія! Мнѣ нéкогда. *Тамъ* у меня все кончено... и... ради Бога, не трогайте этого!—крикнулъ онъ съ страстною мольбой.

Молодые люди замолчали. А голубая ночь, вся полная сладкихъ, опьяняющихъ ароматовъ, глядѣла въ открытыя окна.

— Ну-съ, такъ вотъ чтò,—первый заговорилъ Степанъ дѣловымъ тономъ.—Отсюда я ѣду въ сосѣдній городъ и мнѣ необходимо пробыть тамъ нѣсколько дней. Тамъ у меня есть знакомые, но мнѣ нельзя къ нимъ показываться. Нѣтъ ли у васъ кого-нибудь, гдѣ я могъ бы остановиться, не возбуждая никакихъ подозрѣній и преслѣдованій? Понимаете, нуженъ совершенно чистый человѣкъ... безъ всякаго пятнышка на своемъ прошломъ и... не очень трусъ.

— Что же... вы, значитъ, прикомандировываетесь къ „безымянной Руси"?—съ улыбкой спросилъ Прилукинъ.

— Оставьте ваше остроуміе! — съ нетерпѣніемъ перебилъ его Степанъ.—Скажите же, есть у васъ тамъ кто-нибудь?

— Да... кажется,—въ раздумьи сказалъ Прилукинъ.—Но...

— Вы боитесь?

— Нѣтъ, не то... Но я вѣдь совершенно не сочувствую вашимъ планамъ...и я не знаю, зачѣмъ я буду помогать тому, чтò считаю совершенно безполезнымъ и даже вреднымъ.

— Ну, въ такомъ случаѣ, прощайте, — сказалъ Степанъ и пошелъ-было къ окну.

— Постойте... куда же вы?—нерѣшительно остановилъ его Прилукинъ. „Для тебя я не сдѣлалъ бы этого... но для Ксани сдѣлаю"... — подумалъ онъ. — Постойте, Степанъ Павловичъ.

Сядьте, и потолкуемъ. Я не хочу... по нѣкоторымъ причинамъ („ради Ксани!" — подумалъ онъ опять)... чтобы вы уносили съ собою непріятное воспоминаніе обо мнѣ. И хотя я не желалъ бы имѣть дѣло съ „безымянной Русью"... но надѣюсь, что впередъ и не буду имѣть съ нею никакого дѣла... впрочемъ, на этотъ разъ такъ и быть...

„Ахъ, проклятые эти буржуи! — съ досадой подумалъ Степанъ: — плюнуть не могутъ безъ высокопарныхъ разсужденій"...

Они сѣли и принялись обсуждать интересовавшее Степана дѣло.

Между тѣмъ ночь блѣднѣла, и раздражающій голубой блескъ ея смѣнился нѣжными и спокойными лучами разсвѣта. Широкая блѣдно-палевая полоса протянулась на востокѣ; пѣтухи пропѣли свое первое и второе предостереженіе, и ночные призраки съ тихими вздохами сожалѣнія покидали землю.

— Ну, мнѣ пора, — сказалъ Степанъ, вставая и глядя въ окно. — Третій часъ; до восхода солнца я успѣю дойти, куда мнѣ нужно.

— Но зачѣмъ же пѣшкомъ? Я бы могъ васъ довезти.

— Не надо. Мнѣ только до нѣмецкой колоніи; тамъ у меня есть пріятель, — онъ меня довезетъ до станціи. Прощайте.

— Постойте, я съ вами пройдусь немного. Мнѣ совсѣмъ спать не хочется... а на воздухѣ такъ хорошо.

Прилукинъ затушилъ лампу, и они оба выпрыгнули изъ окна. На дворѣ было свѣжо; серебристая роса лежала на травѣ; золотая полоса на востокѣ стала еще шире и ярче. Прилучье спало крѣпкимъ утреннимъ сномъ, и только дворняжка, лежавшая у крыльца, проснулась и залаяла на нихъ хриплымъ спросонья лаемъ. Но Прилукинъ назвалъ ее по имени, и, узнавъ знакомый голосъ, она постучала хвостомъ и снова свернулась въ клубокъ.

Черезъ садъ они вышли въ поле и пошли по знакомой дорогѣ, извивавшейся между хлѣбами. Оба молчали. Пройдя съ версту, у перекрестка Степанъ остановился.

— Ну, мнѣ направо, сказалъ онъ, протягивая ему руку. — Прощайте, Прилукинъ. Спасибо вамъ. Вы мнѣ большую услугу оказали. Но еще разъ: имѣйте въ виду, что, можетъ быть, вамъ придется за эту услугу пережить нѣсколько непріятныхъ минутъ... хотя я постараюсь, чтобы этого не было.

— Ахъ, это все равно! — сказалъ Прилукинъ, глядя ему въ лицо, которое въ кроткихъ лучахъ зари еще болѣе напоминало ему другое, милое лицо. — Дѣло не въ томъ, а... мнѣ очень жаль

васъ, Степанъ Павловичъ! Какой дѣятель вышелъ бы изъ васъ, еслибы не эти ваши... идеи! Съ вашей силой воли, безстрашіемъ и прямотою — сколько бы вы могли сдѣлать добра!.. Куда вы идете? Зачѣмъ? Ну, еслибы я былъ на *ея* мѣстѣ—я ни за что не пустилъ бы васъ.

Степанъ сдѣлалъ энергическое движеніе.

— Ну, хотѣлъ бы я знать того человѣка, который помѣшалъ бы мнѣ сдѣлать то, чего я хочу,—съ мрачной усмѣшкой сказалъ онъ. —Прощайте!

— Не „прощайте", а до свиданія. Можетъ быть, увидимся.

— Не увидимся! — съ тою же усмѣшкой выговорилъ Степанъ. —Если у васъ имѣется какой-нибудь синодикъ для поминовенія покойниковъ,—занесите въ него на всякій случай и меня, грѣшнаго раба, Степана...

Они еще разъ крѣпко пожали другъ другу руки, и Степанъ рѣшительными шагами пошелъ направо. Прилукинъ долго стоялъ и смотрѣлъ ему вслѣдъ, пока его высокая фигура не потонула въ золотомъ блескѣ все ярче и ярче разгоравшейся зари.

„Вотъ характеръ!"—подумалъ онъ съ невольнымъ удивленіемъ и даже нѣкоторою завистью.—„Этотъ ни передъ чѣмъ не остановится... и на моемъ мѣстѣ давно бы пустилъ себѣ пулю въ лобъ. И такая громадная силища пропадаетъ ни за что... а мы, жалкіе, маленькіе и меленькіе, остаемся и плодимъ себѣ подобныхъ. А можетъ быть, оно такъ и нужно... для какого-нибудь тамъ равновѣсія въ природѣ? Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, для средняго человѣка было бы ужъ черезчуръ обидно, еслибы эти Uebermensch'и постоянно подавляли его своимъ превосходствомъ. Почему имъ—такъ много, а намъ—такъ мало? Природа любитъ порядокъ и гармонію, и безжалостно сметаетъ съ лица земли все черезчуръ яркое, выдающееся, монструозное. Всѣ махровые цвѣты—безплодны: въ этомъ глубокій смыслъ... Но бѣдная, бѣдная добродѣтельная дѣва!" — вспомнилъ онъ вдругъ, и образъ Наташи съ ея чистымъ и строгимъ взглядомъ всталъ передъ нимъ.—„Какъ мнѣ жаль ее!.. Такая чистенькая нѣжная, созданная для мира, тишины и семейнаго счастія... и вдругъ судьба столкнула ее съ этимъ непримиримымъ, фанатическимъ апостоломъ разрушенія. Да, судьба!"—вздохнулъ Прилукинъ, и мысли его перешли къ собственному запутанному положенію. Онъ вспомнилъ о письмѣ, которое хотѣлъ писать Максиму Григорьевичу, но отъ вчерашняго приподнятаго настроенія, когда все казалось такъ легко и просто, не оставалось и слѣда. Прежнія колебанія и раздумье овладѣли имъ. Письмо, конечно, можно написать, но

что̀ изъ этого выйдетъ? А можетъ быть, Ксаня вовсе не желаетъ этого...—„Ну, да, да,—радостно ухватился за эту мысль Прилукинъ.—Вѣдь не могу же я дѣйствовать безъ ея согласія... нужно сначала повидаться съ ней, узнать, какъ она смотритъ“...

И, рѣшивъ все это хорошенько обдумать и взвѣсить, Александръ Рафаиловичъ пошелъ по дорогѣ къ Червоному хутору, въ смутной надеждѣ, что какой-нибудь случай, неожиданная встрѣча, наконецъ, сама судьба рѣшитъ все за него. А судьба, дѣйствительно, шла къ нему на встрѣчу.

Солнце уже взошло, когда Прилукинъ дошелъ до межи, отдѣлявшей его землю отъ полей Максима Григорьевича. Жаворонки съ своимъ мелодическимъ журчаніемъ выпархивали изъ хлѣбовъ и въ беззаботномъ весельи купались и ныряли въ тихомъ, влажномъ воздухѣ. Всю ночь не спавшіе перепела усталыми, охрипшими голосами перекликались въ овсахъ. Ширококрылый ястребъ проснулся и, распластавшись въ небѣ, высматривалъ себѣ утреннюю трапезу. Зажинъ еще не начинался, и поля были пустынны. Прилукинъ шелъ и наслаждался тишиной, одиночествомъ и утренней свѣжестью. Какъ всѣ нервные люди, онъ любилъ ходить: быстрая ходьба дѣйствовала на него успокоительно и помогала лучше думать и мечтать.

Вдругъ въ овсахъ впереди его что-то мелькнуло. Прилукинъ остановился. Кто-то шелъ къ нему на встрѣчу; судя по яркому платку на головѣ, это была женщина, и женщина эта шла какъ будто прячась и скрываясь отъ кого-то. Она—то останавливалась, присѣдала къ землѣ и оглядывалась по сторонамъ, что-то высматривая, то припускалась впередъ чуть не бѣгомъ, и ея красный платокъ быстро несся надъ овсами.

„Какъ она странно бѣжитъ!“—подумалъ Прилукинъ, и вдругъ сердце его облилось горячею кровью и вслѣдъ за тѣмъ похолодѣло. Онъ узналъ Олимпіаду, и страхъ, и трепетъ ожиданія чего-то непоправимаго и неизбѣжнаго охватили его. „Вотъ она, судьба-то!“—прошепталъ онъ, слѣдя за мелькающимъ краснымъ платкомъ.—„Ахъ, не надо, не надо этого!“... И онъ съ ужасомъ смотрѣлъ на приближающуюся Олимпіаду, и у него не было силъ уйти...

Олимпіада, наконецъ, вынырнула изъ овсовъ и осторожно, точно вороватый звѣрекъ, не выпрямляясь, изъ-подъ руки поглядѣла впередъ. Увидѣвъ Прилукина, она мгновенно измѣнила свою осанку, выпрямилась и, торопливо оправляя подоткнутое платье, пошла къ нему на встрѣчу.

— Ахъ, батюшка-баринъ!—запѣла она, умильно улыбаясь и

не выражая никакого удивленія отъ того, что такъ неожиданно его встрѣтила.—Вотъ хорошо-то, что я васъ встрѣтила!.. А то иду и боюсь, иду и боюсь... какъ бы собаки не разорвали. Такъ сердце и трясется!

Прилукинъ молчалъ, стиснувъ зубы и почти съ ненавистью глядя на Олимпіаду, которая напоминала ему о его лжи и обманѣ, обо всѣхъ этихъ тайныхъ записочкахъ, передаваемыхъ второпяхъ по темнымъ уголкамъ, объ украденныхъ поцѣлуяхъ, позорѣ и паденіи... И то, чего онъ такъ страстно желалъ нѣсколько времени тому назадъ, къ чему самъ шелъ на встрѣчу съ легкимъ сердцемъ,—теперь казалось ему гадкимъ, отвратительнымъ, ужаснымъ. „Зачѣмъ она лжетъ?"—подумалъ онъ со злостью.—„Какія въ полѣ собаки?.. Совсѣмъ она не того боялась... и зачѣмъ я стою и жду отъ нея чего-то? Уйти надо, скорѣе уйти... бѣжать..." И онъ стоялъ и ждалъ, зная, что все равно ему никуда не уйти отъ того, что̀ должно сейчасъ совершиться.

— А я вамъ письмецо отъ барыни принесла...—начала Олимпіада.—Что это вы давно у насъ не были, сударь? Барыня ужъ безпокоиться стали, не больны ли вы сами, или, можетъ, мамаша...

Говоря это, Олимпіада порылась за пазухой и, вынувъ крошечный клочокъ бумажки, очевидно на̀скоро и украдкой гдѣ-то оторванной и исписанной неровнымъ, торопливымъ почеркомъ, подала его Прилукину. Тотъ весь вспыхнулъ и взялъ записку.

— Ну что̀, какъ тамъ у васъ на хуторѣ?—вырвалось у него помимо воли въ томъ же лживомъ тонѣ, какъ и у Олимпіады.— Всѣ здоровы?

— Слава Богу, здоровы, только скучаемъ. Ужъ такая скука, такая скука навалилась, просто бѣда... Хоть бы вы навѣстили насъ...

Прилукину стало невыносимо противно отъ всей этой пошлости, отъ фамильярности этой лукавой горничной—сообщницы ихъ грязной, преступной любви.

— Ну, хорошо,—грубо оборвалъ онъ ее.—Я прочту... можете идти.

— А отвѣта не будетъ?—перемѣняя добродушно-фамильярный тонъ на дѣловой и строго-оффиціальный, спросила Олимпіада.

— Нѣтъ... — отрывисто сказалъ Прилукинъ, поворачиваясь къ ней спиной, но вдругъ вспомнилъ, что вѣдь надо дать ей что-нибудь,—и, порывшись въ карманахъ, съ краской стыда сунулъ ей какую-то мелочь.

„Гадость, гадость“... — подумалъ онъ, избѣгая глядѣть на Олимпіаду.

Олимпіада, получивъ мзду, такъ же крадучись, побѣжала обратно, а Прилукинъ, выждавъ, когда ея красный платокъ исчезъ въ серебряныхъ волнахъ овса, развернулъ записку.

„Я не могу больше, Александръ!“—писала Ксаня. — „Мы должны это кончить какъ-нибудь; жизнь моя превратилась въ пытку. Я не могу глядѣть на Максима; я не могу больше лгать. Я ждала, что ты рѣшишь что-нибудь, но ты молчишь, какъ будто все это такъ и слѣдуетъ. Но все равно, такъ или иначе, я рѣшила уѣхать отсюда и какъ можно скорѣе, съ тобой или безъ тебя, все равно... Ѣдешь ли ты со мной или нѣтъ? Если да, я буду ждать тебя сегодня вечеромъ на сажалкѣ; если нѣтъ, —прощай, больше не увидимся“...

Прилукинъ долго читалъ и перечитывалъ этотъ отдававшій Олимпіадинымъ пбтомъ клочокъ бумажки, безповоротно и навсегда рѣшавшій всю его судьбу. Теперь уже нечего было колебаться и отступать; все рѣшено за него и такъ, какъ онъ желалъ... Начинается новая, серьезная жизнь съ той, которую онъ безумно любитъ, а любви ея онъ такъ страстно добивался. Но отчего же нѣтъ радости въ душѣ, и сердце замираетъ отъ страха, и будущее представляется въ какомъ-то мрачномъ туманѣ?

Прилукинъ снялъ фуражку, вытеръ свой влажный лобъ и растерянно оглядѣлся кругомъ, какъ будто не узнавая знакомыхъ съ дѣтства мѣстъ. Да вѣдь и въ самомъ дѣлѣ все это чужое теперь, и онъ самъ чужой здѣсь, и жизнь его уже не принадлежитъ ему, а навсегда отдана той, чужой женщинѣ... А тѣ? Мать, отецъ, сестра? Чтò съ ними будетъ?

— Ну, все равно... теперь уже кончено,—сказалъ Прилукинъ и повернулъ домой.

LII.

Наташа смутно вспоминала потомъ, чтò было въ тотъ вечеръ, когда она ушла изъ флигеля послѣ ея послѣдняго свиданія съ Степаномъ. Кажется, она разговаривала со всѣми, что-то такое дѣлала, даже ужинала, но во все это время сознаніе страшнаго горя не покидало ее, и она ни на одну минуту не могла забыть о немъ, какъ не можетъ забыть человѣкъ мучающую его сильную зубную боль. Она испытала уже однажды сильное горе,

—смерть матери, но тогда ей все-таки легче было переносить его, потому что она была подготовлена къ нему и ждала его. Тогда все было такъ просто и понятно: человѣкъ состарѣлся и умираетъ; умираютъ всѣ, и она въ свою очередь умретъ когда-нибудь. Но теперь произошло что-то дикое и безобразное: живой человѣкъ, здоровый, молодой и сильный, по собственной волѣ ломалъ и уродовалъ свою и чужую жизнь... Это было непонятно, и потому страшно.

Всю ночь Наташа тосковала и мучилась, и только подъ утро забылась ненадолго. И во снѣ ей снилось, что все это—одно недоразумѣніе, и что они съ Степаномъ, наконецъ, поняли другъ друга и согласились во всемъ. Но, проснувшись, она сейчасъ же вспомнила, что все кончено и навсегда, и мучительная боль снова, какъ холодная змѣя, вползла въ ея сердце и начала ее сосать съ еще бо̀льшею силою, чѣмъ вчера. Наташа испытывала чувства человѣка, который заснулъ зрячимъ, а проснулся ослѣпшимъ и, безпомощно ощупываясь вокругъ себя руками, вдругъ съ ужасомъ сознаетъ, что онъ ничего не видитъ и не увидитъ никогда, и что солнце погасло для него на всю жизнь. Солнце Наташиной жизни тоже погасло навсегда, и она ясно сознавала, что на свѣтѣ для нея никогда уже больше не будетъ ничего радостнаго...

Дни проходили. Наташа машинально вставала, одѣвалась и выходила, машинально разговаривала, обѣдала, гуляла и дѣлала свое обычное дѣло. Но свѣтъ погасъ, и то, что̀ вчера еще интересовало ее и наполняло ея жизнь, теперь казалось ей ненужнымъ, безсмысленнымъ и вызывало въ ней отвращеніе и тоску. Особенно невыносимо было все, что̀ такъ или иначе напоминало ей о Степанѣ. Занятія съ дѣтьми теперь страшно тяготили ее, и она вела ихъ небрежно, торопясь скорѣе кончить, потому что они напоминали ей „корочку"; тѣ мѣста, гдѣ они съ Степаномъ встрѣчались и разговаривали, вызывали въ ней дрожь и чувство, похожее на тошноту, и она избѣгала ихъ; когда же при ней случайно кто-нибудь произносилъ имя Степана (къ счастью, это бывало очень рѣдко), она опускала глаза, до крови кусала себѣ губы и дѣлала надъ собою страшныя усилія, чтобы не расплакаться. И въ то же время она никогда, ни на одну минуту не могла отдѣлаться отъ мысли о Степанѣ, и это доходило у нея даже до галлюцинацій. Иногда, сидя одна, Наташа вдругъ такъ ясно и отчетливо слышала позади себя его глухой, отрывистый голосъ, что съ ужасомъ оборачивалась; а стоило ей только закрыть глаза, какъ изъ движущагося мрака передъ нею сейчасъ же выплывало

блѣдное лицо съ презрительною усмѣшкой и сумрачными сѣрыми глазами. Наташа скорѣе открывала глаза, вскакивала и, какъ безумная, бѣжала куда-нибудь, чтобы отогнать отъ себя безпокойный призракъ и заглушить отвратительную сердечную боль.

Однажды ночью она была разбужена какимъ-то страннымъ шумомъ, поднявшимся въ домѣ. Ходили, хлопали дверьми, громко разговаривали. По корридору мимо ея дверей кто-то шибко пронесся, топая босыми ногами,—и затѣмъ все стихло. Прежде Наташа непремѣнно бы встала, чтобы узнать, что̀ такое произошло, но теперь ей было все равно, и она снова заснула тяжелымъ, крѣпкимъ сномъ,—она теперь всегда спала такъ. Утромъ, выйдя къ чайному столу, она вскользь взглянула на Максима Григорьевича, и, несмотря на свое равнодушіе ко всему, замѣтила, что онъ былъ сильно разстроенъ и озабоченъ.

— А слышали, какой у насъ ночью переполохъ былъ? — обратился онъ къ ней.

— Да, слышала какой-то шумъ. Что-нибудь случилось? — безучастно, какъ все, что она теперь дѣлала, спросила Наташа.

— Да опять нашъ Степанко накуралесилъ!—съ раздраженіемъ въ голосѣ продолжалъ Максимъ Григорьевичъ.—Къ нему пріѣхали обыскъ дѣлать, а его и слѣдъ простылъ. И ни пылинки на память не оставилъ: только цѣлый возъ газетъ, да старые сапоги. Вотъ такъ штука капитана Кука! Хорошую дулю онъ всѣмъ намъ поднесъ! А нѝбольшій самъ, который съ обыскомъ пріѣхалъ, на меня накинулся,—какъ будто я во всемъ виноватъ,—плохо слѣдилъ. Услѣдишь за этакимъ сорванцомъ!

Наташа вся помертвѣла, чувствуя, что какой-то жесткій клубокъ поднимается у нея къ горлу, и царапаетъ, и душитъ ее, перехватывая дыханіе.

— Ищи его теперь, гдѣ онъ шкандыбаетъ!—снова заговорилъ Максимъ Григорьевичъ.—Мнѣ нѝбольшій говоритъ, что я за него отвѣчаю, а что̀ мнѣ за него отвѣчать? У меня-жъ, говорю, пшеница, овесъ, просо,—вотъ за это я отвѣчаю, а бунтарей ловить,—это не мое дѣло. Разсердился, распыхтѣлся и уѣхалъ. Ну, ужъ и надралъ бы я уши этому баламуту! Пропали мои пятьсотъ карбованцевъ, которые я за поруку внесъ...

— Перестань, Максимъ!—строго сказала Ксаня, большими глазами глядя на помертвѣвшую Наташу.—Стоитъ ли жалѣть о деньгахъ, когда тутъ...

Наташа встала и вышла изъ комнаты; Ксаня не договорила и побѣжала за ней.

— Эге!..—со вздохомъ сказалъ Максимъ Григорьевичъ, съ

удивленіемъ поглядѣвъ имъ вслѣдъ.—Такъ, стало быть, не одни мои карбованцы пропали за этимъ проклятымъ хлопцемъ... Онъ таки успѣлъ захватить съ собою отсюда и еще кое-что, подороже... Отъ, чортова дытына!

Ксаня нашла Наташу въ самой глухой аллеѣ сада. Она сидѣла на скамьѣ, обѣими руками ухватившись за грудь, и остановившимися глазами смотрѣла передъ собою. Ксаня опустилась передъ ней на колѣни и съ нѣжною лаской заглянула ей въ лицо.

— Наташа...—сказала она тихо.—Ты полюбила его?

Наташа не могла выговорить ни слова и, давясь душившимъ ее клубкомъ, молча кивнула головой.

— Бѣдная Наташа!...—прошептала Ксаня, цѣлуя ея холодныя руки.—Прости меня за него... Ахъ, какіе мы съ нимъ несчастные! Мы всѣмъ, кто насъ любитъ, приносимъ только одно зло... только зло!

— Зарницы...—вымолвила, наконецъ, Наташа хриплымъ голосомъ и разразилась судорожными рыданьями и хохотомъ.

Попрежнему надъ хуторомъ сіяли золотыя зори и улыбались росистыя, румяныя утра; попрежнему въ небѣ играли безпокойныя зарницы и искрились кроткія, вѣчныя звѣзды; но не попрежнему все шло въ веселомъ хуторскомъ домѣ. Шумные семейные обѣды и завтраки, за которыми такъ хорошо пилось и ѣлось, а еще лучше разговаривалось, проходили теперь въ сумрачномъ молчаніи; шутки и раскатистый хохотъ Максима Григорьевича прекратились, потому что некому было вмѣстѣ съ нимъ смѣяться; всѣ ходили задумчивые, молчаливые, избѣгая другъ друга и видимо тяготясь всякимъ разговоромъ. „Старая пани" совсѣмъ затворилась въ своей кельѣ; Ксаня опять стала пропадать на сажалкѣ и возвращалась оттуда блѣдная, суровая, съ мрачнымъ блескомъ въ глазахъ; Наташа бродила, какъ тѣнь, и даже Мидасъ былъ тоже не въ духѣ и чаще обыкновеннаго билъ посуду, потому что воспылалъ безнадежною любовью къ веселой „людской" кухаркѣ. У Максима Григорьевича уже началась уборка хлѣба, и онъ, по собственному выраженію, „совсѣмъ съ чубомъ" былъ погруженъ въ хозяйственныя заботы, но, несмотря на это, даже и ему бросалось иногда въ глаза, что у него въ домѣ не все ладно. И оставаясь наединѣ съ женой, въ короткія минуты отдыха, онъ начиналъ къ ней приставать съ разспросами.

— Да что же это съ тобою, моя Оксанко? Скажи мнѣ, и я, можетъ, все сдѣлаю, что тебѣ надо? Скучно тебѣ? Хуторъ надоѣлъ? Хочется въ городъ, или еще куда-нибудь? Скажи, и я все сдѣлаю.

— Ничего ты не можешь сдѣлать и ничего мнѣ не нужно, —хмурясь и отворачиваясь отъ него, отвѣчала Ксаня.

— А что... можетъ, оно... того? — спрашивалъ Максимъ Григорьевичъ, вдругъ проникаясь сладостной надеждой (онъ ужасно желалъ имѣть дѣтей!).—Можетъ, у насъ будетъ маленькій Червонёнокъ? А?

Но Ксаня еще больше хмурилась и ничего не отвѣчала.

— А можетъ, ты меня разлюбила? — горестно восклицалъ тогда Максимъ Григорьевичъ.

Но и на этотъ вопросъ ему не было отвѣта...

Въ одинъ душный іюльскій вечеръ Ксаня вернулась съ сажалки уже не мрачная, а тихая и задумчивая, со слѣдами слезъ на припухшихъ вѣкахъ. За ужиномъ она ничего не ѣла сама, но съ особенной заботливостью подкладывала Максиму Григорьевичу лучшіе куски и глядѣла на него съ какою-то затаенною нѣжностью и печалью, хотя рѣшительно ничего не было трогательнаго въ томъ, что Максимъ Григорьевичъ, проголодавшійся на работѣ, уписывалъ за троихъ огромнѣйшія порціи своего любимаго борща и варениковъ. Даже онъ, обыкновенно ничего не замѣчавшій, замѣтилъ это и сказалъ со смѣхомъ:

— Что ты такъ глядишь на меня, Оксанко, какъ будто я умирать собираюсь?

Ксаня промолчала, но послѣ ужина, когда они остались одни, она вдругъ подсѣла къ нему и положила ему голову на плечо.

— Скажи, Макся (она давно уже не называла его Максей), скажи, что сдѣлалъ бы ты, еслибы я... умерла?—спросила она.

Максимъ Григорьевичъ, растроганный ея вопросомъ и неожиданною лаской, заволновался.

— Э, что выдумала! — сказалъ онъ, гладя ее по черной кудрявой головкѣ.—Зачѣмъ тебѣ умирать? Я и думать объ этомъ не хочу.

— Нѣтъ, скажи, скажи... что бы ты сдѣлалъ?

— Ну... что... я и самъ не знаю, что. Взялъ бы... да и умеръ самъ. Развѣ я могу это перенести?—съ чувствомъ вымолвилъ онъ.

Ксаня обхватила его за шею и прижалась къ нему.

— Нѣтъ, нѣтъ, Макся... не смѣй умирать!—со слезами въ голосѣ сказала она.—Я тебя прошу... дай мнѣ слово, что если

я... умру, ты ничего не сдѣлаешь съ собою... Слышишь? Дай мнѣ слово!

— Э, Боже мой! — съ тоской воскликнулъ Максимъ Григорьевичъ.—Да какъ же я могу знать напередъ, что со мною будетъ тогда? И зачѣмъ объ этомъ говорить? Развѣ-жъ ты нездорова?

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего...

— Ну, и къ чему же это говорить? У меня ажъ сердце замліло, ей Богу! Э, и не люблю жъ я этихъ бабскихъ выдумокъ! А можетъ, и вправду ты нездорова и скрываешь?—съ безпокойствомъ щупая ей голову, спросилъ онъ.

Ксаня отрицательно покачала головой, но Максимъ Григорьевичъ долго не могъ успокоиться, приставалъ къ ней съ уксусными компрессами и хотѣлъ даже бѣжать къ матери за ея чудодѣйственной настойкой.

LIII.

На другой дѐнь Максимъ Григорьевичъ, послѣ чаю, уѣхалъ въ Лазоревую, куда его вызвали повѣсткой дать нѣкоторыя показанія по дѣлу Егора. По этому случаю онъ былъ страшно не въ духѣ и ругательски ругалъ всѣхъ „проклятыхъ бунтарей“, которыхъ, по его мнѣнію, слѣдовало бы отправить на какой-нибудь необитаемый островъ, чтобы они не мѣшали жить смирнымъ людямъ. Ксаня вышла провожать его на крыльцо и долго смотрѣла ему вслѣдъ, пока онъ не исчезъ въ сѣрыхъ клубахъ пыли. Тогда она вернулась въ домъ и пошла къ Наташѣ.

Наташа лежала на диванѣ, закинувъ руки за голову, въ состояніи полной апатіи, которая овладѣла ею послѣ того страшнаго истерическаго припадка, разбившаго весь ея организмъ. Ксаня сѣла около нея и печально смотрѣла на ея измѣнившееся лицо.

— Наташа,—заговорила она:—ты скоро думаешь ѣхать въ Петербургъ?

— Да, теперь уже скоро,—равнодушно отвѣчала Наташа, хотя совершенно и не думала о томъ, что ей нужно куда-нибудь ѣхать. Вѣдь солнце для нея погасло, и, все равно, нигдѣ его не будетъ,—ни въ Петербургѣ, ни въ другомъ какомъ-нибудь мѣстѣ.

— Знаешь, Наташа, ты поживи у насъ подольше... Такъ скучно будетъ безъ тебя... и Максимъ къ тебѣ привязался очень. Послѣ всѣхъ этихъ исторій... ну, однимъ словомъ, я тебя прошу...

— Хорошо.

Ксаня наклонилась къ ней и горячо ее поцѣловала.

— Ну... спасибо! Милая ты моя... хорошая! Спасибо тебѣ за все, за все...

Она вскочила и, глотая внезапно прихлынувшія слезы, пошла, но у дверей еще разъ оглянулась на Наташу, хотѣла что-то сказать,—и стремительно выбѣжала изъ комнаты.

Максимъ Григорьевичъ къ обѣду не вернулся, и подруги обѣдали, или, лучше сказать, только исполняли церемонію обѣда, вдвоемъ. Ксаня страшно торопилась и нетерпѣливо покрикивала, чтобы подавали скорѣй, такъ что Мидасъ, совершенно обезумѣвшій отъ любви къ кухаркѣ, разбилъ двѣ лишнихъ тарелки, за что, къ своему величайшему изумленію, не получилъ на этотъ разъ никакого выговора отъ Олимпіады. Она только молча покосилась на него и, собравъ осколки въ фартукъ, пробормотала: „къ добру!“ Мидасъ даже ротъ разинулъ и долго, почесывая въ затылкѣ, размышлялъ о томъ, зачѣмъ же раньше-то, если битье посуды ведетъ къ добру, Олимпіада за это угощала его подзатыльниками? И ничего не понявъ, онъ устремилъ свои сапоги въ людскую, гдѣ, звякая монистами, красовалась царица его сердца.

Въ домѣ воцарилась послѣобѣденная тишина, которая теперь нравилась Наташѣ, потому что успокоительно дѣйствовала на ея разбитые нервы. Такъ хорошо было лежать, дремать—и ни о чемъ не думать. Это было главное, — ни о чемъ не думать. И мысли, если и являлись, то были какія-то плоскія, тонкія, какъ паутина, и онѣ ползли тамъ гдѣ-то на поверхности, не углубляясь внутрь. Потомъ приходилъ сонъ, глубокій, крѣпкій... И странно, Наташа никогда не переживала во снѣ послѣднихъ, тяжелыхъ впечатлѣній, а видѣла себя или маленькой дѣвочкой на колѣняхъ у матери, или въ своей петербургской школѣ, за учительскимъ столикомъ, передъ шаловливою, рѣзвою толпою ученицъ.

Такъ же заснула она и теперь, и спала долго, потому что когда проснулась, въ комнатѣ было уже темно. Она встала и прислушалась,—вездѣ тишина, и не слышно обычной вечерней суетни. Это ее нѣсколько удивило. „Неужели Максимъ Григорьевичъ еще не вернулся?“ —подумала она, выходя изъ своей комнаты. Въ коридорѣ не было огня; только изъ-подъ сосѣдней двери тянулась узенькая полоска свѣта,—это горѣла въ комнатѣ Ганны Матвѣевны ея вѣчная лампада. Наташа пошла по всѣмъ комнатамъ,—вездѣ тихо, темно и пусто.—Ксаня, Ксаня!—

позвала она. „А-а! А-а!“—прогудѣло глухо ей въ отвѣтъ гдѣ-то въ темномъ углу. Наташѣ стало жутко, и чувствуя потребность увидѣть хоть одно живое лицо, она выбѣжала изъ дома.

У людской слышались голоса, визгливый бабій смѣхъ и тренканье балалайки,—тамъ сумерничала дворня. Наташа позвала Мидаса.

— Гдѣ барыня?—спросила она.

— А кто же ее знаетъ! — равнодушно отвѣчалъ Мидасъ, недовольный тѣмъ, что его оторвали отъ веселаго общества.— Гуляютъ, должно быть.

— А Олимпіада?

— Не знаю.

— Какъ это странно!—прошептала Наташа.—И самовара нѣтъ...

— Я не знаю, никто не приказывалъ подавать, — сказалъ Мидасъ и поспѣшно вернулся къ людской, гдѣ подъ веселый ладъ балалайки кто-то притопывалъ каблуками и бойко выпѣвалъ:

„Картошки пекутъ,
Артисты идутъ,
Ахъ, артисты мои,
Гармонисты мои!“

Наташа снова вошла въ домъ и еще разъ обошла всѣ комнаты, пустыя, звонкія, какъ будто къ чему-то прислушивающіяся. На нее вдругъ напалъ страхъ, и она, зацѣпляясь въ темнотѣ за стулья, побѣжала прочь отъ этой тишины, въ которой какъ будто совершалось что-то таинственное и страшное.

На крыльцѣ она услышала мягкій стукъ копытъ по пыльной дорогѣ, фырканье лошади и голоса.

— Это вы, Максимъ Григорьевичъ?—спросила Наташа.

— Я, я... Что это у насъ въ домѣ такая темень? И вы одна? А гдѣ же Оксанка?

— Я не знаю... Въ домѣ никого нѣтъ,—съ дрожью въ голосѣ сказала Наташа.

— И самовара нѣтъ? Я же голоденъ, какъ проклятая собака.

— Самоваръ готовъ,—сказалъ Мидасъ, подбѣгая къ крыльцу.

— А барыня гдѣ?

— Да онѣ вѣрно гулять пошли.

— На ночь глядя? Что̀ за глупство! Ну, хлопецъ, швыдче, тащи самоваръ,—и ужинать; и огню вздуй, и все чтобы было какъ у хорошихъ людей. Пойдемте, Наталья Гавриловна.

Они вошли въ домъ, гдѣ Мидасъ уже зажигалъ лампы. Но хотя стало свѣтлѣе,—та же жуткая пустота и тишина встрѣтили ихъ. Максимъ Григорьевичъ съ безпокойствомъ оглядѣлся вокругъ.

— Вотъ дурная баба!—сказалъ онъ. — Куда она запропастилась? Ну, я пойду, умою свою образину,—пыли до чорта,—а вы ужъ, Наталья Гавриловна, похозяйничайте здѣсь.

Онъ вышелъ, и вслѣдъ затѣмъ глухой стонъ донесся до Наташи изъ спальни. Она выронила изъ рукъ чайникъ, обожгла себѣ руку кипяткомъ и бросилась туда, но на порогѣ столкнулась съ Максимомъ Григорьевичемъ. Онъ одной рукой держался за голову, а другою протягивалъ ей какую-то бумажку.

— Чтò это такое? Чтò?—хрипло выговорилъ онъ.—Ничего не пойму...

Наташа взяла бумажку и прочла: „Макся, дорогой мой, благородный Макся... Простишь ли ты меня когда-нибудь? Я не могу больше съ тобой жить; я тебя обманывала,—я люблю другого и ухожу съ нимъ. Но вѣрь мнѣ, что"... Дальше Наташа не стала читать и взглянула на Максима Григорьевича, который смотрѣлъ на нее безумными глазами.

— А чтò? Такъ это правда?—прошепталъ онъ, встрѣтивъ ея взглядъ.—Ушла?..—Онъ зашатался, схватилъ себя за голову и съ глухими рыданьями рухнулъ на стулъ. Наташа со слезами подбѣжала къ нему.

— Максимъ Григорьевичъ, ради Бога! — сказала она, положивъ руки ему на плечи.—Не надо такъ мучиться... можетъ быть, все это уладится... Вы знаете, какая она дикая... Она вернется!

Максимъ Григорьевичъ страшнымъ усиліемъ воли подавилъ въ себѣ рыданія и выпрямился.

— Спасибо вамъ, Наталья Гавриловна,—вымолвилъ онъ, крѣпко пожавъ ей руку.—Вы—добрая душа, и спасибо вамъ за утѣшеніе. Но она не вернется... да и не надо. Ей такъ лучше. Правда, что я былъ ей не пара. Чтò я? Грубый, неотесанный хохолъ, мужикъ... который только и дѣлалъ, что рылся въ землѣ... ей не такого было нужно. Ну... вотъ она и нашла...—съ трудомъ договорилъ онъ.—Чтò дѣлать? Пройдетъ какъ-нибудь... Спасибо, рыбка моя... Кушайте себѣ чай и не глядите на меня, стараго дурня... Я пойду къ себѣ, а тамъ, можетъ быть, какъ поуспокоюсь трошки, мы съ вами и потолкуемъ. Да не говорите ничего мамѣ,—я ужъ самъ тамъ какъ-нибудь скажу...

Но Наташа не выпускала его руки. Что-то казалось ей

страннымъ въ Максимѣ Григорьевичѣ, и она съ безпокойствомъ глядѣла въ его измѣнившееся лицо.

— Ничего, ничего, не бойтесь, Наталья Гавриловна!—продолжалъ Максимъ Григорьевичъ, дѣлая попытку улыбнуться.—Я теперь какъ быкъ, котораго хлопнули обухомъ по башкѣ, и на меня, вѣрно, чудно̀ глядѣть... Но вотъ и вы тоже плачете... Развѣ мало у васъ своего горя? Не сто̀итъ, право... И я, старый дурень, ничего не умѣю сдѣлать, какъ слѣдуетъ. За это жъ за самое и она меня постоянно бранила...

Онъ какъ-то по-дѣтски заморгалъ глазами и, высвободивъ свою руку у Наташи, ушелъ. Но Наташа бросилась за нимъ и толкнулась въ дверь. Она была заперта.

— Максимъ Григорьевичъ!—крикнула Наташа.

Онъ не отвѣчалъ. Наташа, позабывъ о его просьбѣ ничего не говорить матери, побѣжала къ Ганнѣ Матвѣевнѣ.

— Ганна Матвѣевна, — задыхаясь отъ волненія, сказала она.—Вы не спите?

За дверью послышалось тяжелое шарканье туфель.

— Кто тамъ?—недовольнымъ голосомъ спросила старуха.

— Отворите скорѣе, Ганна Матвѣевна!.. Мнѣ очень нужно...

Звякнулъ ключъ, дверь чуть-чуть пріотворилась.

— А, это вы... Ну что-жъ... войдите себѣ.

Наташа не вошла, а ворвалась къ ней въ комнату и прерывающимся голосомъ разсказала ей все. Старуха всплеснула руками.

— О, бідный мой сынку!—закричала она и, роняя по дорогѣ туфли, выбѣжала изъ комнаты съ необычною для ея лѣтъ стремительностью.

— Максимко, отвори! — кричала она, стуча кулаками въ дверь спальни. Но̀ Максимъ Григорьевичъ не откликался, и крѣпкая дубовая дверь только вздрагивала подъ ударами ея костлявыхъ кулаковъ и не подавалась. Тогда старуха въ изступленіи кинулась на крыльцо, обѣжала вокругъ дома подъ окно спальни и, цѣпляясь за выступы фундамента, обрываясь и падая, обдирая себѣ до крови руки и колѣни, влѣзла на выступъ и прильнула къ стеклу. Въ глазахъ у нея потемнѣло, и она чуть не свалилась внизъ... она увидѣла, что Максимъ Григорьевичъ снималъ со стѣны ружье.

— Сынку, сынку!—завопила она отчаянно.—Что̀ ты робишь, неразумный!..

Максимъ Григорьевичъ вздрогнулъ, бросилъ ружье и подошелъ къ окну. Изъ темноты на него глядѣло страшное, по-

мертвѣлое лицо съ сѣдыми волосами, дыбомъ стоявшими на головѣ.

— Мамо... зачѣмъ вы здѣсь?—сказалъ Максимъ Григорьевичъ, отворяя окно.

— О, Максимко!—еле могла выговорить Ганна Матвѣевна, теряя силы.

Максимъ Григорьевичъ подхватилъ ее подъ мышки и втащилъ въ комнату. Ганна Матвѣевна вцѣпилась въ него и зарыдала.

— Що ты робишь, неразумный, що ты робишь!—повторяла она, какъ въ бреду, осыпая поцѣлуями его голову.—Изъ-за жинки ты забылъ все... забылъ мать, которая тебя родила и кормила, въ колыскѣ колыхала, ночей не спала за тобою...

Максимъ Григорьевичъ ослабѣлъ и, опустившись передъ нею на колѣни, цѣловалъ ея худыя, сморщенныя руки.

— Что̀ же мнѣ дѣлать, мамо?—шепталъ онъ.—Не могу я жить безъ моей Оксанки... На что мнѣ теперь все это, на что хуторъ и деньги, когда ея нѣтъ и ничего нѣтъ...

— А я? А Богъ? О, Максимко, молись, молись, проси, чтобы Онъ простилъ твою грѣшную душу!.. Больше Бога ничего нѣтъ на свѣтѣ; Онъ тебя проститъ, Онъ поможетъ, а я, старая, сердце изъ себя выну, чтобы ты, мой любый, не поднималъ на себя руку...

Забытый самоваръ шумѣлъ на столѣ, свѣчи оплывали, бабочки беззвучно носились вокругъ огня, жгли свои крылья и мертвыя падали кругомъ.

Наташа одиноко бродила по комнатамъ, и въ торжественной тишинѣ ночи ей слышались глухіе стоны покинутаго мужа: „Оксанко, Оксанко, гдѣ ты?..“ Но эти страстные стоны заглушались звуками другого голоса, строгаго и твердаго, и Наташа уже не боялась больше за Максима Григорьевича. Съ нимъ была мать...

Прошло около десяти лѣтъ.

Въ маленькой, но уютной и чистенькой квартиркѣ на углу Невскаго и Полтавской, у письменнаго стола передъ окномъ, сидѣла худенькая, горбатая дѣвушка въ темномъ платьѣ и внимательно переписывала литографированныя лекціи. Она такъ была углублена въ свою работу, что и не замѣтила, какъ яркое весеннее солнце подкралось къ ея окну и ударило ей въ глаза, разсыпавъ по столу множество сверкающихъ кружечковъ. Дѣвушка положила перо, выпрямила усталую спину и потянулась. „Разъ, два, три!“—прозвонили въ сосѣдней комнатѣ часы. „Уже

три часа!"—прошептала она, аккуратно складывая исписанные листы. „А Наташи все нѣтъ". Она встала и прошла въ сосѣднюю комнату, гдѣ былъ уже накрытъ обѣденный столъ на два прибора. Горбатая дѣвушка внимательно и заботливо все осмотрѣла, передвинула тарелки, поправила скатерть и взглянула на часы. Въ эту минуту въ передней рѣзко звякнулъ звонокъ, и она бросилась отворять дверь.

Въ переднюю вошла другая дѣвушка и молча стала снимать съ себя пальто и шляпу. Это была Наташа... но не та Наташа, которая когда-то, въ такое же яркое майское утро, рвала въ степи цвѣты. Она сильно измѣнилась и постарѣла. Худыя плечи ея сгорбились, волнистые волосы порѣдѣли и посѣдѣли, и ея прежніе спокойные и ясные глаза смотрѣли теперь тревожно и сумрачно. Но горбунья смотрѣла на нее съ обожаніемъ и торопливо помогала ей раздѣваться.

— Какъ вы долго опять сегодня, Наташа!—сказала она съ робкимъ упрекомъ.—Уже четвертый часъ... а вы и не завтракали сегодня!

Наташа хмурилась и молчала, причесывая передъ зеркаломъ свои короткіе, полусѣдые волосы.

— Вѣдь такъ легко и захворать...—продолжала горбунья еще робче.

— Ахъ, Боже мой, какъ это несносно, наконецъ!—раздражительно воскликнула Наташа.—Ну что̀ это за манера—вѣчно слѣдить за каждымъ моимъ шагомъ... точно я ничего не могу сдѣлать по-своему. Ну, не завтракала и не завтракала... и нечего тутъ хныкать!..

Но, взглянувъ въ огорченное лицо горбуньи, она смягчилась. „Какъ это гадко... вымещать свое скверное настроеніе на этомъ бѣдномъ, преданномъ созданьи!"—подумала она.

— Ну, пойдемте лучше обѣдать,—сказала она ласково.—И знаете, Любаша, кого я нынче встрѣтила и кто у насъ сегодня будетъ въ гостяхъ?

Любаша просіяла.

— А кто?—спросила она.—Я ни за что не угадаю...

— Ну, такъ я и не скажу. Придетъ, тогда сами увидите.

— Ахъ, нѣтъ, скажите! А то я теперь и обѣдать не буду, все буду думать. Знакомый мнѣ? Кто-нибудь изъ Лазоревой?

— Нѣтъ. Ну, такъ и быть, скажу: Максимъ Григорьевичъ. Иду сейчасъ по Невскому и вдругъ вижу—совсѣмъ не петербургская фигура... Я бы его никогда не узнала, еслибы онъ

самъ не подошелъ ко мнѣ. Вотъ вѣдь, бываютъ же такія встрѣчи... Но какъ онъ измѣнился, бѣдный, какъ измѣнился!

Наташа горько вздохнула и задумалась. Любаша тоже притихла, украдкой на нее поглядывая: она знала уже, что въ эти минуты лучше ничего не говорить и не трогать Наташу.

Вечеромъ пришелъ Максимъ Григорьевичъ. Его въ самомъ дѣлѣ было трудно узнать. Могучій станъ его согнулся, голова была совсѣмъ бѣлая, и кромѣ того онъ запустилъ себѣ густую бороду, отчего сталъ похожъ на стараго, матераго казака былыхъ временъ. Только черные добрые глаза его блестѣли по молодому изъ-подъ густыхъ, еще черныхъ бровей, и губы еще не разучились попрежнему добродушно и насмѣшливо улыбаться. Они съ Наташей долго стояли, взявшись за руки и грустно глядя другъ на друга.

— Да,—началъ, наконецъ, Максимъ Григорьевичъ.—Постарѣли-таки мы съ вами, любая моя, Наталья Гавриловна! Да что, вы-то еще ничего, а вотъ я такъ совсѣмъ въ отставку подаю... какъ у нашего Тараса говорится.

И онъ съ чувствомъ продекламировалъ изъ своего любимаго поэта:

„Минають дни, минають ночи...
Пожовкли листя... гаснуть очи,
Заснули думи, серце спить...
И все заснуло, и не знаю,
Чи я живу, чи доживаю,
Чи такъ по світу волочусь,
Бо вже й не плачу, й не сміюсь...“

А Наташа думала въ это время, что все такъ же блещутъ надъ степью безмолвныя зарницы, благоухаютъ травы и цвѣты, поютъ соловьи въ тѣнистыхъ садахъ, дремлютъ росистыя ночи... Только нѣтъ уже на свѣтѣ многихъ изъ тѣхъ, которые когда-то слушали этихъ соловьевъ, смотрѣли на эти зарницы. Нѣтъ—и не будетъ никогда... и молодости нѣтъ. . „волной, въ непогоду, юность прошумѣла“...

Любаша, любопытно выглядывавшая въ дверь, позвала ихъ чай пить.

— Эге-ге-ге!—весело сказалъ Максимъ Григорьевичъ, увидѣвъ ее.—Та ще жъ наша, лазоревская! Ну что, не скучаете здѣсь въ Питерѣ за нашей степью? Да какая же вы важная стали,—настоящій докторъ медицины!

— Ну, хоть не докторъ, а фельдшерица только!—съ скромной гордостью возразила Любаша.

За чаемъ разговоръ сначала какъ-то не клеился. Было черезчуръ много больныхъ мѣстъ, которыхъ боялись касаться оба, и потому говорили о разныхъ пустякахъ, которые совсѣмъ ихъ не интересовали, а въ душѣ каждый думалъ о другомъ. Максимъ Григорьевичъ, какъ человѣкъ болѣе прямой, безхитростный и незнакомый ни съ какими деликатностями, первый заговорилъ о томъ, о чемъ и нужно было. Онъ увидѣлъ на стѣнѣ карточку, на которой Ксаня и Наташа были сняты еще гимназистками, въ форменныхъ платьицахъ, въ бѣлыхъ фартучкахъ и стоячихъ воротничкахъ. Подруги стояли обнявшись; Ксаня откинула назадъ головку всю въ черныхъ кудряхъ, разметанныхъ по плечамъ; губки ея задорно усмѣхались, а глаза глядѣли смѣло и вызывающе; Наташа, гладко зачесанная, серьезная, смотрѣла строго и солидно, какъ большая. Максимъ Григорьевичъ снялъ карточку со стѣны и долго ее разглядывалъ.

— Такая же и всегда была...—со вздохомъ сказалъ онъ.— А что... пишетъ она вамъ когда-нибудь?

— Нѣтъ, мы съ ней не переписываемся,—потупившись, отвѣчала Наташа.—Она мнѣ разъ написала... послѣ того... но я ей не отвѣчала.

— Почему?—съ удивленіемъ спросилъ Максимъ Григорьевичъ.

Наташа покраснѣла.

— Я не могла... Меня такъ возмутилъ ея поступокъ...

— И до сихъ поръ? Э, какая же вы злопамятная!—съ упрекомъ воскликнулъ Максимъ Григорьевичъ и продолжалъ горячо: —Нѣтъ, это вы нехорошо сдѣлали. Она, бѣдная, такъ мучилась... ей нуженъ былъ другъ, поддержать ее нужно было, а вы ей отказали, можетъ быть, въ самую тяжелую минуту.

— А вы—простили?—спросила Наташа.

— Я? Да какже не простить? Развѣ жъ она виновата? Э, да что тамъ!.. Я виноватъ во всемъ. Мы съ ней не пара были, а я, дурень, объ этомъ не подумалъ, когда женился. Ну, подумайте сами, что она тогда была? Совсѣмъ еще маленька дытына... вотъ такая, какъ у васъ на карточкѣ. А тутъ отецъ умеръ... братъ въ тюрьмѣ, дѣла разстроены, въ домѣ ни гроша... а тутъ я, старый чортъ, подвернулся съ своими нѣжностями... Ну, она, моя голубочка, и ухватилась за меня, потому что никого другого около нея не было. Я же тогда одурѣлъ совсѣмъ, и губы распустилъ, и взялъ ее, мою птичку, не подумавши, каково ей будетъ со мной, глупымъ хохломъ, жить. Кто же виноватъ-то по вашему, а?

— Хорошій вы человѣкъ, Максимъ Григорьевичъ?—сказала Наташа, протягивая ему руку.

— Хорошій! — усмѣхнулся тотъ. — Эге, такими хорошими, какъ я, развѣ только тыны подпирать. А вы напрасно сердитесь на нее, Наталья Гавриловна. Она васъ такъ любитъ.

— Да вѣдь и я ее люблю...—порывисто сказала Наташа.— Ахъ, вы не знаете, мнѣ такъ хотѣлось иногда узнать, что̀ съ ней, гдѣ она?!... Разскажите мнѣ о ней, Максимъ Григорьевичъ! Она вамъ пишетъ?

— Какже! Очень часто. Они теперь живутъ въ Одессѣ; у него порядочное мѣсто... уже двое дѣтокъ есть. Она мнѣ недавно прислала карточку... славные такіе бутузики!

— И счастлива она?

Максимъ Григорьевичъ помолчалъ въ раздумьи.

— А что̀, Наталья Гавриловна, по правдѣ сказать, этого я не знаю. Иной разъ будто кажется, что счастливѣе ея и на свѣтѣ нѣтъ, а иной разъ такое письмо получу, что цѣлый день хожу самъ не свой. Простой я человѣкъ, Наталья Гавриловна, и многаго не понимаю, а чую сердцемъ—что-то неладное у нихъ. Не жалуется она, ничего не высказываетъ противъ него, а есть что-то. То онъ боленъ, то хандритъ, то скучаетъ, то дѣла себѣ никакого по душѣ не можетъ найти и мучается, что она должна жить въ нуждѣ и уроками добывать гро̀ши... А оно таки правда, что они сначала здо̀рово нуждались... Ну, теперь, слава Богу, ничего.

— А можетъ быть, это оттого, что ихъ положеніе фальшивое... вѣдь въ провинціи особенно на это нехорошо смотрятъ.

— Ахъ, Господи Боже мой, да вѣдь я тысячу разъ имъ писалъ о разводѣ, и расходы, и все на себя бралъ, — она не хочетъ. Говоритъ: мы виноваты, мы и страдать должны... что-то такое возвышенное, какъ въ романахъ... я ужъ вамъ и разсказать не съумѣю. А на чорта мнѣ все это? Жениться я не женюсь никогда... Не забыть мнѣ своей Оксанки... Буду вотъ такъ себѣ, волкомъ, жить на хуторѣ, копать землю, да гроши собирать... ея же дѣткамъ потомъ пригодится. Все для нея, а мнѣ, старому да сивому, уже ничего не нужно.

— А что Ганна Матвѣевна?

— Э, живетъ себѣ! Согнулась въ три дуги, а все такая же и все такъ же меня за хлопчика считаетъ. Она у меня человѣкъ крѣпкій, старинный,—ее не скоро сломаешь. Набрала себѣ тамъ какихъ-то ребятъ, возится съ ними и ворчитъ на всѣхъ съ утра до ночи. Съ Иваномъ Охримовичемъ подружилась, — помните

его?—и дуются въ дурни. Иной разъ такъ полаются—хоть водой разливай, а три дня не увидятся—и зажурятся. Я ужъ имъ и то говорю: поженитесь вы отъ грѣха!

— Ну, а Холодецъ все такой же?

— Нѣтъ, обрюзгъ здо̀рово. Но наливку все такъ же любитъ и за карманъ крѣпко держится. Но вотъ кто у насъ молодецъ, такъ это батюшка! Помните, вѣдь какой тихонькій былъ и все только бородку поглаживалъ. А теперь общество трезвости въ Лазоревой устроилъ, чайную для рабочихъ, чтенія какія-то съ фонаремъ,—всего и не перечтешь. Наши купцы на него дуже косятся и даже доносъ писали, да дулю съѣли.

— Скажите, а что же... семья Прилукиныхъ?

— Э, семья! Тамъ все прахомъ пошло. Старикъ послѣ того скоро умеръ, остались двѣ эти—старый, да малый, безъ денегъ, безъ ничего. Запутались совсѣмъ, — имѣнье съ молотка пошло. Чекманаевъ купилъ.

— Чекманаевъ?

— Да. Онъ таки еще больше въ гору полѣзъ и все хвалится, что скоро всю Россію купитъ. Ну, Россію-то хоть и не купитъ, а окру̀га наша вся у него въ рукахъ. Немного осталось вотъ такихъ, какъ я, да Холодецъ, да Долгоуховъ, пожалуй. А всѣ прочіе на него работаютъ. Ну, и Прилукиныхъ онъ къ рукамъ прибралъ, вмѣстѣ съ имѣньемъ купилъ — смѣялись у насъ—и матушку, и дочку.

— Купилъ?—вздрогнувъ, сказала Наташа.

— Ну да. Женился вѣдь онъ на Лизѣ-то.

— А Антонида Васильевна?

— Э, она умерла давно. Отъ чахотки. Возилъ онъ ее и въ Москву, и за границу, да отъ смерти развѣ вылечишь? Умерла... въ Лазоревой ее и схоронили... И какая штука вышла: помните, за ней все со̀бачонка бѣгала, Ромашкой звали? Та̀къ вотъ эта самая собачонка повадилась у нея на могилѣ выть. Такую тоску на всѣхъ нагнала, что ужъ ее пристрѣлить хотѣли, да она сама догадалась,—такъ и издохла на могилѣ. А онъ женился. Теперь живутъ въ Прилукахъ,—такой дворецъ выстроили, вы и не узнаете. Винокуренный заводъ тамъ теперь, паровая мельница,—желѣзную дорогу хотятъ проводить. Ну, и Лиза эта молодецъ оказалась,—не чета Антонидѣ Васильевнѣ! Самого въ руки забрала, такъ и вертитъ; онъ передъ ней въ лепешку распластывается, а она у него за спиной куры строитъ. Тамъ у нихъ на мельницѣ техникъ какой-то, такъ, говорятъ, у нихъ съ нимъ не-

чисто... А Оксану принимать не хочетъ, бо разведенная жена... Каковъ дьяволёнокъ?

— Бѣдная Антонида Васильевна!—прошептала Наташа, и на нее вдругъ пахнуло вонью салотопни, удушливымъ смрадомъ обжорства, пьянства и сплетенъ... Она вздрогнула отъ отвращенія.

— Да, много воды уплыло!—со вздохомъ сказалъ Максимъ Григорьевичъ. — Пора уже и въ домовину... А Степанко-то?!— вдругъ вспомнилъ онъ.

Наташа поблѣднѣла и вся съёжилась, точно ее ударили. А Максимъ Григорьевичъ, не замѣчая этого, продолжалъ:

— Пропалъ бѣдный хлопецъ, пропалъ ни за что... и какой собачьей смертью!..

Онъ вдругъ увидѣлъ испуганное лицо Любаши, дѣлавшей ему изъ-за дверей какіе-то таинственные знаки, — и все вспомнилъ. „Экій я старый дурень!"—подумалъ онъ съ досадой.— „Разлетѣлся, какъ чортъ въ вершу... полѣно дубовое!" И чтобы поправить дѣло, онъ заговорилъ весело:

— Да ну, что тамъ перебирать старье! Я, дурень, все вамъ про свое болото балакаю, а и не спрошу, какъ же вы тутъ живете?

— Я? — съ усиліемъ сказала Наташа. — Да что же я?.. Живу, какъ видите, старѣюсь, злюсь... совсѣмъ какъ старая дѣва.

— Ну, это непохоже. Сами вы давеча сказали, что много работаете. Кто много работаетъ, тому злиться некогда.

— А вотъ спросите у Любаши,—она вамъ скажетъ, какъ я не злюсь...

— Неправда, неправда!—послышался изъ темнаго уголка протестующій голосъ.—Надрывается на работѣ,—изъ-за этого и ссоримся. Мало того, что въ школѣ,—еще и по воскресеньямъ занимается, вотъ тутъ, за Невской заставой, въ воскресной школѣ. И все ей мало!

— Дай вамъ Богъ, Наталья Гавриловна!—сказалъ Максимъ Григорьевичъ.—Это вы хорошее дѣло дѣлаете, помогаете темнотѣ.

Наташа жестко и зло разсмѣялась.

— Ахъ, какое это дѣло, Максимъ Григорьевичъ!—возразила она.—Такъ себѣ, суетишься, чтобы забыться... одурить себя чѣмъ-нибудь... а въ сущности никакого дѣла нѣтъ. Просто... „корочка"!

Максимъ Григорьевичъ не успѣлъ возразить. Любаша вы-

ступила изъ своего уголка и, вся красная, взволнованная, съ блестящими глазами, горячо заговорила:

— Ну ужъ, Наташа, если вы это называете корочкой,—я ужъ и не знаю... Это ужъ такъ несправедливо, такъ несправедливо... Такъ работать, какъ вы работаете... да что же это такое? И вдругъ—корочка...

— А что̀ толку изъ моей работы?—раздражительно сказала Наташа.—Ничего... Все какъ было, такъ и есть... и будетъ.

— Ну ужъ нѣтъ!—продолжала Любаша запальчиво.—Это ужъ вы неправду говорите, что никакого толку нѣтъ! Вѣдь и Богъ не въ одинъ день все создалъ, а въ шесть!

— А вѣрно жъ!—одобрительно поддакнулъ Максимъ Григорьевичъ.—Молодецъ-дивчина, такъ и рѣжетъ!

— Да какже, Максимъ Григорьевичъ, вы подумайте сами!—обратилась къ нему Любаша.—Съ ранняго утра и до четырехъ часовъ человѣкъ сидитъ въ школѣ, а вечеромъ—опять книжки и тетрадки, а по праздникамъ—опять въ школу, и глядишь, человѣкъ, который пріѣхалъ изъ деревни, безграмотный, грубый, совсѣмъ какъ дикарь, и вдругъ приходитъ и спрашиваетъ Толстого почитать, или Гаршина, или Тургенева, да еще разбираетъ,—дайте мнѣ то, а не это, дайте мнѣ самое настоящее, чтобы знать, ка̀къ лучше жить надо... И это—корочка? А ужъ что̀, напримѣръ, она для меня сдѣлала,—это ужъ я и не знаю... Что̀ я такое была въ Лазоревой у тетки,—вы помните, Максимъ Григорьевичъ? Хуже самой послѣдней горничной; говорить по человѣчески не умѣла, тряслась, какъ собачонка подъ заборомъ... А теперь я человѣкъ, я фельдшерскіе курсы кончаю, я въ деревню-то приду не съ пустыми руками, не даромъ мужицкій хлѣбъ буду ѣсть, какъ паразитъ какой-нибудь...

— Ахъ, довольно, Люба!—нетерпѣливо перебила ее, наконецъ, Наташа.—Что̀ за раболѣпство такое,—непремѣнно на кого-нибудь молиться?

Но Любаша уже не выдержала больше и вышла изъ комнаты.

— А что жъ, Наталья Гавриловна,—сказалъ Максимъ Григорьевичъ.—Вѣдь она правду говорила: вы таки много хорошаго сдѣлали, и еще, Богъ дастъ, сдѣлаете. Да что̀ здѣсь,—у насъ и то отъ васъ память осталась. Помните овчара—Илью? Онъ и сейчасъ у меня живетъ. А его мальчишка, Кирюшка, который у васъ учился, теперь уже не Кирюшка, а Кириллъ Ильичъ, въ технической школѣ учится. А вѣдь оно съ васъ началось!

Наташа молчала, отвернувшись въ сторону, и по ея нахму-

ренному лицу видно было, что она не желаетъ больше объ этомъ говорить.

Максимъ Григорьевичъ ушелъ, а Наташа долго еще не спала, и Люба изъ своей комнаты съ замираніемъ сердца прислушивалась къ однообразному стуку ея шаговъ. Встрѣча съ Максимомъ Григорьевичемъ разбудила въ ней дремавшія воспоминанія, и все, все далекое прошлое встало теперь передъ нею и разбередило полу-зажившія старыя раны. Вспомнился Червоный хуторъ, вспомнились жаркія лѣтнія ночи, и безпокойныя зарницы, и Настасьинъ курганъ, и бурныя южныя грозы... Потомъ вспомнилось угрюмое петербургское осеннее утро... мелкій дождь... безмолвная толпа и мрачный грохотъ барабановъ. И она была тоже въ этой безмолвной толпѣ, и слышала грохотъ барабановъ... „Для чего, Степанъ, все это было, для кого?!"

Наташа бросилась ничкомъ на постель, и судорожныя рыданія огласили комнату. За дверью послышался тревожный топотъ босыхъ ногъ.

— Наташа!.. Наташа, вы не спите?

Наташа затаила рыданія и не отвѣчала. За дверью пронесся легкій вздохъ, босыя ноги удалились, и все затихло.

Рано утромъ, Наташа уже была на ногахъ. Она была страшно блѣдна; синія тѣни лежали подъ глубоко запавшими глазами, морщины на лицѣ обозначились рѣзче, а крѣпко сжатыя губы и нахмуренныя брови придавали ей еще болѣе замкнутый и недоступный видъ. Молча она пересмотрѣла свои тетрадки, наскоро выпила чашку чаю и ушла, холодно простившись съ Любашей, которая, не смѣя ни о чемъ разспрашивать, проводила ее печальнымъ взглядомъ.

Городъ уже просыпался, когда Наташа вышла на улицу. Съ грохотомъ протянулись съ вокзала тяжело нагруженные возы; дѣловито шипя, проползъ трамвай; школьники съ сумками черезъ плечо, толкаясь и смѣясь, бѣжали по троттуарамъ, и ихъ тоненькіе голоса, похожіе на чириканье воробьевъ, звенѣли въ утреннемъ воздухѣ. Надъ городомъ дымился цѣлый лѣсъ фабричныхъ трубъ; фабрики и заводы были уже на всемъ ходу. Ихъ громадные корпуса тяжко дышали и содрогались отъ внутренней напряженной работы; глухой гулъ машинъ и жужжаніе приводовъ доносились оттуда. Сотни оконъ, точно глаза какихъ-то миѳическихъ чудовищъ, чернѣли на ихъ каменныхъ лицахъ, и всѣ эти глаза смотрѣли на Наташу внимательно и сторожко, какъ будто слѣдя за нею, и въ гулѣ машинъ чудились ей могучіе, зовущіе голоса. Казалось, эти многоглазые каменные ве-

ликаны говорили ей: „Пусть себѣ на Червономъ хуторѣ блещутъ зарницы, и дымятся курганы; пусть волнуется тамъ море золотой пшеницы, и цвѣтутъ и отцвѣтаютъ розы, родятся и умираютъ Кирюшки,—что̀ тебѣ за дѣло? *То* прошло—и не вернется; теперь мы—будущее; мы—сила; иди къ намъ и служи намъ“...

Но Наташа отзывалась не на ихъ могучіе призывы, и шла своею доро̀гой...

В. І. Дмитріева.

ЦѢЛЬ и НАЗНАЧЕНІЕ
ДОМОВЪ ТРУДОЛЮБІЯ

ОЧЕРКЪ.

I.

Практика и теорія—двѣ родныя сестры, но одна—любимая, а другая — нелюбимая общею матерью ихъ — жизнью. Всякая теорія, по своему происхожденію, всегда находится въ самой тѣсной связи и съ жизнью, и съ практикою,—но всякій разъ, когда ей приходится съ ними сталкиваться по какому-нибудь вопросу, она должна съ ними же выдерживать упорную борьбу, и затѣмъ сплошь и рядомъ дѣлать имъ значительныя уступки.

Когда у насъ впервые идея трудовой помощи,—помощи безработнымъ посредствомъ доставленія имъ работы,—нашла себѣ примѣненіе и начали основываться наши первые „дома трудолюбія", то цѣль и назначеніе ихъ въ теоріи были намѣчены вполнѣ правильно: всѣ они ставили себѣ задачею бороться съ бѣдностью и нищетою путемъ предоставленія честнаго труда здоровому и трудоспособному, но несчастному человѣку, лишь случайно очутившемуся лицомъ къ лицу съ грознымъ призракомъ нужды. Вѣроятно, такъ и было бы оно на практикѣ, еслибы теоріи и въ данномъ случаѣ, какъ и въ тысячѣ другихъ, не пришлось столкнуться съ несовершенствомъ практическихъ условій жизни, и въ непосильной борьбѣ съ ними по неволѣ поступиться нѣкоторыми даже наиболѣе существенными и основными своими требованіями. Самымъ главнымъ такимъ несовершенствомъ явился общій недостатокъ всей нашей системы борьбы съ бѣдностью—почти

полное отсутствіе ея правильной специализаціи. Это заставило и наши дома трудолюбія по неволѣ выходить за предѣлы намѣченнаго ими круга дѣятельности и направлять свои силы не всегда на такой родъ помощи, который долженъ былъ собственно служить ея содержаніемъ, и не всегда при такихъ условіяхъ, при которыхъ они дѣйствительно могли бы достигнуть своей цѣли въ ряду другихъ отдѣльныхъ мѣръ борьбы съ бѣдностью.

Пока наши дома трудолюбія основывались въ самой столицѣ, гдѣ все-таки система этой борьбы лучше, чѣмъ въ провинціи, имъ удавалось еще въ бо̀льшей или меньшей степени держаться своего чистаго типа. Но уже первый опытъ основанія дома трудолюбія въ провинціи—въ Псковѣ—поставилъ его лицомъ къ лицу съ весьма важнымъ вопросомъ о томъ, можетъ ли онъ ревниво охранять свое назначеніе, какъ учрежденія, предназначеннаго исключительно для лицъ, добровольно въ него вступающихъ и дѣйствительно ищущихъ труда, и что̀ въ такомъ случаѣ дѣлать съ тѣми бѣдняками и нищими, которые добровольно въ него не пойдутъ. Такъ какъ для такихъ нищихъ у насъ спеціально рабочихъ домовъ съ принудительнымъ трудомъ нѣтъ, а соблазнъ воспользоваться и для нихъ домомъ трудолюбія былъ слишкомъ великъ, стали и ихъ принимать туда, такъ что въ составѣ „трудолюбцевъ" оказались уже не только тѣ несчастные, для которыхъ онъ былъ предназначенъ, и которые, говоря словами Высочайшаго указа Правительствующему Сенату 1-го сентября 1895 года, „*тщетно ищутъ* себѣ заработка и пріюта",—но и такіе нищіе, которые препровождались сюда полиціею, и для которыхъ пребываніе въ домѣ трудолюбія является наказаніемъ. Когда, затѣмъ, былъ открытъ еще одинъ домъ трудолюбія въ провинціи—въ Смоленскѣ, то ему пришлось на первыхъ же порахъ столкнуться съ новымъ препятствіемъ, съ которымъ онъ также оказался не въ силахъ бороться и принужденъ былъ поэтому уступить. Дѣло въ томъ, что между массою нищихъ, которыхъ полиція препровождала въ домъ трудолюбія съ тѣмъ, чтобы они тамъ работою снискивали себѣ пропитаніе, оказалось очень много дряхлыхъ, калѣкъ, престарѣлыхъ, которые къ работѣ были безусловно неспособны, и мѣсто которыхъ было не въ домѣ трудолюбія, а въ богадельнѣ. Однако, въ виду полнаго отсутствія свободныхъ мѣстъ въ богадельняхъ, дому трудолюбія представлялась слѣдующая альтернатива: или не принять этихъ людей,—и такимъ образомъ предоставить имъ просить милостыню для того, чтобы не умирать голодною смертью,—или же принять ихъ къ себѣ, не предъявляя къ нимъ обязательнаго, по

самому существу назначенія дома трудолюбія, требованія работы. Конечно, надъ такою грозною дилеммою размышлять долго было нечего—и домъ трудолюбія принялъ къ себѣ этихъ несчастныхъ, значительно отступивъ въ этомъ случаѣ отъ своего назначенія и создавъ очень опасный прецедентъ, который, быть можетъ, немало способствовалъ осложненію чистаго типа дома трудолюбія. Еще болѣе усложнился этотъ типъ съ тѣхв поръ, какъ въ саратовскомъ домѣ трудолюбія, въ 1892 году, кѣмъ-то изъ рабочихъ былъ оставленъ ребенокъ, родители котораго не могли быть разысканы. Въ это же самое время, въ домѣ трудолюбія умерли двѣ изъ призрѣваемыхъ женщинъ и оставили послѣ себя также двухъ сиротъ. Опять предъ правленіемъ дома возникъ вопросъ, что̀ дѣлать съ этими дѣтьми; и такъ какъ помѣстить ихъ было буквально некуда, то по неволѣ пришлось оставить ихъ въ домѣ трудолюбія и положить такимъ образомъ начало дѣтскому отдѣленію. Съ тѣхъ поръ и другіе наши дома трудолюбія по неволѣ начинали и продолжали свою дѣятельность въ подобномъ же направленіи, и такимъ образомъ создался у насъ тотъ смѣшанный типъ дома трудолюбія, который теперь является, къ сожалѣнію, преобладающимъ. Конечно, наиболѣе глубокая и коренная причина этого заключается въ томъ, что у насъ вообще ощущается значительный недостатокъ въ правильно организованныхъ спеціальныхъ благотворительныхъ учрежденіяхъ, и многіе дома трудолюбія по неволѣ, изъ чувства человѣколюбія, принуждены осуществлять непринадлежащія имъ функціи. Конечно, будь у насъ правильно организованы богадельни для стариковъ и безсильныхъ, воспитательные пріюты для дѣтей, рабочіе дома съ принудительнымъ трудомъ для нищихъ - тунеядцевъ — дому трудолюбія не пришлось бы въ одно и то же время быть и богадельнею, и дѣтскимъ пріютомъ, и рабочимъ домомъ, куда нищіе препровождаются полиціею, и едва ли не меньше всего—настоящимъ домомъ трудолюбія. Въ этомъ—все оправданіе существующаго порядка вещей, но въ этомъ мы боимся и начала органическаго разложенія правильной идеи трудовой помощи, а поэтому надъ этимъ вопросомъ стоитъ остановиться.

II.

Въ самомъ дѣлѣ, для кого собственно долженъ быть назначенъ домъ трудолюбія? Въ томъ, что онъ не долженъ служить мѣстомъ призрѣнія для нетрудоспособныхъ — стариковъ и боль-

ныхъ—не можетъ быть и сомнѣнія; относительно того, долженъ ли онъ быть предназначенъ для дѣтей — можно еще спорить; вѣрнѣе все-таки то, что для дѣтей нужны не дома трудолюбія, а воспитательные пріюты, въ которыхъ, конечно, помощь дѣтямъ должна отличаться глубокимъ и внутреннимъ характеромъ, а не временнымъ, какимъ по самому существу своему является помощь домовъ трудолюбія; конечно, всякій пойметъ, что, говоря такъ о домахъ трудолюбія, мы имѣемъ въ виду не названіе ихъ, а ихъ внутреннее содержаніе; можно, конечно, назвать домомъ трудолюбія обыкновенный дѣтскій воспитательный пріютъ, который преслѣдуетъ цѣль воспитанія въ дѣтяхъ привычки къ труду и къ честной самостоятельной жизни. Но такія учрежденія, намъ кажется, будутъ домами трудолюбія лишь по имени, потому что главною ихъ цѣлью явится не временное предоставленіе дѣтямъ честнаго труда и пріюта, которое должно быть содержаніемъ дѣятельности дома трудолюбія, а все вообще воспитаніе міровоззрѣнія у ребенка, которое требуетъ не одного и не двухъ лѣтъ. Такіе дѣтскіе дома трудолюбія у насъ на практикѣ обратились въ обычные воспитательные пріюты, и, намъ кажется, удерживать за ними названіе дома трудолюбія было бы большою ошибкою по отношенію къ идеѣ трудовой помощи. Названіе имѣетъ гораздо большее значеніе, чѣмъ обыкновенно думаютъ, и съ нимъ нужно быть очень осторожнымъ [1]). Поэтому намъ представляется, между прочимъ, очень нежелательнымъ такое явленіе, какъ, напримѣръ, фактъ названія въ Тамбовѣ и въ Рязани благотворительнаго учрежденія трудовой помощи не домомъ трудолюбія, а „Работнымъ домомъ", съ именемъ котораго не только въ глазахъ простого народа, для котораго онъ предназначенъ, но и у людей образованныхъ, часто связано представленіе о репрессивномъ заведеніи съ принудительнымъ трудомъ. Сдѣлано это было въ Тамбовѣ и въ Рязани потому, что въ городѣ уже существовало особое учрежденіе, называвшееся „Домомъ трудолюбія"; заведенія эти представляютъ собою обыкновенный дѣтскій воспитательный пріютъ со школой при немъ — и вотъ, вмѣсто того, чтобы дать этому пріюту подходящее названіе, а домомъ трудолюбія назвать вновь открываемое учрежденіе, за нимъ было

---

[1]) Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что едва ли можно вообще признать вполнѣ удачнымъ названіе: „Домъ трудолюбія", несомнѣнно представляющееся довольно смутнымъ тѣмъ классамъ населенія, которымъ приходится пользоваться его помощью. Намъ не разъ случалось слышать, что многіе называютъ его „Домомъ Трудолюбова", принимая его такимъ образомъ за частное заведеніе, содержимое владѣльцемъ, по фамиліи Трудолюбовымъ.

оставлено прежнее названіе, а настоящему дому трудолюбія, въ отличіе отъ него, было дано названіе „Работнаго дома" — имя стараго наслѣдія прежней нашей благотворительности, оставившаго по себѣ такую плохую память [1]).

Къ вопросу о дѣтскихъ домахъ трудолюбія и о степени пригодности такого рода помощи для дѣтей мы еще возвратимся, и потому теперь будемъ продолжать изслѣдованіе имѣющаго для насъ несомнѣнную важность вопроса о томъ, для кого долженъ быть предназначенъ домъ трудолюбія. Мы пришли уже къ тому заключенію, что такъ какъ по самому существу своей задачи домъ трудолюбія долженъ оказывать трудовую помощь, то съ этой точки зрѣнія онъ не можетъ быть пригоденъ ни для престарѣлыхъ и безсильныхъ, для которыхъ трудъ является въ большей или меньшей мѣрѣ утопіею; ни для дѣтей, для которыхъ предоставленіе труда должно быть во всякомъ случаѣ не главною цѣлью, а лишь нитью — правда, руководящею, которая должна служить основнымъ мотивомъ всей системы ихъ воспитанія. Остается еще одинъ вопросъ, должны ли находить себѣ въ домахъ трудолюбія помощь, хотя бы даже и трудовую, тѣ дѣйствительно физически способные къ труду люди, которые, однако, не хотятъ сдѣлать трудъ содержаніемъ всей своей жизни, и въ особенности тѣ, которые вовсе не хотятъ работать и должны быть принуждаемы къ труду силою—все равно, физическою или психическою,—однимъ словомъ, люди, такъ сказать, нравственно нетрудоспособные.

На этотъ вопросъ мы рѣшаемся отвѣтить категорическимъ отрицаніемъ, и, намъ кажется, на защиту нашего мнѣнія должно выступить то весьма простое, но весьма важное соображеніе, что даже въ самомъ лучшемъ случаѣ такіе люди нуждаются въ воспитательномъ воздѣйствіи, пожалуй, даже болѣе дѣтей, потому что дѣти все-таки представляютъ собою сырой матеріалъ, а эти люди уже въ корень испорчены жизнью. И если мы хотя и въ теоріи не можемъ отрицать необходимости для дѣтей особыхъ пріютовъ преимущественно воспитательнаго типа, то, намъ кажется, нечего и говорить, что для такихъ людей „съ утраченной честью и израненною совѣстью" нужно еще болѣе послѣдо-

[1]) Въ этомъ отношеніи мы можемъ, для подкрѣпленія нашего мнѣнія, сослаться на слова такого авторитета, какъ Роб. ф.-Моль, который говоритъ буквально слѣдующее: „Schon der Name den man der Anstalt giebt, ist von Bedeutung; unter keinen Umständen darf er dergleich sein mit der von Zwangsarbeitshäusern oder von Strafgefängnissen geführten Bezeichnung". (Статья его: „Arbeitshäuser", въ Staatslexicon von Rotteck und Welker).

вательное проведеніе воспитательнаго принципа. Нельзя соединять подъ одною кровлей и подчинять одному и тому же режиму и самаго честнаго человѣка, нуждающагося дѣйствительно въ кратковременной трудовой помощи, которая должна служить ему поддержкою, и профессіональнаго нищаго—нерѣдко закоренѣлаго преступника, для котораго трудъ долженъ служить только однимъ—правда, наиболѣе могучимъ—изъ средствъ его нравственнаго воспитанія. Если мы предназначаемъ для первыхъ дома трудолюбія, то для вторыхъ нужны особыя исправительныя заведенія съ воспитательнымъ характеромъ —можно было бы, пожалуй, назвать ихъ трудовыми колоніями и образовать ихъ по типу нѣмецкихъ „Arbeitercolonien“, или нашего „Евангелическаго дома трудолюбія“. Для нихъ правильнѣе всего и практичнѣе всего была бы организація земледѣльческаго труда, который является, по даннымъ опыта, также однимъ изъ лучшихъ воспитательныхъ средствъ; въ нихъ продолжительность пребыванія должна была бы во много разъ превосходить срокъ пребыванія въ домѣ трудолюбія; въ нихъ, однимъ словомъ, преобладающею должна была бы являться идея перевоспитанія—спасенія человѣка, а не предоставленія ему лишь матеріальной помощи. Конечно, и въ эти колоніи должны были бы быть принимаемы далеко не всѣ безъ разбору преступные несчастные—здѣсь мѣсто только тѣмъ, у которыхъ нравственная проказа охватила еще не всѣ члены, и которые подаютъ надежду еще на исцѣленіе; по отношенію къ безнадежнымъ, если только дѣйствительно такіе есть, по неволѣ приходится ограничиваться репрессивными мѣрами, изолированіемъ ихъ отъ общества, для котораго они могутъ явиться гибельною заразою, хуже проказы и чумы. Только при такой правильной индивидуализированной системѣ борьбы съ преступностью и матерью ея—нуждою—можно достигнуть дѣйствительно здоровыхъ результатовъ. Смѣшивать такія различныя, и по существу, и по цѣли своей, учрежденія, какъ тѣ, которыя мы называемъ домами трудолюбія, съ заведеніями, въ которыхъ преобладаетъ характеръ воспитательный и исправительный—это значитъ, быть можетъ, рыть яму и тѣмъ, и другимъ, и во всякомъ случаѣ первымъ. Мы не хотимъ, конечно, дѣлать въ данномъ случаѣ какія бы то ни было пессимистическія предвѣщанія; обратимся лучше назадъ и посмотримъ на примѣръ англійскихъ „workhouses“ „Оливера Твиста“—страшилище и предметъ ужаса и для благотворителей, и для несчастныхъ, которые волей-неволей должны были пользоваться такою „благотворительностью“; посмотримъ на французскія „dépôts de mendicité“, которыя обратились въ „dépôts de repos“—и всѣхъ

связанныхъ съ праздностью пороковъ; вспомнимъ наши печальной памяти „работные дома", недалеко отставшіе отъ своихъ западно-европейскихъ образцовъ, и примемъ съ своей стороны всѣ мѣры предосторожности. А что опасаться намъ дѣйствительно есть чего, и что мы не преувеличиваемъ,—этому самымъ нагляднымъ доказательствомъ могутъ служить отзывы нѣкоторыхъ близкихъ къ жизни практиковъ, которымъ, по ихъ словамъ, неоднократно—въ отвѣтъ на предложеніе ихъ какому-нибудь несчастному обратиться въ домъ трудолюбія—слышались исполненныя горделиваго самолюбія или притворнаго достоинства слова: „я еще не дошелъ до этого". (См. „Вѣстникъ Благотворительности", 1897, мартъ, статья г. Лутковскаго).

Интересную иллюстрацію того, насколько наши дома трудолюбія уклоняются въ этомъ отношеніи отъ своихъ прямыхъ задачъ, и какія это влечетъ за собою гибельныя послѣдствія, можно видѣть на примѣрѣ варшавскихъ домовъ трудолюбія, вербующихъ большинство своихъ „трудолюбцевъ" изъ среды нищихъ. Варшавскіе дома трудолюбія въ состояніи помѣстить у себя около 1.000 „трудолюбцевъ", а между тѣмъ, по словамъ отчета, за 1895 годъ, максимальная цифра работающихъ доходитъ лишь до 216 человѣкъ, опускаясь въ лѣтнее время даже до 58. Было бы, однако, ошибочно заключить отсюда, что нужда въ Варшавѣ не велика, и что въ ней мало людей, способныхъ къ труду, но не имѣющихъ и ищущихъ его. Оказывается, по словамъ того же отчета, что въ Варшавѣ такихъ людей очень много—1.146 человѣкъ,—и что поэтому въ „домѣ трудолюбія работаютъ едва 12% тѣхъ, которые должны были бы искать себѣ въ нихъ занятія". Имѣя въ виду, что вычисленія эти относятся не къ нищимъ-профессіоналистамъ, а къ истиннымъ бѣднякамъ, которые хотятъ и могутъ работать,—намъ кажется, мы не ошибемся, если предположимъ, что одною изъ причинъ непопулярности дома трудолюбія въ средѣ населенія является господствующій въ нихъ контингентъ нищихъ. Тверской домъ трудолюбія имѣетъ мужество даже оффиціально признать весь вредъ этого преобладанія нищенскаго элемента, констатируя въ своемъ отчетѣ за 1895 годъ, что „мѣстные бѣдные, честные и нравственные труженики, впавшіе въ бѣдность, благодаря упадку ремесла, семейныхъ обстоятельствъ, болѣзни и вообще несчастно сложившимся обстоятельствамъ, чуждались дома трудолюбія, считая его предназначеннымъ для профессіональныхъ нищихъ и людей съ падшею нравственностью, среди коихъ они не надѣялись поправить свое матеріальное положеніе, а боялись потерять

свою репутацію". Вотъ къ чему уже привелъ существующій у насъ типъ дома трудолюбія, и уже по одному этому можно судить, къ чему онъ можетъ привести при дальнѣйшемъ неправильномъ своемъ развитіи, если противъ этого не будутъ приняты своевременно мѣры.

III.

Намъ кажется, мы не навяжемъ ничего лишняго самому „Положенію о попечительствѣ о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ", если будемъ толковать его I-й параграфъ [1]), въ которомъ говорится о назначеніи дома трудолюбія, въ томъ именно смыслѣ, какъ понимаемъ его мы сами. Правда, редакція этого параграфа не говоритъ прямо о томъ, что помощью дома трудолюбія не должны пользоваться старики, безсильные, дѣти или нищіе, у которыхъ прошеніе милостыни обратилось въ постоянное занятіе. Но зато, съ другой стороны, самое содержаніе дѣятельности дома трудолюбія — предоставленіе честнаго труда и пріюта—исключаетъ всякую возможность оказанія ими помощи людямъ нетрудоспособнымъ — престарѣлымъ и безсильнымъ—и даетъ основаніе предполагать, что изъ числа лицъ, могущихъ разсчитывать на помощь дома трудолюбія, должны быть исключены также и дѣти, которымъ нуженъ прежде всего не трудъ, а правильное воспитаніе—о чемъ этотъ I-й параграфъ не говоритъ ни одного слова. Остается, все-таки, еще одинъ вопросъ— должны ли находить себѣ въ домѣ трудолюбія помощь одинаково и честные труженики, лишь временно оставшіеся безъ заработка, и нищіе-профессіоналисты, даже при томъ условіи, если они добровольно явятся въ домъ трудолюбія. Въ редакціи I-го параграфа Положенія мы опять-таки не найдемъ прямого отвѣта на нашъ вопросъ; по его словамъ, помощь должна оказываться „бездомнымъ, выпущеннымъ изъ больницъ и не имѣющимъ еще заработка, освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія по отбытіи наказанія и всѣмъ вообще впавшимъ въ крайнюю бѣдность". Повидимому, прямыхъ указаній на то, что въ домъ трудолюбія могутъ быть принимаемы и нищіе—нѣтъ, потому что въ перечисленіи отдѣльныхъ разрядовъ „трудолюбцевъ" они не упомянуты; можно, конечно, видѣть ихъ въ общемъ опредѣленіи

[1]) „Назначеніе Дома Трудолюбія—приходить на помощь бездомнымъ, выпущеннымъ изъ больницъ и неимѣющимъ еще заработка, освобожденнымъ изъ мѣстъ заключенія по отбытіи наказанія и всѣмъ вообще впавшимъ въ крайнюю бѣдность предоставленіемъ имъ честнаго труда и пріюта".

„всѣхъ вообще впавшихъ въ крайнюю бѣдность"; но, намъ кажется, если мы вдумаемся въ это выраженіе и попробуемъ толковать его, то и въ немъ мы увидимъ скорѣе подтвержденіе нашего убѣжденія, чѣмъ его опроверженіе. Самое выраженіе: „*впавшихъ* въ крайнюю бѣдность"—относится, повидимому, къ людямъ лишь случайно и недавно познакомившимся съ нуждою и еще не поддавшимся ея гибельному вліянію, а не ко всѣмъ вообще *находящимся* въ крайней бѣдности, къ разряду которыхъ можно безразлично отнести и честнаго труженика, и нищаго-профессіоналиста. Мы позволяемъ себѣ въ этомъ выраженіи: „впавшимъ въ крайнюю бѣдность", видѣть указаніе на назначеніе дома трудолюбія приходить на помощь именно людямъ, лишь случайно очутившимся лицомъ къ лицу съ нуждою, но не сдѣлавшимся еще ея рабами. Нѣкоторое противорѣчіе съ этимъ общимъ положеніемъ можно найти еще въ указаніи приходить на помощь освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія по отбытіи наказанія, — среди нихъ также бываетъ довольно мало такихъ, которые „тщетно ищутъ заработка и пріюта",—этотъ контингентъ, уже подышавшій удушливою атмосферою тюрьмы, въ большинствѣ случаевъ такъ же, какъ и дѣти, и какъ нищіе-профессіоналисты, нуждается гораздо болѣе въ поддержкѣ нравственной, чѣмъ матеріальной. Поэтому несомнѣнно, что и ему мѣсто скорѣе въ особыхъ заведеніяхъ, конечно, также съ трудомъ, но на-ряду съ нимъ и преимущественно съ воспитательнымъ характеромъ, который долженъ облегчить имъ переходъ отъ тюрьмы къ жизни. Домъ трудолюбія долженъ оставаться убѣжищемъ лишь для случайныхъ бѣдняковъ — людей, оставшихся на время безъ работы и ищущихъ ея, но, во всякомъ случаѣ, не для преступниковъ, нравственно неспособныхъ къ труду,—для нихъ должны быть устроены спеціальныя заведенія, которыя могли бы воспитать въ нихъ эту способность, и которымъ, въ силу приведенныхъ уже нами соображеній, надо дать также и особое, самостоятельное названіе. Въ томъ, что наше толкованіе I-го параграфа Положенія не было произвольно, насъ, повидимому, можетъ убѣдить новое опредѣленіе назначенія дома трудолюбія, которое мы находимъ въ „Примѣрномъ уставѣ Попечительнаго Общества о Домѣ Трудолюбія", составленномъ „Попечительствомъ о домахъ трудолюбія", и которое выражается въ слѣдующихъ словахъ: „Общество имѣетъ назначеніемъ оказывать срочную, по возможности, недолговременную помощь бездомнымъ, выпущеннымъ изъ больницъ и не имѣющимъ еще заработка, освобождаемымъ изъ мѣстъ заключенія по отбытіи наказанія и всѣмъ вообще впавшимъ въ

крайнюю бѣдность, посредствомъ предоставленія имъ труда и пріюта—впредь до болѣе прочнаго устройства ихъ судьбы опредѣленіемъ къ постояннымъ занятіямъ или помѣщеніемъ на постоянное призрѣніе". При такой редакціи назначенія дома трудолюбія, онъ не долженъ, да и не можетъ оказывать нищимъ ту помощь, въ которой они нуждаются,—этого ему не позволяютъ ни кратковременность помощи, ни необходимость опредѣлить своего призрѣваемаго къ постояннымъ занятіямъ.

Правда, что при такихъ условіяхъ назначенія дома трудолюбія можно опасаться, что онъ потеряетъ всякую способность непосредственно бороться съ нищенствомъ. Но мы убѣдимся дальше, что онъ не имѣетъ ея и теперь, и что такая борьба не подъ силу ему при строго-добровольномъ характерѣ поступленія въ него. Бороться съ нищенствомъ онъ можетъ и долженъ только въ качествѣ учрежденія предупредительнаго, только однимъ путемъ, указаннымъ еще Боссюэ въ слѣдующихъ его словахъ: „если вы хотите, чтобы не было нищенства, позаботьтесь, чтобы не было нищеты".

Однако, на практикѣ наши дома трудолюбія, какъ мы видѣли, значительно уклоняются отъ того типа, который, повидимому, долженъ являться для нихъ чистымъ, освобожденнымъ отъ всякихъ посторонних наслоеній. Большинство изъ нихъ ставятъ своею задачею не предупрежденіе развитія нищенства, а „противодѣйствіе тунеядству и нищенству", т.-е., стало быть, признаютъ лицами, входящими въ кругъ ихъ попеченія, преимущественно нищихъ, а не людей, лишь случайно оставшихся безъ заработка. По отношенію къ такому контингенту кратковременный характеръ помощи домовъ трудолюбія, конечно, не можетъ привести къ какимъ-нибудь дѣйствительнымъ результатамъ. Даже если мы и оставимъ въ сторонѣ тотъ воспитательный характеръ, который, по нашему мнѣнію, долженъ быть необходимымъ условіемъ помощи, оказываемой нищимъ, и предположимъ, что и по отношенію къ нимъ, какъ и ко всѣмъ вообще другимъ нуждающимся, можно ограничиться оказаніемъ только трудовой помощи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова,—то и въ такомъ случаѣ мы натолкнемся на практическую невозможность осуществленія этого.

Случайному бѣдняку—честному труженику—мы оказываемъ помощь въ томъ разсчетѣ, что она дастъ ему возможность избѣгнуть нищеты и добиться постояннаго мѣста, которое должно обезпечить ему его дальнѣйшую жизнь. Что касается нищихъ, то по отношенію къ нимъ на это очень трудно разсчитывать уже по одному тому, что и сами они, по большей части, не хотятъ

получить постоянныхъ мѣстъ, на которыхъ и трудъ гораздо серьезнѣе, чѣмъ простая и несложная работа дома трудолюбія, и которыя должны значительно стѣснить ихъ свободу, между тѣмъ какъ въ домѣ трудолюбія они могутъ являться, когда они хотятъ, и оставаться тамъ, сколько они хотятъ. Разумѣется, они предпочитаютъ оставаться въ домѣ трудолюбія, гдѣ они могутъ, при самомъ незначительномъ трудѣ, сохранить за собою полную свободу дѣйствій, и поэтому на практикѣ многіе наши дома трудолюбія обращаются въ дома для нищихъ, которые, по большей части, остаются въ нихъ цѣлыми мѣсяцами и годами, отъ времени до времени отлучаясь на уличную свободу. Вдобавокъ, такіе нищіе питаютъ глубокое отвращеніе къ труду, котораго, конечно, не можетъ побороть въ нихъ двухъ- или трехъ-дневное пребываніе въ домѣ трудолюбія, или даже хотя бы и продолжительное пребываніе, но прерываемое частыми отлучками съ цѣлью „пострѣлять“ по городу, и поэтому трудъ свой они обращаютъ въ какую-то пародію. Бываютъ даже нерѣдко случаи, что такіе „трудолюбцы“ совершенно отказываются отъ работы, и тогда дому трудолюбія по неволѣ приходится опускать руки, потому что онъ не имѣетъ въ своемъ распоряженіи принудительныхъ средствъ, —иначе онъ лишился бы своего основного добровольнаго характера. Вотъ что̀ мы читаемъ, напримѣръ, въ отчетѣ архангельскаго дома трудолюбія за 1894—95 годы: „Большинство не хотѣло знать никакой работы, но, однако, считало, что общество обязано давать имъ не только пріютъ, но и кормить ихъ“. Почти то же самое, но только въ нѣсколько иной, даже болѣе рѣзкой формѣ, высказываетъ и отчетъ варшавскихъ домовъ трудолюбія за 1895 годъ. Оказывается, что „многіе нищіе, не зная еще настоящаго характера дома трудолюбія, являются въ него въ надеждѣ получить даровой или дешевый обѣдъ, и въ отвѣтъ на предложеніе имъ работы ограничиваются только тѣмъ, что уходятъ молча, а громадное большинство даже не можетъ скрыть своего негодованія, выражая его весьма опредѣленно“.

То же самое произошло въ Екатеринбургѣ, гдѣ, по словамъ отчета дома трудолюбія за 1897 годъ, „на всѣ предложенія замѣнить прошеніе милостыни въ домѣ трудолюбія нищіе отвѣчаютъ категорическимъ отказомъ, ссылаясь почти всегда на однѣ и тѣ же причины, что домъ трудолюбія находится далеко,—не болѣе версты отъ центра города“.

Еще хуже бываетъ въ нѣкоторыхъ другихъ домахъ трудолюбія, гдѣ нищіе не только отказываются работать, но даже нарушаютъ внутренній порядокъ въ домѣ и требуютъ за собою

неослабнаго надзора. Въ слободскомъ домѣ трудолюбія, черезъ полтора мѣсяца послѣ его открытія, призрѣваемые, воспользовавшись случаемъ отсутствія смотрителя, ушли на кладбище за подаяніемъ и, возвратившись, обѣдали въ домѣ трудолюбія. Въ с.-петербургскомъ домѣ трудолюбія для мужчинъ „многіе заявляли, что они будутъ пріискивать себѣ поденныя частныя работы на сторонѣ; но этотъ выходъ на сторону нерѣдко являлся не болѣе, какъ предлогомъ для бродяжничества по городу, средствомъ же для питанія при этомъ являлось нищенство. Весьма многіе изъ членовъ общества видѣли своихъ призрѣваемыхъ ходящими по улицамъ и стоящими на панеляхъ съ протянутой для подаянія рукой".

Мы не говоримъ уже здѣсь о томъ, что нищій и при желаніи не всегда можетъ подыскать для себя мѣсто, такъ какъ далеко не всякій захочетъ принять его къ себѣ. Съ этой точки зрѣнія намъ представляется также особенно опаснымъ смѣшеніе въ домахъ трудолюбія нищихъ съ честными тружениками, потому что одинъ нищій, принятый на мѣсто изъ дома трудолюбія и обманувшій оказанное ему довѣріе, лишитъ возможности опредѣлить на мѣста цѣлый десятокъ честныхъ тружениковъ, дѣйствительно нуждающихся въ нихъ.

IV.

Возвращаясь къ главному, интересующему насъ въ данную минуту, вопросу о цѣли домовъ трудолюбія въ томъ видѣ, какъ она выражена въ отдѣльныхъ ихъ уставахъ, мы убѣждаемся, что въ большинствѣ случаевъ она дѣйствительно не ограничивается кратковременною трудовою помощью лицамъ, случайно столкнувшимся съ нуждою, и что поэтому и самый родъ оказываемой ими помощи, и въ особенности контингентъ лицъ, которымъ она должна быть оказываема, даже и по самому уставу представляютъ слишкомъ пестрое и поэтому не всегда желательное разнообразіе. Къ сожалѣнію, въ нашихъ рукахъ находятся далеко не всѣ уставы существующихъ у насъ въ Россіи домовъ трудолюбія; вообще достать ихъ довольно трудно, а иногда и невозможно, потому что нѣкоторые дома трудолюбія, преимущественно изъ числа такихъ, которые существуютъ не самостоятельно, а при какихъ-либо благотворительныхъ обществахъ, преслѣдующихъ общія задачи благотворительности,—совсѣмъ не имѣютъ своихъ уставовъ. Мы полагаемъ все-таки, что и тѣхъ примѣровъ, ко-

торые мы будемъ въ состояніи привести, будетъ достаточно для подтвержденія высказанной нами мысли. Тѣ дома трудолюбія, которые возникли уже послѣ учрежденія „Попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ", по большей части уже дословно повторяютъ то назначеніе дома трудолюбія, которое мы привели выше изъ перваго параграфа устава положенія попечительства о домахъ трудолюбія и работныхъ домахъ. Такое опредѣленіе цѣли домовъ трудолюбія мы находимъ, напримѣръ, въ уставѣ попечительства общества о работномъ домѣ въ Калугѣ, въ уставѣ попечительства общества о домахъ трудолюбія въ Маріуполѣ, въ Ростовѣ-на-Дону, Троицкѣ, Уфѣ, въ Порховѣ, въ Одессѣ, Сызрани, Тамбовѣ и въ другихъ. На нихъ мы поэтому не станемъ долго останавливаться. Въ отличіе отъ этихъ домовъ трудолюбія, многіе другіе уставы опредѣляютъ свою цѣль гораздо болѣе широко. Большинство изъ нихъ, впрочемъ, не выходитъ все-таки, по крайней мѣрѣ въ принципѣ, изъ границъ трудовой помощи. Такъ, напримѣръ, по уставу „Общества ночлежныхъ пріютовъ, дешевыхъ столовыхъ-чайныхъ и домовъ трудолюбія въ городѣ Варшавѣ", цѣль домовъ трудолюбія заключается въ „доставленіи временнаго платнаго труда всѣмъ лицамъ, принадлежащимъ къ составу постояннаго населенія города и оставшимся, по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ, безъ работы". Это, повидимому, по идеѣ вполнѣ чистый типъ дома трудолюбія, удовлетворяющій двумъ его главнѣйшимъ условіямъ: и временности самой помощи, и оказанію ея только честнымъ труженикамъ—„оставшимся безъ работы по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ". Впослѣдствіи мы увидимъ, насколько варшавскимъ домамъ трудолюбія удалось на практикѣ провести свои принципы, но пока мы не можемъ отрицать того, что въ теоріи принципы эти намѣчены вполнѣ правильно.

Подобное же опредѣленіе назначенія дома трудолюбія находимъ мы въ уставѣ елецкаго дома трудолюбія, который ставитъ себѣ цѣлью „оказывать нуждающимся срочную, по возможности недолговременную, помощь посредствомъ предоставленія имъ труда и пріюта, впредь до болѣе прочнаго устройства ихъ судьбы опредѣленіемъ къ постояннымъ занятіямъ или помѣщеніемъ на постоянное призрѣніе". Здѣсь нѣтъ уже, правда, весьма многозначительныхъ словъ устава варшавскаго дома трудолюбія, который считаетъ себя обязаннымъ оказывать помощь людямъ, лишь „по независящимъ отъ нихъ обстоятельствамъ оставшимся безъ работы"; зато, въ противовѣсъ этому, является новая задача дома трудолюбія—„опредѣленіе къ постояннымъ занятіямъ", ко-

торое въ большинствѣ случаевъ примѣнимо только къ случайнымъ бѣднякамъ, а не къ нищимъ-профессіоналистамъ. Значительное же уклоненіе отъ этихъ началъ мы находимъ въ уставахъ другихъ домовъ трудолюбія. Минскій домъ трудолюбія имѣетъ назначеніемъ приходить на помощь всѣмъ вообще „нуждающимся предоставленіемъ имъ честнаго труда и пріюта". Первый домъ трудолюбія въ С.-Петербургѣ ставитъ себѣ цѣлью „предоставленіе нуждающимся лицамъ въ столицѣ производства работъ, съ необходимыми для сего въ потребныхъ случаяхъ матеріалами и инструментами, и сбыта такихъ работъ"; новгородскій домъ трудолюбія — „предоставленіе работы лицамъ обоего пола всѣхъ званій"; саратовскій домъ трудолюбія имѣетъ своимъ назначеніемъ „предоставленіе нуждающимся работъ"; такую же цѣль имѣетъ и псковскій, и симбирскій, и тульскій, и тверской, и яранскій, и петербургскій домà трудолюбія для мужчинъ и нѣкоторые другіе. Въ нихъ, какъ мы видимъ, оказаніе помощи не ограничено уже условіями кратковременности и случайнаго, не зависящаго отъ самого призрѣваемаго, характеръ его бѣдности. Но все-таки и въ нихъ главною задачею является только предоставленіе труда нуждающимся; о нищихъ въ нихъ вовсе не упоминается, и это даетъ намъ основаніе думать, что въ принципѣ они предназначены служить убѣжищемъ для честныхъ тружениковъ, лишь временно оставшихся безъ работы. Гораздо болѣе широко и поэтому менѣе систематично намѣчены задачи нѣкоторыхъ другихъ домовъ трудолюбія. По уставу Андреевскаго кронштадтскаго попечительства та часть его дѣятельности, которой долженъ служить домъ трудолюбія, заключается въ „противодѣйствіи тунеядству и нищенству предложеніемъ труда съ задѣльною платою". Кукарское общество дома трудолюбія имѣетъ цѣлью „искорененіе среди населенія слободы Кукарки и окрестныхъ мѣстностей нищенства и поднятіе нравственнаго уровня сего населенія". Воронежское общество при домѣ трудолюбія „имѣетъ своей задачею оказаніе помощи бѣднымъ, которые почему-либо не имѣютъ опредѣленныхъ занятій и работъ. Для сего общество изыскиваетъ способы отвлекать отъ праздности и лѣни всѣхъ тѣхъ, кто не пріученъ къ работѣ или отвыкъ отъ нея". Петроковское христіанское благотворительное общество, содержащее домъ трудолюбія, имѣетъ цѣлью „содѣйствовать уничтоженію въ г. Петроковѣ уличнаго нищенства". Яранское общество дома трудолюбія имѣетъ цѣлью доставленіе средствъ къ улучшенію матеріальнаго и нравственнаго состоянія населенія города Яранска и окрестныхъ мѣстностей, а также лицъ, вы-

пускаемыхъ изъ мѣстъ заключенія". Совершенно особнякомъ стоитъ херсонскій домъ трудолюбія, который имѣетъ своимъ назначеніемъ „пріученіе къ труду малолѣтнихъ нищенствующихъ", и только на второмъ мѣстѣ — „предоставленіе работы бѣднѣйшимъ людямъ". Наконецъ, черниговскій домъ трудолюбія въ своемъ отчетѣ за 1894—95 годы опредѣляетъ свои задачи слѣдующимъ образомъ: „Доставить неимущимъ пріютъ, пищу и возможность заработка. Пріютить малолѣтнихъ дѣтей бѣдныхъ матерей и вдовъ, которымъ такимъ образомъ представится возможность наниматься въ услуженіе и тѣмъ зарабатывать средства къ существованію. Обучать бѣдныхъ дѣтей грамотѣ и ремесламъ по мѣрѣ ихъ развитія и способностей".

Кажется, изъ одного уже этого краткаго обзора тѣхъ задачъ, которыя ставятъ себѣ различные дома трудолюбія, можно вывести заключеніе о томъ, какимъ необычайнымъ разнообразіемъ задачъ отличаются, даже въ теоріи, наши дома трудолюбія, подъ именемъ которыхъ безразлично дѣйствуютъ и настоящіе дома трудолюбія, и дѣтскіе пріюты, и учрежденія для нищихъ съ преобладающимъ въ нихъ воспитательнымъ характеромъ, а на практикѣ, какъ мы увидимъ впослѣдствіи, и богадельни, и иногда даже учрежденія для нищихъ, препровождаемыхъ въ нихъ полиціею, т.-е. не чуждыя и репрессивнаго характера.

V.

Если такъ велики тѣ отступленія нашихъ домовъ трудолюбія отъ ихъ прямыхъ, спеціальныхъ задачъ, которыя мы находимъ даже въ ихъ уставахъ при опредѣленіи ихъ цѣли и назначенія, то не трудно себѣ представить, насколько велики эти отступленія на практикѣ. Къ сожалѣнію, изъ данныхъ тѣхъ отчетовъ, которые находятся въ нашемъ распоряженіи, очень трудно, почти невозможно—вывести заключеніе о томъ, преобладаетъ ли въ нашихъ домахъ трудолюбія контингентъ нищихъ—или честныхъ тружениковъ, лишь случайно оставшихся безъ работы. Рѣдкими—почти единичными—исключеніями изъ этого общаго правила являются лишь очень немногіе дома трудолюбія, какъ, напримѣръ, домъ трудолюбія для образованныхъ женщинъ въ С.-Петербургѣ, домъ трудолюбія Александро-Невской Лавры, или—изъ провинціальныхъ домовъ трудолюбія—елецкій, калужскій, орскій, владимірскій и нѣкоторые другіе. Въ домѣ трудолюбія для образованныхъ женщинъ мы, конечно, не найдемъ въ составѣ при-

зрѣваемыхъ ни одной нищей,—что въ немъ, разумѣется, вполнѣ понятно, потому что женщина изъ той части общества, для которой онъ предназначенъ, въ большинствѣ случаевъ предпочтетъ смерть прошенію милостыни, такъ что для нея участокъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить преддверіемъ къ дому трудолюбія.

Сравнительно немного, повидимому, нищихъ и въ „Евангелическомъ" домѣ трудолюбія, гдѣ вообще весь составъ призрѣваемыхъ значительно отличается отъ обычнаго состава нашихъ домовъ, благодаря почти исключительно нѣмецкому контингенту его населенія. Въ 1896 г., въ числѣ 351 призрѣваемыхъ было 4 учителя, 3 музыканта, 3 телеграфиста, 3 чиновника, 1 штурманъ, 1 отставной офицеръ, 1 лѣсничій, 1 бухгалтеръ, 23 купца, 19 писцовъ, 7 фармацевтовъ, 8 садовниковъ. Въ числѣ остальныхъ было только 57 чернорабочихъ и 195 ремесленниковъ, ремесло которыхъ для каждаго показано отдѣльно. Очевидно, у каждаго призрѣваемаго было все-таки свое занятіе до поступленія въ домъ трудолюбія, и поэтому предположить нищихъ-профессіоналистовъ мы можемъ только въ лицѣ чернорабочихъ, которыхъ самый характеръ ихъ занятій—непостоянный и уличный—очень часто толкаетъ на путь нищенства. Впрочемъ, еслибы въ этомъ домѣ даже было и очень много нищихъ, то все-таки смѣшеніе ихъ съ лучшими элементами не было бы опасно, потому что онъ весь пропитанъ воспитательнымъ духомъ, и поэтому имъ не только ослабляются тѣ отрицательныя послѣдствія, которыя можетъ повлечь за собою смѣшеніе дурныхъ элементовъ съ хорошими, но даже, при разумномъ веденіи дѣла, хорошіе элементы могутъ оказать весьма полезное воздѣйствіе на дурные. Здѣсь они сильнѣе, хотя бы ихъ было даже немного, а въ обыкновенныхъ домахъ трудолюбія они, наоборотъ, легко могутъ раствориться въ общей массѣ грязи и порока. Изъ всѣхъ вообще нашихъ домовъ трудолюбія, насколько мы можемъ судить по отчетамъ, ближе всего подходящимъ къ чистому типу домовъ трудолюбія по малочисленности призрѣваемыхъ въ немъ нищихъ, является елецкій домъ трудолюбія, о составѣ населенія котораго мы можемъ судить по слѣдующимъ характеристикамъ каждаго отдѣльнаго „трудолюбца", приложеннымъ въ концѣ отчета.

1) И. Г. М. жилъ на послѣднемъ мѣстѣ въ теченіе восьми лѣтъ артельщикомъ на орловско-грязской жел. дор., откуда имѣетъ аттестатъ; проситъ мѣста приказчика въ лавку или по деревенскому хозяйству.

2) К. К. Д. служилъ $1^1/_2$ года наборщикомъ въ типографіи Зайцевой, въ Орлѣ; желаетъ получить такое же мѣсто.

3) И. Е. Н. окончилъ курсъ городского училища въ г. Епифани; служилъ одинъ годъ и 8 мѣсяцевъ письмоводителемъ у полицейскаго пристава въ г. Бѣлгородѣ; желаетъ получить мѣсто гдѣ-нибудь въ канцеляріи.

4) В. Л. К. служилъ на желѣзной дорогѣ помощникомъ начальника станціи, но, по слабости зрѣнія, долженъ былъ оставить службу; желаетъ поступить хотя бы сторожемъ въ училище, и т. д.

Мы не станемъ приводить другихъ характеристикъ; онѣ всѣ почти ничѣмъ не отличаются отъ выше приведенныхъ, которыя даютъ достаточно ясное понятіе объ общемъ характерѣ состава призрѣваемыхъ. Подобныя же указанія находимъ мы и въ отчетѣ орскаго дома трудолюбія за 1897 годъ, въ которомъ о каждомъ изъ 19 призрѣваемыхъ указано, чѣмъ занимался онъ до поступленія въ домъ трудолюбія. Трое занимались плотничнымъ ремесломъ; одинъ—бондарнымъ ремесломъ; одинъ —былъ конюхомъ въ пожарной командѣ; три женщины были швеями; объ остальныхъ сказано, что они—чернорабочіе, но при этомъ упомянуто все-таки, что до поступленія въ домъ трудолюбія они занимались полевыми работами, и, судя уже по этимъ немногимъ даннымъ, все-таки можно предположить, что они во всякомъ случаѣ не нищенствовали на улицѣ. Въ калужскомъ работномъ домѣ въ 1896 году въ числѣ 106 призрѣваемыхъ было 18 столяровъ, 14 сапожниковъ, 7 слесарей, 3 маляра, 3 прядильщика, 2 плотника, 2 коробочника, 2 штукатура, 5 писцовъ, 1 ветеринарный фельдшеръ, 1 фельдшеръ, 1 парикмахеръ и по одному клепальщику, рукавичнику, кровельщику, печнику, токарю, переплетчику, котельщику, молотобойцу, литейщику, каменьщику, рѣзчику по дереву. Остальные были чернорабочіе, и если между ними и попадались, быть можетъ, нищіе, то, судя по общему характеру дома, они представляли во всякомъ случаѣ очень незначительное меньшинство. Гораздо больше чернорабочихъ было во владимірскомъ домѣ трудолюбія, гдѣ на общее число 198 призрѣваемыхъ—ихъ приходилось 99, т.-е. 50%. Впрочемъ, и здѣсь еще остальная половина состояла изъ ремесленниковъ, въ числѣ которыхъ было 12 сапожниковъ, каменьщиковъ, портныхъ и конторщиковъ по 10, плотниковъ 8, кровельщиковъ и маляровъ по 7, столяровъ 5, печниковъ 4, кузнецовъ и штукатуровъ по 3, булочниковъ, кондитеровъ, прислуги, бондарей по 2, и по одному изъ живописцевъ, ткачей,

поваровъ, позолотчиковъ, матросовъ, садовниковъ, кирпичниковъ, слесарей и фабричныхъ. Въ двинскомъ 1—занимался письмоводствомъ, 1 сапожникъ, 1 домашній учитель, 1 лакировщикъ, 1 печникъ, 6—домашняя прислуга, 1—безъ опредѣленныхъ занятій, 13 чернорабочихъ. Наконецъ, люблинскій отчетъ, не приводя отдѣльно занятій своихъ призрѣваемыхъ, высказываетъ все-таки убѣжденіе, что „всѣ они были лица не нищенствовавшія, а люди, не могшіе найти себѣ на сторонѣ заработка".

Во всѣхъ этихъ домахъ трудолюбія, какъ мы видѣли, контингентъ нищихъ во всякомъ случаѣ не является преобладающимъ, и если они и встрѣчаются, то преимущественно подъ видомъ чернорабочихъ или людей безъ опредѣленныхъ занятій, которые все-таки не сознаются въ томъ, что они нищенствовали. Конечно, довѣрять имъ особенно нельзя, такъ какъ, разумѣется, не всякій даже занимающійся нищенствомъ въ видѣ промысла самъ себя назоветъ нищимъ, но все-таки нельзя отрицать, что обиліе въ этихъ домахъ лицъ съ настоящимъ ремесломъ или занятіемъ приближаетъ ихъ къ чистому типу домовъ трудолюбія. Совсѣмъ не то видимъ мы въ подавляющемъ большинствѣ остальныхъ нашихъ домовъ трудолюбія, гдѣ—какъ, напримѣръ, въ Архангельскѣ, Варшавѣ, Вильнѣ, Кукаркѣ (вятской губерніи), Кронштадтѣ, Петроковѣ, Псковѣ, Слободскѣ (вятской губерніи); —дома трудолюбія задаются прежде всего цѣлью борьбы съ нищенствомъ и искорененія его, и гдѣ поэтому въ нихъ преобладающимъ контингентомъ являются нищіе. Въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія этотъ элементъ отъ времени до времени разнообразится еще административно-ссыльными,—въ особенности въ городахъ, находящихся вблизи отъ столицъ и преимущественно на пути между С.-Петербургомъ и Москвою, напримѣръ въ Торжкѣ, Твери, Новгородѣ, Новой-Ладогѣ или въ Боровичахъ (новгородской губерніи), гдѣ, по даннымъ отчета за 1896 годъ, изъ всего числа призрѣваемыхъ мужчинъ—96-ти человѣкъ—85 были административно-высланные. Но въ этихъ домахъ трудолюбія хорошо хотя, по крайней мѣрѣ, то, что, при такомъ почти исключительномъ контингентѣ своихъ призрѣваемыхъ, они не привлекаютъ, а даже отталкиваютъ отъ себя вполнѣ честныхъ случайныхъ бѣдняковъ и не могутъ подвергать ихъ опасности заразиться ихъ общимъ духомъ. Если они не приносятъ особенной пользы въ смыслѣ искорененія нищенства,—мы дальше убѣдимся въ томъ, что такая задача для нихъ можетъ быть достижима только при значительныхъ измѣненіяхъ всей ихъ организаціи,—то они, по крайней мѣрѣ, не приносятъ никакого вреда

нравственно-здоровой части населенія. Далеко не такъ благополучно обстоитъ дѣло въ другихъ домахъ трудолюбія, гдѣ призрѣваемые отличаются крайнею пестротою своего состава, и гдѣ на-ряду съ несчастнымъ ремесленникомъ-подмастерьемъ, лишившимся мѣста вслѣдствіе несправедливости хозяина, легко можно встрѣтить закоренѣлаго нищаго-профессіоналиста, почти всю свою жизнь проводящаго на улицѣ въ испрашиваніи милостыни или въ странствованіяхъ по этапу.

Къ сожалѣнію, въ отчетахъ этихъ домовъ мы почти нигдѣ не находимъ свѣдѣній о постоянномъ занятіи призрѣваемыхъ, и это лишаетъ насъ возможности опредѣлить степень участія въ ихъ составѣ нищихъ-профессіоналистовъ. Объясняется это, вѣроятно, тѣмъ, что въ этихъ домахъ при часто обновляющемся составѣ призрѣваемыхъ,—то приходящихъ съ улицы, то снова на нее выходящихъ,—и при очень снисходительномъ, часто даже безразличномъ отношеніи къ нравственной личности призрѣваемаго, очень трудно вообще вести статистику личнаго состава. Исключенія почти единичны, и такимъ исключеніемъ является для насъ, напримѣръ, отчетъ великолуцкаго дома трудолюбія, изъ котораго мы узнаёмъ, что въ общемъ числѣ призрѣваемыхъ, наряду съ 4 торговыми приказчиками, 24 человѣками, занимавшимися сельскимъ хозяйствомъ, 6 портными, 4 учениками приходскихъ школъ, 2 писцами, 4 человѣками домашней прислуги и 6 чернорабочими было 11 нищенствующихъ. Не трудно себѣ представить, къ какимъ послѣдствіямъ можетъ повести сосѣдство нищенствующихъ и—учениковъ приходскихъ школъ. Правда, нѣкоторые дома трудолюбія стараются принять съ своей стороны всѣ зависящія отъ нихъ мѣры къ тому, чтобы, по крайней мѣрѣ, хоть до извѣстной степени провести на практикѣ принципъ раздѣленія такихъ противоположныхъ элементовъ, какъ несчастные бѣдняки и нищіе-профессіоналисты. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ особаго вниманія попытка тверского дома трудолюбія, гдѣ, по словамъ отчета за 1895 годъ, лучшимъ элементамъ призрѣваемыхъ въ домѣ трудолюбія „были отведены особыя комнаты въ ночлежномъ пріютѣ, куда не допускались временно-приходящіе на ночлегъ, и гдѣ они распредѣлялись сообразно возрасту и нравственному состоянію; такое же распредѣленіе наблюдалось и во время работъ“. Этими же соображеніями руководствовался и екатеринбургскій домъ трудолюбія, который, по словамъ отчета его за 1897 годъ, избралъ при постройкѣ своихъ зданій барачную систему, „въ тѣхъ видахъ, чтобы избѣжать скученности рабочихъ и ночлежниковъ въ одномъ мѣстѣ“.

Впрочемъ, екатеринбургскимъ домомъ трудолюбія, кромѣ нравственныхъ соображеній, повидимому руководили, въ данномъ случаѣ, еще и гигіеническія—это видно изъ дальнѣйшихъ его словъ, которыя служатъ поясненіемъ къ предшествующимъ и говорятъ, что это сдѣлано было съ тѣмъ, чтобы по возможности избѣжать заразы. Но если даже и такъ,—во всякомъ случаѣ такое принятіе мѣръ предосторожности противъ заразы какою-нибудь физическою болѣзнью имѣетъ, несомнѣнно, не меньшее значеніе и по отношенію къ заразѣ нравственной. А между тѣмъ въ большинствѣ остальныхъ домовъ трудолюбія мы не находимъ уже никакихъ указаній, ни прямыхъ, ни косвенныхъ, на разграниченіе отдѣльныхъ элементовъ призрѣваемыхъ. Впрочемъ, удивляться отсутствію этихъ свѣдѣній, конечно, нечего, если мы только вспомнимъ, что въ громадномъ большинствѣ отчетовъ мы не находимъ даже вообще данныхъ о призрѣваемыхъ по характеру ихъ бѣдности—случайнаго кризиса или профессіональнаго нищенства. А между тѣмъ рѣшительно необходимо, чтобы объ этомъ въ домахъ трудолюбія велись правильныя и точныя статистическія данныя. До сихъ же поръ ихъ, къ сожалѣнію, очень мало, и намъ по неволѣ приходится довольствоваться общими и косвенными указаніями. Судя по этимъ косвеннымъ указаніямъ, мы имѣемъ всѣ основанія предполагать, что въ большинствѣ домовъ трудолюбія преобладающій контингентъ составляли во всякомъ случаѣ не честные труженики, лишь временно очутившіеся безъ работы. Однимъ изъ такихъ указаній, является по нашему мнѣнію, почти полное отсутствіе организаціи устройства трудолюбцевъ на постоянныя мѣста, которая должна быть необходимымъ условіемъ правильной постановки дѣла въ домѣ трудолюбія чистаго типа.

Если дѣйствительно домъ трудолюбія долженъ оказывать помощь людямъ, лишь случайно очутившимся въ безвыходномъ состояніи, если помощь эта должна быть только временною и поддержать нуждающагося лишь на этотъ небольшой періодъ кризиса, то вполнѣ послѣдовательно со стороны дома трудолюбія принимать всѣ мѣры къ возможному сокращенію этого періода и всѣми силами стараться о пріисканіи „трудолюбцамъ“ постоянныхъ мѣстъ, которыя должны возвратить имъ способность къ самостоятельной честной трудовой жизни. При правильной постановкѣ дѣла, это должно быть тѣмъ легче и тѣмъ естественнѣе, что и сами нуждающіеся всѣми силами стремятся достать себѣ постоянныя мѣста, и для нихъ, какъ для людей, не выносившихъ еще свою нужду на улицу, это должно представляться гораздо болѣе осуществимымъ, чѣмъ для бѣдняковъ, занимавшихся

уже прошеніемъ милостыни. Однако, тщетно станемъ мы искать правильной организаціи этой стороны дѣятельности домовъ трудолюбія, и только въ нѣсколькихъ домахъ трудолюбія—въ виленскомъ, въ елецкомъ, въ саратовскомъ, тверскомъ, тобольскомъ и друг.—мы находимъ ее въ видѣ особыхъ справочныхъ конторъ, имѣющихъ цѣлью способствовать полученію трудолюбцами постоянныхъ мѣстъ. А между тѣмъ вопросъ этотъ несомнѣнно имѣетъ громадное значеніе, и мы будемъ имѣть еще случай поговорить дальше о немъ подробнѣе. Здѣсь мы коснулись его лишь мимоходомъ, какъ обстоятельства, могущаго служить для насъ косвеннымъ указаніемъ на составъ „трудолюбцевъ" въ нашихъ домахъ трудолюбія.

Такимъ же косвеннымъ указаніемъ, также имѣющимъ и самостоятельное значеніе, является и средняя продолжительность пребыванія „трудолюбцевъ" въ домѣ трудолюбія. Само собою разумѣется, что если домъ трудолюбія долженъ служить убѣжищемъ лишь для лицъ, случайно потерявшихъ свой трудъ, то и пребываніе это не должно быть особенно продолжительнымъ, такъ какъ такіе люди и хотятъ, и могутъ скоро выбиться на самостоятельную дорогу. А между тѣмъ, по вычисленіямъ составителя „Свода данныхъ о дѣятельности домовъ трудолюбія", В. Д. Евреинова, оказывается, что изъ общаго числа призрѣваемыхъ 24,4%, или около 1/4, обращаютъ временный характеръ помощи домовъ трудолюбія въ постоянный, и въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія продолжительность пребыванія призрѣваемыхъ доходила до чрезвычайныхъ размѣровъ. Сплошь и рядомъ бываютъ случаи, что призрѣваемые остаются въ домѣ трудолюбія цѣлыми годами, а въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія—еще и того больше. Во многихъ, какъ, напр., въ архангельскомъ, въ варшавскомъ, въ сергіевскомъ въ Москвѣ, въ Торжкѣ, въ тверскомъ, въ больше-охтенскомъ въ Петербургѣ, въ херсонскомъ и въ нѣкоторыхъ другихъ, бывали случаи пребыванія призрѣваемыхъ въ домѣ трудолюбія въ продолженіе 2-хъ лѣтъ; въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія—въ виленскомъ, гродненскомъ, нижегородскомъ, орловскомъ и вятскомъ—сроки эти доходили и до 3-хъ лѣтъ; въ саратовскомъ домѣ трудолюбія бывали случаи продолжительности пребыванія въ домѣ трудолюбія до 5-ти лѣтъ, въ кронштадтскомъ до 6-ти лѣтъ, а въ смоленскомъ—даже до 7-ми лѣтъ. При такомъ долгомъ срокѣ призрѣваемыхъ въ домѣ трудолюбія, можно предположить одно изъ двухъ: или они не могутъ найти себѣ постояннаго мѣста, потому что они физически неспособны къ правильному труду, или же они нравственно къ

нему неспособны, сами избѣгаютъ правильнаго самостоятельнаго труда, и въ такомъ случаѣ они нуждаются не въ трудовой помощи, оказываемой имъ домомъ трудолюбія, а въ цѣлой системѣ воспитанія, которая могла бы ихъ пріучить къ правильному труду.

Безспорно, есть въ домахъ трудолюбія очень много и такихъ лицъ, которыя или по физической неспособности къ труду, или по непривычкѣ къ нему, не могутъ найти себѣ постоянныхъ мѣстъ—ихъ должны мы отнести поэтому къ первой категоріи; но несомнѣнно также, судя по этому, что есть очень много и такихъ, которые не хотятъ искать себѣ самостоятельнаго труда, и это предположеніе находитъ себѣ наиболѣе сильное основаніе въ томъ, что, какъ мы уже видѣли, очень многіе дома трудолюбія даже въ теоріи считаютъ своимъ призваніемъ набирать главный контингентъ своихъ призрѣваемыхъ среди нищихъ-профессіоналистовъ, бѣгущихъ отъ труда. Дѣлаютъ это они, какъ мы уже знаемъ, съ цѣлью „противодѣйствія тунеядству и нищенству и искорененія бѣдности". Достигаютъ ли они намѣченной ими цѣли — это другой вопросъ; несомнѣнно они достигаютъ ея, по крайней мѣрѣ, въ томъ отношеніи, что нѣкоторые нищіе съ улицы уходятъ въ домъ трудолюбія. Во-первыхъ, быть можетъ, дѣйствительно не всякій нищій станетъ протягивать руку за подаяніемъ, если онъ можетъ получить помощь въ домѣ трудолюбія; а главное, не всякій подающій обыкновенно на улицѣ милостыню нищему будетъ продолжать подавать ее, если онъ будетъ знать, что достаточно нищему обратиться въ домъ трудолюбія, чтобы получить помощь. Съ этой точки зрѣнія, конечно, дѣятельность домовъ трудолюбія заслуживаетъ полной поддержки и сочувствія, — но по отношенію къ нищимъ-профессіоналистамъ результаты ея, какъ мы увидимъ дальше, слишкомъ ничтожны. Нужны особыя учрежденія, проникнутыя преимущественно воспитательнымъ характеромъ, для нищихъ, хотя и не бѣгущихъ отъ труда, но отвыкшихъ отъ него и поэтому къ нему неспособныхъ,—и учрежденія съ карательнымъ характеромъ для нищихъ-профессіоналистовъ.

Что касается тѣхъ, которые физически неспособны къ труду и на практикѣ, все-таки, пользуются помощью дома трудолюбія, —то и число такихъ, къ сожалѣнію, очень велико, и на это мы уже встрѣчаемъ прямыя указанія въ самихъ отчетахъ. Нѣкоторые дома трудолюбія принимаютъ, впрочемъ, съ своей стороны всѣ мѣры къ тому, чтобы такіе призрѣваемые оставались въ нихъ по возможности недолго, и, напр., витебскій домъ трудо-

любія въ теченіе одного лишь мѣсяца, какъ это видно изъ его перваго отчета, помѣстилъ двухъ мужчинъ и четырехъ женщинъ въ витебскую больницу приказа общественнаго призрѣнія, одинъ мужчина отправленъ въ богадельню того же приказа, три дѣвочки взяты въ пріютъ мѣстнаго попечительства, одна женщина отправлена къ мѣсту приписки. Все-таки, въ виленскомъ домѣ трудолюбія, при 120 призрѣваемыхъ было 12, т.-е. 10% неспособныхъ къ труду, которые, конечно, никакою работою не занимались. Въ кукарскомъ домѣ трудолюбія, на ряду съ 35 взрослыми, дѣйствительно работавшими „трудолюбцами", не работали, по неспособности, 24 человѣка призрѣваемыхъ, не считая 26 человѣкъ дѣтей, которыя не занимались работами по малолѣтству. Въ этомъ же домѣ трудолюбія, въ отчетѣ за 1895 годъ значится одинъ безногій калѣка, неспособный къ труду, на очереди для замѣщенія въ богадельню; 3 женщины также зачислены кандидатками въ богадельню—одна изъ нихъ слабоумная. Конечно, имъ мѣсто не въ домѣ трудолюбія, но хорошо хоть и то, что домъ трудолюбія и ихъ не оставляетъ безъ работы; даже и эта слабоумная щиплетъ пеньку и служитъ водоносной и поломойкой, а двѣ другія женщины занимаются пряжею. Еслибы онѣ дѣлали это въ богадельнѣ — а это, судя по данному примѣру, вполнѣ возможно,—то такого труда было бы съ нихъ вполнѣ достаточно; но въ домахъ трудолюбія, гдѣ, по справедливому замѣчанію проф. В. И. Герье, „трудъ долженъ быть не придаткомъ къ помощи, а ея необходимымъ коррелатомъ", такія явленія могутъ только профанировать идею трудовой помощи. Вдобавокъ къ тому, эту самую слабоумную призрѣваемую—„кандидатку въ богадельню"—мы находимъ снова и въ отчетѣ кукарскаго дома трудолюбія за 1896 и за 1897 годы, такъ что, повидимому, она если и попала въ богадельню, то не въ ту, куда ей слѣдовало, а въ ту, которую она сама для себя по неволѣ сдѣлала изъ дома трудолюбія. Въ нижегородскомъ домѣ трудолюбія находится постоянно отъ 40 до 50 старухъ, которымъ мѣсто также скорѣе въ особой богадельнѣ, чѣмъ въ домѣ трудолюбія. Въ читинскомъ домѣ трудолюбія былъ даже случай призрѣнія двухъ умалишенныхъ, которые нашли себѣ здѣсь довольно продолжительный пріютъ до отправленія ихъ въ спеціальныя лечебныя заведенія. Кромѣ того, интересныя свѣдѣнія о количествѣ „трудолюбцевъ", не занятыхъ работою, мы находимъ въ „Сводѣ данныхъ Попечительства о Домахъ Трудолюбія". По этимъ даннымъ,—по отвѣтамъ на вопросные пункты, пріуроченнымъ къ извѣстному дню, — оказывается, что въ этотъ именно день въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія было

довольно много незанятыхъ никакою работою. Въ архангельскомъ домѣ трудолюбія ихъ было 8, въ виленскомъ—6, въ кукарскомъ—4, въ новгородскомъ—1, въ тверскомъ—4, въ черниговскомъ—3, въ яранскомъ—11, въ симбирскомъ—2. Всего на общее число 2.016 „трудолюбцевъ" незанятыхъ призрѣваемыхъ было 39 человѣкъ, т.-е. 1,9%. При этомъ, въ нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія—въ новгородскомъ и яранскомъ—процентъ этотъ былъ весьма значителенъ и достигалъ въ первомъ 33%, а во второмъ—даже 44% (1 изъ 3 призрѣваемыхъ); въ остальныхъ шести домахъ, въ которыхъ были незанятые работою, процентъ ихъ колеблется отъ 5,6% до 11,6%. Если сопоставить всѣ эти цифры съ приведенными уже нами выше, то мы получимъ довольно полное подтвержденіе присутствія въ составѣ „трудолюбцевъ" лицъ въ дѣйствительности или совсѣмъ неспособныхъ къ труду, или лишь въ самой незначительной степени удовлетворяющихъ основному требованію домовъ трудолюбія—трудоспособности.

Такимъ образомъ, для этихъ неспособныхъ къ труду, которые были, повидимому, или престарѣлые, или калѣки, домъ трудолюбія обращался въ настоящую богадельню, а для малолѣтнихъ дѣтей—въ воспитательный домъ, отличающійся отъ обыкновеннаго воспитательнаго дома только тѣмъ, что въ него принимаютъ одинаково и незаконнорожденныхъ, и законнорожденныхъ.

Что касается дѣтей болѣе взрослыхъ и уже способныхъ къ труду, то и они составляли очень значительную часть всего контингента призрѣваемыхъ въ домахъ трудолюбія. Въ концѣ 1896 г., изъ всего числа этихъ призрѣваемыхъ, выразившихся въ цифрѣ 2.016 человѣкъ, 649, т.-е. 32,2%, были дѣти. Мы не станемъ повторять здѣсь нашихъ прежнихъ разсужденій о необходимости для дѣтей особыхъ учрежденій преимущественно съ воспитательнымъ характеромъ. Предположимъ даже, что и по отношенію къ дѣтямъ, также какъ и по отношенію къ взрослымъ, можно было бы довольствоваться оказываніемъ имъ лишь временной трудовой помощи,—даже и въ этомъ послѣднемъ случаѣ призрѣніе дѣтей въ общихъ домахъ трудолюбія не можетъ найти себѣ никакихъ оправданій. Призрѣваемыя дѣти вообще могутъ быть или несчастными бѣдными и безпризорными дѣтьми, которыхъ еще не коснулась житейская грязь, или дѣтьми-нищими по профессіи, способными стать самыми отъявленными преступниками. И для тѣхъ, и для другихъ, постоянное общеніе съ взрослыми, кто бы они ни были,—а въ особенности если они, какъ въ большинствѣ домовъ трудолюбія, сами являются нищими-профессіона-

листами,—не можетъ принести ничего, кромѣ дурного. Что же касается особо второго разряда дѣтей-нищихъ и бродягъ, то для нихъ въ особенности необходимы отдѣльные пріюты, потому что существуютъ же такіе особые пріюты для дѣтей, которые приговариваются къ помѣщенію въ нихъ по опредѣленію судебной власти,—а, по словамъ проф. Миклашевскаго, „мальчикъ, занимающійся бродяжничествомъ и нищенствомъ, несравненно болѣе испорченъ, чѣмъ многіе изъ тѣхъ, которые попадаютъ въ пріютъ по судебнымъ приговорамъ, и достигнуть его исправленія значительно труднѣе". Къ сожалѣнію, на практикѣ принципъ отдѣленія дѣтей отъ взрослыхъ въ нашихъ домахъ трудолюбія проводится очень непослѣдовательно, и въ большинствѣ домовъ дѣти содержатся въ одномъ помѣщеніи съ взрослыми. Конечно, опасность этого сосѣдства несомнѣнно сознаютъ и сами дома трудолюбія, и, напр., въ тверскомъ домѣ трудолюбія, по словамъ отчета за 1895 годъ, „въ виду огражденія ихъ нравственности отъ могущаго произойти вреднаго вліянія нѣкоторыхъ трудолюбцевъ, имъ отведено совершенно особое отъ взрослыхъ помѣщеніе, и они поручены особому надзору смотрителя и надзирателя. Во время же работъ они размѣщены при болѣе нравственныхъ трудолюбцахъ и ввѣрены особому надзору мастера, безъ разрѣшенія коего никто не имѣетъ права ими распоряжаться". Разумѣется, такая система не гарантируетъ вполнѣ дѣтей отъ дурного вліянія на нихъ взрослыхъ, и во всякомъ случаѣ для этого необходимымъ условіемъ должно быть помѣщеніе дѣтей въ совершенно отдѣльномъ зданіи.

Къ сожалѣнію, всѣ эти принципы правильнаго раздѣленія и классификаціи отдѣльныхъ разрядовъ нуждающихся по возрасту не только не проведены у насъ съ полною послѣдовательностью, а наоборотъ, въ общемъ, мы можемъ констатировать крайнее смѣшеніе ихъ въ нашихъ домахъ трудолюбія. Изъ числа 48-ми домовъ трудолюбія, данныя отчетовъ которыхъ легли въ основу всего нашего изслѣдованія, только въ 16-ти дѣтей вовсе не было и только въ двухъ— призрѣваемые были исключительно дѣти; въ остальные же 30 домовъ трудолюбія дѣти принимались безразлично вмѣстѣ съ взрослыми. Прямыхъ указаній на то, насколько проводилось все-таки въ домахъ трудолюбія хоть внутреннее раздѣленіе призрѣваемыхъ по возрастамъ, у насъ нѣтъ, но мы можемъ найти на это кое-какія косвенныя указанія, и въ этомъ случаѣ заключеніе наше будетъ также не особенно отраднымъ. Оказывается, что изъ числа всѣхъ домовъ трудолюбія только 6 были расположены въ трехъ зданіяхъ,—два въ

двухъ, а остальные 40 только въ одномъ. Кажется, уже по одному этому можно судить, что принципъ раздѣленія не можетъ имѣть никакого практическаго примѣненія въ такомъ домѣ трудолюбія, гдѣ взрослые и дѣти помѣщаются въ одномъ зданіи. Говорить о воспитательномъ значеніи такихъ домовъ трудолюбія было бы, конечно, слишкомъ смѣло, потому что какую практическую подготовку къ трудовой самостоятельной жизни можетъ дать домъ трудолюбія ребенку, если онъ не видитъ вокругъ себя никого, кромѣ „соціальныхъ инвалидовъ", несчастныхъ или нечестныхъ, выброшенныхъ за бортъ житейскаго корабля. Только очень немногіе дома трудолюбія, какъ, напр., саратовскій, архангельскій, помѣщаютъ дѣтей въ особомъ зданіи, а нѣкоторые, какъ, напр., ярославскій и херсонскій, вообще предназначены только для дѣтей. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ дома трудолюбія остаются домами трудолюбія только по имени, а по существу своему являются обыкновенными дѣтскими пріютами, въ которыхъ долженъ преобладать воспитательный и профессіональный характеръ. Но зато въ другихъ домахъ трудолюбія, гдѣ дѣти не отдѣлены отъ взрослыхъ, проведеніе воспитательныхъ принциповъ на практикѣ почти неосуществимо, а между тѣмъ дѣти по необходимости должны оставаться въ домѣ трудолюбія довольно долго, и такое долгое пребываніе среди взрослыхъ элементовъ его призрѣваемыхъ можетъ отзываться очень дурно на всемъ ихъ нравственномъ обликѣ. Конечно, этотъ долгій срокъ пребыванія дѣтей въ домѣ трудолюбія былъ бы вполнѣ желателенъ и не приносилъ бы имъ ничего, кромѣ пользы, еслибы для нихъ онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ школою правильнаго воспитанія. Къ сожалѣнію, на практикѣ это бываетъ очень рѣдко, и, вѣроятно, поэтому большинство домовъ трудолюбія не дѣлаетъ, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, никакой разницы между сроками пребыванія въ нихъ взрослыхъ и дѣтей. Только очень немногіе дома трудолюбія считаютъ для дѣтей необходимымъ гораздо болѣе продолжительный срокъ пребыванія, и поэтому нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напр., вятскій, выставляютъ для дѣтей принципъ обязательнаго пребыванія въ нихъ, по крайней мѣрѣ, въ продолженіе трехъ лѣтъ.

Впрочемъ, и это опять-таки въ большинствѣ случаевъ бываетъ только въ такихъ домахъ трудолюбія, гдѣ дѣти являются единственнымъ или почти единственнымъ элементомъ призрѣваемыхъ. Такъ напр., въ этомъ самомъ вятскомъ домѣ трудолюбія въ теченіе 1896 года призрѣваемыхъ взрослыхъ было всего 23, изъ нихъ способныхъ къ труду мужчинъ только—2, а женщинъ—3; остальные были старухи, для которыхъ домъ трудо-

любія былъ богадельнею; а между тѣмъ дѣтей въ домѣ трудолюбія было 64, и при этомъ изъ нихъ только 6 не жили въ домѣ. Стало быть, домъ трудолюбія вполнѣ носилъ характеръ обыкновеннаго дѣтскаго пріюта съ тою только невыгодною отъ него разницею, что онъ помѣщается въ одномъ зданіи съ богадельнею для старухъ. Проведеніе же въ немъ воспитательныхъ принциповъ все-таки вполнѣ примѣнимо, тѣмъ болѣе, что, какъ мы сказали уже, изъ 64 человѣкъ дѣтей только 6 не жили въ домѣ трудолюбія, а взрослыхъ призрѣваемыхъ было всего 23 человѣка, и изъ нихъ только 18—всѣ старухи—жили при самомъ домѣ трудолюбія, а 2 мужчинъ и 3 женщины были только приходящими работниками. Итакъ, значитъ, только присутствіемъ этихъ двухъ мужчинъ и трехъ женщинъ, которые дѣйствительно были способны къ труду, и можно было оправдать то названіе дома трудолюбія, которое носитъ это смѣшанное вятское богоугодное заведеніе—на половину дѣтскій пріютъ, на половину богадельня.

Уже гораздо правильнѣе въ такомъ случаѣ поступило херсонское благотворительное общество, которое съ самаго начала избѣгнуло соблазна открыть общій домъ трудолюбія и для дѣтей, и для взрослыхъ, и устроило домъ трудолюбія спеціально для дѣтей. Этотъ домъ трудолюбія заслуживаетъ особаго вниманія по своему типу; его нельзя назвать собственно обычнымъ воспитательнымъ дѣтскимъ пріютомъ, потому что большинство дѣтей не живутъ въ немъ, а лишь собираются рано утромъ и оставляютъ его поздно вечеромъ. Такой домъ трудолюбія долженъ принести несомнѣнно громадную пользу лучшей трудящейся части населенія, которая, благодаря ему, получаетъ возможность давать своимъ дѣтямъ и общее образованіе, и профессіональное обученіе—и на-ряду съ ними несомнѣнно и воспитаніе, потому что на ребенкѣ не можетъ вѣдь не отразиться все то время, которое онъ проводитъ въ домѣ трудолюбія. Собственно говоря, даже вся его жизнь въ теченіе извѣстнаго періода времени, такимъ образомъ, проходитъ въ немъ, потому что онъ только на ночь является домой. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такая форма попеченія о дѣтяхъ является несомнѣнно и потому еще одною изъ наиболѣе счастливыхъ, что она нисколько не подрываетъ у ребенка связи съ семьею, а наоборотъ, быть можетъ, ее еще усиливаетъ; тотъ ребенокъ, который цѣлый день не былъ дома и не мѣшалъ матери въ ея хлопотахъ по дому, а тѣмъ болѣе если и мать, и отецъ также пробыли весь день на работѣ, — во всякомъ случаѣ освободилъ ихъ отъ всякой заботы о себѣ,—такой ребенокъ,

встрѣчаясь вечеромъ съ родителями, всегда и отъ нихъ найдетъ себѣ больше ласки, и къ нимъ станетъ относиться лучше, чѣмъ тотъ, кто, оставаясь дома, вѣчно слышитъ отъ нихъ брань и терпитъ пинки. Но, конечно, такой типъ домовъ трудолюбія примѣнимъ только по отношенію къ тѣмъ дѣтямъ, которыя имѣютъ свою семью и могутъ найти у нея хоть ночлегъ; для дѣтей же бездомныхъ и безпріютныхъ необходимы настоящіе закрытые дѣтскіе пріюты, въ которыхъ строгое проведеніе воспитательныхъ принциповъ тѣмъ болѣе необходимо, что такія дѣти заражены уже по большей части гибельною атмосферою улицы. На практикѣ, однако, такихъ дѣтей, которыя, имѣя свою семью, могли бы пользоваться помощью дома трудолюбія, не особенно много, потому что родители ихъ обыкновенно стараются по возможности выгоднѣе эксплоатировать ихъ рабочую силу, лишь только она достигнетъ хоть какого-нибудь развитія. Поэтому, кажется, домъ трудолюбія для приходящихъ дѣтей можетъ быть лишь исключительнымъ явленіемъ, а господствующимъ типомъ учрежденія трудовой помощи для дѣтей долженъ быть, все-таки, дѣтскій пріютъ трудолюбія съ воспитательнымъ характеромъ. Чтобы не быть голословнымъ, мы можемъ привести здѣсь яркій примѣръ саратовскаго дѣтскаго дома трудолюбія, который постепенно изъ учрежденія для приходящихъ дѣтей обратился въ настоящій дѣтскій пріютъ. Въ немъ, въ первый годъ его дѣятельности, число рабочихъ сутокъ, доставленныхъ приходящими дѣтьми, составляло 31,9% общаго количества рабочихъ сутокъ; въ теченіе второго года—всего 4,4%, а въ теченіе третьяго года приходящихъ дѣтей уже совсѣмъ не было.

Нельзя не признать, въ виду всего этого, весьма отраднымъ тотъ фактъ, что въ послѣднее время дѣтскіе дома трудолюбія начинаютъ выдѣляться изъ общей массы домовъ трудолюбія для взрослыхъ и проникаться тѣми началами, которыя и должны дѣйствительно лежать въ основаніи ихъ дѣятельности. Во-первыхъ, весьма важно уже и то, что этимъ учрежденіямъ дано особое названіе—дѣтскіе пріюты трудолюбія. Вдобавокъ, самое это названіе „пріютъ“, дѣйствительно, гораздо болѣе подходитъ къ тому учрежденію, которое должно пріютить у себя всецѣло ребенка,—воспитать его, пріучить его къ жизни и подготовить его къ самостоятельной честной дѣятельности. Во-вторыхъ, цѣль этихъ учрежденій, вполнѣ естественно, значительно отличается отъ назначенія домовъ трудолюбія; она состоитъ уже не въ „предоставленіи нуждающимся труда и пріюта впредь до болѣе прочнаго устройства ихъ судьбы опредѣленіемъ къ постояннымъ за-

нятіямъ или помѣщеніемъ на постоянное призрѣніе", а въ томъ, чтобы „призрѣвать и пріучать къ труду остающихся безъ присмотра и пристанища дѣтей обоего пола, впредь до передачи ихъ на надежное попеченіе родственниковъ, подлежащихъ обществъ, благотворительныхъ учрежденій или частныхъ лицъ, или же до надлежащаго подготовленія ихъ къ трудовой жизни". Сообразно съ этимъ пріютъ имѣетъ совершенно закрытый характеръ, являющійся непремѣннымъ и главнѣйшимъ условіемъ возможности осуществленія воспитательныхъ задачъ по отношенію къ безпризорнымъ дѣтямъ. Въ этихъ же цѣляхъ пребываніе въ пріютѣ ограничено не какимъ-нибудь формальнымъ срокомъ, а дѣйствительною степенью достиженія рабочаго возраста и подготовленности къ болѣе или менѣе самостоятельной жизни. Дѣвочки покидаютъ пріютъ приблизительно по достиженіи 16-лѣтняго возраста, а мальчики — 15-лѣтняго. Пріемъ же въ пріютъ допускается только для дѣтей не менѣе шести лѣтъ, т.-е. такихъ, которыя дѣйствительно способны уже къ какому-нибудь труду, являющемуся главнымъ основаніемъ всей дѣятельности „пріюта трудолюбія". Въ пользѣ такихъ дѣтскихъ пріютовъ для безпризорныхъ дѣтей врядъ ли можно сомнѣваться: за практическую необходимость ихъ высказалась сама жизнь, преобразовавъ почти всѣ дѣтскія отдѣленія при домахъ трудолюбія въ настоящіе закрытые пріюты трудолюбія не для приходящихъ дѣтей, имѣющихъ свою семью, а для дѣтей улицы, остающихся безъ присмотра и пристанища, для такихъ дѣтей, которыя составляютъ, напримѣръ, контингентъ призрѣваемыхъ въ пріютѣ трудолюбія знаменитой „вяземской лавры". Что же касается вопроса о томъ, насколько цѣлесообразны и нужны дома трудолюбія для приходящихъ дѣтей, т.-е. такіе именно, какими собственно и должны были быть преимущественно дѣтскія отдѣленія домовъ трудолюбія, то этотъ вопросъ врядъ ли можетъ возбуждать сомнѣніе. Что такіе пріюты возможны и безспорно желательны—это лучше всего доказываетъ примѣръ херсонскаго дома трудолюбія, но врядъ ли можно сомнѣваться и въ томъ, что не въ нихъ прежде всего нуждается жизнь, а именно—въ закрытыхъ дѣтскихъ пріютахъ для безпризорныхъ дѣтей. Во всякомъ случаѣ несомнѣнно, что они должны существовать вполнѣ самостоятельно—мы не говоримъ даже здѣсь о томъ, что они не должны быть связаны съ домами трудолюбія для взрослыхъ хотя бы даже и самаго чистаго типа. Мы думаемъ, что они должны существовать даже независимо отъ дѣтскихъ пріютовъ трудолюбія, предназначенныхъ спеціально для безпризорныхъ дѣтей, уже въ значительной степени зараженныхъ

удушливою атмосферою улицы. Конечно, это сосѣдство не такъ опасно и гибельно, какъ сосѣдство взрослыхъ, потому что дѣти даже самыя испорченныя въ значительной степени легче подчиняются воспитательному на нихъ вліянію, и поэтому правильный здоровый режимъ пріюта въ значительной степени нивеллировалъ бы и худшіе, и лучшіе элементы дѣтей. И все-таки нельзя отрицать, что послѣдніе несомнѣнно потеряли бы при такой нивеллировкѣ, и что поэтому цѣлесообразнѣе и для тѣхъ, и для другихъ отдѣльное самостоятельное существованіе.

Есть, наконецъ, и еще одинъ элементъ призрѣваемыхъ въ домахъ трудолюбія, для которыхъ дома трудолюбія были бы подходящимъ учрежденіемъ также только въ томъ случаѣ, еслибы они были проникнуты воспитательнымъ характеромъ и могли бы безъ ущерба для своихъ прямыхъ задачъ не довольствоваться только предоставленіемъ по возможности кратковременной трудовой помощи. Мы говоримъ объ алкоголикахъ, для которыхъ не меньше, чѣмъ для нищихъ-профессіоналистовъ, нужны спеціальныя учрежденія, которыя могли бы избавить дома трудолюбія отъ ихъ присутствія. „Евангелическій" домъ трудолюбія вполнѣ правильно отнесся въ данномъ случаѣ къ этому вопросу и устроиваетъ теперь особое отдѣленіе—колонію спеціально для алкоголиковъ—для тѣхъ несчастныхъ людей, „которыхъ пьянство сдѣлало неспособными къ жизни въ обществѣ и къ работѣ". Колонія эта строится въ Финляндіи, гдѣ, благодаря условіямъ обычая и законовъ самой страны, водка не имѣетъ такого большого распространенія, какъ у насъ въ Россіи, и гдѣ колоніи поэтому будетъ легче выполнить свою задачу. Къ сожалѣнію, о присутствіи въ составѣ контингента призрѣваемыхъ въ нашихъ домахъ трудолюбія у насъ также, какъ и о нищихъ-профессіоналистахъ, нѣтъ какихъ бы то ни было точныхъ, а тѣмъ болѣе правильныхъ статистическихъ свѣдѣній; но мы не ошибемся, вѣроятно, если предположимъ, что это молчаніе отчетовъ говоритъ не въ пользу ихъ отсутствія, а скорѣе въ пользу ихъ значительнаго преобладанія, потому что при общемъ уличномъ составѣ призрѣваемыхъ въ нашихъ домахъ трудолюбія даже и трудно предполагать что-нибудь другое. Только въ очень немногихъ отчетахъ мы встрѣчаемъ хоть и очень общія, но все-же прямыя указанія на алкоголиковъ, и въ такихъ случаяхъ указанія эти очень безотраднаго свойства.

Вотъ что̀ мы читаемъ, напримѣръ, въ отчетѣ симбирскаго дома трудолюбія за 1896 г.: „Къ сожалѣнію, въ числѣ призрѣваемыхъ часто встрѣчаются алкоголики, которые крайне трудно

поддаются исправительному на нихъ воздѣйствію, и случаи рецидивизма наблюдаются постоянно, сопровождаясь лѣностью, апатіею, къ работѣ и даже склонностью къ воровству и буйству. Тѣмъ не менѣе, закрыть двери благотворительнаго учрежденія для этихъ несчастныхъ больныхъ людей, въ особенности зимой, нѣтъ возможности, хотя такая гуманность нерѣдко ставитъ правленіе въ затруднительное положеніе по соблюденію тишины и благопристойности и установленію дисциплины. Въ петербургскомъ домѣ трудолюбія для мужчинъ на Широкой улицѣ „пьянство доходитъ иногда до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, что призрѣваемые, отправляясь, подъ предлогомъ пріисканія вольныхъ работъ, въ одеждѣ, выданной имъ домомъ трудолюбія, возвращались въ этотъ домъ полунагими, пропивъ и растративъ рѣшительно все, что было на нихъ“...

VI.

Такимъ образомъ, разлагая на первоначальные элементы тотъ смѣшанный типъ домовъ трудолюбія, который, къ сожалѣнію, является у насъ господствующимъ, мы дѣйствительно убѣждаемся въ томъ, что, вслѣдствіе крайне слабаго у насъ развитія правильной спеціализированной благотворительности, нашимъ молодымъ домамъ трудолюбія приходится выдержать тяжелую, почти непосильную борьбу съ самыми разнообразными сторонами и видами бѣдности. При этомъ мы можемъ сослаться на сдѣланное нами наблюденіе, справедливость котораго въ особенности обнаруживается при полномъ, разностороннемъ ознакомленіи съ дѣятельностью домовъ трудолюбія; особеннымъ расширеніемъ своихъ задачъ, не только на практикѣ, но даже и въ теоріи, отличаются тѣ дома трудолюбія, которые существуютъ не самостоятельно, а лишь какъ одна изъ вѣтвей какого-либо благотворительнаго общества, преслѣдующаго общія благотворительныя задачи. Практически это объясняется, конечно, очень просто—отчасти тѣмъ, что на такихъ основаніяхъ дома трудолюбія существуютъ по большей части въ небольшихъ городахъ, гдѣ спросъ и предложеніе на рабочія руки болѣе уравновѣшены, и поэтому случайныхъ бѣдняковъ сравнительно меньше, а между тѣмъ очень много безсильныхъ и больныхъ нетрудоспособныхъ, нуждающихся въ постоянномъ призрѣніи. Отчасти же это объясняется просто тѣмъ, что, при несамостоятельномъ существованіи домовъ трудолюбія, содержащимъ ихъ обществамъ весьма трудно бываетъ воздерживаться отъ пользованія ими для достиженія какихъ-либо другихъ своихъ благо-

творительныхъ цѣлей, тѣмъ болѣе, что, какъ мы видѣли уже, въ подобныхъ случаяхъ приходится считаться съ такою грозною дилеммою, надъ которою размышлять долго нельзя: или оказать помощь, хотя бы и не подходящую непосредственно подъ понятіе помощи трудовой, или оставить человѣка погибать голодною смертью. Справедливость сдѣланнаго нами выше наблюденія мы можемъ провѣрить уже на уставахъ нѣкоторыхъ домовъ трудолюбія, и прежде всего укажемъ на то, что, какъ мы уже и говорили объ этомъ, нѣкоторые дома трудолюбія, существующіе несамостоятельно [1]), даже не имѣютъ своихъ особыхъ уставовъ, и довольствуются уставами тѣхъ благотворительныхъ обществъ, при которыхъ они существуютъ. Наиболѣе рѣзко сказывается расширеніе задачъ въ тѣхъ домахъ трудолюбія, которые основаны были при существующихъ уже благотворительныхъ обществахъ, а не обязаны своимъ возникновеніемъ образованію новыхъ особыхъ обществъ. Убѣдиться въ этомъ можно уже и изъ уставовъ такихъ домовъ трудолюбія, какъ, напр., петроковскаго, черниговскаго, кронштадтскаго и др., которые существуютъ не самостоятельно, а основаны были при существовавшихъ уже благотворительныхъ обществахъ съ общими задачами.

Разумѣется, если уже въ самихъ уставахъ такіе дома трудолюбія ставятъ себѣ слишкомъ широкія задачи, то еще бо̀льшему расширенію подвергаются эти задачи въ ихъ практической дѣятельности, тѣмъ болѣе, что, какъ мы уже видѣли, даже тѣ дома трудолюбія, которые въ теоріи вполнѣ правильно намѣчаютъ себѣ свои задачи, принуждены бываютъ, при теперешней общей безсистемности и бѣдности нашей благотворительности, иногда даже противъ своей воли и противъ всѣхъ своихъ убѣжденій принимать на себя несоотвѣтствующую роль одного какого-нибудь или даже въ одно и то же время нѣсколькихъ благотворительныхъ учрежденій, имѣющихъ нерѣдко самую отдаленную связь съ идеею трудовой помощи. Конечно, съ точки зрѣнія общей благотворительности это не только не приноситъ вреда, но даже доставляетъ громадную пользу; лучшимъ доказательствомъ того можетъ служить совпаденіе развитія нашей сѣти домовъ трудолюбія съ значительнымъ подъемомъ и пробужденіемъ общественнаго интереса вообще къ дѣлу благотворительности. Съ этой точки зрѣнія нельзя не пожелать даже, чтобы наши дома трудолюбія служили дѣйствительно настоящими разсадниками правильной благотворительности, и вполнѣ

---

[1]) Напримѣръ, смоленскій.

желательно, чтобы при нихъ образовались благотворительныя учрежденія и съ другими спеціальными задачами, какъ, напр., богадельни, больницы, дѣтскіе пріюты, ясли, трудовыя колоніи съ воспитательнымъ характеромъ, патронаты освобожденнымъ изъ мѣстъ заключенія и др. При правильной классификаціи, они во всякомъ случаѣ не принесутъ никакого вреда идеѣ домовъ трудолюбія, тѣмъ болѣе, что они явятся только вспомогательными второстепенными учрежденіями, и главная кардинальная идея трудовой помощи при такомъ порядкѣ не только не подвергнется никакимъ нежелательнымъ вліяніямъ, но даже наоборотъ, можетъ и должна отразиться и на другихъ благотворительныхъ учрежденіяхъ. Совсѣмъ иначе бываетъ это у насъ теперь при нашей благотворительности, особенно въ томъ случаѣ, если дома трудолюбія примыкаютъ къ существующимъ уже благотворительнымъ обществамъ съ общими задачами; въ этихъ случаяхъ по неволѣ идея трудовой помощи является лишь второстепенною, вспомогательною, идетъ въ хвостѣ другихъ благотворительныхъ мѣръ и часто даже совершенно игнорируется при наличности массы другихъ задачъ, которыя для даннаго общества являются главнымъ. То основное положеніе, которое мы такъ упорно отстаиваемъ,—необходимость для домовъ трудолюбія, при соединеніи съ другими благотворительными обществами, сохранять за собою первое мѣсто,—не должно казаться педантичнымъ: трудовая помощь имѣетъ всѣ права на то, чтобы лечь въ основаніе всей современной благотворительности. При этомъ необходимо еще помнить, что сама по себѣ вполнѣ здоровая идея трудовой помощи можетъ подвергаться тысячѣ извращеній и уродованій, и уже по одному тому она должна требовать къ себѣ особенно внимательнаго отношенія, что правильно оказывать ее, конечно, гораздо труднѣе, чѣмъ подавать милостыню или строить богадельни. Мы остановились на этой сторонѣ дѣятельности нашихъ домовъ трудолюбія именно съ тѣмъ, чтобы объяснить и оправдать нынѣшній общій ея характеръ, отвѣтственность за который меньше всего можетъ лежать на нихъ самихъ; чтобы передъ нами особенно ярко предстала картина всей нашей общей безпорядочной системы борьбы съ бѣдностью; чтобы мы могли еще глубже сознать, что вся она должна представлять изъ себя одну стройную систему зубчатыхъ колесъ, въ которой каждое колесо должно производить только ту работу, для которой оно предназначено; и если хоть нѣкоторыя колеса всей этой системы будутъ бездѣйствовать, то и вся система будетъ работать очень туго, а тѣ колеса, которыя

будутъ брать на себя, кромѣ своей, еще непосильную для себя работу, только изотрутся и никогда не могутъ принести всей той пользы, какую они могли бы принести при правильной совмѣстной работѣ всей системы.

Въ частности же такая же правильная спеціализація необходима и въ отношеніи трудовой помощи. Домъ трудолюбія для взрослыхъ долженъ принимать къ себѣ только бѣдняковъ, случайно столкнувшихся съ нуждою, и главною цѣлью своею ставить только предоставленіе имъ трудовой помощи на время ихъ кризиса, которое они, съ своей стороны, по возможности должны стараться сокращать путемъ указанія работы; дѣтскіе же дома трудолюбія должны принимать къ себѣ дѣтей, имѣющихъ свои семьи и остающихся поэтому въ домѣ трудолюбія въ теченіе дня, и давать имъ по возможности полное общее начальное образованіе и обученіе какому-нибудь ремеслу. Что же касается и взрослыхъ, и дѣтей, у которыхъ вся нравственная система уже потрясена жизнью на улицѣ, то для нихъ должны быть устроены спеціальныя заведенія преимущественно съ воспитательною цѣлью, которыя было бы очень рискованно—хотя бы по одному только названію—ставить на одну доску съ домами трудолюбія. Такія заведенія для взрослыхъ, которыя мы предлагаемъ назвать хотя бы „трудовыми колоніями“, и для дѣтей—дѣтскіе пріюты трудолюбія—должны отличаться отъ домовъ трудолюбія и по роду своихъ работъ, и по продолжительности пребыванія въ нихъ, и по всему своему строю, который по возможности долженъ находиться въ соотвѣтствіи съ ихъ воспитательнымъ характеромъ.

VII.

Ознакомившись болѣе или менѣе подробно съ одною изъ главнѣйшихъ сторонъ дѣятельности нашихъ домовъ трудолюбія при существующихъ условіяхъ ихъ организаціи, попытаемся произвести оцѣнку этой дѣятельности, причемъ опять-таки будемъ производить ее съ двухъ различныхъ точекъ зрѣнія, которыя помогутъ намъ разложить смѣшанный типъ нашего дома трудолюбія на его составныя части, и еще ярче освѣтятъ намъ вопросъ о необходимости серьезныхъ перемѣнъ въ этомъ отношеніи. Съ одной стороны, мы будемъ смотрѣть на домъ трудолюбія—какъ на учрежденіе чистаго типа трудовой помощи, предназначенное для оказанія кратковременной помощи

честнымъ труженикамъ, случайнымъ жертвамъ нищеты, „впавшимъ въ крайнюю бѣдность“ и „тщетно ищущимъ себѣ заработка и пріюта“. Намъ кажется, мы не ошибемся, если признаемъ необходимымъ и наиболѣе естественнымъ для оцѣнки этой стороны дѣятельности дома трудолюбія опредѣлить, насколько имъ удается осуществить свою задачу по отношенію къ этимъ лицамъ въ смыслѣ возвращенія ихъ къ нормальнымъ условіямъ жизни путемъ „прочнаго устройства ихъ судьбы опредѣленіемъ къ постояннымъ занятіямъ“. Съ другой стороны, мы будемъ считаться съ домомъ трудолюбія, какъ учрежденіемъ, поставившимъ себѣ широкія задачи „противодѣйствія тунеядству и нищенству“, и постараемся опредѣлить, насколько ему удается осуществленіе задачъ этой стороны своей дѣятельности. Къ сожалѣнію, намъ слишкомъ даже легко будетъ убѣдиться въ томъ, что по отношенію къ этой послѣдней сторонѣ своей дѣятельности домъ трудолюбія далеко не удовлетворяетъ желаемымъ требованіямъ, и намъ это станетъ вполнѣ понятно, если мы вспомнимъ, что по идеѣ своей онъ, въ качествѣ благотворительнаго учрежденія, предназначеннаго для дѣйствительно несчастныхъ бѣдняковъ, которые „ищутъ себѣ заработка и пріюта“, при добровольномъ характерѣ поступленія въ него, при назначеніи его оказывать срочную, по возможности, недолговременную помощь—что при этихъ условіяхъ онъ рѣшительно не въ силахъ бороться съ профессіональнымъ нищенствомъ.

Обратимся, впрочемъ, лучше всего къ самимъ отчетамъ—исповѣдямъ нѣкоторыхъ домовъ трудолюбія, и посмотримъ, какую они производятъ оцѣнку этой сторонѣ своей дѣятельности. Это въ одно и то же время избавитъ насъ отъ отвѣтственной обязанности производить въ этомъ отношеніи совершенно самостоятельную оцѣнку и, вмѣстѣ съ тѣмъ, можетъ дать самое лучшее и наглядное представленіе о дѣйствительномъ положеніи дѣла. Правда, сравнительно въ очень немногихъ отчетахъ мы находимъ какія-нибудь разсужденія по этому вопросу, и не всегда можно понять ихъ правильно, если не читать между строкъ,—но и при такихъ условіяхъ мы не можемъ не воспользоваться хоть нѣкоторыми отчетами, которые высказываются въ томъ или другомъ смыслѣ о ихъ борьбѣ съ нищенствомъ. Вотъ въ какихъ выраженіяхъ отзывается отчетъ варшавскаго дома трудолюбія о своихъ кліентахъ — нищихъ, доставляемыхъ въ него полиціею: „Пребываніе ихъ въ домѣ трудолюбія продолжается обыкновенно только до обѣда или до вечера, когда они получаютъ пособіе на ужинъ или поденную плату. Иные не ожидаютъ даже этой минуты, и

при первой возможности уходятъ какъ можно скорѣе въ городъ. Такимъ образомъ, происходитъ настоящая прогулка съ улицы въ участокъ, оттуда въ домъ трудолюбія и затѣмъ опять на улицу. „Въ результатѣ“,—прибавляетъ отчетъ,—„нищіе становятся только болѣе осторожными и опытными, одѣваются чище или стараются принять видъ обыкновенныхъ прохожихъ, съ главныхъ улицъ переносятъ мѣсто дѣйствія на второстепенныя и... выпрашиваютъ милостыню съ удвоенною назойливостью“. И далѣе отчетъ продолжаетъ: „мы *не настаиваемъ* на томъ, что дома трудолюбія являются существеннымъ средствомъ для уничтоженія уличнаго нищенства, коимъ занимаются также и немощные старцы, и калѣки, которые, какъ неспособные ни къ какой работѣ, могутъ быть приняты лишь въ постоянные пріюты,—увы!—у насъ очень немногочисленные въ сравненіи съ нуждами цѣлаго города“. Отчетъ высказываетъ только предположеніе, что „чѣмъ болѣе многолюдны будутъ дома трудолюбія, тѣмъ менѣе будутъ насъ безпокоить на улицѣ и дòма назойливыя толпы профессіональныхъ нищихъ“. Повидимому, отчетъ забываетъ о томъ, что профессіональные нищіе не попадутъ въ домъ трудолюбія, пока эти послѣдніе не обратятся для нихъ въ рабочіе дома съ принудительнымъ трудомъ.

Архангельскій домъ трудолюбія, попробовавшій-было вербовать своихъ трудолюбцевъ изъ среды нищихъ ночлежниковъ, на первыхъ порахъ давалъ имъ щипать пеньку; но „работы исполнялись крайне лѣниво, недобросовѣстно и съ утратою матеріала. Та же участь постигла и опытъ съ приготовленіемъ для магазиновъ бумажныхъ мѣшковъ. Вслѣдствіе этихъ неудачныхъ опытовъ, продолжавшихся довольно долго и показавшихъ, что ночлежники предпочитали голодать, лишь бы быть свободными отъ работы, хотя бы самой легкой, правленіе оставило пока свои дальнѣйшія попытки въ этомъ родѣ“.

О результатахъ борьбы съ нищенствомъ курскаго дома трудолюбія мы можемъ почерпать слѣдующія свѣдѣнія со словъ „Курской Газеты“, которая въ данномъ случаѣ заслуживаетъ особеннаго довѣрія именно въ виду близости ея къ мѣстнымъ интересамъ: „излюбленнымъ мѣстомъ для сбора милостыни курскимъ нищимъ служатъ церковныя паперти и многолюдныя торговыя площади... Съ ранняго утра до полудня возвращающіеся съ базара обыватели бòльшую часть мелочной сдачи вручаютъ просящимъ подъ разными предлогами милостыню. Къ полудню такимъ образомъ у нихъ набирается около двугривеннаго и болѣе. Въ это время стòитъ посѣтить гостинницы около верхнихъ вѣсовъ или

внизу, около Обжорнаго ряда по Луговой улицѣ—всѣ собранныя деньги этою толпою бродягъ здѣсь пропиваются и проѣдаются... Едва ли возможно послѣ такого комфорта подчинить эту толпу требованіямъ порядочности дома трудолюбія по большой части остающагося безъ работы и работниковъ".

Кукарскому дому трудолюбія, судя по отчету его за 1893 годъ, приходилось отъ обывателей города выслушивать даже упреки въ томъ, что онъ не только не прекращаетъ нищенства, но что оно даже распространяется. Екатеринбургскому дому трудолюбія пришлось на первыхъ же порахъ своей дѣятельности, направленной къ противодѣйствію нищенству, столкнуться съ абсолютнымъ нежеланіемъ нищихъ обращаться въ домъ трудолюбія, и, встрѣтивъ такое сопротивленіе со стороны профессіоналистовъ, „правленіе рѣшило оставить ихъ до поры до времени въ покоѣ, предпочитая открытой борьбѣ съ ними постепенное воздѣйствіе на нихъ путемъ ознакомленія съ дѣятельностью дома трудолюбія". Правленіе вполнѣ справедливо утѣшается тѣмъ, что „если домъ не могъ на первыхъ порахъ своей жизни повліять замѣтно на сокращеніе въ городѣ профессіональнаго нищенства, то рука помощи, протянутая къ истинной бѣдности, имѣетъ несомнѣнно весьма существенное значеніе. Рязанскій домъ трудолюбія въ своемъ отчетѣ за 1894 годъ откровенно сознается, что онъ не можетъ дѣйствовать въ настоящемъ своемъ видѣ на уменьшеніе профессіональнаго нищенства. Нижегородскій домъ трудолюбія, въ заключеніе своего очерка о дѣятельности своей съ 22-го іюля 1893 года по 1-е іюля 1896 года, высказавъ убѣжденіе въ томъ, что онъ можетъ дать подходящую работу всѣмъ желающимъ, принужденъ, все-таки, сознаться, что „лѣнивцы и тунеядцы, по привычкѣ къ праздности, появляются на улицѣ съ протянутыми руками". Противъ нихъ, какъ и слѣдовало ожидать, домъ трудолюбія съ добровольнымъ характеромъ оказался безсильнымъ.

Слободской домъ трудолюбія, въ отчетѣ своемъ за 1894 годъ, констатируетъ тотъ фактъ, что въ первое время послѣ открытія дома нищенство значительно сократилось, но съ той минуты, какъ трудолюбцы поняли, что они свободны и что домъ трудолюбія совершенно лишенъ принудительнаго характера, все „чаще и чаще стали раздаваться неудовольствія взрослыхъ на пищу и одежду, работа же пошла весьма неуспѣшно и трудно стало найти охотниковъ для мытья половъ и работъ для дома трудолюбія". Съ другой стороны, „отсутствіе у правленія мѣръ борьбы съ нищенствомъ дало возможность бѣдному люду снова обратиться къ своему занятію—сбору милостыни. Правда, нищіе по-

явились прежде на окраинахъ города, на папертяхъ отдаленныхъ церквей, какъ бы боясь и ожидая преслѣдованія; но такъ какъ мѣръ не было принято (да и ни какихъ нельзя было принять), то нищенство въ настоящее время уже появилось". Изъ всей этой выдержки мы можемъ сдѣлать то важное для насъ въ данномъ случаѣ заключеніе, что и слободскому дому трудолюбія не удалось достигнуть своей цѣли въ борьбѣ съ нищенствомъ.

Наконецъ, о результатахъ борьбы съ нищенствомъ кронштадтскаго дома трудолюбія мы хотя и не имѣемъ положительныхъ свѣдѣній въ отчетахъ, но можемъ судить по нѣкоторымъ даннымъ. Казалось бы, что если эта борьба поставлена правильно, то число нищихъ должно съ каждымъ годомъ уменьшаться точно такъ же, какъ—мы видѣли уже—уменьшается изъ года въ годъ число арестовъ и осужденій за нищенство въ Германіи подъ вліяніемъ правильной организаціи и дѣятельности рабочихъ колоній. Однако, этого, къ сожалѣнію, нельзя сказать относительно результатовъ дѣятельности кронштадтскаго дома трудолюбія, какъ объ этомъ можно судить по слѣдующей таблицѣ, въ которой приведены цифры числа лицъ, пользовавшихся помощью дома трудолюбія съ 1882 года по 1894 годъ:

1882	года	1.788	1889	года	15.812
1883	„	4.886	1890	„	16.505
1884	„	9.917	1891	„	22.144
1886	„	12.964	1892	„	27.099
1887	„	12.964			
1888	„	17.246	1893	„	30.254

Такое возростаніе числа „трудолюбцевъ" можно было бы, конечно, объяснить себѣ, по крайней мѣрѣ, хоть тѣмъ, что тѣ, которые прежде „нищенствовали на улицѣ", теперь щипали пеньку въ домѣ трудолюбія. Однако, отъ такого предположенія намъ приходится отказаться, если мы ознакомимся съ слѣдующею выдержкою изъ отчета кронштадтскаго дома трудолюбія за 1895 годъ: „Относительно небольшой городъ Кронштадтъ переполненъ бѣднымъ людомъ. Нищіе въ лохмотьяхъ, босые, почти раздѣтые, въ осеннюю непогоду, на вѣтру—зимою сотнями стоятъ и бродятъ по улицамъ города. Послѣднее время число нищихъ въ Кронштадтѣ *значительно увеличилось*; среди нихъ стали попадаться молодые, здоровые люди, могущіе вполнѣ работать. Явилось подозрѣніе, что не несчастіе—причина ихъ положенія, а лѣнь и привычка къ тунеядству, и поэтому Совѣтъ Попечительства избралъ для разбора нищихъ коммиссію, которая,

при участіи полицейскихъ приставовъ, командированныхъ г. губернаторомъ, достигла блестящихъ результатовъ. Изъ 2.000 и болѣе нищихъ, являвшихся утромъ и вечеромъ за подаяніемъ, раздаваемымъ по порученію милостиваго о. Іоанна, осталось къ концу года не болѣе 700". Оказалось еще одинъ лишній разъ, что для нищихъ-профессіоналистовъ нужны не благотворительныя, а полицейскія и репрессивныя мѣры.

Наконецъ, оффиціальныя сообщенія о домахъ трудолюбія нашихъ губернаторовъ, представленныя ими въ 1894 году министерству внутреннихъ дѣлъ, высказываютъ то мнѣніе, что „учрежденія эти оказывались весьма благодѣтельными для честныхъ бѣдняковъ, подавая имъ руку помощи въ трудную минуту ихъ жизни; но вмѣстѣ съ тѣмъ губернаторы свидѣтельствовали, что дома трудолюбія лишь въ незначительной степени *сократятъ* столь распространенное въ Россіи нищенство, доставляющее просителямъ милостыни достаточныя средства къ существованію безъ всякаго съ ихъ стороны труда". О томъ, чтобы они уже его сократили,—сообщенія эти почти не упоминаютъ.

Послѣ всѣхъ этихъ отзывовъ и мнѣній нельзя болѣе обманывать себя иллюзіями; нельзя не признать, что для нищихъ-профессіоналистовъ нужны рабочіе дома съ принудительнымъ трудомъ, что по отношенію къ нимъ домъ трудолюбія, какъ благотворительное учрежденіе съ совершенно свободнымъ характеромъ оказываемой имъ помощи, рѣшительно безсиленъ, что имъ онъ не можетъ принести никакой пользы, а они ему могутъ принести громадный вредъ, извращая и уродуя его чистый типъ.

Что касается главной и наиболѣе соотвѣтствующей задачамъ домовъ трудолюбія стороны ихъ дѣятельности — устройству своихъ призрѣваемыхъ на мѣста, то безспорно, что въ этомъ отношеніи они достигли несомнѣнно положительныхъ результатовъ, достоинство которыхъ еще болѣе возвышается въ нашихъ глазахъ, если мы вспомнимъ, что большинству изъ домовъ трудолюбія пришлось дѣйствовать въ данномъ отношеніи при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, при участіи въ общемъ числѣ ихъ призрѣваемыхъ нищихъ-профессіоналистовъ, которое естественно подрывало къ нимъ кредитъ и довѣріе со стороны честныхъ нуждающихся бѣдняковъ и со стороны публики. Правда, въ связи съ этимъ мы можемъ сдѣлать и то наблюденіе, что дома трудолюбія, наиболѣе уклонившіеся отъ своего чистаго типа, достигли въ этомъ отношеніи и наименѣе успѣшныхъ результатовъ — это и вполнѣ понятно, и еще разъ говоритъ за

35*

необходимость разложенія нашего смѣшаннаго типа домовъ трудолюбія на его составные элементы.

Судя по свѣдѣніямъ „Свода" г. Евреинова, въ теченіе 20 мѣсяцевъ 1895 и 1896 гг., общее число устроенныхъ на мѣстахъ „трудолюбцевъ" доходитъ до цифры 489 человѣкъ. Къ сожалѣнію, за отсутствіемъ необходимыхъ свѣдѣній, невозможно опредѣлить процентное отношеніе этой цифры къ общему числу „трудолюбцевъ", пользовавшихся помощью домовъ трудолюбія за этотъ періодъ времени. Но если принять во вниманіе, что въ концѣ 1896 г. одновременно находились во всѣхъ домахъ трудолюбія 1.198 человѣкъ, если предположить, на основаніи имѣющихся у насъ данныхъ, что средній срокъ пребыванія „трудолюбца" въ домахъ трудолюбія продолжается около 4-хъ мѣсяцевъ, и что такимъ образомъ, за періодъ времени этихъ 20 мѣсяцевъ, составъ трудолюбцевъ обновлялся приблизительно 5 разъ и поэтому общее число получившихъ помощь доходило до 6.000; если, наконецъ, вычесть изъ этого общаго числа „трудолюбцевъ" число такихъ, которые физически не были способны къ труду, т.-е. дѣтей и престарѣлыхъ, считая это число даже всего въ 1.000 человѣкъ, такъ какъ эта часть контингента обновляется гораздо рѣже, чѣмъ трудоспособные,—если произвести всѣ эти вычисленія,—то окажется, что, при общемъ числѣ трудоспособныхъ призрѣваемыхъ въ 5.000 человѣкъ, дѣйствительная и радикальная помощь была оказана 489 человѣкамъ, т.-е. около 10%. Предположимъ даже, что вычисленія наши слишкомъ оптимистичны и что процентъ этотъ меньше, и все-таки, если онъ даже вдвое меньше, этой стороны дѣятельности нашихъ домовъ трудолюбія нельзя не поставить имъ въ особую заслугу, если только имѣть въ виду всѣ тѣ неблагопріятныя условія, при которыхъ приходилось имъ дѣйствовать.

Конечно, процентъ этотъ по отдѣльнымъ домамъ трудолюбія распредѣляется далеко не одинаково, и общіе размѣры его сразу удвоиваются въ нашихъ глазахъ, какъ только мы узнаемъ, что онъ относится только къ меньшей половинѣ существовавшихъ въ концѣ 1896 года 48 домовъ трудолюбія,—что въ 26-ти изъ этихъ домовъ принципъ устройства призрѣваемыхъ на мѣста совершенно не примѣнялся [1]. Если мы просмотримъ внимательно

[1] Бакинскій, бѣльскій, варшавскіе, воронежскій, гродненскій, елабужскій, курскій, люблинскій, нижегородскій, новоторжскій, оренбургскій, орловскій, Сергіевскій въ Москвѣ, саратовскій, смоленскій, больше-охтенскій домъ трудолюбія въ С.-Петербургѣ, сувалкскій, тульскій, херсонскій, череповецкій, царицынскій, яранскій, вятскій, симбирскій.

списокъ этихъ домовъ, то мы убѣдимся, что, за исключеніемъ немногихъ изъ нихъ, не организовавшихъ у себя посредничества по пріисканію мѣстъ только потому, что они открылись лишь въ 1896 г. (больше-охтенскій въ С.-Петербургѣ, череповецкій), другіе дѣйствительно очень далеко уклонились отъ чистаго типа домовъ трудолюбія и обратились или въ пріюты для нищихъ-профессіоналистовъ, откуда нищіе не хотятъ идти на мѣста, или же въ дѣтскіе пріюты и богадельни, откуда призрѣваемые не могутъ это дѣлать. Съ другой стороны, чѣмъ чище домъ трудолюбія и чѣмъ ближе онъ къ своему настоящему типу, тѣмъ болѣе можемъ наблюдать мы въ немъ правильную организацію этой стороны его дѣятельности. При нѣкоторыхъ домахъ трудолюбія существуютъ даже особыя бюро для указанія работы—такія бюро мы находимъ въ Тобольскѣ, при I-мъ домѣ трудолюбія въ С.-Петербургѣ, въ тверскомъ домѣ трудолюбія, при елецкомъ, при ревельскомъ, который, вѣрнѣе, даже самъ образовался при бюро для указанія работы. Въ другихъ домахъ трудолюбія, однако, эта сторона дѣятельности представляется, все-таки, болѣе или менѣе случайною, такъ что даже I-й домъ трудолюбія въ С.-Петербургѣ, имѣющій, теперь какъ мы указали, особое бюро для указанія работы, выражается, все-таки, объ устройствѣ на мѣста своихъ призрѣваемыхъ слѣдующимъ образомъ въ своемъ отчетѣ за 1889 годъ: „Нѣкоторыя лица, особенно сочувствующія дѣлу благотворенія, содѣйствовали устройству участи нѣкоторыхъ изъ призрѣваемыхъ, болѣе достойныхъ участія, пріисканіемъ имъ постоянныхъ мѣстъ“. Повидимому, вся редакція этихъ выраженій заставляетъ предполагать чисто случайный характеръ пріисканія трудолюбцамъ постоянныхъ мѣстъ. И несмотря на это, какъ мы уже знаемъ, многіе дома трудолюбія вполнѣ успѣшно дѣйствуютъ въ этомъ направленіи. Меньше всего, конечно, успѣваютъ въ этомъ отношеніи дома трудолюбія смѣшаннаго типа. Витебскому дому трудолюбія, судя по его отчету за 1895 г., удалось изъ числа 183 своихъ призрѣваемыхъ устроить на постоянныя мѣста всего 3-хъ; виленскому, судя по даннымъ „Свода“, изъ 118—6; Сергіевскому изъ 123—18 (изъ нихъ 6 въ должности горничныхъ, 1—въ няни, 3—домовыя портнихи, 1—продавщицы, 1—въ фотографію, 1—въ управленіе желѣзной дороги, 2—въ кухарки, 1—въ компаніонки, 2—въ экономки); новгородскому—изъ 59—5, больше-охтенскому—изъ 120—10; I-му дому трудолюбія, судя по отчету за 1889 г.,—изъ 245—35; слободскому—изъ 155—10; тверскому—изъ 267—79; „евангелическому“ изъ 302—60; владимірскому—изъ 198—17.

Кромѣ того, въ „Сводѣ“ мы находимъ еще свѣдѣнія о нѣкоторыхъ другихъ домахъ трудолюбія, но къ нимъ мы по неволѣ должны отнестись съ крайнею осторожностью, такъ какъ они представляютъ изъ себя отвѣты на вопросные пункты, разосланные „Попечительствомъ“, а пункты эти, повидимому, были поняты не вполнѣ правильно и поэтому не всегда согласуются съ данными отчетовъ. Такъ напр., по этимъ свѣдѣніямъ въ кукарскомъ домѣ трудолюбія изъ 53 призрѣваемыхъ въ 1895 г. ушли на мѣста 10 человѣкъ—а между тѣмъ въ отчетѣ дома трудолюбія мы объ этомъ вовсе не находимъ никакихъ данныхъ. Точно также находимъ мы въ „Сводѣ“ свѣдѣніе о томъ, что изъ архангельскаго дома трудолюбія ушли на мѣста 32 человѣка,—а между тѣмъ въ отчетѣ дома объ этомъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній. По неволѣ, это молчаніе отчета наводитъ насъ на предположеніе о томъ, что вопросные пункты „Попечительства“ и въ этомъ случаѣ были поняты не вполнѣ правильно, и цифра опредѣлившихся на мѣста въ архангельскомъ домѣ трудолюбія утрачиваетъ поэтому въ нашихъ глазахъ всякое къ себѣ довѣріе. Такое же недоумѣніе вызываетъ въ насъ цифра 50 человѣкъ, получившихъ мѣста изъ самарскаго дома трудолюбія, приведенная, впрочемъ, и въ „Сводѣ“ попечительства не одна, а въ сопровожденіи вопросительнаго знака. Отчетъ самарскаго дома трудолюбія также обходитъ этотъ вопросъ совершеннымъ молчаніемъ, и у насъ нѣтъ рѣшительно никакихъ данныхъ къ провѣркѣ этой цифры.

Конечно, наибольшаго развитія своего эта сторона дѣятельности домовъ трудолюбія достигаетъ въ тѣхъ изъ нихъ, которые менѣе уклоняются отъ своего чистаго типа. Къ числу ихъ относится, повидимому, харьковскій домъ трудолюбія, который хотя и не приводитъ въ своемъ отчетѣ за 1897 г. числа устроенныхъ имъ на мѣста „трудолюбцевъ“, но все-таки даетъ намъ основаніе предполагать, что эта сторона дѣла поставлена въ домѣ трудолюбія вполнѣ правильно, такъ какъ многіе „трудолюбцы“ получили изъ него очень хорошія мѣста съ жалованьемъ отъ 10 и даже до 60 рублей ежемѣсячно. Сюда же относится и калужскій работный домъ, въ которомъ, по словамъ отчета за 1896 г., за все время существованія дома, изъ выбывшихъ поступили: 1—въ телеграфисты, 1—въ пожарную команду, 1—въ городовые, 4—въ мастерскія сызрано-вяземской желѣзной дороги, 1—по мостовымъ работамъ, 2—къ подрядчикамъ, по различнымъ работамъ, 3—въ разныя частныя мастерскія. Между прочимъ, одинъ изъ призрѣваемыхъ, до поступленія въ работный

домъ, по профессіи фигляръ, выучился здѣсь картоннымъ работамъ и, по выходѣ изъ рабочаго дома, уѣхалъ въ одинъ изъ городовъ, гдѣ открылъ собственную картонную мастерскую. Изъ дѣтей 5, по выходѣ изъ работнаго дома, были помѣщены въ частныя сапожныя мастерскія, и 1—въ военную музыкантскую команду. Дому трудолюбія за Александро-Невской Лаврой въ С.-Петербургѣ всего за 6 мѣсяцевъ своей дѣятельности удалось пристроить на постоянныя мѣста, и такимъ образомъ возвратить къ самостоятельной трудовой жизни, 10 человѣкъ изъ числа 40. Наконецъ, наиболѣе правильное развитіе этой стороны дѣятельности домовъ трудолюбія мы, вполнѣ естественно, находимъ въ домѣ трудолюбія для образованныхъ женщинъ въ С.-Петербургѣ, гдѣ уже въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ его дѣятельности изъ 50 работавшихъ женщинъ 26 получили постоянныя мѣста въ банкахъ, въ конторахъ, въ правленіяхъ желѣзныхъ дорогъ, у частныхъ лицъ и т. д.

VIII.

Въ заключеніе всего нашего очерка и въ связи съ нимъ, мы позволимъ себѣ высказать нѣсколько общихъ мыслей относительно правильной борьбы съ бѣдностью, и прежде всего остановимся на томъ, что непремѣнное правило для нея состоитъ въ томъ, что борьба эта должна происходить по строго опредѣленному плану; чѣмъ внимательнѣе будемъ мы при ней относиться къ каждому отдѣльному случаю нужды, чѣмъ старательнѣе будемъ мы изучать его причины, наконецъ, чѣмъ осмотрительнѣе будемъ мы назначать для каждаго соотвѣтствующее ему средство,—тѣмъ больше будемъ мы имѣть шансовъ на успѣхъ. Въ политикѣ борьбы съ бѣдностью не менѣе, чѣмъ во всякой другой, примѣнимъ извѣстный принципъ политики древняго Рима: „divide et impera“.

Бѣдный, нищій—это тотъ же больной, съ точки зрѣнія соціальной медицины, и этого больного надо такъ же лечить, какъ и всякаго другого. Но вѣдь бываютъ и разные больные, и разныя болѣзни. Одинъ настолько несерьезно боленъ, что легко можетъ вылечиться и самъ, безъ помощи врача, если только у него въ рукахъ будутъ средства, лекарства для его исцѣленія. Этотъ больной—случайный бѣднякъ, который самъ знаетъ, что ему для его излеченія нужно работать, и онъ радъ бы подыскать себѣ работу, но не можетъ найти ее. Такимъ бѣднякамъ нужны

учрежденія трудовой помощи съ совершенно свободнымъ и добровольнымъ характеромъ, почти безъ всякаго режима, почти даже безъ активнаго участія въ судьбѣ бѣдняка. Помощь ихъ должна быть временная, ограничиваться преимущественно, даже почти исключительно, матеріальною поддержкою, которая должна дать возможность бѣдняку только не свалиться съ ногъ,—ставить на ноги его еще не надо, такъ какъ, въ той или другой степени, онъ еще самъ держится на ногахъ. Такими учрежденіями являются, напр., нѣмецкія станціи питанія и призрѣнія, большинство французскихъ учрежденій трудовой помощи, въ теоріи, и наши дома трудолюбія, которые предназначены оказывать „срочную, по возможности, недолговременную помощь“ тѣмъ „впавшимъ въ крайнюю бѣдность“, которые „тщетно ищутъ себѣ заработка и пріюта“.

Но есть на-ряду съ этими больными и другіе больные, гораздо болѣе серьезные и опасные, которымъ никакъ не обойтись безъ помощи врача. Эти больные сознаютъ свою болѣзнь, хотятъ лечиться, но не могутъ. Имъ нужно правильное, систематическое леченіе, и при этомъ—не самостоятельное, а подъ чьимъ-нибудь опытнымъ и умѣлымъ руководствомъ. Такіе больные—тѣ бѣдняки, которые уже склонились подъ тяжкимъ гнетомъ своей нужды, которыхъ она уже выгнала на улицу и сдѣлала нищими, но въ которыхъ она не заглушила еще основныхъ началъ честности и порядочности. Они и сами, быть можетъ, хотѣли бы еще возвратиться къ нормальнымъ условіямъ жизни, но густая тина нищеты затягиваетъ ихъ все глубже и глубже; съ каждымъ днемъ они все болѣе и болѣе приближаются къ уровню профессіональнаго нищенства, и съ каждымъ днемъ уровень ихъ способности къ труду и самостоятельному существованію все быстрѣе и быстрѣе опускается къ нулю. Такимъ больнымъ нужны не только лекарства, но и правильное леченіе; имъ мало одной матеріальной поддержки,—главное мѣсто должно быть отведено воспитанію въ нихъ привычки и способности къ нормальной трудовой жизни. Для этихъ больныхъ нужны учрежденія трудовой помощи преимущественно съ воспитательно-лечебнымъ характеромъ, съ извѣстнымъ режимомъ, который долженъ по отношенію къ нимъ играть роль нравственной діэты; въ нихъ цѣлью является уже не столько предоставленіе труда само по себѣ, сколько перевоспитаніе даннаго субъекта путемъ правильнаго систематическаго нравственнаго леченія; труду принадлежитъ въ нихъ только первое мѣсто въ ряду другихъ воспитательныхъ задачъ и средствъ. Подобными учрежденіями являются,

напр., нѣмецкія рабочія колоніи, изъ французскихъ учрежденій трудовой помощи—домъ трудолюбія Робэна, земледѣльческая колонія „La Chalmelle“, „Jardins ouvriers“, англійскіе „Elevator workshops“ „Арміи спасенія“, у насъ въ Россіи—„Евангелическій домъ трудолюбія“ и т. п.

Есть, наконецъ, третій разрядъ больныхъ, у которыхъ болѣзнь эта въ особенности серьезна тѣмъ, что они совершенно не сознаютъ ея и даже не думаютъ объ ея леченіи. Съ точки зрѣнія обыкновенной медицины, такими больными являются, напр., помѣшанные, которыхъ приходится иногда лечить насильно; съ точки зрѣнія нашего критеріума—это нищіе-профессіоналисты, которыхъ можно лечить только противъ ихъ воли, только путемъ принужденія. Для нихъ нужны уже не учрежденія трудовой помощи съ свободнымъ характеромъ, и даже не воспитательныя учрежденія, какъ для нищихъ-непрофессіоналистовъ, которые хотятъ, но не могутъ вернуться на правильный путь; у нихъ уже образовался значительный минусъ въ степени ихъ способности къ самостоятельной жизни; имъ нужны исправительныя учрежденія съ принудительнымъ трудомъ. Ихъ нужно прежде всего исправить, т.-е. постараться убить въ нихъ наклонность къ жизни профессіональнаго нищаго—общественнаго паразита; послѣ этого въ нихъ нужно пробудить и воспитать охоту и привычку къ честному труду, и затѣмъ только уже открыть имъ снова путь къ общественной жизни. Для такихъ больныхъ единственное средство—правильно организованные „рабочіе дома“ съ принудительнымъ трудомъ, которые въ Европѣ почти всюду уже занимаютъ принадлежащее имъ по праву мѣсто и, вѣроятно, займутъ его въ самомъ недалекомъ будущемъ и у насъ въ Россіи.

Итакъ, каждому свое—à chaque mal son remède. Если же мы не будемъ держаться этого правила, то мы, въ сущности, немногимъ будемъ отличаться отъ того врача, который собралъ бы въ одной и той же палатѣ и больныхъ насморкомъ и простудой, и тяжелыхъ тифозныхъ и легочныхъ больныхъ, и даже буйно-помѣшанныхъ. Конечно, это намъ кажется ужаснымъ и дикимъ, но только потому что въ области медицины нашего тѣла мы ушли гораздо дальше, чѣмъ въ области медицины духа. А между тѣмъ врядъ ли нравственная зараза передается менѣе вѣрно и быстро, чѣмъ физическая; достаточно вспомнить слова человѣка, мнѣніе котораго, кажется, въ данномъ случаѣ можетъ быть вполнѣ компетентнымъ, Роб. ф.-Моля, который говоритъ слѣдующее о смѣшеніи въ одномъ и томъ же учрежденіи различныхъ элементовъ

нуждающихся (см. цит. ст. его „Arbeitshäuser“ въ Staatslexicon von Rotteck und Welker): „Jede Vermischung ist ein Unrecht und eine Grausamkeit gegen würdige Arme und raubt der Anstalt ihren hauptsächlichen Nutzen, indem sie alsdann gerade von der besten Gattung der Hilfsbedürftigen gemieden werden muss“.

Это слова теоретика-ученаго, а вотъ и слова практика, одного изъ величайшихъ психологовъ толпы—Мирабо, выразившаго то же мнѣніе, но въ гораздо болѣе рѣзкой и крайней формѣ: „люди уже отъ одного своего сосѣдства гніютъ, какъ сложенныя въ кучу яблоки“. Не трудно себѣ представить, до какой степени можетъ дойти это гніеніе, если уже съ самаго начала въ этой кучѣ окажутся гнилыя яблоки или гнилые люди.

Конечно, говоря объ исправительномъ или о воспитательномъ характерѣ тѣхъ или иныхъ учрежденій, мы не думаемъ этимъ сказать, чтобы такому характеру отдавалось исключительное мѣсто въ каждомъ изъ нихъ. Всякому ясно, что каждый, очутившійся въ крайней нуждѣ, уже представляетъ изъ себя весьма благодарный матеріалъ для нищенства и порока. Съ этой точки зрѣнія несомнѣнно есть нѣчто общее и у случайнаго бѣдняка даже съ нищимъ-профессіоналистомъ. Поэтому, даже оказывая ему только матеріальную помощь, мы не можемъ и не должны оставлять въ пренебреженіи и воспитательное вліяніе на него, и поэтому нельзя совершенно лишить даже учрежденіе трудовой помощи, для него предназначенное, воспитательнаго характера. Съ другой стороны, мы должны, не говоря уже объ общемъ нравственномъ значеніи труда, помнить и то, что какъ ухудшеніе экономическихъ условій ведетъ къ нищенству и пороку, такъ и улучшеніе ихъ несомнѣнно можетъ повліять и на возвращеніе нищаго къ правильному образу жизни. Поэтому, въ числѣ тѣхъ преимущественно воспитательныхъ мѣръ, которыя мы должны примѣнять къ несчастнымъ нищимъ, одно изъ первыхъ мѣстъ должно принадлежать труду. Наконецъ, по отношенію къ тѣмъ профессіональнымъ нищимъ, которые нуждаются въ примѣненіи къ нимъ преимущественно исправительныхъ и даже репрессивныхъ мѣръ, трудъ будетъ являться если не всегда, то, по крайней мѣрѣ, до ихъ исправленія не столько помощью, сколько наказаніемъ. Во всѣхъ этихъ трехъ учрежденіяхъ совершенно различнаго типа одинаково присутствуютъ всѣ три элемента борьбы съ нищенствомъ и нищетою—и матеріальная поддержка, и воспитательныя и исправительныя мѣры—въ каждомъ изъ нихъ они только своеобразно комбинируются. Въ свободномъ учрежденіи трудовой помощи первое мѣсто принадле-

жить матеріальной поддержкѣ, затѣмъ воспитательнымъ мѣрамъ, и лишь въ самой незначительной степени—исправительнымъ. Въ учрежденіи для несчастныхъ нищихъ первое мѣсто должно быть отведено воспитанію, второе—исправленію, и третье—матеріальной поддержкѣ. Наконецъ, въ учрежденіяхъ для нищихъ-профессіоналистовъ во главѣ всего режима должны стоять мѣры исправительныя и репрессивныя, только въ случаѣ успѣшности ихъ—мѣры воспитательныя, и, наконецъ, на самомъ послѣднемъ мѣстѣ матеріальная поддержка, очередь которой наступаетъ лишь тогда, когда двѣ первыя группы достигли своей цѣли и обратили нищаго-профессіоналиста въ человѣка, вполнѣ подготовленнаго къ самостоятельной трудовой жизни.

Свободное учрежденіе трудовой помощи должно служить убѣжищемъ только для лицъ дѣйствительно желающихъ работать и ищущихъ труда. Кромѣ этихъ людей и на-ряду съ ними есть несомнѣнно и другіе—несчастные нищіе, которые также желаютъ работать, но въ которыхъ поверхъ этого желанія накопились цѣлые слои отрицательныхъ вліяній нужды, грозящіе обратиться въ твердую, непроницаемую кору. Для такихъ людей нужны учрежденія, которыя правильнымъ воспитаніемъ съумѣли бы соскоблить эти посторонніе слои и доказать самому нуждающемуся, что онъ и хочетъ, и можетъ работать. Наконецъ, есть люди, бѣгущіе отъ труда; конечно, нельзя не желать, чтобы и этихъ людей можно было возвратить на правильную дорогу; это не утопія, но это во всякомъ случаѣ мечта, при настоящихъ общественныхъ условіяхъ слишкомъ далекая отъ своего осуществленія; остается по неволѣ ограничиваться, по отношенію къ такимъ людямъ, примѣненіемъ репрессивныхъ мѣръ, которыя достигаютъ, по крайней мѣрѣ, той прямой цѣли, что изолируютъ ихъ отъ общества и ограждаютъ его отъ ихъ гибельнаго вліянія.

Что подобное ревнивое подраздѣленіе отдѣльныхъ классовъ нуждающихся въ зависимости отъ ихъ отношенія къ труду—не только не утопія, а вполнѣ осуществимый фактъ, лучше всего доказываютъ примѣры такихъ государствъ, какъ Бельгія и Голландія, которымъ удалось у себя провести этотъ принципъ въ полной почти послѣдовательности, и въ которыхъ поэтому нищій бываетъ рѣдкимъ, исключительнымъ явленіемъ. По ихъ слѣдамъ идутъ теперь и Германія, и Франція, и другія государства, въ большей или меньшей степени проводящія у себя этотъ принципъ. Въ Германіи, на-ряду съ „Arbeitshäuser“ для нищихъ-профессіоналистовъ, существуютъ, какъ мы знаемъ уже, „Arbeitercolonien“ для несчастныхъ нищихъ, съ воспитательнымъ характеромъ,

„Naturalverpflegungsstationen“—станціи питанія, а при нихъ мастерскія и справочныя бюро для оказанія помощи случайнымъ бѣднякамъ и для устройства ихъ на постоянныя мѣста. Во Франціи репрессивные рабочіе дома, „dépôts de mendicité“, существуютъ, правда, лишь въ принципѣ на правильныхъ основаніяхъ, но зато широкое развитіе получили учрежденія трудовой помощи съ свободнымъ характеромъ и отчасти учрежденія съ воспитательнымъ характеромъ, организуемыя преимущественно по типу нѣмецкихъ рабочихъ колоній. Швейцарія также провела у себя въ значительной степени принципъ самостоятельнаго существованія особыхъ учрежденій для отдѣльныхъ разрядовъ нуждающихся, и въ ней на-ряду съ рабочими домами вполнѣ правильно функціонируютъ и рабочія колоніи, и питательныя станціи, и дома трудолюбія въ городахъ. Сравнительно меньше успѣла въ этомъ отношеніи Англія, которая до сихъ поръ еще не можетъ отдѣлаться отъ господствовавшаго въ ней не такъ давно смѣшенія въ „Workhouse“'ѣ различныхъ классовъ нуждающихся, нищихъ-профессіоналистовъ на-ряду со случайными бѣдняками, больныхъ и калѣкъ—съ трудоспособными, преступниковъ—съ несчастными.

Что касается Россіи, то приходится сознаться, что у насъ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ сдѣлано очень мало не только въ отношеніи правильнаго раздѣленія различныхъ видовъ трудовой помощи, но даже, какъ мы видѣли, и въ отношеніи правильнаго развитія борьбы съ бѣдностью вообще. Только этимъ объясняется и, конечно, въ значительной степени оправдывается тотъ фактъ, что наше молодое, свѣжее учрежденіе трудовой помощи—домъ трудолюбія—принуждено по неволѣ брать на себя непосильныя задачи и изнемогать подъ ихъ тяжестью. Мы, конечно, не говоримъ въ данномъ случаѣ о тѣхъ задачахъ, которыя только возникаютъ по ихъ иниціативѣ, но осуществляются самостоятельно и поэтому не препятствуютъ ихъ самостоятельному правильному развитію,—мы не станемъ здѣсь повторять, что при такомъ положеніи дѣла домъ трудолюбія и можетъ, и долженъ служить истиннымъ разсадникомъ правильной благотворительности, и что этой задачѣ своей онъ вполнѣ удовлетворяетъ—до сихъ поръ, къ сожалѣнію, иногда даже цѣною самопожертвованія. Мы и говоримъ о такихъ случаяхъ самопожертвованія, когда домъ трудолюбія, увлекаясь задачами, выходящими изъ-за сферы трудовой помощи, сохраняетъ за собою только свое имя, а на самомъ дѣлѣ обращается или въ богадельню, или въ дѣтскій пріютъ.

Итакъ, самая главная задача дома трудолюбія заключается прежде всего въ томъ, чтобы остаться самимъ собою, т.-е.

учрежденіемъ трудовой помощи, предназначеннымъ исключительно для трудоспособныхъ. Но и этого ограниченія, какъ мы знаемъ уже, мало для того, чтобы домъ трудолюбія могъ достигать дѣйствительно существенныхъ результатовъ въ своей дѣятельности. Необходимо опредѣлить еще, для какого разряда трудоспособныхъ нуждающихся онъ долженъ быть предназначенъ—для нищихъ-профессіоналистовъ, для несчастныхъ нищихъ или же для случайныхъ бѣдняковъ. Что онъ не долженъ быть предназначенъ для нищихъ-профессіоналистовъ—объ этомъ не можетъ быть и рѣчи, такъ какъ—мы знаемъ уже—для нихъ нужны карательныя учрежденія сильной государственной власти—рабочіе дома съ принудительнымъ трудомъ. Вопросъ сводится только къ тому, долженъ ли быть онъ предназначенъ для случайныхъ бѣдняковъ, лишь временно потерявшихъ свой трудъ, или же для несчастныхъ нищихъ, т.-е. нищихъ—не профессіоналистовъ, но людей безъ всякой воли и энергіи, безъ желанія и умѣнья работать—такихъ людей, за которыми Рошеръ въ своей „Pathologie der Armut" признаетъ соціальную неспособность къ труду—„sociale Arbeitsunfähigkeit". При настоящей организаціи нашихъ домовъ трудолюбія, при назначеніи ихъ оказывать нуждающимся „срочную, по возможности, недолговременную помощь" исключительно „путемъ предоставленія имъ труда и пріюта"—эта задача для нихъ непосильна; для этого должны существовать особыя учрежденія трудовой помощи по типу нѣмецкихъ „Arbeitercolonien", французской колоніи „La Chalmelle", „Jardins ouvriers", нашего „Евангелическаго" дома трудолюбія, „Elevator-Workshops" „Арміи спасенія" и т. п. Домъ трудолюбія долженъ остаться открытымъ для тѣхъ, для кого онъ и предназначенъ—для честныхъ и нравственно здоровыхъ тружениковъ, временно и случайно лишившихся возможности примѣненія своего труда.

Остается еще одинъ вопросъ: въ какомъ изъ этихъ двухъ типовъ учрежденія трудовой помощи мы больше всего нуждаемся? —рабочій домъ мы, конечно, оставляемъ въ сторонѣ, такъ какъ въ его необходимости, и относительной, и безотносительной, кажется, не можетъ быть никакого сомнѣнія. На этотъ вопросъ отвѣтить очень и очень нелегко. Съ одной стороны, мы рѣшительно не можемъ закрывать глаза на то, что жизнь, повидимому, требуетъ у насъ скорѣе воспитательныхъ учрежденій трудовой помощи, судя, по крайней мѣрѣ, потому, что, какъ мы видѣли уже, значительный контингентъ населенія нашихъ домовъ трудолюбія составляютъ именно люди, нуждающіеся скорѣе въ воспитаніи, чѣмъ въ матеріальной поддержкѣ. Лучше всего

можно судить объ этомъ по слѣдующимъ словамъ отчета тверского дома трудолюбія за 1895 годъ, подъ которыми едва ли не могло бы подписаться большинство всѣхъ нашихъ домовъ трудолюбія: „Нѣкоторые трудолюбцы, заработавъ незначительное количество денегъ и пробывъ въ домѣ трудолюбія холодное время, по привычкѣ къ праздности и тяготясь извѣстнымъ порядкомъ и режимомъ, спѣшили выйти изъ дома трудолюбія, чтобы удовлетворить свою порочную страсть, соблазняя этимъ своихъ товарищей. Иные же изъ поступившихъ, сравнительное меньшинство, повидимому, совершенно потеряли возможность существовать самостоятельно безъ опеки дома трудолюбія, и настолько сживались съ условіями жизни въ немъ, что не выражали никакого стремленія поступить на частное мѣсто и измѣнить образъ жизни". Очевидно, что для тѣхъ изъ этихъ трудолюбцевъ, которымъ не нужно было прежде всего наказаніе, все-таки необходимо было воспитаніе; во всякомъ случаѣ, и для тѣхъ, и для другихъ, одной матеріальной поддержки, которую по самому существу своей дѣятельности могутъ оказывать наши дома трудолюбія,—было мало. Если принять во вниманіе, что въ громадномъ большинствѣ нашихъ домовъ трудолюбія контингентъ трудолюбцевъ немногимъ отличался отъ тверского дома трудолюбія, то естественно будетъ признать, что мы нуждаемся дѣйствительно больше всего и прежде всего въ такомъ типѣ учрежденія трудовой помощи, какъ нѣмецкая рабочая колонія, какъ нашъ „Евангелическій" домъ трудолюбія.

Но отсюда, конечно, не слѣдуетъ, что намъ не нужны такія учрежденія трудовой помощи, какими должны быть въ идеѣ наши дома трудолюбія. Наоборотъ, они намъ очень и очень нужны, и то обиліе у насъ нищихъ, нуждающихся въ воспитательной помощи, о которомъ мы говорили выше, когда отстаивали ея необходимость,—нисколько не говоритъ противъ того, что намъ нужны и учрежденія трудовой помощи для случайныхъ бѣдняковъ. Если до сихъ поръ мы сравнительно немного ихъ видѣли въ нашихъ домахъ трудолюбія, то это вовсе не значитъ, что ихъ нѣтъ; мы знаемъ причину этого и уже не разъ говорили о ней: она кроется въ томъ, что честный случайный бѣднякъ часто считаетъ для себя униженіемъ и позоромъ обратиться за помощью въ домъ трудолюбія, переполненный уличными нищими. И несмотря на все это, какъ мы уже видѣли, приблизительно 20% трудолюбцевъ попадаютъ на мѣста; стало быть, эти 20%—дѣйствительно честные случайные бѣдняки и дѣйствительно ищутъ честнаго труда. Конечно, еслибы домъ трудолюбія былъ и на

практикѣ предназначенъ только для нихъ, и еслибы они не боялись потерять въ немъ свою репутацію среди нищихъ и бродягъ, то процентъ этотъ былъ бы, вѣроятно, втрое и вчетверо больше.

Итакъ, намъ нужны учрежденія трудовой помощи и того и другого типа; но, правда, не вездѣ они нужны оба въ одинаковой степени. Учрежденія трудовой помощи для случайныхъ бѣдняковъ нужны преимущественно въ болѣе или менѣе крупныхъ центрахъ, гдѣ спросъ на работу значительно отстаетъ отъ предложенія, и гдѣ далеко не каждый бѣднякъ, дѣйствительно ищущій труда, можетъ найти его. Учрежденія трудовой помощи воспитательнаго типа нужны всюду и вездѣ,—вездѣ, гдѣ только есть нищіе и гдѣ только можно надѣяться, что хоть одинъ изъ ста ихъ можетъ быть еще спасенъ отъ нищенства и нищеты путемъ правильнаго и систематическаго леченія.

У насъ все молодо—и идея трудовой помощи также еще молода у насъ. Въ этой молодости вообще кроется обыкновенно главная причина несовершенствъ всего, что мы дѣлаемъ. Мы беремся за каждое новое дѣло очень горячо,—и надо сказать правду, идея трудовой помощи нашла себѣ въ нашемъ обществѣ горячее искреннее сочувствіе, такъ что даже теперь уже, по крайней мѣрѣ въ отношеніи количества нашихъ учрежденій трудовой помощи, мы не только не отстаемъ отъ государствъ западной Европы, но даже опередили многія изъ нихъ. Теперь первый пылъ прошелъ: время—остановиться и исправить тѣ ошибки, которыя мы неминуемо должны были сдѣлать при нашемъ быстромъ и горячемъ отношеніи къ дѣлу, при массѣ неблагопріятныхъ внѣшнихъ условій всей системы нашей борьбы съ бѣдностью, которыхъ не могло самостоятельно устранить развитіе идеи трудовой помощи. И у насъ, это дѣйствительно, начали новое дѣло, начали выдѣлять изъ непосредственной области дѣятельности домовъ трудолюбія тѣ задачи, которымъ должны служить на-ряду съ ними другія учрежденія; первый шагъ къ этому уже сдѣланъ началомъ развитія цѣлой сѣти дѣтскихъ пріютовъ трудолюбія спеціально для дѣтей. Если мы будемъ и дальше продолжать нашу дѣятельность въ этомъ же направленіи, то, надо надѣяться, намъ удастся постепенно выдѣлить и другія спеціальныя задачи изъ области непосредственной дѣятельности дома трудолюбія,—и тогда онъ останется самимъ собою, а толчокъ, данный имъ всей нашей системѣ мѣръ борьбы съ бѣдностью, быть можетъ, не пропадетъ совсѣмъ даромъ...

А. Горовцевъ.

ВЕЛИКОЛѢПНЫЯ ОРХИДЕИ

РАЗСКАЗЪ.

Предпослѣднимъ лѣтомъ мнѣ пришлось быть, по порученію одного богатаго коммерсанта и моего дальняго родственника, въ Парижѣ. Коммерсантъ этотъ, человѣкъ съ литературными наклонностями, издавалъ даже нѣкоторыя свои произведенія, но успѣха не имѣлъ. Неуспѣхъ свой онъ приписывалъ отсутствію вкуса въ русской публикѣ, лицепріятію и невѣжеству нашихъ критиковъ. И вотъ, прося меня съѣздить за границу по поводу выставки, на которой онъ собирался экспонировать свои товары, поручилъ онъ мнѣ, кстати, найти хорошаго переводчика и издателя для своихъ произведеній. Все это заставило меня пробыть въ Парижѣ болѣе продолжительнсе время, чѣмъ я думалъ, отправляясь туда, но зато досуга у меня было много, и я посвящалъ его бѣготнѣ по музеямъ и галереямъ. Въ искусствѣ я самый заурядный дилеттантъ, но я посвящаю искусству и психологіи вѣроятно, больше времени и интереса, чѣмъ многіе въ моемъ положеніи, т.-е. въ положеніи человѣка спеціальнаго техническаго дѣла. Въ Луврѣ я бывалъ чуть не каждый день, входилъ туда не безъ нѣкотораго трепета, и всякій разъ принималъ лучезарную улыбку Венеры Милосской спеціально на мой счетъ, за знакъ поощренія моего къ ней благоговѣнія. Кромѣ Венеры Милосской, я особенно увлекался еще небольшой картиной Шеффера—„Св. Августинъ и его мать“. Вы, можетъ быть, найдете сопоставленіе языческой статуи съ этой картиной страннымъ?

Для меня же, между тѣмъ и этимъ чудомъ искусства—большая связь. Гармонія, удовлетвореніе—вотъ что̀ начертано на всемъ существѣ Венеры; гармонія, удовлетвореніе—и на лицѣ матери св. Августина, поднявшей свои глаза къ лазури небесъ. Пускай онѣ черпаютъ эту гармонію изъ разныхъ источниковъ: одна, воплощеніе античнаго міра, — въ нѣдрахъ своей идеальной организаціи; другая, представительница иной эпохи, — въ религіозномъ настроеніи, — но обѣ онѣ знали состояніе духа, непостижимое мнѣ. Гдѣ же намъ, неуравновѣшеннымъ и скептическимъ сынамъ своего времени, искать удовлетворенія? Не въ сферѣ ли хоть человѣчнаго участія другъ къ другу обрѣсти намъ путь къ нему?

Въ будніе дни Лувръ полонъ художниками, поглощенными копированіемъ картинъ. Какъ-то, утомившись продолжительнымъ хожденіемъ по его заламъ, я присѣлъ отдохнуть въ узкой и длинной галереѣ, неподалеку отъ картины Рибейры „Положеніе Христа во гробъ". На передвижной лѣсенкѣ, отвернувъ голову къ картинѣ, сидѣла какая-то художница. Мнѣ бросилась въ глаза оригинальность всего ея худого облика и въ особенности цѣлая копна волнистыхъ черныхъ волосъ, которые цѣлой шапкой вздымались надъ ея лбомъ и падали на шею. Темное платье было покрыто мѣшкообразнымъ коленкоровымъ фартукомъ, испачканнымъ красками; крахмаленный воротникъ отстегнулся отъ ворота платья и съѣхалъ на бокъ; лѣвая рука держала палитру съ кистями, правая—была въ карманѣ грязнаго фартука. Она, видимо, углубилась въ изученіе картины; начатый уголъ копіи былъ сдѣланъ черезчуръ нервно, и оригинальный колоритъ картины не уловленъ. Подъ моимъ пристальнымъ взглядомъ дѣвушка оглянулась наконецъ, и я увидѣлъ худое, измученное лицо, которое казалось еще худѣе отъ обильной черной шевелюры; мрачные, полные мысли и душевной муки, глаза облагораживали ея физіономію, изобличавшую своимъ неправильнымъ строеніемъ наклонность къ сильнымъ страстямъ. По типу трудно было опредѣлить ея національность; я подумалъ, не французская ли она еврейка?

Дѣвушка мелькомъ оглянулась на меня и затѣмъ опять принялась за работу.

Съ этого дня я участилъ свои посѣщенія въ Лувръ и наблюдалъ за незнакомкой, аккуратно приходившей копировать Рибейру. Что̀ побуждало меня дѣлать это? Откровенно скажу: психологическій интересъ. Я у женщинъ такой физіономіи никогда не встрѣчалъ. Нѣсколько дней ходилъ я въ Лувръ, но не

могъ найти предлога заговорить съ художницей. Я только наблюдалъ за ея работой, и мнѣ пришлось быть свидѣтелемъ упорнаго труда и страданій художника, которому не дается его дѣло. Она не только принималась по нѣскольку разъ передѣлывать нарисованное, гоняясь за неудававшимся освѣщеніемъ, но въ концѣ концовъ она натянула новое полотно и снова принялась за картину.

Однажды я увидѣлъ ее охваченной лихорадкой работы до такой степени, что руки ея дрожали и плечи передергивались; но копія отъ этого не выигрывала. По обыкновенію, художница не обращала на меня, да и ни на кого изъ публики, ни малѣйшаго вниманія. „Какое удивительное упорство!“ — подумалъ я. Вотъ, наконецъ, она сошла съ своей лѣсенки, собрала кисти и сѣла на другой конецъ моего диванчика. Я искоса поглядывалъ на нее, а она долго не сводила глазъ съ картины Рибейры. Мало-по-малу глаза ея потеряли выраженіе напряженія; вотъ они скользнули мимо картины, поднялись кверху, и печаль разлилась по лицу. „Охъ, Господи!“ — сказала она вдругъ по-русски.

— Вы русская? — неожиданно для самого себя воскликнулъ я.

Она съ суровымъ замѣшательствомъ и удивленіемъ оглянулась на меня и встала съ дивана; потомъ она быстро начала собирать принадлежности своего рисованія. Французъ съ острой бородкой и длинными волосами, копировавшій неподалеку какую-то картину, насмѣшливо посмотрѣлъ на меня; мнѣ стало неловко, и я поспѣшно ушелъ въ другую залу. Пройдя машинально нѣсколько галерей, я вдругъ пожалѣлъ, что такъ быстро отступилъ. Не нужно было, по крайней мѣрѣ, терять ее изъ виду, и слѣдовало прослѣдить, куда она пойдетъ. Поискавъ ее напрасно около музея, я отправился домой. Когда въ слѣдующій разъ я опять пришелъ въ Лувръ, то къ моему, въ настоящемъ случаѣ совершенно нелогическому, изумленію, я опять нашелъ ее около картины. Я почему-то боялся, что она больше не придетъ. Но какое ей, въ сущности, дѣло до перваго встрѣчнаго, вступившаго съ ней въ разговоръ? Ея дѣло было копировать трудную картину, и не броситъ же она его ради такого пустого случая. Но и я тоже не легко отступалъ отъ своихъ цѣлей, а то, что она оказалась русской, усилило мой интересъ къ ней. На этотъ разъ я оставался въ музеѣ, пока она не кончила работы, не уложила въ ящикъ принадлежностей живописи, и въ томъ числѣ грязнаго фартука, и не украсила своей

войлокообразной шевелюры соломенной круглой шляпкой съ черной ленточкой. Я слѣдовалъ за ней, пока она не остановилась у перилъ на мосту „Карусель“. Я тоже остановился въ двухъ шагахъ отъ нея и сталъ смотрѣть на Сену. Рѣка спокойно текла, украшенная стройной панорамой города; внизу, подъ мостомъ, работали на баркахъ разгрузчики, весело пробѣгали пароходики.

— Скажите, пожалуйста, — заговорила художница глухимъ и неровнымъ голосомъ: — какую цѣль имѣете вы, преслѣдуя меня вотъ ужъ нѣсколько дней? Я, кажется, не состою на розыскахъ у полиціи?

Глаза ея при этомъ тревожно забѣгали, какъ будто она въ самомъ дѣлѣ боялась для себя возможности такого розыска.

— А развѣ вы знаете только одинъ видъ преслѣдованія: полицейскій?—сказалъ я шутливо.

— Я знаю еще полицейскую помощь въ случаяхъ преслѣдованія иного рода.

„Хорошо начинается наше знакомство!“ — подумалъ я съ сожалѣніемъ, и поторопился сказать:

— У меня не было въ мысляхъ ничего, заслуживающаго полицейскаго преслѣдованія. Прошу извиненія и удаляюсь съ чувствомъ сожалѣнія, что заставилъ васъ такъ плохо о себѣ думать.

И я приподнялъ шляпу.

— Э, полноте! очень вамъ нужно, что я о васъ думаю!— неожиданно сказала она.

Тогда, надѣвая шляпу, я спросилъ:

— Вы не хотите допустить, что вашъ обликъ можетъ остановить на себѣ вниманіе психолога? Я спрашиваю васъ, какъ художницу.

— Вы не психіатръ?

— Нѣтъ, къ счастью.

— Почему—къ счастью?

— Потому что психіатръ во всякомъ человѣкѣ ищетъ патологическихъ уклоненій, а я—убѣжденный врагъ такого направленія. Скоро, кажется, не останется ничего интереснаго, чего бы не заклеймили названіемъ „ненормальнаго“.

— Такъ, значитъ, вы—литераторъ?

— Нѣтъ, и не литераторъ. Я интересуюсь людьми безкорыстно; я никогда не смотрѣлъ на нихъ, какъ на „матеріалъ“, который можетъ быть пригоденъ для романа или драмы.

— Такъ это—любопытство?

— Зачѣмъ любопытство?! назовите это лучше—участіемъ.

— Такъ вы мнѣ предлагаете участіе?

— Если вы въ немъ нуждаетесь,—сказалъ я тихо.

— Я не заслуживаю ничьего участія, — отвѣтила она съ выраженіемъ какого-то страданія.—Прощайте!

— Подождите, ради Бога! Возьмите, по крайней мѣрѣ, мою карточку. Можетъ быть, въ другую минуту вы захотите увидѣться со мною... Черкните мнѣ тогда по этому адресу.

Она подумала немного, потомъ молча взяла мою визитную карточку, сунула ее въ карманъ и, перейдя на другой берегъ, скрылась въ улицѣ „Бонапартъ“.

Слѣдующіе дни я все ждалъ, не напишетъ ли она мнѣ, но ждалъ напрасно; я заходилъ въ Лувръ, но на этотъ разъ я уже не заставалъ ея тамъ больше; я отправился бродить по ту сторону Сены, въ надеждѣ встрѣтиться съ моей незнакомкой, — и все напрасно! Что-то вродѣ упрека совѣсти мучило меня, что я не съумѣлъ возбудить къ себѣ довѣрія въ этой, повидимому, несчастной соотечественницѣ. Парижъ и всѣ его чудеса потеряли для меня прежній интересъ, а на первомъ планѣ стоялъ образъ дѣвушки съ трагическимъ лицомъ, и мнѣ было жаль, что я не могъ согнать съ него черты ея душевной муки. Въ концѣ концовъ, стало мнѣ такъ тоскливо въ этомъ громадномъ городѣ, гдѣ она навѣки затерялась для меня среди милліоннаго населенія, что я рѣшилъ уѣхать въ Россію, такъ какъ дѣла мои, все равно, уже были кончены. День отъѣзда я назначилъ на пятнадцатое іюля, а четырнадцатаго вздумалъ посмотрѣть на народный праздникъ. Тринадцатаго, я въ послѣдній разъ побрелъ на ту сторону Сены и раза два прошелся взадъ и впередъ по улицѣ „Бонапартъ“. Потомъ я остановился у художественнаго магазина около „Ecole des Beaux arts“ и сталъ разсматривать выставленныя въ витринѣ картины и гравюры, въ числѣ которыхъ была фотографія со статуи Родэна—„Бальзакъ“, надѣлавшей столько шума. Всѣ люди со свѣжимъ еще художественнымъ чувствомъ и здравымъ смысломъ не могли не дивиться смѣлости художника, представившаго на конкурсъ неоконченное произведеніе, тогда какъ люди, чающіе новыхъ формъ въ искусствѣ, приняли эту полубезформенную статую за послѣднее слово скульптуры. Меня брали и смѣхъ, и досада на этотъ кусокъ камня, обтесанный хотя рукою крупнаго таланта, но недодѣланный въ безсильной погонѣ за неосуществимой мечтой.

Я отвернулся отъ витрины, почувствовавъ, что кто-то стоитъ за мной, и испыталъ впечатлѣніе чего-то почти зловѣщаго при

видѣ темной фигуры, проницательными и мрачными глазами смотрѣвшей на меня. Это была моя художница.

— Откуда вы? — спросилъ я. — Я не слыхалъ, какъ вы подошли.

— Я изъ „Ecole des Beaux arts“. Что это вы съ такимъ вниманіемъ разсматривали сейчасъ?

Я подѣлился съ ней своими соображеніями относительно статуи Родэна.

— Въ Парижѣ не мало всякихъ чудесъ вырожденія, — съ значительной усмѣшкой сказала она. — А видѣли вы Фальгіэровскаго Бальзака?—спросила она меня.

Я отвѣтилъ. Такъ какъ продолжать разговоръ на узенькомъ троттуарѣ, гдѣ насъ поминутно толкали пѣшеходы, было неудобно, то мы вышли на набережную и сѣли тамъ на скамейку. Теперь я лучше могъ разсмотрѣть это странное существо, видимо одержимое какимъ-то тайнымъ страданіемъ и этимъ самымъ доведенное до полнаго равнодушія къ тому впечатлѣнію, которое оно могло производить на другихъ. Одѣта она была все въ то же темное гладкое платье съ пятнами красокъ на рукавахъ; она сидѣла на скамейкѣ, скрестивъ руки на груди и положа ногу на ногу, благодаря чему я очень хорошо видѣлъ хорошо сложенную, небольшую ногу, обутую въ изношенный, порыжѣлый башмакъ. Въ этой позѣ была независимость и грація существа, которое гораздо больше художникъ, чѣмъ женщина. Говорила она нѣсколько отрывистымъ тономъ, порою дѣлая рѣзкія ударенія на словахъ, что̀ придавало ея интонаціи большую выразительность; сколько я могъ замѣтить, ей не составляло труда выражать довольно отвлеченныя мысли. Иногда во время разговора лицо ея нервно передергивалось, но въ общемъ ея манеры обличали хорошее воспитаніе.

— Давно вы въ Парижѣ?—началъ я разговоръ.

— Около пяти лѣтъ. А вы?

Я разсказалъ ей о цѣли своего пріѣзда въ Парижъ, и въ ироническомъ тонѣ отозвался о своемъ литературномъ родственникѣ.

— Это не сладость,—сказала она:—имѣть къ чему-нибудь призваніе и не быть избранникомъ.

— Да, это очень тяжело, — согласился я; — но вы-то, кажется, можете быть избранницей: вы молоды, у васъ есть энергія и способность къ труду. Геній есть терпѣніе.

— Но терпѣніе еще не геній.

— А вы много учились?

— Не мало! Я еще въ Россіи занималась. Впрочемъ, тогда я занималась не серьезно. А скажите, пожалуйста, чтò за это время—ничего въ русскомъ искусствѣ и русской литературѣ интереснаго не появлялось? Я съ тѣхъ поръ, какъ въ Парижѣ, не видѣла ни одной русской газеты, ни одной русской книги и не встрѣчалась съ русскими.

Я отвѣтилъ ей, что въ отдѣльности ничего особенно выдающагося мнѣ не пришлось замѣтить, но попадаются довольно интересныя общія теченія, какъ, напримѣръ, реакція противъ народничества, появленіе декадентства и въ поэзіи, и въ живописи, стремленіе къ ницшеніанству, къ проповѣди индивидуализма и т. д.

— Впрочемъ,—прибавилъ я,—эти послѣднія теченія я не столько замѣчалъ въ литературѣ, сколько въ самомъ обществѣ.

— Вы говорите: проповѣдь индивидуализма? То-есть, въ какомъ же это смыслѣ?—спросила она, какъ будто оживившись.

— Отчасти, конечно, какъ реакція противъ другихъ теченій мысли, — отвѣчалъ я; — но русскій человѣкъ очень склоненъ къ фетишизму, и если начнетъ отрицать, такъ непремѣнно тоже ссылаясь на какой-нибудь авторитетъ. Ныньче пошелъ въ ходъ Ницше.

— А скажите мнѣ, — спросила она, все больше волнуясь, причемъ не только лицо, но и плечи ея стали подергиваться:— вы никогда не встрѣчали людей, которые сознательно проводили бы въ жизнь отрицаніе морали? Не на словахъ только... Есть, конечно, прирожденные преступники и негодяи... Но вотъ еслибы кто-нибудь проникся какой-нибудь доктриной отрицанія или самъ пришелъ бы къ подобнымъ мыслямъ, и... и... ни предъ чѣмъ бы не останавливался...

— Видите ли? — сказалъ я: — можетъ быть, въ дѣлѣ эволюціи мысли подобныя доктрины играютъ очень важную роль. Но бѣда, если онѣ размѣниваются на ходячую монету и попадаютъ въ руки или самонадѣянныхъ, или жестокихъ людей, или людей съ мало дисциплинированною мыслью. Ницше самъ былъ человѣкъ кроткій.

— О, да! вы правы! — воскликнула она и встала съ скамейки, вся измѣнившись въ лицѣ. Глаза ея блуждали, лѣвую руку она крѣпко прижала къ виску.

— Чтò съ вами?—испуганно спросилъ я.

— У меня разболѣлся високъ. Я подвержена нервнымъ головнымъ болямъ... Я пойду домòй. Прощайте!

— Но мы еще увидимся?

— Ахъ, да! Я въ тотѣ разъ не обмѣнялась съ вами карточкой... На-те!

И она достала изъ портмонэ свою карточку.

— А теперь я пойду домой... Прощайте! — повторила она тономъ, въ которомъ слышалось нежеланіе, чтобы я шелъ за нею.

Вотъ она снова исчезла въ улицѣ „Бонапартъ", но на этотъ разъ у меня въ рукахъ были ея адресъ и ея имя. Это имя ничего не говорило мнѣ,—развѣ только, что ея нерусская физіономія могла принадлежать самой коренной русской.

Еще больше заинтригованный прерваннымъ разговоромъ съ нею, я на другой день утромъ послалъ ей записку: „Какъ вы себя чувствуете? Могу ли я увидѣть васъ? Я разсчитывалъ завтра ѣхать въ Россію, а сегодня хотѣлъ бы посмотрѣть на французскій праздникъ. Какъ было бы пріятно посмотрѣть на него въ обществѣ соотечественницы! Если ваша головная боль прошла, и если вы сами имѣли въ виду быть сегодня на праздникѣ, могу ли я быть вашимъ спутникомъ? А если вы нездоровы, можно ли васъ провѣдать?" Въ отвѣтъ я получилъ: „Сегодня въ семь часовъ вечера я буду ждать васъ въ Люксембургскомъ саду, около памятника Сентъ-Бёва. Оттуда мы можемъ пройти бульваромъ къ Сенѣ, гдѣ будетъ фейерверкъ. Этотъ садъ по здѣшнимъ разстояніямъ недалеко отъ васъ; во всякомъ случаѣ ближе, чѣмъ моя квартира".

Я пришелъ въ садъ въ семь часовъ, но такъ какъ я съ нимъ былъ совсѣмъ незнакомъ, то не сразу нашелъ памятникъ Сентъ-Бёва; не безъ труда разыскалъ я среди гуляющихъ и мою художницу. Сегодня она была одѣта съ бòльшей тщательностью; я замѣтилъ ее въ нѣсколькихъ шагахъ отъ себя и видѣлъ, какъ она поворачиваетъ голову, то въ одну, то въ другую сторону, всматриваясь въ проходящихъ мимо мужчинъ. Тогда я нагналъ ее и поздоровался съ нею.

— А, это вы?—проговорила она, смѣшавшись. — Я давно жду васъ.

— Извините,—говорю,—никакъ не могъ найти назначеннаго вами мѣста; я здѣсь никогда не бывалъ.

Тогда она предложила мнѣ обойти садъ, который былъ полонъ благоуханіемъ лѣтнихъ цвѣтовъ и пестрѣлъ праздничной толпой; затѣмъ, мы вышли на бульвары, тоже запруженные народомъ. Уже темнѣло, и на деревьяхъ зажигали бумажные фонарики; на площадяхъ танцовали какія-то парочки подъ звуки музыки, почти заглушаемые гуломъ толпы. Совсѣмъ стемнѣло, когда мы добрались до набережной; мы сунулись къ одному мосту,

но входъ на него былъ загражденъ солдатами національной гвардіи, словно застывшими на своихъ лошадяхъ; мы—къ другому, тамъ—та же исторія. Оказывается, съ мостовъ не позволяли смотрѣть на фейерверкъ, и мы пристроились у одного изъ нихъ, окруженные народомъ, тоже ждавшимъ зрѣлища.

— Однако, какъ сегодня уныло!—сказала художница.

— Чѣмъ уныло?—спросилъ я.

— Вы не знаете французской толпы. Совсѣмъ другой она была въ прошломъ году на томъ же праздникѣ... Какое оживленіе, шутки, смѣхъ! А сегодня и марсельезы никто не поетъ. Народъ смущенъ,—пояснила она, намекая на дѣло Дрейфуса.

— Это только показываетъ, что народъ живетъ настоящей жизнью,—замѣтилъ я.

— Да, конечно! Они очень впечатлительны, эти французы... Смотрите, вонъ ракета!

Вдали надъ Сеной, въ темнотѣ іюльской ночи, дѣйствительно, взвилась на огромную высоту ракета, и засверкали огни фейерверка. На смѣну имъ снова наступила тьма, въ которой нѣсколько секундъ все еще чудились блескъ и искры... Затѣмъ снова трескъ, шумъ и фантастическія огненныя фигуры, а тамъ—снова тьма. Не такъ ли и ты была порою блестяща и шумна, историческая жизнь великаго народа? Не такъ ли и тебя охватывалъ мракъ реакціи и унынія на смѣну блестящихъ періодовъ? Суждено ли тебѣ устоять на пути великихъ начинаній? Суждено ли осуществить тебѣ назрѣвшія для тебя новыя задачи, или уже быстро склоняешься и ты къ пути вырожденія и смерти?—такъ разсуждали мы съ спутницей.

Послѣ фейерверка мы перешли на другую сторону рѣки, миновали Луврскую площадь, дошли до зданія Оперы, выпили пива около какого-то ресторана, снова повернули къ Сенѣ. Все время мы бродили среди шумящей и танцующей толпы, одинокіе и чуждые ей, дѣти иной страны, пути которой, казалось мнѣ, еще не опредѣлились, но которая уже торопится копировать явленія чужого „декаданса“.

Я погрузился въ раздумье и совсѣмъ безотчетно велъ подъ руку мою странную спутницу; не то, чтобы я совсѣмъ забылъ про нее: я все время чувствовалъ ее около себя, и ея близость придавала моимъ мыслямъ и впечатлѣніямъ праздника особенный колоритъ; но лично о ней я не думалъ, мысленно пробѣгая такъ страстно и тяжело пережитыя страницы нашей исторической жизни за нѣсколько послѣднихъ десятилѣтій.

Рѣшительно не припомню, на какую площадь мы вышли;

помню только, что площадь эта была освѣщена огнями иллюминаціи, и окружавшія ее со всѣхъ сторонъ большія зданія дѣлали ее похожей на громадную залу, гдѣ сновала оживленная толпа; попались даже костюмированные. Меня вывели изъ задумчивости нѣсколько юношей въ обтрепанныхъ до невозможности курткахъ, но въ бархатныхъ беретахъ на длинныхъ волосахъ; они раскланялись съ моей спутницей и обратились къ ней съ шутливыми вопросами касательно меня. „C'est un compatriote",—сказала она имъ, и они ей отвѣтили, что не этотъ ли „compatriote" служитъ разгадкой ея пренебреженія къ нимъ... „Вы, конечно, угадали",—отвѣтила она. Тогда шутки ихъ удвоились.—„Дѣлайте видъ, что не понимаете ихъ",—шепнула она мнѣ по-русски...

— Да кто же они такіе?—спросилъ я въ недоумѣніи, сопровождаемый этимъ страннымъ кортежемъ.

— Это мои товарищи по „Ecole des Beaux arts" и по мастерской профессора.

— Они очень бѣдны, судя по ихъ платью.

— О, нѣтъ! Это у нихъ такая мода...

— Однако,—объявилъ одинъ изъ юношей своимъ товарищамъ:—если они будутъ говорить на своемъ чертовскомъ языкѣ —s'ils vont parler cette diable de langue,—уйдемте лучше.

И они, запѣвъ хоромъ какую-то пѣсню, пропали среди толпы, оставивъ во мнѣ впечатлѣніе мимолетнаго и страннаго сновидѣнія.

— Итакъ, вы завтра уѣзжаете? — обратилась ко мнѣ художница.

— Я думалъ выѣзжать завтра, но теперь мнѣ не хотѣлось бы еще... Спѣшить мнѣ некуда.

Она молчала. Поняла ли она, почему мнѣ не хотѣлось уѣзжать отсюда?

— Мнѣ кажется, вы недовольны сегодняшнимъ праздникомъ?—спросилъ я.

— Не то что недовольна... Но я видѣла лучшіе...

— Я думаю, вы совсѣмъ сжились съ Парижемъ?

— Да... пожалуй, сжилась... То-есть, меня никуда больше не тянетъ.

— И въ Россію вы не думаете?

— О, нѣтъ! въ Россію я врядъ ли вернусь, — глухимъ голосомъ сказала она.

- У васъ, вѣроятно, есть уважительныя причины? Я не

стану васъ разспрашивать, конечно,—это ваша тайна. Но неужели васъ никогда не мучаетъ тоска по родинѣ?

— У меня есть поводъ для болѣе сильныхъ страданій...

— Я всегда уважаю чужія тайны,—сказалъ я,—но, увѣряю васъ, я дорого далъ бы, чтобы облегчить вамъ ваши страданія...

— Еслибы вы знали ихъ мотивы, вы взяли бы свои слова назадъ. Вы добры... Вы предложили мнѣ свое участіе... Но еслибы вы знали!.. Я боюсь вамъ открыть все... Вы отняли бы у меня ваше участіе...

— Никогда! Увѣряю васъ,—горячо заявилъ я.

— Не говорите.—Она замолчала, погрузясь въ свои мысли.

Мы не замѣтили, какъ прошли бульваръ „Сенъ-Мишель“, какъ обогнули Люксембургскій садъ и очутились на какой-то пустынной, полуосвѣщенной улицѣ. Мнѣ казалось, что я чувствую запахъ цвѣтовъ, несущійся изъ сада.

— О чемъ вы думаете?—спросилъ я тихо, почувствовавъ себя вдругъ наединѣ съ таинственной дѣвушкой въ полумракѣ незнакомой улицы.

— Я ни о чемъ не думаю... Это не мысль, это скорѣе ощущеніе: я ощущаю запахъ какого-то тлѣнія... А вы не чувствуете? —произнесла она неестественнымъ голосомъ.

„Не находитъ ли на нее помѣшательство?“ — пришло мнѣ въ голову.

— Я чувствую только запахъ цвѣтовъ изъ Люксембургскаго парка,—отвѣтилъ я.

— Это понятно! Нужно самому „носить въ груди своей смерть“, какъ говорятъ поэты, чтобы быть особенно воспріимчивымъ къ явленіямъ вырожденія.

— О чемъ вы говорите?

— Я говорю о Франціи. Франція вырождается... Вѣрно, оттого-то здѣсь и могу я еще жить.

— Ну, можетъ быть, Франція только перерождается. А если у васъ болитъ душа, то, можетъ быть, и вы возродитесь. Вы молоды, у васъ есть призваніе къ искусству; вы одолѣете технику красокъ и напишете какую-нибудь замѣчательную картину. У васъ, конечно, есть какія-то причины очень мучиться, но я слыхалъ, что великія творенія зарождаются на почвѣ великихъ страданій иногда.

— А слыхали вы,—проговорила она,—что „убійство и геній—двѣ вещи несовмѣстныя“?

— Убійство? При чемъ тутъ убійство?

— Что̀ сказали бы вы, еслибы я оказалась убійцей?

— Что же сказать?—падающимъ голосомъ пробормоталъ я.

Мы оба замолчали, и такъ молча прошли мы нѣсколько шаговъ; потомъ она начала:

— Сейчасъ мы подходимъ къ той улицѣ, гдѣ я живу. Послѣ сказаннаго мною, намъ, можетъ быть, не случится больше видѣться. Во всякомъ случаѣ, я вамъ благодарна... за участіе... Прощайте!

— Нѣтъ, зачѣмъ прощаться?! Я ничего не знаю, и, по правдѣ сказать, я васъ не понимаю. Можетъ быть, вы объяснитесь со мною откровеннѣе? Можетъ быть, это облегчитъ васъ? Увѣряю васъ, не любопытство меня заставляетъ это говорить.

Мы остановились у воротъ дома, гдѣ она жила. Она медлила взяться за ручку звонка.

— Хорошо,—сказала она, подумавъ нѣсколько секундъ:—если можно, приходите ко мнѣ завтра. Къ семи часамъ вечера —я буду дома.

Мы раскланялись, и я взялъ проѣзжавшій фіакръ, чтобы поскорѣе добраться до дому; я усталъ отъ долгой ходьбы по городу, и на душѣ было нелегко. Съ кѣмъ это судьба меня столкнула? Къ чему приведетъ эта встрѣча, когда мое любопытство будетъ удовлетворено? Но не самъ ли я такъ настойчиво стремился узнать разгадку того, что было почти написано на лицѣ этой дѣвушки.

Съ стѣсненнымъ сердцемъ поднимался я на другой день въ шестой этажъ того дома, у дверей котораго мы вчера простились съ нею. Она жила въ невысокой, но довольно просторной комнатѣ, казавшейся еще просторнѣе отъ недостатка мебели. Темнокрасная коленкоровая занавѣска отдѣляла часть комнаты, гдѣ, очевидно, была спальня; эта же занавѣска служила фономъ для моделей. Три, четыре соломенныхъ кресла; столъ, гдѣ кипѣла вода на спиртовой лампочкѣ, и гдѣ валялись нѣсколько книгъ и стояла лампа; затѣмъ, мольбертъ, папки съ рисунками, гипсовыя модели; полка съ посудой—вотъ и все убранство. То былъ пріютъ бѣднаго художника, которому не на что нанять лучше обставленной мастерской; то было гнѣздо несчастнаго существа, у котораго убита душа, и въ обстановкѣ котораго ничто не говорило о малѣйшемъ желаніи украсить свое жилище какой-нибудь красивой бездѣлкой.

И она была тутъ; она сидѣла у окна и, держа на колѣняхъ доску съ наклеенной бумагою, что-то рисовала при послѣднемъ свѣтѣ уходившаго дня.

Когда я вошелъ, она какъ будто немного растерялась; видно было, что гостей принимать она не привыкла. Стараясь побѣдить смущеніе, она рѣзкимъ движеніемъ подвинула мнѣ стулъ и сказала, хмуря брови и вмѣстѣ улыбаясь:

— „Прошу взять мѣсто", какъ говорилось въ древне-греческихъ трагедіяхъ.

— Весьма благодаренъ!—отвѣтилъ я.—Что̀ это вы рисуете?

— Такъ, пустяки!

Она взяла доску и поставила ее рисункомъ къ стѣнѣ.

— Какой сегодня славный вечеръ! — сказалъ я, вдыхая свѣжій воздухъ, несшійся черезъ открытую дверь балкона.

— Славный!—лаконически отвѣтила она.

Она сидѣла, опустивъ голову и старательно рѣзала перочиннымъ ножомъ край стола.

Я шутливо сказалъ:

— Александръ Македонскій былъ великій человѣкъ,—но зачѣмъ же портить столъ?

Она сложила ножъ и стала теребить лежавшую на столѣ газету. Потомъ мы оба разсмѣялись. Она поставила на столъ бутылку краснаго вина, сыръ и налила мнѣ чаю, разбавляя его водой изъ котелка, грѣвшагося на спирту. Я попросилъ позволенія посмотрѣть папки съ рисунками и получилъ согласіе. Такъ какъ уже смеркалось, то она зажгла лампу и подала мнѣ папку. Въ папкѣ оказались эскизы красками и просто углемъ; они были смѣлы, оригинальны и сильны, но въ рисункѣ былъ какой-то недостатокъ: рисунокъ изобиловалъ неестественно удлинненными линіями, какъ будто она не могла во̀-время остановить руки, и что-то рѣзкое было въ немъ. Мнѣ больше всего понравился нѣсколько разъ повторенный этюдъ подростка-еврея на фонѣ витрины банкирской конторы; порою было уловлено очень жизненное выраженіе, съ какимъ будущій банкиръ жадно изучалъ кредитныя бумажки. Я очень похвалилъ сюжетъ.

— Когда я достаточно овладѣю техникой красокъ, я прежде всего напишу эту картину.

— Въ этихъ „орхидеяхъ" тоже есть жизнь, — показалъ я на небольшой кусокъ полотна.

— Это я написала въ Россіи еще. Въ нихъ есть жизнь, вы говорите? Въ нихъ моя смерть,—сказала она съ тоскою.— А вотъ на это взгляните.

И предварительно надѣвъ на лампу рефлекторъ, она взяла стоявшую въ углу какую-то картину, завѣшенную кускомъ матеріи, и поставила ее на мольбертъ. Я подошелъ къ ней и оста-

новился пораженный. Чтò это такое предо мною? Это можно было назвать поснымъ портретомъ; но на портретѣ была изображена молоденькая и худенькая голая женщина съ закрытыми глазами и спутанными темными волосами, по которымъ струилась вода; руки, кисти которыхъ не вошли въ картину, висѣли, какъ плети, вдоль тѣла, сіявшаго яркой бѣлизною. Эта картина была полна такого исключительнаго настроенія, что жутко становилось, глядя на нее.

— Это необыкновенно!—съ искреннимъ увлеченіемъ воскликнулъ я.—Эта картина должна изображать призракъ утопленницы, не правда ли?

— Да,—услышалъ я сдавленный голосъ художницы, стоявшей за мною. Я оглянулся и увидѣлъ ея поблѣднѣвшее, до холоднаго поту лицо; она расширенными глазами—такъ что вокругъ всего зрачка былъ виденъ бѣлокъ—съ жаднымъ вниманіемъ смотрѣла на картину.

— Чтò съ вами? Чтò съ вами?—повторилъ я испуганно.

Она опомнилась, подозрительно посмотрѣла на меня и провéла рукою по мокрому лбу; потомъ она машинально вытерла руку о платье и, подойдя къ столу, налила себѣ въ стаканъ краснаго вина и выпила, не разбавляя водою.

— Ужасно! ужасно!—проговорила она, подобно лэди Макбетъ въ сценѣ бреда. Затѣмъ, сдѣлавъ нѣсколько невѣрныхъ шаговъ къ балконной двери, она остановилась тамъ, прислонившись къ притолокѣ. Я молча слѣдилъ за нею. Съ улицы былъ слышенъ шумъ проѣзжавшихъ экипажей. День погасалъ, и свѣжій вечерній воздухъ струился извнѣ. Вдали, надъ массою крышъ, тонувшихъ въ сумеркахъ, я видѣлъ силуэтъ Эйфелевой башни, гдѣ уже зажглись разноцвѣтные огни. Въ комнатѣ водворилось тяжéлое молчаніе; я не находилъ, чтò сказать. Конечно, между изображеніемъ утопленницы и намеками на убійство должна была быть связь. Я сидѣлъ, углубясь въ кресло, не будучи въ состояніи ни заговорить, ни уйти; а она стояла, все такъ же прислонясь головою къ притолокѣ. Я смотрѣлъ на нее, и мнѣ бросались въ глаза ея взъерошенные волосы, неправильное строеніе лица, а въ памяти возникало выраженіе, съ которымъ она глядѣла на картину. Когда она снова подошла ко мнѣ, ея лицо было блѣдно и печально, но спокойно.

— Эта картина, чтò вы смотрѣли, можетъ служить иллюстраціей къ одной исторіи. Интересно вамъ знать эту исторію?

Я сказалъ, что очень интересно,—я готовъ слушать ее.

— Нѣтъ, разсказывать я не буду; это было бы слишкомъ

тяжело мнѣ... Но я хотѣла ее вамъ написать... То-есть, я начала еще вчера... И если вы пробудете еще въ Парижѣ дня два, то я напишу и занесу вамъ. Только читайте это, когда будете въ Россіи. И если вы найдете, что я заслуживаю вашего участія, тогда напишите мнѣ изъ Россіи. Пришлите мнѣ съ моей родины нѣсколько утѣшительныхъ словъ. Я вамъ все напишу откровенно. Это мнѣ очень облегчитъ душу.

— Хорошо!—отвѣтилъ я:—и спасибо вамъ за довѣріе. А скажите, что̀ думаете вы дѣлать съ этой картиной?

— Я не знаю, что̀ съ ней дѣлать. Ее никто еще не видалъ, и, судя по тому впечатлѣнію, которое она на васъ произвела, она не очень плоха. Но она непонятна безъ иллюстраціи. Предъ моею смертью я поручу ее выслать вамъ,—сказала она, улыбнувшись. — Когда получите,—знайте, что я умерла...

Я скоро уѣхалъ въ Россію и, за разными дѣлами, не сразу собрался прочесть рукопись.

— Давно ужъ я лелѣю надежду,—писала она,—встрѣтить такого человѣка, которому можно было бы все разсказать. Говорятъ, немногіе преступники могутъ долго скрывать тайну своего преступленія. Есть большая отрада въ возможности исповѣдаться. Но кому же я могла бы исповѣдаться? Трудно встрѣтить такого человѣка, который гуманно отнесся бы къ подобному признанію, и отнесся бы къ нему не какъ моралистъ, а какъ психологъ. Мнѣ кажется, вы—именно такой человѣкъ. На ловца и звѣрь бѣжитъ. А я бы облегчила себѣ душу! Вы представить себѣ не можете, какія могутъ быть ужасныя душевныя состоянія! Не знаю, съумѣю ли я все это, какъ слѣдуетъ, разсказать? Это не легко. И потомъ, я буду бояться, что вамъ будетъ скучно читать эту исторію. Я постараюсь, все-таки, быть по возможности покороче.

Мое дѣтство и юность прошли въ счастливой обстановкѣ. Мои родители были довольно состоятельные помѣщики, и было у насъ въ одной губерніи довольно благоустроенное имѣніе. Я не имѣла ни братьевъ, ни сестеръ. Я бывала порою очень буйнымъ ребенкомъ; но кротость матери, строгость отца и гувернантокъ смиряли меня. Какъ начала я себя сознавать, такъ начала я и замѣчать въ себѣ разныя настроенія. Еще я помню, что съ семи лѣтъ уже, когда я освоилась съ идеей смерти, меня часто преслѣдовалъ страхъ смерти. Вы не повѣрите! Я помню, бывало, весеннимъ или лѣтнимъ вечеромъ, когда набѣгаешься вдоволь на воздухѣ и потомъ сядешь на ступенькахъ террасы, гдѣ

родители сидятъ за чайнымъ столомъ, — самыя странныя для моего возраста мысли приходили мнѣ въ голову. Это даже не мысли, а скорѣе только полусознанныя, еще не формулированныя словами ощущенія... Это были ощущенія пустоты и ничтожества... Отчего они являлись? Вѣрно, не было равновѣсія въ моемъ организмѣ. Мнѣ казалось, что вотъ-вотъ надвинется что-то ужасное, что̀ придавитъ и унесетъ въ какую-то пустоту и нашъ домъ, и мать, и отца...

Если я рано начала сознавать непріятныя ощущенія, то и счастье обезпеченнаго и лелѣемаго доброй матерью существованія я тоже рано сознала. Наше имѣніе было довольно живописно, а для меня это былъ ни съ чѣмъ несравнимый рай, который особенно прекраснымъ мнѣ казался послѣ того, какъ иногда приходилось прожить болѣе или менѣе продолжительное время въ городѣ. Го̀родъ я ужасно не взлюбила, а когда разъ мнѣ пришлось въ дѣтствѣ поѣхать съ матерью въ Германію, куда мать отправлялась на-воды, я нашла тамошнюю благоустроенную деревню „гадкой", потому что я напрасно искала въ ней привычныхъ и милыхъ моему сердцу аттрибутовъ русской деревни: соломенныхъ крышъ, убогихъ избъ и т. п.

Домъ нашъ былъ небольшой и нероскошный, но оригинальный и удобный; глазъ мой рано привыкъ къ хорошимъ гравюрамъ и картинамъ, потому что отецъ мой былъ и любителемъ, и знатокомъ живописи. Послѣ него осталась интересная книга о картинныхъ галереяхъ Европы. Въ молодости онъ и самъ надѣялся быть художникомъ, началъ учиться, но, убѣдившись, что крупнаго таланта не имѣлъ, возвратился въ Россію и довольно успѣшно занялся сельскимъ хозяйствомъ. Лѣтъ сорока онъ женился на молоденькой дѣвушкѣ, хрупкой и нѣжной на видъ, но характеромъ обладавшей не слабымъ. Она была дочь совсѣмъ обѣднѣвшихъ родителей. Отецъ же мой хоть и не очень былъ богатъ, но разоренія избѣжалъ, потому что хозяйничалъ осторожно. Художникъ сказался въ немъ тутъ въ томъ отношеніи, что чувство мѣры онъ зналъ и изъ бюджета не выходилъ. Да и нельзя было иначе: онъ страшно дорожилъ своею независимостью, служить никогда не могъ и къ земской дѣятельности тоже охоты не обнаруживалъ. Дорожа своею независимостью, онъ дорожилъ, понятно, и рентой своей. Его считали и скупымъ, и гордымъ. Кругъ его знакомства былъ очень ограниченъ и избранъ; образъ жизни, какъ я помню, — очень правиленъ. Въ обращеніи съ людьми онъ отличался холодной увѣренностью и руководился въ жизни запасомъ въ молодости еще выработан-

ныхъ и весьма эгоистическихъ взглядовъ на человѣческія отношенія. Такъ, когда и въ семейной жизни своей онъ замѣтилъ нежелательныя для себя осложненія,—онъ поступилъ, какъ всегда, быстро, рѣшительно и удобно для себя. Я побаивалась отца, но заслужить его похвалы и обратить на себя его вниманіе мнѣ всегда хотѣлось,—и хотѣлось, чтобы онъ меня любилъ. А онъ былъ не изъ тѣхъ людей, которые привязываются, и на меня сталъ обращать вниманіе только тогда, когда замѣтилъ у меня склонность къ рисованію; неудавшійся художникъ—онъ думалъ, что изъ меня выйдетъ талантъ. Досугъ свой мой отецъ наполнялъ собираніемъ гравюръ, писаніемъ своей книги и игрою въ шахматы. Любимымъ партнеромъ былъ нашъ дальній родственникъ и близкій сосѣдъ по имѣнію, Юферовъ. Этотъ тоже былъ помѣщикъ и тоже усердно занимался хозяйствомъ; отецъ мой видѣлъ въ этомъ средство къ жизни, а тотъ увлекался самымъ дѣломъ сельскаго хозяйства, велъ его на болѣе широкую ногу, да и вообще былъ много богаче насъ. Земской дѣятельностью, помню, занимался онъ тоже очень усердно, и я слышала, что онъ бывалъ иниціаторомъ разныхъ полезныхъ мѣропріятій и много писалъ по земскимъ вопросамъ, — говорятъ, очень дѣльно. По наружности онъ былъ сильный брюнетъ, плотный, задумчивый и немножко медлительный; лично для меня его лицо было исключительно симпатично; это былъ для меня идеалъ мужского лица. Я помню его еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ. Онъ со мной игралъ и шутилъ, съ отцомъ сражался въ шахматы, а съ матерью любилъ разговаривать и слушать ея игру на роялѣ. Я уже говорила, что была шаловливымъ и даже дерзкимъ ребенкомъ; но никто не умѣлъ, какъ Юферовъ, однимъ неодобрительнымъ покачиваніемъ головы усмирять мое буйство.

Учить меня начали поздно, и охоты къ ученью у меня большой не было. Зато читать, а еще пуще разглядывать картинки и гравюры и изводить своимъ малеваніемъ безконечное количество бумаги—было у меня страстью. Я была способна проводить за этими занятіями цѣлые часы, и воспитатели мои пользовались этой страстью, развивали ее, предпочитая, конечно, чтобы я сидѣла за книжкой или за малеваніемъ, нежели проказничала. Съ годами моя рѣзвость стала пропадать, начала развиваться наклонность къ самоуглубленію, и я сдѣлалась сдержанной и скрытной. Мнѣ казалось все, что я какая-то особенная, и что меня навѣрное никто не понимаетъ. Я предавалась мечтаніямъ и любила слѣдить за своими впечатлѣніями и запоминать ихъ; свѣтовые эффекты повергали меня порою просто

въ экстазъ. Вообще я была очень нервозна. А тутъ одно событіе, когда мнѣ шелъ тринадцатый годъ, и совсѣмъ потрясло мою нервную систему. Отецъ мой изъ-за чего-то (изъ-за чего, я въ ту пору и понятія не имѣла) страшно разссорился съ моею матерью и уѣхалъ отъ насъ за-границу. Съ отъѣздомъ его, и послѣдніе гости перестали бывать у насъ. Разъ только пріѣхалъ Юферовъ, но, послѣ какого-то таинственнаго объясненія съ матерью, и онъ больше не пріѣзжалъ. Прошли красные деньки! Мать тосковала, и атмосфера тоски и драмы, установившаяся въ нашемъ домѣ, подѣйствовала на меня просто подавляющимъ образомъ, такъ что со мной стали дѣлаться нервные припадки.

Мать увезла меня лечить въ Москву, гдѣ мы прожили двѣ зимы, а лѣтомъ ѣздили на курорты. Къ пятнадцати годамъ я совсѣмъ оправилась, но средства наши въ ту пору были плохи. Отецъ, уѣзжая, заложилъ свое прежде нигдѣ не заложенное имѣніе въ максимальной цѣнѣ и предоставилъ его въ распоряженіе мамы, а самъ жилъ на деньги, полученныя отъ залога имѣнія. Только благодаря тому, что Юферовъ, въ отсутствіе матери, слѣдилъ за нашимъ приказчикомъ, не впали мы въ полное разореніе; заложенное имѣніе, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ по залогу, стало давать доходу мало, а жизнь въ Москвѣ да на курортахъ обходилась слишкомъ дорого. Но мать моя, какъ только я оправилась, со свойственной ей энергіей сразу поставила жизнь въ возможно узкія рамки. Мы поселились въ губернскомъ городѣ на маленькой квартирѣ; иностранки, состоявшія при мнѣ, были отпущены, и мать рѣшила отдать меня въ гимназію, а языкамъ и музыкѣ учить самой. Она, видимо, порѣшила жить только для меня и совершенно отказалась отъ общества. Разъ она нашла, что гимназія больше соотвѣтствовала нашему матеріальному положенію, и что гимназическое образованіе мнѣ полезно, она не посмотрѣла на ложный стыдъ, заговорившій во мнѣ, и меня, пятнадцатилѣтнюю дѣвочку, длинную какъ жердь и съ лицомъ, въ которомъ ничего ужъ не было ребяческаго, отдала въ III-й классъ министерской гимназіи, въ которомъ я оказалась старшей. Меня приняли въ этотъ классъ въ виду медицинскаго свидѣтельства. У меня было много разбросанныхъ знаній и большая для своихъ лѣтъ начитанность, но по нѣкоторымъ предметамъ, такъ какъ я послѣдніе годы совсѣмъ почти не училась, я и въ третій-то классъ едва могла выдержать экзаменъ. Моя угрюмость, развившаяся съ болѣзнью, еще усилилась отъ ложнаго стыда за свое положеніе въ классѣ. Проходить программу, назначенную для двѣнадцати- и тринадцатилѣтнихъ дѣ-

вочекъ, было больше, чѣмъ легко, и свободнаго времени было много; употреблялось оно на занятія съ матерью, на чтеніе и самосозерцаніе. Отъ рисованія я, за болѣзнью, отстала. У меня образовалась преувеличенная чувствительность ко внѣшнимъ впечатлѣніямъ, и слово „эстетическій" было однимъ изъ самыхъ употребительныхъ въ моемъ лексиконѣ. Вѣроятно, многое изъ того, созерцаніе чего для другихъ безразлично, или даже вызываетъ гуманныя чувства, во мнѣ возбуждало чувство отвращенія. И все рѣзче стала во мнѣ обнаруживаться тенденція убѣгать отъ прозаической обстановки жизни въ область фантастическихъ мечтаній. Много я поглотила въ возрастѣ отъ 15 до 20 лѣтъ всякихъ романовъ, изъ которыхъ французскіе были моими любимыми, въ особенности—гдѣ описывались утонченныя психологическія драмы. И чѣмъ сильнѣе переживался читаемый романъ, и чѣмъ ярче были мечтанія, тѣмъ всегда на душѣ потомъ становилось тяжелѣе. Являлась мысль о смерти, о ничтожествѣ. Являлся страхъ умереть, не испытавъ въ жизни всей поэзіи страстей и чувства. Мысль, что я съ своею жаждой жизни, съ цѣлымъ міромъ образовъ въ душѣ буду уничтожена смертью и тлѣніемъ, просто ужасала меня. Религія какъ-то сама собою очень рано потеряла для меня значеніе. Страхъ смерти сталъ мучить меня ужъ не минутами только, а я просыпалась и засыпала съ мыслью о ней. Впрочемъ, такой періодъ былъ непродолжителенъ, и когда страхъ возобновлялся, я успокоивала себя тѣмъ, гдѣ-то вычитаннымъ, соображеніемъ, что и условія, создавшія меня, и сама я—можемъ опять повториться въ безконечности времени и пространства. Теперь скажу: избави Богъ, чтобы гдѣ-нибудь и когда-нибудь повторилось то, что́ я пережила, и всѣ мои мученія. Смерть мнѣ кажется желаннымъ успокоеніемъ иногда. Но разстаться съ жизнью самовольно я и теперь не рѣшаюсь. Удивительная живучесть!

Я помню, и въ первой юности у меня было стремленіе отдаться какой-нибудь спеціальности. Отъ живописи, говорю, я какъ-то отстала. Я тогда усердно занималась музыкой; я думала, что она-то и можетъ быть всеобъемлющимъ міромъ, куда можно скрываться отъ мерзостей жизни; я просила мать, чтобы она отвезла меня въ Москву спеціально заниматься музыкой, но она, во-первыхъ, была противъ односторонности образованія, а во-вторыхъ, не находила у меня настоящаго дарованія къ музыкѣ. Но у меня такое сильное призваніе было къ художественной дѣятельности, что, повѣривъ авторитетному мнѣнію матери относительно музыки, я стала пробовать свои силы въ поэзіи и

начала писать стихи. Въ этихъ стихахъ опять-таки говорилось о страхѣ смерти, о безсмыслицѣ жизни и ея страданіяхъ; въ нихъ выражалось сожалѣніе, что молодость такъ быстротечна, что радости такъ призрачны! И это все писалось 17—18-лѣтней гимназисткой, ничего въ жизни почти не испытавшей, писалось въ то время, когда для большинства ея сверстницъ существовали пока только радости и горести изъ-за хорошихъ и дурныхъ отмѣтокъ въ гимназіи! Впрочемъ, нѣкоторыя изъ моихъ ровесницъ въ болѣе старшихъ классахъ, съ которыми я свела знакомство, мечтали о курсахъ, о медицинѣ, о томъ, чтобъ „пользу приносить". Я бывало, слушая ихъ мечты, говорила имъ: —Отчего же не жить для своей пользы? Почему такъ преувеличенно думать о пользѣ другихъ? Я думаю, я и сама тоже чувствую и жить хочу, какъ эти другіе, кому вы тамъ собираетесь „пользу приносить".—На нѣкоторыхъ слова мои вліяли, и я имѣла приверженницъ. Одна изъ нихъ даже показала мнѣ въ какомъ-то журналѣ нѣсколько цитатъ изъ того самаго Ницше о которомъ вы говорили; а она, въ свою очередь, обратила на это вниманіе, потому что при ней объ этой статьѣ говорилъ ея братъ студентъ съ товарищемъ. Этимъ знакомство мое съ вашимъ философомъ и ограничилось; но и это мимолетное знакомство укрѣпило меня въ моей нелюбви къ „сентиментальнымъ", какъ я тогда говорила, разговорамъ о самопожертвованіи на пользу всякимъ нищимъ и оборванцамъ. Понравилось мнѣ заявленіе, что „все позволено", и о сверхчеловѣкѣ цитаты мнѣ пришлись по вкусу. Съ теоріей Дарвина я уже давно была знакома по популярнымъ книжкамъ; книгъ у насъ въ домѣ было довольно много: однѣ—собранныя отцомъ, другія—матерью. Мама выписывала и нѣкоторые журналы, и мнѣ никогда не было запрету читать все, что̀ я хочу.

Только въ 18-ть лѣтъ я начала впервые брать уроки рисованія, и натолкнулъ меня обратиться къ этому занятію Юферовъ. Видать мнѣ Юферова приходилось только изрѣдка. Сами мы въ деревню не ѣздили, потому что, по словамъ мамы, со мной могла бы повториться моя болѣзнь, еслибы я попала опять въ ту обстановку, гдѣ заболѣла. Но Юферовъ иногда пріѣзжалъ въ нашъ городъ ко времени земскихъ собраній и бывалъ тогда у насъ. Я помню, разъ, будучи ужъ 18-ти лѣтъ, я пришла изъ гимназіи и услыхала въ гостиной его голосъ. До меня долетѣли слова:

— Ни годы, ни разлука—даю вамъ слово!—говорилъ онъ.

— Вѣрю, вѣрю! — отвѣтила мать: — и тѣмъ болѣе прошу

васъ поступать такъ, какъ мы рѣшили. Не вы одни несете этотъ крестъ!

„Про какой это крестъ они говорятъ?"—подумала я, но на этой мысли не остановилась. Когда я вошла въ гостиную и прервала ихъ разговоръ, я замѣтила, что у обоихъ лица были взволнованы. Мать моя была на видъ очень нѣжна, изящна и моложава... Да и молода она была тогда; она рано вышла замужъ и была всего на семнадцать лѣтъ старше меня. У нея были тонкія черты и прекрасные темные волосы. Она была куда красивѣе меня. И сравненія быть не можетъ! Не даромъ у отца былъ художественный вкусъ. Такъ какъ мать моя объ удобствахъ моихъ всегда заботилась, нравственной моей свободы почти никогда не стѣсняла, то и жили мы съ ней въ ладу. Кромѣ того, она чрезвычайно отвѣчала моему эстетическому чувству.

Когда я вошла въ гостиную, разговоръ обратился на меня, и Юферовъ спросилъ меня между прочимъ, не занимаюсь ли я рисованіемъ, такъ какъ въ дѣтствѣ я обѣщала много въ этомъ отношеніи. Мать отвѣтила за меня, что я больше увлекаюсь музыкой.

— А есть призваніе?—спросилъ онъ. Мама же сказала, что не видитъ во мнѣ музыкальнаго дара. „Можетъ, конечно, играть, но ничего особеннаго"... — сказала она, а я спросила Юферова, какое, по его мнѣнію, искусство выше: живопись или музыка? Онъ отвѣтилъ:—Какъ сказать? музыка дѣйствуетъ сильнѣе, конечно, но живопись гораздо опредѣленнѣе; и я, еслибы имѣлъ организацію художника, предпочелъ бы быть живописцемъ, потому что могъ бы этимъ путемъ обращать вниманіе общества на разныя тяжелыя явленія общественной жизни.

Слова эти, сказанныя къ тому же человѣкомъ, къ которому я съ дѣтства питала особенное почтеніе, посѣяли во мнѣ сѣмена тревогъ и сомнѣній. Для меня искусство было міромъ, куда нужно спасаться отъ тяжелыхъ явленій жизни, а по его мнѣнію, искусство ихъ-то и должно искать. Послѣ его отъѣзда я рѣшила бросить и музыку, и стихи, и начать заниматься рисованіемъ. Отъ толчка, даннаго Юферовымъ, проснулось дремавшее призваніе.

Если поанализировать поглубже, то взяться за живопись меня заставило также желаніе угодить Юферову или, вѣрнѣе, желаніе ему понравиться. Во мнѣ уже заговорило женское чувство, и къ почтенію, что я питала къ Юферову, и къ поэтическому впечатлѣнію дѣтства, начинали присоединяться волную-

щія чувства, и все чаще приходилъ мнѣ на умъ его ὀбразъ, и герои романовъ стали воплощаться въ этомъ ὀбразѣ.

Итакъ, я рѣшилась учиться живописи и просила мать нанять мнѣ учителя; въ реальномъ училищѣ былъ довольно хорошій учитель, который писалъ и красками. Мама пригласила его попробовать со мной рисованіе; онъ нашелъ, что я къ этому очень способна, и тогда я предалась рисованію со страстью. Я опять стала говорить о томъ, чтобы уѣхать изъ нашего города, но съ тѣмъ уже, чтобы учиться живописи. „А развѣ, по-твоему, художнику не нужно общее образованіе?"—отвѣтила мнѣ мать, и время приходилось дѣлить между гимназіей и рисованіемъ. Въ то время занятіе это доставляло мнѣ удовлетвореніе, котораго больше уже никогда я не испытывала.

Я все поджидала Юферова, чтобы поговорить съ нимъ о значеніи искусства; но онъ въ теченіе двухъ лѣтъ не пріѣзжалъ почему-то къ земскимъ собраніямъ, и мы его не видали. Между тѣмъ я уже настолько освоилась съ карандашомъ, что позволяла себѣ пестрить альбомъ разными фантазіями. Чаще всего мои рисунки представляли изъ себя иллюстраціи къ прочитаннымъ романамъ и попытки изобразить идеально-красивыя женскія лица. Каррикатуръ я никогда не любила; также не выносила я на картинахъ разныхъ калѣкъ, нищихъ, обдерганныхъ мужиковъ, нищенскихъ жилищъ и т. п. Искусство должно быть міромъ идеала, и слова, сказанныя мнѣ Юферовымъ о значеніи искусства, казались мнѣ съ его стороны случайнымъ заблужденіемъ. Жизнь полна смѣшеніемъ прекраснаго и безобразнаго, сильнаго и слабаго, свободнаго и рабскаго, и искусство должно быть только міромъ прекраснаго, сильнаго, свободнаго; однимъ словомъ, оно должно быть „сверхчеловѣчнымъ".

Мама какъ-то разъ просматривала мой альбомъ и сказала мнѣ: „Странно! у тебя совсѣмъ незамѣтно желанія занести въ свой альбомъ что-нибудь изъ окружающей тебя жизни: все что-то фантастическое". Тогда я ей сообщила свою теорію. „Или ты забыла,—спросила она меня на это,—что̀ тебѣ говорилъ о значеніи искусства Никита Ивановичъ?!"—„Помню,—отвѣтила я,—но мнѣ хотѣлось бы еще поговорить съ нимъ объ этомъ. Когда, ты думаешь, онъ пріѣдетъ?"—„Не знаю, не знаю!"—со вздохомъ отвѣтила мнѣ мать.

А я все чаще мечтала о немъ. Мнѣ представлялись картины путешествій съ нимъ или уединенной съ нимъ жизни въ глухой деревнѣ. Я съ тайнымъ волненіемъ мечтала о немъ и знала, что это волненье называлось влюбленностью. Но иногда

душа моя исполнялась отвращеніемъ къ этому состоянію, и мнѣ противно было читать романы, и тогда мнѣ рисовались картины какихъ-нибудь крупныхъ общественныхъ движеній, гдѣ бы я играла первую роль. Или мечтала объ артистической славѣ, и душа грустила о какой-то исключительно прекрасной долѣ, но, утомленная всѣми этими порывами, я замирала въ сознаніи бренности и ничтожества жизни. Всѣ эти колебанія настроенія хотя и были мучительны, но въ нихъ казался мнѣ залогъ художественной организаціи. Было временами какое-то душевное движеніе, подобное движенію предохранительнаго клапана, которое предупреждало меня о чрезмѣрномъ напряженіи душевныхъ силъ, и тогда вспоминались слова Юферова, и въ нихъ мелькала мнѣ надежда на спокойный берегъ для души; мнѣ приходила въ голову мысль о дѣятельномъ участіи къ страданію ближнихъ. Но почвы для развитія этихъ мыслей въ моей душѣ, одержимой страстной жаждой жизни, никогда не было. Въ этой душѣ все сильнѣе звучало требованіе личнаго счастья, и я думала тогда, что если люди и страдаютъ, то въ большинствѣ случаевъ по собственной винѣ, и что жизнь и счастье принадлежатъ наиболѣе сильнымъ и одареннымъ личностямъ, которыя ни предъ чѣмъ не отступаютъ для достиженія счастья.

Когда я была уже въ восьмомъ классѣ, въ день рожденія мамы, Юферовъ прислалъ ей красивую четырехугольную вазу съ живыми орхидеями и записку, гдѣ онъ писалъ, что онъ въ городѣ и придетъ къ намъ обѣдать. Это извѣстіе меня сильно взволновало, и тогда мнѣ въ первый разъ пришло въ голову подумать о своей наружности; до сихъ поръ меня наряды нисколько не занимали, и я часто получала отъ матери замѣчанія за продранные локти и растрепанную прическу. Я тщательно причесалась и одѣлась и съ волненіемъ ждала прихода Юферова; а когда онъ пришелъ, то засталъ меня одну въ столовой, гдѣ я украшала обѣденный столъ присланными имъ орхидеями. Я очень смутилась, а онъ сказалъ: „Боже мой!—да неужели это Сонечка? Какъ измѣнилась-то! Да сколько же вамъ лѣтъ?“ — „Двадцать-одинъ“,—отвѣчаю.—„Двадцать-одинъ?! Шутка ли?—время-то какъ бѣжитъ“...

И онъ задумчиво смотрѣлъ на меня и качалъ головою, и я стояла опустивъ голову и не знала, что̀ сказать, и подъ его взглядомъ сердце мое ужасно колотилось. Пришла мама, и ея лицо, какъ и всегда при видѣ Юферова, озарилось радостью. Мама стала его разспрашивать о сегодняшнемъ земскомъ собраніи, и разговоръ завязался о земскихъ дѣлахъ вообще, а я си-

дѣла въ уголку, охваченная неодолимой застѣнчивостью, которая не покидала меня, когда мы сѣли и за обѣденный столъ,—и я съ трудомъ глотала супъ. Впрочемъ, все, что ни говорилъ Юферовъ, я слушала съ жадностью. И помню, онъ тогда говорилъ что-то объ отсутствіи у его товарищей по дѣлу политическаго смысла, о недостаткѣ выдержки въ дѣлѣ, о квіэтизмѣ нашего общества, о неумѣньѣ пользоваться своими правами.

Мама слушала его съ глубокимъ участіемъ, а для меня его слова звучали чуждой мнѣ музыкой. Но почему-то значительность всѣхъ моихъ теорій показалась мнѣ сомнительной вблизи этого человѣка, и сомнѣнія грызли меня; мнѣ показалось невозможнымъ, чтобы онъ могъ когда-нибудь полюбить меня со всѣми моими теоріями и настроеніями и съ моей неблагодарной наружностью. И это сознаніе причиняло мнѣ ужасное страданіе. Разговоръ въ концѣ концовъ перешелъ опять и на мою милость, и я помню его до слова. Зашла рѣчь о томъ, что я готовлю изъ себя художницу.

— Что же!—хорошее дѣло, если есть дарованіе,—сказалъ Юферовъ.

— Кажется, нѣкоторое дарованіе есть, — сказала мать:— только вотъ на значеніе искусства у насъ какіе-то странные взгляды. И я очень хотѣла бы, чтобы вы насъ послушали, Никита Ивановичъ.

— Это интересно! Какіе же взгляды, Сонечка?

Я обидѣлась на мать за то, что она принуждаетъ меня высказываться, когда я именно думала о томъ, что, пожалуй, Юферовъ не одобритъ моихъ взглядовъ. А мать сказала:

— Зачѣмъ же обижаться? Или у тебя для меня одни взгляды, а для Никиты Ивановича—другіе? А для меня прямо-таки имѣетъ большое значеніе выслушать его мнѣніе. Мой принципъ былъ— дать тебѣ развиваться свободно. Но, можетъ быть, это съ моей стороны было педагогической ошибкой?

А Юферовъ сказалъ съ добродушно-иронической миной:

— А ну-ка, ну-ка, Сонечка, разскажите-ка намъ, что вы думаете объ искусствѣ?

Я молчала.

— Значитъ, ты не вѣришь въ цѣнность своихъ взглядовъ,— спросила мать,—коли боишься въ нихъ признаться?

— Чего же бояться? Если Никитѣ Ивановичу интересно,— я могу сказать, что думаю о значеніи искусства.

— Очень интересно!—проговорилъ Юферовъ.

— Вы какъ-то разъ,—сказала я,—говорили, что живописецъ

долженъ изображать разныя тяжелыя явленія общественной жизни, чтобы указывать на нихъ обществу.

— Не помню, чтобы я именно такъ говорилъ. Художнику нельзя предписывать сюжетовъ для картинъ вообще, но безъ сомнѣнія я бы больше цѣнилъ художника съ такимъ именно направленіемъ.

— Я стою, — отвѣтила я на это, — за то, что художникъ долженъ искать самыхъ свѣтлыхъ явленій въ жизни и создавать идеальный міръ, гдѣ бы страждущее человѣчество находило утѣшеніе отъ тяжелаго въ жизни.

— Ой, ой! какія слова она говоритъ!

Я обидѣлась и сказала:

— Если вы будете иронизировать по поводу моихъ словъ, то нечего и говорить тогда.

— Нѣтъ, — отвѣчаетъ онъ, — я не иронизирую нисколько. Это не вы одна такъ смотрите на искусство. Вамъ, во всякомъ случаѣ, дѣлаетъ честь, что вы задумываетесь надъ этимъ. Но углубимся немножко въ вопросъ. Кого вы подразумѣваете подъ страждущимъ человѣчествомъ?

— Какъ кого? Людей, конечно! Людей, обреченныхъ на болѣзни, на смерть, на неудачи.

— Вы и себя причисляете къ этимъ людямъ? Вамъ плохо живется?

— Не скажу, чтобы съ внѣшней стороны плохо. Но жизнь меня не удовлетворяетъ.

— Зато искусство, можетъ быть, удовлетворяетъ?

— Искусство? Да! Я вѣдь и говорю, что искусство...

— Хорошо, хорошо!—перебилъ онъ меня.—При этомъ вы сыты, обуты, одѣты. У васъ есть прекрасная мать, которая даетъ свободно развиваться вашимъ силамъ и содѣйствуетъ вашему образованію. У васъ уютная обстановка, книги, ноты... А представьте себѣ, что большинство человѣчества не можетъ быть увѣреннымъ въ завтрашнемъ днѣ, терпитъ голодъ, холодъ, несетъ тяжкій трудъ. Вещи это общеизвѣстныя, конечно. И оттого, что одни несутъ непосильный трудъ, вы пользуетесь всѣми удобствами жизни. И этому большинству искусство ваше чуждо, оно имъ пользоваться не можетъ и не можетъ искать въ немъ забвенія своимъ горестямъ. А пользоваться вашимъ искусствомъ будутъ сравнительно счастливые. Посмотрите на эти орхидеи: вы помните, что онѣ причисляются, кажется, къ паразитнымъ растеніямъ? Онѣ получили свой блескъ, потому что питались соками другихъ растеній, которыя высасывали ихъ изъ земли. А

человѣку, достигшему сознанія, не можетъ быть не тяжело за такой порядокъ вещей. Поэтому всякій мыслящій художникъ долженъ всячески стараться разъяснять обществу неправильность общественныхъ отношеній.

Тутъ, помню, мама протянула руку Юферову, чтобы пожать его руку, а онъ быстро поднесъ ее къ губамъ и поцѣловалъ.

Я же, помню, сказала такъ.

— Не понимаю, какъ живописецъ можетъ все это разъяснять обществу. Но если одни не могутъ пользоваться искусствомъ,—зачѣмъ же другихъ лишать тѣхъ счастливыхъ минутъ, которыя оно можетъ дать?

— Въ жизни и помимо искусства есть многое, что̀ даетъ счастливыя минуты,—сказалъ онъ задушевнымъ голосомъ, взглянувъ на маму. — Но нельзя, Сонечка, такъ равнодушно относиться къ участи обездоленныхъ. Можетъ быть, и вы узнаете со временемъ, что ничего нѣтъ горше чувства неудовлетворенной справедливости. И это мое глубокое убѣжденіе, что художникъ долженъ развивать въ себѣ общественные инстинкты.

Послѣ обѣда Юферовъ просилъ маму сыграть что-нибудь на роялѣ.

— Вотъ видите!—сказала я:—вы и сами не прочь наслаждаться музыкой.

— Конечно! И я желалъ бы, чтобы это наслажденіе было доступно всѣмъ. Но музыка, повторяю, не такое искусство, чтобы служить для распространенія нѣкоторыхъ идей, а живопись это можетъ.

Но, видимо, Юферова больше не интересовалъ этотъ вопросъ, и онъ подсѣлъ ближе къ роялю, чтобы слушать музыку. Я украдкой за нимъ наблюдала; онъ поставилъ локти на колѣни и, запустивъ руки въ волосы, глубоко задумался. И грустно, и значительно было выраженіе его лица. О чемъ думалъ онъ? А я думала о томъ, что врядъ ли онъ когда-нибудь отвѣтитъ на мое чувство къ нему; что въ таинственной для меня области его души нѣтъ для меня мѣста.

А мать играла „Вечернюю звѣзду“ въ транскрипціи Листа. Взглядъ мой случайно упалъ на орхидеи. Эти причудливые блѣдно-розовые цвѣты, на которые тихо лился, смягченный цвѣтнымъ колпакомъ, свѣтъ лампы, казалось, жили какою-то особенной, таинственной жизнью; очарованіе музыки придало имъ новую прелесть. Они покоились въ своей красѣ, не справляясь о томъ, что насчетъ обездоленныхъ взростаютъ дивные цвѣты. А развѣ человѣческое общество—не такой же продуктъ природы? Самъ же

Юферовъ говорилъ, что искусство могло развиться во всемъ блескѣ только на почвѣ экономическаго неравенства. Нѣтъ, пусть ужъ будутъ обдѣленные на жизненномъ пиру, — были бы Вагнеръ и Листъ, были бы Мейсонье́ и Мопассанъ; были бы утонченныя организаціи, созданныя для непонятныхъ толпѣ наслажденій...

Мысли мои зрѣли и укрѣплялись въ этомъ направленіи; а время подошло къ выпуску. Мама по такому случаю предложила мнѣ выбрать мѣсто, гдѣ провести лѣто; я, конечно, выбрала нашу деревню. Мать же почему-то колебалась согласиться. А меня туда тянулъ непобѣдимый инстинктъ; мечты мои всегда неизбѣжно неслись къ мѣсту, освященному пребываніемъ Юферова. Одно обстоятельство положило конецъ колебаніямъ матери, и было порѣшено ѣхать въ деревню. Весною мы получили письмо отъ брата моего отца. Тогда какъ отецъ мой избѣжалъ разоренія, дядя мой разорился до тла, а служить такъ же, какъ и мой отецъ, былъ неспособенъ. Онъ покончилъ съ гимназіей, дойдя до IV-го класса, потомъ поступилъ въ военную службу въ кавалерію, ушелъ оттуда, отбывъ повинность, сталъ кутить, мотать деньги, женился на актрисѣ, былъ театральнымъ антрепренеромъ и разорился окончательно. Жилъ затѣмъ на заработокъ жены, отъ которой у него была дочь; дочь его, однихъ почти со мною лѣтъ, воспитали на дворянскій счетъ въ институтѣ. Мы еще зимою слышали, что жена дяди умерла, и вотъ, по поводу своей осиротѣвшей дочери, онъ и обратился къ намъ. „Вашъ мужъ,—писалъ онъ, между прочимъ,—и братъ мой неодобрительно отнесся къ моему браку съ извѣстной вамъ особой и не захотѣлъ быть со мною больше знакомымъ. Дѣла это давно прошлыя; жены моей, какъ вамъ, можетъ быть, извѣстно, теперь нѣтъ въ живыхъ. Мнѣ же извѣстно, что братъ мой уѣхалъ изъ вашихъ краевъ давно уже. Вы же всегда отличались ангельской добротой, и не думаю, чтобы стали переносить недоброжелательство на мою единственную, ни въ чемъ неповинную, дочь Анну. Окажите ей ваше гостепріимство; она больна, нуждается въ деревенскомъ воздухѣ, а доходы мои настолько ограничены, что я едва перебиваюсь, а не то что дачу нанимать! Еще потому обращаюсь къ вамъ, что вы сами мать, и поймете, какъ болѣетъ мое сердце о единственномъ дѣтищѣ, о юной дѣвицѣ, живущей съ отцомъ, который ни примѣра ей хорошаго, ни общества порядочнаго дать не можетъ. А воспитаніе она свое получила въ институтѣ. Позвольте же ей, пока я какъ-нибудь получше устрою свои дѣла, погостить у васъ“ и т. д.

Мама прочитала мнѣ это письмо и спросила: „Ты какъ думаешь?“—Я пожала плечами и сказала, что мнѣ все равно, хотя прибавила при этомъ, что навѣрное эта „юная дѣвица“, уже года три кончившая институтъ и скитавшаяся по разнымъ театрамъ съ матерью-актрисой и виверомъ-отцомъ, врядъ ли можетъ быть пріятнымъ обществомъ для насъ. Но мама отвѣтила, что, съ другой стороны, грѣшно не оказать радушія ни въ чемъ неповинной дѣвушкѣ, попавшей въ такія тяжелыя условія. И мама отвѣтила дядѣ, приглашая его привезти Анну къ намъ въ деревню.

Какое сильное впечатлѣніе произвела на меня деревня послѣ такого продолжительнаго отсутствія изъ нея! Первые дни мая принесли съ собою отличную погоду; все было въ самой лучшей порѣ цвѣтенья. Солнце вставало среди золотыхъ, предвѣщавшихъ долгую ясную погоду, зорь. Лунныя ночи были полны аромата растеній, соловьинаго пѣнья, лягушачьихъ хòровъ. Все звало любить и жить. И герой былъ на лицо. Но увы! герой ни на іоту не измѣнилъ своего отношенія ко мнѣ; я была для него все та же „Сонечка“, которой, при случаѣ, и нотацію можно было прочесть. Да и при томъ не такъ часто, какъ я ожидала и какъ въ пору моего дѣтства, бывалъ онъ у насъ, а когда бывалъ, то больше разговаривалъ съ матерью, предпочитая ея общество моему. Иногда я впадала въ отчаяніе отъ его абсолютнаго равнодушія ко мнѣ, отъ вѣчной юмористически-снисходительной манеры обращаться ко мнѣ. И я пассовала передъ его отношеніемъ. У меня совершенно не было умѣнья кокетничать. Въ сущности, я всегда была, что называется, прямолинейной, и вся-то философія моя отличалась сгубившею меня прямолинейностью. Отъ намѣренія завоевать все въ жизни я вдругъ перешла къ мрачной безнадежности. Я пыталась найти забвеніе въ малеваньѣ и въ мечтахъ о славѣ. Но на что была слава, если Юферовъ и славную артистку будетъ третировать въ качествѣ той же Сонечки? Однако же это, всетаки, могло быть единственнымъ путемъ, чтобы возбудить въ немъ къ себѣ интересъ, и я оживала, надѣясь на лучшіе дни, и, запершись у себя въ комнатѣ, упорно упражнялась въ живописи, собираясь зимою ѣхать учиться куда-нибудь живописи уже серьёзно. У меня было упорство въ трудѣ, это правда! Такое же упорство собиралась я внести и въ достиженіе взаимности со стороны человѣка, къ которому съ дѣтства меня всегда влекло. Сильная дѣтская привязанность переродилась въ любовь, хотя онъ на цѣлыхъ семнадцать лѣтъ былъ старше меня. Если до сихъ

поръ онъ не женился, то не доказываетъ ли это, что сама судьба оставила его для меня? Эта суевѣрная мысль укрѣпляла мою надежду, почти увѣренность, что рано или поздно онъ будетъ моимъ. Я попробовала измѣнить свое отношеніе къ Юферову. При его приходѣ, я или уходила, или небрежно молчала, или съ равнодушнымъ видомъ бралась за книжку. Мама даже разъ замѣтила мнѣ,—въ его отсутствіе, конечно,—что я невѣжлива съ нимъ. „А зачѣмъ онъ все обращается со мной какъ съ малюточкой?"—отвѣтила я ей. Юферовъ и самъ замѣтилъ мое отношеніе къ нему, и сталъ обращаться со мной холоднѣе, безъ ироніи, и величалъ иногда Софьей Михайловной. Это былъ, по-моему, все-таки, шагъ впередъ, и я подумала, что стою на вѣрной дорогѣ.

Пріѣхавъ въ деревню, я пристрастилась къ верховой ѣздѣ, и любимымъ мѣстомъ моихъ прогулокъ былъ довольно высокій холмъ въ полуторѣ верстѣ отъ нашего дома. Взъѣдешь, бывало, на его вершину, поросшую лѣсомъ, привяжешь лошадь къ дереву, сядешь на землю и станешь смотрѣть на открывавшійся съ холма видъ. Лошади, которыя паслись у подножья, и коровы, пасшіяся немного подальше, казались не больше игрушечныхъ, а дальше у рѣки стаи домашнихъ гусей бѣлѣли, какъ разсыпавшіяся блестящія пушинки. Къ югу, гдѣ рѣка расширяется и гдѣ она обросла по берегамъ лѣсомъ, тамъ мѣсто было очень живописно; тамъ виднѣлась деревушка, вся въ сѣроватой зелени вётелъ, и Юферовская усадьба. Къ сѣверу видъ унылъ и однообразно пестрѣетъ четырехугольниками хлѣбныхъ полей. Прямо на западѣ видна наша усадьба. Дороги сѣрыми полосами избороздили поля. На горизонтѣ все замыкается свѣтлой, колеблющейся полосою воздуха и ровнымъ ослѣпительнымъ небосклономъ. Страшная даль и глубокое безмолвіе! Только вѣтеръ поднимался отъ времени до времени въ полѣ и шумѣлъ у меня въ ушахъ. Этотъ огромный видъ всегда будилъ во мнѣ одну фантазію.

Я представляла себѣ эти поля занесенными послѣднимъ дѣвственнымъ снѣгомъ и все, что̀ останется здѣсь отъ рукъ человѣческихъ, закованнымъ вѣчной стужей. И я снова думала о томъ, какъ призрачна жизнь, о томъ, что все подчинено страшному закону уничтоженія. Какое мнѣ дѣло до того, что жизнь вѣчно возрождается? Ни мама, ни Юферовъ, ни я, ни наши хрупкія жилища, обвѣянныя сейчасъ пустынной красотой полей, не возродимся здѣсь больше, разъ унесенные смертью. Зачѣмъ же суждено мнѣ еще страдать? Неужели не будетъ раздѣлена моя любовь, единственное украшеніе бренной жизни? Нѣтъ, нѣтъ!

ни предъ чѣмъ не остановлюсь я, чтобы завоевать ее, чтобы въ ней утолить вѣчно настигающій меня страхъ смерти.

Однажды, когда я сидѣла такъ на вершинѣ холма, предаваясь своимъ мыслямъ, услышала я въ поляхъ слабый звукъ колокольчиковъ. Скоро я замѣтила съ сѣверо-запада облако пыли, пару лошадей и экипажъ. Кто-то ѣхалъ, очевидно, со станціи. Наконецъ, казавшіяся игрушечными лошади и экипажъ повернули къ игрушечнымъ строеньямъ нашей усадьбы и исчезли за деревьями. Я различила въ экипажѣ двухъ сѣдоковъ. Колокольчики умолкли. Тогда и я сѣла на лошадь и, не торопясь, вернулась домой. Я осторожно прошла черезъ садъ и остановилась недалеко отъ террасы; черезъ полуоткрытую дверь я видѣла только Юферова, но изъ комнаты раздавался незнакомый мужской голосъ.

Я колебалась: войти или нѣтъ? Въ это время Юферовъ увидалъ меня и сказалъ: „Пожалуйте сюда, Софья Михайловна!“ Я вошла въ гостиную, гдѣ мнѣ показалось темно послѣ яркаго дневного свѣта, и я не сразу увидала гостей. Я помню, мама сказала: „А вотъ и Соня!“ На встрѣчу мнѣ поднялся, неуклюже и неряшливо одѣтый, полный господинъ, оказавшійся моимъ дядей, и поцѣловался со мной. Потомъ ко мнѣ съ какой-то странной граціей прильнула худенькая фигурка и подставила для поцѣлуя блѣдную щеку. Я помню на этой щекѣ тѣнь отъ длинныхъ рѣсницъ и ямку отъ улыбки. Разсѣвшись по мѣстамъ, мы нѣсколько секундъ молча смотрѣли другъ на друга; потомъ мы перебросились нѣсколькими фразами.

Съ первой минуты Анна не показалась мнѣ красивой, но что-то было особенное въ ея темныхъ бархатныхъ глазкахъ, въ страстномъ выраженіи неправильнаго худого лица, въ ея томныхъ лѣнивыхъ движеніяхъ, въ медлительной и пѣвучей интонаціи ея голоса, въ нежеланіи блистать своими рѣчами,—между тѣмъ какъ улыбка Анны краснорѣчиво говорила, что она сознаетъ силу своего непосредственнаго очарованія.

Оборвавшійся съ моимъ приходомъ разговоръ не возобновлялся. Дядя, въ свою очередь, смотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Вы ни на кого изъ вашихъ родителей непохожи. Все-таки больше похожи на брата.

Самъ же онъ очень мало походилъ на моего отца, портретъ котораго висѣлъ тутъ же въ гостиной. У этого послѣдняго на лицѣ было выраженіе непреклонной воли, черты были довольно тонкія, сѣрые глаза—проницательны. А у дяди—глаза блестящіе, каріе, на выкатѣ; яркія красивыя губы, румянецъ на дряблыхъ

щекахъ; сѣдые волосы, сѣдая эспаньолка и добродушное выраженіе лица. Онъ былъ одѣтъ въ старый суконный сюртукъ и короткія парусиновыя брюки, такъ что неуклюжіе сапоги были видны выше щиколотки. Помню, я съ невольной брезгливостью смотрѣла на его рыхлую фигуру, колыхавшуюся отъ тяжелаго дыханья, и на его неряшливый костюмъ. Онъ, должно быть, замѣтилъ выраженіе на моемъ лицѣ—и хмурился, и краснѣлъ.

— Вотъ, я вамъ привезъ кузину,—сказалъ онъ мнѣ:—прошу ее любить.

Я наклонила голову въ знакъ согласія, но поддерживать разговоръ не считала нужнымъ. Ахъ! вызывать всѣ эти воспоминанія—то же, что бередить незажившія еще раны...

Юферовъ, который имѣлъ привычку постоянно разгуливать по комнатѣ негромкими шагами, то входилъ въ гостиную, то возвращался въ залу. Входя, онъ останавливался, слушалъ разговоръ, смотрѣлъ на Анну. Каждый разъ она слегка краснѣла при его появленіи и отвѣчала ему быстрымъ выразительнымъ взглядомъ. Наконецъ, Юферовъ сѣлъ въ гостиной, и разговоръ оживился. Анна почти не принимала въ немъ участія; она съ комфортомъ забилась въ уголъ дивана, и съ ея лица не сходила лѣнивая усмѣшка, а бархатные глазки чуть мерцали изъ-подъ полузакрытыхъ, съ длинными рѣсницами, вѣкъ. Если ей приходилось отвѣчать на задаваемые ей вопросы, ея тонъ звучалъ безпечностью, и хотя въ словахъ ея ничего не было остроумнаго, но выраженіе юмора, которое она вкладывала въ свою медлительную интонацію, вызывало улыбку на всѣхъ лицахъ.

За ужиномъ Анна облокотилась на столъ и, подпёревъ одной рукой подбородокъ, другою держала рюмку съ виномъ, изрѣдка отпивая по глотку. Лицо ея оживилось, и на безкровныхъ щекахъ появился слабый румянецъ.

— Какъ хорошо въ деревнѣ!—сказала она, глядя въ окошко, гдѣ были видны потемнѣвшія поля.—Но только лѣтомъ: зимою здѣсь, должно быть, страшно. Въ полѣ темь, вѣтеръ гудитъ на просторѣ, снѣгомъ все занесено... Можетъ быть, волки бродятъ кругомъ?!

И она передернула плечами, потомъ спросила меня:

— Ты ничего не боишься, Соня?

Я отвѣтила ей движеніемъ лица, которое ничего опредѣленнаго не говорило.

— А вы, кажется, всего боитесь?—спросилъ Юферовъ.

— Всего!—сказала Анна, и глаза ея загорѣлись:—волковъ, разбойниковъ, привидѣній... Васъ боюсь!

— Меня?

— Да, васъ.

— Неужели у меня есть что-нибудь общее съ волками и разбойниками?

Анна разсмѣялась.

— Нѣтъ, зачѣмъ же? Но вы, должно быть, такой строгій и серьёзный. Я боюсь васъ,—кокетливо повторила она,—а глаза ея говорили: „я готова полюбить васъ!“

Онъ, дѣйствительно, былъ очень серьёзный человѣкъ; какое же удовольствіе могъ онъ находить въ разговорѣ съ этимъ пошленькимъ существомъ? Не будь она у насъ гостьей, я бы своимъ обращеніемъ съумѣла создать между нею и собой цѣлую пропасть,—такъ не нравились мнѣ ея манеры. Неужели же Анна понравилась ему?

Дядя прожилъ у насъ дня два и, прощаясь съ дочерью, такъ усердно крестилъ ее, такъ крѣпко цѣловалъ, какъ будто прощался навѣки. Онъ отправлялся хлопотать себѣ мѣсто, такъ какъ у него сохранились кое-какія связи. Ужъ не знаю, какъ бы онъ могъ справиться со службой!

Вскорѣ послѣ дяди, и Юферовъ уѣхалъ на нѣсколько дней по дѣламъ въ уѣздный городъ.

Присутствіе Анны почти не было замѣтно для меня; у насъ съ ней ничего общаго не было, и, сходясь, мы не знали, о чемъ говорить. Она ограничивалась по отношенію ко мнѣ ироническими гримасами, на которыя я отвѣчала полной холодностью. Впрочемъ, я предоставила ей пользоваться моими вещами, книгами, нотами; но на своей лошади ѣздить не давала и въ комнату къ себѣ не приглашала, а особенно избѣгала показывать ей свое рисованье.

Подъ вліяніемъ деревенскаго воздуха и заботъ мамы, которая закармливала свою гостью, здоровье Анны стало поправляться. Цѣлыми днями она ничего не дѣлала. То развернетъ какую-нибудь книгу и на десятой же страницѣ броситъ; то подойдетъ къ роялю и неумѣлыми руками сыграетъ пошлый вальсъ. Иногда она принималась разсказывать намъ съ мамой, какъ она странствовала по городамъ и театрамъ съ своими родителями; какъ они часто терпѣли нужду; какія интриги практиковались за кулисами, какія драмы тамъ разыгрывались. Эта жизнь у нея навсегда отбила охоту къ сценѣ, и она никогда не поступитъ въ актрисы, говорила она намъ. Но она, все-таки, была дитя „богемы“, и жизнь опредѣленнаго труда и порядка была ей чужда. Толпа, гулянье, всякія зрѣлища и сборища были ея стихіей, и,

по ея милости, у насъ часто стали бывать гости, и сами мы разъѣзжали по сосѣдямъ, такъ какъ мама задалась цѣлью „развлекать бѣдную дѣвочку, которой пришлось испытать столько лишеній, едва съ институтской скамейки“, какъ говорила мама. Анна не могла жить безъ того, чтобы не быть въ кого-нибудь влюбленной, и рѣдкаго мужчину пропускала она, чтобы не испытать на немъ силу своихъ чаръ; кокетство ея было полусознательно, но она достигала въ немъ виртуозности.

Юферовъ вернулся. Анна вся такъ и вспыхнула, когда онъ вошелъ къ намъ.

— Поправляетесь?—сказалъ онъ ей дружелюбно.

Какъ будто какое-то затаенное возбужденіе и радость проникли ее съ минуты его прихода; но присутствіе мамы мѣшало ей развернуться. Однако, я видѣла, какъ они изрѣдка переглядывались, и каждый разъ ихъ взгляды сопровождались едва замѣтными улыбками. Ощущеніе холода, прямо-таки физическаго холода, проникло мнѣ въ грудь при видѣ этого зрѣлища. Неужели Юферовъ способенъ отвѣчать на ея игру? Неужели онъ можетъ увлекаться этой дѣвчонкой? Да нѣтъ, нѣтъ! Тогда вѣдь совершенно должно измѣниться мое представленіе о немъ... Но я прекрасно понимала, что, какъ бы ни измѣнилось мое представленіе о немъ, мои чувства къ нему не измѣнятся; скорѣй они станутъ только интенсивнѣе, если я увижу его способнымъ на такое банальное увлеченіе, если онъ перестанетъ быть для меня окруженнымъ ореоломъ исключительнаго достоинства; если онъ—такой же, какъ и всѣ. Измѣнился бы характеръ чувства, но не измѣнилась бы его сила. Наоборотъ, съ него срывалась цѣпь идеализаціи, и страсть, страсть загоралась во мнѣ при видѣ того особеннаго выраженія, съ какимъ, казалось мнѣ, Юферовъ иногда взглядывалъ на Анну. Себѣ хотѣла я такихъ взглядовъ.

Вскорѣ за Юферовымъ пришла къ намъ сельская учительница Орлова и сказала, что ей черезъ кого-то поручено предупредить насъ, что сегодня къ намъ собираются гости изъ Семеновки. Такъ какъ въ этомъ селѣ было нѣсколько помѣщичьихъ усадебъ, и въ гости оттуда собирались всегда цѣлой компаніей, то, значило, народу понаѣдетъ много, и устроится „балъ“, по выраженію Анны. Она была въ восторгѣ, а въ ожиданіи гостей онѣ порѣшили съ учительницей кататься на лодкѣ; онѣ упросили и Никиту Ивановича идти съ ними, помочь имъ грести. И онъ согласился... Я не ожидала этого... Это было съ его

стороны особенною любезностью. Тогда и я сказала, что поѣду съ ними; я не хотѣла ни на минуту оставлять ихъ безъ себя.

Юферовъ сѣлъ на весла, я на руль, а Анна съ учительницей размѣстились на серединѣ лодки, лицомъ къ Юферову.

Съ одной стороны деревья сада стояли вдоль берега, и половина рѣки была темной отъ ихъ отраженія; съ другой, вдоль берега шла дорога, а за нею стѣною стояла рожь, заслонившая весь горизонтъ; изъ-за ржи вставалъ красный мѣсяцъ, но дневной свѣтъ еще не угасъ. Камышъ тихо звенѣлъ подъ налетавшимъ легкимъ вѣтеркомъ. Мы сначала ѣхали молча. Потомъ Анна заговорила своимъ пѣвучимъ голосомъ:

— Отчего это, когда мѣсяцъ всходитъ, онъ такой красный, а потомъ все блѣднѣетъ? Это оттого,—отвѣчала она сама на свой вопросъ, — что мѣсяцъ влюбленъ въ землю... Вотъ онъ встаетъ: онъ только увидѣлъ ее и вспыхнулъ отъ радости... Потомъ онъ все блѣднѣетъ и блѣднѣетъ... Бѣдняжка! онъ любитъ землю, а она ему не отвѣчаетъ. Она сама любитъ другого. Она теперь притихла и мечтаетъ о ласкахъ солнца,—онѣ такія горячія! Оттого-то такъ и печаленъ станетъ бѣдный мѣсяцъ.

Чтò выражала физіономія Юферова во время этой импровизаціи, я не съумѣю опредѣлить; онъ сжалъ губы и не то съ ироніей, не то съ удивленіемъ поднялъ брови. А учительница отъ души расхохоталась и сказала: „Ужъ не пишете ли вы декадентскихъ стиховъ?“ Анна тоже засмѣялась, и вдругъ, накренивъ лодку, съ опасностью опрокинуть ее, сорвала водяной цвѣтокъ и бросила его въ лицо Юферову. Вода заструилась по его лицу и платью. Сложивъ весла, онъ вынулъ платокъ и молча сталъ вытирать воду. Анна вдругъ притихла и съ выраженіемъ страха глядѣла на Юферова. Вотъ онъ вытеръ лицо, положилъ платокъ въ карманъ и снова, ничего не говоря, взялся за весла. Лицо его было серьёзно. Нѣсколько минутъ лодка среди общаго молчанія медленно двигалась вверхъ по рѣкѣ. Но вотъ Юферовъ встрѣтилъ умоляющій трепетный взглядъ Анны и... улыбнулся!

— Вы не сердитесь, не сердитесь? — залепетала Анна; а учительница сказала:

— Ну, вы чуть, было, всѣхъ насъ не потопили.

— Тутъ не глубоко!—сказала Анна.—Смотрите, какое множество водяныхъ лилій! Соня, зачѣмъ ты правишь такъ близко къ берегу? Выѣдемъ на средину.

Смертельная тоска была во мнѣ. Мнѣ хотѣлось броситься въ воду тутъ же на глазахъ Юферова; мой несчастный òбразъ

навсегда остался бы жить въ его душѣ, вызывая въ ней вѣчное сожалѣніе. Но я не бросилась, а рѣзко повернула лодку не на середину рѣки, какъ просила Анна, а по направленію къ мосткамъ, гдѣ мы всегда причаливали. „Пошлая дѣвчонка!“—пробормотала я про себя, съ помощью Юферова привязывая лодку къ столбику, а Анна взбѣжала вверхъ по аллеѣ сада и, остановившись, закричала:

— Я сегодня провинилась и за дурное поведеніе наказана безъ катанья на лодкѣ. Декадентская художница плохо оцѣнила декадентское произведеніе.

Мнѣ показалось, что на лицѣ Юферова мелькнула тѣнь улыбки; я почувствовала, что блѣднѣю.

— Ты плохо выбрала, съ кѣмъ шутить,—отвѣчала я, не повышая голоса и не поднимая головы.

— Неужели? Опять накажешь? Вотъ страшно-то!

— Ты ужъ слышала, что я не хочу шутокъ, — сказала я еще тише и подняла голову. Должно быть, въ выраженіи моего лица было мало добраго, потому что Анна вдругъ разсмѣялась дѣланнымъ смѣхомъ и повернула къ дому. Орлова съ любопытствомъ посматривала на эту сцену; сначала она посмѣивалась, а потомъ ей видимо стало неловко. Юферовъ собралъ въ это время весла, и мы втроемъ тоже пошли домой, причемъ Орлова завела съ нимъ какой-то разговоръ о школѣ, попечителемъ которой онъ состоялъ, а я угрюмо молчала. Я прошла прямо къ себѣ въ комнату и, заперշись на замòкъ, стала быстро ходить по ней изъ угла въ уголъ; я испытывала не злобу: этого мало! Я испытывала ярость. Я помню, я схватила мимоходомъ стоявшій у стѣны зонтикъ и мгновенно сломала его о колѣно пополамъ и швырнула остатки въ уголъ. Это немножко успокоило мой гнѣвъ. Я намочила себѣ голову водою и сѣла въ кресло обдумывать свое положеніе. „Но нѣтъ, вы не думайте,—обращалась я мысленно къ Юферову,—что я такъ и брошусь въ воду. Авось моя жизнь стòитъ чего-нибудь подороже. А вотъ Анну вашу я не задумаюсь, при первой же возможности, отбросить, какъ противнаго звѣренка, если только она будетъ продолжать стоять на моей дорогѣ...—Фи, Софья Михайловна!—остановила я себя тутъ же:—какой жаргонъ, какая некрасивая, банальная злоба! Такъ что же,—продолжала я разговоръ сама съ собою:—и допускать,—тàкъ и допускать этой ничтожной твари стоять на моей дорогѣ? Нѣтъ, нѣтъ! Но нужно и въ самомъ гнѣвѣ съумѣть „сохранить осанку благородства“. Нельзя такъ пошло злиться... Такая злость можетъ только вредить вамъ.

А вотъ что̀ красиво, что̀ „эстетично“: съ полнымъ самообладаніемъ преслѣдовать свою цѣль, и еслибы и пришлось въ самомъ дѣлѣ кого-нибудь раздавить ради нея, то сдѣлать это спокойно, увѣренно, умно.

Чувства мои понемногу вошли въ норму, и я спросила себя тогда: „Неужели же, въ самомъ дѣлѣ, я была бы способна такъ спокойно распоряжаться чужою жизнью?“ Но я не стала долго останавливаться на этой мысли. Внизу уже собирались гости, я видѣла и экипажи на дворѣ; я перемѣнила платье, и, сойдя внизъ, застала на балконѣ, у чайнаго стола, цѣлое общество. Обязанности хозяйки меня всегда тяготили, но тутъ я стала оживленно угощать гостей. Въ настроеніи моемъ произошла перемѣна: въ душевномъ мірѣ есть чувствованія, которыя, подобно тяжелымъ облакамъ, облегаютъ психическіе горизонты, и душно тогда, какъ передъ грозою, и кажется, что ни единая надежда не ждетъ осуществленія, что ни откуда не мелькнуть лучу радости. Но какъ въ физическомъ мірѣ слишкомъ большое накопленіе электричества разряжается грозой, очищающей горизонты, такъ и въ психическомъ—накопившіяся злобныя ощущенія найдутъ порою исходъ въ какой-нибудь вспышкѣ, послѣ которой въ облегченной душѣ проясняются горизонты примиряющихъ надеждъ. „Въ сущности,—пришло мнѣ въ голову,—ни изъ чего не видно, чтобы Юферовъ одобрительно относился къ глупостямъ Анны; просто, она его забавляетъ, должно быть. Ни за что погибъ бѣдный зонтикъ“...

Послѣ чая, рѣшено было начать танцы; пока изъ залы выносили лишнюю мебель, молодежь, съ Анной во главѣ, шумной толпой унеслась въ садъ, а кто постарше—сѣли въ гостиной за карты. Я осталась на балконѣ съ Орловой, которая все это время искала заговорить со мной. Это меня успокоило насчетъ роли, которую я сыграла сегодня у мостковъ, и я любезно отвѣчала на вопросы учительницы.

— Софья Михайловна,—сказала она:—отчего вы никогда не покажете мнѣ своихъ рисунковъ? Я слышала, вы хорошо рисуете.

— Вы слишкомъ строгая цѣнительница художественныхъ произведеній,—засмѣялась я.

— Ну, положимъ,—говоритъ она:—я профанъ въ этомъ дѣлѣ!

„Тѣмъ менѣе расположена я вамъ ихъ показывать“,—подумала я, и сказала:

— Увѣряю васъ, что въ моихъ рисункахъ ничего нѣтъ интереснаго; а если вамъ угодно, пойдемте въ гостиную, я вамъ

покажу гравюры, собранныя моимъ отцомъ. Вы ни разу не полюбопытствовали посмотрѣть на нихъ?

— Нѣтъ!

Мы прошли съ ней въ гостиную, и я разложила передъ нею альбомы. Юферовъ хотя въ карты не игралъ, но тоже былъ въ гостиной и смотрѣлъ, какъ играютъ другіе. При нашемъ входѣ, онъ взглянулъ на меня и на учительницу, и я, чтобы показать ему, что не я искала ея общества, сказала:—„Это, пожалуй, будетъ поинтереснѣе моей ученической мазни, которой вы заинтересовались!"—И я стала объяснять ей гравюры. Юферовъ всталъ и подсѣлъ къ намъ.

— Вотъ эта гравюра, — говорила я, — изображаетъ смерть Манонъ Лескò.

— А кто это Манонъ Лескò? — спросила учительница.—Я слышала это имя, но, по правдѣ сказать, ничего о ней не знаю.

Я разсказала, что на гравюрѣ изображается эпизодъ изъ знаменитаго романа аббата Превò, и вкратцѣ разсказала ей, чтò это за особа была Манонъ Лескò. „La mort de cette adorable et infidèle Manon, si tragique et si calme dans la paix de ce désert, loin du monde où elle aima, trahit et souffrit, a une grandeur qui rachète toute une vie de mensonges et de pefidies"— прочитала я учительницѣ то, чтò было подписано подъ гравюрой.

— Господи, — презрительно засмѣялась Орлова: — и чего только не наговорятъ изъ-за всякаго пустяка эти французы! И что такое въ этой Манонъ?—самая пустая и обыкновенная бабенка.

— Да вы сначала прочитайте, и тогда увидите, какъ это прекрасно написано.

— Ну, на такое чтеніе у меня нѣтъ времени. Да, по правдѣ сказать, эта безсодержательная литература совсѣмъ неинтересна.

Манонъ Лескò—безсодержательная литература?! Вотъ она, вотъ она опять—эта несносная, узко-утилитарная точка зрѣнія на литературу и вообще на искусство! Когда же русское общество разовьется, наконецъ, до иныхъ точекъ зрѣнія на эти вопросы? —думала я.

— А знаете,—сказала Орлова:—эта Манонъ Лескò и на картинкѣ, и по характеру, кажется, немного похожа на вашу двоюродную сестру.

— Чего вы только не скажете?!—воскликнула я.

— А вѣдь въ самомъ дѣлѣ, кажется, маленькое сходство на этой гравюрѣ есть,—сказалъ Юферовъ, посмотрѣвъ гравюру.

— Не нахожу никакого,—отрицала я, опять задѣтая ревнивымъ чувствомъ.

— Ну, можетъ быть, это мнѣ такъ показалось, — сказалъ Юферовъ.

Въ это время въ залѣ мама заиграла шумный ритурнель, и тамъ стали собираться къ танцамъ.

Когда мама уставала играть,—замѣняла ее я; я никогда не умѣла и не любила танцовать.

Анна танцовала до упаду; около нея толпились молодые люди, и ей, видно, было весело до полнаго самозабвенія. А Юферовъ иногда войдетъ въ залу, посмотритъ, улыбнется и снова уйдетъ. Передъ ужиномъ устроили котильонъ. Когда, по приказанію дирижера, дамы стали приглашать кавалеровъ, я видѣла, какъ Анна о чемъ-то попросила Орлову. Та, улыбаясь, покачала головою и вышла изъ залы. Она вернулась съ Юферовымъ и стала съ нимъ вальсировать. Когда они кончили, Юферовъ, тяжело дыша, остановился у рояля и обмахивался платкомъ. Анна подошла къ нему.

— Приглашаю васъ! — сказала она, и все ея лицо свѣтилось смѣхомъ. Юферовъ не сразу отвѣтилъ и, улыбаясь, смотрѣлъ на нее; она опустила глаза.

— Ну же! идемте.

— Вы видите, я умираю отъ усталости; я совсѣмъ отвыкъ отъ танцевъ.

— И я умираю; умремъ вмѣстѣ.

Я нарочно играла тихій вальсъ, чтобы слышать ихъ разговоръ, и подъ этотъ вальсъ они пошли танцовать. Нѣсколько паръ вертѣлись предо мною съ лицами, на которыхъ отражалось очарованіе музыки. Даже въ гостиной смолкли голоса; тамъ тоже слушали музыку. И я видѣла... я видѣла Юферова, съ задумчивымъ и нѣжнымъ выраженіемъ склонившагося къ Аннѣ. О, какую безумную ревность ощутила я! Даже теперь безъ ужаса не могу я вспомнить этихъ минутъ. Видъ у меня сталъ до такой степени разстроенный, что всѣ спрашивали, не больна ли я; какъ водится, я сослалась на головную боль и просила не обращать на меня вниманія. Послѣ ужина сейчасъ же всѣ стали разъѣзжаться; послѣдними остались Юферовъ и учительница, для которыхъ мама велѣла запрягать долгушу. Анна, въ сопровожденіи Орловой, побѣжала одѣваться, такъ какъ она и мама хотѣли проводить ихъ обоихъ; я же въ это время, утомленная баломъ и всѣми мучительными впечатлѣніями этого дня,

сѣла на ступенькахъ террасы въ садъ; въ саду было темно еще, а на террассѣ на столѣ догорала лампа.

— Не здѣсь ли моя палка?—спросилъ Юферовъ, входя на террасу:—никакъ не могу найти палки... Чтò это съ вами, Сонечка? Отчего у васъ заболѣла голова?

— Отъ шума, должно быть,—отвѣтила я.

— Ахъ, вотъ гдѣ она лежитъ... Я помню, что оставилъ ее на балконѣ передъ катаньемъ на лодкѣ... Ну-съ, прощайте, Сонечка, да не хворайте, смотрите!

— Прощайте, господинъ кавалеръ дэ-Гріё! — отчетливо и медленно отвѣтила я, не поднимаясь со ступеней и не подавая ему руки.

— Софья Михайловна, это чтò же значитъ? — тревожно спросилъ онъ.

— Какъ чтò значитъ? Я прощаюсь съ вами.

— Чтò значитъ это прозвище?—спросилъ онъ,—нужно сказать, довольно строго.

Въ это время вошла на балконъ мама въ плащѣ и въ шляпѣ.

— Гдѣ это вы пропали, Никита Ивановичъ?—сказала она.—А! и Соня здѣсь? Ты что же не идешь ложиться? Что твоя голова?

— Болитъ еще...

— Никита Ивановичъ!—тревожно сказала мама:—да и вы чѣмъ-то разстроены? Вы очень блѣдны!

— Не безпокойтесь, Бога ради! Я тоже немного усталъ отъ шума.

— Да еще васъ вовлекли въ танцы! Это Анна все придумываетъ.

— У нея ужасно вульгарныя манеры, мама!—вставила я.

— Чтò же дѣлать, дитя мое? Ты вѣдь знаешь, въ какой средѣ она была. Ее нужно перевоспитывать понемногу. Однако, онѣ насъ тамъ ждутъ. Пойдемте, Никита Ивановичъ. А ты, Сонюшка, иди же спать.

Но не спала я въ эту ночь; и много еще тревожныхъ дней и безсонныхъ ночей пришлось мнѣ затѣмъ пережить. Послѣ того вечера на довольно продолжительное время наступило у насъ затишье, и Юферовъ долго къ намъ не показывался. Анна принялась скучать и недоумѣвала, почему онъ не приходитъ; я же догадывалась отчасти—почему. На меня, послѣ пережитыхъ острыхъ приступовъ ревности, нашло какое-то томительное „человѣконенавистническое“ состояніе. Меня раздражалъ видъ людей; каждое невпопадъ сказанное кѣмъ-нибудь слово,

лишній жестъ, тупое или пошлое выраженіе физіономіи—все приводило меня въ страшное раздраженіе. Я почти не выходила изъ своей комнаты, стараясь не встрѣчаться даже съ матерью; она же все это приписывала нервамъ и, привыкнувъ съ моего дѣтства знать меня склонной къ нервнымъ страданіямъ, оставляла меня въ покоѣ, чего только мнѣ и нужно было Особенно же раздражала меня Анна своей смазливой физіономіей, на которой я, въ моемъ состояніи человѣконенавистничества, не находила ничего, кромѣ выраженія голаго инстинкта. Ея противнаго мнѣ, пѣвучаго голоса я слышать не могла. Запершись у себя въ комнатѣ, гдѣ на шкапу красовались обломки моего зонтика, я опять думала о томъ, чтобы устранить ее съ моей дороги. Съ какой стати затесалась она къ намъ въ домъ? Да еще думаетъ стать между мной и человѣкомъ, котораго я избрала, безъ котораго жить не могу. Нѣтъ, я не отдамъ его безъ бою. Горе тому, кто вздумаетъ отнять его у меня! Я-то вѣдь ни предъ чѣмъ не отступлю. Жизнь для меня—не больше, какъ „даръ“ случайный, но даръ слишкомъ привлекательный при условіяхъ удовлетворенныхъ страстей, чтобы я не пошла на смертельную борьбу со всѣми препятствіями. Мораль? Совѣсть? Знаемъ вѣдь мы, что совѣсть есть только голосъ подчиненія общественному внушенію. Знаемъ мы, что человѣческая природа ни хороша, ни дурна сама по себѣ не бываетъ, а хороша и дурна она по степени ея утилизаціи для общественной жизни. Но вѣдь человѣкъ прежде всего живетъ не для общества, а потому, что жить хочетъ, и общество-то ему нужно для того, чтобы жить было легче. И всѣ шансы выжить при извѣстныхъ условіяхъ—на сторонѣ такой личности, которая обладаетъ слабой степенью внушаемости и смѣлостью обходить человѣческіе законы, умѣя хорошо, что называется, „хоронить концы въ воду“. Не помню, такъ ли я именно формулировала тогда свои мысли, но внутренній смыслъ ихъ былъ таковъ. Я безъ ужаса не могу вспомнить „сверхчеловѣчнаго“ настроенія тѣхъ дней. Но къ чему оно привело меня?

Впрочемъ, какъ разъ въ эти дни случилось обстоятельство, отвлекшее меня на время и отъ страшныхъ мыслей, и отъ ужаснаго настроенія. Было получено письмо отъ отца. Онъ изрѣдка сначала, пока скитался за-границей, а потомъ почаще, когда лѣтъ за пять до описываемыхъ событій поселился навсегда въ Парижѣ, писалъ на мое имя письма, разспрашивая обо мнѣ и никогда о мамѣ; я отвѣчала на всѣ его вопросы и посылала ему иногда свои рисунки, чѣмъ онъ особенно интересовался. Итакъ, было получено письмо отъ отца, гдѣ онъ извѣщалъ, что

тяжко боленъ, что болѣзнь его началась полгода тому назадъ, и что, вѣрно, онъ никогда не оправится отъ нея, и что хотѣлъ бы видѣть меня. Для того, чтобы видѣться съ нимъ, нужно было ѣхать въ Парижъ... И свиданіе съ отцомъ, и поѣздка за-границу могли бы представить для меня очень сильный интересъ въ другое время. Но какъ уѣхать теперь, теперь, когда мнѣ грозитъ опасность отдать „его“ въ руки другой?

Мама взволновалась этимъ письмомъ до такой степени, что и сообразить не могла, что̀ начать дѣлать. Помимо впечатлѣнія отъ этой новости, она не могла еще освоиться съ тѣмъ, какъ отпустить меня въ такое далекое путешествіе; а съ другой стороны, какъ не удовлетворить умирающаго отца въ заговорившемъ въ немъ желаніи видѣть свое единственное дѣтище?! Она торопливо написала Юферову записочку, и онъ, сейчасъ же по полученіи, пріѣхалъ къ намъ; онъ былъ блѣденъ и тоже взволнованъ, и какъ далека я была отъ истины, дѣлая различныя предположенія относительно его волненія! Они съ мамой прошли въ ея комнату и совѣщались тамъ въ полголоса. Потомъ они вышли къ обѣду; Юферовъ не дотрогивался ни до одного блюда и избѣгалъ встрѣчаться съ Анной глазами. Боже! неужели онъ влюбился въ нее?!

— Соня,—заговорила мама:—ѣхать къ отцу необходимо. Ты какъ сама объ этомъ думаешь?

— Конечно, не оставлять же его тамъ умирать одного.

— Но какъ ты поѣдешь одна?

— Поѣдемъ вмѣстѣ!

— Соня, это по многимъ причинамъ невозможно. Во-первыхъ, и отецъ желаетъ видѣть одну тебя. И потомъ Анну нельзя оставить одну.

Я хотѣла сказать: „отошли Анну къ дядѣ“. Но вслухъ сказала: „Возьми и ее!“

— Ты шутишь? Развѣ же это возможно?!

— Это правда! Это я такъ сказала.

— А вы одна развѣ боитесь ѣхать?—спросилъ Юферовъ.

„Не ѣхать я боюсь, а васъ боюсь здѣсь оставить“,—подумала я.

— Нѣтъ, я не боюсь,—отвѣтила я Юферову.

— Ну, такъ рѣшай, Соня. Должна же ты что-нибудь отвѣтить отцу?

— Отвѣтимъ, что я выѣду на этихъ дняхъ,—сказала я рѣшительно. Что̀ же еще оставалось дѣлать?

— Тогда я сегодня же поѣду въ городъ тебѣ за паспортомъ, и кстати мнѣ нужно въ банкъ,—сказала мама.

Юферовъ, сейчасъ же послѣ обѣда, сталъ собираться. По обыкновенію, прощаясь съ мамой, онъ поцѣловалъ ея руку, и на этотъ разъ, я помню, онъ съ такимъ нѣжнымъ и глубокимъ выраженіемъ прильнулъ къ ея рукѣ, какъ никогда. Но я никакого значенія этому не придала; я слѣдила за каждымъ его движеніемъ по отношенію къ Аннѣ, которая готовила ему для прощанія выразительный взглядъ и улыбку; и онъ слегка улыбнулся ей, видимо, весь охваченный какою-то тревогой.

За четыре дня отсутствія мамы, Юферовъ ни разу не пришелъ къ намъ. Анна скучала и томилась.

— Почему Никита Ивановичъ не приходитъ?—спросила она меня.

— Почему я знаю? И почему онъ непремѣнно обязанъ къ намъ приходить?

— Да вѣдь и ему же скучнѣй одному.

— Не скучнѣй, потому что онъ занятъ хлѣбной уборкой.

— А еслибы мы пошли навѣстить его?

— Вотъ это очень остроумно!—отвѣтила я:—приглашалъ онъ насъ къ себѣ?

Мама велѣла за собой выслать лошадей къ ночному поѣзду на четвертый день по отъѣздѣ; день этотъ былъ пасмурный, и дождь принимался лить разъ десять. Только къ вечеру вѣтеръ разбилъ тучи, и заходящее солнце окрасило ихъ въ мѣдный цвѣтъ. Анна заснула съ книгой на диванѣ въ гостиной, а я велѣла осѣдлать лошадь и уѣхала кататься по грязнымъ дорогамъ и наслаждаться влажнымъ и свѣжимъ воздухомъ и необыкновенной окраской облаковъ. Когда уже стемнѣло совсѣмъ, я вернулась. Анны не было.

— Гдѣ Анна Сергѣевна?—спросила я у прислуги.

— Онѣ куда-то вышли. Надѣли пальто и шляпу и ушли,—услышала я въ отвѣтъ.

— Давно?

— Не такъ чтобы ужъ очень давно, а съ часъ пожалуй будетъ.

„Куда она могла уйти вечеромъ, такая трусиха?“—думала я, ходя по опустѣвшему дому. Подозрѣніе мелькало у меня въ головѣ.

Я вышла на крыльцо. Тучи неслись по небу. Надворныя строенія смутно чернѣли. Собаки подошли ко мнѣ и стали ласкаться; огромный Драконъ чуть не положилъ мнѣ на плечи свои за-

пачканныя свѣжей грязью лапы. Я съ бранью оттолкнула его и, топнувъ ногою, закричала на собакъ. Боязливо оглядываясь, онѣ отошли отъ меня. Драконъ зарычалъ... Я прошла черезъ калитку въ садъ и дошла до конца аллеи, шлёпая калошами по размягченному грунту дорожекъ. „Анна!“—крикнула я. Только деревья глухо шумѣли въ отвѣтъ. Тогда я вышла въ поле. „Анна!“—крикнула я еще разъ. Все было тихо. Тогда я пошла по направленію къ Юферовской усадьбѣ. Вотъ на дорогѣ мелькнула чья-то тѣнь. Я окликнула.

— Это я,—услышала я неувѣренный голосъ Анны.

— Гдѣ ты была?

— Я тебя искала,—сказала она, подойдя ко мнѣ.

— Странно было искать меня, когда я уѣхала верхомъ. Не стану же я вертѣться на лошади около дома.

— Мнѣ стало скучно одной.

Мы вошли въ домъ. Анна забилась опять въ излюбленный уголъ дивана и взялась-было за оставленный романъ. Глаза ея смотрѣли въ одно мѣсто книги и видимо не желали встрѣчаться съ моими. Щеки ея горѣли.

— Гдѣ ты была?—повторила я настойчиво.

— Я же сказала тебѣ.

— Развѣ я тебѣ повѣрю, чтобы ты, такая трусиха, шла меня разыскивать по темнымъ полямъ! Другая причина заставила тебя забыть про страхъ... Гдѣ ты была?

— А,—сказала она,—что̀ это за допросъ такой? Не вѣришь,—какъ знаешь.

Она встала съ дивана. Я, взявъ ее за руку, посадила опять.

— Отвѣчай, гдѣ ты была, прекрасная Манонъ Леско̀!

— Ахъ, Господи! что это за мученье! Хоть бы тетя поскорѣе пріѣхала!—съ плачемъ сказала Анна.—Пусти мою руку!

Мысль о матери заставила меня выпустить руку Анны.

— Я узна́ю, гдѣ ты была!—сказала я ей, уходя изъ залы.

Я вышла снова въ темный садъ; я машинально пошла вдоль аллеи, мучимая сомнѣніемъ, ревностью, тоскою, и цѣлый потокъ не затопилъ бы страшнаго огня моихъ страстей. О, что̀ дѣлать, что̀ дѣлать?! Жизнь сильнѣе меня, и Анна, она тоже сильнѣе меня. Только на словахъ я храбра, на дѣлѣ же она гораздо лучше съумѣетъ найти путь къ тому, чего захочетъ, а я даже не съумѣю устранить ее съ своего пути.

Мама не привезла съ собой паспорта, потому что его еще не успѣлъ подписать губернаторъ; она сказала, что его вышлютъ мнѣ на-дняхъ, и принялась собирать меня въ дорогу. Я совер-

шенно пассивно относилась къ этимъ сборамъ и къ предстоящей поѣздкѣ. Послѣ того вечера, когда я, гонимая отчаяніемъ, металась по аллеямъ въ темномъ саду и вернулась домой вся мокрая отъ дождя,—на меня напала страшная притупленность чувствъ. Еслибы я была склонна къ мистицизму, я усмотрѣла бы въ случайности сложившихся обстоятельствъ какую-то таинственную Руку, которая, раскрывъ въ моей душѣ опасныя мысли, и сердце мое не захотѣла оставить неиспытаннымъ. Все было уложено къ отъѣзду; отцу отправлено письмо, что я на-дняхъ выѣду и телеграммой извѣщу о днѣ пріѣзда въ Парижъ; мы ждали только паспорта съ первой почтой во вторникъ. Въ этотъ роковой день, одинъ изъ послѣднихъ дней іюля, жара, я помню, стояла тропическая. Мама, Анна и я, послѣ обѣда пріютились подъ навѣсомъ террасы. Мать что-то шила. Анна развалилась въ камышевомъ креслѣ и принималась иногда стонать и жаловаться на жару, а я на камышевомъ диванѣ лежала съ книжкою въ рукахъ, и меня одолѣвала дремота. Мама вышла въ гостиную и принесла мнѣ оттуда подъ голову вышитую подушку. Сквозь дремоту я слышала разговоръ Анны съ мамой.

— Пожалуй, будетъ гроза,—въ полголоса сказала мама.

— Ахъ, тетя! Я просто не знаю, что̀ со мной дѣлается!—сказала та:—у меня и сердце бьется и сжимается; мнѣ все кажется, что случится что-то особенное.

— Просто у тебя передъ грозою нервы напряжены.

Этотъ разговоръ въ состояніи полусна, въ которомъ я находилась, показался мнѣ страшно значительнымъ, и я заснула, думая о томъ, что случится что-то особенное. Проснувшись около четырехъ часовъ, я пошла купаться, и Анна отправилась за мной. Тишина стояла въ саду и на рѣкѣ, которой берегá въ этотъ часъ были совсѣмъ пустынны. Только, помню, далеко одинокій, чуть видный мужичокъ шелъ за сохою, да гдѣ-то скрипѣла телѣга. Анна возбужденно болтала и смѣялась, раздѣваясь передъ купаньемъ, а я угрюмо молчала. Я ужъ говорила, что нервы мои за эти дни какъ бы притупились, и моя ревность, страданье, мысли объ условности морали будто дремали во мнѣ, какъ будто лѣнь было мнѣ возвращаться къ нимъ. Но непріязнь моя къ Аннѣ не дремала, и сомнѣніе относительно Юферова мелькало въ головѣ, не разгораясь, впрочемъ, въ огонь ревности.

Анна плавала плохо, и когда мы выплыли изъ купальни, она визжала, и хохотъ ея отдавался на томъ берегу, въ пустыхъ поляхъ. Я недолго оставалась въ водѣ и предупредила Анну, чтобъ она не выплывала на середину, гдѣ было глубоко, а что

лучше бы и совсѣмъ выходила. „Нѣтъ, нѣтъ! я еще буду купаться“,—отвѣтила она.—„Какъ знаешь!“—сказала я, одѣваясь, и подумала: „Какой смыслъ въ этой моей заботливости объ Аннѣ, когда эта заботливость въ совершенномъ противорѣчіи съ моими предыдущими мыслями? Откуда эти побужденія?“

Одѣвшись, я медленно пошла домой, обрывая по дорогѣ листья съ кустовъ и ни о чемъ не думая. Вдругъ рѣзкій крикъ остановилъ меня. „Анна?“—подумала я, и первымъ моимъ движеніемъ было броситься назадъ къ рѣкѣ. Я пробѣжала нѣсколько шаговъ и остановилась, прислушиваясь; до меня явственно долетали подавленные стоны, плескъ воды и хрипѣнье. И откуда-то засвѣтилась мысль, что еще нѣсколько минутъ этихъ стоновъ, этого плеска, и никогда больше не повторятся ужасающія муки ревности. Сердце мое готово было выскочить, судороги сжимали горло отъ борьбы между побужденіемъ бѣжать на спасеніе погибающей и возможностью торжествовать побѣду надъ голосомъ морали, послушаніе которой лишитъ меня такого благопріятнаго случая отдѣлаться отъ повода къ страданію. Я притаилась и слышала, какъ черезъ нѣсколько секундъ, изъ которыхъ каждая была дорога для спасенія Анны, замерли плескъ и стоны. Наступила ужасная тишина. И вдругъ среди нея какъ будто тысячи голосовъ заговорили надъ моими ушами, все завертѣлось въ глазахъ, я бросилась впередъ и безъ чувствъ упала на прибрежный песокъ.

Очнулась я на садовой скамейкѣ, а надо мною стоялъ Юферовъ и давалъ мнѣ нюхать лекарство. Со стороны рѣки неслся говоръ народа и слышались крики.

— Вытащили Анну?—было моимъ первымъ вопросомъ.

— Успокойтесь, пожалуйста!

— Я пойду туда.

— Нечего туда ходить... Чтобы опять стало дурно!..

— Вытащили ее?

— Не знаю.

Я рванулась впередъ, но онъ сильнымъ движеніемъ руки снова посадилъ меня на скамейку. Тогда, въ порывѣ благодарности за его заботливость, я схватила его за руки и прислонила голову къ его груди. Онъ отнялъ у меня свою правую руку и ласково провелъ ею по моимъ волосамъ. О, что̀ испытала я въ эту минуту великаго упоенія отъ этой неожиданной ласки и нечеловѣческаго страданія отъ сознанія, что я навѣки погибла! О, неужели все это не сонъ?!

Онъ попросилъ меня разсказать, какъ произошло несчастіе.

Я разсказала все, какъ было, умолчавъ о тѣхъ минутахъ, когда я стояла въ аллеѣ, охваченная преступнымъ настроеніемъ.

— А теперь посидите минуточку, я пойду узнаю, что̀ тамъ дѣлается,—сказалъ Юферовъ.

Онъ совсѣмъ былъ непохожъ на человѣка, приведеннаго въ отчаяніе событіемъ съ Анной; онъ былъ взволнованъ и озабоченъ, какъ былъ бы взволнованъ и озабоченъ и всякій другой въ подобномъ случаѣ. Моя безумная ревность не имѣла никакого основанія, вѣроятно. Я погубила себя изъ-за подозрѣнія, если Анна не будетъ спасена. А если ея смерть предупредила возможность любви между ними и обезпечила возможность любви между нимъ и мною? Тогда... О! изъ любви къ нему, ради его ласкъ, изъ которыхъ самая ничтожная показалась мнѣ цѣлымъ міромъ блаженства, я готова понести всѣ муки совѣсти и адскихъ воспоминаній. Такъ думала я, а мимо меня по аллеѣ бѣгала прислуга съ какими-то одѣялами, подушками. Я не выдержала и тоже бросилась къ рѣкѣ, и я мелькомъ увидала на берегу трупъ Анны, съ волосъ которой текла вода... Ужасный видъ! Какіе-то люди, въ томъ числѣ Юферовъ и мама, хлопотали около утопленницы... Мама закричала:

— Да уведите же, уведите Соню,—здѣсь ей не мѣсто!

Какъ я очутилась въ своей комнатѣ потомъ, на постели, уже не помню. Мама приходила туда и сказала, что докторъ не могъ привести Анны въ чувство, что все кончено. Когда въ тотъ день были соблюдены всѣ формальности и посторонніе люди разъѣхались, я сошла внизъ въ залу, гдѣ на столѣ лежала Анна. Я остановилась въ нѣсколькихъ шагахъ и съ ужасомъ смотрѣла на это неподвижное лицо, которому смерть придала новое, несвойственное ему выраженіе. Это лицо, ушедшее въ подушку, эти ноги, обутыя въ туфли безъ каблуковъ, очертанія тѣла, прикрытыя тюлемъ, — неужели это Анна? И она больше не встанетъ, не пойдетъ, не заговоритъ? Казалось, на ея помертвѣломъ лицѣ застыло выраженіе упрека кому-то, кто не далъ ей дослушать сказку жизни и погрузилъ ее въ вѣчно холодныя, строгія бездны смерти. Неужели я—виновница ея смерти? Смерти... этого вѣчно ужасавшаго меня явленія? Не можетъ быть! Нѣсколько секундъ врядъ-ли что̀ могли значить для ея спасенія. Сама я не съумѣла бы, все равно, вытащить ее изъ воды, а позванный народъ не поспѣлъ бы раньше крестьянъ, замѣтившихъ утопающую и побѣжавшихъ ей на помощь. Все это такъ. Но ничто уже не могло успокоить тревоги, зародившейся во мнѣ. Какъ будто гдѣ-то въ отдаленіи слышались мнѣ

все какіе-то неясные и неопредѣленные голоса, которые говорили между собою о чемъ-то ужасномъ. Они были еще далеко, но рано или поздно они настигнутъ меня, они откроютъ мнѣ тайну человѣческой совѣсти. Куда спастись отъ нихъ?

Я не могла остаться спать въ эту ночь у себя въ комнатѣ; я перебралась къ матери и устроилась на диванѣ у перегородки, за которой она спала. Мы обѣ долго не могли заснуть и переговаривались о сегодняшнемъ событіи; маму очень тревожилъ вопросъ, какъ приметъ страшную новость отецъ бѣдной Анны. „Такое несчастіе, такое несчастіе,—говорила мать:—не на радость себѣ привезъ онъ намъ ее“.

Тяжелая дремота, наконецъ, одолѣла меня; но я сознавала еще всю обстановку комнаты, слабо освѣщенной ночникомъ. Вотъ почудился какой-то шумъ въ отдаленіи; какъ будто кто-то вставалъ съ постели. Дикая мысль пришла мнѣ въ голову: „Это Анна встаетъ, чтобы идти сюда!“ И я услышала шлёпанье туфель безъ каблуковъ, приближавшееся къ маминой комнатѣ. Вотъ она взялась за ручку двери извнѣ. Я закричала раздирающимъ крикомъ, какъ кричатъ люди во время кошмаровъ, и сама же проснулась отъ этого крика; мама, еще не заснувшая, торопливо зажгла свѣчу и подошла ко мнѣ. А къ комнатѣ, дѣйствительно, кто-то подошелъ, и я услышала голосъ горничной, старавшейся говорить потише: „Барыня, вы не спите? почта пріѣхала“. Мама велѣла войти горничной, а сама налила мнѣ капель, и когда я совсѣмъ успокоилась, мы стали разбирать почту. Паспортъ мой пришелъ. Отчего я раньше не получила его и не уѣхала уже къ отцу?!

Въ день же смерти Анны отецъ ея былъ предупрежденъ телеграммой о болѣзни дочери; другую отослали позднѣе, гдѣ говорилось, что положеніе ухудшилось, а на другой день утромъ его извѣстили о необходимости ему выѣзжать.

Тѣ же лошади, что повезли меня на станцію, должны были отвезти его къ намъ, и мнѣ было суждено первой сообщить ему о смерти его дочери и видѣть въ маленькой станціонной комнатѣ, какъ рыдалъ бѣдный старикъ. Когда онъ немного успокоился, онъ поблагодарилъ меня, что я выѣхала ему на встрѣчу.

— Само собою разумѣется, дядя,—отвѣтила я,—что васъ выѣхала бы встрѣтить или мама, или я; но выѣхала именно я, потому что съ этимъ поѣздомъ я ѣду къ отцу.

И я разсказала ему о болѣзни отца.

— Вотъ оно что̀!—сказалъ онъ:—какъ жизнь-то складывается... Смерть... болѣзни... Давно ли умерла жена... теперь

дочь... теперь братъ на-чеку... Съ братомъ-то мы хоть не ладили, а все-таки смерть всѣхъ примиряетъ... Вы отвезите ему мои братскіе поклоны... А меня, несчастнаго, все еще носитъ земля! Всѣхъ растерялъ... Одинъ, какъ бобыль! И себя-то одного не съумѣю пропитать.

— А ваша служба въ полиціи?

— Что̀ служба? Не гожусь я служить. Съ молодости не служилъ, а теперь-то и вовсе! И хорошо, по правдѣ сказать, сдѣлала Анна, что умерла. Не кормилецъ я ей... Пьянчужка я горькій...

И онъ опять зарыдалъ.

— Полноте,—сказала я ему:—вы, во всякомъ случаѣ, не такъ одиноки, какъ говорите. Моя мать—чудесный человѣкъ; вы съ ней отлично уживетесь.

— Да, ваша мать—ангелъ.

— Кстати,—сказала я,—вы ей передайте отъ меня письмо; я забыла ей кое-что сказать, уѣзжая.

Я спросила себѣ бумаги и чернилъ и написала матери: „Милая мама, когда я увидѣлась съ дядей, мнѣ пришла въ голову мысль, что смерть Анны, случившаяся у насъ въ домѣ, могла бы быть отчасти искуплена, еслибы мы пріютили бѣднаго старика. Служба вышла не по немъ, дѣваться ему, должно быть, некуда. Пріюти его и примирись съ его слабостями ради его несчастій... ради нашихъ общихъ несчастій“. Странно! когда я написала это письмо подъ наплывомъ симпатіи къ жалкому старику,—рѣжущая нравственная боль, не оставлявшая меня ни на минуту послѣ роковаго событія, стихла немного, какъ больной зубъ, когда на него положишь облегчающее лекарство. И гулъ голосовъ, все приближавшихся ко мнѣ, какъ будто сталъ отдаляться. Цѣлуя старика, я мысленно просила у него прощенія за свое отношеніе къ Аннѣ.

Я взяла билетъ на нашей станціи до Варшавы; во весь этотъ переѣздъ среди моря противорѣчивыхъ чувствъ:—то страсти къ Юферову, то ужаса передъ содѣяннымъ, то удовлетворенія по его поводу—отрадой было для меня воспоминаніе о томъ чувствѣ, которое побудило меня написать матери письмо о дядѣ. Доѣхавъ до Варшавы, я не чувствовала себя утомленной, потому что мнѣ удалось обѣ ночи спать въ вагонѣ; и поэтому, остановившись тамъ только для того, чтобы размѣнять русскія деньги на иностранныя и купить билетъ до Парижа,—что̀ отвлекало меня отъ моего душевнаго состоянія,—я съ ближайшимъ же поѣздомъ выѣхала на Берлинъ. Впередъ, все впередъ! Дальше отъ этихъ

страшныхъ голосовъ, которые опять стали приближаться и говорили что-то ужасное и непонятное. Къ границѣ пріѣхали засвѣтло, но пока дожидались въ таможнѣ, стемнѣло, и когда я очутилась въ вагонѣ нѣмецкаго поѣзда, ночь уже была на дворѣ. Сидя на узенькой деревянной скамейкѣ, стѣсненная своими сосѣдями, я со страхомъ встрѣчала эту ночь безъ сна. Предо мною и около меня дремали пассажиры съ лицами, на которыхъ выражалась покорность неизбѣжной участи провести въ сидячемъ положеніи весь путь до Берлина, такъ какъ пассажиры всѣ ѣхали вплоть до Берлина. Поѣздъ мчался съ непривычной для русскаго человѣка быстротой, но мнѣ казалось, что онъ едва ползетъ... Впередъ, впередъ! Бѣжать, спасаться отъ непонятныхъ голосовъ. О, то была мучительная ночь! Вотъ-вотъ измученное сознаніе на минуту заволокнется туманомъ дремоты, голова упадетъ на грудь,—и снова просыпаешься и съ адской тревогой въ груди прислушиваешься къ шуму поѣзда: не слышно ли чего-нибудь еще за этимъ шумомъ. Только къ утру удалось, въ какой-то скрюченной позѣ и машинально оперши́сь головою на плечо дремавшаго сосѣда, заснуть на часъ. Вотъ Берлинъ! Тороплюсь на потсдамскій бангофъ... Жду съ нетерпѣніемъ поѣзда, чтобы скорѣе ѣхать впередъ... Путаюсь поѣздами, попадаю въ Магдебургъ. Оттуда начались безконечныя пересадки, и я доѣхала до Ганновера въ полномъ физическомъ и нравственномъ изнеможеніи. „Sie müssen umsteigen",—слышу роковую фразу. Забираю свой маленькій саквояжъ и подушку—и схожу на платформу. Ко мнѣ подходитъ носильщикъ и спрашиваетъ:—Куда вещи?

— Не знаю,—говорю я, чувствуя себя страшно несчастной и разбитой.

— Вы куда ѣдете?

— Во Францію.

— Откуда?

— Изъ Россіи.

— Fräulein, вы кажетесь очень усталой: не остановиться ли вамъ отдохнуть въ гостинницѣ? — говоритъ онъ участливо.

Я съ удивленіемъ поднимаю глаза на носильщика, и вижу еще молодое бѣлокурое лицо, добрыми глазами со вниманіемъ смотрящее на меня.

— Но я не знаю здѣсь ни одной гостинницы.

— Я проведу васъ.

Что̀, въ самомъ дѣлѣ, тутъ дѣлать: ѣхать ли дальше, или довѣриться моему носильщику, заговорившему со мной такимъ участливымъ и вмѣстѣ мягкимъ тономъ, котораго трудно ожидать отъ

простолюдина? Но голова моя совершенно отказывается работать; мой мозгъ—отъ утомленія, отъ безсонницы, такъ какъ я не ѣла почти два дня, забывъ о ѣдѣ,—находится въ состояніи полной анэміи.

— Пойдемте!—говорю я носильщику:—только у меня, пожалуй, не хватитъ нѣмецкихъ денегъ, — откровенно прибавляю я.

— Мы зайдемъ въ контору размѣнять,—говоритъ тотъ почти ласково.

Мы толкнулись съ нимъ въ одну контору, въ другую; но, по случаю кануна какого-то праздника, онѣ были заперты. Наконецъ, въ третьей мнѣ размѣняли нѣсколько рублей. Потомъ носильщикъ отнесъ мои вещи до самой гостинницы, уговорился за меня насчетъ условій, которыя мнѣ показались очень умѣренными, и за весь свой трудъ спросилъ съ меня что-то около половины марки. Я вспомнила, что гдѣ-то слышала выраженіе: „честный ганноверецъ"! А я этому ганноверцу была благодарна за то человѣческое чувство, которое онъ пробудилъ во мнѣ своимъ участливымъ тономъ, хотя бы, въ концѣ концовъ, онъ видѣлъ во мнѣ только кліентку; и этотъ голосъ я услышала въ минуту полнаго нравственнаго угнетенія, и въ своемъ душевномъ движеніи, отвѣтившемъ на этотъ голосъ, увидѣла я опять проблескъ очеловѣчивающей симпатіи къ ближнему, побудившей меня написать матери письмо о дядѣ.

Разузнавъ въ конторѣ ганноверской гостинницы, когда приблизительно буду въ Парижѣ, я послала отцу телеграмму и, пообѣдавъ и выпивъ пива, какъ убитая, заснула въ своемъ номерѣ. Ровно въ шесть часовъ, какъ было условлено наканунѣ, кельнеръ застучалъ во мнѣ въ дверь, чтобы разбудить меня къ поѣзду. Я вскочила, какъ встрепанная, и, освѣженная продолжительнымъ сномъ и выпитымъ кофе, совсѣмъ бодрая отправилась за кельнеромъ, понесшимъ мои вещи. Утро было ясное и свѣжее. Печать культурности лежала на всемъ, попадавшемся мнѣ на пути. „И простой народъ здѣсь какой культурный!"—подумала я, но не спросила себя тогда, что̀ собственно я подразумѣваю подъ словомъ: „культурный". Теперь я думаю, что не можетъ быть истинной культуры безъ культуры нравственной, безъ культивированія въ человѣчествѣ чувства всеобщей и взаимной симпатіи. Впрочемъ, я и теперь еще отношусь къ этому только теоретически или, вѣрнѣе сказать, академически... А тогда, въ то утро, объ этихъ вопросахъ я не задумывалась... Наоборотъ: очутившись въ вагонѣ, освѣженная и укрѣпленная отдыхомъ, глядя на проно-

сившіяся мимо идеально обработанныя нѣмецкія поля и ясное голубое небо надъ ними,—опять, опять я хотѣла счастья, счастья во что бы то ни стало, и воспоминаніе о той упоительной минутѣ, когда Юферовъ коснулся своею мягкой рукой моихъ непокорныхъ волосъ, проникающей нѣгой наполнило все мое существо, и загорѣлись яркія надежды! Но не надолго. Страхъ, что судьба накажетъ меня, и что не знать мнѣ счастья,—явился на смѣну недолго длившемуся подъему настроенія. По мѣрѣ приближенія къ Парижу, тоска все увеличивалась.

Пріѣхала я туда рано утромъ, и пока я бродила по Сѣверному вокзалу, въ ожиданіи, когда отопрутъ таможню, гдѣ былъ мой чемоданъ, пришедшій днемъ раньше меня, ко мнѣ подошелъ какой-то блѣдный человѣкъ, одѣтый въ сѣрое пальто и спросилъ, не я ли буду m-lle Павлова? Это оказался посланный мнѣ на встрѣчу камердинеръ моего отца, съ которымъ мы и отправились, получивъ багажъ, въ „Rue Notre-Dame des Champs“, гдѣ жилъ отецъ. По дорогѣ, я узнала отъ моего спутника мало утѣшительнаго о здоровьѣ отца; отецъ былъ разбитъ параличомъ и уже не могъ ходить; онъ не вставалъ съ креселъ. Это длилось потомъ нѣсколько мѣсяцевъ.

Я старалась представить себѣ отца; я помнила его хотя уже почти сѣдымъ, но еще живымъ человѣкомъ, съ молодымъ блескомъ въ глазахъ, съ мягкой и быстрой походкой, съ вѣчно ироническимъ тономъ и отрывистой, лаконической манерой говорить,—а теперь меня ждалъ разбитый старикъ.

Было еще рано, но онъ не спалъ; онъ ждалъ меня, сидя въ своемъ креслѣ на колёсахъ. Это правда, что тѣло его было разбито, но въ глазахъ все еще была живость.

— Здравствуйте-съ, сударыня!—привѣтствовалъ онъ меня, улыбнувшись.—Такъ вотъ вы какая стали? Все-таки похожа на послѣднюю карточку. Ну, какъ доѣхала?

Мы облобызались—отецъ и дочь, сразу почувствовавшіе несомнѣнную родственность натуръ.

Я отвѣтила на вопросъ и спросила:

— Ну, какъ ты себя чувствуешь?

— Какъ чувствую?!.. Чувствую, какъ подобаетъ чувствовать себя человѣку, которому жить немного осталось.

— Полно,—говорю,—ты еще оправишься.

— Какое тамъ оправлюсь! Да и незачѣмъ. Пожито достаточно, не мало пережито!

— Поживи,—говорю,—для меня.

— Можетъ быть,—сказалъ онъ, подозрительно оглянувшись

на меня,—въ твоихъ словахъ упрекъ мнѣ за то, что я не жилъ съ тобою?

— Богъ съ тобой! Никогда мнѣ и въ голову не приходило упрекать тебя. Даю тебѣ слово.

— Ну, ладно... Вотъ m-r Ружэ дастъ намъ кофе.

M-r Ружэ, съ своимъ блѣднымъ, непроницаемымъ лицомъ, неслышно двигался по комнатѣ, готовя все для завтрака. Окно было открыто, и къ намъ доносилось съ улицы еще слабое въ этотъ часъ уличное движеніе и острый воздухъ Парижа. Мнѣ было и томно, и дремотно, отъ безсонницы и дорожной усталости, и невѣроятнымъ далекимъ сномъ казались событія, совершившіяся въ деревнѣ немного болѣе недѣли тому назадъ.

За завтракомъ я разсказывала отцу интересовавшія его подробности моей жизни; я касалась, конечно, только внѣшнихъ событій. Но разговоръ его скоро утомилъ, глаза потухли, лицо осунулось; онъ сталъ дремать, а я ушла спать въ указанную мнѣ Ружэ комнату.

Такова была наша первая встрѣча съ отцомъ. Потомъ потянулись дни около больного, часть которыхъ мы проводили въ Люксембургскомъ саду, куда Ружэ отвозилъ отца въ его креслѣ, а часть—на нашей квартирѣ, въ тихой улицѣ „Notre-Dame des Champs". Мы проводили ихъ съ отцомъ въ игрѣ въ шахматы, когда онъ чувствовалъ себя получше, или я читала ему вслухъ. Онъ посылалъ меня гулять, назначалъ какой-нибудь музей для осмотра, и потомъ мы разговаривали о живописи, объ искусствѣ. Такъ проходили дни съ внѣшней стороны. Болѣзнь отца шла своимъ ходомъ, ведя его къ близкой развязкѣ; во мнѣ мой душевный недугъ тоже совершалъ свою неизбѣжную работу. Отецъ хвалилъ меня, какъ сидѣлку, не подозрѣвая, что меня дѣлала попечительной и дѣятельной жажда заглушить въ попеченіяхъ о немъ все ростущую тревогу.

На другой или на третій день послѣ пріѣзда моего въ Парижъ, пришло ко мнѣ письмо отъ матери. Она писала:

„Твоя мысль, Сонюшка, чтобы намъ дать пріютъ твоему дядѣ, очень хороша и гуманна; она дѣлаетъ тебѣ честь. Никита Ивановичъ ее тоже одобрилъ; онъ вообще съ большой похвалой отзывается о тебѣ, о твоей выдержкѣ, о твоихъ способностяхъ; а когда ты показала, что и сердце у тебя доброе, онъ готовъ признать въ тебѣ рѣдкую дѣвушку. Укрѣпляйся, моя дѣвочка, въ этомъ направленіи; никакіе таланты, никакой умъ не дадутъ достойныхъ плодовъ, коли они не будутъ согрѣты сердечной теплотой. Какъ ты поживаешь въ Парижѣ? Какъ здоровье отца?

Передай ему пожеланія здоровья. А мы все еще подъ гнётомъ несчастья. Твоего дядю тяжело было видѣть въ первые дни, но теперь онъ смотритъ немного лучше. Мы сдѣлаемъ все, чтобы жизнь казалась ему сносною и отвлекать отъ „его слабости“, какъ ты говоришь“, и т. д.

У меня—„доброе сердце“?! Юферовъ готовъ признать во мнѣ рѣдкія качества?! Что же? Развѣ же это признаніе не приближаетъ меня къ моимъ цѣлямъ? Это простое письмо мамы (въ которомъ, можетъ быть, и нѣсколько односторонній взглядъ на значеніе талантовъ) могло пролить истинный свѣтъ на характеръ отношенія ко мнѣ Юферова. Весьма возможно, что, присматриваясь ко мнѣ и не находя „сердечной теплоты“, онъ и самъ относился ко мнѣ холодно. Можетъ быть, замѣтивъ во мнѣ чувство къ себѣ, онъ испытывалъ меня, допуская Анну до легкаго флёрта съ собою? Если это такъ,—вотъ и нужно мнѣ, по моей теоріи, пользоваться такъ удачно сложившимися обстоятельствами, которыя представили ему меня въ столь ложномъ, но выгодномъ освѣщеніи... А мои страданія? А страшные голоса, которыхъ не могъ заглушить ни шумъ дороги, ни шумъ міровой столицы? О, еслибы мнѣ только его любовь, еслибы мнѣ страсть,—я готова была бы нести всѣ муки за счастье этой любви! На почвѣ этихъ мукъ, на почвѣ страшнаго обмана, она пріобрѣла бы ни съ чѣмъ несравнимую ѣдкость, ни съ чѣмъ несравнимый драматизмъ... Я познала бы самыя исключительныя ощущенія! Моя жизнь была бы такъ непохожа на всѣ жизни, украшенныя банальною любовью. Да развѣ я уже не пережила исключительныя волненія въ такомъ цвѣтущемъ возрастѣ? Развѣ я съ самаго дѣтства не знала особенныхъ настроеній? Развѣ я не одарена исключительной психической организаціей? Неужели же я упаду подъ гнётомъ мученій совѣсти, какъ самая дюжинная натура? И были минуты сверхчеловѣчнаго напряженія силъ, и, торжествуя минутами побѣду надъ „банальными“ страданіями совѣсти, я высоко поднимала голову и съ побѣдоноснымъ выраженіемъ разгуливала по улицамъ Парижа—этого города, гдѣ какихъ только образчиковъ человѣческой породы не встрѣтишь! Но наша психика, въ концѣ концовъ, неизбѣжно подчиняется независящимъ отъ насъ законамъ нервной жизни, и подъ наплывомъ неожиданныхъ впечатлѣній и воспоминаній разрушалась хитросплетенная плотина ложныхъ мыслей... Страданія совѣсти являлись иногда меня мучить въ формѣ галлюцинацій... Ужасно! Я не стану ихъ описывать... Это ужасно! Но вы поймете теперь смыслъ моей картины.

Наступилъ часъ и полнаго возмездія.

Я помню, одинъ разъ отецъ съ утра очень плохо себя чувствовалъ: онъ охалъ, жаловался на страданіе, лицо у него опухло, глаза стали водянистые. Онъ всю ночь не спалъ и чувствовалъ себя очень тоскливо. Но къ вечеру, когда, послѣ пріема лекарствъ, ему удалось соснуть, онъ почувствовалъ себя бодрѣе, и вотъ какого рода разговоръ зашелъ у насъ въ этотъ вечеръ.

— Я уже думалъ,—началъ отецъ,—что комедія кончается... Да ужъ и немного осталось! Я все-таки хотѣлъ бы... прежде чѣмъ умереть... попросить прощенія у твоей матери... Во время болѣзни я много думалъ о ней... Видѣть ее лично мнѣ было бы тяжело... Но... я хотѣлъ бы передать ей...

— Поручи мнѣ.

— Вотъ именно... Я такъ и хотѣлъ... Ты уже настолько взрослая, чтобы быть посвященной въ наши отношенія. Мать твою, 16-лѣтнюю дѣвочку, выдали за меня замужъ, потому что нашли меня приличной для нея партіей. Любви она ко мнѣ не питала, да въ ту пору о любви она имѣла довольно смутное пониманіе. Я же находилъ ее прелестной дѣвочкой! Мы прожили съ ней нѣсколько лѣтъ, мало имѣя общаго между собою. Наконецъ, для нея насталъ часъ настоящей любви. Она вѣдь чувствовала, что была для меня только драгоцѣнной игрушкой, рѣдкостнымъ objet d'art. И она узнала, что другой человѣкъ любитъ ее иначе.

Вся кровь отлила у меня отъ лица; сердце захолонуло отъ тяжкаго предчувствія.

— Этотъ человѣкъ былъ?..—спросила я сдавленнымъ голосомъ.

— Этотъ человѣкъ былъ Юферовъ. Совмѣстная жизнь съ твоею матерью стала невозможной для меня, хотя образъ дѣйствій ея по отношенію ко мнѣ оставался честнымъ. Но жизнь вмѣстѣ была невозможна, когда я изъ ея собственныхъ устъ услыхалъ, какъ она любила другого. Моя жестокость заключалась въ томъ, что я не далъ ей возможности выйти за человѣка, питавшаго къ ней глубокое чувство. Такое чувство, котораго самъ я къ ней никогда не питалъ... Передай ей, какъ я глубоко раскаялся въ своемъ отношеніи къ ней... За что̀ испортилъ я ей жизнь, когда мнѣ моя свобода ни на что не была нужна?!.. Я не былъ созданъ для семейной жизни, и я отлично воспользовался жизнью, какъ я ее понималъ... Зачѣмъ же лишилъ я ихъ обоихъ счастья, какъ они его понимали?! Я бы умеръ съ спокойной душой, еслибы зналъ, что хоть послѣ моей

смерти они поженятся... Да, вѣроятно, такъ и будетъ... Только ты ей, все-таки, передай, что я желаю этого, что я раскаялся!..

Я безсильна изобразить вамъ, что̀ испытала я послѣ признанія отца. Но среди хаоса разнорѣчивыхъ ужасныхъ чувствъ мелькало что-то вродѣ свѣтлаго луча отъ сознанія, что я понесла достойную кару за черноту моей души. И однако, когда послѣ смерти отца, я написала матери то, что̀ онъ поручалъ мнѣ, въ глубинѣ моей души шевелилась надежда получить отъ нея отвѣтъ въ томъ смыслѣ, что между нею и Юферовымъ никогда ничего не было, что теперь она находитъ, что время ея ушло, что она не думаетъ о бракѣ съ Юферовымъ, что скорѣе она видитъ возможность устройства брака между нимъ и мною, и т. д., и т. д.

Отвѣтъ пришелъ:

„Милая Сонюшка, письмо твое я получила и благодарю тебя за ту деликатность, съ которой ты касаешься щекотливаго вопроса. Мертвыхъ не судятъ, и я не стану судить твоего отца за то, что онъ выбралъ тебя посредницею между нимъ и мною. Ты знаешь, что жизнь мою я посвятила тебѣ, ты не можешь жаловаться на меня, да ты и не высказывала никогда недовольства моимъ отношеніемъ къ тебѣ. И знай, что какія бы чувства еще ни жили въ сердцѣ твоей матери,—материнской привязанности ничто не искоренитъ. Если Никитѣ Ивановичу суждено стать твоимъ отчимомъ, то болѣе родственнаго отношенія ты не встрѣтишь ни въ комъ. Я никогда не насиловала твоей воли, не буду противорѣчить тебѣ и теперь: ты пишешь, что хочешь остаться въ Парижѣ, чтобы заниматься серьезно живописью? Представлять тебя такъ далеко отъ себя мнѣ очень горестно, но, можетъ быть, тебя ждетъ будущность, ради которой стоитъ пожертвовать спокойнымъ существованіемъ около любящихъ тебя людей. Но велика будетъ радость для этихъ людей, когда ты вздумаешь вернуться, и чѣмъ скорѣе это случится, тѣмъ счастливѣе буду я. Конечно, для изученія живописи трудно придумать что-нибудь болѣе подходящее, чѣмъ Парижъ; имѣй только въ виду, моя дѣвочка, что чѣмъ шире поприще, тѣмъ больше терній ты можешь встрѣтить на пути. Помни же, помни, что у тебя есть любящія сердца, возлѣ которыхъ ты найдешь всегда утѣшеніе отъ житейскихъ горестей, и которыя первыя откликнутся, коли въ жизни тебѣ суждены успѣхи. Учись, люби свое искусство и не забывай, какое великое значеніе можетъ оно имѣть въ рукахъ просвѣщеннаго художника. Никита

Ивановичъ тебѣ кланяется и желаетъ полнаго преуспѣянія на избранномъ пути. Онъ поручилъ мнѣ передать тебѣ, что проситъ любить его и жаловать въ качествѣ болѣе близкаго родственника, чѣмъ онъ былъ для тебя прежде, такъ какъ въ болѣе или менѣе непродолжительномъ времени онъ будетъ мужемъ глубоко тебя любящей—Л. Павловой".

И потянулись для меня дни безвыходнаго отчаянія, отъ котораго не обрѣла бы я утѣшенія возлѣ „любящихъ сердецъ" матери и ея будущаго мужа. Я прожила нѣсколько мѣсяцевъ въ полномъ одиночествѣ среди большого города, равнодушная къ его горячей жизни, какъ онъ былъ равнодушенъ къ моимъ страданіямъ. Они были такъ ужасны, что я понемногу начала чувствовать искупленной страшную ошибку моей самонадѣянной юности. Не разъ мысленно просила я прощенья у Анны за ту смертельную ненависть, которую я возъимѣла къ ней въ ослѣпленіи ревностью. Въ моей душѣ никогда не было мѣста живой симпатіи къ ближнему; я узнала это чувство въ формѣ страданій совѣсти. А совѣсть не есть голосъ только чужого внушенія,—она—форма симпатіи къ ближнему.

Чувство самосохраненія заставило меня, наконецъ, взяться за трудъ. Я стала усердно заниматься живописью, и часто дѣло меня такъ теперь поглощаетъ, что я забываю все на свѣтѣ; тогда я почти счастлива. У меня начинаютъ выработываться новые взгляды на задачи искусства. Какъ не признать за нимъ огромнаго цивилизующаго значенія! Не въ томъ ли истинная задача его, чтобы возбуждать чувство гуманности и симпатіи къ ближнему? А впрочемъ, моя душа еще слишкомъ больна и измучена, чтобы быть пригодной для выработки новаго гуманнаго міровоззрѣнія, которое порою я предчувствую въ себѣ... Только съ нимъ возможно было бы и нравственное перерожденіе... Возможно ли оно? Можетъ быть, судьба свела меня съ вами, чтобы вы протянули мнѣ руку помощи на этомъ пути перерожденія, а можетъ-быть вамъ суждено нанести мнѣ послѣдній ударъ. Прощайте! Адресъ мой—все тотъ же".

У меня завязалась съ художницей переписка. Мы порѣшили съ ней, между прочимъ, напечатать ея записки, измѣнивъ, конечно, имена. Можетъ быть, эти записки, въ виду распространенія въ нашемъ обществѣ патологическихъ настроеній и дилеттантской жадности на новыя философскія доктрины, могутъ имѣть какое-нибудь значеніе...

Л. П—ВА.



УЧЕБНЫЕ КОНТРАСТЫ

и

НУЖДЫ

Юго-западный край.

Съ 1889-го года при кіевскомъ учебномъ округѣ ежегодно печатается отчетъ о состояніи учебныхъ заведеній округа. Въ настоящее время вышелъ изъ печати отчетъ за 1898-й годъ, представляющій собой томъ свыше 1.100 печатныхъ страницъ, со множествомъ таблицъ и вѣдомостей. Матеріалъ, содержащійся въ отчетѣ, очень цѣненъ, и имѣя такіе отчеты по всѣмъ округамъ, можно было бы составить полную и подробную картину современнаго положенія у насъ просвѣщенія, причемъ обозначилось бы также и то, чего ему еще недостаетъ. Мы должны, однако, оговориться, что такіе отчеты не выходятъ изъ круга вѣдомства министерства народнаго просвѣщенія и охватываютъ собою не всѣ учебныя заведенія округа. Кіевскій отчетъ также не содержитъ въ себѣ никакихъ свѣдѣній объ учебныхъ заведеніяхъ, принадлежащихъ къ другимъ вѣдомствамъ, а извѣстно, что у насъ есть очень много школъ высшихъ, среднихъ и низшихъ, не подвѣдомственныхъ министерству народнаго просвѣщенія, но занимающихъ значительное мѣсто въ общемъ дѣлѣ народнаго просвѣщенія. Таковы духовныя академіи, семинаріи и духовныя училища, относящіяся къ вѣдомству Св. Сѵнода; политехническій институтъ и коммерческія училища, подвѣдомственныя

министерству финансовъ; корпуса и военныя училища военнаго министерства; есть сельско-хозяйственныя и садоводныя училища—зависящія отъ министерства государственныхъ имуществъ, институты для благородныхъ дѣвицъ и женскія гимназіи вѣдомства императрицы Маріи; наконецъ, въ попечительскій отчетъ не входятъ также и церковно-приходскія школы. Впрочемъ, и въ предѣлахъ министерства народнаго просвѣщенія, отчетъ совершенно не касается университета и ограничивается слѣдующими девятью раздѣлами: мужскія гимназіи и прогимназіи, реальныя училища, ремесленныя училища и классы, женскія гимназіи и прогимназіи, глуховской учительскій институтъ и учительскія семинаріи, народныя училища, частныя училища, еврейскія училища и иновѣрческія школы. Зато, съ другой стороны, для достиженія своей цѣли—изобразить состояніе учебныхъ заведеній одного округа за одинъ годъ—изданіе слишкомъ обширно и представляетъ не мало повтореній и, быть можетъ, излишнихъ подробностей...

I.

Кіевскій учебный округъ состоитъ изъ пяти губерній, занимающихъ пространство въ 284.253 квадр. версты и населенныхъ 14.721.207 душами. Всѣ эти губерніи почти одинаковы по пространству и населенію и представляютъ въ этихъ отношеніяхъ незначительныя колебанія. Но въ отношеніи народнаго образованія эти губерніи распадаются на двѣ, рѣзко отличныя одна отъ другой группы: въ губерніяхъ полтавской и черниговской, гдѣ существуютъ земскія учрежденія, дѣло образованія стоитъ совершенно иначе, чѣмъ въ губерніяхъ кіевской, волынской и подольской, въ которыхъ земскія учрежденія еще не введены. Это сказывается преимущественно на низшемъ образованіи, какъ мы увидимъ въ своемъ мѣстѣ.

Слѣдуя отчасти плану кіевскаго отчета, мы разсмотримъ прежде всего данныя, относящіяся къ мужскимъ классическимъ гимназіямъ и прогимназіямъ, которыхъ въ 1898 году было 23 (изъ нихъ 3 прогимназіи), съ 239 классами и 8.697 учениками, что̀ даетъ въ среднемъ по 37 учениковъ на классъ. За послѣднія десять лѣтъ, общее число учениковъ гимназій и прогимназій округа увеличилось на 1.545 человѣкъ. „Это приращеніе числа учениковъ,—замѣчаетъ отчетъ,—составляетъ вполнѣ достаточный комплектъ для четырехъ, пяти гимназій“; это приращеніе произошло „безъ всякаго дополнительнаго ассигнованія

со стороны государственнаг оказначейства, городскихъ обществъ и земства", и „обусловливается болѣе интенсивнымъ трудомъ преподавателей", которымъ приходится вести классъ съ 37 учениками вмѣсто 32, какъ было десять лѣтъ тому назадъ. Конечно, съ точки зрѣнія экономіи и сохраненія капитала, оно можетъ быть и выгодно, что расходы не увеличились, хотя число учениковъ увеличилось на 21,6%; разумѣется также, что съ точки зрѣнія усердія и трудолюбія преподавателей справедливо установить, чтобы они работали болѣе интенсивно и занимались съ 37 учениками вмѣсто 32, но едва ли это желательно въ интересахъ преподаванія; едва ли можно видѣть выгоду въ сбереженіи денегъ на счетъ усиленія интенсивности труда преподавателей. Напротивъ, казалось бы, что задача педагогическая заключается въ томъ, чтобы по возможности болѣе тратить на обученіе—и, облегчая трудъ преподавателей, уменьшая его количественно, улучшать его качественно.

Подробное разсмотрѣніе цифръ, относящихся къ содержанію гимназій и прогимназій, указываетъ на нѣкоторыя особенныя явленія, въ указанномъ выше смыслѣ мало удовлетворительныя. Изъ суммъ, ассигнованныхъ на гимназіи и прогимназіи, осталось неизрасходованными около 100.000 рублей. По нѣкоторымъ отдѣльнымъ статьямъ эти сбереженія невелики, а по другимъ достигаютъ значительныхъ размѣровъ. Такъ, изъ назначеній государственнаго казначейства оказалось неизрасходованными около 10.000 рублей; отъ сбора за содержаніе воспитанниковъ въ пансіонахъ оказалось остатковъ свыше 40.000 рублей; отъ процентовъ съ разныхъ капиталовъ осталось около 53.000 рублей; отъ сборовъ за ученіе осталось свыше 112.000 рублей. Объ этихъ остаткахъ и сбереженіяхъ можно съ полнымъ основаніемъ сказать, что они не совсѣмъ желательны и цѣлесообразны. Къ сбереженіямъ по статьѣ на содержаніе воспитанниковъ въ пансіонахъ самъ отчетъ относится „съ полнымъ предубѣжденіемъ, если эти сбереженія недостаточно обстоятельно мотивированы и не обоснованы высшими соображеніями относительно немедленнаго улучшенія санитарно-гигіеническихъ условій пансіоновъ". Мы не встрѣчаемъ, однако, въ отчетѣ не только „обстоятельной", но и никакой мотивировки, и не можемъ постигнуть, о какихъ „высшихъ соображеніяхъ" идетъ рѣчь. Если эти высшія соображенія сводятся къ тому, чтобы накопить средства для капитальнаго улучшенія условій пансіоновъ, то это надо было бы выразить, а главное, надо было давно приняться за это улучшеніе, ибо, по словамъ отчета, „эти остатки не оказываются случайнымъ

явленіемъ отчетнаго года, а они правильно повторяются изъ года въ годъ“.

Оставляя въ сторонѣ статью процентовъ на капиталы, нельзя не остановиться на сбереженіяхъ, весьма крупныхъ, по статьѣ платы за ученье. Эта плата различна въ разныхъ гимназіяхъ округа и колеблется между 40 и 60 рублями. При такой высокой и притомъ неравномѣрной платѣ желательнѣе было бы уравненіе и уменьшеніе ея, чѣмъ скопленіе остатковъ. Надо также замѣтить, что отчетъ не даетъ никакихъ свѣдѣній о томъ, какое число учениковъ увольняется ежегодно за невзносъ платы,—а такіе случаи, конечно, бываютъ. Говоря объ ученикахъ, выбывшихъ изъ гимназій и прогимназій до окончанія курса (1.082 уч.), отчетъ упоминаетъ о 286 учен., выбывшихъ по разнымъ причинамъ. Подъ этимъ широкимъ опредѣленіемъ разумѣется, вѣроятно, не мало такихъ учениковъ, которые могли бы и не выбыть, еслибъ имъ помогли на счетъ остатковъ отъ сборовъ за ученье. Вообще, если считать, что содержаніе гимназіи обходится въ среднемъ около 60.000 рублей, а прогимназіи — 23.000 рублей, то очевидно, что на остатки отъ ассигнованій на содержаніе этихъ училищъ ежегодно можно было бы открывать по одной новой гимназіи и по двѣ прогимназіи, которыя окупили бы около 44% своей стоимости сборами за ученье и содержаніе воспитанниковъ, какъ показываетъ общая таблица процентнаго распредѣленія источниковъ содержанія. Изъ этой таблицы видно, что на содержаніе гимназій и прогимназій казначейство ассигнуетъ 41,3% (520 тысячъ рублей), городскія общества—2,4% (свыше 30 тысячъ рублей), земства — около 2% (25.000 рублей), а сборы за ученье и содержаніе воспитанниковъ даютъ болѣе 553 тысячъ рублей. Въ этой таблицѣ есть еще одна цифра: 761 рубль 50 коп. „суммъ дворянства“!

Насколько велика потребность въ такомъ постепенномъ увеличеніи числа среднихъ учебныхъ заведеній, видно изъ многихъ данныхъ, встрѣчаемыхъ въ отчетѣ. Среднимъ числомъ, въ кіевскомъ округѣ приходится по 404 ученика на гимназію и по 188 учениковъ—на прогимназію. Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія, общее число учащихся въ гимназіяхъ и прогимназіяхъ увеличилось на 1.545 человѣкъ. „Это приращеніе,—замѣчаетъ отчетъ, —составляетъ вполнѣ достаточный комплектъ для четырехъ-пяти (вѣрнѣе—для шести) полныхъ гимназій“,—изъ которыхъ, однако, не открыто ни одной. Независимо отъ этого *переполненія* существующихъ заведеній, мы встрѣчаемся съ другимъ явленіемъ, еще болѣе указывающимъ на настоятельную потребность въ открытіи

новыхъ гимназій и прогимназій. „Всѣхъ подавшихъ прошеніе о пріемѣ въ число учениковъ было (въ 1898 году) 3.321. Изъ этого числа не явилось на испытаніе 185 человѣкъ; не выдержали испытанія 593 человѣка, и *не приняты за комплектомъ, „по недостатку помѣщенія, 457 человѣкъ*". Если при этомъ имѣть въ виду, что заполненность комплекта и недостатокъ помѣщенія вызываютъ большую требовательность на испытаніяхъ, то безъ большой натяжки можно признать, что изъ непринятыхъ ежегодно учениковъ составится комплектъ для одной гимназіи и двухъ прогимназій, которыя, какъ мы уже видѣли, свободно могли бы быть содержимы на счетъ „остатковъ".

Этнографическія отличія населенія право- и лѣвобережной украинъ обнаруживаются въ гимназіяхъ кіевскаго округа въ томъ, что въ полтавской и черниговской губерніяхъ учениковъ православнаго исповѣданія 84,2%, а католиковъ—3,8%; въ губерніяхъ же кіевской, волынской и подольской первыхъ 62,1%, а вторыхъ—24,8%. Въ бѣлоцерковской (кіевской губ.) гимназіи православные составляютъ лишь одну треть общаго числа учениковъ, а католики — почти двѣ трети; въ гимназіяхъ житомірской, уманской и луцкой прогимназіи католики составляютъ почти половину общаго числа учениковъ.

Евреи, которые въ отчетѣ называются то евреями, то іудеями, во всѣхъ пяти губерніяхъ округа составляютъ 10,2% общаго числа учениковъ. Этотъ процентъ, однако, въ разныхъ гимназіяхъ колеблется между 7,5% и 13,9%. Въ этомъ отношеніи, норма для гимназій города Кіева, какъ находящагося внѣ черты еврейской осѣдлости, назначена въ 5%, а для остальныхъ—въ 10%. Несмотря на то, что эта норма установлена двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, она едва ли соблюдается.

При разсмотрѣніи таблицъ успѣшности учениковъ, обнаруживается поразительная разница между дѣтьми разныхъ исповѣданій. При общей успѣшности всѣхъ учениковъ, выражаемой въ процентахъ 79,1% (по даннымъ выпускныхъ и переводныхъ испытаній), успѣшность учениковъ по вѣроисповѣданіямъ выражается: для евреевъ 90,7%, для лютеранъ—82,9%, для католиковъ—79,3, для православныхъ—78,5%, для прочихъ (магометане, караимы, язычники)—64,1%. Необыкновенно высокій процентъ евреевъ отчетъ объясняетъ тѣмъ, что „изъ еврейскихъ дѣтей поступаютъ въ гимназіи и прогимназіи главнымъ образомъ наиболѣе способные и лучше подготовленные, вслѣдствіе условій особаго для евреевъ конкурснаго испытанія". А что̀ дѣлать просто способнымъ и хорошо подготовленнымъ дѣтямъ евреевъ?—

на это отчетъ не отвѣчаетъ, но вопросъ этотъ заслуживаетъ вниманія. Очень интересно было бы установить, сколько евреевъ было въ числѣ тѣхъ 593, которые не выдержали испытанія, и сколько—въ числѣ тѣхъ 457, которые не приняты за комплектомъ и по недостатку помѣщенія. Къ сожалѣнію, отчетъ не говоритъ о томъ. Вслѣдствіе этого умолчанія, теряетъ свою цѣнность одинъ изъ выводовъ, на которыхъ отчетъ особенно останавливается. „За послѣднія десять лѣтъ,—читаемъ мы въ отчетѣ,—число учениковъ православнаго исповѣданія увеличилось на 1.200 человѣкъ; за тотъ же періодъ времени общее число учениковъ—на 1.545, что̀ указываетъ на возростаніе потребности въ среднемъ образованіи между кореннымъ русскимъ населеніемъ округа. Число евреевъ за 10 лѣтъ уменьшилось съ 10,7% на 10,2%“. Отчетъ, правда, упускаетъ при этомъ изъ виду, что евреи встрѣчали весьма серьезныя препятствія въ своемъ стремленіи къ среднему образованію, въ формѣ „процентнаго отношенія“. Да и самъ по себѣ данный выводъ отчета не вполнѣ соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Онъ забываетъ о естественномъ приростѣ населенія, и о тѣхъ 500 человѣкахъ, которые ежегодно не поступали въ гимназіи и прогимназіи не потому, чтобъ они не чувствовали потребности въ среднемъ образованіи, и не потому, чтобы они не были подготовлены, а за комплектомъ и по недостатку помѣщенія.

Къ среднимъ учебнымъ заведеніямъ должны быть отнесены и реальныя училища, которыхъ въ кіевскомъ округѣ въ 1898 году („какъ и въ предыдущихъ“,—говоритъ отчетъ, не поясняя, съ какого времени, но изъ дальнѣйшаго можно заключить, что съ 1893 года) было 8, съ 71 классомъ и 2.491 ученикомъ, что̀ составляетъ по 35 учениковъ на классъ. И здѣсь мы встрѣчаемся съ тѣмъ же явленіемъ, что изъ 400 тысячъ рублей, ассигнованныхъ на содержаніе училищъ, издержано лишь 280 тысячъ, и осталось 120 тысячъ, несмотря на то, что плата за ученье (очень высокая: отъ 25 руб.—въ одномъ училищѣ, до 36 и 70 руб. въ двухъ, 50 руб. въ четырехъ и 60 руб. въ одномъ училищѣ) даетъ 152 тысячи рублей; что въ теченіе года выбыло до окончанія курса 378 учениковъ (15,7%), и что изъ 1.003 лицъ, подавшихъ прошенія, не принято, за комплектомъ, 123 человѣка.

Число учениковъ съ 1893 года возросло на 48,2%. Распредѣленія учащихся по вѣроисповѣданіямъ представляютъ нѣсколько бо̀льшія колебанія, чѣмъ гимназіи и прогимназіи. Въ губерніяхъ кіевской и волынской (въ подольской нѣтъ ни одного реальнаго

училища) православные составляютъ 45%, католики—38%, а въ губерніяхъ черниговской и полтавской—первыхъ 76,5%, а вторыхъ—6.5%. Евреи составляютъ, въ общемъ, 8,6% всего числа учениковъ, причемъ этотъ процентъ колеблется между 6 (для Кіева) и 10,6% (для прочихъ мѣстностей). Относительно источниковъ содержанія, реальныя училища отличаются отъ гимназій и прогимназій тѣмъ, что казна даетъ 28,8% средствъ, городскія общества — 4%, а земства — 10,6%. Сборы за ученье составляютъ въ реальныхъ училищахъ почти такой же процентъ, какъ и въ гимназіяхъ. Это значительное, въ сравненіи съ гимназіями, участіе земствъ и городскихъ обществъ въ судьбѣ реальныхъ училищъ тѣмъ характернѣе, что реальныя училища не даютъ своимъ воспитанникамъ права поступать въ высшія учебныя заведенія (за рѣдкими исключеніями).

Состояніе женскихъ гимназій и прогимназій гораздо менѣе соотвѣтствуетъ дѣйствительному положенію средняго женскаго образованія, чѣмъ мужскія гимназіи и прогимназіи. Рядомъ съ мужскими средними учебными заведеніями въ кіевскомъ округѣ существуютъ еще два кадетскихъ корпуса (въ Кіевѣ и Полтавѣ); во всѣхъ пяти губернскихъ городахъ существуютъ еще институты благородныхъ дѣвицъ, а въ трехъ изъ нихъ (Кіевѣ, Житомірѣ и Каменцѣ-Подольскомъ) существуютъ женскія гимназіи вѣдомства императрицы Маріи. Такимъ образомъ, данныя попечительскаго отчета не могутъ представлять дѣло женскаго средняго образованія въ полномъ видѣ.

Изъ данныхъ отчета видно, что въ 1898 г. среднихъ женскихъ учебныхъ заведеній въ кіевскомъ округѣ было 26: 16 гимназій, 9 прогимназій и 1 училище (на правахъ гимназіи) графа Блудова въ гор. Острогѣ, волынской губерніи, исключительно для дѣвицъ православнаго исповѣданія. Распредѣленіе этихъ заведеній по губерніямъ представляетъ поразительное различіе между земскими и не-земскими губерніями: въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ (съ городомъ Кіевомъ) существуютъ двѣ женскія гимназіи и двѣ прогимназіи; изъ остальныхъ четырехъ гимназій—три частныхъ гимназіи въ Кіевѣ и одно училище гр. Блудова; въ губерніяхъ же земскихъ существуютъ: въ полтавской—шесть гимназій и три прогимназіи, въ черниговской—пять гимназій (изъ нихъ одна земская) и еще три прогимназіи.

Средства на содержаніе женскихъ гимназій и прогимназій равнялись половинѣ средствъ на содержаніе мужскихъ училищъ

того же типа и выразились цифрой около 602 тысячъ рублей, составившейся изъ слѣдующихъ: остатковъ отъ 1897 года—193 тысячи рублей; суммъ государственнаго казначейства—47 тыс.; сбора за ученье—264 тыс.; ассигнованій городскихъ обществъ—около 19 тыс., и ассигнованій земствъ—около 42 тыс. Изъ этихъ цифръ видно, что сборы за ученье составляютъ около 44 процентовъ всѣхъ доходовъ; ассигнованія земствъ и городскихъ обществъ — около 10 процентовъ, а ассигнованія казначейства—лишь 7,8 процента; затѣмъ, остатки отъ прошлаго года даютъ 32 процента. Эти остатки и въ отчетномъ году весьма велики и равняются 190 тысячамъ рублей, причемъ въ среднемъ выводѣ расходъ каждой гимназіи опредѣляется въ 22 тысячи рублей, а прогимназіи—въ 6 тысячъ рублей. Чѣмъ вызывается такая дешевизна, въ сравненіи съ мужскими гимназіями и прогимназіями, не можемъ опредѣлить. Процентныя отношенія статей расхода почти одинаковы. Такъ, напр., и въ тѣхъ, и въ другихъ, наемъ, содержаніе и ремонтъ помѣщеній составляютъ 12,5% всѣхъ расходовъ; содержаніе личнаго состава въ мужскихъ заведеніяхъ—56,5%, а въ женскихъ — 58,7%. Но абсолютныя цифры расходовъ въ женскихъ гимназіяхъ и прогимназіяхъ являются несоразмѣрно малыми въ сравненіи съ мужскими: если принять, что общій бюджетъ первыхъ вдвое меньше общаго бюджета вторыхъ, то, при разсмотрѣніи средняго расхода на содержаніе одного училища, оказывается, что содержаніе мужской гимназіи обходится почти втрое дороже женской, а прогимназіи—почти вчетверо дороже. Отчетъ не даетъ никакихъ свѣдѣній ни о размѣрѣ платы за ученье въ женскихъ среднихъ училищахъ, ни о числѣ ученицъ, которыя не принимаются въ нихъ за комплектомъ и недостаткомъ помѣщенія, какъ мы то видѣли въ мужскихъ. Отсутствіе этихъ данныхъ лишаетъ насъ возможности судить о значеніи „остатковъ". Однако, и безъ всякихъ данныхъ, à priori можно думать, что наврядъ ли дѣло средняго женскаго образованія стоитъ такъ, чтобы оно не требовало расширенія, и что гораздо желательнѣе было бы увеличить число женскихъ среднихъ учебныхъ заведеній, чѣмъ получать запасы „остатковъ".

Число ученицъ въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ нѣсколько менѣе числа учениковъ въ мужскихъ, а именно: 7.013, причемъ на каждую женскую гимназію приходится въ среднемъ по 347 ученицъ, а на прогимназію—по 142 ученицы.

Распредѣленіе учащихся по вѣроисповѣданіямъ представляетъ въ женскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ поразительное отличіе отъ мужскихъ. Въ общемъ, православныя ученицы состав-

ляютъ 63,5 процента всѣхъ учащихся; католички—6; лютеранки—2; еврейки—28,3 процента, причемъ колебаніе процента въ различныхъ заведеніяхъ весьма значительно. Не говоря объ училищѣ гр. Блудова, гдѣ всѣ ученицы православныя, процентъ православныхъ ученицъ колеблется между 85 и 33, католичекъ—между 26 и 0,8; относительно лютерановъ надо сказать, что въ одиннадцати заведеніяхъ ихъ вовсе нѣтъ, а въ остальныхъ процентъ ихъ колеблется между 5,7 и 0,3, за исключеніемъ кіевской гимназіи при евангелическо-лютеранской церкви, гдѣ лютеранки составляютъ 35,9 процента общаго числа ученицъ. Процентъ евреекъ колеблется между 49,4 и 5,5. По поводу этого послѣдняго явленія отчетъ замѣчаетъ, что оно объясняется „этнографическимъ составомъ населенія и отсутствіемъ процентнаго ограниченія при принятіи еврейскихъ дѣвочекъ, какъ это введено для еврейскихъ мальчиковъ въ мужскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ“. Если принять во вниманіе, что этнографическій составъ населенія почти одинаковъ для женщинъ и мужчинъ, то сопоставленіе процента дѣвочекъ-евреекъ, обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ кіевскаго округа (28,3), съ процентомъ мальчиковъ-евреевъ (10,2) всего нагляднѣе показываетъ, какое количество мальчиковъ-евреевъ лишены доступа къ среднему образованію. Въ таблицѣ о распредѣленіи ученицъ по вѣроисповѣданіямъ обращаетъ на себя вниманіе цифра 18 ученицъ или (0,2%) раскольницъ.

Сводя къ одному данныя о среднемъ образованіи въ кіевскомъ учебномъ округѣ за 1898 годъ, мы видимъ, что на все 15-милліонное населеніе его дѣтей, обучающихся въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, насчитывается 18.200, т.-е. одинъ учащійся на 809 душъ населенія. Въ частности, такъ какъ въ пяти губерніяхъ кіевскаго округа число мужчинъ почти равняется числу женщинъ, оказывается, что одинъ учащійся мальчикъ приходится на 658 душъ мужского населенія, и одна учащаяся дѣвочка—на 1.050 душъ женскаго населенія. Въ округѣ приходится одно среднее учебное заведеніе—на 4.122 версты и на 263.158 душъ населенія. Эти среднія цифры различны для земскихъ и неземскихъ губерній: въ первыхъ—одно среднее учебное заведеніе на 3.000 верстъ и на 170.000 душъ населенія, а во-вторыхъ—на 5.370 верстъ и на 352.000 душъ. Приведенное различіе еще рѣзче, если отдѣлить женскія училища отъ мужскихъ: одно женское среднее учебное заведеніе приходится въ юго-западныхъ губерніяхъ на 18.125 верстъ и на 1.187.500 душъ населенія,

а въ земскихъ—на 5.000 верстъ и на 283.334 души. Обученіе каждаго учащагося ребенка обходится въ среднемъ свыше 91 рубля въ годъ (въ мужскихъ гимназіяхъ—108 рублей; въ мужскихъ прогимназіяхъ—127 руб.; въ реальныхъ училищахъ—114 руб.; въ женскихъ гимназіяхъ—64 рубля, и въ женскихъ прогимназіяхъ—41 руб.). Всѣ мужскія гимназіи и прогимназіи, всѣ реальныя училища и 19 женскихъ гимназій и прогимназій имѣютъ собственные дома, почти всѣ каменные, съ обширными усадьбами. Три женскихъ гимназіи и четыре прогимназіи помѣщаются въ наемныхъ домахъ. При всѣхъ нихъ имѣются библіотеки (при мужскихъ гимназіяхъ и реальныхъ училищахъ, онѣ дѣлятся на фундаментальныя и ученическія; при женскихъ этого дѣленія нѣтъ), содержащія свыше 400 тысячъ томовъ, физическіе и естественно-историческіе кабинеты приблизительно съ 20 тысячами нумеровъ приборовъ и предметовъ.—Такова общая картина средняго образованія въ кіевскомъ учебномъ округѣ. Если въ этомъ дѣлѣ остается многаго желать по сравненію съ нѣкоторыми европейскими странами, то все-таки оно поставлено довольно солидно и прочно.

II.

Совершенно иное представляютъ собой такъ-называемыя народныя училища, т.-е. начальныя училища разныхъ типовъ, начиная отъ четырехъ- и трехъ-классныхъ до одноклассныхъ, составляющихъ около 92% всего числа этихъ училищъ (2.183 изъ 2.377) [1]. Во всѣхъ народныхъ училищахъ кіевскаго округа къ 1-му января 1899 года состояло 207.380 учащихся. Сравнительно съ предшествующимъ годомъ, число училищъ увеличилось на 88, а число учащихся—на 11.150 человѣкъ. Изъ сопоставленія пространства и населенія пяти губерній кіевскаго округа съ числомъ училищъ и учащихся получаются слѣдующія данныя: во всемъ округѣ одно училище приходится на 6.193 души населенія и на районъ въ 98,6 квадр. версты. Одинъ учащійся приходится на 70 душъ населенія, а на квадратную версту—менѣе одного учащагося!

Изъ общаго числа училищъ 2.218 помѣщаются въ собственныхъ зданіяхъ, а 159—въ наемныхъ. На содержаніе всѣхъ народныхъ училищъ въ отчетномъ году поступило около 2 мил-

[1]) Въ это число не вошли иновѣрческія школы, еврейскія училища и частныя учебныя заведенія, о которыхъ имѣются особые отчеты.

лiоновъ рублей, а израсходовано—около 1.788 тысячъ рублей, такъ что неизрасходованныхъ суммъ осталось свыше 200 тысячъ рублей. Два миллiона рублей, ассигнованныхъ на народное образованiе, составляются такимъ образомъ: 20% поступаетъ изъ государственнаго казначейства, столько же—отъ сельскихъ обществъ, 11%—отъ городскихъ обществъ, около 30%—отъ земствъ, 8% даютъ сборы за ученье, около 6%—разныя пожертвованiя. По вѣроисповѣданiямъ, учащiеся въ народныхъ училищахъ распредѣляются весьма неравномѣрно: православные составляютъ болѣе 92%, католики—около 2½, евреи—около 3½; остальные—около 1%. При народныхъ училищахъ округа имѣются библiотеки, въ которыхъ состоитъ 1.669.000 томовъ книгъ и брошюръ, что̀ составляетъ среднимъ числомъ по 780 томовъ на училище. Эта общая картина рѣзко мѣняется при разсмотрѣнiи данныхъ, относящихся въ отдѣльности къ губернiямъ юго-западнымъ (кiевской, волынской и подольской) и малороссiйскимъ (полтавской и черниговской), изъ которыхъ только послѣднiя двѣ обладаютъ земскими учрежденiями. Разница настолько велика, что иной разъ просто не вѣрится, чтобы рѣчь шла о сосѣднихъ губернiяхъ.

Отчетъ представляетъ данныя о народныхъ училищахъ въ двухъ отдѣлахъ: первый касается училищъ юго-западнаго края—губернiй кiевской, волынской и подольской, а второй—губернiй полтавской и черниговской. Мы соединимъ оба отдѣла для болѣе нагляднаго сравненiя.

Юго-западный край занимаетъ пространство въ 145 тысячъ квадратныхъ верстъ и населенъ свыше 9½ миллiонами душъ; губернiи полтавская и черниговская—90 тысячъ квадратныхъ верстъ и 5.100.000 населенiя. На этомъ пространствѣ народныя училища распредѣлены весьма неравномѣрно. Въ юго-западныхъ губернiяхъ ихъ находится 843, что́ составляетъ по одному училищу на районъ въ 172 квадратныхъ версты и на 11.270 душъ населенiя. Въ двухъ земскихъ губернiяхъ народныхъ училищъ—1.534, что̀ составитъ по одному училищу на районъ въ 59 верстъ и на 3.300 душъ населенiя. Взятыя сами по себѣ, эти послѣднiя цифры не представляютъ ничего особенно утѣшительнаго, но онѣ знаменательны по сравненiю съ предыдущими. Изъ числа 560 волостей, входящихъ въ территорiю юго-западныхъ губернiй, 138 волостей совершенно лишены народныхъ училищъ, въ 236 волостяхъ имѣется лишь по одному училищу и только въ 5 волостяхъ по 5 и болѣе училищъ. Дѣло доходитъ до того, что, напр., въ кiевской губернiи, изъ 204 волостей, 100 волостей, по выраженiю отчета, „обходятся“ безъ народныхъ училищъ. По

отношенію къ земскимъ губерніямъ отчетъ, къ сожалѣнію, не даетъ никакихъ данныхъ о числѣ волостей и о числѣ тѣхъ изъ нихъ, которыя остаются безъ народныхъ училищъ. Жалуясь на неравномѣрное распредѣленіе училищъ въ губерніяхъ полтавской и черниговской, отчетъ лишь мимоходомъ замѣчаетъ, что „есть даже цѣлыя волости, гдѣ нѣтъ ни одного училища", и приводитъ въ примѣръ Уношевскую волость, суражскаго уѣзда черниговской губерніи, съ населеніемъ болѣе 5.000 душъ.

По этому поводу мы встрѣчаемъ въ отчетѣ за 1897 годъ слѣдующій отзывъ: „Почти всѣ уѣздныя земства сознаютъ хорошо недостатокъ въ народныхъ училищахъ и стремятся по мѣрѣ силъ открывать новыя школы. Нѣкоторая медленность въ ростѣ числа училищъ зависитъ отъ того, что земства должны сообразоваться съ платежными силами населенія,—съ другой же стороны, они должны заботиться не только о количественномъ, но и о качественномъ улучшеніи существующихъ уже школъ. Земства тратятъ довольно большія суммы на устройство и ремонтъ училищныхъ зданій, покупку учебныхъ пособій для недостаточныхъ учениковъ, устройство школьныхъ и публичныхъ для взрослыхъ крестьянъ библіотекъ, на устройство классовъ для взрослыхъ и т. п. Тѣмъ не менѣе, несмотря на многосложность и многотрудность предметовъ своего вѣдѣнія, во многихъ земствахъ поднимался вопросъ о введеніи всеобщаго обученія. Но при нынѣшнемъ матеріальномъ положеніи мѣстныхъ земствъ, а также и обществъ, введеніе всеобщаго обученія въ ближайшемъ будущемъ едва ли можетъ быть выполнено ими безъ значительной правительственной помощи. Такъ, по приблизительному разсчету, сдѣланному для черниговскаго уѣзда, оказалось, что для введенія всеобщаго обученія пришлось бы, въ добавленіе къ нынѣ существующимъ 60-ти училищамъ, устроить еще 182 новыхъ, дабы каждый поселокъ находился отъ ближайшей школы не дальше $2^1/_2$ верстъ, такъ какъ лишь при такомъ разстояніи, какъ показалъ опытъ, дѣти могутъ безпрепятственно посѣщать училище. Для этого потребовалось бы единовременнаго расхода отъ земствъ около 24 тысячъ рублей и отъ мѣстныхъ обществъ—около 285 тысячъ рублей, и ежегоднаго расхода отъ земствъ—около 56 тысячъ рублей, а отъ обществъ—около 13 тысячъ рублей, въ добавленіе къ расходамъ, которые теперь земство и общество несутъ на содержаніе школъ". Если таковы выводы отчета о положеніи школъ въ земскихъ губерніяхъ, то что̀ же можно сказать о не-земскихъ? Факты отвѣчаютъ на эти вопросы довольно краснорѣчиво: въ трехъ юго-западныхъ губерніяхъ, въ те-

ченіе 1898 года, открыто всего 27 новыхъ училищъ, а въ полтавской и черниговской—66.

Скажемъ еще нѣсколько словъ о территоріальномъ распредѣленіи училищъ по кіевскому округу въ связи съ населенностью разныхъ мѣстностей. Средняя статистическая цифра даетъ очень невѣрное понятіе о дѣйствительномъ положеніи дѣлъ. Въ среднемъ, для всего юго-западнаго края приходится по одному училищу на 204 квадратныхъ версты, между тѣмъ какъ въ однихъ уѣздахъ этотъ районъ равняется 80 верстамъ, а въ другихъ доходитъ до 630 верстъ. Тѣ же цифры для губерній полтавской и черниговской представляются въ слѣдующемъ видѣ: средняя—59, минимальная—39, максимальная—125. Такія же колебанія показываетъ и количество училищъ на число народонаселенія. Къ сожалѣнію, отчетъ предлагаетъ неодинаковыя данныя для юго-западныхъ и земскихъ губерній: для первыхъ—онъ приводитъ цифры городского и сельскаго населенія отдѣльно и сопоставляетъ съ ними число школъ въ городахъ и селахъ, а для земскихъ губерній отчетъ этого дѣленія не приводитъ, такъ что сравненія детальнаго здѣсь провести нельзя, а можно только остановиться на общихъ цифрахъ. Въ юго-западныхъ губерніяхъ одна школа приходится на 11.270 душъ населеніи, а въ земскихъ—на 3.322. Для черниговской губерніи минимальное число школъ приходится на 6.500 душъ, максимальное—на 2.526, а для полтавской—5.230 и 2.200. Для отдѣльныхъ уѣздовъ юго-западныхъ губерній эти колебанія весьма значительны: наибольшее число школъ въ городахъ приходится на 3.030 душъ, наименьшее—на 14.810; въ селахъ есть немного мѣстностей, гдѣ одна школа приходится на 6 или 7 тысячъ душъ сельскаго населенія, въ громадномъ большинствѣ ихъ одна школа имѣется на 10—20 тысячъ душъ, а есть уѣзды, гдѣ одна школа приходится на 30 и даже 40 тысячъ душъ населенія!

Источники содержанія народныхъ училищъ заключаются преимущественно въ ассигнованіяхъ земствъ, городскихъ и сельскихъ обществъ. Въ юго-западныхъ губерніяхъ поступило на содержаніе училищъ, въ 1898 году, 963 тысячи рублей, а израсходовано 807 тыс.; въ земскихъ поступило 1.030 тысячъ, а израсходовано 981 тысяча. Для первыхъ—казначейство отпускаетъ на училища около 39% всего расхода (около 313 тысячъ рублей), а городское и сельское общества—около 45% (свыше 360 тысячъ рублей). Плата за ученье составляетъ нѣсколько менѣе 6%

(около 57 тысячъ). Въ земскихъ губерніяхъ земства даютъ около 56% всѣхъ поступленій (свыше 573 тысячъ рублей), городскія и сельскія общества—20% (220 тысячъ), а казначейство—лишь 10% (около 106 тысячъ рублей). Плата за ученье и тутъ составляетъ почти тотъ же процентъ—6,5% (около 65 тысячъ рублей). Не лишено интереса и то обстоятельство, что въ юго-западныхъ губерніяхъ, при меньшемъ поступленіи средствъ на народныя училища, остается неизрасходованнымъ 156 тысячъ рублей, а въ земскихъ остатокъ этотъ втрое меньше и не достигаетъ 49 тысячъ рублей.

Средній расходъ на одного учившагося и одного окончившаго курсъ представляется въ слѣдующемъ видѣ: расходъ на одного учащагося въ народныхъ училищахъ всѣхъ типовъ составлялъ въ юго-западныхъ губерніяхъ около 11 рублей, а въ земскихъ—7½ руб.; на одного окончившаго курсъ въ первыхъ—102½ р., а во вторыхъ—72½ рубля.

Обращаясь къ составу учащихъ, нельзя не указать, что въ юго-западныхъ губерніяхъ, изъ общаго числа 1.160 преподавателей, было учителей 848 (73%), а учительницъ—312 (27%); въ земскихъ—изъ 2.304—1068 учителей (42,41%), а учительницъ—1.236 (57,59%). Въ теченіе послѣдняго десятилѣтія во всемъ округѣ обнаружилось хотя медленное, но постепенное увеличеніе числа учительницъ и уменьшеніе числа учителей въ народныхъ школахъ: въ юго-западныхъ губерніяхъ это число возросло съ 19,7% до 27%, а въ земскихъ—съ 46% на 57,59%.

Весь этотъ штатъ преподавателей получаетъ въ высшей степени скудное вознагражденіе; въ юго-западныхъ губерніяхъ это дѣло поставлено лучше, чѣмъ въ земскихъ. Почти 93% всѣхъ преподавателей получаютъ содержаніе отъ 200 до 300 рублей и выше. Остальные хотя получаютъ менѣе, но отчетъ сообщаетъ слѣдующее: признавая, что только содержаніе въ 300 рублей можетъ обезпечить учащимъ, при готовой квартирѣ, сравнительно безбѣдное существованіе, округъ ходатайствовалъ о единовременной выдачѣ въ видѣ пособія добавочнаго оклада до 300 руб. всѣмъ преподавателямъ. Ходатайство было уважено; но округъ справедливо полагаетъ крайне необходимымъ превратить эту единовременную поддержку въ постоянную, путемъ увеличенія учительскихъ окладовъ.

Въ земскихъ губерніяхъ высшій окладъ—отъ 200 до 300 рублей и выше, получаютъ только 43,16% преподавателей. Изъ остальныхъ—16,5% получаютъ менѣе 50 рублей въ годъ, а

20,5%—отъ 50 до 100 рублей въ годъ. Отчетъ жалуется на неудовлетворительное матеріальное положеніе учащихъ и указываетъ на то, что необезпеченность въ будущемъ и нужда въ настоящемъ мѣшаютъ сельскимъ учителямъ крѣпко держаться своего дѣла, если оно даже имъ по душѣ, и побуждаетъ ихъ искать другой дѣятельности. „И не столько,—такъ заканчиваетъ отчетъ,—увеличеніе сельскимъ учителямъ получаемаго ими содержанія, сколько обезпеченіе ихъ на случай дряхлости и болѣзни является весьма настоятельной и неотложной необходимостью".

Послѣдній выводъ становится особенно яснымъ, если сопоставить число учителей съ числомъ учащихся. Изъ этого сопоставленія видно, что одному учителю приходится имѣть дѣло во всемъ учебномъ округѣ съ 60-ю учениками (колебанія по губерніямъ весьма незначительны). Еще рѣзче выступаетъ другое явленіе—переполненіе училищъ: на одно училище приходится по 87 учениковъ, причемъ колебанія довольно значительны. Отчетъ жалуется на крайнее переполненіе училищъ, затрудняющее преподаваніе, и оправдываетъ это явленіе „только крайне недостаточнымъ числомъ училищъ и трудностью отказывать въ пріемѣ дѣтямъ, ищущимъ школьнаго обученія". Однако, какъ оно ни трудно, а приходится отказывать, и число училищъ остается крайне недостаточнымъ. При всемъ этомъ, надобно замѣтить, что и бюджетъ народныхъ училищъ даетъ значительные „остатки".

Не безъинтересны данныя о числѣ учащихся мальчиковъ и дѣвочекъ. Въ училищахъ юго-западныхъ губерній мальчики составляютъ 19,2% учащихся, а дѣвочки—20,8%; въ земскихъ же мальчики—85%, а дѣвочки—15%. И въ тѣхъ, и въ другихъ, въ теченіе послѣдняго десятилѣтія, процентное отношеніе учащихся дѣвочекъ прогрессируетъ. „Такимъ образомъ,—говоритъ отчетъ,—первостепенный вопросъ о начальномъ обученіи дѣвочекъ, будущихъ матерей и первыхъ воспитательницъ подростающаго поколѣнія, находится на пути къ разрѣшенію; это важное дѣло двинется еще быстрѣе, когда число школъ будетъ достаточно велико для пріема всѣхъ желающихъ учиться, и не будетъ болѣе необходимости отказывать въ пріемѣ въ школу по недостатку мѣста".

Не приводя дальнѣйшихъ цифръ о количествѣ всѣхъ дѣтей школьнаго возраста среди пятнадцати-милліоннаго населенія кіевскаго учебнаго округа, и не пытаясь даже приблизительно опредѣлить, какое количество ихъ должны обходиться безъ школы,—

такъ какъ данныя нашей общей статистики весьма еще недостаточны для этого,—мы, по справедливости, можемъ сказать, что количество это громадно, и для устраненія такого громаднаго зла необходимы и соотвѣтственныя тому затраты. То, что̀ дѣлается въ этомъ направленіи теперь—еще очень мало, причемъ и это немногое поглощается естественнымъ приростомъ населенія...

Л. К—къ.

ИЗЪ
АДОЛЬФА БЕККУЭРА [1]

Глаза—они еще оставались
Открыты—родные сомкнули;
Лицо ей закрыли платочкомъ,
И вышли изъ комнаты смерти:
Одни съ молчаливою скорбью,
Другіе—рыдая, а въ домѣ
Царитъ тишина гробовая.

Свѣча, на полу у кровати,
Въ подсвѣчникѣ грязномъ, кидаетъ
На стѣну зловѣщія тѣни
Отъ смертнаго ложа, и въ этомъ
Трепещущемъ блѣдномъ мерцаньи
Порой выдѣляются рѣзко
Черты неподвижнаго тѣла.

Забрезжилось сѣрое утро,
И вслѣдъ за его пробужденьемъ
Проснулись, со всѣмъ своимъ шумомъ,
Со всей суетой своей, люди;
И, глядя на эти контрасты—

---

[1]) Адольфъ Беккуэръ—извѣстный испанскій поэтъ, родился въ 1836 г., умеръ въ 1870 г., испытавъ въ теченіе короткой жизни много тяжелыхъ невзгодъ, отразившихся и на характерѣ его стихотвореній. Они переведены на нѣмецкій языкъ Іорданомъ, по тексту котораго сдѣланъ и настоящій переводъ.—*П. В.*

Тамъ, въ улицѣ, шумъ и движенье,
Здѣсь, въ домѣ, безмолвіе смерти,—
Я думалъ съ глубокой печалью:
„О, какъ мертвецы одиноки!“

Покойницу въ гробъ положили,
Снесли ее въ церковь, и мѣсто
Ей дали въ отдѣльной часовнѣ,
И вкругъ ея жалкихъ останковъ,
Ихъ чернымъ сукномъ обтянувши,
Зажгли желтоватыя свѣчи.

Вотъ колоколъ смолкнулъ вечерній;
Послѣдняя въ церкви старушка
Съ колѣнъ поднялась, дотащилась
Съ трудомъ до дверей, и со скрипомъ
Онѣ затворились за нею—
И вновь тишина гробовая.

Ни звука... Лишь маятникъ мѣрно
Стучитъ на часахъ колокольни,
Да свѣчи вокругъ катафалка
Порой затрещатъ... Такъ печально,
Такъ пусто, такъ мрачно все было,
И я, на колѣняхъ у гроба,
Охваченный ужасомъ, думалъ:
„О, какъ мертвецы одиноки!“

Вотъ колоколъ снова ударилъ,
Желѣзный языкъ посылаетъ
Послѣднее слово усопшей:
„Прощайте!“ И въ траурныхъ платьяхъ
Родные и близкіе люди
Ее провожаютъ къ могилѣ.

Въ углу отдаленномъ кладбища
Пріютъ для ней вырытъ послѣдній...
Въ ту яму ее опустили,
Засыпали яму поспѣшно,
И молча кружокъ провожавшихъ
Опять по домамъ разошелся.
Ушелъ, наконецъ, и могильщикъ,
Въ рукахъ со своею лопатой,
Мурлыча унылую пѣсню...
Ночь тихо спустилась на землю,
Безмолвіе мертвое всюду—
И я, передъ насыпью свѣжей
Склонившись въ отчаяньи, думалъ:
„О, какъ мертвецы одиноки!“

Не разъ въ безконечныя ночи
Зимы ледяной и суровой,
Когда завывающій вѣтеръ
Свирѣпо дома потрясаетъ,
И дождь съ озлобленіемъ хлещетъ
Въ окошко мое—уношуся
Я мыслью безсонною къ мертвымъ,
Лежащимъ въ землѣ одиноко...
Дождя леденящаго струйки
Туда пробираются; вѣтеръ
Своимъ завываніемъ дикимъ
Порывисто въ глубь проникаетъ;
Покровъ ледяной облегаетъ
Ихъ кости, и гробъ деревянный
Лежитъ въ неподвижности мрачной...
. . . .
. . . .

Прахъ точно ль становится прахомъ?
Душа возвращается ль въ небо?
Все то, что̀ матерія—вправду ль
Комъ грязи и жертва гніенья?
Не знаю, но чувствую нѣчто,—
Ужасную, злую загадку,
Гонящую радости жизни,
Когда возвращаешься къ мысли:
„О, какъ мертвецы одиноки"!

Петръ Вейнбергъ.

ИЗЪ НЕДАВНЯГО ПРОШЛАГО

РАЗСКАЗЪ.

I.

Былъ ясный лѣтній вечеръ. На зеленомъ холмѣ, близъ одного изъ подмосковныхъ дачныхъ селеній, сидѣли двѣ молодыя дѣвушки-сестры и одинъ молодой человѣкъ. Раскинувшееся внизу село было очень красиво съ своими бѣлыми строеніями, окруженными густой зеленью садовъ, и золоченымъ куполомъ церкви, величественно сіявшимъ въ красноватомъ освѣщеніи солнечнаго заката; но молодые люди не обращали на все это вниманія, занятые дружеской бесѣдой.

— Какъ я рада,—говорила младшая изъ сестеръ,—что мы уйдемъ отсюда! Намъ нужно учиться, чтобы стать способными къ хорошей трудовой жизни, а здѣсь это невозможно... Но для успѣха въ занятіяхъ мнѣ необходимо обуздать мое стремленіе—все поскорѣе узнать, повсюду быть, все прочувствовать залпомъ... Я отлично понимаю, что прежде всего мнѣ нужно выяснить себѣ мои собственныя склонности и способности, потомъ установить основанныя на нихъ опредѣленныя цѣли жизни—и на этихъ цѣляхъ остановиться, не растрачиваясь болѣе на порывы во всѣ стороны. А все же, при моей необузданности, мнѣ трудно смириться, укротить порывы—все знать, все видѣть, во всемъ живомъ принимать участіе...

— Кромѣ этого, Вѣра,—сказалъ молодой человѣкъ,—вамъ необходимо умѣрить вашу нетерпѣливость и торопливость. Послѣ нашей свадьбы съ Еленой и нашего отъѣзда въ Парижъ, вы непремѣнно должны прожить нѣкоторое время совершенно мирно съ вашими родителями. Было бы крайне жестоко оставить ихъ однихъ сразу, не давъ имъ времени постепенно примириться съ образомъ вашей жизни. Вы такъ молоды, что успѣете вò-время выполнить все, вами задуманное.

— Конечно,—отвѣтила съ живостью Вѣра,—я останусь съ ними, пока они не примирятся съ моими цѣлями и не свыкнутся съ мыслью о моемъ отъѣздѣ. Я это сдѣлаю, потому что вы, Викторъ, этого отъ меня требуете, потому что вы утверждаете, что такъ *слѣдуетъ* поступить... При такой вашей настойчивости я, конечно, не позволю себѣ передъ ними вдругъ и вполнѣ высказаться, хотя вы не можете себѣ представить, до какой степени система недоговариванья, смягченія и умалчиванья, какъ вообще всякая неискренность, противна моей душѣ! Я, конечно, не поражу ихъ моимъ немедленнымъ заявленіемъ всѣхъ моихъ намѣреній, хотя я всѣмъ моимъ существомъ чувствую, что дурно жить такъ продолжительно съ затаеннымъ разсчетомъ постепенно добиться отъ родителей желаемаго, для этого хитрить съ ними—такими любящими, великодушными, и этимъ обезобразить лучшее время нашей совмѣстной жизни; что было бы лучше, честнѣе—упасть передъ ними на колѣни и высказать имъ все, чтò есть и кàкъ оно есть на сердцѣ...

— Нѣтъ,—перебилъ ее Викторъ,—ваши родители прожили жизнь при совершенно другихъ понятіяхъ, и имъ будетъ очень тяжело видѣть, что ихъ дѣти стремятся совсѣмъ не туда, куда они направляли ихъ усиліями цѣлой жизни. Необходимо подготовить ихъ къ этому огорченію...

— Повторяю,—я не позволю себѣ такъ поступить,—отвѣчала Вѣра,—когда вы требуете противнаго, а мнѣ самой—страшно ошибиться, страшно сдѣлать что-нибудь дурное, даже злое, хотя я не могу понять, какъ такой холодный разсчетъ, даже обманъ, можетъ быть проведенъ въ нѣжнѣйшихъ отношеніяхъ, не уродуя или даже не разрушая ихъ окончательно! О, я никогда не повѣрю въ смыслъ и пользу вашей филантропической лжи, я считаю ее злой и вредной вообще и особенно безсовѣстной по отношенію къ нашимъ родителямъ, гдѣ система лжи ради благихъ намѣреній мнѣ кажется особенно безобразной. Наши родители заслуживали бы лучшей участи въ отношеніяхъ съ своими дѣтьми. Выйдя изъ народа, изъ бѣдности, они вынесли суро-

вую школу мученій всякаго рода, которая смягчила ихъ до чрезвычайной чуткости и отзывчивости къ другимъ людямъ. Имъ, измятымъ и изстрадавшимся на всѣ лады, не страшно говорить о новыхъ требованіяхъ жизни. Только совершенно довольные люди крѣпко держатся за счастливый для нихъ складъ жизни, опасаясь всякихъ перемѣнъ.

— Конечно, ваши родители постепенно перенесутъ свою любовь къ вамъ на всѣ ваши мысли и поступки. Но путь, избранный вами для жизни, такъ необыченъ, что ихъ должны пугать затрудненія, которыя вы на немъ встрѣтите, и борьба, которую вы будете вынуждены вести.

— А развѣ дурно вести борьбу ради осуществленія милаго дѣла, желаемаго и другими любимыми людьми?—съ живостью сказала Вѣра.—Я знаю, что всякая борьба въ жизни имѣетъ свою черствость, даже жестокость, но вѣдь безъ борьбы невозможно никакое движеніе, такъ какъ каждый шагъ въ какомъ угодно направленіи, непремѣнно кого-нибудь обезпокоитъ, кому-нибудь помѣшаетъ, кому-нибудь непріятенъ—при теперешней запутанности человѣческихъ интересовъ. Но это содроганіе передъ необходимостью причинить кому-нибудь безпокойство, даже непріятность—пустая сентиментальность, подавляющая всякое живое движеніе.

— Это правда,—отвѣчалъ Викторъ.—Но ваши планы все же необходимо смягчить, чтобы они причинили какъ можно менѣе боли и огорченій вашимъ близкимъ. Скажите, какъ возникло ваше желаніе сдѣлаться врачомъ? Что̀ и кто повліялъ на васъ? Разскажите мнѣ всю исторію вашего развитія?

— Я не могу,—задумчиво отвѣчала Вѣра,—ни указать на одно какое-либо лицо, ни назвать какой-либо опредѣленный фактъ, который бы внезапно произвелъ въ насъ душевный переворотъ. Наше теперешнее настроеніе сложилось медленно и постепенно подъ вліяніемъ многихъ, часто мелкихъ, иногда неуловимыхъ впечатлѣній. Первое вліяніе, предрасположившее къ особенностямъ въ нашей судьбѣ, оказала угрюмая обстановка нашего дѣтства: бѣдность, лишенія, тѣснота и суровость жизни; чрезвычайно добрая, но пассивная мать, энергическій, но угрюмый отецъ,—свобода и просторъ безконтрольнаго уличнаго воспитанія съ его случайными впечатлѣніями. Улица—высшая школа всѣхъ безпризорныхъ: она преждевременно открываетъ темныя стороны жизни, возбуждаетъ вопросы и устанавливаетъ душевное настроеніе... Потомъ, нашу скороспѣлость довершила плохая, обыкновенная у насъ школа, гдѣ мало развивался умъ, совершенно не затрогивалось сердце, а только обременялась память и мертвя-

щая дисциплина, для всѣхъ дѣтей одинаковый шаблонъ въ преподаваніи, вселяющій отвращеніе къ занятіямъ въ однихъ, искореняющій интересъ къ нимъ—въ другихъ дѣтяхъ, и полное отсутствіе любви, клеймо найма и тягостной обязанности на всѣхъ отношеніяхъ. Мнѣ кажется, что тяжелыя впечатлѣнія иногда дѣйствуютъ благопріятно: раздражая и огорчая, они вызываютъ иногда, при очень крупныхъ и грубыхъ своихъ насиліяхъ, возмущеніе, потребность въ лучшихъ условіяхъ, однимъ словомъ,—пробуждаютъ душу. У меня съ сестрой, именно путемъ огорченій, было возбуждено сознаніе положенія: сначала насъ волновало недовольство, потомъ туманное стремленіе къ лучшему, которое опредѣлилось впослѣдствіи чтеніемъ и окончательно установилось общимъ настроеніемъ тогдашняго образованнаго общества. Въ ту пору только-что пало крѣпостное право, всѣми чувствовалось радостное возбужденіе отъ свершившагося, бодрость для будущаго. Такая свѣтлая полоса въ общественной жизни—время общаго подъема духа, широкихъ стремленій и добрыхъ дѣлъ... Чтеніе и непосредственныя впечатлѣнія дѣйствительности убѣдили меня, что только трудъ даетъ содержаніе и смыслъ человѣческой жизни. Я стала искать себѣ занятія, которому бы мнѣ захотѣлось посвятить собственную жизнь, и тогда двѣ огромныя по своему значенію работы привлекли мое вниманіе и сочувствіе—воспитаніе дѣтей и уходъ за больными. Но чрезмѣрная трудность воспитанія испугала мою робость. Я подумала, что на этомъ пути, при самыхъ лучшихъ намѣреніяхъ, только по незнанію, легкомыслію и неумѣлости, отъ которыхъ трудно уберечься, можно завести въ дремучій лѣсъ неопытную, только-что начинающуюся жизнь, и громадность нравственной отвѣтственности за судьбу питомцевъ оттолкнула меня отъ этого занятія. При болѣе подробномъ изслѣдованіи дѣла, я рѣшила, что уходъ за больными проще, легче, доступнѣе, чѣмъ воспитаніе души, и вредъ, невольно причиненный тѣлу, легче пережить уязвленной совѣсти, чѣмъ вредъ душѣ. Сдѣлавъ такой выборъ, я, конечно, пожелала научиться этому дѣлу возможно больше и возможно лучше, и мысль, что такое занятіе въ своемъ полномъ размѣрѣ, обыкновенно, не предоставляется женщинамъ—не могла уже остановить меня.

— А я до сихъ поръ не нашла себѣ такого дѣла,—сказала Елена,—которому бы рѣшилась посвятить жизнь.—Я терялась передъ неопредѣленностью и призрачностью пользы, которую можетъ принести кому-то мой предстоящій трудъ. Мнѣ не по росту стремленія къ неопредѣленному добру для *людей вообще*,

для общества,—мнѣ нужны цѣли ясныя и ўже поставленныя, чтобы онѣ одушевляли меня. Я недоумѣвала, что̀ я могу предпринять, когда внѣ домашнихъ у меня не было никакихъ связей съ окружающимъ, когда все было мнѣ чуждо, ничто меня не касалось. Мнѣ казались невозможными поиски какихъ-то новыхъ путей въ жизни, казалось грубостью протискиваться на эти новые пути, разнося препятствія, толкая другихъ, причиняя другимъ досаду, иногда горе, даже, можетъ быть, страданіе, и двигаться впередъ, не зная твердо, *куда* и *для чего*. А оглядываясь вокругъ, я не находила никакого повода для моей работы: никто меня не искалъ, никто во мнѣ не нуждался, и я ничего не могла пожелать сердцемъ въ мірѣ, гдѣ мнѣ всѣ были чужіе. Только теперь, съ тобою, Викторъ, я испытываю настоящую потребность въ образованіи и дѣятельности. Ты, твоя дружба, твое благополучіе—вотъ мои цѣли и руководители черезъ всѣ трудности жизни. Я понимаю, что можно трудиться и совершенствоваться для пользы и отрады любимыхъ людей, но недоумѣваю, какъ нужно жить для пользы *людей вообще*. Неопредѣленность и призрачность такой задачи лишаетъ ее для меня всякаго обаянія, и я остаюсь передъ ней холодна и подавлена, не зная, за что и какъ приняться.

— Но теперь мы всѣ трое счастливы, силы наши непочаты и мы молоды: все впереди, все возможно, все въ нашихъ рукахъ. Мы употребимъ всѣ усилія, чтобы найти вѣрный путь къ хорошей трудовой жизни, мы будемъ крѣпко держаться другъ за друга, помогать другъ другу, и всѣ трое посвятимъ нашу жизнь на пользу другимъ людямъ, а слѣдовательно на наше счастіе.

Вѣра вскочила съ мѣста и встала на краю обрыва. Передъ нею широко разстилалась громадная равнина окрестности, съ разбросанными по ней многочисленными жилищами, и до нея ясно доносился шумъ проносившейся внизу жизни: грохотъ ѣзды, шумъ голосовъ.

— Туда! Туда!—вскрикнула она, простирая вдаль руки.— Помогать, любить, спасать, если сможемъ... Туда—вся работа, весь жаръ сердца...

Елена обернулась къ своему жениху своимъ сіяющимъ отъ восторга лицомъ и долго смотрѣла на него полными довѣрія и счастія глазами, какъ можно смотрѣть въ глаза любимаго человѣка только въ ранней молодости, не переживъ и даже не предчувствуя возможности разочарованій. И она долго не могла отвести отъ него своихъ любящихъ глазъ, на которые набѣжали

слезы сладкаго душевнаго волненія и текли по ея щекамъ крупными каплями.

О, дорогая, золотая молодость,—кто изъ самыхъ злополучныхъ не былъ хоть не надолго ею счастливъ и благодаря только ей, ея порывамъ и приподнятому настроенію не пережилъ хотя немногихъ чудесныхъ дней, которые вспоминалъ съ нѣжностью потомъ въ продолженіе всей остальной жизни, какъ единственно свѣтлыя свои мгновенія!

На колокольнѣ церкви ударилъ колоколъ, и его одинокій ударъ звучно разнесся по окрестности. Молодые люди вздрогнули, а потомъ опять оживленно заговорили, придвинувшись другъ къ другу и взявшись за руки.

Стемнѣло. Небо засвѣтилось звѣздами; окружающая дѣловая жизнь затихла, огоньки въ окнахъ отдаленныхъ жилищъ гасли, а молодые люди все еще сидѣли на прежнихъ мѣстахъ, и еще долго слышались ихъ задушевные голоса посреди ночной тишины.

II.

Послѣ отъѣзда сестры, Вѣра осталась одна, а между тѣмъ ее пугало одиночество. Она боялась сбиться съ дороги, впасть въ заблужденія и, не понявъ своихъ склонностей и размѣровъ своихъ силъ, просмотрѣть настоящее, ей соотвѣтствующее дѣло жизни. Зная, что только при помощи другихъ людей она можетъ разъяснить себѣ обступившіе ее трудные вопросы жизни, она стала часто посѣщать семью Станевскихъ, гдѣ она и прежде изрѣдка бывала вмѣстѣ съ сестрой.

Молодые Станевскіе—студентъ Александръ и сестра его Анна—были центромъ лучшей молодежи тогдашняго образованнаго общества. Они въ раннемъ дѣтствѣ лишились матери, а ихъ отецъ, врачъ-практикъ, не могъ, вслѣдствіе своего занятія, и не хотѣлъ по принципу очень строго слѣдить за жизнью своихъ дѣтей. Онъ видѣлъ, что бурные вопросы времени захватили ихъ,—слѣдовательно, ихъ уже нельзя было сберечь вдали отъ опасностей и тревогъ переходнаго времени, а потому рѣшился не мѣшать совершающемуся въ нихъ броженію, и, разсчитывая на ихъ здравый смыслъ и природную чуткость, предоставилъ имъ самимъ переживать всѣ страданія ихъ духовнаго развитія, не вмѣшиваясь въ ихъ порядокъ жизни, выборъ друзей и рѣдко появляясь въ ежедневныхъ собраніяхъ ихъ общества. Посѣтители Станевскихъ были молодые люди обоего пола, возбужденные новыми вѣяніями.

Въ ихъ средѣ почти не было юношей, безмятежно встрѣтившихъ радостное утро своей жизни; тамъ были большею частью несчастные, испытавшіе кораблекрушеніе, раннія дѣти слишкомъ молодыхъ и несложившихся семей, гдѣ молодые родители погибли при опасныхъ поискахъ новыхъ путей въ жизни, отдавъ на произволъ судьбы свое безпомощное потомство. Разстроенные юноши не путемъ постепеннаго развитія, а вслѣдствіе какой-нибудь катастрофы, пріобрѣтали свое душевное настроеніе и направленіе. Раннія потрясенія, боль и тяжкія утраты безповоротно нарушили мирное теченіе ихъ развитія и преждевременно толкали ихъ на общественное дѣло. Прежде чѣмъ сложились ихъ собственныя склонности, и опредѣлился ихъ духовный образъ, они отъ скорби по своимъ погибшимъ хватались за ихъ порванное дѣло, которое мяло и давило молодые всходы ихъ собственной индивидуальности. Удрученные горемъ, эти юноши не могли подняться на высоту безстрастнаго созерцанія и изученія жизни и всецѣло отдаться мирной работѣ самоусовершенствованія и кропотливаго изученія науки. Они, уже потерпѣвшіе, не могли воздержаться отъ борьбы, хотя плохо разбирали, кто правъ, кто виноватъ. И эти борцы-отроки, лишенные безмятежныхъ радостей начала жизни, уже вынесшіе жестокіе удары и собиравшіеся отражать ихъ, вызывали глубочайшее состраданіе: въ своемъ смятеніи они не могли видѣть несправедливости своей работы, а также ея безплодности и безнадежности. Для ихъ спасенія отъ ошибокъ и бѣдъ имъ нужны были великодушные старшіе друзья, болѣе свѣдущіе и опытные, которые бы могли доброжелательнымъ словомъ остановить ихъ стремительное движеніе; но добрыхъ друзей не оказывалось, а жесткое противодѣйствіе не могло усмирить эти души, жаждавшія какого-то подвига.

Двѣ молодыя дѣвушки въ этомъ кружкѣ показались Вѣрѣ наиболѣе уравновѣшенными членами, и потому она обратила на нихъ свое особенное вниманіе. Это были Анна Николаевна Станевская и ея подруга, Наталья Алексѣевна Ливнина. Обладая изящной наружностью и большимъ умомъ, Анна Николаевна поражала Вѣру безпощадностью своей логики, требовательностью и строгостью своихъ сужденій, презрѣніемъ къ неустойчивости, нерѣшительности, даже мягкости слабыхъ людей. Она никогда не обнаруживала ни смущенія, ни сомнѣнія, ни колебанія; она всегда знала, какъ нужно поступить при всевозможныхъ обстоятельствахъ; у нея всегда находились готовые отвѣты на всевозможные вопросы; но, несмотря на свою проницательность и находчивость, она не вносила въ свою среду ни успокоенія, ни

отрады. Ея поступки, всегда очень умные, не были согрѣты чувствомъ; съ ней было поучительно бесѣдовать, вдаваясь въ отвлеченности, но было тяжело что-либо переживать вмѣстѣ.

Совсѣмъ инымъ человѣкомъ была Наталья Алексѣевна. Слѣдуя въ своихъ воззрѣніяхъ и поступкахъ тому же самому направленію, которое докторально провозглашала Анна Николаевна, она во все вносила сердечность, чего совершенно недоставало другой. Даже напускная суровость и рѣзкость ея сужденій, какъ нѣчто предвзятое, предумышленное, никого не смущали. Лицо ея не было красиво, но на немъ отпечатлѣлась ея высокая духовная красота. Ясные глаза, короткіе темные волосы, простое одѣяніе изъ матеріала, приспособленнаго ко всѣмъ временамъ года и къ различнымъ состояніямъ атмосферы—вотъ ея немудрая внѣшность. Вѣрѣ была безконечно мила и абсолютность ея сужденій—и внѣшняя неприбранность. Отсутствіе въ ней суетнаго желанія украшаться и нравиться, склонность находить оправданіе ошибкамъ другихъ и прощать сознанныя прегрѣшенія свидѣтельствовали о ея духовной зрѣлости. Все ея существо, сильное, свѣтлое и горячее, было какъ ясное утро знойнаго дня, предвѣщавшее грозу, которая освѣжитъ воздухъ, но, можетъ быть, наведетъ страхъ и оставитъ опустошенія,—теперь же оно было только свѣтъ и теплота.

Это молодое общество привлекало Вѣру своей чарующей искренностью. Но сознаніе ихъ общей неподготовленности и невооруженности для работы, неустойчивости мыслей и фантастичности замысловъ—воздерживало ее отъ дальнѣйшаго сближенія съ ними въ поступкахъ.

— Нѣтъ, теперь еще невозможно пускаться въ предпріятія,—говорила она, видя, какъ вокругъ нея безповоротно рѣшали свою участь другіе.—Нѣтъ, прежде нужно выучиться, хорошо понять, убѣдиться, а потомъ...

— Потомъ остыть, обнищать сердцемъ, привязаться къ пріобрѣтенному положенію пошлыми узами привычки и страсти къ удобствамъ,—говорила сіяющая самоотверженностью молодежь, которая рвалась впередъ, все отдавая и ничего лично для себя не ища и не сохраняя.

„О, сколько этихъ юношей, преисполненныхъ лучшихъ чувствъ и намѣреній, жизнь переломаетъ, изуродуетъ, сколько совсѣмъ сотретъ съ лица земли!—думала Вѣра, наблюдая съ тоской оживленіе молодежи.—Но какъ спасти, какимъ магическимъ словомъ можно остановить ихъ стихійное движеніе къ погибели, какъ

заставить ихъ воздержаться отъ поступковъ, пока они не изучили дѣла?"

— Нѣтъ, не думайте такъ,—говорила ей своимъ задушевнымъ голосомъ Наталья Алексѣевна.—Опасно воздерживаться отъ дѣятельной жизни подъ благовиднымъ предлогомъ предварительнаго пріобрѣтенія знаній. Пріобрѣтеніе знаній — занятіе, которому нѣтъ конца, а между тѣмъ во время этой нескончаемой работы каждый можетъ, даже долженъ приспособиться къ существующимъ условіямъ жизни, пустить корни въ свою дурную почву, потомъ привязаться къ своему положенію, дорожить имъ, охранять его. Долгое безучастное отношеніе къ дурнымъ условіямъ жизни, съ которыми самый процессъ существованія связывается безчисленными тонкими нитями, дѣлаетъ каждаго несвободнымъ, пристрастнымъ, навязываетъ какой-то консерватизмъ. Кто можетъ утверждать, что не нужно изучать дѣло, за которое берешься; но одно страшно, въ этой погонѣ за нѣсколькими крупицами знанія, это—пріурочить себя къ пошлой практичности, привязаться къ ничтожному дѣлу, мелкимъ людямъ,—а все это возможно, потому что человѣческая душа жива и подвижна.

Вѣра почти всѣ вечера проводила въ кружкѣ Станевскихъ, участвовала въ ихъ разговорахъ, чтеніяхъ и спорахъ по поводу прочитаннаго, провѣряла тамъ каждую свою мысль, а потомъ съ возбужденными нервами возвращалась въ тихій родительскій домъ. Тамъ, въ тишинѣ и простотѣ жизни, не участвуя въ круговоротѣ общественныхъ вопросовъ и дѣлъ, ее любовно ждали ея старики. Доживая жизнь въ кругу семейныхъ интересовъ, одушевляясь однѣми привязанностями къ близкимъ, они, по своему образованію, положенію и возрасту, не могли выходить изъ узкихъ рамокъ личной жизни. Вѣра это знала, и не желала безпокоить ихъ падающія силы тревогами своего духовнаго развитія. Въ ея растревоженномъ сердцѣ уцѣлѣла ничѣмъ непомраченная глубокая и благодарная любовь къ нимъ, запечатлѣвшимъ въ ней съ дѣтства твердыя правила добропорядочности примѣромъ своей простой задушевной жизни. Изъ боязни огорчить ихъ, она еще ничего не говорила имъ о своихъ робкихъ планахъ жизни и о своемъ желаніи ѣхать за-границу для осуществленія этихъ плановъ. Она и не подозрѣвала, что ея родители уже давно слѣдили за ней своими внимательными, любящими, а слѣдовательно всевидящими глазами и вполнѣ узнали и поняли ея положеніе. Сначала это открытіе сильно огорчило ихъ, вслѣдствіе ихъ же пристрастія къ иному, старинному укладу жизни и недовѣрія къ

новымъ теченіямъ; но мало-по-малу любовь къ дочери побѣдила въ нихъ всѣ личныя пристрастія.

— Поѣзжай,—сказалъ ей разъ въ сильномъ волненіи отецъ, когда Вѣра, по возвращеніи отъ Станевскихъ, зашла, по обыкновенію, обнять его,—поѣзжай, куда тебя влечетъ. Я вѣрю тебѣ, я уважаю тебя, я люблю тебя, а потому хочу твоего счастія и буду способствовать всѣми доступными мнѣ средствами исполненію твоихъ плановъ... Я не сочувствую твоему пути, но я знаю, что ты не пойдешь по дурной дорогѣ, а потому благословляю тебя на всѣ твои начинанія. Но если ты не найдешь тамъ того, чего ищешь,—возвращайся назадъ, не двигайся впередъ безъ настоящей дороги изъ пустого самолюбія, изъ мелочного нежеланія сознаться въ ошибкѣ. Для всякаго дѣла необходима правдивость и искренность, а потому, сбившись съ дороги, немедленно возвращайся обратно, а не бросайся въ темноту изъ суетныхъ соображеній тщеславія...

Было что-то безконечно-трогательное въ этихъ усиліяхъ утомленной, старѣющей души вникнуть въ стремленія и упованія юности и предостеречь и сберечь ихъ отъ всѣхъ бѣдъ. Въ порывѣ глубочайшей благодарности, Вѣра обняла отца и долго смотрѣла на него безъ словъ своими правдивыми глазами. И все сказалъ, все, чего отъ нея хотѣлъ отецъ, обѣщалъ ему ея долгій любящій взглядъ.

III.

Черезъ два мѣсяца, Вѣра пріѣхала въ Парижъ, не предувѣдомивъ сестру о днѣ своего пріѣзда. Поѣздъ пришелъ вечеромъ. Вѣра торопливо разыскала квартиру сестры и застала Елену одну дома за книгами. Съ перваго же взгляда на сестру Вѣра замѣтила большую перемѣну въ наружности Елены. Она сильно похудѣла и поблѣднѣла. На миловидномъ лицѣ ея исчезло прежнее жизнерадостное сіяніе, и появились слѣды пережитыхъ огорченій.

— Ты сильно измѣнилась! — сказала съ тревогой Вѣра.— Не больна ли ты?

— Послѣ, обо всемъ разскажу послѣ,—отвѣчала съ дрожью въ голосѣ Елена, и что-то страдальческое мелькнуло въ ея затуманенномъ взглядѣ.

Она съ заботливой нѣжностью разспрашивала сестру объ отцѣ и матери и о всемъ, что̀ ей было дорого на родинѣ.

Сообщивъ всѣ требуемыя свѣдѣнія, Вѣра сама принялась

разспрашивать сестру. — А вы какъ здѣсь живете? Хорошо ли вы устроились? Счастливы ли вы?

При этихъ вопросахъ Елена испуганно взглянула на сестру. Губы ея беззвучно шевелились.

— Я сама вижу,—тебѣ жилось нехорошо!—сказала Вѣра, горячо обнимая сестру.—Разскажи же мнѣ все, все. Я непремѣнно хочу знать и раздѣлить твое горе.

Елена долго не могла справиться съ охватившимъ ее волненіемъ. — Да, сестра, — выговорила она, наконецъ, съ большимъ усиліемъ: — я несчастлива, но не по чьей-либо винѣ, а, очевидно, вслѣдствіе своей собственной слабости и неустойчивости. Слушай, — сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: — я разскажу тебѣ, въ чемъ дѣло, не останавливаясь на подробностяхъ, безсвязно, — какъ только могу при моемъ настоящемъ волненіи.

— ...Первое время,—начала Елена,—мы были очень счастливы. Я безгранично *его* любила, безгранично *ему* вѣрила, и *онъ* относился ко мнѣ съ необыкновенною нѣжностью. Тогда я не могла себѣ представить, что между такъ сильно любящими другъ друга людьми можетъ когда-либо возникнуть нѣчто страшное, какая-то зловѣщая путаница, которая разъединитъ, все испортитъ и даже совсѣмъ разобьетъ жизнь. Я и теперь не могу понять, какъ образовалось между нами *это страшное*, потому что я сознала его тогда, когда оно достигло ужасающихъ размѣровъ...

— Сначала мы,—продолжала она, — жили только вдвоемъ: вмѣстѣ читали, вмѣстѣ гуляли, вмѣстѣ слушали музыку, вообще вмѣстѣ наслаждались природой и прекрасными созданіями человѣческаго духа. Викторъ былъ противъ того, чтобы я сразу принялась за какое-нибудь опредѣленное занятіе. „Ты еще не жила,— говорилъ онъ,—ты еще ничего не видѣла. Теперь ты свободна: живи, смотри на міръ и дай выясниться твоимъ склонностямъ и способностямъ“. Такъ прошло нѣсколько счастливыхъ, незабвенныхъ мѣсяцевъ... Я не могу разсказывать далѣе, не остановясь съ любовью на этомъ безвозвратно прошедшемъ времени, не подтвердивъ тебѣ, какъ много душевныхъ силъ и радостей дала мнѣ эта потерянная дружба! Это очень скоро кончилось. Наше одиночество было нарушено: къ намъ стали появляться посторонніе люди, товарищи Виктора по занятіямъ, съ ихъ женами и сестрами; мало-по-малу вокругъ насъ образовалась толпа индифферентныхъ лицъ, которая своимъ вторженіемъ въ нашу жизнь разорила сладость нашей изолированности. Викторъ сталъ сильно поддерживать новыя знакомства: онъ постоянно уходилъ изъ

дома и дѣлилъ свои досуги съ совершенно чужими людьми, изъ боязни обидѣть невниманіемъ то одного, то другого, то третьяго, а остальное время посвящалъ научнымъ занятіямъ. Для нашихъ дружескихъ бесѣдъ, для нашего счастія, какъ для чего-то незначительнаго, не оказывалось болѣе времени; оно уходило на научную работу, которою было необходимо заниматься, и на добрыхъ друзей, которыхъ было нельзя покидать. Блаженство нашей душевной близости было принесено въ жертву суетѣ и пустотѣ этихъ потребностей. Между нами начали постоянно толпиться люди, которые совѣтовали, устроивали нашу жизнь, объясняли насъ другъ другу, оправдывали и обвиняли насъ другъ передъ другомъ, врываясь при этомъ въ нашъ внутренній міръ, изъ котораго такимъ образомъ устроился не нашъ алтарь, а вѣчно для всѣхъ открытый постоялый дворъ, куда лѣзла вся праздная улица, не по сердечному влеченію къ намъ, а отъ скуки и праздности. Мы стали резонерствовать, критиковать другъ друга, объясняться и оправдываться, и роковымъ образомъ перестали любовно относиться другъ къ другу. Вся душа нашихъ отношеній отлетѣла: остался холодъ, обиженность, соперничество, подъ вліяніемъ которыхъ мы часто язвили другъ друга въ общихъ разговорахъ и взаимно раздражались...

Елена остановилась. Крупныя слезы текли по ея щекамъ, губы ея дрожали.

— О, не думай, какъ они, — начала она снова, нѣсколько оправившись, — что я безумна и несправедлива, потому что ревную *его* и къ друзьямъ, и къ занятіямъ, требуя, чтобъ онъ жилъ только мною. Развѣ, любя *его*, я могу не желать его образованности, его знанія людей и жизни, его успѣховъ въ дѣлахъ? Развѣ его дѣльная работа, его частныя отношенія къ другимъ людямъ не составляютъ гордость и радость моей души? Но мнѣ, — о, конечно, только мнѣ должна принадлежать его исключительная любовь къ женѣ! Его потребность въ другихъ безчисленныхъ друзьяхъ и связяхъ есть для меня неоспоримое доказательство его душевной неудовлетворенности, къ которой я не могу относиться равнодушно. Я хочу, чтобы мнѣ принадлежало его сердце, чтобы это сердце не дѣлилось на мелкія части, изъ которыхъ бы и мнѣ доставалась извѣстная дробь. Любовь къ женѣ недѣлима: ею нельзя надѣлять частями...

— Наша жизнь, — продолжала она послѣ нѣкотораго молчанія, — теперь окончательно обезобразилась. Онъ ежедневно куда-то уходитъ, получаетъ какія-то письма, кому-то пишетъ самъ. Кому? Зачѣмъ? Я не изъ любопытства задаю себѣ эти

вопросы, а изъ потребности дѣлить съ нимъ жизнь. Я часто спрашиваю его по этому поводу; но онъ отвѣчаетъ уклончиво: въ немъ нѣтъ болѣе потребности слиться со мной сердцемъ и жить за-одно. Взглядъ его мнѣ часто кажется разсѣяннымъ, когда мы молча сидимъ вдвоемъ, обнявшись по установившейся привычкѣ. Тогда мною овладѣваетъ страхъ: я начинаю думать, что его душа витаетъ совсѣмъ не въ томъ мірѣ, гдѣ моя; что онъ отъ меня далеко и уходитъ все дальше и дальше, не взявъ меня съ собою и не ища меня тамъ, гдѣ живетъ самъ. Я часто мучаюсь и плачу отъ этихъ мыслей.—Чтò съ тобой?—спрашиваетъ онъ, заставъ меня въ такихъ припадкахъ отчаянія.—Мнѣ кажется, что ты меня не любишь!—отвѣчаю я, умирая отъ желанія все выяснить и наладить, какъ было прежде. Онъ обыкновенно улыбается мнѣ въ отвѣтъ, цѣлуетъ мои руки,—не освобождаетъ, а отвлекаетъ меня отъ моихъ тревогъ обаяніемъ своей ласки.

Возможно, что наше несчастіе происходитъ отъ моей чрезмѣрной требовательности такого совершеннаго личнаго счастія, которое недостижимо въ жизни. Знаю, что даже въ такомъ тѣсномъ союзѣ для взаимнаго благополучія необходимы большія уступки, большая снисходительность, постоянное приспособленіе себя къ другой индивидуальности... О, сколько разъ я старалась подавить тяжкое недовольство моего сердца, старалась держаться за многія крупныя достоинства моего мужа, не ища въ немъ ничего болѣе, предоставляя ему любить меня, какъ онъ можетъ, и жить, какъ хочетъ! Но при всѣхъ моихъ добрыхъ намѣреніяхъ я не могла утвердить на нихъ мое душевное равновѣсіе. Мое вымученное самопожертвованіе разрушалось при малѣйшемъ столкновеніи съ дѣйствительностью, и я снова всѣми силами души желала полнаго счастія; меня снова терзало недовольство существующимъ, недовѣріе къ нему, однимъ словомъ, я опять впадала во всѣ преступленія, неизвѣстныя только тѣмъ людямъ, которые не жили личною жизнью, или покончили съ нею. О, какъ тяжело быть вѣчно недовольной, всему ждать плохого конца! Я совершенно измучилась отъ безвѣрія и безнадежности.

— Развѣ можно погибать отъ однихъ недоразумѣній! — вскричала Вѣра!—Мы теперь всѣ вмѣстѣ, мы непремѣнно все разъяснимъ, все уладимъ и будемъ жить, какъ прежде,—нѣтъ, лучше прежняго, потому что тогда мы только мечтали о жизни, а теперь мы можемъ дѣйствовать!

Онѣ крѣпко обнялись и тихо плакали вмѣстѣ, прижавшись другъ къ другу.

У нихъ обѣихъ не оказалось ни малѣйшей подготовки къ тому, что обманъ, измѣна и тому подобное зло, могутъ проникнуть въ ихъ личную жизнь и помрачить ихъ лучшія отношенія. Это открытіе было такъ неожиданно и ужасно, что онѣ не находили силъ переносить его.

Дверь тихо отворилась, и въ комнату вошелъ Викторъ. Онѣ не замѣтили его присутствія и продолжали плакать, прижавшись другъ къ другу.

Викторъ тихо подошелъ къ нимъ и также тихо положилъ свои руки имъ на плечи.

Онѣ вскрикнули отъ испуга и потерянно смотрѣли на него своими плачущими глазами.

Имъ было такъ неловко, такъ тяжело оставаться вмѣстѣ, что они рады были разойтись по своимъ комнатамъ, подъ предлогомъ, что уже поздно засидѣлись.

„Такъ вотъ она — любовь, свобода и личное счастіе!“ — думала Вѣра, оставшись одна въ своей комнатѣ. Она была измучена новыми ядовитыми впечатлѣніями, не могла спать, и съ ощущеніемъ ужаса смотрѣла въ темноту. Разсказъ сестры открылъ ей совершенно неизвѣстную сторону жизни, ввелъ ее въ новый міръ мрачныхъ, запутанныхъ, губительныхъ отношеній, которыя она считала невозможными между хорошими людьми. „О, что̀ если все впереди, что̀ я такъ радостно ждала и такъ свѣтло себѣ представляла, что если все, все окажется не тѣмъ въ дѣйствительности?!—думала она, содрагаясь отъ ужаса.—Гдѣ же найти въ тебѣ, великій городъ, добрыя вліянія, которыя подняли бы силы, указали бы путь къ настоящей жизни, освѣтили бы тьму, однимъ словомъ, спасли бы отъ блужданія, безумія и отчаянія? Гдѣ мнѣ искать животворный источникъ жизни, чтобы припасть къ нему всѣмъ моимъ несвѣдущимъ, разстроеннымъ существомъ?“ —прошептала она, вскочивъ съ постели, подбѣгая къ окну и съ полу-страхомъ и полу-надеждой всматриваясь своими испуганными, полными слезъ глазами въ затихавшую улицу.

На противоположной сторонѣ улицы былъ ресторанъ. За столомъ, близъ оконъ, расположилось нѣсколько паръ. На самой авансценѣ сидѣла усталая, измятая женщина; усталый и измятый мужчина опирался на ея плечо, обезпечивая этимъ устойчивость своего положенія на стулѣ.—Пей!—сказалъ онъ своей дамѣ, подавая ей стаканъ съ виномъ, обливая ее виномъ и задѣвая ея лицо при этомъ движеніи. Она машинально взяла вино, машинально выпила, не оживляясь отъ своей скучающей усталости. Ни нѣжности, ни порядочности, ни даже веселья...

„Неужели же,—думала Вѣра,—все въ человѣческой жизни такъ мелко и грубо, какъ то, о чемъ разсказывала сестра, какъ это, что̀ я вижу теперь передъ глазами? Неужели все привлекательно только издали, все *кажется* привлекательнымъ только издали—и только при опьяненіи юношеской любовью къ жизни, а вблизи поражаетъ грубостью формъ, пошлостью содержанія?...

IV.

Жизнь въ Парижѣ произвела на Вѣру удручающее впечатлѣніе. По юношеской наивности, она ожидала встрѣтить совсѣмъ другой характеръ всѣхъ человѣческихъ отношеній въ странѣ, гдѣ пережиты многочисленныя преобразованія всего жизненнаго строя въ интересахъ общаго блага. Обманъ, насилія и угнетенія—всѣ эти явленія печали и погибели особенно поражали тамъ, гдѣ много придумано и сдѣлано въ поискахъ улучшенія.

Вѣра съ большимъ интересомъ слѣдила за мѣстными газетами, читала книги, рисовавшія мѣстныя стремленія и дѣла. Кромѣ того, она часто бродила по шумнымъ улицамъ, прислушиваясь къ грохоту жизни міровой столицы. Всматриваясь въ лица разряженныхъ, выдрессированныхъ женщинъ съ ихъ дѣланными улыбками; въ картинныя движенія великолѣпныхъ, будто лакомъ покрытыхъ мужчинъ, она опредѣленно чувствовала, что не эти люди внесутъ въ міръ радость и обновленіе. Она уныло провожала глазами пестрыя волны человѣческихъ фигуръ, отливавшихъ и вновь приливавшихъ на бульварахъ, и чувствовала, что эти толпы несутъ въ себѣ не душу, открытую настежь для высокихъ замысловъ, а все ту же вездѣсущую смуту взаимной вражды и междоусобной войны.

Домашняя жизнь тоже причиняла Вѣрѣ одно огорченіе. Викторъ былъ по внѣшности очень внимателенъ къ Еленѣ, она—очень ласкова съ нимъ—и только. Кромѣ мягкихъ формъ сожитія, между ними не проявлялось ничего общаго, задушевнаго. Каждый изъ нихъ жилъ въ своемъ особомъ, на̀-глухо закрытомъ для другого, внутреннемъ мірѣ, и мягкія формы совмѣстной жизни были одна лживая, холоднымъ разсчетомъ изобрѣтенная покрышка внутренней пустоты и нищеты отношеній. По утрамъ Викторъ никогда не бывалъ дома: онъ занимался въ университетѣ, въ кабинетахъ и лабораторіяхъ, а по вечерамъ работалъ дома надъ книгами. Только пріемы гостей или собственныя посѣщенія знакомыхъ заставляли его покидать занятія.

Какъ же могъ выродиться этотъ страстно-желанный и съ восторгомъ заключенный союзъ любви въ черствое сожительство, юношеское рвеніе къ самопожертвованію въ пользу спокойствія и счастія друга — въ отчужденіе и невниманіе къ состоянію и самочувствію друга? Вѣра рѣшилась вникнуть во всѣ подробности жизни сестры и Виктора, найти, вслѣдствіе какихъ дурныхъ вліяній они сбились съ пути доброй жизни, и, если возможно, помочь имъ освободиться отъ зла, въ которое они попали. Подъ вліяніемъ этого желанія она присоединилась въ тотъ же вечеръ къ обществу ихъ гостей, отъ чего прежде постоянно уклонялась.

Въ этотъ вечеръ общество состояло изъ ученаго химика, Владиміра Алексѣевича Шилова, и его жены, Марьи Ивановны, доктора Стручкова и его сестры. Владиміръ Алексѣевичъ былъ тихій, ничѣмъ не выдающійся и совершенно заучившійся человѣкъ. Съ большимъ трудомъ начинивъ себя научными теоріями, формулами и цифрами, которыя не сложились въ его головѣ въ какое-нибудь ясное міровоззрѣніе, онъ видѣлъ смутно настоящую жизнь сквозь книжный туманъ, и, притупивъ тяжелымъ усвоеніемъ книжной мудрости свою впечатлительность къ живымъ явленіямъ жизни, плохо понималъ дѣйствительность и слабо интересовался ею. Жена его—красивая, ничѣмъ не занятая, скучающая женщина. Сестра и братъ Стручковы были два холодные резонера, два живые выразителя того, что, по ихъ понятіямъ, слѣдуетъ думать и дѣлать. Когда Вѣра вошла въ гостиную, все общество оживленно высказывалось по поводу домашнихъ неурядицъ въ какой-то русской молодой семьѣ. Эти слѣдователи-добровольцы охотно спускались для своего изслѣдованія въ предполагаемую глубину сердца людей, судьбой которыхъ они занимались въ качествѣ участливыхъ сердцевѣдовъ. Они съ полною увѣренностью говорили о чувствахъ и потребностяхъ почти неизвѣстныхъ имъ людей, какъ будто тѣ стояли передъ ними съ совершенно раскрытымъ и обнаженнымъ внутреннимъ содержаніемъ, и такъ же свободно рылись въ ихъ душѣ, какъ въ открытомъ ящикѣ, судили, рядили, беззастѣнчиво трепали имя, честь и достоинство людей, и при этомъ всѣ были такъ веселы, что ихъ шумное обсужденіе, какъ бы празднованіе совершившагося чужого горя—трудно было признать за одно безкорыстное развлеченіе. Послѣ милостиваго суда, когда ими была окончательно перетрепана и вывернута наизнанку предполагаемая внутренняя жизнь неизвѣстныхъ имъ людей и достаточно опозорена,—разговоръ отъ частностей перешелъ на обобщенія.

— Причина семейныхъ несчастій,—говорилъ съ особеннымъ оживленіемъ Викторъ,—лежитъ въ природной измѣняемости человѣческихъ чувствъ. Конечно, можно всегда уважать, но нельзя быть вѣчно влюбленнымъ въ одного и того же человѣка. Любовь, продѣлавъ всѣ періоды своего развитія, непремѣнно заканчивается естественной смертью, а осиротѣвшее сердце остается живо: въ немъ, при нормальныхъ условіяхъ, вѣчный жаръ, вѣчное движеніе, а потому послѣ конца одного чувства оно непремѣнно воспламеняется другимъ. „Le roi est mort, vive le roi"! Жить — значитъ чувствовать обаяніе прекраснаго, поклоняться ему, наслаждаться имъ...

— Кромѣ того,—замѣтила Марья Ивановна,—сердце можетъ быть неудовлетворено своею первою любовью, вслѣдствіе чего эта любовь можетъ закончиться скоропостижно, а послѣдующія привязанности могутъ быть прочнѣе.—Она сопровождала свои слова многозначительнымъ взглядомъ на Виктора.

— Конечно, если у супруговъ исчезла любовь, то такой бракъ необходимо немедленно расторгнуть,—заговорили разомъ ни передъ чѣмъ не останавливающіеся резонеры Стручковы.

Эта сцена, грубо задѣвающая самыя неприкосновенныя стороны души, встревожила Вѣру. Желая замять бездушный разговоръ, она довольно неловко вмѣшалась въ него.

— Люди такъ разнообразны по своей природѣ и характеру своихъ потребностей,—сказала она,—что нельзя выводить общихъ законовъ для ихъ сердечной жизни. Бываютъ пары, которыхъ связываетъ обоюдность радостей легкой и веселой совмѣстной жизни. Подобныя потребности другъ въ другѣ, конечно, очень быстро насыщаются. Но вѣдь встрѣчаются, хотя и рѣже, люди, связанные душевнымъ родствомъ, желающіе переживать непремѣнно вмѣстѣ всѣ горести, радости и труды жизни. Все пережитое такими людьми вмѣстѣ—закрѣпляетъ ихъ союзъ и сливаетъ въ одно ихъ души. Радость отъ участія другой родной души въ перипетіяхъ жизни не ослабѣваетъ, а усиливается отъ возростающаго сближенія. Въ интересахъ общаго благополучія желательно, чтобы люди совершенно различнаго душевнаго типа не завязывали брачныхъ союзовъ вслѣдствіе какихъ-нибудь роковыхъ ошибокъ, потому что разрушать связи, даже такія противоестественныя, тяжело и опасно...

Разговоръ оборвался поданнымъ чаемъ. Всѣ встали съ прежнихъ мѣстъ и стали размѣщаться за общимъ столомъ. Вѣра потупилась и долго стояла въ сторонѣ. Когда, нѣсколько оправившись, она подняла голову, то встрѣтила нѣжный и благо-

дарный взглядъ сестры. Вокругъ нихъ весело разговаривали, смѣялись, Викторъ что-то оживленно говорилъ Марьѣ Ивановнѣ; резонеры все еще излагали свои взгляды относительно честности и законности разрушенія отжившихъ и заключенія новыхъ связей, а сестры все тѣмъ же долгимъ взглядомъ смотрѣли другъ на друга, и Вѣрѣ часто потомъ, при различныхъ тяжелыхъ событіяхъ жизни, припоминался этотъ долгій, многозначительный взглядъ. Она уныло посмотрѣла на всѣхъ гостей, какъ ей казалось, неестественно кривлявшихся другъ передъ другомъ. Всѣ они вводили другъ друга въ заблужденіе своими не испытываемыми, а сочиненными чувствами: безпричинно разносили однихъ людей,—не сердечно, и принципіально превозносили другихъ, а при этомъ всѣ хотѣли каждому нравиться и надъ всѣми преобладать. Адская смѣсь легкомыслія, жесткости и пустоты сквозила во всѣхъ ихъ отношеніяхъ; суетная толкотня и праздный разговоръ на высокія темы при холодѣ и черствости сердца—выполняли ихъ досуги, и все это совершалось въ томъ періодѣ ихъ жизни, когда ими былъ достигнутъ полный расцвѣтъ понятій и дарованій,—слѣдовательно, отъ нихъ можно было ожидать иного отношенія къ міру и своимъ ближнимъ.

V.

Марья Ивановна стала очень часто бывать у Лѣниныхъ. Она устроивала съ ними общія чтенія и прогулки, играла съ Викторомъ въ четыре руки на піанино, но чаще всего уходила съ нимъ осматривать музеи и картинныя галереи, отъ чего совершенно уклонилась Елена. Елена съ горечью наблюдала это сближеніе. „Что̀ это—любовь?—спрашивала она себя.—А если любовь, то—односторонняя или взаимная?“ Она не ожидала, что ей когда-либо придется одной рѣшать подобные вопросы, слѣдить, догадываться. Прежде ей иногда приходило въ голову, что она можетъ потерять любовь мужа, но она никогда себѣ не представляла, что можетъ лишиться его дружбы.

Однажды она осталась одна въ домѣ: Вѣра была въ библіотекѣ; Викторъ ушелъ съ Марьей Ивановной осматривать какія-то рѣдкости. Былъ сѣрый, дождливый вечеръ. Елена сидѣла въ углу комнаты и томилась отъ однѣхъ и тѣхъ же мыслей. „Что̀ если это только одна моя мнительность и подозрительность,—думала она,—портитъ нашу жизнь?“ И она мучилась, упрекала себя. Она вспоминала всю свою жизнь съ мужемъ, со всѣми ея мель-

чайшими подробностями, желая доискаться правды. Она терзалась при воспоминаніи каждой тяжелой сцены, каждаго рѣзкаго, слѣдовательно недобраго слова, ею сказаннаго. Она мучила себя за неумѣнье любить, за грубость и злобу своихъ душевныхъ движеній. Дверь отворилась и вошелъ Викторъ. Она не замѣтила возбужденнаго вида его лица, не спросила, гдѣ его спутница,—она бросилась ему на встрѣчу и съ плачемъ повисла на его шеѣ.

— Люби меня, люби меня! — прошептала она въ порывѣ невыразимой тоски. — О, я умираю отъ желанія быть тобою любимой!

Лицо Виктора мгновенно измѣнилось; возбужденный блескъ его глазъ погасъ; онъ осунулся, какъ бы похудѣлъ мгновенно.

— Я люблю тебя отъ всей души! — отвѣчалъ онъ ей какимъ-то страннымъ, звенящимъ, будто не своимъ голосомъ.— Чего тебѣ недостаетъ? отчего ты всегда печальна, Елена?

Чего ей недостаетъ? Какъ отвѣтить на это коротко и ясно? Какъ мгновенно разъяснить, если онъ этого не сознаетъ, что ихъ жизнь выродилась въ дурное, почти непереносимое существованіе? Елена подняла голову и взглянула прямо въ глаза своему мужу. Онъ смотрѣлъ на нее не какъ прежде, ласковымъ, въ душу проникающимъ взглядомъ, а смотрѣлъ какъ бы черезъ нее въ неопредѣленную даль, и этотъ скользящій и убѣгающій взглядъ поразилъ ее; еще болѣе ее сразила его холодная рѣчь, вымученная, очевидно, съ разсчетомъ ее успокоить и уйти отъ ея молящаго взгляда закрытымъ нà-глухо, тогда, какъ она, просвѣтленная своимъ чувствомъ къ нему, съ необыкновенною ясностью слышала всякій невѣрный звукъ его голоса.

„Нѣтъ, уже поздно! — рѣшила она съ отчаяніемъ, всматриваясь въ его усталое лицо, вслушиваясь въ его звенящій голосъ.— Нужно было въ свое время знать, возможно ли между нами счастіе, хранить его, не допускать отчужденія. Теперь онъ уже такъ сильно отдалился, что не видитъ и не понимаетъ меня. Говорить теперь, когда онъ уже такъ далеко, о своихъ душевныхъ потребностяхъ,—значитъ, напрасно мучить обоихъ. Уже поздно!“ Она положила свою голову на его плечо и беззвучно плакала.

— Мнѣ ничего не нужно! — выговорила она, наконецъ, въ то время, какъ ея крупныя слезы падали ему на грудь горячими каплями, а въ душѣ ея умирала послѣдняя надежда на счастіе. Онъ понялъ, что она отвѣтила ему на томъ же самомъ языкѣ, на которомъ онъ ее спрашивалъ; онъ понялъ, что ея изнывшая,

трепетавшая ему на встрѣчу душа теперь закрылась передъ нимъ, и онъ былъ доволенъ этимъ.

Съ этого дня Елена и Викторъ еще болѣе отдалились другъ отъ друга. Между ними не повторялись болѣе тяжелыя сцены взаимнаго неудовольствія, но установилась скорбная жизнь механической близости при полномъ внутреннемъ разладѣ, разномысліи и возмущеніи.

Смотря на улыбающееся, ничѣмъ не омраченное лицо Марьи Ивановны, Елена чувствовала, что она *его* не любила. Такъ безмятежно не любятъ человѣка несвободнаго, котораго нужно отнимать. Пустота жизни, жажда удовольствій толкала ее на заманчивую игру въ чувства съ красивымъ молодымъ человѣкомъ, и Елена ясно видѣла, что хотя нервы Марьи Ивановны были возбуждены этой игрой, но сердце ея оставалось при этомъ совершенно холоднымъ.

А *онъ*? Любилъ ли *онъ* ее? Неужели эта смазливая, пустая женщина отвѣчаетъ *его* душевнымъ потребностямъ, обѣщаетъ *ему* ненайденное счастіе? О, еслибъ она была, по крайней мѣрѣ, особенно близка *ему* по своей духовной природѣ, тогда, естественно ея появленіе должно было бы неотразимо привлекать его, разрушая все, что̀ было связано съ *его* сердцемъ раньше, что̀ было слабѣе и холоднѣе. Но вѣдь женщина, къ которой *онъ* стремится,— „безъ вѣры и закона", одна молодая плоть и кровь.

„Какое же чувство,—безпрестанно спрашивала себя Елена,— связало насъ вмѣстѣ, когда все наше общее потеряло для *него* значеніе отъ близости другой женщины?—однихъ тѣлесныхъ преимуществъ ея было достаточно, чтобы уничтожить всю цѣну интимности нѣсколькихъ лѣтъ".

Безпрерывно мучая себя этими вопросами и не находя въ себѣ силъ отбиться отъ постояннаго ихъ разбора, Елена почувствовала, наконецъ, непреодолимое отвращеніе къ своей жизни. „Нѣтъ,—рѣшила она, наконецъ, обрывая неизмѣнную нить своихъ мыслей,—я не хочу, не должна болѣе думать—долго ли, вѣчно ли увлеченіе моего мужа этой женщиной,—любитъ ли онъ ее и что̀ изъ всего этого выйдетъ... Для меня важно только знать, что отъ меня мой мужъ закрылся на̀-глухо, что онъ ищетъ другихъ привязанностей... Для меня должны быть безразличны его удачи и неудачи въ этихъ стремленіяхъ, *мое* положеніе не должно быть отъ нихъ въ зависимости, *моя* роль въ его сердечной исторіи, во всякомъ случаѣ, кончена".

Вѣра не могла болѣе безучастно наблюдать, какъ томилась сестра; ей страстно хотѣлось выяснить и улучшить ея поло-

женіе, и потому она рѣшилась переговорить объ этомъ съ Викторомъ.

Когда Вѣра пришла къ нему въ кабинетъ, Викторъ сидѣлъ за столомъ, заваленнымъ книгами, и такъ былъ углубленъ въ чтеніе, что не замѣтилъ прихода Вѣры.

— Викторъ, вы несчастливы съ сестрою,—заговорила она въ сильномъ волненіи.—Нужно не закрывать глазъ на это горе, а разобраться въ немъ и, если возможно, защититься отъ него.

Яркая краска покрыла лицо Виктора. Онъ нахмурился.

— Я не знаю, о какомъ несчастіи вы говорите,—наконецъ, выговорилъ онъ холодно.—Между нами не произошло ничего, что̀ давало бы основаніе...

— Между вами, дѣйствительно, ничего не высказано и не выяснено,—перебила его Вѣра.—Между вами пропала не только любовь, но даже дружба, даже простое доброжелательство, которое тоже невозможно безъ откровенности! Еще такъ недавно мы обѣщали другъ другу непремѣнно оберегать одинъ другого не только отъ несчастій, но даже отъ собственныхъ ошибокъ,—а теперь, безъ всякихъ видимыхъ поводовъ, мы потеряли взаимное вниманіе и участіе и очутились во враждебно-оборонительномъ положеніи другъ къ другу. Викторъ, спасемся нашими общими усиліями отъ нашего общаго большого горя, объяснимся, выяснимъ все... Я не поступковъ или чувствъ какихъ-либо отъ васъ требую,—я прошу отъ васъ только одной искренности.

Викторъ еще болѣе нахмурился.

— Искренности?—сказалъ онъ.—Какой искренности вы отъ меня хотите обѣ? Вы обѣ, повидимому, желаете, чтобы я перетряхалъ передъ моей женой весь соръ уличной жизни, всѣ дрязги моихъ дѣлъ, всѣ мелкія подробности моихъ удачъ и неудачъ, всѣ пустяки моихъ столкновеній съ другими людьми! Зачѣмъ это? Кому это нужно? Зачѣмъ я долженъ переживать въ моей семьѣ всю горечь моихъ неудовольствій, всю непріятность моихъ неудачъ? Я отдыха и успокоенія ищу у себя дома, я хочу забыться отъ всѣхъ огорченій въ средѣ, гдѣ меня любятъ безъ документальныхъ доказательствъ моей порядочности, гдѣ мнѣ вѣрятъ безъ протокольной записи моихъ дѣлъ.

— У людей, соединившихся на всю жизнь, должно быть не обязательство, а потребность переживать непремѣнно вмѣстѣ все хорошее и дурное въ жизни, и отсутствіе такой потребности доказываетъ наличность тяжелаго отчужденія.

— И при томъ,—продолжалъ, не отвѣчая, Викторъ,—Елена никогда не любила меня, какъ я есть, а любила и любитъ

только свой идеалъ, который хочетъ олицетворить во мнѣ. Она постоянно ищетъ во мнѣ несуществующихъ у меня качествъ, требуетъ отъ меня высшихъ добродѣтелей и приходитъ въ ужасъ, когда всего этого не находитъ. Кромѣ того, она ждетъ ежеминутнаго совпаденія всѣхъ нашихъ желаній и настроеній,—что̀ невозможно, потому что въ самомъ тѣсномъ союзѣ люди сохраняютъ свою индивидуальность, насилія надъ которой и мучительны, и безплодны. Представьте же себѣ теперь, какая мучительная встряска получается при этихъ условіяхъ отъ переживанія вмѣстѣ всей жизни!

„Нѣтъ, онъ уже не прежній ласковый юноша, способный на великодушные порывы!—подумала Вѣра, видя раздраженное лицо Виктора.—Культурныя усовершенствованія только вывѣтрили и очерствили его. Его прежнія слова о драгоцѣнности дружбы и сотрудничества въ жизни—говорены тогда, очевидно, съ чужого голоса, а нынѣ забыты передъ повелительнымъ голосомъ собственныхъ внутренностей!"—и молящее выраженіе въ глазахъ Вѣры померкло, она потупилась и выговорила съ большимъ усиліемъ:

— Я не могу говорить о причинахъ вашего несчастія и способахъ освободиться отъ него. Это дѣло—васъ двоихъ, куда не долженъ углубляться даже такой близкій вамъ обоимъ человѣкъ, какъ я. Но позвольте мнѣ теперь же положить горю, по крайней мѣрѣ, временный, механическій конецъ. На дняхъ я отсюда уѣзжаю для своихъ занятій. Я бы хотѣла, чтобы Елена поѣхала со мною проводить меня. Это путешествіе будетъ имѣть для нея значеніе временной передышки, благодаря которой она, можетъ быть, соберется съ силами съ цѣлью принять какія-нибудь опредѣленныя рѣшенія по отношенію къ своей жизни.

— Я буду очень радъ, если Елена на это согласится!—сказалъ, оживляясь, Викторъ.

Съ тяжелымъ чувствомъ безпомощности Вѣра вышла изъ комнаты Виктора. „Мы сами виноваты въ нашемъ несчастіи,—думала она,—потому что не поняли элементарности Виктора. Мы приняли младенческій лепетъ вѣчнаго подростка за убѣжденныя слова установившагося человѣка и отдали въ его руки судьбу Елены, а онъ, засмотрѣвшись по сторонамъ, выронилъ эту судьбу изъ своихъ рукъ, не замѣчая этого, и теперь порхаетъ отъ одного настроенія къ другому, часто противоположному, не по предательству, а по легкомыслію и неустойчивости"...

VI.

Около мѣсяца, сестры путешествовали по Швейцаріи; но своеобразная прелесть уединенной жизни въ горахъ, мрачная красота грозныхъ скалъ и глубокихъ обрывовъ, несмолкаемый шумъ бѣшено несущихся съ высотъ водопадовъ произвели подавляющее впечатлѣніе на больную душу Елены. „Нѣтъ, не здѣсь можетъ затихнуть тоска и отдохнуть слабость,—подумала она— и предложила сестрѣ переѣхать черезъ Сенъ-Готардъ и поселиться на Борромейскихъ островахъ.

И черезъ два дня онѣ уже катались по озеру Маджоре. Прелестное голубое озеро, окруженное красивыми горами. По озеру мелькали многочисленныя лодки, въ которыхъ были видны молодыя, загорѣлыя лица, сіявшія полными жизни глазами; веселыя пѣсни носились въ тепломъ воздухѣ. Повсюду была видна и слышна жизнь—полная, сильная, торжествующая. Эта мягкая, очаровательная картина, эти пѣсни, согрѣтыя чувствомъ, эти оживленныя, жизнерадостныя лица—все это призывало къ жизни, влекло къ ней, обѣщало радости. При этомъ общемъ оживленіи подъ яснымъ небомъ и возстановляющимъ солнцемъ—замирала боль личныхъ огорченій, душа отрѣшалась отъ мелкихъ печалей своей мелкой личной жизни и раскрывалась для высшихъ чувствъ любви ко всему живущему.

Вѣра чувствовала на себѣ примиряющее вліяніе природы и радовалась за сестру, предполагая у нея такое же душевное настроеніе. Онѣ поселились въ этой мѣстности, и въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль ихъ можно было видѣть блуждающими рука-объ-руку по берегу озера.

Онѣ никогда не говорили о прошедшемъ, вмѣстѣ читали, вмѣстѣ гуляли и относились другъ къ другу съ большимъ вниманіемъ и нѣжностью. Вѣрѣ хотѣлось заинтересовать сестру вопросами общественной жизни, показать ей, какъ вездѣ много хорошихъ дѣлъ и добрыхъ людей. Ей казалось уже, что сестра начинаетъ все это видѣть черезъ туманъ личнаго горя, и она надѣялась на ея полное выздоровленіе.

Но хаотическое состояніе души Елены не прояснялось. Изъ семейнаго разлада она вынесла одно отвращеніе къ жизни, и подъ его вліяніемъ ничего не желала отъ будущаго. „Куда идти? Чѣмъ жить дальше?“—думала она во время своихъ безсонныхъ ночей, освободившись отъ надзора и попеченія сестры, и она ясно сознавала, что ничего не желала для себя изъ всего не-

объятнаго живого міра. „Развѣ можно жить два раза, имѣть двѣ молодости и, разбившись, ожить снова? Нѣтъ, молодое, поэтическое чувство, съ которымъ идутъ безъ страха и сомнѣній на встрѣчу другому, чтобы вмѣстѣ нести труды жизни, бываетъ только одинъ разъ. Потомъ возможны дружескія связи по холодному разсчету, а поэтическое чувство молодости не повторяется послѣ разрушительныхъ бурь. „Чѣмъ же вознаградить неизгладимую потерю и выполнить пустоту, безсмысленность и безцѣльность дальнѣйшей жизни?"—спрашивала она себя снова и снова, и вдругъ страшно поблѣднѣла и оглянулась вокругъ испуганными глазами. Но мало-по-малу испугъ ея разсѣялся, и выраженіе ужаса на ея поблѣднѣвшемъ лицѣ перешло въ выраженіе удовлетворенности, даже радости. „Да, это такъ... О, конечно, да... да", —повторяла она дрожавшими губами.

Въ ея головѣ, спутанной неустойчивыми и противоположными душевными настроеніями, то желаніями конца, то порывами къ спасенію,—наконецъ окрѣпла мысль о возможности *навѣрное* скоро успокоиться, покончивъ оказавшуюся ни для чего ненужной жизнь. Сначала эта мысль ужаснула: въ ней заключалось что-то безобразное, противорѣчащее естественной потребности въ жизни; но безобразіе разсѣявалось подъ обаяніемъ предполагаемаго прекращенія страданій и вѣчнаго покоя.

„О, какъ хорошо перестать чувствовать горе и горечь, какъ хорошо перестать чувствовать все вообще!.. Заснуть и никогда не просыпаться... И теперь, пока не наросло раздраженіе и озлобленіе противъ всего существующаго,—теперь лучше, чѣмъ потомъ"...

И рѣшивъ, такимъ образомъ, свой вопросъ, она успокоилась и на видъ повеселѣла. Вѣра замѣтила эту перемѣну и радовалась ей.

— Ты теперь поѣзжай для своихъ дѣлъ, — сказала Елена сестрѣ во время своей вечерней прогулки. — Я теперь здорова и не потерплю, чтобы ты, няньчаясь со мной, такъ надолго покидала свою работу. Поѣзжай скорѣе. Я же останусь здѣсь еще на нѣсколько дней послѣ твоего отъѣзда: на меня благотворно дѣйствуетъ здѣшняя тишина и свобода, а потомъ... потомъ я возвращусь къ мужу,—прибавила она съ усиліемъ.—Я слишкомъ люблю его, чтобы покинуть прежде, чѣмъ это стало необходимостью. Пусть онъ любитъ меня, какъ можетъ, и украшаетъ свою жизнь, чѣмъ хочетъ. Я жажду примириться со всѣми особенностями его нрава, съ его слабостями и ошибками и любить его съ ними и несмотря на нихъ.

Вѣра просила отсрочить свой отъѣздъ, но Елена была неумолима.

— Меня тяготитъ твое присутствіе, — говорила она, — съ тѣхъ поръ, какъ я твердо стою на своихъ ногахъ, и для моей поддержки не нужны никакія жертвы.

Черезъ нѣсколько дней, уступая требованіямъ сестры, Вѣра собралась къ отъѣзду. Передъ выѣздомъ на желѣзную дорогу, онѣ долго сидѣли, обнявшись, въ углу комнаты.

— Не будь такъ одинока, — прерывисто говорила Вѣра: — сходись съ людьми чаще и больше; не будь къ нимъ безучастна, напротивъ,—будь къ нимъ неравнодушна: къ однимъ изъ сочувствія, къ другимъ — изъ состраданія, и это откроетъ для тебя новые міры дѣлъ и радостей, дастъ цѣли жизни высокаго значенія.

— Я люблю тебя, несмотря на всѣ твои нелѣпости,—перебила ее Елена.—Когда ты выучишься и начнешь свою работу, я пойду съ тобой, куда хочешь: ты—для предполагаемой пользы людямъ, я—для собственнаго развлеченія.

Взглянувъ на часы, онѣ порывисто встали съ мѣста, торопливо стали одѣваться, молча вышли изъ дома и молча поѣхали. Всю дорогу до вокзала онѣ ѣхали отвернувшись другъ отъ друга и боясь встрѣтиться глазами. Елена крѣпко сжала руку сестры.

— Нужно постараться поменьше страдать,—заговорила она, не обертываясь къ Вѣрѣ лицомъ.—Читай больше!—продолжала она торопливо, спѣша высказаться.—Не впадай въ исключительность и односторонность въ выборѣ книгъ. Читай Гёте, Шекспира, читай непремѣнно всѣхъ классиковъ—по крайней мѣрѣ изъ любопытства, если уже ты не считаешь этого необходимымъ для развитія.

Экипажъ остановился. Онѣ вошли въ вокзалъ, обнялись и долго не могли оторваться другъ отъ друга.

VII.

Возвратясь одна назадъ, Елена была блѣднѣе и печальнѣе обыкновеннаго. Она не могла оставаться въ своей комнатѣ, гдѣ было слишкомъ свѣжо воспоминаніе о разлукѣ съ сестрой, и, въ раздумьи, пошла по берегу озера. Ноги ея подкашивались; потому она сѣла на траву, подъ нависшими деревьями, и, прислонивъ къ древесному стволу свою усталую и больную голову, *старалась* ни о чемъ не думать.

Надъ ней было ясное голубое небо. Какая тамъ тишина и покой! А непосредственно надъ ея головой таинственно перешептывались древесные листья... И о чемъ они шумятъ?!

Но страстная жажда покоя, заставлявшая ее искать спасенія въ непосредственномъ наслажденіи природой отъ безпрерывныхъ разсчетовъ съ жизнью, осталась неудовлетворенной. Вопросы, сомнѣнія и мученія дѣйствительности не затихали, а напротивъ, отъ желанія заглушить ихъ, они выступали настойчивѣе. „Можетъ быть, это—прирожденное свойство каждаго человѣка,—съ мучительной болью сердца начала она вновь соображать:—наслаждаться отдавшейся ему другой душой только до тѣхъ поръ, пока не испытанъ весь жаръ ея привязанности; а потомъ каждый этимъ насыщается и ищетъ другихъ источниковъ наслажденія. Значитъ, для возможности прожить нормально, нужно знать впередъ, что все бренно и конечно, искать и хватать временныя, быстро исчезающія радости жизни, не мучаясь при ихъ измѣнѣ, такъ какъ *все* измѣнчиво и конечно. Слѣдовательно, мнѣ, потерявъ любовь моего мужа, нужно бѣжать во всѣ стороны на поиски утѣшенія, т.-е. на привѣтливый взглядъ перваго встрѣчнаго, броситься ему на шею и потомъ... потомъ задохнуться отъ тоски и горя, которыя неизбѣжно причинитъ такой поступокъ. Или же возвратиться къ мужу, ничѣмъ и никому не выдавать, что изъ нашихъ отношеній отлетѣла душа,—слѣдовательно, лгать, переносить и его ложь безъ скорби и упрека... Но это невозможно, потому что это противно естеству.

„Любить, вѣрить,—говорила она себѣ,—всю жизнь употребить для счастья и спокойствія своего друга, ждать его, смотрѣть на него, восторгаться его радостями, вѣчно быть наготовѣ для его поддержки, томиться его печалями, все отдать, не бороться съ нимъ для отвоевыванія чего-то лично для себя... О, я умираю отъ желанія ощущать и внушать такое чувство! Но такое счастье возможно только при правдивости, взаимной прозрачности, что̀, очевидно, неосуществимо.

„Но нельзя ли жить любовью къ природѣ, къ правдѣ, ко всѣмъ людямъ безъ различія, жить безъ личныхъ связей, одной работой, поставивъ себѣ полезную другимъ цѣль жизни? Но что̀ можетъ быть общаго между мною и какими-то неизвѣстными мнѣ человѣческими массами? На почвѣ какой общей работы я могу сойтись съ этими чужими, иногда злыми, иногда непріятными, или просто незнакомыми мнѣ людьми? У меня нѣтъ живого чувства любви ко всѣмъ людямъ безъ различія; есть къ нимъ незлобіе, доброжелательство, но нѣтъ горячаго, дѣятельнаго чувства. Я не испы-

тывала его и прежде, при жизнерадостномъ настроеніи юности; а теперь мнѣ особенно смутно и холодно все отвлеченное. Я принадлежу, очевидно, къ эфемернымъ и непроизводительнымъ человѣческимъ созданіямъ. Жизнь моя поддерживается восторгомъ, любовью, а не мыслью и убѣжденіемъ. Моя жизненная задача, очевидно, исчерпана моими неудачами и—кончена. Теперь я не могу ни присоединиться къ чему-либо, ни привязаться. Я не могу полюбить тѣхъ, къ кому моя любовь разбита, и, зная бренность всего земного, не могу привязаться къ новымъ людямъ: первымъ я не въ силахъ простить, вторымъ—повѣрить"...

Она чувствовала себя какъ на кладбищѣ: святыя преданія, свѣтлыя воспоминанія, милыя тѣни,—но нѣтъ ничего живого, реальнаго, къ чему можно было бы прикрѣпиться всей душой и жить за-одно. Остались одни памятники того, что ей когда-то было дорого, и ее влекло припасть къ этимъ дорогимъ могиламъ всѣхъ ея надеждъ, желаній, всей ея душевной юности—и умереть самой.

О, еслибы доброжелательство—ко всѣмъ людямъ безъ различія—можно было излить въ какія-либо опредѣленныя, уже существующія формы дѣятельности, которыя можно было бы взять готовыми, а не создавать ихъ своимъ невѣрующимъ, разбитымъ сердцемъ, во время остраго душевнаго кризиса, еслибы можно было реализовать всѣ добрыя чувства, которыя сохранялись въ глубинѣ души въ продолженіе всей жизни,—тогда, вѣроятно, можно было бы спастись; но теперь, когда для человѣколюбивыхъ стремленій—одни неопредѣленныя, блѣдныя, отъ всякаго анализа тающія представленія,—жить нечѣмъ и незачѣмъ. Оставаться въ индифферентной толпѣ безъ чувства и цѣли, выносить пошлость пустыхъ словъ, безсодержательность всѣхъ отношеній, никого не поддерживая мукой такого существованія, когда душа холодна и ни къ кому не трепещетъ на встрѣчу... Это хуже смерти, это разложеніе за-живо!...

На башенныхъ часахъ пробило десять часовъ. Кругомъ все стало затихать. Елена встала съ земли и тихо вошла въ недалеко стоявшую отъ мѣста ея отдохновенія церковь. Тамъ предъ распятіемъ Спасителя теплилась лампада, которая бросала на голыя темныя стѣны небольшой красноватый свѣтъ. Эта тишина и полумракъ въ иной міръ манила полумертвую душу Елены, и она въ какомъ-то полузабытьи упала на колѣни.

Это не былъ припадокъ религіознаго чувства. Въ ней не было такого чувства: оно погибло, какъ почти все ея душевное содержаніе, въ вихрѣ перенесенныхъ ею бурь и разочарованій,

лишивъ ее своей могучей опоры. То, что она уничиженно распростерлась на полу, благоговѣйно смотря въ вышину,—было безсознательнымъ движеніемъ, которымъ разряжалось ея желаніе со всѣмъ проститься, передъ кѣмъ-то высказаться, оправдать передъ невѣдомымъ Судьей—пустопорожность своего сердца. Она долго стояла на колѣняхъ, прислонивъ голову къ холодной стѣнѣ, освѣщенной красноватымъ мерцаніемъ. Эти минуты не были ужасны. Тогда было хуже, когда отвращеніе къ жизни боролось съ любовью къ ней, и сердце умирало и воскресало снова. Теперь сердечная агонія была кончена и оставалось—лечь костьми. А тѣлесно умереть не трудно, когда сердечно со всѣмъ покончено.

Потомъ она встала, вышла изъ церкви и направилась къ озеру. Она знала, зачѣмъ она туда шла, хотя не была увѣрена, свершится ли тамъ то, чего она хотѣла. Въ головѣ ея была путаница, въ сердцѣ—отчужденіе ото всего на свѣтѣ. Она подошла къ водѣ и пошла на пароходную пристань. Смутное сознаніе, что она на краю погибели, что для нея наступаетъ теперь нѣчто безповоротное, заставило ее встрепенуться и попытаться еще разъ разъяснить себѣ состояніе своей души. Но эта попытка была безуспѣшна: все въ душѣ было спутано и задавлено ощущеніемъ наступающей развязки. Она тоскливо оглянулась вокругъ. Все въ природѣ жило полною, торжественною жизнью. Она закинула голову и долго смотрѣла на синій, сіяющій вѣчными звѣздами небесный сводъ. Но ни радости, ни призыва къ жизни не вдохнула въ нее прекрасная, спокойная и безучастная небесная глубина. Она приблизилась къ краю пристани и скользнула въ воду... Волны всплеснулись, на минуту приподняли ея тѣло, а потомъ поднялись надъ нимъ. Кругъ на водѣ, причиненный ея паденіемъ, быстро сгладился; окружающая природа оставалась такая же радостная: то же могущество и полнота жизни, тотъ же таинственный свѣтъ безчисленныхъ звѣздъ, тотъ же ароматъ въ воздухѣ, и ничто не выдавало, что тутъ только-что погибла молодая жизнь...

VIII.

Городъ, въ которомъ пріютилась Вѣра для своихъ занятій, былъ небольшой и тихій. Патріархальность нравовъ его обитателей, а главное, ихъ равнодушіе къ новымъ теченіямъ жизни—дали ей возможность заниматься въ университетѣ избранными науками безъ большихъ препятствій, хотя не безъ непріятностей.

Она возбуждала большое нерасположеніе къ себѣ всего мѣстнаго населенія; но надъ ней больше смѣялись, чѣмъ преслѣдовали, какъ вредное явленіе, а потому ей было можно существовать. Среди этихъ людей, ждавшихъ съ улыбками издѣвательства комическаго конца всей ея затѣи, она ни съ кѣмъ не знакомилась, ища друзей только въ книгахъ, и лучшіе годы первой молодости прошли въ полномъ одиночествѣ не только безъ всякаго даже отдаленнаго участія въ окружающей жизни, но даже безъ возможности высказаться. Одиночество во время самаго усиленнаго духовнаго роста—въ корнѣ искажаетъ характеръ человѣка. Оно вынуждаетъ только въ самомъ себѣ отыскивать отвѣты на всевозможные вопросы и сомнѣнія, находить опору и отраду. Вѣчная пустыня вокругъ подавляетъ мысль, что возлѣ могутъ оказаться близкіе люди и встрѣтиться сочувствіе, заставляетъ сомнѣваться въ возможности привязанностей, не вѣрить имъ и, наконецъ, обходиться безъ нихъ. Такимъ образомъ, одиночество портитъ нравъ, высушиваетъ самые завѣтные источники человѣческаго счастія.

Вначалѣ Вѣра дѣлала попытки вникнуть въ окружающую жизнь, понять ее и извлечь изъ нея для себя полезныя нравоученія. Эти корректные люди, въ страну которыхъ она попала, съумѣли устроиться лучше, чѣмъ гдѣ-либо, оказывали пріютъ и помощь чужеземцамъ для ихъ мирной жизни; слѣдовательно, они носили въ душѣ великія начала добра и справедливости; а между тѣмъ ихъ обыденная жизнь казалась мертвенной и плоской, встрѣчаемые люди были безучастны и холодны. Проявляемыя ими добродѣтели были исключительно отрицательныя: не мучили, не оскорбляли, но не было видно никакихъ сильныхъ добрыхъ движеній, ничего выпуклаго, яркаго, захватывающаго. Казалось, что эти люди, когда-то вставшіе впереди всѣхъ другихъ, потомъ замерли въ застывшихъ формахъ хорошей жизни и, какъ въ сказочномъ снѣ, стоятъ неподвижно цѣлыя столѣтія. Нѣтъ волнующаго настоящаго, нѣтъ намековъ на оживленное будущее. Все замерло, какъ очарованное, безъ движенія, въ чудной рамкѣ внѣшней природы неописуемой красоты.

По окончаніи ежедневныхъ занятій въ университетѣ, Вѣра возвращалась въ свою комнату, растворяла окна и задумчиво смотрѣла вдаль. Вдали—синее небо, горы съ снѣжными вершинами, мѣстами прикрытыя ползущими по нимъ облаками... Заманчивая неизвѣстность влекла въ свой таинственный туманъ отъ сухой и холодной дѣйствительности. Такъ и тянуло туда вдаль, куда ни на есть, броситься тамъ въ волны жизни. О, съ какимъ

самозабвеніемъ она, намучившись своею отчужденностью отъ всего на свѣтѣ, присоединилась бы теперь къ общему съ другими людьми движенію къ добру, а потомъ пожалуй бы погибла, пожалуй бы страдала всю остальную жизнь.

Когда одиночество особенно сильно тяготило ее, она уходила изъ дома, взбиралась на небольшую ближайшую гору, гдѣ почти никогда не встрѣчались люди. Тамъ, подъ навѣсомъ деревьевъ, лежалъ большой камень, на которомъ она любила сидѣть, положивъ на древесныя вѣтви голову, и мечтать о жизни. Передъ нею въ могучемъ величіи стояли посеребренныя вѣчными снѣгами горы, озеро свѣтилось въ зеленыхъ берегахъ, небо синѣло. Душа рвалась въ таинственную даль. О, какъ бы хотѣлось помогать, любить, вызывать радость и ощутить ее собственнымъ сердцемъ! А внизу стоитъ мрачный городъ, въ которомъ тянется черствая, недружелюбная жизнь дурно-настроенныхъ людей, внизу—несчастія, предразсудки, злоба... Такъ бы и бросился туда, чтобы расшевелить тамъ всѣхъ людей, зажечь въ ихъ сердцахъ огонь любви и милосердія! Но какъ съумѣть самой зажечься божественнымъ огнемъ, чтобы стать способной воспламенять имъ сердца другихъ людей? Гдѣ способы стать лучше, подняться выше?

Прошло болѣе четырехъ лѣтъ такой затворнической жизни, и Вѣра совершенно измучилась отъ сомнѣній, недоумѣній и тоски по жизни. Она начала сомнѣваться даже въ значеніи того дѣла, къ которому готовилась, и охладѣвать къ нему. Проводя цѣлые дни посреди больныхъ и умирающихъ, слыша разсказы только объ однихъ несчастіяхъ, лишеніяхъ и всевозможныхъ дурныхъ условіяхъ жизни, какъ предшественникахъ болѣзни, она недоумѣвала, что̀ она впослѣдствіи будетъ дѣлать сама въ этомъ очарованномъ кругу бѣдъ, вызывающихъ и поддерживающихъ одна другую. А между тѣмъ, вокругъ этого самаго дѣла, къ которому она не знала, какъ нужно правильно приступиться, была вѣчная суета, предложеніе услугъ взапуски со всѣми спортсменскими пріемами для перегонки соревнователей. Значитъ, и это симпатичное дѣло—посильной помощи страждущему—выродилось въ уродливость: облегченіе больного—не единственная цѣль оказывающихъ помощь, а поводъ для состязательной борьбы самолюбій и тщеславія. Значитъ, все это дѣло—не скромное подвижничество въ помощь несчастнымъ, какъ это казалось издали, а скачка съ препятствіями и въ перегонку,—однимъ словомъ, дѣло безумія и жестокости.

Въ то время какъ потребность въ общеніи съ людьми достигла крайнихъ размѣровъ въ душѣ Вѣры, она случайно по-

знакомилась съ одной пожилой туземкой, встрѣча съ которой произвела сильное вліяніе на душевное настроеніе Вѣры въ послѣдніе мѣсяцы ея заграничной жизни.

У Берты Мейненъ заболѣлъ сынъ. По порученію профессора, лечившаго мальчика, Вѣра посѣщала больного нѣсколько разъ въ день и, желая облегчить тревоги его матери, проводила въ его комнатѣ цѣлыя ночи. Эти безсонныя ночи у постели тяжелобольного сразу тѣсно сблизили ее съ его матерью.

Вѣчно занятая, очень добрая и умная, Берта Мейненъ произвела на Вѣру сразу сильное впечатлѣніе. Она всегда находила цѣли для дѣятельной любви, указываемыя дѣйствительностью, углублялась въ нихъ съ потребностью дѣйствовать истинно добраго сердца, и не могла, даже не умѣла смотрѣть на явленія жизни, для кого-либо важныя, съ той напыщенной высоты, съ которой для холодной души все кажется крайне мелкимъ. Она внимательно и бережно относилась къ каждому живому существу, къ каждой встрѣчаемой нуждѣ и находила возвышенныя задачи для дѣятельности тамъ, гдѣ холодные люди видѣли только пустяки и поводы для раздраженія. Мужъ, два сына, люди, служившіе въ домѣ, т.-е. посвятившіе себя, какъ могли, заботамъ о ея спокойствіи и благоустройствѣ, это былъ для нея міръ близкихъ ей лицъ, слѣдовательно собраніе потребностей, объ удовлетвореніи которыхъ необходимо заботиться. А развѣ не важна, по своему значенію и смыслу, задача работать для достиженія наибольшаго благополучія близкихъ?!

— Я счастлива,—говорила она Вѣрѣ, пораженной и очарованной ея мудрой простотой,—у меня хорошій мужъ, милыя дѣти, честные слуги; я счастлива, потому что нахожусь въ завидномъ положеніи—заботиться о благополучіи хорошихъ людей.

У Берты были два сына, которые, едва умѣя читать и писать, не посѣщали никакой школы и были почти неразлучны съ матерью..

— Я не допущу ихъ заниматься рано и слишкомъ много всевозможными науками,—говорила съ убѣжденіемъ Берта.— Ученіе отвлекаетъ дѣтей отъ дѣйствительной жизни; ихъ толкаютъ въ него слишкомъ рано изъ побужденій честолюбія; они вырождаются въ этихъ нечистыхъ стремленіяхъ и черствѣютъ для жизни. Проводя цѣлые дни за книгами, они тупѣютъ для впечатлѣній дѣйствительности и, все узнавъ изъ книгъ, не чувствуютъ ни боли, ни радости отъ явленій жизни. Меня возмущаетъ ходячее мнѣніе, что истязаніе дѣтей чрезмѣрными научными занятіями выкупается получаемой отъ этого пользой обществу, даже

человѣчеству. Спасать людей умственной работой—удѣлъ рѣдкихъ, исключительныхъ личностей, а громадное большинство книгокропателей совершенно непроизводительно поглощаютъ книжную мудрость, убивая въ себѣ всѣ зачатки сердечной жизни непосильной головной работой, — слѣдовательно, грубѣя и губя этимъ жизнь свою и своихъ близкихъ. Нѣтъ, я не хочу такой жалкой участи для моихъ дѣтей! Если у нихъ не окажется исключительной талантливости для научной работы, пусть остаются несвѣдущими: копаютъ землю, занимаются ремеслами, но остаются добрыми и сохраняютъ благорасположеніе ко всему окружающему. Это будетъ неизмѣримо выше безполезнаго наукокропательства, сдобреннаго фразерствомъ и самомнѣніемъ. Вращаясь въ кругу ученыхъ, ты,—говорила она Вѣрѣ,—сама должна знать, какое прискорбное явленіе упадка представляютъ люди, не одаренные высокимъ даромъ быть друзьями и благодѣтелями другихъ людей, посредствомъ умственнаго труда, тѣмъ не менѣе взявшіеся за это святое дѣло. Ты, вѣроятно, ежедневно встрѣчаешь врачей, которые представляютъ собою не друзей несчастныхъ, не ихъ участливыхъ помощниковъ въ дни скорби и отчаянія, а напыщенныхъ жрецовъ, священнодѣйствующихъ и недоступныхъ. Ты должна безпрестанно видѣть такихъ естествоиспытателей, вся высокая образованность которыхъ въ ихъ жизни выражается только тѣмъ, что они своею грубостью дѣйствительно *испытываютъ естество* своихъ близкихъ.

Часто цѣлые вечера Берта и Вѣра проводили вмѣстѣ, бесѣдуя о жизни.

— Развѣ ты мечтаешь прожить лучше и полезнѣе меня? — спрашивала Берта, выслушивая горячіе планы своей молодой подруги. — Леча людей и принося этимъ одну проблематическую пользу, но постоянно тѣша этимъ свое самолюбіе, слѣдовательно развращаясь,—почему ты мечтаешь быть полезнѣе меня, отдавшейся всецѣло на дѣла и нужды текущей жизни? Я не убиваю моей души за вашими книгами, я не прочитываю цѣлыхъ фоліантовъ, чтобы извлечь изъ нихъ одну крупицу простого здраваго смысла, пригоднаго для жизни, но зато передъ моими незатуманенными глазами—вся жизнь, всѣ люди, мечущіеся въ горяхъ и заботахъ. Я вижу, люблю, сочувствую и помогаю, какъ могу. И какъ, при такой простой жизни, сравнительно цѣла моя душа! Въ то время какъ всѣ вы, отупѣвшіе надъ книгами, остаетесь холодны при встрѣчѣ съ живымъ зломъ, находя его при данныхъ условіяхъ естественнымъ, моя душа взываетъ о помощи. Ты скажешь, что такой чувствительностью

не уничтожится встрѣчаемое зло,—но вѣдь оно не побѣдится и вашимъ философскимъ равнодушіемъ; мое сочувствіе доставитъ по крайней мѣрѣ отраду страдальцу и пріободритъ ослабѣвшаго, а ваша всезнающая мудрость не сдѣлаетъ даже и этого никому и никогда. Спасти всѣхъ—нельзя даже и очень крупнымъ людямъ, а, задаваясь такой непосильной задачей, можно безслѣдно потеряться для всякаго дѣла и съ своей искусственной высоты пренебречь—употребиться на услуги нуждающимся, которыя многимъ нужны и по силамъ каждому.

— Нѣтъ, я не заучилась до безчувствія!—возражала чуть не со слезами Вѣра.—Все живое трогаетъ и глубоко интересуетъ меня.

— Такъ ли это?—спросила Берта, устремляя на Вѣру свои ясные глаза.—Для возможности воспитать въ душѣ вниманіе и доброжелательство ко всему живущему нужно сохранить въ себѣ неубитую лукавымъ мудрствованіемъ впечатлительность и непосредственность, а безъ этихъ драгоцѣнныхъ качествъ, смотря по верхамъ и готовясь къ участію въ міровыхъ переворотахъ, неизбѣжно всякому, даже доброму человѣку, просмотрѣть доступныя ему дѣла любви и милосердія.

— Но какъ же жить безъ идеаловъ, безъ страстнаго желанія внести свои малыя духовныя силы въ большія общечеловѣческія движенія?..

Берта печально покачала головой.

— Все это—безумная гордость,—сказала она съ жаромъ,—суетное высокомѣріе! Ты погибнешь на этомъ пути, какъ полевая трава, а между тѣмъ въ тѣсномъ кругу семейной жизни ты могла бы составить никѣмъ другимъ незамѣнимое счастье нѣсколькихъ лицъ. Замѣчательно, что именно гордость завлекаетъ васъ въ такія сферы, гдѣ менѣе всего ей можно найти удовлетвореніе. Развѣ въ сферѣ общественнаго труда, гдѣ люди обезличиваются и своимъ появленіемъ и исчезновеніемъ не измѣняютъ строя всего дѣла и не вліяютъ на его направленіе, легко найти удовлетвореніе тщеславію? Только въ личной жизни, гдѣ сохраняется индивидуальность каждаго, гдѣ каждый вноситъ въ жизнь *все свое* и освѣщаетъ ее по-своему, гдѣ нельзя быть механически замѣщеннымъ другимъ безъ разрушенія всего характера жизни, только тамъ возможно удовлетвореніе личныхъ стремленій. Впрочемъ, это—твоя національная особенность. Всѣ русскіе, которыхъ я встрѣчала и судьбу которыхъ знала, цѣнили только громкое, яркое, даже напыщенное, а потому въ молодости они обыкновенно фразируютъ о великомъ, а потомъ

пристроиваются къ дѣламъ безъ всякаго значенія и ведутъ и кончаютъ жизнь въ полномъ разладѣ съ своими молодыми стремленіями...

IX.

— Я познакомилась еще съ однимъ русскимъ, — сказала однажды Берта Вѣрѣ.—Онъ здѣсь на нѣсколько мѣсяцевъ для научныхъ занятій. Говоритъ все то же, что̀ и ты, но онъ несравненно ниже тебя духовно: холоденъ и тщеславенъ до отвращенія.

Сердце Вѣры болѣзненно сжалось, и она ясно почувствовала свою органическую связь съ людьми, о которыхъ такъ пренебрежительно отзывалась Берта.

Вскорѣ Вѣра зашла къ Бертѣ случайно ранѣе обыкновеннаго. Берта встревоженно вышла къ ней на встрѣчу, не обнаруживая обычной радости по случаю ея прихода.

— Ко мнѣ сейчасъ явится твой соотечественникъ,—сказала она торопливо.—Ты еще успѣешь уйти, если не желаешь съ нимъ встрѣтиться. Знаешь,—прибавила она послѣ нѣкотораго молчанія, видя, что Вѣра не уходила, а только удивленно смотрѣла на нее во всѣ глаза:—я бы не хотѣла, чтобы ты съ нимъ знакомилась. Помоему, онъ долженъ производить на молодыхъ сильное, но невѣрное впечатлѣніе. Отъ такого заблужденія нельзя спасти молодыхъ, какъ вообще никого не удается вразумить своимъ опытомъ. Опытъ—достояніе цѣнное, но безполезное: для себя онъ запоздалъ, для другихъ—неубѣдителенъ.

Вѣра улыбнулась и хотѣла отвѣчать, но въ дверь постучали, и въ комнату вошелъ молодой человѣкъ невысокаго роста, свѣтлорусый и блѣдный. Его некрасивое, ничѣмъ не оттѣненное лицо, съ усталыми сѣрыми глазами, казалось безцвѣтнымъ и непривлекательнымъ.

— Я много слышалъ о васъ и давно желалъ съ вами познакомиться!—сказалъ онъ Вѣрѣ по-нѣмецки, когда Берта представила ихъ другъ другу, смотря ей прямо въ глаза, и Вѣра тутъ же замѣтила, что, несмотря на безцвѣтность, глаза его были прекрасны по глубинѣ и выразительности ихъ взгляда.

Онъ сѣлъ и оживленно заговорилъ; говорилъ много и необыкновенно интересно: коротко и поверхностно отвѣчалъ на возраженія и вопросы, но пространно и красиво высказывался, художественно разсказывалъ и часто, во время своей изящной рѣчи, обращался къ Вѣрѣ, какъ бы угадывая, что она не могла отвести отъ его лица своихъ внимательныхъ и сочувствующихъ

глазъ. Онъ разсказывалъ о своихъ путешествіяхъ, о прочитанныхъ книгахъ, декламировалъ на память множество стиховъ. Живость и разнообразіе его разсказа, глубина описанныхъ имъ его впечатлѣній, изящество выбора декламированныхъ имъ стиховъ — очаровали Вѣру, и она, несмотря на предостереженіе Берты, находилась подъ самымъ выгоднымъ впечатлѣніемъ отъ новаго знакомства.

— Вы любите, повидимому,—сказалъ Николай Павловичъ, обращаясь къ Вѣрѣ,—творенія моихъ любимцевъ. Позвольте мнѣ на этихъ дняхъ зайти къ вамъ и прочесть вамъ все, наиболѣе выдающееся изъ этихъ авторовъ.

Это предложеніе было такъ дружелюбно, что Вѣра, съ выраженіемъ большого удовольствія, приняла его. Послѣ этого онъ скоро ушелъ.

Вѣра дольше обыкновеннаго оставалась у Берты послѣ его ухода. Она ничего не говорила о своемъ новомъ знакомомъ, но ея особенная оживленность рѣзко свидѣтельствовала о глубинѣ оставленнаго имъ впечатлѣнія. Она была очень разговорчива и улыбалась цѣлый вечеръ. Берта понимала, что повторять предостереженіе было бы грубо и нецѣлесообразно, а потому только печально смотрѣла на свою подругу, когда та уходила отъ нея, вся сіяя.

Дня черезъ два, Николай Павловичъ пришелъ къ Вѣрѣ съ обѣщанными книгами.

Встрѣча съ интереснымъ человѣкомъ послѣ четырехлѣтняго одиночества, русскій разговоръ о дѣлахъ, съ которыми она была связана лучшими чувствами,—все это радостно волновало Вѣру.

Комната, въ которой они сидѣли, была узкая, длинная и мрачная. Маленькая лампа тускло освѣщала темныя стѣны. Откуда-то дуло, и блѣдный свѣтъ таинственно колебался по стѣнамъ.

— Слушайте, слушайте! — говорилъ прерывисто Николай Павловичъ, и все читалъ, читалъ нѣсколько часовъ сряду, не поднимая головы. Звучный голосъ его то поднимался, то замиралъ, то дрожалъ отъ волненія; его блѣдныя щеки то вспыхивали, то блѣднѣли болѣе прежняго; съ опущенныхъ рѣсницъ падали рѣдкія слезы. Вѣра слушала, не спуская съ него глазъ и боясь проронить хоть одинъ звукъ. Она слушала, какъ очарованная, не отдѣляя чтеца отъ автора: сочувствіе перваго послѣднему сливало для нея оба лица въ одно, и, восхищаясь прочитаннымъ, она относила причину восторга къ лицу, которое ей доставляло его. Принимая все прочитанное излившимся изъ

собственной души чтеца, она чувствовала восторженный откликъ ему въ своемъ сердцѣ. Такъ недавно ей совершенно неизвѣстный, онъ былъ теперь уже просвѣтленъ въ ея глазахъ всѣмъ тѣмъ, что онъ читалъ съ такимъ изумительнымъ выраженіемъ, онъ уже сталъ ей дорогъ. Все, прочувствованное ими сегодня вмѣстѣ крѣпко-на-крѣпко связало ихъ навсегда

— А, уже поздно! Я совершенно не слѣдилъ за временемъ!—сказалъ вдругъ Николай Павловичъ, обрывая чтеніе.

— Поздно? Какъ незамѣтно пролетѣли цѣлые часы!

Она встала съ мѣста, чувствуя головокруженіе и туманъ передъ глазами. Онъ протянулъ ей руку, крѣпко пожалъ ея руку и вышелъ изъ комнаты, не сказавъ, когда придетъ еще, повидимому, тоже въ какомъ-то чаду. Она слышала, какъ онъ вышелъ изъ дома, какъ за нимъ захлопнулась наружная дверь дома, какъ раздались его шаги на улицѣ. Она чувствовала, что онъ уже ей близокъ, что онъ ея другъ, что нѣчто крѣпкое и прочное связало ихъ вмѣстѣ. Она обернулась вокругъ: все тѣ же стѣны, тѣ же предметы въ комнатѣ, тотъ же слабый, колеблющійся свѣтъ; но въ душѣ было что-то новое, особенное, неотразимое. Она сознавала, что встрѣча съ этимъ человѣкомъ измѣнила ея жизнь, и она ощущала слѣды перемѣны на каждомъ предметѣ.

На другой день Вѣра получила записку отъ Николая Павловича. „Мнѣ бы хотѣлось придти къ вамъ читать сегодня,— писалъ онъ.—Отвѣтьте только одно слово: можно, или нѣтъ“.— „Приходите,—отвѣчала она,—я буду счастлива“.

Обаяніе первыхъ встрѣчъ было такъ сильно, что ей не приходило въ голову старательно обдумывать и взвѣшивать обращаемыя къ нему слова. Она видѣла въ немъ добраго, готоваго всѣмъ помочь, утѣшить и одобрить друга, и радостно ждала его. Она вся просіяла, когда онъ вошелъ въ комнату, и долго жала его руку, въ порывѣ сердечнаго привѣтствія.

Онъ опять много читалъ, а потомъ долго и тепло говорилъ о Россіи, о своемъ стремленіи къ общественной дѣятельности, о своемъ сочувствіи Вѣрѣ.

— Позвольте мнѣ приходить къ вамъ чаще, — сказалъ въ заключеніе Николай Павловичъ. — Я знаю, что не имѣю права отвлекать васъ отъ работы; кромѣ того, я долженъ много заниматься самъ. Но позвольте мнѣ приходить къ вамъ съ моей работой и заниматься молча въ вашей комнатѣ.

И послѣ этого они часто проводили цѣлые вечера вмѣстѣ, каждый за своимъ дѣломъ, обмѣниваясь только взглядами. И

работа обоихъ при этомъ шла прекрасно. Присутствіе, даже нѣмое, любимаго человѣка дѣйствуетъ благотворно, какъ теплота и свѣтъ солнца.

Вѣра съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе привязывалась къ Николаю Павловичу. Довѣріе и преданность, которыя онъ внушалъ ей, согрѣвали ее, и она, не допрашивая себя о значеніи этихъ чувствъ и о ихъ послѣдствіяхъ, радостно отдавалась имъ. Совершенно другіе поводы къ сближенію съ Вѣрой были у Николая Павловича. Его холодное сердце было недоступно для теплыхъ привязанностей. Люди, какъ книги, занимали только его голову, и только до тѣхъ поръ, пока онъ не узнавалъ вполнѣ ихъ содержанія; а узнавъ содержаніе, онъ терялъ всякій интересъ къ нимъ; поэтому сближеніе съ людьми у него совершенно обрывалось на той чертѣ взаимнаго пониманія, гдѣ оно только начиналось на̀-крѣпко у людей съ сердцемъ. Не влеченіе и участливость къ людямъ, а тщеславное желаніе вліянія и власти надъ ними заставляло его изучать искусство быстраго пониманія людей и упражняться въ умѣньи раскрывать человѣческія души. При встрѣчѣ съ Вѣрой, онъ нашелъ вначалѣ въ ней много интереснаго. Ея простота и прямота произвели на него впечатлѣніе: книга показалась ему занимательной; но, увидавъ, съ какимъ восторгомъ она спѣшитъ ему на встрѣчу, онъ понялъ, что путь къ ея сердцу незамысловатъ, и охладѣлъ къ ней, а все-же продолжалъ ее плѣнять, изъ суетнаго желанія всѣмъ нравиться.

Однажды они особенно долго говорили. Со всѣхъ своихъ душевныхъ сторонъ досмотрѣнная и по всѣмъ важнымъ вопросамъ допрошенная, Вѣра была особенно растрогана сама своею откровенностью. Когда Николай Павловичъ собрался уходить, она порывисто встала съ своего мѣста.

— Я пойду проводить васъ до-дому,—сказала она.—Мнѣ сегодня особенно тяжело прощаться съ вами.—И они пошли вмѣстѣ рука-подъ-руку по опустѣвшимъ улицамъ города. Была чудесная темная ночь съ сильно свѣтящимися звѣздами. Вѣра радостно смотрѣла на голубой небесный сводъ, и ей казалось, что какая-то сила жизни нисходила оттуда въ ея душу. „Какъ хорошъ міръ!—думала она:—и какъ все одухотворено для меня теперь присутствіемъ любимаго человѣка! Даже здѣсь, гдѣ можно себя чувствовать хорошо, только смотря по сторонамъ, только дыша и грѣясь на солнцѣ, даже и здѣсь можно быть счастливой только при дружескомъ общеніи съ хорошими людьми. Да, только присоединеніе къ милымъ, любимымъ людямъ для общаго

съ ними труда на пользу и помощь многимъ—даетъ высшую радость жизни"...

— Можно ли быть счастливѣе въ дружбѣ?—сказала Вѣра, пожимая руку Николая Павловича.—Бываютъ ли минуты свѣтлѣе въ человѣческой жизни? Мнѣ ужасно жаль сегодняшняго дня. Страшно, что онъ проходитъ, и все очарованіе сейчасъ кончится.

— Да,—отвѣчалъ Николай Павловичъ,—мнѣ тоже будетъ памятенъ сегодняшній день. Я бы очень хотѣлъ сохранить о немъ на всю жизнь какое-нибудь реальное воспоминаніе. Дайте мнѣ это!—прибавилъ онъ, протягивая руку къ платку, которымъ она вытирала катившіяся изъ ея глазъ слезы.

Она подала ему платокъ. Голова ея склонилась къ нему на плечо. И такъ молча шли они по пустыннымъ улицамъ, не думая о возможности встрѣчъ и о впечатлѣніи, которое они произведутъ на прохожихъ.

„Да,—продолжала думать Вѣра,—только любовь къ хорошимъ людямъ даетъ начало добрыхъ дѣлъ. Безъ сердечныхъ связей и дружнаго съ другими людьми общенія весь жаръ добрыхъ желаній пропадетъ безслѣдно, какъ вздохъ сочувствія при грохотѣ уличнаго шума, какъ взглядъ, преисполненный нѣжности, упавшій въ пустыню".

А Николай Павловичъ? Онъ былъ смущенъ. Сознаніе чего-то дурного, даже преступнаго съ его стороны, тяготило его. Онъ былъ радъ, что они подошли къ дому, гдѣ онъ жилъ, и свиданіе получило механическій конецъ. Его душила тоска, недовольство собою. Искусственныя чувства, въ изображеніи которыхъ онъ упражнялся, не согрѣвали, а томили его. Онъ видѣлъ, что ему уже принадлежала душа Вѣры, и чувствовалъ отъ этого не радость, а стѣсненіе. „О, это нужно кончить скорѣе, скорѣе!"—повторялъ онъ, садясь къ открытому окну въ своей комнатѣ.

И онъ мрачно смотрѣлъ на то же самое небо, свѣтившееся безчисленными звѣздами, откуда, нѣсколько минутъ назадъ, почерпала свою радость душа Вѣры, и не чувствовалъ облегченія; его все раздражало и гнело... „И всѣ ея душевныя движенія—такія же, какъ у другихъ. Все можно предвидѣть, предсказать, вызвать, какъ по заказу",—подумалъ онъ съ раздраженіемъ, и все же сознаніе, что въ отвѣтъ на искреннее чувство преданности онъ ничего не нашелъ въ своемъ одеревенѣломъ сердцѣ,—кромѣ вульгарнаго притворства и слащавыхъ словъ безъ смысла и значенія,—угнетало его.

На другой день Вѣра ждала его къ себѣ въ урочный часъ.

Она вскрикнула отъ непреодолимаго волненія, когда онъ вошелъ въ компату, хотя уже давно ждала его.

— Какъ я рада, что вы пришли! Я уже давно ждала васъ,— заговорила она, смотря на него своими ясными глазами.

Даже его, опытнаго актера въ подобныхъ случаяхъ, смутилъ этотъ взглядъ, и онъ неловко потупился.

Признаніе въ любви еще не было произнесено ею, но оно чувствовалось, оно какъ бы носилось въ окружавшемъ ихъ воздухѣ. Недостойная игра съ наивнымъ сердцемъ достигла своей недостойной цѣли: сердце было отдано за фразерство и кривлянье. Теперь ему оставалось внести новую побѣду въ число доказательствъ своего мастерства по части сердцевѣдѣнія, и бѣжать, спасаться отъ слезъ, желаній, можетъ быть—требованій.

— Милый другъ,—выговорилъ онъ наконецъ, путаясь и заикаясь:—вы относитесь ко мнѣ слишкомъ горячо, чего я не заслужилъ. Я просто затрудняюсь теперь являться передъ вами... Намъ надобно видѣться рѣже...

Было такъ грубо и пошло все, что̀ онъ говорилъ ей дальше, путаясь и не смѣя съ ней встрѣтиться глазами. И вотъ, фальшивый тонъ рѣзко прозвучалъ въ воздухѣ, насыщенномъ любовью, и былъ услышанъ. Чудный свѣтъ, которымъ встрѣча съ Николаемъ Павловичемъ все освѣтила въ душѣ Вѣры, мгновенно померкъ, и она содрогнулась. Что̀ это? Откуда это? Вырвавшіяся у него экспромптомъ, неприготовленныя, несоотвѣтствующія его роли слова открыли ей мгновенно совершенно новую точку зрѣнія на всѣ его поступки. Она слушала его слова и съ трудомъ понимала ихъ смыслъ: это не была сердечная рѣчь милаго друга, а слова мелкаго притворства и душевной низости. Она болѣзненно содрогнулась отъ грубаго прикосновенія къ ея настроенной на высочайшую ноту душѣ, мгновенно увидѣла, что все, чѣмъ она жила послѣднее время, было сочинено ею, что въ ея жизни сейчасъ свершилось что-то ужасное, зловѣщее.

— Зачѣмъ же намъ нужно видѣться рѣже, если у васъ есть дружба ко мнѣ?—сказала она послѣ тяжелаго молчанія, и этотъ тонъ, эти жесткія слова, весь этотъ полемическій языкъ возраженій и недоразумѣній—помрачилъ и изуродовалъ для нея все.

„Что̀ же это было?—спрашивала она себя.—Что̀ такое я? Что̀ такое онъ?“ Она сходила съ ума отъ этого вынужденнаго и поспѣшно совершавшагося въ ея головѣ анализа всего того, что̀ до сихъ поръ между ними было, и отъ этого тревожнаго разбора все разомъ передъ нею преобразилось, полиняло и обветшало.

Она боялась ошибиться, боялась быть несправедливой, и въ невыразимой тоскѣ отъ внутреннихъ противорѣчій—зарыдала.

— Что съ вами!? Успокойтесь!—заговорилъ Николай Павловичъ, стараясь утѣшить ее.

— Успокоиться?—спросила съ странною улыбкой Вѣра, приподнимая свое лицо, по которому катились крупныя слезы.— Какъ же я могу успокоиться, когда я чувствую, что вы здѣсь и тѣмъ не менѣе далеко?!

Онъ ничего не возразилъ, но его неподдѣльное смущеніе, наконецъ, на нее подѣйствовало. Она отошла въ сторону и сѣла въ противоположномъ углу комнаты. Голова ея поникла, внутренній душевный разладъ терзалъ ее: она и любила, и прощала, и возмущалась притворствомъ. Николай Павловичъ еще болѣе смутился, видя, какъ она страдала. При отсутствіи душевной теплоты въ немъ, однако, онъ не питалъ и злобы. Ему было тяжело сознаніе причиненнаго имъ горя. Онъ причинилъ его зря, не предчувствуя его боли, по холодному разсчету кокетства. Собственный душевный холодъ поражалъ его самого. Ему было тяжело безъ всякихъ привязанностей жить на свѣтѣ, вѣчно играть передъ людьми какую-нибудь задуманную роль, вѣчно давать представленія, но никого не любить, ни къ кому не стремиться сердцемъ и, блуждая между людьми, связанными сердечными узами, ощущать въ собственной душѣ одинъ холодъ, усталость и нерасположеніе. Сознаніе собственной деревянности теперь томило его при видѣ реальнаго горя, которое онъ причинилъ не изъ злобы, а отъ душевной пустоты и безчувственности. Что онъ дѣлалъ? Чего онъ хотѣлъ до сихъ поръ отъ жизни? Онъ хотѣлъ пронестись надъ людьми блестящимъ метеоромъ, всѣхъ поразить, ослѣпить, приковать къ себѣ общее вниманіе и... потомъ обмануть всѣ ожиданія, не давъ никому ни тепла, ни свѣта. Онъ много трудился надъ изученіемъ героическихъ характеровъ, изображалъ ихъ при подходящихъ положеніяхъ, тѣшилъ себя этими представленіями. Но пройдутъ года, исчезнетъ живость и подвижность молодости, занимательность представленій ослабѣетъ, пропадетъ охота румяниться и коверкаться, бенгальскіе огни для освѣщенія ничтожныхъ дѣлъ погаснутъ, декораціи упадутъ прахомъ, зрители разбѣгутся—и что останется отъ всего этого шумнаго прошлаго для очнувшейся голодной души? Техническій навыкъ къ предательству, острая жажда сочувствія, неудовлетворимое желаніе—услышать простое доброе слово, встрѣтить братское теплое рукопожатіе.

Онъ откинулъ голову на спинку кресла и старался ни о чемъ

болѣе не думать. Его разрывала тоска, одиночество, вѣчный, никогда непрерывающійся разсчетъ всѣхъ его движеній...

Вѣра понимала его теперь, просвѣтленная только-что пережитымъ ею крушеніемъ. Она понимала, что не сочувствіе, не дружба къ ней вызывала его грусть, что вообще весь взрывъ его огорченія до нея не касался, и потому безучастно смотрѣла на этого холоднаго человѣка. Она мрачно смотрѣла на него, ничего не ощущая, кромѣ тоски и боли, и думала: „Неужели я его любила?“ Угаръ увлеченія разсѣялся, и пониманіе положенія ужасало ее. „О, неужели я его любила? Любить можно только что-либо прекрасное, высокое. Но какъ любить человѣка лживаго, порочнаго, человѣка безъ сердца? Какъ можно любить бездушіе, безобразіе?!“

И между этими людьми, за нѣсколько часовъ передъ этой сценой бывшими друзьями, внезапно выросла стѣна, на вѣки отдалившая ихъ другъ отъ друга.

— Уходите!—наконецъ, сказала Вѣра холодно, даже грубо.— Вамъ пора идти въ гости въ нѣмецкое общество, куда вы сегодня собирались.

— Въ гости? — повторилъ Николай Павловичъ съ горькой ироніей въ голосѣ.—*Теперь*... въ гости?—Но, тѣмъ не менѣе, онъ всталъ съ своего мѣста, соображая, что болѣе удобнаго момента для ухода можетъ не представиться. Онъ воспроизвелъ на своемъ лицѣ выраженіе огорченія, даже обиженности, подалъ ей руку и поспѣшно вышелъ изъ комнаты съ чувствомъ облегченія. Въ концѣ вечера онъ совершенно въ другихъ роляхъ восхищалъ своихъ ученыхъ нѣмцевъ и ихъ женъ, однимъ проповѣдуя о величіи науки, другимъ—о священности супружескихъ и материнскихъ обязанностей.

Часа три послѣ его ухода, Вѣра сидѣла неподвижно, мучаясь отъ внутреннихъ противорѣчій. Но мало-по-малу душевная буря стихла, и добрыя чувства снова овладѣли ею. „Что̀, если это только одна черная подозрительность разлучаетъ меня съ человѣкомъ, подобнаго которому я никогда не встрѣчала? Что̀, если онъ расположенъ ко мнѣ и чувствуетъ ко мнѣ большую дружбу? Что̀, если сегодняшняя тягостная сцена между нами вызвана однимъ недоразумѣніемъ, которому придется жертвовать спокойствіемъ всей жизни?... Нѣтъ, нельзя допускать недоразумѣнія портить жизнь, а нужно бѣжать за *нимъ*, пока есть хоть одинъ слабый лучъ надежды на *его* сердце“.

И вотъ, довѣріе и любовь снова зажглись въ ея душѣ. Ей казалось мелочностью—колебаться, изобрѣтать способы загладить

происшедшее, искать случайной встрѣчи съ нимъ. Она жаждала правды, простоты и искренности, и ей казалось, что все еще достижимо и еще близко. Она съ восторгомъ чувствовала, какъ воскресало ея, три часа назадъ, умиравшее сердце и снова любило и вѣрило, и она, почти счастливая, схватила листъ бумаги и написала дрожавшею рукой: „Берта говорила, что вы у нея будете завтра. Я зайду къ ней въ то же время, чтобы видѣть васъ. У меня нѣтъ къ вамъ никакого дѣла: я хочу васъ видѣть, конечно,—только *такъ*".

Вѣра дрожала, какъ въ лихорадкѣ, входя на другой день къ Бертѣ въ ту самую комнату, гдѣ она встрѣтилась съ *нимъ* въ первый разъ. Вотъ тутъ они разъ очень долго и тепло говорили, вотъ тутъ часто читали... Тѣ же стѣны, тѣ же предметы въ комнатѣ, а... какой разгромъ въ сердцѣ!

Николай Павловичъ поспѣшно всталъ ей на встрѣчу, былъ очень оживленъ и особенно разговорчивъ. Берта оставила ихъ однихъ, какъ это она часто дѣлала въ послѣднее время, и они разговаривали по-русски. Его вчерашняя неловкость прошла безслѣдно. Вѣчныя преднамѣренныя настроиванья и разстроиванья всего душевнаго механизма произвели въ его душѣ какую-то затвердѣлость, черезъ которую онъ не ощущалъ неловкости отъ постоянной смѣны своихъ декорацій. Въ продолженіе своего долгаго оживленнаго разговора, онъ ни однимъ словомъ не напомнилъ объ ихъ вчерашнемъ свиданіи. Онъ говорилъ объ удовольствіи ее видѣть, о городскихъ происшествіяхъ, забрасывалъ ее разсказами, остротами, проектами развлеченій.

„Не такъ бы онъ держалъ себя, не то бы говорилъ, еслибы дѣйствительно былъ расположенъ ко мнѣ!"—подумала Вѣра и замолчала, поникнувъ головой. Опять начался ея внутренній разладъ, раздвоеніе души, горькое ощущеніе его неискренности. Неужели же, несмотря ни на что, опять объясняться съ нимъ, обнажать передъ нимъ сердце, передъ нимъ, не знающимъ правды, не ищущимъ и не цѣнящимъ ее?" —думала Вѣра, содрогаясь отъ дѣланности его рѣчи, видя, такъ сказать,—ея заводный механизмъ.

Она остановила на немъ свои унылые глаза и задумалась. Неужели нужно примириться съ этимъ добровольнымъ притворствомъ, кривляньемъ изъ любви къ искусству, потому что люди повсюду притворно относятся другъ къ другу, опошлиться, научиться *заводить себя* на разныя честолюбивыя темы, завинчиваться и развинчиваться? Нѣтъ, нужно поскорѣй спастись отъ привычки ко всему на свѣтѣ, отъ безчувственности передъ доб-

ромъ и зломъ и бѣжать куда-нибудь, гдѣ можно прожить правдиво, хотя бы это было на краю свѣта.

— Прощайте! — сказала она вдругъ, поспѣшно вставая.— Мнѣ пора идти. Теперь прощайте надолго!—Она не могла выговорить: *навсегда*, боясь низкихъ сценъ кривлянья, хотя въ душѣ рѣшила, что прощается съ нимъ навѣки.

Онъ былъ внимателенъ, старался *казаться* очень добрымъ. Вѣра выбѣжала изъ комнаты, не заходя проститься къ Бертѣ. Ей было тяжело, страшно. „*Тогда* я была сравнительно счастлива, —думала она, захлопывая за собою роковую дверь;—мнѣ много хуже теперь, при наступившемъ охлажденіи моего сердца“. Она, какъ безумная, бѣжала по улицѣ. Ей попадались шумныя толпы на встрѣчу: мужчины заглядывали ей въ лицо, обертывались на нее, дѣлая громкія замѣчанія относительно ея разстроеннаго вида. „Oui, madame, il y a trop de soleil!“—закричалъ ей вслѣдъ какой-то франтъ, расхохотавшійся надъ ея развернутымъ, несмотря на наступившую темноту, зонтикомъ. Вѣрѣ было все равно. Она отвернулась отъ толпы, стараясь не слышать ея шума, и, почти закрывъ глаза, бѣжала по улицѣ, потому что въ толпѣ ей сильнѣе чувствовалось ея круглое одиночество. „Нужно скорѣе приниматься за дѣло и начинать здоровую и добрую жизнь!“ твердила себѣ Вѣра, придя домой и бросаясь въ постель. Бездушная пустота и суета отношеній къ людямъ—измучила ее. Нужно все бросить, какъ вздоръ, и, пока не истрепалась вся душа, употребить себя на доброе дѣло.

Она прометалась всю ночь безъ сна. Голова ея была тяжела, сердце мучительно билось Она мысленно переживала всю свою жизнь. Изъ всего ея прошлаго ей только радостно вспомнилось кроткое, залитое слезами лицо ея матери, чарующая музыка ея простыхъ, нѣжныхъ словъ, сказанныхъ въ минуту ихъ разлуки; потомъ хрупкая и привлекательная Елена съ ея тихими, какъ вздохъ, прощальными словами, и потомъ нѣсколько сочувственныхъ улыбокъ и теплыхъ рукопожатій простыхъ, добрыхъ людей, съ которыми она бывала въ дѣловомъ общеніи, и этими воспоминаніями исчерпывалось все дорогое ей въ ея жизни. Эти сокровища ея прошлаго потомъ покрылись воспоминаніями цѣлой тьмы пустыхъ словъ—благорасположенныхъ и язвительныхъ—одинаково безъ всякаго значенія, уроненныхъ ей холодными лицами не съ выраженіемъ, а съ дѣланными гримасами сочувствія или осужденія. Припоминая все и всѣхъ, она старалась примириться и съ собою, и со всѣми другими, и уравновѣсить свое недомоганіе доброжелательствомъ ко всему живущему.

Утромъ, съ первыми лучами солнца, кто-то осторожно постучался въ дверь ея комнаты. Вѣра, шатаясь, подошла къ двери и отворила ее. Въ комнату вошла Берта.

— Такъ и есть!—вскричала она, съ тревогой смотря на блѣдное, измученное лицо Вѣры.—Я думала о тебѣ; я думала, что тебѣ нехорошо, и потому пришла къ тебѣ. Я не хочу допустить, чтобы ты страдала!

Передъ этой чистой душой Вѣра не хотѣла скрывать свое горе, но она не могла и не желала ничего разсказывать. Вотъ почему она поникла головой и молчала, а потомъ съ довѣріемъ положила свою усталую голову на плечо Бертѣ и тихо заплакала. Слезы облегчили ее, и душевная боль, даже отъ безмолвнаго присутствія друга, утратила свою остроту.

— Ну, кончено! — сказала она, улыбаясь печальной улыбкой. — Это горе пережито и скоро совсѣмъ замретъ. Нужно теперь собираться къ отъѣзду, начинать другую жизнь и страдать другими страданіями.

Всѣ ея дѣла были закончены, и она могла возвращаться домой. Она подняла поникшую голову и взглянула на Берту своими печальными глазами. И много кротости, терпѣнія и нѣжности прочла Берта въ ея взглядѣ.

X.

Черезъ двѣ недѣли, Берта провожала Вѣру на вокзалѣ. Со слезами на глазахъ, стояла она на платформѣ, смотря въ послѣдній разъ на милое лицо подруги.

— Дай Богъ тебѣ счастія!—говорила она.—Я не раздѣляю твоихъ воззрѣній, но ты мнѣ дорога, какъ явленіе новое, молодое и свѣтлое, пришедшее намъ на смѣну. Какъ жаль, что ты *его* здѣсь встрѣтила! Безъ этого несчастія ты больше силъ и бодрости вынесла бы отсюда!

— Нѣтъ, все къ лучшему!—съ живостью возразила Вѣра.—Изъ этого личнаго опыта я твердо узнала, какъ трудно сдѣлать добро другому, и какъ, наоборотъ, легко нанести ему вредъ и огорченіе безъ всякой злобы, а просто отъ невниманія и неосторожности.

— Правда?—спросила Берта, улыбаясь сквозь слезы.—Ну, да благословитъ тебя Богъ!

Вѣра ѣздила на могилу сестры и провела тамъ нѣсколько печальныхъ дней. Она цѣлые часы просиживала передъ зеленымъ холмикомъ, гдѣ были спрятаны останки разбитаго существа, не

вынесшаго трудностей жизни. Надъ нимъ росли цвѣты и пѣли птички, а кругомъ была разлита торжественная кладбищенская тишина. Потомъ она была въ нѣсколькихъ большихъ европейскихъ городахъ, для своихъ профессіональныхъ цѣлей, и между прочимъ въ Парижѣ. Тамъ разъ, совершенно случайно, она увидѣла Виктора, шедшаго подъ-руку съ какой-то молоденькой, розовой, улыбающейся женщиной. „Le roi est mort, vive le roi!“ — промелькнуло въ головѣ Вѣры. Она не успѣла свернуть въ сторону, и они встрѣтились лицомъ къ лицу. Улыбка исчезла съ лица Виктора; онъ поблѣднѣлъ и выпустилъ руку своей дамы. Вѣра отвернулась и быстро пошла прочь. Это малодушіе, это отсутствіе мужества проявлять свои настоящія чувства, напомнили ей все его духовное убожество, погубившее сестру.

Проведя около года въ большихъ городахъ, насмотрѣвшись на массы людей изъ различныхъ слоевъ общества, вникая повсюду въ общественную, даже семейную жизнь, Вѣра, наконецъ, собралась домой, вынося изъ своего путешествія одно большое огорченіе. Она видѣла только одинъ мракъ, человѣческое недружелюбіе, войну каждаго съ каждымъ и со всѣми вмѣстѣ, механическія связи, гдѣ люди, при громадномъ внутреннемъ разладѣ, часто взаимномъ отвращеніи, грубо связаны вмѣстѣ удобствами или другими матеріальными выгодами сожительства, но она *нигдѣ* не встрѣтила настоящей любви, крѣпкихъ сердечныхъ связей, не видѣла свѣта и радостей.

Приближаясь къ Россіи, Вѣра сильно волновалась мыслями о родинѣ и о предстоящей тамъ жизни. Она чувствовала, что для нея уже наступаетъ настоящая жизнь, что на нее надвигаются трудности, печали и обиды дѣйствительности, и тоскливо смотрѣла на толпу изъ оконъ вагона. Въ этой разнообразной, шумной, иногда очень большой толпѣ часто мелькали раздраженныя, злыя лица, изъ нея долетали язвительныя, оскорбительныя слова, и ужасъ передъ наступающей жизнью потрясалъ Вѣру. Сознаніе своей величайшей слабости убѣждало ее, что, при первыхъ же ея шагахъ, ее сомнетъ могущественное теченіе установившейся жизни и раздвоитъ ея безпомощную душу, гдѣ, какъ въ маленькой лампадкѣ, теплятся добрыя чувства, но нѣтъ ни силъ, ни желанія бороться.

Переѣхавъ границу, она попала въ купэ, занятое до ея прихода двумя молодыми людьми и одной старушкой, которая немедленно улеглась отдыхать. Лицо одного изъ молодыхъ людей показалось очень знакомымъ Вѣрѣ. „Да, это Александръ Станевскій!“ — рѣшила она, хорошо всмотрѣвшись. Въ то время, какъ

она хотѣла, но еще не рѣшалась напомнить ему ихъ старинное знакомство, молодой человѣкъ поспѣшно обернулся къ своему сосѣду.

— Анатолій, неужели это вы! Какая встрѣча! — вскричалъ онъ, и яркая краска покрыла утомленное и прекрасное лицо его.—Узнаѐте ли?—прибавилъ онъ, беря сосѣда за руку и крѣпко сжимая ее.

Сосѣдъ устремилъ на него свои серьезные, холодные глаза сначала вопросительно, потомъ съ оттѣнкомъ удовольствія и произнесъ съ теплотой:

— Александръ Станевскій! Конечно, вы?

Они крѣпко взялись за руки и въ волненіи смотрѣли другъ на друга.—Какъ давно мы не видѣлись! Болѣе десяти лѣтъ!

Десять лѣтъ! Жизнь неслась, сталкивала и разлучала ихъ съ разнообразными людьми, поражала впечатлѣніями, убѣждала и разубѣждала, возвышала и унижала, толкала на хорошее и дурное,—и вотъ они, разставшись юношами, стоятъ теперь другъ передъ другомъ, вопросительно осматриваясь.

— Гдѣ вы? Какъ вы существуете? Я совершенно потерялъ васъ изъ вида,—наконецъ, выговорилъ Александръ Станевскій.— Разскажите поскорѣе о себѣ. Помните ли вы стремленія и завѣты нашей молодости?

— Да, я помню ихъ,—отвѣтилъ съ разстановкой Анатолій, —и, кажется, не измѣнилъ имъ, хотя я иду совершенно не той дорогой, которою предполагалъ идти въ юности. Я служу чиновникомъ. Я вношу человѣчность, сколько умѣю и могу, въ кругъ моей дѣятельности. Я чувствую, что хорошо вліяю на моихъ окружающихъ. У меня семья: жена—мой лучшій другъ; дѣти мои способны и хорошо направлены. Имъ принадлежатъ всѣ мои заботы и всѣ результаты моего труда. Я тороплюсь высказаться, и боюсь, что въ этомъ спѣшномъ пересказѣ жизнь моя покажется вамъ слишкомъ узкой. Правда, она не отвѣчаетъ радикальнымъ стремленіямъ нашей юности, но, не говоря уже о моей способности или неспособности къ дѣятельности въ томъ направленіи, я не вижу для нея теперь никакой задачи и, не желая пропадать въ неопредѣленныхъ и безплодныхъ порывахъ, расходуюсь на несложное, правда, но полезное дѣло. Оно не громадно, но оно *нужно*, и я отдаюсь ему съ радостью. Я думаю, что мы ошибались въ юности, проповѣдуя крайнюю разборчивость въ дѣятельности: можно облагородить каждое занятіе, а, гоняясь за громкими дѣлами, легко растратить жизнь безплодно, даже каррикатурно.

Блѣдное лицо Станевскаго покрылось яркой краской и тотчасъ же поблѣднѣло болѣе прежняго.

— А я не принадлежу къ числу тѣхъ людей,—сказалъ онъ задрожавшимъ голосомъ,—которые считаютъ себя вправѣ требовать отъ другихъ самыхъ высокихъ услугъ для общественнаго дѣла; я цѣню въ каждомъ все хорошее, что̀ онъ сдѣлалъ, не терзая его за то, что онъ не сдѣлалъ бо̀льшаго и лучшаго; меня возмущаетъ строгая, слѣдовательно несправедливая, требовательность при оцѣнкѣ человѣческихъ качествъ,—но, тѣмъ не менѣе, я не раздѣляю вашей жизненной философіи. Хорошо отдаться несложному, какъ вы говорите, но недурному дѣлу; хорошо цѣнить простой, полезный и ненапыщенный трудъ; но благоразумно ли, во время поголовнаго духовнаго паденія, безнадежности и разрушенія идеаловъ, идти въ такое дѣло? Не обязательно ли, во время такого общаго пониженія уровня, держаться во что̀ бы то ни стало на высотѣ своихъ гражданскихъ требованій и проводить ихъ въ жизнь, несмотря на неудачи и крушенія?

— Какъ же вы живете при такомъ настроеніи?—спросилъ его Анатолій.

— Я—учитель; я—докторъ; я—литераторъ; я—все и ничего; я ищу участія во всякомъ, по-моему, хорошемъ общественномъ дѣлѣ; я прицѣпляюсь къ каждому человѣку съ сердцемъ и талантомъ, чтобы научиться отъ него доброму; я бросаюсь во всѣ міры, хватаюсь за многія дѣла,—лишь бы они казались мнѣ добрыми и касались многихъ.

— Но вѣдь все это чистѣйшіе пустяки!—перебилъ его Анатолій.—Не благоразумнѣе ли—при отсутствіи серьезнаго дѣла—приготовиться къ нему, запастись нужными познаніями и силами, и уже потомъ, солидно вооружившись, проявить что-либо значительное въ вашемъ направленіи? Повѣрьте,—прибавилъ онъ наставительно,—что для выжидательнаго подготовленія къ дѣятельности нужно больше любви къ дѣлу, чѣмъ для саморазбрасыванія на мелкія безразсудства.

— Нѣтъ, — возразилъ Александръ, — я не могу проходить безучастно мимо живыхъ дѣлъ, кричащихъ о нуждѣ въ помощи, на основаніи того, что дѣло невелико, и я самъ неподготовленъ для значительныхъ услугъ людямъ. Такимъ образомъ можно вѣчно мѣшать всякому живому движенію сердца, потому что впереди всегда останется много работы для самоусовершенствованія. Нѣтъ, лучше дать просторъ чувствамъ и жить, какъ умѣешь. У меня нѣтъ знаній, чтобы руководить большимъ общественнымъ дѣломъ,

но есть настолько духовнаго чутья, чтобы въ каждомъ дѣлѣ присоединиться къ честной сторонѣ и быть ей полезнымъ, какъ смогу. Я знаю, что я и мнѣ подобные, мы принадлежимъ къ вырождающемуся человѣческому виду: мы, безсильные и жалкіе, лысые и беззубые съ двадцати-пяти лѣтъ, мы погибнемъ, какъ мыльные пузыри. Передъ натискомъ хищной, жестокой и злой установившейся жизни—мы часто безсильно топчемся на одномъ мѣстѣ, не зная, къ чему приложить руки... И все же я, занимаясь азбукой съ деревенскими ребятишками, или носясь по дебрямъ, куда глаза глядятъ, въ поискахъ хорошей жизни, или просто смотря на голубое небо въ томленіи бездѣйствія, я, такой жалкій бродяга, я все же стою ближе къ идеалу, чѣмъ вы, совершающіе ваше „полезное“ дѣло, танцующіе въ пользу бѣдныхъ, произносящіе хвалебные спичи разнымъ злымъ людямъ и всѣми доступными вамъ способами поддерживающіе дурную жизнь...

Поѣздъ подошелъ къ большой станціи и остановился.

— Мнѣ тутъ нужно выходить,—сказалъ Александръ, вставая съ мѣста.—Мы, вѣроятно, больше пе увидимся, да и не надо. Наши пути не совпадаютъ, и намъ нѣтъ ни нужды, ни отрады другъ въ другѣ. Я не упрекаю васъ, но я вамъ не сочувствую. Пусть каждый живетъ, какъ ему кажется лучше, но я не промѣняю моего бездѣлья на ваше систематическое дѣло. Вся ваша холодная жизнь съ ея мелкими успѣхами, дурными чувствами—есть возведеніе своего переливанья изъ пустого въ порожнее на высоту какого-то разумнаго дѣла. — Раздался звонокъ. — Прощайте!—сказалъ Александръ и исчезъ.

— Станевскій, здравствуйте!—вскричала Вѣра, высовываясь изъ окна вагона, когда Александръ проходилъ мимо.—Я была рада васъ видѣть и особенно слышать! А гдѣ ваша сестра и Наталья Алексѣевна?

— Сестра,—отвѣчалъ Станевскій, съ трудомъ узнавая Вѣру,—приспособилась къ новымъ теченіямъ: теперь съ вѣсомъ и вліяніемъ, въ замужествѣ и сообществѣ съ такимъ же злостнымъ умникомъ, какъ она сама. А Наталья Алексѣевна погибла... Знаете, въ процессѣ... Теперь—Богъ знаетъ, гдѣ она...

Вагонъ тронулся. О, ясное утро знойнаго дня! Значитъ, потомъ дѣйствительно наступила гроза, произведшая всѣ эти опустошенія въ душахъ; но *тогда* былъ только свѣтъ и теплота—не больше.

„Что же осталось реальнаго,—думала Вѣра, приближаясь къ Москвѣ,—отъ всего нашего милаго прошлаго, отъ всѣхъ на

половину погубленныхъ, на половину искалѣченныхъ друзей незабвенной юности? Лучшіе, прямолинейные, великодушные—погибли безъ слѣда; худшіе—изъ самосохраненія передѣлались во что-то однобокое, уродливое. Все *тогдашнее* разбито, разбросано, почти стерто съ лица земли, и я, какъ послѣ кораблекрушенія, выброшена теперь на чужой берегъ, гдѣ мнѣ все незнакомо, непонятно, гдѣ я не знаю, куда приклонить голову и за что взяться. Путеводная звѣзда моя закатилась... Чувствую, что я не туда попадаю, куда шла. Какъ же мнѣ выбраться изъ тьмы недоумѣній и разочарованій къ свѣту и хорошей жизни? Не помогутъ ли мнѣ найти опору для расшатанныхъ мыслей и смущенныхъ чувствъ нравоученія моей заграничной жизни? Кого и что̀ я тамъ видѣла? Видѣла жесткихъ, себялюбивыхъ, самомнительныхъ дѣятелей,—слабыхъ, безпомощныхъ, лѣнивыхъ женщинъ, ихъ союзы, для взаимнаго обмана, въ интересахъ благополучнаго житія...

„Неужели же и я, жадно стремясь къ общенію съ людьми, буду заключать съ ними подобные же союзы,—тоже буду воевать съ своими союзниками за свои личныя удобства и удовольствія, тоже буду наносить удары направо и налѣво, произносить слова любви и совершать жестокіе поступки, носить злое раздраженіе въ сердцѣ, совмѣщать въ жизни добрыя намѣренія со злой практикой?“

Вѣра совершенно ясно чувствовала, что не желаніе борьбы за свое преобладаніе, не желаніе настойчиво проводить, навязывать, вталкивать во что бы то ни стало повсюду свои мысли и чувства, а благорасположеніе ко всему существующему, безконечная жалость къ мечущимся въ грѣхахъ и горяхъ людямъ горѣла въ ея сердцѣ. „Нѣтъ, не воевать, не бороться,—думала она,—а всѣмъ сердцемъ сострадать всѣмъ страждущимъ хочу я въ этой общей свалкѣ и быть имъ полезной... Кому же стараться быть полезной? Кому служить въ жизни? Тѣмъ ли, кого я понимаю и кому сочувствую, или всѣмъ, кому помочь сподобитъ случай? Да, всѣмъ, кому можно, не разбирая правыхъ и виноватыхъ. Мое ли это дѣло—судить другихъ людей? мнѣ ли, слабой, еле держащейся на ногахъ—порицать, осуждать? Нѣтъ, служить нужно всѣмъ, кто страдаетъ, потому что нѣтъ отнынѣ для меня ни правыхъ, ни виноватыхъ, а есть только болѣе или менѣе несчастные... А соболѣзнующій взглядъ, во̀-время протянутая рука страдальцу, мягкій окликъ милосердія человѣку, который на краю погибели, неизмѣримо выше по своему смыслу и по результатамъ—злой борьбы и всѣхъ ея кровавыхъ трофей.

Слова всепрощенія послужатъ призывомъ къ добру и для падшей души, а душѣ невиннаго страдальца дадутъ большую отраду...

Черезъ нѣсколько дней Вѣра одна сидѣла на той самой горѣ, гдѣ, восемь лѣтъ назадъ, она съ сестрой и Викторомъ втроемъ мечтали о жизни. Много цѣнныхъ душевныхъ силъ съ тѣхъ поръ растеряно, но любовь къ жизни уцѣлѣла, несмотря на удары, испытанія, даже униженія. Въ отвращеніи къ тяжелымъ положеніямъ, въ которыя неизбѣжно ставитъ дѣйствительность, въ крайней требовательности безупречной чистоты всѣхъ отношеній при теперешнихъ условіяхъ—лежитъ, казалось ей, великая ошибка: нужно многимъ попуститься, сдѣлать уступки, принять на себя страданіе. Нужно отрѣшиться отъ холодной пассивной чистоты, чтобы жить съ чужими грѣхами, ошибками, съ горемъ и слезами. Только непремѣнно жить съ людьми, растворяться въ потокѣ другихъ жизней, участвовать въ общихъ заботахъ и дѣлахъ безъ сухихъ правилъ, безъ прописной морали, руководясь сердцемъ: оно проведетъ къ возможной святости черезъ всѣ мытарства и защититъ отъ бѣдъ щитомъ своей любви.

— Туда! Туда!—вскричала Вѣра, опять, какъ восемь лѣтъ назадъ, вскакивая съ мѣста и тѣмъ же порывистымъ жестомъ простирая вдаль руки.—Придется оставить навсегда высокомѣрные помыслы—спасать людей и ломать строй окружающей жизни. Теперь я буду считать себя счастливой, если съумѣю хоть кому бы то ни было помочь въ трудномъ положеніи, облегчить какое бы то ни было горе, однимъ словомъ, совершить не подвигъ, а простое проявленіе любви и милосердія, и оживить мое сердце настолько, чтобы оно могло *всѣхъ любить* и *все простить*: въ этой простой формулѣ собрались результаты всей моей духовной жизни—вся премудрость многолѣтней работы головы, все живое чувство сердца...

Надежда Суслова.

ДЖОНЪ РЁСКИНЪ

1819 — 1900.

I.

Со смертью Джона Рёскина Англія лишилась одного изъ вліятельныхъ „учителей“ жизни. Имя его ставится на-ряду съ именемъ его великаго учителя, Томаса Карлейля. Англія конца XIX-го вѣка со всѣмъ тѣмъ, что̀ дѣлаетъ ея внутреннюю жизнь столь привлекательной для остальной Европы, обязана нѣсколькимъ идеалистамъ-мыслителямъ, вокругъ которыхъ группировались и литература, и художественное творчество. Рёскинъ, несомнѣнно, одинъ изъ такихъ избранниковъ. Родившись въ 1819 году, онъ умеръ въ 1900; писать началъ онъ очень рано: еще въ 1835 году, т.-е. шестнадцати лѣтъ, Рёскинъ писалъ статьи по геологіи, архитектурѣ и искусству, и уже въ нихъ сказывается проповѣдническая нота. Съ конца восьмидесятыхъ годовъ, Рёскинъ, жившій въ уединеніи въ своемъ изящномъ помѣстьѣ Брантвудъ, на берегу Конистонскаго озера, ничего болѣе не писалъ и даже принималъ мало участія въ общемъ теченіи жизни. Приступы органической мозговой болѣзни гораздо ранѣе вычеркнули его изъ списка живыхъ силъ, гораздо прежде, чѣмъ онъ умеръ физически. Но все же, и за вычетомъ долгихъ лѣтъ болѣзни, плодотворная жизнь Рёскина длилась около полувѣка и охватываетъ какъ разъ тотъ періодъ времени, когда Англія стала во главѣ европейскаго искусства и сдѣлалась родиной идей, которыми и по сю пору питается такъ называемая молодая литература, также какъ и современное искусство. Было время, когда Рёскинъ считался созидателемъ и вдохновителемъ искусства, со-

вершившаго переворотъ въ пониманіи прекраснаго. Его считали основателемъ прерафаэлитизма и позднѣйшихъ, вытекающихъ изъ него, направленій. Это фактически невѣрно—онъ сталъ пропагандировать и защищать Россети, Гольма Гента и другихъ членовъ прерафаэлитскаго братства тогда, когда они уже сплотились въ союзъ, совершенно помимо теоретическихъ взглядовъ Рёскина; послѣдній сталъ лишь ихъ толкователемъ среди общества, недостаточно подготовленнаго для пониманія новыхъ принциповъ художественнаго творчества. Можно сказать, напротивъ того, что прерафаэлиты создали Рёскина. Они дали ему почву для примѣненія его отвлеченныхъ понятій къ дѣйствительности, дали возможность доказывать на живыхъ примѣрахъ свои этическо-эстетическія теоріи. Рёскинъ не породилъ прерафаэлитизма, но есть тѣсное взаимодѣйствіе между художественнымъ творчествомъ Россети и его школы—и идейной пропагандой Рёскина. Впослѣдствіи эта связь нѣсколько ослабѣла. Когда англійская живопись стала все болѣе отходить отъ сюжетовъ, дорогихъ сердцу Рёскина, когда задачи освѣщенія и колорита стали почти исключительно занимать художника не только въ ландшафтѣ, но и во всѣхъ областяхъ живописи,—Рёскинъ, со свойственнымъ ему увлеченіемъ, выступилъ противъ художниковъ-новаторовъ. Онъ, открывшій Тёрнера, понявшій всю геніальность его солнечныхъ „симфоній", возмутился противъ Уистлера и объявилъ въ своемъ изданіи „Fors Clavigera", что „нужно имѣть наглость американца, чтобы требовать двѣ тысячи рублей за полотно, на которое опрокинутъ горшокъ съ красками". Уистлеръ, какъ истый американецъ, принялъ практическія мѣры противъ критика, и затѣялъ процессъ, кончившійся присужденіемъ Рёскина къ уплатѣ одного farthing'а. Издержки процесса доходили до нѣсколькихъ сотъ фунтовъ, но были уплачены почитателями Рёскина. Тѣмъ не менѣе, не пострадавъ матеріально, Рёскинъ былъ чрезвычайно раздраженъ этимъ процессомъ. Съ тѣхъ поръ—процессъ относится къ концу семидесятыхъ годовъ—Рёскинъ еще болѣе чувствовалъ себя въ антагонизмѣ со всѣми. Его почитатель и біографъ, Шпильманъ, разсказываетъ, какъ въ разговорѣ Рёскинъ уклонялся отъ выраженій своихъ мнѣній о современныхъ художникахъ и въ особенности, конечно, объ Уистлерѣ,—иронически заявляя, что не хочетъ навлечь на себя новый процессъ.

Но несмотря на то, что воинственность и проповѣдничество, составлявшее вторую натуру Рёскина, заставляли его вѣчно быть въ рядахъ оппозиціи—то противъ академической рутины, то противъ слишкомъ индивидуальнаго художественнаго творчества,—

его значеніе—въ томъ, что именно онъ, а не кто-либо другой, сдѣлалъ возможнымъ распространеніе въ Англіи, а оттуда и въ другихъ странахъ—новаго искусства. Онъ умѣлъ создавать настроеніе въ обществѣ. Въ немъ самомъ было такъ много связи съ коренными свойствами англійскаго духа, что изъ его устъ проповѣдь эстетики, какъ принципа жизни, проникала во всѣ слои англійскаго общества, и въ значительной степени видоизмѣнила всю жизнь Англіи. Были въ Англіи великіе художники уже въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго вѣка. Во главѣ живописи XIX-го вѣка стоятъ англичане — Рейнольдсъ, Генсборо, Гогартъ, Лауренсъ и другіе. Но ихъ картины не отражались на жизни. Англійская аристократія платила за нихъ громадныя деньги, украшала ими свои великолѣпные дворцы— но Англія продолжала справедливо считаться страной безвкусія. Въ обиходѣ домашней жизни, въ костюмахъ, въ общественныхъ зданіяхъ царила тяжеловѣсность, отсутствіе гармоніи, преобладаніе удобства, пользы—надъ красотой и одухотворенностью. Памятники старины приходили въ упадокъ; Лондонъ украшался такими безвкусными сооруженіями, какъ статуя принца Альберта въ Гайдъ-Паркѣ. Для того, чтобы искусство стало не чѣмъ-то отдѣльнымъ отъ жизни, а органической ея частью, нужно было преобразовать вкусъ общества, заставить его понимать прекрасное не какъ роскошь, составляющую привилегію богатства, а какъ необходимость для каждаго человѣка во внѣшней—и во внутренней жизни. Если англійскіе прерафаэлиты и послѣдователи ихъ достигли этого переворота, если ихъ творчество не только обогатило галереи, но и сдѣлало жизнь Англіи болѣе эстетичной, то заслуга въ этомъ отношеніи принадлежитъ Рёскину, его неустанной проповѣди, доходившей до крайностей, иногда до абсурда, въ своихъ требованіяхъ, но, быть можетъ, тѣмъ самымъ и достигнувшей цѣли. Заслуга Рёскина такимъ образомъ прежде всего—историческая. Многое изъ того, чему онъ училъ, кажется теперь банальной истиной, общими мѣстами. Среди его идей есть много и совершенно ложныхъ, но общій духъ его проповѣди, а также умѣнье убѣждать, вести за собой цѣлую страну, распространять свои мысли во всѣхъ классахъ населенія, быть понятнымъ и близкимъ всѣмъ, несмотря на полную непрактичность, иногда даже утопичность его идей—все это дѣлаетъ Рёскина однимъ изъ цѣнныхъ носителей духовной культуры. Быть популярнымъ, имѣть вліяніе, говоря противъ всего, что ведетъ къ непосредственной пользѣ—и достигнуть этого въ столь практичной и эгоистичной странѣ, какъ Англія—эту, ка-

залось бы, неисполнимую задачу Рёскинъ исполнилъ съ полнымъ успѣхомъ. Нельзя поэтому относиться къ нему съ той пренебрежительностью, какую онъ теперь вызываетъ иногда въ художникахъ и критикахъ, уже далеко опередившихъ его идеи, желанія и вкусы.

Вліяніе Рёскина въ Англіи объясняется гораздо болѣе общимъ духомъ его ученія, чѣмъ правильностью его теорій. Это всегда нужно имѣть въ виду при оцѣнкѣ его своеобразной личности. Всей своей жизнью и всѣми свойствами своего художественнаго темперамента онъ былъ англичанинъ. Онъ всегда чувствовалъ себя пророкомъ, человѣкомъ, призваннымъ исполнить возложенную на него миссію, и самъ поэтому вѣрилъ въ чрезвычайную важность всего того, что̀ писалъ и что̀ говорилъ съ каѳедры. Безъ полной искренности этой вѣры въ себя, его частое самовосхваленіе могло бы казаться суетнымъ тщеславіемъ. Въ одномъ изъ позднихъ изданій своего перваго произведенія, „Modern Painters", Рёскинъ постоянно дѣлаетъ примѣчанія внизу страницъ, настаивая на важности, вѣрности и совершенствѣ сказаннаго въ текстѣ. Такія замѣчанія, какъ: „великолѣпный выводъ", „чрезвычайно важная истина", „все содержаніе этой главы вполнѣ хорошо", и т. д., проходятъ черезъ всю книгу. Онъ часто, по всякому поводу, говоритъ о важности своей миссіи, и даже жалуется на то, что на него возложена тяжкая обязанность — научить людей правдѣ. Ему было около шестидесяти лѣтъ, когда онъ слѣдующими словами говорилъ о своемъ творчествѣ: „Закрѣпляя, страница за страницей, истину, открывавшуюся мнѣ, я такъ же мало зналъ то, что̀ будетъ сказано дальше, какъ не знаетъ листокъ, какова будетъ форма его плода". Въ своихъ періодическихъ письмахъ къ рабочимъ („Fors Clavigera"), гдѣ онъ возвѣщалъ евангеліе труда, онъ пишетъ: „Кто я таковъ, чтобы быть призваннымъ стать вождемъ людей?.. Я этого не желаю... Я принужденъ къ этому противъ своей воли... Выросшій въ роскоши, которая — я это ясно вижу — была пагубной для меня и несправедливой относительно другихъ, я только сомнѣвающійся, неразумный человѣкъ, скиталецъ въ жизни среди бурныхъ страстей; и все же я — тростникъ, колеблемый вѣтромъ — долженъ принять возложенную на меня миссію". Въ устахъ всякаго другого писателя объ искусствѣ такой тонъ вызвалъ бы улыбку; но для Рёскина пророческій тонъ является основой его ученія и объясняетъ силу его воздѣйствія на другихъ. Онъ потому ставилъ красоту выше всего въ жизни,

и потому считалъ служеніе ей священнымъ долгомъ для людей, что связывалъ ее съ религіей и нравственностью.

II.

Религіозное воспитаніе въ строгой пуританской семьѣ и прирожденная любовь къ природѣ — вотъ основные два элемента творчества Рёскина. Благодаря имъ, онъ былъ тѣсно связанъ съ національной жизнью Англіи, могъ съ полнымъ довѣріемъ говорить, обращаясь ко всѣмъ классамъ населенія, находя у всѣхъ пониманіе и сочувствіе. Родители Рёскина—пуритане шотландскаго происхожденія. Отецъ его былъ богатый коммерсантъ, чрезвычайно любившій искусство. Роль пророка красоты, основателя художественныхъ школъ и богатѣйшихъ коллекцій, организатора художественной жизни Англіи, значительно облегчалась для Рёскина тѣмъ, что онъ получилъ въ наслѣдство отъ отца милліонное состояніе. Отецъ развивалъ и въ немъ любовь къ прекраснымъ произведеніямъ искусства и рано началъ обращать его вниманіе на красоты природы. Мать Рёскина, простая женщина религіознаго склада ума, истая шотландка по своему нѣсколько сухому пониманію долга и строгому соблюденію религіозныхъ обрядовъ, была единственной учительницей своего сына до двѣнадцати лѣтъ. Онъ выросъ въ очень строгой обстановкѣ, и съ дѣтства привыкъ преклоняться передъ велѣніями нравственнаго долга. Вѣрность принципамъ оставалась въ этой пуританской семьѣ выше всякихъ внушеній чувства;—эта сухость безрадостнаго служенія долгу отразилась во всей дальнѣйшей дѣятельности Рёскина и объясняетъ въ нѣкоторой степени его догматизмъ. Мать не позволяла себѣ обнаруживать свою любовь къ сыну, воспитывала его съ большою строгостью, несмотря на то, что въ дѣтствѣ и въ юности Рёскинъ былъ очень слабъ здоровьемъ. Въ двадцатилѣтнемъ возрастѣ ему грозила смерть отъ чахотки. Но художественный темпераментъ Рёскина не заглохъ въ этой обстановкѣ. Скромная жизнь зимою въ Лондонѣ, а лѣтомъ въ деревнѣ, въ гостяхъ у родственниковъ, рано развила у мальчика даръ наблюдательности. Играя въ большомъ саду около родительскаго дома, онъ еще ребенкомъ съ любовью наблюдалъ за жизнью природы, изучалъ нравы насѣкомыхъ въ саду, игру облаковъ на небѣ... Въ деревнѣ, въ особенности въ Шотландіи, куда его иногда возили, онъ научился любить ручьи и холмы, и самъ вспоминалъ впослѣдствіи, какой восторгъ воз-

будилъ въ немъ въ первый разъ видъ синихъ холмовъ, о которыхъ онъ прежде только мечталъ по разсказамъ матери и по дѣтскимъ книгамъ. Отецъ Рёскина, представитель фирмы, торговавшей испанскими винами, дѣлалъ частыя путешествія по различнымъ графствамъ Англіи и бралъ съ собою сына. Проводя цѣлые дни среди природы, — они путешествовали, конечно, въ коляскѣ, такъ какъ это было задолго до желѣзныхъ дорогъ, — Рёскинъ знакомился съ природой Англіи, любовался архитектурой англійскихъ замковъ, и эти дѣтскія впечатлѣнія падали на благодарную почву. Онъ съ дѣтства велъ дневникъ, въ который точно заносилъ всѣ свои ощущенія, и научился присматриваться ко всѣмъ подробностямъ пейзажа. Впослѣдствіи, когда отецъ, имѣвшій вначалѣ очень скромныя средства, пріобрѣталъ все болѣе крупное состояніе,—путешествія маленькой семьи не ограничивались предѣлами Англіи. Рёскинъ съ родителями, а потомъ съ друзьями или же совершенно одинъ, жилъ подолгу въ Италіи, и лишь гораздо позже, въ сороковыхъ годахъ, поселился въ Англіи, окончательно возстановивъ здоровье и подготовленный къ своей писательской дѣятельности основательнымъ изученіемъ искусства и естественныхъ наукъ. Одновременно съ развитіемъ художественнаго чувства, въ немъ укрѣплялась воспитанная съ дѣтства религіозность. Однимъ изъ самыхъ неизгладимыхъ впечатлѣній дѣтства были для Рёскина воскресныя богослуженія. Онъ самъ описалъ молельню, въ которую его водили по воскресеньямъ — нѣчто вродѣ продолговатаго сарая съ плоской крышей и галереями на желѣзныхъ подпорахъ по обѣимъ сторонамъ. Сидѣнія были деревянныя. Для проповѣдника было устроено нѣчто вродѣ ящика на четырехъ ножкахъ. Когда проповѣдь казалась скучноватой мальчику, онъ развлекался видомъ красивой красной бархатной подушки, лежавшей передъ пасторомъ. Онъ любилъ наблюдать за переливами красокъ на мягкихъ складкахъ бархата, когда энергичный пасторъ ударялъ кулакомъ о подушку, чтобы придать больше внушительности своимъ доводамъ. Будущій эстетикъ сказывался въ этомъ дѣтскомъ развлеченіи.

Рёскинъ сталъ писать очень рано. Первыя его статьи въ „Magazine of Natural history“ (1835 г.) относились къ геологіи, и только въ иллюстраціяхъ сказывалась художественная жилка шестнадцатилѣтняго юноши. Послѣ того, занявшись очень основательно архитектурой и искусствомъ вообще, онъ сталъ писать подъ псевдонимомъ: Kata Phusin, въ „Architectural Magazine“ (1837 г.). Этимъ юношескимъ произведеніямъ онъ приписы-

валъ серьезное значеніе, и уже въ старости, въ 1892 г., издалъ ихъ отдѣльнымъ томикомъ (Poetry of architecture). Серьезная писательская дѣятельность Рёскина начинается съ 1842 года. Тогда появились первыя статьи о Тёрнерѣ, сдѣлавшія знаменитымъ молодого писателя и сразу поднявшія славу уже восьмидесяти-шестилѣтняго художника, не признаваемаго до того времени въ Англіи. Вслѣдъ за этими статьями Рёскинъ приступилъ къ капитальному труду своей жизни: „Современные художники“ — „Modern Painters“, большому, пятитомному произведенію, законченному лишь въ 1850 году. На этой книгѣ основана слава Рёскина, въ ней изложены его эстетическіе взгляды, и все, что̀ онъ писалъ впослѣдствіи, сводится къ дальнѣйшему развитію этихъ основныхъ идей. Заслуга Рёскина передъ англійскимъ искусствомъ заключается въ томъ, что онъ открылъ Тёрнера. „Тёрнеръ—raison d'être Рёскина“, — говорилъ одинъ критикъ. Но для Англіи вообще и для эстетическаго развитія всей остальной Европы имѣетъ значеніе не только эта защита непризнаннаго художника, дѣлающая честь художественному пониманію Рёскина, но и та теорія красоты, которую онъ очень пространно и увлекательно излагаетъ въ своей книгѣ. Такъ какъ толчкомъ къ созиданію этой книги явилось творчество Тёрнера, то необходимо разсматривать отношеніе Рёскина къ Тёрнеру и его книгу „Modern Painters“ вмѣстѣ, какъ проявленіе въ теоріи и на практикѣ одной и той же основной мысли.

Тёрнеръ, геніальность котораго признана теперь, какъ въ Англіи, такъ и во всей Европѣ, настолько шелъ въ разрѣзъ со всѣми пріемами, существовавшими въ живописи до него, что нужно было быть такимъ же почти геніальнымъ цѣнителемъ истинно-прекраснаго, какимъ онъ былъ художникомъ, чтобы понять все его значеніе. Тёрнеръ былъ пейзажистъ, и прежде чѣмъ совершить переворотъ въ пейзажной живописи, онъ позаботился о томъ, чтобы стать вполнѣ на высоту общепризнанной тогдашней живописи. До него царилъ псевдо-классическій стиль Клода Лоррена и его школы, прославленіе пасторальной нѣги и классическаго спокойствія. Гроты, обвитые лавромъ, струи водъ, греческіе храмы, сады изображались въ условныхъ очертаніяхъ, среди замкнутыхъ горизонтовъ; индивидуальной передачи природы, какъ она отражается въ непосредственномъ чувствѣ художника, въ картинахъ этого рода не было и не могло быть. Тёрнеръ началъ съ того, что, усвоивъ себѣ этотъ стиль, достигъ въ немъ совершенства. Его картинъ перваго періода нельзя отличить отъ лучшихъ произведеній Клода Лоррена, рядомъ съ

которыми онъ, изъ особаго кокетства, любилъ помѣщать свои собственныя. Пока онъ писалъ въ этомъ духѣ, онъ пользовался огромной славой и пріобрѣлъ большое состояніе. Пятнадцать лѣтъ онъ работалъ, внутренно смѣясь надъ похвалами, которыя ему расточали, и готовясь вступить на совершенно иной путь. Когда же, наконецъ, считая себя достаточно подготовленнымъ въ техническомъ отношеніи, онъ вступилъ на самостоятельный путь, и сталъ передавать природу—такъ, какъ ее понималъ, критика сразу объявила его безумцемъ и отреклась отъ него.

Тёрнеръ прежде всего расширилъ область пейзажной живописи. Прежніе художники замыкались каждый въ своей спеціальности: Рюйсдаль писалъ только водопады и кусты, Пуссенъ—условные горные пейзажи, — Тёрнеръ же сталъ изображать природу во всѣхъ ея разнообразныхъ проявленіяхъ. Онъ завѣщалъ государству послѣ смерти болѣе ста большихъ картинъ и около девятнадцати-тысячъ рисунковъ и эскизовъ; кромѣ того, безконечное количество его картинъ перешло въ частныя руки—и въ этой массѣ пейзажей почти нѣтъ повтореній. Равнины съ безконечнымъ разнообразіемъ деревьевъ и растеній; горы, всевозможныя особенности скалъ, обрывовъ, глетчеровъ, бурныхъ потоковъ и водопадовъ; долины съ мирными озерами, мрачные лѣса, свѣтлые ручьи, бури, туманы, яркій солнечный свѣтъ, жизнь на открытомъ морѣ и у береговъ; поѣзда, мчащіеся днемъ и ночью, морскія битвы, всѣ настроенія въ природѣ, отъ самыхъ мрачныхъ до ликующихъ,—переданы въ картинахъ Тёрнера съ небывалымъ разнообразіемъ индивидуальныхъ особенностей каждой сцены, каждаго пейзажа. Безуміе его, по мнѣнію озадаченныхъ критиковъ,—и величіе его въ глазахъ уразумѣвшаго потомства,—заключается въ томъ, что онъ влюбленъ былъ въ солнце и болѣе всего стремился къ тому, чтобы передать его свѣтъ и всѣ переливы этого свѣта. Чтобы достигнуть полноты впечатлѣнія, онъ никогда не замыкалъ горизонта линіями горъ или деревьевъ, какъ это дѣлаютъ Клодъ Лорренъ, Пуссенъ и др. Его картины сливаются съ безпредѣльной далью, и чтобы усилить силу свѣта, онъ изображаетъ его отраженнымъ въ водѣ, въ морѣ. Самыя замѣчательныя его картины—тѣ, гдѣ нѣтъ земли, а есть только небо, отраженное въ морѣ. Солнечный свѣтъ наполняетъ картины, превращаетъ ихъ въ свѣтовыя симфоніи, поражающія сосредоточенностью, полнотой и смѣлостью передачи всѣхъ подробностей свѣтового ощущенія. И не только яркій свѣтъ, еще болѣе сильный, благодаря отраженію въ водѣ, занималъ Тёрнера, но и всѣ переходы, отъ нѣжныхъ лучей восхода до умирающей

красоты заката, закрѣплены на картинахъ Тёрнера. Одинъ критикъ, прогремѣвшій въ Европѣ своими парадоксами, утверждалъ, что природа идетъ по слѣдамъ искусства, и именно Тёрнеръ „выдумалъ закаты солнца". Конечно, эти слова не что иное, какъ парадоксъ. Тёрнеръ ничего не выдумалъ, но онъ открылъ въ природѣ красоты, которыхъ никто до него не видѣлъ, и нашелъ въ своемъ геніальномъ воображеніи краски, достаточно сильныя и выразительныя, чтобы воспроизвести, казалось бы, невозможное, гармонію солнечнаго свѣта, изображенную въ себѣ самой, а не только такъ, какъ она отражается на земныхъ предметахъ. Прежніе пейзажисты писали землю, и небо было для нихъ лишь источникомъ тѣхъ перемѣнъ, которыя различное освѣщеніе производитъ на предметахъ и фигурахъ. Тёрнеръ завоевалъ для живописи небо, облака, лучи солнца, и отразилъ эту вѣчно живую красоту во всемъ ея разнообразіи. По силѣ воображенія и поэзіи красокъ, Тёрнера справедливо сравниваютъ съ Шелли и Байрономъ. Онъ относится къ разряду великихъ идеалистовъ, которые свободно живутъ въ облакахъ, не чувствуя ни малѣйшаго напряженія, не становясь ходульными и риторичными. Тёрнеръ былъ и великимъ мечтателемъ, или, вѣрнѣе, сновидцемъ. Въ нѣкоторыхъ картинахъ онъ перестаетъ быть изобразителемъ существующаго, того, что доступно глазу на землѣ или на небесахъ, и воплощаетъ въ краскахъ свои грёзы, сказочный міръ небывалыхъ, но гармоничныхъ сочетаній красокъ и свѣта. Онъ любилъ изображать борьбу стихійныхъ силъ, борьбу человѣческихъ силъ со стихіями,—„Пожаръ на морѣ", „Пароходъ во время бури", „Поѣздъ желѣзной дороги подъ дождемъ и вѣтромъ",—или же чисто фантастическія симфоніи красокъ, какъ большинство его венеціанскихъ картинъ и цѣлый рядъ сказочныхъ пейзажей, окутанныхъ золотымъ сіяніемъ. Поэзія и красота этихъ золотыхъ грёзъ, обогатившихъ искусство небывалыми гармоніями красокъ, явились слишкомъ неожиданно, чтобы сразу покорить себѣ сочувствіе публики, воспитанной въ традиціяхъ болѣе условной и тусклой пейзажной живописи. Кромѣ того, самъ художникъ не возбуждалъ къ себѣ симпатіи. Тёрнеръ, въ особенности въ послѣднюю геніальную пору творчества, возмущалъ своимъ безпорядочнымъ образомъ жизни, слонялся подъ разными вымышленными именами въ закоулкахъ Лондона, сторонился отъ всѣхъ, отталкивалъ даже близкихъ людей своей грубостью; онъ умеръ не дома, а гдѣ-то въ жалкой лачужкѣ на берегахъ Темзы, гдѣ хозяйка знала его подъ вымышленнымъ именемъ.

Таковъ человѣкъ и художникъ, въ защиту котораго высту-

пилъ Рёскинъ, которому было тогда двадцать-три года. Любовь къ искусству вытекала у него прежде всего изъ безконечной любви къ природѣ; онъ изучилъ ее научно—геологія, минералогія и ботаника были постоянными предметами его серьёзныхъ работъ,—и наблюдалъ ее во всѣхъ проявленіяхъ и подробностяхъ чуткимъ и любящимъ взоромъ художника. Въ Тёрнерѣ онъ увидѣлъ своего единомышленника, художника, который съ геніальной смѣлостью смогъ воплотить на полотнѣ неописуемое, потому что ему открылся духъ природы и онъ умѣлъ читать въ ней, какъ въ душѣ близкаго друга, умѣлъ созерцать борьбу стихій въ самые величественные моменты. Критики, знавшіе природу только по наслышкѣ, не могли понять внутреннюю правду закатовъ и облаковъ Тёрнера; — Рёскину, такому же знатоку и цѣнителю природы, какъ Тёрнеръ, она сразу стала близкой и понятной. Свою защиту оклеветаннаго художника онъ построилъ на объясненіи того, какъ глубоко поняты Тёрнеромъ и природа, и задачи искусства. Эстетическое ученіе Рёскина нашло твердую почву въ картинахъ Тёрнера. Ему не пришлось начать съ отвлеченной проповѣди того, чѣмъ долженъ быть художникъ. Передъ нимъ было живое искусство, удовлетворяющее его своими стремленіями, и ему оставалось выяснить достоинства Тёрнера, показавъ на примѣрѣ его картинъ, къ чему долженъ стремиться художникъ. Пейзажи Тёрнера съ ихъ сочетаніемъ фантазіи и вѣрнаго изображенія подробностей, впервые увидѣнныхъ Тёрнеромъ въ облакахъ, на землѣ и въ переходахъ солнечнаго свѣта, послужили Рёскину исходнымъ пунктомъ для выясненія идеальныхъ соотношеній между искусствомъ и природой: „Высокое искусство, — говорилъ онъ на основаніи пейзажей Тёрнера,— состоитъ не въ томъ, чтобы видоизмѣнять или поправлять что-нибудь въ природѣ, а въ томъ, чтобы отыскивать въ царствѣ природы то, что̀ въ ней привлекательно и высоко, возлюбить все это и представлять сокровенную прелесть природы наиболѣе сильно, а также въ томъ, чтобы обращать мысли другихъ на эти красо̀ты, съ любо̀вью выдѣляя ихъ... Искусство становится тѣмъ болѣе возвышеннымъ, чѣмъ больше любви къ красотѣ обнаруживаетъ художникъ, конечно если онъ при этомъ не уклоняется отъ правды“.

III.

Тёрнеръ помогъ Рёскину утвердиться въ своемъ пониманіи красоты. Показавъ на его примѣрѣ, какую роль пониманіе при-

роды играетъ въ искусствѣ, Рёскинъ въ „Modern Painters“ излагаетъ полностью свою эстетику, основанную на соотношеніяхъ красоты съ религіей и нравственностью. Любовь къ природѣ потому необходима художнику, что природа—откровеніе Бога. Искусство только тогда достигаетъ цѣли, когда впечатлѣнія внѣшнихъ чувствъ являются отраженіемъ божественнаго начала. Искусство—служеніе Богу; картина—молитва, славящая Творца. Таково основное положеніе Рёскина. Онъ выступилъ яростнымъ противникомъ такъ называемаго искусства для искусства, т.-е. всякаго исканія ощущеній для ощущеній, какъ бы они ни были красивы или разнообразны, если они не имѣютъ отношенія къ нравственному міру человѣка, если художникъ обращается только къ изощреннымъ внѣшнимъ чувствамъ, а не учитъ любви и стремленію къ высшему совершенству. Для него искусство - отвѣтственное и высокое призваніе, а не развлеченіе, не болѣе или менѣе пріятное времяпрепровожденіе. Назначеніе человѣка— быть свидѣтелемъ Бога на землѣ; истинное искусство должно всегда служить этой же цѣли.

Связавъ искусство съ религіей и нравственностью, Рёскинъ далъ опредѣленіе самой сущности современнаго пониманія искусства. Если теперь говорятъ о символическомъ искусствѣ, то именно въ этомъ смыслѣ, т.-е. какъ объ образахъ, непремѣнно взятыхъ изъ дѣйствительности и непремѣнно отражающихъ вѣчныя истины. Оригинальное пониманіе задачъ искусства сказывается у Рёскина прежде всего въ томъ, что терминъ: „эстетическое чувство“, онъ замѣняетъ названіемъ: „теоретическое чувство“, какъ такое, которое ведетъ къ правильному пониманію прекраснаго. Эстетика, по смыслу греческаго слова, обозначаетъ нѣчто воспроизводимое исключительно внѣшними чувствами. Эту красоту Рёскинъ считаетъ второстепенной. Истинная же красота— та, которая прошла черезъ познаніе и отражаетъ доступное не внѣшнимъ чувствамъ, а высшему умственному и нравственному пониманію. „Прекрасное относится къ области нравственности, такъ же, какъ и интеллектуальнаго пониманія, а не только къ чувственнымъ воспріятіямъ“. Этимъ принципомъ Рёскинъ обосновываетъ теорію символическаго искусства, какъ самаго высокаго, потому что оно не только воспроизводитъ внѣшнія красоты бытія, а будитъ сознаніе связи всего видимаго съ незримой и вѣчной основой міра. Красота для него священна не потому, что она радуетъ взоръ и слухъ, а потому, что она отражаетъ божественный смыслъ видимаго міра. „Необходимо,—говоритъ Рёскинъ, — чтобы чувственное удовольствіе, которое лежитъ въ

основѣ идеи красоты, сопровождалось прежде всего радостнымъ чувствомъ, затѣмъ любовью къ прекрасному, затѣмъ пониманіемъ благости высшаго, разумнаго начала, управляющаго твореніемъ, и, наконецъ, благодарностью и благоговѣйнымъ преклоненіемъ передъ этимъ высшимъ началомъ. Понятіе о прекрасномъ является лишь тогда, когда всѣ эти элементы на лицо. Безъ нихъ также нельзя понять прекраснаго, какъ нельзя составить себѣ понятіе о письмѣ только по красивому почерку и запаху духовъ, пропитывающему бумагу, не понявъ содержанія и цѣли самаго письма. Всѣ эти чувства не могутъ быть почерпнуты только изъ одного источника разума; очевидно, поэтому, что понятіе о прекрасномъ составляется не только изъ чувственныхъ воспріятій, но и не только изъ внушеній разума. Оно зависитъ отъ чистоты души, отъ ея нравственной высоты и ея искренности".

Въ этихъ словахъ говорится, въ сущности, не о томъ, къ чему художникъ долженъ стремиться въ своихъ произведеніяхъ, а о той нравственной подготовкѣ, которая необходима для пониманія и воплощенія прекраснаго въ природѣ. Рёскинъ вѣрно опредѣлилъ атмосферу, въ которой созидается высокое въ искусствѣ. Весь опытъ прошлаго, также какъ и все, чего достигли лучшіе изъ художниковъ-идеалистовъ послѣ Рёскина, создано было именно благодаря пониманію красоты, какъ отраженія божественнаго искусства, какъ пути, ведущаго къ пониманію смысла жизни. Когда фра-Анжелико приступалъ съ молитвой къ изображенію своихъ ангеловъ и небесныхъ хороводовъ; когда, уже совсѣмъ не наивный, а понимавшій бездны добра и зла Леонардо да-Винчи воплощалъ тайны міра въ улыбкѣ Джіоконды; когда Рембрандтъ въ мучительныхъ контрастахъ свѣта и тѣней воплощалъ стихійную борьбу въ душѣ человѣка,—всѣ они, какъ и другіе великіе мастера, воспринимали прекрасное „съ чистой, открытой и устремленной на вѣчное благо" душой, о которой говоритъ Рёскинъ въ своемъ опредѣленіи красоты. „Прекрасное,—говоритъ Рёскинъ въ другомъ мѣстѣ,—не что̀ иное, какъ сосредоточенное безкорыстное и полное любви отношеніе къ нашимъ ощущеніямъ красоты; благодаря ему, все, что̀ само по себѣ безсодержательно, ложно, или зависитъ только отъ обстоятельствъ времени и личнаго темперамента, можетъ быть отдѣлено отъ того, что̀ вѣчно".

Сущность ученія Рёскина заключается въ этихъ опредѣленіяхъ, въ томъ, что онъ поднялъ значеніе искусства на подобающую ему высоту, связавъ его съ религіознымъ чувствомъ (конечно, внѣ всякаго служенія какому-нибудь опредѣленному

церковному догмату) и высшею нравственностью, направленной не на исканіе непосредственной человѣческой пользы, а на то, чтобы способствовать уразумѣнію высшаго назначенія человѣка. Къ основнымъ принципамъ его теоріи и къ тѣмъ, которые сохранили неприкосновенное значеніе, относится и его пониманіе пользы, къ которой должно стремиться искусство. Говоря, что искусство должно быть нравственно, онъ тѣмъ самымъ утверждаетъ, что оно должно стремиться къ пользѣ, но понимаетъ это слово въ совершенно иномъ смыслѣ, чѣмъ обыкновенно. Люди въ неустанной борьбѣ за существованіе выработали чисто матеріальное представленіе о пользѣ; они понимаютъ подъ этимъ словомъ то, что̀ дѣлаетъ непосредственную жизнь болѣе легкой и пріятной, совершенно помимо того, какъ эта легкость и пріятность отзывается на исполненіи человѣкомъ его высшаго назначенія. Но Рёскинъ считаетъ гораздо болѣе высокимъ и, слѣдовательно, по его терминологіи, болѣе полезнымъ то, что̀ въ наукѣ и искусствѣ—безполезно, т.-е. непримѣнимо къ жизни, а важно, какъ свидѣтельство славы Божіей. Въ изученіи великихъ явленій природы онъ отличаетъ то, что̀ „желанно для ангеловъ", а для насъ только отчасти, т.-е. теоретическое познаваніе, второстепеннымъ результатомъ котораго уже является примѣненіе къ потребностямъ людей. Красота горныхъ потоковъ, величественность ихъ бурнаго теченія кажется ему болѣе значительнымъ, чѣмъ то, что они орошаютъ поля. Огонь вулкановъ самъ по себѣ болѣе „полезенъ", чѣмъ золото, которое добываютъ люди въ горахъ, и травы выполняютъ свое назначеніе не тѣмъ, что исцѣляютъ болѣзни. Практическая польза природы для человѣка болѣе понятна для людей, не умѣющихъ возвыситься до пониманія бытія, какъ отраженія божественной идеи, но человѣчество должно стремиться къ пониманію пользы въ безкорыстномъ смыслѣ этого слова, къ тому, чтобы и въ наукѣ предпочитать ея теоретическую сторону—практической. Рёскинъ устанавливаетъ такимъ образомъ іерархію и въ области науки, руководствуясь принципомъ пользы божественной, стоящей выше, чѣмъ польза человѣческая. Тѣмъ болѣе, конечно, іерархія эта ясна для него въ искусствѣ. Здѣсь онъ рѣшительно ставитъ теоретическое начало выше практическаго, и тѣ искусства, которыя наиболѣе независимы отъ жизненныхъ потребностей, наименѣе связаны съ практической пользой, кажутся ему безконечно выше остальныхъ. Живопись и скульптуру онъ ставитъ поэтому выше всѣхъ другихъ искусствъ, а наслажденіе, создаваемое теоретической способностью, выше всѣхъ чувственныхъ наслажденій. Послѣднія

подчинены жизни и являются орудіями жизни, между тѣмъ какъ первыя ведутъ къ пониманію цѣли жизни и имѣютъ значеніе и смыслъ сами по себѣ, а не играютъ служебную роль, подобно чувственнымъ удовольствіямъ.

IV.

Это отдѣленіе божественной пользы отъ пользы человѣческой и проистекающая отсюда теорія искусства, какъ безкорыстнаго служенія только нравственнымъ, самодовлѣющимъ цѣлямъ, вноситъ переворотъ въ пониманіе искусства. Проповѣдуя искусство для Бога, Рёскинъ сталъ величайшимъ антагонистомъ искусства для искусства. Все дальнѣйшее развитіе его основныхъ мыслей,—опредѣленіе воображенія, какъ способности раскрывать отраженные въ ней источники видимой красоты, разграниченіе истиннаго искусства отъ ложнаго, опредѣленіе различныхъ типовъ красоты,—полно догматизма, и въ своемъ узкомъ слѣдованіи одной основной мысли приводитъ часто къ совершенно ложнымъ выводамъ. Помня, что искусство должно стремиться къ отраженію божественной идеи, онъ различаетъ два типа красоты—красоту божественную, или какъ онъ ее называетъ—типичную (Typical Beauty), потому что въ ней воплощены типичные аттрибуты божества: безконечность, единство и покой,—и затѣмъ этой красотѣ онъ противопоставляетъ красоту жизненную (Vital Beauty), т.-е. ту, которая является только тогда, когда живыя существа выполнили свое назначеніе, когда они воплотили блаженство праведной жизни. Только эти два типа красоты онъ называетъ теоретическими, т.-е. нравственными, и находитъ ихъ въ лучшихъ образцахъ искусства всѣхъ временъ. При этомъ ему приходится главнымъ образомъ говорить о томъ, какъ идеальные въ его смыслѣ художники понимали и изображали природу, а также говорить о самыхъ красотахъ природы.

Въ Англіи Рёскинъ считается однимъ изъ величайшихъ стилистовъ, и его описаніе горъ, облаковъ и различныхъ зрѣлищъ природы въ „Modern Painters“ вызываетъ всеобщіе восторги. Но, перечитывая эти знаменитыя страницы, читатель испытываетъ нѣкоторое разочарованіе, находя въ нихъ очень много риторичности, или же, когда Рёскинъ вдается въ подробности—излишнюю научность, изобиліе терминологіи. Рёскинъ хотѣлъ научить художниковъ съ величайшей любовью относиться къ малѣйшимъ подробностямъ въ природѣ, изучать каждую

травку съ благоговѣніемъ. Примѣръ картинъ прерафаэлитовъ показываетъ, что этого рода высшій реализмъ, связанный съ благоговѣйностью настроенія, даетъ въ искусствѣ блестящій результатъ. Но въ его собственныхъ описаніяхъ есть несомнѣнное утомительное однообразіе и не всегда умѣстный паѳосъ проповѣдника. Еще болѣе ложными оказываются мнѣнія Рёскина, когда, критикуя искусство, построенное только на чувственныхъ воспріятіяхъ, онъ отрицаетъ значеніе индивидуальнаго вкуса, говоритъ объ отвлеченной идеѣ прекраснаго. Лишь то прекрасно, по его словамъ, что̀ понятно, доступно всѣмъ. Правильность вкуса обусловливается общностью его для всѣхъ; всякое тяготѣніе къ обособленному Рёскинъ считаетъ ложнымъ, также какъ и всякое увлеченіе и развитіе до крайности какой-нибудь одной области ощущеній. Еще до знаменитаго опредѣленія: „прекрасное —это рѣдкое“ (le beau c'est le rare), до современныхъ симфоній красокъ и запаховъ, Рёскинъ такимъ образомъ въ принципѣ осудилъ всякую слишкомъ индивидуальную красоту. Онъ какъ бы писалъ все это противъ будущихъ эстетовъ, дошедшихъ до крайностей въ своемъ культѣ ощущеній. Но, вмѣстѣ съ протестомъ противъ крайностей, онъ тутъ возстаетъ и противъ истинно прекраснаго, противъ всего того, что̀ художники съ изысканнымъ вкусомъ создавали въ строгомъ исканіи красоты, но въ разрѣзъ со вкусами толпы. Въ своемъ догматическомъ увлеченіи Рёскинъ даже совершенно не считается съ античнымъ греческимъ искусствомъ, потому что оно не отвѣчаетъ его представленію о двухъ типахъ прекраснаго. Проповѣдывать, какъ это дѣлаетъ Рёскинъ, авторитеты въ области красоты, ставить отвлеченные принципы выше вкуса, отрицать индивидуальность и вносить своего рода сектантскій догматизмъ въ искусство—значитъ, убивать всякое свободное творчество. Къ счастью, эта сторона эстетическихъ воззрѣній Рёскина не привилась въ искусствѣ. Нѣтъ среди современныхъ художниковъ вѣрныхъ послѣдователей его ученія о красотѣ „типической“ и „жизненной“. Но то, что̀ есть вѣрнаго въ ученіи Рёскина, т.-е. его опредѣленіе духовной атмосферы, въ которой должно жить искусство, привилось и придаетъ глубокое значеніе его проповѣди.

V.

Все, что̀ Рёскинъ писалъ послѣ „Modern Painters“, является развитіемъ его эстетическихъ, или, по его терминологіи, теоретическихъ идей, примѣненныхъ къ изученію произведеній искус-

ства или къ живой жизни. Книги и лекціи по искусству и исторіи живописи, „Val d'Arno“, „Mornings in Florence“, „English Art“, „Preraphaelitism“, „Art of Drawing“ и другія—имѣютъ несомнѣнное историческое значеніе. Онѣ были для Англіи откровеніемъ невѣдомаго міра красоты. „Мнѣ было дано,—съ полнымъ правомъ утверждалъ Рёскинъ,—убѣдить всѣхъ,—насколько возможно убѣждать въ чемъ-нибудь подобномъ въ нашъ торопливый вѣкъ,—въ значеніи и превосходствѣ пяти великихъ мастеровъ, забытыхъ и непризнанныхъ до того. Это—Тёрнеръ, Тинторетто, Луини, Боттичелли и Карпаччіо“. Послѣ Рёскина слава этихъ старыхъ итальянскихъ мастеровъ возродилась не только въ Англіи, но и по всей Европѣ, и повліяла на современную живопись. Италія XIV и XV вѣковъ стала „родиной души“ для художниковъ нашего времени, и это начало духовнаго родства съ итальянскимъ раннимъ возрожденіемъ связано съ проповѣдью Рёскина. Въ другихъ сочиненіяхъ по искусству Рёскинъ продолжаетъ пророчествовать, и доказываетъ свои отвлеченныя идеи на примѣрахъ художественныхъ произведеній различныхъ временъ. Въ „Stones of Venice“ и „Seven lights of architecture“ онъ устанавливаетъ связь между искусствомъ Венеціи и нравственными побужденіями ея обитателей. Вся исторія Венеціи и ея паденія, отраженная въ памятникахъ искусства, приводится въ зависимость отъ нравственныхъ принциповъ. Рёскинъ подводитъ разные моменты исторіи подъ свои отвлеченныя положенія, и соотвѣтственно съ тѣмъ, находитъ ли онъ въ томъ или другомъ историческомъ лицѣ или моментѣ излюбленные имъ нравственные мотивы, онъ славитъ или безповоротно осуждаетъ искусство, имѣющее отношеніе къ нему. Менѣе всего обѣ эти книги отличаются исторической обоснованностью. Рёскинъ проповѣдуетъ въ нихъ облагораживающій трудъ, безкорыстіе помысловъ, но самъ увлекается своими догматическими классификаціями, большей частью весьма произвольными.

Пониманіе высшей пользы, противопоставленное человѣческому исканію выгоды, Рёскинъ положилъ въ основу цѣлаго ряда политико-экономическихъ книгъ и лекцій, читанныхъ въ Оксфордѣ и для рабочихъ. Въ „Unto the Last“, „Arathra Pentelici“, „Ethics of the Dust“, „Fors Clavigera“ и во множествѣ другихъ книгъ и лекцій, носящихъ часто мистическія, аллегорическія и всегда довольно вычурныя названія, онъ началъ и велъ въ теченіе долгихъ лѣтъ походъ противъ промышленнаго духа Англіи, нападалъ на стремленіе къ наживѣ, превращающее благородный человѣческій трудъ въ недостойную барщину, въ нѣчто

механическое. Онъ требовалъ коренного переустройства условій труда, оздоровленія жизни рабочихъ, и затѣмъ тутъ уже начинается упрямая утопичность его проповѣди—упраздненія всякаго механическаго производства. Онъ защищалъ „права здоровыхъ мускуловъ противъ безнравственности машинъ", металъ громы противъ желѣзныхъ дорогъ, находя, что работа рукъ человѣческихъ лишь тогда будетъ служить славѣ Создателя, когда она будетъ совершаться съ надлежащимъ спокойствіемъ и досугомъ, съ постоянной мыслью о совершенствѣ, а не для достиженія мелкой выгоды. Въ этой проповѣди Рёскина есть большая доля наивнаго романтизма. Во имя красоты природы Рёскинъ требовалъ, чтобы фабричныя трубы не портили пейзажа, чтобы желѣзная дорога не нарушала тихой прелести живописныхъ уголковъ. Помимо утопичности похода противъ культуры, она противорѣчитъ самымъ принципамъ Рёскина. Онъ училъ, что красота есть нѣчто внутреннее, зависящее отъ того, руководитъ ли человѣкомъ, при созерцаніи, въ его трудѣ и поступкахъ, искреннее и твердое исканіе правды. Каковы бы ни были формы жизни, отъ человѣка зависитъ сдѣлать ихъ прекрасными чистотой своихъ помысловъ. Сокращеніе механическаго труда дѣлаетъ къ тому же современнаго человѣка болѣе независимымъ, даетъ больше досуга для творческой работы духа. Добиваясь возврата непремѣнно къ отжившимъ идиллическимъ условіямъ жизни, Рёскинъ забываетъ о связи красоты съ нравственностью, и проповѣдуетъ уже своего рода эстетическій капризъ, эстетизмъ, исканіе красоты во внѣшнихъ формахъ и ощущеніяхъ, т.-е. то, что̀ глубоко противорѣчитъ всему духу его ученія. Кромѣ того, такъ какъ Рёскинъ, врагъ желѣзныхъ дорогъ, самъ пользовался ими въ своихъ путешествіяхъ за-границей и въ самой Англіи, то его враги обвиняли его даже въ фарисействѣ.

Но поскольку идеи Рёскина вели къ поднятію духовнаго уровня Англіи, и главное—рабочаго ея населенія, онѣ принесли непосредственную человѣческую пользу. Онъ самъ стоялъ во главѣ цѣлаго ряда учрежденій воспитательнаго характера. Вмѣстѣ съ Россети и Морисомъ, онъ былъ преподавателемъ въ „Working Men's College", читалъ лекціи для рабочихъ, основалъ въ началѣ семидесятыхъ годовъ „St. George's Guild", союзъ землевладѣльцевъ, объединенныхъ желаніемъ управлять своими помѣстьями по идеальнымъ этическимъ принципамъ Рёскина. Въ концѣ семидесятыхъ годовъ послѣдователи Рёскина основали въ разныхъ городахъ Англіи союзы для практическаго осуществленія идей учителя. Это „Рёскиновское Общество" (Ruskin Society) процвѣ-

таетъ въ Англіи, имѣетъ много отдѣленій и заботится о томъ, чтобы поднять общій уровень образованія и нравственнаго развитія, распространяетъ любовь къ искусству и способствуетъ возрожденію забытыхъ кустарныхъ промысловъ. Такъ, напримѣръ, ему удалось воскресить искусство ручной пряжи полотна. Цѣлыя деревни стали заниматься пряжей, и теперь это домотканное, такъ называемое „рёскинское полотно“ продается въ Лондонѣ безконечно дороже фабричнаго (это романтичный Рёскинъ и его поклонники называли побѣдой ручного труда надъ фабрикой). Рёскинъ на собственныя средства основалъ для рабочаго населенія Шеффильда музей, „St. George's Museum“, снабдивъ его богатѣйшими художественными и минералогическими коллекціями. Въ Оксфордѣ имъ основана школа рисованія для рабочихъ, также съ цѣнными коллекціями. Много другихъ библіотекъ и музеевъ, также какъ и университетскія коллегіи въ Оксфордѣ и Кембриджѣ, получили въ даръ отъ Рёскина художественныя произведенія, рисунки и коллекціи. Будучи самъ прекраснымъ рисовальщикомъ, Рёскинъ былъ ревностнымъ собирателемъ произведеній искусства. Его домъ въ Брантвудѣ—хранилище всевозможныхъ рѣдкостей; тамъ находится, напримѣръ, одна изъ лучшихъ въ Англіи коллекцій опаловъ, фаянсы Лукка де-ла-Роббіа, оригинальныя картины англійскихъ и итальянскихъ мастеровъ и т. д. Но ничего самъ Рёскинъ такъ не цѣнилъ, какъ рисунки Тёрнера и Прута (Prout), его любимыхъ мастеровъ. И все-таки многими изъ своихъ художественныхъ сокровищъ онъ охотно дѣлился съ музеями и школами, считая распространеніе прекрасныхъ произведеній искусства въ народной средѣ священнымъ для себя долгомъ.

Подводя итоги всей дѣятельности Рёскина, какъ теоретической, такъ и практической, слѣдуетъ признать, что главный ея результатъ—возрожденіе художественнаго вкуса и пониманія въ Англіи. Вильямъ Моррисъ говорилъ, что Рёскинъ „сдѣлалъ возможнымъ“ искусство въ Англіи. Прибавимъ, что онъ его сдѣлалъ не только возможнымъ, но и обязательнымъ, вмѣнилъ его въ священный долгъ своимъ, всегда открытымъ для религіозной пропаганды, соотечественникамъ. Изъ Англіи любовь къ искусству во всѣхъ ея проявленіяхъ распространилась и по всей Европѣ. Расцвѣтъ декоративнаго искусства, принявшій въ настоящее время столь широкіе размѣры, тоже несомнѣнно связанъ съ проповѣдью Рёскина, съ его ученіемъ о томъ, что искусство должно проникать во всѣ подробности жизни, а не

ограничиваться только созиданіемъ художественныхъ произведеній для музеевъ и дворцовъ. Для того, чтобы искусство вошло въ обиходъ жизни, нужно было связать его съ нравственнымъ чувствомъ, съ общимъ стремленіемъ къ духовному совершенству. Это сдѣлалъ Рёскинъ, и въ этомъ—его незабвенная заслуга передъ человѣчествомъ.

Зин. Венгерова.

ЖЕНА—АМЕРИКАНКА

и

АНГЛИЧАНИНЪ—МУЖЪ

„American Wives and English Husbands“, by G. Atherton.

Окончаніе.

XVIII *).

Послѣ курьёзной бесѣды Ли съ лэди Барнстэплъ, мачихой ея мужа, ей не пришлось больше углубляться въ свои обычныя думы: не успѣла выйти отъ нея прислуга, какъ вошелъ ея мужъ Сесиль.

— Сейчасъ я видѣлъ мою мачиху Эмми: она столько любезнаго про тебя наговорила!

— Очень мило съ ея стороны.

— А тебѣ развѣ она не понравилась? Она нравится почти всѣмъ безъ исключенія.

— Съ моей стороны невѣжливо критиковать твоихъ родныхъ, но я могу только сказать, что не особенно пріятно для меня оставаться, такъ сказать, за спиною мачихи, съ которой на моей родинѣ я не водила бы знакомства. Я не буду настолько вульгарна, чтобы вступать съ нею въ ссоры, но, конечно, любить ее я никогда не буду. Она, какъ ты сказалъ бы самъ, не моего поля ягода.

---

*) См. выше: май, 254 стр.

— Это правда!—подхватилъ Сесиль, смѣясь.

— Мы съ тобою представляемъ союзъ двухъ важнѣйшихъ народностей во всемъ мірѣ... Но отчего ты мнѣ не говоришь, что я особенно хороша сегодня?

Въ длинномъ корридорѣ не было ни души. Сесиль тревожно оглянулся, обвилъ рукою станъ жены и поцѣловалъ ее.

— Я всѣми силами стараюсь подняться до совершенства съ американской точки зрѣнія и разъ въ день признаюсь тебѣ въ любви и восхищеніи. Когда же, наконецъ, ты этимъ удовлетворишься?

— Никогда!.. Но вѣдь сегодня ты гордишься мною?

— Ты была такъ хороша въ подвѣнечномъ платьѣ!

— Жаль, что нельзя быть въ бѣломъ во всѣхъ торжественныхъ случаяхъ; но зато всѣ лѣтнія платья у меня бѣлыя. А пока—я буду пользоваться всѣми преимуществами своего положенія, какъ американки.

На ней было необычайно-золотистое, огненно-красное платье, такого блестящаго, такого переливчатаго оттѣнка, что Ли невольно подумала, что оно успѣшно затмитъ весь блескъ алмазовъ лэди Барнстэплъ.

— Завтра и послѣ-завтра я буду на охотѣ съ мужчинами; но ты пріѣдешь туда къ намъ завтракать. По крайней мѣрѣ, такъ дѣлаетъ обыкновенно и моя мачиха Эмми, когда погода хороша. А въ воскресенье—я покажу тебѣ все наше „Аббатство"; только жаль, что въ парадныя спальни нельзя попасть, пока тамъ гости.

— Развѣ ихъ принимаютъ въ тѣхъ самыхъ комнатахъ, гдѣ ночевали нѣкогда всѣ эти короли и королевы и... всѣ другіе?

— Ты дѣлаешь успѣхи! Какъ это ты не вздумала сказать: „короли и королевы, и весь этотъ сбродъ"?.. Ну, да: гостей именно тамъ и принимаютъ. Весь домъ какъ будто спеціально сдѣланъ для пріемовъ: однѣхъ спаленъ въ немъ двадцать-пять!.. А вотъ мы и пришли.

Молодые вошли въ небольшую комнату вродѣ кабинета, и почти одновременно, только съ другой стороны, туда вошелъ лордъ Барнстэплъ. Теперь онъ имѣлъ скорѣе безучастный, нежели чопорный видъ,—только постарѣлъ на двадцать лѣтъ. Къ великому удивленію Ли, онъ не только поцѣловалъ ее, но даже горячо пожалъ ей руку.

— Въ концѣ концовъ, судьба наслала на меня еще американку!—проговорилъ онъ.—Впрочемъ, уѣзжая, я почти догадывался объ этомъ. Были у васъ когда-нибудь истерики?

— Никогда въ жизни!

— Я почти увѣренъ въ этомъ: навѣрное, у васъ твердый характеръ!.. Съ такими-то глазами! Накиньтесь на *нее*! Попробуйте дать ей себя знать! Клянусь, мнѣ хотѣлось бы, чтобъ *ей* какъ слѣдуетъ досталось. Я у нея не въ счетъ; но вы—женщина; вы хороши собой и — чуть не вдвое выше ея ростомъ. Клянусь, *она* васъ будетъ ненавидѣть! Но и вы не щадите ее!

Сесиль разсмѣялся.

— Къ чему вамъ сѣять въ семьѣ плевелы раздора?

— О, мы будемъ держаться въ сторонѣ. Но ты себѣ представь, что Эмми можетъ изнемочь въ борьбѣ, можетъ почувствовать, что и надъ нею есть кое-кто посильнѣе, у кого *она*— въ рукахъ. Да это былъ бы счастливѣйшій день въ моей жизни!.. Однако, я проголодался.

И они всѣ вмѣстѣ вошли въ столовую.

— Что за прелесть у васъ это платье!—воскликнула Эмми, порхавшая отъ одного къ другому изъ гостей, которые съ нескрываемымъ любопытствомъ смотрѣли на новобрачную.—Сесиль, ты поведешь къ столу миссъ Пиксъ,—прибавила она, обращаясь къ пасынку.

Сесиль нахмурился.

— Къ чему это ты хочешь, чтобы я шелъ съ нею?—сердито проворчалъ онъ.—Ты знаешь, она мнѣ надоѣла до смерти!

— Это тебѣ въ наказаніе, зачѣмъ ты не на ней женился.

Громадная столовая имѣла видъ большой залы, спеціально приспособленной для царскихъ пировъ, но, насколько Ли могла судить, единственный членъ общества, подходившій къ этой обстановкѣ, была та самая молодая особа, которой принадлежало ужасно вульгарное имя—миссъ Пиксъ. Все ея лицо и фигура напоминали классическія статуи со всѣми ихъ типичными особенностями, а профиль казался или античной камеей, или профилемъ... овцы. Ея короткіе льняного цвѣта волосы были собраны въ высокую прическу, а вѣки опускались на глаза такимъ изящнымъ и благороднымъ движеніемъ, что Ли ничего болѣе классическаго не могла себѣ представить.

— Кто это? — спросила новобрачная своего сосѣда, красиваго капитана Монмаута.—Отчего она совсѣмъ не такая, какъ другія? Она очень похожа на героиню Уйды, только на самую невозможную!

Молодой капитанъ разсмѣялся.

— Ея отецъ былъ пивоваръ, до гадости богатый человѣкъ. Родителей ея давно уже нѣтъ въ живыхъ, а она сама и ея

братъ употребляли долго всѣ старанія, чтобы только пролѣзть въ лучшее общество; лэди Барнстэплъ принимаетъ ихъ у себя, хотя, вообще говоря, она не особенно благосклонно относится къ новичкамъ. Представьте себѣ, эта особа воображаетъ, что ей слѣдовало бы быть выше по своему рожденію; она хочетъ получить всего побольше „за свои деньги", какъ у васъ, американцевъ, выражаются. Люблю я вашъ американскій жаргонъ. Не можете ли вы меня еще подъучить?

— Я знаю его больше, чѣмъ у меня хватитъ смѣлости его употреблять; но я могу съ вами имъ подѣлиться, потому что мужъ мой сильно его недолюбливаетъ. Мнѣ кажется, миссъ Пиксъ все-таки повезло?.. Она, что̀ называется,—„пройдоха".

— Да, да, именно: *пройдоха*! Дамы много говорятъ про нее дурного; говорятъ, что удивительная бѣлизна ея прелестной кожи наведена кистью или губкой, или чѣмъ-нибудь подобнымъ...

— Ну, а профиль, конечно, у нея природный? Развѣ можно искусственно устроить себѣ горбикъ на носу?

— Я думаю, и—за три милліона этого не добьешься; только акцентъ ужъ очень ее выдаетъ; не мудрено, что она можетъ показаться неприступной, молчаливой.

— И до сихъ поръ она отъ акцента не отдѣлалась?

— Да, несовсѣмъ; хотя воспитывалась много лѣтъ въ Парижѣ.

Въ эту минуту капитана окликнула его сосѣдка справа. Ли обратилась къ своему свекру, чтобы спросить, что̀ означаетъ замѣчаніе лэди Барнстэплъ? Развѣ она хотѣла, чтобы Сесиль женился на миссъ Пиксъ?

— Еще бы! Ничего въ жизни она такъ горячо не добивалась! Двѣ недѣли она прохворала, какъ только узнала, что Сесиль уѣхалъ къ вамъ; а мнѣ вы нравитесь, и всегда нравились. Но, чортъ побери! какъ это было бы пріятно, еслибъ у васъ было больше денегъ. Вы не надѣетесь, что на вашей землѣ въ одинъ прекрасный день откроются залежи золота?

Ли разсмѣялась, хотя его слова пробудили въ ней опять то самое жуткое чувство, какое она испытала, когда на ту же тему говорила съ нею Эмми.

— Едва ли. Сѣра и желѣзо—вотъ все, чего можно ожидать отъ бѣднаго, ничтожнаго клочка земли.

— Но почему знать? Можетъ быть, вамъ удастся продать ваши воды какому-нибудь товариществу? Въ наше время бойко покупаютъ. О, народъ у насъ весьма разнообразный,—все равно, что у васъ въ Америкѣ! Мы хороши со всѣми, пока не нуж-

даемся въ деньгахъ, но вотъ бѣда: деньги-то нужны намъ постоянно! Эта потребность вошла въ нашу плоть и кровь; а если намъ не удается добиться своего однимъ манеромъ, мы добиваемся другимъ. У насъ—свои идеалы. Ни разу не случалось, например, чтобы я сѣлъ за карточный столъ съ какимъ-нибудь выскочкой, *не*-аристократомъ. Правда, разъ въ жизни я попался: женился на своей супругѣ, но съ тѣхъ поръ миссъ Пиксъ—единственная, которую мы принимаемъ у себя; да и она, какъ всякая выскочка, терпѣть не можетъ всѣхъ себѣ подобныхъ... Впрочемъ, за исключеніемъ ея, есть у насъ только капитанъ Монмаутъ, у котораго нѣтъ родового имени и соотвѣтствующаго ему имѣнія, но онъ—внукъ герцога и гвардеецъ, а это равносильно.

Ли было странно слушать такія воззрѣнія; она не могла понять подобнаго разграниченія гордости и самолюбія, и при этомъ Барнстэплъ не стѣснялся жить на женины деньги.

Послѣ обѣда дамы перешли въ другую комнату, всю до потолка увѣшанную портретами съ необыкновенно-розовымъ цвѣтомъ лица и рукъ и съ общими признаками работы старыхъ мастеровъ живописи. Съ потолка на нихъ свѣтили электрическія груши. Жутко стало молодой американкѣ при видѣ такого рѣзкаго несоотвѣтствія между обстановкой и гостями... Ли подумала, глядя на молодыхъ англичанокъ, что онѣ всѣ—премиленькія, и только удивлялась: когда же, наконецъ, ее познакомятъ съ ними?

— Подите сюда, присядьте ко мнѣ!—вдругъ проговорила молодая особа, сидѣвшая на диванчикѣ, и съ ясной улыбкой кивнула новобрачной.

За обѣдомъ Ли замѣтила, что эта самая госпожа нѣсколько разъ окликала капитана и безцеремонно называла его: „Ларри!“ У нея былъ глубокій, но искренній голосъ и такой же искренній, открытый смѣхъ; лицо и вся ея фигура были замѣчательно милы и изящны, хотя не бросались въ глаза, и, судя по осанкѣ, выдавали порою нѣкоторую нервность, съ которой она какъ будто не могла совладать. Ли сѣла съ нею рядомъ.

— Вы — лэди Мэри Джиффордъ? — спросила Ли, улыбнувшись ей въ отвѣтъ.—Я спрашивала о васъ. Мнѣ сказалъ капитанъ Монмаутъ.

— О, неужели вы пожелали знать, кто я такая? Какъ это мило! А мнѣ хотѣлось бы, чтобъ обо мнѣ такъ точно говорили, какъ говорятъ о васъ. Но мое время миновало, и—можете себѣ представить!—мнѣ уже двадцать-пятый годъ?!

Ли улыбнулась и покачала головой. Несмотря на удрученное состояніе духа, она подумала, что ея новая знакомая все-таки чрезвычайно мила и забавна.

— Да, мнѣ уже двадцать-четыре года, а я до сихъ поръ еще не замужемъ; я всего-на-все имѣю шестьдесятъ фунтовъ стерлинговъ на то, чтобъ наряжаться... Чѣмъ это не драма? Ахъ, зачѣмъ я не американка? Всѣ онѣ — такія богачихи; по крайней мѣрѣ, всѣ тѣ, которыя являются въ Европу. Иначе онѣ не посмѣли бы сюда и показаться.

— А я, какъ видите, посмѣла, хоть я и небогата въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы понимаете богатство.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?! Вы шутите, конечно? Сесиль Маундрелъ могъ жениться только на...

Ли расхохоталась, но смѣхъ ея такъ близко граничилъ съ истерикой, какъ никогда еще съ ней не случалось.

— Вамъ все равно, если мы будемъ говорить о чемъ-нибудь другомъ? Вотъ, когда-нибудь мы съ вами познакомимся, какъ я надѣюсь, близко, и я вамъ скажу, почему такъ все вышло.

— Нѣтъ, вы себѣ представьте, какъ это *я* могла сказать *вамъ* грубость?! Ну, право, я всегда болтаю безъ разбора, а Сесиль—такой красавецъ, что, конечно, о немъ всегда судили вкось и вкривь. Всѣмъ было извѣстно, что „Аббатство“ должно перейти опять къ американкѣ, и всѣ горѣли нетерпѣніемъ скорѣе васъ увидѣть. Эмми—мокрая курица и не изъ красивыхъ. Въ сущности, на мой взглядъ, въ Америкѣ красавицъ мало; онѣ больше берутъ тѣмъ, что „задаютъ шику“, какъ говорятъ художники-французы. На васъ одну всѣ глаза устремляютъ, а вы—никакого вниманія! Вотъ увидите: вамъ предстоитъ огромный успѣхъ; я знаю,—я уже порядкомъ пригляделась.

— Надѣюсь! Для американки неудача была бы вдвое предосудительна.

— Неужели?! Ахъ, скажите, пожалуйста: правда ли это, что у васъ существуетъ подраздѣленіе на слои общества, какъ и у насъ? Нѣкоторые изъ нашихъ здѣшнихъ американцевъ порядочно задираютъ носъ передъ Эмми. Какъ это странно! Всѣ вы тамъ сами существуете недавно — ну, можно ли такъ разбирать? Понятно, я сама знаю, что между вами есть и бѣдняки, и богачи; но что̀ же тутъ такого? Эмми тоже была очень богата, а между тѣмъ ей приходилось не легко, пока ей удалось пробить себѣ дорогу. Пожалуйста, скажите...

— Ну, что̀ же вамъ сказать про наше общество? Понятно, настоящимъ аристократамъ полагается быть родомъ съ Юга.

— Съ какого Юга? Изъ Южной-Америки?

Ли попыталась-было объяснить подробнѣе, но лэди Джиффордъ скоро охладѣла къ этой темѣ и совершенно неожиданно направила разговоръ въ другую сторону; очевидно, ея вниманія хватало на двѣ-три минуты, но не больше.

На слѣдующее утро Ли проснулась очень поздно, послѣ тревожной и почти безсонной ночи.

Сесиль всталъ рано и, чтобы не разбудить ее, вышелъ потихоньку провѣдать своихъ тетеревовъ. Еслибы настроеніе новобрачной было болѣе свѣтлое, она вѣроятно пожалѣла бы объ этомъ, но теперь ей было не до того: ей хотѣлось остаться одной и думать, думать на свободѣ, подъ открытымъ небомъ. Съ помощью прислуги, ей удалось добиться, чтобы ржавые ключи, наконецъ, отомкнули нижнюю калитку, и Ли поспѣшно пошла по направленію къ лѣсу.

Темной стѣной стояли передъ нею деревья по ту сторону лужайки, распространяя въ воздухѣ мягкое и свѣжее благоуханіе. Ли выбрала себѣ мѣстечко подъ деревьями, гдѣ было тише и уединеннѣе. Душа у нея болѣзненно ныла; ей страстно хотѣлось кому-нибудь изъ „своихъ“ повѣдать свои тревоги и горести,— кому-нибудь такому, кого эти мелочи могли бы интересовать какъ свои, личныя.

Сесиль былъ не такого рода человѣкъ, который могъ бы принять подобные пустяки близко къ сердцу. Ли знала, что онъ любитъ ее горячо; что онъ ей преданъ и, въ случаѣ необходимости, съумѣетъ защитить ее отъ невзгодъ; но она твердо была увѣрена, что въ житейскіе женскіе мелочные интересы ему будетъ противно вмѣшиваться, и она инстинктивно избѣгала подобныхъ разговоровъ. Бывало, въ Америкѣ вторилъ ей и понималъ ее Рандольфъ; только теперь она вполнѣ оцѣнила, чѣмъ для нея была вся семья м-съ Монгомери. Сесиль способенъ былъ любить преданно и страстно, это она знала; но знала также, что ему въ голову не придетъ повѣрять ей свои сокровенныя мысли, свои личныя стремленія. Онъ былъ вѣдь англичанинъ; онъ родился и выросъ въ Англіи.

Ли рѣшила пока не разбираться больше въ этихъ думахъ и пользоваться настоящимъ. Но, Боже мой, съ какою радостью она полетѣла бы хоть на мигъ къ своимъ, въ свою милую Калифорнію, поболтать немножко „по-своему“, безъ стѣсненія, безъ англійской чопорной холодности! Одно только было для нея

вполнѣ ясно, отъ одной мысли она не могла отдѣлаться: ей приходило въ голову, что можетъ придти время, когда она пожалѣетъ о своемъ рѣшеніи не стремиться къ новому богатству. Рандольфъ предлагалъ ей продать ея участокъ и помѣстить деньги въ перувіанскія акціи; но она отвѣтила ему тогда, что съ нея довольно и этого, потому что она привыкла относиться съ презрѣніемъ къ американской жадности въ наживѣ. О, еслибъ она знала!.. Теперь она готова иначе смотрѣть на презрѣнный металлъ. Она почти готова преклониться передъ его могучей властью. Окидывая взоромъ все пространство луговъ, рощи и зàмка, она чувствовала гордость и пріятное сознаніе, что все вокругъ будетъ *ей* принадлежать;—что эти историческія башни, эти старые сады будутъ ея достояніемъ. Съ ума сошелъ Сесиль, что женился на ней! Неужели всѣ мужчины—безумцы, теряющіе голову, какъ только влюбятся въ женщину,—или онъ, подобно ей самой, просто имѣлъ лишь смутное представленіе о цѣнѣ богатства. Ему слишкомъ легко досталось это роскошное имѣніе; а его личныя потребности, въ сущности, были невелики, и потому, весьма естественно, онъ никогда ни въ чемъ не зналъ нужды...

Ли вернулась въ зàмокъ и, подходя къ нему, издали, услыхала голоса. Она тревожно оглянулась и поспѣшила свернуть на опушку лѣса, чтобы не встрѣчаться съ ними. Они вѣдь были для нея „чужіе“.

Вернувшись въ башню, она тотчасъ же принялась писать къ Рандольфу, и прямо, безъ обиняковъ сказала ему все какъ было. Рандольфъ любилъ ее; но она все-таки предпочла говорить ему правду, потому что ей не съ кѣмъ было больше подѣлиться, а она съ дѣтскихъ лѣтъ привыкла заставлять его повиноваться ея волѣ.

XIX.

Прошло еще двѣ недѣли, и Ли съ гордостью любовалась на свой новый, прелестный будуаръ. Большая комната внизу, подъ башней, которую мужъ предлагалъ ей взять себѣ, по ея приказанію, была очищена отъ хлама, и Ли, не стѣсняясь, воспользовалась предложеніемъ лэди Барнстэплъ взять для ея украшенія все, чтò угодно.

Молодая женщина любила все прекрасное и, благодаря тому, что съ дѣтства ее окружало множество дѣйствительно прекрасныхъ вещей, знала имъ цѣну и умѣла каждой изъ нихъ придать самую выгодную обстановку. Теперь старая комната пото-

нула въ персидскихъ коврахъ, раскинутыхъ на полу и на стѣнахъ, и была тѣсно уставлена персидскими диванами и табуретами. Деревенскій плотникъ, подъ ея руководствомъ, соорудилъ глубокій диванъ, огибавшій всю комнату, но его грубая отдѣлка исчезла совершенно подъ множествомъ изящнѣйшихъ персидскихъ тряпокъ и подушекъ, самыхъ пестрыхъ и разнообразныхъ рисунковъ. Было тутъ нѣсколько образцовъ мебели, принадлежавшихъ издавна роду Маундреловъ и увѣнчанныхъ ихъ гербомъ. Въ двухъ оконныхъ нишахъ лежали подушки, а въ другихъ стояли классическія бронзовыя и мраморныя статуи; но самое почетное украшеніе башенной комнаты состояло изъ письменнаго стола, нѣкогда принадлежавшаго королю Карлу II-му. Въ общемъ, все убранство комнаты, даже бездѣлушки, красовавшіяся на верхушкѣ книжнаго шкапа,—и тѣ были выбраны съ толкомъ и съ большимъ вкусомъ. Ли имѣла полное право гордиться своимъ умѣньемъ. Оглядѣвшись въ своихъ владѣніяхъ, она усѣлась поджидать своего свекра, который по неволѣ остался дома, такъ какъ свихнулъ себѣ руку, и невѣстка пригласила его къ себѣ въ гости. Войдя, онъ не успѣлъ поздороваться, какъ принялся продолжительно хихикать.

— Чему вы такъ смѣетесь?—спросила Ли довольно сухо:— развѣ не прелесть эта комната?

— О, восхитительна! Она, пожалуй,—самая красивая изъ всѣхъ нашихъ комнатъ. Поздравляю;—у васъ прекрасный вкусъ, да вы и сами—прелесть!

Ли никогда не думала, что будетъ въ состояніи понимать настроенія своего свекра, и, признаться сказать, чувствовала очень небольшое желаніе въ нихъ разбираться; она просто пригласила его сѣсть въ самое покойное кресло, положила ему подъ локоть подушку и сѣла напротивъ него, выражая лицомъ и всей своей фигурой полное удовольствіе, что видитъ его у себя.

Онъ нравился ей настолько больше его жены Эмми, что порою Ли допускала возможность полюбить его. Онъ всегда былъ съ нею ласковъ и любезенъ, а свекровь уже дважды подарила ее своими капризами, и, встрѣчаясь въ корридорѣ, иногда ее не замѣчала.

— Такъ и быть, я вамъ признаюсь,—началъ Барнстэплъ:— если Эмми случится увидѣть, какъ вы преобразили это помѣщеніе, она способна задать здѣсь такого шуму, что чертямъ станетъ тошно; а вамъ она прикажетъ возвратить эти вещи на прежнее мѣсто. Смотрите же, будьте на-сторожѣ и ожидайте

нападенія во всеоружіи, чтобы каждую минуту ей отвѣтить, что это *я* вамъ подарилъ; онѣ вѣдь—*моя* собственность.

— Хорошо. Я ихъ и не отдамъ. Благодарю васъ. Хотите закурить? Я вамъ помогу.

— Честное слово, ваша комната будетъ самая уютная во всемъ домѣ, — настоящее убѣжище! Ну, какъ же мы вамъ понравились? Какого вы о насъ мнѣнія? Вы очень интересное дитя, и мнѣ хотѣлось бы слышать ваши впечатлѣнія.

— Да я и въ самомъ дѣлѣ чувствую себя, какъ будто вдругъ превратилась въ ребенка съ тѣхъ поръ, какъ поселилась здѣсь,— чуть-чуть надувъ губки, согласилась Ли.—Проведя двѣ зимы въ Санъ-Франциско и одну въ восточныхъ штатахъ, я была уже увѣрена, что сдѣлалась вполнѣ свѣтской женщиной.

— О, мы люди заносчивые, чопорные! Но вы, пожалуй, попали къ намъ какъ разъ вò-время. Скажите же: нравимся мы вамъ?

— Да, мнѣ кажется! Женщины очень мило ко мнѣ относятся, хотя я не все понимаю изъ того, чтò онѣ говорятъ, и вообще онѣ совсѣмъ другія, чѣмъ было мое идеальное представленіе о нихъ. Я никогда не могу быть вполнѣ увѣрена, соблаговолятъ ли онѣ заговорить со мною, когда мы встрѣтимся снова. Впрочемъ, я все-таки не вижу причины непремѣнно силиться имъ подражать, какъ напримѣръ, это дѣлаетъ Эмми.

— Да; нѣкоторыя изъ вашихъ соотечественницъ—прекрасныя подражательницы, но онѣ перестали забавлять принца Уэльскаго. А Эмми—просто дура!

— Мужчины у васъ имѣютъ такой побѣдоносный видъ, какъ будто бы они и въ самомъ дѣлѣ обладаютъ способностью прельщать; а говорить они не могутъ ни о чемъ, какъ только о лошадяхъ и куропаткахъ. На-дняхъ сосѣдъ мой за обѣдомъ не проронилъ ни слова съ той минуты, какъ сѣлъ со мною рядомъ, и до самаго конца обѣда, когда мы стали расходиться.

— Вообще наши мужчины совсѣмъ не интересны въ охотничій сезонъ, но, моя прелесть, не для того же сдѣланы мужчины, чтобы забавлять васъ, женщинъ.

— Да, съ вашей точки зрѣнія, конечно.

— Неужели вы ожидаете, что вашъ Сесиль будетъ все время думать только, какъ бы васъ чѣмъ-нибудь позабавить?

— Сесиль провелъ со мной цѣлыхъ три дня наединѣ; мы съ нимъ бродили по окрестностямъ и веселились такъ, какъ никогда. Онъ способенъ хоть кого позабавить, если онъ не думаетъ ни о чемъ тревожномъ.

— Въ такомъ періодѣ, въ какомъ находится онъ въ настоящую минуту, а именно, въ порывѣ страсти, я не считаю возможнымъ судить о настоящемъ характерѣ мужчины. Сесиль влюбленъ; и я вамъ отъ души желаю, чтобы это состояніе длилось у него какъ можно дольше. Но или я ошибаюсь, или вамъ все-таки придется съ теченіемъ времени убѣдиться, что чѣмъ вы дольше будете съ нимъ знакомы, тѣмъ меньше будете въ немъ замѣчать наклонности шутить и веселиться. Свойство великихъ людей—наводить скуку на другихъ. Англичане—народъ величайшій въ мірѣ, но въ ущербъ своей личной веселости; помните же,—я не говорю, что они грубы, это совсѣмъ другое свойство,—они просто скучны, и, наоборотъ, посмотрите, какъ много блестящихъ личностей, и всѣ они родомъ англичане, но они не знамениты съ точки зрѣнія англичанъ. Читайте „Times“, и вы поймете, чтò я хотѣлъ сказать.

— А какъ вамъ кажется,—есть у Сесиля задатки сдѣлаться великимъ человѣкомъ?—перебила его Ли.

— Иной разъ я самъ такъ думалъ; по нашимъ временамъ, у него очень развитой и свѣтлый умъ; мнѣ даже кажется, что онъ честолюбивъ. А вы чтò скажете?

— Я еще не могу ничего сказать опредѣленно; но думаю, что онъ самъ затруднился бы отвѣтить. Впрочемъ, ничего,—онъ въ этомъ разберется, какъ только направится по теченію; надѣюсь, что онъ окажется честолюбивымъ.

— О, съ честолюбіемъ нельзя шутить; это—страшный для васъ соперникъ.

— Ну, а я не боюсь его; хотя, впрочемъ, затруднилась бы объяснить вамъ—почему.

— А попробуйте!

Лордъ Барнстэплъ могъ быть очень обворожительнымъ — стоило ему только захотѣть; онъ сбросилъ съ себя всякую принужденность и напускную грубую холодность. Лицо его приняло выраженіе глубокаго и даже почти нѣжнаго любопытства. Для него Сесиль былъ единственнымъ существомъ въ мірѣ, которое онъ искренно любилъ, и теперь, очутившись наединѣ съ его молодой женою, отецъ хотѣлъ разъ навсегда убѣдиться по собственному впечатлѣнію, насколько она могла сдѣлать его сына счастливымъ.

Ли вообще очень легко поддавалась добродушію и теплому участію, а тѣмъ болѣе такому, какое она встрѣтила теперь впервые по пріѣздѣ въ Англію.

— Я вообще не склоненъ къ сентиментамъ,—продолжалъ

лордъ Барнстэплъ;—но я люблю Сесиля, а послѣ него—я хочу, чтобы вы на меня всегда смотрѣли какъ на перваго друга вашего въ Англіи.

Немедленной наградой были горячія объятія и поцѣлуи въ обѣ щеки. Онъ разсмѣялся, но почувствовалъ, что его расположеніе къ американцамъ возростаетъ.

— Но скажите же: къ чему вамъ вдругъ понадобилось, чтобы Сесиль былъ честолюбивъ? Вамъ хочется имѣть свой собственный политическій салонъ?

— Я и отъ этого не прочь; но, все-таки, это не то; чѣмъ больше будетъ требовать Сесиль отъ жизни, тѣмъ больше онъ будетъ нуждаться въ совѣтахъ и поддержкѣ;—вѣдь даже наибольшимъ удачникамъ приходится переживать не мало разочарованій. Отличительное свойство Сесиля—страшная стойкость и на-ряду съ нею—способность хвататься за самыя разнообразныя стремленія. Мнѣ хочется, чтобы онъ былъ извѣстенъ.

— Для ребенка вы передумали не мало.

— Но я вовсе не ребенокъ! Я лѣтъ пять подъ-рядъ, еще въ дѣтствѣ, думала всегда за свою маму и няньчилась съ нею; съ тѣхъ поръ я привыкла, чтобы меня считали тоже за человѣка, а не за предметъ, который даетъ возможность англичанину по необходимости быть добродѣтельнымъ семьяниномъ. Я сама вела свои дѣла; я прочитала на своемъ вѣку больше книгъ, чѣмъ любой изъ вашихъ гостей. Я привыкла, чтобы за мною ухаживала тьма мужчинъ, и передумала я много, это правда, и все о немъ же, о Сесилѣ.

Въ другое время лордъ Барнстэплъ вѣрно отвѣтилъ бы улыбкою, но въ эту минуту онъ позабылъ обо всемъ и только слушалъ.

— Да вы и въ самомъ дѣлѣ рождены воспламенять!—любезно отозвался онъ.—Я удивленъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, польщенъ вашими словами; но скажите мнѣ, что̀ же вы надумали про моего Сесиля?

— Я много лѣтъ, много дней и ночей о немъ мечтала, и онъ являлся мнѣ чѣмъ-то вродѣ Байрона и Марміона, Дэдлея, Роберта Лаунселота и вообще героевъ Уйды изъ ея первыхъ романовъ. Воображеніе мое, понятно, нѣсколько поблекло послѣ того, какъ я стала выѣзжать и узнала свѣтъ поближе; но все-таки, когда Сесиль вернулся, онъ оказался вовсе не такимъ, какимъ въ мечтахъ своихъ я его представляла. Впрочемъ, онъ мнѣ казался искреннимъ, простымъ, и я бы не желала, чтобы онъ измѣнился. Мнѣ сразу показалось, что онъ какъ будто со-

зданъ для меня, и мнѣ даже ни на минуту не пришлось заботиться о томъ, чтобы къ нему привыкнуть.

— Да-а?!—протянулъ лордъ Барнстэплъ, пристально глядя на нее.

— Онъ пробылъ со мною лишь недолго, и потомъ—трое сутокъ я его не видала. За эти дни и ночи, я думала усерднѣе и больше, чѣмъ за всю жизнь, а послѣ—онъ опять меня оставилъ,—и на кого же промѣнялъ? На чернаго медвѣдя! Онъ пробылъ двѣ недѣли далеко отъ меня, и за это время я вполнѣ успѣла выяснить себѣ одно: что я страстно влюблена въ него, и что все счастіе нашей жизни сосредоточено въ моихъ рукахъ. Съ обычной своей откровенностью, Сесиль мнѣ объявилъ, что *мнѣ* придется къ нему приспособляться, а не наоборотъ. Я даже твердо увѣрена, что ему и въ умъ не приходило, что такое отношеніе ко мнѣ полно эгоизма. Онъ всегда смотрѣлъ прямо въ лицо каждому факту и потому констатировалъ его совершенно просто. Такимъ образомъ, вся отвѣтственность падаетъ на меня.

— Отвѣтственность не легкая!

— Тѣмъ болѣе, что я родилась въ Калифорніи, а въ насъ, калифорнійцахъ, вдвое больше индивидуальности и личныхъ особенностей, чѣмъ въ американцахъ Соединенныхъ-Штатовъ. Мы даже готовы вспылить, если насъ назовутъ по-просту „американцами“,—мы, понятно, гордимся своимъ происхожденіемъ, и тѣ изъ насъ, которые родились на Югѣ, все-таки съ ногъ до головы—калифорнійцы.

— Эти интересныя сравненія въ настоящую минуту слишкомъ для меня непонятны; пожалуйста, не откажите мнѣ ихъ пояснить.

— Полноте, не смѣйтесь надо мной! Прежде и Сесиль смѣялся; но теперь онъ вполнѣ понимаетъ, что Калифорнія и Соединенные-Штаты, это—нѣчто различное; т.-е., я хочу сказать, что намъ гораздо труднѣе, чѣмъ чистокровнымъ англичанкамъ, приноровляться къ другимъ людямъ и къ другой обстановкѣ. Сравнительно съ англичанками мы находимся еще въ состояніи броженія, а онѣ вполнѣ консервативнаго склада,—между тѣмъ это фактъ: мы, дѣйствительно, очень индивидуальны, и сверхъ того, мы сами это сознаемъ вполнѣ.

— Такъ что вы не считаете возможнымъ примѣняться къ кому-нибудь?—спросилъ лордъ Барнстэплъ.

— Сначала меня раздражало, и мнѣ было досадно, что *я* больше не стою на пьедесталѣ, какъ это сложилось у меня съ моего дѣтства, а съ мужчинами я просто-на̀-просто тиранъ; вы

даже вообразить себѣ не можете, до чего я умѣла ихъ терзать. Но теперь,—вдругъ вырвалось у нея неудержимо,—я слишкомъ влюблена и не забочусь о томъ, чтобы сохранить свою индивидуальность; ничто въ мірѣ мнѣ больше не дорого;—только бы удалось быть счастливой. Понятно, выходя замужъ, я приняла твердое рѣшеніе перехитрить и подчинить себѣ Сесиля; теперь я во что бы то ни стало рѣшила быть счастливой, рѣшила, что нашъ бракъ долженъ быть удачнымъ; я была всегда настолько счастлива, что мнѣ все хочется еще и еще счастья,—я для него только и живу. Свою гордость, свое тщеславіе я схоронила въ лѣсахъ Калифорніи. Странное дѣло, — но, мнѣ кажется, единственно, что̀ нужно человѣку—это: быть счастливымъ, и какъ разъ это и есть то единственное, чего ему никогда не хватаетъ. Я думаю, что люди, просто, неспособны сосредоточить на немъ свои усилія; они его желаютъ, они къ нему стремятся, и сами же рвутъ его на части. Я хочу сосредоточить на немъ все свое вниманіе и жить только для того, чтобы его достигнуть. Понятно, что тогда и Сесиль, вмѣстѣ со мною, будетъ счастливъ. Я просто отброшу въ сторону всякія мысли о томъ, чего бы я отъ него желала, и постараюсь вполнѣ пользоваться тѣмъ, что̀ онъ мнѣ можетъ дать. Вы знаете, что природа ничего для него не пожалѣла.

Лордъ Барнстэплъ затаилъ дыханіе; его любопытство было самаго чадолюбиваго характера, и его все-таки поразило, до чего глубоки были страсть и здравый умъ молодой женщины. Водворилось молчаніе, которое встревожило Ли, и она невольно подумала, что, пожалуй, слишкомъ злоупотребила его любопытствомъ.

— Еслибъ я былъ моложе, я бы наговорилъ вамъ массу любезностей, — началъ онъ обычнымъ дѣловымъ тономъ: — и прежде всего сказалъ бы вамъ нѣчто такое, что̀, по всей вѣроятности, частенько повторяетъ вамъ Сесиль: что вы—такая женщина, за которую мужчина съ радостью готовъ бы умереть. Я уже давно не молодъ, но я все это признаю и понимаю,—онъ какъ будто запнулся:—моя жена была такая же, какъ вы. Хотите, я вамъ дамъ серьезный, дѣльный совѣтъ? Если вы согласитесь послѣдовать ему, я твердо убѣжденъ, что въ связи съ тѣми данными, которыми надѣлила васъ природа, и съ твердымъ желаніемъ достигнуть цѣли—вы вполнѣ обезпечите себѣ успѣхъ. Принимайте участіе въ каждомъ развлеченіи, въ каждомъ стремленіи вашего мужа. Перваго октября уѣдутъ отсюда всѣ наши гости, и вмѣстѣ съ ними—моя жена Эмми. Мы съ вами останемся втроемъ на охотничій сезонъ, и до будущаго августа сюда къ намъ не заглянетъ ни одна женщина, кромѣ васъ. Въ это время мы,

по обыкновенію, поѣдемъ въ Варвикширъ къ моему зятю. Учитесь стрѣлять; ходите съ мужемъ на охоту; ѣздите верхомъ, и постарайтесь полюбить это дѣло,—Сесиль говоритъ, что вы искусная наѣздница,—вы мигомъ научитесь охотиться съ борзыми, а онъ самъ больше всего любитъ этого рода охоту. Въ декабрѣ мы опять вернемся сюда, а въ февралѣ уже начинаются выборы, и Сесиль долженъ быть готовъ каждую минуту занять мѣсто по выборамъ. Вообще говоря, почему-то всѣ считаютъ, что Сесиль долженъ занять въ парламентѣ мѣсто старика Сандерсона; но ему придется, кромѣ того, и самостоятельно работать. Онъ долженъ будетъ говорить рѣчи, открывать читальни и библіотеки, потому что либеральное движеніе все возростаетъ. Сесиль долженъ вообще дѣлать все для того, чтобы его знали, любили и чувствовали къ нему полное довѣріе. Ему придется очень много работать, и онъ выполнитъ всю эту работу, потому что никогда ничего не дѣлаетъ наполовину. Вамъ придется бывать съ нимъ вездѣ и посѣщать деревенскій людъ; вы можете быть для Сесиля большой поддержкой: простолюдинъ вѣдь любитъ, чтобы красота и знатность шли рука-объ-руку; если же распространится слухъ, что вы присутствуете въ засѣданіи, когда онъ держитъ рѣчь,—онъ можетъ быть увѣренъ, что слушателей соберется вдвое больше. Ему придется читать лекцію или показывать волшебный фонарь въ какой-нибудь сельской школѣ; отъ насъ даже ожидаютъ подобныхъ услугъ, потому что семь или восемь деревень на границахъ нашего помѣстья когда-то, дѣйствительно, намъ принадлежали. Въ свое время, и я былъ у нихъ пророкомъ и представителемъ; мнѣ тяжело хотя бы думать объ этомъ, но для васъ и для Сесиля это будетъ даже забавно. И вотъ еще что̀: работайте вмѣстѣ съ нимъ, защищайте его дѣло вмѣстѣ съ нимъ,—это, конечно, будетъ для васъ неинтересно, даже тяжело...

— Нѣтъ, нисколько! Я уже теперь интересуюсь политикой Англіи.

— Это будетъ своего рода походъ въ страну уставовъ, правилъ, рѣчей, годовыхъ отчетовъ и всевозможныхъ мечтаній по великому вопросу вѣковѣчнаго вопроса о взаимныхъ правахъ землевладѣльца и арендатора. Если у васъ хватитъ ума и выдержки этого добиться (а я думаю, что хватитъ!), вы добьетесь того, что сдѣлаетесь ему еще ближе, чѣмъ въ какомъ бы то ни было другомъ отношеніи. Сначала ему будетъ льстить ваше усердіе; ему понравится ваше будущее сотоварищество и сотрудничество; позднѣе же,—когда вы обратитесь въ его второе *я*,—онъ уже не будетъ въ состояніи обойтись безъ васъ, какъ,

например́ъ, безъ своихъ рукъ и безъ ногъ; конечно, рискованно говорить женщинѣ что-либо подобное, но право же, для того, чтобы жить хорошо и дружно съ англичаниномъ, вамъ надо непремѣнно сдѣлаться для него второй привычкой и научиться чувствовать себя счастливой именно потому, что вы—его второе *я*. На это дѣло англичанки (по традиціи)—женщины образцовыя; если англичанка умна, она непремѣнно свернетъ въ сторону, но это потому, что въ нихъ страсти не хватаетъ... Посмотримъ, что-то изъ васъ выйдетъ? Я думаю, все будетъ прекрасно?.. А вотъ, слава Богу, наконецъ-то мы напьемся чаю! Отроду я не говорилъ такъ много,—у меня въ горлѣ пересохло.

Они преуютно расположились пить чай въ полутемной, но красивой комнатѣ, и Ли, какъ женщина тактичная, сама больше не поддерживала этого разговора и приложила всѣ старанія къ почти неудобоисполнимой задачѣ—занять лорда Барнстэпла. Однако, это удалось ей настолько успѣшно, что онъ даже оставилъ свое обычное хихиканье и отъ души смѣялся по меньшей мѣрѣ разъ пять, шесть.

— Я предчувствую, что вы, Сесиль и я, будемъ друзьями и товарищами. Понятно, въ Лондонѣ мнѣ не придется видѣться съ вами такъ часто, у васъ съ мужемъ будетъ свой особый домъ, а мнѣ вѣдь полагается жить подъ одной кровлей съ Эмми—для соблюденія приличій; но здѣсь мы можемъ жить, какъ настоящая дружная семья. Въ этомъ году мы здѣсь пробудемъ до апрѣля; потомъ переберемся въ Лондонъ, съ января. Вы ожидаете, конечно, что будете первой красавицей сезона?—Каковъ вопросъ!

— Понятно, я сама хочу, чтобы мною восхищались! Мало того: я не намѣрена подавать поводъ мужу позабыть, что мною могутъ восхищаться, если я захочу. Но въ охотничьемъ костюмѣ я вѣроятно буду безобразна!

— А я увѣренъ, что вы будете прелестны! Впрочемъ, не думайте, что я хочу сказать вамъ грубость (Сесиль, все равно, не замѣтитъ, дѣйствительно ли вы прелестны, или нѣтъ), но это и не важно; вы можете зато явиться во всеоружіи своей красоты къ обѣду.

Глаза молодой женщины сверкнули.

— Мнѣ, все-таки, чрезвычайно пріятно ощущеніе всего новаго,—сказала она,—и я хочу попасть въ самый разгаръ сезона. Можетъ быть, эта новизна и не похожа на мои давнія мечты, но она блестяща; а развѣ это—не одно и то же? Я страстно люблю дѣлать что-нибудь новое.

Разговоръ свернулъ опять на другое; но, уходя отъ невѣстки, полчаса спустя, онъ обернулся на порогѣ и проговорилъ:

— Сесиль совершенно вами очарованъ; смотрите же,—сохраните ваше обаяніе въ его глазахъ.

— Я и сама ничего другого не желаю,—отозвалась Ли, и ея глаза, какъ всегда, отразили до самой глубины всю ея мысль.

XX.

Ли сидѣла одна, углубившись въ чтеніе письма отъ м-съ Монгомери. На нѣсколькихъ страницахъ шли сѣтованія о разлукѣ съ ея любимымъ дѣтищемъ, затѣмъ нѣсколько страницъ добрыхъ совѣтовъ и, наконецъ, въ заключеніе—новости:

„Вотъ и еще ребенка пришлось мнѣ лишиться, по крайней мѣрѣ, на̀-годъ. Я къ нему въ Европу собираюсь, когда туда вернется Тини; тогда, конечно, онъ вмѣстѣ съ нами пріѣдетъ въ Англію. Но онъ уже успѣлъ убѣдить меня поселиться въ Европѣ и только наѣздами бывать въ Калифорніи. Конечно, дорогая, ты понимаешь, что этотъ *онъ*—не кто иной, какъ Рандольфъ. Онъ до сихъ поръ спорилъ со мною, что непремѣнно продастъ свою долю въ копяхъ, но, наконецъ, со мною согласился. У нихъ образовалось товарищество изъ самыхъ надежныхъ людей: м-ра Джири, Треннагана, Браннана и другихъ такихъ же неподкупныхъ. Теперь эти копи перешли въ ихъ собственность, и Рандольфъ говоритъ, что одной его долѣ въ нихъ теперь цѣна—пять милліоновъ долларовъ, по меньшей мѣрѣ! Какъ только все это опредѣлилось, онъ объявилъ, что ему нечего сидѣть въ Америкѣ; всѣ дѣла и деньги ему надоѣли; ему хочется пожить немного для себя: немного поработать, почитать. Конечно, у меня есть утѣшеніе: это—мужъ Тини, и я его люблю, какъ родного сына. Арчэръ—прекрасный человѣкъ, но онъ все-таки не то, что Рандольфъ; и даже Тини не можетъ сказать, что онъ—интересный собесѣдникъ. Когда я говорю ему, что меня что-нибудь тревожитъ, онъ лишь протянетъ:—а-а!—и больше ничего. Но вотъ чему я рада безконечно. Мнѣ всегда было противно копить деньги (они вѣдь для того и существуютъ, чтобъ ихъ тратить, не считая!), и тяжело мнѣ было видѣть, что Рандольфъ до сихъ поръ былъ непохожъ на своихъ предковъ и уже нисколько не похожъ на своего отца, когда тотъ былъ молодъ. На женщину одинъ годъ въ Европѣ вліяетъ превосходно, но для мужчины надобно пробыть тамъ дольше, чтобъ его пре-

бываніе не прошло безслѣдно; если же онъ и останется тамъ дольше, то въ концѣ концовъ будетъ такимъ же, какъ м-ръ Треннаганъ. Я увѣрена, что это именно придастъ Рандольфу все то, чего у него не хватаетъ..."

Ли выронила письмо изъ рукъ. Ее огорчило предположеніе, что Рандольфъ можетъ бросить мысль о своей первой и дѣйствительно праздничной поѣздкѣ ради того, чтобы заботиться о ея дѣлахъ, и въ Англію попадетъ не ранѣе, какъ черезъ годъ. На нѣсколько минутъ ею овладѣло нервное возбужденіе, а затѣмъ наступила реакція: она была встревожена, подавлена; но вдругъ ей вспомнилось ея твердое рѣшеніе никогда не безпокоиться о томъ, чего измѣнить нельзя, и мысли ея вернулись опять къ Рандольфу. Конечно, онъ очень измѣнился, и еще больше измѣнится къ тому времени, какъ они свидятся. Въ ней пробудилось чувство любопытства, котораго прежде она за собою не замѣчала; и она даже съ особымъ оживленіемъ стала поджидать его пріѣзда.

Но вотъ еще письмо,—отъ Корали:

„Я тоже замужъ выхожу (писала миссъ Браннанъ) — за Нэда Джйри. Я привыкла думать, что влюблена въ Рандольфа. Помнишь? Но, право же, никакія чувства не могутъ развиваться на почвѣ безстрастной дружбы; такъ я и рѣшила перенести свои чувства на непостояннаго, вѣтреннаго Нэда. Я не думаю, чтобы Рандольфъ когда-нибудь женился. Я легкомысленна, Нэдъ также; мы съ нимъ — все равно, что сѣверо-американскій воздухъ и калифорнскій кларетъ. Но Рандольфъ—такого рода человѣкъ, что слишкомъ принимаетъ къ сердцу всякій пустякъ. Онъ позеленѣлъ и исхудалъ, и долго-долго еще не расцвѣтетъ. Впрочемъ, ему въ утѣшеніе остаются милліоны, такъ что, я думаю, онъ все-таки съумѣетъ исцѣлиться"...

Ли почувствовала легкую досаду на то, что Джйри слишкомъ быстро утѣшился, и улыбнулась увѣреніямъ Корали, что Рандольфъ „неизмѣнно ее любитъ".

Какъ ни легкомысленна была Ли въ нѣкоторомъ отношеніи, но за что бы она ни принялась, она все дѣлала основательно и предавалась своему дѣлу всецѣло. Наибольшую часть своей жизни она стремилась добиться, чтобы Сесиль ей принадлежалъ, и, наконецъ, добилась.

Чтобы чувствовать себя вполнѣ счастливой, чтобы дать ему полное счастье, она прилагала теперь всѣ силы, всѣ свои мечты и чувства. Сесиль не имѣлъ намѣренія бросать свои любимыя занятія; послѣ того, какъ гости оставили „Аббатство",

она ежедневно сопровождала его всюду: въ поле, на конюшню и на скотный дворъ; она старалась научиться стрѣлять; у нея была твердая рука и мѣткій глазъ—такъ что вскорѣ она почти безъ промаха стала попадать въ цѣль. Правда, гуляя съ мужемъ по топкому болоту или по зеленой лужайкѣ, Ли никогда не чувствовала себя въ полной безопасности, забывая, что она далеко заѣхала отъ своей родины, гдѣ каждую минуту можно опасаться обвала или землетрясенія; но, въ общемъ, она была въ восторгѣ отъ своей новой жизни. Охота нравилась ей, какъ развлеченіе, и вскорѣ начала даже доставлять настоящее удовольствіе; въ сѣдлѣ она сидѣла твердо, посадка ея была самая красивая. Тотъ мѣсяцъ, который она прогостила съ мужемъ у его дяди, принесъ не мало утомленія, но и не мало веселья. Эмми, тоже, заѣхала туда на нѣсколько дней, а лэди Джиффордъ—на цѣлыхъ двѣ недѣли, и очень много времени проводила въ обществѣ Ли. Когда молодые вернулись въ „Аббатство", охотиться пришлось уже немного.

Ли съ удовольствіемъ замѣтила, что она способна раздѣлять интересъ мужа къ движеніямъ политическихъ партій. За это время, Сесиль нерѣдко говорилъ рѣчи и, по мѣрѣ того, какъ шумъ народнаго движенія все разростался и захватывалъ его, онъ самъ увлекался, и рѣчи его звучали горячѣе, убѣжденнѣе. Онъ не сомнѣвался, что будетъ выбранъ; но его раздражало сознаніе, что партію его могутъ побить противники. Тутъ только жена убѣдилась, что Сесиль сохранилъ свое прежнее стремленіе искать въ близкихъ сочувствія и поддержки. Ея будуаръ и уединенныя мѣста болотныхъ луговинъ были свидѣтелями ихъ горячихъ споровъ и бесѣдъ. Мужу ни разу не пришлось замѣтить, чтобы Ли тяготилась трудностями и тревогами политическихъ движеній, которыя всю зиму поглощали его время и труды. Не замѣчалъ также ничего подобнаго ея свекоръ, который больше не вступалъ съ нею въ интимныя бесѣды; зато сама Ли чувствовала съ каждымъ днемъ, какъ сливается ея жизнь съ жизнью мужа.

Ей отрадно было чувствовать, что она ему полезна, и сознавать свою власть надъ нимъ—власть глубокаго, искренняго чувства.

Въ одинъ ненастный, бурный день Сесиль объявилъ женѣ, что намѣренъ приступить къ серьезнымъ, систематическимъ занятіямъ, и былъ пріятно удивленъ приглашеніемъ жены перенести свои книги и фоліанты въ ея будуаръ.

— Мнѣ надоѣли романы,—говорила она,—и нѣтъ у меня

другого дѣла. Скажи, не очень тебѣ будетъ трудно объяснять мнѣ то, чего я не пойму?

— Но ты сама увѣрена ли, что тебѣ это не надоѣстъ?— спросилъ Сесиль, и на лицѣ его такимъ же огнемъ загорѣлись ясные, восторженные глаза, какъ въ былое время, когда она предложила ему „искать приключеній“.

— Еще бы! я буду страшно радъ.

— А мнѣ, повѣрь, гораздо больше надоѣстъ одной бродить по саду или сидѣть, палецъ о палецъ не ударя. Мнѣ кажется, я въ состояніи понять, въ чемъ дѣло: вотъ уже три мѣсяца, какъ ежедневно по утрамъ я изучаю „Times“, и чувствую, что на все способна!

— Конечно, ты можешь понять все, что̀ угодно!—подтвердилъ Сесиль, который не замѣтилъ юмористической подкладки ея послѣднихъ словъ.—А мнѣ, пожалуй, будетъ вдвое легче заниматься, если я буду знать, что кто-нибудь слушаетъ меня и что есть съ кѣмъ подѣлиться каждою мыслью.

Такъ провели они всю зиму и только по два часа въ день гуляли вмѣстѣ. Ли тоже увлекалась политическимъ движеніемъ; она чувствовала, что все глубже захватываетъ ее судьба партіи, къ которой принадлежитъ Сесиль, и ничуть не смущалась, что горы книгъ и газетъ, тетрадей и бумагъ все возростаютъ и грозятъ заполонить весь ея прелестный, оригинальный будуаръ.

Глубокое наслажденіе доставляло ей сознаніе, что она коечему учится; а какая наука сравнится съ современной исторіей?

Первое время, Ли было какъ-то жутко сознавать, что она является въ глазахъ мужа вовсе не такимъ скопищемъ всѣхъ совершенствъ, какимъ она до сихъ поръ себя воображала; но у нея съ дѣтства вкоренилась привычка смотрѣть прямо въ лицо каждому факту и не бояться разобраться въ немъ. Такъ она сдѣлала и въ этотъ разъ. Результатъ рѣшительно успокоилъ ее; теперь она понимала мужчинъ; она знала, что Сесиль полностью наслаждается своимъ сознаніемъ мужского превосходства надъ нею, какъ надъ другомъ и товарищемъ, которымъ онъ всегда восхищался и гордился. Придетъ очередь другого, еще болѣе прочнаго чувства,—очередь духовной связи, которая между ними крѣпла съ каждымъ днемъ.

Она была далека отъ стремленія пускать ему пыль въ глаза и казаться болѣе блестящей, чѣмъ на самомъ дѣлѣ; вполнѣ искренно признавалась она въ своемъ незнаніи, если чего дѣйствительно не знала, и Сесиль не былъ бы мужчиной, еслибы

ему не льстили горячіе порывы восхищенія, которые у нея проявлялись.

— Право, я не знаю, какъ я ухитрюсь потерять всякую смѣлость и надежду на успѣхъ?—сказалъ онъ какъ-то разъ, поддавшись юмористическому настроенію, подъ вліяніемъ восторженныхъ, прекрасныхъ глазъ, которые смотрѣли на него открыто: —Если я даже осрамлюсь, какъ послѣдній оселъ, ты, кажется, съумѣешь и тогда убѣдить меня, что я—слишкомъ крупная величина для того, чтобы меня понимали такіе презрѣнные люди, какъ мои земляки.

— Благодарю покорно! Но и я вѣдь не глупая гусыня, да и ты никогда осломъ не будешь,—значитъ, не о чемъ и говорить. Понятно, ты будешь виднымъ человѣкомъ!

— Какъ бы хотѣлось мнѣ этому вѣрить!

— Да это вполнѣ ясно для кого угодно. Единственно, чего тебѣ не хватаетъ, это честолюбія,—но я вижу, что и оно уже возростаетъ. Если даже твоя партія и рухнетъ,—ты устоишь и съ новыми силами пойдешь на новое дѣло; а только этого и нужно вашимъ старымъ тряпкамъ! Словомъ, я не вижу тебя въ будущемъ иначе, какъ важнымъ человѣкомъ.

Съ минуту молча глядѣлъ Сесиль въ ея глаза, которые безъ словъ дополняли ея мысль; онъ горячо пожалъ руку жены и снова углубился въ работу.

Въ апрѣлѣ они переѣхали въ городъ и заняли хорошенькій, уютный домикъ, который заблаговременно нашла и меблировала для нихъ лэди Барнстэплъ, согласно безпрестаннымъ указаніямъ, которыя получались по почтѣ изъ „Аббатства", куда она, въ свою очередь, посылала на разсмотрѣніе образцы матерій и обоевъ.

— Ради Бога, пусть у васъ все будетъ мило и свѣтло!—восклицала Эмми въ своихъ письмахъ.—Лондонъ порядочно противная, мрачная яма, и каждому пріятны свѣтлые, веселые цвѣта; а это единственно, чего недостаетъ нашему „Аббатству".

Ли нашла, что ея гнѣздышко дѣйствительно прелестно, и несмотря на то, что Сесиль съ каждымъ днемъ становился серьезнѣе, она все-таки ухитрялась дать ему замѣтить, что и они могутъ принимать у себя. Впрочемъ, и помимо гостей, она знала, что умѣетъ всегда кстати позабавить и разсѣять своего супруга и повелителя.

Они мало выѣзжали; хотя Ли тотчасъ же сдѣлалась всѣми признанной красавицей сезона, она не испытывала никакого стремленія поддерживать эту репутацію.

Въ театры они ѣздили всегда вмѣстѣ съ лэди Джиффордъ и

лордомъ Барнстэпломъ: Эмми не рѣшалась сидѣть рядомъ со своей невѣсткой, какъ будто изъ боязни проиграть въ глазахъ публики. Сесиль зналъ, что свиданій съ его женой ищутъ многія дамы-журналистки, и что фотографамъ хотѣлось бы имѣть ея портретъ; но въ этомъ отношеніи онъ высказалъ свое рѣшительное мнѣніе, и Ли сама была рада, что оно совпало съ ея собственнымъ. Общество горячо занялось новинкой, какую представляла изъ себя молодая красавица-американка, но мало-по-малу она перестала напоминать о себѣ, и ее мало-по-малу почти позабыли.

— Въ сущности, еслибъ я и сдѣлалась красавицей на показъ, это поставило бы мужа въ неловкое положеніе, а я скорѣе согласна потерпѣть неуспѣхъ, нежели что-либо подобное.

— Ахъ, полноте!—говорилъ ей отецъ Сесиля.—Не стоитъ говорить съ женщиной, которая влюблена. Вы всю свою юность принесете въ жертву грубому эгоисту-мужчинѣ. Вы проведете свои тридцатые годы въ сожалѣніяхъ о потерянномъ времени, а въ сороковыхъ—будете стараться наверстать потерянное. Я люблю Сесиля, и, конечно, буду радъ, если онъ будетъ счастливъ; но онъ—такой же эгоистъ, какъ и всѣ мужчины, а вы еще больше подогрѣваете этотъ эгоизмъ. Я не хочу сказать, что вамъ не удастся удержать его при себѣ неизмѣнно; я даже *увѣренъ*, что это непремѣнно вамъ удастся; да и онъ по природѣ уже такого склада человѣкъ, что скорѣе склоненъ оставаться вѣрнымъ женѣ, нежели наоборотъ. Но онъ скоро начнетъ на васъ смотрѣть какъ на вещь, для него обыкновенную, и тогда-то вы увидите, къ чему бы пригодилось для васъ общество. Богъ знаетъ, что мнѣ самому пришлось бы дѣлать, еслибы оно не спасало меня!

Но Сесиль, повидимому, не имѣлъ даже и намѣренія смотрѣть на жену какъ на „вещь обыкновенную"; правда, отъ нея онъ бралъ все и не давалъ ей взамѣнъ ничего, кромѣ своей любви. Мысль, что у жены можетъ быть своя особая внутренняя жизнь, никогда не приходила ему въ голову; а еслибы мысль, что она создана для жизни совершенно отдѣльной отъ его собственной, и пришла кому-нибудь другому,—онъ это счелъ бы личнымъ для себя оскорбленіемъ. Онъ былъ вполнѣ доволенъ своей молодой женой, но просилъ у нея разрѣшенія не выражать ей больше своего восторга, и она милостиво на это согласилась. Ея красота, ея любовь и страсть, держали его какъ въ очарованномъ кругу, и онъ ей былъ глубоко благодаренъ за то, что она рада была служить ему вѣрнымъ другомъ и товарищемъ. Ему казалось, что конца не будетъ его блаженству и его успѣхамъ. Ли

не знала, часто ли онъ вспоминаетъ про общество; впрочемъ, повидимому, онъ нисколько объ этомъ не тревожился.

Тѣмъ временемъ, Эмми принимала у себя, задавала роскошные пиры и сообщала своимъ гостямъ, что въ Чикаго произошелъ внезапный финансовый переворотъ, и по меньшей мѣрѣ утроилъ ея бумаги.

Несмотря на болтовню, которою угощала лэди Джиффордъ свою новую знакомую, Ли не питала никакой склонности опять окунуться въ водоворотъ свѣтской жизни.

До Ли дошли слухи, что у Эмми постояннымъ посѣтителемъ сдѣлался братъ пресловутой миссъ Пиксъ, и что онъ даже гордится тѣмъ, что ему удалось, наконецъ, попасть въ свѣтское общество.

Положимъ, онъ имѣлъ видъ довольно приличный, но несомнѣнно вульгарный, и любезность свою простиралъ до послѣднихъ предѣловъ. Все дѣло портилъ его іоркширскій акцентъ. Въ сущности, его положеніе въ обществѣ было довольно сомнительнаго свойства: женщинамъ онъ нравился, а мужчины только терпѣли его; однако, онъ былъ еще настолько уменъ, чтобы не принимать приглашенія молодыхъ Барнстэпловъ побывать у нихъ въ „Аббатствѣ“; а съ тѣхъ поръ, какъ Ли переѣхала въ городъ, ей ни разу не случилось его видѣть, и она отзывалась о немъ не особенно благосклонно.

— Я бы просила васъ быть немного полюбезнѣе съ моими друзьями,—рѣзко замѣтила ей Эмми, когда онѣ были одни.

— Развѣ мистеръ Пиксъ—вашъ другъ?

— Я дружна съ его сестрой; что же касается его,—ну, да, пожалуй, онъ мнѣ нравится, и знаете ли, что̀ я вамъ скажу? Для меня все-таки что-нибудь да значитъ, если мнѣ мужчина оказываетъ множество маленькихъ любезностей; которыми такъ дорожатъ женщины; а главное, онъ считаетъ, что я еще довольно красива. Конечно, не будь я графиней Барнстэплъ, можетъ быть, онъ не замѣтилъ бы меня; но я стою неизмѣримо выше, чѣмъ онъ самъ, на общественной ступени, и для меня весьма важно, что я могу ослѣплять его блескомъ своего величія. Когда вы доживете до моихъ лѣтъ, вы сами все поймете.

Ли подумала про себя, что, по всей вѣроятности, главная связь между ними—ихъ общая вульгарность, и больше на эту тему не распространялась.

Лордъ Барнстэплъ, который обѣдалъ въ домѣ своей жены только при гостяхъ, но частенько посѣщалъ уютный домикъ на Гринъ-Стритѣ,—или вовсе не подозрѣвалъ о существованіи м-ра

Пикса, или просто относился довольно свободно къ причудамъ своей законной половины.

XXI.

Двадцать-восьмого іюня, засѣданія въ парламентѣ открылись для выборовъ. Сесиль вмѣстѣ съ женой отправился въ Іоркширъ, гдѣ молодой лордъ Маундрэлъ произнесъ множество рѣчей и старался понравиться многимъ изъ такихъ господъ, которымъ въ другое время не захотѣлъ бы подать и руки. Борьба была нелегкая и горячая, и за неимѣніемъ болѣе подходящаго выраженія, Ли говорила, что за это время ея супругъ сдѣлался „менѣе англичаниномъ, чѣмъ обыкновенно".

Случалось иной разъ, что онъ не скрывалъ отъ нея своей тревоги и возбужденія, хотя отъ другихъ и пряталъ тщательно свое малѣйшее ощущеніе.

Ли, въ свою очередь, играла въ этихъ маленькихъ деревушкахъ ту роль, съ которой она свыклась, глядя на подмостки или читая романы, и ни за что на свѣтѣ не могла бы отнестись къ своей задачѣ болѣе серьезно. Труднѣе всего было то, что она не понимала іоркширцевъ, а они—ее.

Сесиль былъ выбранъ, но его партія потерпѣла пораженіе, и онъ увѣрялъ жену, что еслибъ не она, его мрачнаго настроенія хватило бы, по крайней мѣрѣ, на цѣлый мѣсяцъ.

Съ августа до декабря жизнь ихъ пошла приблизительно тѣмъ же порядкомъ, какъ и въ прошлый годъ: тѣ же люди (почти безъ исключенія), та же охота и прогулка въ „Аббатствѣ", тѣ же завтраки среди болотистой равнины; играли въ тотъ же „tennis" и „golf"; ѣздили кататься верхомъ или въ экипажахъ, или сидѣли себѣ спокойно въ „Аббатствѣ". Послѣ обѣда, мужчины какъ бы немного просыпались и дозволяли дамамъ позабавиться съ ними небольшимъ flirt'омъ, котораго свидѣтелями были: историческая старинная гостиная, будуары или билліардные столы. Молодые Маундрэлы обыкновенно, пускались въ обратный путь къ себѣ въ башню не раньше, какъ послѣ полуночи, проведя утомительный и пестрый день.

Въ январѣ они на двѣ недѣли заѣхали въ Парижъ, потому что гардеробъ Ли нуждался въ освѣженіи; въ февралѣ Сесиль уже приступилъ къ своей службѣ въ парламентѣ, и они окончательно основались въ Лондонѣ, въ самое скучное и сырое время года, что̀, впрочемъ, не мѣшало картинамъ англійской природы очаровывать Ли своею прелестью.

Теперь Ли часто приходилось быть одной, хотя она часто посѣщала дамскую галерею парламента и возвращалась домой вмѣстѣ съ мужемъ. Когда у молодого члена парламента было не слишкомъ много дѣла, ему все-таки удавалось вмѣстѣ съ женой покататься или пройтись до начала служебнаго дня, а вечеромъ бывать въ театрѣ. Изрѣдка они ѣздили въ гости на обѣдъ или на вечеръ; а такъ какъ Эмми въ этомъ году придумала развлекать своихъ гостей дневными концертами, то Сесиль, какъ настоящій мученикъ, долженъ былъ выносить и эту пытку. Когда случалось, что въ палатѣ происходили очень важныя пренія, Ли непремѣнно присутствовала на нихъ; а тѣ рѣчи, которыхъ она не слыхала, она изучала по газетамъ и пользовалась свѣдѣніями не только изъ одного, а даже изъ шести различныхъ источниковъ. Теперь зачастую случалось, какъ она сама себя увѣряла, что въ дѣлѣ политики она не менѣе опытна, чѣмъ любая англичанка. Ея восторженныя старанія несомнѣнно были вознаграждаемы, потому что мужъ былъ ей благодаренъ за участіе и за то наслажденіе, которое она доставляла ему, когда случалось, что на какомъ-нибудь торжественномъ обѣдѣ она умѣла своевременно вызвать на разговоръ съ политической подкладкой своего сосѣда, если онъ былъ слишкомъ молчаливъ. Одинъ добродушный, но безмолвный толстякъ — лицо довольно извѣстное— высказалъ ей увѣреніе, что она болѣе способна говорить о политикѣ глазами, нежели другія дамы языкомъ, какихъ бы гигантскихъ размѣровъ ни было ихъ тщеславіе и, такъ сказать, политическое развитіе.

Лордъ Барнстэплъ разсмѣялся, когда Ли ему разсказала этотъ отзывъ.

— О, вамъ скоро понадобится цѣлый салонъ, въ которомъ въ видѣ украшенія будутъ фигурировать толпы правительственныхъ дѣятелей (о размѣрахъ вашего домика мы, конечно, говорить не будемъ), которые почтутъ себя счастливыми, если имъ будетъ дозволено нашептывать свои государственныя тайны въ ваши хорошенькія ушки.

Ли покраснѣла и закинула назадъ голову движеніемъ, которое, даже съ точки зрѣнія свёкра, могло быть признано лишь обворожительнымъ.

— Конечно, у меня былъ бы и салонъ,—стоило бы только захотѣть; но и этого сознанія съ меня довольно.

— Мнѣ грустно, что вамъ неудобно чаще выѣзжать; вы молоды, всѣ вами восхищаются, и, конечно, вы сами любите то, что̀ на женскомъ языкѣ принято называть удовольствіемъ.

— Я этимъ нисколько не дорожу!—горячо возразила она:—я увѣрена, что цѣлый сезонъ въ Лондонѣ довелъ бы меня до смертельной скуки и утомленія,—это вѣрно.

— Чортъ возьми, какъ это непріятно! Но въ самомъ дѣлѣ—вы лучше всего на томъ мѣстѣ, какое сами выбрали себѣ. Я радъ, что вижу, какъ вы счастливы; моему Сесилю повезло!

— Помните,—тогда вы дали мнѣ прекрасные совѣты.

— Но вы настолько умны, что додумались бы до нихъ и безъ моей помощи, — конечно, еслибъ сочли необходимымъ составить себѣ самостоятельную, блестящую карьеру. Еслибы вы были глупой женщиной, жадной до поклоненій и интригъ—дѣло другое: для Сесиля это было бы ужасно; но вы хотѣли только счастья, а это—единственное средство добиться его.

Не долго пришлось трудиться юному лорду Маундрэлу, чтобы его способности получили достойное ихъ примѣненіе; отъ него ожидали и безъ того многаго, потому что онъ принадлежалъ къ цѣлому поколѣнію видныхъ членовъ парламента. Сверхъ того, онъ уже былъ извѣстенъ какъ образцовый спортсменъ, и потому возбуждалъ въ обществѣ интересъ, какой, конечно, могъ возбудить къ себѣ только молодой потомокъ славныхъ предковъ.

Когда пришло время выступить съ первой рѣчью, незадолго до конца сессіи, Ли не преминула занять въ галереѣ удобное мѣсто и подъ ледяной невозмутимостью скрыла жгучее пламя нервнаго возбужденія.

День былъ темный и унылый; угнетающее впечатлѣніе производили длинные ряды лицъ, которыя, казалось, никогда еще не смотрѣли такъ апатично. Чего же могъ ожидать отъ нихъ молодой ораторъ, впервые ощутившій, что сегодня онъ выступилъ на борьбу, рѣшающую вопросъ всей его жизни?

Ли чувствовала, что провались онъ сегодня, она способна его возненавидѣть,—и не за то, что весь міръ отвернулся отъ него съ презрѣніемъ, но оттого, что онъ,—ея Сесиль,—растерявшись, сбившись въ своей рѣчи, былъ бы въ ея глазахъ не что иное, какъ рухнувшій на вѣки идеалъ.

Она сознавала, что съ теченіемъ времени это ощущеніе можетъ пройти; что она даже будетъ сочувствовать ему въ его горестяхъ, но никогда не была бы она въ состояніи вполнѣ обѣлить его въ своихъ собственныхъ глазахъ. Случись ему потерпѣть пораженіе въ главныхъ цѣляхъ его политическихъ предпріятій; случись, что его партія обратилась бы въ его враговъ,—она все-таки положила бы къ его ногамъ все богатство своихъ мыслей

и чувствъ. Но еслибы ему случилось у нея на глазахъ сыграть роль дурака,—она ни за что никогда бы этого ему не простила!

Но Сесиль не имѣлъ ни малѣйшаго намѣренія „сыграть роль дурака“. Еще въ Оксфордѣ онъ успѣлъ научиться говорить краснорѣчиво, и это было его отличительной чертой. Ни нервности, ни слишкомъ большой самоувѣренности онъ не проявилъ; онъ даже началъ такъ свободно, такъ спокойно, что Ли вся встрепенулась съ гордостью и принялась упрекать себя за свои сомнѣнія; когда пронеслось по рядамъ въ первый разъ громкое: „Слушайте, слушайте!“—колѣни ея задрожали, и тогда только поняла она, до чего велико было ея волненіе. Ли стояла подлѣ мужа въ тотъ моментъ, когда его осыпали поздравленіями люди значительно сановитѣе и старше его, а на слѣдующее утро она принесла домой всевозможныя газеты, и самые похвальные отзывы критики о „восходящемъ свѣтилѣ“ вклеила въ свою записную книжку.

Ли съумѣла такъ искусно поддѣлаться къ мужу, что онъ согласился дать себя снять у фотографа. Слава его росла съ каждымъ днемъ, и она охотно доставляла газетамъ портреты своего мужа; это его злило до бѣшенства, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ ему было сладко восторженное чувство и поклоненіе его жены! Каждый разъ, что она оправдывалась,—если ей случалось сдѣлать что-нибудь безъ его вѣдома,—онъ тотчасъ же прощалъ ее.

Къ великому огорченію Ли, они не успѣли побывать за-границей; для нея и въ этомъ году всѣ сезоны прошли такъ же точно, какъ и въ предыдущемъ: тѣ же лица бывали у нихъ, въ тѣ же дома они ѣздили сами, и Ли имѣла полную возможность восторгаться способностью англичанъ находить удовольствіе и даже развлеченіе въ такомъ однообразіи.

„Не мудрено, что они способны дѣлаться великими людьми!“—разсуждала Ли про себя, и еще рѣже бывала теперь въ свѣтскомъ обществѣ, хотя и начала допускать, что ей было бы, пожалуй, пріятно снова побывать на какомъ-нибудь большомъ сборищѣ, на оффиціальномъ обѣдѣ, ужинѣ или вечеринкѣ, подъ крылышкомъ мачихи. И вотъ, такимъ образомъ, ей приходилось тогда проводить въ одиночествѣ длинные вечера, которыхъ не сокращали даже занятія политикой, такъ какъ имъ не хватало разнообразія. Какъ-то разъ, смущенно краснѣя, она спросила мужа, не будетъ ли онъ что-либо имѣть противъ ея выѣздовъ.

Сесиль засунулъ руки въ карманы.

— Тебѣ бы очень хотѣлось?

— Ну, не особенно; но я не прочь изрѣдка посмотрѣть,

что творится въ лондонскомъ обществѣ; а времени у меня хватаетъ.

— Боюсь, какъ бы тебѣ все это не надоѣло! Мнѣ жаль, что я обязанъ подолгу быть врозь съ тобою; но мнѣ противны женщины, которыя бѣгаютъ по городу безъ своихъ, мужей, и, сверхъ того, это входитъ въ привычку и неизмѣнно является началомъ конца: жена пойдетъ своей дорогой, мужъ—своей. Съ моей стороны, эгоистично такъ думать, но мнѣ, право, нравится, представлять себѣ, что ты всегда дома; ты сама знаешь, что я нерѣдко возвращаюсь рано, неожиданно...

— Въ этому году—ни разу!

— У насъ такъ много было дѣла... Но я все время въ мысляхъ не разстаюсь съ тобою; я рисую себѣ картину, какъ ты всегда окружена этой самой обстановкой, этими книгами, или что ты сладко спишь въ то время, когда другія женщины немилосердно портятъ себѣ цвѣтъ лица.

Ли улыбнулась.

— Очень тонко сказано! Такъ, значитъ, ты не хочешь, чтобы я выѣзжала?

— Я и самъ чувствую, что я—грубое животное и эгоистъ. Предупреди меня, когда тебѣ особенно этого захочется, и я постараюсь тебя сопровождать.

Но Ли прекрасно знала, что ему было противно даже думать о чемъ-либо подобномъ. Онъ все болѣе и болѣе углублялся въ свою работу, хотя о честолюбивыхъ замыслахъ еще не могло быть и рѣчи. Впрочемъ, Сесиль зашелъ такъ далеко въ своихъ житейскихъ успѣхахъ, что готовъ былъ признаться женѣ даже и въ этомъ смертномъ грѣхѣ.

Ли старалась тоже увлечься исторіей развитія правительственной связи колоній съ Англіей, какъ увлекался этимъ вопросомъ ея мужъ. Въ его планы входила непремѣнная необходимость ознакомиться на мѣстѣ съ политическими условіями Индіи и другихъ отдаленныхъ странъ—а Ли старалась при этомъ утѣшаться мечтами о предстоящихъ путешествіяхъ, но почти не было надежды ихъ осуществить: слишкомъ много было работы у Сесиля на родинѣ. Послѣ Пасхи, онъ началъ ощущать настоятельную потребность въ секретарѣ, потому что, помимо засѣданій въ палатѣ, у него было много другихъ дѣлъ.

Ли противна была мысль, что чужой человѣкъ ворвется въ ихъ уютный домикъ, не говоря уже про то, что его появленіе обусловливало еще много лишнихъ часовъ, которые ей суждено было проводить одной, и она сказала, что сама займетъ это

мѣсто. Сесиль былъ удивленъ и пришелъ въ восторгъ, тѣмъ болѣе, что его положеніе налагало на него условіе строжайшей тайны, и онъ самъ не желалъ бы вводить въ свою интимную жизнь посторонняго человѣка.

— Ты увѣрена, что не будешь уставать?—нѣжно спросилъ онъ; впрочемъ, онъ вообще былъ всегда заботливъ.

— Конечно, нѣтъ! И у меня такъ много пустого времени, особенно теперь, когда всѣ мои наряды уже готовы. Мнѣ тошно смотрѣть на вѣчный, неизмѣнный Бондъ-Стритъ. И, наконецъ, ты знаешь, какъ я люблю сознавать, что я тебѣ полезна!

— Но ты и безъ того всегда мнѣ полезна, даже когда не дѣлаешь для меня, повидимому, ровно ничего! Я, пожалуй, настолько эгоистъ, что приму съ радостью твое предложеніе, но помни: если я увижу, что ты утомилась или просто тебѣ надоѣло,—мы можемъ порвать наши условія, когда тебѣ угодно.

И въ самомъ дѣлѣ, ей это было тяжело; ей и надоѣло... но—онъ такъ никогда и не узналъ объ этомъ. Въ сущности, Ли только утомлялась, но при ея прирожденной жизнеспособности она изрѣдка чувствовала не болѣе какъ нервное напряженіе. Она удивлялась возвышенности ума мужа, который могъ управлять подобными дѣлами и даже находить въ этомъ жгучій интересъ; а было время, когда она ставила себѣ вопросъ: убѣжденный онъ политикъ или нѣтъ? Ей было забавно, что, возвращаясь мыслью къ предстоящему осеннему сезону, она чувствуетъ, что онъ доставитъ ей, на этотъ разъ, бо̀льшее удовольствіе, чѣмъ когда-либо: по крайней мѣрѣ, это будетъ перерывъ, въ который она будетъ чувствовать себя, сравнительно, свободно и покойно.

Для нея было искреннимъ наслажденіемъ сознавать, что и она полезна мужу; но нестерпимо было по обязанности высиживать цѣлые дни и вечера надъ переписываніемъ бумагъ, когда она съ удовольствіемъ улеглась бы въ постель или читала бы романы, интересъ которыхъ освѣжилъ бы ей умъ, утомленный слишкомъ серьезными дѣлами. Театры и визиты были окончательно забыты; Сесиль былъ счастливъ и доволенъ, и, глядя на него, Ли невольно задавала себѣ вопросъ: неужели этотъ баловень судьбы могъ когда-нибудь жить совсѣмъ иною жизнью?

XXII.

Дня за два до конца сезона, Ли получила письмо отъ м-съ Монгомери: она и Рандольфъ теперь во Франціи и скоро будутъ въ Англіи, а въ августѣ пріѣдутъ молодые Джѣри. Только

лордъ Арромаунтъ не давалъ имъ о себѣ знать, и Ли ничего про него не узнала.

Изъ сбивчивыхъ строкъ письма, Ли все-таки могла вывести заключеніе, что Рандольфъ живетъ въ Нормандіи, гдѣ онъ купилъ себѣ зàмокъ, и лишь наѣздомъ оттуда бываетъ въ различныхъ частяхъ Европы.

Однажды, зайдя къ лэди Барнстэплъ, она попросила ее пригласить всю эту компанію недѣли на двѣ въ „Аббатство“. Благодаря счастливой случайности, Эмми была въ прекрасномъ настроеніи и тотчасъ же согласилась—даже призналась, что ей понравилась Тини: она не „блестяща“, нѣтъ,—но „вполнѣ прилична“. Отъ аристократовъ Санъ-Франциско многаго требовать нельзя.

— Я буду очень рада видѣть вокругъ себя новыя лица,— прибавила Эмми.—Вы, какъ всегда, прелестны, а Сесиль—даже черезчуръ уменъ. Онъ—грубый эгоистъ!.. Скажите, на сколько времени, вы думаете, хватитъ у васъ съ нимъ терпѣнія?

— О, я уже совсѣмъ привыкла! А кто же къ вамъ еще пріѣдетъ?

— Мэри Джиффордъ. Кстати, не можете ли вы сосватать ее за Рандольфа Монгомерѝ? Просто, достойно изумленія, до чего она силится выйти замужъ!

— Ея сёстры уже замужемъ, и я не понимаю, почему она не послѣдовала ихъ примѣру? Отложивъ въ сторону ея громкій голосъ и рѣзкость движеній, можно принять ее за фарфоровую куколку, которая боится каждаго мужчины.

— Вздоръ! Ждетъ жениха, у котораго было бы восемьдесятъ тысячъ годового дохода! И она права. Добьется ли она ихъ, или нѣтъ—все равно, она красавица и удивительно до чего похожа на совсѣмъ юную дѣвицу. Позвольте! Посмотримъ, кто еще у насъ будетъ? Пиксы—братъ и сестра; онъ, наконецъ, согласился принять мое приглашеніе и, по секрету, выучился хорошо стрѣлять. Мнѣ кажется, Мэри мѣтитъ на него, но лучше бы ей не пытаться.

— Почему же, если вы принимаете участіе въ ея судьбѣ?

— Потому что я увѣрена, что онъ—единственный, который рѣшительно не замѣчаетъ моихъ морщинъ, и я намѣрена удержать его при себѣ. Ну, будутъ Арромаунты, Монгомери́, Джѝри, Пиксы, Мэри и еще человѣкъ восемнадцать нашихъ обычныхъ гостей, которыхъ или надо непремѣнно приглашать, или самой не бывать нигдѣ; но мнѣ бы все-таки очень хотѣлось хоть на одинъ сезонъ отъ нихъ освободиться.

— А мнѣ всегда казалось, что вы обожаете англичанъ.

— И да, и нѣтъ. Въ сущности, надоѣли они мнѣ,—взять хоть бы эту Мэри Джиффордъ! Ни гроша у нея за душой, а ухитряется она бывать въ самыхъ знатныхъ домахъ.

— Но ея отецъ вѣдь, кажется, маркизъ.

— Вотъ именно: она по происхожденію аристократка, а я—нѣтъ. Я не могу пожаловаться, чтобы за мной не бѣгали; но я ни съ кѣмъ не близка.

— Не все ли вамъ равно? У васъ были честолюбивыя стремленія, и вы ихъ удовлетворили.

— Только помолодѣть я больше не могу! Когда я была молода, мнѣ это было все равно.

— Но вамъ вѣдь удалось плѣнить м-ра Пикса,—вскользь проронила Ли.—Пусть хоть это вамъ послужитъ утѣшеніемъ!

Лордъ Арромаунтъ и Рандольфъ написали лэди Барнстэплъ, что они пріѣдутъ въ „Аббатство" одиннадцатаго числа. М-съ Монгомери была не совсѣмъ здорова, но надѣялась, что запоздаетъ не болѣе, какъ на недѣлю. Молодые Джэри писали изъ Парижа, что могутъ пріѣхать—„въ августѣ какъ-нибудь".

Ли разсмѣялась, глядя, какъ лэди Барнстэплъ рѣзкимъ движеніемъ швырнула письмо Корали, промолвивъ:

— Это черезчуръ балованныя дѣти! Нэдъ никогда не признавалъ никакихъ общественныхъ условій, но со мною онъ не можетъ позволять себѣ такія вольности. Это ничего не значитъ, что я сама *была* американкой.

— О, теперь вы—настоящая англичанка!—подхватила Ли, не рѣшаясь отказать себѣ въ удовольствіи изрѣдка уколоть мачиху скрытой насмѣшкой. Тѣмъ же платила и лэди Барнстэплъ, но это не мѣшало имъ быть добрыми пріятельницами. Лэди Барнстэплъ давно не заходила въ башню и ничего не подозрѣвала о смѣлыхъ преобразованіяхъ своей невѣстки, а другого повода къ ссорамъ у нихъ не возникало, да и не могло возникнуть. Разъ рѣшивъ про себя смотрѣть на Эмми съ философской точки зрѣнія, Ли покорилась необходимости мириться съ нею въ такомъ видѣ, въ какомъ она ей представлялась; но видѣлась съ нею какъ только могла рѣже.

Лэди Барнстэплъ давно простила невѣсткѣ ея красоту, а искусствомъ Ли одѣваться она всегда искренно восхищалась.

Подъ-вечеръ, когда должны были пріѣхать гости, Ли съ особымъ тщаніемъ занялась выборомъ своего наряда.

За последніе три года она не наряжалась ни для кого, кромѣ мужа, который попрежнему повторялъ ей, что для него она всегда одинаково хороша, независимо отъ того, въ какомъ она платьѣ; а до другихъ—ей не было дѣла. Она ни съ кѣмъ не кокетничала ни разу, даже и за обѣденнымъ столомъ. Ли такъ пытливо смотрѣла въ лицо своему идеалу семейной жизни, что ей казались грандіозными даже самыя микроскопическія опасности, какія могли бы ему угрожать. Но съ ея стороны было вполнѣ естественно желаніе одѣться именно теперь повнимательнѣе для того, чтобы принять такого стараго друга, какъ Рандольфъ, и, конечно, это даже доставляло ей удовольствіе, потому что она знала, какъ онъ способенъ оцѣнить малѣйшую подробность ея туалета, а вкусъ у него былъ самый утонченный. Вотъ почему изо всѣхъ своихъ туалетовъ она предпочла выбрать черное газовое, отдѣланное съ той простотой, которая особенно была ей къ лицу. Онъ долженъ былъ пріѣхать въ пять часовъ, и она дала ему знать, чтобы онъ одѣлся пораньше и прошелъ прямо къ ней въ башню. Она знала, что Сесиль, конечно, задержитъ его ненадолго въ библіотекѣ, но сама ждала его въ будуарѣ уже въ началѣ седьмого часа. Ея возбужденіе пріятно отозвалось на общемъ ея настроеніи; она почти желала, чтобы Рандольфъ пріѣхалъ къ ней лучше прямо изъ Калифорніи и внесъ въ ея жизнь тѣ бурные вихри, которые мчатся надъ Тихимъ океаномъ. За долгіе мѣсяцы и годы, которые она провела вдали отъ Калифорніи, она, правда, научилась меньше о ней думать, и сегодня впервые дрогнуло въ ней чувство стремленія вспомнить родную страну, которая казалась ей и шире, и величественнѣе всѣхъ другихъ. Такой внезапный приливъ тоски по родинѣ былъ столько же физическаго, сколько нравственнаго происхожденія. Ей казалось, что каждая жилка въ ней бьется и глаза наполняются слезами. Голова у нея кружилась...

Рандольфъ поднялся на лѣстницу медленнѣе, чѣмъ въ старину, но поступь его была такъ же легка и спокойна. Ли сразу заговорила тономъ любезной хозяйки.

— А вы, однако, долго переправлялись черезъ Ламаншъ, чтобы повидать меня,—весело сказала она, горячо тряся его руку.

— Но вы знаете,—въ моихъ словахъ никогда нѣтъ затаеннаго лукавства: я просто въ восторгѣ, что вижу васъ! Меня мать задержала во Франціи; ея здоровье пошатнулось, и это меня безпокоитъ.

Они поговорили о м-съ Монгомери и въ то же время пристально всматривались другъ въ друга.

Ли надѣялась, что если онъ считаетъ ее измѣнившеюся, то только къ лучшему. Да и самъ Рандольфъ измѣнился также къ лучшему; онъ превратился въ то, чѣмъ былъ бы уже много лѣтъ тому назадъ, еслибы мать рѣшилась пустить его въ Европу, когда онъ былъ еще подросткомъ. Его порывистыя, чисто-американскія ухватки, небрежная осанка, нервная игра лица и даже морщинки у глазъ и у рта пропали безслѣдно. Статная, изящная осанка, которую онъ теперь пріобрѣлъ, придала ему росту, и онъ теперь почти сравнялся съ ея мужемъ.

Сравнительно съ тѣмъ, какимъ онъ уѣхалъ изъ Калифорніи, онъ казался немного полнѣе, но въ новомъ костюмѣ онъ былъ такъ хорошъ и такъ полонъ великосвѣтскаго изящества, что сердце Ли встрепенулось отъ гордости за всѣхъ Монгомери и за южанъ прежней Калифорніи. Обращеніе его съ другомъ дѣтства было мало похоже на братское, но не походило и на обращеніе влюбленнаго, которому отказали, но который упорствуетъ.

Передъ Ли былъ просто любезный свѣтскій человѣкъ, который радъ случаю возобновить прежнюю дружбу съ прелестной женщиной.

— Неужели я измѣнилась до такой же степени, какъ вы?— вдругъ спросила Ли.

— Да развѣ я измѣнился? А вы... Я вамъ скажу объ этомъ, когда пробуду съ вами нѣкоторое время; конечно, есть разница противъ прежняго, хотя это платье и придаетъ вамъ, какъ будто, совершенно прежній видъ; но въ чемъ заключается разница, я затруднился бы сказать. Вы стали еще лучше, если то возможно.

Ли такъ давно не слышала крупныхъ комплиментовъ, что вся зардѣлась отъ восторга.

— Я очень рада вашему пріѣзду!—воскликнула она:—поговоримъ про доброе старое время: но, можетъ быть, вамъ не совсѣмъ пріятно о немъ вспоминать.

— Это почему же?

— Да вы ненавидите Америку.

— Къ чему самыя умныя женщины иной разъ кривятъ душой? Наоборотъ, я страшно горжусь Соединенными-Штатами; я не хотѣлъ бы родиться подданнымъ никакого другого государства, я ненавижу только современный духъ, который воплотился въ Нью-Іоркѣ, Чикаго, Санъ-Франциско. Я люблю Калифорнію и даже началъ по ней скучать. Пожалуй, скоро придетъ время, когда я вдругъ соберу свои пожитки и вернусь туда, хотя на одинъ годъ.

— О, еслибъ это было и мнѣ возможно!

— А почему бы намъ всѣмъ вмѣстѣ не вернуться въ Калифорнію на весь будущій годъ?

— Сесиль не можетъ уѣхать изъ Англіи. Вы, вѣрно, еще не слыхали...

— Что отъ него ожидаютъ многаго? Я получаю лондонскія газеты; а когда путешествую,—читаю ихъ въ клубахъ. Какъ вы должны гордиться своимъ мужемъ!

— Я и горжусь, — подтвердила Ли, но въ то же время думала о Калифорніи; ей необходимо было о многомъ переговорить тотчасъ. Было же время, когда она дѣлилась со своимъ товарищемъ каждой мелочью, которая приходила ей въ голову.

— Вотъ въ чемъ разница съ прошлымъ,—продолжалъ онъ:— у васъ чуть-чуть прибавилось гордости и самоувѣренности. И безъ того, впрочемъ, вы никогда не были изъ числа застѣнчивыхъ, смиренныхъ; но теперь ваша гордость—нѣчто вродѣ удвоенной гордости, и, сверхъ того, вы какъ будто стали еще развязнѣе, и это уничтожило ваши многія свойства, но не состарило васъ ни на іоту.

— О, да, я стала развязнѣе; за три года, я пережила цѣлую оргію умственныхъ стремленій, но готова хоть сейчасъ имъ измѣнить. Если вы тоже ломали себѣ голову, какъ я, то не пробуйте меня тѣмъ удивить, а главное, не смѣйте говорить мнѣ о политикѣ!

Рандольфъ разсмѣялся.

— Да я объ этомъ и не думаю. Мои интересы слишкомъ современны для того, чтобы ими обременять нашъ разговоръ.

— Что же касается до книгъ,—съ тѣхъ поръ, какъ мы съ вами не видались, я много ихъ перечитала въ дождливые дни, и потому бóльшую часть времени переживала одни книжныя впечатлѣнія.

— А неужели вы сдѣлались серьезнымъ человѣкомъ? Помните, вы всегда относились къ жизни слегка, какъ, впрочемъ, всѣ на свѣтѣ, въ томъ числѣ и я; боюсь, что и теперь я черезчуръ легко смотрю на жизнь. Изъ Стараго-свѣта я вынесъ огромный запасъ веселости и шутокъ.

— А помните, какъ мы, бывало, имѣли привычку болтать безъ умолку всѣ вмѣстѣ: Корали, и Томъ, и я,—ну, просто такъ, ни о чемъ. Надѣюсь, что вы не разучились?

— Да, не особенно; только практики мало! Пойдемте завтра на пригорокъ, сядемъ на землю и примемся попрежнему болтать!

Рандольфъ закинулъ голову назадъ и покатился со смѣху, —съ такимъ увлеченіемъ, что Ли заразилась его веселостью и принялась ему вторить,—но вдругъ остановилась.

— Нѣтъ, нѣтъ! У меня будетъ истерика, а пора ужъ обѣдать; я должна сойти внизъ и бесѣдовать о сельско-хозяйственныхъ предпріятіяхъ часа два подъ-рядъ. Не знаю, хватитъ ли у меня смѣлости посадить васъ рядомъ со мною? боюсь, что буду весь обѣдъ смѣяться.

— Вотъ вамъ и результатъ моего внезапнаго появленія! Это мнѣ крайне лестно.

— Сесиль—само совершенство! Не думайте, что я хочу набросить на него хоть малѣйшую тѣнь. Его жизнь—настоящая жизнь, но я должна вамъ сказать,—помните, я всегда говорила съ вами откровенно, и вы всегда такъ сочувствовали мнѣ... Вы читали, конечно, множество англійскихъ романовъ, которые пытаются познакомить другихъ съ жизнью нашихъ слоевъ общества. Пробывъ здѣсь два года, я сдѣлала крупную ошибку; изъ любопытства провѣрить свои впечатлѣнія, я прочла цѣлую дюжину бытовыхъ романовъ, и поняла тогда, въ какую пучину погрузилась. Я поняла, что неизмѣнно, неизбѣжно, съ математическою точностью повторяются все тѣ же „mise en scène", что жизнь здѣсь—колесо, которое вертится, не переставая и не измѣняя своей скорости. Начнемъ съ двѣнадцатаго августа, когда начинаются вечера и охота. Мужчины здѣсь все тѣ же, изо дня въ день, и цѣлые дни ихъ не видно. Женщины (все тѣ же самыя!) сидятъ себѣ дома за вѣчнымъ завтракомъ; вѣчный разговоръ о спортѣ за обѣдомъ, разговоръ о спортѣ и о политикѣ,—вотъ и все веселье! Немножко поиграютъ въ карты, немножко пофлёртируютъ; немножко поиграютъ въ какую-нибудь общую игру,—но это уже по вечерамъ. На слѣдующій мѣсяцъ—то же росписаніе повторяется въ другомъ домѣ, куда всѣ сходятся на охоту—на тетеревовъ или фазановъ. Слѣдующіе два мѣсяца, въ видѣ разнообразія, разговоръ сводится исключительно на охоту, а въ общемъ—все одно и то же. Затѣмъ наступаетъ очередь толковъ о скачкахъ „по всей линіи"; затѣмъ кто ѣдетъ на Ривьеру, а кто,—какъ я,—на два мѣсяца остается жить въ болотѣ, въ туманахъ и въ грязи. Затѣмъ слѣдуетъ горячій порывъ свѣтской жизни во время лондонскаго сезона, во время котораго каждый по-своему работаетъ какъ лошадь, а женщины являются лишь для декораціи; потомъ опять скачки, нѣсколько дней передышки и—опять наступаетъ двѣнадцатое августа. Я жалѣю, что прочла всѣ эти книги; безъ нихъ, конечно, я не такъ скоро могла бы во всемъ этомъ разобраться. Да и мое собственное росписаніе жизни весьма мало отличается отъ этого. Я хожу на охоту, а на Ривьерѣ никогда еще не бывала. Утомиться въ водоворотѣ лон-

донской свѣтской суеты мнѣ еще не пришлось, но меня окружаетъ эта постоянная mise en scène, и я знаю, я вижу, какъ она существуетъ; я чувствую, что я сама тоже составляю ея часть. Можетъ быть, я совсѣмъ сольюсь съ нею когда-нибудь. Въ этомъ причина, почему я не особенно возмущаюсь противъ моей уединенной жизни въ Лондонѣ. Политика—вотъ что̀ лучше всего на свѣтѣ! Въ ней есть разнообразіе, и всегда въ ней заключается какъ бы обѣщаніе доставить вамъ сильныя ощущенія. Впрочемъ, покуда, я еще ихъ не испытала вполнѣ.

Ли вскочила на ноги.

— Къ чорту ее! Къ чорту!—воскликнула она, и глаза ея горѣли, а голосъ звенѣлъ неподдѣльнымъ восторгомъ.—Помните, какъ всѣ мы въ дѣтствѣ собирались въ нашей учебной комнатѣ и ругались, и кричали какъ можно необузданнѣе, послѣ того, какъ Тини держала себя особенно чопорно, или когда тетя говорила про Южные штаты до войны? Ну, такъ вотъ,—то же чувство испытываю я сегодня, и уже давно оно во мнѣ таится, только я этого не замѣчала...—и она остановилась, запыхавшись. Рандольфъ тоже всталъ, но спиной къ свѣту; можетъ быть, его голосъ былъ менѣе увѣренный и спокойный, чѣмъ обыкновенно; ея собственное возбужденіе помѣшало ей это замѣтить.

— Конечно, вамъ необходимо вернуться въ Калифорнію: всѣ мы (даже самые сильные изъ насъ), все-таки, калифорнійцы. Великія народности насъ плѣняютъ, но намъ ихъ, все-таки, скорѣе жаль,—и придетъ время, когда будетъ даже трудно ихъ выносить.

— Я, кажется, готова бы подложить динамитъ подо всю эту исторію, забрать съ собою Сесиля, и уйти съ нимъ бить медвѣдей, спать подъ открытымъ небомъ, даже не подъ сѣнью палатки,—я, кажется, готова питаться желудями.—Ли усѣлась и взглянула на него, какъ прежде, игриво и кокетливо.—Но вы вѣдь не думаете, что я дала себя одурачить,—не правда ли?—тревожно спросила она.

— Вы никогда не могли быть иной, какъ самой прелестной женщиной на свѣтѣ.

— Неужели вы въ одинъ день успѣли сказать мнѣ уже три комплимента, Рандольфъ?

— И скажу еще, вѣроятно, цѣлыхъ двадцать.

— Дай Богъ! Я въ нихъ страшно нуждаюсь. Ну, а теперь ступайте и подождите меня въ библіотекѣ: я сейчасъ вернусь, только освѣжу лицо пудрой. Я чувствую, что цвѣтъ лица у меня сдѣлался какъ у какой-нибудь коровницы. Ахъ, какъ это

прелестно—вами опять командовать! Ни съ кѣмъ на свѣтѣ не могла я говорить такъ откровенно, какъ говорю теперь. Меня бы разорвало отъ тоски, еслибы вы еще долго не могли до насъ добраться! Если случится, что вы заблудитесь въ нашихъ безконечныхъ корридорахъ,—позвоните!

Быстрота, съ которой Рандольфъ повиновался ея приказаніямъ, была одною изъ примѣтъ, что его старыя свойства по прежнему еще процвѣтали подъ его вылощенной оболочкой.

Ли побѣжала къ себѣ въ комнату. Дверь въ уборную была открыта; Сесиль былъ тамъ одинъ, совсѣмъ уже одѣтый къ обѣду.

Совѣсть кольнула Ли, но возбужденіе еще не проходило. Съ прежнимъ пыломъ, подбѣжала она къ мужу, обвила руками его шею и горячо его поцѣловала.

Сесиль обожалъ свою жену; но ему больше нравилось самому разыгрывать роль влюбленнаго, а Ли уже давно вошла въ роль смиреннаго, но отвѣтственнаго лица, какимъ ее желалъ видѣть ея супругъ и повелитель.

Онъ былъ человѣкъ, легко поддававшійся перемѣнчивому настроенію, но это было не всегда замѣтно. Сегодня онъ весь былъ поглощенъ мыслью о предстоящемъ на другой день любимомъ спортѣ и о краткомъ, но остроумномъ разговорѣ, который онъ не успѣлъ еще окончить съ однимъ изъ гостей. Еслибъ его жена была за эти дни слишкомъ занята своими пріятельницами и прочими гостями, и для него не оставила ни минуты свободной, онъ этого бы не замѣтилъ. Онъ отвѣчалъ на поцѣлуй жены вполнѣ вѣжливо и спокойно и потянулся за головной щеткой.

— Ты какъ будто нерно возбуждена?—замѣтилъ онъ:—постарайся успокоиться пока, до обѣда. Для меня большое утѣшеніе, что ты не говоришь такъ громко и такъ много, какъ другія женщины.

Ли бросилась вонъ изъ комнаты, и дверь за нею громко захлопнулась.

Сесиль нахмурился, передернулъ плечами и пошелъ внизъ въ библіотеку.

XXIII.

— Собственно говоря, — продолжалъ Рандольфъ: — любить англичанина—тяжелый трудъ и постоянныя хлопоты!

Ли сидѣла съ нимъ на вершинѣ пригорка и гуляла весь день только съ нимъ.

Прежде всего, Рандольфъ задался цѣлью развеселить ее, и

ему удалось привести Ли въ самое лучшее настроеніе духа; а затѣмъ онъ постепенно навелъ ее на разговоръ о томъ, какъ она жила, и какихъ усилій ей стоило заставить себя быть совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ.

И такъ глубоко было его участіе къ каждой мелочи, которая ея касалась, что давно скрытое стремленіе Ли кому-нибудь повѣдать эту тайну, тотчасъ же нашло себѣ исходъ.

— Я, право, не хочу говорить иначе, какъ искренно, а вы вѣдь для меня все равно, что братъ. Ни съ кѣмъ другимъ я не могла бы говорить объ этомъ. Изъ всѣхъ, кого я знаю, никто и не понялъ бы меня, и, собственно говоря, я сама не вижу, на чтò я могу пожаловаться? Я получила все, чего я добивалась.

— Вы отказались отъ своей индивидуальности, и это гложетъ васъ, и отнимаетъ у васъ жизненныя силы,—замѣтилъ Рандольфъ.

— Что жъ, можетъ быть... Не знаю... Я легко могла бы избаловаться, и опять сдѣлаться такою же, какъ прежде; но это вѣдь еще не значитъ, что я была бы счастлива въ томъ смыслѣ, какъ теперь. Да и Сесиль пожалуй...

— Вы, значитъ, счастливы?

— Я думала, что да; еще недавно, прошлый... О, собственно говоря, я не могу сказать, когда именно это началось; только, мнѣ кажется, я вовсе не создана для такой суровой и однообразной жизни. Я чувствую, что рѣшительно не прочь была бы сдѣлаться просто двойникомъ Сесиля. Если искренно любишь человѣка, то до извѣстной степени ничего для него не пожалѣешь; тогда ужъ все равно, если изрѣдка нервы и распляшутся подъ вліяніемъ сомнѣній. Такое прожиганіе жизни въ свѣтскомъ кругу, которое ведется какъ машина, какъ часовой механизмъ, можетъ годиться для многихъ, но не для меня. Еще три года такой жизни, и я обращусь въ машину, совершенно лишенную нервовъ или... или всей душой возненавижу своего Сесиля! Съ тѣхъ поръ, какъ вы пріѣхали, я страшно разстроена. Вы рѣшительно внесли въ мою жизнь цѣлую бурю, чуть не землетрясеніе, и съ тѣхъ поръ я все думаю, думаю...

— Н-ну?—тихо спросилъ онъ.

— Если я опять принялась бесѣдовать сама съ собою, какъ настоящая американка, это—ваша вина! Со мною никогда не бывало, чтобы на меня нападало мрачное или истеричное настроеніе; но для всякаго человѣка, сильнаго духомъ, все равно, долженъ наступить моментъ, когда въ столкновеніи съ прошлымъ прорывается наружу все то, чтò скопилось въ нѣдрахъ

души его за многіе годы безмятежной жизни. Вопросъ разрѣшился бы и самъ собою, еслибъ мы могли уѣхать, и еслибы дарованіе Сесиля могло найти себѣ иной исходъ, иное примѣненіе. Еслибъ я могла повліять хоть немного на судьбу—свою и мужа,—изъ него вышелъ бы великій піонеръ, творецъ новаго царства, какъ, напримѣръ, Сесиль Родсъ. Я чувствовала бы, что меня влечетъ неудержимо стремленіе преодолѣть всѣ препятствія, всѣ предразсудки милліоновъ мелочныхъ людей, и я бы открыла новый міръ для людей одичалыхъ и невѣжественныхъ, силою одного выдающагося истинно великаго человѣка! Чтò за восторгъ, какое неописанное возбужденіе—жить, не зная, чтò въ будущемъ году можетъ ожидать новую страну! Въ новомъ государствѣ, которое еще создается, человѣкъ можетъ своимъ величіемъ затмевать все государство, въ немъ больше жизни, больше оригинальности и самобытности, нежели въ тысячѣ людей; онъ болѣе разнообразенъ, нежели тогда, когда медленно и логически выполняетъ то, чтò подготовила ему вполнѣ законченная и уже устарѣлая цивилизація. Но нѣтъ! надежды неумѣстны, даже еслибы Сесиль и открылъ въ себѣ инстинктивную способность быть піонеромъ; онъ не рѣшился бы, онъ слишкомъ гордъ и честолюбивъ. Когда такой человѣкъ, какъ Сесиль Родсъ, возводитъ башни и возсѣдаетъ въ отдаленномъ углу земли, въ которомъ каждый человѣкъ на счету,—каждый, кто хотя ногой станетъ на одной съ нимъ землѣ, становится по отношенію къ нему въ тѣ же условія, какъ Луна къ Юпитеру. Мой мужъ въ высшей степени даровитый человѣкъ и энергіи въ немъ пропасть, но его таланты направлены больше въ сторону консерватизма.

Рандольфъ, который до этой минуты разсѣянно вырывалъ съ корнями и бросалъ траву, растянулся у нея въ ногахъ.

— Чтò вы намѣрены дѣлать?—спросилъ онъ.

— Да чтò же я могу сдѣлать? Для меня большое облегченіе, что я могу передъ вами высказаться. Я, можетъ быть, вамъ надоѣла?

— На такой наивный вопросъ у меня нѣтъ отвѣта. Вы все еще любите своего мужа?

— О, я твердо увѣрена, что да, и даже горячо, но мысли мои находятся въ хаотическомъ состояніи. Я, въ общемъ, представляю изъ себя возмущенную и далеко не прекрасную душу. Первое возникшее между нами недоразумѣніе произошло дня два тому назадъ, а Сесиль до того поглощенъ охотой, что даже самъ этого не подозрѣваетъ.

Рандольфъ отъ души разсмѣялся, и Ли по неволѣ улыбнулась.

— Еслибъ меня тревожило только это!—сказала она со вздохомъ.

— Да, вы ничего лучшаго не можете придумать, какъ временно прокатиться съ нами въ Калифорнію. Тамъ, можетъ быть, выяснится, что, въ сущности, пребываніе въ Англіи васъ только утомило, и что Калифорнія представлялась вамъ слишкомъ идеальною. Что же касается вашего мужа,—на него ничто такъ благотворно не подѣйствуетъ, какъ нѣкоторая свобода. Моя мать тоскуетъ по родинѣ, мы вернемся туда въ этомъ же году.

— Сесиль ни за что не согласится, хотя и преданъ мнѣ глубоко.

— Еще бы, но, я надѣюсь, жены англичанъ—не рабыни, и еслибы вы объ этомъ заявили, онъ никогда бы ничѣмъ васъ не связалъ и никогда не далъ бы вамъ развода.

— Но, право же, онъ страшно во мнѣ нуждается, и еслибы я не была такой несчастной, я могла бы удовлетвориться своей судьбой; а такъ какъ я стремлюсь дать ему счастье изъ своихъ личныхъ, эгоистическихъ цѣлей, если я и прежде къ тому стремилась, то теперь не вижу, какое я имѣю право сдѣлать его несчастнымъ потому только, что мое настроеніе повернуло въ другую сторону, и я вдругъ захотѣла чего-то такого, чего онъ дать мнѣ не можетъ. Я сознательно закрывала глаза первое время на очень многое: на то, что я не могу ему всего замѣнить собою; что въ его натурѣ есть глубина, которая мнѣ недоступна; что для него есть другія дороги помимо той, по которой мы идемъ вмѣстѣ.

— Но, послушайте, никогда ни одна женщина не могла замѣнить мужчинѣ всего на свѣтѣ,—это, просто, утопія.

Къ этой темѣ они возвращались еще нѣсколько разъ. Рандольфъ провелъ на болотахъ лишь одну часть дня, а другую, какъ и всѣ послѣдующіе дни, отдавалъ всецѣло Ли.

Какъ-то разъ, когда она водила его по „Аббатству", показывая ему всѣ закоулки, она его спросила:

— Вы получили то письмо, которое я вамъ написала на другой день... Ну, да, я вамъ писала про „Аббатство", про то, что Эмми весьма легко можетъ не оставить никакого наслѣдства моему мужу, и что всѣ здѣсь ожидали, что Сесиль женится на богатой невѣстѣ—или лишится наслѣдства. Его хотѣли женить на этой миссъ Пиксъ, и, повидимому, всѣ считали меня виноватой въ томъ, что я не представляю собою цѣнность въ милліоны. Да, я сама сознавала, что я дура,—зачѣмъ не купила перувіанскихъ акцій!

— И написали тотчасъ же вашему вѣрному слугѣ и рабу,

чтобы онъ добылъ вамъ милліонъ? Я такого письма не получалъ, а я всегда помню каждое слово въ вашихъ письмахъ.

— Я думаю, у меня теперь не хватило бы смѣлости на такую просьбу: но, право, я была бы очень благодарна, еслибъ вы мнѣ дали и теперь добрый совѣтъ.

— О, какъ вы измѣнились!.. Это ужасно!

Они шли подъ сводами „Аббатства". Ли вдругъ закрыла лицо руками.

— Ну, не печальтесь! Я вовсе не намѣренъ признаваться вамъ въ любви: для васъ я все равно, что старшій братъ, а все-таки хорошо бы вамъ вернуться вмѣстѣ со мною въ Калифорнію.

— О! Мнѣ такъ хотѣлось бы туда, и чѣмъ я больше думаю, тѣмъ это желаніе становится горячѣе. При первомъ же удобномъ случаѣ, я хочу это сказать Сесилю; но онъ домой приходитъ какъ разъ во-время, чтобы только переодѣться, и такъ устаетъ, что засыпаетъ даже прежде, чѣмъ совершенно уляжется въ кровать, а поутру уходитъ, когда я еще не проснулась.

— Конечно, васъ природа создала не для спорта,—сухо замѣтилъ Рандольфъ: — ну, а пока... лишь бы туда добраться!

— Но я люблю „Аббатство"; я даже склонна думать, что считала бы себя не лишней на свѣтѣ, еслибы мнѣ удалось его спасти. Я даже смотрю на это—какъ на свое прямое назначеніе, потому что если Сесиль—чего Боже упаси!—не удержитъ его въ своихъ рукахъ, въ этомъ я буду виновата.

— Меня поражаетъ одно: вѣдь въ этомъ виноватъ одинъ только Сесиль; онъ былъ не какой-нибудь малютка, когда на васъ женился, но человѣкъ уже прочно и серьезно сложившійся.

— Онъ былъ страшно влюбленъ.

— Но не уменъ, конечно. Впрочемъ, если вы хотите сдѣлать „Аббатство" своей цѣлью въ жизни, я—къ вашимъ услугамъ, какъ всегда, и займусь этимъ дѣломъ, какъ только вернусь обратно.

— Въ самомъ дѣлѣ?

— Да; но вы тоже поѣдете со мною, чтобы получить отвѣтъ оттуда; иначе вы должны переждать цѣлый мѣсяцъ, а дѣловыя тайны по телеграфу передавать неудобно.

— Ну, такъ я поѣду: двойная цѣль придастъ мнѣ двойную смѣлость; только я, кажется, слишкомъ много вамъ надоѣдаю. Вы слушаете терпѣливо повѣствованіе о моихъ печаляхъ, а про себя вы молчите...

— Да я нарочно въ Англію пріѣхалъ только для того, чтобы повидаться съ вами!—повторилъ онъ горячо.

XXIV.

Послѣ обѣда Ли и лэди Джиффордъ отошли въ сторону отъ прочихъ дамъ и пошли подъ сводами длинныхъ корридоровъ, чтобы поболтать наединѣ. Онѣ не были особенно близки другъ къ другу, потому что у нихъ было мало общихъ интересовъ, но Ли чаще другихъ видалась только съ Мэри, и больше, чѣмъ съ другими, любила бывать вездѣ вмѣстѣ съ нею.

— Мнѣ нравится вашъ братъ или какъ онъ вамъ приходится?—объявила лэди Джиффордъ, заложивъ руки за спину.— Онъ не говоритъ въ носъ, какъ другіе, и держится совершенно просто и спокойно. Вообще говоря, я терпѣть не могу американцевъ—настолько же, насколько люблю женщинъ-американокъ. Конечно, онъ богатый человѣкъ,—это сейчасъ видно.

— Да, онъ очень богатъ.

— Ну, слушайте,—только не пугайтесь! Мнѣ хотѣлось бы выйти за него замужъ.

Ли такъ и привскочила.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ?—сухо произнесла она.

— Въ сущности, я предпочла бы никогда не быть замужемъ. Еслибъ у меня былъ хоть какой-нибудь талантъ, я бы взяла да и устроила мастерскую въ Кенгсингтонѣ или наняла бы комнату и писала популярный романъ. Я могла бы дѣлать шляпы или продавать цвѣты, но ни то, ни другое, мнѣ не по вкусу, и притомъ у меня больше терпѣнія не хватаетъ... Мнѣ двадцать-семь лѣтъ; я уже девятый годъ, какъ выѣзжаю, и это просто позоръ; когда-то было у меня два-три хорошихъ жениха, но мнѣ противно было выйти замужъ, и я почти склонилась въ пользу Пикса; но съ м-ромъ Монгомери я могла бы вполнѣ примириться.

— Весьма любезно съ вашей стороны! Но вы что можете предложить ему въ обмѣнъ? Онъ для меня, пожалуй, самый старый изъ друзей, и я должна заботиться о его счастьѣ. Ему, я думаю, ровно ничего отъ васъ не нужно!

— Да? Вотъ странно! Но, право, я могла бы сдѣлать его счастливымъ. Вы знаете, вѣдь, я обворожительна; мужчины съ ума по мнѣ сходили.

— Если вы плѣните Рандольфа, онъ, несомнѣнно, сдѣ-

лаетъ вамъ предложеніе; къ этому вамъ представится множество случаевъ.

— Я вижу, вамъ моя мысль не нравится.

— Вы ошиблись! У меня просто не было времени все это передумать, и, понятно, мнѣ показалось, что вы оба заживете счастливо.

— О, я увѣрена, что можно все устроить къ обоюдному согласію. Такта у меня пропасть, какъ вамъ извѣстно, а, говорятъ, американцы—самые покладистые изъ мужей, и, наконецъ, онъ очень изященъ и красивъ. Конечно, онъ можетъ быть всегда во мнѣ увѣренъ: я остерегаюсь дѣлать то, что̀ дѣлаютъ другія. Вотъ почему я *васъ* люблю такъ горячо: у васъ вѣдь нѣтъ любовника.

Ли разсмѣялась.

— Я, право, не вижу, какая добродѣтель въ томъ,—продолжала лэди Джиффордъ,—что я не продаю себя за деньги? Милочка моя, мы должны каждая такъ поступать, какъ для насъ будетъ лучше, нуждаемся ли мы въ деньгахъ, или нѣтъ. Каждая должна думать за себя и стремиться пріобрѣсти самое необходимое. Вы можете себѣ представить, каково мнѣ было бы выйти за м-ра Пикса.

Голосъ ея упалъ и слегка дрогнулъ. Ли въ первый разъ съ удивленіемъ замѣтила, что Мэри волнуется и вообще способна поддаваться чувству; это ее нѣсколько смягчило.

— Я сдѣлаю все, что̀ могу,—проговорила она:—Рандольфъ настоящій джентльменъ и чрезвычайно умный человѣкъ; попробуйте въ него влюбиться и влюбить его въ себя.

— Какъ вы добры! Въ такомъ случаѣ, Эмми сохранитъ при себѣ своего Пикса. Кстати: я думаю, вы замѣтили, что въ этомъ году гости здѣсь не такъ изящны, какъ въ прошломъ, за исключеніемъ Бомануаровъ, Монмаута и другихъ холостяковъ.

— Нѣтъ, я не замѣтила, да какъ-то и не приходилось замѣчать.

— Ланчестеры и Рэдженты поѣдутъ, куда бы ихъ ни позвали, лишь бы ихъ до̀-сыта накормили.

— Да къ чему вы все это говорите?

— А именно къ тому, что Эмми нѣсколько небрежно составила свой выборъ; никто добровольно не пожелаетъ общества Пикса, а мужчины—просто терпѣть его не могутъ. До сихъ поръ еще можно было сомнѣваться, но теперь сомнѣнія, конечно, быть не можетъ, что она увезетъ его съ собою на Ривьеру.

— Вы, кажется, хотите убѣдить меня, что м-ръ Пиксъ—любовникъ лэди Эмми?

— Вы, кажется, грудной младенецъ! Конечно, я знаю, что есть на свѣтѣ женщины, а у нихъ—любовники; но почему-то никогда не думаешь, что нѣчто подобное можетъ случиться и въ собственной семьѣ; а между тѣмъ, это бываетъ зачастую. Все-таки, она могла бы хоть выбрать себѣ джентльмена.

Ли возражала съ жаромъ и съ горечью; она уже пріобрѣла складку равнодушія къ весьма многому изъ того, что̀ въ молодости охлаждало ея идеалы. Но видѣть любовника подъ кровомъ родной семьи было для нея выше силъ, и она горячо возмущалась.

— Эмми — любопытное существо: она — скопище противорѣчій,—начала-было лэди Мэри.

— Но что̀ же дѣлать? Понятно, такъ не можетъ продолжаться: лордъ Барнстэплъ или Сесиль должны бы положить предѣлъ; но я ничего не могу...

— Милочка моя! — я даже не совѣтую вамъ вмѣшиваться, если вы не хотите видѣть „Аббатство“ проданнымъ съ молотка.

— Мэри Джиффордъ!!

— Да не кричите такъ! У меня есть основаніе думать, что я права.

— Такъ, можетъ быть, мы всѣ живемъ у Пикса на хлѣбахъ?

— Не думаю, чтобы дѣло было уже такъ плохо; но знаю положительно, что сначала она занимала у него, а затѣмъ отдала всѣ свои владѣнія подъ закладную, на большіе проценты. Онъ рѣшительно въ нее влюбленъ; впрочемъ, и на мнѣ онъ готовъ жениться, потому что я могу дать ему все то, чего недостаетъ у Эмми. Но все равно! Лучше молчать, дитя мое! Лордъ Барнстэплъ всегда былъ слишкомъ равнодушенъ къ своей женѣ, чтобы хоть немного призадуматься надъ ея личными чувствами; но еслибы довели до его свѣдѣнія хоть самую малость, онъ тотчасъ вышвырнулъ бы этого господина. И онъ, и Сесиль, по неволѣ не могли бы тогда ничего сдѣлать, а „Аббатство“ перешло бы въ руки того, кто далъ бы самую высокую цѣну: по всей вѣроятности, къ одному изъ Пиксовъ. Впрочемъ, я жалѣю, что проговорилась; но, право, мнѣ ни на минуту въ голову не приходило, что вы не видите ничего у себя подъ носомъ.

— Что-нибудь да надо предпринять: для лорда Барнстэпла и для Сесиля это—положеніе ужасное! То, чего они не подозрѣваютъ, можетъ имъ повредить.

— Не безпокойтесь, и безъ того каждому все извѣстно, или

хоть каждый можетъ догадываться; но пусть пока все идетъ своимъ порядкомъ. Почему знать, что может еще случиться?

— Если вы согласны извинить передъ другими меня, я лучше пойду теперь къ себѣ. Я совсѣмъ изнемогаю, и предпочла бы посидѣть одна.

— Идите, идите, умница моя и не заботьтесь о другихъ! Право, каждый слишкомъ самъ по себѣ эгоистъ для того, чтобы другимъ о немъ заботиться.

Лэди Мэри вернулась въ большую гостиную „Аббатства", гдѣ гости толпились небольшими группами вокругъ маленькихъ столовъ. Блестящая улыбка сверкнула у нея на лицѣ по адресу Рандольфа, и она подъ-руку съ нимъ прошла въ прелестный будуаръ, гдѣ весь вечеръ съумѣла продержать его подлѣ себя, не скучая и не давая ему самому скучать. Ея молодые голубые глаза смотрѣли проницательно и ясно; вдобавокъ, она прилагала всѣ старанія, чтобы убѣдить его, что въ этотъ вечеръ Ли больше не вернется.

XXV.

Ли прошла къ себѣ въ спальню и, повинуясь женскому обычаю, настолько же физическаго, насколько и умственнаго свойства, сняла съ себя платье и надѣла капотъ, затѣмъ усѣлась поудобнѣе и, какъ она выражалась, постаралась взять себя въ руки.

Впервые послѣ многихъ дней, ей случилось остаться одной и много, много о чемъ надо было теперь передумать.

Самому изъ талантливыхъ мужчинъ и то не удается вполнѣ разобраться въ женскомъ характерѣ. Если имъ случится наткнуться на полное безразсудство, на порочность и на вспышки раздражительнаго, нравнаго характера, они рѣшаютъ этотъ вопросъ очень просто: обзовутъ женщину ребенкомъ и—только. Женщина можетъ стоять въ прекрасныхъ условіяхъ: вести нормальную, здоровую жизнь, не имѣть серьезныхъ заботъ—и тѣмъ не менѣе подвергаться порывамъ нервнаго и злостнаго настроенія. Женщины, которыя работаютъ и истощаютъ свои умственныя силы, притупляютъ свою умственную жизнеспособность, соблюдая при этомъ извѣстную регулярность, меньше всего подвержены подобнымъ порывамъ; но женщина свободная подвергается имъ чуть не ежеминутно. Воображеніе женщины—безпокойно и полно живости, и умная женщина часто бываетъ его жертвой, чего не можетъ вполнѣ постигнуть мужчина.

Въ сущности, главное право заслужить прощеніе своихъ прегрѣшеній мужчина можетъ получить, если онъ въ итогѣ, все-таки оказывается чрезвычайно терпѣливымъ и выносливымъ. Ли не была отъ природы ни угрюмаго, ни истеричнаго характера, и сознательно старалась устранить въ себѣ этотъ недостатокъ.

Появленіе Рандольфа прервало однообразіе ея семейной жизни и, вмѣстѣ съ нимъ, ослабило ея власть надъ собою; она была поражена, она была сердита на себя. Сесиль пересталъ быть идеаломъ, для котораго никакой жертвы она не щадила; онъ представлялъ для нея лишь крупную перемѣну въ общемъ строѣ ея внутренней жизни. Реакція, которая произошла въ Сесилѣ и сдѣлала его сильной и своеобразной личностью,—была для нея тѣмъ рѣзче и чувствительнѣе, что она едва-ли могла сама опредѣлить, чего ей было нужно; но она чувствовала, что у нея является потребность стремиться ко множеству такихъ условій, которыя для нея недоступны, пока она будетъ женою Сесиля Маундрэла. Она усердно принялась перебирать всѣ недостатки мужа, и была вынуждена признаться, что ихъ вовсе не много. Онъ былъ, какъ мужъ, человѣкъ крайне требовательный, но въ то же время самый добрый изъ мужей. Онъ не всегда былъ склоненъ забавлять жену, но былъ неизмѣнно интересенъ; никогда онъ не подавалъ повода думать, что онъ больше не испытываетъ пылкихъ чувствъ влюбленнаго, и часто сидѣлъ нахмурившись: онъ любилъ спортъ, но жену—во сто разъ горячѣе, и въ ней постоянно было непрерывное чувство восхищенія и глубочайшаго восторга предъ нимъ, какъ предъ человѣкомъ и предъ высшимъ умомъ. Единственный его недостатокъ заключался въ томъ, что онъ былъ личностью сильной духомъ и властной; онъ считалъ, что жена, это—его второе „я“; а Ли чувствовала, что она уступаетъ ему въ умѣ и развитіи. Къ несчастію, самыя крупныя драмы въ жизни людей, которые пользуются взаимнымъ счастіемъ, часто возникаютъ какъ-то незамѣтно, сами по себѣ,—не вытекая ни изъ какихъ фактовъ, которые можно было бы подмѣтить или совершенно устранить. Ли совершенно ясно сознавала, что въ ней есть одно горячее желаніе—скорѣе уѣхать въ Калифорнію, подальше отъ мужа; бѣжать, хоть не надолго,—туда, гдѣ ей ничто не мѣшало быть самой собою. Тамъ она провела цѣлыхъ двадцать-одинъ годъ привольной, дѣвичьей жизни. Ей дорога была полная независимость, которую такъ цѣнятъ истые американцы. Разъ это желаніе у нея вдругъ появилось и сдѣлалось вполнѣ яснымъ,—ей вдругъ захотѣлось сдѣлаться даже легкомысленнѣе; она почувствовала стремленіе освобо-

диться отъ всякой отвѣтственности или, точнѣе говоря, оставить свою роль „серьезнаго человѣка".

А Сесиль? Она даже не пыталась извинять себя; она пристально и твердо смотрѣла на свою вину, и въ глазахъ ея отражался ужасъ и отвращеніе, когда она заглядывала въ глубину эгоизма, вполнѣ свойственнаго женщинѣ новѣйшаго времени. Въ сущности, Сесиль былъ ни въ чемъ не виноватъ, а она между тѣмъ подготовляла ему наказаніе, годное лишь для мужа-изверга. Онъ горячо любилъ ее; онъ нуждался въ ней,—а она сознательно осуждала его на самыя жестокія муки, какія только могла изобрѣсти. А все-таки, чтобы спасти свое семейное счастье, она должна хотя немного отдохнуть, хотя на годъ обратиться снова въ прежнюю, беззаботную Ли. Ну, а послѣ? Безъ сомнѣнія, она полюбитъ мужа еще горячѣе, и, конечно, никогда въ жизни не полюбитъ никого другого! Еслибъ у нея еще было хотя малѣйшее извиненіе,—она была бы хоть сейчасъ готова оправдать себя; но при данныхъ условіяхъ не было границъ ея самоуничиженію, а слѣдовательно—не было границъ самому неосновательному гнѣву на Сесиля.

Ли требовала отъ судьбы, чтобы та вернула ей ея индивидуальность,—вотъ и все. Относительно Рандольфа—она чувствовала нѣкоторую тревогу. Онъ ни разу не выдалъ себя взглядомъ; но ея женское чутье подсказывало ей, что онъ все еще ее любитъ, и можетъ быть даже разсчитываетъ вызвать въ ней откликъ на его чувство тѣмъ, что она очутится снова въ обстановкѣ, гдѣ протекла ея юность, а главное—одна, безъ мужа. Но онъ, конечно, будетъ терпѣливо ждать рѣшительнаго момента для того, чтобы предложить ей обычныя мѣры, сопровождающія у американцевъ разрывъ супружескихъ отношеній. Онъ былъ очень уменъ, и она не сомнѣвалась, что всякую щепетильность онъ откинетъ въ сторону, какъ только дѣло коснется главнаго, къ чему онъ всю жизнь стремился; но прежде всего онъ былъ джентльменъ, и она знала, что онъ ни за что не попроситъ ея руки, имѣя въ виду на свои деньги сохранить для нея „Аббатство"...

XXVI.

Разумѣется, Сесиль поступилъ, какъ только могъ невыгоднѣе для себя. Онъ явился къ женѣ въ ту самую минуту, какъ она только-что привела свои мысли къ одному знаменателю. Заслышавъ его шаги вверхъ по лѣстницѣ, она вскочила на

ноги нервнымъ движеніемъ и, въ первый разъ послѣ своего замужества, пожалѣла, что у нея нѣтъ отдѣльной комнаты, въ которой она могла бы запереться.

Когда мужъ вошелъ, Ли сѣла на мѣсто.

— Что̀ съ тобою?—проговорилъ онъ тревожно.—Мнѣ кто-то сказалъ, что ты не выходила въ гостиную послѣ обѣда. Ты не больна?

— Нѣтъ; но я рада, что ты сюда поднялся; я хочу кое о чемъ тебя просить.

Онъ сѣлъ рядомъ и взялъ жену за руку.

— Ну, что̀ такое? развѣ что-нибудь не такъ?

— Я хочу на одинъ годъ вернуться въ Калифорнію.

— Но, милая моя, я не могу уѣхать; это было бы сумасшествіемъ!..

— Ты можешь отпустить меня одну; м-съ Монгомери хочетъ взять меня съ собою.

Еслибы онъ ей далъ время обдумать, она, безъ сомнѣнія, подошла бы къ этой темѣ осторожно и съ цѣлой массою тончайшихъ хитростей, но она устала и была раздражена.

Онъ недовѣрчиво вскинулъ на нее глазами.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ! Я такъ желаю; единственный доводъ, который я могу тебѣ представить — крайнее утомленіе отъ этой неизмѣнной англійской жизни какъ по заведенной машинѣ и тоска по родинѣ.

— Я надоѣлъ тебѣ?

— Нѣтъ; но мнѣ кажется, что небольшая разлука принесла бы намъ обоимъ пользу. Я не могу тебя заставить уяснить себѣ, да ты никогда и не старался какъ слѣдуетъ меня понять; я примѣнялась къ тебѣ, а ты считалъ, что такъ и слѣдуетъ.

— Неужели... ты притворялась?

— Богу извѣстно, что я всегда относилась ко всему достаточно серьезно и чистосердечно, но вотъ въ чемъ дѣло: я, собственно, хочу перестать быть серьезной, хоть на время.

Сесиль продолжалъ смотрѣть на нее въ упоръ. Его загаръ совсѣмъ уже сошелъ, и тѣмъ замѣтнѣе было, что онъ слегка поблѣднѣлъ. Слишкомъ тяжелый толчокъ для человѣка, когда послѣ многихъ лѣтъ супружеской жизни жена вдругъ объявитъ, что онъ ее не понималъ.

— Сегодня я тебя не узнаю,—холодно замѣтилъ онъ.—Я не разъ видѣлъ тебя въ самыхъ разнообразныхъ настроеніяхъ и даже былъ свидѣтелемъ, что ты можешь сердиться; но никогда

еще не видывалъ тебя иначе, какъ въ самомъ привлекательномъ для меня образѣ.

— Я вовсе не привлекательна! И... я просто не люблю обижать тебя.

Сесиль тотчасъ же ухватился за эту мысль.

— Конечно, ты меня обидѣла, и никто лучше тебя самой этого не понимаетъ; но что съ тобой случилось?

— Мнѣ просто нужна перемѣна,—вотъ и все.

— Я боюсь, что провинился предъ тобой въ чемъ-нибудь ужасномъ! Я не могу припомнить ничего такого,—а не въ твоемъ характерѣ скрываться отъ меня.

— Я никакой вины не вижу за тобою; хотя это было бы гораздо лучше!

— Я тебя не понимаю,—безпомощно проговорилъ онъ.—Я слишкомъ тупъ, чтобъ это уяснить себѣ. Будь такъ любезна, объясни. Мнѣ кажется, я имѣю полное право даже требовать!— Въ сущности, ему хотѣлось бы задать ей хорошій урокъ, потому что онъ приписывалъ ея выходку исключительно дурному характеру.

Ли и сама была увѣрена, что онъ имѣетъ право требовать отъ нея объясненія, и принялась въ умѣ прикидывать и обдумывать выраженія, которыя больше всего подходили бы къ нему; но ея доводы путались у нея въ умѣ и казались ей такими ничтожными! Вмѣсто того, она расплакалась; въ тотъ же мигъ Сесиль обнялъ ее и принялся укорять себя за свое невысказанное желаніе дать ей урокъ.

— Ты больна, я знаю; и ты такъ къ этому не привыкла, что, конечно, это совершенно разстроило тебя.—Затѣмъ, какъ бы подтверждая словами свое малое знакомство съ женщинами, онъ снизошелъ даже къ взяточничеству.—Я попрошу отца отдать тебѣ дорогія украшенія моей матери; я только на-дняхъ узналъ, что они еще существуютъ; тамъ есть удивительныя вещи!..

Ли навострила уши, но тотчасъ же съ презрѣніемъ сдержала себя и еще сильнѣе зарыдала. Вдругъ она отшатнулась отъ него, выскользнула изъ его объятій и встала къ камину, повернувшись спиной къ мужу. Въ умѣ у нея пронеслось, что руки Рандольфа такъ же точно обнимали ее сегодня утромъ; тогда—она не придала этому значенія, какъ будто это была м-съ Монгомери или Корали; но теперь ей вдругъ пришло въ голову, что она какъ бы измѣняла мужу; она хорошо знала, что Сесиль пришелъ бы въ бѣшенство, еслибы только заподозрилъ... И она тотчасъ же рѣшила быть какъ можно непріятнѣе. Сесиль взялъ

и круто повернулъ ее къ себѣ. Блѣдность его теперь уже не подлежала сомнѣнію; даже губы его побѣлѣли.

— Ты въ первый разъ отвернулась отъ меня,—проговорилъ онъ.—Чтò это значитъ?

— Это значитъ, что я *хочу* ѣхать въ Калифорнію.

— Нѣтъ, это что-нибудь другое!

— Я просто не могу этого объяснить,—но постараюсь, когда буду писать письма. Я тебѣ обѣщаю, что хотя теперь тебѣ и кажется, что ты меня не понимаешь, но потомъ поймешь,—прежде, чѣмъ я вернусь.

— У меня нѣтъ времени читать романы, которые женщины пишутъ сами про себя! Когда-то мнѣ приходилось читать цѣлые томы женскихъ писемъ, но не было еще на свѣтѣ женщины, которая могла бы писать о себѣ, отрѣшившись отъ себялюбія; она точно держитъ рѣчь къ какому-то невидимому собранію. Говори сейчасъ все, чтò тебѣ надо сказать, и конецъ этому дѣлу. Если мнѣ не удалось доказать тебѣ, что я тебя люблю, я все-таки люблю тебя довольно для того, чтобы сдѣлать все возможное—ты это знаешь!

— Когда мы объяснялись, ты говорилъ, что для тебя ненавистно входить въ женскія мелочныя дрязги; что женщина не имѣетъ права ими заниматься и должна быть лишь сколкомъ со своего мужа.

— Не помню, чтобы когда-нибудь я говорилъ что-либо подобное; но если говорилъ,—значитъ, я мало былъ способенъ уяснить себѣ въ то время, чѣмъ ты сдѣлаешься для меня; теперь же я готовъ сдѣлать все, чтò только въ моей власти, лишь бы сохранить тебя такою, какой ты для меня была въ эти три года.

Ли уже готова была сдаться, но ея совѣсть слишкомъ была возбуждена и нашептывала ей, что она обсуждала дѣйствія своего мужа съ постороннимъ мужчиной, и что такой поступокъ былъ неприличнаго и даже непорядочнаго свойства. Она была готова отдать все на свѣтѣ, лишь бы вернуть свои признанія Рандольфу; она искренно ненавидѣла его въ эту минуту,—ненавидѣла сама себя!

Сердито топнувъ ногой, она не сдержала себя и воскликнула:

— Ахъ, да оставь же ты меня въ покоѣ! Если я чтò и чувствую,—я послѣ объясню тебѣ; но сегодня ты не услышишь отъ меня ни слова!

Сесилю ничего не оставалось, какъ только выйти вонъ и хлопнуть дверью. Онъ вышелъ и хлопнулъ, не стѣсняясь.

Въ ту ночь Ли спала крѣпче, нежели ожидала, и на слѣдующее утро проснулась, все еще продолжая чувствовать, что ей стыдно передъ собою; ея твердое рѣшеніе уѣхать ненадолго изъ Англіи ничуть не ослабѣло, но она дорого дала бы, чтобы придти къ дружелюбному соглашенію. Она сознавала, что дурно поступила съ мужемъ; а между тѣмъ, его меньше, чѣмъ кого другого, она хотѣла бы обидѣть. Она рѣшила, что непремѣнно постараѐтся все ему разъяснить; а такъ какъ онъ человѣкъ основательный и умный,—онъ самъ пойметъ прекрасно, что небольшая разлука (можно ее ограничить даже полугодомъ!) желательна для нихъ обоихъ. Конечно, Сесиль многое обдумаетъ во время ея отсутствія, и результатъ, конечно, будетъ самый утѣшительный.

Къ завтраку она отправилась на равнину, и была такъ мила и прелестна, такъ твердо рѣшила не прельщать никого кромѣ мужа, что даже его угрюмое выраженіе исчезло, и онъ окончательно просіялъ. Но все-таки онъ былъ встревоженъ не на шутку; это она сейчасъ замѣтила. Слишкомъ грубымъ толчкомъ прервала она его счастливое состояніе, казавшееся теперь недосягаемою мечтой.

Джйри пріѣхали на слѣдующее утро, и Ли показалось, что все „Аббатство“ наполнилось звонкимъ смѣхомъ ея подруги. Корали хотѣлось разомъ осмотрѣть всѣ достопримѣчательности, и калифорнійцы провели цѣлый день въ безпокойной ходьбѣ по дому и вокругъ него.

— Нѣтъ, вы представьте себѣ,—восклицала Корали, проходя подъ мрачными сводами зáмка:—я—въ настоящемъ „Аббатствѣ“,—въ старой каменной массѣ, которая стоитъ больше десяти вѣковъ... или на нѣсколько сотъ лѣтъ больше или меньше, все равно! Это—старый каменный зáмокъ, съ лѣпной работой, съ призраками и сѣрыми монахами, которые разгуливали здѣсь когда-то такъ же точно, какъ гуляю я теперь. По-моему, это прелестно! А, Нэдъ?—Но м-ръ Джйри улыбался съ истинно-калифорнской снисходительностью, и Корали, которой эта улыбка была хорошо знакома, закинула голову.

— Благодаря Бога, я еще не дошла до такого провинціализма!—воскликнула она язвительно.—Цѣлыхъ три года я продержу тебя въ Европѣ. До сихъ поръ не видывала я, чтобы человѣкъ такъ измѣнился къ лучшему въ Европѣ, какъ Рандольфъ!

М-ръ Джйри сердито вспыхнулъ и пошелъ прочь.

— Но раскажите мнѣ еще...—просила Корали.—Не хлопай дверью, Нэдди!... Никогда развѣ не случалось, чтобы монахи

въ капюшонахъ бродили по ночамъ подъ этими сводами; говорятъ...

— Впрочемъ, вы знаете, вѣдь всѣ покойные герцоги обязаны были лежать здѣсь по нѣскольку недѣль и поочередно каждую ночь надъ ними сидѣли слуги и крестьяне. Эти люди клялись, что имъ являлись призраки уже не разъ. Понятно, тутъ же по близости на столбахъ висѣли лампады... Я покажу тебѣ цѣлый ящикъ серебряныхъ лампадокъ, которыя горѣли здѣсь въ продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ; ихъ свѣтъ погружаетъ всю остальную часть усыпальницы въ темноту, и тогда легко можно себѣ представить, что̀ угодно. Погребеніе обыкновенно происходило въ полночь, при свѣтѣ факеловъ, хотя бы и луна свѣтила; въ народѣ распространено и теперь повѣрье, что позади похороннаго шествія всегда идетъ старикъ аббатъ и перебираетъ четки.

— Ну, это просто роскошь!—Понятно, я не имѣю ни малѣйшаго желанія, чтобы лордъ Барнстэплъ умеръ, но мнѣ такъ хотѣлось бы увидѣть эту церемонію! Когда умеръ м-ръ Джири, его, понятно, вынесли въ гостиную, и онъ, право, былъ такой неинтересный, а его гробъ (до отвращенія роскошный!) сто̀илъ страшныхъ денегъ; но герцогъ въ усыпальницѣ, въ настоящемъ древнемъ „Аббатствѣ"! цѣлая дворня на колѣняхъ передъ его прахомъ, и страхъ предъ фантастическимъ призракомъ монаховъ, замыкающихъ шествіе... Да я ни разу въ жизни не могла себѣ представить ничего подобнаго!! Нѣтъ ли здѣсь гдѣ-нибудь по сосѣдству такого „Аббатства", которое отдавалось бы въ наймы? Мнѣ бы его только на полгода—и моему наслажденію не было бы предѣловъ.

— Да вамъ цѣлыхъ полгода придется только привыкать къ его громадѣ, а къ тому времени, когда оно дѣйствительно оказалось бы для васъ удобно, вы, можетъ быть, почувствовали бы, что все остальное страшно скучно и заурядно,—замѣтилъ Рандольфъ, обращаясь къ Корали, но смотря все время на лэди Маундрэлъ. Послѣдняя улыбнулась и опустила глаза.

— Человѣкъ стремится къ чему-нибудь бо̀льшему, нежели простая роскошь,—сказала Ли.—А знаете,—Эмми, пожалуй, уже проснулась; я пойду поговорю съ нею насчетъ Тома.

Томъ былъ въ это время въ Лондонѣ, и ему хотѣлось получить приглашеніе въ „Аббатство": онъ для того только и пріѣхалъ въ Англію, чтобы взглянуть на его будущую владѣлицу.

XXVII.

Ли застала лэди Барнстэплъ въ самомъ свѣжемъ и пышномъ капотѣ и въ самомъ отвратительномъ настроеніи. Это, несомнѣнно, слѣдовало приписать тому факту, что м-ръ Пиксъ былъ принужденъ уѣхать въ Лондонъ по дѣламъ и до сихъ поръ еще не возвращался.

— Приглашайте себѣ хоть всю Калифорнію,—сердито сказала она,—но скажите, чтобъ они не попадались мнѣ на глаза!

— Очень мало вѣроятія, чтобы ваши же гости задирали носъ передъ вами, и, наконецъ, ваше положеніе ставитъ васъ такъ высоко, какъ только можно желать.

— Но есть все-таки люди, которые смотрятъ на меня свысока,—угрюмо замѣтила лэди Барнстэплъ.

Это былъ не совсѣмъ удобный случай приступить къ деликатной темѣ, и Ли отъ этого отстранилась. Впрочемъ, и безъ того все могло само собой уладиться къ ея возвращенію.

— Знаете, я думаю поѣхать въ Калифорнію съ м-съ Монгомери, въ половинѣ октября.

Лэди Барнстэплъ вскинула на нее глазами. Несмотря на розовое освѣщеніе будуара, замѣтно было, что она измѣнилась въ лицѣ и опустила глаза.

— Калифорнія отсюда далеко; я удивляюсь, что Сесиль могъ согласиться... Впрочемъ, небольшая разлука всегда полезна,—сухо отозвалась она.—Какъ долго вы думаете тамъ пробыть?

— Пожалуй, съ годъ. Со мной поѣдетъ лэди Джиффордъ, если м-съ Монгомери пригласитъ ее съ собою... Разумѣется, она пригласитъ.

— О, пожалуйста, сосватайте ее Рандольфу! Это было бы доброе дѣло.

— Что-жъ, можетъ быть, такъ и будетъ! Тини ее любитъ, а м-съ Монгомери способна въ нее влюбиться и поставить себѣ цѣлью—измѣнить къ лучшему ея грубоватый голосъ.

— Надѣюсь, она такъ и останется въ Калифорніи? Надоѣла она мнѣ, какъ вообще надоѣла грубость англичанъ.

— Вы до сихъ поръ старались сами поощрять эту грубость. Сколько мнѣ кажется, большинство американцевъ развиваетъ именно это свойство англичанъ, а вовсе не тѣ, которыми они восхищаются въ тѣхъ же англичанахъ.

— Знаете, я бы желала, чтобы вы оставили меня въ покоѣ! —отвѣтила на это лэди Барнстэплъ.

Ли ушла—послать Тому пригласительную телеграмму, и тогда только присоединилась къ остальнымъ. Они кормили лебедей на берегу пруда.

— Эти лебеди дополняютъ прелесть всей картины! — воскликнула Корали.—Знаешь, я хочу, чтобы Нэдъ сидѣлъ вмѣстѣ со мною ночью въ усыпальницѣ и подстерегалъ привидѣніе; а онъ не хочетъ.

— Какъ будто призраки существуютъ!—презрительно отозвался Нэдъ.

Ли оглянулась на Рандольфа.

— Вы, пожалуй, могли бы довести себя до того, что начали бы вѣрить въ появленіе духовъ?

Онъ улыбнулся и услужливо раскрылъ для нея зонтикъ.

— А вы... вы, пожалуй, шагнули на цѣлое столѣтіе впередъ. Впрочемъ, вы это замѣтите только тогда, какъ уже попадете въ Калифорнію.

— Я съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе чувствую стремленіе къ своей родинѣ.

— А вотъ, увидимъ; надѣюсь, вы, дѣйствительно, съ удовольствіемъ проведете годъ въ Калифорніи.

— Знаете, я хочу пригласить Мэри Джиффордъ ѣхать вмѣстѣ съ нами. Она—мой лучшій другъ и до смерти жаждетъ перемѣны.

— Я увѣренъ, что моя мать будетъ очень рада; она тотчасъ же займется ея перевоспитаніемъ.

— Вотъ и я то же говорю. Какъ она вамъ понравилась?

— Чрезвычайно интересная особа; впрочемъ, у меня правило—ненавидѣть вообще всѣхъ англичанокъ, но отроду мнѣ еще не случалось видѣть женщину, которая говорила бы такъ громко и въ то же время производила впечатлѣніе почти-преувеличенной застѣнчивости. Это—поразительное совпаденіе.

— Можетъ быть, она просто не напала на настоящаго мужчину? Надѣюсь только, что она влюбится не въ васъ, хотя и восхищается вами ужасно. Смотрите же, говорите ей любезности и будьте къ ней внимательнѣе, но не ухаживайте за нею.

— Да я и не намѣренъ,—возразилъ Рандольфъ. Быть можетъ, онъ хотѣлъ сказать это не спроста, но въ глазахъ его не было больше ни тѣни нервности или смущенія: они смотрѣли холодно и задумчиво.

На слѣдующій день по пріѣздѣ Тома, пріѣхала и м-съ Монгомери, но безъ дочери, у которой захворали дѣти. М-съ Монгомери, конечно, не отпускала отъ себя Ли ни на минуту, а поэтому окончательнаго объясненія съ мужемъ лэди Маундрелъ не

могла дождаться до вторника. М-ръ Джири и м-ръ Браннанъ заранѣе помирали со смѣху, представляя себѣ, какъ они будутъ цѣлый день шагать подъ бременемъ тяжелаго ружья, но ни они, ни Корали, не отнеслись сочувственно къ завтраку на равнинѣ. Имъ хотѣлось, чтобы Ли все время принадлежала только имъ, и они каждый день устроивали свой особый, маленькій пикникъ. М-съ Монгомери дѣйствительно пожалѣла, что не ей досталось воспитывать лэди Джиффордъ.

— Она своеобразна, у нея почти неприличныя, дурныя манеры, но все-таки она чрезвычайно благовоспитана, и это даже странно,—она такъ мила; вдобавокъ, я увѣрена, что она ни разу не разсердится, если я буду изрѣдка ее бранить.

— Конечно, она вынесетъ ваши замѣчанія съ ангельской кротостью,—замѣтила Ли.

Во вторникъ вечеромъ, спускаясь по склону холма вмѣстѣ со своими друзьями, Ли издали замѣтила чью-то знакомую фигуру и мигомъ рѣшила воспользоваться случаемъ поговорить съ мужемъ наединѣ.

— Вотъ Сесиль!—проговорила она:—я пойду и приведу его домой, а вы идите прямо въ „Аббатство".—И она поспѣшно побѣжала впередъ.

Сесиль уже давно стоялъ на томъ же мѣстѣ, стремясь къ одиночеству, котораго давно не могъ добиться. Ли возмущалась предстоящимъ разговоромъ, его серьезнымъ значеніемъ, и даже начала задавать себѣ вопросы, не навсегда ли ей пришлось спуститься съ той высоты, на которой она стояла въ глазахъ мужа.

Сесиль, замѣтивъ, что жена идетъ къ нему, пошелъ ей на встрѣчу. Она озарила его самою блестящею улыбкой, взяла его подъ-руку и поцѣловала.

— Ты что-то обдумываешь?—спросила она съ той прямотой, которая такъ нравилась ему.

— Я многое обдумалъ, а главное, я пораженъ, что жилъ съ тобою три года неразлучно, и зналъ тебя такъ плохо. Въ тотъ вечеръ, признаюсь, я не узналъ тебя, и даже въ другое время не повѣрилъ бы, что тебѣ можетъ быть пріятно меня бросить.

— Сесиль! Ты вѣдь такой серьезный и на все смотришь съ трагической точки зрѣнія; а я не могу раздѣлять твоихъ воззрѣній, потому что всю жизнь я приглядѣлась къ женщинамъ, которыя ѣздили въ Европу безъ мужей. Право, можно подумать, что я хочу развода.

— Ты, кажется, хочешь дать мнѣ почувствовать, что я совсѣмъ глупъ?—горячо возразилъ Сесиль.—Я думаю, ты знаешь, что у меня есть на все свои воззрѣнія, и что я ихъ нисколько не стыжусь. Я для того женился, чтобы жить съ тобою; чтобы ты была всегда подлѣ меня, пока мы оба живы; я не понимаю и не выношу никакого иного представленія о бракѣ. Ты, кажется, и сама знала, когда приняла мое предложеніе, что я не имѣлъ намѣренія обратиться въ типичнаго мужа-американца?

— Я ни на минуту на этотъ счетъ не заблуждалась, и ты долженъ согласиться, что я, кажется, достаточно старалась сдѣлаться англичанкой. Если я говорю откровенно, что для меня необходимъ небольшой перерывъ, — то я говорю это чистосердечно.

— Я не могу понять этой потребности иначе, какъ допустивъ, что я тебѣ надоѣлъ.

— Да нѣтъ же! Никому и никогда ты надоѣсть не можешь, но это такъ тонко...

— Пожалуйста, безъ красивыхъ словъ! Никакія тонкости, не могутъ обратить бѣлое въ черное—и наоборотъ. Я вполнѣ понимаю, что ты можешь тосковать по Калифорніи, и самъ давно рѣшилъ свозить тебя туда; но ты могла бы подождать. Конечно, я много заставлялъ тебя работать, и еслибъ не мои занятія политикой, мы съ тобою непремѣнно прокатились бы на континентъ. Еще годъ—другой, и я надѣюсь, что мы можемъ побродить по бѣлу-свѣту. Съ каждымъ днемъ для меня становится все важнѣе изучить на мѣстѣ бытъ и правительственныя условія колоній.

— Вотъ потому-то я и думаю, что для меня было бы всего лучше оставить тебя одного теперь: ты будешь занятъ до такой степени, что и не замѣтишь моего отсутствія.

— А для меня нѣтъ выше удовольствія, какъ знать, что ты всегда тамъ, гдѣ я, и чувствовать, что я каждую минуту могу тебя видѣть, что твои интересы нераздѣльны съ моими.

— Въ томъ-то и дѣло, что мнѣ хотѣлось бы хоть на время отдаться именно болѣе ничтожнымъ интересамъ; но если тебѣ уже такъ хочется, то я скажу прямо, что хочу опять быть сама собой, хоть одинъ только годъ! Громадныхъ усилій стоило мнѣ совершенно обезличить себя, отдавая тебѣ всю свою жизнь, весь умъ и душу; и ты долженъ сознаться, что мои стремленія увѣнчались успѣхомъ. Но рано или поздно должна была наступить реакція, и—она наступила!

Сесиль стоялъ и молча смотрѣлъ на жену.

— Такъ вотъ оно что̀?! Отчего же ты не сказала этого сразу? Теперь и я думаю,—мнѣ слѣдовало давно этого ожидать. Я еще раньше женитьбы видѣлъ, что ты—самая избалованная женщина, какую только мнѣ приходилось видѣть; но у тебя былъ здравый смыслъ и твердость характера, и ты меня любила. Понятно, я надѣялся всего добиться.

— Но ты не можешь вѣдь сказать, что ты былъ разочарованъ?

— Конечно, нѣтъ. Еще недѣлю тому назадъ, я считалъ тебя самой совершенной женщиной, какую когда-либо создалъ Господь Богъ.

Ли вспыхнула отъ удовольствія и взяла мужа за̀ руку.

— Ни за что на свѣтѣ мнѣ не хотѣлось бы сдѣлать тебя несчастнымъ; но я надѣялась, что ты самъ все поймешь, или что я съумѣю тебѣ объяснить. Для насъ обоихъ это будетъ лучше. Здравый смыслъ, твердое желаніе и любовь могутъ сдѣлать очень многое, но совершенно передѣлать насъ они не могутъ. Мы замыкаемъ себя и наше собственное *я*; а оно насъ грызетъ и томится, и рано или поздно непремѣнно вырвется наружу. Самое лучшее—дать ему волю не надолго, и оно вернется къ намъ, и снова смирится на долгое, долгое время. Но...—прибавила она и остановилась, выжидая пока Сесиль перестанетъ взрывать палкой землю и повернется къ ней лицомъ:—если я не въ состояніи убѣдить тебя со мною согласиться,—я лучше не поѣду.

— Тогда ты, значитъ, осталась бы противъ своей воли?

— О, мнѣ такъ хочется туда!

— Такъ поѣзжай!—проговорилъ онъ.

Эмми все время была какъ будто не въ духѣ. Гости не особенно дружелюбно относились къ присутствію м-ра Пикса, и онъ, конечно, былъ бы совершенно глупъ, еслибъ этого не могъ замѣтить. Впрочемъ, онъ на все смотрѣлъ сквозь пальцы, самодовольно утѣшаясь мыслью, что все—въ *его* рукахъ: онъ—денежный мѣшокъ, онъ—сила!

— Право, я чувствую себя какъ-то тревожно, — замѣтила Мэри въ одинъ прекрасный вечеръ, стоя̀ вмѣстѣ съ Ли въ сторонѣ отъ другихъ гостей, въ дальнемъ уголку гостиной.

Въ эту минуту все шло сравнительно гладко; гости беззаботно болтали; молодыя женщины даже бѣгали, гоняясь другъ за другомъ вокругъ большого стола и шутя поднимая цѣлую войну изъ-за того или другого „любимаго“ столика. Эмми порхала отъ

одного къ другому, но замѣтно было, что въ глазахъ ея свѣтится недобрый огонекъ и губы сложены въ недобрую складку.

— Хоть бы скорѣе, наконецъ, уѣхать!—отозвалась Ли на замѣчаніе подруги.

— Вотъ и я то же говорю! Мнѣ такъ хотѣлось бы уже быть въ Калифорніи! За послѣднее время я чувствую странное ощущеніе, какъ будто знаю, что кто-то держитъ въ рукахъ зажженный фитиль и каждую минуту готовъ взорвать мину съ динамитомъ.

— Я и думать объ этомъ не хочу; тутъ всегда столько народу,—ничего подобнаго произойти не можетъ!

Однако, оставшись одна съ мужемъ, Ли сообщила и ему свою тревогу. Повидимому, все между ними обстояло благополучно; Сесиль былъ не изъ тѣхъ мужей, которые склонны дуться, и ничего не дѣлалъ въ половину. Разъ покончивъ съ объясненіемъ насчетъ поѣздки Ли, онъ рѣшилъ не подавать вида и обращался съ нею какъ ни въ чемъ не бывало.

— Какъ бы мнѣ хотѣлось, чтобъ этотъ мерзкій Пиксъ скорѣе уѣхалъ! — проговорила Ли, вызывая мужа на дальнѣйшіе разспросы:—онъ здѣсь совсѣмъ лишній.

— Да я и самъ не знаю, для чего онъ нуженъ? Отроду не видывалъ я человѣка, который былъ бы такъ некстати на охотѣ.

— Онъ, вѣрно, дѣйствуетъ на нервы твоего отца?

— Еще бы!

— Я думаю, его сюда пригласила Эмми, и всѣ эти дни она, какъ будто, неспокойна. Нѣтъ, ты только представь себѣ, отъ какой бѣды судьба тебя спасла! Еслибъ ты тогда не уѣхалъ въ Америку,—тебя, пожалуй, женили бы на этихъ Пиксахъ.

XXVIII.

На слѣдующій день, за утреннимъ чаемъ, Ли замѣтила въ окно, что лордъ Барнстэплъ, идетъ домой со стороны равнины. Это было настолько необыкновенно, что она обратила на то особое вниманіе, и, выйдя въ корридоръ, замѣтила, что слуга дѣлаетъ ей знаки, и въ самомъ дѣлѣ тотъ сообщилъ ей, что лордъ Барнстэплъ ожидаетъ ее у себя въ кабинетѣ.

„Очевидно боится, чтобы намъ не помѣшали“,—думала Ли, поспѣшно идя по корридору, и чувствуя одновременно и любопытство, и тревогу.

Лордъ Барнстэплъ расхаживалъ взадъ и впередъ по комнатѣ; нахмуренныя брови выдавали его неспокойное состояніе духа.

— Надо, чтобы вы помогли мнѣ,—безъ дальнѣйшихъ намековъ,—проговорилъ онъ.

— Конечно, я сдѣлаю все, что̀ могу!

— Мнѣ надо, чтобы этотъ выскочка—этотъ Пиксъ!—оставилъ мой домъ; я дня не проживу, чтобы не надѣлать ему дерзостей; но, конечно, я этого не желаю; онъ—гость Эмми, и она одна можетъ насъ избавить отъ него. Какъ она это сдѣлаетъ,—мнѣ все равно; но говорить съ нею я, конечно, не намѣренъ: она сейчасъ же разразится истерикой и наперекоръ мнѣ оставитъ его гостить.

— Такъ вы хотите, чтобы я переговорила съ нею?

— Я не имѣю намѣренія навязать вамъ не особенно пріятную обязанность, но вы понимаете сами, вы—единственная, которая хоть сколько-нибудь можетъ имѣть на нее вліяніе—за исключеніемъ Сесиля; а съ нимъ я не хотѣлъ бы вовсе говорить объ этомъ.

— Но что̀ я ей скажу?

Лордъ Барнстэплъ круто повернулся на каблукахъ.

— Неужели вы ничего не можете придумать?

Лицо молодой женщины оставалось невозмутимо, но она отвернулась. Лордъ Барнстэплъ разсмѣялся.

— Если глаза у васъ не завѣшены,—вы, конечно, ясно видите, въ чемъ дѣло. Давно я замѣчаю, что Пиксъ все вертится около насъ, но до сихъ поръ мнѣ и въ голову не приходило, чтобы онъ былъ ея любовникомъ! Мнѣ дѣла нѣтъ ни до нея, ни до ея любовниковъ, но она не смѣетъ приводить эту дрянь въ „Аббатство“.

— Я могу ей сказать,—продолжала Ли,—что всѣ говорятъ объ этомъ, и что женщины намекаютъ на желаніе отвернуться отъ нея, если она не прогонитъ Пикса.

— Вотъ именно! Вамъ предстоитъ отвратительная сцена. Какъ вы добры, что соглашаетесь взять на себя это дѣло, не подвергая меня необходимости грубить.

— Да я вѣдь вамъ принадлежу; я—членъ вашей семьи, и вы должны понять, что я готова сдѣлать все, что̀ угодно, для интересовъ вашего семейства.

— Да—вы *наша*!—нѣсколько горячѣе подхватилъ лордъ Барнстэплъ:—Эмми ни разу такого участія не проявила. Теперь мнѣ не совсѣмъ пріятно напоминать объ этомъ, — это, какъ будто, является вознагражденіемъ за вашу добрую услугу,—но

дѣло въ томъ, что я уже рѣшилъ передать вамъ фамильные брилліанты покойницы-жены. Чудо, какъ они хороши!—а Эмми даже не подозрѣваетъ о ихъ существованіи. Конечно, было бы гораздо благороднѣе съ моей стороны—передать ихъ вамъ еще давно... но...

Ли кивнула ему ласково и сочувственно улыбнулась.

— Да, — отвѣтилъ онъ на ея взглядъ: — мнѣ не хотѣлось съ ними разставаться, но, я надѣюсь, вы ничего не будете имѣть противъ того, чтобы ихъ взять. Я сейчасъ пойду и напишу своимъ повѣреннымъ, чтобы они немедленно ихъ выслали сюда; надо же мнѣ хоть какъ-нибудь провести время. Ради Бога, вернитесь сюда немедленно и скажите мнѣ, ка̀къ она отнеслась.

— Я не думаю, чтобы мнѣ пришлось заставлять васъ долго ждать. А я еще васъ не поблагодарила! Конечно, я буду въ восторгѣ отъ вашихъ брилліантовъ.

— Къ вамъ должны также перейти брилліанты Барнстэпловъ, но *она* способна всѣхъ насъ пережить!

Идя по длиннымъ корридорамъ, которые вели къ комнатамъ мачихи, Ли думала о томъ, что лордъ Барнстэплъ хорошо сдѣлалъ, заговоривъ о брилліантахъ. Мысль объ этомъ вниманіи съ его стороны была ей пріятна и ободряющимъ образомъ подѣйствовала на нее.

Лэди Барнстэплъ только-что проснулась и пила чай. Видъ у нея былъ сердитый и растрепанный.

— Садитесь, — проговорила она, замѣтивъ, что Ли подошла къ камину и разглядывала какую-то фарфоровую бездѣлушку.—Терпѣть не могу, когда люди стоятъ по угламъ!

Ли взяла стулъ и сѣла напротивъ мачихи; не такой она была человѣкъ, чтобы не пойти на уступки, если вопросъ шелъ о болѣе важномъ предметѣ.

— За послѣднее время вы были какъ будто разстроены,— замѣтила Ли:—что̀ случилось?

— Ахъ, да все на свѣтѣ! Мнѣ, просто, хочется иной разъ кого-нибудь отдѣлать хорошенько. Какое право имѣютъ всѣ эти англичане задирать передо мною носъ? Одинъ человѣкъ всегда сто̀итъ другого; я сама родомъ изъ свободной страны и люблю свободу.

— Удивляюсь, какъ вы могли бросить эту страну на цѣлую четверть вѣка.

— О, я не сомнѣваюсь, что вамъ хотѣлось бы отъ меня отдѣлаться, но... вы не отдѣлаетесь! Я изнемогла въ борьбѣ за

стремленіе въ высшіе круги, и, разъ достигнувъ своей цѣли, не намѣрена ей измѣнять. Въ Нью-Іоркѣ я была бы нулемъ, а въ Чикаго... Упаси, Боже!

— Однако, вы значительно спустились со своей высоты и, если не примете энергическихъ мѣръ, то и совсѣмъ завязнете...

— Что̀ вы хотите сказать?—вскричала лэди Барнстэплъ.— Я, кажется, готова пустить въ васъ чайной чашкой...

— Не смѣйте! — остановила ее Ли. — Я, все равно, имѣю право говорить, еслибъ даже не питала къ вамъ никакого участія; но послушайте: вы сами знаете, что м-ръ Пиксъ вамъ очень вредитъ.

— Я бы желала знать, почему *я* не имѣю права имѣть любовника, какъ всякая другая?

— Неужели вы хотите сказать, что онъ дѣйствительно...

— Не ваше дѣло разбирать!—Я не позволю, чтобы вы или кто бы то ни было командовали мной.

Лэди Барнстэплъ вся дрожала и злилась на холодный, ясный взглядъ голубыхъ глазъ, которые твердо на нее смотрѣли, но предпочла, все-таки, держать себя вызывающимъ образомъ.

— Я не имѣю намѣренія вами командовать; но, конечно, это меня касается,—касается также лорда Барнстэпла и Сесиля.

— Молчать!—вскричала лэди Барнстэплъ (врожденная рѣзкость выраженій всегда выдавала ее, когда ея нервы забирали волю). — Нѣтъ, какъ это вамъ нравится? Такой щенокъ, какъ вы, осмѣливается, сидя передо мною, читать мнѣ нравоученія! И, наконецъ, желала бы я знать, какъ вы объ этомъ можете судить? Вы замужемъ за человѣкомъ, который—„соль земли", и вы—такая дура, что онъ уже вамъ надоѣлъ! Нѣтъ, еслибы вы были связаны въ теченіе двадцати лѣтъ съ такимъ бездушнымъ звѣремъ, какъ Барнстэплъ, вы могли бы... Да, вы могли бы отнестись немного снисходительнѣе.

— Но я и безъ того готова относиться снисходительно, и прекрасно знаю, что вамъ не особенно счастливо живется; но для васъ я желала бы, чтобы вы были счастливы, и, навѣрно, есть другія средства для того, чтобы въ нихъ искать утѣшенія.

— „Есть"?! Ну, такъ я ничего о нихъ не знаю, да и вы, пожалуй, тоже! Я была хороша, когда вышла за Барнстэпла; я искренно влюбилась въ него, если вамъ угодно знать. Онъ былъ настоящій джентльменъ и аристократъ, а я была честолюбива и восхищалась имъ: вдобавокъ, онъ такъ хладнокровно ко мнѣ относился, что обаяніе его дѣйствовало на меня еще сильнѣе. Хотя бы для вида онъ когда-нибудь прикинулся, что женился не

на деньгахъ,—такъ и того нѣтъ! Ни разу не переступилъ онъ за порогъ моей спальни,—если вамъ угодно знать всю правду...

— Говорятъ, онъ былъ влюбленъ въ свою первую жену и горячо принялъ къ сердцу ея смерть. Можетъ быть, въ этомъ была главная причина...

— Вотъ именно! Ея портретъ виситъ у него въ спальнѣ; онъ даже въ кабинетъ его не перевѣсилъ, чтобы никто, кромѣ него, ея не видѣлъ. Какъ-то разъ мнѣ стало его жаль, когда онъ былъ боленъ, и я пошла его провѣдать. Онъ лежалъ въ постели и, завидя меня на порогѣ, крикнулъ мнѣ, чтобы я его не переступала... но *ее* я успѣла разглядѣть.

— Признаюсь, я еще больше готова его уважать за то, что онъ не притворялся, не клялся вамъ въ любви. Въ сущности, вашъ бракъ—добровольная сдѣлка: онъ продалъ вамъ свое положеніе въ обществѣ и связанный съ нимъ титулъ, и оба вы извлекли изъ этого дѣла значительную пользу.

— Я его ненавижу! Я много еще кого ненавижу въ вашей Англіи, но его—больше, чѣмъ другихъ! Я только выжидаю время; но когда придетъ срокъ нанести ему ударъ, пусть онъ не ждетъ пощады! Еслибы не Сесиль, я бы могла это сдѣлать хоть сейчасъ; но мнѣ жаль его, и Барнстэплъ не смѣетъ обижать и унижать единственнаго человѣка, который дѣйствительно меня любитъ...

— Если вы намекаете на м-ра Пикса, то лордъ Барнстэплъ всегда обращался съ нимъ какъ джентльменъ. Пиксъ—выскочка, и вы, конечно, не настолько слѣпы, чтобы не замѣчать, до чего онъ невоспитанъ и невѣжественъ.

— Да какъ вы смѣете?! — выкрикнула Эмми, вскочила и опрокинула весь чайный столъ, погубивъ на вѣки свой чудный розовый бархатный коверъ. — Я думаю, онъ стòитъ насъ съ вами; признаться, мнѣ уже надоѣли косые взгляды и обхожденіе свысока. Нѣтъ, я не слѣпа! Я прекрасно знаю, что я—*графиня Барнстэплъ*, и никому нѣтъ дѣла до того, чѣмъ я была прежде. Теперь я—персона и не измѣню своему сану; хотя бы мнѣ пришлось совсѣмъ завязнуть въ тинѣ, я все-таки съумѣю выкарабкаться вверхъ. Да, да, да! Я могу, могу! У меня ни гроша нѣтъ за душой. Слышите? Ни гроша!! Я покончу съ собой...

Ли подскочила къ ней и порывисто опустила ее въ кресло.

— Я не намѣрена терпѣть ваши выходки, и мнѣ о многомъ надо васъ еще спросить. Сидите смирно и спокойно.

Лэди Барнстэплъ тяжело переводила духъ, но, повидимому,

дѣйствительно усмирилась. Она не поднимала глазъ на свою собесѣдницу.

— Какъ давно вы разорились?—начала та допросъ.

— Не знаю. Давно.

— Вы, значитъ, тратите деньги м-ра Пикса?

— Да.

— „Аббатство“ и его земли приносятъ доходы и аренду?

— Нѣтъ; почти - что ничего. Мызы у насъ небольшія; остальное пространство—лѣса и болота.

— Такъ м-ръ Пиксъ гонится за „Аббатствомъ“?

— Да. Онъ это самъ прекрасно знаетъ.

— И вы не чувствуете никакой отвѣтственности, никакого обязательства предъ человѣкомъ, который далъ вамъ положеніе въ свѣтѣ и тѣмъ исполнилъ ваше желаніе?

— Ни до кого, ни до чего мнѣ дѣла нѣтъ!—опять выкрикнула Эмми.—Я вошла въ семью только для того, чтобы получить все, къ чему стремилась; разъ это достигнуто, и мнѣ не предстоитъ ничего бо̀льшаго,—мнѣ все равно! Пусть хоть вся Англія показываетъ на нихъ пальцемъ,—мнѣ ихъ не жаль!

— А мнѣ казалось, что вы любите Сесиля?

На одно мгновеніе непріятное выраженіе на губахъ Эмми стушевалось.

— Да, я люблю его, но ничего не могу сдѣлать! Ему придется раздѣлить ихъ участь. Непріятнѣе всего для меня—это отказаться отъ „Аббатства“.

— И вы можете быть увѣрены, что послѣ такого обращенія, какое испыталъ здѣсь м-ръ Пиксъ, онъ долженъ сегодня же вечеромъ оставить этотъ домъ! Если вы сами не прогоните его,—я беру это на себя.

— Да вы съ ума сошли?!

— „Аббатство“ можно сдать въ аренду, чтобы не продавать: Джѝри хоть сейчасъ его наймутъ.

— Удивляюсь, какъ вы можете думать о томъ, чтобы уѣхать отсюда, если вы такъ преданы семьѣ!

— Но я до тѣхъ поръ не оставлю „Аббатства“, пока оно будетъ во мнѣ нуждаться; а въ настоящее время оно нуждается. Конечно, м-ръ Пиксъ долженъ уѣхать; это—первое и самое главное дѣло. Лорду Барнстэплу и Сесилю необходимо сказать это прямо. Только смотрите, берегитесь! не смѣйте говорить имъ, что м-ръ Пиксъ разсчитываетъ на „Аббатство“. Напримѣръ, вы завтра же можете, будто бы, получить извѣстіе, что вы разорены.

— Если уйдетъ отсюда м-ръ Пиксъ, то и я—вмѣстѣ съ нимъ!

— Какъ вамъ угодно; только не говорите этого ни лорду Барнстэплу, ни кому другому, чьи деньги вы тратили до сихъ поръ.

— Давно сказала бы ему и всему свѣту, еслибы не Сесиль! Онъ—единственный, который обращался со мною деликатно; что же касается „Аббатства", *онъ* и даромъ его не захочетъ получить.

— Вотъ какъ! Почему же?

— Я слышала, какъ вы болтали съ Барнстэпломъ и Сесилемъ объ „Аббатствѣ" и его преданіи, но, можетъ быть, вы и не подозрѣваете, что на „Аббатствѣ" лежитъ страшное заклятье, которое до сихъ поръ никогда еще себѣ не измѣняло: никогда „Аббатство" не переходитъ по прямой линіи отъ отца къ сыну. Этого до сихъ поръ еще ни разу не случалось.

— Я американка для того, чтобы не вѣрить всякимъ бреднямъ,—замѣтила Ли; но ея голосъ потерялъ свою твердость. Она больше не смотрѣла на свою собесѣдницу; глаза ея больше не горѣли и смотрѣли холодно, какъ потухшій пепелъ.

— Пора уничтожить эту сказку,—добавила она.

— Нѣтъ, ее не уничтожишь! или „Аббатство" перейдетъ къ постороннему, или Сесиль умретъ прежде, чѣмъ Барнстэплъ водворится на вѣчный покой въ усыпальницѣ...

Ли встала.

— Чрезвычайно любопытное суевѣріе! Но дѣлать нечего, придется ему ошибиться; впрочемъ, прежде чѣмъ оно осуществится, я сейчасъ же пойду и поговорю съ м-ромъ Пиксомъ, если вы этого не сдѣлаете сами...

— Я могу сдѣлать это и сама, но вы будьте столь любезны, и не вмѣшивайтесь въ чужія дѣла.

— Такъ я пойду, скажу лорду Барнстэплу, что вы согласны...

— А! такъ это онъ васъ подослалъ? Мнѣ самой слѣдовало бы догадаться.

Ли сжала губы.

— Мнѣ очень жаль... но все равно! Если сегодня вы мнѣ представили образчикъ вашего обычнаго образа дѣйствій, то, конечно, едва ли вы могли ожидать, чтобы вашъ мужъ искалъ свиданія съ вами.

— Онъ меня боится! Я, слава Богу, на любого мужчину способна нагнать страху!

XXIX.

Ли вернулась къ своему свекру менѣе поспѣшно, нежели когда наступала на врага. Ей болѣе хотѣлось повидать Сесиля, но ему-то менѣе, чѣмъ кому-нибудь, она могла во всемъ признаться. Лордъ Барнстэплъ самъ открылъ ей дверь.

— Какъ вы любезны! — замѣтилъ онъ. — Мнѣ кажется, я навязалъ вамъ самое непріятное свиданіе, какое вамъ доводилось переживать.

— О, я все-таки ее убѣдила. Она кричала и металась по комнатѣ, но я ее успокоила.

Лордъ Барнстэплъ засмѣялся въ искреннемъ восторгѣ.

— Я такъ и зналъ, что вы одолѣете ее! — воскликнулъ онъ.—Я такъ и зналъ, что *вы* ее осадите! Ну, что̀ же дальше?

— Она мнѣ обѣщала, что скажетъ Пиксу, и онъ уберется сегодня же отсюда.

— Вы въ самомъ дѣлѣ съумѣли ее обойти! Какъ вы этого добились?

— Я ей сказала, что обращусь къ нему сама.

— Отлично. Но, конечно, она дастъ намъ еще отпоръ.

— А я даже не думаю, чтобы она отдавала себѣ отчетъ; она слишкомъ возбуждена. Мнѣ кажется, что она разстроена не по одной причинѣ; кажется, она получила дурныя вѣсти изъ Чикаго, недѣли двѣ тому назадъ.

— А!.. — Лордъ Барнстэплъ отошелъ къ окну; но, минуту спустя, онъ уже вернулся. — Я давно замѣчаю, что въ воздухѣ что-то готовится недоброе, но за послѣдній годъ ея дѣла какъ будто бы пошли немного лучше. Состояніе у нея было довольно большое и, конечно, могло выдержать временное напряженіе; но если она разорится...—Онъ развелъ руками.

— Еслибы мы съ мужемъ оставались жить въ „Аббатствѣ“ круглый годъ,—мы могли бы до нѣкоторой степени поддерживать его, особенно еслибы сдали охоту въ аренду; но наша городская жизнь въ полгода поглощаетъ всѣ наши доходы.

— Боюсь, что другого исхода нѣтъ; намъ придется выѣхать отсюда. Надо поговорить съ вашимъ мужемъ; аренда все-таки не можетъ полностью окупить содержаніе „Аббатства“. Я не вѣчно буду живъ, а моя смерть еще прибавитъ ему обязанностей и расходовъ.

Онъ очень поблѣднѣлъ и вообще имѣлъ видъ страшно усталый.

Ли не бросилась къ нему, не обняла его горячо, какъ сдѣлала бы прежде, но взяла его за руку и нѣжно погладила ее.

— Вы, Сесиль и я сама,—мы всегда можемъ быть счастливы втроемъ, даже и безъ „Аббатства"; но если Эмми въ самомъ дѣлѣ разорится, она бѣжитъ, конечно, съ м-ромъ Пиксомъ, или съ кѣмъ-нибудь другимъ. Что же! проживемъ и безъ нея, и скоро ее позабудемъ, а бѣдности намъ не придется испытать.

Лордъ Барнстэплъ поцѣловалъ невѣстку и потрепалъ ее по щекѣ, но лицо его не прояснялось.

— Я очень радъ, что вы будете всегда подлѣ моего Сесиля; можетъ случиться, что со временемъ вы сдѣлаетесь большой ему поддержкой. Онъ любитъ „Аббатство" больше, нежели я его люблю; мнѣ кажется, что и я тогда бы больше приложилъ стараній сохранить зàмокъ за собою.

Ли чуть не призналась, чтò ей обѣщалъ Рандольфъ, но ей самой все еще казалось иногда, что она его знаетъ хорошо, а иногда—наоборотъ; затѣмъ она припомнила послѣднюю выходку Эмми, о чемъ она совсѣмъ позабыла. Надо переговорить съ кѣмъ-нибудь объ этомъ.

— Эмми мнѣ сказала нѣчто ужасное, когда я уходила. Мнѣ очень хотѣлось бы спросить...

— О чемъ?

— Она сказала, что на имѣніяхъ „Аббатства" лежитъ проклятіе, и никогда они не переходятъ прямо отъ отца къ сыну.

Лордъ Барнстэплъ выпустилъ изъ своей руки ея руку и опять отошелъ въ сторону.

— Дѣйствительно, у насъ въ семьѣ былъ цѣлый рядъ странныхъ совпаденій; но такъ какъ надъ нашей землей лежитъ заклятіе не большее, чѣмъ надъ другими, то мы, конечно, надѣемся, что оно когда-нибудь перестанетъ дѣйствовать. Въ сущности, и нѣтъ причины, почему бы это не могло измѣниться. Старики-покойники должны быть довольны, что мы заботимся о ихъ костяхъ; но если „Аббатству" и суждено перейти къ другимъ, то я надѣюсь, что это заклятіе такъ же точно выживетъ отсюда своихъ новыхъ владѣльцевъ... А пока я пойду, одѣнусь къ обѣду.

— Только не безпокойтесь ни о чемъ! У меня есть порядочный клочокъ земли, и со временемъ онъ будетъ стоить огромныя деньги.

— На васъ самихъ лежитъ печать счастія, которое вы вносите съ собою, гдѣ бы ни появились. Конечно, этò одно воображеніе, но я помню, что я именно такъ подумалъ, когда въ первый разъ встрѣтился съ вами.

— Такъ вотъ почему вы не сердитесь, что я не принесла съ собою милліоны, какъ на меня сердилась Эмми!

— Да что̀ вы! Она—животноѐ! Ну, пойдемте одѣваться.

Спускаясь внизъ по лѣстницѣ, Ли встрѣтилась съ Сесилемъ.

— Не ищи меня,—сказалъ онъ,—когда ты соберешься послѣ уходить къ себѣ: я хочу исчезнуть тотчасъ же послѣ обѣда и буду сидѣть дома надъ своей работой.

— Не придти ли посидѣть съ тобою? — спросила Ли, и въ его руку нѣжно вложила свою.

Онъ отвѣтилъ ей пожатіемъ, но отвѣтилъ не сразу.

— Нѣтъ, лучше мнѣ понемногу привыкать работать безъ тебя, если мнѣ суждено быть одному хотя бы и на время.

Ли подняла голову и хотѣла сказать ему, что въ настоящую минуту она не думаетъ отъ него уѣзжать,—но ее остановилъ порывъ недобраго желанія помучить его. Впрочемъ, сегодня она нарядилась по его вкусу. Сесиль предпочиталъ бѣлыя легкія ткани, а на ней было именно бѣлое, вышитое по шолковому муслину. Мужъ остановился и вдругъ обернулся къ ней лицомъ —такъ что слабый свѣтъ лампы освѣщалъ его лишь въ половину, но Ли замѣтила, что руки его были засунуты въ карманы, а лицо блѣднѣе обыкновеннаго.

— Мнѣ хотѣлось бы тебѣ сказать, — началъ онъ, замѣтно запинаясь,—что мнѣ не хочется съ тобой разстаться, не высказавъ, какъ глубоко я цѣню твою преданность и горячее участіе въ теченіе минувшихъ лѣтъ. Я слишкомъ былъ счастливъ въ это время, чтобы пускаться въ подробное разбирательство такого вопроса; но мнѣ казалось, что и тебѣ живется такъ же счастливо, какъ мнѣ; теперь я вижу, что ты усиливалась только быть для меня тѣмъ, чѣмъ ты и была эти три года. На прошлой недѣлѣ я убѣдился, что все-таки это было съ твоей стороны большимъ принужденіемъ, и что я, самъ того не замѣчая, совершенно тебя обезличилъ. Для меня пытка—представлять себѣ, что ты могла счесть меня за грубаго и безсердечнаго эгоиста; потому меня ничуть не удивляетъ твое желаніе вспорхнуть и полетать на волѣ; но только... вернись ко мнѣ скорѣе!

Ли не отвѣчала. Ей хотѣлось слишкомъ многое сказать въ эту минуту; но, должно быть, мужъ прочелъ это въ ея глазахъ, потому что обнялъ, горячо прижалъ ее къ своей груди и много разъ подъ-рядъ поцѣловалъ...

Молодые Джѣри встрѣтили ихъ удивленнымъ взглядомъ.

— Куда это вы запрятались? — спросила Корали. — Я бродила по всему „Аббатству“, но нигдѣ не могла на васъ

напасть; по неволѣ пришлось утѣшиться болтовней съ *этой* миссъ *Пиксъ*, которая усердно разспрашивала меня о всѣхъ подробностяхъ правилъ о разводѣ въ Соединенныхъ-Штатахъ. Можно подумать, что у нея, чего добраго, спрятанъ гдѣ-нибудь непоказной супругъ, отъ котораго она хочетъ отдѣлаться. Она вообще, производитъ на меня впечатлѣніе сумасшедшей, да и ея братецъ въ настоящую минуту—тоже. Нэдъ, ты себѣ представь, каково видѣть такихъ господъ у себя въ гостяхъ! Должна признаться, что англичане...

— Ахъ, да замолчи же! — нетерпѣливо перебила ее Ли, и тотчасъ же поспѣшила извиниться, ссылаясь на множество заботъ.

— Ну, знаешь ли, я думаю, тебѣ, дѣйствительно, пора уѣхать, —замѣтила Корали насмѣшливо.

Ли только пожала плечами.

М-ръ Пиксъ, къ ея великой досадѣ и ужасу, дѣйствительно присутствовалъ на обѣдѣ, и несмотря на то, что онъ больше молчалъ, чѣмъ говорилъ, его молчаніе уже само по себѣ могло обратить на него всеобщее вниманіе: обыкновенно, онъ старался скрыть свою неловкость и застѣнчивость подъ цѣлымъ потокомъ трескучей болтовни.

— Право, со мной сейчасъ будетъ истерика!—проговорила лэди Джиффордъ, выходя въ гостиную.—Этотъ господинъ чего-нибудь да добивается; онъ трусъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ его нахальство безгранично: я его встрѣтила сегодня въ корридорѣ, въ тотъ моментъ, какъ онъ выходилъ отъ Эмми въ совершенно непоказанное время. Я шла къ ней, но меня не приняли, а у него былъ такой видъ, какъ будто они только-что подрались и разругались. Хорошо бы было, подъ какимъ-нибудь предлогомъ, выпроводить его отсюда!

— Хорошо, я сейчасъ пошлю за шалями и плэдами, и скажу Корали, чтобы она взяла на себя занимать Барнстэпла. Она съумѣетъ его развлечь. Тогда я примусь за Пикса.

— О, какъ бы мнѣ хотѣлось видѣть эту сцену! а м-съ Монгомери я проведу въ „Севрскую“ комнату и предложу ей разсматривать фарфоровыя бездѣлушки передъ сномъ.

Все обошлось благополучно; даже Ли (это всѣ видѣли) спустилась вмѣстѣ съ гостями въ усыпальницу, но тотчасъ же поспѣшила незамѣтно ускользнуть и въ знакъ привѣтствія замѣтила на лицѣ Пикса нѣчто среднее между гримасой и язвительной улыбкой. Было ясно, что его планы терпятъ пораженіе, и что онъ готовъ окончательно растеряться.

Когда она вошла, онъ даже не привсталъ, и только еще рѣзче, еще противнѣе стала его гримаса.

— Вы еще не уѣхали? — спросила она такимъ тономъ, какимъ говорятъ съ лакеемъ.

Пиксъ поднялъ носъ, какъ наглый богачъ, и отвѣтилъ ей угрюмо, но дерзко.

— Я еще не собирался и не собираюсь уѣзжать, да и не уѣду, пока не соберусь. Я даже не понимаю, что̀ вы хотите сказать.

— Нѣтъ, вы понимаете! Вы видѣлись съ лэди Барнстэплъ сегодня, и она вамъ сказала, что вы должны уѣхать. Мы не хотимъ, чтобы вы здѣсь оставались.

— Но я пробуду здѣсь, сколько захочу.

— Нѣтъ, не пробудете! Вы уѣдете сегодня же; я приказала подать коляску къ поѣзду одиннадцать-десять, а ночевать вы можете въ Лидсѣ. Вашъ слуга уже началъ укладываться.

— Я не уѣду!—закричалъ онъ, и грудь его заколыхалась.

— Нѣтъ, вы *уѣдете*!—хотя бы пришлось насильно усадить васъ въ коляску.

Онъ вздрогнулъ, но какъ-то весь сжался (нервы его, повидимому, отказывались ему служить) и совершенно ясно проговорилъ:

— А кто будетъ кормить эту толпу гостей?

— Мой мужъ и я. Мы просимъ васъ подать намъ счетъ.

— Но, чортъ возьми, вѣдь счетъ очень великъ!

— Не думаю,—возразила Ли.—Меня не касается вопросъ, что̀ вы могли здѣсь издержать. Я въ точности выясню время, когда прекратились личные доходы моей мачихи, и какая сумма идетъ на содержаніе „Аббатства“. Постарайтесь не ошибиться въ итогахъ! Ну, а затѣмъ, прошу васъ убираться и не дѣлать скандала.

XXX.

Все обошлось бы, можетъ быть, тихо и мирно, еслибы въ эту минуту не появился на порогѣ лордъ Барнстэплъ.

— Милая Ли!—началъ онъ:—съ моей стороны, непростительно было вмѣшать васъ въ это дѣло. Пройдите къ гостямъ,— я сейчасъ тоже приду туда.

Ли, которую, въ сущности, забавляла эта сцена, оглянулась на него и нахмурилась.

— Лучше уйдите! Пожалуйста, уйдите!—убѣдительно повторяла она.

— Чтобъ я васъ оставилъ, а этотъ господинъ наговорилъ бы вамъ дерзостей?! Онъ даже не понимаетъ, что долженъ говорить съ вами стоя.

И Барнстэплъ повернулся къ Пиксу, лицо котораго теперь пылало, а бѣлки налились кровью.

— Кажется, вамъ уже было сказано, чтобы вы здѣсь не оставались? Мнѣ очень жаль, что приходится говорить такъ грубо, но вы должны уѣхать. Никакихъ объясненій намъ не нужно; я предпочелъ бы, чтобы вы мнѣ ничего не возражали, но я требую, чтобы вы оставили мой домъ сегодня же!

Пиксъ мигомъ очутился на ногахъ.

— Чортъ васъ возьми! — истерично захлёбывался онъ, но возбужденіе все-таки придавало ему храбрости, и онъ продолжалъ:—А что же будетъ съ вами, куда дѣнетесь вы на слѣдующій годъ? Все здѣсь будетъ *мое*! Кто будетъ платить за вашу корку хлѣба? Кто будетъ погашать ваши карточные долги? Они порядочную сумму занимаютъ въ моихъ счетахъ. Если вы заставляете любовника вашей жены за васъ платить, такъ хоть, по крайней мѣрѣ, постарались бы выигрывать почаще...

Онъ окончательно задохнулся.

Лордъ Барнстэплъ стоялъ передъ нимъ, какъ окаменѣлый; но вдругъ кинулся къ нему, схватилъ его за шиворотъ и вытолкнулъ въ открытое окно, какъ злую крысу. Мускульной силы въ немъ было довольно, какъ во всякомъ англичанинѣ, который полжизни провелъ на открытомъ воздухѣ, а лицо было лишь немного блѣднѣе обыкновеннаго, когда онъ оглянулся на Ли.

— Онъ сказалъ правду, это несомнѣнно; но надо, чтобъ *она* сама это подтвердила! — проронилъ онъ и пошелъ на половину жены.

Ли подбѣжала къ окну. На дорожкѣ сидѣлъ Пиксъ и прижималъ къ лицу платокъ. По близости никого не было видно; вдругъ онъ всталъ на ноги и опрометью кинулся въ домъ. Ли ясно видѣла, что *теперь* онъ и самъ хочетъ убраться поскорѣе.

Въ изнеможеніи она сѣла и закрыла лицо руками. Ее мучило одновременно невѣдѣніе относительно того, какъ Эмми поступитъ въ этомъ случаѣ, и вопросъ—какъ оградить, какъ защитить отъ позора ни въ чемъ неповиннаго Сесиля? Она ждала,—долго ждала Барнстэпла, но, наконецъ, дольше не могла ждать. Прежде, однако, чѣмъ пройти къ гостямъ, надо во что бы то ни стало узнать хотя бы самое худшее: что сдѣлаетъ лордъ Барнстэплъ, если Эмми признается во всемъ?

Барнстэплъ сидѣлъ за своей конторкой и писалъ. При ея входѣ, онъ поднялъ руку и поспѣшно опустилъ ее на какой-то предметъ, лежавшій рядомъ съ его бумагами, но Ли подошла и сняла его руку съ револьвера.

— Развѣ это необходимо?—спросила она.

— Несомнѣнно! Неужели вы можете допустить, что я соглашусь прожить еще хотя день?

— Но, можетъ быть, никто объ этомъ не узнаетъ?

— Всей Англіи будетъ все извѣстно прежде, чѣмъ пройдетъ эта недѣля. Эмми дала мнѣ понять, что многіе уже догадались...

— Для женщины это ужасно!

— Но въ васъ есть фамильная гордость; вы способны все понять. Честь моя продана, поругана; гордость моя рушилась; нѣтъ мнѣ среди другихъ людей хотя бы самаго тѣснаго уголка... *Мнѣ*—встрѣтиться *теперь* лицомъ къ лицу съ моимъ сыномъ!.. Великій Боже!

— Развѣ нельзя отъ него скрыть?

— Нѣтъ, невозможно! Это—единственное наслѣдіе, которое я ему оставлю. Это не убьетъ ни его самого, ни его мужества: онъ тверже характеромъ, нежели можно думать. Если я обратилъ честь семьи въ прахъ,—въ *немъ* есть сила возвысить ее больше прежняго. Помните же! и пусть онъ этого во вѣкъ не забываетъ! Вы до сихъ поръ прекрасно исполняли свою роль; но вамъ осталось еще много-много впереди. Вы убѣдитесь, что судьба привела васъ въ нашу семью не для того, чтобы разыгрывать пріятно-свѣтскую роль графини.

— Я въ силахъ справиться съ моею ролью.

— Я самъ такъ думаю!.. Ну, а пока у меня впереди на цѣлый часъ работы. Я не отпущу васъ отъ себя, пока не кончу. Вы—существо, сильное духомъ, но вы, все-таки, женщина; я васъ не выпущу отсюда, пока не кончу.

— Я и сама хочу остаться съ вами.

— Благодарю васъ. Сядьте!

Онъ придвинулъ ей стулъ, а самъ продолжалъ писать.

Ли знала сама, что, оставя его, она цѣлый часъ шагала бы тревожно въ корридорѣ, но тутъ, подлѣ него, она чувствовала себя сравнительно спокойнѣе. Хотя ей и внушала мать, что она должна простить отцу его необдуманное самоубійство, но теперь, когда всѣ впечатлѣнія дѣтства улеглись, она благоразумно отказывалась вмѣшиваться въ тѣ дѣла, которыя ея не касались; она даже не разсуждала о дѣлахъ лорда Барнстэпла, хоть они относились отчасти и къ ней самой. Съ ея точки зрѣнія, оди-

наково дерзко было бы выражать ему какъ свое одобреніе, такъ и осужденіе.

Изъ окна ей были видны лѣса и луговины ея новой родины. Когда-то она гордилась тѣмъ, что Калифорнія—прекрасная страна; но теперь она начинала чувствовать, что съ теченіемъ времени все англійское ей будетъ становиться ближе и понятнѣе. Въ глубинѣ души у нея были зародыши родовой гордости, свойственной Маундреламъ, и она теперь считала это вполнѣ естественнымъ, потому что была *единою* съ мужемъ. Не останавливаясь на только-что пережитыхъ впечатлѣніяхъ, Ли даже не задавала себѣ вопроса, почему она такъ измѣнилась; она чувствовала только, что послѣдніе три года дали ей то, чего не дали двадцать-одинъ годъ жизни *до* ея замужества. Она рѣшительно убѣдилась, что ея новая обстановка такъ же хорошо сольется съ нею, какъ еслибы она, Ли, всегда была англичанкой:—любовь поддержала ее въ тѣ минуты, когда ей больше ничего не нужно было, кромѣ счастья Сесиля.

Сесиль, которому теперь она была еще нужнѣе, овладѣлъ всею ея душою; всѣ ея мысли стремились къ нему, къ той башнѣ, гдѣ онъ теперь сидитъ и такъ же, какъ отецъ, склонился надъ своей конторкой... Ли знала, что мужъ всегда работаетъ съ нервнымъ увлеченіемъ. Ужасно было думать, что онъ тамъ сидитъ — такъ близко!—и не подозрѣваетъ о той ужасной драмѣ, которая можетъ здѣсь разыграться и задѣть его глубоко. Ли была рада продлить эту неизвѣстность какъ можно дольше. Конечно, не она пойдетъ и ему скажетъ...

Лордъ Барнстэплъ положилъ перо и запечаталъ письма; затѣмъ онъ всталъ.

— Прощайте!—вдругъ проговорилъ онъ. Они пожали другъ другу руки и разстались молча. Ли вышла вонъ; онъ затворилъ за нею дверь. Ли остановилась за порогомъ, выжидая. Не могла же она принести сыну извѣстіе о его смерти, покуда еще есть сомнѣніе.

Ждать приходилось долго, долго... Ли начинала думать, что у него не хватаетъ духу или, быть можетъ, онъ молится передъ портретомъ своей первой, своей единственной жены... Но вотъ глухой ударъ... Все кончено!

Быстро бросилась молодая женщина корридоромъ, по направленію къ башнѣ, но черезъ минуту вернулась обратно и вошла въ библіотеку.

Рандольфъ имѣлъ обыкновеніе заходить туда читать передъ сномъ. Годы могли пройти, прежде чѣмъ имъ удастся повидаться, а на слѣдующее утро всѣ гости уѣдутъ—и онъ тоже. Завтра *все* и всѣмъ будетъ извѣстно!

Рандольфъ былъ въ библіотекѣ одинъ. Свѣтлой улыбкой привѣтствовалъ онъ своего друга дѣтства, но тотчасъ же остановился и пристально посмотрѣлъ на Ли.

— Чтò случилось? У васъ такой видъ, какъ будто вы только-что возвратились съ того свѣта.

— Вы почти угадали: лордъ Барнстэплъ застрѣлился; онъ узналъ то, чтò, надѣюсь, никогда не дойдетъ до васъ. Онъ кончилъ съ собою, и вы завтра же уѣзжайте отсюда.—Они стояли близко другъ подлѣ друга.

— А вы остаетесь? Вы не вернетесь съ нами въ Калифорнію?

— Я никогда и ни на минуту больше не оставлю Сесиля одного! — Долгимъ взглядомъ обмѣнялись они и безъ словъ поняли другъ друга. Ли опустила глаза. Молчаніе было слишкомъ тяжело, и она опять подняла взглядъ на Рандольфа. Онъ смотрѣлъ такъ, какъ будто видитъ ее въ послѣдній разъ. Сегодня ей вторично приходилось въ глазахъ читать тяжелыя мысли. Силы ей измѣняли; она чувствовала, что холодѣетъ при мысли, чтò ей суждено прочесть въ глубинѣ души ея мужа.

Ничего не найдя сказать Рандольфу въ утѣшеніе, Ли оглянулась вокругъ и снова подняла на него глаза съ выраженіемъ мольбы и убѣдительнаго желанія его утѣшить.

— Правда ли, будто лэди Барнстэплъ разорена, будто у нея не осталось ни одного пенни?—спросилъ Рандольфъ, желая прервать тяжелое затишье.

Опять молчаніе.

— Я никогда еще не измѣнялъ своему слову,—снова заговорилъ Рандольфъ.

Ли подарила его взглядомъ, полнымъ благодарности и еще разъ пришлось ей искренно пожать руку человѣку, котораго жизнь обманула. Она спустилась внизъ и, проходя мимо двери лорда Барнстэпла, убѣдилась, что тамъ еще не было и признака того, что знаютъ о случившемся...

Изъ оконъ крайняго корридора Ли замѣтила съ особой ясностью очертаніе часовни и кладбища на холмѣ. Она остановилась и суевѣрнымъ взглядомъ уставилась въ этотъ отдаленный пунктъ прекраснаго помѣстья. Черезъ недѣлю туда повезутъ лорда Барнстэпла, и тамъ онъ водворится на вѣчный покой подъ сводомъ алтаря. Мысль ея невольно обратилась къ будущему про-

должателю рода, котораго она все еще не могла дождаться. Ей хотѣлось теперь отвѣтить на вопросъ: суждено ли ей когда-нибудь произвести на свѣтъ дитя, которому судьба, въ свою очередь, судитъ также успокоится въ этой часовнѣ вѣчнымъ сномъ? Ли нахмурилась и тотчасъ же упрекнула себя въ малодушіи за то, что поддалась глупому суевѣрію. Но ея упорный взглядъ не могъ оторваться отъ холма; ей чудились призраки всѣхъ тѣхъ, чьи кости лежали подъ землей „Аббатства", и вдругъ она замѣтила, что сердце ея холодѣетъ: „Аббатство", все-таки, досталось во владѣніе Маундреловъ; вѣдь не умеръ же мужъ ея прежде, чѣмъ отецъ? Два года тому назадъ, она, не задумываясь, отогнала бы отъ себя призраки суевѣрія, но сегодня средневѣковой міръ и его вѣрованія запечатлѣлись у нея въ мозгу, и... ей стало страшно. Можетъ быть, Пиксъ... или его молчаливая сестра...

Ли побѣжала къ башнѣ, все время думая только о томъ, какъ бы сдержать свои нервы.

Если Сесиль тамъ, ей придется вооружиться всѣми силами души. Но Ли прежде всего была женщина,—и женщина напуганная, истомленная долгими часами нервнаго напряженія...

Когда она добралась до лѣстницы, колѣни ея дрожали, и она взбиралась наверхъ такъ медленно, что, кажется, была готова позвать къ себѣ на помощь мужа... Она жалѣла, что не просила мужа перейти работать къ ней въ будуаръ: открытая дверь будуара зіяла черной пропастью, какъ дверь пещеры или погреба.

Но Сесиль наверху, у себя въ комнатѣ.

Ли съ трудомъ добралась до верхней площадки, и только тогда почувствовала, что необходимость быть мужественной нѣсколько оживляетъ ее. Всѣ сильныя натуры чувствуютъ приливъ мужества именно въ самыя тяжелыя, самыя рѣшительныя минуты жизни.

Вотъ, за угломъ корридора, сверкнула узкая полоска свѣта; но за тяжелой дверью не было ни звука... Когда Ли поровнялась съ нею, суевѣрный страхъ совсѣмъ оставилъ ее, и... рѣшительнымъ движеніемъ она быстро распахнула дверь.

Сесиль спокойно сидѣлъ за конторкой и съ увлеченіемъ работалъ, не зная ничего о жестокой судьбѣ своего отца...

А. Б—г—.



СФИНКСЪ

Песками желтыми, какъ ризой золотой,
Покрытый, спитъ въ степи глухой
Востока древній сфинксъ. Какъ тусклый лучъ заката,
Погасли алтари въ кумирняхъ, гдѣ когда-то
На стражѣ онъ стоялъ предъ чуткою толпой;
И свѣтлый геній думъ свободныхъ
Давно не ждетъ, какъ отъ посла боговъ,
Загадокъ роковыхъ изъ устъ его холодныхъ
И силы творческой—отъ каменныхъ сосцовъ...

Глубокимъ сномъ уснулъ кумиръ пустыни знойной,
Развѣнчанъ и забытъ... И видитъ онъ во снѣ:
Въ далекомъ царствѣ зимъ, въ пурпуровомъ огнѣ
Сіяній сѣверныхъ надъ мертвенно-спокойной
Равниною снѣговъ, двойникъ его встаетъ.
Та жъ грудь гранитная и станъ волнисто-гибкій,
И ограненныя загадочной улыбкой
Безмолвныя уста...
Кого жъ онъ стережетъ
Въ пустыняхъ Сѣвера? Боговъ ли древней саги,
Героевъ рунъ сѣдыхъ, чьи саркофаги
Заткала изморозь и ковалъ, какъ сталь,
Утесовъ ледяныхъ сверкающій хрусталь?
Или Снѣгурочки младенческіе годы
Лелѣетъ онъ въ тиши кристалловыхъ палатъ,
Гдѣ въ изумрудномъ отблескѣ лампадъ
Мелькаютъ нимфъ и эльфовъ хороводы

Отъ скалъ на скалы синихъ льдовъ
По аркамъ радужныхъ мостовъ?..
Гробницу ли давно исчезнувшаго міра
Оплакиваетъ бѣлая мятель?
Грядущихъ ли временъ героя и кумира
Качаетъ золотую колыбель?

Востокъ, увѣнчанный божественною силой,
И Югъ, отчизна пѣсни милой,
И Западъ, знанья гордый храмъ,—
Безсмертья озаренные лучами,—
Три тайны вѣчности поставили предъ нами,
Три дивныя разгадки дали намъ...
Какую же загадку роковую
Нѣмого Сѣвера суровый стражъ таитъ?
И не о ней ли намъ зимою, въ ночь глухую,
Мятелица, рыдая, говоритъ,
И пишетъ легкими, какъ грёза,
Значками въ серебристой полумглѣ
Рука сѣдого старика-Мороза
На затканномъ причудливо стеклѣ?..

С. Фругъ.

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюня 1900.

Опубликованіе работъ коммиссіи, пересматривавшей законоположенія по судебной части.—Единство правосудія, какъ одно изъ условій нормальнаго судебнаго строя.—Устройство мѣстной юстиціи.—Проектируемыя перемѣны въ организаціи слѣдственной части.—Почетные судьи.

Законченные, годъ тому назадъ, труды коммиссіи по пересмотру законоположеній о судебной части получаютъ, въ настоящее время, такую широкую гласность, какая у насъ рѣдко достается на долю законопроектовъ, даже самыхъ важныхъ, наиболѣе интересующихъ общество. Оглашеніе текста судебныхъ уставовъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ вышелъ изъ рукъ коммиссіи, было предрѣшено еще при самомъ закрытіи коммиссіи (въ маѣ 1899 г.); затѣмъ, 26 января 1900-го года, состоялось Высочайшее повелѣніе, предоставившее министру юстиціи выпустить въ продажу нѣкоторое количество экземпляровъ объяснительныхъ записокъ къ проектамъ. Эти записки, обнимающія собою 16-ть большихъ томовъ, даютъ полное представленіе не только о мотивахъ, руководившихъ большинствомъ коммиссіи, но и о возраженіяхъ, встрѣченныхъ ими со стороны меньшинства. Богатый матеріалъ, заключающійся въ запискахъ, значительно облегчаетъ оцѣнку тѣхъ измѣненій и дополненій, которыя коммиссія предполагаетъ внести въ Судебные Уставы 20 ноября 1864 г.

Говоря о различныхъ стадіяхъ работъ коммиссіи, по мѣрѣ того, какъ онѣ доходили до всеобщаго свѣдѣнія, мы указывали неоднократно на громадную важность вопроса, съ которымъ коммиссіи неизбѣжно предстояло встрѣтиться уже при самомъ приступѣ къ дѣлу,—вопроса о томъ, въ какое отношеніе она должна стать къ судебно-административнымъ учрежденіямъ, созданнымъ 12 іюля 1889 г. [1]). Изъ самаго на-

[1]) См. Внутр. Обозрѣніе въ №№ 7 и 10 „Вѣстн. Европы“ за 1894 г.; № 4 за 1896 г.; № 1 за 1897 г., и № 10 за 1898 г.

именованія задачи коммиссіи (пересмотръ *законоположеній по судебной части*, а не однихъ только *судебныхъ уставовъ*), изъ вступительной рѣчи министра юстиціи, изъ образованія въ составѣ коммиссіи особаго отдѣла „мѣстныхъ судебныхъ учрежденій“ мы выводили заключеніе, что она коснется судебной власти земскихъ начальниковъ, не стѣсняясь такъ называемыми „вѣдомственными“ соображеніями, какъ не стѣснялось ими, въ восьмидесятыхъ годахъ, министерство внутреннихъ дѣлъ, проектируя соединеніе въ рукахъ земскаго начальника судебныхъ и административныхъ функцій. Что назначеніе коммиссіи понималось, первоначально, именно въ широкомъ смыслѣ—это мы узнаемъ теперь съ достовѣрностью изъ всеподданнѣйшаго доклада, вызвавшаго ея открытіе и напечатаннаго въ т. I-мъ объяснительной записки къ учрежденію судебныхъ установленій. „Надлежало бы“—читаемъ мы здѣсь — „подвергнуть пересмотру самое распредѣленіе мѣстныхъ судебныхъ дѣлъ между учрежденіями обоихъ вѣдомствъ (т.-е. министерствъ юстиціи и внутреннихъ дѣлъ), съ тѣмъ, чтобы сохранить въ неприкосновенности начало подсудности органамъ министерства внутреннихъ дѣлъ всѣхъ дѣлъ, затрогивающихъ ближайшіе интересы и надобности сельскаго населенія, и въ то же время облегчить этимъ властямъ возможность исполнять ихъ многосложныя административныя обязанности *безъ отвлеченія ихъ, какъ нынѣ, такими чисто судебными и не относящимися до сельскаго быта задачами, которыя могли бы быть возложены на органы вѣдомства судебнаго*“. Предполагалось, такимъ образомъ, ограничить судебную компетенцію земскихъ начальниковъ, изъять изъ ихъ вѣдѣнія болѣе или менѣе значительную часть судебныхъ дѣлъ. Еще дальше, очевидно, шли ожиданія въ средѣ коммиссіи. „Въ началѣ работъ коммиссіи“—говоритъ, въ особомъ мнѣніи по вопросу объ устройствѣ мѣстной юстиціи, сенаторъ В. А. Желеховскій—„многіе изъ ея членовъ, въ томъ числѣ и я, полагали, что возстановленіе начала отдѣленія властей судебной и административной составитъ одну изъ важнѣйшихъ задачъ коммиссіи—и что труды ея будутъ имѣть послѣдствіемъ всѣми давно ожидаемое упраздненіе судебныхъ функцій земскихъ начальниковъ и возвращеніе судебнымъ установленіямъ исключительнаго права вѣдать судебныя дѣла“. И въ самомъ дѣлѣ, только этимъ путемъ могло бы быть достигнуто объединеніе судебныхъ учрежденій, равносильное единству правосудія, одинаковости и однородности его для всѣхъ классовъ населенія, для всѣхъ отраслей народной жизни. Въ томъ же всеподданнѣйшемъ докладѣ, на который мы уже ссылались, признается „неизбѣжность, до извѣстной степени, различія взглядовъ на свое назначеніе между чинами администраціи, исполняющими судебныя функціи, съ одной стороны, и профессіональными судьями—съ другой. Призванный къ упо-

рядоченію сельской жизни и устраненію различныхъ золъ, развившихся въ сельскомъ быту, земскій начальникъ естественно стремится осуществить эту благую задачу всѣми находящимися въ его распоряженіи мѣрами административнаго и судебнаго воздѣйствія, не останавливаясь иногда предъ требованіями формальной легальности". Все это сказано въ докладѣ только для того, чтобы объяснить столкновенія, возникающія, въ уѣздныхъ съѣздахъ, между представителями суда и администраціи, и доказать нежелательность совмѣстнаго ихъ участія въ одномъ и томъ же учрежденіи. Значеніе приведенныхъ нами словъ не исчерпывается, однако, ихъ непосредственною цѣлью: оно гораздо шире и глубже. Кто, въ силу своего призванія, не считаетъ для себя обязательными *требованія формальной легальности*, тотъ несомнѣнно лишенъ одного изъ главныхъ качествъ, необходимыхъ для судьи. Само собою разумѣется, что соблюденіе формальной легальности — не последнее слово, не высшая задача судейской дѣятельности; но это— рамка, въ предѣлахъ которой должна быть раскрыта и установлена жизненная правда, это—гарантія противъ произвола, безусловно неумѣстнаго въ области суда. Правосудіе можетъ и должно быть только одно; одинаковы должны быть и его пріемы. Это сознаетъ и коммиссія, когда говоритъ о различныхъ видахъ организаціи суда, существующихъ, въ настоящее время, въ границахъ самого судебнаго вѣдомства. „Въ сознаніи населенія"—читаемъ мы въ первой части объяснительной записки къ проекту новой редакціи учрежденія судебныхъ установленій (стр. 13)—„только одинъ порядокъ суда можетъ представляться дѣйствительно правильнымъ и вполнѣ отвѣчающимъ высокому призванію судебной власти. При существующемъ въ настоящее время многообразіи формъ судебной дѣятельности, нѣкоторыя изъ нихъ неизбѣжно должны связываться для обывателей съ представленіемъ объ отступленіяхъ отъ истинныхъ требованій правосудія. Такое отношеніе населенія къ органамъ судебной власти отнюдь не можетъ быть благопріятнымъ для успѣшнаго выполненія ею задачи нравственнаго умиротворенія общества и удовлетворенія присущей ему потребности въ правдѣ". Само собою разумѣется, что сказанное здѣсь о разныхъ порядкахъ суда примѣнимо съ особенною силой къ различію между организаціями чисто судебной и судебно-административной... Между кѣмъ бы и о чемъ бы ни шелъ гражданскій споръ, онъ подлежитъ разрѣшенію по даннымъ, заключающимся въ немъ самомъ, а не подъ вліяніемъ постороннихъ соображеній, и на основаніи закона, а не субъективнаго „усмотрѣнія". Кто бы и въ чемъ бы ни обвинялся, онъ можетъ быть осужденъ только за дѣяніе, запрещенное подъ страхомъ наказанія, и только потому, что онъ это дѣяніе дѣйствительно совершилъ, а не потому, что признается полезнымъ навести страхъ на его одно-

сельцевъ или сосѣдей. Къ общему упорядоченію быта, къ общему улучшенію его условій можетъ и долженъ стремиться законодатель, въ извѣстной мѣрѣ — и администраторъ, но отнюдь не судья, имѣющій дѣло съ отдѣльными, конкретными случаями. Въ этомъ коренится, между прочимъ, принципъ отдѣленія суда отъ администраціи, не даромъ относимый къ числу главнѣйшихъ устоевъ правового государства. Болѣе чѣмъ когда-либо намъ кажется несомнѣннымъ, что достигнуть цѣли, т.-е. обезпечить Россіи дѣйствительно правый судъ, судебная реформа можетъ только при распространеніи ея на *всѣ* судебныя дѣла, важныя и маловажныя. *Маловажныхъ* дѣлъ, въ сущности, нѣтъ вовсе; есть только дѣла *малоцѣнныя*—въ области гражданскаго суда, и дѣла о *легко наказуемыхъ* нарушеніяхъ или проступкахъ — въ области суда уголовнаго. Для тѣхъ и другихъ можетъ существовать особая инстанція, особый, упрощенный порядокъ производства; но эта инстанція должна быть *судебная* по своему составу и положенію въ общемъ государственномъ строѣ, этотъ порядокъ долженъ быть *судебный* по своему характеру и свойству.

Когда открывалась коммиссія, предположеніе о сокращеніи судебной компетенціи земскихъ начальниковъ шло рука объ руку съ предположеніемъ о прекращеніи участія судебныхъ чиновъ въ уѣздныхъ съѣздахъ и губернскихъ присутствіяхъ, т.-е. объ обращеніи этихъ учрежденій въ чисто административныя по своему составу (но не по функціямъ: въ вѣдѣніи земскихъ начальниковъ, какъ уже сказано выше, имѣлось въ виду оставить всѣ судебныя дѣла, затрогивающія ближайшіе интересы и надобности сельскаго населенія). При дальнѣйшемъ ходѣ работъ, второе изъ этихъ предположеній потерпѣло ту же участь, какъ и первое. Особое совѣщаніе, въ которомъ участвовали министръ юстиціи, министръ внутреннихъ дѣлъ и высшіе чины подчиненныхъ имъ центральныхъ управленій, нашло, 29 марта 1897 г., что въ мѣстностяхъ, гдѣ введены законоположенія 12 іюля 1889 г., необходимо сохранить какъ должность уѣзднаго члена окружного суда, въ видахъ обезпеченія правильнаго отправленія правосудія въ уѣздномъ съѣздѣ, такъ и участіе въ этомъ съѣздѣ почетныхъ судей. Такое разрѣшеніе вопроса—пока существуютъ судебно-административныя учрежденія—представляется, съ нашей точки зрѣнія, сравнительно правильнымъ. Мы много разъ указывали на то, что совершенное устраненіе судебныхъ чиновъ изъ состава инстанцій, стоящихъ надъ земскими начальниками, могло бы имѣть крайне вредныя послѣдствія, уничтоживъ единственную сдержку произвола, единственную (хотя и весьма недостаточную) связь между міромъ „усмотрѣнія“ и міромъ закона. Повторяемъ сказанное нами въ предыдущемъ обозрѣніи: всецѣло предоставленные самимъ себѣ, съѣзды земскихъ начальниковъ скорѣе, быть

можетъ, дошли бы до того пункта, дальше котораго идти нельзя, скорѣе обнаружилась бы необходимость возвращенія къ основнымъ началамъ судебныхъ уставовъ—но до наступленія этого момента слишкомъ многимъ пришлось бы перенести слишкомъ многое. Исходя изъ той же точки зрѣнія, мы сочувствуемъ и удержанію въ составѣ уѣзднаго съѣзда почетныхъ судей; но мы увидимъ ниже, что *почетные судьи*, проектируемые коммиссіею, существенно отличаются отъ нынѣшнихъ *почетныхъ мировыхъ судей*, и это различіе значительно уменьшаетъ ихъ цѣнность для правосудія, все равно, кѣмъ бы оно ни отправлялось—уѣзднымъ ли съѣздомъ, или уѣзднымъ отдѣленіемъ окружного суда. Судебный элементъ въ составѣ уѣзднаго съѣзда ослабляется, далѣе, исключеніемъ изъ него городскихъ судей [1]); въ настоящее время въ судебномъ присутствіи уѣзднаго съѣзда участвують, по меньшей мѣрѣ, два представителя судебнаго вѣдомства—уѣздный членъ окружного суда и городской судья,—а въ случаѣ осуществленія предположеній коммиссіи будетъ участвовать только одинъ. Вотъ почему мы склоняемся на сторону тѣхъ членовъ коммиссіи (А. Ѳ. Кони и И. П. Закревскаго), которые находили, что въ мѣстностяхъ, гдѣ введены земскіе начальники, слѣдовало бы оставить безъ измѣненія существующее нынѣ судебное устройство.

Сохраненіе во всемъ объемѣ судебной власти земскихъ начальниковъ не могло не отразиться на всемъ устройствѣ мѣстной юстиціи, проектируемомъ коммиссіею. Еслибы участковымъ судьямъ, которыхъ коммиссія ставитъ на первую ступень чисто судебной іерархіи, могли быть ввѣрены всѣ такъ называемыя маловажныя судебныя дѣла (включая сюда и разборъ жалобъ на рѣшенія волостныхъ судовъ), кругъ вѣдомства ихъ былъ бы такъ обширенъ, что не требовалъ бы никакого искусственнаго распространенія. Совершенно инымъ является положеніе вопроса теперь, когда рѣшено оставить неприкосновенной юрисдикцію земскихъ начальниковъ. Ограничить сферу дѣйствій участковыхъ судей тѣми предѣлами, которые были установлены для мировыхъ судей, значило бы, во многихъ мѣстностяхъ, либо довести число подвѣдомственныхъ имъ дѣлъ до такой минимальной цифры, которая не оправдывала бы ихъ существованіе, либо отдалить ихъ отъ населенія, т.-е. отказаться отъ одной изъ главныхъ задачъ преобразованія.

Чтобы избѣгнуть того и другого, коммиссія, прежде всего, раздвигаетъ границы гражданской и уголовной подсудности участковыхъ судей, относя къ ихъ вѣдомству: 1) гражданскіе иски до суммы 1.000 руб., независимо отъ того, идетъ ли рѣчь о движимости или

---

[1]) Нынѣ существующихъ городскихъ судей предполагается слить съ проектируемыми коммиссіею участковыми судьями.

о недвижимости, и 2) за немногими исключеніями, уголовныя дѣла о преступныхъ дѣяніяхъ, не влекущихъ за собою ни лишенія, ни ограниченія правъ состоянія. Серьезныхъ неудобствъ такое расширеніе подсудности, по крайней мѣрѣ въ области гражданскаго процесса, не представляетъ; но коммиссія идетъ еще дальше и возлагаетъ на участковыхъ судей производство значительной части предварительныхъ слѣдствій, уменьшая, въ то же время, кругъ дѣлъ, по которымъ вообще обязательно слѣдствіе. Планъ коммиссіи, въ главныхъ чертахъ, заключается въ слѣдующемъ: округъ каждаго окружного суда раздѣляется, по числу положенныхъ въ немъ участковыхъ судей, на судебные, судебно-слѣдственные и слѣдственные участки. Судебные и слѣдственные участки—т.-е. участки, въ которыхъ участковый судья завѣдуетъ исключительно дѣлами одной категоріи (судебными или слѣдственными по принадлежности),—учреждаются только тамъ, гдѣ количество возникающихъ слѣдствій требуетъ сосредоточенія ихъ въ рукахъ особаго должностного лица; во всѣхъ остальныхъ мѣстностяхъ открываются участки *судебно-слѣдственные*, т.-е. участковый судья является въ одно и то же время и судьею, и слѣдователемъ. Производство обширныхъ и сложныхъ слѣдствій возлагается на членовъ окружного суда, призываемыхъ къ тому, на опредѣленный срокъ, министромъ юстиціи. Производство предварительнаго слѣдствія обязательно по дѣламъ: 1) о преступленіяхъ, влекущихъ за собою лишеніе всѣхъ правъ состоянія; 2) о причиненіи смерти и умышленномъ нанесеніи тяжкихъ тѣлесныхъ поврежденій, и 3) о нѣкоторыхъ другихъ преступныхъ дѣяніяхъ, перечисленныхъ въ проектѣ уголовнаго судопроизводства. По всѣмъ остальнымъ дѣламъ предварительное слѣдствіе производится лишь тогда, когда это признаетъ необходимымъ участковый судья, прокурорскій надзоръ или обвинительная камера; въ противномъ случаѣ, все ограничивается дознаніемъ, которое проектъ оставляетъ въ рукахъ полиціи, подъ наблюденіемъ и руководствомъ прокурора или его товарища. Полицейскими чинами, уполномоченными на производство дознанія, признаются: безусловно— исправники, полиціймейстеры, становые, полицейскіе и участковые пристава и помощники всѣхъ этихъ должностныхъ лицъ, а подъ условіемъ выдержанія особаго испытанія—околоточные надзиратели и полицейскіе урядники. Испытаніе производится коммиссіей, состоящей, подъ предсѣдательствомъ уѣзднаго (или городского) члена окружного суда, изъ исправника (или полиціймейстера) и товарища прокурора, а порядокъ испытанія опредѣляется правилами, издаваемыми министромъ внутреннихъ дѣлъ по соглашенію съ министромъ юстиціи. Болѣе чѣмъ сомнительной кажется намъ, прежде всего, цѣлесообразность ограниченія круга дѣлъ, по которымъ должно быть произведено предвари-

тельное слѣдствіе. По дѣйствующему уставу оно обязательно по всѣмъ дѣламъ, влекущимъ за собою лишеніе всѣхъ правъ состоянія или лишеніе всѣхъ особыхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и преимуществъ. Этотъ порядокъ имѣетъ на своей сторонѣ достоинство опредѣленности и логичности: единственнымъ критеріемъ, отъ котораго зависитъ производство или непроизводство (т.-е. *возможность* непроизводства) слѣдствія, признается тяжесть наказанія, опредѣленнаго закономъ за преступное дѣяніе. Проектъ ставитъ на его мѣсто перечень дѣяній, произвольно выбранныхъ изъ массы другихъ, аналогичныхъ по своему значенію и важности. Такъ напримѣръ, совращеніе изъ православнаго въ иное христіанское вѣроисповѣданіе (Улож. о наказ., ст. 187 ч. 1) проектъ относитъ къ числу дѣяній, требующихъ предварительнаго слѣдствія, а повторенную въ третій разъ, въ формѣ проповѣди или сочиненія, попытку совращенія православныхъ въ иное вѣроисповѣданіе—не относитъ, хотя въ обоихъ случаяхъ законъ грозитъ виновному лишеніемъ всѣхъ особыхъ правъ и преимуществъ. Изъ двухъ совершенно сходныхъ и одинаково наказуемыхъ видовъ святотатства, предусмотрѣнныхъ статьею 225 ч. 3 и ст. 226 ч. 2 Улож. о наказ., первый причисляется проектомъ къ числу дѣяній, относительно которыхъ обязательно слѣдствіе, второй—не причисляется. Столь же произвольно проведена демаркаціонная черта и во многихъ другихъ случаяхъ (ср., напр., ст. 266 и 269, 560 и 565 Улож. о наказ.). Цѣль—ограниченіе числа слѣдствій—признавалась, очевидно, настолько важной, что правильность средствъ къ ея достиженію отступала на второй планъ. Тѣмъ же стремленіемъ внушена, по всей вѣроятности, та статья проекта устава уголовнаго судопроизводства, по которой судья, признавъ произведенные полиціею при дознаніи осмотры, освидѣтельствованія, допросы или иныя дѣйствія не требующими повѣрки, составляетъ о семъ особое опредѣленіе—другими словами, прямо ставитъ дознаніе на мѣсто слѣдствія, хотя бы послѣднее, по роду преступнаго дѣянія, и признавалось, вообще говоря, обязательнымъ. Какое значеніе будетъ имѣть на практикѣ столь широкое распространеніе полицейскаго дознанія—къ этому вопросу мы еще возвратимся, когда будемъ говорить спеціально о слѣдственной части; теперь для насъ достаточно указать, что никакими испытаніями нельзя обезпечить способность полицейскихъ урядниковъ или околоточныхъ надзирателей къ производству дознаній, равносильныхъ слѣдствію. Не можетъ быть предполагаема такая способность, въ видѣ общаго правила, и въ тѣхъ полицейскихъ чинахъ, которымъ производство дознаній ввѣряется безъ всякаго предварительнаго испытанія. Никто изъ полицейскихъ чиновъ не подчиненъ, притомъ, судебной власти; нѣтъ никакого ручательства въ томъ,

что производители дознаній будутъ солидарны съ производителями слѣдствій. До извѣстной степени дознаніе могло бы замѣнить слѣдствіе, безъ вреда для правосудія, лишь тогда, еслибы у насъ существовала такъ называемая судебная полиція, облеченная исключительно слѣдственными фукціями, спеціально подготовленная къ ихъ исполненію и входящая въ составъ судебнаго вѣдомства; но ея нѣтъ, и ея устройство коммиссіей не проектируется. При настоящемъ положеніи дѣла замѣна слѣдствія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, дознаніемъ является несомнѣннымъ шагомъ назадъ, къ до-реформеннымъ порядкамъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ доказательствомъ тому, какъ трудно создать правильную схему судоустройства при существованіи широкой судебной власти земскихъ начальниковъ. Пока въ ихъ рукахъ сосредоточивается значительно бóльшая часть мелкихъ судебныхъ дѣлъ, участковый судья, въ сельскихъ мѣстностяхъ, сплошь и рядомъ оставался бы безъ занятій, еслибы былъ только судьею, и ничѣмъ больше; отсюда—возложеніе на участковаго судью обязанностей слѣдователя. Съ другой стороны, ввѣрить ему эти обязанности въ той мѣрѣ, въ какой онѣ лежатъ теперь на судебномъ слѣдователѣ (съ передачей члену окружного суда лишь слѣдствій по дѣламъ особенно сложнымъ и труднымъ), значило бы до крайности затруднить отправленіе участковымъ судьею судебныхъ функцій; отсюда—уменьшеніе числа случаевъ, въ которыхъ обязательно производство предварительнаго слѣдствія.

Такова незамѣтная съ перваго взгляда, но несомнѣнная связь между проектомъ коммиссіи и дѣйствующей системой судебно-административныхъ учрежденій. Одно отступленіе отъ нормы неизбѣжно влечетъ за собою цѣлый рядъ другихъ. „Область суда"—говорили мы еще одиннадцать лѣтъ тому назадъ—„имѣетъ свои естественныя границы, съ нарушеніемъ которыхъ рѣшительно несовмѣстна стройность цѣлаго. Судъ на мѣстѣ необходимъ, но правильная организація его немыслима безъ извѣстной полноты функцій. Изъять изъ его вѣдѣнія бóльшую часть судебныхъ дѣлъ и все-таки сохранить за нимъ жизнеспособность—это задача едва ли исполнимая. Судъ вездѣ и всегда долженъ оставаться судомъ, судья — судьею; только при соблюденіи этого условія можно создать что-либо прочное въ судебной сферѣ". Исходя изъ этихъ соображеній, подтверждаемыхъ, какъ намъ кажется, всѣмъ послѣдующимъ опытомъ, мы возражали противъ появлявшейся уже тогда мысли о соединеніи въ одномъ лицѣ обязанностей судьи и слѣдователя [1]). „Слѣдователь"—писали мы въ 1889 г.—„долженъ быть въ постоянныхъ разъѣздахъ, продолжительность которыхъ отъ него совершенно не зависитъ; судья долженъ быть постоянно на мѣстѣ, за исключе-

---

[1]) См. „Внутр. Обозрѣнія" въ №№ 6 и 7 „Вѣстника Европы" за 1889 годъ.

ніемъ дней, заранѣе назначенныхъ для съѣзда [1]) или для разбора дѣлъ въ томъ или другомъ отдаленномъ пунктѣ участка. Тяжущимся или подсудимымъ придется либо отыскивать слѣдователя-судью на всемъ пространствѣ обширнаго участка, либо ожидать его по цѣлымъ днямъ или недѣлямъ въ мѣстѣ обыкновеннаго его пребыванія. Назначеніе сроковъ разбора сдѣлается совершенно невозможнымъ или мнимымъ; даже возвратясь къ себѣ въ опредѣленный день, слѣдователь-судья можетъ найти у себя извѣщеніе о важномъ преступленіи, требующее немедленнаго его отъѣзда. Во многихъ случаяхъ возложеніе на слѣдователя обязанностей судьи будетъ, такимъ образомъ, равносильно отказу въ правосудіи или отсрочкѣ его на неопредѣленное время... Что̀ требуется для постановки учрежденія судебныхъ слѣдователей на ту высоту, которая соотвѣтствовала бы важности его призванія? Назначеніе на должность слѣдователя людей опытныхъ, зрѣлыхъ, готовыхъ и способныхъ посвятить себя всецѣло трудному слѣдственному дѣлу. Ни о чемъ подобномъ нельзя и думать, разъ что на слѣдователя возлагаются еще другія задачи, не имѣющія ничего общаго съ главною. Придется, по прежнему, поручать эту должность людямъ начинающимъ, молодымъ, могущимъ выносить и крайнее физическое утомленіе, и безпрестанные скачки отъ одного рода занятій къ другому. Придется, иными словами, по прежнему прибѣгать къ дилеттантамъ вмѣсто спеціалистовъ, по прежнему довольствоваться спѣшной, кое-какъ сдѣланной работой, вмѣсто систематическаго, обдуманнаго труда, какимъ должно быть предварительное слѣдствіе. Какъ ни мало удовлетворительны теперешніе слѣдователи, они, по крайней мѣрѣ, не разрываются на части, не пытаются обнять необъятное; положеніе слѣдователей-судей будетъ несравненно хуже—и это неизбѣжно должно отразиться на ихъ дѣятельности". Всѣ эти доводы, въ нашихъ глазахъ, сохраняютъ полную силу и въ настоящее время. Въ гораздо болѣе рѣзкой формѣ та же самая мысль выражена въ особомъ мнѣніи одного изъ членовъ коммиссіи (В. А. Желеховскаго). „Какимъ образомъ"—читаемъ мы здѣсь—„лица, которымъ были не по плечу однѣ слѣдовательскія обязанности, будутъ въ состояніи удовлетворительно исполнять, кромѣ таковыхъ, еще и массу другихъ? Что̀ сказали бы про владѣльца фабрики, который, желая достигнуть улучшенія фабричнаго производства, возложилъ бы на рабочихъ, оказавшихся, напримѣръ, плохими слесарями, кромѣ ихъ обычной работы, еще и выполненіе обязанностей мастеровъ, бухгалтеровъ, реви-

[1]) По проекту коммиссіи роль съѣзда, какъ апелляціонной инстанціи, принадлежитъ уѣздному (или городскому) отдѣленію окружного суда, въ которомъ засѣдаютъ, на правахъ членовъ, участковые судьи. И для нихъ, слѣдовательно, будутъ обязательны срочныя поѣздки въ городъ, гдѣ собирается присутствіе.

зоровъ и т. п., продолжая принимать на фабрику все такихъ же малоопытныхъ рабочихъ"?..

Посмотримъ теперь, какія основанія приводитъ коммиссія (т.-е. значительное ея большинство) въ пользу облеченія участковыхъ судей какъ судебными, такъ и слѣдственными функціями. Коренного различія между тѣми и другими коммиссія не видитъ: слѣдователь и судья оперируютъ надъ тѣмъ же самымъ матеріаломъ, примѣняя къ нему тотъ же методъ, тотъ же процессъ мышленія. Слѣдователь, въ сущности — тотъ же судья, только сошедшій съ своего судейскаго кресла и дѣятельно собирающій доказательства, вмѣсто того чтобы брать ихъ отъ обвиненія и защиты. Разъѣзды участковаго судьи, въ качествѣ слѣдователя, будутъ не настолько часты и продолжительны, чтобы мѣшать исполненію его судейскихъ обязанностей. Такъ какъ участковыхъ судей будетъ, приблизительно, вдвое больше, чѣмъ судебныхъ слѣдователей, то въ большинствѣ губерній, при нынѣшнихъ основаніяхъ производства предварительныхъ слѣдствій, на каждаго судью пришлось бы, среднимъ числомъ, отъ трехъ до пяти слѣдствій въ мѣсяцъ, а при проектируемомъ сокращеніи подслѣдственности—еще меньше. Совпаденіе работы въ камерѣ и выѣзда въ участокъ встрѣчалось бы рѣдко, и неудобства его устранялись бы „умѣлымъ распредѣленіемъ занятій, вызововъ, разъѣздовъ, а въ крайнемъ случаѣ — хотя бы даже неизбѣжною отсрочкою менѣе важнаго и спѣшнаго". Приближеніе слѣдователя къ населенію весьма полезно и потому, что оно способствуетъ ознакомленію его съ обществомъ, среди котораго ему приходится дѣйствовать, съ лицами, которыя предстаютъ передъ нимъ въ качествѣ обвиняемыхъ или потерпѣвшихъ, сторонъ или свидѣтелей. Сознаніе желательности такого знакомства лежитъ въ основѣ выборнаго начала, насколько оно примѣняется въ области суда; институтъ присяжныхъ засѣдателей является, до извѣстной степени, выраженіемъ той же идеи. Соединеніе судейскихъ и слѣдовательскихъ функцій существуетъ у насъ въ губ. архангельской и черноморской, въ Сибири, въ Туркестанѣ и степныхъ областяхъ. По отзыву старшаго предсѣдателя и прокурора иркутской судебной палаты, оно удобно и для населенія, и для самихъ судебныхъ дѣятелей. Къ такому же заключенію пришелъ и членъ консультаціи, ревизовавшій мировыхъ судей архангельской губерніи. „Мировые судьи"—сказано въ его отчетѣ—„заранѣе распредѣляютъ дѣла къ слушанію въ различныхъ пунктахъ своего участка, при чемъ пріурочиваютъ слѣдственныя дѣла къ судебнымъ—и наоборотъ. Населеніе свыклось съ періодическими выѣздами судьи; оно ждетъ его прибытія и обращается къ нему со всѣми своими жало-

бами... Случаевъ отсрочки разбирательства дѣлъ, въ виду необходимости приступить немедленно къ слѣдствію, почти не бываетъ. Изъ числа 11 обревизованныхъ судей, большинство которыхъ исполняло обязанности судьи въ архангельской губ. по 7—9 лѣтъ, только у двоихъ были подобные случаи: у одного—два въ теченіе семи лѣтъ, у другого — одинъ въ теченіе двухъ слишкомъ лѣтъ... Судебныя засѣданія назначаются не ежедневно, а съ промежутками, на случай неотложнаго выѣзда. Число дѣлъ, назначаемыхъ въ засѣданіе, незначительно, такъ что судья имѣетъ возможность почти всегда выѣхать въ тотъ же день, не откладывая разбирательства". Опытъ Сибири и архангельской губерніи коммиссія признаетъ особенно поучительнымъ, такъ какъ именно въ этихъ пустынныхъ и малокультурныхъ мѣстностяхъ всего труднѣе было ожидать хорошихъ результатовъ отъ соединенія функцій судьи и слѣдователя. Коммиссія не отрицаетъ ненормальность порядка, при которомъ карьера большинства служащихъ по судебному вѣдомству начинается съ исполненія обязанностей слѣдователя; она признаетъ желательнымъ возвышеніе должности судебнаго слѣдователя, но не считаетъ возможнымъ достигнуть въ этомъ отношеніи какихъ-либо значительныхъ результатовъ. Интересы населенія требуютъ близости къ нему слѣдственной власти, т.-е. нахожденія ея органовъ въ предѣлахъ уѣзда. Между тѣмъ, при тяжелыхъ условіяхъ и лишеніяхъ, которыми обставлена у насъ жизнь въ большинствѣ уѣздныхъ мѣстностей, іерархія должностей по судебному вѣдомству неизбѣжно должна начинаться именно съ должностей уѣздныхъ; другими словами, на должность судебнаго слѣдователя, хотя бы она и не была соединена съ судейскими функціями, все-таки приходилось бы назначать людей молодыхъ и сравнительно неопытныхъ, какъ это дѣлается и въ настоящее время.

Что функціи судьи соприкасаются во многомъ съ функціями слѣдователя—это безспорно; но различіе между ними, подчеркиваемое самою коммиссіею, представляется, тѣмъ не менѣе, существеннымъ и важнымъ. „Сойдя съ судейскаго кресла", судебный дѣятель мѣняетъ не только свое положеніе, но, въ значительной степени, и свои пріемы. „Дѣятельно собирать доказательства"—далеко не то же самое, что „брать ихъ отъ обвиненія и защиты". Конечно, слѣдователь *долженъ* обращать одинаковое вниманіе на всѣ стороны дѣла, на обстоятельства, говорящія въ пользу обвиняемаго, наравнѣ съ обстоятельствами, его уличающими; но на практикѣ такая абсолютная объективность—явленіе крайне рѣдкое. Въ большинствѣ случаевъ слѣдователь весьма скоро приходитъ къ болѣе или менѣе опредѣленному представленію о томъ, кѣмъ и какъ совершено преступное дѣяніе—и это представленіе становится, иногда незамѣтно для него самого, ру-

ководящимъ стимуломъ его дѣйствій. Привычка исходить изъ предвзятой мысли, пріобрѣтенная при производствѣ слѣдствій, будетъ отражаться, сплошь и рядомъ, и на судейскихъ функціяхъ, если ихъ придется исполнять параллельно съ слѣдственными, безпрестанно переходя отъ однѣхъ къ другимъ.

Намъ могутъ возразить, что столь же вѣроятно и обратное воздѣйствіе, т.-е. внесеніе въ производство слѣдствій спокойствія и безпристрастія, свойственнаго судьѣ. Возможность такого воздѣйствія мы не отвергаемъ, но едва ли оно будетъ встрѣчаться часто: свою господствующую окраску сложная дѣятельность получаетъ, обыкновенно, отъ той изъ ея составныхъ частей, которая глубже захватываетъ душу, сильнѣе поражаетъ воображеніе. Такою частью въ дѣятельности слѣдователя-судьи будетъ, безъ сомнѣнія, производство слѣдствій, какъ потому, что оно ставитъ лицомъ къ лицу съ житейскими трагедіями, такъ и потому, что оно вызываетъ болѣе активную, болѣе интенсивную работу мысли. Далеко не одно и то же—разобраться въ матеріалѣ, собранномъ другими, или собрать его самому. Послѣднее, при равенствѣ остальныхъ условій, гораздо труднѣе — а чѣмъ труднѣе дѣло, тѣмъ больше оно выигрываетъ отъ спеціализаціи, отъ сосредоточенія. Не случайно же производство слѣдствій, въ бо̀льшей части западно-европейскихъ законодательствъ, возлагается на особыхъ слѣдователей или слѣдственныхъ судей (juge d'instruction, Untersuchungsrichter); предполагается, и совершенно основательно, что это—одна изъ тѣхъ задачъ, которымъ, на время занятія ими, слѣдуетъ посвящать себя всецѣло. Столь же несомнѣнно и то, что, въ виду особой трудности слѣдственныхъ функцій и особой отвѣтственности, съ ними сопряженной (достаточно припомнить право слѣдователя заключать обвиняемыхъ подъ стражу), обязанности слѣдователя не должны быть поручаемы новичкамъ въ судебномъ дѣлѣ. Если до сихъ поръ судебными слѣдователями у насъ были, бо̀льшею частью, именно такіе новички, то это еще не значитъ, что невозможна перемѣна къ лучшему. При всѣхъ неудобствахъ жизни въ уѣздѣ, на должность судебныхъ слѣдователей пошли бы и у насъ сравнительно опытные и зрѣлые люди, если бы она была поставлена достаточно высоко и по содержанію, и по почету; но это немыслимо при соединеніи функцій слѣдователя и судьи, такъ какъ участковымъ судьямъ не можетъ быть отведено въ судебной іерархіи никакого другого мѣста, кромѣ низшаго.

Неубѣдительными кажутся намъ, далѣе, соображенія и факты, которыми коммиссія доказываетъ совмѣстимость разъѣздовъ съ правильнымъ теченіемъ судебныхъ дѣлъ. Примѣръ архангельской губерніи и Сибири едва ли даетъ возможность судить о примѣнимости того же

порядка къ центральной Россіи. Въ малонаселенныхъ мѣстностяхъ не можетъ быть велико число судебныхъ дѣлъ, подсудныхъ низшей судебной инстанціи. Мы узнаемъ изъ отчета, касающагося архангельской губерніи, что число дѣлъ, назначаемыхъ мировымъ судьею въ каждое засѣданіе, незначительно, и это позволяетъ судьѣ выѣхать, въ случаѣ надобности, въ тотъ же день, не откладывая разбирательства; но можно ли быть увѣреннымъ въ томъ, что столь же незначительно (при назначеніи засѣданій не ежедневно) будетъ число судебныхъ дѣлъ у участковыхъ судей московской или тульской губерніи?.. Допустимъ, что на каждаго участковаго судью придется, въ среднемъ, отъ 3 до 5 слѣдственныхъ дѣлъ. Это, во-первыхъ, не устраняетъ возможность значительно бòльшаго числа подобныхъ дѣлъ у отдѣльныхъ участковыхъ судей, которымъ не будетъ легче отъ того, что выпадающее на ихъ долю бремя выше средняго. Во-вторыхъ,—пять, четыре, даже три слѣдствія въ мѣсяцъ, если они возникли въ разное время и въ разныхъ пунктахъ участка, представляютъ собою—даже при несложности дѣлъ—нѣчто едва ли укладывающееся въ рамки мѣстной юстиціи, первымъ условіемъ которой должна быть постоянная доступность для населенія. Ко дню прибытія судьи въ извѣстный пунктъ участка всегда можно пріурочить разборъ *судебныхъ* дѣлъ—но воспользоваться этимъ днемъ и для производства слѣдственныхъ дѣйствій возможно только при благопріятномъ стеченіи обстоятельствъ. Положимъ, напримѣръ, что въ село А. судья пріѣзжаетъ перваго числа каждаго мѣсяца. Въ этотъ пріѣздъ онъ можетъ, конечно, заняться слѣдствіемъ о преступленіи, совершённомъ въ самые послѣдніе дни предъидущаго мѣсяца; но какъ быть, если оно совершено вслѣдъ за отъѣздомъ судьи, второго или третьяго числа? Вѣдь нельзя же отложить разслѣдованіе его на цѣлый мѣсяцъ? Судьѣ по необходимости вновь придется ѣхать въ мѣстность, откуда онъ только-что вернулся—и передѣлать, сообразно съ этимъ, всю свою программу на ближайшіе дни или даже недѣли. Въ Сибири и въ архангельской губерніи нѣтъ ни мировыхъ съѣздовъ, ни соотвѣтствующихъ имъ уѣздныхъ судебныхъ коллегій; судьи не обязаны, поэтому, пріѣзжать къ извѣстному дню въ уѣздный городъ, для участія въ засѣданіи коллегіи. На участковыхъ судей предполагается возложить такую обязанность: они вводятся въ составъ уѣзднаго отдѣленія окружного суда, засѣданіе котораго весьма легко можетъ совпасть со временемъ производства слѣдствія гдѣ-нибудь на краю уѣзда. Участковому судьѣ придется, въ такихъ случаяхъ, либо отложить начало (или продолженіе) слѣдствія, съ непоправимымъ, иногда, вредомъ для дѣла, либо отказаться отъ явки въ засѣданіе отдѣленія, которое, вслѣдствіе этого, можетъ и вовсе не состояться...

Всѣ эти неудобства, неустранимыя, какъ намъ кажется, и самымъ „умѣлымъ распредѣленіемъ засѣданій, вызововъ, разъѣздовъ", едва ли уравновѣшиваются выгодами нѣсколько бо̀льшаго знакомства судьи-слѣдователя съ населеніемъ—нѣсколько бо̀льшаго потому, что судебно-слѣдственный участокъ можетъ быть менѣе обширенъ, чѣмъ слѣдственный. Знаніе всѣхъ лицъ, обитающихъ въ участкѣ, одинаково немыслимо и при пятидесятитысячномъ населеніи участка, и при вдвое меньшемъ—да такое знаніе едва ли и нужно. Для судебнаго дѣятеля важно изучить *общія условія* мѣстности, въ которой онъ служитъ—а это возможно и при нынѣшнихъ размѣрахъ слѣдственнаго участка. Въ пользу выбора судей приводятъ, обыкновенно, именно знаніе мѣстными жителями мѣстныхъ условій, а отнюдь не знаніе лицъ: послѣднее могло бы служить скорѣе аргументомъ противъ выборнаго начала, заставляя опасаться вліянія дружбы и вражды, симпатій и антипатій. То же самое слѣдуетъ сказать и о присяжныхъ засѣдателяхъ. Громадное ихъ большинство видитъ обвиняемыхъ, потерпѣвшихъ и свидѣтелей въ первый разъ и ничего о нихъ раньше не слыхало; но присяжнымъ, какъ мѣстнымъ жителямъ, извѣстны нравы, обычаи, особенности мѣстнаго населенія—и это безспорно предохраняетъ ихъ отъ многихъ ошибокъ. Различія, наблюдаемыя въ предѣлахъ уѣзда, рѣдко бываютъ особенно велики; наблюденіе ихъ, чтобы быть успѣшнымъ, едва ли должно быть пріурочено непремѣнно къ четверти, а не къ половинѣ уѣзда [1]... Еслибы и можно было признать, что, въ видахъ приближенія суда къ населенію, необходимо соединить въ одномъ лицѣ функціи судьи и слѣдователя, то, во всякомъ случаѣ, это нововведеніе слѣдовало бы ограничить однѣми уѣздными, т.-е. внѣ-городскими мѣстностями.

Именно таково мнѣніе меньшинства коммиссіи (восьми членовъ), высказавшагося за сохраненіе въ столицахъ, губернскихъ, областныхъ и другихъ значительныхъ городахъ и уѣздныхъ поселеніяхъ судебныхъ слѣдователей — для производства предварительныхъ слѣдствій, и мировыхъ судей — для разбора судебныхъ дѣлъ (а также за сохраненіе при нѣкоторыхъ окружныхъ судахъ особыхъ судебныхъ слѣдователей для производства слѣдствій по важнѣйшимъ дѣламъ). Сохраненіе за участковыми судьями — въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ на нихъ лежали бы только судейскія функціи—названія *мировыхъ* судей меньшинство коммиссіи мотивируетъ привычкой населенія къ этому термину, широко распространенному даже теперь, послѣ преобразованія 1889-го года (участковыхъ мировыхъ судей все

---

[1]) Судебныхъ слѣдователей въ уѣздѣ обыкновенно бываетъ два, а участковыхъ судей предполагается вдвое больше.

еще числится болѣе тысячи, почетныхъ—болѣе трехъ тысячъ). На томъ же основаніи оно стоитъ и за именованіе почетныхъ судей по прежнему почетными *мировыми* судьями. Большинство коммиссіи находитъ, наоборотъ, что проектируемые единоличные органы судебной власти ни по порядку и условіямъ ихъ назначенія, ни по кругу вѣдомства, ни по предполагаемому характеру ихъ дѣятельности, которая должна быть *чисто судебнымъ,* а не *мировымъ* разбирательствомъ, не будутъ имѣть ничего общаго съ мировыми учрежденіями; нѣтъ, слѣдовательно, и повода именовать ихъ *мировыми* судьими, а затѣмъ этотъ терминъ не долженъ прилагаться и къ почетнымъ судьямъ. Не придавая большого значенія названіямъ, мы понимаемъ, однако, желаніе меньшинства удержать въ оборотѣ хотя бы имя, дорогое для населенія. Еще лучше, конечно, было бы сохранить, вмѣстѣ съ именемъ, и самый характеръ института. Наружное однообразіе не въ такой степени важно, чтобы приносить ему въ жертву правильно дѣйствующее, пользующееся общимъ сочувствіемъ учрежденіе. Если въ 1889 г., въ моментъ крушенія мирового суда, признано было возможнымъ сохранить его въ нѣсколькихъ большихъ городахъ, то тѣмъ менѣе основаній искоренять его теперь, когда накопились матеріалы для сравненія между прошедшимъ и настоящимъ, едва ли говорящіе въ пользу послѣдняго. Предоставляя себѣ возвратиться, въ другой разъ, къ этому предмету, мы переходимъ къ почетнымъ судьямъ, вводимымъ коммиссіей, какъ мы уже видѣли, въ составъ уѣздныхъ (и городскихъ) отдѣленій окружного суда и въ то же время удерживаемымъ въ составѣ уѣздныхъ съѣздовъ.

Почетные мировые судьи—въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ введены земскія учрежденія,—выбираются въ настоящее время уѣздными земскими собраніями (и нѣкоторыми городскими думами). Коммиссія предполагаетъ замѣнить ихъ почетными судьями, назначаемыми, на шесть лѣтъ, министромъ юстиціи, съ предоставленіемъ уѣзднымъ земскимъ собраніямъ (а въ городахъ, гдѣ будутъ учреждены особыя городскія отдѣленія окружного суда—городскимъ думамъ) права указывать лицъ, рекомендуемыхъ ими для назначенія почетными судьями. Эта рекомендація не обязательна для министра: онъ можетъ назначать лицъ, не указанныхъ собраніемъ или думой, и не назначать лицъ, ими указанныхъ. Общія условія, которымъ долженъ удовлетворять почетный судья—принадлежность къ числу мѣстныхъ жителей, двадцатипятилѣтній возрастъ и высшее образованіе или трехлѣтняя служба въ должностяхъ, дающихъ практическое знакомство съ веденіемъ судебныхъ дѣлъ. По рекомендаціи земскаго собранія или городской думы

могутъ быть назначаемы, сверхъ того, и такія лица, которыя окончили курсъ въ среднемъ учебномъ заведеніи или прослужили не менѣе трехъ лѣтъ въ должности уѣзднаго предводителя дворянства или земскаго начальника, если, притомъ, они сами, или родители ихъ, или жены владѣютъ или землею въ размѣрѣ вдвое бо̀льшемъ противъ земскаго ценза, или другимъ недвижимымъ имуществомъ, оцѣненнымъ не ниже пятнадцати тысячъ рублей (въ столицахъ—не ниже тридцати тысячъ). Предсѣдатель и девять членовъ коммиссіи полагали допустить примѣненіе только-что приведенныхъ облегчительныхъ условій къ однимъ лишь потомственнымъ дворянамъ, какъ членамъ сословія наиболѣе просвѣщеннаго и исторически-воспитаннаго въ сознаніи обязанности служить обществу и государству; но большинство коммиссіи съ этимъ не согласилось, находя, что всесословному характеру о̀рг
ановъ самоуправленія не соотвѣтствовало бы ограниченіе чисто сословнаго свойства. Не было принято коммиссіей и предложеніе одного изъ ея членовъ предоставить рекомендацію кандидатовъ въ почетные судьи, наравнѣ съ земскими собраніями и городскими думами, дворянскимъ собраніямъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ мнѣніе большинства кажется намъ совершенно правильнымъ. Земскому собранію одинаково хорошо извѣстны всѣ сколько-нибудь крупные мѣстные землевладѣльцы; оно имѣетъ полную возможность знать, кто изъ нихъ могъ бы быть особенно полезенъ въ званіи почетнаго судьи, и было бы крайне несправедливо отказать ему въ правѣ рекомендовать вполнѣ подходящаго кандидата только потому, что послѣдній— не потомственный дворянинъ. Такимъ кандидатомъ можетъ быть, иногда, и гласный земскаго собранія, пользующійся всеобщимъ довѣріемъ и любовью; гдѣ же основаніе запрещать земству обратить на него вниманіе власти, отъ которой зависитъ назначеніе почетныхъ судей? Предоставляя земскимъ собраніямъ указаніе кандидатовъ на эту должность, коммиссія, вѣроятно, имѣетъ въ виду не только увеличить—путемъ облегченія условій — число лицъ, изъ среды которыхъ могутъ быть назначаемы почетные судьи, но и выдвинуть на первый планъ наиболѣе достойныхъ; между тѣмъ, послѣдняя цѣль оставалась бы недостигнутой, еслибы въ списокъ кандидатовъ земскимъ собраніемъ не могли быть включены даже лица получившія высшее образованіе, но не принадлежащія къ потомственному дворянству. Распространеніе на дворянскія собранія права выставлять кандидатовъ въ почетные судьи было бы нежелательно въ особенности потому, что въ спискахъ, составленныхъ дворянствомъ, первое мѣсто вѣроятно было бы отведено, сплошь и рядомъ, бывшимъ предводителямъ и земскимъ начальникамъ. Если эти лица рекомендуются *земскимъ* собраніемъ, то есть хотя нѣкоторое основаніе предполагать, что они не внесутъ въ

отправленіе судейскихъ обязанностей сословную односторонность и тенденціозность; при рекомендаціи ихъ *дворянскимъ* собраніемъ такого ручательства не существуетъ...

Признавая, такимъ образомъ, сравнительно-правильнымъ то рѣшеніе вопроса, которое принято большинствомъ коммиссіи, мы, конечно, далеки отъ мысли, чтобы *рекомендація* могла замѣнить *выборъ*. Учрежденіе рекомендующее, зная, что его рекомендація никого не связываетъ и ничего не предрѣшаетъ, не будетъ смотрѣть на нее такъ серьезно, какъ смотрѣло бы на выборъ. Если его указанія нѣсколько разъ будутъ оставлены безъ вниманія, оно перестанетъ дорожить своимъ мнимымъ правомъ и будетъ относиться къ рекомендаціямъ какъ къ формальности, лишенной всякаго значенія. Не особенно удобнымъ, съ другой стороны, будетъ положеніе почетныхъ судей, назначенныхъ помимо рекомендаціи земскаго собранія (или городской думы). Иногда, конечно, пропускъ этихъ лицъ въ спискѣ, составленномъ земскимъ собраніемъ, будетъ чисто случайный; но иногда за нимъ будетъ скрываться совершенно сознательное недовѣріе къ данному лицу — недовѣріе, можетъ быть даже прямо выразившееся при баллотировкѣ кандидатовъ. Фактически, такимъ образомъ, могутъ сложиться два разряда почетныхъ судей, ничѣмъ не отличающіеся другъ отъ друга съ точки зрѣнія закона, но далеко не одинаково цѣнимые и чтимые населеніемъ. Особенно рѣзко разница между обоими разрядами можетъ обрисоваться въ уѣздномъ съѣздѣ, съ вліяніемъ котораго едва ли сравнится вліяніе уѣзднаго отдѣленія окружного суда. Чѣмъ важнѣе рѣшенія съѣзда для массы крестьянъ, тѣмъ болѣе желательно, чтобы ея голосъ доходилъ до съѣзда хотя бы косвенно, черезъ почетныхъ судей, пользующихся ея довѣріемъ... Не лишнимъ, конечно, будетъ присутствіе въ уѣздномъ съѣздѣ даже назначенныхъ почетныхъ судей; но напрасно было бы думать, что они могутъ замѣнить собою нынѣшнихъ почетныхъ мировыхъ судей, *выбранныхъ* земскимъ собраніемъ.

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюня 1900.

Борьба партій во Франціи.—Новые отголоски дѣла Дрейфуса въ парламентѣ.—Вальдекъ-Руссо и его противники. — Положеніе дѣлъ въ Англіи. — Британскій патріотизмъ. — Военныя дѣйствія въ Южной Африкѣ.—Политическій кризисъ въ Австріи.

Французскія политическія партіи недолго соблюдали перемиріе, навязанное имъ обстоятельствами; борьба противъ министерства Вальдека-Руссо вновь оживилась, и предлогомъ для агитаціи опять послужило давно наскучившее всѣмъ и казавшееся уже окончательно похороненнымъ дѣло Дрейфуса. Одинъ изъ старыхъ оппортунистовъ, нѣкогда секретарь Гамбетты и главный редакторъ основанной имъ газеты „République Française", Жозефъ Рейнакъ, имѣлъ неосторожность публично высказать мнѣніе, что дѣло Дрейфуса должно быть возобновлено послѣ окончанія всемірной выставки, такъ какъ интересы справедливости требуютъ полнаго возстановленія чести человѣка явно невиновнаго, осужденнаго реннскимъ военнымъ судомъ лишь въ угоду военной партіи. Частное мнѣніе Рейнака было принято почему-то за отголосокъ скрытыхъ будущихъ намѣреній кабинета, и въ этомъ смыслѣ оно чрезвычайно обрадовало оппозицію, доставивъ ей весьма удобное оружіе для рѣшительнаго нападенія на правительство ко времени муниципальныхъ выборовъ 6 мая. Такъ называемые „націоналисты", единомышленники и союзники Дерулэда, воинственные патріоты и реакціонеры разныхъ оттѣнковъ, старались увѣрить публику, что Франціи грозитъ возобновленіе ужаснаго дѣла Дрейфуса тотчасъ послѣ выставки, если нынѣшніе министры останутся у власти; слѣдовательно, французамъ опять предстоятъ всевозможныя волненія и опасности, застой въ дѣлахъ, даже, пожалуй, кровавое междоусобіе. Почему Вальдекъ-Руссо питаетъ столь пагубные замыслы и съ какою цѣлью правительство стало бы поощрять новые „происки дрейфусаровъ", когда само же объявило своей главной задачей общее умиротвореніе послѣ помилованія Дрейфуса? Подобные вопросы не существуютъ для усердныхъ представителей французскаго патріотизма или націонализма, и не возникаютъ также въ умахъ легковѣрной толпы, увлекаемой краснорѣчивыми воззваніями „лиги французскаго отечества"; достаточно пустить слухъ, что министерство связано чѣмъ-то съ Рейнакомъ или вообще солидарно съ людьми, принадлежащими къ породѣ дрейфусаровъ,—и никакихъ другихъ доказательствъ не потребуется для осу-

жденія кабинета въ глазахъ значительной части общества и печати. Развѣ нужно и можно доказывать, что человѣкъ, заподозрѣнный въ сочувствіи „измѣнникамъ", въ дѣйствительности проникнутъ по меньшей мѣрѣ такимъ же искреннимъ патріотизмомъ, какъ и лучшіе изъ его противниковъ? Дѣло Дрейфуса незамѣнимо, какъ пугало, и съ этой стороны разсчетъ оппозиціи вполнѣ оправдался. Муниципальные выборы, не имѣющіе, въ сущности, прямого отношенія къ политикѣ, получили весьма опредѣленный политическій оттѣнокъ, подъ вліяніемъ идеи о новомъ дрейфусарскомъ движеніи, подготовляемомъ, будто бы, съ вѣдома и согласія Вальдека-Руссо. На этой почвѣ велась избирательная агитація, и результаты оказались блестящими для національстовъ: послѣдніе пріобрѣли большинство въ парижскомъ городскомъ совѣтѣ и стали такимъ образомъ хозяевами города во время самаго разгара выставки. Побѣда непримиримыхъ враговъ правительства въ Парижѣ касается пока лишь интересовъ мѣстнаго самоуправленія и не можетъ, конечно, отразиться на общемъ ходѣ политическихъ дѣлъ; но она возбудила большія надежды среди оппозиціи и дала сильный толчокъ парламентской кампаніи противъ министерства. Вальдекъ-Руссо имѣлъ основаніе утверждать, что мѣстные выборы во Франціи были въ общемъ благопріятны для республики, такъ какъ изъ 33.942 общинъ (включая и Парижъ) 24.832 находятся теперь въ рукахъ республиканцевъ, 8.519 управляются реакціонерами, и только 153 — націоналистами; въ остальныхъ 438—характеръ избранныхъ совѣтовъ остается еще неяснымъ. На сторону республиканцевъ перешло болѣе тысячи общинъ, которыми раньше завѣдывали реакціонеры. Но эти успѣхи въ провинціи отступаютъ на задній планъ, въ виду крупной неудачи, испытанной республиканскими партіями въ Парижѣ. Хотя націоналисты тоже считаютъ себя республиканцами, однако ихъ стремленія къ военному цезаризму дѣлаютъ ихъ наиболѣе опасными противниками всякаго республиканскаго правительства; притомъ торжество ихъ въ центрѣ Франціи особенно непріятно для кабинета, которому ихъ вождь и кумиръ, Деруләдъ, обязанъ своимъ осужденіемъ и изгнаніемъ. Друзья и поклонники Деруләда, поселившагося въ Испаніи, въ Санъ-Себастіанѣ, распоряжаются теперь городскимъ управленіемъ Парижа, и это обстоятельство само по себѣ является большимъ неудобствомъ для Вальдека-Руссо и его коллегъ. Впрочемъ, многіе умѣренные республиканцы довольны совершившеюся перемѣною, ибо до сихъ поръ въ парижскомъ городскомъ совѣтѣ большинство принадлежало соціалистамъ, которыхъ французскіе либералы, какъ Мелинъ и Рибо, боятся и ненавидятъ гораздо больше, чѣмъ націоналистовъ.

Ко дню возобновленія парламентской сессіи, 22 (9) мая, нападки на министерство все болѣе усиливались въ оппозиціонной печати. Га-

зеты сообщали о стараніяхъ тайной полиціи добыть документы, опорочивающіе нѣкоторыхъ важныхъ свидѣтелей по дѣлу Дрейфуса и могущіе, будто бы, служить основаніемъ къ новому пересмотру процесса; такъ, сыщикъ Томпсъ предлагалъ одному изъ агентовъ удостовѣрить фактъ полученія свидѣтелемъ Черноски значительной суммы денегъ (около 10 тысячъ франковъ) отъ генеральнаго штаба, и письма по этому предмету были доставлены въ военное министерство. Сыщикъ Томпсъ былъ прежде дѣятельнымъ агентомъ знаменитаго второго бюро генеральнаго штаба, занимавшагося военнымъ шпіонствомъ, а съ переходомъ этихъ шпіонскихъ дѣлъ въ вѣдомство гражданской администраціи перешелъ также на службу въ министерство внутреннихъ дѣлъ, подъ начальство Вальдека-Руссо; поэтому, если онъ занятъ отыскиваніемъ данныхъ въ пользу Дрейфуса, то очевидно въ этомъ заинтересованъ нынѣшній глава кабинета. Около этихъ мелкихъ фактовъ вращались всѣ шумныя пренія объ общей политикѣ правительства въ палатѣ депутатовъ и въ сенатѣ, съ 22 по 28 мая. Въ первый же день кабинетъ обезпечилъ себѣ предварительную побѣду въ области общихъ теоретическихъ пожеланій, формулированныхъ радикаломъ Гузи и принятыхъ большинствомъ 271 противъ 226 голосовъ; настоящая борьба разгорѣлась только позднѣе, когда на мѣсто Рибо и Мелина выступили на сцену націоналисты. Въ дѣлѣ разоблаченій, относящихся къ процессу Дрейфуса, была особенно щекотлива роль военнаго министра. Генералъ Галлифé сначала заявлялъ, что у него въ министерствѣ не было вовсе получено тѣхъ компрометтирующихъ писемъ, о которыхъ говорили газеты; но потомъ въ сенатѣ, въ засѣданіи 25 мая, онъ долженъ былъ сознаться въ ошибкѣ: указанные документы существовали, и содержаніе ихъ было разглашено въ печати однимъ изъ офицеровъ военнаго министерства. „Да,—говорилъ съ волненіемъ генералъ Галлифè передъ сенатомъ,—офицеръ моего вѣдомства снялъ копіи съ этихъ документовъ безъ вѣдома начальства и передалъ ихъ постороннему лицу. Это преступленіе тѣмъ болѣе поразительно, что виновникъ его пользовался до сихъ поръ отличной репутаціею и совершенно не былъ замѣшанъ въ послѣднихъ событіяхъ; онъ хорошо зналъ мою твердую рѣшимость не допускать никакихъ нескромностей или политическихъ манифестацій среди моихъ подчиненныхъ. Я призвалъ этого офицера; онъ подтвердилъ свой проступокъ и послѣ нѣкотораго молчанія, поднявъ голову, произнесъ такую неслыханную фразу: „я совершилъ политическій актъ!“ Политическій актъ! Вотъ что̀ офицеръ осмѣливается говорить военному министру! Какъ будто первая обязанность военныхъ людей, ихъ строгій долгъ передъ закономъ и отечествомъ, не заключается въ томъ, чтобы держаться въ сторонѣ отъ всякой политики! Разумѣется, виновный офицеръ былъ

тотчасъ уволенъ мною отъ должности". Упомянутыя письма, поступившія въ военное министерство и относящіяся болѣе или менѣе къ дѣлу Дрейфуса, были затѣмъ переданы генераломъ Галлифè министру внутреннихъ дѣлъ. Негодованіе, смѣшанное съ глубокою грустью, выражалось въ словахъ престарѣлаго генерала о печальномъ настроеніи, приводящемъ военныхъ людей къ непозволительнымъ нарушеніямъ военной дисциплины. Представитель и глава арміи какъ будто оплакивалъ видимое раздвоеніе между чувствомъ служебнаго долга и патріотическими идеями и мечтаніями, навѣянными извнѣ,—раздвоеніе, которое впервые внесено было въ армію буланжизмомъ. Но генералъ Галлифè чувствовалъ себя еще болѣе неловко, когда о провинившемся офицерѣ сталъ такъ же рѣзко разсуждать „штатскій" министръ, Вальдекъ-Руссо. Другого рода раздвоеніе—между гражданскою властью и военнымъ классомъ—обнаружилось и на этотъ разъ, несмотря на полное внѣшнее согласіе между военнымъ министромъ и главою кабинета.

Этотъ скрытый, едва сознаваемый антагонизмъ проявился невольно подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ выраженій Вальдека-Руссо въ палатѣ депутатовъ, 15-го (28-го) мая. Министръ назвалъ поступокъ виновнаго офицера, капитана Фриша, „вѣроломнымъ" и сурово отозвался вообще о дѣятельности бывшаго второго бюро генеральнаго штаба. Должностныя лица этого бюро, по словамъ Вальдека-Руссо, дѣйствовали въ отдѣльныхъ случаяхъ вопреки прямымъ распоряженіямъ нынѣшняго военнаго министра. При этихъ словахъ раздались горячіе протесты націоналистовъ и патріотовъ, обычныхъ защитниковъ арміи; съ своей стороны, радикалы и соціалисты устроили оратору шумную овацію. Дѣлу приданъ былъ такой оборотъ, какъ будто глава кабинета обидѣлъ военное вѣдомство и самую армію своимъ неодобрительнымъ отзывомъ объ отдѣльныхъ офицерахъ второго бюро. Палата сразу раздѣлилась на два лагеря—представителей единой гражданской республики и поклонниковъ неприкосновеннаго авторитета арміи и ея начальниковъ. Генералъ Галлифè не выдержалъ этой сцены и покинулъ залу засѣданій; быть можетъ, и ему не понравился тонъ замѣчаній Вальдека-Руссо о порядкахъ въ военномъ министерствѣ. Вальдекъ-Руссо счелъ долгомъ пояснить, что онъ вполнѣ уважаетъ армію и сочувствуетъ ей. Вопросъ о цѣлой французской арміи серьезно ставится по поводу незаконныхъ дѣйствій нѣсколькихъ офицеровъ, и никто не удивлялся этому въ палатѣ. Самъ военный министръ, несмотря на свои здравые взгляды, поддался общему настроенію и нашелъ нужнымъ выйти въ отставку. Оппозиція упорно обвиняла правительство въ желаніи возобновить дѣло Дрейфуса; Альфонсъ Эмберъ, Ле-Гериссе, Кранцъ и другіе, столь же почтенные и далеко не моло-

дые дѣятели настойчиво повторяли одни и тѣ же доводы, нелѣпость которыхъ видна была съ самаго начала, независимо отъ опроверженій Вальдека-Руссо. Зачѣмъ и съ какой точки зрѣнія понадобилось бы министерству желать возобновленія мучительнаго дѣла, съ которымъ едва удалось покончить, и которое не только разстроило всю политическую жизнь страны, но испортило также репутацію французской націи въ культурномъ мірѣ? Если непонятное возбужденіе политическихъ страстей по поводу чисто-судебнаго вопроса о виновности или невинности Дрейфуса заставляло иногда сомнѣваться въ здравомъ умѣ французовъ, то желаніе повторить этотъ тяжелый опытъ съ Дрейфусомъ, въ настоящее время, при отсутствіи малѣйшихъ къ тому побудительныхъ причинъ, свидѣтельствовало бы уже прямо о помѣшательствѣ; а въ послѣднемъ нельзя заподозрить ни Вальдека-Руссо, ни его товарищей по министерству. Оппозиція имѣла въ своемъ распоряженіи только одинъ положительный фактъ, что сыщикъ Томпсъ стремился почему-то выяснить, при какихъ условіяхъ и за какую сумму продалъ свое показаніе Черпуски; но приговоръ по дѣлу Дрейфуса вовсе не былъ основанъ на этомъ показаніи и, слѣдовательно, нисколько не могъ быть поколебленъ продажностью этого свидѣтеля. Вальдекъ-Руссо утверждаетъ, что Томпсъ руководился въ данномъ случаѣ личными мотивами и дѣйствовалъ неправильно, безъ вѣдома своего начальства; онъ подвергался систематической травлѣ со стороны нѣкоторыхъ конкуррентовъ по ремеслу, и вопросъ объ обстоятельствахъ подкупа Черпуски интересовалъ его только потому, что давалъ ему матеріалъ для обличенія одного изъ главныхъ его обвинителей, наиболѣе старавшагося вредить ему по службѣ. Дѣло шло лишь о самозащитѣ Томпса, и самый процессъ Дрейфуса затрогивался тутъ только случайно. Такъ объясняется содержаніе писемъ, попавшихъ въ военное министерство и побудившихъ капитана Фриша совершить „политическій актъ“ для блага отечества. Это объясненіе, вытекающее, по словамъ Вальдека-Руссо, изъ произведеннаго имъ разслѣдованія въ связи съ допросомъ самого Томпса, имѣетъ всѣ признаки правдоподобія, и нѣтъ разумнаго основанія ему не вѣрить.

Къ сожалѣнію, Вальдекъ-Руссо не съумѣлъ представить дѣло съ достаточною ясностью и ограничилъ свои возраженія частностями, раздражая противниковъ напрасными и, въ сущности, несправедливыми нападками на виновниковъ газетнаго разоблаченія. Капитанъ Фришъ или всякій другой офицеръ на его мѣстѣ могъ легко убѣдиться, что письма, сообщающія о попыткахъ Томпса, не заключаютъ въ себѣ никакой государственной или военной тайны и въ то же время указываютъ на нѣчто въ высшей степени непріятное—на стремленіе оживить рѣшенное уже дѣло Дрейфуса новыми розысками для неизвѣст-

ныхъ цѣлей, безусловно враждебныхъ Франціи. Капитанъ Фришъ не имѣлъ и не могъ имѣть тѣхъ свѣдѣній о побужденіяхъ и дѣйствіяхъ Томпса, какія собраны были впослѣдствіи Вальдекомъ-Руссо; онъ просто видѣлъ, что „проклятое“ дѣло Дрейфуса опять возрождается усиліями тайной полиціи; онъ ужаснулся открывшейся предъ нимъ перспективы и рѣшилъ подѣлиться своимъ открытіемъ съ людьми, способными предупредить угрожающее бѣдствіе при помощи печати. Разумѣется, капитанъ Фришъ поступилъ бы правильнѣе, еслибы доложилъ о своемъ недоумѣніи ближайшимъ своимъ начальникамъ или довелъ бы его до свѣдѣнія самого военнаго министра; но при обычныхъ формальныхъ отношеніяхъ по службѣ это было бы вѣроятно безцѣльно и неудобно, и онъ предпочелъ прибѣгнуть къ болѣе надежному, хотя и рискованному способу, въ виду исключительной важности факта. Ничего преступнаго или вѣроломнаго нѣтъ въ этомъ поступкѣ, а по результатамъ онъ оказался полезнымъ для самого министерства внутреннихъ дѣлъ, такъ какъ привелъ къ раскрытію неправильныхъ дѣйствій, которыя могли бы повредить правительству и бросить тѣнь на его добросовѣстность. Озлобленіе, съ какимъ Вальдекъ-Руссо говорилъ о капитанѣ Фришѣ, столь же непонятно, какъ и восторженное сочувствіе, высказанное министру по этому поводу депутатами крайней лѣвой. Со стороны генерала Галлифé было вполнѣ естественно суровое осужденіе офицера, нарушившаго канцелярскую тайну; но радикалы и соціалисты, поддерживающіе министерство, не должны бы раздѣлять узко-формальную точку зрѣнія на дѣятельность должностныхъ лицъ и на предѣлы гласности относительно служебныхъ дѣлъ. Вина капитана Фриша въ глазахъ правительственныхъ республиканцевъ состояла лишь въ томъ, что онъ сообщилъ свои свѣдѣнія врагамъ министерства, черезъ посредство депутата Ле-Гериссé, націоналиста, и этимъ далъ оппозиціи оружіе противъ правительства; но можно также сказать, что нападеніе дало случай Вальдеку-Руссо одержать побѣду въ парламентѣ и утвердить свою власть по крайней мѣрѣ еще на пять мѣсяцевъ, до окончанія выставки.

Истиннымъ виновникомъ легенды о возобновленіи дѣла Дрейфуса остается Жозефъ Рейнакъ, который своимъ безтактнымъ пророчествомъ подготовилъ почву для агитаціи, лишенной всякаго смысла. Безъ сомнѣнія, Вальдекъ-Руссо не обязанъ былъ опровергать личный взглядъ Рейнака, какъ частнаго человѣка, ибо всякій во Франціи имѣетъ право высказывать публично свое мнѣніе, хотя бы самое неосновательное и произвольное; но Рейнакъ считается представителемъ и адвокатомъ французскаго еврейства, и его ошибочныя сужденія пріобрѣтаютъ нерѣдко особую цѣну, въ качествѣ предполагаемыхъ отголосковъ таинственной всемогущей силы, которою антисемиты запугиваютъ довѣр-

чивую публику. И для Рейнака, и его единовѣрцевъ едва ли полезно было поднимать вопросъ о новомъ пересмотрѣ процесса, съ рискомъ дать новую благодарную пищу антисемитскому движенію,—тѣмъ болѣе, что судебная ошибка отчасти исправлена помилованіемъ, и что многіе изъ лучшихъ и просвѣщеннѣйшихъ людей Франціи достаточно громко высказались за полную невиновность Дрейфуса.

Какъ бы то ни было, пора было сдать это дѣло въ архивъ, что̀ и выражено было преніями и голосованіемъ палаты, 28 мая. Большинствомъ около 50 голосовъ принята была формула, одобряющая дѣйствія правительства и въ то же время заявляющая „увѣренность въ преданности арміи—Франціи и республикѣ". Соединенныя усилія парламентскихъ группъ умѣренныхъ республиканцевъ, націоналистовъ, антисемитовъ и реакціонеровъ не увѣнчались успѣхомъ, и по всей вѣроятности попытка свергнуть кабинетъ возобновится не скоро. Можно надѣяться также, что для дальнѣйшей борьбы партій найдутся, наконецъ, болѣе крупные и важные интересы, чѣмъ жалкій и избитый споръ изъ-за дѣла Дрейфуса, между сторонниками преклоненія націи передъ арміею, или наоборотъ—преклоненія арміи передъ націею.

Національный патріотизмъ никогда еще не выражался въ Англіи съ такою силою и съ такимъ единодушіемъ, какъ во время послѣднихъ военныхъ успѣховъ въ южной Африкѣ. Восторженныя ликованія по поводу освобожденія Мэфкинга (17 мая, нов. ст.) поставили втупикъ даже людей, издавна проживающихъ въ Англіи и успѣвшихъ вполнѣ изучить характеръ и нравы англичанъ. Подобные взрывы всеобщей національной радости немыслимы, кажется, нигдѣ въ остальной Европѣ. По свидѣтельству очевидцевъ, серьезнѣйшіе джентльмены, старые и молодые, прыгали и танцовали на улицахъ, забывая всякія приличія; публичные спектакли прекращались, и даже знаменитая Дузе должна была прервать игру при неожиданно раздавшихся въ театрѣ возгласахъ: „Мэфкингъ!" Боязнь за судьбу англійскаго гарнизона, выдерживавшаго осаду въ продолженіе цѣлыхъ семи мѣсяцевъ (съ 15 октября, нов. ст.), не выражалась открыто, и о напряженности этого тяжелаго, столь долго подавленнаго чувства можно судить только по тому необыкновенному впечатлѣнію, какое произвела вѣсть объ освобожденіи.

Намъ кажется, что нѣкоторыя существенныя особенности британскаго патріотизма, насколько онѣ выяснились по поводу новѣйшихъ исключительныхъ событій, не получили правильной оцѣнки въ континентальной печати. Обычные толки о шовинизмѣ и имперіализмѣ совершенно непримѣнимы къ тѣмъ формамъ общественнаго настроенія, которыя наблю-

даются нынѣ въ Англіи. Прежде всего здѣсь господствуетъ единодушіе, устраняющее всякую тѣнь и подобіе антагонизма между государствомъ и народомъ, между правительствомъ и обществомъ, между властью и гражданами. Антагонизма нѣтъ по той простой причинѣ, что въ Англіи государство и народъ въ сущности совпадаютъ; правительство въ самомъ дѣлѣ является тамъ только довѣреннымъ органомъ общественнаго мнѣнія, выразителемъ національныхъ стремленій и интересовъ; каждый гражданинъ знаетъ и понимаетъ, почему дѣлами правительства заправляютъ лордъ Сольсбери и Чемберлэнъ, какъ они выдвинулись и чѣмъ доказали свою способность дѣйствовать отъ имени націи съ наибольшею для нея пользою. Англійскіе министры суть тѣ же граждане, только съ особою отвѣтственностью; ихъ достоинства и заслуги, какъ и слабости и ошибки, открыты передъ всѣми и доступны всеобщей публичной критикѣ и оцѣнкѣ; въ рѣчахъ и дѣйствіяхъ Чемберлэна чувствуетъ нѣчто близкое и понятное для себя самый скромный обыватель, и потому неудачи этого министра представляются англійскими неудачами, его успѣхи—англійскими успѣхами. Въ былое время, при господствѣ въ странѣ другого настроенія и другихъ потребностей, такими же популярными выразителями общихъ интересовъ являлись люди иного типа, какъ наприм. Гладстонъ, и въ нихъ такъ же точно англичане узнавали самихъ себя; и нація слѣдовала за этими вождями,—пока вѣрила въ благотворность ихъ политики. Антагонизма нѣтъ потому, что, обнаружившись извѣстнымъ образомъ, онъ тотчасъ же приводитъ къ устраненію данныхъ министровъ и къ замѣнѣ ихъ другими, болѣе подходящими и болѣе соотвѣтствующими измѣнившимся обстоятельствамъ; такимъ образомъ, разладъ между правительствомъ и общественнымъ мнѣніемъ исчезаетъ самъ собою, послѣ того какъ только успѣлъ возникнуть и проявиться. Оттого въ Англіи не приходится смотрѣть на политическія пораженія, какъ на способъ избавиться отъ неудачнаго правительства,—что часто бывало прежде во Франціи. Всякій англичанинъ дѣйствительно чувствуетъ себя частицею государства, носителемъ его интересовъ и его могущества; патріотизмъ есть для него природный національный инстинктъ, а не навязанная извнѣ формула, не монополія какой-нибудь опредѣленной клики или партіи, не прикрытіе для честолюбивыхъ или корыстныхъ цѣлей. Патріотическія чувства англичанъ не раздѣляютъ, а объединяютъ націю; они присущи одинаково всѣмъ общественнымъ партіямъ и всѣмъ классамъ населенія, ибо каждая партія, не исключая и самыхъ оппозиціонныхъ, и каждый изъ элементовъ общества имѣютъ свою законную долю участія въ государственной жизни. Въ этомъ смыслѣ можно сказать,—какъ замѣтилъ когда-то Монталамберъ,—что публичныя дѣла Англіи суть частныя дѣла каждаго отдѣльнаго англичанина. Неудержимые

взрывы радости, которые такъ удивляли иностранцевъ послѣ освобожденія Ледисмита и Мэфкинга, доказываютъ лишь, что внѣшніе политическіе интересы Англіи, интересы ея могущества и славы, сознаются огромною массою англичанъ, какъ самыя высшія блага для всѣхъ и каждаго въ отдѣльности.

Военныя дѣйствія въ Южной Африкѣ даютъ обильную пищу этому повышенному національному настроенію въ Англіи. Они становились все болѣе односторонними въ послѣднее время, ограничиваясь последовательнымъ передвиженіемъ англійскихъ войскъ въ предѣлы Трансвааля, безъ всякаго почти активнаго участія боэровъ. Война, столь блистательно веденная обѣими республиками вначалѣ, круто измѣнила свой характеръ послѣ сдачи отряда Кронье и особенно послѣ смерти Жубера; она фактически какъ бы прекратилась со стороны боэровъ, уступивъ мѣсто разрозненнымъ и случайнымъ дѣйствіямъ небольшихъ отрядовъ, безъ опредѣленнаго плана и смысла. Повсюду войска боэровъ очищали дорогу британской арміи, не заботясь ни о разстройствѣ ея сообщеній, ни о подготовкѣ серьезныхъ опорныхъ пунктовъ для защиты. Повидимому боэры, привыкшіе искать поученія и вдохновенія въ библіи, рѣшились предоставить свою судьбу на волю Божію; быть можетъ, они пришли къ убѣжденію, что Господь отвернулся отъ нихъ, и что поэтому сопротивляться безполезно. На такой поворотъ къ пассивному фатализму намекаетъ отчасти распоряженіе президента Крюгера о трехдневныхъ молитвахъ, когда началось побѣдоносное шествіе фельдмаршала Робертса внутрь Трансвааля. Британскія войска безъ сопротивленія заняли 18 (31) мая важнѣйшій центръ республики, Іоганнесбургъ, и готовились затѣмъ овладѣть Преторіею, которую успѣли уже очистить боэры. Весь этотъ второй періодъ войны представляетъ вообще какую-то сплошную загадку, которая вѣроятно разъяснится впослѣдствіи.

Платоническія симпатіи чужихъ народовъ и газетъ не принесли, конечно, никакой пользы боэрамъ; спеціальная миссія въ Соединенные-Штаты оказалась также безплодною, хотя и вызвала повсемѣстныя дружественныя манифестаціи въ народѣ и отчасти также въ правящихъ кругахъ. Мысль о реальномъ заступничествѣ какой-либо великой державы была въ самомъ началѣ вполнѣ безнадежна: простое дипломатическое ходатайство не привело бы ни къ чему, а начинать войну съ Англіею изъ-за боэровъ было бы нелѣпостью, которой не предлагали, кажется, самые ярые защитники ихъ въ печати. Весьма просто и ясно выразилъ эту мысль графъ Л. Н. Толстой въ своемъ отвѣтѣ на обращенную къ нему изъ Америки просьбу поддержать усилія, направленныя къ дѣятельному вмѣшательству въ пользу боэровъ:—помочь можно бы только войною, а слѣдовательно нечего и

думать о вмѣшательствѣ. Нѣкоторыя изъ нашихъ газетъ усмотрѣли въ этомъ единственно возможномъ отвѣтѣ какой-то печальный симптомъ, свидѣтельствующій, будто бы, о пагубномъ вредѣ теоріи „непротивленія злу“. Къ сожалѣнію, публицисты, напавшіе по этому поводу на гр. Л. Н. Толстого, не потрудились пояснить, какимъ способомъ мыслимо было бы „противиться злу“ въ данномъ случаѣ, помимо войны, которая именно и есть величайшее зло.

Внутренній кризисъ въ Австріи переходитъ изъ одной стадіи въ другую, подвигаясь какъ будто впередъ къ нѣкоторой возможной развязкѣ; но затѣмъ онъ оказывается опять въ томъ же положеніи, въ какомъ былъ первоначально. Періодически мѣняются дѣйствующія лица; разныя министерства поочередно придумываютъ способы и проекты компромисса между враждующими народностями, но эти попытки обыкновенно кончаются неодолимою обструкціею въ парламентѣ, причемъ роль обструкціонистовъ достается то нѣмцамъ, то чехамъ. Министръ-президентъ фонъ-Керберъ, энергическій и настойчивый бюрократъ, взялся на первыхъ порахъ устроить соглашеніе по трудному вопросу о языкахъ, обязательныхъ для присутственныхъ мѣстъ въ Чехіи и Моравіи. Совѣщанія продолжались въ Вѣнѣ съ начала февраля, и иногда казалось, что они приведутъ, наконецъ, къ желанному результату: чешскіе и нѣмецкіе делегаты произносили рѣчи, выслушивали заявленія фонъ-Кербера, и каждая изъ сторонъ надѣялась склонить правительство въ пользу своихъ особыхъ требованій. Къ концу марта выяснилось уже съ достаточною опредѣленностью, что соглашеніе не можетъ быть достигнуто не только на практикѣ, но и въ теоріи, ибо и чехи и нѣмцы одинаково убѣждены въ справедливости своихъ доказательствъ и въ равной мѣрѣ проникнуты рѣшимостью отстаивать свои національныя права во что бы то ни стало. Чехи перенесли вопросъ на обсужденіе мѣстнаго земскаго сейма, хотя въ функціи послѣдняго не входятъ политическія и законодательныя дѣла; сеймъ могъ выразить только пожеланіе, которое и формулировано было въ предложеніи депутата Пачака, въ началѣ апрѣля. Правительству предлагалось „принять надлежащія мѣры для осуществленія и обезпеченія равноправности чешскаго языка въ судебныхъ и правительственныхъ мѣстахъ королевства Чехіи, во всемъ ихъ служебномъ дѣлопроизводствѣ, какъ внѣшнемъ, такъ и внутреннемъ“, согласно патенту 8 апрѣля 1848 года, гарантировавшему чешскую національную автономію. Такая постановка вопроса не имѣла, однако, никакихъ шансовъ успѣха, и правительство, вынужденное опираться на могущественную нѣмецкую партію, не могло слѣдовать за сторонниками „историческаго права“ Чехіи. Министръ-президентъ фонъ-Керберъ выработалъ тогда оффиціальный проектъ, основанный на прин-

ципѣ раздѣленія округовъ на чисто-чешскіе, чисто-нѣмецкіе и смѣшанные; но чехи рѣшительно стоятъ за сохраненіе историческаго единства Чешскаго королевства и не допускаютъ и мысли о дробленіи, которое желательно нѣмцамъ. Проектъ внесенъ въ австрійскій парламентъ, и чешскіе депутаты постановили прибѣгнуть къ обычнымъ пріемамъ обструкціи, чтобы помѣшать разсмотрѣнію и принятію реформы нѣмецко-польскимъ большинствомъ. Обструкція началась съ 8 мая (нов. ст.), и министерскій проектъ едва ли получитъ когда-нибудь силу закона. Въ сущности, задача сама по себѣ остается неразрѣшимою, пока обѣ спорящія національности сохраняютъ свои боевыя позиціи и идеи,—а новый примирительный духъ, безъ котораго немыслимо спокойное общеніе различныхъ племенъ, не показывается еще ни откуда въ Австріи.

Рядомъ съ чешско-нѣмецкимъ кризисомъ развивается польско-русинскій, и среди этихъ національныхъ счетовъ все сильнѣе ростетъ въ Австріи рабочее движеніе, нашедшее уже своихъ выразителей въ парламентѣ. Крупныя стачки рабочихъ, особенно въ каменноугольныхъ районахъ, указываютъ на обострившійся антогонизмъ между капиталистами и рабочими, предвѣщающій много новыхъ тревогъ для австрійской монархіи. Указанія на важную роль имперіи во внѣшней политикѣ мало утѣшаютъ австрійскихъ патріотовъ, и длинныя высокопарныя рѣчи графа Голуховскаго въ обѣихъ делегаціяхъ не произвели на этотъ разъ замѣтнаго впечатлѣнія въ Австріи, хотя и обстоятельно комментировались, по традиціи, въ мѣстной и заграничной печати.

ПО ПОВОДУ СТАТЬИ Г. ТВЕРСКОГО О СУДЬБѢ ДУХОБОРОВЪ ВЪ КАНАДѢ.

Письмо въ Редакцію.

М. Г., въ вашемъ журналѣ, въ майской книжкѣ, было помѣщено письмо г. Тверского, рисующее не вполнѣ правильно положеніе духоборовъ, переселившихся изъ Россіи въ Канаду. Позвольте мнѣ исправить тѣ неточности, которыя вкрались въ письмо г. Тверского.

Г-нъ Тверской пишетъ, что провинціи Манитоба и Ассинибойна не пригодны къ земледѣлію въ такой степени, что овесъ и ячмень вызрѣваютъ лишь въ три года разъ, а прошлымъ лѣтомъ картофель и капуста замерзли во всѣхъ селеніяхъ кромѣ одного. Работы зимой совсѣмъ нѣтъ, да и какая работа возможна при 50% ниже нуля по Фаренгейту.

Въ словарѣ Брокгауза и Ефрона, стр. 540 т. XVIII-й, находимъ, что въ провинціи Манитобѣ имѣются рощи дубовъ, вязовъ, клена, тополей и др. лиственныхъ породъ. „Особенно богаты урожаи пшеницы, которая вызрѣваетъ здѣсь въ 110 дней; всѣ другіе зерновые хлѣба, а также овощи произростаютъ успѣшно". Таковъ же климатъ и Ассинибойны. Но вотъ что̀ пишутъ сами духоборы. Анастасія Веригина, которую всѣ духоборы называютъ „бабушкой", мать извѣстнаго Петра Веригина, пишетъ: „Зима у насъ тоже перемѣнчивая. Съ осени долго не было снѣга, но морозы держали сильно. Послѣ Рождества Христова на Крещеніе была оттепель и шелъ дождикъ, такъ что даже снѣгъ, было-выпавшій на три вершка, весь потаялъ. Послѣ того снѣгъ выпалъ на двѣ четверти и стали морозы. Самые сильные морозы не превышали 35 градусовъ". Духоборъ Өедоръ Вышловъ пишетъ: „Въ настоящее время, 21 февраля 900 г., мы занимаемся работой по домашности, рубимъ и возимъ лѣсъ, а нѣкоторые—на зимнихъ заработкахъ желѣзныхъ дорогъ... Въ прошломъ году урожай былъ въ полномъ изобиліи, только кое-гдѣ по низкимъ, болотистымъ мѣстамъ морозъ повредилъ картофель, но это рѣдко случалось. Да еще очень жаль, что въ Россіи народу много страдаетъ отъ голода". Духоборъ Өедоръ Рязанцевъ пишетъ: „Съ сосѣдями мы живемъ—ладимъ. Сосѣди—англичане, и есть индѣйцы, также народъ смирный. По землѣ сѣяли пшеницу, жито, овесъ, ячмень, капусту, картофель, бураки, морковь. Это все выросло хорошо. Зима ложится съ Рождества Христова, а растаиваетъ и въ

прошломъ году, и въ нынѣшнемъ году 25 марта, т.-е. на Благовѣщеніе".

Что касается до калифорнскихъ удобствъ, то г. Тверской указываетъ на то, что тамъ отводилась земля чрезвычайно дешево, по $2^1/_2$ доллара за акръ; но надобно сказать, что эта земля, для приведенія въ культурное состояніе, требовала очень большихъ затратъ, быть можетъ, совершенно непосильныхъ для разстроеннаго переселеніемъ хозяйства духоборовъ. Между тѣмъ какъ въ Канадѣ они могли пахать прямо степную цѣлину, земля отводилась совершенно безплатно, по 160 акровъ на мужскую душу, начиная съ 18-лѣтняго возраста, да на первоначальное устройство и прокормленіе было ассигновано канадскимъ правительствомъ 35.000 долларовъ. Какъ ни трудно духоборамъ устроиваться въ Канадѣ, но дикимъ и фанатичнымъ ихъ поведеніе назвать нельзя.

Скажу еще нѣсколько словъ о такъ называемыхъ *духоборческихъ вожакахъ изъ интеллигентовъ*. Можетъ быть, это покажется страннымъ, но я долженъ сказать, что едва ли они существуютъ. Весьма сожалѣю, что г. Тверской назвалъ лишь одну фамилію—Бодянскаго. Интеллигентные люди служили духоборамъ въ качествѣ провожатыхъ, въ качествѣ переводчиковъ при какихъ-либо переговорахъ и въ качествѣ медицинскаго персонала. Никто изъ этихъ людей не проповѣдывалъ духоборамъ тѣхъ нелѣпостей, о которыхъ упоминаетъ г. Тверской. Если же г. Бодянскій проповѣдывалъ г. Тверскому о спасительности питанія немолотымъ зерномъ, неупотребленія желѣза и пользы „терпѣнія и околѣванія", то эта проповѣдь должна быть всецѣло поставлена на счетъ одному г. Бодянскому, который былъ, какъ говорятъ, раньше харьковскимъ помѣщикомъ, потомъ переѣхалъ за границу, а въ Канаду попалъ уже послѣ переселенія духоборовъ, и ни вожакомъ, ни руководителемъ ихъ быть названъ не можетъ. Духоборы—не дѣти. Они прекрасно понимаютъ, что̀ для нихъ выгодно и что̀—нѣтъ. Среди ихъ дѣйствительныхъ вожаковъ можно назвать духоборовъ: Ивина, прибывшаго въ Канаду еще въ 1898 г., для предварительнаго осмотра земельныхъ участковъ, Махортова, Верещагиныхъ, Чернова, Попова, Рязанцевыхъ, Зыбина, Горькихъ и многихъ другихъ. Всѣ общественныя дѣла духоборовъ рѣшаются никакъ не по указу того или иного вожака, но согласно постановленію совѣта „стариковъ" въ каждомъ отдѣльномъ поселкѣ, или по постановленію „съѣздки", если дѣло касается нѣсколькихъ поселковъ. На этихъ совѣтахъ или съѣздкахъ могутъ, конечно, вноситься предложенія и лицъ интеллигентныхъ живущихъ съ духоборами, или принимающихъ участіе въ ихъ судьбѣ, но рѣшающее слово принадлежитъ, все-таки, „старичкамъ", а „старички"

не хуже людей понимаютъ достоинство и желѣзнаго плуга, и молотаго зерна, и мягкой подушки.

Въ заключеніе, для того чтобы объяснить одну изъ причинъ тяжелаго матеріальнаго положенія духоборовъ, позволю себѣ привести еще одну выдержку изъ письма духоборовъ, Чернова и Верещагина: „Дома наши (на Кавказѣ) и все недвижимое имущество еще при насъ, по распоряженію правителя на Кавказѣ, были произведены въ оцѣнокъ, и стоимость каждаго карсское правительство записало. Они же увѣряли—деньги за ваши дома вамъ вышлютъ въ слѣдъ“. По разсчетамъ —быть можетъ, ошибочнымъ—духоборовъ, сумма этихъ денегъ должна быть значительна, но до сихъ поръ они не успѣли получить ее.

Что же касается до замѣчанія г. Тверского, что духоборы попали „изъ огня да въ полымя“, т.-е. съ Кавказа въ Канаду, то объ этомъ надобно предоставить судить имъ самимъ.—Примите и пр.

А. Сакмаровъ.

12 мая, 1900 г.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ

1 іюня 1900.

— Исторія русской церкви. Е. Голубинскаго, бывшаго профессора Московской духовной академіи. Періодъ второй, Московскій. Томъ II, отъ нашествія Монголовъ до митрополита Макарія включительно. Первая половина тома. („Чтенія въ моск. Обществѣ исторіи и древностей россійскихъ“, 1900, книга первая).

Трудъ г. Голубинскаго, давно начатый (первый томъ, въ двухъ большихъ книгахъ, вышелъ двадцать лѣтъ тому назадъ) и надолго, не по волѣ автора, прерванный, пользуется такою извѣстностью и, для многихъ, авторитетомъ, что продолженіе его встрѣчено будетъ съ великимъ интересомъ всѣми любителями и спеціалистами русской исторіи. Второй томъ, какъ раньше первый, издается въ двухъ половинахъ: первыя двѣ каждая сама по себѣ составляли громадныя книги; настоящая „половина“ заключаетъ 920 страницъ большого формата и плотной печати,—онѣ смѣло могли бы выходить не съ именемъ половинъ, а настоящихъ томовъ. Въ этихъ обширныхъ „томахъ“ заключенъ и обширный объемъ самаго историческаго замысла и переработаннаго авторомъ матеріала.

Размѣры дѣйствительно широкіе не только по внѣшнему количеству матеріала, но и по самостоятельной критикѣ. Сужденія автора—всегда собственныя: авторитетъ чужого мнѣнія для него, кажется, не существуетъ или, по крайней мѣрѣ, принимается только послѣ собственнаго разбора. Довольно извѣстно, что подобныхъ самостоятельно выполняемыхъ трудовъ не много въ нашей исторической литературѣ, и отсюда виденъ одинъ источникъ значенія книги г. Голубинскаго. Другую привлекательную сторону его „Исторіи“ представляетъ, по крайней мѣрѣ для насъ, особая манера его изслѣдованія: изучаемое явленіе, событіе, историческое лицо, не остаются для него индифферентными дѣлами далекаго прошлаго; историкъ старается перенестись въ условія времени, въ психологію древнихъ людей, угадать ихъ мысли и желанія, и этимъ путемъ разъяснить истинный смыслъ

событій,—что̀ и есть искомое историческаго изслѣдованія. Самостоятельная критика автора нерѣдко не сходилась съ общераспространенными взглядами, и если, какъ выше замѣчено, для многихъ его выводы были цѣнны и авторитетны, то не для всѣхъ; иные относятся къ его выводамъ положительно враждебно.

Въ этомъ отношеніи „Исторія" г. Голубинскаго сама имѣетъ исторію.

Новый томъ „Исторіи" посвященъ авторомъ памяти пр. Макарія, митрополита московскаго. Побужденіемъ къ этому была глубокая признательность за то, что пр. Макарій, въ бытность его митрополитомъ московскимъ (1879—1882), когда издавался первый томъ сочиненія г. Голубинскаго, „доставилъ автору возможность напечатать этотъ первый томъ и при этомъ явилъ себя его благожелательнымъ покровителемъ". Благожелательство и покровительство дѣйствительно заслуживали всякаго уваженія и не были дѣломъ обыкновеннымъ. Прежде всего новый историкъ русской церкви являлся своего рода соперникомъ. Извѣстный трудъ самого митр. Макарія, при всѣхъ его великихъ заслугахъ (между прочимъ, онъ извлекъ изъ рукописей множество новыхъ данныхъ для исторіи древней русской церкви), не вполнѣ удовлетворялъ критическимъ требованіямъ въ самомъ опредѣленіи исторической дѣйствительности,—оно часто было сдѣлано одностороннимъ образомъ. Какъ еще при первыхъ томахъ „Исторіи" пр. Макарія относилась къ ней болѣе требовательная критика, можно видѣть изъ разбора книги, написаннаго въ свое время Н. Гиляровымъ-Платоновымъ (повторено въ первомъ томѣ его „Сочиненій", 1899): отзывъ былъ почти враждебный. У новаго историка русской церкви пр. Макарій долженъ былъ увидѣть если не враждебное, то все-таки недовѣрчивое отношеніе къ его собственному труду, и тѣмъ не менѣе онъ оказалъ новому историку благожелательное покровительство, которое приносило великую честь его ученому безпристрастію. Оно очень рѣдко въ нашихъ нравахъ, и въ данныхъ условіяхъ было тѣмъ болѣе замѣчательно, что по характеру книги можно было ожидать, что она вызоветъ въ кругу научныхъ старовѣровъ немалыя нареканія,—что̀ и случилось. Постановка историческихъ вопросовъ о древне-русской исторіи, въ первомъ томѣ книги г. Голубинскаго, вызываетъ эти нареканія и до сихъ поръ.

При самомъ началѣ своего труда г. Голубинскій высказалъ свою точку зрѣнія, которая должна была навлечь ему не мало враговъ. Онъ сдѣлалъ это въ своей вводной рѣчи на докторскомъ диспутѣ, въ декабрѣ 1880 года: эта рѣчь была имъ напечатана въ приложеніи ко второй половинѣ перваго тома. Приводимъ изъ нея нѣсколько словъ.

„Быть историкомъ, — говорилъ г. Голубинскій, — въ нѣкоторомъ отношеніи почти такъ же щекотливо, какъ быть публицистомъ. Исторія какого бы то ни было общества не можетъ быть похвальнымъ словомъ ему или панегирикомъ, а должна быть точнымъ воспроизведеніемъ его прошедшей жизни со всѣми достоинствами и недостатками этой послѣдней; иначе она утратитъ весь свой смыслъ и перестанетъ быть исторіей. Но, говоря о недостаткахъ прошедшаго времени, иногда невозможно бываетъ не захватывать до нѣкоторой степени настоящаго, по той очень простой причинѣ, что иногда прошедшее еще продолжаетъ болѣе или менѣе оставаться настоящимъ. Такимъ образомъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ историкъ волей-неволей становится отчасти публицистомъ. Между тѣмъ есть люди, которые смотрятъ на это своими глазами,—которые, отдавая въ полное распоряженіе историка прошедшее, желали бы предъявлять къ нему требованіе, чтобы онъ, какъ знаетъ, тщательно обходилъ настоящее, хотя бы то и съ явнымъ ущербомъ для исторіи, т.-е. хотя бы во избѣжаніе рѣчей о настоящемъ ему приходилось отказываться отъ полныхъ и отъ должныхъ рѣчей и о прошедшемъ. Обязанъ ли историкъ подчиняться этому требованію? Еслибы онъ подчинился требованію, то, допуская умолчанія, онъ былъ бы вынужденъ кривить своею совѣстью; а какъ скоро онъ дозволитъ себѣ это, то исторія—уже не исторія. Я съ своей стороны держался того мнѣнія, что лучше подвергнуться упрекамъ людей, предъявляющихъ къ наукѣ ненаучныя и внѣ-научныя требованія, чѣмъ отказаться отъ обязанности быть историкомъ по искренней совѣсти“.

По смерти пр. Макарія, условія труда для г. Голубинскаго, повидимому, стали крайне неблагопріятными: „благожелательнаго покровительства“ уже не было. Второй томъ появляется только черезъ девятнадцать лѣтъ послѣ перваго. „Промежутокъ годовъ такой,—говоритъ авторъ,—что, бывъ во время печатанія перваго тома человѣкомъ зрѣлыхъ лѣтъ, печатаю второй томъ сѣдымъ старикомъ. Относительно этого чрезвычайнаго, не по моей доброй волѣ случившагося, замедленія могу только сказать, что оно крайне для меня прискорбно“... „Приготовивъ второй томъ къ печати вслѣдъ за первымъ, но не видѣвъ возможности напечатать его, я поступилъ съ нимъ такъ, какъ и долженъ былъ поступить, т.-е. положилъ его въ ящикъ“...

Таковъ былъ результатъ того историко-критическаго пріема, который примѣненъ былъ г. Голубинскимъ въ его ученомъ трудѣ, и который объясненъ въ упомянутой вступительной рѣчи 1880 года. Напомнимъ, что первый томъ сочиненія обнимаетъ исторію русской церкви только въ древнѣйшемъ періодѣ, до монгольскаго ига: такимъ образомъ даже здѣсь найдены были излишества, и вѣроятно преду-

бѣжденіе, или вражда. противъ автора были достаточно сильны, если побудили его положить свой трудъ „въ ящикъ“ на цѣлыхъ девятнадцать лѣтъ. Нельзя не пожалѣть, что къ этому могутъ приводить условія, въ какихъ находится наша наука—даже о древнемъ періодѣ нашей исторіи и даже относительно такого серьезнаго и заслуженнаго ученаго, какъ Е. Е. Голубинскій.

Въ дѣйствительности, въ его книгѣ, прежней и новой, вовсе нѣтъ чего-либо чрезвычайнаго, чѣ̀ оправдывало бы научно-цензурныя опасенія, и относительно перваго тома довольно вспомнить, что столь компетентный знатокъ, какъ митрополитъ московскій Макарій, въ свое время оказалъ этому труду благожелательное покровительство...

Нѣсколько отдѣльныхъ главъ сочиненія было напечатано въ 1890-хъ годахъ въ „Богословскомъ Вѣстникѣ“, и заставляли желать выхода въ свѣтъ цѣлаго сочиненія.

Въ предисловіи авторъ высказывается противъ извѣстнаго дѣленія исторіи русской церкви на пять періодовъ у пр. Филарета, и на три —у пр. Макарія. „Что касается до пр. Филарета, то „раздѣленіе митрополіи“ (1410 г.), т.-е. отдѣленіе въ особую отъ Москвы митрополію кіевской или юго-западной Руси, не имѣло для первой ни малѣйшаго внутренняго значенія, а лишь внѣшнее значеніе сокращенія предѣловъ ея церковной области“ (причемъ невѣрно было и указаніе на 1410 годъ, такъ какъ послѣ нѣскольких временныхъ раздѣленій постоянное раздѣленіе началось только послѣ 1458 года), „а что учрежденіе патріаршества, состоявшее только въ переименованіи высшаго предстоятеля русской церкви изъ митрополитовъ въ патріархи, не произвело ни малѣйшей перемѣны въ жизни и бытѣ церкви, это говоритъ и самъ пр. Филаретъ. Раздѣленіе пр. Макарія и неправильно, и неудовлетворительно: во-первыхъ, русская церковь перестала быть фактически зависимою отъ константинопольскихъ патріарховъ не со времени только учрежденія у насъ собственнаго патріаршества, а гораздо ранѣе; во-вторыхъ, пр. Макарій соединяетъ въ одинъ періодъ самостоятельности несомнѣнно особыя одно отъ другого времена—патріаршеское и синодальное“. Самъ авторъ предпочитаетъ иное дѣленіе періодовъ, для иныхъ, можетъ быть, нѣсколько странное, но по его мнѣнію правильное и уже принятое для исторіи гражданской, именно дѣленіе топографическое: періоды кіевскій, московскій, петербургскій, представляющіе собой различные характеры гражданской и церковной жизни общества.

„Топографія,—говоритъ авторъ,—проявляетъ свое вліяніе въ исторіи, когда играетъ роль одного изъ дѣлителей послѣдней на періоды, двоякимъ образомъ—или такъ, что новая мѣстность условливаетъ новую противъ предшествующей жизнь; или, наоборотъ, такъ,

что новая жизнь требуетъ новой мѣстности. У насъ было и то и другое: съ перенесеніемъ центра жизни съ юга на сѣверъ, изъ Кіева во Владиміръ—Москву, начался новый противъ предшествующаго, условливаемый мѣстностью (подразумѣвается—не исключительно ею одною), періодъ жизни государственной и церковной; начатый Петромъ Великимъ, новый періодъ той и другой жизни потребовалъ перенесенія центра жизни на новое мѣсто, изъ Москвы въ Петербургъ".

Въ московскомъ періодѣ авторъ принимаетъ, однако, два отдѣла: одинъ—до временъ митр. Макарія, или до Стоглава, въ половинѣ XVI вѣка, и другой—до начала синодальнаго управленія. Въ настоящемъ томѣ излагается исторія этого перваго отдѣла; и именно по способу, принятому въ первомъ томѣ, сначала передается внѣшняя хронологическая исторія, въ видѣ послѣдовательныхъ біографій митрополитовъ, насколько біографіи возможны по скуднымъ извѣстіямъ лѣтописей; затѣмъ вторая половина тома будетъ посвящена внутренней жизни церкви—управленію, просвѣщенію, богослуженію и т. д.

Надо надѣяться, что авторъ поведетъ теперь безостановочно и безъ помѣхъ продолженіе своего замѣчательнаго труда. Общіе обзоры подобнаго рода имѣютъ великую важность: съ одной стороны они объединяютъ то, что̀ собрано до тѣхъ поръ изслѣдованіемъ; съ другой, даютъ провѣрку частныхъ выводовъ и вновь строятъ историческую систему,—которая и есть послѣдняя цѣль научныхъ исканій. Новый историческій обзоръ можетъ быть особенно поучителенъ въ рукахъ столь опытнаго и самостоятельнаго критика, какъ г. Голубинскій.—
А. Пыпинъ.

— Т. Осадчій. Силы деревни. Хроника. (1870—1900 г.). М. 1900.

Имя автора извѣстно тѣмъ, кто занимается изученіемъ современнаго народнаго быта, въ частности сельско-хозяйственнаго положенія крестьянства. Г. Осадчему принадлежитъ нѣсколько книгъ и брошюръ по этому послѣднему вопросу въ Херсонской губерніи, и вообще на югѣ Россіи: рядомъ съ этимъ автора занималъ вопросъ объ „образованныхъ земледѣльцахъ". Настоящая книжка посвящена тѣмъ же предметамъ. Авторъ самъ—человѣкъ изъ народа, знающій сполна его бытъ, его нужды, и проникнутый желаніемъ служить народному интересу своими изученіями современнаго положенія вещей.

Такимъ настроеніемъ отличается книга, гдѣ авторъ дѣлаетъ опытъ историческаго взгляда на судьбу деревни за послѣднія тридцать лѣтъ. „Хроника" есть, вмѣстѣ, и автобіографія: авторъ разсказываетъ о судьбахъ деревни въ связи съ личными испытаніями со временъ дѣтства и до зрѣлаго возраста. Въ цѣломъ книга не лишена интереса:

въ ней есть живые эпизоды, характерныя черты деревенскихъ дѣлъ и нравовъ,—но есть и недостатки.

Форма хроники повидимому простая и удобная; на дѣлѣ, однако, требуется не мало искусства, чтобы личная исторія могла охватить и изобразить тѣ общія историческія явленія, которыя авторъ именно хотѣлъ имѣть въ виду. Въ книгѣ находимъ, напримѣръ, такія темы: шестидесятые годы, сдача крѣпостного права въ архивъ;—семидесятые годы, разцвѣтъ деревни и его результаты;—недоступность образованія для крестьянина;—земельный передѣлъ;—разореніе помѣщиковъ;—неблагодарные сыны своего народа;—общественная дѣятельность земледѣльца; — сельская интеллигенція на распутьи, и т. д, Связать все это съ личной исторіей нелегко, и дѣйствительно, авторъ постоянно переходитъ отъ этой исторіи къ общимъ разсужденіямъ, для которыхъ она собственно даетъ часто очень мало матеріала: самая область наблюденій ограничивается, повидимому, одной Новороссіей. Авторъ ставитъ себѣ слишкомъ широкую задачу, когда кромѣ разсказчика личныхъ воспоминаній хочетъ быть также публицистомъ, и думаетъ притомъ, что надо украсить разсказъ и беллетристическими оборотами,—которые въ извѣстныхъ случаяхъ бываютъ совсѣмъ неумѣстны. Между прочимъ, отъ стремленія къ беллетристикѣ и къ изысканнымъ словамъ теряется ясность.

„Село Трилѣсы *выдѣлялось* среди богатой украинской природы. Раскинутое на ровной поверхности при большомъ озерѣ, оно утопало въ зелени" и т. д., но чѣмъ оно „выдѣлялось", остается неизвѣстно.

Когда наступило освобожденіе крестьянъ, управители помѣщика, которому село принадлежало, старались, сколько можно, сократить крестьянскій надѣлъ. „На этой почвѣ и возникали недоразумѣнія. Обрѣзка крестьянскихъ надѣловъ совершалась *не столько въ натурѣ*, сколько на бумагѣ (?), а въ этой области крестьяне, какъ извѣстно, безсильны". Но сейчасъ же оказывается, что крестьяне не хотѣли пользоваться отведенной имъ (повидимому, и въ натурѣ, и на бумагѣ) землей, опасаясь какой-нибудь ловушки. „Въ концѣ концовъ крестьяне не обработывали отведенной земли два года, впали въ нищету и накопили большія недоимки выкупа. Отчасти внѣшнія условія, но больше всего невѣдѣніе—боязнь возврата крѣпостного права—поставили крестьянъ въ заколдованный кругъ". Но за недоимки пришлось, однако, расплачиваться. „Кто отчитался лично, а кто имущественно, и прежній режимъ былъ безвозвратно похороненъ (?). Это была послѣдняя печальная исторія, возникшая на почвѣ крѣпостного права и тѣхъ *условій*, которыя имъ *обусловливались*", и пр. (стр. 1—3).

Къ этому времени относится рожденіе того Звонаря, котораго жизнеописаніе составляетъ рамку изображенія „Силъ деревни". Слѣ-

дуетъ беллетристическое описаніе дѣтства героя, мечтательнаго и запуганнаго мальчика. Далѣе: „Семидесятые *годы* для трилѣсскаго крестьянина повѣяли *чуднымъ ароматомъ*“ (!) и т. д. Мальчикъ желалъ учиться, и отецъ отдалъ его въ городскую школу; ему хотѣлось большаго, но кое-какія знанія онъ все-таки пріобрѣлъ, напр. выучился ариѳметикѣ. Въ это время въ немъ сказалась одна черта характера: „родители называли эту черту упрямствомъ; въ *эволюціонномъ же развитіи* она выражалась настойчивымъ преслѣдованіемъ опредѣленной цѣли“. Между прочимъ, эта настойчивость проявилась, когда шестнадцатилѣтняго Звонаря, какъ знающаго ариѳметику, крестьяне привлекли къ провѣркѣ суммъ, находившихся у отстраненныхъ деревенскихъ заправилъ. Учетъ, конечно, обнаружилъ злоупотребленія. Звонарь радовался, что послужилъ правдѣ: „ему и въ голову не приходило, что за это онъ можетъ сильно поплатиться“. Онъ поплатился тѣмъ, что вскорѣ въ одну прекрасную ночь домъ его отца сгорѣлъ отъ поджога.

Modus vivendi—конечно, достаточно дикій; но черезъ нѣсколько страницъ тотъ же Звонарь весьма пренебрежительно относится къ деревенскому учителю, который жаловался на сельскихъ согражданъ, учинившихъ съ нимъ подобную же дикую вещь.

Дѣло было такъ.

„—Разскажу же я вамъ свой опытъ, если вы сами отъ крестьянъ не слыхали про него,—началъ учитель.—Теперь, видите, модный вопросъ объ учительскихъ курсахъ по сельскому хозяйству. Позапрошлый годъ я и раздумываю, гдѣ бы убить лѣто, а тутъ бумага инспектора о курсахъ по садоводству—я и согласился. Слушалъ я ихъ и въ земледѣльческомъ училищѣ, а затѣмъ, пріѣхавъ, хотѣлъ ознаменовать это событіе чѣмъ-нибудь вещественнымъ. Полагалъ развести садикъ при школѣ на общественной землѣ. Крестьяне не знали моихъ мотивовъ, не знали, конечно, и о моихъ курсахъ, и усмотрѣли въ моихъ дѣйствіяхъ что-то такое, которое можетъ повести къ новому налогу. Списывался я съ земствомъ насчетъ субсидіи для устройства сада,—отказали; тогда я на собственныя кровныя посадилъ полторы сотни плодовыхъ деревьевъ; производилъ потомъ поливку, ну, словомъ, радѣлъ о нихъ сколько могъ, и что же вышло?.. все пропало.

— Какъ пропало?—спросилъ Звонарь.

— Да просто, пришли крестьяне толпой и вырвали деревья.

— Какимъ же образомъ все это произошло?

— Да очень просто,—повторилъ учитель,—дѣло произошло такъ, какъ всегда происходитъ въ подобныхъ случаяхъ. Собралась сходка; кто-то изъ крестьянъ и говоритъ: „учитель садъ разводитъ на нашей землѣ, вѣроятно хочетъ присвоить себѣ школьный участокъ“. „При-

своить-то ему не удастся, а вотъ взыскать съ насъ за разведеніе деревьевъ, деньги-то онъ навѣрное взыщетъ",—говоритъ другой. „Еще бы не взыщетъ, не въ видѣ же благодѣянія вѣдь онъ разводитъ для нашихъ дѣтей садъ, — говоритъ третій. — Черезъ годъ, два учитель переведется въ другое мѣсто и потребуетъ за разведеніе сада нѣсколько сотъ рублей". Судили, обсуждали и рѣшили уничтожить мою посадку. Дикари и конецъ. Ты имъ добро, а они тебѣ камень; я вотъ съ этихъ поръ и рѣшился знать лишь программу и дѣтишекъ.

„Такое заключеніе Звонарь слыхалъ уже и отъ священника, и отъ богатѣевъ, и лишь теперь нашелся на него отвѣтить.

— Дѣло здѣсь больше, чѣмъ понятно, — проговорилъ Звонарь.— Ни крестьянинъ васъ, ни вы крестьянина не понимаете ни на одну іоту: вы его зовете дикаремъ, а онъ васъ—представителемъ панства, человѣкомъ, живущимъ привилегіями, — по недоразумѣнію, конечно. Онъ не знаетъ особыхъ вашихъ свойствъ и побужденій; крестьянинъ беретъ васъ тѣмъ, какимъ онъ привыкъ всегда видѣть человѣка, стоящаго выше него. Онъ знаетъ по опыту, что наша братія за каждую услугу желаетъ получить порядочную мзду,—такъ истолковываетъ и вашъ поступокъ. Это — отношенія, созданныя всею нашею исторіею. Нужно разубѣдить его, что нашъ братъ въ пиджакѣ не имѣетъ ничего общаго съ тѣми пиджаками, которые кромѣ зла ничего ему не несли. А пока мы будемъ идти проторенною дорожкою, смотря на него, какъ на существо низшей породы, до тѣхъ поръ, конечно, нечего ждать пониманія другъ друга.

„Учитель ничего не отвѣтилъ на эти слова Звонаря, которыхъ онъ хорошенько и не понялъ" (стр. 64—65).

Было бы не удивительно, если бы и дѣйствительно не понялъ; и самъ Звонарь сознается, что не вдругъ „нашелся отвѣтить", когда подобное заключеніе о деревенскихъ нравахъ слышалъ отъ священника.

Что̀ же представляютъ поученія самого Звонаря,—или автора?— „Нужно разубѣдить" крестьянъ, что, напр., школьный учитель — не врагъ ихъ; но самъ авторъ долженъ чувствовать, что это не такъ легко, потому что недовѣрчивыя отношенія крестьянъ къ людямъ не ихъ круга, въ которыхъ они подозрѣваютъ недоброжелательство,— „отношенія, *созданныя всею нашею исторіею*". И эту исторію долженъ сразу передѣлать одинъ учитель! Крестьянинъ „знаетъ по опыту" и т. д.; но учитель для нихъ не начальство, и если Звонарь поучаетъ, что „нужно разубѣдить" ихъ, то, съ другой стороны, можно бы думать, что и крестьянамъ подобало бы сначала поговорить съ учителемъ по-человѣчески о своихъ опасеніяхъ, а не идти прямо вырывать деревья, т.-е. совершать несомнѣнно дикое дѣло.

Примѣровъ подобнаго рода въ разныхъ формахъ народная жизнь, къ сожалѣнію, представляетъ множество, и Звонарь совсѣмъ напрасно вооружился противъ „учителя“: причина недоразумѣній и столкновеній—не только „исторія“, но и современное положеніе народной жизни. Сколько бы мы ни сочувствовали и ни желали всякихъ благъ народу, одно изъ первыхъ, надо признать въ немъ крайне слабое развитіе такъ называемой культуры, отчего въ значительной мѣрѣ зависитъ его великое бѣдствіе—безсиліе справиться съ новыми условіями его хозяйственнаго быта.

Разсказывая различные эпизоды деревенскаго быта, авторъ не могъ не коснуться „капитализма“, который приноситъ „новую систему земледѣлія“. Борьба уже началась; „технически отсталое хозяйство“ падаетъ, и крестьянамъ остается нищать и изъ южной Россіи бѣжать въ Уссурійскій край, гдѣ еще можно существовать технически отсталымъ хозяйствомъ... Авторъ описываетъ собраніе, гдѣ представители „капитализма“ смѣло и увѣренно разсуждали о новыхъ мѣрахъ для развитія своего дѣла, „соприкасавшагося съ распродажей крестьянскаго скота и съ уменьшеніемъ потребности въ рабочей силѣ человѣка“, т.-е. съ удаленіемъ крестьянъ въ Уссурійскій край. Объ этомъ послѣднемъ собраніе не думало: это—не его дѣло; оно заботилось только о своихъ интересахъ. Рѣшеніе крестьянскаго вопроса „должно происходить гдѣ-то въ другомъ мѣстѣ и въ другомъ составѣ лицъ и спеціалистовъ“.

Самъ авторъ выводитъ изъ этого слѣдующее справедливое заключеніе: „Нужно, значитъ, и остальнымъ земледѣльцамъ (не капиталистамъ) учиться у этихъ піонеровъ культуры сплоченію и работѣ, не покладая рукъ, пока и они не станутъ такой же, а можетъ быть, еще большею культурной силой. Лишь тогда станетъ невозможнымъ положеніе, при которомъ одна группа диктуетъ условія жизни и смерти для другой, лишь тогда найдется для всѣхъ работа и средства существованія. Царство правды, котораго такъ жаждутъ люди, само собой не снизойдетъ откуда-то; сами же эти люди должны создать его“.

Авторъ исполненъ надеждами на вѣкъ наступающій. „Этотъ вѣкъ долженъ будетъ утвердить ту истину, что не человѣкъ существуетъ для производства и культуры, а производство и культура для человѣка. Утвердить и провести въ жизнь эту истину—вотъ задача этого вѣка.

„И съ нею онъ справится такъ же благополучно *и мирно*, какъ справился истекающій вѣкъ съ не менѣе важными задачами, полученными въ наслѣдіе отъ своего предшественника. Задача двадцатаго вѣка облегчается еще тѣмъ, что прежній составъ интеллигентныхъ силъ пополняется новыми силами, которыя, съ одной стороны, несутъ

въ сокровищницу культуры и накопленныхъ знаній опытъ обширныхъ по составу массъ (?), съ другой—сообщаютъ родственнымъ имъ массамъ (?) завоеванія и этой культуры, и этихъ знаній. И нѣтъ той силы, которая задержала бы на одной ступени развитіе. И условія благопріятныя, которыя люди привѣтствуютъ, и условія неблагопріятныя развитію, съ которыми они вѣчно съ проклятіемъ борются, содѣйствуютъ этому развитію" (стр. 216—217).

Не совсѣмъ ясно, о чемъ говоритъ авторъ — о цѣломъ европейскомъ человѣчествѣ или только русскомъ народѣ: но ни къ тому, ни къ другому не подходитъ замѣчаніе, что исходящій вѣкъ „мирно" совершалъ свои задачи,—напротивъ, весьма не мирно. Не пускаясь въ широкія соображенія, самъ авторъ проще и вѣрнѣе указывалъ состояніе „задачъ" на фактахъ, когда за нѣсколько страницъ (205 и слѣд.) изображалъ крестьянскіе „бунты", между прочимъ войну бабъ съ полицейскими силами,—изъ-за хлѣба. А еще ближе (стр. 212) авторъ особенно подчеркиваетъ свой выводъ, будто бы нѣсколько научившійся крестьянинъ „оказывается какъ бы совершенно излишнимъ на свѣтѣ". Откуда же увѣренность, что въ наступающемъ вѣкѣ все пойдетъ хорошо, гладко и мирно?

Авторъ, сколько намъ кажется, слишкомъ легко переходитъ отъ личныхъ опытовъ и наблюденій къ общимъ рѣшеніямъ — но личный опытъ все-таки тѣсенъ, а для общихъ рѣшеній нужно гораздо больше данныхъ, чѣмъ авторъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи. Отсюда неясности и противорѣчія. Гораздо лучше было бы, еслибы авторъ ограничился простымъ, но болѣе обстоятельнымъ изложеніемъ прямыхъ своихъ наблюденій.

Мы остановились на этой книжкѣ какъ на одномъ изъ образчиковъ нарождающагося разряда литературы, который идетъ отъ людей изъ народа: есть авторы разсказовъ изъ народнаго быта, въ опрощенномъ стилѣ гр. Л. Н. Толстого; есть опыты публицистики, какъ настоящій. Конечно, одна принадлежность къ извѣстному классу не охранитъ здѣсь отъ теоретическихъ ошибокъ, даже и очень большихъ,—но было бы не лишено большой важности, еслибы изъ среды этого класса достигали правильно понятыя и точныя данныя о фактическомъ положеніи народа, матеріальномъ и нравственномъ; нечего говорить о томъ, какъ глубоко необходимо было бы, чтобы размножились эти сознательныя силы въ крестьянской средѣ и могли помочь ей освобождаться отъ окружающаго ее мрака.—Д.

— Littérature Russe, par K. Waliszewski. Paris, 1900.
— A History of Russian Literature. By K. Waliszewski. London, 1900.

Имя г. Валишевскаго, у насъ немногимъ знакомое,—ни одинъ изъ его трудовъ не являлся на русскомъ языкѣ,—пользуется большой извѣстностью въ западной литературѣ, гдѣ его, писанныя по-французски, книги о Петрѣ Великомъ и Екатеринѣ II выдержали много изданій и переводовъ (особенно на нѣмецкій и англійскій языкъ). Нѣсколько лѣтъ назадъ, въ „Вѣстникѣ Европы", было говорено объ его книгѣ, посвященной Петру Великому; еще болѣе извѣстныя сочиненія объ императрицѣ Екатеринѣ (Le roman d'une impératrice; Autour d'un trône) были въ нашей литературѣ едва упомянуты.

Новая книга его можетъ, конечно, внушить особенный интересъ. Историческій обзоръ литературы ставитъ вопросъ о цѣломъ историческомъ трудѣ народа, объ его умственномъ и нравственномъ достояніи и творчествѣ. Немногіе иностранные писатели брали на себя трудную—и отвѣтственную—задачу изображать этотъ цѣлый складъ русской жизни и содержанія. Большинству ихъ не удавалось найти настоящую точку зрѣнія, съ которой они могли бы понять и воспроизвести дѣйствительный характеръ и теченіе русской исторіи и особенности русской національности; обыкновенно, они не умѣли отдѣлиться отъ привычныхъ формъ европейской жизни, и новая форма ставила ихъ въ тупикъ. Большею частью эти писатели были также мало знакомы съ русскимъ языкомъ, слѣд. лишены были возможности непосредственнаго сближенія съ русскою жизнью. Г. Валишевскій не долженъ бы быть въ этомъ числѣ: онъ много изучалъ русскую исторію, бывалъ въ Россіи, знаетъ языкъ, по собственному чтенію знаетъ русскую литературу.

О послѣдней онъ издалъ теперь большую книгу, которая одновременно явилась на французскомъ и англійскомъ языкахъ. Въ предисловіи онъ, между прочимъ, высказываетъ благодарность своимъ русскимъ друзьямъ въ Парижѣ, и всего болѣе гг. Онѣгину и Щукину, которые помогали ему своими указаніями и библіотеками, — „qui comptent parmi les merveilles de Paris".

Вѣроятно одинъ изъ этихъ друзей, г. Щукинъ далъ недавно въ „Спб. Вѣдомостяхъ" (№ 130) характеристику литературной дѣятельности г. Валишевскаго по поводу его новой книги по русской исторіи: „L'héritage de Pierre le Grand. Règne des femmes; gouvernement des favoris, 1725—1741",—которой мы еще не имѣли въ рукахъ. Г. Щукинъ даетъ біографическія свѣдѣнія о писателѣ и защищаетъ его отъ нападеній, главною причиною которыхъ считаетъ его національность.

Г. Валишевскій (Казиміръ Феликсовичъ) род. въ 1849 въ русской Польшѣ, въ зажиточной семьѣ польскаго помѣщика, и на четвертомъ году лишился родителей, и остался на попеченіи опекуновъ: его отдали сначала въ варшавскую гимназію, потомъ въ іезуитскую коллегію въ Мецѣ. Господствовавшій въ коллегіи духъ не нравился питомцу, но зато онъ пріучился къ труду и, кончивъ тамъ курсъ, поступилъ сначала въ юридическій факультетъ въ Нанси, потомъ въ Ecole de droit въ Парижѣ. Франко-прусская война сдѣлала перерывъ въ его занятіяхъ: въ 1871, онъ отправился въ Лейпцигъ, откуда писалъ корреспонденціи въ „Варшавскую газету" (польскую). Вернувшись въ Парижъ, онъ получилъ степень доктора правъ, въ 1875, и ревностно занялся литературой, написалъ романъ, издалъ книжку стихотвореній. Въ семидесятыхъ годахъ онъ сблизился съ извѣстнымъ польскимъ историкомъ Шуйскимъ и занялся польской исторіей: онъ много работалъ въ парижскомъ архивѣ министерства иностранныхъ дѣлъ, разбиралъ архивы старыхъ польскихъ домовъ, издалъ томы историческихъ матеріаловъ и собственныхъ изслѣдованій по исторіи Польши, въ то же время писалъ во французскихъ журналахъ, варшавскомъ „Атенеѣ".

Въ 1887 году,—говоритъ г. Щукинъ,—вышелъ первый томъ обширнаго труда, задуманнаго Валишевскимъ: „Потоцкій и Чарторыйскій": „книга имѣла успѣхъ, но продолженія его не послѣдовало, ибо отношенія автора къ полякамъ успѣли къ этому времени значительно обостриться". Вмѣшавшись въ одинъ польскій практическо-общественный вопросъ, г. Валишевскій создалъ себѣ враговъ не только въ польскомъ обществѣ, но и въ средѣ польскихъ историковъ. На съѣздѣ этихъ историковъ во Львовѣ докладъ г. Валишевскаго не былъ допущенъ къ чтенію; изданный потомъ въ журналѣ, докладъ „вызвалъ яростныя нападки со стороны краковскихъ профессоровъ",—отвѣтъ на нихъ былъ данъ въ новой книгѣ: „Польша и Европа въ XVIII столѣтіи" (Краковъ, 1890). Съ тѣхъ поръ г. Валишевскій обратился къ занятіямъ русской исторіей: имъ написаны были названныя выше книги о Петрѣ В., о „Наслѣдствѣ Петра В.", объ Екатеринѣ II, хотя онъ обращался опять и къ исторіи польской, напр. въ книгѣ: „Marysienka, reine de Pologne".

Указавши недружелюбное отношеніе къ г. Валишевскому у русскихъ критиковъ, которое считаетъ несправедливымъ, г. Щукинъ такъ изображаетъ его литературное положеніе. „Поляки упрекали его за излишній, по ихъ мнѣнію, сервилизмъ по отношенію къ Россіи, за симпатичные, часто восторженные отзывы о томъ или иномъ русскомъ дѣятелѣ. Въ Россіи, наоборотъ, проницательные добровольцы-цензоры усматривали въ его книгахъ скрытую ненависть, корили за недоста-

точно пылкое, иногда прямо холодное отношеніе къ своимъ героямъ. „Продался русскимъ“, говорили въ Краковѣ; „коварный ляхъ“, писали въ Петербургѣ. Кто же онъ въ дѣйствительности?“ — спрашиваетъ г. Щукинъ и сообщаетъ его литературную біографію, въ концѣ которой говоритъ: „Въ теченіе всей своей писательской дѣятельности онъ никогда не поддѣлывался къ господствующимъ теченіямъ, не былъ непримиримымъ польскимъ шляхтичемъ, но и не преображался въ квасного русака, а потому и не могъ угодить ни краковскимъ, ни петербургскимъ шовинистамъ“.

Воздавая похвалы сочиненіямъ г. Валишевскаго по русскому восемнадцатому вѣку, г. Щукинъ видитъ, однако, его слабыя стороны. Относительно своего историческаго пріема г. Валишевскій говорилъ, что „исторія представляется ему болѣе искусствомъ, чѣмъ наукой: не столько пристальнымъ изученіемъ, сколько непосредственнымъ проникновеніемъ достигается историческая истина... Полагая такимъ образомъ критерій исторической достовѣрности въ личныхъ свойствахъ изслѣдователя, нашъ авторъ совершенно послѣдовательно отличается крайнимъ субъективизмомъ: объективный анализъ, такъ называемая внутренняя критика, матеріальная по существу оцѣнка приводимыхъ свидѣтельствъ является у него самымъ слабымъ пунктомъ... Такіе взгляды болѣе осторожному историку, навѣрное, покажутся черезчуръ рискованными и мало научными, своего рода исторіографической ересью“. По крайней мѣрѣ, „въ данномъ случаѣ историкъ самъ предупреждаетъ читателя, что̀ собственно онъ хочетъ и можетъ ему дать“.

Послѣднее, конечно, облегчаетъ задачу критики, но „субъективная“ точка зрѣнія остается, тѣмъ не менѣе, рискованною. Исторія, или исторіографія, можетъ быть искусствомъ только въ одной своей части—въ изложеніи; но она есть несомнѣнно наука и въ самомъ началѣ, когда только усиленнымъ трудомъ надъ разысканіемъ достовѣрныхъ источниковъ, и затѣмъ логическимъ объясненіемъ явленій. полагаются основанія для возстановленія прошедшаго; она должна быть наукой и въ концѣ, когда въ результатѣ безконечной массы установленныхъ данныхъ должна быть построена цѣлая система развитія человѣческаго общества. Другой вопросъ, достигаетъ ли историческая наука этой послѣдней своей цѣли въ настоящую минуту; но во всякомъ случаѣ она къ ней стремится; что она совершаетъ въ этой области великія пріобрѣтенія, это очевидно для тѣхъ, кто сравнитъ современное положеніе историческаго знанія хотя бы съ тѣмъ, въ какомъ оно было въ началѣ столѣтія. То, о чемъ говоритъ г. Валишевскій, можетъ относиться только къ тѣмъ произведеніямъ, которыя отъ времени до времени резюмируютъ болѣе или менѣе самостоятельно уже добытый матеріалъ и стараются дать картину не

самаго исторического процесса, а его внѣшнія общественныя и личныя проявленія въ данную историческую минуту. Въ этомъ отношеніи г. Валишевскій дѣйствительно обладаетъ большимъ мастерствомъ; но собрать и въ живой картинѣ передать характерныя черты лица или данной общественной минуты, еще не всегда значитъ правильно уловить историческую истину. „Непосредственное проникновеніе", „субъективизмъ" слишкомъ легко могутъ быть произволомъ, и такъ какъ субъективно настроенный историкъ остается всего легче человѣкомъ своего ближайшаго круга, племени, общества, партіи, то здѣсь и является опасность той исключительности, которой именно долженъ остерегаться историкъ. Примѣры, приведенные въ упомянутой выше статьѣ г. Щукина, показываютъ, что г. Валишевскій подвергался подобнымъ укорамъ по поводу его книгъ по русской исторіи восемнадцатаго вѣка. Быть можетъ, укоры были преувеличены; но они не совершенно лишены основанія. Нѣчто подобное замѣчено было въ разборѣ его книги о Петрѣ Великомъ, въ „Вѣстникѣ Европы". Субъективная оцѣнка Петра, при всемъ удивленіи историка предъ его необычайной дѣятельностью, грѣшила тѣмъ, что не приняла достаточно во вниманіе историческаго положенія народа, и личные недостатки и крайности человѣка были взяты историкомъ въ такой мѣрѣ и съ такимъ забвеніемъ свойствъ цѣлой эпохи, что это помѣшало самой вѣрности общаго вывода,—хотя въ то же время въ книгѣ есть картины чрезвычайно яркія и жизненныя. Такимъ образомъ, кромѣ „проникновенія" въ характеръ лица, кромѣ психологической отгадки, нужно еще сложное вниманіе къ цѣлой массѣ условій мѣста, времени, народнаго характера, бытовыхъ преданій и т. д.

Подобное мы встрѣтимъ и въ новой книгѣ г. Валишевскаго, посвященной русской литературѣ. Книга опять написана съ блестящимъ талантомъ и можетъ быть прочитана не безъ интереса и даже поучительности русскимъ читателемъ, какъ собраніе наблюденій талантливаго, самостоятельнаго писателя изъ чуждой среды, довольно хорошо (хотя не вполнѣ) вооруженнаго фактическими свѣдѣніями. Было бы слишкомъ долго останавливаться на ея подробностяхъ; но въ подтвержденіе того впечатлѣнія, о которомъ мы говоримъ, приводимъ также чужой судъ объ этой книгѣ. Англійское изданіе книги г. Валишевскаго вызвало разборъ ея въ журналѣ „Athenaeum" (1900, 31 марта). Англійскій критикъ не могъ, конечно, имѣть никакихъ національныхъ требованій или капризовъ критика русскаго, но и ему бросилась въ глаза та исключительность, о которой мы выше упоминали. Прибавимъ, что англійскій критикъ (не поставившій своего имени) обнаруживаетъ хорошее знаніе русской литературы.

Англійскій критикъ прямо начинаетъ замѣчаніемъ: „Мы всѣ знаемъ,

какъ трудно людямъ одного народа войти съ сочувствіемъ въ національный духъ другого народа, и свѣжій примѣръ этому представляетъ намъ „Исторія русской литературы“ г. Валишевскаго. Кто-то замѣтилъ, что нѣмецкіе и русскіе новеллисты никогда не были способны начертить сочувственное изображеніе французской женщины; имъ всегда недоставало тонкихъ линій, и портретъ выходилъ карикатурный. Мы опасаемся, что русская литература стоитъ къ г. Валишевскому въ томъ же отношеніи, какъ настоящая француженка къ добросовѣстному нѣмецкому новеллисту. Всегда онъ ее невѣрно понимаетъ и невѣрно объясняетъ, хотя сильно работаетъ надъ тѣмъ, чтобы сдѣлать свое изображеніе аккуратнымъ, полнымъ и разъясняющимъ. Г. Валишевскій есть писатель ученый и живой; онъ имѣетъ свои многія достоинства; онъ изслѣдовалъ свой предметъ съ усердіемъ; онъ смѣлъ въ теоріи и владѣетъ сполна подробностями, но—ему видимо недостаетъ сочувствія и внутренняго пониманія, и свое собственное положеніе, именно положеніе французскаго поляка, сплошь полувраждебное русскому духу, онъ старается открыть англійскому читателю“.

„Онъ несочувственно относится къ русскому генію, такъ какъ, съ одной стороны, придаетъ слишкомъ большую важность происхожденію идей главныхъ русскихъ писателей; онъ полагаетъ, что побѣдоносно вывелъ Толстого изъ Будды и Христа, Достоевскаго изъ Руссо̀, и всякаго другого замѣчательнаго русскаго изъ какого-нибудь другого замѣчательнаго европейца, и въ концѣ концовъ фальсифицируетъ свою оцѣнку каждаго значительнаго писателя, пользуясь академическими мѣрками“. Критикъ указываетъ, что вовсе не такъ важно то, откуда берутся идеи, а то, какое дается имъ употребленіе; девять десятыхъ великихъ писателей въ каждой странѣ были велики именно тѣмъ, что были теплой и плодоносной почвой, въ которой оплодотворялись и пробивались на свѣтъ національный геній, его унаслѣдованныя тенденціи и его скрытыя силы. Въ этомъ смыслѣ англійскій критикъ находитъ, что, напр., ученіе Толстого о пассивности и самоотреченіи самымъ краснорѣчивымъ образомъ указываетъ на наклонность русскаго духа къ мистицизму и увлеченію какой-либо господствующей идеей. Между тѣмъ г. Валишевскій „находитъ необходимымъ препираться съ Толстымъ на двадцати страницахъ, критиковать и опровергать его философію“, тогда какъ философія Толстого и есть для него плодотворное начало жизни. „Единственный раціональный способъ критически оцѣнять Толстого есть анализировать природу его генія, какъ онъ выразился въ его раннихъ произведеніяхъ, отъ „Дѣтства“, „Отрочества“ и „Юности“, и показать, что когда онъ смотритъ на міръ, онъ смотритъ на него проницательными глазами великаго моралиста,

въ мозгу котораго всегда присутствуетъ пытливая моральная идея—„какова *природа* этого человѣка, находящагося передо мной? Жизнь его хороша или дурна?“ И дальше, дѣло критика прослѣдить, какъ усиленная забота Толстого о нравственныхъ проблемахъ подавляла его вспомогательное художественное удовольствіе въ изслѣдованіи проблемъ жизни, какъ художникъ въ немъ протестовалъ и отъ времени до времени прорывался, и какъ, наконецъ, онъ былъ вынужденъ къ молчанію и связанъ моралистомъ. Весь міръ сожалѣетъ о долгомъ молчаніи Толстого въ искусствѣ, но критику должно указать, какъ Толстой долженъ былъ неизбѣжно развиться въ толстовство“.

Отсутствіе симпатіи къ русскому національному духу критикъ доказываетъ тѣмъ, что во всей своей книгѣ Валишевскій не только не имѣетъ желанія, но рѣшительно отказывается оцѣнять приговоръ, который великія русскія художественныя произведенія произносятъ о русской жизни, цивилизаціи и характерѣ, и напротивъ отягощаетъ ихъ одностороннимъ европейскимъ приговоромъ собственной работы. Онъ не хочетъ знать того, что̀ думаетъ Тургеневъ, Гоголь, Достоевскій, Толстой, Гаршинъ, и не разъ „г. Валишевскій выставляетъ остроумные или ученые или блестящіе аргументы, чтобы показать, какъ мы должны дисконтировать мнѣнія и сужденія самой русской литературы. Но это крайне критическое настроеніе ума,—какъ оно, быть можетъ, ни возбудительно для изучающихъ литературу,—не у мѣста, когда вы хотите ввести одинъ народъ въ душу, геній, національный духъ другого народа. Первая цѣль которую долженъ поставить себѣ литературный критикъ, имѣя дѣло съ иностранной литературой, есть объяснить жизнь этого чуждаго народа, его пониманіе жизни, духъ каждаго вѣка, неизбѣжность умственныхъ движеній въ разныхъ поколѣніяхъ; и онъ будетъ искать въ этой литературѣ главныхъ типовъ, у писателей большихъ или малоизвѣстныхъ, произведенія которыхъ наилучше отражаютъ все то, что̀ есть національное откровеніе и основное истолкованіе жизни народа и его умственный характеръ“.

Критикъ долженъ весьма умѣренно вдаваться въ разборъ понятій отдѣльныхъ писателей въ частности; онъ не долженъ становиться между объясняемой имъ литературой и своимъ читателемъ. Критикъ долженъ быть только уже осмотрѣвшимся въ предметѣ проводникомъ. „Каждая литература цѣнна потому, что даетъ ключъ къ новому міру интересовъ, красоты или странности, и критикъ, который хотѣлъ бы руководить насъ, долженъ быть сочувствующимъ истолкователемъ; онъ не долженъ становиться выше литературы, которую разбираетъ“.

Это именно и дѣлаетъ г. Валишевскій, по мнѣнію англійскаго критика, и послѣдній, напримѣръ, опровергаетъ взглядъ его на Тургенева и дѣлаетъ заключеніе, что Валишевскій, „для исполненія своей

критической задачи, имѣетъ очень мало художественнаго чувства, хотя показываетъ много способности и умѣнья къ философскимъ и критическимъ изслѣдованіямъ. Поэтому онъ способенъ слишкомъ мало цѣнить русскій геній, который онъ вѣрно опредѣляетъ, какъ основанный на „извѣстныхъ способахъ чувства", точно также какъ онъ преувеличиваетъ свои „литературныя параллели, производя русскую природу отъ западныхъ идей и недостаточно производя идеи изъ русской природы". Англійскій критикъ приводитъ примѣръ. „Сказать о Тургеневѣ, что „его дѣло. какъ художника, основано вообще на дѣлѣ великихъ англійскихъ новеллистовъ, Тэккерея и Диккенса; его гуманитарныя и демократическія наклонности указываютъ въ немъ питомца Жоржъ-Занда и Виктора Гюго, и его философскіе взгляды свидѣтельствуютъ о вліяніи Шопенгауэра; что русскій не обладаетъ умственной прочностью и мужественной силой англо-саксонца"; сказать это и подпасть маніи изображать „литературныя параллели", значитъ поставить всю критику Тургенева мимо фокуса. Искусство Тургенева было врожденное, его философія была врожденная, его гуманитарность и его пессимизмъ были врожденные. и хотя указанія г. Валишевскаго въ приведенныхъ выше словахъ буквально не неправильны, онѣ заслуживали не больше какъ подстрочнаго примѣчанія къ главному изслѣдованію о геніи Тургенева".

Критикъ отдаетъ справедливость многимъ достоинствамъ труда г. Валишевскаго. „Его страницы о Некрасовѣ, Лермонтовѣ, Щедринѣ, Гаршинѣ, и многія изъ его замѣчаній о Достоевскомъ поражаютъ вѣрностью и симпатичностью; какъ его страницы о Добролюбовѣ, Тургеневѣ, Пушкинѣ и Чеховѣ поражаютъ произвольностью и несправедливостью". „Быть можетъ, у него больше сочувствія къ Россіи и русскому духу, чѣмъ мы вынесли изъ его главъ", — но, предполагаетъ критикъ, „въ полускрытой войнѣ, которую ведетъ онъ въ своей книгѣ противъ двухъ, самыхъ поразительныхъ явленій, какія развились въ Россіи въ девятнадцатомъ вѣкѣ,—движенія славянофильскаго и движенія нигилистическаго, — онъ сразу ставитъ въ оппозицію къ себѣ самыхъ русскихъ изъ русскихъ писателей".

Критикъ дѣлаетъ, наконецъ, еще одно существенное замѣчаніе: Валишевскій „нигдѣ не удостоиваетъ" сказать о тѣхъ тяжелыхъ условіяхъ внѣшнихъ, среди которыхъ русская литература была вынуждена вести свой трудъ, и критикъ находитъ, что еслибы эти условія были указаны прямо и правдиво, англійскій читатель „понялъ бы тотъ путь, который неизбѣжно приняла русская литература, также какъ и ея мрачный характеръ".

Замѣчанія англійскаго критика любопытны и цѣнны именно тѣмъ, что это замѣчанія посторонняго, не заинтересованнаго наблюдателя.

Онъ почувствовалъ „недостатокъ симпатіи"; русскій критикъ и не требовалъ бы этого,—насильно милъ не будешь,—но отъ историка всегда можно требовать многосторонности изслѣдованія: это восполнило бы то, что̀ могла бы сдѣлать „симпатія". Дѣйствительно, истинный смыслъ литературы можно понять только вникая въ условія ея формаціи; безъ этого историкъ рискуетъ невѣрно или неполно объяснить и отдѣльныхъ писателей, и цѣлые литературные періоды. Нельзя сказать, чтобы г. Валишевскій совсѣмъ не видѣлъ этихъ условій (напр. стр. 228), но это осталось неразвито въ цѣломъ изложеніи. Нельзя также сказать о полномъ отсутствіи „симпатіи". У историка найдемъ слова высокой оцѣнки русскаго языка (напр.: „un instrument merveilleux, le plus mélodieux assurément qui soit dans le monde slave, un des plus mélodieux de l'univers. Sonore, flexible, gracieux, se pliant à tous les tons et à tous les genres, naïf ou élégant à volonté, fin et subtil, énergique et pittoresque... L'accent tonique, très variable et se prêtant à toutes les combinaisons du rythme, un caractère intuitif très marqué et une plasticité merveilleuse en font une langue poétique peut-être sans rival"); найдемъ также высокую оцѣнку отдѣльныхъ писателей, — но какъ относительно языка, такъ и относительно писателей сочувствіе и похвала перемежаются суровыми ограниченіями, къ сожалѣнію не всегда справедливыми. „Непосредственное проникновеніе", какъ „свѣжесть впечатлѣній и независимость сужденій" (стр. IV), могутъ послужить въ отдѣльныхъ портретахъ и картинахъ, но требуютъ большихъ провѣрокъ, когда рѣчь идетъ о цѣлой литературѣ, потому что это есть рѣчь о нравственномъ достояніи цѣлаго народа.

Къ сожалѣнію, экземпляръ французской книги, которымъ мы пользовались, былъ дефектный.—А. П.

Въ теченіе мая мѣсяца, въ Редакцію поступили нижеслѣдующія новыя книги и брошюры:

Аскольдовъ, С.—Основныя проблемы теоріи познанія и онтологіи. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Бессель, В.—По поводу проекта статей по авторскому праву. Спб. 900 (брошюра).

Будищевъ, Ал. Н.—Пробужденная совѣсть. Романъ. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Бунинъ, Ив. А.—Стихи и разсказы. Съ рис. М. 900. Ц. 40 к.

Бѣлинскій, В. Г.—Полное собраніе сочиненій, въ 12 томахъ, п. р. и съ примѣч. С. А. Венгерова. Т. I. Спб. 900. Ц. 1 р. 25 к.

Велецкій, С. Н.—Земская статистика. Справочная книга по зем. статист., въ 2 ч. Ч. II: Программы изслѣдованія. Съ предисл. проф. А. И. Чупрова. М. 900. Ц. за 2 ч. (три вып.) 7 руб.

Вельяминовъ, проф. Н. А.—Максимиліановская лечебница. 1850—1890 гг.

Составлено по матеріаламъ, собраннымъ В. В. Хорватомъ. Съ рис. и планами. Спб. 900.

Верещагинъ, В. В. — Разсказы: Духоборцы и молокане; шіиты; батчи и ошумоѣды; Оберъ-Амергау въ Баваріи. М. 900. Ц. 60 к.

Вернъ, Жюль.—Завѣщаніе чудака. Ром. Спб. 900. Ц. 1 р.

Верховскій, В. М.—Краткій историч. очеркъ начала и распространенія жел. дорогъ въ Россіи по 1897 г. включительно. (Историч. очеркъ развитія жел. дорогъ въ Россіи). Спб. 1898. Стр. 591+59, съ картой.

Виндельбандъ, В.—Платонъ. Съ нѣм. пер. А. Громбахъ. Спб. 900. Ц. 50 к.

Власовъ, В.—Сравнительное землевѣдѣніе и школьная географія. Варш. 900. Ц. 25 к.

Волынскій, А. Л.—Леонардо да-Винчи. Съ 6 геліогравюрами, 34 хромотип. и 250 автотип. Изд. А. Ф. Маркса. Спб. 900. Стр. 706. Ц. 12 руб.

Гединъ, Свенъ.—Путешествіе въ Центральной Азіи, въ 1893—97 г. Перев. А. Анненская. Съ рис. и картой. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Гертцъ, Ф. О.—Аграрный вопросъ. Переводъ съ нѣм. подъ ред. и съ предисловіемъ А. А. Мануилова. Москва, 1900. Стр. V+156. Ц. 80 к.

Гиляровъ-Платоновъ, Н. П.—Сочиненія. Томъ II. Изд. К. П. Побѣдоносцева. М. 1900. Стр. 324.

Горькій, М.—Разсказы. Т. I. Спб. 900. Ц. 1 р. Всего выйдетъ 5 томовъ.

Градовскій, А. Д.—Собраніе сочиненій. Т. IV. Спб. 900. Ц. 4 р.

Гротъ, К. Я.—Къ перепискѣ Н. В. Гоголя съ П. А. Плетневымъ. Неизданныя письма. 1832—46 гг. Спб. 900.

Дружининъ, Н. П.—Новое сельское общество. Разсказъ о томъ, какъ устроили свои общественныя дѣла крестьяне трехъ грамотныхъ деревень. 2-е изд. М. 900. Ц. 50 к.

—— Сельскій староста. Разсказъ о томъ же. 2-е изд. М. 900. Ц. 10 к.

Дю-Буа-Реймонъ, Э.—Культурная исторія и естествознаніе. Съ нѣм. п. р. С. Ершова. М. 900. Ц. 35 р.

Жолчинъ, Дм.—Царственный Домъ Романовыхъ. Съ 16 портр. государей. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Ибсенъ, Генрихъ.—„Когда мы, мертвецы, пробуждаемся". Драматическій эпилогъ въ 3-хъ дѣйствіяхъ. Разрѣшенный авторомъ переводъ съ подлинника *А.* и *П. Ганзенъ*. Спб., 1900. Съ портретомъ. Стр. 65.

Кабардинъ, К.—О русскихъ нуждахъ. Съ 3 діаграммами русск. госуд. бюджета. Спб. 900. Ц. 2 р.

Кеппенъ, А.—Соціальное законодательство Франціи и Бельгіи. Спб. 900.

Киплингъ.—Разсказы. Съ англ. А. Н. Рождественская. Съ рис. Изд. 2-е. Учен. Ком. допущена М. Н. Пр. въ ученич. библіотеки средн. учебн. завед. и въ безплатн. народн. читальни. Кн. 2-я, съ рис. М. 900. Ц. 40 к.

Кирилловъ, Л. А.—Къ вопросу о внѣземледѣльческомъ отходѣ крестьянскаго населенія. Оттискъ изъ „Трудовъ И. В. Э. Общества". Спб. 99.

Конради, Е. Д.—Сочиненія, въ 2-хъ томахъ. П. р. М. А. Антоновича. Т. II: Статьи публицистическія, литературно-критическія, педагогическія и др. Спб. 900. Ц. за 2 т.—5 руб.

Коропчевскій, Д. А.—Ручей и его исторія. По Элизé Реклю. Съ рис. 2-е изд. М. 900. Ц. 50 к.

Крандіевскій, В. А.—Каталогъ учебниковъ, книги для чтенія и драматическихъ произведеній, разрѣшенныхъ по 1 сентября 1899 г. М. 900. Ц. 1 р. 50 коп.

Крестовскій, В. В.—Собраніе сочиненій. Т. VIII. Спб. 900.

Кр—скій.—Беззаботное неряшество. Наше отношеніе къ искусству. Теорія Л. Н. Толстого. Спб. 900 (брошюра). Ц. 25 к.

Крумахеръ, Ф. А.—Притчи. Полное собраніе. Съ нѣм. В. А. Алексѣевъ. Спб. 900. Ц. 2 р.

Летурно, Ш.—Эволюція воспитанія у различныхъ человѣческихъ расъ. Спб. 900. Ц. 2 р.

Маргеритъ, П. и В.—Пумъ. Изъ исторіи маленькаго мальчика. 2-е изд. М. 900. Ц. 30 к.

Меньшиковъ, М. О.—Народные заступники и другіе нравственно-бытовые очерки. Спб. 900. Ц. 1 р.

Мосоловъ, А.—Вокругъ пылающей Москвы. Драматическія сцены изъ 1812-го года, въ 5 д. Спб. 900. Ц. 1 р.

Никитенко, А. В.—Моя повѣсть о самомъ себѣ. Изд. для юношества. Спб. 900. Ц. 1 р.

Ниманъ, А.—Питеръ Марицъ, молодой буръ изъ Трансвааля. Историческій разсказъ. Переводъ, съ разрѣшенія автора, съ 6-го нѣмецкаго изданія, *А.* и *П. Ганзенъ*. Съ 67 рисунками. Изд. А. Ф. Девріена. Спб. 1900. Стр. 524.

Пахманъ, С. В.—Сборникъ народныхъ юридическихъ обычаевъ. Т. II. Спб. 900.

Покровская, М. И.—Борьба съ проституціей. Спб. 1900 г. Ц. 40 к. Стр. 33.

Прессъ, А.—Страхованіе рабочихъ въ Россіи. Спб. 900 (брошюра).

Проппёръ, С. М.—Казенная продажа питей и общественное мнѣніе. Спб. 1900.

Рабиновичъ, Л. Г.—О преобразованіи Общества пособія увѣчнымъ горнорабочимъ и о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ. Харьк. 900 (брошюра).

Семашкевичъ, Е.—Суворовъ. Къ предстоящему столѣтію его кончины. М. 900. Ц. 12 к.

Середа, С. П.—Очеркъ положенія народнаго образованія въ Вяземскомъ уѣздѣ, въ 1897—98 г. Смоленскъ, 99.

Слюнинъ, д-ръ Н. В.—Охотско-Камчатскій край. Съ картою, 32 фототипіями и 54 цинкографіями. Т. I и II. Спб. 900. Ц. 5 р.

Смирновъ, В. Я.—Жизнь и поэзія Н. М. Языкова. Пермь, 900. Ц. 1 руб. 50 коп.

Соловьевъ, Влад.—Три разговора о войнѣ, прогрессѣ и концѣ всемірной исторіи, со включеніемъ повѣсти объ антихристѣ, и съ приложеніями. Спб. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Соловьева-Несмѣлова, Н. А.—„Король Воннифатій I", „Король Генрихъ CIV" и „Королевичъ-Марко-король Генрикусъ CV". Переработка и разсказъ изъ народныхъ русскихъ сказокъ. М. 900. Ц. 5 к.

Сосницкій, Аркадій.—Ѳедоръ Петровичъ Гаазъ. М. 900. Ц. 25 к.

Спасовичъ, В. Д.—Сочиненія. Т. IX. Спб. 900. Ц. 2 р.

Суходольскій, А. А.—Значеніе для государства торгово-промышленнаго счетоводства. Спб. 900.

Трачевскій, проф. А.—Новая исторія. 2-е изд., исправл. и дополн. Т. I: 1500—1750 гг. Спб. 900. Ц. 3 р.

Хрущовъ, И. П.—Бесѣды о древней русской литературѣ. Спб. 900. Ц. 1 р. 25 коп.

Черняевъ, Н. И.—Критическія статьи и замѣтки о Пушкинѣ. Харьк. 900. Ц. 1 р. 50 к.

Шубинъ, Ѳ. Г.—Что должна дать географія для общаго образованія. Спб. 900.

Юрьинъ, Н.—Городокъ. Сказка. М. 900.

Якобій, П.—Основы административной психіатріи. Орелъ, 900. Стр. 688. Ц. 5 руб.

*Ярилов*ъ, Арс.—Въ защиту науки и приговоренныхъ къ смерти. Юрьевъ, 900. Ц. 1 р.

Winiarski, Leon.—William Moris. Варш. 900

— Ветеринарно-санитарная часть г. С.-Петербурга (1898—99 гг.). Составлено, по распоряженію Спб. Градоначальника ген.-лейт. Н. В. Клейгельса, ветерин. инспекторомъ н. с. Самборскимъ. Спб. 900 (брошюра).

— Западно-европейскій эпосъ и средневѣковой романъ въ пересказахъ и сокращенныхъ переводахъ съ подлинныхъ текстовъ О. Петерсонъ и Е. Балобановой. Въ 3-хъ томахъ. Т. III. Германія. Спб. 900. Ц. 2 р.

— Иллюстрированный Сборникъ Кіевскаго Литературно-артистическаго Кружка. Кіевъ, 900. Ц. 1 р. 75 к.

— Итальянская Библіотека. Джозуэ Кардуччи. Крит.-біограф. очеркъ М. Ватсонъ. Съ портр. автора. Спб. 99. Ц. 50 к.

— Критико-историческій очеркъ развитія и дѣятельности вѣдомства путей сообщенія за сто лѣтъ его существованія. Спб. 1898. Стр. 218, съ портретами и картами.

— Лѣтописи Магнитной и Метеорологической Обсерваторіи Имп. Новороссійскаго Университета въ Одессѣ. А. Клоссовскаго. Од. 1900.

— Отчетъ Коммиссіи, завѣдующей дѣтскими лечебными колоніями за 1899 г. Б. М. Шапировъ и А. К. Пилоцкій (XIX г. существованія). Спб. 900.

— Первая международная выставка птицеводства 1899 г., устроенная Имп. Русск. Обществомъ птицеводства въ С.-П—гѣ. Спб. 99.

— Подвижной составъ и мастерскія желѣзныхъ дорогъ. Состав. Блюмъ, Ф. Боррисъ и Баркгаузенъ. Съ нѣм. Т. I: Паровозы. Съ 482 черт. и 23 табл. Спб. 900. Ц. 9 р.

— Пожарный Букварь. Бесѣда первая. М. 900.

— Положеніе о Россійскомъ Обществѣ защиты женщинъ. Спб. 900 (брошюра).

— Сборникъ консульскихъ донесеній. Годъ третій, вып. III. Спб. 1900. Ц. 1 р. Стр. 80.

— Туркестанскій литературный сборникъ въ пользу прокаженныхъ. Спб. 1900.

— Уральская желѣзная промышленность. П. р. Д. Менделѣева. Съ 299 рис. и чертежами въ текстѣ. Спб. 900. Цѣна съ картою 3 руб.

— Южно-Русскій Альманахъ 1890 г. Годъ шестой. Одесса, 1900. Ц. 1 р. Стр. 124+64+268+121.



НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.

Dr. Richard M. Meyer. Die deutsche Litteratur des XIX Jahrhunderts. Стр. 965. Berlin. Georg Bondi. 1900.

Берлинская фирма Георга Бонди предприняла большое научно-литературное изданіе, которое должно обнять исторію умственной и политической жизни Германіи въ XIX вѣкѣ. Составленіе отдѣльныхъ томовъ—каждый около тысячи страницъ—поручено спеціалистамъ съ извѣстными именами. Часть изданія уже вышла въ свѣтъ, и въ ней собранъ огромный фактическій и критическій матеріалъ по исторіи современной Германіи. Критика съ большимъ сочувствіемъ встрѣтила вышедшіе одинъ вслѣдъ за другимъ труды профессора Теобальда Циглера: „Духовныя и соціальныя теченія XIX вѣка"; Корнелія Гурлита: „Нѣмецкое искусство XIX вѣка"; профессора Георга Кауфмана: „Политическая исторія Германіи XIX вѣка". Въ настоящее время, за этими тремя томами послѣдовалъ четвертый—„Нѣмецкая литература XIX вѣка"—доктора Рихарда М. Мейера.

Мейеръ задается въ своемъ трудѣ двумя задачами. Какъ историкъ литературы, онъ стремится прежде всего отмѣтить полностью явленія литературной жизни, хотя бы они имѣли значеніе не сами по себѣ, а какъ мимолетное отраженіе господствующихъ въ литературѣ теченій. На-ряду съ пространными этюдами о выдающихся писателяхъ, объ оригинальныхъ умахъ, созидающихъ новыя литературныя школы, онъ удѣляетъ мѣсто почти всѣмъ писателямъ и писательницамъ, появлявшимся на книжномъ рынкѣ Германіи въ теченіе вѣка. Относительно писателей первыхъ десятилѣтій, Мейеръ болѣе строгъ въ выборѣ, но по мѣрѣ приближенія къ современности онъ все болѣе и болѣе подавленъ наростаніемъ литературнаго матеріала, и съ величайшей тщательностью отмѣчаетъ имена и произведенія, которымъ даже иногда не мѣсто въ литературѣ—они создаются разростаніемъ круга мало просвѣщенныхъ читателей, требующихъ только развлеченія, а не духовной пищи отъ литературы вообще, и отъ беллетристики—въ частности. Въ Германіи за послѣднее время развилась чрезвычайно обширная „литература внѣ литературы",—такъ называемые „Familienromane". Народилось большое количество романистовъ и въ особенности романистокъ, имѣющихъ большой успѣхъ въ публикѣ, но,

вслѣдствіе банальности и условности ихъ романовъ и повѣстей, стоящихъ внѣ искусства. Мейеръ включаетъ и подобныхъ писателей въ свою исторію литературы, а между поэтами новѣйшаго символическаго теченія перечисляетъ цѣлый рядъ именъ, совершенно не заслуживающихъ вниманія. Конечно, излишняя полнота не можетъ быть поставлена въ упрекъ историку, но книга Мейера доказываетъ, что историку необходимо отойти на нѣкоторое разстояніе отъ явленій, чтобы объективно понять ихъ значеніе и мѣсто. Говоря о современности, онъ становится или критикомъ, субъективно судящимъ о цѣнности явленій, или хроникеромъ, который для безпристрастія отмѣчаетъ все. Литература двухъ послѣднихъ десятилѣтій очень интересно изложена Мейеромъ, именно благодаря субъективности его взглядовъ на выдающихся и самобытныхъ писателей; но въ историческомъ смыслѣ эта часть его труда наиболѣе подлежитъ еще переоцѣнкѣ будущихъ историковъ,—онъ такъ близко стоитъ къ явленіямъ, что часто преувеличиваетъ ихъ. Новѣйшіе писатели Германіи, за исключеніемъ нѣсколькихъ поэтовъ и прозаиковъ съ твердо установившеюся европейскою славой, выходятъ у него какъ бы слишкомъ высокаго роста. Онъ, напримѣръ, даетъ подробную и почти восторженную характеристику романовъ Елены Бёлау (Böhlau), всуе произноситъ, говоря о ней, имена Жоржъ-Сандъ и Джоржъ-Элліотъ, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ это совершенно второстепенная романистка въ духѣ французскаго натурализма. Двѣ другія романистки, Эрнстъ Розмеръ (псевдон.) и Анна Круассанъ-Рустъ, тоже представлены въ совершенно несоотвѣтствующемъ ихъ скромному таланту видѣ. Сужденія Мейера о такого рода писателяхъ и писательницахъ, пользующихся минутнымъ успѣхомъ, страдаютъ нѣкоторой близорукостью, очень понятной въ психологическомъ, но неумѣстной въ историческомъ трудѣ.

Другая и главная задача Мейера заключается въ систематизаціи литературнаго матеріала, въ характеристикѣ отдѣльныхъ моментовъ литературной жизни Германіи XIX вѣка, въ опредѣленіи господствующихъ литературныхъ теченій. Онъ разбиваетъ литературную жизнь вѣка на десятилѣтія и даетъ точныя, иногда очень мѣткія и всегда интересныя характеристики каждаго десятилѣтія въ частности. Но, благодаря этой системѣ, читатель не выноситъ яснаго представленія о преемственности литературныхъ явленій. Въ сущности, всякое хронологическое раздѣленіе литературныхъ періодовъ—условно. Идейная жизнь и развитіе художественнаго вкуса, перемѣна цѣлей въ искусствѣ и литературѣ—не укладываются въ рамки календаря, и даже разсматриваніе литературы одного какого-нибудь опредѣленнаго вѣка какъ органическаго цѣлаго—уже составляетъ большую натяжку. Тѣмъ

болѣе искусственнымъ является раздробленіе на десятилѣтія. Какъ ни быстро развивается литература въ Германіи, все-же каждое ея десятилѣтіе не имѣетъ вполнѣ опредѣленной физіономіи; а Мейеръ предпосылаетъ каждому десятилѣтію XIX вѣка то, что̀ онъ называетъ „die Signatur der Zeit“. Дѣлаетъ онъ это, очевидно, для того, чтобы обычному распредѣленію литературы XIX вѣка на романтизмъ, реализмъ и новѣйшій символизмъ—противопоставить нѣчто болѣе точное, показать, какъ эти основныя теченія распредѣляются на пространствѣ цѣлаго вѣка, чѣмъ они подготовляются и какъ постепенно наростаютъ и смѣняются одно другимъ. Но эта внутренняя жизнь не видна въ частичныхъ формулахъ Мейера. Ему приходится то говорить о совершенно пустыхъ для литературы десятилѣтіяхъ, какъ, напримѣръ, о періодѣ 1810—1820 годовъ, то включать слишкомъ много мѣняющихся вкусовъ и настроеній въ десятилѣтія, примыкающія къ революціонному 1848 году. Точно также, говоря о двухъ смежныхъ десятилѣтіяхъ, о восьмидесятыхъ и о девятидесятыхъ годахъ, ему приходится дѣлать между ними очень искусственное различіе, отличать „нервозность“ литературы восьмидесятыхъ годовъ отъ „концентраціи“, господствующей въ девятидесятыхъ годахъ. Въ сущности эти два послѣднія десятилѣтія представляютъ не смѣну настроеній въ литературѣ, а наростаніе одного и того же основного мотива въ смѣняющихся формахъ. 1890-й годъ ни въ какомъ случаѣ нельзя считать какой-то границей двухъ періодовъ, и Мейеру приходится, для того, чтобы выдержать свою теорію движенія литературы по десятилѣтіямъ, признавать эволюцію въ писателяхъ, на самомъ дѣлѣ шедшихъ неуклонно по одному и тому же пути. Для характеристики отдѣльныхъ моментовъ литературной жизни, распредѣленной по десятилѣтіямъ, Мейеру недостаетъ нѣкоторыхъ чрезвычайно важныхъ данныхъ. Онъ разсматриваетъ литературу, отдѣливъ ее отъ общаго хода жизни, лишь очень бѣгло намѣчая политическія, общественныя и философскія вліянія, среди которыхъ развивалась литература. Онъ вскользь упоминаетъ, конечно, о главнѣйшихъ философскихъ ученіяхъ вѣка, говоритъ даже болѣе подробно о вліяніи Нитцше,—но въ общемъ литература у него выдѣлена въ самостоятельное цѣлое, и вслѣдствіе этого психологическая и идейная подкладка цѣлаго ряда литературныхъ явленій остается невыясненной.

Интересна и оригинальна у Мейера характеристика романтизма. Мейеръ указываетъ на тѣ черты романтической школы, которыя связываютъ ее съ литературой конца вѣка. Одною изъ главнѣйшихъ особенностей современной поэзіи и отчасти современнаго романа считается то, что̀ французы называютъ „суггестивностью“: источникъ же ея коренится въ манерѣ первыхъ нѣмецкихъ рома-

нистовъ. Новѣйшіе писатели считаютъ, что въ художественномъ произведеніи не должно быть все высказано до конца, что нужно дать только намекъ и вовлечь читателя въ процессъ творчества. Еще у Жанъ-Поля Рихтера Мейеръ подмѣчаетъ эту черту и говоритъ, что этотъ писатель былъ именно „суггестивенъ" (anregend). Онъ объясняетъ это тѣмъ, что читатели начала вѣка хотѣли прежде всего чувствовать себя „поэтическими индивидуальностями". Тысячи лишь слегка намѣченныхъ мыслей, сравненія и метафоры, смѣняющіяся съ безудержной быстротой, бѣгло начерченные образы, настроенія, рѣзко обрываемыя въ самой серединѣ,—все это пріобщаетъ читателя къ творческой работѣ поэта, въ противоположность классической манерѣ Гёте, Шиллера и Лессинга, съ ихъ законченными мыслями, твердыми образами и готовыми картинами. Манера романтиковъ объясняется тѣмъ, что радость творчества заключалась для нихъ не въ созиданіи великихъ произведеній, а въ возвышающемъ сознаніи творческаго упоенія. Художественное произведеніе было для нихъ не цѣлью, а средствомъ испытать счастливые моменты, возвышающіе человѣка надъ будничной жизнью. Презрѣніе къ толпѣ, или, какъ тогда говорили, къ филистерамъ — исходный пунктъ романтической поэзіи; она стремилась только къ самому процессу творчества, считая завершеніе художественныхъ произведеній уже вопросомъ второстепеннымъ. Нѣчто подобное замѣтно и въ литературѣ конца вѣка, хотя содержаніе, также какъ и идейное міросозерцаніе современной литературы — совершенно иныя. Мейеръ намѣчаетъ также отрицательныя черты романтизма, вытекающія изъ его намѣреннаго, иногда искусственнаго отдѣленія поэта отъ толпы,—и все то, что̀ онъ находитъ у Жанъ-Поля и другихъ представителей первой поры романтизма, подтверждается на примѣрѣ многихъ писателей нашихъ дней. Онъ говоритъ, во-первыхъ, объ опасностяхъ дилеттантизма, пренебрегающаго художественностью выполненія ради высоты замысла, о небрежномъ отношеніи къ разработкѣ характеровъ и дѣйствія, о томъ, что иногда ради отдѣльнаго красиваго эпизода приносятся въ жертву интересы всего произведенія, остроуміе или утонченность настроенія предпочитается ясности мысли. Точно также онъ указываетъ на опасности чрезмѣрнаго возвеличиванія личности. Романтики, въ особенности Жанъ-Поль Рихтеръ, кокетничали съ читателемъ, старались возбудить чувствительность, въ противоположность строгому самообладанію классиковъ. Въ наше время чувствительность уже не въ модѣ, но опасности крайняго субъективизма такъ же велики, въ особенности въ писателяхъ среднихъ, отмѣченныхъ болѣе недостатками извѣстнаго литературнаго теченія, чѣмъ его достоинствами.

Говоря о романтизмѣ помимо его связи съ современностью,

Мейеръ различаетъ въ немъ двѣ группы. Старѣйшая именно и составляетъ собственно „романтическую школу" — художественный союзъ съ извѣстными стремленіями и принципами, съ особымъ жаргономъ, на которомъ слова: „иронія", „демонизмъ", „религія"—имѣли свой особый смыслъ. Младшая группа — менѣе тѣсно связанный кружокъ людей съ общностью вкусовъ, но безъ вполнѣ согласнаго и твердо выработаннаго міросозерцанія. Заслуги старшей группы относятся преимущественно къ области критики и отвлеченной эстетики; младшая же обладала большимъ непосредственнымъ художественнымъ даромъ и любовью къ собиранію памятниковъ народной старины. Изъ представителей старѣйшей романтики Мейеръ останавливается, главнымъ образомъ, на Шлегелѣ, Тикѣ и Новалисѣ. Онъ оригинальнымъ образомъ устанавливаетъ при этомъ связь между повѣстями Тика и французскимъ реализмомъ въ духѣ Гонкура и Зола̀. Для Тика повѣсти были средствомъ „высказаться". Разговоры въ его произведеніяхъ составляютъ не прикрасы, а самый нервъ произведенія. Дѣйствіе для него безразлично, лишь бы оно создавало предлоги для выраженія мнѣній, настроеній и убѣжденій; обмѣнъ мыслей дѣйствующихъ лицъ, очерченныхъ со всѣми особенностями воплощеннаго въ нихъ типа, составляетъ центръ его беллетристическихъ замысловъ. Въ этомъ Мейеръ справедливо видитъ сходство съ манерой Гонкура, проповѣдующаго субъективныя эстетическія воззрѣнія устами своихъ героевъ. Новалиса, возводящаго „человѣческіе документы" въ символы, Мейеръ сравниваетъ съ Зола̀, для котораго война, биржа, торговля, искусство — чисто романтическіе символы. Но, проводя эти параллели, Мейеръ вовсе не увлекается національнымъ чувствомъ; онъ доказываетъ, что во многихъ отношеніяхъ нѣмецкій романтизмъ былъ источникомъ позднѣйшей французской литературы, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ признаетъ превосходство французовъ въ разработанности художественной формы. Онъ говоритъ о слабости техники нѣмецкихъ писателей, о томъ, что многіе нѣмецкіе значительные беллетристы не умѣли писать, какъ, напримѣръ, Іеремія Готгельфъ, или писали такъ неровно, какъ Гофманъ. Онъ говоритъ о поэтахъ, очень глубокихъ по духу, но не заботившихся о выработкѣ стиха, какъ, напримѣръ, Юстиніусъ Кёрнеръ, или какъ Клеменсъ Брентано, не дѣлавшій достаточно усилій, чтобы достигнуть закругленности и цѣльности. Недостатокъ всѣхъ этихъ писателей, прозаиковъ и поэтовъ эпохи романтизма Мейеръ видитъ въ ихъ пагубномъ презрѣніи къ традиціямъ, въ ложномъ опасеніи, что работа и дисциплина мѣшаютъ оригинальности и самобытности,—въ отсутствіи уваженія къ великимъ произведеніямъ прошлаго. Изъ романтиковъ младшей группы Мейеръ въ особенности выдѣляетъ Клейста, котораго сравниваетъ съ Гаупт-

маномъ. Заслугой младшей группы романтиковъ онъ считаетъ ихъ психологическое чутье. У старѣйшихъ романтиковъ было много настроеній, но полное отсутствіе живыхъ характеровъ. Гофманъ создавалъ образы кошмарно-живые, но это были не люди, а фантастическія созданія, вродѣ тѣхъ, которыя мы видимъ теперь на картинахъ Беклина. Клейстъ снова сталъ изображать людей, и этимъ оказалъ огромную услугу литературѣ. Еще одна интересная черта подмѣчена Мейеромъ въ романтизмѣ. Стремленіе расширить область художественнаго творчества привело романтиковъ къ развитію наблюдательности, и благодаря этому романтизмъ оказалъ вліяніе на науку. Изъ романтизма выросла филологія, изученіе національныхъ древностей; историческая наука предалась изслѣдованію источниковъ; естественныя науки стали занимать всѣ умы; люди стремились обогатить фантазію и умъ самостоятельнымъ изученіемъ фактовъ, матеріаловъ, близкимъ изученіемъ природы, разработкой историческихъ матеріаловъ. Въ общемъ, эпоху романтизма Мейеръ признаетъ періодомъ одного изъ величайшихъ подъёмовъ духа въ Германіи и даже говоритъ, что ни одинъ изъ послѣдующихъ періодовъ не былъ такъ богатъ стремленіями, замыслами и подвигами духа, какъ это блестящее начало вѣка. Дальнѣйшее развитіе уже намѣчалось само собой. Нужно было завоевывать для литературы дѣйствительность, нужно было подробно изучать и разработывать все, что̀ романтизмъ только схватывалъ и намѣчалъ, стремясь проявить необузданность и безграничность своихъ порывовъ. Выработался потомъ реализмъ; въ литературѣ созрѣвало изученіе дѣйствительности; драматурги воплощали характеры и типы; лирики сосредоточивались уже не на суммѣ всѣхъ настроеній, не на смѣлыхъ контрастахъ, а на цѣльныхъ отдѣльныхъ чувствахъ; послѣ этой аналитической поры наступилъ уже въ наше время синтезъ настроеній, то, что̀ Мейеръ называетъ „концентраціей" въ современныхъ нѣмецкихъ поэтахъ.

Въ книгѣ Мейера, помимо общаго развитія литературы, переданнаго, какъ мы указывали, очень интересно, хотя и нѣсколько раздробленно, заслуживаютъ особеннаго вниманія характеристики отдѣльныхъ крупныхъ писателей XIX-го вѣка. Иногда Мейеръ держится въ этихъ очеркахъ общепринятыхъ взглядовъ, какъ, напримѣръ, въ характеристикѣ Грильпарцера. Этотъ австрійскій драматургъ пользуется въ Германіи до сихъ поръ огромной славой, хотя несомнѣнно въ немъ много устарѣлаго. Для современнаго читателя онъ представляется эпигономъ классицизма, очень пространно разработывающимъ общія мѣста условной морали въ сухой, непоэтичной формѣ. А между тѣмъ Мейеръ высоко ставитъ даже такія драмы, какъ „Weh dem, der lügt", не говоря уже о „Das Leben ein Traum", на-

думанной фантастической сказкѣ, слишкомъ нравоучительной и потому мало художественной. Къ лучшимъ характеристикамъ Мейера принадлежатъ несомнѣнно страницы, посвященныя Гейне. Онъ разсматриваетъ Гейне не какъ скептика съ надорванной душой, а какъ поэта, живущаго исключительно чувствомъ, болѣзненно чувствительнаго, не находящаго никакой обобщающей гармоніи, постоянно обращающаго тонкость чувствъ и настроеній на частности, и потому постоянно полнаго диссонансовъ. Прекрасныя характеристики нѣсколькихъ новѣйшихъ писателей дѣлаютъ книгу Мейера особенно интересной для современныхъ читателей. Онъ—большой поклонникъ Готфрида Келлера, подробно разсказываетъ странную жизнь и объясняетъ творчество швейцарскаго миніатюриста, съумѣвшаго придать общечеловѣческій интересъ мелкой жизни мирныхъ обитателей горныхъ пастбищъ и долинъ. Характеристику Теодора Фонтана, творца „берлинскаго романа", мы имѣли случай привести, со словъ Мейера, въ одной изъ нашихъ предшествующихъ хроникъ, по поводу книги Т. Визевы. Изъ новѣйшихъ писателей очень подробно и обстоятельно разобраны Германъ Зудерманъ, Гауптманъ и рядъ лирическихъ поэтовъ, нѣмецкихъ и австрійскихъ.

II.

Johannes Schlaf. Das dritte Reich. Ein Berliner Roman. Стр. 341. Berlin. F. Fontane et C°. 1900.

Іоганнъ Шлафъ — молодой нѣмецкій романистъ, о которомъ въ послѣднее время стали много говорить. Онъ пишетъ болѣе десяти лѣтъ, и прошелъ черезъ нѣсколько послѣдовательныхъ ступеней развитія. Вначалѣ онъ писалъ, въ сотрудничествѣ съ Арно Гольцемъ, натуралистическія драмы и повѣсти въ соціаль-демократическомъ духѣ, потомъ короткія новеллы, въ которыхъ сказывается чрезвычайно полная любовь къ жизни, ко всѣмъ явленіямъ дѣйствительности. Подобно американскому поэту Вальту Витману, онъ стремился съ полной точностью, но почти безъ всякаго выбора отмѣчать все, что̀ воспринималъ въ природѣ, не отдѣляя случайнаго отъ значительнаго и полагая, что цѣль искусства—слиться съ природой въ согласное цѣлое, отражать явленія, а не выяснять ихъ смыслъ. Результатомъ такого фотографированія жизни является нѣкоторая пестрота и несвязность но за нею чувствуется поэтъ съ глубокой вѣрой въ жизнь и въ единство того, что̀ отражено въ многообразіи явленій. Отъ философскаго натурализма Шлафъ переходитъ въ новѣйшихъ своихъ произведеніяхъ къ отвлеченному созерцанію, которое наиболѣе полно сказалось въ недавно вышедшемъ его фантастическомъ романѣ: „Das dritte Reich".

Философскія мысли, составляющія содержаніе романа, менѣе всего оригинальны. Въ нихъ ясно чувствуется вліяніе Нитцше, а также популярнаго въ Германіи Пшебышевскаго, съ его проповѣдью разрушенія и крайняго индивидуализма. Даже странности слога Пшебышевскаго, его отрывистыя записи отдѣльныхъ душевныхъ моментовъ— оказали вліяніе на Шлафа, и въ своемъ романѣ онъ злоупотребляетъ нервно отрывистымъ слогомъ въ ущербъ художественности и понятности. Но, воспринявъ философію этихъ своихъ современниковъ, Шлафъ своеобразно пользуется ею. Онъ правдиво и горячо рисуетъ психологію современнаго человѣка—вѣру въ высокое назначеніе человѣчества и въ то, что человѣчество переживаетъ въ настоящее время тяжелый, но благодатный кризисъ, который, быть можетъ, приведетъ къ разрушенію вѣковыхъ культурныхъ устоевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и къ болѣе свѣтлому будущему.

Шлафъ развиваетъ двѣ главныя мысли въ своемъ романѣ. Онъ говоритъ объ усталости современной культуры, которая какъ бы исчерпана до самаго конца во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, и является, по его словамъ, „великимъ, конечнымъ смѣхомъ законченнаго человѣчества". Другая, чисто мистическая мысль заключается въ указаніи на грядущее царство свѣта. Синтезомъ обѣихъ мыслей является судьба героя романа, философа Лизеганга, который послѣдовательно проходитъ черезъ всѣ стадіи человѣческихъ чувствъ; онъ испытываетъ дружбу и любовь и освобождается отъ нихъ; постигаетъ освобожденіе, заключенное въ смерти, когда видитъ эту смерть на примѣрѣ молодой женщины, падшей и все-таки сохранившей чистоту души, и, наконецъ, самъ себя убиваетъ „въ ликующемъ сознаніи полноты своей торжествующей надъ жизнью силы". Смерть Лизеганга является какъ бы переходомъ законченной культурной эпохи къ невѣдомому будущему. Самый переходъ долженъ свершиться среди безконечныхъ страданій, и анализу этихъ страданій посвященъ романъ Шлафа.

Авторъ беретъ своего героя въ тотъ моментъ, когда, отрѣшившись отъ переходной поры матеріалистическихъ и скептическихъ воззрѣній, онъ подмѣтилъ въ себѣ возрожденіе религіознаго чувства. Онъ снова перечитываетъ Евангеліе, бывшее всегда его настольной книгой, и задумывается надъ XVI главой отъ Іоанна, пророческій смыслъ которой ему теперь открывается съ новой силой. Въ особенности поражаютъ его стихъ двѣнадцатый и шестнадцатый: „Еще многое имѣю сказать вамъ, но вы теперь не можете вмѣстить"— и: „Вскорѣ вы не увидите Меня, и опять вскорѣ увидите Меня; ибо Я иду къ Отцу". Въ его сознаніи, воспринявшемъ всѣ плоды вѣковой культуры человѣчества, является твердое убѣжденіе, что насталъ моментъ, предреченный въ этихъ словахъ, что теперь уже люди „мо-

гуть вмѣстить“ сказанное Христомъ, и что поэтому слова: „вскорѣ увидите Меня“—относятся къ современному человѣчеству.

Признаки „исполненія временъ“ Лизегангъ видитъ въ крайнемъ, по его мнѣнію, исчерпанномъ, развитіи культуры. Говоря со своимъ другомъ живописцемъ, онъ доказываетъ ему, что живопись уже сказала свое послѣднее слово. Импрессіонизмъ и „plein air“ въ живописи имѣютъ, какъ ему кажется, удивительно завершенный характеръ. Въ теченіе тысячелѣтій искусство какъ бы созидало одну единственную картину, „которая должна какъ можно полнѣе выразить идею человѣчества, формулу человѣческой жизни“. Развитіе, ведущее къ этой цѣли, шло неуклонимымъ путемъ и теперь, наконецъ, завершилось. Искусство дошло до своего предѣла, и человѣческое тяготѣніе къ безграничному (Das Drüberhinaus) уже не можетъ найти удовлетворенія въ искусствѣ, или, во всякомъ случаѣ, въ живописи. Музыка представляется ему болѣе открытымъ путемъ для воплощенія современнаго переходнаго состоянія—въ ней выражается „страданіе невинно-виновныхъ“, т.-е. „титана, обреченнаго на разложеніе, и творящаго, излишнее (Ueberflüssiges) въ избыткѣ силъ“. Такимъ разлагающимся, но полнымъ силъ титаномъ представляется ему современное человѣчество, которому предстоитъ похоронить свое прошлое и создать новое будущее. Картину разложенія культурнаго прошлаго, дошедшаго до крайней точки своего развитія, Лизегангъ видитъ въ жизни большихъ городовъ. Въ романѣ есть прекрасныя страницы, рисующія кошмарную суету столичной жизни. Лизегангъ ходитъ по улицамъ Берлина, съ любопытствомъ наблюдаетъ людей, предметы, роскошь магазинныхъ выставокъ и усматриваетъ во всемъ тлѣнъ. Онъ уходитъ въ далекія предмѣстья и видитъ, какъ фабричныя трубы и дымъ отъ каменнаго угля вытѣсняютъ солнце, воздухъ и живую жизнь природы. Тамъ, гдѣ уже нѣтъ зданій, свалены отбросы и мусоръ города, и вмѣсто полевыхъ цвѣтовъ блестятъ на солнцѣ черепки и пестрые осколки разбитой утвари. Вмѣсто лѣсовъ виднѣются лишь вдали сплошныя массы густо населенныхъ высокихъ домовъ. Вмѣсто свободныхъ голосовъ птицъ, вмѣсто шелеста деревьевъ и лѣсныхъ потоковъ, слышится гулъ большого города, грохотъ поѣздовъ городской желѣзной дороги, фабричные свистки. И среди этой извращенной природы движется странное человѣчество, маленькіе оборвыши, жалкія блѣдныя женщины, болѣзненныя дѣвушки съ ихъ расфранченными провожатыми, носящими печать порока на лицѣ. Странные, угрюмые субъекты разрываютъ крючковатыми палками груды мусора, съ выраженіемъ жадности на вздутыхъ лицахъ. Вся эта печальная картина освѣщена солнцемъ, и по-своему выражаетъ отчаянное исканіе веселья и радости. Слышатся рѣзкіе звуки гармоники, раздаются пѣсни—жалкое рабочее населеніе большого города пользуется, какъ умѣетъ, воскрес-

нымъ отдыхомъ. Лизегангъ спѣшитъ уйти отъ этого зрѣлища разложенія, доходитъ до холма, лежащаго уже за чертой города, и тамъ съ высоты еще разъ созерцаетъ картину вырожденія культуры, отраженнаго въ печальной столичной суетѣ.

И все же надежда на свѣтлое будущее не покидаетъ философа. Онъ только убѣждается, что въ самомъ себѣ—источникъ возрожденія; что надо найти въ себѣ свое собственное свободное „я" (ein Eigenster und Freier sein), чтобы приблизиться къ исполненію мистическаго евангельскаго пророчества. Не въ искусствѣ, не въ изощренности культуры, а въ самой жизни—путь къ пониманію свѣтлаго будущаго. Переживанія личной жизни Лизеганга ведутъ его къ тому, чего онъ ищетъ. У него есть другъ, Горнъ, котораго онъ любитъ за то, что въ немъ стихійное начало жизни, полнота инстинктовъ, преобладаетъ надъ разсудочностью. Горнъ разсказываетъ ему о томъ, что онъ полюбилъ красивую молодую дѣвушку и требуетъ отъ него сочувствія своему выбору. Лизегангъ знакомится съ Ольгой, невѣстой Горна, и сразу чувствуетъ, что сильная, свободная и страстная дѣвушка гораздо ближе ему, чѣмъ Горну, съ его спокойно буржуазными чувствами. У Лизеганга очень сложное представленіе о значеніи любви, о назначеніи женщины. Въ своемъ мистическомъ тяготѣніи къ свѣтлому будущему, онъ ищетъ слiянія съ женщиной, дополняющей его вѣру въ грядущее возрожденіе, въ новое пришествіе. Ольга соотвѣтствуетъ его идеалу, но ему нужно пройти путь страданія, и онъ во имя дружбы отказывается отъ желанія покорить своей волѣ дѣвушку, которая тоже чувствуетъ въ немъ нѣчто родственное, хотя любитъ всей силой жизненнаго инстинкта молодого и красиваго Горна. Отдохновеніемъ для Лизеганга въ его душевныхъ страданіяхъ являются встрѣчи съ простой, нравившейся ему прежде „Model-Marie", наивной и по-своему чистой, несмотря на то, что она ведетъ жизнь падшей женщины. Лизегангъ встрѣчаетъ ее во время своихъ блужданій по разнаго рода увеселительнымъ мѣстамъ, гдѣ онъ изучаетъ вырожденіе культуры. Марія разсказываетъ ему каждый разъ о своихъ приключеніяхъ и несчастіяхъ, чаруя его своей беззаботностью и своей наивной примиренностью со зломъ. Каждый разъ послѣ встрѣчи они сходятся на короткое время, и Лизегангъ болѣе бодро относится къ жизни, видя около себя такое умѣнье жить въ грязи, не теряя человѣческую душу. Марія недолго остается у своего слишкомъ умствующаго друга, и, утрачивая ее изъ вида, Лизегангъ снова предается своимъ любовнымъ страданіямъ и мистическимъ размышленіямъ. Постоянно видя Горна и Ольгу, онъ наблюдаетъ за тѣмъ, что̀ происходитъ въ душѣ дѣвушки. Свободная и сильная Ольга страдаетъ отъ благоразумія Горна, который подчиняетъ чувство практическому смыслу, и ждетъ улучшенія своихъ

обстоятельствъ, чтобы имѣть возможность основать семью. Между Горномъ и Ольгой происходятъ бурныя ссоры отъ несогласія ихъ натуръ. Лизегангъ все видитъ—и понимаетъ Ольгу. Онъ написалъ подъ вліяніемъ своей любви поэму въ прозѣ подъ заглавіемъ: „Дѣтская страна“ (Das Kinderland). Въ стилѣ Нитцше, онъ воспѣлъ грядущее царство „единаго“, гдѣ закончится всякая борьба, люди сольются съ природой, скорбь и радость воплотятся въ основной формулѣ конечной мудрости: „все едино“. Тогда настанетъ покой и начнется новое бытіе. Откровеніе этого грядущаго единства и новаго дѣтства человѣчества—женщина. Въ ея смятеніи, въ ея исканіи освобожденія сказывается нарожденіе новой души. Таинственная стихійная и вѣчная борьба между мужчиной и женщиной должна завершиться въ конечномъ единеніи, которое и будетъ началомъ возрожденія. Ольга понимаетъ смыслъ поэмы и догадывается о чувствѣ Лизеганга къ ней. Она охотно видитъ его, любитъ бесѣдовать съ нимъ. Горнъ начинаетъ проявлять ревность и этимъ разжигаетъ Лизеганга. Философъ чувствуетъ въ себѣ жажду счастья и считаетъ себя вправѣ бороться для достиженія его. Философски онъ объясняетъ свою измѣну дружбѣ правами сильной личности покорять себѣ болѣе слабыхъ. Но этотъ индивидуализмъ приводитъ его къ катастрофѣ. Ольга все-таки любитъ Горна и только страдаетъ отъ его излишней разсудочности. Когда, подъ вліяніемъ именно Лизеганга, Горнъ отдается страсти, Ольга въ своей счастливой любви совершенно остываетъ къ другу-философу. Лизегангъ говоритъ ей, наконецъ, открыто о своей любви, но въ самый моментъ объясненія приходитъ Горнъ, и сцена заканчивается ироническими насмѣшками надъ увлекшимся философомъ. Лизегангъ отрезвленъ. Любовь, послѣдняя цѣпь, сковывавшая его свободное „я“, распадается. Онъ отправляется путешествовать, потомъ снова встрѣчаетъ Марію, на этотъ разъ больную, умирающую отъ чахотки, видитъ ея смерть вблизи, затѣмъ посѣщаетъ еще Горна и Ольгу; они уже сочетались законнымъ бракомъ, и Ольга готовится быть матерью. Лизегангъ уходитъ отъ нихъ съ чувствомъ страннаго и грустнаго освобожденія. Онъ покончилъ со всѣмъ, что̀ смущало его душу, нашелъ себя въ себѣ, сталъ „Ein Eigenster und Freier“—и черезъ нѣсколько времени Горнъ приноситъ Ольгѣ извѣстіе, что Лизегангъ застрѣлился. Такъ кончается эта странная драма, въ которой на почвѣ крайняго индивидуализма сочетаются конечные выводы пессимистическаго разочарованія жизнью и мистической вѣры въ грядущее возрожденіе человѣчества.—З. В.

НЕКРОЛОГЪ

I.

М. С. Скребицкая

(урожден. Юрьевичъ).

22-го марта текущаго года, скончалась въ Лозаннѣ, на виллѣ „Prélaz“, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, Марія Семеновна Скребицкая—по первому мужу, Красовская—дочь извѣстнаго въ свое время Семена Алексѣевича Юрьевича, одного изъ особенно любимыхъ воспитателей почившаго императора Александра II. Въ день манифеста объ отмѣнѣ крѣпостного права, онъ обратился къ своему старому воспитателю съ рескриптомъ за 35-лѣтнюю службу С. А. Юрьевича (ум. въ 1865 г.) лично при немъ. Окончивъ, въ 1859 г., ученье въ Екатерининскомъ институтѣ, М. С., благодаря положенію ея отца при Дворѣ, была, по достиженіи ею совершеннолѣтія въ 1864 г., пожалована во фрейлины, но несчастіе, постигшее отца, еще въ началѣ 50-хъ годовъ,—онъ ослѣпъ—приготовило ей другую карьеру: она посвятила всю свою жизнь слѣпцу и заслужила въ свѣтѣ названіе Антигоны. Надобно думать, что уже съ этого времени дѣла милосердія и любви къ страждущему человѣчеству начали для нея входить въ простую привычку, а впослѣдствіи превратились въ главную цѣль ея жизни. Выйдя замужъ въ 1865 г., она, спустя 10 лѣтъ, овдовѣла, и съ начала 80-хъ годовъ беззавѣтно посвятила себя благотворительности; имя ея при жизни оставалось хорошо извѣстнымъ только тѣмъ, которые воспользовались ея помощью. Она избѣгала быть членомъ различныхъ благотворительныхъ обществъ, засѣдать въ ихъ собраніяхъ, и имя ея потому не встрѣчалось ни въ газетныхъ рефератахъ о засѣданіяхъ комитетовъ, ни въ отчетахъ различныхъ обществъ; ей, какъ будто, особенно была пріятна въ благотвореніи, если можно такъ выразиться, его анонимность. Была и другая причина, вынуждавшая М. С. держать себя нѣсколько въ сторонѣ отъ благотворительныхъ обществъ: она еще не считала благотворительностью денежную помощь, и стремилась принимать въ ней личное участіе, внимательно слѣдя за судьбою облагодѣтельствованныхъ ею лицъ,

какъ это было видно и изъ условій, которыми она всегда обставляла денежную помощь.

Еще съ самаго начала 80-хъ годовъ, М. С., какъ бы исходя изъ мысли, что однимъ изъ главныхъ источниковъ бѣдности и нищеты служитъ невѣжество массъ, задумала устроить въ своемъ домѣ, на Литейной, начальную школу для дѣвочекъ, по образцу содержимыхъ городомъ училищъ, но вскорѣ отказалась отъ своего намѣренія: съ одной стороны, она чувствовала себя неподготовленной къ тому, а съ другой—она видѣла, что городское общественное управленіе дѣлаетъ такіе успѣхи на поприщѣ начальнаго образованія, что содѣйствіе съ ея стороны въ этомъ случаѣ оказалось бы каплею въ морѣ. Она обратила тогда свое вниманіе на другое, не менѣе важное обстоятельство: дѣвочки 11—12 лѣтъ уже кончали курсъ въ одноклассныхъ начальныхъ училищахъ — возрастъ ихъ не дозволялъ имъ вступить въ практику жизни, а бѣднота не давала средствъ къ тому, чтобы продолжать ученье въ общеобразовательныхъ заведеніяхъ или профессіональныхъ школахъ, гдѣ плата за ученье была для нихъ уже не по силамъ. Начиная съ 1883 г. и до послѣднихъ дней своей жизни, она, по свидѣтельству учащихъ въ городскихъ начальныхъ школахъ, начала уплачивать за обученіе способнѣйшихъ и бѣднѣйшихъ — и о томъ знали только тѣ, за кого она платила, да начальство тѣхъ учебныхъ заведеній, въ которыхъ обучались ея стипендіатки. Но это было самое меньшее для нея, что она дѣлала: М. С. лично ознакомлялась съ бытомъ своихъ стипендіатокъ, ихъ семейною обстановкою, помогала имъ и въ матеріальной нуждѣ, и въ болѣзни; она смотрѣла на покровительствуемыхъ ею—какъ на свою семью. Только болѣзнь, въ послѣднія пять-шесть лѣтъ ея жизни, вынудила М. С. отказаться отъ такого личнаго участія въ ея же благотворительности; она начала жертвовать капиталы, съ цѣлью продолжить свою благотворительность и за гробомъ. Такъ, между прочимъ, она пожертвовала 15.000 рублей городской коммиссіи по народному образованію съ тѣмъ, чтобы изъ °/о°/о уплачивались стипендіи въ профессіональныхъ школахъ, и тѣмъ не менѣе при жизни, до самаго дня смерти, продолжала сама вносить въ коммиссію деньги за стипендіи, а проценты, между тѣмъ, присоединялись къ капиталу. Въ передачѣ городу тѣхъ расходовъ на благотворительность, съ просвѣтительною цѣлью, покойная М. С. могла убѣдиться, что и послѣ ея смерти главный характеръ ея благотворительности, а именно соединеніе денежной помощи съ *личнымъ* участіемъ къ судьбѣ облаготворяемыхъ, сохранится всецѣло: ей, конечно, не могло быть безъизвѣстнымъ, что городъ имѣетъ при каждой профессіональной школѣ, гдѣ находятся городскія сти-

пендіатки, своихъ депутатовъ отъ коммиссіи, на обязанности которыхъ лежитъ именно то, что̀ возлагала на себя добровольно М. С.: они, также, слѣдятъ за успѣхами учащихся, обращаютъ вниманіе на ихъ нужды, и въ случаѣ надобности могутъ ходатайствовать предъ коммиссіею о помощи имъ. Особый характеръ благотворительности покойной сохранитъ ея имя не столько въ спискахъ благотворителей тамъ, гдѣ положены суммы, пожертвованныя ею, сколько въ сердцахъ тѣхъ, которымъ она помогала не одними деньгами, но еще болѣе личнымъ и душевнымъ участіемъ въ ихъ судьбѣ, при своей жизни.—М.

II.

В. П. Преображенскій.

† 11 апрѣля 1900 г.

Среди томительнаго дневного пути, далеко отъ ночлега, разбилось благородное сердце; краткостью и раннею тягостью жизни заплатилъ этотъ труженикъ за право избранниковъ подниматься на царственныя высоты мысли и созерцанія. Сознаніе пробудилось въ немъ у могилы матери, которая умерла, когда ему было пять лѣтъ. Но онъ вышелъ на жизненную дорогу съ большимъ запасомъ душевной бодрости. Какъ теперь помню бойкаго мальчика съ живыми глазами и умною усмѣшкою, ходившаго ко мнѣ съ корректурами отъ своего отца, редактора „Православнаго Обозрѣнія",—лучшаго изъ русскихъ духовныхъ журналовъ. Священникъ Петръ Алексѣевичъ Преображенскій, ученый переводчикъ Иринея, Іустина Философа и другихъ христіанскихъ писателей первыхъ вѣковъ, былъ человѣкъ отъ природы богато одаренный, но съ неуравновѣшеннымъ характеромъ. Сердечно религіозный, съ проницательнымъ умомъ и глубокою преданностью наукѣ и образованію, дѣятельный, предпріимчивый и трудолюбивый, онъ не успѣлъ освободиться отъ многихъ чертъ бытовой первобытности. Идеальныя стремленія слишкомъ легко мирились у него и съ проявленіями узкой практичности, и съ необузданными порывами „широкой натуры". Лучшая лицевая сторона его души особенно выражалась въ отношеніи къ богослуженію. Рѣдко гдѣ можно было найти такое осмысленное и согрѣтое душевнымъ огнемъ исполненіе литургіи, или всенощной, какъ въ церкви Ѳеодора Студита, что у Никитскихъ воротъ. Этотъ лучъ высшаго идеализма свѣтился до самыхъ послѣднихъ лѣтъ его жизни. Къ идеальнымъ страстямъ нужно отнести и его увлеченіе пчеловодствомъ. Хотя возникшія на почвѣ практической (воскъ для епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ), занятія пчелами приняли у старика характеръ сердечной любви и трогательной заботливости. Пріобрѣтя себѣ подмосковную дачу въ Пушкинѣ, онъ съ ранней весны по цѣлымъ мѣсяцамъ весь отдавался любимому дѣлу... Кто посѣщалъ его въ это время и не находилъ ни дома, ни въ саду, могъ встрѣтить пріѣхавшаго изъ Москвы по дѣламъ причетника, съ одобрительною улыбкою говорившаго: „Теперь, сударь, придется подождать: отецъ протоіерей надъ маткой сидитъ".—Къ душѣ Преображенскаго-отца можно было въ полной мѣрѣ примѣнить стихи Хомякова:

„Она небесъ не забывала,
Но и земное все познала,
И пыль земли на ней легла“...

Разумѣется, для подростающаго сына послѣдняя сторона была чувствительнѣе первой въ опустѣломъ со смертью матери отцовскомъ домѣ. Онъ его покинулъ, когда сталъ студентомъ, тяжелымъ трудомъ корректорства добывая себѣ средства для самостоятельнаго существованія. Съ этимъ трудомъ онъ, впрочемъ, освоился еще будучи гимназистомъ, когда помогалъ отцу въ веденіи журнала, всецѣло помѣщавшагося въ тѣсной московской квартирѣ приходскаго священника съ довольно злою дворовою собакой вмѣсто швейцара. Въ университетѣ, рядомъ съ принудительною работою для добыванія насущнаго хлѣба, В. П. неустанно трудился по внутреннему влеченію надъ своимъ умственнымъ и эстетическимъ образованіемъ, которому онъ далъ обширный и прочный фундаментъ филологическій, литературный и философскій. Кандидатское его сочиненіе, „Реализмъ Герберта Спенсера“, обратило на себя вниманіе профессоровъ, и онъ былъ оставленъ при университетѣ, но безъ содержанія, а ставъ, черезъ нѣсколько лѣтъ, отцомъ семейства, онъ долженъ былъ поступить на службу въ московской городской думѣ. Послѣ краткаго счастливаго брака, жена его умерла, оставивъ ему двухъ младенцевъ и нравственную обязанность напряженнаго труда.

Ни сердечное горе, ни житейская каторга, не повліяли на этотъ сильный созерцательный умъ, не отняли у него способности и мѣрила для объективной оцѣнки вещей. В. П. былъ скептикъ лишь въ томъ смыслѣ, что, какъ настоящій философъ по призванію, онъ ничего не допускалъ безотчетно, безъ критики. Въ чемъ бы и заключалось достоинство философіи, еслибы она позволяла быть рабомъ чужой мысли? Философское призваніе требуетъ одинаково свободнаго отношенія ко *всякой чужой* мысли,—будь то мысль вѣры, или мысль отрицанія, или хотя бы только мысль сомнѣнія, которое вѣдь тоже можетъ быть пустымъ и незаслуживающимъ вниманія: философія требуетъ скептически относиться и къ самому скептицизму, не быть рабомъ чужой скептической мысли. Преображенскій былъ скептикъ въ этомъ полномъ смыслѣ слова, и тѣмъ доказывалъ свое настоящее философское призваніе. А въ ходячемъ смыслѣ безразличнаго равнодушнаго сомнѣнія въ началахъ добра и истины—онъ, конечно, менѣе всего былъ скептикомъ—онъ, горячій поклонникъ истинной красоты, тонкій цѣнитель всего истинно хорошаго и въ искусствѣ, и въ жизни. Правда, онъ любилъ и цѣнилъ добро и истину, главнымъ образомъ, въ ихъ ощутительномъ явленіи—въ формѣ красоты. Но вѣдь это могло бы быть дурно лишь въ томъ случаѣ, еслибы онъ по принципу отдѣлялъ форму

отъ содержанія,—а отъ этого моднаго заблужденія онъ былъ совсѣмъ далекъ. Въ частности, преобладаніе эстетическаго мѣрила приводило его иногда къ ошибочнымъ сужденіямъ (напримѣръ, преувеличенная оцѣнка Ницше, ради прекрасной литературной формы его произведеній). Но намѣреннаго отрицанія нравственныхъ и логическихъ нормъ, или хотя бы только невольнаго пренебреженія къ нимъ ради мнимой красоты—объ этомъ у него не было и помину. Вообще, онъ не только ясно понималъ, но и органически чувствовалъ, что достойно любви только истинно-прекрасное, а истинно-прекрасное есть прежде всего истинно-доброе. Я имѣю основаніе думать, что *окончательнымъ* мѣриломъ сужденія этотъ „эстетъ" все-таки признавалъ этическое,—иногда онъ въ этомъ и проговаривался. Два-три года тому назадъ, обсуждая со мною полемическую статью, которую я приготовилъ противъ одного почтеннаго ученаго, В. П., бывшій вообще на моей сторонѣ, рѣшительно возсталъ противъ одного замѣчанія, которое, повидимому, не было болѣе рѣзкимъ, чѣмъ все прочее. „Этого нельзя"!—говорилъ онъ.—„Да почему же? Вѣдь я указываю на дѣйствительный взглядъ X, Y, Z., высказанный имъ тамъ-то и тамъ-то, и довольно знаменательный для всего образа мыслей этого человѣка".—„Положимъ такъ, но вѣдь это можетъ быть только головной взглядъ, а твои слова, въ сущности, сводятся къ упреку въ *безсердечности*, а это есть самое оскорбительное, что только можно кому-нибудь сказать, особенно когда упрекъ имѣетъ правдоподобіе".

Преображенскій умеръ на 36-мъ году (род. 5 окт. 1864 г.).

То видимое, что̀ такъ добросовѣстно и тщательно онъ дѣлалъ—его обширныя редакціонныя работы для изданій „Московскаго Философскаго Общества", многія рецензіи и замѣтки, два образцовые—основательно и тонко продуманные и прекрасно написанные философскіе очерка (о теоріи знанія Шопенгауера и о морали Ницше) и т. д. —все это заставляетъ людей, и не знавшихъ его лично, жалѣть о его смерти, какъ объ очень чувствительной и безвременной потерѣ для дѣла философскаго образованія въ Россіи. А близко знавшіе его потеряли человѣка, который достаточно характеризуется тѣмъ его замѣчаніемъ, которое я сейчасъ привелъ. За краткую и тяжелую твою жизнь, дорогой и несчастный другъ, за все, что̀ ты успѣлъ претерпѣть, и за все, чего не успѣлъ сдѣлать,—пусть будетъ тебѣ хоть одно утѣшеніе: ты-то ужъ, конечно, не подвергался и не подвергнешься тому упреку, который считалъ самымъ тяжкимъ—упреку въ безсердечности,—ты, благородное, разбитое жизнью сердце!

Владиміръ Соловьевъ.

ИЗЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ ХРОНИКИ.

1 іюня 1900.

Новый походъ г. Глинки-Янчевскаго „во имя идеи".—„Право" и „правда"; неправосудіе и судебныя ошибки; несмѣняемость судей и устои правосудія.—Нѣчто о „жрецахъ науки".—Отвѣтъ „Московскимъ Вѣдомостямъ".—Письмо г. Тверского и духоборы.—Двѣ майскія годовщины: А. В. Суворовъ и Ѳ. Г. Волковъ.

Въ одномъ изъ нашихъ прошлогоднихъ обозрѣній [1]) мы говорили довольно подробно о книгѣ г. Глинки-Янчевскаго: „Пагубныя заблужденія", ставившей и пытавшейся разрѣшить одинъ изъ важныхъ вопросовъ нашей государственной жизни. Недавно вышло въ свѣтъ новое сочиненіе того же автора: „Во имя идеи",—всецѣло посвященное той же темѣ—необходимости усилить отвѣтственность судей и возстановить внѣ-судебный способъ отмѣны окончательныхъ судебныхъ рѣшеній. Подробно излагая и разбирая отзывы, вызванные въ печати прежней его книгой, г. Глинка-Янчевскій возражаетъ, между прочимъ, и „Вѣстнику Европы". Веденіе спора съ нашей стороны онъ признаетъ вообще „корректнымъ", но вмѣстѣ съ тѣмъ обвиняетъ насъ въ двухъ тяжкихъ нарушеніяхъ корректности: въ намѣренномъ непониманіи его словъ (стр. 52) и въ приписываніи ему того, чего онъ вовсе не говорилъ (стр. 82 и сл.). Остановимся сначала на второмъ обвиненіи. „Новшество г. Глинки"—было сказано нами,—„заключается въ томъ, что неправосуднымъ онъ предлагаетъ считать *всякое* отмѣняемое рѣшеніе". Ссылаясь на стр. 100 „Пагубныхъ заблужденій", г. Глинка увѣряетъ своихъ читателей, что простую ошибку, когда она служитъ поводомъ къ отмѣнѣ рѣшенія, онъ вовсе не подводилъ подъ понятіе о неправосудіи. Авторъ книги долженъ твердо помнить не одну какую-нибудь ея страницу, а все ея содержаніе, въ особенности заключительные выводы. Выводамъ г. Глинки наше мнѣніе о его „новшествѣ" соотвѣтствуетъ вполнѣ. Вотъ буквальный текстъ одного изъ нихъ (третьяго по счету), изложеннаго на стр. 141 „Пагубныхъ заблужденій": „съ цѣлью установленія фактической, а не фиктивной отвѣтственности всего судебнаго персонала надлежитъ установить отвѣтственность судей: а) *за неправосудіе по недоразумѣнію*; б) за неправосудіе, въ которомъ обнаружена будетъ грубая ошибка, близкая къ злоумышленной; в) за неправосудіе, совершенное изъ корыстныхъ или иныхъ личныхъ видовъ.

[1]) См. № 7 „Вѣстн. Европы" за 1899 г., стр. 381—390.

г) Апелляціонная и вообще всякая высшая инстанція, разсматривая опредѣленія низшей инстанціи, въ случаѣ отмѣны таковыхъ, обязана постановить заключеніе *и о свойствѣ неправосудія, т.-е. было ли оно простой или грубой ошибкой*". И въ виду этого г. Глинка позволяетъ себѣ утверждать, что мы сказали „неправду", приписавъ ему то, чего онъ вовсе не говорилъ! Если на одной страницѣ своего сочиненія онъ противорѣчитъ написанному на другой, то для критика необязательно разысканіе и разъясненіе подобныхъ противорѣчій. Мы имѣли полное право основать наше сужденіе на томъ, что̀ является окончательной формулировкой мысли г. Глинки... Намѣренное непониманіе нами его словъ г. Глинка видитъ въ томъ, что эпиграфъ его книги: caveant consules" мы толкуемъ въ смыслѣ призыва къ бдительности властей. „Власти—восклицаетъ г. Глинка—„надъ теоріями безсильны; значитъ, къ нимъ незачѣмъ и обращаться. Но общественное мнѣніе наиболѣе честныхъ людей, любящихъ Россію, можетъ сломить любое лжеученіе; къ нему-то мы и обращаемся. Это высказано ясно на стр. 109-й *Пагубныхъ заблужденій*". И здѣсь повторяется тотъ же пріемъ—ссылка на неподходящую страницу. Толкуя и продолжая толковать избранный г. Глинкой эпиграфъ, какъ обращеніе къ власти, мы имѣли и имѣемъ въ виду другія мѣста его книги, приведенныя нами съ точными указаніями на страницы (15, 21, 26, 106, 140). Не повторяя ихъ всѣхъ, остановимся только на двухъ, особенно характерныхъ. „Юристы новѣйшаго направленія"—читаемъ мы на стр. 106 „Пагубныхъ Заблужденій"—„только еще начинаютъ юридическое перевоспитаніе народа въ духѣ конституціи судебнаго вѣдомства; но, надо надѣяться, *этому положенъ будетъ предѣлъ*". Въ первомъ заключительномъ выводѣ г. Глинки (стр. 139—140) говорится о необходимости *положить предѣлъ* перевоспитанію народа, подготовляемому въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, гдѣ юношество „съ увлеченіемъ воспринимаетъ проповѣди профессоровъ объ ограниченіи всякой власти, а тѣмъ болѣе власти самодержавной... Вступая на практическую жизнь, молодежь сохраняетъ убѣжденіе въ необходимости ограниченія власти... Мы ставимъ на первомъ планѣ необходимость *положить предѣлъ* этимъ университетскимъ псевдо-либеральнымъ ученіямъ". И г. Глинка хочетъ насъ увѣрить, что задачу, намѣченную въ этихъ словахъ, онъ возлагалъ на „общественное мнѣніе", на „образованное общество", на „честныхъ людей, любящихъ Россію"! Неужели ему неизвѣстно, что *полагать чему-либо предѣлъ*—вовсе не дѣло общества, которое не облечено ни властью, ни силой и, притомъ, всегда является раздѣленнымъ на группы, слѣдующія или сочувствующія различнымъ направленіямъ? Неужели ему неизвѣстно, что призваніе общественнаго мнѣнія—поддерживать свободу мысли, а не подавлять одно изъ ея проявленій ad majorem

gloriam—другихъ? Неужели ему неизвѣстно, что по отношенію ко всякаго рода „псевдо-либеральнымъ“ ученіямъ задачу „полаганія предѣла“ у насъ въ Россіи всегда брала и беретъ на себя администрація? Что „власти безсильны надъ теоріями“—это справедливо въ томъ смыслѣ, что внѣшними средствами нельзя искоренить внутреннее убѣжденіе; но отсюда еще не слѣдуетъ, что властью не принимаются и не могутъ быть принимаемы мѣры противъ теорій и противъ ихъ приверженцевъ. Нужно ли, наконецъ, опровергать афоризмъ г. Глинки: „власти безсильны *противъ жрецовъ науки*“ („Во имя идеи“, стр. 195)? Если самъ авторъ „Пагубныхъ заблужденій“ живетъ внѣ времени и пространства, то не таково общее положеніе русскихъ читателей. Имъ очень хорошо, напримѣръ, извѣстно, что оффиціальныхъ „жрецовъ науки“ насчитывается, въ настоящее время, меньше, чѣмъ годъ тому назадъ...

Отъ упрековъ, дѣлаемыхъ намъ лично, переходимъ къ возраженіямъ, направленнымъ г. Глинкой противъ существа нашихъ взглядовъ. Нѣкоторыя изъ нихъ основаны на явныхъ недоразумѣніяхъ. „Всякое разногласіе между двумя судами“—сказано было нами годъ тому назадъ—„толкуется г. Глинкой въ смыслѣ *ошибки*, допущенной низшею инстанціею. Это — старое заблужденіе, съ которымъ часто приходилось встрѣчаться въ до-реформенную эпоху; припомнимъ, напримѣръ, прогремѣвшія въ свое время статьи противъ адвокатуры, исходившія именно изъ той мысли, что въ гражданскомъ дѣлѣ не только *быть*, но и *считать себя* правой можетъ лишь одна изъ спорящихъ сторонъ“. Мы указывали здѣсь на ту несомнѣнную истину, что добросовѣстно считать себя *правой* можетъ, во многихъ гражданскихъ дѣлахъ, каждая изъ спорящихъ сторонъ—а г. Глинка возражаетъ намъ, что считать *право* на сторонѣ обоихъ тяжущихся никакъ нельзя; „право“—говоритъ онъ—„будетъ на той сторонѣ, на чьей будетъ и правда“. Конечно, *право* объективно можетъ быть только на одной сторонѣ; но вѣдь мы говорили только о субъективномъ *мнѣніи* тяжущихся, предшествующемъ судебному рѣшенію. Что касается до *правды*, то въ гражданскомъ дѣлѣ она не всегда совпадаетъ съ *правомъ*. Правымъ, по закону, можетъ оказаться и тотъ, который поступилъ несогласно съ высшими требованіями правды (напр., дешево купилъ вещь, которую продавецъ, подъ гнетомъ обстоятельствъ, хотѣлъ сбыть съ рукъ какъ можно скорѣе). Есть, наконецъ, случаи, когда спорный вопросъ безъ нарушенія *правды* могъ бы быть разрѣшенъ и въ пользу одного изъ спорящихъ, и въ пользу другого, и рѣшеніе его обусловливается исключительно *правомъ*, т.-е. буквой или смысломъ дѣйствующаго закона. Возьмемъ, для примѣра, вопросъ объ обязанности наемнаго контракта для новаго домохозяина. Одни законодательства, слѣ-

дуя старой нѣмецкой формулѣ: „Kauf bricht Miethe", разрѣшають его отрицательно, другія—утвердительно. Въ нашемъ сводѣ законовъ нѣтъ прямого указанія по этому предмету, и только кассаціонная практика окончательно выработала взглядъ, благопріятный для квартиронанимателей. Пока этотъ взглядъ не былъ точно установленъ, каждый изъ спорящихъ могъ вѣрить въ свою правоту, не только нравственную, но и юридическую. При неудержимой смѣнѣ юридическихъ отношеній, при непрерывномъ творчествѣ жизни, спорные вопросы постоянно возникаютъ вновь, и никакимъ усиліямъ законодателя не удастся установить такихъ нормъ, которыя понимались бы одинаково всегда и всѣми. Столь же невозможно достигнуть одинаковаго пониманія документовъ и свидѣтельскихъ показаній. Мы видимъ въ жизни на каждомъ шагу, что сказанное—или написанное—толкуется, bona fide, различно; что разсказы объ одномъ и томъ же событіи, идущіе отъ лицъ равно добросовѣстныхъ и безпристрастныхъ, сплошь и рядомъ не совпадаютъ между собою; гдѣ же, затѣмъ, основаніе утверждать, что если высшая инстанція отдала предпочтеніе не тѣмъ свидѣтелямъ, которымъ повѣрилъ судъ первой степени, или иначе, чѣмъ онъ, объяснила спорное мѣсто въ завѣщаніи или договорѣ, то въ силу этого одного рѣшеніе низшей инстанціи должно считаться *неправосуднымъ*, хотя бы въ смыслѣ допущенія имъ *простой ошибки*?

Г. Глинка приходитъ въ ужасъ отъ нашихъ словъ: „въ интересахъ правосудія, а слѣдовательно и въ интересахъ всего народа, необходимъ точно установленный, для всѣхъ одинаковый предѣлъ, дальше котораго не должно идти судебное производство; нѣсколько судебныхъ ошибокъ, остающихся неисправленными—меньшее зло, чѣмъ постоянныя колебанія авторитета судебныхъ рѣшеній. Само собою разумѣется, что подъ именемъ судебныхъ ошибокъ мы понимаемъ здѣсь не осужденіе невиновныхъ, такъ какъ оно всегда можетъ быть отмѣнено если не въ порядкѣ возобновленія дѣла, то въ порядкѣ помилованія". И здѣсь, прежде всего, г. Глинка впадаетъ въ цѣлый рядъ недоразумѣній. Ему кажется, что мы не считаемъ судебной ошибкой осужденіе невиновнаго; между тѣмъ совершенно ясно, что мы не считаемъ его только ошибкой *непоправимой*, какъ непоправимо, напримѣръ, вошедшее въ законную силу *оправданіе виновнаго*, или неправильное рѣшеніе *гражданскаго* суда. Не понимаетъ г. Глинка, далѣе, и того, что *осужденіемъ невиновнаго* можетъ быть одинаково названъ и обвинительный приговоръ надъ лицомъ безусловно невиннымъ, и обвиненіе въ тяжкомъ преступленіи, когда на самомъ дѣлѣ совершенъ только сравнительно легкій проступокъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ одинаково возможны оба указанные нами пути — и возобновленіе дѣла, и помилованіе (обнимающее собою, какъ извѣстно,

и полное освобожденіе отъ всякой кары, и смягченіе наказанія). Что интересы правосудія требуютъ точно установленнаго, для всѣхъ одинаковаго предѣла, дальше котораго не должно идти судебное производство—это одна изъ тѣхъ элементарныхъ истинъ, которыя, казалось бы, не нуждаются въ разъясненіи. Насколько въ каждомъ благоустроенномъ обществѣ необходима давность, настолько же необходимъ и авторитетъ rei judicatae: и тою, и другимъ, устраняется неопредѣленность юридическихъ отношеній, несовмѣстная съ правильнымъ теченіемъ гражданской жизни. Безспорно, при дѣйствіи закона о давности остаются невозстановленными нѣкоторыя права, неосуществленными—нѣкоторыя обязанности, ненаказанными—нѣкоторыя преступленія; но все это—неудобства, несравненно меньшія, нежели никакимъ срокомъ не ограниченная возможность предъявленія гражданскихъ исковъ и уголовныхъ обвиненій. Совершенно то же самое слѣдуетъ сказать и о неприкосновенности (за исключеніемъ особыхъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ процессуальными уставами) вошедшихъ въ законную силу судебныхъ рѣшеній. Интересы правосудія и тамъ, и тутъ, совершенно тождественны съ интересами народа: устойчивость правоотношеній — одно изъ главныхъ условій общаго благосостоянія. Именно этой устойчивости и угрожалъ бы порядокъ отмѣны рѣшеній, противъ котораго мы возражаемъ. Для него, въ силу его чрезвычайности, не существовало бы ни сроковъ, ни правилъ; доступнымъ онъ былъ бы далеко не для всѣхъ въ одинаковой мѣрѣ [1]—а гарантій въ правильности окончательнаго исхода дѣла онъ представлялъ бы отнюдь не больше. Въ этомъ-то и заключается главная причина, вооружившая насъ противъ „Пагубныхъ заблужденій". Мы никакъ не можемъ признать „отвѣтственнаго докладчика", проектируемаго г. Глинкой, болѣе компетентнымъ въ рѣшеніи вопросовъ факта и права, чѣмъ высшія судебныя инстанціи...

Та роль, которую въ „Пагубныхъ заблужденіяхъ" игралъ процессъ г. М. К., въ новой книгѣ г. Глинки отведена дѣламъ Тальмы и Скитскихъ. Пріемъ, употребляемый при этомъ авторомъ, очень простъ: онъ прямо провозглашаетъ и Тальму, и Скитскихъ, невиновными, хотя дѣло Скитскихъ еще не окончено, а возобновленіе дѣла Тальмы еще нельзя считать рѣшеннымъ. Допустимъ, однако, что оба дѣла окончатся оправданіемъ подсудимыхъ; что̀ же изъ этого будетъ слѣдовать по отношенію къ спорному вопросу? Ровно ничего. По дѣлу Скитскихъ не состоялось до сихъ поръ приговора, вошедшаго въ за-

---

[1]) Припомнимъ данныя, приведенныя нами въ февральскомъ „Внутр. Обозрѣніи" относительно числа просьбъ о разлученіи, поступающихъ изъ разныхъ мѣстностей Россіи.

конную силу [1]); правосудіе не сказало еще своего послѣдняго слова, и обращаться къ путямъ чрезвычайнымъ еще не было повода. Единственное общее заключеніе, которое можно, пока, вывести изъ процесса Скитскихъ—это явная несостоятельность той формы суда, которой отведено столь видное мѣсто законами 9 мая 1878 и 7 іюля 1889 г., т.-е. суда съ участіемъ сословныхъ представителей. Что касается до процесса Тальмы и близко связаннаго съ нимъ процесса Карповыхъ, то они указываютъ, быть можетъ, на неясность закона о возобновленіи уголовныхъ дѣлъ, но отнюдь не на недостаточность обыкновенныхъ нормальныхъ средствъ раскрытія истины. Почему дѣло Тальмы до сихъ поръ не возобновлено и Тальма не помилованъ? Не потому, что закрытъ тотъ путь, за который стоитъ г. Глинка, а потому, что не было еще обнаружено достаточныхъ доказательствъ невинности Тальмы. Какъ только измѣнится, въ этомъ отношеніи, положеніе дѣла, къ невинно осужденному несомнѣнно будетъ примѣнена одна изъ двухъ мѣръ, названныхъ нами выше... Существуетъ совершенно нормальный выходъ и для тѣхъ случаевъ,—также приводимыхъ г. Глинкой въ подтвержденіе его главнаго тезиса,—когда рѣшенія высшей судебной инстанціи по цѣлой категоріи дѣлъ идутъ въ разрѣзъ съ намѣреніями и цѣлями законодателя: это—дополненіе или измѣненіе закона. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ уголовный кассаціонный департаментъ призналъ, что послѣ пересмотра, въ 1866 г., Уложенія о Наказаніяхъ у насъ не осталось закона, который каралъ бы за погребеніе безъ соблюденія христіанскихъ обрядовъ; вслѣдъ за этимъ изданъ былъ законъ, возстановившій прежнее наказаніе за этотъ проступокъ — и вопросъ оказался разрѣшеннымъ безъ всякаго колебанія окончательныхъ судебныхъ приговоровъ.

Что г. Глинка и мы говоримъ на разныхъ языкахъ и никакъ не можемъ придти къ соглашенію—это видно съ особенною ясностью изъ разсужденій г. Глинки о несмѣняемости судей. Онъ отказывается понять, почему несмѣняемость судей представляется намъ однимъ изъ основныхъ устоевъ правосудія. „По нашему крайнему разумѣнію“ —говоритъ онъ въ своей новой книгѣ (стр. 81),—„устои немногочисленны, но они нѣсколько посущественнѣе. Устоевъ только два—правда и милость... Когда всякій судья мечтаетъ или о повышеніи, или о воспитаніи дѣтей на казенный счетъ, или о вспомоществованіи, или объ усиленной пенсіи, или объ орденахъ, и все это зависитъ отъ усмотрѣнія того же начальства, то странно утѣшать себя мыслью, что несмѣняемость судей кого-либо въ чемъ-либо гарантируетъ... Нельзя понять, какимъ образомъ въ самодержавномъ государ-

[1]) Въ ту минуту, когда мы пишемъ эти строки, по дѣлу Скитскихъ только-что началось третье судебное разбирательство.

ствѣ неограниченная власть можетъ быть ограничена въ правѣ смѣнить завѣдомо негоднаго, а тѣмъ болѣе зловреднаго судью... Чтобы убѣдить „Вѣстникъ Европы“, что нельзя считать [1]) несмѣняемость судей въ числѣ незыблемыхъ уставовъ, достаточно вспомнить недавній еще примѣръ увольненія отъ службы двухъ сенаторовъ. Сенаторы были уволены, а устои не рухнули“. Ошибочна, очевидно, уже исходная точка этихъ разсужденій. Правда и милость—не *устои* правосудія, а его конечная цѣль, идеалъ, къ которому оно должно стремиться. Устои правосудія—это все то, что̀ способствуетъ достиженію цѣли, напр. единство суда, его независимость, гласность и устность процесса, равноправность и свобода сторонъ. Конечно, одной несмѣняемости судей мало для полнаго осуществленія независимости суда: но безъ первой о послѣдней не можетъ быть и рѣчи... Ничего ненормальнаго, а слѣдовательно и ничего непонятнаго самоограниченіе неограниченной власти въ себѣ не заключаетъ. Юридически оно всегда можетъ быть отмѣнено, фактически всегда можетъ быть нарушено; но это только уменьшаетъ, а не уничтожаетъ его реальное значеніе. За послѣднее время намъ извѣстно увольненіе, безъ прошенія, только одного сенатора, засѣдавшаго, притомъ, въ департаментѣ не-судебномъ; но еслибы такихъ случаевъ и было больше, еслибы поводомъ къ нимъ была именно судейская дѣятельность уволенныхъ, это не могло бы служить аргументомъ противъ *принципа* несмѣняемости. *Устои* правосудія—это аллегорія, которую нельзя понимать буквально; ихъ подрывъ, какъ бы онъ глубоко ни шелъ, какъ бы часто ни повторялся, не влечетъ за собою видимаго паденія зданія—но оно перестаетъ быть тѣмъ, чѣмъ должно быть, и все меньше и меньше исполняетъ свое призваніе, свою роль въ государственной и общественной жизни. Когда законъ 1887-го года ограничилъ судебную гласность, допустивъ закрытіе дверей засѣданія по распоряженію высшей судебной администраціи, отправленіе правосудія, конечно, не прекратилось, но потерпѣло ущербъ, серьезность котораго ничуть не уменьшается тѣмъ, что его нельзя съ точностью взвѣсить или измѣрить. Такой же ущербъ судебное дѣло несетъ у насъ ежедневно и ежечасно отъ тѣхъ фактическихъ ограниченій *независимости суда*, которыя перечисляетъ г. Глинка. Во что̀ обратилось бы правосудіе, если бы ко всему этому присоединилась еще отмѣна судейской несмѣняемости—это нетрудно себѣ представить.

Публицисты, плывущіе по теченію, пишущіе въ духѣ господствующихъ тенденцій, любятъ выставлять себя смѣлыми новаторами, безстрашно идущими въ разрѣзъ съ „пагубными заблужденіями“ и нахо-

[1]) Въ книгѣ г. Глинки сказано: „нельзя *не* считать“; но это—очевидная опечатка.

дящими себѣ награду въ одобреніи „истинно-русскихъ людей". Такъ поступаетъ и г. Глинка, при чемъ голосъ „истинно-русскихъ людей" слышится ему въ „Новомъ Времени", „Россіи" и „Московскихъ Вѣдомостяхъ", а голосъ „жрецовъ науки", охраняющихъ „кастовыя привилегіи"—въ „Историческомъ Вѣстникѣ" и „Вѣстникѣ Европы"; средину между праведниками и грѣшниками занимаютъ „С.-Петербургскія Вѣдомости", гдѣ первой книгѣ г. Глинки были посвящены двѣ статьи діаметрально различнаго содержанія. „Въ органахъ ежедневной печати"—говоритъ г. Глинка,—„въ которыхъ обыкновенно принимаютъ участіе люди наиболѣе воспріимчивые и чуткіе къ общественному мнѣнію и не порабощенные узкими спеціальностями, мы встрѣтили самое теплое сочувствіе. Въ ежемѣсячныхъ журналахъ, гдѣ, по преимуществу всѣми отдѣлами завѣдуютъ признанные жрецы науки, которые ходятъ въ шорахъ и потому видятъ лишь самый узкій горизонтъ, которые отстаиваютъ каждую букву своихъ спеціальностей—тамъ поднялись сплоченные голоса противъ всѣхъ главныхъ положеній *Пагубныхъ заблужденій*"... Къ прежнимъ попыткамъ противопоставить газеты „толстымъ" журналамъ и превознести первыя на счетъ послѣднихъ присоединилась, такимъ образомъ, еще одна, едва ли особенно удачная. Воспріимчивость и чуткость — не монополія той или другой формы періодической печати: ими можетъ обладать журналъ и не обладать газета, и наоборотъ. „Ученые спеціалисты" могутъ писать въ газетахъ, практическіе дѣятели — въ журналахъ. Изданія группируются не по срокамъ ихъ выхода, а по своей окраскѣ. „Русскій Вѣстникъ" мало чѣмъ отличался и отличается отъ „Московскихъ Вѣдомостей"—а между газетами есть такія, которыя могутъ идти и идутъ рука объ руку съ „Вѣстникомъ Европы". Прочитавъ книгу г. Глинки, нетрудно было предугадать заранѣе, какіе органы печати отнесутся къ ней сочувственно, какіе—отрицательно; все зависѣло здѣсь не отъ степени „воспріимчивости", а отъ существа взглядовъ. Догадки о томъ, кто завѣдуетъ отдѣлами въ толстыхъ журналахъ — „жрецы науки", или простые смертные, — не только совершенно излишни, но и неумѣстны, потому что отъ нихъ только одинъ шагъ до намековъ, не всегда, въ добавокъ, основанныхъ на точныхъ фактахъ. Почему, напримѣръ, г. Глинка предполагаетъ, что „ученый", пишущій въ „Вѣстникѣ Европы", „боится дѣйствительной отвѣтственности своихъ *коллегъ*" (стр. 84)—т.-е. самъ принадлежитъ къ числу судебныхъ дѣятелей? Для такихъ предположеній не должно быть мѣста въ литературной полемикѣ. Гдѣ служитъ (или не служитъ) авторъ разбираемой статьи—до этого нѣтъ дѣла ни его противнику, ни читателямъ.

Радикально расходясь съ г. Глинкой въ оцѣнкѣ „идеи", которую онъ проводитъ въ своихъ книгахъ, и сожалѣя о нѣкоторыхъ поле-

мическихъ его пріемахъ, мы охотно признаемъ, что въ указаніяхъ его на несовершенства современныхъ судебныхъ порядковъ есть доля правды. Что уровень нашихъ судебныхъ нравовъ клонится къ пониженію — этого отрицать нельзя; подтвержденіемъ этому служатъ и факты, приведенные въ нашихъ послѣднихъ общественныхъ хроникахъ. Бо́льшая часть лекарствъ, рекомендуемыхъ г. Глинкой, можетъ только усилить болѣзнь—но иные ея симптомы подмѣчены имъ вѣрно. Не возражаемъ мы и противъ нѣкоторыхъ предлагаемыхъ имъ палліативныхъ мѣръ, настаивая только на томъ, что это — именно палліативы, а не радикальное леченье. Пускай должность генералъ-прокурора будетъ отдѣлена отъ должности министра юстиціи, пускай будетъ создана особая должность предсѣдательствующаго въ Сенатѣ — вреда отъ этого не произойдетъ никакого, а можетъ быть получится и небольшая польза: ошибочно и опасно было бы только ожидать отъ такихъ частныхъ поправокъ значительной перемѣны къ лучшему. Если есть сенаторы, способные прислушиваться къ желаніямъ министра юстиціи, то они прислушивались бы и къ желаніямъ того должностного лица, которое наслѣдовало бы функціи министра по представленію сенаторовъ къ наградамъ и т. п. Отношенія министра юстиціи къ Сенату теперь такія же точно, какъ и въ моментъ введенія судебныхъ уставовъ; почему же тогда никто не сомнѣвался въ независимости и самостоятельности сенаторовъ, входившихъ въ составъ кассаціонныхъ департаментовъ?... Все дѣло — въ діапазонѣ, на который настроено судебное вѣдомство; при той высотѣ, на которой онъ стоялъ въ 1866 г., не страшны никакія побочныя вліянія. Опять достигнуть этой высоты можно только возстановленіемъ основныхъ началъ судебной реформы и открытіемъ пути къ ихъ дальнѣйшему развитію — а это, въ свою очередь, возможно лишь при возвращеніи къ традиціямъ лучшей эпохи царствованія императора Александра II-го.

Возражая противъ нѣсколькихъ замѣчаній, сдѣланныхъ нами, въ майской „Общественной Хроникѣ“, по адресу „Московскихъ Вѣдомостей“, газета г. Грингмута начинаетъ съ пріема „совсѣмъ особеннаго свойства“ „Либеральный журналъ“—говоритъ московская газета—„называетъ насъ людьми XIX-го вѣка, живущими во времена Алексѣя Михайловича“. О такихъ людяхъ дѣйствительно упомянуто въ нашей хроникѣ (стр. 409), но упомянуто словами присяжнаго повѣреннаго Карабчевскаго, сказанными въ самарскомъ окружномъ судѣ, при разборѣ дѣла о крестьянахъ села Борокъ и относившимися именно къ этимъ крестьянамъ. Какимъ образомъ слова, напечатанныя въ одной части хроники, могли быть прочитаны въ другой, не имѣющей ни-

чего общаго съ первою, какимъ образомъ на мѣстѣ г. Карабчевскаго могъ оказаться хроникёръ „Вѣстника Европы“, а на мѣстѣ бывшихъ крѣпостныхъ гр. Орлова-Давыдова—сотрудники „Московскихъ Вѣдомостей“, это—загадка, разгадать которую мы не беремся. Можемъ увѣрить нашихъ противниковъ только въ одномъ—что намъ не приходило на мысль сравнивать ихъ съ современниками царя Алексѣя. То была эпоха простодушной безсознательности, элементарнаго мышленія, слѣпой преданности прадѣдовскимъ завѣтамъ; теперь—по крайней мѣрѣ въ средѣ образованнаго общества—отъ прежней наивности не осталось и слѣда, и если пускаются въ ходъ старые термины, то за ними скрывается новое содержаніе... Приписавъ намъ, вслѣдствіе какой-то зрительной галлюцинаціи, слова, которыхъ мы не говорили, московская газета усвоиваетъ себѣ, отчасти, выраженную въ нихъ мысль: она утверждаетъ, что „Россія въ XIX, и XX, и XXI вѣкахъ не только можетъ, но и должна, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, жить именно такъ, какъ она жила во времена Алексѣя Михайловича— а именно во всемъ, что касается основныхъ устоевъ жизни“. Это совершенно невѣрно. Даже въ той области, которая всего меньше поддается перемѣнамъ—въ области религіозной—Россія живетъ теперь не такъ, какъ жила два съ половиною вѣка тому назадъ. Развѣ мыслимо было бы въ настоящее время нѣчто подобное смутѣ, внесенной въ умы Никоновскимъ исправленіемъ старопечатныхъ книгъ? Развѣ не измѣнилось отношеніе народныхъ массъ къ иновѣрію и иновѣрцамъ? Развѣ не характеристиченъ тотъ фактъ, что въ XVII вѣкѣ отпаденія отъ церкви принимали форму раскола, а въ концѣ XIX-го принимаютъ форму ересей?.. Еще менѣе возможенъ застой въ сферѣ политической мысли и политической жизни. Полномочія верховной власти остаются неизмѣнными, но измѣняются органы, черезъ которые она дѣйствуетъ, а сообразно съ этимъ—и самый способъ дѣйствій. Не говоримъ уже о русскомъ обществѣ, которое во второй половинѣ XVII в., можно сказать, почти не существовало, а теперь все-таки достигло извѣстной степени развитія. При Алексѣѣ Михайловичѣ понятія о русскомъ государствѣ и русскомъ народѣ почти совпадали между собою; инородцевъ подъ властью Москвы было мало, и это были, бо̀льшею частью, племена полудикія или мало цивилизованныя. Не то мы видимъ въ современной Россіи, послѣ поступательнаго движенія на западъ, совершившагося въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій... „Разумный вопросъ“ по отношенію къ инородцамъ, входящимъ въ составъ Россіи, можетъ быть, по мнѣнію московской газеты, лишь одинъ: „хороши ли наши основы, какъ основы господствующія, даютъ ли онѣ возможность хорошо жить русскимъ подданнымъ, даже инородцамъ и иновѣрцамъ, или такимъ людямъ, которые въ умѣ и

сердцѣ отрицаютъ всѣ наши основы"? „Отвѣтъ на это,—продолжаютъ „Московскія Вѣдомости",—даетъ вся исторія Россіи. Гдѣ же лучше живутъ милліоны инородцевъ и иновѣрцевъ, чѣмъ у насъ? Все, чего имъ не позволяетъ Россія, это—уничтожить свое господство, свои основные принципы... Наши основы потому и имѣютъ міровое значеніе, что несутъ благо даже тѣмъ непонимающимъ или неблагодарнымъ людямъ, которые ихъ не хотѣли бы сами по себѣ признавать". Не входя въ разборъ логическихъ скачковъ и смѣлыхъ увѣреній, которыми пестрятъ эти слова, скажемъ только одно: *благо* иновѣрцевъ и инородцевъ въ значительной степени обусловливается тѣмъ, насколько къ нимъ *не* примѣняется, помимо ихъ воли, содержаніе господствующей религіи и господствующей народности—а для осуществленія этого условія необходимо, прежде всего, отказаться отъ привычки видѣть въ иновѣрцахъ, инородцахъ и другихъ „несогласно мыслящихъ"—людей „непонимающихъ и неблагодарныхъ"... Признавая, что „въ приложеніи основъ неизбѣжны разномыслія" и что „въ этихъ разномысліяхъ нѣтъ ничего страшнаго", „Московскія Вѣдомости" продолжаютъ: „бѣда является лишь тогда, когда начинаютъ властвовать люди, стремящіеся упразднить самыя основы. Отъ этой-то бѣды избавилась, кажется, Россія съ тѣхъ поръ какъ мысль верховной власти, всегда единой съ русскимъ народомъ, нашла уже своевременнымъ отъ задачъ періода подражательнаго повести Россію къ задачамъ самостоятельнаго внутренняго устройства". Итакъ, было время, когда у насъ *властвовали* упразднители „основъ"? Это—не только невѣрное освѣщеніе прошлаго, но и угроза по отношенію къ будущему. Упраздненіе основъ „Московскія Вѣдомости" очевидно пріурочиваютъ къ двумъ эпохамъ: эпохѣ великихъ реформъ и эпохѣ „диктатуры сердца",—стараясь заглушить всякую мысль о возобновленіи начатаго тогда дѣла и доказать необходимость уничтоженія тѣхъ его частей, которыя остаются еще неотмѣненными. Въ чемъ должна заключаться программа разрушительной работы—это мы старались показать въ нашей послѣдней хроникѣ. Не возражая противъ нашихъ догадокъ, московская газета косвенно, значитъ, признаетъ ихъ основательность...

Письмо П. А. Тверского, напечатанное въ предыдущей книжкѣ нашего журнала, послужило для „Московскихъ Вѣдомостей" предлогомъ къ злобнымъ выходкамъ противъ „яснополянскаго мудреца", „пророка соціальнаго невѣжества и религіознаго безумія". Не удостовѣрясь ни въ томъ, что фанатики, о которыхъ говоритъ г. Тверской—ученики и послѣдователи гр. Л. Н. Толстого, ни въ томъ, что они въ настоящее время слѣдуютъ его указаніямъ, московская газета

идетъ еще дальше: она если не говоритъ прямо, то даетъ понять, что подъ вліяніемъ тѣхъ же фанатиковъ духоборы-переселенцы находились еще до отъѣзда изъ Россіи, и что сѣятели смуты были недовольны кавказской администраціей собственно за то, что она хотѣла не „околѣванія", а благоденствія духоборовъ... Какимъ бы толкованіямъ, впрочемъ, ни подвергалось письмо г. Тверского, оно сохраняетъ то значеніе, которое ему давалъ самъ авторъ—значеніе предостереженія противъ неосмотрительнаго выбора мѣстностей, предназначаемыхъ для эмигрантовъ-духоборовъ. Еще лучше было бы, конечно, еслибы переселеніе духоборовъ изъ Россіи прекратилось по собственной ихъ волѣ, т.-е. еслибы для нихъ самихъ не было больше никакихъ поводовъ къ отъѣзду. Нѣкоторую надежду на такой исходъ подаютъ газетныя извѣстія объ образѣ дѣйствій духоборовъ во время недавняго землетрясенія въ ахалкалакскомъ уѣздѣ. По словамъ тифлисскаго корреспондента „Новаго Времени", до 29-го іюня 1895 г. (т.-е. до извѣстнаго выселенія духоборовъ) въ Богдановскомъ участкѣ ахалкалакскаго уѣзда было 833 духоборскихъ дыма, съ 6.646 жителями. Выселенію подверглись 422 дыма, и весь ихъ живой инвентарь былъ проданъ за безцѣнокъ въ сосѣднія армянскія селенія [1]. „Эти самыя села пострадали теперь отъ землетрясенія—и вотъ, когда армяне, лишившись домовъ, всего своего благосостоянія, потерявъ кормильцевъ своихъ и дѣтей подъ грудами своихъ же пепелищъ, обезумѣли отъ ужаса, горя, холода и голода... предъ ними предстали духоборы! Забывъ все прошлое, явились они и привезли на 60-ти саняхъ все, чѣмъ только въ настоящее время располагали. Духоборы, вмѣстѣ съ доблестными двумя баталіонами Навагинскаго полка, откапывали заживо-погребенныхъ, призрѣвали раненыхъ, изувѣченныхъ и спасшихся обездоленныхъ и находящихся безъ крова. Такъ они поступали и въ теченіе всей послѣдней кампаніи 1877—78 гг." Когда былъ образованъ главный комитетъ по оказанію помощи пострадавшимъ отъ землетрясенія, и. д. тифлисскаго губернатора И. Н. Свѣчинъ, по словамъ „Кавказа", сообщилъ комитету, „что незамѣнимо драгоцѣнными оказались услуги духоборовъ, доставившихъ прекрасныя перевязочныя средства, которыхъ безъ ихъ помощи, пожалуй, почти невозможно было бы добыть во-время и въ надлежащихъ размѣрахъ. За это духоборы не хотѣли брать денегъ, но И. Н. Свѣчинъ согласился на принятіе безмездной услуги лишь на первый день, предложивъ имъ провозную плату за послѣдующіе дни по пониженной таксѣ. Старшины

---

[1]) Выше, на стр. 797, мы помѣщаемъ письмо въ Редакцію г. Сакмарова, съ поправками, какія онъ находитъ нужнымъ сдѣлать къ упоминаемому „Письму въ Редакцію" г. Тверского; между прочимъ, онъ также приводитъ тоже сообщеніе о продажѣ имущества духоборовъ на Кавказѣ, о чемъ упоминается въ „Новомъ Времени".—*Ред.*

нѣкоторыхъ селеній предлагали принимать на прокормъ человѣкъ по 50 изъ оставшихся безъ крова, но И. Н. Свѣчинъ точно также счелъ справедливымъ уплачивать за приселеніе пострадавшихъ въ сосѣднія деревни"... Всѣ эти факты говорятъ сами за себя и не требуютъ комментаріевъ.

Начало мая мѣсяца было ознаменовано двумя годовщинами: въ Петербургѣ и во всей Россіи чествовалась память Суворова, по поводу столѣтія со дня его смерти; въ Ярославлѣ происходили празднества въ честь Ѳ. Г. Волкова по случаю истеченія полутораста лѣтъ со времени основанія русскаго театра. Суворову нашъ журналъ посвятилъ, въ первые мѣсяцы нынѣшняго года, обширную статью, написанную однимъ изъ лучшихъ знатоковъ предмета. Въ изслѣдованіи А. Ѳ. Петрушевскаго ярко выступаютъ на видъ характерныя черты великаго полководца, слава котораго до сихъ поръ живетъ въ народѣ. Разгадка ея широкаго распространенія заключается не въ одномъ только блескѣ военныхъ подвиговъ; въ ея основѣ лежатъ, между прочимъ, тѣ свойства Суворова, которыя онъ самъ подчеркнулъ въ бесѣдѣ съ художникомъ, писавшимъ его портретъ [1]). „Я содрогаюсь"—сказалъ онъ живописцу Миллеру—„отъ одного воспоминанія о пролитыхъ мною потокахъ крови. А между тѣмъ, я ближняго своего люблю. Во всю жизнь мою я ни одного человѣка не сдѣлалъ несчастнымъ, не подписалъ ни одного смертнаго приговора; не убилъ комара"... Любя ближняго, Суворовъ любилъ солдатъ и видѣлъ въ нихъ людей, въ то время, когда въ глазахъ громаднаго большинства начальствующихъ и власть имѣющихъ они были только „пушечнымъ мясомъ"...

Ярославскія празднества въ память Ѳ. Г. Волкова прошли съ большимъ одушевленіемъ; жаль только, что они совпали съ временемъ сравнительнаго упадка нашего театра. Когда окончилось первое его столѣтіе, онъ стоялъ на вершинѣ своей славы. Его только-что украсили произведенія Грибоѣдова и Гоголя—и надъ нимъ всходила звѣзда Островскаго. Теперь преемниковъ имъ пока не видно; незамѣненной остается и плеяда артистовъ, во главѣ которой стоялъ Щепкинъ—въ Москвѣ, Мартыновъ—въ Петербургѣ...

Издатель и отвѣтственный редакторъ: М. Стасюлевичъ.

---

[1]) См. „Книжку Недѣли" за май 1900-го года.

СОДЕРЖАНІЕ

ТРЕТЬЯГО ТОМА

Май. — Іюнь. 1900.

Книга пятая. — Май.

Книга шестая. — Іюнь.